

ФРЭНСИС СКОТТ КЕЙ
ФИЦДЖЕРАЛЬД

НЕЖНЫЕ ЮНОШИ



ВСЕ НОВЕЛЛЫ
ФРЭНСИСА СКОТТА КЕЯ
ФИЦДЖЕРАЛЬДА



Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Нежные юноши

Вместо предисловия. Краткая
автобиография

(с признательностью – Натану)

1913

Четыре вызывающих порции виски «Канадиан клуб» в «Саскуэханна», Хакенсак.

1914

Шампанское «Грейт Вестерн» в «Трент-хаус», в Трентоне; обратно в Принстон ехал совершенно пьяный.

1915

Игристое бургундское у Бастаноби. Неразбавленный виски в Уайт Салфур Спрингс, Монтана – я залез на стол и спел ковбоям «Выходи со мной!»; «Колючки» в сиэтлском «Тэйт», под песню про Эда Малдуна, «этого умника».

1916

В гардеробной яхт-клуба «Уайт-Бэр» хлебнул кальвадоса.

1917

Впервые – бургундское красное с монсеньором Х в «Лафайетт». Смородиновая настойка и виски с Томом в старой столовой «Нассау».

1918

Бурбон, который контрабандой проносили дневальные в комнаты офицеров в «Силбах», Луисвилль.

1919

Коктейли «Сейзерак», которые привезли из Нового Орлеана в Монтгомери, чтобы отпраздновать одно важное событие.

1920

Красное вино у Моллата. Коктейли с абсентом в герметично закупоренном номере отеля «Роялтон». Маисовая водка под луной на пустынном аэродроме в Алабаме.

1921

Оставили шампанское в баре «Савоя» на праздник Четвертого июля, когда поняли, что нам никак не отвязаться от двух леди родом с Пикадилли. Желтый «шартрез» на Виа Бальбини в Риме.

1922

Коктейли из ликера «крем-какао» у Калли в Сент-Поле. Моя первая и последняя попытка изготовить джин самостоятельно.

1923

Океаны канадского эля на пару с Рингом Ларднером в Грейт-Нек, на Лонг-Айленде.

1924

Коктейли с шампанским на «Минневаске», извинения пожилой леди, которая не могла из-за нас уснуть. «Грейвс» Крессмана на вилле «Мари» в Валескюр, с вытекающими отсюда спорами о британской политике с нанятой бонной. Белый портвейн в часы печали. Муссо, купленное в сумерках в саду у какого-то француза. Клубничный вермут из Шанбери с Селдсами в честь их медового месяца. Местный продукт, заказанный по мудрому совету дружелюбного священника из Орвието, когда мы спросили французского вина.

1925

Сухое белое вино, которое «не выдерживает перевозки», изготовленное к югу от Сорренто – я так и не понял где именно. Сюжет сгущается: трубят рога, стучат копыта! Изумительное вино из Арбуа в «Королеве Гусиные Лапы». Коктейли с шампанским в душном баре парижского «Ритца». Плохие вина в «Николя». Кирш от дождя с Э. Хемингуэем в бургундском трактире.

1926

Совершенно неинтересное «Сен-Эстев» в безлюдной дыре под названием Салье-де-Берн. Шерри на пляже в Гаруп. Коктейль Джеральда М. с гранатовым сиропом – единственный изъян в совершенстве самого совершенного дома на земле. Пиво и венские

сосиски в компании Грейс, Чарли, Руфи и Бена на Антибе, еще до нашего приезда.

1927

Восхитительное калифорнийское «почти бургундское» вино в одном из коттеджей лос-анджелесского «Эмбассадора». Пиво, которое я сварил в Делавере, с темным осадком, от которого никак не удавалось избавиться. Прецеденты невнятного, резкого и некачественного виски в Делавере.

1928

«Пуйи» с буйабесом в «Прюнье» в часы уныния.

1929

Ощущение такое, что перепробовано уже все на свете спиртное и испытано все, что оно только может человеку дать; и все же... «Гарсон, „Щабли-Мутон“ 1902 года; а для начала принесите-ка небольшой графинчик розового вина. Пока все... Благодарю!»

Все эти юноши печальные... (
 1926)

Рингу и Эллис Ларднерам



Богатый парень

I

Начните описывать конкретного человека, и сами не заметите, как у вас получится «типичный образ»; попробуйте начать с «типичного образа», и у вас получится... да ничего у вас не получится! Потому что каждый в глубине души чуждак, но сидит этот чуждак внутри так тихо, что зачастую ни окружающие, ни даже ты сам о нем и не догадываются, видя лицо и слыша голос самого обыкновенного человека. Когда при мне кто-нибудь заявляет о себе как о «самом обыкновенном, честном и открытом парне», у меня тут же возникает абсолютная уверенность в том, что этот человек наделен вполне определенной и, может быть, даже ужасной, аномалией, которую необходимо скрывать, а все эти уверения в простоте, честности и открытости – лишь способ напомнить себе о своем пороке.

Нет на свете ничего типичного, ничего собирательного. Вот вам богатый парень, и этот рассказ именно о нем, а не о ему подобных. Всю свою жизнь я провел среди ему подобных, но моим другом был именно он. И начини я писать о ему подобных, как мне тут же придется приступить к развенчиванию всей той лжи, которую бедные напридумывали о богатых, а богатые напридумывали о самих себе – и нагромождения эти столь нелепы, что, едва взяв в руки книгу из жизни богачей, мы инстинктивно готовы покинуть реальность. И даже умные и увлеченные жизнью писатели натуралистической школы изображают страну богатых такой далекой от реальности, словно это какая-то волшебная страна.

Я расскажу вам об очень богатых людях. Они отличаются от нас с вами. Они раньше нас получают возможность обладать и наслаждаться, и от этого они меняются; они проявляют мягкость там, где мы проявляем жесткость, они ведут себя цинично там, где мы

повели бы себя доверчиво, и все это довольно сложно понять, если только вы не родились богатым. Глубоко внутри они уверены, что они лучше нас, потому что нам приходится самостоятельно искать для себя в жизни и награды, и утешения. И даже когда они с головой погружаются в наш мир или опускаются ниже нас, они все равно считают себя лучше нас. Они – другие. Юного Энсона Хантера я смогу описать, лишь подойдя к нему так, словно он – чужеземец, и мне придется твердо держаться этой точки зрения. А если я хоть на мгновение приму его точку зрения, то все пропало – у меня получится обычный нелепый кинофильм.

II

Энсон был старшим из шестерых детей, которым в будущем предстояло разделить между собой состояние в пятнадцать миллионов долларов. Сознательного возраста – семь, кажется, лет? – он достиг в самом начале века, когда смелые юные дамы на диво всей Пятой Авеню осваивали первые электромобили. В те дни ему с братом выписали из Англии гувернантку, разговаривавшую на чистом, ясном и правильном языке, чтобы мальчишки понемногу выучились говорить, как она, так что их слова и предложения звучали чисто, ясно и не слипались в один сплошной ком, как у нас с вами. Но разговаривали они не совсем как английские дети, а с акцентом, присущим представителям нью-йоркского высшего общества.

На лето всех шестерых детей увозили из дома на 71-й улице в большое имение на севере штата Коннектикут. Место не было фешенебельным – отец Энсона желал по возможности дольше отложить момент знакомства детей с этой стороной жизни. Отчасти он смотрел свысока на свой класс, составлявший нью-йоркское общество, и на свое время, в котором царила чванная и возведенная в статус закона вульгарность «позолоченного века». Своим сыновьям он желал

привить способность сосредотачиваться и держать спортивную форму, чтобы из них впоследствии получились успешные и придерживающиеся правильного образа жизни люди. Пока двоих старших не пришлось отправить в школу, он и жена, по мере возможности, зорко за ними приглядывали, что довольно трудно в огромном особняке и много проще – в небольших и средних домиках, где прошло мое детство. Я был всегда в пределах досягаемости маминого голоса, постоянно ощущал ее присутствие, ее одобрение или порицание.

Впервые чувство превосходства проявилось у Энсона под действием по-американски скуповатого почтения, с которым к нему относились в коннектикутской глубинке. Родители ребят, с которыми он играл, всегда интересовались, как поживают его папа и мама, и испытывали радостное волнение, когда их детей приглашали поиграть в дом Хантеров. Такое положение вещей он воспринимал как естественное; он испытывал нечто вроде раздражения, когда случалось так, что не он являлся центральной фигурой, а дело при этом касалось денег, положения или власти – и это сохранилось у него на всю жизнь. Бороться за первенство с другими мальчишками он считал ниже своего достоинства – он ждал, что ему и так все достанется, а когда этого не происходило, он просто ретировался в свою семью. Семьи ему было достаточно, поскольку на востоке Америки к деньгам все еще относятся как к феодальным привилегиям, и их сила формирует кланы. А вот у снобов с американского Запада деньги семьи разделяют, формируя слои общества.

К восемнадцати годам, когда Энсон прибыл в Нью-Хейвен, он превратился в высокого коренастого юношу с открытым лицом и здоровым от упорядоченной школьной жизни румянцем. Волосы у него были светлые и от природы смешно торчали на голове, а нос был крючковатый – эти две черты не позволяли назвать его красивым. При этом он обладал обаятельной уверенностью и стильной бесцеремонностью, так что люди из высших классов без всяких объяснений – просто столкнувшись с ним на улице – безошибочно узнавали в нем богатого парня, окончившего самую лучшую школу. Тем не менее популярностью в университете он не пользовался из-за своего чувства превосходства – его независимость все считали эгоизмом, а его отказ принять с должным трепетом йельские

стандарты поведения, казалось, принижал всех тех, кто эти стандарты чтит. Поэтому задолго до окончания университета центр его жизни сместился в Нью-Йорк.

В Нью-Йорке он чувствовал себя как дома. Там у него был особняк, в котором были «слуги, которых в нынешние времена уже не сыщешь», и семья, для которой он, благодаря своему неизменно хорошему настроению и умению устраивать дела, быстро превратился в центр притяжения. Еще там были балы и дебютантки, и подобающе-мужественный мир клубов, и периодические буйные кутежи с прекрасными девушками, которых в Нью-Хейвене видели не ближе, чем с пятого ряда партера. У него были вполне традиционные желания, среди которых фигурировала даже безупречная тень, на которой он со временем женится, но его желания отличались от желаний большинства молодых людей тем, что они не были подернуты туманной дымкой неопределенности и не относились ни к «идеалам», ни к «иллюзиям». Энсон безоговорочно принимал мир больших денег и больших трат, мир громких разводов и разгула, мир снобизма и привилегий. Жизни многих из нас оканчиваются компромиссами, а его жизнь с компромисса началась.

Я познакомился с ним в конце лета 1917 года, когда он только-только окончил Йель и, как и все остальные, поддался систематически нагнетаемой военной истерии. В сине-зеленой форме морской авиации он приехал в Пенсаколу, где оркестры при гостиницах играли «Прости, дорогая», а мы, молодые офицеры, танцевали с местными девушками. Он нравился всем; хотя для общения он избрал кружок любителей выпить, а пилотом оказался так себе, даже инструкторы относились к нему с заметным уважением. Он всегда подолгу беседовал с ними своим уверенным, рассудительным голосом, и беседы завершались тем, что ему обычно удавалось спасти себя – или, что случалось чаще, другого офицера – от надвигающихся неприятностей. Он отличался общительностью, склонностью к похабству и здоровой жадой удовольствий, и все сильно удивились, когда он влюбился в довольно консервативную и добропорядочную девушку.

Ее звали Пола Лежендр – темноволосая и серьезная красавица, родом откуда-то из Калифорнии. У ее семьи был зимний дом недалеко от города, а она, несмотря на чопорность, была очень популярна; существует целый класс мужчин, которые, благодаря своему эгоизму,

терпеть не могут женщин с чувством юмора. Но Энсон был вовсе не из таких, и мне было непонятно, как ее «искренность» – так называли эту ее черту – смогла привлечь его острый и отчасти язвительный ум.

Как бы там ни было, но они влюбились друг в друга – и на ее условиях! Он перестал ходить по вечерам на сборища в бар «Де Сото», и, где бы они ни появлялись вместе, все замечали, что их двоих полностью поглощает бесконечный многозначительный диалог, который, как казалось, длился без перерыва несколько недель. Много позже он мне рассказывал, что беседовали они, в сущности, ни о чем, обмениваясь по-юношески незрелыми и даже бессмысленными утверждениями – возникшее со временем эмоциональное содержание беседы не имело отношения к словам, а родилось в силу одной лишь глубокой серьезности тона. Это было нечто вроде гипноза. Часто случались перерывы, и тогда диалог уступал место тому выхолощенному юмору, который обычно называют «весельем»; когда они оставались одни, беседа вновь возобновлялась, все в том же торжественном и приглушенном ключе, дававшем обоим ощущение единства чувств и мыслей. Любые помехи постепенно стали раздражать их обоих, они перестали воспринимать шутливый тон по отношению к жизни и даже умеренный цинизм своих ровесников. Счастливыми их делала лишь эта бесконечная беседа, и в ее серьезности их души согревались, слово у горящего янтарным огнем костра. Ближе к концу стали возникать паузы, не вызывавшие у них раздражения – слова умолкали, уступая страсти.

Как ни странно, этот диалог захватил Энсона точно так же, как и ее, и влиял на него столь же глубоко; в то же время Энсон отдавал себе отчет, что с его стороны было много неискренности, а с ее – простодушия. Отсутствие сложности в ее чувствах поначалу вызывало у него презрение, но под действием любви Пола для него расцвела и стала казаться глубокой, и презрению в его душе места больше не было. Он чувствовал: если ему удастся проникнуть в теплую и безопасную жизнь Пола, он будет счастлив. Долгая подготовительная фаза диалога смела любые ограничения – он научил ее тому, что сам узнал раньше от женщин посмелее, и она восприняла это с восхищением, всей глубиной своей непорочной души. Однажды вечером после танцев они договорились пожениться, и он написал матери длинное письмо. На следующий день Пола рассказала ему, что

богата и обладает собственным состоянием — почти миллионом долларов.

III

Вышло так, словно они сказали друг другу: «Ни у тебя, ни у меня ничего нет; мы с тобой станем жить в бедности вместе», и прозвучало это так же восхитительно, хотя жить вместе им предстояло в богатстве. У них возникло чувство авантюрной общности. Но все же, когда в апреле Энсон получил отпуск и Пола с матерью поехали с ним на север страны, на Полу произвело глубокое впечатление то положение, которое его семья занимала в нью-йоркском обществе, и то, на какую широкую ногу они жили. Когда она впервые осталась с Энсоном наедине в доме, где он провел свое детство, ее охватило некое уютное чувство, словно она очутилась в полнейшей безопасности под неусыпным заботливым оком. Фотографии Энсона в шапочке выпускника школы, Энсона на коне, с сидящей за спиной зазнойбой из какого-то давно забытого лета, Энсона среди веселых гостей на чьей-то свадьбе заставили ее ревновать его к прошлому, в котором не было ее; его властная личность столь плотно заполняла и характеризовала все это имущество, что ей захотелось немедленно выйти замуж за Энсона и вернуться в Пенсаколу уже в качестве его жены.

Но о женитьбе сию же минуту не могло быть и речи — даже помолвку следовало сохранять в тайне до окончания войны. А когда до конца его отпуска осталось всего два дня, ее неудовлетворение вынужденным ожиданием вылилось в намерение заставить его почувствовать точно такое же нетерпение. Они собирались за город на ужин, и в тот же вечер она решила поставить вопрос ребром.

В тот день с ними в отеле «Ритц» остановилась кузина Полы — строгая и критически настроенная девица, вообще-то любившая Полу, но слегка завидовавшая ее впечатляющей помолвке; Пола

замешкалась, одеваясь, так что Энсона в номер впустила кузина, которая на вечеринку не собиралась.

В пять вечера Энсон встречался с друзьями и провел с ними час, обильно и опрометчиво выпивая. Йельский клуб выпускников он покинул вовремя, и шофер матери подвез его к «Ритцу», но обычная стойкость к алкоголю в тот день его покинула, а в душной гостиной с паровым отоплением у него вдруг закружилась голова. Он все это прекрасно понимал, и ему было весело и стыдно.

Кузине Полы было двадцать пять лет, но она была на редкость наивна и поначалу не поняла, что происходит. С Энсоном она была до этого не знакома, поэтому удивилась, когда он пробормотал нечто невразумительное и чуть не упал со стула. Пока не появилась Пола, ей и в голову не пришло, что то, что она приняла за запах побывавшей в химчистке военной формы, на самом деле был запах виски. Но Пола, едва войдя в комнату, узнала запах; необходимо было сделать так, чтобы Энсон ни в коем случае не попался на глаза матери, и кузина, встретившись с Полой взглядом, тут же все поняла.

Спустившись к лимузину, Пола и Энсон обнаружили в машине двух крепко спящих мужчин – это были его собутыльники из йельского клуба, которые тоже собрались на вечеринку. Он совсем забыл о том, что они остались в машине. По пути в Хемпстед они проснулись и принялись петь. Отдельные песни были грубоваты, и Пола поджала губы от стыда и отвращения, пытаясь в то же время смириться с мыслью, что Энсон, оказывается, почти не стесняется произносить вслух большинство запретных слов.

А в отеле смущенная и взволнованная кузина, поразмыслив над происшествием, вошла в спальню к миссис Лежендр и сказала:

– Какой же он забавный!

– Кто забавный?

– Как кто?! Мистер Хантер, конечно. Такой забавный!

Миссис Лежендр бросила на нее пристальный взгляд:

– И что же в нем такого забавного?

– Ах, он сказал, что он – француз! Я и не подозревала, что он из Франции.

– Чепуха какая-то! Ты, видно, его неправильно поняла. – Она улыбнулась. – Он пошутил.

Кузина упрямо покачала головой:

– Нет. Он сказал, что вырос во Франции. Сказал, что не говорит по-английски, поэтому не может со мной разговаривать. И он действительно не мог!

Миссис Лежендр раздраженно отвернулась, а кухня в тот же миг задумчиво добавила:

– Быть может, это случилось потому, что он был слишком пьян?

И вышла из комнаты.

Этот забавный рассказ был чистой правдой. Энсон, обнаружив, что не может разговаривать разборчиво и голос его не слышится, предпринял нестандартную попытку спасти ситуацию, объявив, что не разговаривает по-английски. Годы спустя он часто рассказывал эту историю и неизменно сообщал, что не может удержаться от громкого хохота при одном только воспоминании.

За следующий час миссис Лежендр пять раз пыталась дозвониться до Хемпстеда по телефону. Когда, наконец, вызов состоялся, ей пришлось прождать еще десять минут, прежде чем в телефоне послышался голос Полы.

– Кухня Жози рассказала мне, что Энсон напился.

– Ах, нет...

– Ах, да! Кухня Жози рассказала мне, что он напился. Сказал, что он француз, упал со стула и вообще вел себя как пьяный. Я не желаю, чтобы он провожал тебя домой!

– Мама, он в полном порядке! Пожалуйста, не волнуйся...

– Но я не могу не волноваться! Какой ужас! Пожалуйста, пообещай мне, что ты не поедешь с ним домой!

– Я постараюсь, мама...

– Я не желаю, чтобы он провожал тебя домой!

– Хорошо, мама. До свидания.

– Смотри же, Пола! Попроси кого-нибудь тебя подвезти.

Пола медленно оторвала трубку телефона от уха и повесила ее на аппарат. Ее лицо пылало от беспомощной досады. Энсон, растянувшись во весь рост, спал наверху, а на первом этаже ни шатко ни валко подходил к концу званый ужин.

За час езды Энсон немного протрезвел – когда они прибыли, он уже был просто слегка навеселе, и у Полы появилась надежда, что вечер не будет испорчен. Но после пары опрометчиво выпитых перед ужином коктейлей произошла катастрофа. Пятнадцать минут Энсон грубо и

слегка оскорбительно разглагольствовал перед гостями, а затем тихо осел прямо под стол, словно пьянчужка со старой открытки – но, в отличие от старой открытки, эта картина выглядела ужасно и отнюдь не пикантно. Присутствовавшие девушки, казалось, ничего не заметили – происшествие было встречено полной тишиной. Дядя и еще двое мужчин понесли Энсона наверх, и в этот самый момент Полу вызвали к телефону.

Через час Энсон проснулся в тумане нервных мучений, сквозь который через некоторое время ему удалось разглядеть фигуру дяди Роберта, стоявшего у двери.

– Я говорю, тебе лучше?

– Что?

– Тебе лучше, старина?

– Ужасно, – сказал Энсон.

– Я сейчас дам тебе еще одну таблетку бромозельцера. Примешь и уснешь, как младенец.

Энсон с трудом спустил ноги с кровати и встал.

– Я в порядке, – глухо сказал он.

– Спокойнее, спокойнее...

– Дай мне коньяку, и я спущусь вниз.

– Только не это!

– Только это и поможет. Я уже в порядке... Кажется, натворил я дел?

– Все сочли, что тебе сегодня нездоровится, – неодобрительно сказал дядя. – Можешь ни о чем не беспокоиться. Шайлер сюда вообще не добрался – «вырубился» прямо у шкафчика в гардеробной клуба «Линкс».

Относясь равнодушно к чьему угодно мнению, кроме мнения Пола, Энсон, тем не менее, был решительно настроен спасти хотя бы остаток вечера. Но, выйдя после холодного душа к гостям, он обнаружил, что почти все уже разъехались. Пола тут же встала, собираясь ехать домой.

В лимузине возобновилась прежняя многозначительная беседа. Она знала, что он пьет, признала она, но ничего подобного она не ожидала; ей вдруг пришло в голову – а вдруг они все же не подходят друг другу? У них слишком разные представления о жизни, и так далее. Когда она закончила говорить, стал говорить Энсон – очень

трезвым тоном. Затем Пола сказала, что ей необходимо все обдумать, сегодня она не станет принимать никаких решений; она не злилась, но ужасно сожалела. Она запретила ему провожать себя до дверей номера, но, перед тем как выйти из машины, нагнулась и грустно поцеловала его в щеку.

В следующий вечер у Энсона состоялась продолжительная беседа с миссис Лежендр, во время которой Пола просто сидела, не говоря ни слова. Договорились о том, что у Пола будет время, чтобы поразмыслить над этим происшествием, а затем мать и дочь последуют за Энсоном в Пенсаколу, если сочтут это для себя приемлемым. Он, со своей стороны, с достоинством принес свои самые искренние извинения – и все; даже получив в свои руки все козыри, у миссис Лежендр не получилось воспользоваться преимуществом. Он не дал никаких обещаний, он не унижался, он лишь произнес несколько глубокомысленных замечаний о жизни в целом, продемонстрировав к концу разговора чуть ли не моральное превосходство. Когда три недели спустя они приехали к нему на юг, ни Энсон, почувствовавший удовлетворение, ни Пола, испытавшая облегчение от примирения, так и не поняли, что благоприятный для развития их отношений психологический момент был упущен навсегда.

IV

Он всецело поглощал и привлекал ее, и в то же время наполнял ее тревогой. Сбитая с толку присущей ему смесью основательности и потакания своим слабостям, смесью чувств и цинизма – эти не сочетавшиеся друг с другом качества ее кроткий разум был не в силах воспринять как единое целое, – Пола понемногу стала считать, что в нем кроется сразу две разные личности. Оставшись с ним наедине или в обществе, на официальном приеме или в случайной компании людей,

занимавших невысокое положение, она ощущала огромную гордость от того, что находится вблизи столь сильной и привлекательной личности, проявлявшей заботу и понимание. А в других ситуациях ей становилось тревожно: обычно казавшееся славным отсутствие аристократических замашек проявляло себя с совсем иной стороны. «Иная сторона» была грубой и хохочущей, не думавшей ни о чем, кроме удовольствий. На время она отпугнула ее, заставив даже ненадолго, тайком, попытаться вернуть себе одного старого поклонника – но все было бесполезно: после четырех месяцев воздействия обволакивающей жизненной силы Энсона в любом другом мужчине в глаза бросалась лишь худосочная бледность.

В июле он получил приказ отправляться за границу, и их нежность и желание перешли в крещендо. Пола думала о том, чтобы пожениться прямо перед отъездом, и отказалась от этого намерения лишь потому, что теперь от Энсона все время пахло алкоголем; но горе от расставания превратилось для нее в физическую боль. После его отъезда она писала ему длинные письма о том, как жаль ей проводить в ожидании дни, потерянные для их любви. В августе аэроплан Энсона упал в океан у берегов Европы. После ночи в воде его поднял какой-то эсmineц, а затем Энсона отправили в госпиталь с пневмонией; перемирие подписали еще до того, как его окончательно комиссовали.

А затем, когда перед ними вновь забрезжили всевозможные перспективы, не отягощенные никакими материальными препятствиями, между ними встали тайные хитросплетения их характеров, высушив их поцелуи и осушив слезы, сделав их голоса не слышимыми друг для друга, приглушив сокровенный стук их сердец, и общаться, как раньше, они теперь могли лишь в письмах, находясь вдали друг от друга. Однажды вечером у дома Хантеров какой-то репортер светской хроники два часа прождал объявления об их помолвке. Энсон ничего не подтвердил; тем не менее в утренней газете на первой полосе появился репортаж: их «постоянно видят вместе в Саутгемптоне, Хот-Спрингс и в Такседо-Парк». Многозначительный диалог превратился в непрерывную ссору, и их роман постепенно сошел на нет. Энсон самым возмутительным образом напился и пропустил назначенную помолвку, а Пола высказала определенные претензии к его поведению. Его отчаяние оказалось безоружно перед

его гордостью и его знанием себя: помолвка была отменена окончательно и бесповоротно.

«Милый! – так звучали теперь их письма. – Милый мой, милый! Когда я просыпаюсь среди ночи и понимаю, что нам в конце концов не было суждено, мне кажется, что я готова умереть. Я не могу больше жить. Возможно, когда мы встретимся летом, мы сможем все обсудить и принять другое решение – в тот день мы оба были так взволнованны и печальны, и мне кажется, что я не смогу прожить свою жизнь без тебя. Ты рассказываешь мне о других людях. Разве ты не понимаешь, что для меня не существует других людей – для меня есть только ты...»

Разъезжая по курортам востока страны, Пола не забывала иногда упоминать и о своих увлечениях – чтобы он задумался. Но Энсон был слишком проникновенен, чтобы отнестись к этому серьезно. Попадавшиеся в письмах мужские имена только укрепляли его уверенность в ее чувствах, вызывая у него лишь легкое пренебрежение – он всегда чувствовал себя выше подобных вещей. И он не оставлял надежды на то, что когда-нибудь они все-таки поженятся.

А пока он решительно отдался во власть движения и блеска послевоенного Нью-Йорка. Он устроился на работу в одну посредническую фирму, вступил в несколько клубов, танцевал до утра и вращался сразу в трех мирах: в собственном, в мире выпускников Йеля и еще в том уголке полусвета, который уходит корнями в театральный мир Бродвея. При всем при этом восемь непрерывных часов он всегда посвящал своей работе на Уолл-стрит, где влиятельное положение родни в комбинации с его собственным острым умом и избытком природной физической энергии позволили ему сразу же вырваться вперед. Он обладал одним из тех бесценных умов, в которых всему есть свое место; в рабочем кабинете он появлялся вовремя даже тогда, когда после бессонной ночи ему едва удавалось

поспать хотя бы час, хотя такое случалось редко. Вот почему уже в 1920 году он заработал около двенадцати тысяч долларов, считая жалованье и комиссионные.

Йельские предания понемногу уходили в прошлое, и Энсон становился все более и более популярным среди своих нью-йоркских однокашников – в университете такая популярность ему и не снилась. Он сам жил в большом доме и имел возможность вводить других молодых людей в другие большие дома. Кроме того, его жизнь уже казалась полностью устроенной, в то время как жизни большинства его однокашников вновь вступили в фазу рискованного начала. Они стали обращаться к нему в поисках и развлечений, и убежища, и Энсон с готовностью откликался, получая удовольствие от помощи людям в устройстве их дел.

Из писем Полы теперь исчезли мужчины; в них стал читаться оттенок нежности, которого не было раньше. Сразу из нескольких источников он узнал, что у нее появился «преданный поклонник», Лоуэлл Тайер, богатый и влиятельный уроженец Бостона; хотя Энсон и был уверен, что она его все еще любит, мысль о том, что он все-таки может ее потерять, вызывала у него беспокойство. Не считая одного не принесшего радости дня, в Нью-Йорке она не была вот уже пять месяцев, а слухи множились, и у него возникло непреодолимое желание с ней увидеться. В феврале он взял отпуск и поехал во Флориду.

Округлый и пышный остров Палм-Бич развалился между сверкающим огромной бирюзовой полосой Атлантическим океаном и сапфиром лагуны Лэйк-Уэрт, с изъятиями в виде лодок, вставших на якоря то тут, то там. С белоснежного песка, словно два брюха, вздымались тяжелые громады отелей «Брейкерс» и «Ройял Пойнсиана», а вокруг них теснились клуб «Денсинг Глейд», казино «Бредли» и дюжина лавок модисток, в которых платья и галантерея стоили в три раза дороже, чем в Нью-Йорке. На опутанной плющом веранде отеля «Брейкерс» сразу две сотни женщин делали шаг вправо, шаг влево, поворачивались, совершали скользящее движение – в общем, исполняли ту самую ритмическую гимнастику, впоследствии прославившуюся под именем «дабл-шафл», и каждые полтакта музыки две тысячи браслетов на двух сотнях пар рук щелкали, поднимаясь вверх и опускаясь вниз.

В клубе «Эверглейдс» после захода солнца Пола, Лоуэлл Тайер, Энсон и подвернувший под руку четвертый партнер сели играть нагретыми от горячего воздуха картами в бридж. Энсону показалось, что ее доброе и такое серьезное лицо выглядит болезненным и усталым – с момента ее дебюта в обществе прошло уже четыре года, а может, и все пять лет. Он был знаком с ней уже три года.

– Две пики.

– Сигарету? Ах, прошу прощения. Я – пас.

– Пас.

– Удвою три пики.

В комнате была еще дюжина столиков, за которыми играли в бридж и курили, заполняя комнату табачным дымом. Энсон поймал взгляд Пола и не стал отводить глаз, даже встретившись взглядом с Тайером.

– А какая ставка? – рассеянно спросил он.

«Роза с Вашингтон-сквер, в душном городе ты зачахнешь совсем», – пели сидевшие в углу молодые люди.

Дым собирался в облака, словно туман, а когда открыли дверь, помещение заполнилось ворвавшимися внутрь клубами эктоплазмы. Блестящие глазки мелькали за столиками в зале, ища мистера Конан-Дойля среди англичан, застывших в вестибюле отеля, как и положено типичным англичанам.

– Хоть топор вешай!

– ... топор вешай!

– ... вешай!

Когда закончился роббер, Пола неожиданно встала и заговорила с Энсоном, напряженно и негромко. Едва кивнув Лоуэллу Тайеру, они вышли из зала и спустились по ступеням длинной каменной лестницы, а через мгновение уже шли, взявшись за руки, по залитому лунным светом пляжу.

– Милый, милая...

Остановившись в тени, они обнялись, отчаянно и страстно... Затем Пола откинула голову, чтобы его губы могли произнести то, что она хотела услышать, – когда они поцеловались вновь, она почувствовала, что слова вот-вот готовы сорваться с его губ... И вновь она отдалилась от него, прислушиваясь, но когда он опять притянул ее к себе, она поняла, что он так ничего и не сказал, а прошептал лишь: «Милая, милая!» – глубоким и печальным шепотом, от которого у нее всегда

наворачивались слезы. Робко и покорно поддавшись чувству, слезы потекли по ее щекам, а сердце продолжало кричать: «Решайся, Энсон, милый! Ах, прошу тебя, решайся же!»

– Пола... Пола!

Слова сжали ее сердце, словно клещами, и Энсон почувствовал, что она дрожит, и понял, сколь сильным было ее чувство. Не нужно ему больше ничего говорить, не нужно устремлять их судьбы в непостижимую реальность. Да и зачем, когда он может вот так вот держать ее в своих объятиях в ожидании подходящего момента – хоть год, хоть вечность? Он думал о ней и о себе – больше о ней, чем о себе. На мгновение, когда она вдруг сказала, что пора возвращаться в отель, он заколебался, подумав: «В конце концов, вот же он, момент!», но затем сказал себе: «Нет, можно и подождать – все равно она моя...»

Он забыл, что Пола слишком устала от напряжения последних трех лет. И в ту же ночь ее порыв исчез навсегда.

На следующее утро он уехал в Нью-Йорк, переполненный тревогой и неудовлетворением. В конце апреля, без всяких предупреждений, он получил телеграмму из Бар-Харбора, в которой Пола сообщала ему, что помолвлена с Лоуэллом Тайером и выходит за него замуж немедленно; их свадьба состоится в Бостоне. Он никогда не верил в то, что это может случиться, но это все же случилось.

В то утро Энсон накачался виски, а придя на работу, сел работать, и не пошел на обед – он боялся, что что-нибудь случится, если он остановится. Вечером, как обычно, он пошел в клуб, ни словом не обмолвившись о том, что произошло; он вел себя сердечно, веселился, никакой рассеянности. И лишь в одном он оказался бессилён: три дня, где бы он ни был, с кем бы ни общался, он иногда вдруг ронял голову, закрывал лицо руками и принимался плакать, как ребенок.

Когда в 1922 году Энсон поехал за границу вместе с одним из младших компаньонов, чтобы выяснить условия каких-то лондонских займов, сам факт этой командировки говорил о том, что его вскоре сделают совладельцем фирмы. К тому времени ему исполнилось двадцать семь лет, он слегка располнел, но не настолько, чтобы стать толстым, и приобрел манеры мужчины средних лет. Он пользовался доверием и расположением как людей постарше, так и среди молодежи; даже матери не боялись оставлять своих дочерей ему на попечение, потому что у него была такая привычка: входя куда-нибудь, он старался сразу же поставить себя рядом и на равных с присутствовавшими уважаемыми стариками и консерваторами. Казалось, он хотел всем сказать: «И вы, и я, мы с вами – солидные люди! Мы-то все понимаем!»

Он обладал инстинктивным знанием людских слабостей, к которым относился довольно снисходительно; вот почему он, словно священник, уделял большое внимание соблюдению внешней формы. Как пример можно привести тот факт, что каждое воскресное утро он появлялся в качестве преподавателя в модной воскресной школе протестантской епископальной церкви – хотя иногда после разгульной предыдущей ночи он едва успевал принять холодный душ и быстро переодеться в строгий пиджак.

После смерти отца он стал фактически главой семьи и, по сути, отвечал за направление судеб младших детей. По условию завещания его власть не распространялась на отцовское состояние, которым управлял дядя Роберт, добродушный и сильно пьющий член тяготеющего к Уитли-Хиллз слоя общества, известный в семье как большой любитель скачек.

В юности дядя Роберт и его жена Эдна очень дружили с Энсоном, и дядя сильно огорчился, когда имевшееся у племянника чувство превосходства не нашло себе выхода в увлечении скачками. Он рекомендовал его в один городской клуб, попасть в который было практически невозможно – в него принимали лишь тех, чьи семьи «помогали строить Нью-Йорк» (иными словами, разбогатели до 1880 года), – а когда Энсон, после одобрения своей кандидатуры, отказался от членства и вступил в клуб выпускников Йеля, дядя Роберт даже провел с ним по этому поводу краткую беседу. Но когда вдобавок к этому Энсон отказался перейти работать в патриархальную и слегка

запущенную посредническую фирму самого Роберта Хантера, отношение дяди к племяннику стало гораздо прохладнее. Словно учитель начальной школы, выучивший ребенка всему, что знал, он просто исчез из жизни Энсона.

А в жизни Энсона было так много друзей, и среди них едва ли нашелся бы хоть один, кому не приходилось пользоваться оказываемыми им из ряда вон выходящими одолжениями, и едва ли нашелся бы хоть кто-то, кого он периодически не ставил в неловкое положение своими приступами грубости или привычкой напиваться где угодно и при каких угодно обстоятельствах. Его раздражало, когда подобные промахи совершали другие, к своим же ошибкам он относился с неизменным юмором. С ним случались самые дикие истории, и он всегда рассказывал о них с заразительным смехом.

Весной того года я работал в Нью-Йорке и часто обедал с ним в клубе выпускников Йеля, приютившем и выпускников моего университета – в нашем клубе тогда делали ремонт. Я читал в газетах о замужестве Полы, и когда я как-то раз стал его о ней расспрашивать, что-то побудило его рассказать мне их историю. После этого он стал часто приглашать меня на семейные обеды домой и вел себя так, словно между нами были какие-то особые отношения – будто его откровенность наделила и меня частицей с недавних его воспоминаний.

Я обнаружил, что, невзирая на доверчивых мамаш, к девушкам он относился не совсем по-рыцарски. Все зависело от самой девушки: если она демонстрировала какие-либо слабости, ей лучше было глядеть в оба, в том числе и с ним.

– Жизнь, – признавался он иногда, – сделала из меня циника.

Под жизнью он подразумевал Полу. Иногда, особенно спьяну, вся история переворачивалась у него с ног на голову, и он принимался утверждать, что это она бессердечно его бросила!

Этот самый «цинизм» – точнее, убеждение в том, что легкомысленные девушки не заслуживают пощады, – и привел его к роману с Долли Каргер. Это был не единственный его роман в те годы, но именно он затронул его глубже всего и возымел самое обширное влияние на его отношение к жизни.

Долли была дочерью известного публициста, попавшего в высшее общество посредством женитьбы. Сама Долли добилась вступления в

«Лигу юных женщин», ее дебют в свете состоялся в «Плазе», ее приглашали на заседания «Женской ассамблеи». И лишь немногие из «старых» семей вроде Хантеров могли задаваться вопросом: «А принадлежит ли она к высшему обществу?», поскольку ее фотографии часто мелькали в газетах, а завидного внимания ей уделялось гораздо больше, чем многим девушкам, чья принадлежность к обществу не оспаривалась никем. У нее были черные волосы, пунцовые губы и яркий красивый румянец, который она весь первый год после дебюта скрывала с помощью розовато-серой пудры, потому что румянец тогда был не в моде – в моде была викторианская бледность. Она носила строгие черные костюмы и любила стоять, засунув руки в карманы, чуть сутулясь, с насмешливо-принужденным выражением. Она великолепно танцевала – больше всего на свете она любила танцевать! – больше всего на свете, не считая флирта. С тех пор как ей исполнилось десять, она была постоянно влюблена – обычно в какого-нибудь парня, не отвечавшего ей взаимностью. Те, кто отвечал – а таких было много, – надоедали ей чуть ли не после первого же свидания, а те, с кем она терпела неудачу, всегда занимали самое теплое место в глубине ее сердца. Встречаясь с ними, она всегда пробовала еще раз добиться успеха – и иногда получалось, но чаще неудача повторялась.

Этой гонявшейся за неведомым цыганской душе никогда и в голову не приходило, что у всех тех, кто ее не любил, было нечто общее – все они обладали хорошо развитой интуицией, позволявшей им заметить ее слабость – не слабость чувств, а недостаток неких руководящих принципов. Энсон заметил это сразу же после знакомства; и месяца не прошло с того дня, как Пола вышла замуж. Он тогда довольно сильно пил и целую неделю притворялся, что влюблен в Долли. Затем неожиданно ее бросил и тут же о ней позабыл, заняв тем самым доминирующую позицию у нее в сердце.

Как и большинство девушек той поры, Долли была вяловатой и опрометчивой сумасбродкой. Склонность к нарушению традиций в поколении постарше была всего лишь одним из аспектов послевоенного движения по отказу от устаревших манер; манеры самой Долли выглядели еще более старыми и ветхими. В Энсоне она заметила две крайности, которых всегда ищет эмоционально-инертная женщина: непринужденное отношение к удовольствиям,

чередующееся с покровительственной силой. В его характере она почувствовала одновременно сибаритство и надежность, а эти качества полностью удовлетворяли все потребности ее души.

Она понимала, что будут трудности, но она неправильно определила их причину, решив, что Энсон и его семья, вероятно, рассчитывают на более эффектную партию; в качестве оружия она сразу же выбрала его пристрастие к спиртному.

Они встречались на больших балах, где было много дебютанток, но ее страсть усиливалась, и они стали проводить все больше и больше времени наедине. Как и большинство матерей, миссис Каргер верила в исключительную надежность Энсона, поэтому разрешала Долли ездить с ним в далекие загородные клубы и в гости к жившим в пригородах знакомым, не допрашивая дочь с пристрастием о том, как они там проводят время, и не подвергая сомнениям ее объяснения по поводу чересчур поздних возвращений домой. Поначалу эти объяснения были, скорее всего, правдивыми, но практические планы Долли по захвату Энсона вскоре смяла поднявшаяся буря чувств. Поцелуев на задних сиденьях в такси и в лимузинах стало уже недостаточно, и тогда они придумали нечто оригинальное.

На некоторое время они исчезли из своего привычного мира и создали прямо под ним свой мирок, где пьянство Энсона и беспорядочное времяпрепровождение Долли было не так заметно и не подвергалось обсуждению. Этот мирок состоял из непостоянных элементов: в него входило несколько женатых университетских друзей Энсона, двое-трое молодых брокеров и страховых агентов, а также кучка людей без особых занятий, только что окончивших университет и обладавших деньгами и склонностью к разгулу. Не обладая простором и масштабом, этот мирок давал им такую свободу, которую он едва ли мог позволить даже себе. Более того, он вращался вокруг них, предоставляя Долли возможность насладиться чувством снисхождения, хотя Энсон этого удовольствия разделить не мог, поскольку вся его жизнь с самого детства и так представляла собой снисхождение с вершин уверенности.

Он не был в нее влюблен, и на протяжении долгой лихорадочной зимы их романа он часто говорил ей об этом. К весне он устал – ему захотелось почерпнуть новые силы из какого-нибудь другого источника. Кроме того, он понял, что должен сейчас же либо порвать с

ней, либо взять на себя ответственность за самое настоящее соблазнение. Одобрительное отношение ее семьи ускорило его решение: когда однажды вечером мистер Каргер осторожно постучал в дверь библиотеки, чтобы объявить о том, что в столовой оставлена бутылка старого коньяка, Энсон почувствовал, что жизнь потихоньку обкладывает его со всех сторон. В тот вечер он написал Долли короткое письмо о том, что уезжает на выходные и ввиду сложившихся обстоятельств лучше им больше никогда не встречаться.

Был июнь. Его семья закрыла на лето городской особняк и переехала за город, так что он временно переселился в йельский клуб. Я знал о том, как продвигается его роман с Долли. Его рассказы были щедро приправлены юмором, потому что он презирал неуравновешенных женщин и считал, что они вообще не заслуживают места в исповедуемой им социальной системе, и, когда в тот вечер он сказал мне, что решил с ней окончательно порвать, я обрадовался. Я периодически встречал Долли то тут, то там, и ее безнадежная борьба всякий раз вызывала у меня жалость – и еще я чувствовал стыд от того, что без всякого на то права знаю так много о ее жизни. Она была из тех, кого обычно зовут «милашка», но чувствовалось в ней некое безрассудство, приводившее меня в восхищение. Ее поклонение богине опустошения было бы не столь заметно, если бы она не предавалась ему с таким воодушевлением – она наверняка растратила бы себя попусту и пропала, но я обрадовался, когда услышал, что эта жертва не будет принесена у меня на глазах.

Энсон собирался оставить прощальное письмо у нее дома на следующий день. Ее дом в районе Пятой авеню был одним из немногих, не закрывшихся на лето, и он знал, что семейство Каргер, руководствуясь полученной от Долли ошибочной информацией, отложило поездку за границу, чтобы дочь смогла воспользоваться выпавшим ей шансом. Едва он вышел на Мэдисон-авеню из дверей йельского клуба, как навстречу ему попался почтальон, и он вернулся за почтой. Адрес на первом же попавшемся ему на глаза письме был написан рукой Долли.

Он знал, что лежит в конверте – одинокий и трагический монолог, полный хорошо известных ему упреков, вызванных, словно духи, воспоминаний и всяких «хотелось бы мне знать...» – всех этих древних намеков на душевные связи, которые он сам писал Поле

Лежендр, как ему казалось, сто лет назад. Пролистав несколько писем со счетами, он вновь вытащил письмо Долли и вскрыл его. К его удивлению, внутри была короткая и довольно сухая записка, в которой Долли уведомляла его, что не сможет поехать с ним за город на выходные, поскольку в город неожиданно приехал Перри Халл из Чикаго. Еще в конце была приписка о том, что Энсон сам виноват: «... если бы я чувствовала, что ты меня любишь так, как я тебя люблю, я бы поехала с тобой когда угодно и куда угодно; а Перри такой милый и так хочет, чтобы я вышла за него замуж...»

Энсон презрительно улыбнулся – он был хорошо знаком с подобными хитроумными посланиями. Более того, он отлично знал, что Долли тщательно проработала свой план: скорее всего, она сама послала за верным Перри, точно рассчитав время его приезда, и тщательно проработала текст записки, чтобы вызвать ревность, но при этом не спугнуть. Как и в большинстве угроз, в этой не было ни силы, ни энергии, а было лишь робкое отчаяние.

И вдруг он рассердился. Он сел в вестибюле клуба и перечитал письмо еще раз. Затем пошел к телефону, вызвал номер Долли и сказал ей своим чистым и властным голосом, что получил записку и заедет к ней в пять вечера, как договаривались. Едва выслушав притворно-неуверенное: «Ладно, может быть, я смогу освободиться на часок», он повесил трубку и пошел на работу. По пути он порвал свое письмо на мелкие клочки и разбросал их по улице.

Он не ревновал – она для него ничего не значила, – но ее жалкая уловка вытолкнула на поверхность все его упрямство и самолюбие. Это была дерзость со стороны низшего по уму, и ее нельзя было оставить безнаказанной. Уж если она пожелала узнать, кому она принадлежит – так он ей покажет!

В четверть шестого он появился на крыльце ее дома. Долли была одета для выхода на улицу, и он молча выслушал тираду: «Не больше часа, а потом я занята», которую она начала еще по телефону.

– Надень шляпу, Долли, – сказал он. – Мы идем гулять.

Они пошли по Мэдисон-авеню к Пятой авеню. Жара стояла такая, что вымокшая рубашка прилипла к дородному телу Энсона. Говорил он мало, отругал ее, не сказал ни слова о любви, но не прошли они и шести кварталов, как она уже снова была в его власти, просила прощения за записку, обещала не видеться с Перри и в качестве

искупления обещала все что угодно. Она решила, что он пришел к ней потому, что в нем проснулась любовь.

– Мне жарко, – сказал он, когда они дошли до 71-й улицы. – На мне теплый костюм. Не возражаешь, если мы зайдем ко мне, я переоденусь, а ты меня подождешь внизу? Я мигом.

Она была счастлива; его столь личное замечание о том, что ему жарко, как и любой факт, касавшийся его тела, вызывали в ней трепет. Когда они подошли к закрытой железной решеткой двери особняка и Энсон достал ключ, она испытала почти что восторг.

На первом этаже было темно, и когда Энсон уехал в лифте наверх, Долли приподняла портьеру и поглядела сквозь полупрозрачное кружево занавески на дома через дорогу. Она услышала, как лифт остановился, и нажала кнопку, чтобы кабина приехала вниз, – ей вдруг захотелось его подразнить. Затем, повинаясь чему-то большему, чем просто импульс, она вошла в кабину и отправилась наугад на тот этаж, где, как она считала, были его комнаты.

– Энсон! – позвала она, тихонько посмеиваясь.

– Минутку! – ответил он из спальни... и затем, после короткой паузы: – Вот теперь можешь войти!

Он уже переоделся и застегивал жилет.

– Это моя комната, – весело сказал он. – Нравится?

Ее взгляд упал на висевшую на стене фотографию Полы, и она стала ее увлеченно разглядывать – точно так же, как пять лет назад Пола разглядывала фотографии детских увлечений Энсона. Она кое-что слышала о Поле – она иногда себя мучила, выслушивая фрагменты этой истории.

Вдруг она подошла к Энсону совсем близко и протянула к нему руки. Они обнялись. Солнце еще ярко отсвечивало на крыше дома через дорогу, но за окном уже повисли мягкие ненастоящие сумерки. Через полчаса в комнате будет почти темно. Они были ошеломлены неожиданной возможностью, оба затаили дыхание и прижались друг к другу. Это было неминуемо и неизбежно. Все еще держа друг друга в объятиях, они подняли головы – и их взгляды одновременно упали на лицо Полы, глядевшей на них с фотографии на стене.

Энсон неожиданно опустил руки и, сев за стол, стал искать на связке ключ от ящика стола.

– Хочешь чего-нибудь выпить? – хрипло спросил он.

– Нет, Энсон.

Он налил себе полбокала виски, выпил, а затем открыл дверь в холл.

– Пойдем, – сказал он.

Долли заколебалась:

– Энсон... Я все же поеду с тобой сегодня за город. Ты ведь понимаешь, не так ли?

– Конечно, – резко ответил он.

В машине Долли они отправились на Лонг-Айленд, и сердца их, как никогда раньше, бились почти в унисон. Они знали, что это должно было случиться, но только не под взглядом Полы, напомнившим им о том, что им чего-то не хватало, а тогда, когда они окажутся наедине посреди тихой жаркой ночи на Лонг-Айленде, которой не было до всего этого никакого дела.

Имение в Порт-Вашингтон, где они должны были провести выходные, принадлежало кузине Энсона, вышедшей замуж за медного фабриканта из Монтаны. Бесконечная подъездная дорожка начиналась от сторожки, ведя извивами под свежесажеными тополями прямо к огромному, выкрашенному в розовый цвет особняку в испанском стиле. Энсон раньше часто приезжал сюда погостить.

После ужина они танцевали в клубе «Линкс». Около полуночи Энсон убедился, что кузины не собираются уезжать раньше двух утра, после чего сказал всем, что Долли устала; он проводит ее домой, а потом вернется на танцы. Слегка дрожа от возбуждения, они сели в позаимствованную у кого-то на время машину и поехали в Порт-Вашингтон. Он приказал остановить у сторожки, вышел и заговорил со сторожем:

– Карл, когда пойдешь в обход?

– Сейчас собираюсь.

– А потом вернешься и будешь здесь, пока все не приедут?

– Да, сэр.

– Отлично. Слушай: если какой-нибудь автомобиль, все равно чей, свернет к воротам, сейчас же звони в дом! – И он сунул в руку Карла пятидолларовую бумажку. – Все ясно?

– Да, мистер Энсон. – Будучи слугой старой закалки, он и глазом не моргнул и даже не улыбнулся. Но Долли все равно сидела, стараясь на него не смотреть.

У Энсона был свой ключ. Войдя, он смешал коктейли для себя и для нее – Долли к своему не притронулась, – затем предусмотрительно поискал телефон и проверил, будет ли слышно звонок в их комнатах, которые располагались на первом этаже.

Спустя пять минут он постучался в дверь комнаты Долли.

– Энсон, это ты?

Он вошел, закрыв за собой дверь. Она была в постели и взволнованно вытянулась, опираясь локтями на подушку; сев рядом, он обнял ее.

– Энсон, милый...

Он ничего не ответил.

– Энсон... Энсон! Я тебя люблю... Скажи, что ты меня любишь. Скажи мне – почему ты не говоришь? Даже если это не так, скажи!

Он ничего не слышал. Глядя поверх ее головы, он заметил, что и здесь на стене висит портрет Полы.

Он встал и подошел к стене. Тускло блеснула рама в трижды отразившемся от нее лунном свете – за стеклом виднелась размытая тень совершенно незнакомого лица. Чуть не плача, он развернулся и с отвращением поглядел на маленькую фигурку на постели.

– Что за глупость! – едва разборчиво сказал он. – И о чем я вообще думал? Я тебя не люблю! Тебе лучше дождаться того, кто будет тебя любить! Я тебя совсем не люблю, понимаешь?

Он говорил отрывисто – и торопливо вышел за дверь. Оказавшись в гостиной, он дрожащими руками налил себе выпить, и в этот момент неожиданно открылась входная дверь и вошла его кухня.

– Ах, Энсон! Мне сказали, что Долли себя плохо чувствует? – обеспокоенно начала она. – Я слышала, что ей плохо...

– Да ничего страшного, – перебил он ее, произнося слова как можно громче, чтобы было слышно в комнате Долли. – Она просто немного устала. И пошла спать.

Долго еще после этого Энсон верил, что сам Господь-хранитель иногда вмешивается в людские дела. Но Долли Каргер, глядя на потолок и не в силах уснуть, больше никогда и ни во что уже не верила.

VI

Когда осенью следующего года Долли вышла замуж, Энсон находился по делам в Лондоне. Свадьба произошла так же неожиданно, как и свадьба Пола, но подействовала на него иначе. Поначалу он считал это забавным и мысли о свадьбе Долли вызывали у него лишь смех, но потом эти мысли стали его угнетать: он почувствовал, что стареет.

Было во всем этом что-то повторяющееся – а ведь Пола и Долли принадлежали к разным поколениям! Он чувствовал себя, словно человек лет сорока, услышавший, что дочь его старинной пассии вышла замуж. Он отправил поздравление; в отличие от отправленного Поле, оно было искренним, ведь Поле он на самом деле никогда не желал счастья в браке.

По возвращении в Нью-Йорк его сделали совладельцем фирмы, и теперь, поскольку у него стало больше обязанностей, свободного времени стало гораздо меньше. Отказ страховой компании оформить ему полис страхования жизни произвел на него такое сильное впечатление, что он на год бросил пить и стал всем рассказывать, что самочувствие у него теперь значительно улучшилось. Но мне кажется, что он сильно скучал по своим веселым историям в духе «Автобиографии» Челлини, которые играли столь значительную роль в его жизни, когда ему было двадцать. Но йельский клуб он не покинул. Здесь он являлся фигурой, яркой личностью и хранителем традиций своего выпуска, покинувшего университет вот уже семь лет тому назад и понемногу дрейфовавшего в сторону более трезвых пристанищ, но не слишком быстро, и все благодаря его присутствию.

Если его просили о какой угодно помощи, у него никогда не бывало слишком много дел, он никогда не ссылался на усталость. То, что поначалу делалось из гордости и чувства превосходства, превратилось в привычку и страсть. А помощь требовалась всегда – то чей-нибудь младший брат, учившийся в Йеле, попадал в неприятности, то нужно было уладить ссору какого-нибудь приятеля с женой, то кому-нибудь

нужно было помочь найти работу, то кому-нибудь нужен был совет, куда вложить деньги. Но его «коньком» стало решение проблем женатой молодежи. Молодые пары приводили его в восхищение, их дома были для него священны; он всегда знал историю их отношений, советовал, где и как можно выгодно нанять квартиру, помнил имена всех детей. К молодым женам он относился крайне осмотрительно; никогда не злоупотреблял доверием мужей, и они неизменно на него полагались, даже несмотря на его всем известный разгульный образ жизни.

Его радовали чужие радости и счастливые браки, а несчастливые – вызывали почти столь же приятное чувство легкой грусти. Не было такого года, когда ему не довелось бы наблюдать крушения чьих-нибудь романтических отношений, в том числе и развивавшихся при его поддержке. Когда Пола развелась и практически сразу вышла замуж за какого-то другого уроженца Бостона, он целый вечер рассказывал мне о ней. Он никогда не полюбит никого так, как когда-то он любил Полу, но теперь ему уже все равно, настойчиво повторял он.

«Я никогда не женюсь, – часто говорил он. – Я видел достаточно и знаю, что счастливый брак – вещь крайне редкая. А кроме того, я уже слишком стар!»

Но он верил в брак! Как и все мужчины, бывшие на волосок от счастливого и успешного брака, он страстно в него верил, и ничто из того, что он видел, не могло его веру поколебать. Когда дело касалось брака, его цинизм мгновенно улетучивался. Но он и в самом деле считал себя слишком старым. К двадцати восьми годам он принялся хладнокровно рассматривать перспективу жениться без романтической любви; он, не колеблясь, выбрал себе какую-то девушку из нью-йоркского общества, умную, близкую ему по интересам, с безупречной репутацией, и сконцентрировался на том, чтобы в нее влюбиться. Но без улыбки и с той силой, которая придает словам убедительность, он больше не мог говорить то, что говорил Поле искренне, а другим – из любезности.

– Когда мне стукнет сорок, – говорил он друзьям, – я созрею. Как все, паду к ногам какой-нибудь хористки!

Тем не менее он упорно продолжал свои попытки. Мать хотела, чтобы он женился, и он теперь запросто мог себе это позволить – у

него появилось собственное место на бирже, а его годовой заработок составлял около двадцати пяти тысяч долларов. Сам он не имел ничего против: большую часть свободного времени он проводил в том самом мирке, который построил вместе с Долли, и когда друзья стали все чаще проводить вечера и ночи в домашнем кругу, его свобода перестала его радовать. Он стал считать, что зря тогда не женился на Долли. Ведь даже Пола не любила его больше, чем она, а он теперь знал, как редко в жизни встречается подлинное чувство.

И вот, когда им постепенно стали овладевать такого рода настроения, до него стали доходить тревожные слухи. Поговаривали, что тетя Эдна, которой было под сорок, совершенно открыто завязала интрижку с беспутным и сильно пьющим юнцом по имени Кэри Слоан. Об этом знали все, кроме ее мужа, дяди Роберта, который вот уже пятнадцать лет проводил все свое время в клубе за пустой болтовней, считая, что его жена от него никуда не денется.

История доходила до ушей Энсона несколько раз, вызывая у него все большее раздражение. Частично вернулось прежнее чувство к дяде, но оно было больше, чем просто дружеское чувство; это было скорее что-то вроде семейной солидарности, на которой зиждилась его гордость. Интуиция ему подсказала, что главное в этом деле – ни в коем случае не задеть дядю. До этого ему не доводилось вмешиваться без спросу в чужие дела, но благодаря своему знанию характера тети Эдны он решил, что ему удастся справиться с делом лучше, нежели окружающему судье или самому дяде.

Семья дяди находилась в Хот-Спрингс. Энсон отыскал источник слухов, чтобы полностью исключить вероятность ошибки, а затем позвонил Эдне и пригласил ее пообедать с ним в «Плазе» на следующий день. Что-то в его тоне ее испугало, потому что она принялась отказываться от приглашения, но он настаивал, с готовностью откладывая дату до тех пор, пока у нее не осталось никакой возможности отказаться.

В назначенное время она появилась в вестибюле «Плазы»: еще красивая, но уже увядающая сероглазая блондинка в манто из русских соболей. На изящных пальцах холодно блестело пять колец с крупными бриллиантами и изумрудами. Энсон подумал, что и меха, и камни – весь этот богатый блеск, поддерживавший на плаву ее увядающую красоту, – заработал его отец, а вовсе не дядя.

И хотя Эдна почуяла его враждебный настрой, к прямому выпадку она оказалась не готова.

– Эдна, я изумлен твоим поведением, – произнес он уверенным и открытым тоном. – Сначала я не верил...

– Не верил во что? – резко перебила она.

– Не притворяйся, Эдна! Я говорю о Кэри Слоане! Не говоря о других соображениях, у меня в голове не укладывается, как же ты могла так поступить с дядей Робертом и...

– Послушай, Энсон... – сердито начала она; но он, не обращая на это внимания, категоричным тоном продолжил:

– ... со своими детьми? Ты уже восемнадцать лет замужем, и в твоём возрасте пора бы научиться думать о таких вещах!

– Какое у тебя право так со мной разговаривать? Ты не имеешь...

– Имею. Дядя Роберт всегда был моим лучшим другом. – Он был ужасно взволнован; сейчас он по-настоящему переживал за дядю и за трех своих юных кузенов.

Эдна встала, даже не притронувшись к салату из крабов:

– Ничего глупее...

– Очень хорошо! Если ты не согласна меня слушать, я пойду к дяде Роберту и расскажу ему все – рано или поздно он все равно об этом узнает. А затем я побеседую со старым Моисеем Слоаном.

Эдна рухнула обратно на стул.

– Не нужно говорить так громко, – взмолилась она; у нее в глазах застыли слезы. – Ты даже не представляешь, какой у тебя громкий голос! Мог бы выбрать менее людное место, чтобы высказать мне все эти дикие обвинения!

Он ничего не ответил.

– Ах, я знаю, я тебе никогда не нравилась, – продолжала она. – Ты просто ухватился за глупую сплетню, чтобы разрушить единственную настоящую дружбу в моей жизни! Что же я такого тебе сделала, что ты меня так ненавидишь?

Энсон продолжал молчать. Сейчас она начнет взывать к его рыцарским чувствам, затем к его жалости и, наконец, к его исключительной искушенности, а когда он продерется сквозь эти дебри, пойдут признания, и вот тогда и начнется борьба. Молчанием, глухотой к ее мольбам, постоянным возвращением к своему главному оружию, искреннему чувству, за тот час, пока длился обед, он запугал

ее так, что она впала в неистовое отчаяние. В два часа она вытащила зеркальце и платок, стерла следы слез и заровняла оставленные ими впадинки в слое пудры. Она согласилась встретиться с ним у себя дома в пять.

Когда он приехал, она полулежала на шезлонге, покрытом на лето кретоном; слезы, вызванные им за обедом, казалось, так и застыли у нее в глазах. Затем он увидел, что у холодного очага стоит мрачный и встревоженный Кэри Слоан.

– Что это ты себе втемаяшил в голову? – тут же выпалил Слоан. – Как я понял, ты пригласил Эдну на обед, а затем принялся ей угрожать, поверив в пустые скандальные сплетни?

Энсон сел:

– У меня нет причин считать, что это просто сплетни.

– Я слышал, что ты собрался пересказать все это Роберту Хантеру и моему отцу?

Энсон кивнул.

– Либо вы сами все прекратите – либо это сделаю я! – ответил он.

– Какое, черт возьми, тебе до этого дело, Хантер?

– Не выходи из себя, Кэри, – нервно сказала Эдна. – Нам нужно всего лишь доказать ему, сколь нелепо...

– Начнем с того, что мою фамилию теперь склоняют на все лады, – перебил его Энсон. – И этого для тебя, Кэри, достаточно!

– Эдна – не член твоей семьи!

– Да что ты говоришь! – Его гнев усилился. – И дом, которым она владеет, и даже кольца у нее на руках – все это заработано умом моего отца! Когда дядя Роберт на ней женился, у нее и гроша ломаного не было!

Все посмотрели на кольца, словно они в данной ситуации вдруг обрели решающее значение. Руки Эдны дернулись, словно ей захотелось их тут же снять.

– И что, в мире больше нет таких колец?! – сказал Слоан.

– Ах, да ведь это просто смешно! – воскликнула Эдна. – Энсон, выслушай меня! Я выяснила, откуда пошли все эти глупые сплетни. Это все из-за горничной, которую я уволила и которая затем нанялась к Чиличевым – эти русские всегда выпрашивают у слуг про их бывших хозяев, а затем придумывают всякие небылицы. – Она гневно стукнула

по столу кулаком. – И это после того, как Роберт одолжил им наш лимузин на целый месяц, пока мы ездили зимой на юг...

– Понятно? – с жаром спросил Слоан. – Эта горничная все перевернула с ног на голову! Она знала, что мы с Эдной дружим, и донесла об этом Чиличевым. А у них в России считается, что если мужчина и женщина...

И он развил тему, прочитав целую лекцию об общественных отношениях на стыке Европы и Азии.

– Ну, если это так, тогда лучше все объяснить дяде Роберту, – сухо сказал Энсон. – И когда слухи дойдут и до него, он будет знать, что они ложные!

Вновь применив метод, использованный им против Эдны за обедом, он не препятствовал им объясняться и дальше. Он знал, что они виноваты и что они вот-вот пересекут черту и перейдут от объяснений к оправданиям, чем окончательно докажут свою вину – гораздо лучше, чем это сделал бы он сам. К семи вечера они решились на отчаянный шаг и рассказали ему правду: отсутствие внимания со стороны Роберта Хантера, пустая жизнь Эдны, легкомысленный флирт, превратившийся в страсть... Но, как и большинство правдивых историй, эта история, к несчастью, была стара, как мир, и ее дряхлое тельце не смогло выдержать натиска железной воли Энсона. Угроза рассказать обо всем отцу Слоана обезоружила их полностью, поскольку последний – отошедший от дел хлопковый магнат из Алабамы – был печально известен своим воинствующим фундаментализмом и тем, что контролировал жизнь сына, почти не давая ему денег и обещая при следующей же скандальной выходке прекратить давать деньги совсем.

Ужинать они пошли в небольшой ресторан с французской кухней, и там разговор продолжился: в какой-то момент Слоан даже опустил до угроз физической расправой, но чуть позже любовники стали умолять Энсона дать им еще немного времени. Энсон был неумолим. Он видел, что Эдна сдается и сейчас ей нельзя давать передышку в виде новой вспышки страсти.

В два часа утра, в небольшом ночном клубе на 53-й улице, нервы Эдны окончательно сдали, и она в слезах крикнула, что желает сию же минуту ехать домой. Слоан много пил весь вечер и погрузился в состояние пьяной тоски; облокотившись о стол, он закрыл лицо

руками и даже всплакнул. Энсон быстро озвучил свои условия. Не позднее чем через два дня Слоан покидает город на полгода. После его возвращения роман не возобновляется; по истечении года Эдна, если пожелает, сможет сказать Роберту Хантеру о том, что желает получить развод, а дальше может действовать так, как обычно действуют в подобных обстоятельствах.

Он умолк и посмотрел им в глаза, набираясь уверенности для своего последнего слова.

– Либо вы поступаете иначе, – медленно произнес он. – Эдна отказывается от детей, и вы можете вместе бежать – в таком случае я ничем не смогу вам помешать.

– Я хочу домой! – снова воскликнула Эдна. – Ах, да сколько же ты можешь нас мучить?

На улице было темно, лишь вдали мерцал слабый отсвет с Шестой авеню. В этом свете двое, еще недавно бывшие любовниками, в последний раз с печалью посмотрели друг другу в глаза, понимая, что у них нет ни молодости, ни силы, чтобы отсрочить грозящую им вечную разлуку. Слоан резко развернулся и пошел по улице, а Энсон постучал по плечу задремавшего водителя такси.

Было почти четыре утра; по призрачной брусчатке Пятой авеню упорно лился поток очищавшей ее воды, на погруженном в темноту фасаде собора Святого Томаса в свете фар промелькнули силуэты двух проституток. Затем показались пустынные аллеи Центрального парка, где Энсон часто играл в детстве, и номера бегущих мимо улиц становились все больше – эти цифры обладали таким же значением, как и слова. Это был его город, думал он, город, в котором вот уже пять поколений живет его семья. Никакие перемены не изменят занимаемого ими здесь места, потому что именно перемены и были тем главным основанием, по которому и он, и любой, носящий его фамилию, отождествлял себя с духом Нью-Йорка. Мощный ум и сильная воля – ведь в слабых руках его угрозы ничего бы не дали! – очистили налипшую было грязь и с фамилии дяди, и с имен других членов семьи, и даже с дрожащей фигуры, сидевшей в машине рядом с ним.

Тело Кэри Слоана нашли наутро на нижней ступени опоры моста Квинсборо. В темноте, сильно взволнованный, он решил, что под ногами внизу чернеет вода, но не прошло и секунды, как это уже не

имело никакого значения, если только он не рассчитывал вспомнить напоследок об Эдне и выкрикнуть ее имя перед тем, как уйти камнем в воду.

VII

Энсон никогда не винил себя за ту роль, которую он сыграл в этой истории – так сложились обстоятельства, и не он стал тому виной. Но, как известно, и праведный пострадал за неправедных, и для Энсона кончилась самая старая и, возможно, самая дорогая дружба. Он так никогда и не узнал, какую ложь сочинила тетя Эдна, но в доме дяди ему больше никогда не были рады.

Под Рождество душа миссис Хантер удалилась на аристократические епископальные небеса, и формальным главой семьи стал Энсон. Жившая с ними с незапамятных времен незамужняя тетка взяла на себя заботы по дому, неумело и безуспешно пытаясь воспитывать младших сестер. Остальные дети обладали вполне заурядными добродетелями и недостатками и меньшей, чем у Энсона, самодостаточностью. Из-за смерти миссис Хантер пришлось отложить первый выход в свет одной из дочерей и свадьбу другой. Ее смерть также похитила у них нечто более осязаемое – с ее уходом подошло к концу молчаливое и дорогостоящее превосходство Хантеров.

Во-первых, состояние, и так значительно уменьшившееся после уплаты двух налогов на наследство, вскоре предстояло разделить между шестерыми детьми – и теперь его уже нельзя было считать выдающимся. Энсон даже заметил у младших сестер тенденцию говорить с уважением о семьях, о которых лет двадцать назад в обществе никто и не слышал. Имевшееся у него чувство принадлежности к высшим слоям общества никак не проявлялось у сестер – они иногда демонстрировали заурядный снобизм, только и всего. Во-вторых, это было последнее лето, которое семья проводила в

коннектикутском имении; слишком уж громко все выступали против: «Да кому охота проводить лучшее время года в этой забытой богом глуши?» Пусть и нехотя, но он уступил – осенью дом будет выставлен на продажу, а на следующее лето будет нанят дом поменьше где-нибудь в округе Уэстчестер. Это было отступлением от отцовского канона дорогостоящей простоты, и, несмотря на то что он отнесся к этому перевороту с пониманием, он вызывал у него раздражение: пока была жива мать, Энсон ездил туда почти каждые две недели, даже в самый разгар летнего веселья.

Но и он стал частью этой перемены. Когда ему было двадцать лет, от пустого похоронного веселья бесплодного и праздного класса его отвратило лишь сильное инстинктивное чувство жизни. Он сам не очень хорошо это понимал, ведь он все еще был уверен, что существует некий эталон, некий стандарт общества. Но не было никакого эталона, да и вообще вызывает сомнения существование в нью-йоркском обществе каких-либо строгих правил. Те немногие, кто все еще был готов платить и бороться за вход в какой-либо общественный слой, в результате обнаруживали, что система уже практически не функционирует – или, что было еще хуже, выясняли, что та самая богема, от которой они бежали, восседала на самых почетных местах с ними за одним столом.

Энсона к двадцати девяти годам больше всего тревожило его собственное растущее одиночество. Теперь он был уверен, что никогда не женится. Свадеб, на которых он побывал в качестве шафера или почетного гостя, было уже не сосчитать – дома в шкафу у него был целый ящик, доверху набитый подаренными ему по традиции на память о свадьбе галстуками. Эти галстуки напоминали ему то о любви, не продержавшейся и года, то о парах, исчезнувших из его жизни навсегда. Булавки для галстуков, золотые карандашники, запонки для манжет – подарки от целого поколения женихов – сначала попадали в его шкатулку с сувенирами, а затем терялись, и с каждой новой церемонией он все больше утрачивал способность представить себя на месте жениха. За его самыми сердечными пожеланиями всем этим парам таилось отчаяние по поводу собственного счастья.

Ближе к тридцати годам его все сильнее стали огорчать неустранимые препятствия, создаваемые браком для дружбы. Целые группы людей демонстрировали приводящую в замешательство

тенденцию к распаду и исчезновению. Его университетские приятели – те, кому он уделял больше всего времени, к кому чувствовал самую сильную привязанность, – становились все более недоступны. Большая часть все глубже уходила в свой домашний круг, двое умерли, один переехал за границу, еще один уехал в Голливуд писать сценарии для фильмов, которые Энсон всегда добросовестно ходил смотреть.

Но абсолютное большинство превратилось в жителей пригородных коттеджей и появлялось в городе лишь в рабочее время; все были отягощены сложностями семейной жизни и проводили свободное время в каком-нибудь загородном клубе. Именно они и вызывали у него наиболее острое чувство отстранения.

В начале своей семейной жизни все они в нем нуждались; он давал им советы относительно их тощих финансов, развеивал их сомнения в том, что ребенка можно заводить и в «паре комнат с ванной» – для них он олицетворял собой огромный внешний мир. Но теперь все их финансовые трудности остались позади, а ожидаемое со страхом чадо влилось в поглощающую все их внимание семью. Они всегда были рады видеть «старину Энсона», но теперь они специально наряжались к его приходу и старались произвести на него впечатление своими успехами, не делаясь при этом своими проблемами. Он больше не был им необходим.

За несколько недель до его тридцатилетия женился последний из закадычных друзей его юности. Энсон выступил в обычной для себя роли шафера, подарил, как обычно, серебряный сервиз и приехал на причал к отходу парохода «Гомерик», чтобы попрощаться. Был май; вечер пятницы выдался жарким, и когда он сошел с пирса, ему пришло в голову, что уже начались выходные, так что до утра понедельника он совершенно свободен.

– И куда? – спросил он себя.

В йельский клуб, конечно! До ужина – бридж, затем три-четыре крепких коктейля у кого-нибудь в номере, а затем – приятный и сумбурный вечер. Он пожалел, что сегодняшней жених не сможет составить ему компанию, – им всегда удавалось втиснуть так много в подобные вечера: они умели привлекать женщин и избавляться от них, и всегда точно знали, какую толику от их просвещенного гедонизма заслуживала любая девушка. Веселый вечер подчиняется определенным правилам – берешь таких-то девушек, везешь в такое-то

место и тратишь ровно столько, чтобы всем было весело; немного выпиваешь – немного, но больше, чем должен бы, – и в определенный час, ближе к утру, встаешь и говоришь, что тебе пора домой. Следует избегать студентов, забулдыг, охотниц за женихами, драк, сантиментов и болтливости. Вот как все должно быть, а остальное – просто бессмысленный разгул.

По утрам никогда не приходилось ни о чем сожалеть – ты ведь не принимал никаких решений. А если все же немного перестарался и сердце пошаливало, можно было, никому ничего не говоря, на несколько дней бросить пить – и дождаться, пока накопившаяся нервная скука не заставит тебя вновь устроить вечеринку.

В вестибюле йельского клуба было пустынно. В баре сидело трое совсем юных выпускников, взглянувших на него мельком и без всякого любопытства.

– Эй, Оскар, привет! – поздоровался он с барменом. – Видел сегодня мистера Кейхила?

– Мистер Кейхил уехал в Нью-Хейвен.

– Вот как? Точно?

– Поехал на футбол. Много народу поехало.

Энсон еще раз окинул взглядом вестибюль, о чем-то на мгновение задумался, а затем пошел к дверям и вышел на Пятую авеню. Из широкого окна одного из клубов – он в нем состоял, но лет пять уже там не появлялся – на него уставился седой мужчина с водянистыми глазами. Энсон тут же отвернулся – вид этой фигуры, восседавшей в бездеятельном смирении и надменном одиночестве, подействовал на него угнетающе. Он остановился, пошел обратно, а затем направился по 47-й улице к квартире Тика Уордена. Тик и его жена когда-то были самыми близкими его друзьями; Энсон с Долли Каргер в дни своего романа частенько бывали у них в доме. Но Тик стал много пить, и его жена во всеуслышание заявила, что Энсон оказывает на него плохое влияние. Замечание достигло ушей Энсона в сильно приукрашенном виде, а когда все, наконец, выяснилось, нежное очарование близости было утрачено навсегда.

– Мистер Уорден дома? – спросил он.

– Хозяева уехали за город!

Этот факт неожиданно причинил ему острую боль. Они уехали за город, а ему не сказали! Два года назад он обязательно знал бы точную

дату, и даже час отъезда, его бы пригласили в последний день, чтобы выпить на прощание и договориться о приезде в гости. А теперь они уехали, не сказав ему ни слова!

Энсон взглянул на часы и подумал: не провести ли ему выходные с семьей? Но на сегодня остался один-единственный местный поезд, который будет медленно тащиться по изнуряющей жаре целых три часа. А завтра придется провести целый день за городом – будет воскресенье, – а ему совершенно не хотелось играть на крыльце в бридж с вежливыми студентами и тащиться после ужина на танцы в сельский клуб. Как же был прав отец, цenia эти жалкие развлечения по достоинству!

– Только не это! – сказал он себе. – Нет!

Беспорядочная жизнь не оставила на нем следов; он начал полнеть, только и всего, а во всем остальном он так и остался исполненным достоинства и производящим глубокое впечатление молодым мужчиной. Из него могла бы получиться замечательная опора для чего-нибудь; иногда можно было с уверенностью сказать, что не для общества, а иногда – как раз наоборот – опора правосудию, опора церкви. Несколько минут он простоял, не двигаясь, на тротуаре, перед многоквартирным домом на 47-й улице. Кажется, впервые в жизни ему было абсолютно нечем заняться.

Затем он быстро пошел к Пятой авеню, словно только что вспомнил о ждавшем его там важном деле. Необходимость вводить окружающих в заблуждение – одна из немногих черт, роднящих нас с собаками, и Энсон в тот день напоминает мне холеного породистого пса, которого постигло разочарование у хорошо знакомой двери черного хода. Он решил навеститься к Нику, когда-то модному бармену, который был нарасхват среди тех, кто устраивал частные балы, а теперь вот разливал охлажденное безалкогольное шампанское в подвальных лабиринтах отеля «Плаза».

– Ник, – сказал он, – куда все подевалось, а?

– Сгинуло! – ответил Ник.

– Смешай мне «Виски сауэр». – Энсон протянул ему бутылку виски через стойку. – Ник, девушки стали другими. У меня была малышка в Бруклине. На той неделе она вышла замуж, а мне ни слова не сказала!

– Да вы что? Ха-ха-ха, – дипломатично рассмеялся Ник. – Обвела вас, значит, вокруг пальца?

– Именно так, – сказал Энсон. – И ведь прямо накануне мы с ней всю ночь гуляли!

– Ха-ха-ха, – рассмеялся Ник, – ха-ха-ха!

– Ник, а помнишь свадьбу в Хот-Спрингс, где я заставил всех официантов и музыкантов горланить английский гимн?

– А кто тогда женился, мистер Хантер? – Ник с сомнением наморщил лоб. – Сдается мне, что...

– И в следующий раз они заломили такую цену, что я стал вспоминать – неужели я им тогда столько заплатил? – продолжил Энсон.

– ... сдается мне, что это было на свадьбе мистера Тренхольма!

– Не знаю его, – твердо сказал Энсон. Он обиделся, что какое-то незнакомое имя вторглось в его воспоминания; Ник это заметил.

– Да-да... – согласился он, – как же я забыл! Конечно же это было у кого-то из ваших... Брейкинс? Бейкер?

– Точно, «Забияка» Бейкер! – тут же откликнулся Энсон. – А потом меня засунули в гроб, положили на катафалк, засыпали цветами и повезли!

– Ха-ха-ха, – рассмеялся Ник, – ха-ха-ха!

На этом Ник перестал изображать из себя старого верного слугу, и Энсон поднялся наверх, в вестибюль. Он осмотрелся: встретил взгляд незнакомое портье за стойкой, отвел взгляд и заметил цветок с утренней свадьбы, оставленный кем-то в жерле латунной плевательницы. Вышел на улицу и медленно пошел к площади Колумба, навстречу кроваво-красному солнцу, но вдруг развернулся и, вернувшись к «Плазе», заперся в телефонной будке.

Впоследствии он рассказывал, что в тот вечер трижды пытался мне дозвониться, и вообще стал звонить всем, кто мог оказаться в тот день в Нью-Йорке: приятелям и подругам, которых не видел уже несколько лет, даже какой-то натурщице времен его учебы в университете, чей записанный поблекшими чернилами номер нашелся в записной книжке – на центральной станции сказали, что эту телефонную станцию давно закрыли. Его поиски в конце концов сместились за город, и он стал вступать в краткие и разочаровывающие беседы с вежливыми дворецкими и горничными. Мистер и миссис такие-то? Уехали в гости, кататься на лошадях, плавать, играть в гольф, отплыли

неделю назад в Европу... Очень жаль! Что передать хозяевам, когда они вернутся?

Невыносимо было думать, что вечер ему придется провести в одиночестве – все, на что мы втайне рассчитываем в ожидании мгновения свободы, полностью утрачивает очарование, если уединение наше – вынужденное. Конечно, всегда найдутся женщины известного сорта, но те, которых он знал, куда-то в тот день подевались, а провести вечер в Нью-Йорке в обществе нанятой незнакомки ему и в голову не приходило – такое времяпрепровождение он всегда считал чем-то постыдным, чуждым и достойным лишь командированного в незнакомом городе.

Энсон оплатил счет за звонки – кассирша не к месту пошутила насчет получившейся суммы – и во второй раз за вечер двинулся к выходу из «Плазы», направляясь неведомо куда. У возвращающейся двери, боком на фоне лившегося из окна света, стояла явно беременная женщина; при каждом повороте двери у нее на плечах трепетал легкий бежевый плащ, и каждый раз она с нетерпением смотрела на дверь, словно устав уже ждать. При первом же взгляде на нее Энсону почудилось что-то знакомое; его охватила сильная нервная дрожь, но лишь в пяти шагах от нее он понял, что перед ним стоит Пола.

– Вот это да! Энсон Хантер!

Его сердце перевернулось.

– Пола!

– Вот чудеса! Глазам своим не верю! Надо же, Энсон!

Она схватила его за руки, и по легкости этого жеста он понял, что память о нем перестала быть для нее мучительной. Но для него все было иначе: он почувствовал, как им вновь овладевает давно забытое чувство, которое всегда пробуждала ее жизнерадостность, – словно боясь ее омрачить, при виде нее в нем всегда на первый план выступала мягкость.

– Мы на лето переехали в Рай. Питу нужно было на восток по делам – ты конечно же знаешь, что я теперь миссис Питер Хагerti, – так что мы взяли детей и сняли дом. Ты обязательно должен приехать к нам в гости!

– Согласен, – прямо сказал он. – А когда?

– Когда хочешь. А вот и Пит.

Дверь отеля вновь повернулась, и на улицу вышел красивый высокий мужчина лет тридцати, с загорелым лицом и аккуратными усиками. Его безупречная спортивная фигура резко контрастировала с выпирающим животом Энсона, который четко обрисовывался под чуть тесным пиджаком.

– Тебе не нужно так долго стоять на ногах, – сказал Хагерти жене. – Пойдемте, вон там присядем! – Он указал на стоявшие в вестибюле кресла, но Пола даже не пошевелилась.

– Мне уже давно пора домой, – сказала она. – Энсон, а может... Может, поедешь с нами, поужинаем вместе прямо сегодня? Мы, конечно, еще не совсем привели там все в порядок, но если тебя это не пугает...

Хагерти радушно поддержал приглашение:

– Прошу вас! И ночевать у нас есть где!

Их машина стояла прямо перед отелем, и Пола устало оперлась на шелковые подушки, забившись в угол сиденья.

– Мне хочется поговорить с тобой о многом и сразу, – сказала она, – и это просто безнадежно!

– Расскажи мне о себе.

– Что ж, – она улыбнулась Хагерти, – это тоже займет немало времени. У меня трое детей от первого брака. Старшему пять, среднему четыре, младшему три. – Она опять улыбнулась. – Я не теряла времени даром, да?

– Мальчишки?

– Мальчик и две девочки. А потом... Ах, да много чего было; год назад я получила в Париже развод и вышла за Пита. Вот и все, не считая того, что теперь я ужасно счастливая!

Приехав в Рай, они остановились недалеко от «Пляжного клуба», у большого дома, из которого тут же выскочили трое загорелых и худеньких детей – они оторвались от английской гувернантки и с понятным лишь посвященным воплем побежали к родителям. Рассеянно и с трудом Пола обняла каждого; эту ласку дети приняли с неуклюжей осторожностью, потому что им, видимо, наказали вести себя с мамой как можно аккуратнее. Даже по сравнению с их детскими личиками лицо Полы едва ли можно было назвать постаревшим – несмотря на ее нынешнюю физическую слабость, она показалась ему

даже моложе, чем семь лет назад в Палм-Бич, где они виделись в последний раз.

За ужином она ушла в себя, а после, когда по традиции всем полагалось слушать радио, она легла на диван, закрыв глаза, и Энсон даже подумал, что хозяйева ему, похоже, не очень-то рады. Но в девять часов, когда Хагерти встал и любезно объявил, что оставляет их на некоторое время наедине друг с другом, Пола начала медленно рассказывать о себе и о прошлом.

– Первой родилась девочка, – сказала она. – Мы зовем ее Солнышко, она у нас самая высокая. Мне захотелось умереть, когда я узнала, что беременна, потому что Лоуэлл был для меня совсем чужой. Мне даже казалось, что это не мой ребенок! Я написала тебе письмо, но потом порвала его. Ах, как же ты плохо со мной обошелся, Энсон!

Вновь начался диалог, поднимаясь и опускаясь, словно волны. Энсон почувствовал, как внезапно проснулась память.

– А ты разве не был помолвлен? – спросила она. – Была же у тебя какая-то... Долли, кажется?

– Даже до помолвки не дошло! Я собирался, но я никогда не любил никого, кроме тебя, Пола.

– Вот как, – сказала она. А затем, после паузы: – Этот ребенок – первый, которого я по-настоящему хочу. Видишь ли, я, наконец-то, влюбилась!

Он ничего не ответил, пораженный вероломством ее памяти.

Видимо, она заметила, что ее «наконец-то» стало для него сильным ударом, потому что тут же добавила:

– Я теряла голову рядом с тобой, Энсон! Ты мог заставить меня сделать все, что угодно. Но мы не были бы счастливы. Я для тебя недостаточно умна. Я не люблю все усложнять, как ты. – Она помолчала. – А ты никогда не остепенишься, – сказала она.

Это было как нож в спину – из всех возможных обвинений именно этого он никогда не заслуживал.

– Я бы остепенился, если бы женщины вели себя иначе, – сказал он. – И если бы я не знал их так хорошо, и если бы они не портили нас для других женщин, и если бы у них была хоть капля гордости! Если бы я только мог уснуть и затем проснуться в доме, который был бы по-настоящему моим! Ведь именно для этого я и создан, Пола, именно это

женщины всегда во мне замечали и любили! Проблема в том, что теперь мне уже никогда не пройти отборочный тур.

Хагерти вернулся около одиннадцати; они выпили виски, а затем Пола встала и объявила, что идет спать. Она подошла к мужу и встала рядом с ним.

– Где ты был, милый? – спросила она.

– У Эда Саундерса. Выпили по стаканчику.

– А я беспокоилась. Думала, вдруг ты меня бросил?

Она прижалась головой к его груди.

– Он такой милый, правда, Энсон? – спросила она.

– Полностью согласен! – сказал Энсон, рассмеявшись.

Она подняла голову и посмотрела на мужа.

– Ну, я готова, – сказала она. Затем повернулась к Энсону: – Хочешь увидеть наш фирменный семейный гимнастический номер?

– Конечно! – заинтересованно ответил он.

– Отлично. Начинаем!

Хагерти с легкостью подхватил ее на руки.

– Вот какой у нас номер: каждый вечер он относит меня наверх на руках! – сказала Пола. – Правда, очень мило с его стороны?

– Да! – сказал Энсон.

Хагерти слегка склонил голову, прижавшись щекой к щеке Полы.

– И я его люблю! – сказала она. – Я ведь тебе только что говорила, правда, Энсон?

– Да, – сказал он.

– Он самый-самый милый на всем свете – правда, радость моя? Ну, спокойной ночи, Энсон... Мы пошли. Ух, какой же он сильный!

– Да, – сказал Энсон.

– Я выложила для тебя пижаму Пита, найдешь ее у себя на кровати. Сладких снов! Увидимся за завтраком!

– Да, – сказал Энсон.

VIII

Старшие компаньоны в фирме настаивали, чтобы Энсон уехал на лето за границу. Уже семь лет он почти не отдыхал, говорили они. Он выдохся и нуждался в перемене обстановки. Энсон отказывался.

– Если я уеду, – говорил он, – я никогда не вернусь.

– Это просто смешно, старина! Вернешься через три месяца, и никакой депрессии! С новыми силами!

– Нет! – упрямо качал он головой. – Стоит мне остановиться, и я уже не смогу вернуться к делам. Если остановлюсь, это будет означать, что я сдался – и с делами будет покончено!

– Мы готовы рискнуть. Отдыхай хоть полгода – мы не боимся, что ты нас бросишь. Да ты и сам будешь не рад, если оставишь бизнес.

Они взяли для него билеты. Энсон им нравился – Энсон всем нравился, – и произошедшая с ним перемена нависла, словно туча, над всей фирмой. Энтузиазм, неизменно характеризующий настоящий бизнес, внимание к равным и подчиненным, подъемная сила его жизненно важного присутствия – все эти качества за последние четыре месяца под действием повышенной нервозности превратились в суевликий пессимизм мужчины «под сорок». Во всех делах он теперь представлял собой бремя и обузу.

– Если я уеду, я никогда не вернусь, – говорил он.

За три дня до его отплытия умерла при родах Пола Лежендр-Хагерти. В те дни я проводил с ним много времени, потому что мы с ним отплывали на одном пароходе, но впервые за все время нашей дружбы он не сказал мне ни слова о том, что он чувствует, и я не заметил у него ни малейшего признака каких-либо эмоций. Сильнее всего он переживал, что ему уже за тридцать – в разговоре он всегда стремился об этом напомнить, а затем умолкал, словно считая, что само по себе это заявление должно вызвать у собеседника последовательность обладавших самостоятельной ценностью мыслей. Как и его компаньоны, я поражался произошедшей с ним перемене и обрадовался, когда пароход «Париж» отчалил и унес нас в разделявшее миры водное пространство, оставив княжество Энсона за бортом.

– Может, сходим выпить? – предложил он.

Мы вошли в бар с характерным для дня отплытия дерзким чувством и заказали четыре «мартини». После первого бокала с ним произошла перемена – он неожиданно вытянул руку и хлопнул меня с

веселым видом по колену; я уже несколько месяцев не видел его в таком настроении.

– Ты обратил внимание на девушку в красном берете с помпоном? – спросил он. – Румяная такая? На пирсе ее провожали с двумя немецкими овчарками?

– Да, симпатичная, – вспомнил я.

– Я посмотрел в списке пассажиров – она едет одна. Сейчас схожу, договорюсь со стюардом; поужинаем сегодня с ней?

Через некоторое время он меня оставил, и не прошло и часа, как он уже гулял с ней по палубе, что-то рассказывая своим уверенным и звучным голосом. Ее красный берет смотрелся ярким пятном на фоне зеленого со стальным отливом моря, и время от времени она вскидывала голову и бросала на Энсона взгляды из-под короткой челки, улыбаясь радостно, с интересом и предвкушением. За ужином мы пили шампанское, нам было очень весело, а потом Энсон с заразительным смаком гонял шары на бильярде, и сразу несколько человек, видевших меня с ним, стали расспрашивать, кто это такой. Когда я пошел спать, они с девушкой остались в баре, сидя на диванчике, болтая и смеясь.

Я надеялся, что в пути мы с ним будем общаться гораздо больше. Он хотел было организовать компанию, подобрав пару и для меня, но свободной девушки так и не нашлось, так что виделись мы с ним лишь за столом. Но иногда он заходил в бар выпить и рассказывал мне о девушке в красном берете и об их приключениях, самых невероятных и забавных, то есть он стал вести себя, как раньше. Я обрадовался, что он вновь стал сам собой – ну или, по крайней мере, тем самым человеком, которого я знал и к которому я привык. Не думаю, что он вообще мог быть счастлив, если рядом не было влюбленного в него человека, которого тянуло бы к нему, как магнитом, и который помогал бы ему выражать себя и дарил бы ему некое обещание. Я не знаю какое... Возможно, это было обещание, что в мире всегда найдутся женщины, готовые потратить самые яркие, свежие и редкие мгновения своей жизни, поддерживая и оберегая то самое чувство превосходства, которое он всегда лелеял в своем сердце.

Зимние мечты

I

Некоторые кедди были так бедны, что их бедность уже выглядела пороком, и жили они в маленьких домишках с неврастеничной коровенкой на дворе. Но у Декстера Грина был отец, владевший едва ли не лучшим продуктовым магазином в Блэк-Бэр – лучшим все же считался «Пуп земли», который посещали богачи из Шерри-Айленда, – так что Декстер работал кедди исключительно ради карманных денег.

В конце осени дни становились бодрящими и пасмурными, и Миннесоту, словно белый саван, окутывала долгая зима; лыжи Декстера скользили по снегу, скрывавшему фервеи на поле для гольфа. В такие дни за городом на него нападала глубокая тоска: его коробило от того, что зимой никто не потревожит покой лунок и долгие месяцы к ним будут слетаться лишь потрепанные воробьи. Тоску нагоняло и то, что у стартовых площадок, где летом развевались яркие флажки, теперь торчали лишь обросшие ледяной коркой бункеры без песка. Когда он взбирался на холмы, дул ветер, холодный, как могила, а когда светило солнце, он бродил, прищурив глаза от бесконечного ослепительного снежного блеска.

В апреле зима резко подходила к концу. Снег таял и сбегал ручьями в озеро Блэк-Бэр, не мешая нетерпеливым любителям гольфа храбро открывать сезон, играя красными и черными мячиками. Не вздымалась душа, не воцарялась слякоть – но холодов уже как не бывало...

Декстер понимал, что было что-то гнетущее в этой северной весне, и еще он понимал, что здешняя осень прекрасна. Осень заставляла его сжимать кулаки, вздрагивать, повторять про себя идиотские фразы и быстрыми резкими жестами отдавать команды воображаемым слушателям и армиям. Октябрь наполнял его надеждой, которую ноябрь доводил почти до исступленного ликования, и в таком

настроении мимолетные и блистательные впечатления от лета в гольф-клубе Шерри-Айленда сыпались спелым зерном на мельницу его воображения. Он становился чемпионом по гольфу и побеждал мистера Т. А. Хедрика в блистательном матче, повторявшемся сотню раз на фервеях его воображения; в этом матче он без усталости менял каждую деталь: иногда он выигрывал до смешного легко, иногда лишь чудом вырывался вперед. Иногда, выйдя из автомобиля марки «Пирс-Эрроу», он, совсем как мистер Мортимер Джонс, хладнокровно проходил в зал гольф-клуба Шерри-Айленда; иногда в окружении восторженной толпы он демонстрировал крайне сложный прыжок в воду с трамплина на клубном плоту... И среди наблюдавших за ним стоял и мистер Мортимер Джонс, с разинутым от изумления ртом.

А однажды случилось так, что мистер Джонс – собственной персоной, а не в виде плода воображения – пришел к Декстеру со слезами на глазах и сказал, что Декстер – лучший кедди в клубе, и не передумает ли он уходить, если мистер Джонс щедро его вознаградит, потому что все остальные кедди постоянно теряли у него по мячу на каждую лунку...

– Нет, сэр, – решительно сказал Декстер. – Я больше не хочу бегать за мячиками. – И, выдержав паузу, добавил: – Я слишком стар!

– Да тебе еще и четырнадцати нет! Какого черта именно сегодня утром тебе взбрело в голову уволиться? Ты ведь обещал, что поедешь на следующей неделе со мной на турнир штата?

– Я решил, что я слишком стар!

Декстер отдал свой значок «Класс А», забрал у старшего кедди причитавшиеся деньги и пошел домой в Блэк-Бэр-Вилледж.

– Лучший кедди из всех, что я видал! – шумел мистер Мортимер Джонс в тот вечер в баре. – Ни одного мячика не потерял! Усердный! Смышленный! Воспитанный! Честный! Благодарный!

Девочке, из-за которой все это случилось, было одиннадцать; она была прекрасна той безобразной красотой, которой отличаются девочки ее возраста, которым судьбой предназначено через несколько лет превратиться в неопишуемых красавиц и обречь на вечные муки множество мужчин. Искра, тем не менее, уже ощущалась. Нечестивые мысли рождались при виде того, как плотоядно опускались вниз уголки ее губ, когда она улыбалась, и при виде – господи помилуй! – при виде ее почти страстного взгляда. Жизненная сила в таких

женщинах просыпается рано. И в тот момент она проявлялась совершенно отчетливо, сияя из-под ее девичьей худобы, словно зарево.

В девять утра, в сопровождении гувернантки в белом парусиновом платье, она нетерпеливо вышла на поле. В белой полотняной сумке, которую несла гувернантка, лежало пять небольших новеньких клюшек. Когда Декстер увидел ее впервые, она стояла у раздевалки кедди, чувствуя себя неловко и пытаясь это скрыть, завязав явно принужденную беседу с гувернанткой и сопровождая свои слова вызывающими и неуместными гримасками.

– Сегодня на редкость хорошая погода, Хильда! – донеслось до Декстера.

Уголки ее губ опустились вниз, она улыбнулась и стала украдкой оглядываться; взгляд ее скользнул дальше, на мгновение задержавшись на Декстере.

Затем – гувернантке:

– Мне кажется, сегодня утром здесь не так уж много народу, не правда ли?

И вновь улыбка, лучезарная, вопиюще искусственная – убедительная.

– Ума не приложу, что мы сейчас должны делать? – с ничего не понимающим видом сказала гувернантка.

– Ах, да все нормально! Я сейчас разберусь.

Декстер стоял, не двигаясь, чуть разинув рот. Он понимал, что стоит ему сделать шаг вперед, и его изумленные глаза уставятся прямо на нее, а если он сдвинется назад, то ему не будет видно ее лица. Некоторое время он даже не понимал, что это просто девочка. Но затем он вспомнил, что видел ее здесь несколько раз в прошлом году – тогда она еще носила детские шаровары.

Вдруг он невольно рассмеялся – издал короткий отрывистый смешок, – а затем, неожиданно для себя, развернулся и быстро пошел прочь.

– Эй, мальчик!

Декстер остановился.

– Мальчик...

Без всяких сомнений, обращались к нему. И не только обращались – ему же адресовалась эта нелепая, эта бессмысленная улыбка,

которую по меньшей мере дюжина мужчин будет вспоминать вплоть до зрелого возраста.

– Мальчик, а где тренер по гольфу?

– У него урок.

– А где старший кедди?

– Он еще не пришел.

– Н-да. – Это на мгновение сбило ее с толку; она стояла, переминаясь с ноги на ногу.

– Нам нужен кедди, – сказала гувернантка. – Миссис Мортимер Джонс отправила нас играть в гольф, но мы не знаем, где нам взять кедди?

На этом она умолкла, поймав угрожающий взгляд мисс Джонс, немедленно сменившийся улыбкой.

– Других кедди, кроме меня, сейчас нет, – ответил Декстер гувернантке, – и я должен оставаться тут за старшего, пока не придет старший кедди.

– Н-да...

Мисс Джонс со свитой удалилась, и на приличном расстоянии от Декстера разыгрался горячий спор, который мисс Джонс завершила, схватив одну из клюшек и в ярости ударив ею по земле. Для большей выразительности она вновь замахнулась клюшкой и чуть не ударила ею гувернантку прямо в грудь, но гувернантка ухватила за клюшку и вывернула ее из рук подопечной.

– Проклятая старая подлая тварь! – не сдерживаясь, крикнула мисс Джонс.

Спор возобновился. Понимая, что сцена отдавала комедией, Декстер несколько раз хотел рассмеяться, но тут же одергивал себя, не позволяя смеху вырваться наружу. Он никак не мог отделаться от чудовищной мысли о том, что эта девочка имела полное право ударить гувернантку!

Ситуация разрешилась: очень кстати появился старший кедди, к которому гувернантка тут же и обратилась:

– Мисс Джонс требуется кедди, а этот вот говорит, что не может с нами идти!

– Мистер Маккенна сказал, чтобы я ждал здесь, пока не появитесь вы! – торопливо сказал Декстер.

– Ну, вот он и появился. – Мисс Джонс весело улыбнулась старшему кедди. Затем бросила сумку на землю и с заносчивым видом засемила к стартовой площадке у первой лунки.

– Ну? – Старший кедди повернулся к Декстеру. – И что ты встал как вкопанный? Бери клюшки юной леди, и вперед!

– Я, пожалуй, сегодня на поле не пойду, – сказал Декстер.

– Ты? Пожалуй?!

– Я увольняюсь!

Чудовищность этого решения напугала его самого. Он был лучшим кедди, и тридцать долларов, которые он зарабатывал летом ежемесячно, в этих местах у озера мало где платили. Но он испытал сильное душевное потрясение, и воцарившееся в нем смятение потребовало отчаянного и немедленного выхода.

Впрочем, все было вовсе не так просто. Декстер, как еще не раз случится в будущем, бессознательно подчинился тому, что диктовали ему его зимние мечты.

II

Конечно, спустя некоторое время детали и сезонный фактор его зимних грез стали иными, но суть их от этого не изменилась. Именно они несколько лет спустя вселили в Декстера уверенность в том, что ему ни к чему курс по предпринимательству в университете штата – за курс согласился заплатить его преуспевающий отец, – а нужна сомнительная перспектива, которую сулила учеба в знаменитом своими традициями университете на востоке страны, на что едва хватало его весьма ограниченных средств. Но да не создается у вас впечатления, что юноша поступил так исключительно из-за присущего ему снобизма; просто так вышло, что поначалу зимние мечты Декстера были связаны исключительно с богатством. Он не мечтал иметь возможность прикоснуться к блестящим вещам и не мечтал о

блестящих знакомствах; ему хотелось обладать самими этими блестящими вещами. Он тянулся к лучшему, толком не зная, зачем ему это, и иногда наталкивался на таинственные ограничения и запреты, которыми полна жизнь. И это – рассказ об одном из таких ограничений, а вовсе не о том, как Декстер добился успеха.

Он сумел заработать деньги. Пожалуй, это было достойно удивления. Окончив университет, он уехал в город, поставлявший на озеро Блэк-Бэр богатых гостей. Когда Декстеру было двадцать три и он не успел провести в городе и пары лет, уже находились люди, говорившие: «Да, этот парень далеко пойдет!» Вокруг отпрыски богачей разбрасывали деньги на ветер, покупая рискованные облигации, с риском вкладывали наследственные капиталы или же корпели над парой дюжин томов заочного «Курса предпринимательства Университета Джорджа Вашингтона», но Декстер, благодаря университетскому диплому и уверенному тону, сумел взять в долг тысячу долларов и купил долю в прачечной.

В то время это был совсем небольшой бизнес, но Декстер освоил английский метод стирки тонких шерстяных гольфов – они у него после стирки не садились, – и за год ему удалось создать клиентуру из любителей щеголять в широких спортивных бриджах. Мужчины требовали, чтобы их гольфы и свитера из дорогой шотландской шерсти отправляли стирать только в прачечную Декстера, подобно тому, как раньше они требовали, чтобы им давали только того кедди, который не теряет мячики. Чуть позже и их жены стали стирать белье только у него – и он открыл еще пять филиалов по всему городу. Ему не исполнилось и двадцати семи, а у него уже была самая крупная в этой части страны сеть прачечных. И тогда он продал бизнес и уехал в Нью-Йорк. Но из всей его жизни для нас представляет интерес лишь то время, когда первый крупный успех был у него еще впереди.

Ему было двадцать три, когда мистер Хат – один из тех седовласых людей, что говорили: «Да, этот парень далеко пойдет!», – пригласил его на выходные в гольф-клуб на Шерри-Айленд. Декстер расписался в журнале для гостей и в тот же вечер отправился играть в гольф в компании мистера Хата, мистера Сендвуда и мистера Т. А. Хедрика.

Он не считал уместным рассказывать о том, что когда-то таскал клюшки за мистером Хатом по этому самому полю или что мог бы с закрытыми глазами показать здесь каждую песчаную ловушку и

канаву; он поглядывал на шедших за ними четверых кедди, пытаясь подметить какую-нибудь черту или жест, который напомнил бы ему его самого, дабы сократить пропасть, отделившую его настоящее от прошлого.

Это был весьма любопытный день, четко разделенный на части мимолетными и такими знакомыми впечатлениями. На мгновение ему почудилось, словно он забрел в чужие владения, а в следующий миг он сам поражался охватившему его чувству превосходства по отношению к мистеру Т. А. Хедрику, оказавшемуся занудой и не таким уж и сильным игроком.

Затем, благодаря потерянному мистером Хатом на лужайке у пятнадцатой лунки мячику, случилось нечто крайне важное. Они бродили в жесткой траве рафа в поисках мячика, когда сзади, из-за холма, донесся звонкий крик: «Эй, берегись!» Все тут же оставили поиски, обернулись, и над холмом просвистел яркий новенький мячик, угодивший мистеру Т. А. Хедрику прямо в живот.

– Черт возьми! – воскликнул мистер Т. А. Хедрик. – Да когда же перестанут выпускать на поле этих безумных дамочек! Это уже просто возмутительно!

Из-за холма показалась голова, и одновременно послышался голос:

– Будьте добры, позвольте нам пройти!

– Вы попали мне в живот! – с яростью объявил мистер Хедрик.

– Я? – Девушка подошла к мужчинам. – Простите! Но я ведь кричала: «Эй, берегись!»

Она окинула небрежным взглядом каждого, а затем стала осматривать фервей в поисках мячика.

– Неужели он отскочил в раф?

Невозможно было понять – то ли это был просто наивный вопрос, то ли она хотела поиздеваться? Но через мгновение все сомнения рассеялись, потому что на холме появился ее спутник, и она весело крикнула:

– Я здесь! Попала бы прямо на лужайку, если бы тут никто не стоял!

Она встала в позу, приготовившись нанести легкий удар клюшкой, и Декстер внимательно ее рассмотрел. На ней было синее полосатое платье, отделанное у воротника и на рукавах белой каймой, подчеркивавшей ее загар. Бросавшаяся в глаза худоба, делавшая ее

страстные глаза и опущенные книзу губы смешными, когда ей было одиннадцать, теперь исчезла. Она стала захватывающе красивой! Румянец на ее щеках располагался прямо по центру, словно это была не живая, а нарисованная женщина; румянец был неяркий, он был теплый, изменчивый и лихорадочный, и столь неуловимый, что казалось, будто он в любое мгновение готов поблекнуть и исчезнуть. Этот румянец и подвижные губы создавали непрерывное впечатление постоянного движения, бурлящей жизни, необузданной жизненной силы, лишь отчасти уравнивавшей печальной прелестью ее глаз.

Она торопливо и без всякого интереса ударила клюшкой, загнав мячик в песчаную ловушку с другой стороны лужайки. С быстрой лицемерной улыбкой, небрежно бросив: «Благодарю вас!», она пошла вслед за мячиком.

– Ох уж эта Джуди Джонс! – произнес мистер Хедрик у следующей лунки, где им пришлось выждать несколько мгновений, пока она, оказавшись впереди них, не выполнит удар. – Ей поможет лишь одно: сначала – полгода пороть по субботам, а затем – выдать замуж за какого-нибудь старорежимного капитана кавалерии!

– Но, боже мой, как она прекрасна! – сказал мистер Сендвуд, которому было чуть за тридцать.

– «Прекрасна»! – презрительно передразнил мистер Хедрик. – Она всегда выглядит так, словно ждет поцелуя! Так и манит своими коровьими глазищами всех наших городских бычков!

Сомнительно, что мистер Хедрик в тот момент намекал на материнский инстинкт.

– А она могла бы весьма недурно играть в гольф, если бы старалась, – сказал мистер Сендвуд.

– Она не спортсменка! – с напыщенным видом произнес мистер Хедрик.

– Но у нее прекрасная фигура! – сказал мистер Сендвуд.

– Давайте лучше возблагодарим господ, что удар у нее не самый сильный! – сказал мистер Хат, подмигнув Декстеру.

Вечер закончился с заходом солнца, ушедшего в бурлящем водовороте чередующихся золотых и синевато-багряных оттенков, оставившем после себя сухую, наполненную шорохами ночь западного лета. Декстер сидел на веранде гольф-клуба и наблюдал, как под

действием легкого ветра по воде бегут волны, словно черная патока при свете полной луны. Затем луна приставила палец к губам, и воды озера превратились в тусклую и безмолвную зеркальную гладь. Декстер надел купальный костюм и поплыл на самый дальний плот, где растянулся во весь рост; вода стекала с него каплями на влажную поверхность трамплина.

Плескалась рыба, светили звезды, сияли огни вокруг озера. С погруженного во тьму полуострова доносились звуки пианино, наигрывавшего прошлогодние песенки и мелодии еще более далеких лет – из «Чин-Чин», «Графа Люксембурга» и «Шоколадного солдатика»; звук пианино над водной гладью всегда казался Декстеру прекрасным, вот почему он лежал, не двигаясь, и слушал.

Пианино заиграло веселую мелодию, которая была новинкой лет пять назад, когда Декстер учился на втором курсе университета. Эту песенку играли на одном балу, а он тогда не мог себе позволить такой роскоши, как бал, поэтому он стоял на улице у окна гимнастического зала и слушал. Мелодия вызвала у него нечто вроде взрыва чувств, и сквозь призму этого взрыва он окинул мысленным взором весь свой жизненный путь. На него нахлынуло сильное и глубокое чувство благодарности – он ощутил, что в этот момент он достиг чудесной гармонии с жизнью, и мир вокруг излучает блеск и очарование, которых ему, быть может, больше никогда и не увидеть...

От окутывавшей Шерри-Айленд тьмы неожиданно отделился бледный продолговатый предмет, гнавший впереди себя раскатистый звук тарахтящего лодочного мотора. Оставляя за собой длинные раздваивавшиеся белые ленты бурлящей воды, лодка почти в тот же миг оказалась рядом, и веселый звон пианино утонул в гуле водяных брызг. Декстер приподнялся на локтях и разглядел стоявшую за рулем лодки фигуру и смотревшие на него, удаляясь, темные глаза – и вот лодка уже проплыла мимо и принялась совершать огромные и бессмысленные круги на середине озера, обдавая все вокруг фонтанами брызг. Все с той же эксцентричностью на одном из кругов курс выровнялся, и лодка пошла обратно к плоту.

– Кто здесь? – донеслось с лодки, когда затих мотор. Она была так близко, что Декстер мог разглядеть даже купальный костюм – без сомнений, это был весьма смелый розовый комбинезон.

Нос лодки уперся в плот, тот лихо накренился – и Декстер оказался буквально брошен к ее ногам. С разной степенью интереса они узнали друг друга.

– Вы – один из тех, с кем мы сегодня пересеклись на поле? – спросила она.

Да, это был он.

– Ясно; а вы умеете управлять моторной лодкой? Если умеете, то сможете меня покатасть – я поеду сзади на доске. Меня зовут Джуди Джонс. – Она удостоила его несурзной ухмылки; точнее, это была почти ухмылка – хотя она и сильно скривила губы, все равно не получилось нелепо, получилось красиво. – Я из Шерри-Айленда, у нас там дом, и в этом доме меня поджидает один человек! Когда он подъехал к дверям, я стартовала с причала, потому что он говорит, что я – его идеал!

Плескалась рыба, светили звезды, сияли огни вокруг озера. Декстер сел рядом с Джуди Джонс, и она объяснила ему, куда вести лодку. Затем прыгнула в воду и плавным кролем поплыла к качавшейся на воде доске. Смотреть на нее было совсем не трудно, словно смотришь на колышущиеся под ветром деревья или на летящую чайку. Ее руки, загорелые почти до черноты, плавно двигались среди тускло-платиновых волн; сначала из воды появлялся локоть, затем в такт падавшей с него воде появлялось и уходило назад предплечье, а потом взлетала и опускалась кисть, прокладывая путь вперед.

Они пошли на середину озера; обернувшись, Декстер увидел, что она стоит на коленях на ушедшем под воду дальнем крае приподнявшейся доски.

– Быстрее, – крикнула она, – включайте на самый полный!

Он послушно выжал рычаг вперед, и у носа лодки показалась стена белых брызг. Когда он опять посмотрел назад, девушка стояла во весь рост на стремительно мчавшейся за лодкой доске, широко раскинув руки и устремив лицо вверх, к луне.

– Ужасно холодно! – крикнула она. – Как вас зовут?

Он сказал.

– Приходите завтра к нам на ужин, ладно?

Его сердце перевернулось, словно в груди заработал маховик моторной лодки, и так во второй раз ее случайная прихоть придала его жизни новое направление.

III

Вечером следующего дня, поджидая, пока она спустится вниз, Декстер сидел в погруженной в тишину комнате, из которой открывался вид на летнюю солнечную веранду, и представлял себе множество мужчин, которые любили Джуди Джонс. Он знал, что это были за люди – в те времена, когда он поступал на первый курс, они поступали вместе с ним, прямо после окончания престижных подготовительных школ, и все они носили изысканные костюмы и отличались смуглым и ровным многолетним загаром. Он понимал, что в каком-то смысле он был лучше всех этих людей – ведь он обладал новизной и силой. Но для себя он решил, что его дети станут такими же, как они, чем признал, что себя самого он считает лишь сырым доброкачественным материалом, из которого получаются такие вот люди.

Когда пришло его время носить дорогие костюмы, он уже знал, какие портные считаются лучшими во всей Америке, и его сегодняшний костюм шил лучший в Америке портной. Он усвоил особую сдержанность манер, присущую выпускникам его университета, отличавшую их от выпускников других университетов. Он сознавал, какой ценностью обладают эти манеры, поэтому он их и усвоил; он знал, что небрежность в одежде и манерах требует гораздо больше уверенности в себе, чем простая аккуратность. Но пусть небрежностью овладевают его дети; его мать носила фамилию Кримслих, она была родом из богемских крестьян и разговаривала на ломаном английском до конца своих дней. И ее сын должен строго придерживаться общепринятых стандартов поведения.

В начале восьмого вниз спустилась Джуди Джонс. На ней было синее шелковое платье, и поначалу он был разочарован, что она не надела что-нибудь более торжественное. Это разочарование

усилилось, когда после краткого приветствия она подошла к двери буфетной, открыла ее настежь и крикнула: «Марта, можешь подавать ужин!» Он почему-то ждал, что об ужине объявит дворецкий, а перед этим гостям предложат коктейли. Но он быстро отбросил все эти мысли, когда они сели рядышком на диван и взглянули друг на друга.

– Мать и отец ужинать не будут, – задумчиво сказала она.

Он вспомнил последнюю встречу с ее отцом и обрадовался, что сегодня родителей не будет – они бы наверняка стали интересоваться, кто он такой. Он родился в Кибл, миннесотской деревушке милях в пятидесяти отсюда к северу, и всегда говорил, что он родом из Кибл, а не из Блэк-Бэр-Вилледж. Родиться в провинциальном городке не считалось зазорным, если только городок не располагался на виду, в неудобном соседстве с модными курортами на озерах.

Они разговорились о его университете, куда она часто приезжала на балы последнюю пару лет, и о близлежащем городе, откуда на Шерри-Айленд ездили отдыхающие, и о том, что завтра Декстеру придется вернуться к его процветающим прачечным.

За ужином ею овладела унылая подавленность, и Декстер ощутил тревогу. Его беспокоило высказывавшееся ее грудным голосом раздражение. Его волновало, что ее улыбка, вызванная чем угодно – им самим, паштетом из цыплячьей печени, да просто не пойми чем, – не имела ничего общего ни с радостью, ни даже с весельем. Когда уголки ее алых губ опускались вниз, это была не улыбка, а скорее приглашение к поцелую.

После ужина она пригласила его выйти на тенистую веранду, тем самым нарочно сменив окружающую обстановку.

– Ничего, если я немного погрузу? – спросила она.

– Боюсь, вам со мной скучно! – торопливо ответил он.

– Вовсе нет! Вы мне нравитесь. Но у меня сегодня выдался ужасный день. Мне очень нравился один мужчина, а сегодня он вдруг, ни с того ни с сего, объявил, что беден, как церковная мышь. Раньше он об этом даже не заикался. Это, наверное, звучит ужасно приземленно?

– Может, он боялся вам об этом рассказать?

– Может быть, – ответила она. – Но он неправильно начал! Видите ли, если бы я знала, что он беден... что ж, я сходила с ума по целой куче бедняков и честно собиралась за каждого из них замуж. Ну, а на

этот раз я ничего не подозревала, и мой интерес к нему оказался не настолько силен, чтобы выдержать удар. Это как если бы девушка спокойно сказала своему жениху, что она – вдова. Он, может, и не имеет ничего против вдов, но... Давайте начнем правильно! – неожиданно оборвала она себя на полуслове. – Что вы из себя представляете?

Декстер колебался лишь мгновение. А затем:

– Я – никто! – сказал он. – Пока что мой успех – дело будущего.

– Вы бедны?

– Нет, – ответил он прямо. – Вероятно, я зарабатываю больше денег, чем любой мужчина моего возраста на всем северо-западе. Я знаю – так говорить предосудительно, но вы сами попросили меня говорить начистоту.

Воцарилась тишина. Затем она улыбнулась, уголки ее губ опустились; едва заметно качнувшись, она придвинулась к нему совсем близко и посмотрела ему прямо в глаза. В горле у Декстера словно застрял комок, и он, затаив дыхание, ждал начала эксперимента, готовый смело принять непредсказуемое соединение, что вот-вот таинственным образом сложится из элементов их губ. И он дождался – она смогла передать ему свое волнение, щедро и до самой глубины души одарив его поцелуями, которые были не обещанием, а воплощением. Они породили в нем не голод, требовавший утоления, но пресыщение, которое нуждалось лишь в еще большем пресыщении... Эти поцелуи были словно милостыня, порождающая новую нужду лишь в силу того, что всегда расходуется без остатка.

Ему не понадобились часы раздумий, чтобы решить, что он желал Джуди Джонс всегда – еще с тех самых пор, когда он был всего лишь гордым и жаждущим всего на свете мальчишкой.

Вот так все и началось – и продолжилось, с накалом изменяющегося оттенка, но на столь же высокой ноте, вплоть до самой развязки. Декстер подчинил часть себя самого самой непосредственной и бессовестной личности из всех, с которыми он когда-либо сталкивался. Чего бы ни желала Джуди, она всегда шла прямо к намеченной цели, используя всю мощь своего очарования. Ее методы не отличались разнообразием; не было ни выбора выгодной позиции, ни обдумывания последствий – во всех ее интригах рассудок играл весьма малую роль. Она просто заставляла мужчин до самой крайней степени осознать свою телесную привлекательность. Декстеру не хотелось ее изменить. Все ее недостатки были напрямую связаны с ее необузданной энергией, превосходившей их и являвшейся для них оправданием.

Когда в тот первый вечер голова Джуди покоилась у него на плече и Джуди шепнула: «Не знаю, что со мной такое? Еще вчера я думала, что влюблена в одного человека, а сегодня я думаю, что люблю тебя...», эти слова показались ему красивыми и романтическими. Они показывали острую способность к чувству, которым он управлял и владел в тот момент. Но уже через неделю ему пришлось оценить это же самое качество в совсем ином свете. Они поехали в ее родстере на вечерний пикник, и по окончании ужина она, все в том же родстере, исчезла с другим мужчиной. Декстер ужасно расстроился и был едва способен вести себя как подобает с остальными гостями. Когда она впоследствии принялась его уверять, что не целовалась с тем, другим, он догадался, что она лжет, но он был благодарен ей хотя бы за то, что она взяла на себя труд ему солгать.

Не успело кончиться лето, как он обнаружил, что стал одним из постоянно вращавшейся вокруг нее, изменяя свой состав, дюжины поклонников. Каждому из них на какое-то время отдавалось предпочтение, а половину до сих пор согревало утешение в виде изредка возвращавшихся былых чувств. Как только кто-нибудь пропадал из поля зрения по причине долгого забвения, отступнику тут же доставался недолгий сладкий миг, чтобы подстегнуть его следовать за ней по пятам еще год или даже больше. Свои набеги на незащищенных и побежденных Джуди осуществляла без всякой злости; она и впрямь не сознавала, что от этого может быть какой-нибудь вред.

Как только в городе появлялся кто-нибудь новый, все остальные тут же выбывали; все свидания отменялись автоматически.

Любые попытки что-либо по этому поводу предпринять были обречены на провал, потому что право действовать имела лишь она сама. Он была не из тех, кого можно было «завоевать», приложив усилия, – как только воздействие ума или обаяния становилось слишком сильным, она немедленно сводила роман к его чувственной основе, и во власти чар ее телесного великолепия и сильные, и гениальные принимались плясать под ее дудку, забывая о себе. Ее интересовало лишь удовлетворение ее желаний и прямые вызовы ее обаянию. Может быть, оттого, что вокруг нее было так много юной любви, так много молодых поклонников, она, повинувшись инстинкту самосохранения, обрела способность не нуждаться в какой-либо подпитке извне.

Первое опьянение чувствами сменилось у Декстера тревогой и неудовлетворением. Бесполезный экстаз полного подчинения любимой действовал не как стимулятор, а скорее как наркотик. К счастью для его работы, в ту зиму эти экстазы случались не часто. В первые дни их знакомства какое-то время ему казалось, что у них стихийно возникла глубокая обоюдная привязанность; в те три первых августовских дня они подолгу сидели на тенистой веранде ее дома, вечера напролет целовались в укромных уголках сада или под защитой обвитых плющом беседок, до непривычного, болезненного головокружения. По утрам она была свежа, как мечта, и почти застенчиво смотрела на него в ясном свете зарождающегося дня. Он находился в экстазе, словно они были помолвлены, и это чувство лишь усиливалось осознанием того факта, что никакой помолвки не было. В те три дня он впервые предложил ей выйти за него замуж. Она сказала: «Может быть», она сказала: «Поцелуй меня», она сказала: «Я бы хотела стать твоей женой», она сказала: «Я тебя люблю» – она ничего ему не ответила.

Три дня завершились прибытием одного нью-йоркца, который прогостил в ее доме до середины сентября. Мучения Декстера усиливались слухами об их помолвке. Гость был сыном президента большой трастовой компании. Но к концу месяца стало известно, что Джуди зевает. На очередных танцах она целый вечер просидела в моторной лодке с одним поклонником из местных, а гость из Нью-Йорка в неистовстве разыскивал ее по всему клубу. Местному

поклоннику она сказала, что гость ей надоед, а через два дня он уехал. Ее видели с ним на станции, и рассказывали, что вид у него был прямо-таки печальный.

Вот так и кончилось лето. Декстеру исполнилось двадцать четыре, и он потихоньку достиг такого положения, когда ничто уже не мешало ему поступать, как ему заблагорассудится. Он вступил в два городских клуба и стал жить в гостинице одного из них. И хотя он ни в коем случае не считался неотъемлемым членом холостяцкого клубного общества, он всегда оказывался тут как тут на всех танцах, где могла появиться Джуди Джонс. Он мог бы возвращаться в обществе, сколько душа пожелает, – теперь он был юношей, соответствовавшим всем возможным критериям, и пользовался популярностью в среде отцов семейств, населявших центр города. Его всем известная преданность Джуди Джонс даже упрочила его положение. Но он не стремился снискать успех в обществе и презирал любителей танцев, не пропускавших ни одной вечеринки, хоть в четверг, хоть в субботу, и всегда готовых принять приглашение на устраиваемые женатой молодежью ужины с танцами, если вдруг не хватало гостей для ровного счета. Уже тогда он обдумывал мысль о переезде на восток страны, в Нью-Йорк. Ему хотелось забрать с собой Джуди Джонс. И его иллюзорное желание ею обладать не исчезло даже под воздействием разочарования в том мире, где выросла она.

Помните об этом, потому что лишь в таком ракурсе можно понять то, на что он пошел ради нее.

Через восемнадцать месяцев после знакомства с Джуди Джонс состоялась его помолвка с другой девушкой. Ее звали Ирен Ширер, а ее отец был одним из тех, кто всегда верил в Декстера. Ирен была чуть полноватой блондинкой, очень милой и всеми уважаемой; у нее было два поклонника, с которыми она вежливо рассталась, когда Декстер сделал ей официальное предложение.

Лето, осень, зима, весна, еще одно лето, а затем еще одна осень – вот сколько времени своей активной жизни посвятил он безнадежным губам Джуди Джонс. Она относилась к нему с интересом: то поощряла его, то на него злилась, то становилась к нему равнодушной, то презирала. Она нанесла ему множество мелких оскорблений и демонстрировала все возможное в данном случае неуважение, словно мстя за то, что он когда-то мог ей нравиться. Она манила его и тут же

принималась зевать ему прямо в лицо, затем опять приманивала, и на душе у него часто становилось горько, а на лице застывал злой прищур. Она принесла ему исступленное счастье и невыносимые душевные муки. Она причинила ему бесчисленные неудобства и немало неприятностей. Она оскорбляла его, отвергала его, играла им, заставляя его забавы ради приносить в жертву своему чувству свою работу. Она делала с ним все что угодно, но никогда не критиковала – да, этого она не делала никогда! – и ему казалось, что так было лишь потому, что это могло умалить ту полноту равнодушия, которую она демонстрировала и искренне чувствовала по отношению к нему.

Когда пришла и ушла еще одна осень, ему пришло в голову, что ему не суждено обладать Джуди Джонс. Смириться с этим было непросто, но он все же смог себя убедить. Несколько бессонных ночей он провел, споря с самим собой. Он вспоминал всю причиненную ею боль, все свои неприятности, перечислял все бросавшиеся в глаза недостатки Джуди в качестве жены. Затем он признавался, что любит ее, и через некоторое время засыпал. Чтобы не вспоминать, как звучит ее хриловатый голос по телефону, как смотрят на него за обедом через стол ее глаза, он целую неделю работал допоздна не покладая рук, а вечера проводил в кабинете, составляя планы на годы вперед.

Через неделю он пошел на танцы и там пригласил ее один только раз. Практически впервые с тех пор, как они познакомились, он не стал просить ее посидеть с ним за столиком и не стал ей говорить, как она прекрасна. Его немного ранило, что она этого даже не заметила, – вот и все. Он не почувствовал ревности, когда увидел, что сегодня рядом с ней кто-то другой. Он уже давно научился успешно справляться с ревностью.

На танцах он остался допоздна. Просидел час с Ирен Ширер, разговаривая о книгах и о музыке. И о том и о другом он почти ничего не знал. Но теперь он стал сам распоряжаться своим временем, и было у него такое, несколько педантичное, убеждение, что он – юный и уже добившийся столь потрясающего успеха Декстер Грин – должен знать больше об этих вещах.

Это было в октябре; ему было двадцать пять. В январе Декстер и Ирен договорились о помолвке. Объявить о ней они решили в июне, а еще через три месяца должна была состояться свадьба.

Зима в Миннесоте, казалось, не кончится никогда, и лишь к маю ветер потеплел, а снег наконец-то начал таять и сбегать ручьями в озеро Блэк-Бэр. Впервые за целый год у Декстера было спокойно на душе. Джуди Джонс уехала во Флориду, затем в Хот-Спрингс, где-то была помолвлена, где-то разорвала помолвку. Поначалу, когда Декстер только-только решил отказаться от нее окончательно, его печалило, что люди все еще связывают его с ней и постоянно о ней спрашивают, но когда за ужином его стали усаживать рядом с Ирен Ширер, расспросы прекратились – наоборот, теперь ему стали рассказывали о Джуди. Его перестали считать источником новостей о ее похождениях.

И вот наступил май. Декстер бродил по вечерним улицам, и тьма была сырой, словно дождь, а он думал о том, как же быстро, без всяких усилий, ушла из его жизни почти вся радость. Май прошлого года был отмечен мучительным, непростительным – но все же прощенным – бурлящим водоворотом событий, в который его затянула Джуди – это был тот редкий период, когда он воображал, будто она его полюбила. Это грошовое счастье он обменял на целый воз довольства. Он знал, что Ирен станет для него лишь занавесом, закрывшимся за спиной, лишь рукой, мелькающей среди блестящих чашек, лишь голосом, зовущим детей... Исчезли огонь и красота, ушло волшебство ночей, и благоговение перед бегом времени и сменой времен года тоже исчезло... И тонкие губы, опущенные книзу, касающиеся его губ и уносящие его ввысь, к небесам ее глаз... Да, все это крепко сидело у него внутри. Не мог он с легким сердцем позволить всему этому умереть – слишком уж был он силен и полон жизни!

В один из вечеров середины мая, когда погода уже несколько дней балансировала на той тонкой грани, за которой начинается настоящее лето, он заехал за Ирен. До объявления о помолвке оставалась неделя, и эта новость уже вряд ли смогла бы кого-нибудь удивить. Сегодня они будут вместе сидеть на диване в «Университетском клубе» и целый час смотреть на танцующих. Когда он ходил куда-нибудь с ней, то ощущал, как крепко он стоит на ногах: такой устойчивой популярностью она пользовалась, такой она считалась «важной»!

Он поднялся по ступенькам на крыльцо особняка и вошел внутрь.
– Ирен! – позвал он.

Из гостиной к нему вышла миссис Ширер.

– Декстер! – сказала она. – Ирен пошла наверх, у нее сегодня просто раскалывается голова! Она все же хотела ехать с тобой, но я уговорила ее лечь в постель.

– Надеюсь, ничего серьезного?

– Нет-нет, утром она поедет играть в гольф. Ты ведь сможешь обойтись без нее один вечер? Хорошо, Декстер?

У нее была добрая улыбка; они с Декстером друг другу симпатизировали. Он еще немного поболтал с ней в гостиной, прежде чем пожелать ей «спокойной ночи».

Вернувшись в «Университетский клуб», где он снимал квартиру, он ненадолго задержался в дверях – поглядеть на танцующих. Облокотившись о косяк, кивнул паре знакомых, зевнул.

– Здравствуй, милый!

Послышавшийся вблизи знакомый голос его испугал. Джуди Джонс, оставив какого-то мужчину, подошла к нему – Джуди Джонс, изящная фарфоровая куколочка в золотистом платье, с золотистой лентой в волосах, в золотистых туфельках, выглядывавших из-под платья. Нежный румянец ее щек, казалось, запылал, когда она ему улыбнулась. По залу пронесся порыв тепла и света. Его руки в карманах смокинга судорожно сжались. Его вдруг охватило волнение.

– Когда ты вернулась? – небрежно спросил он.

– Иди за мной; я тебе расскажу.

Она развернулась, и он пошел за ней. Ее не было, и он мог бы расплакаться при виде чуда ее возвращения. Она бродила по заколдованным улицам, творя то, что кружило голову, словно музыка. И все, что было в мире таинственного, все новые и возрождавшиеся надежды, всего этого тоже не было, как и ее, – а теперь вместе с ней все вернулось.

В дверях она обернулась:

– Ты на машине? Если нет, поедem на моей.

– Да, вон мой «купе».

Она села в машину, послышался шорох золотистого платья. Он захлопнул дверцу. В какое множество машин она садилась, вот так – или так – откинувшись на кожаное сиденье, облокотившись о дверцу, и ждала. Она давно испачкалась бы с ног до головы, если бы что-нибудь, кроме нее самой, могло бы ее испачкать, но такова была ее суть, и выплеснуться наружу она могла лишь изнутри.

С некоторым усилием он заставил себя завести машину и выехать задним ходом на улицу. Он должен помнить – это все ничего не значит. Она и раньше так уже поступала, и он оставил ее в прошлом, подобно тому, как вычеркнул бы безнадежный долг из гроссбуха.

Он медленно ехал по центру города, делая вид, что погружен в свои мысли; заехал в деловой квартал. Улицы были почти пустынные;

изредка попадались люди, высыпающие на улицу после окончания сеанса в кинематографе, у бильярдных слонялись чахоточные или же спортивного вида юнцы. Из салунов – обитателей с горящими грязно-желтым светом, немытыми окнами – доносился звон стаканов и стук кулаков о барные стойки.

Она пристально смотрела на него, и тишина становилась неудобной, но, даже когда их отношения достигли низшей точки, он был не в силах осквернить этот миг банальными словами. У поворота он развернул машину и повел ее по уличным зигзагам обратно к «Университетскому клубу».

– Ты скучал по мне? – вдруг спросила она.

– Все по тебе скучали.

Он подумал: знает ли она об Ирен Ширер? Она вернулась лишь вчера, а уехала практически в день его помолвки.

– Что за ответ! – грустно, но без грусти, рассмеялась Джуди. Затем она вопросительно на него посмотрела.

Он притворился, что внимательно изучает что-то на панели управления.

– Ты стал красивее, чем раньше, – задумчиво сказала она. – Декстер, у тебя такие выразительные глаза...

Он мог бы рассмеяться, но не стал. Такое обычно говорят юным студентам. И все же это его тронуло.

– Я ужасно устала от своей жизни, милый. – Она всех звала «милый», придавая этому ласковому слову легкомысленный оттенок товарищества, но для каждого он звучал по-своему. – Давай поженимся?

Эта прямота привела его в замешательство. Он должен был на это сказать, что собирается жениться на другой, но он не смог ей этого сказать. И в то же время он мог бы с легкостью поклясться, что никогда ее не любил.

– Мне кажется, мы бы поладили, – продолжила она все тем же тоном. – Хотя, быть может, ты меня совсем забыл и влюбился в другую?

Очевидно, что ее уверенность была безмерна. В сущности, она ему сказала, что никогда не поверит, что такая ситуация имела право на существование, и даже если это правда, она считает, что он вел себя, как невоспитанный ребенок – скорее всего, чтобы порисоваться. А она его простит, потому что все это не имеет никакого значения и может быть с легкостью отброшено и забыто.

– Разумеется, ты никогда не смог бы полюбить никого, кроме меня, – продолжила она. – Мне нравится, как ты меня любишь. Ах, Декстер, ты не забыл, что было в прошлом году?

– Нет, не забыл.

– И я тоже!

Действительно ли она что-то чувствовала – или же она просто увлеклась своим актерством?

– Ах, нам бы вновь стать такими, как тогда! – сказала она; он заставил себя ответить:

– Не думаю, что у нас получится.

– Наверное, нет... Я слышала, ты тут всю приударял за Ирен Ширер?

Имя она произнесла без всякого ударения, но Декстеру вдруг стало стыдно.

– Ах, отвези меня домой! – вдруг воскликнула Джуди. – Не хочу я возвращаться на эти идиотские танцы – там ведь одни дети!

Затем, когда он свернул на улицу, шедшую к жилым кварталам, Джуди принялась тихо и беззвучно плакать. Он никогда раньше не видел ее слез.

Улицы становились светлее, вокруг стали неясно вырисовываться жилища богачей; он остановил автомобиль перед высоким белым особняком Мортимера Джонса – дремлющим, великолепным, словно натертым до блеска влажным лунным светом. Массивность этого особняка поразила Декстера. Мощные стены, стальные балки, широта, размеры и пышность здания создавали контрастный фон для юной красавицы, сидевшей рядом с ним. Дом был прочен для того, чтобы подчеркнуть ее хрупкость, словно демонстрируя, какой ветер может подняться от крыльев бабочки.

Он сидел совершенно неподвижно, в диком напряжении; он боялся: стоит ему хоть шелохнуться, и она непременно окажется в его объятиях. Две слезинки скатились по ее мокрому лицу и задрожали над верхней губой.

– Я ведь красивее всех, – прерывающимся голосом сказала она, – так почему же я не могу быть счастливой? – Ее мокрые от слез глаза лишали его твердости; уголки губ медленно опустились вниз с прелестной печалью. – Декстер, я выйду за тебя, если ты захочешь! Ты, наверное, думаешь, что я того не стою, но я ведь стану твоей красавицей, Декстер!

Гневные, гордые, страстные, враждебные и нежные слова – сразу миллион слов готов был сорваться с его губ. Затем нахлынула волна чистого чувства, унося с собой последние остатки мудрости, приличий, сомнений и чести. С ним ведь говорила его девушка, его единственная, его прелесть, его радость!

– Зайдешь?

Он услышал, как она резко вздохнула.

Ожидание.

– Хорошо. – Его голос дрожал. – Я зайду.

V

Странно, что когда все кончилось, и даже много лет спустя, он не жалел об этом вечере. И десять лет спустя разве важно было, что Джуди хватило всего на месяц? Не важно было и то, что своей уступкой он обрек себя на еще большие мучения и нанес глубокую рану Ирен Ширер и ее родителям, которые уже относились к нему по-дружески. В горе Ирен не было ничего особенно живописного, чтобы запечатлеться в его памяти.

В глубине души Декстер смотрел на вещи трезво. Отношение городского общества к его поступку не имело для него никакого

значения, и не потому, что он собирался покинуть город, а потому, что другие в этой ситуации могли судить лишь поверхностно. Он был абсолютно равнодушен к общепринятому мнению. Когда он понял, что все бесполезно и не в его силах изменить внутреннюю сущность или удержать Джуди Джонс, он даже не разозлился. Он любил ее, и будет любить ее вплоть до того самого дня, когда он станет уже слишком стар для любви. Но обладать ею он не мог. И подобно тому, как до этого ему довелось испытать недолгое высшее счастье, теперь ему довелось испытать и глубокую боль, уготованную в жизни лишь сильным.

И даже потрясающая лживость предлога, под которым Джуди разорвала помолвку – она, видите ли, не хотела «отнимать его» у Ирен – и это Джуди, которая ничего другого и не хотела! – не перевернула все у него внутри. Он оказался за пределами обычных чувств – ничего в нем не изменилось, и даже не стало смешно.

В феврале он уехал на восток страны, собираясь продать свои прачечные и поселиться в Нью-Йорке, но в марте Америка вступила в войну, и это изменило его планы. Он вернулся на запад, передал все дела в руки компаньона и в конце апреля отправился в первый учебный лагерь для офицеров. Он был одним из тех тысяч молодых людей, которые приветствовали войну с некоторой долей облегчения, радуясь возможности освободиться от опутавшей их паутины сложных чувств.

VI

Нужно помнить, что этот рассказ – не биография Декстера, хотя в него и закрадываются детали, не имеющие отношения к мечтам его юности. С ними, да и с ним, мы уже почти распрощались. Осталось досказать всего один эпизод, который произошел семь лет спустя.

Дело было в Нью-Йорке, где он добился успеха – такого успеха, что теперь ему были по плечу любые барьеры. Ему исполнилось тридцать два, на западе он не бывал вот уже семь лет, не считая одной мимолетной поездки сразу же после войны. К нему в контору зашел по какому-то делу некий Девлин, из Детройта, и тут-то и произошел тот самый эпизод, перевернувший эту, так сказать, страницу его жизни.

– Так вы, значит, со Среднего Запада? – сказал некий Девлин с небрежным любопытством. – Забавно. Я-то думал, что люди вроде вас рождаются и вырастают прямо на Уолл-стрит. Знаете ли, жена одного из моих лучших детройтских друзей родом из вашего города. Я был шафером у них на свадьбе.

Декстер молчал, еще не зная, что его ждет.

– Джуди Симс, – сказал Девлин и без особого интереса добавил: – Когда-то была Джуди Джонс.

– Да, я знал ее. – Декстером овладело глухое раздражение. Разумеется, он слышал, что она вышла замуж, – и ничего больше он старался не слушать.

– Ужасно славная женщина, – ни с того ни с сего вздохнул Девлин. – Мне ее даже немного жаль.

– А что такое? – Внутри Декстера одновременно появилась и настороженность, и желание продолжить разговор.

– Да вот, Луд Симс, в некотором роде, с ума сошел! Я не хочу сказать, что он плохо с ней обращается, но он пьет, гуляет на стороне...

– А она не гуляет?

– Нет. Сидит дома с детьми.

– Н-да...

– Она для него чуток старовата, – сказал Девлин.

– Старовата? – воскликнул Декстер. – Слушайте, да ведь ей всего двадцать семь!

Им овладело дикое желание тут же выбежать на улицу и сесть в первый же поезд до Детройта. Он резко вскочил.

– Вы, наверное, заняты? – торопливо извинился Девлин. – Я как-то не подумал...

– Нет, я не занят, – ответил Декстер, постаравшись добавить в голос твердости. – Я вовсе не занят. Совершенно! Вы, кажется,

сказали, что ей двадцать семь? Ах нет, это я сказал, что ей двадцать семь!

– Ну, да. Вы сказали, – сухо согласился Девлин.

– Так продолжайте, продолжайте же!

– Продолжать что?

– Рассказывать о Джуди Джонс!

Девлин бросил на него беспомощный взгляд:

– Ну, я, вообще-то, уже все вам рассказал! Он дьявольски плохо с ней обращается. Но они не собираются разводиться, ничего подобного! Она прощает его даже тогда, когда это уже просто ни в какие ворота... Собственно, я склонен считать, что она его любит! Она была такая симпатичная, когда впервые приехала в Детройт!

Симпатичная? Эпитет поразил Декстера своей несурзностью.

– А что, она уже... не симпатичная?

– Да нет, вполне себе ничего.

– Слушайте, – резко сев, сказал Декстер, – я вас не понимаю. Вы сказали, что она была «симпатичная», а теперь говорите, что она «вполне себе ничего». Я не понимаю, что вы хотите сказать? Джуди Джонс никогда не была симпатичной! Она была настоящей красавицей! Ведь я ее знал, я хорошо ее знал. Она была...

Девлин вежливо рассмеялся.

– Я вовсе не пытался затеять спор! – сказал он. – По-моему, Джуди славная женщина; она мне нравится. Я лишь никак не пойму, как в нее мог без памяти влюбиться такой мужчина, как Луд Симс, но вот влюбился же! – Затем он прибавил: – Большинству наших дам она нравится.

Декстер пристально взгляделся в Девлина, думая, в чем же причина – то ли это человек какой-то бесчувственный, то ли какая-то личная обида?

– Многие женщины увядают в мгновение ока, вот так. – И Девлин для наглядности щелкнул пальцами. – Наверное, вы и сами такое видали. Возможно, я просто позабыл, какая симпатичная она была на свадьбе. Видите ли, я ее с тех пор довольно часто видел. Глаза у нее красивые...

На Декстера навалилась какая-то апатия. Впервые в жизни ему захотелось сильно напиться. Девлин что-то сказал – он громко рассмеялся, даже не зная, что тот сказал и что там было смешного.

Когда спустя несколько минут Девлин ушел, он прилег на диванчик и стал смотреть в окно на нью-йоркское небо, в котором за крышами садилось солнце, разбрасывая красивые тусклые золотые и розовые лучи.

Он думал, что теперь, когда ему было нечего терять, он стал неуязвим – но только что он безвозвратно утратил что-то еще, словно сам женился на Джуди Джонс, и она увяла прямо у него на глазах.

Он утратил мечту. Исчезла какая-то часть его самого. Почти в панике он зажал ладонями глаза, пытаясь вызвать в памяти плеск волн у Шерри-Айленд и залитую лунным светом веранду, синее полосатое платье на поле для гольфа, жаркое солнце и мягкий золотой пушок у нее на затылке. И ее губы, влажные от поцелуя, и меланхоличный взгляд ее печальных глаз, и ее свежесть – такую, словно выходишь рано утром в новеньком белоснежном костюме. Что ж, всего этого больше не было на свете! Когда-то было, а теперь уж нет.

Впервые за многие годы по его лицу потекли слезы. Но теперь он плакал о себе. Ему не было жаль ни губ, ни глаз, ни движений рук. Он хотел бы жалеть, но жалеть он не мог. Потому что он был уже далеко, и никогда ему уже не вернуться. Врата захлопнулись, солнце село, и не осталось красоты, кроме пасмурной красоты стали, не подвластной и самому времени. И даже горе, которое он мог бы вынести, осталось в прошлом, в стране иллюзий, юности и настоящей жизни, в которой пышно расцветали его зимние мечты.

– Давным-давно, – сказал он, – давным-давно во мне было нечто, но теперь его уже нет. Оно исчезло, да... Оно исчезло. Я не могу плакать. Я не могу жалеть. Оно не вернется больше никогда.

Маленькие гости

Чувствуя, что стареет, Джон Эндрос утешался мыслью о том, что не исчезнет бесследно – ведь у него есть ребенок! Похоронный оркестр забвения заглушался топотом маленьких ножек или

детским голоском, лепетавшим какую-то бессмыслицу в телефонной трубке. Последнее происходило ежедневно около трех часов дня, когда жена звонила ему на работу – они жили в пригороде, – и он ожидал этого звонка с удовольствием, считая его одним из самых ярких моментов своих рабочих будней.

В физическом смысле он вовсе не был стар, но в жизни ему пришлось покарабкаться по неровным холмам – так что к тридцати восьми годам, когда из битв с болезнями и бедностью он вышел победителем, иллюзий у него оставалось в количестве гораздо менее обычного. Даже его любовь к малютке-дочери не была безграничной. Рождение дочери снизило градус романтики его отношений с женой и стало причиной, по которой они переселились в пригород, где за здоровый деревенский воздух приходилось расплачиваться вечными проблемами с прислугой и ежедневными утомительными поездками до работы и обратно на пригородном поезде.

Маленькую Эди он рассматривал, главным образом, в качестве осязаемого воплощения юности. Ему нравилось сажать ее к себе на колени, скрупулезно изучать очаровательную пушистую макушку и заглядывать в небесно-голубые глаза. По завершении этого ритуала поклонения, к вящей радости Джона, дитя уносила нянька. Живость ребенка начинала его утомлять уже минут через десять; он обычно выходил из себя, когда при нем что-то ломалось, а в один воскресный вечер, когда ребенок сорвал партию в бридж, запрятав куда-то пикового туза, он устроил такую сцену, что жена расплакалась.

Это выглядело нелепо, и Джону стало стыдно. Ведь никуда от этого не деться – нельзя же постоянно держать маленькую Эди в детской наверху, когда день от дня она все больше и больше становится, как говорила ее мать, «маленьким членом нашего общества».

Ей было два с половиной года, и в этот вечер, например, ее пригласили на день рождения. Эдит-старшая – мама – позвонила на работу и сообщила новость, а маленькая Эди подтвердила информацию громким воплем: «Я иду на день варенья!», прямо в ничего не подозревающее левое ухо Джона.

– Дорогой, зайдешь к Марки, когда приедешь домой, ладно? – снова зазвучал голос жены. – Будет весело. Эди будет в своем новеньком розовом платье...

Разговор неожиданно оборвался: послышался громкий пронзительный звук, означавший, что телефон изо всех сил дернули и уронили на пол. Джон рассмеялся и решил уехать сегодня домой пораньше – перспектива взглянуть на маленьких гостей в чужом доме весьма его позабавила.

«Вот это будет кутерьма! – весело подумал он. – Дюжина мамочек, и каждая не замечает ничего, кроме своего ребенка! Детишки все ломают, набрасываются на торт, а каждая мамаша по дороге домой только и думает, что ее ребенок пусть хоть капельку, да лучше, чем все остальные дети».

Сегодня у него было хорошее настроение: все в его жизни шло на редкость хорошо. Сойдя с поезда на своей станции, он отрицательно помотал головой в ответ назойливому таксисту и в декабрьских сумерках, по холодку, пошел к своему дому, стоявшему на холме. Было всего шесть вечера, но уже взошла луна, с гордым великолепием отбрасывая свой свет на тонкий слой снега, покрывавший лужайки, словно сахар.

Он шел и вдыхал полной грудью прохладный воздух, и чувствовал себя счастливым, и ему казалось, что на свете нет ничего лучше, чем дети в гостях. Он думал о том, как будет выглядеть Эди на фоне детей своего возраста – не будет ли ее розовое платьице смотреться чересчур радикальным и «взрослым»? Он пошел побыстрее – и вот он увидел свой дом, в окне которого все еще сияла огнями уже утратившая смысл рождественская елка, но он не стал сворачивать на дорожку. День рождения был у соседей, в доме Марки.

Поднялся на кирпичное крыльцо, позвонил в дверь; изнутри донеслись голоса – и он обрадовался, что не опоздал. Затем вскинул голову и прислушался – голоса были не детские, звучали громко, резко и сердито; ругались трое, и один голос, возвысившийся до истерического всхлипа, он тут же узнал – это был голос жены.

«Что-то случилось», – тут же подумал он.

Задев дверь, он обнаружил, что она не заперта; он толкнул ее и вошел.

На день рождения приглашали к половине пятого, но Эдит Эндрос практически рассчитала, что новое платье произведет большой фурор на фоне уже помятых нарядов, и поэтому пришла вместе с маленькой Эди к пяти. Праздник был в самом разгаре. Четыре девочки и девять мальчиков – все, как один, причесанные, умытые и одетые со всем тщанием гордых и заботливых материнских сердец – танцевали под фонограф. Конечно, в танцах одновременно участвовали лишь двое или трое, но все остальные при этом находились в постоянном движении – то подбегая к мамам, чтобы их похвалили, то убегая, получив похвалу, – и общее впечатление было примерно то же.

При появлении Эдит с дочерью музыку на какое-то время заглушил общий хор восклицаний «Ах, какая прелесть!», повторяемых на все лады и обращенных к маленькой Эди, остановившейся и оглядывавшей все вокруг с застенчивым видом, теребя пальчиками подол розового платья. Никто ее не целовал – нынче ведь век гигиены, – но весь строй мам по очереди ее потискал, и каждая произнесла: «Какая ты прелесть!» – и пожала розовую ладошку. Получив свою порцию похвал и несколько легких подбадривающих толчков, она тут же влилась в хоровод и приняла активное участие в общих увеселениях.

Эдит задержалась у двери, беседуя с миссис Марки и наблюдая вполглаза за крохотной фигуркой в розовом платье. Миссис Марки она не любила, считала ее надменной и вульгарной, но Джон Эндрос с Джо Марки были большими друзьями и каждое утро на поезде вместе ездили в город, так что жены старательно поддерживали видимость теплых и дружественных отношений. Они всегда упрекали друг друга: «Что-то вы давно у нас не были!», и всегда планировали совместные развлечения вроде: «Давайте как-нибудь соберемся вместе, пообедаем и сходим в театр!», но дальше разговоров дело не шло.

– Маленькая Эди – само очарование, – сказала миссис Марки, улыбнувшись и облизав губы; Эдит находила эту манеру крайне омерзительной. – Она так выросла – даже не верится!

Эдит задумалась, не было ли «маленькая Эди» намеком на тот факт, что Билли Марки весил почти на пять фунтов больше, хотя по возрасту был на несколько месяцев младше. Взяв чашку чая, она уселась рядом с двумя другими дамами на диван и включилась в разговор, который и

был истинной подоплекой праздника: разумеется, все пришли сюда, чтобы поделиться последними достижениями и промахами детей.

Прошел час. Танцы надоели, и дети перешли к развлечениям посерьезнее. Они убежали в столовую, окружили большой стол и совершили попытку взять штурмом кухонную дверь, откуда и были спасены экспедиционным корпусом мамочек. Едва замкнулось кольцо окружения, как они тут же его прорвали и устремились обратно в столовую, откуда снова попытались овладеть знакомой створчатой дверью. Отовсюду стало доноситься слово «вспотели» и замелькали белые платочки, вытиравшие маленькие белобрысые головки. Всеобщее усилие усадить детей отдохнуть кончилось тем, что дети, извиваясь, сползли с материнских колен с не терпящими возражения криками «Пусти, пусти!» и возобновили увлекательную беготню в столовой.

Сигналом к окончанию этого этапа празднования послужило прибытие десерта: принесли большой торт с двумя свечками и ванильное мороженое в вазочках. Билли Марки, смешливый мальш, полненький, рыжий и слегка кривоногий, задул свечки и тут же большим пальцем продырявил белую глазурь. Раздали угощение, и дети с жадностью, но не устраивая кавардак, стали его уплетать – весь вечер они вели себя на редкость хорошо. Ведь это были современные дети, которые спали и ели по расписанию, так что характеры у них были спокойные и выглядели они здоровыми и розовощекими, – вряд ли такой мирный день рождения был бы возможен лет тридцать назад.

После угощения начался всеобщий исход. Эдит с беспокойством посмотрела на часы – было почти шесть часов, а Джон так и не пришел. Ей хотелось, чтобы он увидел Эди с другими детьми, чтобы он увидел, какая она тихая, вежливая и умненькая и что на платье у нее всего лишь одно маленькое пятнышко от капнувшего с подбородка мороженого – кто-то толкнул ее сзади.

– Ты моя хорошая! – шепнула она дочке, притянув неожиданно к себе. – Ты знаешь, кто у нас самый хороший? Ты у меня самая хорошая на свете!

Эди рассмеялась.

– Гав-гав! – неожиданно сказала она.

– Гав-гав? – Эдит посмотрела вокруг. – Здесь нет «гав-гав»!

– Гав-гав! – повторила Эди. – Хочу «гав-гав»!

Эдит взглянула, куда указывал маленький пальчик.

– Это не гав-гав, милая моя, это мишка.

– Мишка?

– Да, это мишка, и это мишка Билли Марки. Ты ведь не хочешь отнять мишку у Билли Марки, правда?

Эди хотела.

Она вырвалась из маминых рук и подбежала к Билли Марки, который крепко сжал игрушку в руках. Эди остановилась, смерив его непроницаемым взглядом, и Билли засмеялся.

Эдит-старшая снова посмотрела на часы – уже с раздражением.

Почти все гости разошлись; кроме Эди и Билли осталось всего двое малышей, причем один из них не ушел лишь потому, что спрятался в столовой под столом. Как эгоистично поступил Джон, не придя! Как будто он вовсе и не гордится своим ребенком! С полдюжины других отцов нашли ведь время, зашли за женами – и в гостях побывали, и на детей посмотрели!

Неожиданно раздался рев. Эди завладела мишкой Билли, вырвав его у него из рук, а когда Билли попытался отнять у нее игрушку, она нечаянно его толкнула, и мальчик упал на пол.

– Ай-яй-яй, Эди! – воскликнула мама, подавив желание рассмеяться.

Джо Марки, красивый, широкоплечий мужчина лет тридцати пяти, подхватил сына и поставил его на ноги.

– Ну ты и молодчина! – добродушно сказал он. – Позволил девчонке свалить себя с ног! Ну и молодец!

– Он голову не ушиб? – прибежала от дверей встревоженная миссис Марки, закончив раскланиваться с предпоследней уходящей мамашей.

– Ни в коем случае! – воскликнул Джо Марки. – Он ушиб кое-что другое, правда, Билли? Ушибся совсем другим местом!

Билли к этому моменту уже забыл об ушибе и предпринял новую попытку вернуть утраченную собственность. Он ухватил торчавшую из-под цепких рук Эди ногу медвежонка и изо всех сил потянул за нее, но без всякого успеха.

– Нет! – категорично произнесла Эди.

И вдруг, вдохновленная успехом своего предыдущего случайного маневра, Эди отпустила медвежонка, схватила Билли за плечи и

толкнула назад, сбив с ног.

На этот раз он упал уже не так удачно; голова с глухим звуком ударилась о голый пол там, где кончался ковер, после чего последовал громкий вздох и отчаянный вопль.

В комнате тут же воцарилась суматоха. Джо Марки с восклицанием поспешил к сыну, но первой вблизи пострадавшего оказалась мать, схватившая ребенка на руки.

– Ах, Билли! – воскликнула она. – Какой ужас! Ее нужно отшлепать!

Бросившаяся в этот момент к дочери Эдит услышала это и резко сжала губы.

– Ай-яй-яй, Эди! – прошептала она исключительно в воспитательных целях. – Ты плохая девочка!

Эди вдруг откинула головку назад и рассмеялась. Она смеялась громко, победоносно, с вызовом и презрением к побежденному. К сожалению, этот смех был еще и заразителен. Не успев осознать всю щекотливость ситуации, мама тоже рассмеялась – и это был настоящий, хорошо слышный смех, и совсем не смех ребенка, хотя в нем звучали те же самые оттенки.

Опомнившись, она тут же заставила себя замолчать.

Миссис Марки покраснела от гнева, а Джо Марки, ощупывавший затылок ребенка, взглянул на нее и нахмурился.

– Будет хороший синяк, – с укором сказал он. – Пойду принесу мазь.

Но миссис Марки сдержаться не смогла.

– Не вижу ничего смешного в том, что ребенок ударился! – дрожащим голосом произнесла она.

Тем временем маленькая Эди с любопытством наблюдала за мамой. Она заметила, что мама рассмеялась вместе с ней, и решила проверить, всегда ли ее смех будет вызывать подобный эффект. Она выбрала момент, откинула голову назад и опять засмеялась.

Новый взрыв веселья в такой ситуации вызвал у матери истерику. Не в силах сдержаться, она захихикала, зажав рот платком. Это было больше, чем нервозность: она чувствовала, что сейчас пусть и довольно своеобразным образом, она заодно со своим ребенком – они смеялись заодно!

В этом был некий вызов – они вместе против всего мира!

Пока Джо Марки бегал навверх в ванную за мазью, его жена ходила взад и вперед, качая и успокаивая на руках орущего мальчишку.

– Прошу вас, уходите домой! – вдруг выпалила она. – Ребенок сильно ушибся, и если вам не хватает приличия, чтобы хотя бы помолчать, то лучше уходите!

– Очень хорошо, – ответила Эдит, вскипая. – Никогда еще не видела, чтобы из такой мухи раздували...

– Уходите! – неистово воскликнула миссис Марки. – Дверь там, уходите! И чтобы я вас в нашем доме больше не видела! Вас и ваше отродье!

Эдит уже схватила дочь за руку и двинулась по направлению к двери, но тут же остановилась и развернулась; лицо ее сморщилось от негодования.

– Не смейте ее обзывать!

Миссис Марки ничего не ответила и лишь продолжила ходить туда-сюда, что-то невнятно бормоча себе под нос и успокаивая Билли.

Эдит заплакала.

– Я уйду! – сквозь слезы говорила она. – Никогда в жизни не видела столь грубой и вульгарной особы! И ничего, что ваш ребенок треснулся – ему все равно, он ведь у вас просто жирный дурачок!

Джо Марки спустился вниз как раз в этот момент и услышал последнюю фразу.

– Миссис Эндрос, – резко сказал он, – неужели вы не видите, что ребенок ушибся? Будьте любезны, держите себя в руках!

– Мне?! «Держать себя в руках»?! – отрывисто воскликнула Эдит. – Да вы бы лучше ее попросили держать себя в руках! В жизни не видела столь вульгарной особы!

– Она меня оскорбила! – Миссис Марки теперь посинела от ярости. – Ты слышал, что она сказала, Джо? Выгони ее отсюда! А если не пойдет, хватай за руки и выбрасывай вон!

– Только попробуйте меня тронуть! – крикнула Эдит. – Как только найду пальто, ноги моей здесь больше не будет!

Вся в слезах, она сделала шаг по направлению к прихожей. Именно в этот момент распахнулась дверь и вошел встревоженный Джон Эндрос.

– Джон! – воскликнула Эдит и бросилась к нему.

– В чем дело? Что тут произошло?

– Они... Они меня выгоняют! – взвыла она, повиснув на нем. – Он как раз собирался схватить меня за руки и выбросить вон. Отдайте мне мое пальто!

– Это неправда, – торопливо возразил Джо Марки. – Никто не собирался вас выгонять. – Он повернулся к Джону. – Никто не собирался ее выгонять, – повторил он. – Она...

– «Выгонять»? О чем это ты? – перебил его Джон. – Да что вы все тут за ахинею несете, а?

– Ах, пойдем! – воскликнула Эдит. – Я хочу уйти. Они такие вульгарные, Джон!

– Слушайте, вы! – Лицо Джо Марки потемнело. – Не надоело вам это повторять? Вы себя ведете как ненормальная!

– Они обозвали Эди «отродьем»!

Второй раз за этот вечер Эди продемонстрировала свои чувства в самый неподходящий момент. Растерявшись и испугавшись громких криков взрослых, она расплакалась, и выглядело это так, будто ее действительно обидели.

– Это что вы тут себе позволяете? – тут же вспыхнул Джон. – В вашем доме принято оскорблять гостей?

– Сдается мне, что оскорблениями тут занимается твоя жена! – твердым голосом ответил Марки. – А все неприятности устроил твой ребенок!

Джон презрительно фыркнул.

– Обзываешь детей? – спросил он. – Ну и мужик – ничего не скажешь!

– Не разговаривай с ним, Джон, – настойчиво потребовала Эдит. – Найди мое пальто!

– Тяжело тебе, видно, живется, – в сердцах продолжил Джон, – раз уж срываешь злость на беспомощных детях!

– В жизни еще не слышал, чтобы кто-нибудь так все переврал! – крикнул Марки. – Если бы эта твоя женушка хоть на минуту заткнулась...

– Минуточку! Ты говоришь вовсе не с женщиной и не с ребенком...

Тут их неожиданно прервали. Эдит шарила по стульям, пытаясь найти свое пальто, а миссис Марки наблюдала за ней горящими злыми глазами. Вдруг она положила Билли на диван – он тут же прекратил реветь и сел; выйдя в прихожую, она быстро нашла пальто и сунула

его Эдит, не сказав ни слова. Затем вернулась к дивану, взяла Билла на руки и стала его качать, все так же бросая на Эдит злые, обжигающие взгляды. Антракт занял менее тридцати секунд.

– Твоя жена приходит к нам в дом и начинает орать, какие мы вульгарные! – яростно выпалил Джо Марки. – Ну что ж, если мы такие, черт возьми, вульгарные – так не ходите сюда! И вообще, давайте-ка идите отсюда!

Джон опять издал короткий презрительный смешок.

– Да ты не только вульгарный, – ответил он, – ты еще и хам порядочный, когда перед тобой беспомощные женщины и дети. – Он нащупал ручку и распахнул дверь. – Пошли, Эдит.

Схватив в охапку дочь, его жена вышла на улицу; Джон, бросив на Джо Марки презрительный взгляд, двинулся за ней.

– Минуточку! – Марки сделал шаг вперед; он слегка дрожал, а на виске у него выступили пульсирующие жилки. – Ты ведь не думаешь, что это все тебе так просто сойдет с рук, правда? Не на того напал!

Не говоря ни слова и не закрывая дверь, Джон вышел на улицу.

Эдит, все еще всхлипывая, направилась к дому по тропинке. Убедившись, что она благополучно дошла до дорожки перед домом, Джон развернулся и пошел обратно к освещенному дверному проему, где по скользким ступеням крыльца неторопливо спускался Марки. Он снял пальто, шляпу и бросил их на снег. Затем, поскользнувшись на обледеневшей дорожке, он пошел вперед.

От первого же удара оба поскользнулись и тяжело упали на дорожку; затем приподнялись и снова уронили друг друга на землю. Сбоку была ровная лужайка, покрытая тонким слоем снега, и они бросились друг на друга, размахивая кулаками и вдавливая снег в вязкую грязь под ногами.

На улице было пустынно, и драка шла в полной тишине – если не считать резких усталых вздохов и глухих звуков, раздававшихся, когда то один, то другой падал, поскользнувшись, в слякотную жижу; светила полная луна, из открытой двери исходил янтарный свет, поэтому они отчетливо видели друг друга. Несколько раз они поскальзывались и падали вдвоем, и тогда драка возобновлялась на лужайке – все с той же яростью.

Десять, пятнадцать, двадцать минут продолжалась жестокая драка при луне. Оба, не сговариваясь, через некоторое время сбросили

пиджаки и жилеты, рубашки на спинах превратились в мокрые, липнущие к телу, свисающие лоскуты. Оба были в кровавых царапинах и выдохлись так, что могли стоять, лишь поддерживая друг друга, – от любого толчка или замаха оба тут же валились на четвереньки.

Но не из-за изнеможения прекратили они эту драку, ведь бессмысленность и была той причиной, по которой она никак не заканчивалась. Валяясь на земле, они услышали приближающиеся шаги на тротуаре и тут же перестали друг друга тузить. Шаги приближались; они прекратили возню и перекатились в тень, и до тех пор, пока шаги не утихли вдали, оба замерли, затаили дыхание и, сжавшись в комок, залегли, словно мальчишки, играющие в индейцев. Затем, пошатываясь, оба встали и посмотрели друг на друга, словно пьяные.

– Будь я проклят, если мне хочется еще! – заплетающимся языком воскликнул Марки.

– Я тоже больше не хочу, – сказал Джон Эндрос. – Хватит с меня.

Они снова посмотрели друг на друга, на этот раз – угрюмо, будто подозревая один другого в том, что противник сейчас опять станет драться. Марки сплюнул кровью из разбитой губы, затем тихо выругался, поднял пиджак, жилет, стряхнул с них снег; у него был такой вид, будто промокшая одежда была его единственной заботой.

– Зайдешь умыться? – вдруг спросил он.

– Нет, благодарю, – ответил Джон. – Надо домой идти, а то жена беспокоится.

Он тоже поднял с земли пиджак, жилет, а затем пальто и шляпу. Все было мокрое, он сам был весь в поту – не верилось, что всего полчаса назад он носил на себе всю эту одежду.

– Ну, ладно. Спокойной ночи, – неуверенно произнес он.

Они вдруг шагнули навстречу друг другу и пожали руки. Это было не простое рукопожатие: Джон Эндрос поднял руку, похлопал Марки по плечу и еще несильно по спине.

– В порядке? – отрывисто спросил он.

– Да. А ты?

– И я в порядке. Нормально все.

– Ладно, – спустя минуту сказал Джон Эндрос. – Давай, пока! Спокойной ночи!

Повесив одежду на руку, чуть прихрамывая, Джон Эндрос развернулся и пошел прочь. Когда он покинул темный участок вытоптанной земли и ступил на примыкающую лужайку, все еще ярко светила луна. За полмили отсюда, со станции, слышался гул семичасового поезда.

– С ума ты, что ли, сошел? – прерывающимся голосом воскликнула Эдит. – Я-то думала, что ты хочешь все уладить и покончить дело миром! Я только поэтому и ушла!

– Ты хотела, чтобы мы все уладили?

– Конечно же нет – я больше знать их не желаю! Но я, разумеется, думала, что ты собираешься поступить именно так! – Она мазала йодом царапины у него на шее и на спине, а он, не двигаясь, сидел в теплой ванне. – Я вызову врача, – с настойчивостью продолжала она. – У тебя могут быть какие-нибудь внутренние травмы.

Он отрицательно покачал головой.

– Ни в коем случае, – ответил он. – Я вовсе не хочу, чтобы об этом знал весь город.

– Но я так и не поняла, как же все так вышло?

– Я тоже. – Он хмуро улыбнулся. – Дети в гостях – тяжелый случай.

– Ладно. Есть и хорошая новость, – бодро сказала Эдит. – Просто счастье, что у нас дома оказался бифштекс – я купила его на завтра!

– И что?

– Приложим к глазу, естественно! Я ведь едва не взяла телятину! Тебе просто повезло!

Спустя полчаса, уже одетый – если не считать воротничка, который пока что было невозможно нацепить из-за пострадавшей шеи, – Джон осмотрел себя в зеркало, проверяя, как двигаются руки и ноги.

– Надо восстанавливать форму, – задумчиво произнес он. – Что-то я постарел.

– Чтобы в следующий раз отделать его как следует?

– Я его уже как следует отделал! – объявил он. – Ну, на худой конец, не хуже, чем он меня. И никакого следующего раза не будет! Ты больше никогда не будешь обзывать людей вульгарными, слышишь? Если что-то не так, просто берешь пальто и идешь домой, понятно?

– Да, дорогой, – кротко ответила она. – Я вела себя очень глупо, я все поняла.

Выйдя в холл, он неожиданно остановился у двери детской:

– Она спит?

– Крепко спит. Можешь зайти и взглянуть на нее – пожелаешь ей спокойной ночи.

Они вместе тихонько вошли и склонились над кроваткой. Маленькая Эди крепко спала в прохладной темной комнате – на щечках играл здоровый румянец, розовые ручонки были крепко сжаты в замок. Джон протянул руку над бортиком кровати и легонько погладил шелковистые волосы.

– Спит, – озадаченно пробормотал он.

– Еще бы, после такого вечера...

– Мис' Эндрос, – донесся из коридора театральный шепот цветной горничной, – к вам пришли миста и мис' Марки, они там внизу. Миста Марки весь порезан на кусочки, мэм. Лицо выглядит, словно ростбиф. А мис' Марки – она вроде как в ярости, мэм.

– Какая бесподобная наглость! – воскликнула Эдит. – Скажи им, что нас нет дома. Я ни за что на свете не спущусь вниз.

– Еще как спустишься! – Голос Джона звучал твердо и категорично.

– Что?

– Ты спустишься вниз сию же минуту, и, кроме того – что бы там ни сказала и ни сделала эта женщина, – ты извинишься перед ней за то, что наговорила сегодня. После этого можешь забыть о ней навсегда.

– Но... Джон, я не смогу!

– Ты должна! И помни – ей, может, было в два раза труднее прийти сюда, чем тебе – спуститься вниз.

– А ты идешь? Или мне одной идти?

– Я спущусь, но чуть позже.

Джон Эндрос подождал, пока за ней закрылась дверь; затем протянул руки, взял дочку вместе с одеяльцем и всем остальным и уселся в кресло, крепко держа ребенка на руках. Девочка

зашевелилась, он задержал дыхание, но она продолжала все так же крепко спать, и мгновение спустя тихо уткнулась головой в изгиб его локтя. Он медленно наклонился, прижавшись щекой к ее поблескивающим волосам.

– Милая моя девочка, – прошептал он. – Милая моя девочка!

Теперь Джон Эндрос точно знал, за что он так свирепо дрался этим вечером. Наконец-то он обрел это, и это останется с ним навсегда; он еще немного посидел, медленно покачиваясь в темноте взад и вперед.

Отпущение грехов

I

Жил когда-то священник с холодными слезящимися глазами, из которых в тиши ночи текли холодные слезы. Он плакал потому, что вечера были теплыми и долгими, а ему никак не удавалось достичь полного духовного единения с Господом нашим. Иногда, около четырех часов, вдоль по тропинке мимо его окна проходила толпа работниц-шведок, и в их резком смехе ему слышался ужасный диссонанс, который заставлял его молиться вслух о том, чтобы поскорее наступили сумерки. В сумерки смех и голоса звучали тише, но несколько раз, когда на улице уже было темно, ему доводилось проходить мимо аптеки Ромберга, где горели желтые лампы и сверкали никелированные краны сифонов на стойке и аромат дешевого туалетного мыла в воздухе был приторно-сладок. Он шел этой дорогой, возвращаясь после принятия исповеди в субботние вечера, и непременно переходил на другую сторону улицы, чтобы восходивший, как фимиам, к летней луне запах мыла успел подняться вверх, не достигая его ноздрей.

В четыре часа дня стояла безумная жара, и никуда от нее было не деться. За окном, насколько хватало взгляда, расстилались пшеничные поля Дакоты, заполнявшие всю долину Красной реки. Смотреть на пшеницу было страшно – и он, страдая, устремлял свой взор на узор на ковре, который отправлял его мысль блуждать по фантастическим лабиринтам, в конце которых всегда сияло неумолимое солнце.

Однажды под вечер, когда его мозг уже уподобился старым часам, в которых кончился завод, экономка привела к нему в кабинет красивого одиннадцатилетнего мальчика с большими глазами, по имени Рудольф Миллер. Мальчик сел, на него упало пятно солнечного света, а священник, сидя за своим ореховым столом, притворился, что очень занят. Так он скрыл свое облегчение от того, что в его заколдованной комнате кто-то появился.

Через некоторое время он обернулся и увидел, что прямо на него устремлен взгляд двух огромных, часто моргающих глаз, светившихся мерцающими кобальтовыми точками. На мгновение их выражение испугало его, а затем он заметил, что гость сам находится в состоянии жалкого страха.

– У тебя губы дрожат, – измученным голосом произнес отец Шварц.

Мальчик прикрыл дрожащий рот рукой.

– У тебя неприятности? – отрывисто спросил отец Шварц. – Убери руку от лица и рассказывай, что случилось.

Мальчик – теперь отец Шварц узнал его: это был сын прихожанина мистера Миллера, начальника багажного бюро на вокзале, – неохотно убрал руку ото рта и подал голос, отчаянно зашептав:

– Отец Шварц, я совершил ужасный грех.

– Грех против заповеди целомудрия?

– Нет, святой отец... Хуже.

Тело отца Шварца резко дернулось.

– Ты кого-нибудь убил?

– Нет... но я боюсь... – Он вдруг громко всхлипнул.

– Ты хочешь исповедаться?

Мальчик испуганно помотал головой. Отец Шварц откашлялся, чтобы голос звучал мягче, и негромко произнес слова утешения. В этот момент он забыл о своем страдании и попытался действовать, как

Господь. Он повторил про себя слова молитвы, надеясь, что в ответ Господь укажет ему правильный путь.

– Расскажи мне, что ты совершил, – произнес он уже другим, ласковым голосом.

Мальчик сквозь слезы посмотрел на него, и созданная безумным священником атмосфера духовного обновления его успокоила. Предав себя настолько, насколько было возможно, в руки этого человека, Рудольф Миллер начал рассказывать свою историю:

– В субботу, три дня назад, отец сказал, чтобы я шел к исповеди, потому что я уже месяц не был, а у нас в семье все ходят раз в неделю, а я не ходил. У меня как-то вылетело из головы, я и забыл. Отложил до после ужина, потому что играл с ребятами, а отец спросил, ходил ли я, и я сказал: «Нет», а он схватил меня за шкурку и сказал: «Иди прямо сейчас», я сказал «Ладно» – и пошел в церковь. А он крикнул вслед: «И не возвращайся, пока не сходишь...»

II

«В субботу, три дня назад»

Унылые складки плюшевого занавеса исповедальни снова замерли, оставив на виду лишь подошвы потрепанных стариковских ботинок. За занавесом бессмертная душа оставалась один на один с Господом и преподобным Адольфусом Шварцем, приходским священником. Послышались звуки: старательный шепот, свистящий и тихий, иногда прерываемый громко вопрошавшим голосом священника.

Рудольф Миллер опустил колени на нижнюю перекладину церковной скамьи у исповедальни и стал ждать, нервничая и прислушиваясь к тому, что говорилось внутри, – стараясь не слышать. Тот факт, что священника было хорошо слышно, встревожил его. Он шел следующим, и трое или четверо, стоявшие за ним, могли бессовестно подслушать его признание о нарушении шестой и девятой заповедей.

Рудольф никогда не совершал прелюбодеяния, никогда не желал он и жены ближнего своего, но именно о связанных с этим грехах было труднее всего размышлять. Для сравнения он стал смаковать свои менее позорные падения – на их сероватом фоне черное пятно сексуальных проступков, лежавших у него душе, тускнело.

Он закрывал уши руками, надеясь, что его отказ подслушивать будет замечен и взамен ему будет оказана подобная же милость. Резкое движение покаявшегося грешника в исповедальне заставило его стремительно спрятать лицо в изгибе локтя. Страх принял осязаемую форму: между сердцем и легкими внезапно образовалась пустота. Теперь он должен из всех сил раскаяться в своих грехах – не потому, что он боялся, а потому, что он оскорбил Господа. Он должен убедить Бога в том, что он раскаялся, а для этого надо сначала убедить себя. После напряженной внутренней борьбы он смог робко пожалеть себя и решил, что теперь он готов. Если он не позволит никаким другим мыслям возникнуть в его голове до тех пор, пока он, наконец, не войдет в этот большой гробоподобный ящик, тогда ему удастся сохранить это состояние в неприкосновенности, и он успешно выдержит еще один кризис в своей религиозной жизни.

Тем не менее ненадолго им почти овладело искушение. Он мог уйти домой, не дожидаясь своей очереди, и рассказать матери, что пришел слишком поздно, когда священник уже ушел. Но при этом он, к сожалению, рисковал быть пойманным на лжи. Еще он мог сказать, что исповедался, но это означало, что на следующий день ему будет необходимо избежать причастия, поскольку облатка, принятая нераскаявшейся душой, станет ядом прямо во рту, и тогда он, проклятый, прямо на алтаре обмякнет и свалится замертво.

Снова послышался голос отца Шварца:

– И за твои...

Слова превратились в хриплое бормотание, и Рудольф, волнуясь, поднялся с колен. Он чувствовал, что сегодня у него не хватит сил исповедаться. Он напряженно мялся. Затем из исповедальни послышался легкий стук, скрип и приглушенное шуршание. Створка упала, и плюшевый занавес задрожал. Искушение пришло к нему слишком поздно...

– Благословите меня, святой отец, потому что я грешен... Признаюсь Господу всемогущему и вам, святой отец, что я согрешил... С моей последней исповеди прошел месяц и три дня... Признаюсь, что употреблял имя Господне всуе...

Это был не тяжкий грех. Его богохульства были не более чем бравада – рассказывать о них было почти что хвастаться.

– ... в том, что отнесся дурно к старушке.

Тень человека на решетчатой створке окошка исповедальни немного сдвинулась.

– Как именно, дитя мое?

– Это была старая леди Свенсон. – Шепот Рудольфа зазвучал торжественно громко. – Она забрала наш бейсбольный мяч, который попал к ней в окно, и не отдавала его, поэтому мы весь вечер вопили у нее под окном: «Черт тебя возьми!» А в пять вечера ее хватил удар, и пришлось вызывать врача.

– Продолжай, дитя мое.

– Грешен... в том, что не верил, что я – сын своих родителей.

– Что? – с удивлением переспросил вопрошавший.

– В том, что не верил, что я – сын своих родителей!

– Почему?

– Ну, просто гордыня, – беззаботно пояснил грешник.

– Хочешь сказать, что помышлял о том, будто твои родители тебя недостойны?

– Да, святой отец, – уже не так торжествуя.

– Продолжай.

– Что был непослушным сыном и обзывался на мать. Что ябедничал на людей. Что курил...

К этому моменту Рудольф исчерпал все незначительные прегрешения и вплотную подошел к грехам, рассказывать о которых было мучительно. Руки он теперь держал перед лицом, как засовы, сквозь которые он выдавливал стыд из своего сердца.

– Что говорил непристойные слова, имел непристойные мысли и желания, – очень тихо прошептал он.

– Как часто?

– Не знаю.

– Раз в неделю? Дважды в неделю?

– Дважды в неделю.

– Ты поддавался этим искушениям?

– Нет, святой отец.

– Ты был в одиночестве, когда они одолевали тебя?

– Нет, святой отец. Со мной было двое мальчиков и девочка.

– Разве ты не знаешь, сын мой, что должен избегать искушений так же, как и самих грехов? Дурная компания ведет к дурным желаниям, а дурные желания – к дурным поступкам. Где ты был, когда это случилось?

– В сарае на заднем дворе у...

– Я не желаю слышать никаких имен, – быстро перебил его священник.

– Хорошо. Все произошло на сеновале в этом сарае, та девочка и мальчики... они говорили... говорили непристойности, а я остался.

– Ты должен был уйти, и ты должен был сказать девочке, чтобы она ушла.

Он должен был уйти! Если бы он только мог рассказать отцу Шварцу, как сильно бился пульс у него на запястье, какое незнакомое, волнующее чувство возбуждения охватило его, когда говорились все эти еще незнакомые ему вещи; такое пламя белого каления знакомо лишь, быть может, унылым, с тяжелым взглядом девушкам из исправительных домов.

– Ты хочешь мне рассказать о чем-нибудь еще?

– Нет, святой отец.

Рудольф почувствовал громадное облегчение. Он чувствовал, как под крепко сжатыми пальцами заструился пот.

– Ты лгал?

Вопрос застал его врасплох. Как и все те, для кого лгать привычно и естественно, он относился к правде с большим уважением и благоговением. Но нечто неизвестное, помимо его воли, заставило его дать короткий и гордый ответ:

– Нет, святой отец, я никогда не лгу!

Он возгордился, как простолудин, усевшийся на королевский престол, – но лишь на мгновение. Затем, когда священник начал бормотать традиционные увещевания, до него дошло, что его героическое отрицание того, что он лгал, являлось ужасным грехом – он солгал на исповеди.

Машинально, в ответ на призыв отца Шварца «Покаемся!», он стал вслух бессмысленно повторять:

– Господи, прости раба Твоего, ибо каюсь, что оскорбил я Тебя...

Надо было как-то это уладить – произошла ужасная ошибка, – но как только его губы сомкнулись, произнесся последние слова молитвы, створка оконца с резким стуком опустилась.

Минуту спустя, когда он вышел в сумерки, облегчение от того, что спертый воздух церкви вдруг сменился простором пшеничных полей под открытым небом, помешало ему сразу полностью осознать то, что он совершил. Вместо того чтобы мучиться угрызениями совести, он глубоко вдохнул свежий воздух и принялся повторять про себя слова: «Блэтчфорд Сарнемингтон, Блэтчфорд Сарнемингтон!»

Блэтчфордом Сарнемингтоном был он сам, и эти слова звучали, как песня. Когда он становился Блэтчфордом Сарнемингтоном, из него начинало струиться учтивое благородство. Жизнь Блэтчфорда Сарнемингтона представляла собой череду стремительных и сокрушительных триумфов. Рудольф прищуривался, и это означало, что им овладел Блэтчфорд; он продолжал свой путь, и в воздухе слышался завистливый шепот: «Блэтчфорд Сарнемингтон! Вот идет Блэтчфорд Сарнемингтон!»

Он уже некоторое время представлял себя Блэтчфордом, с напыщенным видом направляясь домой по извилистой тропке, но, когда дорожка кончилась и началась асфальтированная «макадамская» щебенка главной улицы Людвига, опьянение Рудольфа понемногу прошло, голова остыла, и он почувствовал весь ужас своей лжи. Господь, конечно, уже знал о ней, но в голове у Рудольфа был особый уголок, где он мог укрыться от Господа, где он придумывал уловки, с помощью которых он часто оставлял Господа с носом. Тут же спрятавшись в этом уголке, он стал размышлять, как избежать последствий своего вранья.

Любыми средствами надо было избежать завтрашнего причастия. Риск прогневить Господа до крайней степени был слишком велик. С

утра надо было «случайно» выпить воды, и тогда, по правилам церкви, причаститься в этот день будет уже нельзя. Уловка была так себе, но ничего хитрее ему в голову не пришло. Свернув за угол у аптеки Ромберга и увидев отчий дом, он осознал весь риск своей затеи и сконцентрировался на том, как лучше всего осуществить задуманное.

III

Отец Рудольфа, служивший начальником багажного бюро на местном вокзале, попал на просторы Миннесоты и Дакоты со второй волной эмигрантов из Германии и Ирландии. Теоретически перед молодым человеком энергичного склада в те дни и в тех местах открывались громадные возможности, но Карл Миллер оказался неспособным создать себе прочную репутацию ни среди начальства, ни среди подчиненных, а ведь это и является ключом к успеху в любых построенных на иерархии структурах. Он обладал деловой хваткой, но при этом был недостаточно расчетлив и не умел принимать как должное основы основ человеческих взаимоотношений, и эта неспособность переполняла его подозрениями, беспокойством и непрестанной тревогой.

С живой яркой жизнью его связывали лишь две нити: его вера в Римскую католическую церковь и мистическое преклонение перед «строителем империи» Джеймсом Дж. Хиллом. Хилл воплощал в себе то качество, которого был лишен Миллер: чувство вещей, ощущение вещей, возможность предугадать дождь по ветру на щеке. Мозг Миллера с опозданием работал над давними решениями других людей; ни разу в жизни он не почувствовал внутреннего равновесия ни в одной вещи, которую держал в руках. Его утомленное, приземистое тело дряхлело в гигантской тени Хилла. Двадцать лет он провел в одиночестве с именами Хилла и Господа на устах.

В субботу в шесть утра Карл Миллер проснулся в безукоризненно чистой тишине. Встав на колени у кровати, он преклонил на подушку свою русую, уже тронутую сединой шевелюру и неровную щеточку усов и несколько минут молился. Затем он стянул с себя ночную рубашку – как и большинство представителей его поколения, он терпеть не мог пижам – и облачил свое тощее, бледное, безволосое тело в шерстяное белье.

Он побрился. Тишина в соседней спальне, где, нервно ерзая, спала его жена. Тишина в отгороженном ширмой углу холла, где стояла кровать сына, и среди книжек Элджера, коллекции сигарных коробок, поеденных молью вымпелов – «Корнелл», «Хамлайн» и «Привет из Пуэбло, Нью-Мехико», – а также других личных вещей спал мальчишка. Снаружи слышались резкие крики птиц, шум проходящих на выпас стад и, как фон, низкий нарастающий стук колес проходящего в шесть пятнадцать транзитного, шедшего в Монтану и дальше, к зеленому побережью. Когда холодная капля упала с полотенца ему на руку, он резко поднял голову – до него донесся слабый звук с кухни внизу.

Он торопливо вытер бритву, накинул на плечи спущенные подтяжки и прислушался. На кухне кто-то ходил, шаги были легкими, поэтому он был уверен, что это не жена. С приоткрытым ртом он быстро сбежал по лестнице и открыл кухонную дверь.

У раковины, одной рукой держась за все еще капающий кран, а второй рукой держа полный стакан воды, стоял сын. Красивые глаза мальчика, в которых читались испуг и стыд, еще тяжелые ото сна, встретились с глазами отца. Он был бос, рукава и штаны пижамы были подвернуты.

На мгновение оба молча замерли – брови Карла Миллера опустились, а брови сына поднялись, будто пытаясь уравновесить крайности переполнявших их обоих чувств. Затем щеточка родительских усов зловеще опустилась, прикрыв рот; он окинул быстрым взглядом окружающую обстановку, чтобы убедиться, все ли стоит на своих местах.

Кухня была украшена солнечными лучами, бившими по кастрюлям и делавшими гладкие доски пола и столешниц желтыми и чистыми, словно пшеница в поле. Здесь был центр дома, здесь горел очаг; как русские матрешки, стояли друг в друге кастрюли, и весь день на

высокой пастельной ноте посвистывал пар. Ничего не было сдвинуто, ничто не тронуту – только кран, с которого в раковину все еще медленно падали блестящие капли воды.

– Что ты делаешь?

– Ужасно захотелось пить, я подумал, что надо сходить вниз и налить...

– Разве ты сегодня не должен причащаться?

На лице сына появилось выражение сильнейшего изумления.

– Совсем позабыл.

– Ты пил воду?

Едва с его губ сорвалось слово, как Рудольф понял, что ответ был неверный, но негодующий взгляд выцветших, блеклых глаз заставил его сказать правду до того, как смогла вмешаться его воля. Еще он понял, что не надо было ему спускаться вниз; стремясь к правдоподобию, он решил оставить у раковины в качестве улики влажный стакан; излишняя правдивость воображения его и подвела.

– Выливай воду! – скомандовал отец.

Рудольф в отчаянии перевернул стакан.

– Да что с тобой такое, а? – раздраженно спросил Миллер.

– Ничего.

– Ты вчера исповедался?

– Да.

– Тогда зачем ты решил пить воду?

– Не знаю, я позабыл...

– А может, тебе кажется, что твоя жажда гораздо важнее твоей веры?

– Я забыл. – Рудольф почувствовал, что сейчас расплатится.

– Это не ответ.

– Ну, так получилось.

– Берегись! – Отец перешел на повышенный инквизиторский тон. – Если уж ты так забывчив, что забываешь о своей вере, придется принимать меры.

Последовавшую паузу заполнил Рудольф:

– Я не забываю!

– Сначала ты начинаешь пренебрегать верой, – воскликнул отец, все больше распаляясь, – затем ты начинаешь лгать и красть, а там уже недалеко до исправительного дома!

Даже эта привычная угроза не могла сделать глубже пропасть, которую узрел перед собой Рудольф. Он должен был либо сейчас же рассказать все, подвергнув тело свое неминуемым жестоким побоям, либо ждать кары небесной, приняв Кровь и Тело Христово со святотатством на душе. Из двух кар первая представлялась куда как ужаснее – он боялся не столько самих побоев, сколько той дикой ярости неудачника, с которой эти побои будут наноситься.

– Поставь стакан, иди наверх и одевайся, – приказал отец, – а когда придем в церковь, перед причастием встанешь на колени и попросишь Господа простить тебя за твое легкомыслие!

Какой-то случайный акцент в формулировке этой команды подействовал словно нейтрализатор смятения и ужаса, овладевших Рудольфом. В нем поднялась волна необузданного гордого гнева, и он с силой швырнул стакан в раковину.

Отец издал натужный хриплый звук и попробовал схватить мальчика. Рудольф увернулся, опрокинул стул и попытался скрыться за кухонным столом. Он резко вскрикнул, когда отцовская рука ухватила его за скрытое пижамой плечо, затем почувствовал, как по его голове глухо стукнул кулак, а затем посыпались скользкие удары по верхней части туловища. Двигаясь туда и сюда, пытаясь освободиться от хватки отца, то тащившего, то приподнимавшего его, инстинктивно пытаясь схватить его за руку, чувствуя резкую боль от толчков и растяжений, он не издал ни звука, лишь несколько раз истерично рассмеялся. Не прошло и минуты, как удары неожиданно прекратились. После затишья, во время которого оба резко вздрагивали, изредка роняя обрывки неразборчивых слов, Карл Миллер, все это время цепко удерживавший Рудольфа, силой и угрозами заставил сына подняться наверх.

– Одевайся!

Теперь Рудольф дрожал от обиды и холода. Голова болела, на шее появилась длинная неглубокая царапина от отцовского ногтя; одеваясь, он всхлипывал и вздрагивал. Он видел, что в дверях стоит мать в халате, ее морщинистое лицо сжимается, растягивается, а затем опять сжимается, формируя новые серии морщин, расплывающиеся и расходящиеся от шеи к бровям. Гнушаясь ее нервными и тщетными попытками приласкать его, грубо от нее уклонившись, когда она попыталась прикоснуться к шее мазью, он, все еще неровно дыша,

торопливо привел себя в порядок. Затем вслед за отцом он вышел из дома и направился по дороге к церкви.

IV

Они шли молча, если не считать машинальных приветствий Карла Миллера попадавшимися по дороге знакомым. Жаркую воскресную тишину нарушало лишь неровное дыхание Рудольфа.

Отец решительно остановился у дверей церкви:

– Я полагаю, что тебе лучше еще раз исповедаться. Иди расскажи отцу Шварцу, что ты совершил, и попроси у Господа прощения.

– Ты тоже не сдержался! – быстро сказал Рудольф.

Карл Миллер шагнул к сыну, и тот из предосторожности сделал шаг назад.

– Хорошо, пойду.

– Ты будешь меня слушаться? – крикнул отец, тут же сорвавшись на хриплый шепот.

– Ладно, ладно...

Рудольф вошел в церковь, уже второй раз за последние два дня ступил в исповедальню и встал на колени. Створка открылась почти сразу.

– Каюсь, что пренебрегал утренней молитвой.

– Это все?

– Да, все.

Он готов был расплакаться от ликования. Теперь уже никогда в жизни ему не удастся с легкостью поставить какую-то абстракцию выше собственного покоя и собственной гордости. Он переступил незримую черту и осознал, что оказался в изоляции, – осознал, что теперь это относилось не только к тем моментам, когда он становился Блэтчфордом Сарнемингтоном, но и ко всей его внутренней жизни. До сих пор такие явления, как «безумные» амбиции, уколы стыда и

страхи, были для него не более чем личные сомнения, не замечаемые ввиду престола его «официальной» души. Теперь же он интуитивно осознал, что его личные сомнения и были им самим, а все остальное выступило в роли разукрашенного фасада и удобного знамени. Окружающий мир вытолкнул его на пустынную и сокровенную дорогу юности.

Он опустил колени на нижнюю перекладину церковной скамьи, рядом с отцом. Началась месса. Рудольф приподнял колени повыше – вспомнив, что он теперь в одиночестве, он даже облокотился задом на сиденье – и почувствовал острый и тонкий вкус своей обдуманной мести. Рядом с ним молился отец, чтобы Господь простил Рудольфа, и еще он просил, чтобы была забыта и его собственная вспышка гнева. Краем глаза отец посматривал на сына. Увидев, что с лица мальчика исчезло иступленное напряжение и он перестал плакать, отец тоже успокоился. Господня благодать, даримая причастием, свершит все остальное, и, может быть, после мессы все будет хорошо. В душе он гордился Рудольфом и начал по-настоящему, а не только формально, раскаиваться в том, что совершил.

Обычно передача ящика для пожертвований была для Рудольфа важным моментом службы. Если, как это часто случалось, у него не было денег, чтобы бросить в ящик, он чувствовал жгучий стыд, склонял голову и притворялся, что не заметил ящика, чтобы Джейн Брейди на скамье за ним этого не заметила и не заподозрила семью в острой нужде. Однако сегодня он равнодушно посмотрел в ящик, проносимый у него перед глазами, и лишь отметил с небрежным интересом, как много было в ящике мелких одноцентовых монеток.

Но звон колокола к причастию вызвал у него трепет. У Господа не было никаких причин, чтобы не останавливать его сердце. За последние двенадцать часов он совершил несколько смертных грехов подряд, один серьезнее другого, а теперь собирался увенчать их еще и кощунственным святотатством.

– *Domini, non sum dignus, ut intres sub tectum meum; sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea...*

На скамьях началась суэта, причащающиеся потянулись в проходы между рядами, опустив очи долу и соединив руки. Более набожные даже складывали руки домиком, соединяя кончики пальцев. Среди последних был и Карл Миллер. Рудольф пошел за ним к алтарной

преграде и встал на колени, машинально подложив под подбородок платок. Резко ударил колокол, священник обернулся от алтаря, держа белую просфору над потиром:

– *Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam meam in vitam aeternam.*

Когда началось причастие, на лбу у Рудольфа выступил холодный пот. Вдоль цепочки прихожан двигался отец Шварц, и с нарастающим головокружением Рудольф почувствовал, как сердце бьется все слабее по воле Господней. Ему показалось, что в церкви стало темнее, и вдруг наступила звенящая тишина, нарушаемая лишь нечленораздельным бормотанием, возвещавшим приближение Создателя Земли и Небес. Он втянул голову в плечи и стал ждать удара.

Затем он почувствовал резкий толчок локтем в бок. Его пихнул отец, чтобы он сел прямо, а не опирался об алтарную преграду; священник находился в двух шагах от них.

– *Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam meam in vitam aeternam.*

Рудольф открыл рот. На языке появился липкий восковой вкус облатки. Он оставался без движения, как ему показалось, неопределенно долго – голова все так же поднята, облатка все еще не растворилась во рту. Снова почувствовав локоть отца, он стал смотреть вокруг и увидел, что люди, как листья, стали разлетаться от алтаря и обращать невидящие взоры вниз, на скамьи, один на один с Господом.

Рудольф был один на один с собой, насквозь мокрый от пота и погрязший в смертном грехе. Когда он шел обратно к своей скамье, его раздвоенные копыта издавали резкий громкий стук об пол, и он знал, что его сердце наполнено ядом.

Sagitta Volante In Die

Красивый мальчик с глазами голубыми, словно медный купорос, и ресницами, окружавшими их, словно лепестки цветов, закончил рассказывать отцу Шварцу о своем грехе, и квадрат падавшего на него солнечного света переместился на полчаса вглубь комнаты. Рудольф был уже не так испуган; облегчение от ноши рассказа конечно же возымело последствия. Он был уверен, что, пока он находится в комнате с этим священником, Господь не остановит его сердца, поэтому он вздохнул и стал тихо сидеть, ожидая, что скажет святой отец.

Холодные слезящиеся глаза отца Шварца были прикованы к узору на ковре, где солнце подчеркнуло свастики, плоские нерасцветшие стебли и бледные отголоски цветов. Часы в холле настойчиво тикали, приближая закат, неудобная комната и вечер за окном навевали густую скуку, дробившуюся время от времени лишь гулким стуком молотка, разносившимся далеко в сухом воздухе. Нервы священника скрутились и истончились, а бусины его четок ползали, извиваясь, как змеи, на зеленом сукне столешницы. Он никак не мог припомнить, что же он теперь должен сказать?

Из всего, что только было в этом населенном шведскими эмигрантами затерянном городке, он видел сейчас лишь глаза этого мальчика – красивые глаза, с ресницами, которые расходились от них без охоты и загибались назад, словно желая к ним вернуться.

Тишина продолжалась еще мгновение; Рудольф ждал, и священник с трудом пытался вспомнить что-то, что ускользало от него все дальше и дальше, а часы все так же продолжали тикать в ветхом доме. Затем отец Шварц тяжело уставился на мальчика и произнес странным голосом:

– Когда много людей собирается в лучших местах, все вокруг начинает сверкать.

Рудольф вздрогнул и быстро посмотрел в лицо отцу Шварцу.

– Я сказал... – начал священник и замолчал, прислушиваясь. – Слышишь ли ты, как стучит молоток, как тикают часы, как жужжат пчелы? Так вот, это нехорошо. Нужно собрать множество людей в центре Вселенной, где бы он ни был. И тогда, – его слезящиеся глаза понимающе расширились, – все вокруг начнет сверкать!

– Да, святой отец, – согласился Рудольф, немного побаиваясь.

– Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

– Ну, одно время я хотел стать бейсболистом, – нервно ответил Рудольф, – но не уверен, что это хорошая цель, так что теперь я хочу стать актером или моряком.

Священник опять пристально на него посмотрел.

– Я прекрасно понял, что ты имеешь в виду, – с неистовством произнес он.

Рудольф не имел в виду ничего особенного и еще больше разволновался при утверждении о том, что он все-таки что-то сказал.

«Этот человек сошел с ума, – подумал он, – я его боюсь. Он хочет, чтобы я ему чем-то помог, но я не хочу».

– Ты выглядишь так, словно все уже сверкает! – громко воскликнул отец Шварц. – Бывал ли ты на вечеринках?

– Да, святой отец.

– Замечал ли ты, что все были подобающе одеты? Вот что я хочу сказать! Как только ты приходил на вечеринку, всегда наступал момент, когда все подобающе одеты. Может быть, две девочки стояли у дверей, а некоторые мальчики опирались на перила лестницы, и вокруг были вазы, полные цветов.

– Я много раз бывал на вечеринках, – сказал Рудольф, чувствуя облегчение от того, что разговор принял такой оборот.

– Ну конечно, – с ликованием продолжил отец Шварц, – я так и знал, что ты согласишься со мной! Но моя теория говорит о том, что, когда целая куча народу собирается вместе в лучших местах, весь мир начинает сверкать!

Рудольф обнаружил, что думает о Блэтчфорде Сарнемингтоне.

– Послушай меня! – с нетерпением продолжил священник. – Не волнуйся ты о том, что было в субботу! Богоотступничество карается вечным проклятием только в случае, если прежде вера была абсолютной – теперь тебе легче?

Рудольф не понял ровным счетом ничего из того, о чем говорил отец Шварц, но на всякий случай кивнул; священник кивнул ему в ответ и вернулся к своим загадочным выкладкам.

– Так вот, – воскликнул он, – теперь есть лампы яркие, как звезды, – понимаешь ты это? Я слышал, что в Париже или еще где-то есть лампа ярче звезды. У многих они есть – у многих беспутных людей. У них теперь есть такие вещи, о которых ты даже и не мечтал! Смотри же... – Он приблизился к Рудольфу, но мальчик отпрянул, поэтому отец Шварц отошел назад и сел на стул; его глаза высохли и горячо пылали. – Видел ты когда-нибудь парк аттракционов?

– Нет, святой отец.

– Тогда иди и посмотри на парк аттракционов. – Священник неопределенно махнул куда-то рукой. – Он похож на ярмарку, только еще больше света. Иди ночью и встань недалеко, где-нибудь в темном месте – в тени деревьев. Ты увидишь большое колесо из огней, вертящееся в воздухе, и длинные горки с самоходными лодками внизу в воде. Где-то играет оркестр, в воздухе пахнет арахисом – и все мигает. Но, видишь ли, тебе это ничего не напомнит. Все будет просто висеть в ночи, как цветной воздушный шар – как огромный желтый фонарь на столбе...

Отец Шварц нахмурился, неожиданно вспомнив о чем-то.

– Но не подходи близко, – предостерег он Рудольфа, – потому что если подойдешь, то почувствуешь жар и пот обычной жизни!

Вся речь казалось Рудольфу особенно странной и страшной, потому что этот человек был священником. Он так и сидел, почти в ужасе; его красивые глаза широко раскрылись и усталились на отца Шварца. Но несмотря на ужас, он почувствовал, что его собственные внутренние убеждения нашли подтверждение. Где-то существовало что-то невыразимо прекрасное, не имевшее к Богу никакого отношения. Он больше не думал, что Господь гневается на него за ту первую ложь, потому что Он должен был понимать, что Рудольф согрешил лишь для того, чтобы исповедь лучше прозвучала, раскрасив монотонный звон своих признаний словами блестящими и гордыми. В тот момент, когда он провозгласил свою безукоризненную честность, где-то на ветру захлопал серебристый стяг, хрустнула кожа, блеснули серебряные шпоры и на низком зеленом холме в ожидании рассвета замер отряд всадников. Солнце зажгло яркие звездочки на их кирасах,

как на висевшей дома картинке, изображавшей немецких кирасиров у Седана.

Но теперь священник нечленораздельно забормотал какие-то сокрушенные слова, и мальчик очень испугался. Ужас внезапно проник внутрь сквозь открытое окно, атмосфера в комнате сменилась. Отец Шварц стремительно упал на колени, опершись туловищем о стул.

– О, Господи! – воскликнул он другим голосом и упал на пол.

Затем от поношенных одежд священника отделился мирской гнет и смешался с висевшим по углам слабым запахом вчерашней пищи. Рудольф пронзительно вскрикнул и в панике бежал из дома – а свалившийся на пол человек так и остался неподвижно лежать, заполняя собой комнату, наполняя ее голосами и лицами до тех пор, пока она не заполнилась эхом, звеневшим несмолкаемой резкой нотой смеха.

За окном голубой сирокко колыхал пшеницу, а чувственные девушки с русыми волосами шагали по дорогам, огибавшим поля, крича что-то невинное и дразнящее юношам, работавшим на межах среди колосьев. Под ненакрахмаленными полосатыми юбками обрисовывались ноги, а воротнички платьев были горячими и влажными. Вот уже пять часов, до самого вечера, пылала жаркая плодоносящая жизнь. Через три часа наступит ночь, и повсюду на земле у пшеницы, прямо под луной, улягутся ночевать эти русые северянки в объятиях рослых парней с ферм.

«Сиротка» Мартин-Джонс и Пр-нц У-льский

I

Апрельским утром по волнам нью-йоркской гавани заскользил пароход «Маджестик». Он фыркнул в сторону буксиров и паромов-черепах, подмигнул яркой новенькой яхте и сердитым паровым свистком приказал убратся с дороги барже со скотом. Затем с шумом, как и всякая дородная леди, занимающая стул, он пришвартовался к собственной пристани и самодовольно объявил, что только что прибыл из Чербурга с заходом в Саутгемптон и доставил партию лучших образцов рода человеческого.

Эти «лучшие образцы» стояли на палубе и по-идиотски махали своим бедным родственникам, стоявшим на пристани и предвкушавшим новые перчатки и другие парижские сувениры. Очень скоро огромный трап соединил «Маджестик» и североамериканский континент, и с корабля стали сгружаться эти самые «лучшие образцы», среди которых обнаружились Глория Свансон, пара агентов по закупкам торгового дома «Лорд и Тейлор», министр финансов Граустарка, с предложением погашения долга, и один измученный ужасной морской болезнью африканский царек, всю зиму пытавшийся приземлиться на какой-нибудь твердый берег.

Фотографы неистово щелкали затворами, пассажиры потоком спускались на пристань. При появлении носилок с двумя уроженцами Среднего Запада, упившимися вусмерть накануне, послышались приветственные крики.

Пристань постепенно опустела, но даже когда последняя бутылка «бенедиктина» очутилась на берегу, фотографы не оставили свои позиции. Да и ответственный за высадку шкипер все еще оставался у подножия трапа, поглядывая на часы и на палубу, словно на борту все еще оставалась какая-то важная часть груза. Наконец, зеваки на пирсе издали протяжное «А-а-а-а-х!», увидев, как с палубы «Б» стал

спускаться последний кортеж. Впереди шли две французские горничные, неся на руках маленьких рыжих собачек, за ними следовал караван носильщиков, двигавшихся на ощупь и почти невидимых за бесчисленными свертками и букетами живых цветов. За ними шла бонна, держа за руку осиротевшее в войну французское дитя с грустными глазами; на пятки им наступал второй капитан, тянувший за собой на поводках трех неврастеничных лаек, явно не желавших никуда перемещаться, как, впрочем, и он.

Пауза. У леера появляется капитан, сэр Говард Джордж Уитчкрафт, а рядом с ним... похоже на ком роскошного черно-бурого лисьего меха!

Ликуйте! После пяти лет странствий по столицам Европы «Сиротка» Мартин-Джонс ступает на родную землю!

Нет, «Сиротка» Мартин-Джонс – это не собачка. Это девушка, прекрасная, как роза, – пожалав руку капитану сэру Говарду Джорджу Уитчкрафту, она улыбнулась так, словно только что услышала самую свежую на свете остроу. Всякий, кто еще не покинул пристань, почувствовал, как эта улыбка всколыхнула апрельский воздух, и обернулся, чтобы увидеть это воочию.

Она неторопливо спускалась по трапу. В руках она комкала шляпку – безумно дорогой и невообразимый эксперимент художника, а ветер гавани безуспешно пытался разбросать и взъерошить ее короткие, «а-ля арестант», волосы. Выражение ее лица заставляло вспомнить о блаженстве свадебного утра, однако вставленный в голубой, как у младенца, глаз экстравагантный монокль несколько смазывал впечатление. Через каждые несколько шагов монокль выпадал от взмаха ее длинных ресниц, она весело смеялась, всем своим видом показывая, как ей все это надоело, и вставляла надменное стекло в другой глаз.

Хоп! Сто пять фунтов ее веса оказались на причале, и тот, казалось, дрогнул и прогнулся, сраженный ее красотой. Несколько носильщиков грохнулись в обморок. Большая сентиментальная акула, всю дорогу не отстававшая от корабля, в отчаянии выпрыгнула из воды, чтобы увидеть ее в последний раз, и с разбитым сердцем скрылась в морской пучине. «Сиротка» Мартин-Джонс вернулась домой.

Ее не встречали члены семьи – по той простой причине, что она была единственным живым ее членом. В 1913 ее родители

одновременно покинули этот мир, уйдя на дно вместе с «Титаником», так что все семейное состояние Мартин-Джонсов в размере семидесяти пяти миллионов долларов перешло к маленькой наследнице в день, когда ей исполнилось десять лет. Сущее безобразие, скажет обыватель.

«Сиротку» Мартин-Джонс (ее настоящее имя было давно забыто) фотографировали со всех сторон. Монокль продолжал выпадать, она продолжала одновременно смеяться, зевать и вставлять его на место, поэтому все изображения получились нерезкими, если не считать киносъемки. Зато на все фото попал встречавший ее на пирсе взволнованный молодой красавец, в глазах которого горел отчаянный огонь любви. Его звали Джон М. Честнут, он уже успел написать историю своего успеха для журнала «Америкэн мэгэзин» и был безнадежно влюблен в Сиротку с тех самых пор, когда она, словно морская волна, стала слушаться только зова летних лун.

Сиротка соизволила его заметить лишь в тот момент, когда они уже почти покинули причал, но смотрела она на него так, будто видела впервые в жизни.

– Сиротка, – начал он, – Сиротка...

– Джон М. Честнут? – осведомилась она, окинув его заинтересованным взглядом.

– Ну конечно! – сердито воскликнул он. – Делаешь вид, что не узнала? И наверное, это не ты мне писала, чтобы я тебя здесь встретил?

Она рассмеялась. За ее спиной возник предупредительный шофер, она сбросила мантию и осталась в ярком, пестром клетчатом платье с голубыми и серыми квадратами. Она встряхнулась, как промокшая птичка.

– Мне еще такую кучу барахла надо декларировать... – рассеянно заметила она.

– Да-да, – с беспокойством сказал Честнут, – но сначала я должен тебе сказать, Сиротка, что я ни на минуту не переставал тебя любить!

Она издала стон.

– Прошу тебя! На корабле было несколько молодых американцев. Этот предмет разговора мне несколько приелся.

– Боже мой, – воскликнул Честнут, – ты считаешь, что моя любовь – то же самое, что признания, которые ты выслушивала на корабле?

Он повысил голос, и стоявшие ближе повернули головы, прислушиваясь.

– Т-с-с, – одернула его она, – мы не на сцене. Если хочешь, чтобы я хотя бы обращала на тебя внимание, умерь свой пыл.

Но голос уже не слушался Джона М. Честнута.

– Ты хочешь сказать, – задрожал он на высокой ноте, – что забыла, что сказала мне на этом самом причале ровно пять лет назад – во вторник?

За разыгрывавшейся на причале сценой теперь наблюдала добрая половина пассажиров корабля; некоторые даже покинули здание таможни, чтобы лучше видеть.

– Джон, – ее недовольство нарастало, – если ты еще раз повысишь голос, я сделаю так, что у тебя появится отличная возможность остыть. Я остановлюсь в «Ритце». Приходи сегодня вечером.

– Но послушай, Сиротка! – упрямо продолжал он охрипшим голосом. – Послушай! Пять лет назад...

И тут зрителям на причале довелось увидеть любопытнейшее зрелище. Юная леди в клетчатом платье с голубыми и серыми квадратами проворно шагнула вперед и коснулась руками взволнованного молодого человека, стоявшего рядом с ней. Молодой человек, не глядя, попятился назад, его нога попала в пустоту, и он плавно грохнулся вниз с тридцатифутового причала, по дороге не без грации перевернулся в воздухе и шлепнулся прямо в воды Гудзона.

Раздались испуганные крики, все бросились к краю причала, но юноша тотчас же вынырнул из воды. Затем он поплыл; увидев это, юная леди, ставшая, по всей видимости, виновницей происшествия, перегнулась через ограждение и крикнула в сложенные рупором руки:

– Я буду у себя в половине пятого!

Весело взмахнув на прощание рукой и не дожидаясь ответного жеста от водоплавающего джентльмена, она поправила свой монокль, бросила надменный взгляд на собравшуюся толпу и, не торопясь, удалилась со сцены.

Пять собачек, три горничные и французское дитя были размещены в самом большом номере отеля «Ритц», и Сиротка лениво погрузилась в горячую ванну, благоухавшую травами, где и провела почти час. После этого она приняла важных посетителей – массажиста, маникюршу и, наконец, парикмахера из Парижа, подравнявшего ее волосы до длины, подобающей парижскому арестанту. В четыре часа прибыл Джон Честнут и обнаружил, что в холле уже толпится полдюжины адвокатов и банкиров, ответственных за управление финансовыми активами Мартин-Джонсов. Они толпились там с половины второго и к этому времени уже находились в состоянии заметного беспокойства.

После того как одна из горничных подвергла его тщательному осмотру – возможно, чтобы убедиться, что он уже полностью высох, – Джона немедленно провели туда, где находилась мадемуазель. Мадемуазель находилась в спальне и полулежала на шезлонге среди двух дюжин шелковых подушек, прибывших вместе с ней из-за океана. Джон вошел в комнату, держась слегка натянуто, и поприветствовал ее церемонным поклоном.

– Выглядишь лучше, – сказала она, поднявшись с подушек и внимательно его оглядев. – У тебя даже румянец появился!

Он холодно поблагодарил ее за комплимент.

– Тебе надо плавать каждое утро. – А затем, как бы между делом, добавила: – Пожалуй, завтра уеду обратно в Париж!

У Джона Честнута отвисла челюсть.

– Я же тебе писала, что в любом случае собираюсь провести тут не больше недели, – добавила она.

– Но, Сиротка...

– А что мне здесь делать? В Нью-Йорке ведь нет ни одного по-настоящему интересного человека.

– Но послушай, Сиротка, дай мне шанс! Остайся хотя бы дней на десять, узнаешь меня лучше, а?

– Узнаю – тебя? – Ее тон подразумевал, что он был для нее давно прочитанной книгой. – Мне нужен человек, способный на красивый жест!

– Ты что, желаешь, чтобы я выражал себя исключительно пантомимой?

Сиротка испустила недовольный вздох.

– Я хочу сказать, что у тебя нет никакой фантазии, – терпеливо объяснила она. – У американцев полностью отсутствует воображение! Париж – вот единственный крупный город, где цивилизованная женщина может дышать свободно.

– Ты больше ничего ко мне не чувствуешь?

– Если бы это было так, я вряд ли стала бы пересекать океан, чтобы с тобой увидеться. Но едва я увидела на корабле американца, как тут же поняла, что не смогла бы за такого выйти замуж. Я просто возненавижу тебя, Джон, и единственным итогом этой истории станет твое разбитое сердце, а удовольствие от всего этого получу только я.

Она стала зарываться в подушки и в конце концов практически в них утонула.

– Потеряла монокль, – пояснила она.

После тщетных поисков в шелковых глубинах обнаружилось, что прозрачное стеклышко свесилось за спину на шнурке.

– Как бы я хотела влюбиться! – продолжила она, опять украсив моноклем свое детское личико. – В прошлом году, весной, я чуть не сбежала из Сорренто с одним индийским раджей, но он был слегка неотесан, и к тому же я не нашла общий язык с одной из других его жен...

– Перестань нести чушь! – воскликнул Джон, пряча лицо в ладони.

– Ну, я же не вышла за него, – возразила она. – Но, как бы это объяснить, у него было что предложить! Он был третьим богатейшим подданным британской короны. И, кстати, ты богат?

– Нет, если сравнивать с тобой.

– Ну вот... И что можешь предложить мне ты?

– Любовь.

– Любовь? – Она снова скрылась в подушках. – Послушай, Джон. Жизнь для меня – череда сверкающих базаров, и перед каждой лавкой стоит купец, потирает ручки и приговаривает: «Милости просим! Лучший товар в мире!» И я захожу, и в моем кошельке звенят красота, деньги и молодость – все, что нужно для покупки. «Что у вас тут хорошего?» – спрашиваю я, а он потирает ручки и говорит: «Мадемуазель, как раз сегодня у нас есть для вас прекра-а-а-снейшая

любовь!» Иногда у него даже нет ее на складе, но он за ней посылает, когда видит, сколько я готова за нее выложить. Да, я никогда не уйду от него без любви, а он не получает взамен ничего. Вот так я беру свое!

Джон Честнут в отчаянии встал и сделал шаг к окну.

– Не выбрасывайся! – сразу же воскликнула Сиротка.

– Ладно. – Вниз, на Мэдисон-авеню, полетел окурок.

– Дело не в тебе, – сказала она, уже помягче. – Пусть ты скучный и неинтересный, ты нравишься мне больше, чем я в состоянии выразить. Но жизнь здесь так монотонна. Никогда ничего не происходит!

– Много чего происходит, – возразил он. – Да пожалуйста: только за сегодня произошло головоломное убийство в Хобокене и самоубийство сенатора в Мэйне; в Конгрессе рассматривали законопроект о поголовной стерилизации агностиков...

– Юмор меня не интересует, – возразила она, – но у меня имеется древняя, как мир, тяга к романтике. Представляешь, Джон, месяц назад я обедала за одним столом с людьми, которые, подбросив монетку, разыграли княжество Шварцберг-Райнминстер! В Париже я познакомилась с одним человеком по имени Блутчдак, который устроил настоящую войну и планирует через год устроить еще одну!

– Ну что ж, тогда для разнообразия давай сегодня куда-нибудь сходим? – упрямо продолжал он.

– Куда же? – презрительно осведомилась Сиротка. – Думаешь, у меня все еще дух захватывает от похода в ночной клуб с бутылкой приторной шипучки? Я давно уже предпочитаю свои собственные воздушные замки!

– Я отведу тебя в самое захватывающее место в городе.

– А что там будет? Ты должен сказать мне, что там будет!

Джон Честнут внезапно глубоко вздохнул и осторожно огляделся, словно опасаясь, что их могут услышать.

– Ну, говоря начистоту, – тихо сказал он, и в голосе его послышалась тревога, – если все откроется, со мной может случиться нечто ужасное.

Она тут же выпрямилась, и подушки попадали с нее, как листья.

– Ты намекаешь, что с тобой произошла какая-то темная история? – воскликнула она, рассмеявшись. – Ни за что не поверю! Нет, Джон, все

твои радости жизни проистекают от медленного движения в одном направлении по проторенной дороге – лишь вперед и вперед.

Слова, срывавшиеся с ее губ, похожих на миниатюрную надменную розу, вонзались в него, словно шипы. Джон взял со стула шляпу, пальто и трость.

– Последний раз спрашиваю: пойдешь ты сегодня со мной смотреть то, что покажут?

– Что смотреть? На кого смотреть? Неужели в этой стране есть на что посмотреть?

– Можно посмотреть на принца Уэльского, – произнес он будничным тоном.

– Что? – Она выпрыгнула из шезлонга. – Он в Нью-Йорке?

– Будет сегодня вечером. Хочешь на него посмотреть?

– Хочу ли я? Я ведь никогда его не видела! Всюду, где он бывал, я появлялась позже. Я готова отдать год жизни, чтобы провести рядом с ним хотя бы час! – Ее голос дрожал от волнения.

– Он ездил в Канаду. Сюда он приедет инкогнито, посмотреть боксерский матч. Так получилось, что я знаю, куда он собирается сегодня вечером.

Сиротка издала короткий экстатический вопль:

– Доминик! Луиза! Жермен!

Прибежали три девушки. Комната неожиданно заиграла лучами беспорядочного ослепительного света.

– Доминик, машину! – по-французски крикнула Сиротка. – Луиза, мое золотистое платье и туфли с золотыми каблуками! Крупный жемчуг тоже – весь жемчуг, и большой алмаз, и чулки с сапфировыми стрелками. Жермен! Сейчас же пошли в парикмахерскую, пусть срочно высылают мастера. Приготовить ванну – как можно холоднее, с миндальным маслом! Доминик, молнией к Тиффани, пока они не закрылись. Купишь там брошь, кулон, тиау – что угодно, не важно, лишь бы с гербом дома Виндзоров.

Сама она уже расстегивала пуговицы платья, и, когда Джон быстро развернулся, чтобы выйти, ткань начала сползать вниз с ее плеч.

– Орхидеи! – крикнула она ему вслед. – Найди мне орхидеи, ради всего святого! Четыре дюжины, мне нужно выбрать!

Горничные, как испуганные птички, уже порхали туда и сюда по комнате.

– Духи, Луиза! Открой чемоданчик, где духи... и мои розовые соболя, и мои алмазные подвязки, и прованское масло для рук! Скорее все неси сюда! И это тоже, и это – ах да, и это!

Дальше оставаться было бы уже нескромно, и Джон Честнут вышел из номера. Шестеро управляющих, пребывавших в состояниях утомления, апатии, выхода в отставку и отчаяния разной степени, все еще захламляли холл.

– Джентльмены, – объявил Джон Честнут, – боюсь, что мисс Мартин-Джонс слишком устала в дороге и не сможет принять вас сегодня.

III

– Это место почему-то решили назвать «Дырка в небесах».

Сиротка осмотрелась. Они находились в ресторане на крыше здания, ничем не отделенные от апрельской ночи. Над головой холодно подмигивали настоящие звезды, а на погруженном во мрак западе виднелся кусочек ледяной луны. Но там, где стояли они, было тепло, как июньской ночью, и пары, сидевшие за столиками или танцевавшие на матовом стеклянном полу, не обращали внимания на неприветливое небо.

– Отчего здесь так тепло? – шепотом спросила она по пути к столику.

– Какое-то новое изобретение. Теплый воздух задерживается и не поднимается в небо. Не знаю, как эта штука устроена, но слышал, что здесь открыто всегда, даже среди зимы...

– Где же принц Уэльский? – взволнованно спросила она.

Джон осмотрелся:

– Еще не прибыл. Должен быть примерно через полчаса.

Она глубоко вздохнула:

– Волнуюсь в первый раз за последние четыре года!

Четыре года – на год меньше, чем он любил ее. Ему хотелось знать, была ли она столь же очаровательна, как и сейчас, под этим янтарным светом и этим темным небом, когда ей было шестнадцать и она была очаровательной сумасбродной девчонкой, просиживающей ночи напролет в ресторанах с офицерами, которым назавтра надлежало отправляться под Брест, – слишком рано утратила она романтические иллюзии в давно прошедшие – невеселые и горькие – дни войны. Она вся – начиная с горящих глаз и заканчивая миниатюрными каблучками туфель, украшенных полосками из настоящего золота и серебра, – была похожа на один из тех чудесных кораблей, которые каким-то образом попадают внутрь бутылки. Она была исполнена так тщательно и тонко, словно искусный мастер потратил на ее создание половину жизни. Джону Честнугу хотелось взять ее в руки, покрутить так и сяк, изучить кончик туфли, или мочку уха, или веко, приглядеться поближе к волшебной материи, из которой были созданы ее ресницы.

– Кто это? – Она внезапно указала на красивого латиноамериканца, сидевшего за столиком напротив.

– Это Родриго Минерлино, звезда кино и рекламы кремов для лица. Он, возможно, даже будет танцевать, но позже.

Сиротка неожиданно осознала, что слышит звуки скрипок и барабанов, хотя музыка, казалось, доносилась откуда-то издалека – казалось, ее приносил свежий ночной воздух и с дремотной отрешенностью бросал прямо на пол.

– Оркестр на соседней крыше, – объяснил Джон. – Новинка сезона... Смотри, представление начинается!

Из скрытого входа в круге резкого варварского света неожиданно появилась тонкая, как тростинка, юная негритянка, музыка перешла в надрывный минор, и она начала петь ритмичную печальную песню. Стебель ее тела неожиданно переломился, а девушка начала медленный нескончаемый танец, без всякого развития и без надежды, словно крах жестокой несбыточной мечты. Папы Джека больше нет, выкрикивала она снова и снова с истерической монотонностью, отчаянно и непримиримо. Одна за другой громкие трубы пытались вырвать ее из мерного ритма безумия, но она слушала лишь глухой грохот барабанов, который удерживал ее в каком-то затерянном месте вне времени, посреди тысяч забытых лет. Когда замолкла даже флейта-пикколо, она снова вытянулась в одну тонкую коричневую линию,

издала еще один резкий, ужасающе-громкий стон и растворилась во внезапно опустившейся темноте.

– Она очень известна в Нью-Йорке, – пояснил Джон, когда снова зажегся янтарный свет. – Следующим выступает Шейк Б. Смит, этот парень комик – в основном, глупая болтовня...

Он умолк. Как только потушили свет для второго номера, Сиротка громко вдохнула и взволнованно подалась вперед на стуле. Джон увидел, что ее взгляд, как у гончей, неподвижно остановился на группе людей, появившихся из бокового входа и рассаживавшихся за столиком в полутьме.

Столик скрывался за пальмами, и Сиротка поначалу видела лишь три плохо освещенные фигуры. Затем она разглядела четвертого, который уселся, скрывшись за тремя остальными, – бледный овал лица, обрамленный сверху мерцающими темно-русыми волосами.

– Смотри скорей! – воскликнул Джон. – Вот и его величество!

Ее дыхания было совсем не слышно. Она едва сознавала, что комик теперь стоит в отблесках белого света в танцевальном зале, что он уже некоторое время что-то говорит, а в воздухе слышатся раскаты смеха. Она была заморожена, ее взгляд оставался неподвижным. Она увидела, как один из компании наклонился и что-то прошептал другому и как сверкнуло пламя спички и засиял на заднем плане яркий огонек сигареты. Сколько времени она провела неподвижно, она и сама не знала. Затем ей показалось, что с ее глазами что-то произошло – все стало белым, нестерпимо ярким, она резко развернулась и обнаружила, что находится прямо в круге падавшего сверху света яркого софита. Она осознала, что это к ней обращены чьи-то слова и что вокруг начинают плескаться волны смеха – свет ослеплял ее, и она инстинктивно попыталась встать со стула.

– Сиди! – прошептал Джон, сидевший напротив. – Для этого номера он всегда выбирает кого-нибудь из публики.

И тут она поняла – это был комик Шейк Б. Смит. Он разговаривал с ней, он спорил с ней – о чем-то, что казалось чрезвычайно смешным всем остальным, а ей самой казалось чередой отрывистых неразборчивых звуков. Ощувив шок от внезапно направленного на нее света, она сначала чисто рефлекторно постаралась сохранить на лице спокойствие, а теперь вот улыбнулась. Такая реакция была вызвана ее редкостным самообладанием. Эта улыбка была абсолютно

бесстрастной, как будто она не заметила ни света, ни попытки подшутить над ее очарованием – всего лишь веселое изумление от того, что какой-то бесконечно далекий персонаж пытался острить, хотя его остроты могли бы с таким же успехом попытаться достичь Луны. Она больше не была леди – маска леди в такой ситуации показалась бы грубой, жалкой, или смешной; Сиротка всем своим видом демонстрировала, что полностью отдает себе отчет в своей недоступной красоте, и спокойно сидела во всем своем великолепии, пока комик не почувствовал абсолютное одиночество на сцене. По его сигналу софит внезапно потух. Момент был упущен.

Момент был упущен, комик покинул танцевальный зал, и снова послышалась далекая музыка. Джон склонился к ней:

– Прости, я и не предполагал... Но тут ничего нельзя было поделать! Ты держалась просто великолепно.

Вежливо рассмеявшись, она продемонстрировала, что инцидент исчерпан, затем вздрогнула, потому что за столиком на другой стороне теперь сидели только двое.

– Он ушел! – тут же расстроилась она.

– Не волнуйся, он вернется! Он должен вести себя как можно осторожней, сама понимаешь, скорее всего, он с одним из своих спутников ждет снаружи, пока опять погасят свет.

– А зачем ему прятаться?

– Никто даже не предполагает, что он в Нью-Йорке. Он здесь находится инкогнито.

Свет снова погас, и практически тут же из темноты возник высокий мужчина и приблизился к их столику.

– Позвольте представиться, – скороговоркой произнес он, обращаясь к Джону надменным британским тоном. – Лорд Чарльз Эсте, из свиты барона Марчбанка. – Он пристально посмотрел в глаза Джону, чтобы убедиться, что тот оценил значительность имени.

Джон кивнул.

– Это должно остаться между нами – надеюсь, вы меня понимаете?

– Конечно.

Сиротка на ощупь нашла на столе свое нетронутое шампанское и залпом выпила весь бокал.

– Барон Марчбанк имеет честь пригласить вашу спутницу присоединиться к его компании хотя бы ненадолго, до окончания

номера.

Мужчины взглянули на Сиротку. Повисла недолгая пауза.

– Хорошо, – сказала она и бросила вопросительный взгляд на Джона.

Он снова кивнул. Она встала и с сильно бьющимся сердцем пошла, огибая столики, вперед, на другой конец зала; затем ее стройная фигура в мерцающем золотом платье растворилась в полутьме за столиком.

IV

Номер подходил к концу, а Джон Честнут сидел в одиночестве за своим столиком, помешивая случайные пузырьки в бокале шампанского. За секунду до того, как вновь зажегся свет, послышалось резкое шуршание золотой ткани, и Сиротка, покраснев и учащенно дыша, опустилась на свой стул. Ее глаза блестели от слез.

Джон задумчиво на нее посмотрел:

– Ну, как пообщались?

– Он не очень разговорчив.

– Он хоть что-нибудь сказал?

Ее рука дрожала, когда она взялась за бокал с шампанским.

– Он просто смотрел на меня, пока было темно. Произнес несколько вежливых банальностей. Он совсем как на картинках, только выглядит пресыщенным и усталым. Он даже не спросил, как меня зовут.

– Он уезжает из Нью-Йорка сегодня?

– Через полчаса. На улице его и его спутников ждет автомобиль – они собираются пересечь границу еще до рассвета.

– Он и тебе показался... обворожительным?

Она задумалась и медленно кивнула головой.

– Да, все так говорят, – хмуро согласился Джон. – Они ждут, что ты вернешься?

– Я не знаю. – Она неуверенно посмотрела на другой конец зала, но знаменитость опять куда-то удалилась из-за столика.

Сиротка отвела взгляд, а к их столику уже спешил совершенно незнакомый молодой человек, который мгновение назад чуть замешкался в дверях. Он был смертельно бледен, в неопрятном и неподобающем месту деловом костюме; приблизившись, он положил дрожащую руку на плечо Джону Честнугу.

– Монти! – воскликнул Джон, вздрогнув от неожиданности и разлив шампанское. – В чем дело? Что случилось?

– Они вышли на след! – произнес молодой человек дрожащим шепотом. Он огляделся. – Надо переговорить с вами наедине.

Джон Честнут вскочил на ноги, и Сиротка заметила, что его лицо стало белым, как салфетка, которую он держал в руке. Он извинился, и они отошли к стоявшему недалеко свободному столику. Сиротка с любопытством посмотрела им вслед, а затем возобновила пристальное наблюдение за столиком на другом конце зала. Попросят ли ее вернуться? Принц встал, поклонился и ушел. Возможно, она должна была дождаться его возвращения, но, несмотря на не совсем еще унявшуюся дрожь, она вновь ощущала себя «Сироткой» Мартин-Джонс. Ее любопытство было удовлетворено – следующий шаг должен был сделать он. Ей хотелось знать наверняка, на самом ли деле она ощутила присущий ему шарм, а особенно ей было интересно, произвела ли она на него впечатление?

Бледная личность по имени Монти куда-то скрылась, а Джон вернулся за столик. Сиротка изумилась, обнаружив, что с ним произошла ужасная перемена. Он, словно пьяный, рухнул на стул.

– Джон! Что случилось?

Вместо ответа он потянулся к бутылке шампанского, но пальцы его так дрожали, что часть вина мокрым желтым пятном растеклась на столе у ножки бокала.

– Тебе плохо?

– Сиротка, – медленно произнес он, – я – конченный человек!

– О чем ты?

– Я – конченный человек, говорю же тебе. – Он выдавил из себя улыбку. – Час назад выписан ордер на мой арест.

– Что ты сделал? – испуганно спросила она. – За что тебя хотят арестовать?

Свет снова погас, начался следующий номер, и Джон внезапно закрыл лицо руками и тяжело облокотился на стол.

– Что ты сделал? – повторила она с нехорошим предчувствием.

Она нагнулась вперед – его было еле слышно.

– Убийство? – Она почувствовала, как у нее по телу пробежала ледяная судорога.

Он кивнул. Она схватила его за руки и встряхнула, как встряхивают надеваемое пальто. Его глаза чуть не вылетели из орбит.

– Это правда? У них есть доказательства?

Он, шатаясь, кивнул.

– Тогда тебе нужно немедленно бежать из страны! Ты понял, Джон? Ты должен бежать немедленно, пока они не нашли тебя прямо здесь!

В диком испуге он стрельнул глазами по направлению к выходу.

– О, господи, – воскликнула Сиротка, – да что же ты стоишь столбом? – Ее отчаянно метавшийся по залу взгляд неожиданно замер. Она глубоко вздохнула, чуть помедлила, а затем яростно зашептала ему в ухо. – Если я все устрою, ты готов сейчас же уехать в Канаду?

– Каким образом?

– Я все устрою – только хоть чуть-чуть соберись! Это я, Сиротка, ты меня слышишь, Джон? Я хочу, чтобы ты тут сидел и не двигался, пока я не вернусь!

Через минуту под покровом темноты она пересекла зал.

– Барон Марчбанк! – тихо прошептала она, остановившись прямо за его стулом.

Он жестом пригласил ее сесть.

– В вашей машине найдется место для двух пассажиров?

Один из спутников принца резко обернулся.

– В машине его сиятельства мест нет, – коротко ответил он.

– Это очень важно. – Ее голос дрожал.

– Ну, – принц заколебался, – даже не знаю...

Лорд Чарльз Эсте поймал взгляд принца и покачал головой:

– Не думаю, что это разумно. Мы и так сильно рискуем, нарушив приказание. Не забывайте, нам не нужны осложнения.

Принц нахмурился.

– Но разве это осложнение? – возразил он.

Эсте развернулся и посмотрел на Сиротку:

– Почему вы просите?

Сиротка замялась.

– Ну, – она вдруг покраснела, – нам надо бежать; мы хотим пожениться!

Принц рассмеялся.

– Отлично! – воскликнул он. – Это все объясняет. Эсте чересчур подозрителен! Считайте, вы его переубедили. Мы вот-вот уезжаем, сколько у нас времени?

Эсте посмотрел на часы:

– Уже пора!

Сиротка бросилась обратно. Она хотела, чтобы все покинули ресторан, пока не включили свет.

– Скорей! – крикнула она в ухо Джону. – Мы едем за границу – с принцем Уэльским! Утром ты будешь в безопасности.

Он изумленно посмотрел на нее снизу вверх. Она торопливо уплатила по счету, схватила Джона за руку и, стараясь не привлекать внимания, повела к другому столику, где кратко представила его присутствовавшим. Принц поприветствовал его, пожав ему руку, спутники принца ограничились легкими поклонами, почти не скрывая своего недовольствия.

– Нам пора, – сказал Эсте, с нетерпением поглядывая на часы.

Все встали, и неожиданно у всех одновременно вырвалось восклицание – в дверях показались двое полицейских и рыжий в штатском.

– Выходим, – выдохнул Эсте, толкая всех к боковому выходу. – Кажется, тут намечается какая-то заварушка. – Он выругался, потому что еще два синих мундира перекрыли второй выход.

Не зная, что делать дальше, все остановились. Человек в штатском стал внимательно оглядывать сидящих за столиками.

Эсте бросил резкий взгляд на Сиротку, затем на Джона, которые спрятались за пальмами.

– Это что, ваши таможенники? – спросил Эсте.

– Нет, – прошептала Сиротка. – Хуже. Сейчас начнутся неприятности. Мы можем выйти через тот выход?

Принц, явно разгневавшись, опять сел на стул.

– Ребята, сообщите, когда будете готовы выходить. – Он улыбнулся Сиротке. – Подумать только, мы все сейчас попадем в переделку из-за ваших прекрасных глаз!

Внезапно зажегся свет. Человек в штатском проворно выскочил на середину танцевального зала.

– Не пытайтесь покинуть помещение! – крикнул он. – Эй, вы, за пальмой, сядьте на места! Джон М. Честнут здесь?

Сиротка не смогла сдержаться и вскрикнула.

– Внимание! – крикнул детектив полицейским, стоявшим за ним. – Не спускать глаз с той веселой компании, вон там. Руки вверх, господа!

– Боже мой! – прошептал Эсте. – Надо быстро отсюда выбираться! – Он повернулся к принцу: – Нельзя этого допустить, Тед. Тебя ни в коем случае не должны здесь увидеть. Я отвлеку их внимание, а ты спускайся вниз к машине.

Он сделал шаг по направлению к боковому выходу.

– Эй, там, руки вверх! – крикнул человек в штатском. – Я не шучу! Кто из вас Честнут?

– Вы сумасшедший! – крикнул Эсте. – Мы британские подданные. Мы не позволим втянуть нас в грязные провокации!

Послышался женский крик, началось общее движение по направлению к лифту, резко прекратившееся под дулами двух автоматических пистолетов. Девушка рядом с Сироткой упала в обморок и свалилась на пол, и в тот же момент послышалась музыка с соседней крыши.

– Прекратите музыку! – взревел человек в штатском. – И надеть «браслеты» на всю компанию – живо!

Двое полицейских стали приближаться к их группе; в тот же миг Эсте и остальные спутники принца вытащили револьверы и, как можно плотнее закрывая принца, стали двигаться к стене зала. Прозвучал выстрел, затем еще один, послышались звуки падающего серебра и бьющегося фарфора – посетители стали быстро прятаться, опрокидывая столики.

Началась всеобщая паника. Последовало один за другим три выстрела, затем началась беспорядочная пальба. Сиротка видела, как Эсте хладнокровно выстрелил по восьми горящим светильникам, и

воздух наполнился густым серым дымом. Как нелепый аккомпанемент к звукам выстрелов и криков, не прекращаясь, шумел далекий джаз.

И вдруг все неожиданно кончилось. Над крышей прозвучал резкий свисток, и сквозь дым Сиротка увидела, как Джон Честнут с поднятыми руками направляется к человеку в штатском. Послышался последний истерический крик, холодный треск фарфора, когда кто-то случайно наступил на кучу тарелок, и над крышей повисла тяжелая тишина – даже оркестр, кажется, умолк.

– Все кончено! – Громкий голос Джона Честнута прозвенел в ночном воздухе. – Вечеринка окончена. Желающие могут расходиться по домам!

Тишина продолжалась. Сиротка знала, что это была благоговейная тишина – груз вины свел Джона Честнута с ума.

– Все отлично сыграли! – крикнул он. – Благодарю всех и каждого. Если остались еще не перевернутые столики, занимайте – шампанское будут подавать, пока все не разойдутся.

Сиротке показалось, что крыша и звезды над ней вдруг стали все быстрее и быстрее кружиться. Она увидела, как Джон и детектив сердечно пожали друг другу руки, а затем детектив широко улыбнулся и засунул пистолет в карман. Снова послышалась музыка, и упавшая было в обморок девушка вдруг обнаружилась танцующей в углу с лордом Чарльзом Эсте. Джон бегал туда и сюда, хлопая всех по плечам, смеясь и пожимая руки. Затем он направился к ней, свежий и невинный, как дитя.

– Не правда ли, получилось великолепно? – воскликнул он.

Сиротка почувствовала, как к ней подкрадывается слабость. Она протянула руку назад и нащупала стул.

– Что здесь произошло? – ничего не понимая, воскликнула она. – Ущипните меня – это сон?

– Конечно нет! Это самая настоящая явь. Я все это придумал, Сиротка, разве ты не поняла? Я все это придумал для тебя. И все организовал. Единственная прозвучавшая за вечер правда – это мое имя!

Она неожиданно рухнула ему на грудь, хватаясь за лацканы пиджака, и упала бы на пол, если бы он вовремя ее не подхватил.

– Шампанского, быстрее! – крикнул он, а затем прикрикнул на принца Уэльского, стоявшего поблизости: – Эй, ты! Распорядись,

чтобы подали мою машину, живее! Мисс Мартин-Джонс переволновалась и упала в обморок.

V

Небоскреб снизу разлаписто вздымался тридцатью рядами окон, а дальше вытягивался, напоминая ровный кусок сахара, блестящий и белый. Затем шла еще сотня футов изящного шпиля, сужавшегося в ровную продолговатую башню, упиравшуюся в небеса, словно тонкая игла. В высоком окне на самом верхнем этаже стояла «Сиротка» Мартин-Джонс, вдыхая свежий ветер и глядя с высоты на город.

– Мистер Честнут просит вас пройти в его личный кабинет!

Ее изящные ножки послушно двинулись по ковру в просторное помещение, из которого открывался вид на гавань и открытое море.

Джон Честнут сидел за столом, поджидая ее, и Сиротка подошла к нему и обняла его за плечи.

– Это правда ты сам? – с беспокойством спросила она. – Честно?

– Ты написала мне лишь за неделю до приезда, – будто оправдываясь, сказал он, – и я просто не успел устроить для тебя революцию!

– Это все было только ради меня? – спросила она. – Все это безумное восхитительное представление – просто ради меня?

– Безумное? – Он задумался. – Ну, не совсем, хотя началось действительно именно так. В последнюю минуту я пригласил владельца одного ночного клуба, и, пока ты сидела за соседним столиком, я продал ему свою идею. – Он посмотрел на часы. – Еще одно небольшое дело, и я буду свободен до обеда. Как раз успею пожениться. – Он снял трубку телефона. – Это Джексон?... Отправьте телеграмму, в три адреса: Париж, Берлин, Будапешт. Пусть тех лжегерцогов, которые разыгрывали в монетку Шварцберг-Райнминстер, выдворят за границу, в Польшу. Если голландцы не

отреагируют, снизьте обменный курс на точка три нуля два. И еще: этот идиот Блутчдак опять пытается устроить войну на Балканах. Посадите его на первый же корабль до Нью-Йорка или выдайте его Греции, пусть его там посадят. – Он положил трубку и, рассмеявшись, повернулся к изумленной космополитке. – Следующая остановка – мэрия. Затем, если хочешь, поедem в Париж.

– Джон, – твердо спросила она, – кто был принцем Уэльским?

Он молчал, пока они не вошли в лифт и не спикировали на двадцать этажей ниже. Затем наклонился и похлопал лифтера по плечу:

– Не так быстро, Седрик. Дама не привыкла к падениям с высоты.

Лифтер обернулся и улыбнулся. Его лицо было бледным и овальным, в обрамлении темно-русых волос. Сиротка вспыхнула, как огонь.

– Седрик родом из Уэссекса, – объяснил Джон. – Сходство – и это еще слабо сказано! – изумительное. Принцы не всегда ведут себя благоразумно... Я подозреваю, что Седрик пусть и не совсем законный, но все же «Вельф».

Сиротка сняла золотой монокль с шеи и набросила ленту на голову Седрика.

– Благодарю вас за то, – сказала она, – что во второй раз в жизни мне довелось испытать настоящий трепет!

Джон Честнут, как купец, стал потирать руки.

– Милости просим, леди! – воззвал он к ней. – Лучший товар в городе!

– А что у вас тут хорошего?

– Мадемуазель, как раз сегодня у нас есть для вас прекра-а-аснейшая любовь!

– Заверните, мистер Купец! – воскликнула «Сиротка» Мартин-Джонс. – Похоже, это выгодная сделка!

Лекарь

I

Каждый день около пяти вечера унылая овальная зала отеля «Ритц» преображается от звуков необычной мелодии: сначала раздаются еле слышные звуки погружения в чашку одного кусочка сахара, а за ним и второго, затем слышится слабый звон восседающих на серебряных подносах и грациозно покачивающихся в движении сияющих чайников и молочников. Многим этот янтарный час кажется прекраснее всех остальных. В этот час исчезает слабый и приятный аромат лилий, населяющий «Ритц», и перед вашими глазами начинает разворачиваться поющий и праздничный остаток дня.

Если бы однажды весенним вечером вы обвели взглядом слегка приподнятую подкову балкона, то наверняка заметили бы сидящих за столиком для двоих юную миссис Карр и юную миссис Хэмпл. Та, что в платье, это миссис Хэмпл, и когда я говорю «платье», то имею в виду безупречного покроя одеяние с большими пуговицами и маленьким, почти незаметным, красным шарфиком на плечах – одеяние, которое едва уловимо, но в полном соответствии с замыслом, рожденным в модном ателье на Рю де ла Пэ, копировало облачение французских кардиналов. Миссис Карр и миссис Хэмпл было по двадцать три года, и даже враги сходились во мнении, что они обе неплохо устроились. Каждую из них у дверей отеля мог бы ожидать собственный лимузин, но в эти апрельские сумерки они единодушно предпочитали ходить до дома пешком – разумеется, если путь лежал по Парк-авеню.

Луэлла Хэмпл была высока ростом, ее волосы были того самого соломенного цвета, который, по общему – жаль, что неверному, – мнению, присуш всем английским девушкам из глубинки. Лицо излучало свет молодости и не требовало никаких дополнительных украшений, но допотопная мода – шел 1920 год – заставила ее напудрить румяные щеки, раскрасить губы и нарисовать новые брови,

что, как и любое ненужное вмешательство, вряд ли можно было счесть успешным. Конечно, это если оценивать с точки зрения 1925 года; в ту пору такая внешность производила совершенно правильный эффект.

– Я уже три года замужем, – говорила она, расплющивая окурок о выжатую половинку лимона. – Завтра ребенку исполнится два года. Надо не забыть купить...

Она вытащила из сумочки маленький золотой карандашик и записала в миниатюрный розовый блокнот: «Свечки, погремушки и бумажные колпачки». Закончив писать, она взглянула на миссис Карр и замялась:

– Хочу тебе рассказать кое-что эпатажное!

– Давай! – с улыбкой ответила миссис Карр.

– Меня раздражает даже мой ребенок! Это звучит ненормально, но знаешь, Ида, это действительно так! Он вовсе не заполняет всю мою жизнь. Я люблю его всем сердцем, но, когда мне приходится проводить с ним весь вечер, я так злюсь, что готова просто вопить от ярости. Уже через пару часов я начинаю молиться, чтобы нянька пришла ну хоть на минутку раньше!

Сделав такое признание, Луэлла вздохнула и внимательно посмотрела на подругу. Она чувствовала себя совершенно нормально. Это была правда. А в правде не может быть ничего плохого.

– Может, это потому, что ты уже не любишь Чарльза? – равнодушно предположила миссис Карр.

– Но я ведь люблю! Не думала, что у тебя создастся такое впечатление после всей моей болтовни. – Про себя она решила, что Ида Карр умом не блещет. – Именно то, что я люблю Чарльза, все и усложняет! Вчера я проплакала весь вечер, потому что поняла, что мы медленно, но верно движемся к разводу. Мы все еще вместе только из-за ребенка.

Ида Карр, которая была замужем уже пять лет, посмотрела на нее критически, пытаясь определить, не поза ли все это, но взгляд Луэллы был серьезен и печален.

– А в чем причина? – осведомилась Ида.

– Их несколько, – нахмурившись, ответила Луэлла. – Первая – это готовка. Я плохая хозяйка и не имею никакого желания превращаться в хорошую. Я ненавижу покупать продукты, я ненавижу ходить на кухню и проверять, вычищен ли ледник, и я ненавижу притворяться

перед слугами, что мне интересно, чем они занимаются, потому что на самом деле я даже слышать не хочу о еде до тех пор, пока она не появится на столе. Понимаешь, я никогда не училась готовить, и поэтому на кухне мне так же интересно, как... ну, я не знаю... в бойлерной! Это просто машина, и я не понимаю, как она работает. Легко сказать: «Запишись на курсы домохозяек», как в журналах пишут, но, Ида, а кто в реальной жизни смог превратиться в «мать семейства», если обстоятельства не заставляли?

– Продолжай, – уклонилась от ответа Ида. – Рассказывай дальше.

– Ну так вот, в результате в доме царит бардак! Слуги меняются каждую неделю. Если они молодые и неопытные, я не могу их ничему научить, поэтому приходится их увольнять. Если опыт у них есть, то они начинают ненавидеть дом, в котором хозяйка не проявляет повышенного интереса к цене спаржи. Они увольняются, а нам постоянно приходится питаться в ресторанах и кафе.

– Не думаю, что Чарльз в восторге.

– Да просто в бешенстве! И вообще, он ненавидит все, что мне нравится. Он равнодушен к театру, ненавидит оперу, ненавидит танцы, ненавидит вечеринки, иногда мне кажется, что он ненавидит все лучшее в мире. Я больше года просидела дома. Пока вынашивала Чака и пока его кормила. Ну, тут ничего не поделаешь. А в этом году я открыто заявила Чарльзу, что еще молода и хочу повеселиться. И теперь мы станем появляться в обществе, хочется ему этого или нет. – Она на мгновение задумалась. – Мне так его жалко, Ида, я не знаю, что делать, но если мы будем сидеть дома, тогда мне будет жалко себя. Скажу тебе правду – по мне, пусть лучше плохо будет ему, а не мне!

Луэлла больше думала вслух, чем рассказывала историю. Она всегда гордилась своей прямоотой. До свадьбы кавалеры часто говорили ей, что она «всегда играет честно», и она постаралась сохранить эту прямооту и в браке. Поэтому точку зрения Чарльза она видела также ясно, как и свою собственную.

Будь она женой пионера фронта, она наверняка стала бы бороться за существование бок о бок с мужем. Но здесь, в Нью-Йорке, никаких войн не предвиделось. Им не нужно было вместе бороться за грядущий мир и досуг – и того, и другого у них было в избытке. Луэлла, как и несколько тысяч подобных ей юных жен из Нью-Йорка, желала занять себя хоть чем-нибудь. Будь у нее чуточку больше денег

и чуточку меньше любви, она наверняка увлеклась бы скачками или интрижками на стороне. А если бы денег у них было чуть меньше, ее лишняя энергия поглощалась бы надеждой, а возможно, и каким-нибудь предприятием. Но семья Чарльза Хэмпла находилась где-то посередине. Они принадлежали к тому огромному классу американского общества, который каждое лето проводит в Европе, с легкой завистью и жалостью к себе посмеиваясь над обычаями, традициями и укладом других стран, потому что своих традиций, обычаев и уклада у них нет. Этот класс появился буквально вчера, от отцов и матерей, которые с тем же успехом могли бы жить и двести лет назад.

Час вечернего чая неожиданно превратился в час перед ужином. Большинство столиков освободилось, в помещении остались лишь резкие одиночные голоса и далекий внезапный смех, а в одном углу официанты даже начали застилать столы скатертями, готовясь к ужину.

— Чарльз и я действуем друг другу на нервы. — В наступившей тишине голос Луэллы прозвенел изумительно чисто, и она стала говорить потише. — Мелочи! Он постоянно потирает лицо рукой — все время: за столом, в театре и даже в постели! Не могу на это смотреть, а когда такие вещи тебя раздражают, это означает, что конец уже близок. — Она резко замолчала, откинулась на спинку стула и накинула на шею легкое меховое боа. — Надеюсь, что не надоела тебе, Ида. Сегодня только об этом и могу разговаривать, сегодня вечером все и решится. Меня пригласили на ужин — очень интересная компания, ужин после спектакля, будут какие-то русские, певцы или танцоры, не знаю, а Чарльз сказал, что не пойдет. Если не пойдет — тогда пойду одна. И это будет конец!

Неожиданно она оперлась локтями о стол и, закрыв лицо руками в гладких перчатках, принялась рыдать, тихо и настырно. Рядом не было никого, кто мог бы их видеть, но Ида Карр подумала, что лучше бы она все-таки сняла перчатки. Тогда она смогла бы протянуть к ней руку и дотронуться до ее руки в качестве утешения. Но перчатки символизировали, как трудно сочувствовать женщине, которой жизнь дала столь много. Ида могла бы сказать, что «все наладится», что «все не так уж плохо», но не сказала ничего. Единственной реакцией стали раздражение и неприязнь.

Рядом появился официант и положил на столик книжечку со счетом. Миссис Карр протянула руку.

– Ни в коем случае, – отрывисто пробормотала Луэлла. – Нет, я же тебя пригласила! Сейчас, вот деньги.

II

Собственная квартира Хэмплов располагалась в одном из тех белых дворцов, что выглядят на одно лицо и различаются лишь по номерам, а не по именам. Они обставляли ее во время медового месяца, съездив за шкафами в Англию, за всякими безделушками – во Флоренцию, за легкими кружевными и прозрачными тканевыми занавесками, а также разноцветной стеклянной посудой, выставившейся на стол для гостей, – в Венецию. Луэлле очень понравилось выбирать обстановку в медовый месяц. Поездка обрела цель и потому не напоминала унылое блуждание из отеля в отель с перерывом на осмотр очередной пустынной руины, чем обычно грешат все медовые месяцы в Европе.

Они вернулись домой, и жизнь пошла на широкую ногу. Луэлла обнаружила, что она – богатая дама. Иногда она сама поражалась, что и обставленная по ее вкусу квартира, и специально собранный на заказ лимузин, прямо как на картинке в «Лэдииз Хоум Джоурнал», – все это принадлежит ей так же бесспорно, как и заложенный загородный домик с прошлогодним авто, которые могла бы преподнести ей вместо всего этого судьба. Но еще больше она была поражена, заметив, что все это стало ей надоедать. Но это было действительно так!

В семь вечера она появилась на пороге в последних лучах апрельского солнца, прошла в холл и увидела мужа, сидевшего в гостиной у камина. Она молча вошла, беззвучно закрыла за собой дверь и остановилась, глядя на него сквозь дверной проем небольшого салона на пути в гостиную, любуясь открывавшейся эффектной

перспективой дома. Чарльзу Хэмплу было тридцать с лишним, он не выглядел старым, но взгляд его был серьезным, а роскошная, отливавшая сталью шевелюра грозила стать белоснежной лет через десять. Все это, да еще глубоко посаженные темно-серые глаза были наиболее примечательными чертами его внешности – женщины всегда находили его волосы жутко романтическими, и Луэлла чаще всего тоже так думала.

Но в данный момент она его немножко ненавидела, потому что прямо у нее на глазах он поднес руку к лицу и стал нервно тереть подбородок и губы. В такие моменты он выглядел абсолютно отстраненным, а периодически она не могла даже расслышать, что он говорит, и потому была вынуждена постоянно переспрашивать: «Что-что?» Она несколько раз говорила ему об этом, а он недоуменно извинялся. Но он явно не понимал, как сильно эта манера бросалась в глаза и как сильно она ее раздражала, раз он продолжал это делать. Это противостояние постепенно приобрело такой рискованный оборот, что Луэлла уже боялась о нем разговаривать – любое неосторожное слово могло вызвать неминуемую ссору.

Луэлла бросила перчатки и кошелек на стол. Услышав этот звук, муж обернулся и посмотрел в холл:

– Это ты, дорогая?

– Да, дорогой.

Она вошла в гостиную, обняла его и, как обычно, поцеловала. Чарльз Хэмпл ответил с непривычной церемонностью, а затем медленно развернул жену так, чтобы она увидела противоположный угол комнаты:

– Сегодня у нас гость.

Она, наконец, заметила, что они не одни, и сразу почувствовала сильное облегчение; суровое выражение ее лица смягчилось и сменилось смущенной обаятельной улыбкой. Она протянула руку для знакомства.

– Познакомься, это доктор Мун. Доктор, это моя жена.

К ним подошел мужчина чуть старше ее мужа, с круглым, бледным, чуть морщинистым лицом.

– Добрый вечер, миссис Хэмпл, – произнес он. – Надеюсь, что не помешал вашим планам на вечер.

– О, нет! – воскликнула Луэлла. – Я очень рада, что вы зашли к нам поужинать. Мы живем довольно замкнуто.

Одновременно она думала о сегодняшнем приглашении и о том, не устроил ли Чарльз эту топорную ловушку лишь ради того, чтобы удержать ее дома. Если так, то он неудачно выбрал наживку. Этот человек – его лицо, его низкий, спокойный голос, даже его слегка заношенный трехлетний костюм, – он весь излучал усталое спокойствие.

Тем не менее она извинилась и прошла на кухню посмотреть, что готовится на ужин. Как обычно, слуги были новыми, еда была плохо приготовлена и плохо сервирована – завтра надо будет их рассчитать. Она надеялась, что беседу проведет Чарльз: она ненавидела избавляться от слуг. Они то плакали, то грубили, но Чарльз всегда умел найти подход. И кроме того, мужчин они всегда боялись.

Но аромат готовящейся на плите пищи подействовал на нее успокаивающе. Луэлла проинструктировала, в какой посуде что подавать, и открыла бутылку драгоценного кьянти, хранившегося в буфете. Затем она пошла к маленькому Чаку, чтобы поцеловать его на ночь.

– Мы себя хорошо вели? – осведомилась она, когда он радостно вскарабкался ей на колени.

– Очень хорошо, – ответила гувернантка. – Мы сегодня долго гуляли в Центральном парке.

– Ну надо же, какой ты у мамочки молодец! – Она упоенно расцеловала его.

– А еще он залез в фонтан, так что пришлось быстро ехать домой на такси, чтобы переодеть ботиночки и колготки.

– Все правильно. Эй, Чак, подожди, подожди... – Луэлла расстегнула и сняла с шеи крупные желтые бусы и дала их ребенку. – Только смотри не порви мамочкины бусы! – Она повернулась к няне: – Когда он уснет, положите их на трюмо.

Уходя, она почувствовала жалость к сыну – его мир пока был маленьким и замкнутым, как и у всех детей, если не считать детей в больших семьях. «Ты мой маленький цветочек», – думала она... но не в те дни, когда приходилось с ним нянчиться. Он был очень похож на нее, прямо дух захватывало, и жизнь казалась совсем иной, когда она чувствовала, как его сердечко бьется в унисон с ее сердцем.

В своей прелестной спальне с розовыми обоями она занялась лицом, умывшись и заново накрасившись. Доктор Мун не заслуживал вечернего платья, и Луэлла почувствовала, что отчего-то устала, несмотря на то что целый день практически ничего не делала. Она вернулась в гостиную и пригласила всех к ужину.

– У вас прекрасный дом, миссис Хэмпл, – размеренно произнес доктор Мун, – и такой прекрасный мальчик!

– Благодарю вас. Слышать такой комплимент от доктора приятно вдвойне! – Она замялась. – Вы педиатр?

– Нет, я не специалист, – ответил он. – Я, наверное, один из последних врачей общей практики.

– И уж точно последний в Нью-Йорке, – заметил Чарльз.

Он начал нервно тереть лицо, и Луэлла старалась не смотреть на него, не отрывая взгляда от доктора Муна. Но, услышав, что сказал Чарльз, она резко на него взглянула.

– Честно говоря, – неожиданно заявил он, – я пригласил доктора Муна к нам потому, что хочу, чтобы он с тобой поговорил.

Луэлла выпрямилась на стуле:

– Поговорил со мной?

– Мы с доктором Муном старые друзья, и я думаю, что он сможет рассказать тебе, Луэлла, кое-что, что тебе необходимо знать.

– Ну... – Она хотела засмеяться, но была слишком удивлена и раздосадована. – Честно говоря, не могу понять, о чем ты. Со мной все в порядке. Никогда не чувствовала себя лучше.

Доктор Мун взглянул на Чарльза, спрашивая, можно ли ему вмешаться в разговор. Чарльз в ответ кивнул, а его рука по привычке направилась к подбородку.

– Ваш муж много рассказывал мне о вашей неудовлетворительной совместной жизни, – снова размеренно произнес доктор Мун. – Ему кажется, что я смогу вам помочь и как-нибудь все поправить.

Лицо Луэллы пылало.

– Я не верю в психоанализ, – холодно ответила она, – и едва ли соглашусь стать объектом исследования.

– И я тоже, – ответил доктор Мун, явно пропустив неприязненный тон мимо ушей. – Я не верю ни во что, кроме себя. Я уже говорил вам, что не специализируюсь ни на чем, и в том числе, с вашего позволения, на каких-то чудных теориях. Я ничего не обещаю.

На мгновение Луэлла задумалась, а не покинуть ли ей комнату? Но безапелляционность рекомендации всколыхнула ее любопытство.

– Понятия не имею, что вам наговорил Чарльз, – едва сдерживаясь, сказала она, – а еще меньше понимаю, почему он это сделал. Но уверяю вас, что наши дела касаются только меня и моего мужа. Если вы не возражаете, доктор Мун, я бы предпочла поговорить о чем-нибудь менее личном.

Доктор Мун вежливо и серьезно кивнул. Он больше не предпринимал попыток вернуться к этой теме, и за обедом воцарилась почти никем не нарушаемая натянутая тишина. Луэлла твердо решила: что бы ни случилось, этот гость не нарушит ее планов на вечер. Час назад этого требовала ее независимость, но теперь было просто необходимо бросить какой-нибудь вызов в защиту самоуважения. Она собиралась ненадолго задержаться в гостиной после ужина; затем, когда подадут кофе, она извинится и уйдет одеваться для предстоящей вылазки в свет. Но когда они вышли из столовой, первым – быстро и неожиданно – улизнул Чарльз.

– Мне нужно написать письмо, – сказал он. – Я скоро к вам присоединюсь.

Не дожидаясь, пока Луэлла сможет дипломатично возразить, он быстро пошел по коридору в свою комнату, и она услышала, как он захлопнул за собой дверь.

Рассерженная и сбита с толку, Луэлла разлила кофе по чашкам и уселась на диване, не отрывая взгляда от камина.

– Не бойтесь меня, миссис Хэмпл, – неожиданно произнес доктор Мун. – Меня заставили против моей воли. Я не свободен в своих действиях...

– Я не боюсь вас, – перебила она. Но она понимала, что лжет. Она немного боялась его, хотя бы потому, что он отнесся к ее неприязни совершенно равнодушно.

– Расскажите мне о вашей проблеме, – спокойно предложил он, как будто и она тоже не была свободна в своих действиях. Он даже не взглянул на нее, и, если бы они не находились в комнате один на один, могло бы показаться, что он обращается вовсе не к ней.

Ответ, который вертелся у Луэллы в голове и должен был вот-вот сорваться с губ, был: «Не буду я ничего рассказывать». Но то, что она

сказала вслух, ее поразило. Это вылетело спонтанно и, как ей показалось, даже без ее участия.

– Вы что, не видели, как он тер лицо за столом? – с горечью сказала она. – Вы что, ослепли? Он так меня бесит, что я скоро сойду с ума!

– Понимаю. – Доктор Мун кивнул головой.

– Неужели вы не заметили, как мне надоел этот дом? – Ее грудь вздымалась под платьем, она почти задышалась. – Неужели не заметно, как мне надоело вести хозяйство, нянчить ребенка, ведь все это будет продолжаться вечно и бесконечно! Я хочу волнения, хочу ажиотажа, и мне все равно, по какому поводу, и все равно, сколько за это придется платить, лишь бы мое сердце билось чаще!

– Понимаю.

Луэлла пришла в ярость оттого, что он заявил, будто понимает. Ее вызов достиг той крайней точки, когда предпочтительнее, чтобы вас никто не понимал. Ей хотелось, чтобы теперь ее судили только по мерке пылкой искренности ее желаний.

– Я пыталась быть хорошей, но больше я пытаться не буду! Если я – одна из тех женщин, которые рушат свою жизнь ни за грош, пусть будет так. Можете звать меня эгоисткой, дурой, и будете правы! Но через пять минут я покину этот дом и стану, наконец, живой!

На этот раз доктор Мун ничего не сказал, но поднял голову, будто прислушиваясь к чему-то происходящему невдалеке.

– Вы никуда не уйдете, – сказал он через некоторое время. – Я уверен, что вы никуда не уйдете.

Луэлла рассмеялась:

– Я ухожу.

Казалось, он не слышал.

– Видите ли, миссис Хэмпл, ваш муж нездоров. Он пытался вести такую жизнь, какая нравится вам, но связанное с таким образом жизни напряжение оказалось для него чрезмерным. Когда он трет губы...

В коридоре послышались тихие шаги, и в комнату на цыпочках вошла испуганная горничная:

– Миссис Хэмпл...

Вздрогнув от неожиданности, Луэлла быстро обернулась:

– Да, слушаю.

– Позвольте вас... – Страх стремительно пересилил ее хрупкую выучку. – Миссис Хэмпл, он заболел! Он прибежал в кухню и стал

выбрасывать из ледника на пол продукты, а теперь он убежал к себе в комнату, плачет там и поет...

Внезапно и Луэлле стал слышен его голос.

III

У Чарльза Хэмпла случился нервный срыв. За его плечами было двадцать лет практически непрерывного труда, а домашние неприятности стали последней каплей, которая его сломила. Любовь к жене стала ахиллесовой пятой этого, во всех остальных отношениях твердого, умного и организованного человека – он полностью отдавал себе отчет в том, что его жена чересчур эгоистичная особа, но одной из главных загадок человеческих отношений является тот факт, что на многих мужчин женский эгоизм почему-то действует как зов, от которого не уклониться. Эгоизм Луэллы мирно сосуществовал с ее по-детски наивной красотой, и в результате Чарльз Хэмпл стал считать, что сам виноват в любых ситуациях, даже если они были целиком спровоцированы ею. Такая привязанность была нездоровой, и его разум постепенно помутился в тщетном старании поставить себя на несвойственное ему место. Оправившись от первого шока, почувствовав на мгновение укол жалости, Луэлла отнеслась к создавшемуся положению с раздражением. Она «всегда играла честно» и поэтому не могла воспользоваться преимуществом, которое предоставил ей Чарльз своей болезнью.

Решение вопроса о свободе пришлось отложить до тех пор, пока Чарльз не встанет на ноги. Едва она решила освободиться от обязанностей жены, как ей тут же пришлось возложить на себя еще и обязанности сиделки. Она сидела у его постели, а он в бреду говорил только о ней – об их помолвке, о том, как кто-то из его друзей сказал ему, что он делает ошибку, о том, как он был счастлив сразу же после свадьбы, и о том, как он начал нервничать, когда в отношениях стал

намечаться разрыв. Как видно, он чувствовал гораздо больше, чем думала она, и уж точно больше, чем он показывал ей.

– Луэлла! – очнувшись, привставал он на постели. – Луэлла! Где ты?

– Я здесь, Чарльз, рядом с тобой. – Она пыталась говорить спокойно и весело.

– Если ты хочешь уйти, Луэлла, уходи! Кажется, меня тебе уже стало мало.

Успокаивая его, она отвечала отрицательно.

– Я все обдумал, Луэлла, и понял, что не хочу из-за тебя терять здоровье... – А затем быстро и со страстью: – Не уходи, Луэлла, ради бога, прошу тебя, не уходи, не бросай меня! Обещай мне, что ты не уйдешь! Я сделаю все, что ты мне скажешь, только не уходи!

Больше всего ее раздражало, как он унижался; он всегда выглядел таким спокойным, и она никогда не догадывалась, до какой степени он ее любит.

– Я выйду только на минутку. Пришел доктор Мун, твой друг, Чарльз. Он обещал сегодня прийти тебя навестить, помнишь? А перед тем, как уйти, он хочет со мной поговорить.

– Ты вернешься? – не отпускал он ее.

– Я совсем ненадолго. Ну, вот... лежи спокойно.

Она приподняла его голову и взбила подушку. Завтра пришлют новую опытную сиделку.

В гостиной ждал доктор Мун, его костюм в вечернем свете казался еще более изношенным и потрепанным. Она очень плохо к нему относилась, потому что убедила себя, пусть это и было абсолютно нелогично, что это он каким-то образом стал причиной ее несчастья. Но доктор Мун демонстрировал столь глубокий интерес, что она попросту не могла его не принимать. Однако она даже не попросила его порекомендовать каких-нибудь специалистов – его, доктора, который был буквально под рукой...

– Миссис Хэмпл! – Он подался навстречу, протянул руку, и Луэлла в знак приветствия неловко, лишь слегка, прикоснулась к ней. – Вы хорошо выглядите, – сказал он.

– Спасибо, я в порядке.

– Вас можно поздравить – вы прекрасно справляетесь с ситуацией.

– Но я вовсе ни с чем не справляюсь, – холодно ответила она. – Делаю, что должна...

– Вот именно!

В ней сразу же проснулось раздражение.

– Я делаю, что должна, не более того, – продолжала она, – и без всякого желания.

И вдруг она снова стала откровенной, как в тот вечер, когда произошла катастрофа, сознавая, что разговаривает с ним как со старым другом, сама не понимая почему.

– С хозяйством просто беда, – вырвалось у нее, и она уже не могла остановиться. – Пришлось рассчитать слуг, а новую служанку пришлют только послезавтра. У ребенка простуда, а я только что обнаружила, что его няня совершенно не справляется со своими обязанностями... Это такой кошмар! Все настолько ужасно, насколько только можно себе представить!

– А не могли бы вы рассказать подробнее, почему вы решили, что няня не справляется со своими обязанностями?

– Много неприятных вещей узнаешь, когда приходится сидеть дома.

Он кивнул, его усталый взгляд скользил по комнате.

– Кажется, есть надежда, – медленно произнес он. – Как я уже говорил, я ничего не обещаю. Я лишь делаю, что могу.

Луэлла с изумлением посмотрела на него.

– О чем вы? – возразила она. – Вы же для меня ничего не сделали – абсолютно ничего!

– Да, пока ничего особенного, – тихо сказал он. – Нужно время, миссис Хэмпл.

Он произнес это сухо и монотонно, обижаться было не на что, однако Луэлла сочла, что он зашел слишком далеко. Она встала.

– Таких, как вы, я уже встречала, – холодно сказала она. – По неизвестной причине такие, как вы, всегда уверены, что являются «старыми друзьями семьи». Но я не завожу друзей на скорую руку, и у вас нет никакого права вмешиваться в мои личные дела. – Она хотела добавить: «Так беспардонно», но не стала.

Когда за ним закрылась дверь, Луэлла прошла на кухню убедиться, что новая кухарка все правильно поняла и готовит три разных обеда – для Чарльза, для ребенка и для нее. Трудно обходиться одной

служанкой в такой тяжелой ситуации. Надо бы позвонить в другое агентство по найму – в этом, кажется, к ней уже относятся нехорошо.

К своему удивлению, она обнаружила кухарку в шляпе и пальто, читающей газету за кухонным столом.

– Эй, – Луэлла забыла имя, – послушайте, в чем дело, миссис...?

– Миссис Даньски меня зовут.

– Так в чем дело?

– Боюсь, что не смогу у вас работать, – ответила миссис Даньски. – Видите ли, я обычная кухарка и не умею готовить для больных.

– Но я на вас рассчитывала!

– Мне очень жаль. – Она упрямо покачала головой. – Надо и о своем здоровье думать! Меня даже не предупредили, что это не обычная работа. А когда вы попросили меня убираться в комнате вашего мужа, я сразу поняла, что это мне не по силам.

– Я больше не буду просить вас убираться, – в отчаянии предложила Луэлла. – Пожалуйста, только останьтесь, ну хотя бы до завтра... Я же не смогу подыскать вам замену за один вечер!

Миссис Даньски вежливо улыбнулась:

– Как и у вас, у меня тоже есть дети, о которых тоже надо думать.

Луэлла хотела было предложить повысить плату, но не смогла сдержаться и вышла из себя.

– Никогда даже не слышала о подобном эгоизме! – воскликнула она. – Бросить меня одну в такой момент! Старая дура!

– Заплатите мне за полдня, и я уйду, – спокойно сказала миссис Даньски.

– Не заплачу ни цента, если не останетесь!

Ей сразу же стало стыдно, но гордость не позволила взять угрозу назад.

– Никуда не денетесь, заплатите!

– Дверь там!

– Уйду, когда заплатите, – не отступала возмущенная миссис Даньски. – Мне тоже надо думать о своих детях!

Луэлла резко вдохнула и сделала шаг вперед. Испугавшись ее решимости, миссис Даньски развернулась и бросилась, бормоча угрозы, на улицу.

Луэлла подошла к телефону, набрала номер агентства и объяснила, что служанка ее покинула.

– Можете кого-нибудь прислать прямо сейчас? Муж болен, и еще ребенок заболел...

– Простите, миссис Хэмпл. Уже никого нет. Четыре часа, конец дня.

Луэлла стала спорить. В результате ей пообещали, что попробуют позвонить одной женщине и, может быть, перезвонят позже. Это было все, что они могли для нее сделать до завтрашнего утра.

Она обзвонила еще несколько агентств, но сегодня в сфере услуг явно произошел сбой. Дав Чарльзу лекарство, она на цыпочках вошла в детскую.

– Как малыш? – отрешенно спросила она.

– Девяносто девять и один, – прошептала няня, держа термометр на свету. – Только что померила.

– Это много? – нахмурившись, спросила Луэлла.

– На три пятых выше нормы. Для вечера не так уж много. Но при простуде температура может резко подняться.

Луэлла подошла к кровати и потрогала рукой пылающую щеку сына, подумав, несмотря на всю свою тревогу, о том, как же он похож на ангелочка в рекламе мыла «Люкс» на автобусах!

Она повернулась к няне:

– Умеете готовить?

– Да, но плохо.

– А сможете приготовить еду ребенку? Эта старая дура ушла, я никого не могу найти, и даже не знаю, что теперь делать.

– Ну конечно, ребенку я приготовить смогу.

– Тогда все в порядке. А я попробую что-нибудь сотворить для мистера Хэмпла. Пожалуйста, оставьте дверь открытой, а то не услышите звонок, когда придет доктор. Откройте ему и позовите меня.

Сколько же докторов... За целый день не было и часа, чтобы в доме не находился хотя бы один врач! Специалист и семейный терапевт приходили каждое утро, затем появлялся педиатр, а сегодня вечером в малой гостиной был и доктор Мун, спокойный, настойчивый и незванный. Луэлла пошла на кухню. Себе она могла пожарить яичницу – раньше она часто так ужинала, придя из театра. Но овощи для Чарльза были совсем другое дело – их надо было варить или тушить или что-то там еще, а в плите, оказывается, было так много каких-то дверок, ручек и конфорок, и она никак не могла выбрать подходящую.

Она взяла голубую кастрюлю, которая выглядела поновее, нарезала в нее морковь и налила немного воды. Поставив все на плиту, она попыталась вспомнить, что же делать дальше. И тут зазвонил телефон. Звонили из агентства.

– Да, миссис Хэмпл слушает.

– Вы знаете, женщина, которую мы к вам сегодня посылали, вернулась и предъявила претензию. Вы отказались оплачивать ее работу.

– Я же вам объясняла, что она отказалась остаться! – разгорячилась Луэлла. – Она не выполнила своих обязательств, поэтому я сочла, что также свободна от...

– Мы обязаны следить за тем, чтобы нашим людям платили, – проинформировало ее агентство, – иначе как мы вообще сможем работать, вы согласны? Мне очень жаль, миссис Хэмпл, но мы не сможем прислать к вам никого до тех пор, пока вы не уладите это недоразумение.

– Я заплачу, заплачу! – взмолилась она.

– Безусловно, мы всегда стараемся поддерживать хорошие отношения с нашими клиентами...

– Да, да!

– Отлично. Тогда завтра просто пришлите сюда ее деньги, договорились? Ее ставка – семьдесят пять центов в час.

– Но как насчет сегодня? – воскликнула она. – Мне нужен кто-нибудь прямо сегодня!

– Знаете, уже довольно поздно. Я сама уже шла домой...

– Мое имя миссис Хэмпл! Это вам что, ни о чем не говорит? Если я обещала, то так и сделаю. Я жена Чарльза Хэмпла, мы живем на Бродвее, 14...

Она неожиданно осознала, что Чарльз Хэмпл, живущий на Бродвее, 14, был просто беспомощным инвалидом – это имя больше не могло служить ни рекомендацией, ни угрозой. Придя в отчаяние от неожиданного бессердечия мира, она бросила трубку.

Десять минут спустя, после тщетной неистовой возни на кухне, она пошла к няне, которую недолюбливала, и призналась, что не способна приготовить пищу своему мужу. Няня поначалу объявила, что у нее сегодня просто раскалывается голова и вообще ей достаточно хлопот с

больным ребенком, но потом нехотя уступила и согласилась показать Луэлле, что нужно делать.

Проглотив унижение, Луэлла выполняла указания, а няня, ворча, экспериментировала с незнакомой плитой. С грехом пополам ужин все-таки поставили. Затем пришло время купать Чака, няня ушла, а Луэлла осталась сидеть в одиночестве за кухонным столом и слушать бульканье и запахи кастрюль.

«А ведь женщины занимаются этим каждый день, – думала она. – Тысячи женщин! Готовят, ухаживают за больными – и еще ходят на работу».

Но она не рассматривала этих женщин как себе подобных – если, конечно, не принимать во внимание, что у всех людей есть пара ног и пара рук. Она сказала это так же, как сказала бы: «Дикари Южных морей носят кольца в носу». Сегодня она была вынуждена заниматься собственным домом, но она не получала от этого никакого удовольствия. Для нее эта ситуация была всего лишь забавным исключением.

Неожиданно она услышала приближающиеся медленные шаги, сначала в столовой, а затем и в буфетной. Слегка испугавшись, что это пришел доктор Мун с очередным визитом, она посмотрела – и увидела в дверях буфетной няню. В голове Луэллы пронеслось, что, наверное, и няня тоже скоро заболеет. Она оказалась права – няня едва дошла до двери кухни, пошатнулась и схватилась за ручку двери, как раненая птица цепляется за ветку. Затем она безмолвно осела на пол. Одновременно зазвонил дверной звонок; Луэлла, поднявшись, с облегчением вздохнула, подумав, как кстати пришел детский врач.

– Обычный обморок, – сказал он, уложив голову няни себе на колени. Ее ресницы дрогнули. – Да, просто упала в обморок, вот и все.

– Не дом, а больница! – воскликнула Луэлла в отчаянии. – Доктор, здесь больны все, кроме меня!

– Она не больна, – чуть погодя, ответил он. – Вот, сердце у нее уже бьется нормально... Она просто потеряла сознание.

Луэлла помогла доктору усадить возвращавшееся к жизни тело на стул, поспешила в детскую и наклонилась над детской кроваткой. Она тихо опустила одну боковину. Кажется, жар кончился – болезненный румянец исчез. Она наклонилась и потрогала щечки.

И вдруг Луэлла стала кричать.

IV

Даже после похорон Луэлла не могла заставить себя поверить, что потеряла ребенка. Она вернулась в квартиру и кругами ходила по детской, зовя его по имени. Затем, пораженная горем, она села и уставилась на белую кровать с красным цыпленком, нарисованным на боку.

– Что теперь будет со мной? – прошептала она. – Произойдет что-то ужасное, когда я осознаю окончательно и бесповоротно, что никогда больше не увижу Чака!

Она еще ничего не поняла. Как только наступят сумерки, няня, наверное, приведет его с прогулки. Она помнила какое-то чудовищное недоразумение, кто-то сказал ей, что Чак умер, но если это была правда, тогда почему в его комнате все как всегда, на столе лежат его зубная щетка и расчесочка, и зачем она тогда вообще здесь сидит?

– Миссис Хэмпл!

Она подняла глаза. В дверях стоял усталый и потрепанный доктор Мун.

– Уходите, – отрешенно произнесла Луэлла.

– Вы нужны вашему мужу.

– Мне все равно.

Доктор Мун сделал шаг в комнату:

– Кажется, вы меня не понимаете, миссис Хэмпл. Он зовет вас. У вас теперь нет никого, кроме него.

– Я вас ненавижу, – резко сказала она.

– Как вам будет угодно. Я ничего не обещаю, вы же знаете. Я лишь делаю, что могу. Вам станет лучше, когда вы осознаете, что ваш ребенок ушел навсегда и вы больше никогда его не увидите.

Луэлла вскочила.

– Мой ребенок не умер! – воскликнула она. – Вы лжете! Вы всегда лжете! – Ее горящие глаза встретили его взгляд, и она увидела в нем что-то, одновременно и жестокое, и доброе, что внушило ей страх и сделало беспомощной и покорной.

Отчаявшись, она устало опустила глаза.

– Ладно, – утомленно произнесла она. – Моего ребенка больше нет. Что мне теперь делать?

– Вашему мужу гораздо лучше. Все, что ему теперь требуется, это покой и доброта. Но вы должны пойти к нему и рассказать, что случилось.

– А вы, наверное, считаете, что помогли ему, – едко заметила Луэлла.

– Возможно. Он почти здоров.

Почти здоров – значит, последнее звено цепи, приковывавшей ее к дому, разбито. Эта часть ее жизни окончилась – можно отрезать прямо здесь, вместе со всем этим горем и подавленностью, и лететь дальше свободно, как ветер.

– Я сейчас к нему зайду, – отстраненно сказала Луэлла. – Пожалуйста, оставьте меня.

Незванная тень доктора Муна растворилась во тьме холла.

– Я могу уйти, – прошептала Луэлла. – Жизнь снова дарит мне свободу взамен всего, что отняла у меня.

Но нельзя медлить ни минуты, а то жизнь схватит ее опять и снова заставит страдать. Она вызвала консьержа и приказала принести в квартиру чемодан из общей кладовой. Затем стала вытаскивать вещи из комода и шкафа, пытаясь по возможности отобрать примерно то, с чем началась ее замужняя жизнь. Ей даже попалось два старых платья из приданного – уже вышедшие из моды и ставшие ей узковаты в талии, – она все равно бросила их в общую кучу. Новая жизнь. Чарльз снова был здоров; а ребенок, которого она боготворила, который слегка ее утомлял, был мертв.

Сложив чемодан, она автоматически направилась на кухню распорядиться по поводу ужина. Сказала кухарке, что надо приготовить Чарльзу, и сказала, что сама будет ужинать не дома. Ее внимание на мгновение привлекла маленькая кастрюлька, в которой готовили Чаку, но посмотрела она на нее совершенно равнодушно. Заглянула в ледник; он был вычищен и заполнен свежим льдом. Затем

она пошла в комнату Чарльза. Он сидел в кровати, а сиделка читала ему вслух.

Его волосы практически полностью поседели и отливали серебром, а темные глаза на исхудавшем юном лице казались огромными.

– Ребенок болен? – спросил он своим обычным голосом.

Она кивнула.

Он замялся, прикрыл на мгновение глаза. Затем задал вопрос:

– Ребенок умер?

– Да.

Он надолго замолчал. Сиделка подошла ближе и положила ладонь ему на лоб. Две большие, неуклюжие слезы показались у него на глазах.

– Я почувствовал, что ребенок умер.

Долгое молчание первой нарушила сиделка:

– Доктор разрешил отвезти мистера Чарльза сегодня вечером на прогулку. Ему нужна перемена обстановки.

– Хорошо.

– Я подумала... – сиделка не сразу решилась продолжить, – так вот, я подумала, что прогуляться вам бы обоим неплохо, миссис Хэмпл; может, выйдете вместо меня?

Луэлла тут же отрицательно покачала головой.

– О, нет, – ответила она, – сегодня мне не очень хорошо.

Сиделка как-то странно на нее посмотрела. Неожиданно почувствовав жалость к Чарльзу, Луэлла медленно наклонилась и поцеловала его в щеку. Затем, не говоря ни слова, она пошла в свою комнату, надела шляпу, пальто и с чемоданом в руках пошла к входной двери.

Она сразу же увидела тень в холле. Только бы миновать эту тень – и она свободна! Если бы только она могла обогнуть ее справа или слева или приказать ей убраться с дороги! Но тень упрямо не желала двигаться, и, издав слабый крик, Луэлла села на стул в холле.

– Я думала, что вы ушли, – взмолилась она – Я же просила вас уйти.

– Скоро уйду, – ответил доктор Мун, – но я не хочу, чтобы вы совершили древнюю, как мир, ошибку.

– Я не совершаю никакой ошибки – все ошибки я оставляю позади.

– Вы пытаетесь оставить позади саму себя, но это невозможно. Чем дальше вы от себя убегаете, тем ближе приближаетесь к самой себе.

– Но мне нужно бежать, – отчаянно возразила она. – Бежать из этого дома смерти и неудач!

– У вас еще не было неудач. Они только начинаются.

Она встала:

– Дайте пройти.

– Нет.

Она опять сдалась, как и всегда, когда разговаривала с ним. Закрыла лицо руками и расплакалась.

– Возвращайтесь в комнату и скажите сиделке, что идете на прогулку с мужем, – предложил он.

– Я не могу.

– Можете.

Луэлла вновь взглянула на него и поняла, что повинуется. Решив, что ее воля теперь окончательно сломлена, она бросила чемодан и пошла обратно через холл.

V

Природу странного влияния, которое оказывал на нее доктор Мун, Луэлла понять не могла. Но шли дни, и она обнаруживала, что делает многие вещи, которые раньше вызывали у нее отвращение. Она оставалась дома с Чарльзом; когда он совсем поправился, она иногда выходила с ним поужинать или в театр, но только если этого хотел он сам. Она стала ежедневно появляться на кухне и нехотя присматривать за хозяйством, поначалу из страха, что все опять пойдет прахом, а затем уже по привычке. И она чувствовала, что все это было каким-то образом связано с доктором Муном – что-то такое, что он все время рассказывал ей о жизни, или почти рассказывал, и в то же время скрывал, словно боялся, что она об этом узнает.

Когда жизнь вновь вошла в обычную колею, она обнаружила, что Чарльз стал меньше нервничать. Его привычка тереть лицо исчезла, и, хотя ей казалось, что в мире поубавилось веселья и счастья, теперь ей иногда удавалось испытать настоящее умиротворение, о котором она раньше даже не подозревала.

И вот однажды вечером доктор Мун неожиданно сказал, что уезжает.

– Хотите сказать, навсегда? – спросила она, запаниковав.

– Навсегда.

Лишь мгновение она не была уверена, что сожалеет об этом.

– Я больше вам не нужен, – тихо произнес он. – Вы вряд ли это поймете, но вы повзрослели.

Он подошел поближе и, сев на диван рядом с ней, взял ее за руку. Луэлла сидела молча, напряженно прислушиваясь.

– Мы всегда договариваемся с детьми, что они сидят в зале тихо и не мешают разыгрывать пьесу, – сказал он, – но если они так и остаются в зале после того, как выросли, кому-то приходится работать вдвойне – еще и за них, – чтобы они получили удовольствие от света и блеска нашего мира.

– Но я хочу света и блеска, – возразила она. – Это все, что может предложить жизнь. Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть, чтобы все вокруг было живым и теплым.

– А все и будет живым и теплым.

– Как?

– Когда тепло будет исходить от вас.

Луэлла изумленно взглянула на него.

– Сейчас ваша очередь встать в центре и начать давать другим то, что так долго давали вам. Теперь вы должны давать защиту тем, кто моложе, хранить мир в душе мужа, а также давать и ничего не просить взамен у тех, кто старше. Вы должны стать опорой людям, которые работают для вас. Вам придется скорее прятать в себе проблемы, нежели ими делиться, придется запастись терпением выше среднего и совершать поступки самостоятельно, а не в паре с кем-то. Весь свет и блеск мира теперь в ваших руках.

Он неожиданно умолк.

– Встаньте, – сказал он, – подойдите к зеркалу и скажите мне, что вы там увидите.

Луэлла послушно встала и подошла к висевшему на стене сувениру – привезенному из Венеции в медовый месяц зеркалу.

– Здесь у меня появилась складка, – сказала она, подняв руку и указав на переносицу, – а еще здесь в тени сбоку – наверное, это морщинки.

– Вы огорчены?

Она быстро обернулась.

– Нет, – сказала она.

– Вы поняли, что Чака больше нет? Что вы его больше никогда не увидите?

– Да. – Она медленно провела руками перед глазами. – Но все это было так бесконечно давно...

– Бесконечно давно... – повторил он; затем: – Вы все еще боитесь меня?

– Уже не боюсь, – ответила она и честно добавила: – Раз уж вы уезжаете.

Он пошел к двери. Сегодня он выглядел особенно усталым – казалось, что он едва может двигаться.

– За ваш дом и семью теперь отвечаете вы, – раздался усталый шепот. – И если здесь будет свет и блеск, то это будет ваш свет и блеск; если здесь будет радость, то лишь потому, что так захотите вы. Удовольствия могут появляться в вашей жизни, но вы больше никогда не должны их специально искать. Теперь ваш черед поддерживать огонь в очаге.

– Останьтесь еще ненадолго? – предложила Луэлла.

– Время вышло. – Его голос стал таким тихим, что она едва различала слова. – Но запомните: что бы ни случилось, я всегда смогу вам помочь, если только здесь можно помочь. Я ничего не обещаю.

Он открыл дверь. Теперь она должна была узнать то, что хотела узнать больше всего на свете, пока еще не поздно.

– Что вы со мной сделали? – воскликнула она. – Почему я не печалюсь о Чаке – и вообще ни о чем не жалею? Скажите же мне, я ведь уже почти вижу, но не могу разглядеть... Пока вы не ушли, скажите мне, кто вы такой!

– Кто я такой?!

Его поношенный костюм замер в дверях. Его круглое, бледное лицо вдруг разделилось на два, на дюжину, на двадцать лиц – все

разные, но в то же время похожие, печальные, счастливые, трагические, равнодушные, покорные, – пока шесть десятков докторов Мунов не выстроились в ряд, как цепочка отражений, как месяцы жизни, уходящие в прошлое.

– Кто я такой? – повторил он. – Я – пять лет!

Дверь закрылась.

В шесть вечера Чарльз Хэмпл пришел домой, и, как обычно, Луэлла встретила его в холле. Если не считать мертвенно-бледных волос, внешне за два года болезни он не изменился. Сама же Луэлла изменилась более заметно – ее фигура стала плотнее, а глаза окружили морщинки, которые так и остались с того самого вечера в 1921 году, когда умер Чак. Но в свои двадцать восемь она все еще была красива, и на ее лице читалась сердечность повидавшего жизнь человека, как будто несчастье едва его коснулось, а затем поспешило прочь.

– Сегодня к нам заедут Ида с мужем, – сказала она. – У меня есть билеты в театр, но если ты устал, можно не ходить.

– Давай сходим.

Она посмотрела на него:

– Ты ведь не хочешь!

– Я хочу!

– Ладно, посмотрим, как ты себя будешь чувствовать после ужина.

Он обнял ее. Они вместе вошли в детскую, где их поджидали двое детей, чтобы пожелать им спокойной ночи.

Лед и пламень

I

Как-то раз – молодые Мэйзеры были тогда женаты уже больше года – Жаклин зашла к мужу в контору фирмы по торговле скобяными изделиями, работой которой он, более-менее успешно, управлял. Открыв дверь кабинета, она остановилась и произнесла: «Ой, прошу прощения...» Потому что ее приход прервал вполне обыденную, но в то же время интригующую сцену. В кабинете стоял молодой человек по имени Бронсон, с которым она была едва знакома; муж приподнялся из-за стола ему навстречу. Бронсон обеими руками горячо пожимал руку мужа – и даже более, чем горячо. Услышав, что вошла Жаклин, мужчины повернулись к ней, и Жаклин заметила, что глаза Бронсона покраснели.

Спустя мгновение он уже выходил и, проходя мимо нее, как-то смущенно произнес: «Добрый день». Она вошла в кабинет мужа.

– А что тут делал Эд Бронсон? – не скрывая любопытства, спросила она.

Джим Мэйзер улыбнулся, чуть прищулив серые глаза, и усадил ее прямо на свой стол.

– Просто забежал на минутку, – непринужденно ответил он. – Как дела дома?

– Все в порядке. – Она внимательно посмотрела на него. – Что ему было нужно? – продолжала она.

– Да так, зашел по одному делу.

– По какому?

– Да так, ничего особенного. Просто дело.

– А почему у него глаза покраснели?

– Неужели? – Он посмотрел на нее невинным взглядом, и они вместе рассмеялись.

Жаклин встала и, обойдя стол, бухнулась во вращающееся кресло.

– Лучше признавайся, – весело заявила она, – потому что я отсюда не уйду, пока не узнаю все!

– Ну, ладно. – Он замялся, нахмурившись. – Он просил меня оказать ему небольшую любезность.

И тут Жаклин все поняла – или, лучше сказать, интуитивно почувствовала.

– Ага! – Ее тон стал чуть жестче. – Ты дал ему в долг!

– Совсем немного.

– Сколько?

– Всего три сотни.

– *Всего* три сотни! – Голос зазвенел как холодная бессемеровская сталь. – Сколько мы тратим в месяц, Джим?

– Ну, где-то пять-шесть сотен, наверное... – Он неуверенно посмотрел на нее. – Послушай, Жаки, Бронсон ведь отдаст! У него просто небольшие неприятности. Он совершил ошибку, какая-то девушка из Уодмира...

– И еще он знает, что ты славишься как легкая добыча, вот он к тебе и пришел, – перебила Жаклин.

– Нет, – упрямо возразил он.

– А тебе не пришло в голову, что эти три сотни могла бы потратить, например, я? – спросила она. – Неужели ты не помнишь, что не далее как в ноябре мы не смогли себе позволить даже короткую поездку в Нью-Йорк?

Улыбка медленно сползла с лица Мэйзера. Он пошел и прикрыл дверь кабинета.

– Послушай, Жаки, – начал он, – ты просто не понимаешь. Бронсон – один из тех, с кем я практически ежедневно обедаю. Мы дружим с детства, мы ходили в одну школу. Неужели ты не понимаешь, что я – именно тот, к кому он должен обращаться в первую очередь, когда у него неприятности? И вот поэтому-то я и не мог ему отказать!

Жаклин повела плечами, будто пытаясь стряхнуть с себя его аргументы.

– Ну что ж, – все взвесив, сказала она, – я все равно считаю, что он – ненадежный человек. Он вечно навеселе, и если он не желает работать, это его дело, но он не должен жить за твой счет.

Теперь они сидели по разные стороны стола, и оба говорили друг с другом так, как обычно разговаривают с детьми. Все фразы

начинались с: «Послушай!», а на лицах было написано, что ситуация, конечно, вынуждает терпеть, но всему есть предел.

– Если ты не понимаешь, то я не смогу тебе объяснить, – заключил Мэйзер по истечении пятнадцати минут тоном, который для него означал крайнюю степень раздражения. – Мужчины иногда имеют особые обязательства, и с этим приходится считаться. В таких случаях не приходится выбирать, давать или не давать, особенно если учесть, как много в делах вроде моего значат хорошие отношения с людьми.

Говоря это, Мэйзер надевал пальто. Он собирался вместе с женой поехать на трамвае домой на обед. Автомобиля у них сейчас не было – старый они продали и собирались купить новый весной. Но именно сегодня трамвай был явно не лучшим выбором. При других обстоятельствах спор в кабинете был бы забыт, но то, что произошло потом, разбредило царапину так, что возникло серьезное раздражение темперамента.

Они заняли места в передней части вагона. Февраль подходил к концу – резкое бесцеремонное солнце превращало тощий снежок в грязные быстрые ручьи, разбегавшиеся по уличным водостокам. Поэтому в вагоне народу было меньше обычного – никто не стоял. Вагоновожатый даже приоткрыл окно, и слабый ветерок выдувал из вагона последнее дыхание зимы.

Жаклин неожиданно пришла в голову приятная мысль о том, что сидящий рядом с ней муж заметно выделяется красотой и ростом. Как глупо было пытаться его изменить! В конце концов, этот Бронсон ведь может и вернуть деньги, и уж тем более эти три сотни были отнюдь не целым состоянием. Само собой, лучше бы он так не делал, но все же...

Ее размышления были прерваны образовавшейся в проходе толпой пассажиров. Жаклин подумала, ну почему они все кашляют и не прикрывают рот рукой? Хоть бы Джим поскорее купил новую машину! Кто знает, какие болезни можно подхватить в этих трамваях...

Она обернулась к Джиму, чтобы сказать ему об этом, но Джим в этот момент встал и уступил место даме, стоявшей в проходе рядом с ним. Дама, одобрительно хмыкнув, уселась. Жаклин нахмурилась.

Женщине было под пятьдесят, размеров она была необъятных. Сначала она довольствовалась уступленной ей частью сиденья, но уже через мгновение она стала расширяться и распространяться, занимая складками своего жира все больше и больше места, и процесс стал все

больше походить на безжалостное вытеснение. Когда вагон качало в направлении Жаклин, дама скользила вместе с ним, но когда колебание переходило в противоположную фазу, она умудрялась мастерски закрепиться, удерживая отвоеванную позицию.

Муж качался, держась за поручень. Жаклин поймала его взгляд и сердитым взглядом продемонстрировала свое отрицательное отношение к его поступку. Он, тоже взглядом, извинился и стал внимательно разглядывать наклеенную в вагоне схему маршрутов. Толстуха вновь надвинулась на Жаклин – теперь она уже практически лежала на ней. Затем ее одутловатое лицо с противными глазами повернулось к миссис Джеймс Мэйзер, и толстуха громко раскашлялась – прямо ей в лицо.

Со сдавленным восклицанием Жаклин встала, энергично протиснулась сквозь жирные колени и стала проталкиваться в конец вагона, порозовев от ярости. Там она ухватилась за поручень, а за ней сейчас же последовал муж в состоянии заметной тревоги.

За оставшиеся десять минут езды они не обменялись ни словом и молча стояли бок о бок, а сидевшие перед ними мужчины шуршали газетами и увлеченно рассматривали страницы карикатур, ни на секунду не отрывая взгляды от бумаги.

Лишь выйдя из вагона, Жаклин взорвалась.

– Глупец! – громко закричала она. – Ты видел эту кошмарную тушу, которой ты уступил место? Хоть раз можно было подумать обо мне, а не о первой попавшейся жирной самодовольной прачке?

– Да откуда же я мог знать...

Но Жаклин еще никогда не была на него так зла – злиться на него обычно было просто невозможно.

– Ты же видел, что ни один этих мужиков не уступил мне места? Неудивительно, что в понедельник вечером ты так устал, что не смог даже выйти со мной погулять! Наверное, ты уступил место какой-нибудь... Какой-нибудь мерзкой прачке-полячке, которая здорова, как бык, и просто обожает стоять на ногах!

Они шли по слякотной улице, не глядя на дорогу и все время наступая в лужи. От смущения и огорчения Мэйзер не мог ни попросить прощения, ни даже сказать что-нибудь в свою защиту.

Жаклин замолчала и вдруг повернулась к нему, ее глаза блеснули. Слова, которыми она обобщила свое видение этой ситуации, стали

самым неприятным из всего, что ему приходилось когда-либо слышать.

– Твоя проблема, Джим, и причина того, что ты такой простак, – это твои жизненные принципы, которые достойны студента-первокурсника! Видишь ли, ты – профессиональный «отличный парень»!

II

Инцидент и ссора были забыты. Добродушие Мэйзера за какой-то час смогло сгладить все углы. Еще несколько дней история напоминала о себе все тише и тише, а затем все о ней забыли, и она окончательно погрузилась в темницу забвения. Я говорю «в темницу», поскольку забвение, к сожалению, никогда не бывает окончательным. Предмет исчез с горизонта, заслоненный тем обстоятельством, что Жаклин, с присущим ей самообладанием и холоднокровием, приступила к длительному, выматывающему и трудному делу вынашивания ребенка. Ее врожденные склонности и предрассудки стали заявлять о себе все больше и больше, и ей становилось все труднее не обращать внимания на некоторые вещи. Наступил апрель, а они так и не купили автомобиль. Мэйзер совершил неожиданное открытие – у него не было практически никаких накоплений, а ведь буквально через полгода у него на руках окажется полноценная семья! Это его встревожило. Впервые вокруг его честных добрых глаз показались морщинки – первые, маленькие и незаметные, как тени. Теперь он задерживался на работе даже после того, как на город спускались весенние сумерки, и часто приносил домой бумаги, с которыми не успевал ознакомиться за день. Новую машину пришлось на время отложить.

Апрельским вечером в магазинах на Вашингтон-стрит было не протолкнуться. Жаклин медленно прогуливалась вдоль витрин, размышляя – без всякого страха и подавленности – о том, что скоро ее

жизнь неминуемо станет иной. В воздухе уже повисла сухая полетному пыль; солнечные лучи весело отскакивали от стекол витрин, превращаясь в бензиновые радуги там, где в лужицах на асфальте стояли автомобили.

Жаклин остановилась. У обочины, футах в шести от нее, был припаркован новенький сияющий спортивный «родстер». Рядом с ним разговаривали двое мужчин, и она услышала, как один беззаботно сказал другому: «Ну, как тебе? Купил вот сегодня утром»; и в тот же момент она его узнала – это был Бронсон-младший! Жаклин тут же развернулась и мелкими шажками торопливо направилась в контору к мужу. Вежливо кивнув секретарше, она прошла прямо в кабинет. При ее неожиданном появлении Мэйзер с удивлением оторвал взгляд от стола.

– Джим, – не успев отдышаться, начала она, – Бронсон отдал тебе те три сотни?

– Да нет, – нерешительно ответил он, – пока нет. Он появлялся на прошлой неделе, сказал, что пока у него туго с деньгами.

Ее глаза сверкнули злым торжеством.

– Да что ты говоришь? – в сердцах произнесла она. – Ну, так вот: он только что купил новый спортивный «родстер», который стоит не меньше чем две с половиной тысячи долларов!

Джим недоверчиво покачал головой.

– Я сама его видела, – убеждала его она. – И слышала, как он рассказывал, что только что его купил!

– Но мне он сказал, что у него нет денег... – беспомощно повторил Мэйзер.

Жаклин сдалась. Из ее груди вырвалось нечто похожее на вздох со стоном.

– Да он же просто тебя использовал! Он знал, что ты простака, и просто тебя использовал! Неужели ты не понимаешь? Он хотел купить машину за твой счет, и он ее купил! – Она горько рассмеялась. – Он, наверное, чуть не надорвался от хохота, вспоминая, как легко он тебя облапошил.

– О, нет! – возразил Мэйзер, потрясенный этой мыслью. – Может, ты его с кем-нибудь перепутала...

– Мы ходим пешком, а он разъезжает в авто за наш счет! – с негодованием перебила она. – Как смешно – действительно смешно!

Если бы это меня не бесило, получилась бы отличная шутка. Подумай сам! – Ее тон стал резче, она пыталась сдерживаться, но теперь она говорила с оттенком презрения. – Ты половину своего свободного времени проводишь, делая что-то для людей, которые в грош тебя не ставят и которым абсолютно на тебя наплевать. Ты уступаешь места в трамваях всяким свиньям, а сам так устаешь, что дома даже пошевелиться не можешь. Ты работаешь во всяких общественных комитетах, это занимает не меньше часа в день – ты мог бы потратить этот час на дело, – но ты не получаешь за это ни цента! Тебя вечно все используют – я больше этого не вынесу! Я думала, что вышла замуж за человека, а не за профессионального самаритянина, который готов выручить любого и взвалить на себя весь мир!

Завершив свою обличительную речь, Жаклин вдруг покачнулась и осела на стул – нервы не выдержали.

– А в то же время, – отрывисто продолжила она, – ты нужен мне. Мне нужна твоя сила, твое здоровье, твои руки и твоя поддержка. Но если ты... если ты отдаешь все это другим, мне остается так мало, что для меня...

Он опустил рядом с женой на колени и обнял ее. Ее голова послушно легла ему на плечо.

– Прости меня, Жаклин, – тихо сказал он, – я буду осторожнее. Я сам не знал, что делаю.

– Ты самый добрый на свете, – глухо пробормотала Жаклин, – но мне нужен весь ты и все лучшее в тебе!

Он гладил ее по голове. Несколько минут они так и сидели, не говоря ни слова, словно достигнув нирваны мира и взаимопонимания. Затем Жаклин неохотно приподняла голову, потому что в дверях послышался голос мисс Клэнси, прервавший идиллию:

– Прошу прощения...

– Что такое?

– Посыльный пришел, у него какие-то коробки. Там наложенный платеж.

Мэйзер встал и вышел вслед за мисс Клэнси в приемную.

– Пятьдесят долларов, пожалуйста!

Он открыл кошелек: там было пусто. Он забыл зайти утром в банк.

– Минуточку, – рассеянно сказал он. Он думал о Жаклин – Жаклин, которую он оставил в одиночестве и отчаянии ждать его в соседней

комнате.

Он вышел в коридор, открыл дверь напротив с табличкой «Клэйтон и Дрейк, брокеры» и, распахнув внутреннюю дверь, подошел к человеку, сидевшему за конторкой.

– Доброе утро, Фред, – сказал Мэйзер.

Дрейк, низенький, лет тридцати, в пенсне и с лысиной, привстал и пожал ему руку:

– Привет, Джим. Чем могу помочь?

– Там ко мне пришел посыльный, у него какие-то коробки с наложенным платежом, а у меня ни цента наличными. Не выручишь полтинником до вечера?

Дрейк пристально посмотрел на Мэйзера. Затем, медленно и выразительно, покачал головой – не вниз и вверх, а из стороны в сторону.

– Извини, Джим, – сухо ответил он, – я взял себе за правило никогда не одалживать деньги никому и ни на каких условиях. Я не раз видел, как из-за этого рушится дружба.

Рассеянность Мэйзера уже прошла, он издал односложное восклицание, совершенно явно выражавшее его изумление. Затем автоматически включился присущий ему такт, придя на помощь и продиктовав нужные слова, несмотря на то что разум его вдруг оцепенел. Его первым инстинктивным побуждением стала необходимость облегчить Дрейку угрызения совести из-за отказа.

– Да-да, я понимаю. – Он кивнул головой, как бы выражая свое полное согласие, будто он и сам частенько подумывал о том, чтобы занять именно такую позицию. – Да, я вполне тебя понимаю. Ну что ж... Я просто... Да нет, такое правило, конечно, нарушать нельзя. Это очень правильно.

Они поговорили еще немного. Для Дрейка все это дело выглядело совершенно естественным; свою роль он явно исполнял уже не первый раз. Он одарил Мэйзера абсолютно искренней улыбкой.

Мэйзер вежливо удалился в свою контору, и Дрейк подумал, что это самый тактичный человек в городе. Мэйзер умел создавать такое впечатление. Но, войдя в свой кабинет и увидев, как жена безрадостно уставилась на светящее в окне солнце, он обнял ее, а на его губах появилась невиданная ранее усмешка.

– Ну, ладно, Жаки, – медленно произнес он, – видимо, ты во многом права, а я был чертовски не прав.

III

За следующие три месяца Мэйзер пересмотрел свои привычные взгляды. Его прежняя жизнь была необычайно счастливой. Те самые трения между людьми, между человеком и обществом, которые снабжают большинство из нас шкурой грубых, циничных и придирчивых склочников, в его жизни случались на редкость нечасто. Раньше ему никогда не приходило в голову, что его иммунитет тоже имел свою цену, но теперь он видел, что сплошь и рядом, причем постоянно, ему приходилось уступать дорогу во избежание вражды и даже обыкновенных споров.

Например, он одолжил знакомым много денег – порядка тысячи трехсот долларов, – а теперь, в новом свете, он осознал, что эти деньги к нему больше никогда не вернутся. Грубый женский разум Жаклин осознал это уже давно. Лишь теперь, когда благодаря Жаклин на его счету в банке появились деньги, он стал жалеть об этих займах.

Он также понял, насколько права она была в том, как много его времени и энергии расходовалось на всяческого рода услуги другим – чуть-чуть здесь, немного там; общая сумма выходила довольно круглой. Ему нравилось помогать людям. Он чувствовал себя прекрасно, когда о нем хорошо думали; но теперь он стал спрашивать себя, а не потакал ли он, таким образом, своему тщеславию – и не более того. Упрекая себя, он был к себе, как всегда, несправедлив. Ведь Мэйзер, по сути, был настоящим и безнадежным романтиком!

Он решил, что такой саморасход утомлял его к вечеру, понижал эффективность его работы и делал менее надежной опорой для Жаклин, которая с каждым месяцем становилась все тяжелее и

утомленное и все долгие летние вечера проводила на тенистой веранде в ожидании, когда на дорожке раздастся звук его шагов.

Чтобы не сбиться с нового курса, Мэйзер отказался от многих вещей – среди них был и пост президента ассоциации выпускников университета. За бортом остались и другие, менее почетные обязанности. Когда его избирали в какой-нибудь комитет, все остальные участники по традиции тут же избирали его председателем, а сами растворялись где-нибудь на заднем фоне, где их было не так-то просто отыскать. С этим было покончено. Он также стал избегать тех, кто был склонен просить о какой-либо помощи, – он стал избегать этих пристальных жаждущих взглядов, часто устремлявшихся к нему в клубе.

Перемены в нем происходили медленно. Он не был таким уж наивным – при других обстоятельствах отказ Дрейка дать деньги не слишком бы его поразил. Если бы ему об этом рассказали как о забавном случае, произошедшем с кем-то другим, он едва ли стал бы задумываться. Однако все произошло так внезапно, да еще наложилось на аналогичную ситуацию, которую он как раз обдумывал, так что шок придал всему делу значение и силу.

Наступила середина августа; всю последнюю неделю держалась жара, словно в печи. Шторы на широко открытых окнах его кабинета едва колыхнулись за целый день и напоминали обвисшие паруса, прикрывавшие горячие оконные сетки. Мэйзер беспокоился – Жаклин переутомилась, и поэтому у нее начались дикие головные боли, да и бизнес, казалось, достиг какой-то мертвой точки. Все утро он был таким раздражительным, что даже мисс Клэнси стала бросать на него удивленные взгляды. Он сразу же извинился, немедленно об этом пожалев. Несмотря на жару, он, как всегда, усердно трудился – а ей, стало быть, невмоготу?

В этот момент мисс Клэнси появилась в дверях, и он, слегка нахмурившись, взглянул на нее.

– К вам мистер Эдвард Лэйси.

– Хорошо, – равнодушно сказал он. Старик Лэйси – он был с ним едва знаком. Жалкая фигура – блестящий старт в далеких восьмидесятых, а теперь вот один из городских неудачников... Он не мог представить, зачем пожаловал Лэйси – ну разве что о чем-то попросить?

– Добрый вечер, мистер Мэйзер.

На пороге стоял невысокий и невеселый седой мужчина. Мэйзер встал и вежливо с ним поздоровался.

– Вы не заняты, мистер Мэйзер?

– Ну, не так чтобы *очень*. – Он слегка подчеркнул качественное наречие.

Мистер Лэйси сел, явно смущаясь. Он не выпускал свою шляпу из рук и, начав говорить, судорожно в нее вцепился.

– Мистер Мэйзер, если у вас найдется пять свободных минут, я расскажу вам кое-что... Видите ли, мне просто необходимо с вами об этом поговорить...

Мэйзер кивнул. Его инстинкт подсказал, что сейчас его будут о чем-то просить, но он устал и с какой-то апатией опустил подбородок на руки, приветствуя даже такое отвлечение от своих текущих забот.

– Видите ли, – продолжил мистер Лэйси, и Мэйзер заметил, что пальцы, тискавшие поля шляпы, дрожат, – когда-то давно, в восемьдесят четвертом, мы с вашим отцом были хорошими друзьями. Вы наверняка слышали от него обо мне.

Мэйзер кивнул.

– Мне даже выпала честь нести его гроб. Когда-то мы были... очень близки. Вот почему я к вам сегодня пришел. Еще никогда в моей жизни мне не приходилось ни к кому ходить так, как сегодня к вам, мистер Мэйзер, – ходить к незнакомому человеку. Но с возрастом друзья умирают, переезжают или же какие-нибудь жизненные обстоятельства разлучают их. И дети тоже умирают, если вам не повезет уйти первым, – и вот так в один прекрасный день вы оказываетесь в одиночестве, и у вас не остается ни единого друга. Вы оказываетесь в изоляции. – Он еле заметно улыбнулся. Его руки теперь сильно дрожали. – Однажды, почти сорок лет назад, ко мне пришел ваш отец и попросил тысячу долларов. Я был старше его на пару лет, и, хотя мы с ним были едва знакомы, у меня сложилось о нем хорошее мнение. В те времена это были большие деньги, а гарантий у него не было никаких – у него ничего не было, только план в голове, – но мне понравился его взгляд – вы уж меня простите, если я скажу, что вы на него так похожи, – так что я дал ему деньги без всяких гарантий.

Мистер Лэйси замолчал.

– Без всяких гарантий, – повторил он. – Тогда я мог себе это позволить. И я ничего не потерял. Не прошло и года, как он отдал долг, да еще шесть процентов в придачу.

Мэйзер внимательно рассматривал лежавшую на столе промокашку, чертя на ней карандашом серию треугольников. Он знал, что сейчас последует, и его мускулы напряглись – он собирался с силами для отказа, который он вынужден будет сейчас произнести вслух.

– Я уже старик, мистер Мэйзер, – продолжал скрипучий голос. – Я потерпел неудачу – я неудачник, – но я сейчас не об этом. У меня есть дочь, она не замужем и живет со мной. Работает стенографисткой и всегда ко мне добра. Мы живем вместе на Селби-авеню, у нас там, знаете ли, квартира, очень хорошая квартирка.

Старик, весь дрожа, вздохнул. Он пытался – и одновременно боялся – перейти к своей просьбе. Кажется, дело было в страховке. У него был полис на десять тысяч долларов, он назанимал денег на всю эту сумму, а теперь всю сумму мог потерять, если вовремя не внесет в кассу четыреста пятьдесят долларов. У них с дочерью было около семидесяти пяти долларов. Друзей у них не было – он уже объяснял, – и деньги им взять было неоткуда...

Мэйзер больше не мог слушать эту печальную историю. Деньги он дать не мог, но мог, по крайней мере, избавить пожилого человека от унижительной агонии их выпрашивания.

– Извините, мистер Лэйси, – как можно мягче перебил он, – но я не смогу дать вам эти деньги.

– Нет? – Старик, моргая, глядел на него выцветшими глазами, взгляд которых, казалось, находился за пределами любого потрясения, за пределами любых человеческих эмоций, кроме, разве что, вечной тревоги. Лишь приоткрытый рот слегка изменил выражение его лица.

Мэйзер вновь внимательно уставился на промокательную бумагу.

– Через несколько месяцев у нас будет ребенок, и поэтому я коплю деньги. Сейчас брать из них было бы нечестно по отношению к моей жене и ребенку.

Его голос превратился в какое-то бормотание. Он обнаружил, что уже говорит какие-то банальности о том, что бизнес идет не очень, и говорит это с отталкивающей легкостью.

Мистер Лэйси не стал уговаривать. Он встал, ничем не показав своего разочарования. Лишь его руки продолжали дрожать, и это встревожило Мэйзера. Старик стал извиняться – он сожалел о том, что побеспокоил его в столь неподходящее время. Да, он, может быть, что-нибудь придумает... Он просто подумал, что если вдруг у мистера Мэйзера дела идут неплохо, почему бы не спросить... ведь он же сын старого друга, так что он – именно тот человек, к которому стоит обратиться в первую очередь...

Выходя из кабинета, он никак не мог открыть дверь. Мисс Клэнси ему помогла. Он, шаркая и сторбившись, пошел по коридору, все так же моргая своими выцветшими глазами и все так же приоткрыв рот.

Джим Мэйзер стоял у стола, закрыв лицо рукой и втянув голову в плечи, словно ему вдруг стало холодно. Но в пять вечера стояла жара, как в полдень в тропиках.

IV

Спустя час все еще стояла жара, а он в сумерках на углу ждал трамвая. До его дома нужно было ехать двадцать пять минут, и он купил газету с розовыми страницами, чтобы разбудить свой вялый разум. Последнее время жизнь казалась менее счастливой и все менее романтической. Возможно, теперь он знал больше о том, как устроен мир, а может быть, романтика мало-помалу испарялась с течением времени.

Такого, например, с ним никогда раньше не случалось. Мысли о старике упорно крутились в его голове. Он представлял себе, как тот пешком идет домой по изнуряющей жаре – пешком, чтобы сэкономить деньги за проезд, – открывает дверь душной маленькой квартирке и признается дочери, что у сына его друга не нашлось возможности ему помочь. Весь вечер они будут тщетно пытаться придумать хоть что-то, потом скажут друг другу спокойной ночи – отец и дочь, оказавшиеся

волей случая одни в этом мире, – и разойдутся по своим комнатам, не в силах уснуть, чувствуя себя душераздирающе-одинокими.

Подъехал трамвай Мэйзера, он нашел свободное место в передней части вагона, рядом со старой дамой, которая нехотя подвинула ноги, чтобы он пролез. На следующей остановке проход в вагоне заполнился юными продавщицами из соседнего универмага, и Мэйзер развернул газету. Последнее время он перестал потакать своей привычке уступать место. Жаклин была права – обычная девушка была вполне способна постоять на ногах не хуже его. Уступать место было глупо, это был лишь красивый жест. Сегодня едва ли одна дама из дюжины сочтет нужным хотя бы поблагодарить за это.

В вагоне было душно и жарко; он вытер крупный пот, выступивший на лбу. В проходе стало очень тесно, и женщина, стоявшая рядом с ним, на мгновение навалилась ему на плечо, когда вагон свернул за угол. Мэйзер глубоко вдохнул противный горячий воздух, который напрочь отказывался циркулировать, и попытался сконцентрироваться на карикатуре, напечатанной вверху спортивной страницы.

– Пожалуйста, проходите вперед! – Резкий и раздражающий голос кондуктора пытался пробраться сквозь непроницаемую толпу людей. – Впереди свободно!

Толпа сделала слабую попытку сдвинуться вперед, однако заметного успеха не достигла – впереди свободного места не было. Вагон вновь повернул, и снова стоявшая рядом с Мэйзером женщина навалилась ему на плечо. Раньше он просто уступил бы место, хотя бы ради того, чтобы избежать таких напоминаний о ее присутствии. Он чувствовал себя неприятно холоднокровным. А в вагоне было ужасно – просто кошмар. В такой зной могли бы выпускать на линию побольше трамваев!

Уже в пятый раз он рассматривал карикатуры в разделе юмора. На второй картинке был изображен нищий, и туманный образ мистера Лэйси раз за разом настойчиво занимал его место на картинке. Господи! Только подумать, а вдруг старик действительно умрет с голоду – или бросится в реку?

«Когда-то, – подумал Мэйзер, – он помог моему отцу. Может быть, если бы не он, моя жизнь сложилась бы совершенно иначе. Но тогда Лэйси мог себе это позволить – а я сейчас не могу».

Чтобы прогнать от себя образ мистера Лэйси, Мэйзер стал думать о Жаклин. Он снова и снова говорил себе, что не станет жертвовать интересами Жаклин в угоду интересам старого неудачника, у которого когда-то был шанс, который он упустил. Сейчас, как никогда, в шансе нуждалась Жаклин!

Мэйзер посмотрел на часы. Он ехал в трамвае уже десять минут. Оставалось еще пятнадцать, а жара понемногу становилась все сильнее. Женщина опять навалилась на него, он выглянул в окно и увидел, что они выезжают из центра города.

Ему пришло в голову, что надо бы все-таки уступить место женщине – последний раз она просто повалилась на него, она явно очень устала. Знать бы наверняка, что она пожилая, но ощущение от прикосновения ткани ее платья к плечу подсказывало, что это, скорее всего, молодая девушка. Он не осмеливался поднять глаза и посмотреть на нее. Он боялся мольбы, которую он мог бы прочесть в ее глазах, если бы она оказалась пожилой, и колючего презрения, если бы она оказалась молодой.

Последующие пять минут его задыхающийся от жары разум был всецело занят сложнейшей, как ему казалось, проблемой – уступать или не уступать место? Он склонялся к мысли, что если уступит, то этим хоть отчасти искупит свой сегодняшний отказ мистеру Лэйси. Казалось ужасным совершить последовательно два таких холоднокровных поступка, да еще в такой день.

Он принялся опять разглядывать карикатуры, но тщетно. Надо сконцентрироваться на Жаклин. Он уже смертельно устал, а если будет стоять, то устанет еще больше. Жаклин ждет его, она в нем нуждается. Она будет в плохом настроении, и ей захочется после ужина часок просто тихо посидеть с ним, обнявшись. Когда он уставал, это было выше его сил. А потом, когда они пойдут спать, она будет время от времени просить его принести то лекарство, то стакан холодной воды. Ему была ненавистна даже мысль о том, что она может заметить, как он устал, – тогда, даже несмотря на то что ей что-нибудь нужно, она промолчит и не попросит его.

Девушка в проходе снова на него навалилась – на этот раз она практически на нем повисла. Да, она тоже устала. Ну что ж, работа всегда изматывает. В его голове фрагментами пронеслись окончания многих пословиц о тяжком труде и долгом дне. Весь мир устает,

включая и эту женщину, чье чужое тело так утомленно опиралось на него. Но на первом месте для него стоят его дом и любимая жена, которая там его ждет. Он должен беречь свои силы для нее, и он снова и снова говорил себе, что не должен уступать своего места.

Затем послышался долгий вздох, за которым последовало короткое восклицание, и он почувствовал, что девушка больше на нем не висит. Восклицание превратилось в гул голосов – затем повисла тишина – затем вновь послышался шум, переместившийся в конец вагона к кондуктору отдельными голосами и отрывистыми криками. Громко задребезжал звонок, и нагретый вагон внезапно остановился.

– Тут девушка в обморок упала!

– От жары, наверное!

– Прямо так и бухнулась!

– Сдвиньтесь там! Эй, там, на задней площадке, вам говорю!

Толпа расступилась. Стоявшие впереди пассажиры подались назад, и тем, кто стоял на задней площадке, пришлось даже временно сойти. Любопытство и жалость выплескивались из спонтанно образовывавшихся групп. Люди пытались помочь, мешая друг другу. Затем зазвенел звонок, и вновь послышались пронзительные голоса.

– Вынесли ее?

– Вы только подумайте!

– Эта чертова компания должна...

– Видели парня, который ее выносил? Он тоже был бледен как полотно!

– Ну да, а вы слышали...

– Что?

– Да этот парень... Тот парень, что ее вынес... Он сидел рядом с ней – он сказал, что это его жена!

В доме стояла тишина. Ветер раздвинул темные листья винограда на веранде, позволив лунному свету добраться до плетеных стульев. Жаклин тихо лежала на длинном диване, ее голова покоилась у него на

руках. Через некоторое время она лениво пошевелилась; ее рука, потянувшись вверх, похлопала его по щеке.

– Пожалуй, пойду спать. Я так устала. Поможешь встать?

Он поднял ее на руки, донес до постели и уложил на подушки.

– Приду к тебе через минуту, – с нежностью сказал он. – Подожди минутку, ладно?

Он прошел в освещенную гостиную, и она услышала, как он листает страницы телефонного справочника; затем услышала, как он называет номер.

– Здравствуйте, это мистер Лэйси? Ну, да... Да, это очень важно... Конечно, если он еще не лег спать...

Пауза. Жаклин слышала, как неугомонные воробьи чирикают в листьях магнолии через дорогу. Затем муж вновь заговорил в телефон:

– Это мистер Лэйси? Это Мэйзер. Я относительно того дела, о котором мы с вами разговаривали вечером... несмотря ни на что, я, видимо, все-таки смогу вам помочь. – Он стал говорить громче, как будто на другом конце линии его никак не могли расслышать. – Это сын Джеймса Мэйзера, говорю же вам... Насчет того небольшого дельца, которое мы обсуждали сегодня днем...

«Разумнее всего...»

I

В обед, с наступлением «главного американского часа», юный Джордж О'Келли неторопливо и с притворным тщанием приводил в порядок свой стол. Никто в конторе не должен был знать, что он спешит, поскольку успех зависит от атмосферы, и не стоит подчеркивать тот факт, что твои мысли отделяет от работы расстояние в семь сотен миль.

Но, едва выйдя из здания, он тут же стискивал зубы и пускался бежать, лишь изредка бросая взгляд на веселый полдень: всего в каких-то двадцати футах над головами толпы на Таймс-сквер нависла ранняя весна. Все поглядывали вверх и глубоко вдыхали мартовский воздух, и солнце слепило людям глаза, и никто никого не замечал, наслаждаясь собственным отражением в весенних небесах.

Джордж О'Келли, чьи мысли витали в семи сотнях миль отсюда, считал, что городская улица – это кошмар. Он торопливо спускался в метро и ехал девяносто пять кварталов, уставившись ожесточенным взглядом на висевший в вагоне плакат, живописно доказывавший, что у него ровно один шанс из пяти сохранить свои зубы в целости на протяжении следующих десяти лет. На 137-й улице он заканчивал свое знакомство с искусством рекламы, выходил из метро и вновь начинал свой неутомимый и озабоченный бег; на этот раз пробежка заканчивалась дома. Домом ему служила комнатка в высоком и ужасном многоквартирном доме, у черта на рогах.

Оно лежало здесь, на письменном столе, и это письмо – начертанное священными чернилами, на благословенной бумаге! – заставляло сердце Джорджа О'Келли биться так, что его мог бы услышать каждый в городе, если бы прислушался. Он прочитал запятые, помарки и даже отпечаток большого пальца на полях, а затем, утратив надежду, упал на кровать.

Он попал в беду, в одну из тех жутких неприятностей – обычное дело в жизни бедняков, ведь неприятности преследуют бедность, как стервятники. Но бедняк терпит неудачи, выкарабкивается из них, снова проваливается или даже двигается вперед одному ему известными способами, а Джорджу О'Келли бедность была в новинку, так что он бы сильно изумился, если бы кто-то ему сказал, что с ним не случилось ничего особенного.

Почти два года тому назад он закончил с отличием Массачусетский технологический институт и устроился на работу инженером-строителем в одну фирму на юге штата Теннесси. Всю свою жизнь он грезил тоннелями, небоскребами, огромными приземистыми дамбами и высокими трехпролетными мостами, напоминавшими ему взявшихся за руки танцовщиц, чьи головы были выше городских зданий, а юбки состояли из прядей канатов. Джордж О'Келли ощущал романтику в проектах поворота рек вспять и сравнения горных хребтов – ведь

тогда по всему миру расцветет жизнь, даже на бывших бесплодными землях, там, где раньше негде было пустить корень. Он любил сталь, и в его грезах рядом с ним всегда была сталь: жидкая сталь, сталь в чушках и болванках, стальные балки и бесформенные рудные залежи, ждущие его, будто художника – краски и холсты. Неисчерпаемая сталь, становящаяся простой и прекрасной в тигле его воображения...

Но сегодня он работал агентом в страховой конторе за сорок долларов в неделю, а его мечта стремительно ускользала от него. Невысокая черноволосая девушка, из-за которой у него и случились все эти неприятности – ужасные и невыносимые неприятности! – ждала, пока он увезет ее из маленького городка в штате Теннесси.

Через пятнадцать минут в дверь постучала женщина, у которой он нанимал комнату, и с раздражающей любезностью спросила: раз уж он дома, не желает ли он пообедать? Он отрицательно помотал головой, но вторжение пробудило его от грез, и, встав с кровати, он написал телеграмму.

*«ПИСЬМО ОГОРЧИЛО ТЧК
ТЫ БОИЦЬСЯ ВСКЛ
ДУМАТЬ РАЗРЫВЕ ПОМОЛВКИ ОТ УСТАЛОСТИ ГЛУПО
ТЧК
ВЫХОДИ МЕНЯ ПРЯМО СЕЙЧАС ТЧК
ВСЕ БУДЕТ ХОРОЩО»*

С минуту его одолевали бурные чувства, затем он дописал – и едва узнал собственный почерк, так как руки его не слушались:

«ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПРИЕДУ ЗАВТРА ЩЕСТЬ»

Закончив, он выбежал из квартиры и побежал на телеграф около станции метро. Все его сбережения составляли в сумме чуть меньше сотни долларов, но из письма было ясно, что она «нервничает», поэтому выбора у него не было. Он знал, что означает это «нервничает»: она чувствовала себя подавленно, а перспектива выйти замуж и начать жизнь в бедности и борьбе за существование была слишком тяжким испытанием для ее любви.

Джордж О'Келли прибыл в контору страховой компании, как обычно, бегом – пробежки стали для него чем-то вроде образа жизни, лучше всего выражая то напряжение, в котором он жил последнее время. Он пошел сразу в кабинет начальника.

– Мне нужно поговорить с вами, мистер Чемберс! – даже не отдышавшись, объявил он.

– Пожалуйста. – На него уставились два беспощадных и равнодушных глаза, похожие на наглухо заклеенные на зиму окна.

– Я хотел бы взять отпуск на четыре дня.

– Но вы же были в отпуске две недели назад! – с удивлением ответил мистер Чемберс.

– Да, это так, – смущенно признал молодой человек, – но мне необходимо уехать.

– Куда вы ездили в прошлый раз? Домой?

– Нет, я ездил... В одно место, в Теннесси.

– И куда же вы собрались на этот раз?

– На этот раз я собираюсь... В одно место, в Теннесси!

– Завидное постоянство, надо признать, – сухо ответил начальник. – Однако что-то я не припоминаю: разве мы нанимали вас в качестве разъездного коммивояжера?

– Вы правы! – с отчаянием в голосе произнес Джордж. – Но мне абсолютно необходимо уехать!

– Хорошо, – согласился мистер Чемберс, – но обратно можете уже не возвращаться. Не нужно.

– И не вернусь!

К изумлению мистера Чемберса и самого Джорджа, его лицо порозовело от радости. Он вдруг почувствовал себя счастливым, он ликовал: впервые за последние полгода он был абсолютно свободен! На глаза наворачивались слезы благодарности, и он с чувством пожал руку мистера Чемберса.

– Благодарю вас! – сказал он под наплывом чувств. – Я вовсе не хочу возвращаться! Мне даже кажется, что я бы сошел с ума, если бы вы мне сказали, что я должен вернуться и работать дальше. Видите ли, я просто не мог сам уволиться и поэтому хочу сказать вам спасибо – за то, что вы меня уволили!

Он великодушно помахал рукой, громко крикнув: «Вы должны мне жалованье за три дня, но ничего – оставьте деньги себе!», и выбежал из конторы. Мистер Чемберс позвонил секретарше и поинтересовался, не замечалось ли в последнее время в поведении О’Келли каких-либо странностей? За свою карьеру он уволил множество людей, и все принимали эту новость по-разному, но еще никто и никогда его не благодарил!

II

Ее звали Жонкиль Кэри, и Джорджу О’Келли не доводилось видеть ничего свежее и бледнее ее лица, когда она увидела его на платформе станции и, не в силах ждать, побежала навстречу. Ее руки устремились к нему, губы раскрылись в ожидании поцелуя, но она тут же отстранила его от себя и чуть стыдливо оглянулась вокруг. Невдалеке стояло двое парней чуть помладше Джорджа.

– Это мистер Креддок и мистер Холт! – весело представила их она. – Я вас знакомила, когда ты приезжал в прошлый раз.

Обеспокоенный таким резким перескоком от поцелуя к представлению, подозревая в этом некий тайный смысл, Джордж еще больше разволновался, обнаружив, что ехать в дом Жонкиль им предстояло в автомобиле одного из этих парней. Ему показалось, что это ставит его в неловкое положение. По пути Жонкиль болтала со всеми – и с теми, кто ехал на заднем сиденье, и с теми, кто на переднем, – а когда под покровом сумерек он попытался было

незаметно ее обнять, она не поддалась, а ловким движением вынудила его просто взять ее за руку.

– Разве эта улица на пути к твоему дому? – прошептал он. – Что-то я ее не узнаю.

– Это новый бульвар. Джерри только что купил машину, так что ему очень хочется похвастаться, а затем он привезет нас домой.

Когда спустя двадцать минут их высадили у дома Жонкиль, Джордж почувствовал, что первая радость от встречи, то счастье, которое он безошибочно прочитал в ее глазах там, на станции, куда-то улетучилось под влиянием этой поездки. То, чего он так долго ждал, как-то незаметно потерялось, и именно об этом он и размышлял, холодно прощаясь с обоими парнями. Но плохое настроение прошло, как только в тускло освещенной прихожей Жонкиль, как раньше, притянула его к себе и обняла, сказав ему дюжиной самых разных способов, лучшим из которых был тот, в котором не было места для слов, о том, как она по нему скучала. Ее чувство вновь вселило в него уверенность, пообещав его беспокойному сердцу, что все будет хорошо.

Они уселись рядышком на диване, поглощенные ощущением близости, забыв обо всем, кроме нежности и ласк. Когда наступило время ужина, появились отец и мать Жонкиль, которые тоже были рады Джорджу. Он им нравился; когда больше года назад он впервые появился в Теннесси, они поддержали его в его стремлении стать настоящим инженером. Им было жаль, когда он бросил эту работу и уехал в Нью-Йорк, чтобы найти какое-нибудь дело, на котором можно будет заработать побольше и побыстрее. Хотя они и оплакивали его отказ от инженерной карьеры, относились они к нему хорошо и были готовы принять его помолвку с их дочерью. За ужином они его расспрашивали о том, как идут его дела в Нью-Йорке.

– Все отлично, – с воодушевлением отвечал он. – Меня повысили, жалованье прибавили.

Сказал он это не очень-то веселым тоном, но ведь у всех было такое отличное настроение...

– Видимо, тебя ценят, – сказала миссис Кэри. – Это несомненно – иначе тебя вряд ли отпустили бы сюда дважды за последние три недели.

– Я сказал им, что у них нет выбора, – торопливо объяснил Джордж. – Сказал, что, если не отпустят, я уволюсь!

– Но тебе следует экономить деньги! – мягко упрекнула его миссис Кэри. – Не нужно тратить все деньги на эти поездки!

Ужин окончился; он и Жонкиль снова остались одни, и она вновь была у него в объятиях.

– Как хорошо, что ты приехал, – вздохнула она. – Как бы мне хотелось, чтобы ты больше никогда никуда не уезжал, милый!

– Ты скучала по мне?

– Очень-очень!

– А другие... Другие мужчины часто приходят к вам в гости? Эти, например, ребята?

Вопрос прозвучал для нее неожиданно. Она взглянула на него своими бархатистыми черными глазами:

– Ну, конечно, они заходят... Все время... Я... Я ведь тебе писала, что они ко мне заходят, милый!

Это была правда: когда он впервые приехал в этот город, вокруг нее уже крутилась целая дюжина парней, отвечавших на ее живописную хрупкость юношеским обожанием, и лишь немногие замечали, что ее прекрасные глаза смотрели на мир трезво и внимательно.

– Ты ведь не ждал, что я не стану никуда выходить? – спросила Жонкиль, откинувшись на подушки дивана так, что теперь, казалось, она смотрела на него с расстояния в несколько миль. – Что я сложу руки и стану сидеть смиренно отныне и вовеки?

– Что ты хочешь этим сказать? – выпалил он, теряя голову. – Ты что же, думаешь, я никогда не заработаю достаточно денег, чтобы на тебе жениться?

– Джордж, пожалуйста, не нужно делать скоропалительных выводов!

– Я не делал никаких выводов! Это твои слова!

Джордж вдруг решил, что ступил на скользкую почву. Ничто не должно было испортить этот вечер. Он попытался вновь ее обнять, но она неожиданно не поддалась, сказав:

– Что-то жарко. Пойду включу вентилятор.

Когда вентилятор был включен, они снова сели, но он слишком расчувствовался и погрузился в тот особый мир, в который сегодня вовсе не собирался.

- Когда ты выйдешь за меня?
- А ты готов на мне жениться?

Он тут же потерял самообладание и вскочил с дивана.

– Да выключи ты этот чертов вентилятор! – воскликнул он. – Он меня с ума сведет! Будто часы, которые тикают и отмеряют время, которое я могу с тобой провести! Я приехал сюда, чтобы найти свое счастье и забыть и о Нью-Йорке, и о времени...

Так же внезапно, как вскочил, он опять сел на диван. Жонкиль выключила вентилятор; положив его голову к себе на колени, она стала гладить его по волосам.

– Давай посидим вот так, – нежно сказала она, – будем просто сидеть, а я буду тебя баюкать. Ты устал, нервничаешь; твоя милая о тебе позаботится!

– Но я не хочу просто сидеть, – взмолился он, неожиданно вскинув голову. – Я совсем не хочу просто сидеть! Поцелуй меня! Только это меня успокоит. И я вовсе не нервничаю – это ты нервничаешь! Я ни капельки не нервничаю!

Чтобы доказать, что он не нервничает, он встал с дивана и плюхнулся в стоявшее в другом углу комнаты кресло-качалку.

– В тот самый миг, когда я готов на тебе жениться, ты вдруг начинаешь писать мне тревожные письма, отказываешься от обещаний, и мне приходится мчаться сюда...

– Не нужно было приезжать, если тебе не хотелось!

– Но мне хотелось! – продолжал гнуть свое Джордж.

Ему казалось, что он разговаривает холоднокровно и последовательно, а она старательно сваливает на него вину. Слово за слово, и их уносило друг от друга все дальше, и он был уже неспособен остановиться или сделать так, чтобы в его голосе не слышались беспокойство и боль.

Не прошло и минуты, как Жонкиль горестно расплакалась, и он опять сел на диван и обнял ее. Теперь уже он ее утешал: притянув к себе, он бормотал ей знакомые испокон века слова утешения, пока она почти совсем не успокоилась, лишь изредка конвульсивно подрагивая в его объятиях. Они сидели так больше часа, пока с улицы не перестали доноситься глухие вечерние ритмы соседских пианино. Джордж не двигался, не думал и не надеялся, убаюканный до оцепенения предчувствием надвигающейся катастрофы. Часы

продолжали тикать: пробило одиннадцать, затем полночь; сверху, из-за балюстрады второго этажа, донесся негромкий голос миссис Кэри. Впереди Джорджа ждали лишь завтрашний день и отчаяние.

III

На следующий день, в самую жару, настал переломный момент. Они оба угадали правду друг о друге, но из них двоих лишь она была более-менее готова принять сложившуюся ситуацию.

– Какой смысл все это продолжать? – печально спросила она. – Ты ведь ненавидишь страховой бизнес, ты и сам это знаешь, и поэтому ничего хорошего у тебя не выйдет.

– Дело вовсе не в этом, – упрямо возразил он. – Я просто не могу двигаться дальше в одиночку. Если ты выйдешь за меня, уедешь со мной и будешь в меня верить, то у меня получится все что угодно, но пока я буду беспокоиться о том, как ты тут без меня, у меня ничего не выйдет!

Она долго молчала, прежде чем ответить; она ни о чем не думала, так как уже предвидела, чем все это кончится, и просто выжидала, потому что, что бы она ни сказала, вышло бы уж слишком жестоко по сравнению с последними словами. Наконец она заговорила:

– Джордж! Я люблю тебя всем сердцем и даже не представляю, что когда-нибудь смогу полюбить другого. Если бы пару месяцев назад ты был бы готов на мне жениться, я бы вышла за тебя. Ну а теперь я не могу, потому что это будет неблагоприятно.

Он бросился на нее нападать: наверное, у тебя кто-то есть? Ты что-то от меня скрываешь!

– Нет, никого у меня нет.

И это была правда. Но напряжение от их отношений она снимала в компании молодых парней вроде Джерри Хольта, обладавшего единственным достоинством: он для нее ровно ничего не значил.

Джордж никак не мог принять эту ситуацию достойно. Он сжал Жонкиль в объятиях и попытался поцелуями буквально вырвать у нее согласие выйти за него немедленно. Когда из этого ничего не вышло, он ударился в длинный жалобный монолог о своей горькой судьбе, который прекратился лишь тогда, когда он заметил в ее глазах презрение. Он пригрозил уехать, хотя уезжать не собирался, и отказался уезжать после того, как она сказала ему, что это для него, наверное, будет лучше всего.

Какое-то время она чувствовала сожаление, затем осталась одна лишь любезность.

– Лучше уезжай! – наконец, крикнула она, да так громко, что вниз спустилась встревоженная миссис Кэри.

– Все в порядке?

– Я уезжаю, миссис Кэри, – отрывисто сказал Джордж.

Жонкиль при этом вышла из комнаты.

– Не надо печалиться, Джордж. – Миссис Кэри подмигнула ему в порыве беспомощного сочувствия; ей было жаль его, но в то же время она была рада, что эта маленькая трагедия подходит к концу. – Я бы на твоём месте съездила на недельку-другую домой, к маме. Пожалуй, это будет разумнее всего.

– Прошу вас, не надо! – воскликнул он. – Прошу вас! Не нужно мне сейчас ничего говорить!

Жонкиль снова вошла в комнату; печаль и нервозность были теперь надёжно скрыты пудрой, помадой и шляпкой.

– Я вызвала такси, – бесстрастным голосом сообщила она. – Можно покататься по городу, пока не приедет твой поезд.

Она вышла на крыльцо. Джордж надел пиджак, шляпу и минуту постоял в прихожей, совершенно обессилев: последний раз он ел еще в Нью-Йорке. К нему подошла миссис Кэри, притянула его к себе и поцеловала в щеку, и он почувствовал себя смешным и слабым от сознания того, что финальная сцена выглядела смешно и слабо. Эх, уехать бы ему вчера вечером – уйти от нее в последний раз с подобающей гордостью...

Приехало такси, и бывшие влюбленные почти час катались по самым малолюдным улицам. Он держал ее за руку; на солнышке ему стало легче, но теперь уже ничего нельзя было сделать или сказать – он слишком поздно это понял.

– Я вернусь, – сказал он ей.

– Я знаю, – ответила она нарочито веселым, бодрым и уверенным тоном. – И еще мы будем друг другу писать, хотя бы иногда.

– Нет, – сказал он. – Никаких писем. Я не выдержу. Но однажды я вернусь.

– Я никогда не забуду тебя, Джордж!

Они приехали на станцию, и она проводила его до кассы, где он взял билет.

– Вот это встреча! Джордж О’Келли и Жонкиль Кэри!

Рядом с ними остановился мужчина с девушкой; Джордж дружил с ними в ту пору, когда работал в городе. Жонкиль поприветствовала их с явным облегчением. Пять минут, показавшиеся вечностью, они стояли и болтали; затем на станцию с ревом въехал поезд, и с плохо скрытым страданием на лице Джордж раскрыл Жонкиль свои объятия. Она неуверенно шагнула к нему, но затем остановилась и быстро пожала его руку, словно прощаясь со случайным знакомым.

– До свидания, Джордж! – сказала она. – Желаю тебе счастливого пути!

– До свидания, Джордж! Возвращайся! До новых встреч!

Ничего не слыша и почти ничего не видя от боли, он схватил свой чемодан и, сам не зная как, сел в поезд.

Остались позади шумные перекрестки, все с большей скоростью пролетали обширные пустыри пригородов, стремясь к закату солнцу. Может быть, и она увидит этот закат, остановится на мгновение, повернется и вспомнит; когда она проснется на следующее утро, он уже станет для нее прошлым. Сегодняшний закат навеки скроет солнце, деревья, цветы и радость его юности...

IV

Год спустя дождливым сентябрьским вечером с поезда в одном городке штата Теннесси сошел молодой человек, покрытый кирпично-красным загаром. Он встревоженно огляделся, но успокоился, убедившись, что никто на станции его не встречает. Доехал на такси до лучшего отеля в городе, где с неким удовлетворением зарегистрировался под именем Джорджа О'Келли из города Куско, Перу.

Поднявшись в номер, он посидел несколько минут у окна, глядя на хорошо знакомую улицу внизу. Затем чуть дрожащей рукой снял трубку телефона и назвал телефонистке номер.

– Мисс Жонкиль дома?

– Это я.

– Ох... – Он справился с собой – легкая дрожь в голосе исчезла, – и он продолжил с дружелюбной вежливостью: – Это Джордж О'Келли. Ты получила мое письмо?

– Да. Зайдешь сегодня в гости?

Ее холодный и бесстрастный тон смутил его, но вовсе не так, как он ожидал. Это был незнакомый голос, без тени волнения, приветливый и вежливый, но не более. Ему захотелось положить трубку и затаить дыхание.

– Мы с тобой не виделись... Очень долго. – У него получилось сказать это грубовато-небрежно. – Больше года.

Он знал с точностью до дня сколько.

– Я буду страшно рада увидеться с тобой.

– Буду в течение часа.

Он повесил трубку. Долгие месяцы каждую свободную минуту он предвкушал этот миг, и вот этот миг настал. Ему приходило в голову, что она могла выйти замуж, могла быть помолвлена, могла влюбиться, но он никогда не думал, что она примет его возвращение столь невозмутимо.

Вряд ли когда-нибудь еще ему доведется пережить нечто подобное этим десяти только что прошедшим месяцам, подумал он. По общему признанию, он проявил себя просто потрясающе для молодого инженера – перед ним открылись две необычайные перспективы: одна в Перу, откуда он только что вернулся, и вторая, связанная с первой, в Нью-Йорке, куда он направлялся. За это краткое время он смог

расстаться с бедностью и достичь того положения, когда перед ним уже лежали безграничные возможности.

Он посмотрелся в зеркало на туалетном столике. Загар был почти черным, но это выглядело романтично, и всю последнюю неделю, когда у него появилось время подумать, этот облик доставлял ему заметное удовольствие. Он выглядел очень мужественно и был чуть ли не очарован собой. Часть брови у него теперь отсутствовала, на колене он все еще носил эластичную повязку, и благодаря своей молодости он не мог не замечать, что многие женщины на пароходе заглядывались на него с необычным, весьма пристальным, интересом.

Его костюм был конечно же ужасен. Пошил его за пару дней один грек из Лимы. И опять-таки благодаря своей молодости он не мог заранее не извиниться за недостатки портновского искусства в письме, в остальном достаточно лаконичном. Кроме этой детали, письмо содержало лишь просьбу не встречать его на станции.

Джордж О'Келли из города Куско, Перу, выждал в отеле полтора часа; если быть точным, он прождал ровно до того момента, когда солнце оказалось на середине своего небесного пути. Затем, свежевыбритый и присыпанный тальком, дабы хоть немного приблизиться к общепринятому облику белого человека – тщеславие все-таки победило склонность к романтике, – он поймал такси и пустился в путь к хорошо знакомому дому.

Он тяжело дышал; это было заметно, но он сказал себе, что это лишь от волнения – и никаких эмоций! Он приехал; она не замужем – и довольно. Он еще не знал, о чем он станет с ней говорить. Ни за что на свете он не отказался бы от этого мгновения своей жизни. Ведь, в сущности, что за триумф без женщины? И даже если ему не удастся сложить свои трофеи к ее ногам, по крайней мере, он сможет продемонстрировать их ей, пусть и на краткий миг.

Перед ним неожиданно вырос дом, и первой мыслью было – дом стал каким-то странно-нереальным на вид. В нем самом не изменилось ничего, но изменилось все вокруг. Дом теперь казался ему маленьким и ветхим, не то что раньше; волшебное облако уже не окутывало крышу, не струилось волшебство и из окон верхнего этажа. Он позвонил в дверь, появилась незнакомая цветная горничная. Мисс Жонкиль сейчас спустится вниз. Он нервно облизал губы и вошел в гостиную; чувство нереальности усилилось. Перед собой он видел

просто комнату, а вовсе не зал зачарованного замка, в котором провел те мучительные часы. Он сел в кресло, изумившись, что это было самое обычное кресло – так его воображение исказило и разукрасило все эти простые знакомые вещи.

Затем открылась дверь, в комнату вошла Жонкиль, и ему вдруг показалось, что все вещи в комнате заслонила от него какая-то пелена. Он совсем забыл, как она прекрасна; он побледнел, неожиданно куда-то подевался голос, и он смог издать лишь слабый вздох.

Она была в светло-зеленом платье; ее черные прямые волосы, словно корона, удерживала золотая лента. Он встретил ее знакомый бархатистый взгляд, когда она входила в дверь, а по его телу пробежала судорога испуга при воспоминании о том, какую боль могла причинить ее красота.

Он сказал: «Привет!», они оба сделали несколько шагов навстречу друг другу и пожали руки. Затем уселись в стоявшие в разных углах комнаты кресла и посмотрели друг на друга.

– Вот ты и вернулся, – произнесла она, а он так же банально ответил:

– Мне вдруг захотелось заглянуть к тебе, повидаться, ведь я достиг своей цели!

Он пытался избавиться от дрожи в голосе, избегая смотреть ей в глаза. Говорить надлежало ему, но – если только прямо сейчас не начинать хвастаться – говорить, кажется, было нечего. В их прежних отношениях не было ничего поверхностного: люди в таком положении не могут разговаривать о погоде.

– Это просто смешно! – выпалил он в припадке нежданного смущения. – Я совершенно не представляю, что мне следует говорить. Ничего, что я к тебе пришел?

– Ничего. – Ответ прозвучал одновременно и сдержанно, и безлично-печально. Это его расстроило.

– Ты помолвлена? – спросил он.

– Нет.

– В кого-нибудь влюблена?

Она покачала головой.

– Н-да. – Он откинулся в кресле.

Кажется, еще одна тема для разговора закончилась – беседа шла совсем не так, как он себе представлял.

– Жонкиль, – начал он, на этот раз с нежностью, – после всего, что между нами было, мне захотелось вернуться и увидеться с тобой. Что бы меня ни ждало в будущем, я никогда не полюблю другую так, как любил тебя.

Эти слова он заготовил заранее. На пароходе казалось, что это самый правильный тон: намекнуть на нежность, которую он всегда будет испытывать по отношению к ней, но о своем нынешнем отношении говорить уклончиво. Однако, когда в воздухе вокруг него с каждой минутой сгущалось прошлое, которое было здесь повсюду, такой подход стал казаться театральным и черствым.

Она ничего не ответила, даже не пошевелилась, лишь смотрела на него с выражением, которое могло означать и все, и ничего.

– Ты ведь больше меня не любишь, правда? – спросил он ровным тоном.

– Нет.

Когда минуту спустя вошла миссис Кэри и стала расспрашивать о его успехах – в местной газете о нем была статья на полстраницы, – он ощутил целую гамму чувств. Теперь он точно знал, что все еще желает эту девушку, и еще он знал, что прошлое иногда возвращается – вот и все. В остальном нужно быть сильным и внимательным – и тогда он заметит...

– А теперь, – говорила миссис Кэри, – я прошу вас обоих сходить навестить мою соседку, которая обожает хризантемы. Она просила передать, что очень хотела бы познакомиться с тобой, поскольку читала о тебе в газете.

И они пошли к любительнице хризантем. Выйдя на улицу, он, волнуясь, заметил, что ее мелкие шаги по-прежнему всегда попадают между его широкими шагами. Дама оказалась очень милой, и хризантемы были огромными и необычайно красивыми. В саду у дамы их было полно: белые, розовые, желтые; попавший в этот сад ощущал, что неожиданно вернулся разгар лета. Сад был разделен надвое воротами; когда они пошли смотреть вторую половину, дама прошла в ворота первой.

А затем произошла странная вещь. Джордж шагнул в сторону, чтобы пропустить Жонкиль, но вместо того, чтобы пройти, она застыла и целую минуту молча на него смотрела. Это был не то чтобы взгляд – на лице не было и тени улыбки; скорее это была минута

молчания. Они посмотрели друг другу в глаза, и оба резко, чуть быстрее обычного, вздохнули, а затем прошли в другую половину сада. Вот и все.

День подходил к концу. Они поблагодарили даму и пошли домой: медленно, задумчиво, бок о бок. За ужином также царило молчание. Джордж рассказал мистеру Кэри какой-то случай, произошедший в Южной Америке, и при этом смог дать всем понять, что в будущем его жизнь будет спокойным плаванием.

Затем ужин окончился, и они остались одни в той самой комнате, стены которой были свидетелями начала и конца их романа. Ему казалось, что это было очень давно и невыразимо печально. На этом диване он испытал такие муки и горе, которые он больше никогда уже не испытает. Никогда больше не будет он столь слабым, усталым, несчастным и бедным! И все же он знал, что тот юноша, которым он был пятнадцать месяцев назад, кое-чем обладал: у него были надежда и пыл, ныне исчезнувшие навсегда. Разумно... Они поступили разумно. Он обменял свою юность на силу и слепил свой успех из отчаяния. Но вместе с юностью жизнь унесла и свежесть его первой любви.

– Ты ведь не выйдешь за меня, да? – тихо спросил он.

Жонкиль печально покачала головой.

– Я никогда не выйду замуж, – ответила она.

Он кивнул.

– Утром я еду дальше, в Вашингтон, – сказал он.

– Как...

– Мне надо ехать. В Нью-Йорке я должен быть первого числа, а по пути хочу заехать в Вашингтон.

– Бизнес?

– Нет, – сказал он, как бы нехотя. – Я должен увидаться с одним человеком; он был очень добр ко мне, когда я был... в безнадежном положении...

Это он сочинил. Ему не с кем было встречаться в Вашингтоне, но он пристально наблюдал за Жонкиль и был уверен, что при этих словах она моргнула, прикрыла глаза, а затем вновь широко их распахнула.

– Но прежде, чем я уеду, мне бы хотелось рассказать тебе о том, что со мной произошло с тех пор, как мы с тобой виделись в последний

раз; кто знает, вдруг мы с тобой больше никогда не увидимся? Может быть, ты сядешь ко мне на колени, как раньше? Я бы не стал тебя просить, если бы мы были не одни, хотя, возможно, это уже неважно.

Она кивнула и спустя мгновение уже сидела у него на коленях, совсем как тогда, той ушедшей весной. Он испытал эмоциональный толчок, ощутив ее голову у себя на плече, почувствовав знакомую тяжесть ее тела. Его руки норовили крепко ее сжать, поэтому он откинулся назад и стал задумчиво рассказывать.

Он рассказал ей о двух безнадежных неделях в Нью-Йорке, завершившихся, когда он устроился на интересную, хотя и не очень доходную, работу на стройке в Джерси-Сити. Командировка в Перу поначалу вовсе не выглядела делом, сулящим какие-либо необычайные перспективы. В экспедицию он должен был ехать третьим младшим инженером, но из всех американцев до Куско добралось лишь десять человек, из которых восемь были обычными рабочими и маркшейдерами. Через десять дней от желтой лихорадки скончался начальник экспедиции. Ему выпал шанс – это был шанс для любого, лишь бы был не совсем дурак, такой чудесный шанс...

– Шанс для любого, лишь бы был не совсем дурак? – невинно перебила она.

– И даже для дурака! – продолжил он. – Чудесный шанс! И тогда я телеграфировал в Нью-Йорк...

– И они, – снова перебила она, – телеграфировали, что ты должен этим шансом воспользоваться?

– Обязан! – воскликнул он, все еще откинувшись назад. – И немедленно – нельзя было терять время...

– Ни минутки?

– Ни минутки!

– И даже ни минутки для... – Она умолкла.

– Для чего?

– Кого!

Он резко наклонил голову вперед, и она тут же прижалась к нему теснее, а ее губы приоткрылись, словно цветок.

– Да, – шепнул он прямо в ее губы. – Все время этого мира...

Все время этого мира: вся жизнь, и его, и ее. Целуя ее, он в то же время осознал, что, даже если перебрать по секундам вечность, никогда ему не отыскать те навсегда ушедшие апрельские часы. Он

может прижать ее к себе так сильно, что заболят бицепсы: она была для него желанной и ценной, он за нее боролся, и он ее получил, – но больше никогда не раздастся неуловимый шепот из тьмы, не принесет его ночной ветерок...

Что ж, придется смириться, подумал он. Апрель прошел, увы; да, кончился апрель... Разная бывает на свете любовь, и она никогда не повторяется.

Усни, Гретхен!

I

Хрупкие листья шуршали, опадая на тротуары, и маленький хулиган из соседнего дома уже испытал незабываемое ощущение, прижав язык к покрытому утренним инеем железному почтовому ящику. Каждый вечер – снег, снег... Осень прошла. И это событие, как всегда, заставило вспомнить о покупке угля и о близящемся Рождестве; но Роджер Хэлси, стоя на парадном крыльце своего дома, мысленно уверил мрачно нависшее над пригородом небо в том, что времени на размышления о погоде у него нет. Затем он открыл дверь и торопливо вошел в дом, оставив холодные сумерки на улице в одиночестве.

В холле было темно, но сверху, из детской, слышались голоса жены, няни и ребенка – продолжался все тот же бесконечный разговор, состоявший в основном из «Нет!», «Смотри под ноги, Макси!» и «Ага, попался!», перемежавшихся шутливо преувеличенными угрозами, приглушенными вскриками и периодически повторявшимся решительным топотом ножек ребенка.

Роджер прошел через холл, включил красный торшер и вошел в гостиную. Он положил свой пухлый портфель на стол, сел на стул,

несколько минут просидел, устало свесив голову и закрыв глаза. Затем закурил, но почти сразу же потушил сигарету и, подойдя к лестнице, позвал жену:

– Гретхен!

– Здравствуй, дорогой! – В ее голосе слышался веселый смех. – Иди скорее, посмотри на малыша!

Он беззвучно выругался.

– Мне не хочется идти наверх, – произнес он вслух. – Спускайся ко мне.

Последовала таинственная пауза, и затем целая серия быстрых: «Нет!» и «Смотри под ноги, Макси!», явно предупреждавших какую-то надвигающуюся катастрофу.

– Ты спустишься вниз? – повторил Роджер слегка раздраженным голосом.

– Да-да, уже иду!

– Когда же? – крикнул он.

Каждый день в этот час у него возникала одна и та же проблема – как перейти с требовательного тона, который необходим в городе и на работе, к нежной и мягкой интонации, которой требует домашняя обстановка? А этим вечером он к тому же был еще и совершенно не расположен к долгим ожиданиям. Но когда Гретхен сбежала к нему вниз, перепрыгивая через каждую вторую ступеньку, с взволнованным удивлением крича: «Вот и я, что такое?», это его обезоружило.

Он поцеловал ее – она ненадолго замерла в его объятиях. Они были женаты уже три года и все еще любили друг друга. Благодаря тому, что Роджер был все еще очарован ее красотой, их ссоры редко достигали того накала, на который способны лишь молодожены.

– Пойдем, – коротко бросил он. – Мне надо с тобой поговорить.

Его жена, молодая, с яркими, достойными кисти Тициана волосами, живая и непринужденная, словно французская тряпичная кукла, последовала за ним в гостиную.

– Послушай, Гретхен, – он присел на краешек дивана, – начиная с этого вечера, я собираюсь... Что ты делаешь?

– Ничего. Я просто ищу сигареты. Продолжай.

На цыпочках, затаив дыхание, она вернулась к дивану и уютно устроилась рядом с Роджером.

– Гретхен...

Он вновь остановился на полуслове. К нему протянулась рука – ладонью вверх.

– Ну, что теперь? – с раздражением спросил он.

– Спички.

– Что?

Чирк! Вспыхнула спичка. Они посмотрели друг на друга с напряжением.

На этот раз ее прекрасные глаза безмолвно просили прощения, и он рассмеялся. Как бы там ни было, она всего лишь закурила. Но в данный момент он был не в настроении – и любое, даже самое обычное, действие раздражало его сверх всякой меры.

– Если у тебя все же найдется немного времени, чтобы выслушать меня, – сердито сказал он, – то, возможно, тебе будет даже интересно поговорить со мной об этой богадельне.

– Какой еще богадельне? – В ее взгляде появилось изумление; теперь она сидела тихо, как мышка.

– Никакой. Я сказал это, чтобы привлечь, наконец, твое внимание. Итак, сегодня вечером начинаются шесть самых, быть может, важнейших недель за всю мою жизнь – шесть недель, которые покажут, останемся ли мы навсегда жить в этом гадком маленьком пригороде, в этом гадком маленьком домишке!

Тревога в черных глазах Гретхен сменилась тоской. Она была настоящей южанкой, и все, связанное с переменами в жизни – даже в лучшую сторону! – не вызывало у нее ничего, кроме головной боли.

– Шесть месяцев назад я уволился из «Нью-йоркской литографической компании», – торжественно заявил Роджер, – и открыл собственную рекламную контору.

– Я знаю, – перебила его Гретхен; в ее голосе слышалось сожаление. – И теперь вместо гарантированных шести сотен в месяц мы имеем лишь пять, и то не всегда.

– Гретхен, – резко продолжил Роджер, – если еще шесть недель ты будешь верить в меня так же сильно, как и прежде, то мы будем богаты. У меня появился шанс – я могу заполучить несколько крупных клиентов, то есть выгоднейшие заказы в стране...

Он запнулся.

– И в течение этих шести недель мы не будем принимать никаких приглашений – и никого не будем звать к себе. Каждый вечер я буду

работать дома, и мы опустим все шторы, а если кто-нибудь станет стучаться в дверь – мы не откроем.

Он весело улыбнулся, как будто только что изобрел новую игру и теперь предлагал в нее поиграть. Но Гретхен продолжала все так же тихо сидеть, и его улыбка исчезла – теперь он смотрел на жену неуверенно.

– Ну, что? – прервала молчание Гретхен. – Ты ведь не думал, что я тут же подпрыгну и примусь петь от радости? Ты и так работаешь более чем достаточно. Если же ты станешь работать еще больше, то все кончится нервным срывом. Я читала о...

– Не беспокойся обо мне, – перебил он ее, – со мной все будет в порядке. Но ты, наверное, будешь умирать со скуки, сидя дома каждый вечер.

– Нет, не буду, – ответила она, но не убедила даже себя, – разве только сегодня.

– Почему сегодня?

– Джордж Томпкинс пригласил нас на ужин.

– И ты приняла приглашение?

– Ну конечно! – нетерпеливо сказала она. – Почему бы и нет? Ты все время говорил, что тебе не нравятся наши соседи, и я подумала, что для разнообразия ты был бы рад сходить куда-нибудь еще.

– Но перемена, по крайней мере, должна быть к лучшему, – сухо заметил он.

– Итак, мы идем?

– Видимо, придется – ведь ты уже обещала!

К неудовольствию Роджера, разговор внезапно окончился. Гретхен вскочила, небрежно его поцеловала и побежала на кухню греть воду для ванной. Вдохнув, он осторожно засунул свой портфель за книжный шкаф. Хотя в портфеле не было ничего, кроме рекламных рисунков и набросков, ему казалось, что это именно то, что в первую очередь заинтересует нежданного взломщика. Затем он рассеянно поднялся наверх, заглянул в детскую поцеловать малыша и переоделся в вечерний костюм.

У них не было автомобиля, поэтому Джордж Томпкинс сам заехал за ними в половине седьмого. Томпкинс был преуспевающим дизайнером интерьеров; внешне он был коренастый, румяный, с красивыми усами, от него всегда сильно пахло жасмином. Когда-то

они с Роджером жили в одной комнате в нью-йоркском пансионе, но последние пять лет встречались лишь изредка.

– Нам надо почаще видаться, – говорил он Роджеру, входя в дом. – Ты просто должен почаще бывать вне дома, старина! Коктейль?

– Нет, благодарю.

– Нет? Ну, ладно, надеюсь, твоя прекрасная жена не откажется. Правда, Гретхен?

– Мне нравится этот дом! – воскликнула она, взяв в руки бокал и с обожанием рассматривая модели кораблей, старинные бутылки из-под виски и прочие модные безделушки 1925 года.

– Мне тоже нравится, – согласился Томпкинс. – Здесь все сделано так, как мне хотелось, и, кажется, все получилось.

Роджер угрюмо оглядел бездушно-гладкую комнату – у него сложилось впечатление, что они по ошибке забрели на кухню.

– Роджер, ты ужасно выглядишь, – сказал хозяин. – Возьми коктейль и улыбнись!

– Да-да, выпей! – подхватила Гретхен.

– Что? – Роджер рассеянно обернулся к ним. – А-а-а... Нет, спасибо. Мне сегодня еще работать.

– Работать? – Томпкинс улыбнулся. – Послушай, Роджер, ты надорвешься, если будешь так много работать. Почему бы тебе не внести некоторое разнообразие в свою жизнь – немного работы, затем немного отдыха? Мне кажется, что самое главное в жизни – это равновесие.

– И я говорю ему о том же, – сказала Гретхен.

– Знаешь ли ты, как смотрится со стороны день обычного бизнесмена? – спросил Томпкинс по дороге в столовую. – Утренний кофе, восемь часов работы с коротким перерывом – только бы успеть проглотить обед, – а затем снова домой, с диспепсией и плохим настроением, чтобы обеспечить жене приятный вечерок.

Роджер резко рассмеялся.

– Ты слишком часто ходишь в кино, – сухо сказал он.

– Что? – Томпкинс посмотрел на него с неожиданным раздражением. – В кино?! Я ни разу в жизни не был в кинотеатре. Я считаю, что все эти фильмы – отвратительны! Свои взгляды на жизнь я почерпнул из собственных наблюдений. Я верю в уравновешенную жизнь.

– И что же это, по-твоему? – спросил Роджер.

– Ну... – он помедлил с ответом, – наверное, проще всего будет это объяснить, если я опишу вам, как проходит мой день. Но боюсь, что вы примете меня за ужасного эгоиста!

– Нет-нет!

Гретхен смотрела на него с явным интересом:

– Очень любопытно.

– Ну, что ж... Утром, сразу после пробуждения, я делаю зарядку. Одна из комнат этого дома представляет собой маленький спортивный зал, и там я стучу по груше, боксирую с тенью и сгоняю жирок в течение часа. Затем, после холодной ванны... Да, вот это вещь! Кстати, ты принимаешь каждый день холодную ванну?

– Нет, – признался Роджер. – Я принимаю только горячие ванны по вечерам, раза три-четыре в неделю.

Последовала натянутая пауза. Томпкинс и Гретхен обменялись таким взглядом, что стало ясно – прозвучало нечто ужасное.

– Что с вами? – нарушил тишину Роджер, бросая раздраженные взгляды то на Гретхен, то на Томпкинса. – Я не могу нежиться в ванной каждый день – у меня просто не хватает времени.

Томпкинс громко вздохнул.

– После ванной, – продолжил он, сострадательно опуская вуаль тишины над неловким вопросом, – я завтракаю и еду в свою нью-йоркскую контору, где и работаю до четырех. Затем прекращаю работу и – если на дворе лето – еду играть в гольф; зимой еду в клуб, чтобы часок поиграть в сквош. Затем до ужина играю в бридж в хорошей компании. Ужин у меня почти всегда связан с бизнесом, но с более-менее приятной стороны: допустим, я только что закончил интерьер какого-нибудь дома, и хозяин хочет, чтобы я был у него под рукой на новоселье – ну, чтобы я проследил, достаточно ли мягким получилось освещение и так далее. Или же я просто сижу дома с книжкой хороших стихов и провожу вечер в блаженном одиночестве. В общем, по вечерам я стараюсь отвлечься от дел.

– Должно быть, это прекрасно! – с энтузиазмом сказала Гретхен. – Хотелось бы мне, чтобы и мы с Роджером жили так же!

Томпкинс пылко взглянул на Гретхен и подался вперед.

– Да ведь это так просто! – выразительно произнес он. – Не вижу причин, почему бы и вам так не жить! Подумайте сами – если Роджер

будет каждый день хотя бы час играть в гольф, произойдут настоящие чудеса. Он просто не узнает себя через некоторое время. Его дела пойдут лучше, он перестанет так сильно уставать и нервничать... Что такое?

Он внезапно умолк. Роджер зевал, даже не пытаясь этого скрыть.

– Роджер, – громко сказала Гретхен, – разве это вежливо? Если бы ты жил так, как Джордж, то распрощался бы со многими проблемами!

И она с негодованием отвернулась от него, повернувшись к Джорджу:

– Последняя новость: он собрался работать по ночам в течение следующих шести недель! Он говорит, что опустит все шторы в доме и что мы будем жить, как отшельники в пещере. В этом году мы провели таким образом все воскресенья, а теперь будем так жить еще целых шесть недель!

Томпкинс печально покачал головой.

– После этих шести недель, – заметил он, – его придется отправить в санаторий. Позвольте вам рассказать, что любая частная клиника в Нью-Йорке битком набита пациентами с подобными историями болезни. Сначала ты работаешь, не жалея себя, затем напрягаешься еще чуть-чуть, просто по инерции, и бац! – что-то ломается. И таким образом, желая выиграть шестьдесят часов, ты теряешь шестьдесят недель на курс лечения в клинике. – Он замолчал и, сменив тон, с улыбкой посмотрел на Гретхен. – И я еще не сказал, что случится с тобой. Мне кажется, что основной удар в таких случаях приходится даже не по мужу – по жене!

– Ну, я не придаю этому такого уж большого значения, – возразила Гретхен, неожиданно приняв сторону мужа, как и положено верной жене.

– Нет, придает, – сурово сказал Роджер, – это все для нее даже чересчур важно! Она не видит дальше собственного носа и потому считает, что у меня всегда можно будет выпросить деньги на новые платья. Но я же не печатаю эти деньги! Как это ни печально, но самое разумное для женщины – это сидеть дома, сложа руки.

– Твои взгляды на женский вопрос устарели уже лет двадцать назад, – с жалостью сказал Томпкинс. – Женщины больше не собираются сидеть сложа руки и чего-то ждать от мужчин!

– Тогда им лучше выходить замуж за мужчин раза в два постарше, – непреклонно продолжал Роджер. – Если девушка выходит замуж по любви, она должна быть готова приносить свои интересы в жертву интересам мужа – и безо всяких условий – до тех пор, пока муж продолжает двигаться к успеху.

– Давайте сменим тему, – сказала Гретхен с ноткой нетерпения в голосе. – Пожалуйста, Роджер, давай проведем спокойно хотя бы сегодняшний вечер!

Около одиннадцати Томпкинс подвез их к дому, и они ненадолго задержались на тротуаре, чтобы посмотреть на полную луну. Вокруг красиво падали влажные снежные хлопья. Роджер торжественно обнял Гретхен и глубоко втянул в себя морозный воздух.

– Я могу заработать гораздо больше, чем когда-либо мог он, – с вызовом сказал он, – и я докажу тебе это, не пройдет и сорока дней!

– Сорок дней, – вздохнула она. – Это кажется почти что вечностью, когда все остальные люди просто живут и радуются жизни. Если бы я только могла заснуть и проснуться через сорок дней!

– А почему бы и нет, дорогая? Просто усни – а когда проснешься, все будет в порядке!

Она промолчала, но через мгновение задумчиво спросила:

– Роджер, как ты думаешь, Джордж действительно возьмет меня покататься на пони в субботу?

Роджер нахмурился:

– Не знаю. Наверное, нет – по крайней мере, я надеюсь, что нет. – Он замолчал. – На самом деле, он слегка разозлил меня сегодня – всей этой чепухой про холодные ванны.

Взявшись за руки, они пошли к дому.

– Бьюсь об заклад, что он не принимает холодную ванну каждое утро, – медленно продолжил Роджер. – Даже три раза в неделю, и то для него слишком часто.

Он нашел в кармане ключ и вставил его в замок.

Затем он повернулся к Гретхен и с вызовом произнес:

– Бьюсь об заклад, что он вообще не принимал ванну уже целый месяц!

II

После двух недель интенсивной работы дни для Роджера Хэлси слились в одну сплошную массу и проходили блоками по два, по три или по четыре вместе. С восьми и до половины шестого он работал в конторе. Затем полчаса трясся в пригородном поезде, царапая эскизы на конвертах от писем при свете тусклой желтой лампочки. В половине восьмого вечера его карандаши, ножницы и куски белого картона воцарялись на столе в гостиной, и с бормотанием и вздохами он увлеченно трудился там до полуночи; Гретхен тем временем лежала с какой-нибудь книжкой на диване. И дверной колокольчик мог звенеть сколько ему было угодно: шторы все равно были опущены, а дверь закрыта. Около полуночи всегда возникал спор – Гретхен настаивала на том, что он должен хоть иногда спать. И почти всегда они сходились на том, что он ляжет, как только чуть-чуть подправит очередной эскиз; но так как он постоянно находился вне реального мира, рассматривая одновременно полдюжины новых идей, то обычно, поднявшись на цыпочках в спальню, он находил Гретхен уже крепко спящей.

Иногда Роджер тушил последнюю сигарету в и без того переполненной окурками пепельнице около трех часов утра и, раздевшись в темноте, чувствовал, что валится с ног от усталости, но тут же говорил себе с радостью, что прошел еще один день.

Рождество пришло и ушло, и он едва заметил, что наступил Новый год. Этот рождественский день он вспоминал впоследствии как день, в который он завершил все эскизы для обувного магазина Гаррода. Магазин был одним из восьми больших клиентов, которых он стремился заполучить к себе, и если хотя бы половина из этих восьми подпишет с ним договоры, то в наступившем году он наверняка получит не меньше четверти миллиона долларов.

А мир, который находился вне его работы, стал представляться ему чем-то вроде хаотического сна. Он знал, что две холодные декабрьские субботы Гретхен провела, катаясь на пони в обществе Джорджа Томпкинса, и что она как-то раз ездила с ним на автомобиле в

загородный клуб, чтобы покататься на лыжах по вечерним полям. Однажды утром на стене их спальни появился фотопортрет Томпкинса, оправленный в дорожную рамку. А в один из вечеров они чуть не поссорились, потому что, к его изумлению, Гретхен получила от Томпкинса приглашение в городской театр и приняла его.

Но работа близилась к концу. Каждый день из типографии присылали отпечатанные пробные экземпляры рисунков, и наконец семь самых удачных были сложены в папки, на папки были наклеены ярлыки, и все было убрано в большой конторский сейф. Он понимал, что рисунки удались, как никогда. Такая работа не может оцениваться в одних лишь деньгах; едва взглянув на то, что вышло, он осознал, что работал не только за деньги – он вложил в эти рисунки всю свою душу.

Один за другим из календаря исчезли все декабрьские листки. Роджер пережил мучительную неделю, когда ему пришлось отказаться даже от утреннего кофе, потому что кофеин заставлял его сердце биться слишком сильно. Только бы продержаться еще четверо суток... трое суток...

Вечером в четверг Х. Г. Гаррод должен был прибыть в Нью-Йорк. Вечером в среду Роджер приехал с работы в семь и нашел Гретхен углубившейся в изучение присланных отовсюду декабрьских счетов, со странным выражением в прекрасных глазах.

– Что с тобой?

Она кивком указала на счета. Он быстро просмотрел их, и его лоб прорезала морщина.

– Черт возьми!

– Ничего не поделаешь, – она всхлипнула, – это просто кошмар какой-то!

– Ну, я женился на тебе вовсе не потому, что думал, будто ты хорошая хозяйка. С этим я как-нибудь справлюсь. Пусть твоя хорошенькая головка не думает об этом!

Она холодно посмотрела на него:

– Ты говоришь со мной, как с ребенком!

– Приходится! – сказал он с неожиданным раздражением.

– Знаешь ли, я все же не какая-то там фарфоровая безделушка, которую можно куда-нибудь сунуть и тут же забыть!

Он немедленно встал перед ней на колени и взял ее за руки:

– Гретхен, послушай! – Когда он начал говорить, его дыхание прерывалось от волнения. – Ради бога, давай не будем сейчас ссориться! Мы оба переполнены злобой и упреками, и если сейчас разразится ссора – это будет ужасно. Я люблю тебя, Гретхен. Скажи, что и ты любишь меня – быстрее!

– Ты знаешь, что я люблю тебя.

Они избежали ссоры, но за ужином царила напряженная, звенящая тишина. Она достигла апогея чуть позже, когда он начал раскладывать свои рабочие эскизы на столе.

– Но, Роджер, – возразила она, – я думала, что сегодня вечером тебе не нужно будет работать!

– Я тоже так думал, но подоспело кое-что срочное.

– Я пригласила в гости Джорджа Томпкинса.

– Черт бы его побрал! – воскликнул он. – Прошу прощения, дорогая, но теперь тебе придется позвонить и отменить приглашение.

– Но он уже в пути, – сказала она. – Он едет прямо из конторы и будет здесь с минуты на минуту.

Роджер застонал. Первое, что пришло ему в голову – попросить их обоих сходить в кино; но предложение застыло у него на губах. Он не хотел отпускать ее в кино; ему хотелось, чтобы она осталась дома, у него на виду, чтобы он все время знал, что она рядом.

Бодрый Джордж Томпкинс прибыл ровно в восемь.

– Ага! – с веселым осуждением крикнул он, как только вошел в комнату. – Все еще трудимся!

Роджер холодно признал, что это правда.

– Завязывай! Завязывай с этим, пока не поздно!

С глубоким вздохом удовлетворения он уселся и закурил.

– Послушай человека, который изучил этот вопрос досконально. Ты достигаешь предела своих сил, а затем – р-раз! И ты сломался.

– Прошу прощения, – голос Роджера был предельно вежлив, – но я, чтобы не мешать вам, пойду наверх и закончу работу.

– Как хочешь, Роджер. – Джордж беззаботно махнул рукой. – Я не обижаюсь. Ведь я – друг семьи, и буду рад поболтать если не с мистером, то хотя бы с миссис...

Он игриво улыбнулся.

– Но будь я на твоем месте, старик, я бы послал к черту все эту работу и завалился бы спать.

Едва Роджер разложил все необходимое для работы на кровати, как выяснилось, что сквозь тонкий пол ему прекрасно слышно журчание беседы внизу. Неожиданно ему стало интересно, о чем же они так оживленно разговаривают? Он пытался погрузиться в работу, но никак не мог сосредоточиться и несколько раз вставал и нервно шагал по комнате из угла в угол.

Кровать была плохо приспособлена для работы. Бумага все время соскальзывала на пол, и острый карандаш прокалывал в листах дырки. Сегодня вечером все шло наперекосяк. Буквы и фигуры сливались у него в глазах, а в качестве аккомпанемента к пульсации крови в висках выступало доносившееся снизу приглушенное настойчивое бормотание.

Около десяти он неожиданно осознал, что за последний час не сделал фактически ничего; с резким восклицанием он собрал свои бумаги, засунул их в портфель и спустился вниз.

– О, привет! – воскликнула Гретхен. «Подозрительно приветливо», – подумал он. – А мы как раз говорили о тебе.

– Благодарствую, – с иронией произнес он. – И какая же конкретно часть меня оказалась под скальпелем?

– Твое здоровье, – весело ответил Томпкинс.

– С ним все в порядке, – сказал Роджер.

– Старина, ты смотришь на вопрос исключительно со своей колокольни, – воскликнул Томпкинс. – Ты выглядишь как абсолютный эгоист. Не кажется ли тебе, что у Гретхен тоже есть кое-какие права на тебя? Если бы ты не щадя себя трудился над прекрасным сонетом, или над портретом какой-нибудь Мадонны, или чем-нибудь в таком роде, – и он бросил быстрый взгляд на тициановские волосы Гретхен, – то никто не сказал бы тебе и слова поперек. Но ведь ты надрываешься из-за какой-то ничтожной рекламки какого-то дурацкого шампуня – и поверь мне, если весь этот шампунь в одно прекрасное утро исчезнет, никто в мире не станет сильно горевать.

– Минуточку, – рассердился Роджер, – я вовсе не обманываюсь насчет важности своей работы – для Вселенной она так же бесполезна и не нужна, как и те пустяки, которыми занимаешься ты! Но для нас с Гретхен это важнейшее дело – по крайней мере, на сегодня.

– Ты хочешь сказать, что мой труд никому не нужен? – недоверчиво переспросил Томпкинс.

– Нет; я не могу так сказать, ведь он все-таки приносит счастье одному бедному потомку джинсового магната, который совершенно не представляет, куда еще можно потратить деньги.

Томпкинс и Гретхен обменялись быстрыми взглядами.

– Увы мне! – с иронией воскликнул Томпкинс. – Все эти годы я не понимал, что я трачу свое время впустую!

– Ты праздный трутень, – грубо ответил Роджер.

– Я? – не на шутку разозлился Томпкинс. – Ты назвал меня трутнем лишь потому, что я живу уравновешенной жизнью и умею находить время не только на работу, но и на всякие более интересные вещи? Лишь потому, что я работаю не меньше твоего, но не позволяю себе при этом стать унылым и скучным работягой?

Оба мужчины разозлились; голоса звучали все громче, хотя на лице Томпкинса по-прежнему сохранялось некое подобие улыбки.

– Я хотел сказать лишь о том, – твердо сказал Роджер, – что на протяжении последних шести недель ты, как мне кажется, действительно напряженно поработал, укрепляя связь с моей женой!

– Роджер! – воскликнула Гретхен. – Что ты имеешь в виду?

– Только то, что я уже сказал.

– Держи себя в руках!

Томпкинс нарочито холодно закурил:

– Ты так измучен своей работой, что даже не можешь отвечать за свои слова. Ты же почти на грани нервного срыва...

– Пошел вон отсюда! – яростно завопил Роджер. – Иди отсюда, пока я не вышвырнул тебя!

Томпкинс поднялся:

– Ты... ты вышвырнешь *меня*?

Он не мог поверить своим ушам.

И как только они стали сближаться, Гретхен встала между ними, схватила Томпкинса за руку и потащила его по направлению к двери:

– Он ведет себя как сумасшедший, Джордж, так что лучше уходи. – Она всхлипнула и стала в темноте искать его шляпу.

– Он оскорбил меня! – орал Томпкинс. – Он угрожал мне! Он хотел вышвырнуть меня из дома!

– Забудь об этом, Джордж, – взмолилась Гретхен. – Он сам не знает, что говорит. Пожалуйста, уходи! Встретимся завтра, в десять.

Она открыла дверь.

– Ты не увидишь его завтра в десять, – твердо заявил Роджер. – Он больше никогда не переступит порог этого дома.

Томпкинс повернулся к Гретхен.

– Да, это его дом. Но мы с тобой можем встретиться в моем, – предложил он.

Затем он ушел, и Гретхен закрыла за ним дверь. У нее в глазах стояли гневные слезы.

– Что ты наделал! – всхлипывала она. – Мой единственный друг, единственный человек в мире, который меня понимал! А мой муж, в моем собственном доме, нанес ему ужасное оскорбление!

Она бросилась на диван и принялась горько плакать в подушки.

– Он сам напросился, – упрямо сказал Роджер. – Я старался сдерживаться, пока мое терпение не лопнуло. Я хочу, чтобы ты с ним больше не встречалась.

– Я буду с ним встречаться! – крикнула Гретхен. – Я буду встречаться с ним столько, сколько захочу! Неужели ты думаешь, что жить взаперти с тобой безумно интересно?

– Гретхен, – холодно сказал он, – вставай, одевайся, уходи – и больше никогда не возвращайся!

Ее губы дрогнули.

– Но я не хочу уходить, – ошеломленно сказала она.

– Ну вот. Тогда води себя хорошо. – Его голос смягчился. – Мне кажется, что ты собиралась проспать все эти сорок дней?

– О, да, – горько заплакала она, – тебе легко говорить! А я уже устала спать! – Она встала и дерзко посмотрела ему в глаза. – Кроме того, завтра я собираюсь кататься на пони с Джорджем Томпкинсом!

– Ты не поедешь завтра ни на каких пони, даже если мне придется взять тебя с собой в Нью-Йорк и запереть в конторе, пока я не закончу работу!

Она посмотрела на него. В глазах ее была настоящая ярость.

– Я ненавижу тебя, – медленно проговорила она. – И все, чего я хочу, – это взять все твои рисунки, разорвать их на мелкие клочки и бросить в огонь. И чтобы у тебя было о чем подумать завтра, знай, что меня не будет дома, когда ты вернешься с работы!

Она встала с дивана и стала обеспокоенно рассматривать в зеркале свое покрасневшее, заплаканное лицо. Затем побежала наверх и, громко хлопнув дверью, скрылась в спальне.

По привычке Роджер разложил работу на столе в гостиной. Рисунки были яркими, живописные дамы – для одной из них позировала Гретхен – пили оранжевый эль, демонстрируя блестящие шелковые чулки... Все это погрузило его в некое подобие комы. Его неутомимые карандаши быстро перемещались по бумаге, то чуть-чуть меняя высоту букв, то добавляя новые оттенки синего к нарисованным платьям, то выделяя слово, делавшее слоган анемичным и бледным. Прошло полчаса – и он полностью погрузился в работу; в комнате стояла тишина, нарушаемая лишь бархатным скрипом карандаша по бумаге.

О времени он вспомнил лишь около трех утра. Снаружи в дом проник ветер, носившийся по углам дома и бившийся о стены с громкими тревожными ударами, напоминавшими звуки падения тяжелого тела. Роджер прервал работу и прислушался. Он вовсе не чувствовал себя уставшим – лишь его голова, казалось, была полностью покрыта разбухшими венами, как на тех картинках, что висят в медицинских кабинетах и изображают лишенные кожи мускулы человеческих тел. Он обхватил голову руками и почувствовал, что все прошло. Ему показалось, что вены на висках превратились в узлы коросты вокруг старых шрамов.

Неожиданно в душу закрался страх. Сотни слышанных им предостережений вновь всплыли в памяти. Люди разрушали себя непосильным трудом – и он тоже был создан из уязвимой и брэнной плоти. Впервые он позавидовал крепким нервам и здравомыслию Джорджа Томпкинса. Он встал и в панике стал мерить шагами комнату.

– Мне нужно выспаться, – с напряжением шептал он себе под нос. – Иначе я сойду с ума.

Он потер руками глаза и вернулся к столу, чтобы продолжить работу, но руки дрожали, и он никак не мог ухватить лист бумаги. Покачивание черного сука за окном испугало его, он закричал. Затем сел на диван и постарался сконцентрироваться.

«Остановись! Остановись! Остановись! – кричали часы. – Остановись! Остановись! Остановись!»

– Я не могу остановиться, – вслух ответил он. – Я не могу позволить себе остановиться!

Чу! Кажется, на крыльце стоит волк! Он слышал, как острые когти царапают лакированные ступеньки крыльца. Он быстро встал, подбежал к входной двери и распахнул ее; затем со страшным криком отступил внутрь дома. На крыльце действительно стоял громадный волк и свирепо глядел на него зловеще-красными глазами. Они смотрели друг на друга; волк ощерился и, издав низкое ворчание, исчез в темноте. Чуть позже Роджер понял, что это была собака полисмена из дома напротив; он тихо и невесело рассмеялся.

Он устало потащился на кухню, взял будильник, поставил его на семь утра и принес в гостиную. Затем, накрывшись пальто, прилег на диван и тут же погрузился в тяжкую дремоту без снов.

Когда он проснулся, светильник все еще горел, но комната уже окрасилась в серые цвета зимнего утра. Он поднялся и с тревогой посмотрел на свои руки – к своему облегчению, он обнаружил, что они больше не дрожат. Он чувствовал себя много лучше. Затем в деталях припомнил все, что случилось вчерашним вечером, и его лоб прорезало несколько неглубоких морщин. Впереди он видел лишь работу, двадцать четыре часа работы; а Гретхен, хочет она этого или нет, придется проспать еще один день.

– Мистер Кингсли уже на месте?

Из ординаторской показалась голова аптекаря.

– Мне бы хотелось поговорить с вами наедине.

Вернувшись домой в половине восьмого, Роджер сразу прошел на кухню. Домработница только пришла и снимала свою шляпку.

– Биби, – он никогда с ней не фамильярничал, просто у нее было такое имя, – я сам приготовлю завтрак для миссис Хэлси.

Это поразило Биби – такой занятой муж, и вдруг решил поухаживать за женой! – но если бы она увидела, что он сделал, неся

поднос из кухни, она бы удивилась еще больше. Потому что он поставил поднос на стол в столовой и всыпал в кофе половину чайной ложки какого-то белого порошка, совсем не похожего на сахар. Только после этого он поднялся по лестнице и открыл дверь спальни.

Гретхен проснулась; вздрогнула, посмотрев на большую двуспальную кровать, в которой сегодня ночью явно никто не спал. Бросила изумленный взгляд на Роджера, но изумление тут же сменилось презрительной усмешкой, как только она заметила поднос с завтраком в его руках. Она подумала, что завтрак был чем-то вроде капитуляции и извинения.

– Я не хочу есть, – холодно сказала она, и его сердце ухнуло вниз, – но, может быть, выпью чашечку кофе.

– Не хочешь есть? – разочарованно переспросил Роджер.

– Я же сказала, что буду только кофе!

Роджер молча поставил поднос на столик у кровати, повернулся и быстро ушел на кухню.

– Сегодня мы уезжаем и приедем только завтра вечером, – сказал он Биби, – поэтому я запру дом прямо сейчас. А вы на сегодня свободны и можете идти домой.

Он посмотрел на часы. Было десять минут восьмого, а ему надо было успеть на поезд, который отходил в 8:10. Он подождал пять минут, затем на цыпочках поднялся наверх и вошел в комнату Гретхен. Она крепко спала. Кофейная чашка была пуста – на дне осталась лишь коричневая гуща. Он с тревогой посмотрел на жену, но ее дыхание было ровным и чистым.

Из шкафа он вынул чемодан и начал быстро заполнять его ее обувью – туфли, лодочки, калоши, – он и не знал, что у нее так много обуви. Чемодан закрылся с трудом.

Он помедлил еще минуту, вытащил ножницы из ящика стола и отыскал телефонный провод. В том месте, где провод скрывался за буфетом, он резким движением его перерезал – и тут же вздрогнул, потому что услышал осторожный стук в дверь. Это была няня. Он напрочь забыл о ее существовании!

– Мисс Хэлси и я уезжаем в город и приедем только завтра, – спокойно сказал он. – Отвезите Макси погулять в зоопарк и позавтракайте там же. Можете там остаться на весь день.

Когда он вернулся в комнату, на него нахлынула волна жалости. Спящая Гретхен была, как никогда, прекрасна и беспомощна. То, что он сделал, вдруг показалось ужасным – ведь он украл у нее целый день жизни! Он прикоснулся к ее волосам, и она что-то пробормотала во сне; он потянулся и поцеловал ее в щеку. Затем взял набитый обувью чемодан, запер дверь спальни и проворно побежал вниз по ступенькам.

III

К пяти часам вечера последние рисунки для магазинов Гаррода были отправлены с курьером Х. Г. Гарроду в отель «Билтмор». О решении должно было стать известно следующим утром. В половине шестого стенографистка Роджера похлопала его по плечу:

– Мистер Голден, управляющий зданием, хочет вас видеть.

Роджер в изумлении обернулся:

– А что такое?

В этот момент вошел сам мистер Голден. Если мистер Хэлси хочет сохранить контору за собой, маленькое недоразумение с выплатой арендной платы должно быть урегулировано как можно скорее.

– Мистер Голден, – устало ответил Роджер, – завтра все будет в полном порядке. И если сейчас вы будете продолжать трепать мне нервы, то весьма вероятно, что вы никогда не получите от меня никаких денег. Послезавтра все будет улажено.

Мистер Голден с беспокойством посмотрел на арендатора. Молодые люди иногда решаются на крайне неразумные поступки, когда дела у них идут из рук вон плохо. Его неприятно удивленный взгляд упал на прислоненный к столу чемодан с инициалами владельца.

– Собираетесь в командировку? – с подозрением спросил он.

– Что? Ах это... Нет. Это просто вещи.

– Вещи? Ну, что ж... Мистер Хэлси! Чтобы мне было спокойней, позвольте попросить вас об одолжении: прошу вас, отдайте мне этот чемодан на хранение! А завтра я вам его верну.

– Как вам будет угодно.

Мистер Голден с умоляющим жестом взялся за ручку чемодана.

– Это всего лишь формальность, – заметил он.

– Я вас понимаю, – сказал Роджер и снова повернулся к столу. – Всего доброго.

Мистер Голден счел необходимым завершить разговор в более мягком ключе:

– И не работайте так много, мистер Хэлси! Вам ведь не хочется заработать нервный срыв, не...

– Нет, – закричал Роджер, – не хочется! Но я его заработаю, если вы сейчас же не оставите меня в покое!

Когда дверь за мистером Голденом закрылась, стенографистка сочувственно обратилась к Роджеру.

– Не нужно было разрешать ему уносить ваш чемодан, – сказала она. – Что там было? Одежда?

– Нет, – рассеянно произнес Роджер. – Там обувь моей жены.

Он заночевал в конторе на диване, стоявшем у стола. На рассвете он проснулся от нервной дрожи, выбежал на улицу, выпил кофе и через десять минут в панике прибежал обратно в контору – он боялся пропустить телефонный звонок мистера Гаррода. Но на часах было только полседьмого утра.

К восьми ему стало казаться, что все его тело в огне. К тому моменту, когда на работу явились штатные художники, он лежал на диване, ощущая почти физическую боль. Настойчивый телефонный звонок раздался в половине десятого, и Роджер дрожащими руками снял трубку:

– Алло.

– Это агентство мистера Хэлси?

– Да, говорит мистер Хэлси.

– А я – мистер Гаррод.

Сердце Роджера замерло.

– Я звоню, чтобы сказать вам, юноша, что вы прислали мне великолепные работы! Я беру все и, кроме того, готов заключить с вами договор.

– О, боже! – заорал Роджер в трубку.

– Что? – мистер Х. Г. Гаррод был явно изумлен. – Эй, подождите...

Но его уже никто не слушал. Трубка упала на пол, и Роджер, растянувшись на кушетке, всхлипывал так, будто его сердце разрывалось на части.

IV

Прошло три часа, и Роджер с утренней газетой под мышкой открыл дверь в спальню жены. Его взгляд был по-детски спокоен, хотя лицо все еще сохраняло бледность. Услышав шаги мужа, Гретхен проснулась.

– Который час? – спросила она.

Он взглянул на часы:

– Полдень.

Она внезапно расплакалась.

– Роджер, – отрывисто говорила она, – прости меня, я вела себя как последняя дура!

Он холодно кивнул.

– Все в порядке, – ответил он. Затем, выдержав паузу: – Я подписал договор – на огромную сумму!

Она быстро повернулась к нему:

– Так у тебя получилось?...

Затем, после минутного раздумья:

– И я смогу купить новое платье?

– Платье?! – Он отрывисто рассмеялся. – Ты сможешь купить хоть дюжину сразу! Один этот договор принесет нам сорок тысяч в год! Это одна из крупнейших фирм на Западе.

Она изумленно посмотрела на него:

– Сорок тысяч?

– Да.

– Черт возьми! – И затем потише: – Я о таком даже и не мечтала...
И она снова задумалась.

– Мы сможем купить дом как у Джорджа Томпкинса?

– Мне не нужен магазин антикварных безделушек.

– Сорок тысяч! – еще раз повторила она и затем мягко добавила: –

О, Роджер...

– Да?

– Я никуда не поеду с Джорджем Томпкинсом.

– Я бы все равно тебе не позволил, даже если бы ты захотела, –
ответил он.

На ее лице появилось негодование.

– Вообще-то мы с ним запланировали прогулку на этот четверг еще
неделю назад.

– Сегодня не четверг.

– Четверг.

– Сегодня пятница.

– Роджер, ты сошел с ума! Ты что же, думаешь, я не знаю, какой
сегодня день?

– Сегодня не четверг, – упрямо повторил Роджер. – Взгляни!

И он сунул ей под нос газету.

– Пятница! – воскликнула она. – Но это ошибка! Это старая газета.
Сегодня четверг!

Она закрыла глаза и попробовала сконцентрироваться.

– Вчера была среда, – решительно заявила она. – Прачка приходила
вчера. Это я знаю точно.

– Но, – с улыбкой возразил Роджер, – посмотри на газету! Здесь не
может быть никаких сомнений.

С выражением непонимания на лице она встала с постели и начала
искать свою одежду. Роджер ушел бриться в ванную. Минутой позже
он вновь услышал скрип пружин матраса. Гретхен вернулась в
постель.

– Что такое? – осведомился он, выглянув из ванной.

– Мне страшно, – дрожащим голосом прошептала она. – Мне
кажется, что с моими нервами не все в порядке. Я не могу найти свою
обувь.

– Обувь? Ею уставлен весь шкаф!

– Я тоже так думала, но сейчас там ничего нет! – Она побледнела от страха. – О, Роджер!

Роджер присел к ней на постель и полуобнял ее.

– О, Роджер, – всхлипывала она, – что со мной случилось? Сначала эта газета, а теперь обувь. Помоги мне, Роджер!

– Я вызову врача, – сказал он.

Он безжалостно подошел к телефону и снял трубку.

– Кажется, телефон не работает, – произнес он через минуту. – Я пошлю Биби.

Через десять минут в комнату вошел доктор.

– Мне кажется, что со мной случилось что-то серьезное, – взволнованно поведала доктору Гретхен.

Доктор Грегори присел на краешек постели и взял ее за руку, чтобы проверить пульс.

– Кажется, сегодня это просто витает в воздухе.

– Я проснулась, – испуганным голосом продолжала Гретхен, – и обнаружила, что потеряла целый день. У меня была назначена прогулка с Джорджем Томпкинсом...

– Что? – удивленно воскликнул доктор, а затем рассмеялся: – Джордж Томпкинс вряд ли выйдет на прогулку еще много-много дней.

– Он уехал? – заинтересованно спросила Гретхен.

– Он поехал на Запад.

– Неужели? – воскликнул Роджер. – Наверное, с чужой женой?

– Нет, – ответил доктор Грегори. – У него произошел нервный срыв.

– Что? – в один голос воскликнули Роджер и Гретхен.

– Он просто-напросто обмяк и упал в обморок, принимая холодный душ.

– Но ведь он всегда рассказывал о своей безмятежной и уравновешенной жизни, – сказала Гретхен. – Это все время крутилось у него на языке!

– Знаю, – сказал доктор. – Он бормотал об этом все утро. Я думаю, что эта мысль и выбила его из колеи. Вы знаете, он слишком напряженно над этим трудился.

– Над чем? – спросил ничего не понимающий Роджер.

– Над поддержанием равновесия в своей жизни. – Он повернулся к Гретхен: – Все, что я могу рекомендовать вам, леди, это отдых,

хороший отдых. Если вы пару дней просто отдохнете дома и хорошенько выспитесь, вы станете свежей как огурчик. Вероятно, вы тоже на чем-нибудь зациклились.

– Доктор, – хрипло попросил Роджер, – не могли бы вы осмотреть и меня? Не кажется ли вам, что и мне нужен отдых или что-то в этом роде? Последнее время я слишком много работал.

– Отдых? – Доктор Грегори рассмеялся и изо всех сил хлопнул его по плечу. – Мой мальчик, да вы в жизни не выглядели лучше!

Роджер быстро отвернулся, чтобы спрятать улыбку, и подмигнул чуть криво висевшему на стене спальни фотопортрету мистера Джорджа Томпкинса.

Дополнения

Гитара, кости и кастет

I

Как известно, территория штата Нью-Джерси частично находится под водой, а частично – под неусыпным надзором властей. Местами по ней разбросаны цветущие уголки, усеянные старомодными каркасными особняками с широкими тенистыми верандами и выкрашенными в красный качелями на лужайке. Вполне возможно, что на самом широком и тенистом крылечке все еще висит

забытый после теплых деньков гамак, слегка покачивающийся под средневикторианским ветерком.

Появляясь у подобных достопримечательностей прошлого века, туристы останавливают автомобили, некоторое время все оглядывают, затем бормочут: «Ну-с, слава богу, этот период уже сменился каким-то другим» – или же говорят: «Н-да, в этом доме конечно же куча залов, тысяча крыс и одна ванная, но есть здесь какая-то особенная атмосфера...»

Турист надолго не задерживается. Он едет дальше, смотреть елизаветинскую виллу из прессованного картона, или ранненормандскую мясную лавку, или ренессансную голубятню, потому что на дворе двадцатый век и дома в викторианском стиле уже вышли из моды, как и творения миссис Хамфри Уорд.

Гамак с дороги не видно; в этом гамаке иногда лежит девушка, и сегодня был как раз такой день. Девушка спала, не обращая никакого внимания на окружающие ее эстетические кошмары вроде стоявшей посреди залитой солнцем лужайки каменной статуи Дианы с идиотской улыбкой.

Эта картина прямо-таки сочится желтизной: все вокруг из-за солнечного света приобрело желтоватый оттенок, и сам гамак был ядовито-желтым, какими обычно и бывают гамаки, и светлые волосы девушки, разбросанные по сетке, казались даже ярче, чем сам гамак.

Девушка спала, плотно сжав губы и положив руки под голову, как и положено юным девушкам. Грудь ее слегка вздымалась и опадала, гамак от этого слегка покачивался.

Ее имя – Амантис – было ничуть не менее старомодным, чем дом, в котором она жила. К сожалению, на этом все ее связи со средневикторианской эпохой внезапно обрываются.

Если бы это было кино (а я конечно же надеюсь, что этот рассказ когда-нибудь станет фильмом), я потратил бы на девушку хоть тысячу метров пленки; я дал бы крупный план и показал бы яркую впадинку у нее на затылке, пониже волос, и мягкие полутона на ее щеках и руках; мне нравится представлять себе, как она спит – совсем как вы, когда вы были молоды! А потом я нанял бы какого-нибудь Израэля Глюкоуза, чтобы он написал какую-нибудь чушь для титров, за которыми пошла бы новая сцена; она разыгралась вдалеке, где-то там, на дороге.

В движущемся автомобиле сидел джентльмен-южанин, а рядом с ним – его верный слуга. Джентльмен, невзирая ни на что, держал путь в Нью-Йорк; путешествие несколько осложнялось тем обстоятельством, что верхняя и нижняя части автомобиля не совсем плотно прилегали друг к другу. По правде говоря, пассажирам время от времени приходилось останавливаться, выходить из автомобиля и устанавливать съехавший кузов обратно на раму, чтобы затем продолжить движение, слегка подрагивая в невольном унисоне с дрожью мотора.

Если не обращать внимания на отсутствие дверцы в задней части машины, можно было подумать, что это транспортное средство было создано на самой заре эры машин. Автомобиль был покрыт пылью дорог восьми штатов, капот его украшали внушительного размера неисправный тахометр и грязный флажок, на котором значилось: «Город Тарлтон, штат Джорджия». В далеком прошлом кто-то начал было красить капот желтой краской, но, к несчастью, в самый разгар работы куда-то убыл по срочному делу, да так и не вернулся.

В тот момент, когда джентльмен и его верный слуга проезжали мимо участка, на котором висел гамак, в котором дремала прекрасная Амантис, случилось происшествие: с автомобильной рамы вновь слетел кузов. В качестве оправдания тому, что я так внезапно об этом заявляю, можно сказать, что событие это произошло не менее внезапно. Когда стих грохот и осела дорожная пыль, хозяин и слуга вышли на дорогу и принялись осматривать половинки.

– Ты только глянь! – с отвращением произнес джентльмен. – Эта чертова штуковина взяла и совсем развалилась!

– Напополам! – согласился верный слуга.

– Хьюго! – произнес джентльмен после задумчивой паузы. – Надо найти гвозди и молоток! Приколотим этот кузов!

Они посмотрели на особняк Викторианской эпохи. Со всех сторон вокруг, до слегка неровного пустынного горизонта, в художественном беспорядке простирались поля. Выбора не было, и чернокожий Хьюго, открыв ворота, последовал за хозяином по усыпанной гравием аллее, окинув пресыщенным взглядом бывалого путешественника красные качели и каменную статую Дианы, одарившей их безумно-диким взглядом.

Они дошли до крыльца, и в тот же миг проснулась Амантис; она резко выпрямилась и открыла глаза.

Юному джентльмену было около двадцати четырех лет; его звали Джим Пауэлл. На нем был тесный, покрытый дорожной пылью магазинный костюм, способный, очевидно, без всякого предупреждения куда-то бежать – вот почему его удерживало целых шесть нелепых пуговиц.

Избыток пуговиц наблюдался и на рукавах пиджака; Амантис невольно стала приглядываться, пытаясь определить, не спускается ли пуговичный ряд и по штанинам брюк? Но брюки выделялись лишь своим фасоном – это были клеши, напоминавшие колокола. Жилетка была с очень низким вырезом и едва удерживала изумительный галстук, который жаждал освободиться и гордо реять по ветру.

Джентльмен отвесил старательный поклон, смахнув при этом с коленей пыль круглой соломенной шляпой. Одновременно он улыбнулся, чуть прищулив бледно-голубые глаза и продемонстрировав свои великолепные, белые и ровные, зубы.

– Добрый день! – произнес он с безупречным южным акцентом. – Мой автомобиль попал в аварию вон там, прямо у ваших ворот. И я решил осмелиться спросить: не будете ли вы столь любезны и не окажете ли мне помощь, одолжив на время молоток и несколько гвоздиков – или же гвоздей?

Амантис рассмеялась. Какое-то время она никак не могла справиться со смехом. Мистер Джим Пауэлл вежливо рассмеялся с ней за компанию. Лишь верный слуга, находившийся в апогее мук негритянского отрочества, смог сохранить горделивую серьезность.

– Мне, наверное, лучше представиться, – сказал гость. – Моя фамилия – Пауэлл. Я из города Тарлтон, штат Джорджия. А этот негр – Хьюго, мой *парень*.

– Ваш *сын*? – Девушка не смогла отвести от них изумленного взгляда.

– Нет, он мой *слуга* – кажется, так у вас здесь принято выражаться? А там, у нас, слугу-негра зовут «парень».

При этом упоминании утонченных обычаев родного края «парень» Хьюго сцепил руки за спиной и бросил мрачный и надменный взгляд на лужайку.

– Да, мэм, – буркнул он, – я слуга!

- А куда вы едете в этом вашем автомобиле? – спросила Амантис.
- Мы хотим провести лето на севере.
- И где же именно?

Турист небрежно махнул рукой, как бы намекая, что путь их лежит к горам Адирондак, к Тысяче островов, в Ньюпорт, но вслух он произнес:

- Мы хотим попасть в Нью-Йорк.
- А вы там когда-нибудь бывали?
- Нет. Но я много раз бывал в Атланте. И по пути сюда мы проезжали самые разные города. Вот как!

Он даже присвистнул, чтобы выразить, как много ему удалось повидать за эту поездку.

– Послушайте, – как можно более убедительным тоном произнесла Амантис, – вам сейчас хорошо бы перекусить. Скажите вашему... вашему слуге, чтобы он сходил на задний двор и попросил кухарку приготовить сэндвичи и лимонад! Или вы не пьете лимонад? Сейчас его уже мало кто пьет...

Круговым движением пальца мистер Пауэлл отправил Хьюго выполнять поручение. Затем робко уселся в кресло-качалку и принялся энергично крутить в руках свою соломенную шляпу.

– Вы очень добры! – сказал он ей. – На случай, если мне вдруг захочется чего-нибудь покрепче лимонада, у меня в автомобиле есть бутылка старой доброй маисовой водки. Я захватил ее с собой, потому что подумал – вдруг мне не понравятся местные напитки?

– Послушайте! – сказала она. – Моя фамилия – тоже Пауэлл! А зовут меня Амантис!

– Вот это да! Даже не верится! – Он упоенно рассмеялся. – Может, мы родня? Я – из очень хорошей семьи, – продолжил он. – Зрите в корень! У меня есть деньги, потому что моя тетка положила их в банк, собираясь на старости лет пожить на курорте, да вот не дожила. – Он помолчал – по всей видимости, чтобы почтить память тетки; затем он опять заговорил с бодрой беспечностью: – Основной капитал я не трогал, но забрал сразу все проценты и решил поехать на все лето на север.

В этот момент на ступеньках веранды появился Хьюго и произнес:

– Белая леди с заднего двора спрашивает меня, не хочу ли и я поесть. Что мне ей сказать?

– Скажи: «Да, мэм, если это вас не затруднит», – отдал приказ хозяин; когда Хьюго опять удалился, он доверительно сообщил Амантис: – Этот паренек совсем ничего не смыслит! Ничего не хочет делать, пока я ему не разрешу! Его я воспитал! – не без гордости добавил он.

Когда принесли сэндвичи, мистер Пауэлл встал. Он не привык к белым слугам и, видимо, ждал, что сейчас ему представят вновь прибывшую даму.

– Вы замужем? – спросил он Амантис, когда служанка ушла.

– Нет, – ответила она и, с присущей восемнадцатилетней девушке уверенностью, добавила: – Я старая дева!

Он вновь вежливо рассмеялся.

– Вы хотите сказать, что вы – светская девушка?

Он покачала головой. Со сдержанным восторгом мистер Пауэлл заметил, что цвет ее волос напоминает золото.

– Разве этот старый дом подходит для светской девушки? – весело сказала она. – Вовсе нет! Я – деревенская девчонка. Мой румянец – на сто процентов от природы, по крайней мере, в дневном свете. Мои поклонники – многообещающие юные цирюльники из соседних деревень, и к рукавам их пиджаков все время пристают чьи-то волосы!

– Ваш отец не должен позволять вам встречаться с деревенскими цирюльниками! – с осуждением заявил турист и задумался. – Вы должны вращаться в нью-йоркском обществе!

– Увы! – Амантис с грустью покачала головой. – Для этого я слишком красива! Чтобы стать светской девушкой в Нью-Йорке, нужно иметь длинный нос, выпирающую челюсть и платье, как у актрис в пьесах трехлетней давности!

Джим принялся ритмично постукивать ногой по полу веранды, и миг спустя Амантис обнаружила, что, сама того не замечая, делает то же самое.

– Прекратите! – скомандовала она. – Не заставляйте меня за вами повторять!

Он посмотрел на свои ноги.

– Прошу прощения! – застенчиво сказал он. – Я и не заметил... Просто у меня привычка такая.

Зашедшую в тупик беседу прервал Хьюго, появившись на крыльце с молотком и горстью гвоздей в руках.

Мистер Пауэлл неохотно поднялся и посмотрел на часы.

– Нам пора, черт возьми! – сказал он, нахмурившись. – Слушайте: хотели бы вы стать светской девушкой из нью-йоркского общества, ходить на всякие там балы, где все вокруг разбрасывают денежки, как это обычно описывают?

Она с любопытством посмотрела на него.

– Ваши родители возвращаются в обществе? – продолжил он.

– У меня есть лишь отец. И он, видите ли, судья...

– Да, жаль... – согласился он.

Она сама, без всякой помощи, вылезла из гамака, и они вместе пошли к дороге.

– Что ж, я не стану терять вас из виду, и если что – дам знать! – продолжил он. – Такая красивая девушка должна вращаться в обществе. Видите ли, мы с вами, может быть, родня – и нам, Пауэллам, всегда нужно держаться друг друга!

– А что вы собираетесь делать в Нью-Йорке?

Они почти дошли до ворот, и турист указал на две жалкие половинки автомобиля:

– Хочу поработать таксистом. Вот оно, мое такси! Жаль только, что оно все время так и норовит развалиться напополам.

– Вы собираетесь ездить по Нью-Йорку на *этом*?

Джим неуверенно на нее посмотрел. Нехорошо, когда такую красавицу бросает безо всякого повода в дрожь!

– Да, мэм! – с достоинством ответил он.

Амантис встала в сторонке. Они подняли верхнюю половинку, установили ее на нижнюю и изо всех сил приколотили ее гвоздями. Затем мистер Пауэлл сел за руль, а его верный слуга уселся рядом с ним.

– Я, разумеется, крайне обязан вам за ваше гостеприимство! Прошу засвидетельствовать мое почтение вашему отцу!

– Обязательно! – уверила она его. – Когда поедете обратно, заезжайте в гости, если вас не слишком смутит присутствие в доме всяких цирюльников!

Он махнул рукой, отогнав неприятное видение.

– Мне будет крайне приятно вновь оказаться в вашем очаровательном обществе! – Он включил передачу, словно пытаясь

заглушить опрометчивость своих прощальных слов. – Вы самая прекрасная девушка на севере. Я не встречал здесь никого лучше вас!

Затем мистер Пауэлл из южного штата Джорджия, на собственном стонущем и грохочущем автомобиле, в сопровождении своего верного слуги, повинаясь собственным устремлениям и окутанный собственным облаком пыли, продолжил свой путь на север, намереваясь провести там все лето.

II

Он решила, что больше никогда его не увидит. Она, стройная и прекрасная, улеглась в гамак, чуть прищурила левый глаз, чтобы увидеть, как наступит июнь, затем закрыла глаза и с удовольствием вернулась в мир своих грез.

Но когда выросший к середине лета плющ уже вскарабкался на шаткие боковинки красных качелей на лужайке, в ее жизнь вновь нерешительно ворвался мистер Джим Пауэлл из Тарлтона, штат Джорджия. И вот они опять сидят рядышком на широкой веранде.

– У меня есть отличный план! – поведал он ей.

– А как же такси? Вы же хотели стать таксистом?

– О, да, мэм! Но дело не пошло. Я стоял и ждал у всех тамошних отелей и театров, но никто ко мне так и не сел.

– Как? Совсем никто?

– Ну, как-то вечером ко мне села одна пьяная компания, но едва я тронулся, как моя машина развалилась. А еще в один дождливый вечер все другие такси разобрали, и ко мне села дама, сказав, что ей надо в другой конец города. Но на полпути она заставила меня остановиться и вышла из машины. Похоже, с ней что-то было не так – она взяла и пошла дальше пешком под дождем. Они там в Нью-Йорке все гордые такие...

– И тогда вы решили отправиться домой? – сочувственно спросила Амантис.

– Нет, мэм! Я кое-что придумал. – Его голубые глаза прищурились. – Как там ваш цирюльник? Заходит? Пиджак от волос почистил?

– Нет. Он... Он уехал!

– Ладно. Тогда, если можно, я бы, во-первых, оставил у вас свою машину... Цвет у нее для такси неподходящий! В качестве оплаты за хранение можете на ней ездить, сколько хотите. Пока у вас с собой молоток и гвозди, можно ничего не бояться...

– Хорошо, я о ней позабочусь, – перебила его Амантис. – А куда направитесь вы?

– В Саутгемптон. Практически все аристократы лечатся там водами, ведь там морской курорт, туда-то мне и надо!

Она выпрямилась и удивленно на него посмотрела:

– И что вы собираетесь там делать?

– Сейчас расскажу. – Он с таинственным видом наклонился к ней. – Вы серьезно хотели бы попасть в нью-йоркское общество?

– Серьезней некуда!

– Это все, что мне нужно знать! – с загадочным видом произнес он. – Вам придется всего лишь подождать тут, на крыльце, пару недель – поспите здесь, только и всего! А если к вам заявятся какие-нибудь цирюльники в усыпанных волосами пиджаках, вы им скажите, что вам так хочется спать, что вы никого не можете видеть.

– А что потом?

– А потом я отправлю вам весточку! Скажите вашему старику, что он может судить, сколько ему вздумается, ну а вы будете танцевать! О, да, мэм! – с решимостью продолжал он. – Общество, говорите? Да месяца не пройдет, как я сделаю так, что этого общества у вас будет хоть отбавляй!

Больше он ничего не сказал. Он вел себя так, словно собрался окунуть ее с головой в бездонный бассейн веселья под аккомпанемент возгласов: «Ну как, мэм, веселья достаточно? Может, добавить еще немного волнения, мэм?»

– Что ж, – ответила Амантис, лениво растягивая слова, – на свете не так много вещей, ради которых я могла бы отказаться от роскошной

возможности проспать здесь весь июль и август; но если вы напишете мне письмо, то я... Я приеду в Саутгемптон!

Джим с упоением щелкнул пальцами.

– У вас будет столько общества, – с абсолютной уверенностью заверил он ее, – сколько не было еще ни у кого и никогда!

Три дня спустя молодой человек в соломенной шляпе – материал на нее, вполне возможно, взяли прямо с соломенной крыши какого-нибудь английского коттеджа – позвонил в дверь громадного и поражающего воображение саутгемптонского особняка семейства Мэдисона Харлана. Молодой человек осведомился у дворецкого, имеются ли в доме господа в возрасте от шестнадцати и до двадцати лет. В ответ он получил информацию, что данным критериям удовлетворяют мисс Женестьева Харлан и мистер Рональд Харлан, после чего молодой человек вручил дворецкому весьма своеобразную визитку и с очаровательным южным акцентом попросил передать ее господам для рассмотрения.

Почти весь следующий час он провел наедине с мистером Рональдом Харланом (который учился в школе «Хиллкис») и мисс Женестьевой Харлан (которая пользовалась определенной известностью в кругу завсегдатаев саутгемптонских балов). Дом он покинул, унося с собой краткую записку, написанную рукой мисс Харлан; эту записку, вместе со своей весьма своеобразной визиткой, он вручил лакею в другом крупном поместье по соседству. Так получилось, что владельцем следующего особняка являлся Клифтон Гарнеус. И, словно бы по волшебству, и там Джима приняли господа точно такого же возраста.

Он продолжал двигаться дальше; день выдался жаркий, но те, кто не мог себе позволить вольностей, были вынуждены ходить в пиджаках даже на улице. А Джим, родившийся на самом юге Джорджии, и к концу дня был все так же свеж и спокоен, как и в начале пути. В тот день он посетил десять особняков. Любой, кто пожелал бы за ним проследить, подумал бы, что это, видимо, какой-то на редкость талантливый коммивояжер, продающий крайне популярную и дефицитную литературу.

В его неожиданном интересе к самым юным членам семейств было нечто такое, от чего даже самые бесчувственные дворецкие утрачивали присущий им скепсис по отношению к незнакомцам. В каждом доме,

который он покидал, до самых дверей его провожали восхищенные взгляды, вслед неслись взволнованные приглушенные голоса, шептавшие что-то о скорой встрече.

На следующий день он посетил еще дюжину особняков. Саутгемптон основательно разросся, и он мог бы еще хоть неделю продолжать обход, встречая на пути все новых и новых дворецких, но его интересовали лишь самые роскошные и шикарные дома.

На третий день он совершил то, о чем говорят многие, но что мало кто делает: он нанял зал. Возможно, это ему подсказали обитатели огромных домов в возрасте от шестнадцати до двадцати. Взятый в аренду зал когда-то был «Частным гимнастическим залом мистера Снорки для джентльменов». Он располагался над каким-то гаражом на южной окраине Саутгемптона и, как я должен с сожалением отметить, в дни своей былой славы являлся местом, где под чутким руководством мистера Снорки джентльмены приводили себя в порядок после не в меру весело проведенной ночи. Теперь же зал был заброшен – мистер Снорки оставил дело, уехал из города и скончался.

А мы сейчас пропустим три недели; можно полагать, что все это время проект, связанный с арендой зала и посещением двух дюжин саутгемптонских особняков, тихо-мирно шел своим чередом.

Перейдем сразу к тому июльскому дню, когда мистер Джеймс Пауэлл отправил мисс Амантис Пауэлл телеграмму. В ней говорилось о том, что если она все еще жаждет веселья, царящего в самом лучшем обществе, то ей надлежит отправиться в Саутгемптон ближайшим же поездом; он лично встретит ее на вокзале.

Свободного времени у Джима теперь совсем не было, и, когда в обещанное в ответной телеграмме время она не прибыла, он не стал ее ждать. Он решил, что она прибудет позже другим поездом, развернулся, собравшись вернуться к своему проекту... И встретил ее в дверях вокзала – она вошла с улицы.

– Но... Но как же вы...

– А я приехала сегодня утром, – ответила Амантис, – и решила вас не беспокоить! Нашла вот вполне достойный, а лучше сказать, скучный пансион на Оушен-роуд!

Она была совсем не похожа на прежнюю томную Амантис в гамаке на крылечке, подумал он. На ней был бледно-голубой костюм и лихо сдвинутая набок маленькая шляпка, украшенная закрученным пером;

выглядела она примерно так же, как и юные дамы в возрасте от шестнадцати до двадцати, которым он последнее время уделял столь пристальное внимание. О да, она замечательно впишется!

С глубоким поклоном он пригласил ее сесть в такси и уселся с ней рядом.

– Ну, что ж, не пора ли вам уже изложить мне ваш план? – спросила она.

– Все дело в здешних девушках из общества! – Он беззаботно махнул рукой. – Я теперь со всеми знаком!

– А где же они?

– Прямо сейчас они с Хьюго! Помните его? Мой слуга?

– С Хьюго? – Она с удивлением посмотрела на него. – Почему с ним? О чем вы?

– Ну, у меня теперь... Ну, что-то вроде школы. Кажется, у вас здесь это так называется...

– Какой еще школы?

– Это вообще-то Академия. А я там директор. Это я ее придумал!

Словно встряхивая термометр, он вытряхнул из визитницы карточку.

– Вот, взгляните!

Она взяла визитку. На ней крупными буквами значилось:

ДЖЕЙМС ПАУЭЛЛ

М. Д. Н.

«ГИТАРА, КОСТИ И КАСТЕТ»

Она с изумлением смотрела на карточку.

– «Гитара, кости и кастет»? – вслух, с легким испугом прочитала она.

– Да, мэм!

– И что это значит? Вы... Вы это продаете?

– Нет, мэм! Я этому учу. Это – моя наука!

– Гитара, кости и кастет? А что такое «М. Д. Н.»?

– Это означает: «Магистр джазовых наук»!

– Но что это такое? Что это за науки?

– Ну, как вам объяснить... Вот, смотрите! Однажды вечером в Нью-Йорке я разговорился с одним парнем; он был пьяный. Сел ко мне в машину. Гулял он с какой-то девушкой из общества – и потерял ее.

– Потерял?!

– Да, мэм! Думаю, он забыл, где он ее оставил! И он, конечно, очень тревожился. Вот я и подумал, что в нынешние времена жизнь таких девушек – ну, девушек из общества – полна опасностей, и мой курс обучения... Они узнают, как от этих опасностей защищаться!

– Вы их учите, как пользоваться кастетом?

– Да, мэм, если понадобится! Вот смотрите, например: какая-нибудь девушка приходит в кафе, где ей лучше бы вообще не появляться. Ее кавалер выпивает чуть больше, чем надо, засыпает, и тут к ней подкатывает какой-нибудь парень и говорит: «Привет, милашка!»... или что там эти приставалялы обычно у вас тут говорят. Что же делать? Она ведь не может закричать, потому что настоящие леди теперь не кричат, нет-нет! Она просто засовывает руку в карман, надевает на руку защитный кастет фирмы «Пауэлл», девичий размер, карманный, выполняет одно движение, которое я называю «Светский хук», и *опачки*! Хулиган немедленно оседает на пол!

– Ну, а... А гитара-то зачем? – испуганно прошептала Амантис. – Что, нужно еще и огреть кого-нибудь гитарой?

– Нет, мэм! – в ужасе воскликнул Джим. – О, нет, мэм! Ни одну даму в моей Академии не учат поднимать гитару на кого бы то ни было! На гитарах у нас учат играть. Ух! Вы бы их слышали! После пары уроков можно подумать, что некоторые из них – цветные!

– А кости?

– Кости? Да они мне как родные! Мой дед был знатным игроком! И я учу, как с ними обращаться. Защищаем не только личность, но и бумажник!

– А ученики у вас есть?

– Мэм, у меня учатся все самые лучшие и богатые люди этого города! Я ведь еще не обо всем вам рассказал! Я учу многим вещам. Они у меня учат и «джелли-ролл», и «восход над Миссисипи». А одна девушка пришла и сказала, что желает научиться щелкать пальцами! Да-да, именно щелкать пальцами, как люди щелкают! Она сказала, что

с детства так и не научилась. Я дал ей пару уроков, и *опачки!* Ее отец уже твердит, что готов из дома сбежать!

– И как часто проходят занятия? – слабым голосом спросила потрясенная Амантис.

– Три раза в неделю. И мы с вами сейчас едем на урок.

– А при чем тут я?

– Вы будете одной из учениц! Я всем рассказал, что вы родом из очень благородной семьи в Нью-Джерси. Я не стал говорить, что ваш отец судья – я сказал, что у него патент на рафинад!

Она ахнула.

– Так что все, что от вас требуется, – продолжил он, – это притвориться, что вы в жизни не встречались с цирюльниками!

Они приехали на южную окраину города, и Амантис увидела много автомобилей, припаркованных перед двухэтажным зданием. Все автомобили были приземистыми, большими, модными и блестящими. Это были машины, которые выпускают специально, чтобы у миллионеров не болела голова о том, что подарить ребенку на восемнадцатилетие.

Затем Амантис поднялась по узкой лестнице на второй этаж. На входной двери, из-за которой доносились звуки музыки и смех, были намалеваны слова:

*ДЖЕЙМС ПАУЭЛЛ, М. Д. Н.
«ГИТАРА, КОСТИ И КАСТЕТ»
Понед., Ср., Птн.
С 15 до 17.*

– Милости прошу! – произнес директор, распахнув перед ней дверь.

И Амантис очутилась в большом светлом помещении, где было много девушек и юношей ее возраста. Поначалу ей показалось, что она попала на оживленный фуршет, но через некоторое время она

заметила, что все происходящее подчиняется определенному ритму и плану.

Ученики были разделены на группы; кто-то сидел, кто-то стоял, но все без исключения жадно впитывали занимавшие их предметы. Шесть юных дам, собравшихся в кружок вокруг каких-то невидимых предметов, издавали серию криков и восклицаний – жалостливых, молящих, просящих, призывных, умоляющих и горестных; их голоса создавали лейтмотив для основного басового тона загадочного лязга.

Рядом с этой группой четверо юношей окружили взрослого негра – и это был не кто иной, как верный слуга мистера Пауэлла! Молодые люди без всякой видимой причины орали на Хьюго, выражая широчайшую гамму эмоций. Их голоса то возносились почти до крика, то звучали мягко и нежно, почти спокойно. Хьюго время от времени им отвечал – то хвалил, то поправлял, то выражал свое недовольство.

– Что они делают? – шепотом спросила Амантис у Джима.

– Это курс по южному акценту. Многие здешние ребята желают научиться разговаривать с южным акцентом, вот мы их и учим говорить, как в Джорджии, во Флориде, в Алабаме, на Восточном побережье и в старой доброй Виргинии. А кое-кто даже пожелал выучиться по-негритянски – чтобы петь блюзы.

Они прошлись среди групп. Несколько девушек с металлическими кастетами яростно бросались на пару боксерских груш, на которых были намалеваны ухмыляющиеся и подмигивающие рожи «приставал». Группа юношей и девушек под аккомпанемент ударного банджо извлекали громкие гармонические обертона из своих гитар. В углу несколько пар на негнущихся ногах танцевали под фонограф, на котором стояла пластинка с записью «Саванна-бэнда» Растуса Малдуна; другие пары торжественно вышагивали по залу неторопливые па «чикаго», перемежаемые «мемфисскими боковыми».

– А есть здесь какие-нибудь правила? – спросила Амантис.

Джим задумался.

– Ну, – ответил он спустя некоторое время, – если нет шестнадцати, то курить запрещается; когда идет игра в кости, нельзя жульничать; и еще я запрещаю приносить в Академию спиртное.

– Понятно.

– А теперь, мисс Пауэлл, если вы готовы, я попросил бы вас снять шляпку и присоединиться к мисс Женевьеве Харлан, тренирующейся у

груши вон в том углу! – Он возвысил голос. – Хьюго! – позвал он. – У нас новая ученица! Выдай-ка ей защитный кастет фирмы «Пауэлл», девичий размер!

III

К сожалению, мне не довелось хоть одним глазком увидеть знаменитую «Академию джаза» Джима Пауэлла и не довелось окунуться под его чутким руководством в премудрости костей, кастетов и гитар. Так что я могу лишь пересказать то, что мне сообщил позднее один из его восхищенных учеников. Впоследствии, когда бы ни зашел разговор об Академии, никто никогда не отрицал, что предприятие пользовалось огромным успехом, и ни один ученик никогда не сожалел о полученном им звании «Бакалавр джаза».

Все родители самым наивным образом предполагали, что это было нечто вроде музыкально-танцевальной школы, а сведения о том, что там преподавалось на самом деле, распространялись от Санта-Барбары до Бедфорд-Пул лишь по секретным каналам «сарафанного радио» так называемого «молодого поколения». Приглашения погостить в Саутгемптоне стали цениться очень высоко, хотя обычно молодежь считает Саутгемптон едва ли не скучнее, чем Ньюпорт.

Академия даже обзавелась филиалом – небольшим, но весьма искусным, джазовым ансамблем.

– Эх, если бы тут можно было приглашать на работу цветных! – посетовал однажды Джим в разговоре с Амантис. – Я пригласил бы «Саванна-бэнд» Растуса Малдуна! Вот это ансамбль! Хоть разок бы с ними сыграть – вот моя мечта!

Он стал прилично зарабатывать. Плата за занятия была невелика – как правило, его ученики были не особенно щедры, – но он, тем не менее, смог переселиться из пансиона в отдельный номер «Казино-отеля», где Хьюго подавал ему завтрак в постель.

Ввести Амантис в общество «золотой молодежи» Саутгемптона оказалось проще, чем он предполагал. Уже через неделю все в Академии обращались к ней запросто, по имени. А мисс Женевьева Харлан так ее полюбила, что даже пригласила на небольшой бал к себе в дом, и там она смогла проявить себя с подобающим тактом, так что впоследствии ее стали приглашать практически на все подобные мероприятия в Саутгемптоне. Теперь Джим видел ее гораздо реже, чем ему бы хотелось. Ее отношение к нему не изменилось – она часто гуляла с ним по утрам, всегда с удовольствием слушала его рассказы о новых планах; но после того, как ее приняли в светском обществе, по вечерам она всегда была занята. Джим не раз приходил к ней в пансион и обнаруживал ее совершенно без сил, словно она только что откуда-то примчалась – по всей видимости, с какого-то увеселения, на котором ему места не нашлось.

Лето подходило к концу, и он обнаружил, что для полного триумфа его предприятия ему кое-чего не хватает... Несмотря на радушие, которым встретили Амантис, лично для него двери саутгемптонских особняков так и не раскрылись. С трех до пяти его ученики вели себя по отношению к нему вежливо и любезно – а лучше сказать, демонстрировали полнейший восторг; но в остальное время они с ним пребывали в разных мирах.

Он оказался в положении профессионального тренера по гольфу: на поле ему позволяют вести себя «на равных» и даже командовать, но с заходом солнца все его привилегии исчезают; ему можно заглянуть в окно клуба и посмотреть на танцующих, но танцевать его никто не позовет. Так и Джим не мог видеть, как его ученики применяют на практике полученные знания. Можно было лишь послушать, как утром они обсуждают свои вчерашние приключения, только и всего.

Но тренер по гольфу, будучи англичанином, всегда с достоинством держит себя на ступеньку ниже своих учеников, а Джим Пауэлл, «из очень хорошей семьи, с юга – зрите в корень!», провел много бессонных ночей в своем гостиничном номере, прислушиваясь к музыке, доносившейся из особняка Кацби или из клуба «Берег», ворочаясь без сна и размышляя, в чем же дело? Добившись первых успехов, он заказал себе фрак, решив, что скоро представится случай его надеть, но фрак так и лежал нетронутым в коробке, в которой его доставили от портного.

Может быть, думал он, их всех и в самом деле отделяла от него какая-то непреодолимая пропасть? Он потерял покой. Почувствовать эту пропасть его заставил один парень – Мартин Ван-Флек, сын местного «мусорного короля». Этому Ван-Флеку был двадцать один год, и он представлял собой типичный продукт репетиторского обучения, все еще надеющийся когда-нибудь поступить в Йельский университет. Джим несколько раз слышал, как он за глаза отпускал насчет него замечания: однажды высказался о многопуговичном костюме, а в другой раз принялся обсуждать остроносые туфли; но Джим пропустил все это мимо ушей.

Он знал, что Ван-Флек посещает Академию преимущественно потому, что здесь он мог проводить время в обществе юной Марты Кацби, которой едва исполнилось шестнадцать. Она была слишком юна для того, чтобы молодой мужчина двадцати одного года мог уделять ей особенное внимание, не говоря уже о Ван-Флеке, душа которого была так измучена крахом его студенческих амбиций, что стала отзываться даже на быстро проходящую наивность шестнадцати лет.

Сентябрь подходил к концу; до бала у Харланов, который для светской молодежи должен был стать последним и самым значительным событием этого сезона, оставалось два дня. Джима, как и всегда, не пригласили – а он так надеялся, что пригласят! Юные Харланы, Роберт и Женестьева, поступили к нему в Академию самыми первыми, когда он только приехал в Саутгемптон; Женестьева с Амантис стали лучшими подругами. Получить приглашение к Харланам на бал – самый великолепный бал сезона – вот что стало бы истинным венцом череды успехов уходящего лета!

Придя на занятие, ученики принялись громко обсуждать предстоящее им завтра веселье, нисколько не обращая внимания на Джима, словно он был чем-то вроде дворецкого. Стоявший рядом с Джимом Хьюго вдруг хихикнул и сказал:

– Гляньте-ка на этого Ван-Флека! Еле шевелится! Он, кажется, основательно принял на грудь!

Джим обернулся и уставился на Ван-Флека, который держался за руки с юной Мартой Кацби и что-то негромко ей шептал. Джим заметил, что Марта пытается от него освободиться.

Он сунул в рот свисток и громко свистнул.

– Внимание! – крикнул он. – Начинаем занятие! Первая группа – упражнение с барабанными палочками, подбрасываем их по спирали высоко вверх; вторая группа – приготовить губные гармоника, играем «Прошвырнемся по бережку»! Сил не жалеть! У кого плоскостопие – туда! Эй, оркестр! Играем «Флоридскую канитель» в похоронном ритме!

Его голос прозвучал непривычно резко, и занятие началось под шутливо-изумленное бурчание.

Джим ходил от группы к группе, а внутри у него тлело негодование по отношению к Ван-Флеку; вдруг Хьюго тронул его за руку, привлекая внимание. Он обернулся. Двое учеников отделились от группы с губными гармониками, и один из них – Ван-Флек – предлагал второму – Рональду Харланду, которому было всего пятнадцать лет, – глотнуть из своей карманной фляжки!

Джим тут же направился к ним. Ван-Флек посмотрел на него с вызовом.

– Так-так... – сказал Джим, дрожа от гнева. – Правила вам известны. Вон отсюда!

Музыка стала утихать, все понемногу стали собираться поближе к месту конфликта. Кто-то фыркнул от смеха. Все напряженно ждали, что же будет дальше. Несмотря на то что к Джиму все относились хорошо, симпатии разделились – ведь Ван-Флек был одним из них!

– Вон отсюда! – повторил Джим, уже потише.

– Это вы мне? – холодно осведомился Ван-Флек.

– Да!

– Тогда вы забыли добавить «сэр»!

– Я не говорю «сэр» тем, кто предлагает мальчишкам виски! Вон отсюда!

– Эй, вы! – Ван-Флек был в бешенстве. – Кто позволил вам лезть не в свое дело? Я знаю Рональда с тех пор, как ему исполнилось два года! Спросите-ка у него, разрешает ли он вам ему указывать, что ему делать!

Рональд Харлан, достоинство которого только что задела, внезапно ощутил себя на несколько лет старше и бросил на Джима надменный взгляд.

– Это не ваше дело! – с вызовом, пусть и не без чувства вины, произнес он.

– Слышали? – спросил Ван-Флек. – Господи, неужели вы не понимаете, что вы – всего лишь прислуга? Разве мыслимо, чтобы Рональд пригласил вас к себе на бал? Вы для него – то же самое, что и бутлегер, который привезет нам туда выпивку!

– *Вонотсюдасейчасже!* – неразборчиво выпалил Джим.

Ван-Флек не пошевелился. Джим резко выбросил руку вперед, схватил его за запястье, выкрутил руку и потянул ее вверх, пока Ван-Флек не согнулся от боли. Пригнувшись, свободной рукой Джим подобрал с полу фляжку. Затем знаком приказал Хьюго открыть дверь, отрывисто произнес: «Шагай!» – и вывел своего беспомощного пленника из зала, а затем буквально спустил его с лестницы, по которой тот и покатился вверх тормашками, ударяясь по пути о стены и о перила, а вслед ему полетела фляжка.

Затем Джим вернулся в зал, закрыл дверь и встал к ней спиной.

– Так уж вышло, что здесь действует правило: в Академии пить запрещается! – Он умолк, глядя на лица учеников, выражавшие сочувствие, благоговейный страх, негодование и смесь всего этого. Ученики беспокойно зашевелились. Джим поймал взгляд Амантис; ему показалось, что она слегка кивнула ему в знак одобрения, и он, сделав усилие, продолжил: – Мне пришлось выставить отсюда этого парня, и вы все тому свидетели! – И он окончил, притворившись, будто не произошло ничего особенного: – Ну, ладно, продолжаем! Оркестр!

Но продолжать никому не хотелось. Царившая до сих пор на занятиях атмосфера легкости была самым грубым образом нарушена.

Кто-то провел разок-другой бутылочным горлышком по струнам гитары, несколько девушек принялись отрабатывать удары по размалеванным боксерским грушам, но Рональд Харланд, а вслед за ним и еще парочка ребят надели шляпы и молча направились к выходу.

Джим и Хьюго, как обычно, перемещались от одной группы учеников к другой – до тех пор, пока не восстановилась определенная степень прежней активности, хотя былого энтузиазма уже было не вернуть. Джим, потрясенный и павший духом, стал думать о том, чтобы объявить на завтра перерыв в занятиях. Но он так и не осмелился произнести это вслух. Ведь если они отправятся по домам в таком настроении, возможно, больше они сюда уже не вернуться. Все здесь зависело от настроения. Он должен его воссоздать, забилаясь у него в голове лихорадочная мысль, сейчас же, немедленно!

Но, как он ни старался, ничего не получалось. Он сам не чувствовал никакой радости, и никакого веселья передать им не мог. Все равнодушно и даже, как ему показалось, с легким презрением наблюдали за его потугами.

Напряжение разрядилось внезапно: громко хлопнула, растворившись настежь, дверь, впуслав внутрь целую свору взволнованных дам среднего возраста. В Академии до сих пор никогда не появлялись лица старше двадцати одного года, но Ван-Флек отправился прямехонько в ставку верховного командования. На зов прибыли миссис Клифтон Гарнье и миссис Поиндекстер Кацби, являвшиеся столпами местного высшего общества, а в тот момент к тому же представлявшие собой двух самых взбудораженных дам во всем Саутгемптоне. Они искали своих дочерей, чем в те времена постоянно занимались и многие другие дамы.

Не прошло и трех минут, как всему предприятию был положен конец.

— А что касается вас, — страшным голосом возопила миссис Клифтон Гарнье, — так вы тут, по всей видимости, держите бар и опиумный притон для детей! Что за ужасный, мерзкий, отвратительный человек! Я чувствую запах морфия! Не надо мне говорить, что здесь не пахнет морфием! Я чувствую этот запах!

— Ах! — рывкнула миссис Поиндекстер Кацби. — Да здесь же негры! Наверняка где-то рядом прячутся и негритянки! Я иду в полицию!

Не удовлетворившись изгнанием из зала собственных дочерей, они настояли на том, чтобы помещение немедленно покинули и дочери их друзей. Джим нисколько не был тронут, когда некоторые — и даже юная Марта Кацби, которую чуть не волоком оттащила от него разъяренная мать, — подбежали к нему, чтобы пожать на прощание руку. Ведь они все равно уходили — кто надменно, а кто с сожалением, стыдливо бормоча извинения.

— Прощайте! — задумчиво произнес он. — Деньги за неиспользованные занятия я верну всем завтра утром!

Да и уходили все, в общем-то, без особых сожалений. С улицы донесся шум их отъезжающих автомобилей — торжествующий грохот моторов заполнил ликованием теплый сентябрьский воздух; так звучит юность и надежды, громоздящиеся ввысь, прямо в небеса. Вперед, к

берегу океана, чтобы окунуться в его волны и забыть – забыть и его, и неуютное чувство, возникшее у них при виде его унижения.

Все разъехались; в зале остались лишь он да Хьюго. Джим вдруг сел, уронил голову и закрыл лицо руками.

– Хьюго! – хрипло сказал он. – А ведь мы им не нужны!

В ответ прозвучал голос:

– Ну и что?

Он поднял голову – рядом с ним стояла Амантис.

– Лучше бы вы уехали с ними, – сказал он ей. – Сейчас я для вас – не лучшая компания!

– Это еще почему?

– Потому что вы теперь – светская девушка, а я для этих людей – всего лишь слуга! Вы ведь теперь в их обществе, это я вам устроил. Так что уходите, а то они вас больше не будут звать к себе на балы!

– А они и так не зовут, Джим, – негромко сказала она. – На завтрашний вот не пригласили.

У него на лице появилось негодование.

– Как же так? Не пригласили?!

Она покачала головой.

– Я их заставлю! – в ярости воскликнул он. – Я им докажу, что они должны! Я... Я...

Она подошла к нему поближе; ее глаза заблестели.

– Джим, да вы не переживайте! – Она хотела его успокоить. – Не о чем переживать! Что мне до них? Завтра мы сами пойдем веселиться – только мы с вами, вдвоем!

– Я ведь из очень хорошей семьи! – с вызовом произнес он. – Зрите в корень!

Она слегка потрепала его по плечу:

– Знаю. Вы – лучше всех их вместе взятых, Джим!

Он встал, подошел к окну и стал печально смотреть, как уходит день.

– Лучше бы я так и оставил вас дремать в вашем гамаке!

Она рассмеялась:

– Я ужасно рада, что вы так не сделали!

Он обернулся и мрачно посмотрел в зал.

– Подмети здесь, Хьюго, и закрывай, – сказал он дрогнувшим голосом. – Лето кончилось, и нам пора собираться домой, на юг!

Осень пришла раньше обычного. Проснувшись на следующий день, Джим Пауэлл обнаружил, что в комнате холодно; феномен сентябрьского морозца на какое-то время заставил его забыть о том, что произошло накануне. А когда он опять вспомнил о вчерашнем унижении, смывшем весь бодрящий блеск с ушедшего лета, его лицо погрузнело. Ему оставалось лишь одно: вернуться туда, где все его знали и где белому человеку никогда и ни при каких обстоятельствах не скажут тех слов, что услышал он здесь в свой адрес.

После завтрака к нему почти вернулась его обычная беспечность. Ведь он родился на юге, и заикливаться на чем-то одном ему было не свойственно. То, что его когда-то ранило, он вспоминал лишь строго определенное количество раз – а затем это событие навсегда уходило в бездонную пустоту прошлого.

Но когда он, в силу привычки, пришел в свое закрытое учреждение, уже перешедшее в разряд воспоминаний, как и ранее сгинувшая здравница мистера Снорки, у него в сердце вновь воцарилась меланхолия. В зале, в глубокой тоске посреди разбитых хозяйских надежд, сидел лишь Хьюго – воплощенное отчаяние.

Обычно нескольких слов Джима было достаточно, чтобы в душе у Хьюго воцарился молчаливый восторг, но сегодня утром этих слов не нашлось. Два месяца Хьюго пребывал на такой вершине, о которой он раньше и мечтать не мог. Он получал истинное удовольствие от своей работы и отдавался ей со всей страстью, появляясь в зале задолго до начала занятий и задерживаясь там даже после того, как расходились все ученики мистера Пауэлла.

День тянулся медленно, впереди был ничего не сулящий вечер. Амантис не пришла, и Джим, отчаявшись, решил, что она, наверное, передумала с ним сегодня ужинать. Возможно, это и к лучшему – никто не увидит ее в его обществе. Хотя, подумал он уныло, их и так никто бы не увидел – все ведь будут на большом балу в особняке Харланов.

Когда сумерки погрузили зал в невыносимый полумрак, он в последний раз запер двери, снял табличку «Джеймс Пауэлл, М. Д. Н. Гитара, кости и кастет» и отправился обратно к себе в отель. Бегло просмотрев неровную кипу счетов, он обнаружил, что предстоит еще заплатить за месяц аренды зала, за несколько разбитых окон и за новое оборудование, которым даже не начали пользоваться. Джим вел дело

на широкую ногу, и в финансовом плане за лето похвастаться оказалось нечем.

Закончив разбираться со счетами, он вытащил из коробки фрак и осмотрел его, проведя рукой по гладким лацканам и сатину подкладки. Фрак, по крайней мере, у него останется – может быть, в Тарлтоне его когда-нибудь пригласят на бал, куда можно будет его надеть?

– Ну и ладно! – с улыбкой произнес он. – Все равно это была всего лишь никчемная школка! Там, дома, есть ребята, которым здешние и в подметки не сгодятся!

Насвистывая без тени уныния «Дженни, царица лентяев», Джим облачился в свой вечерний костюм и отправился в центр города.

– Мне орхидеи! – сказал он приказчику. И с чувством гордости осмотрел свою покупку. Он знал, что ни у одной из девушек на балу у Харланов не будет ничего прекраснее, чем эти экзотические цветы, томно опиравшиеся на зеленые листья папоротника.

Тщательно выбрав такси, чтобы оно как можно больше походило на личный лимузин, он отправился в пансион к Амантис. Она спустилась вниз; на ней было розовое вечернее платье, и орхидеи органично, словно краски закатного солнца, растворились на его фоне.

– Предлагаю отправиться в «Казино-отель», – сказал он. – Ну, или куда хотите.

За ресторанным столиком он посмотрел на погруженный во тьму океан, и его охватила неотвязная печаль. Окна были закрыты, чтобы внутри не было холодно, оркестр играл «Калулу» и «Луну над Южным морем», и на какое-то время, глядя на сидевшую перед ним юную красавицу, он вдруг ощутил разлитую вокруг романтику. Танцевать они не пошли, и он был этому рад – так проще было не думать, что прямо сейчас в другом месте идет бал, яркий и блестящий, но им туда не попасть.

После ужина они сели в такси и час катались по песчаным дорогам; за редкими деревьями время от времени виднелся океан, на поверхности которого отражались звезды.

– Джим! Я хочу сказать вам спасибо, – сказала она, – за все, что вы для меня сделали!

– Пожалуйста! Нам, Пауэллам, надо держаться друг друга!

– Чем теперь собираетесь заняться?

– Завтра уезжаю в Тарлтон.

– Очень жаль, – тихо сказала она. – Поедете на своей машине?

– Придется. Ее надо перегнать на юг, потому что здесь за нее хорошей цены не дадут. С ней ведь все в порядке? Никто не украл ее из вашего сарая? – спросил он, внезапно забеспокоившись.

Она с трудом сдержала улыбку:

– Нет.

– Мне очень жаль... что так получилось с вами... – хриплым голосом продолжал он. – И еще... Я бы сам так хотел попасть хотя бы на один настоящий бал! Не надо было вам со мной вчера оставаться. Может, они вас из-за этого и не позвали?

– Джим, – уверенно предложила она, – а давайте-ка сходим туда, постоим на улице и послушаем их древнюю музыку! Какая нам разница, что они подумают, а?

– Но они же будут выходить на улицу! – возразил он.

– Нет. На улице слишком холодно. И кроме того – разве могут они вам сделать что-нибудь хуже того, что уже сделали?

Она объяснила шоферу, куда ехать, и через несколько минут такси остановилось у красивого, в громоздком георгианском стиле, особняка Мэдисона Харлана, из окон которого на лужайку яркими пятнами света выплескивалось царившее внутри веселье. Изнутри доносился смех, и жалобные напевы модных духовых, и время от времени медленный, таинственный шорох множества танцующих ног.

– Давайте подойдем поближе, – восторженно прошептала Амантис. – Мне хочется послушать музыку!

Они пошли к особняку, стараясь держаться в тени высоких деревьев. Джима понемногу охватывал трепет – внезапно он остановился и схватил Амантис за руку.

– Вот это да! – взволнованно прошептал он. – Вы слышите?

– Что? Сторож идет? – Амантис испуганно оглянулась.

– Это играет «Саванна-бэнд» Растуса Малдуна! Я их однажды слышал, и я уверен, что это они! Это они, это «Саванна-бэнд»!

Они подходили все ближе и ближе – сначала стали видны высокие укладки «а-ля-помпадур», потом – аккуратно зачесанные мужские головы и высокие прически, а затем и короткие стрижки, над которыми нависали галстуки-бабочки. В непрерывном смехе можно было уже различить отдельные голоса. На крыльце появились две фигуры, быстро отхлебнули из фляжки и тут же ушли обратно в дом.

Но Джим Пауэлл был зачарован музыкой. Его взгляд остановился; он двигался, ничего не видя, как слепой.

Они залезли в какие-то темные кусты и стали слушать. Песня кончилась. С океана подул свежий бриз, и Джим слегка задрожал. Затем задумчиво прошептал:

– Мне всегда хотелось с ними сыграть. Хоть раз в жизни! – Его голос стал равнодушным. – Что ж, пойдемте. Думаю, нечего нам тут делать.

Он протянул ей руку, но вместо того, чтобы ее принять, она вдруг шагнула из кустов и вышла на свет.

– А ну-ка, Джим, давайте зайдем внутрь! – внезапно сказала она.

– Что?

Она схватила его за руку; несмотря на то что он попятился назад, оцепенев от ужаса при виде этой дерзости, она настойчиво потянула его к дверям особняка.

– Осторожно! – еле выговорил он. – Кто-нибудь сейчас выйдет и нас заметят!

– Нет, Джим! – уверенно ответила она. – Из этого дома никто не выйдет – зато двое сейчас туда войдут!

– Зачем? – ничего не понимая, воскликнул он, стоя в резком свете фонарей у входа. – Зачем?

– Зачем? – передразнила она его. – А затем, что этот бал дают в мою честь!

Он решил, что она сошла с ума.

– Пойдемте домой, пока нас никто не заметил! – попросил он ее.

Входные двери раскрылись настежь, и на крыльцо вышел какой-то господин. Джим с ужасом узнал мистера Мэдисона Харлана. Джим дернулся, словно намереваясь тут же со всех ног бежать. Но хозяин дома, радушно раскрыв объятия, стал спускаться по лестнице к Амантис.

– Ну, наконец-то, вот и вы! – воскликнул он. – И где это вас носило? Кузина Амантис... – Он поцеловал ее, и со всем радушием обратился к Джиму: – А что касается вас, мистер Пауэлл, – продолжил он, – то в качестве штрафа за опоздание вы должны мне обещать, что присоединитесь к оркестру – хотя бы на одну только песню!

IV

Повсюду в Нью-Джерси было тепло – за исключением той части штата, что лежит под водой и доступна лишь рыбам. Туристы, проезжавшие по длинным дорогам среди зеленеющих полей, останавливали автомобили перед просторным старомодным загородным особняком, глядели на выкрашенные в красный качели на лужайке, на широкую тенистую веранду, вздыхали и ехали дальше – слегка крутнув руль, чтобы не задеть вышедшего на дорогу черного, как смоль, слугу. Этот слуга с помощью молотка и гвоздей чинил ветхий автомобиль с гордо реявшим сзади флажком, на котором значилось: «Город Тарлтон, штат Джорджия».

Девушка со светлыми волосами и румяным лицом лежала в гамаке; казалось, что прямо у вас на глазах она вот-вот погрузится в сон. Рядом с ней сидел джентльмен в чрезвычайно тесном костюме. Девушка и джентльмен приехали вчера с модного курорта в Саутгемптоне.

– Когда вы появились здесь впервые, – говорила она, – я решила, что больше никогда вас не увижу, поэтому и придумала историю про цирюльника и прочее. На самом деле я довольно часто бываю в обществе – как с кастетом, так и без. Этой осенью меня официально представят в свете.

– Да, для меня это хороший урок! – сказал Джим.

– И так получилось, – продолжила Амантис, бросив на него обеспокоенный взгляд, – что меня пригласили в Саутгемптон в гости к кузенам. А когда вы сказали, что поедете туда, мне захотелось узнать, что же вы такое придумали. Ночевала я всегда у Харланов, а комнату в пансионе сняла, чтобы вы ни о чем не догадались. На том поезде, на котором я должна была приехать, я не приехала, потому что надо было приехать пораньше и предупредить всех знакомых, чтобы притворились, будто меня не знают.

Джим встал, с пониманием кивая головой.

– Нам с Хьюго, наверное, лучше уже выдвигаться. Надо успеть доехать до Балтимора, пока не стемнело.

– Это далеко.

– Сегодня мне хотелось бы заночевать уже на юге, – просто ответил он.

Они вместе пошли по дорожке, мимо идиотской статуи Дианы на лужайке.

– Видите ли, – мягко добавила Амантис, – здесь у нас не нужно быть богатым, чтобы вращаться в обществе, в этом плане тут все, как у вас в Джорджии... – Она вдруг умолкла. – Вы ведь приедете в следующем году, чтобы снова открыть Академию?

– Нет, мэм, не приеду. Этот мистер Харлан уже сказал мне, что я могу даже не закрываться, но я сказал ему «нет»!

– А вы... А вы что-нибудь заработали?

– Нет, мэм, – ответил он. – Но процентов с моих денег как раз хватит, чтобы доехать домой. Я свой капитал не трогаю. Одно время с деньгами у меня было неплохо, но жил я на широкую ногу, да еще надо было платить за аренду, и за оборудование, и еще музыкантам. И, кроме того, пришлось ведь раздать обратно авансы за уроки.

– Не надо было этого делать! – с негодованием воскликнула Амантис.

– И никто ведь брать не хотел! Пришлось говорить, что они обязаны забрать деньги!

Он не счел нужным упомянуть, что мистер Харлан даже пытался всучить ему чек.

К автомобилю они подошли как раз тогда, когда Хьюго заколотил последний гвоздь. Джим открыл карман на двери и достал оттуда бутылку без этикетки, в которой плескалась мутноватая жидкость.

– Я собирался купить вам подарок, – неуклюже сказал он, – но деньги у меня кончились еще до того, как я смог его выбрать, так что я вам что-нибудь пришлю, когда доберусь до Джорджии. А это вам небольшой сувенир на память. Вам, конечно, не пристало пить, но, быть может, когда вы выйдете в свет, вам захочется показать всем этим юнцам, что такое настоящая южная майсовая водка!

Она взяла бутылку:

– Благодарю вас, Джим.

– Да не за что! – Он обернулся к Хьюго: – Что ж, нам пора. Отдай леди молоток!

– Ах, оставьте его себе! – со слезами на глазах сказала Амантис. – Прошу вас, обещайте, что еще приедете!

– Может быть.

Он посмотрел на ее светлые волосы и в ее голубые глаза, чуть сонные и подернутые дымкой от слез. Затем сел в автомобиль, и как только его нога уперлась в сцепление – он вдруг преобразился.

– Я говорю вам до свидания, мэм! – произнес он с впечатляющим достоинством. – Мы отбываем на зиму на юг!

Он махнул своей соломенной шляпой, указывая в сторону Палм-Бич, Сен-Августин, Майами. Его верный слуга покрутил заводную ручку двигателя, уселся на свое место и принялся трястись вместе с затрясшимся автомобилем.

– На зиму, на юг! – повторил Джим, а затем с нежностью добавил: – Вы – самая красивая девушка на свете! Возвращайтесь домой, ложитесь в гамак и засыпайте... Засыпайте!

Его слова прозвучали, словно колыбельная. Он поклонился – его поклон, почтительный, исполненный достоинства и глубокий, предназначался не только ей, но и всему американскому северу...

И они поехали вперед, в совершенно неуместном облаке пыли. Но не успели они доехать до первого поворота, как Амантис увидела, что автомобиль остановился, пассажиры вышли на дорогу, установили съехавший кузов обратно на раму и, не оглядываясь, вновь заняли свои места. Поворот – и вот они скрылись из виду; лишь легкое сизое облачко свидетельствовало о том, что они только что здесь были.

Ринг Ларднер

На протяжении полутора лет автор этой статьи был ближайшим соседом и приятелем Ринга Ларднера; затем нас разделила география, и встречались мы редко. В 1931 году мы с женой

видели его в последний раз, и уже тогда он выглядел так, словно стоял одной ногой в могиле, – ужасно грустно было видеть бессильно распластавшиеся на больничной койке шесть футов и три дюйма доброты. Его руки дрожали, с трудом удерживая легкую спичку, кожа на его красивом лице была туго натянута, словно маска горя и нервной боли.

Он был совсем другим, когда мы с ним познакомились в 1921 году, – в нем тогда бурлила жизненная энергия, которой, казалось, хватит, чтобы пережить кого угодно и за счет которой он мог позволить себе долгие периоды безостановочного труда, непосильные для обычного человека. Недавно он заставил содрогнуться от смеха всю страну, читавшую его знаменитую сагу о котятках и воротнике (речь там шла о ставке на победу в чемпионате страны, от которой зависела судьба нескольких пушистых котят), и его жена гордо демонстрировала результат этой ставки – роскошное соболиное манто. В те дни его интересовали люди, спорт, бридж, музыка, театр, газеты, журналы и книги. Но пусть я об этом и не догадывался, уже тогда в нем началась перемена: дюжину лет, до самой смерти, его преследовало по пятам непроницаемое отчаяние.

Он почти совсем перестал спать; высыпаться ему удавалось лишь в периоды кратких каникул, специально посвященных простым радостям жизни – чаще всего это был гольф с друзьями, с Грентлендом Райсом или Джоном Уилером. Немало ночей мы с ним провели за болтовней и канадским элем, а на рассвете Ринг обычно вставал, зевал и говорил: «Ну, что ж... Дети, наверное, уже в школе, так что пора по домам».

Он никогда не мог забыть о несчастьях других людей – например, о том, что доктора вынесли смертный приговор карикатуристу Тэду (а тот прожил после этого едва ли не дольше, чем сам Ринг), – и выглядело это так, словно он верил, что в подобных случаях можно и нужно чем-то помочь. Он всегда старался как можно лучше выполнять условия всех своих контрактов – один из них, газетная колонка спортивных комиксов про «качка», был самым настоящим кошмаром, – и было очевидно, что в своей работе он не видит никакого движения, считая ее просто «писаниной». Поэтому свое вселенское чувство ответственности он был склонен направлять на решение чужих проблем: то он искал для кого-то выходы на театральные

импресарио, то помогал другу искать работу, то изобретал для кого-то хитрый способ получить членство в престижном клубе. Зачастую намеченная цель явно не стоила затраченных усилий; все это было нужно, чтобы скрыть правду, состоявшую в том, что Ринг просто-напросто отлынивал от работы – он оставался добросовестным и честным трудягой до самого конца, но уже лет за десять до смерти перестал получать какое-либо удовольствие от своего труда.

Приблизительно в то же время (1922 год) одно издательство предприняло попытку переиздать его старые книги и выпустить сборник новых рассказов, что дало ему возможность войти в мир литературы, а не только в общественное сознание; он получил некоторое удовлетворение от неоднократных заявлений Менкена и Ф. П. А., подтверждавших его истинную ценность как писателя. Но мне кажется, что ему было все равно – это сложно понять, но на самом деле ему было совершенно наплевать на все, за исключением личных отношений с некоторыми людьми. Показательно его отношение к имитаторам, не укравшим у него разве что последнюю рубашку; так, как его, обворовывали разве что Хемингуэя; самих этих имитаторов их воровство беспокоило больше, чем Ринга. Он считал своим долгом им помогать, если у них что-то не получалось!

На протяжении всего того периода, когда заработки были высоки, а репутация, как среди критиков, так и среди читателей, все более укреплялась, две вещи казались Рингу важнее всей той работы, благодаря которой его будут помнить. Он хотел стать музыкантом – и иногда с иронией говорил о том, что в нем погиб композитор; и еще ему хотелось стать драматургом. Его отношения с продюсерами достойны отдельного рассказа: они постоянно нанимали его на проекты, о которых сами тут же начисто забывали; у него принимали готовые либретто, но до постановки они так и не доходили. (Ринг оставил краткую ироничную зарисовку о Зигфилде.) Лишь с помощью практичного Джорджа Кауфмана ему удалось достичь своей цели, но к тому времени он был уже слишком болен, чтобы получить от этого какое-либо удовлетворение.

Все вышесказанное говорит о том, что все, чего добился Ринг, не идет ни в какое сравнение с тем, на что он был способен, – и все потому, что к своей работе он относился цинично. Где же зародилось такое отношение – в юности, когда он жил в мичиганской глубинке?

Несомненно, оно уже присутствовало, когда он ездил по стране с «Кьюбс». Те годы, когда большинство обладающих творческим потенциалом людей взрослеют, получая некий жизненный опыт – пусть даже этим университетом является война, – Ринг провел в обществе пары дюжин невежд, играющих в ребячью игру. В игру для мальчишек, специально созданную для того, чтобы любой мальчишка мог достичь в ней вершин, в игру, ограниченную рамками, надежно изолирующими ее от любых новшеств, опасностей, перемен или приключений. Вот какой материал и в каких обстоятельствах наблюдал Ринг, вот что послужило ему школой и учебником в самый плодотворный для формирования мышления период! Писатель может рассказывать о своих приключениях снова и снова, и после тридцати, и после сорока, и после пятидесяти, но критерии, по которым эти приключения будут взвешиваться и оцениваться, окончательно формируются к двадцати пяти годам. Как бы глубоко ни погружался во все это Ринг, его «пирог» по размеру точно укладывался в границы ромба Фрэнка Ченса.

Вот в чем для него, как для художника, заключалась главная проблема; и в будущем она сулила ему неприятности. Пока он писал, не выходя за рамки стадиона, результат был превосходным: здесь он смог уловить и воспроизвести голос целого континента. Но когда Ринг, что было неизбежно, вырос из своей темы, что же у него осталось?

У него осталась его великолепная этимологическая техника – и с таким невеликим преимуществом он почувствовал себя довольно беспомощно. Его сформировал тот самый мир, на который он и направлял свою веселую иронию! На практике, с боем, он приобрел знание движущих людьми побуждений, а также знание средств, которые люди применяют для достижения своих целей. Но теперь перед ним встала новая проблема: что со всем этим делать? Он продолжал наблюдать, и его оптический нерв исправно передавал картинку в мозг, но в слова все это больше не облекалось, потому что все, что он видел, было невозможно взвесить и измерить по прежней мерке. Дело было не в том, что он был убежден в том, что в жизни нет ничего, кроме спортивных доблестей; проблема была в том, что ничего лучше он не видел. Представьте себе жизнь, в которой смыслом обладает лишь физическая активность: в ней существует лишь пробуждение, напряжение сил, хороший отдых, пот, ванная, еда,

занятия любовью, сон, – представьте, что в жизни ценно лишь это; а затем попробуйте применить этот стандарт к ужасной путанице существования, где все – даже самые великие идеи, вещи и достижения – часто выглядит беспорядочным, разношерстным и аморальным; вот тогда вам удастся представить, в каком замешательстве оказался Ринг, выйдя за пределы бейсбольного стадиона.

Он продолжал записывать, но больше уже ничего не воспроизводил, и этот груз, который он так и нес в себе до самой могилы, в последние годы стал уродовать его духовно. Мешал не страх ненароком выдать, что родом он из глухой деревушки Найлз, штат Мичиган; мешала привычка к молчанию, сформировавшаяся из-за близости к «высоколобым», рядом с которыми он жил и работал. Не забывайте, что это были не скромные «высоколобые» – этим качеством как раз отличался сам Ринг; это была элита высокомерная, властная, часто с явными признаками мании величия. У него появилась привычка помалкивать, затем – все время себя сдерживать, что в результате вылилось в форме его чудного крестового похода против модных скабрёзных песенок на страницах журнала «Нью-Йоркер». В согласии с самим собой он принял решение высказывать вслух лишь малую часть того, о чем он думал.

Автор этой статьи однажды посоветовал ему придумать какую-нибудь «сюжетную схему», в рамках которой можно будет продемонстрировать его талант на должном уровне, имея в виду, что из этого выйдет нечто глубоко личное, что-то такое, на что Рингу не будет жаль потраченного времени. Он отверг эту идею, не задумываясь. Он был разочарованным идеалистом, но всегда был верен своей судьбе и никакой другой не принял бы. «Да, это можно будет напечатать, – ответил он. – Но пусть и эта идея отправится в общую кучу впечатлений, которые никогда не будут описаны».

В таких ситуациях он всегда прикрывался своей неспособностью к «крупной форме», но это была лишь видимость – он обладал гордым характером и не имел причин недооценивать свои способности. Он отказывался «выговориться», потому что в решающий период жизни у него сформировалась привычка этого не делать, и постепенно это переросло в эстетическое кредо. Такая форма ему попросту не нравилась!

И теперь меня преследует не только чувство личной утраты, но и сожаление о том, что Ринг оставил на бумаге лишь малую часть себя – гораздо меньше, чем любой другой американский автор высшего класса. Осталась книга «Эл, ты ж меня знаешь!», осталось с дюжину великолепных рассказов (господи, он ведь даже их не сохранил – тексты для книги «Как писать рассказы» собирались по библиотекам пересъемкой из подшивок старых журналов!), и еще осталось несколько уморительнейших и вдохновенных абсурдных текстов – лучшее в этом жанре со времен Льюиса Кэрролла. Остальное, по большей части, довольно заурядные вещи, не без проблесков, конечно, но я оказал бы Рингу плохую услугу, если бы сказал, что все им написанное следует без разбора водрузить на алтарь и считать достойным поклонения, как это произошло с литературным наследием Марка Твена. Этих трех книг вполне достаточно для тех, кто не был лично знаком с Рингом Ларднером. Но я осмелюсь предположить, что всякий, кто был с ним знаком, согласится: эта личность была гораздо более масштабной, чем ее можно представить себе по литературным работам. Гордый, застенчивый, серьезный, проницательный, вежливый, мягкий, добрый, сострадательный и благородный – вдобавок к симпатии, которую вызывают все эти качества, при общении с ним люди испытывали еще и благоговение. Когда включались его намерения и воля, для них не существовало преград – он всегда выполнял все, что бы он ни пообещал. Частенько он олицетворял собой «меланхолика Жака», и тогда находиться в его обществе, разумеется, было нелегко; но при любых обстоятельствах с ним всегда оставалось присущее ему благородное достоинство – и время, проведенное в его обществе, никогда не проходило зря.

У меня на столе лежат письма, которые Ринг писал нам с женой; вот письмо в тысячу слов, а вот – в пару тысяч; в них – театральные сплетни, обсуждения нюансов писательского труда, изредка – блестящие остроумные пассажи, но только изредка, потому что в этом плане Ринг был экономен и приберегал лучшее для своей работы, для своих зарисовок. Я приведу здесь самое типичное из того, что оказалось у меня под рукой:

В пятницу на прошлой неделе был концерт клуба «В складчину». Мы с Грантом Райсом заказали столик, а за столиком уместится ровно десять человек. Я в числе других пригласил и Джерри Керна, а он в самый последний момент позвонил и объявил, что не придет. Я сказал Гранту Райсу, а он сказал, что у него подходящей замены нет, но будет жалко, если билет пропадет, ведь их так трудно достать. Так что я позвонил Джонсу, и Джонс согласился и спросил, нельзя ли привести с собой еще одного бывшего сенатора, с которым он дружит и который очень помог ему в Вашингтоне. Я сказал, что мне очень жаль, но у нас за столиком все места заняты, а кроме того, еще одного лишнего билета у нас нет. «Ну я, может быть, достану билет», – сказал Джонс. «Это вряд ли, – сказал я, – и у нас все равно нет места за столом». – «Ничего, – сказал Джонс, – сенатора можно подсадить поест за другой столик, а к нам он потом подсядет, когда начнется концерт». – «Да, – сказал я, – но у нас ведь нет для него билета». – «Ну, я что-нибудь придумаю», – сказал он. И он придумал – просто пришел и привел с собой сенатора, и я потратил кучу времени, добывая еще один билет и впихивая сенатора за соседний столик, где ему вовсе не были рады, а потом, ближе к концу вечера, сенатор поблагодарил Джонса, назвал его лучшим в мире другом, ну а мне досталось от сенатора два слова: «Всего хорошего» – и все!

Ну, ладно, надо заканчивать, пора грызть морковку.

Р. У. Л.

Рингу удавалось выразить себя даже в телеграмме. Вот пример:

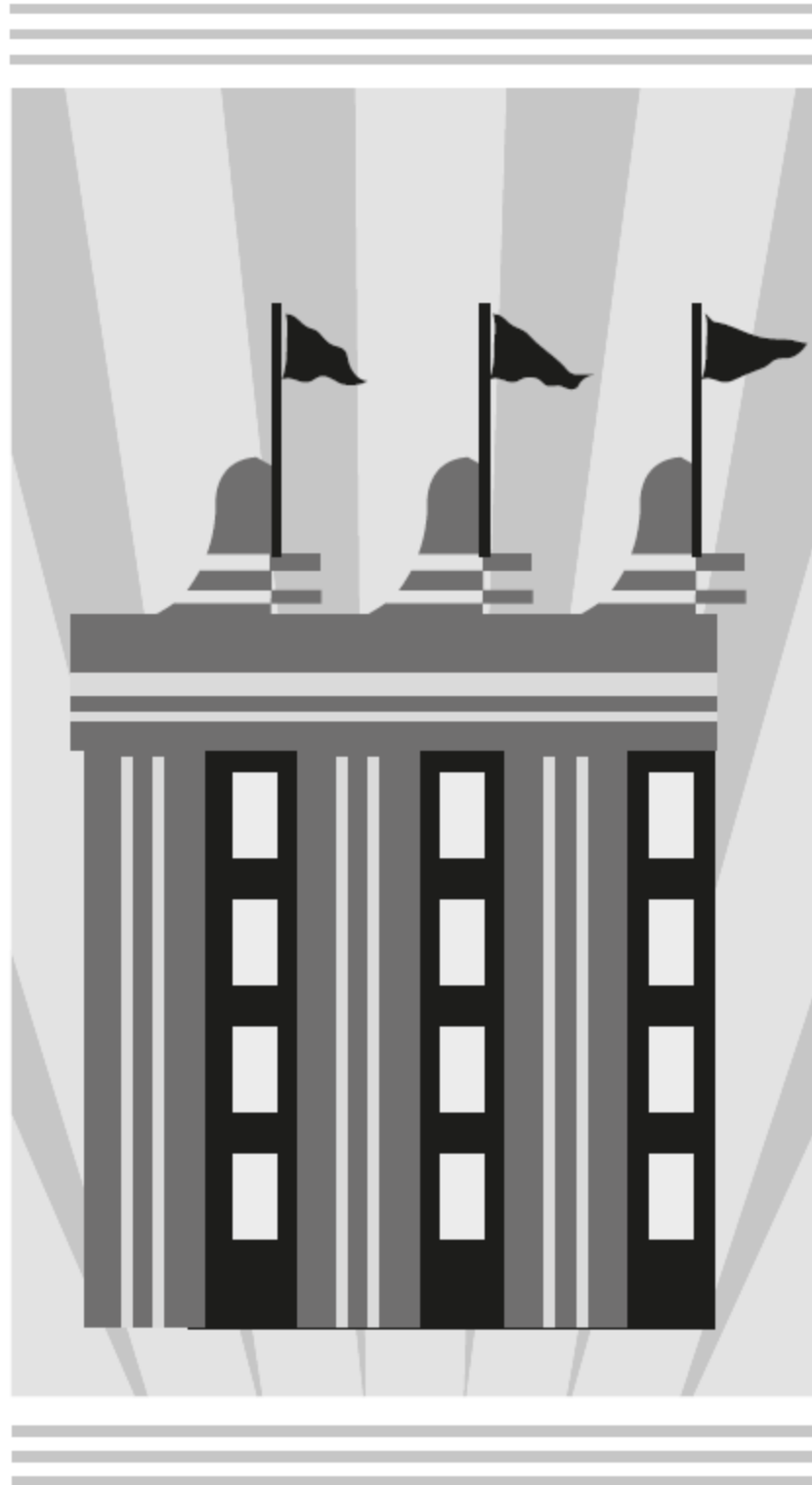
*КОГДА ВЫ ВОЗВРАЩАЕТЕСЬ И ЗАЧЕМ ТЧК
ЖДУ ОТВЕТА ТЧК
РИНГ ЛАРДНЕР.*

Сейчас неподходящий момент, чтобы вспоминать о том, каким компанейским парнем был Ринг – тем более что уже задолго до смерти он утратил вкус к беспорядочной богемной жизни и, более того, ко всему, что обычно называется «развлечениями», лишь его интерес к популярным песням оставался неизменным. Благодаря радио и большому количеству музыкантов, совершавших паломничество к одру больного, к которому их притягивала сила его личного обаяния, в последние дни у него было утешение, и он извлек из него многое, сочиняя веселые пародии на тексты песен Коула Портера для журнала «Нью-Йоркер». Но автор этой статьи не может не упомянуть и о том, что десять лет назад, когда он и Ринг были соседями, не раз и не два встречались они за одним столом и обменялись множеством слов о людях и обо всем на свете. Я никогда не считал, что знаю его достаточно хорошо или что кто-нибудь его хорошо знает. Мне не казалось, что в нем есть еще многое и со временем оно выйдет на поверхность – скорее, здесь было какое-то качественное различие; с ним возникало ощущение, будто ты попросту не способен проникнуть в нечто неразгаданное, новое и несказанное. Вот почему мне бы очень хотелось, чтобы Ринг написал побольше о том, что было у него на уме и на сердце. Это могло бы подольше сохранить его для нас, а это и само по себе было бы неплохо. И мне бы очень хотелось знать, что он мог бы рассказать, ну а теперь мне остается лишь гадать: чего хотел Ринг, чего он желал, что он думал обо всем, что происходит?

Скончался выдающийся, прекрасный американец. Не будем заваливать его гроб цветами, а просто подойдем и посмотрим на эти красивые черты, отшлифованные печалью, которых нам, быть может, не дано понять. Ринг не нажил себе врагов, поскольку был добрым человеком и дарил миллионам людей облегчение и радость.

Отбой на заре (1934)

Гарольду Оберу



Бэзил

Охотники за скандалами

I

Стоял жаркий майский день, и миссис Бакнер решила: если принести ребятам кувшин фруктового лимонада, они не побегут обедаться мороженым в кафе. Она верила, что ее взаимоотношения с детьми были точно такими же, как и ее взаимоотношения с родителями. Для ее, уже ушедшего, поколения великая революция в американском семейном укладе была еще впереди: дело было двадцать лет назад.

Бывают поколения, близкие тем, что пришли им на смену, а между иными поколениями лежит бесконечный и непреодолимый разрыв. Миссис Бакнер – дама с характером, принадлежавшая к высшему обществу одного крупного города на Среднем Западе, – неся кувшин фруктового лимонада через собственный просторный двор, на самом деле преодолевала промежуток времени лет в сто. Образ ее мыслей был бы вполне понятен ее прабабке, а вот то, что сейчас происходило на втором этаже конюшни, было бы совершенно непонятно им обоим. В комнате, когда-то служившей спальней для кучера, сын миссис Бакнер и его приятель вели себя совсем не так, как полагается детям, а, если можно так сказать, экспериментировали в вакууме. Они производили первые пробные комбинации из идей и материалов, нашедшихся под рукой, – идей, самой судьбой предназначенных сначала появиться на свет, затем – ошеломить, а после стать «общим местом». В тот момент, когда миссис Бакнер позвала ребят, они, фигурально выражаясь, высиживали в умиротворяющей тишине тех

еще не вылупившихся птенцов, появиться которым надлежало лишь к середине двадцатого столетия.

Рипли Бакнер спустился по лестнице и взял лимонад. Бэзил Дьюк Ли рассеянно на это посмотрел и произнес:

- Большое спасибо, миссис Бакнер!
- Вам там не слишком жарко?
- Нет, миссис Бакнер. Все в порядке.

Там было душно; но они едва замечали жару, и каждый выпил по два больших стакана лимонада, даже не заметив, что до этого им очень хотелось пить. Из выпиленного в полу люка они достали толстую, в красной обложке из искусственной кожи, тетрадь, которая с недавних пор почти полностью занимала все их свободное время. На первой странице (если вы, конечно, знали секрет чернил из лимонного сока) можно было прочесть: «Скандальная хроника. Составлена „Охотниками за скандалами“ Рипли Бакнером-младшим и Бэзилем Д. Ли».

В эту тетрадь заносились все достигавшие ушей мальчишек отступления от незыблемых моральных устоев, совершенные их согражданами. Кое-какие ошибки совершили те, чьи головы уже покрыла седина, – эти истории гуляли по городу давно и оказались забальзамированы в тетради лишь благодаря неосторожной эксгумации за обеденным столом в кругу семьи. Были там и совершенные мальчишками и девчонками их возраста более волнующие грехи, о которых было известно наверняка, и те, о которых лишь поговаривали. Некоторые записи взрослые прочитали бы со смущением, иные записи могли бы вызвать у них гнев, и было там три-четыре свежие записи, чтение которых повергло бы в ужас и отчаяние родителей фигурировавших в них детей.

Одна из самых безобидных записей, по поводу включения которой у них имелись сомнения, хотя происшествие и шокировало их не далее как в прошлом году, гласила: «Элвуд Леминг три или четыре раза посетил стрип-шоу в клубе „Стар“».

Другая – ставшая, благодаря своей уникальности, одной из самых любимых – гласила о том, что «Х. П. Крамнер совершил на востоке страны кражу, за которую его могли бы посадить в тюрьму, вот почему ему пришлось сюда переехать». Этот Х. П. Крамнер теперь слыл одним из старейших и солиднейших горожан.

Единственным недостатком «Хроники» являлось то, что читать ее можно было лишь при помощи воображения, поскольку невидимые чернила хранят секреты до того самого дня, когда страницы поднесут поближе к огню – тогда записи проявятся. Чтобы определить, какие страницы уже исписаны, требовалось самое тщательное исследование, и одно довольно серьезное обвинение против одной пары уже успело наложиться на мрачноватые факты о том, что миссис Р. Б. Кэри страдала чахоткой, а ее сына, Уолтера Кэри, исключили из школы в Паулинге. Но не шантаж являлся целью этой работы. Информация сохранялась на случай, если герои этих историй вдруг «что-нибудь задумают» против Бэзила и Рипли. Обладание этими фактами давало им ощущение силы. Бэзил, например, никогда не замечал ни малейшей угрозы со стороны мистера Х. П. Крамнера, но стоило тому хотя бы намеком дать понять, что он что-нибудь задумал против Бэзила, как перед ним тут же развернулась бы летопись его собственных грехов.

Справедливости ради следует отметить, что «Хроника» в нашем рассказе более не появится. Много лет спустя тетрадь обнаружил под крышкой люка кто-то из слуг и, увидев, что все страницы пустые, отдал ее своей дочке; и все проступки Элвуда Леминга и Х. П. Крамнера в итоге оказались навеки скрыты под переписанной набело «Геттисбергской речью» Линкольна.

«Хронику» придумал Бэзил. От своего приятеля он отличался богатым воображением и избытком сил. Бэзилу было четырнадцать, глаза его всегда сияли. У него были каштанового цвета волосы, для своих лет он был не очень высок; в школе он считался способным, но ленивым. Больше всего ему нравились книжки про благородного грабителя Арсена Люпена – это был романтический феномен, недавно импортированный из Европы и вызывавший горячее восхищение подростков в первых скучающих десятилетиях двадцатого века.

Рипли Бакнер, носивший в то время, как и Бэзил, короткие «детские» бриджи, являлся немногословным и практичным членом партнерства. Его ум молниеносно реагировал на плоды воображения Бэзила, и никакой план не казался ему чересчур фантастическим для того, чтобы тут же не произнести в ответ: «Решено! За дело!» Поскольку третий состав школьной бейсбольной команды, где они играли за питчера и кетчера, распустили после неудачного апрельского сезона, ребята проводили вечера, силясь придумать для себя такой

образ жизни, который соответствовал бы напору таинственной энергии, безвылазно циркулировавшей у них внутри. В тайнике под люком были спрятаны широкополые шляпы, пестрые шейные платки, шулерские игральные кости, сломанные наручники, легкая плетеная веревочная лестница, по которой можно было бежать на улицу через окно, а также ящик с гримом, в котором лежали два старых театральных парика и накладные бороды различных оттенков; все это дожидалось момента, когда ребята определятся, какие же именно незаконные предприятия им предстоит осуществить.

Покончив с лимонадом, они закурили по сигаретке «Хоум Ран» и повели бессвязный разговор о преступлениях, профессиональном бейсболе, сексе и местной театральной труппе. Разговор прервался, как только с примыкающей к дому улицы донеслись звуки шагов и знакомые голоса.

Они осторожно выглянули из окна. Голоса принадлежали Маргарет Торренс, Имогене Биссел и Конни Дэйвис, которые шли напрямик через улицу от двора дома Имогены до двора дома Конни в конце квартала. Юным дамам было, соответственно, тринадцать, двенадцать и тринадцать лет, и они не подозревали, что за ними кто-то наблюдает, поскольку в унисон своим шагам исполняли умеренно-смелую пародию на модную песенку, прерываемую приглушенным хихиканьем и набирающую силу в громком припеве: «Ах, моя любезная Клементина!»

Бэзил и Рипли вместе высунулись из окна, но, вспомнив, что из одежды на них только рубашки, тут же сползли за подоконник.

– Мы вас слышим! – крикнули они хором.

Девочки остановились и рассмеялись. Маргарет Торренс тут же старательно задвигала челюстью, чтобы показать, что у нее во рту жвачка и что не в жвачке дело. Бэзил тут же все понял.

– Откуда следуете? – строго спросил он.

– От Имогены!

Они ходили за сигаретами в дом миссис Биссел. Их предположительно легкомысленное настроение заинтересовало и взволновало ребят, и они продолжили беседу. Конни Дэйвис была девушкой Рипли во время последнего семестра в танцевальной школе; Маргарет Торренс играла определенную роль в недавнем прошлом Бэзила; Имогена Биссел только что вернулась после года,

проведенного в Европе. За последний месяц ни Бэзил, ни Рипли вообще не вспоминали о девочках; это новое явление заставило центр вселенной внезапно переместиться из их секретной комнаты к стоявшим на улице особам.

– Поднимайтесь к нам! – позвали они.

– Лучше вы спускайтесь! И приходите на двор Уортонов!

– Хорошо!

Едва не забыв спрятать «Скандальную хронику» и ящик с гримом, мальчишки поспешили на улицу, оседлали велосипеды и поехали.

Собственные дети Уортонов выросли уже давно, но двор их дома по-прежнему оставался тем судьбой назначенным местом, где днем собираются дети. Этот двор обладал множеством достоинств. Он был просторным, неогороженным с обеих сторон, туда можно было въехать прямо с улицы на роликах или на велосипеде. Там были старые качели-весы, воздушные качели, пара летающих колец. Но местом встреч этот двор стал задолго до того, как все это там появилось, ведь для детей это место обладало притягательной силой, которая заставляет их вечно толпиться на неудобных ступеньках какого-нибудь крыльца и бегать с друзьями в скромный, принадлежащий непонятно кому уголок, собирающий всех окрестных ребят. Двор Уортонов уже давно являлся таким вот притягательным местом; дни напролет там стояла глубокая тень, все время что-то цвело, окрестные собаки были дружелюбными, в траве, то тут, то там, зияли куски вытоптанной бесчисленными колесами и ногами земли. В паре сотен футов оттуда в жалкой нищете под обрывом жили «маки» – прозвище досталось им по наследству, ведь в основном это были скандинавы; когда все остальные развлечения приедались, достаточно было нескольких криков, чтобы банда «маков» принялась карабкаться на холм, и можно было встретить их лицом к лицу и принять бой, если позволяло численное превосходство, или разбежаться по своим уютным домам, если дело грозило обернуться не столь удачно.

Было пять вечера, и на дворе в этот приятный и романтический час перед ужином собралась небольшая толпа ребят – лучше этого часа, пожалуй, лишь промежуток летних сумерек, наступающий вслед за ним. Бэзил и Рипли рассеянно объехали на велосипедах вокруг двора, периодически скрываясь под деревьями, останавливаясь то тут, то там, чтобы хлопнуть кого-нибудь по плечу. Они прикрывали глаза от блеска

заходящего солнца, которое, как и сама юность, светит слишком ярко, чтобы на него можно было смотреть прямо, и требует, чтобы его свет приглушался, пока оно не погаснет совсем.

Бэзил подъехал к Имогене Биссел и от нечего делать продемонстрировал, как он умеет кататься на одном колесе. Видимо, его лицо в тот момент чем-то ее привлекло, потому что она посмотрела на него – посмотрела на него по-настоящему – и медленно улыбнулась. Через несколько лет ей суждено было стать красавицей и королевой множества балов. Но в то время большие карие глаза, крупный, красивой формы рот и румянец на худощавых скулах делали ее похожей на эльфа, что раздражало тех, кто любит, чтобы дети выглядели самым обычным образом. На миг Бэзилу приоткрылось будущее, и он внезапно поддался чарам ее жизненной силы. Впервые в жизни он почувствовал девушку как нечто цельное, прямо противоположное себе, созданное для того, чтобы его дополнять, и почувствовал приятный озноб от смеси радости и боли. Это было абсолютно ясное переживание, и он воспринял его совершенно сознательно. Летний вечер внезапно растворился в ней одной: теплый воздух, тенистые живые изгороди, усыпанные цветами холмы, оранжевый солнечный свет, смех и голоса, доносившееся из дома через дорогу бреление на фортепьяно, – все это вдруг словно утратило свой аромат, передав его лицу сидевшей Имогены, посмотревшей на Бэзила с улыбкой.

На мгновение Бэзил почувствовал, что переживание было для него чересчур сильным. Он постарался о нем забыть, потому что был не способен его воспринять, не осмыслив его сначала наедине с самим собой. Он принялся быстро наворачивать круги на велосипеде; проехал рядом с Имогеной, даже не взглянув на нее. Когда через некоторое время Бэзил вернулся назад и спросил, может ли он проводить ее сегодня домой, тот момент – если она вообще его почувствовала – был ею уже забыт, и она очень сильно удивилась. Они пошли по улице, и Бэзил повел свой велосипед рядом.

– Выйдешь сегодня вечером гулять? – волнуясь, спросил он. – На дворе Уортонов, наверное, будет много народу.

– Я спрошу у мамы.

– Я позвоню тебе по телефону! Если ты не пойдешь, я тоже не пойду!

– Почему? – Она опять ему улыбнулась, вселяя в него надежду.

– Потому что не хочу.

– Но почему ты не хочешь?

– Послушай, – быстро сказал он, – кто из ребят нравится тебе больше, чем я?

– Никто. Больше всех мне нравишься ты... и еще Хьюберт Блэр.

Бэзил не почувствовал никакой ревности, услышав рядом со своим именем еще одно. С Хьюбертом Блэром ничего нельзя было поделаться – к нему можно было лишь отнестись философски, как и делали все ребята, занимаясь критическим разбором девичьих сердец.

– А мне больше всех нравишься ты! – отчаянно признался он.

Масса пестревшего розовыми облаками неба над головой теперь не казалась непреодолимой. Он стремительно погружался в океан невыразимого очарования, а внутри него вздымались теплые волны, которые он устремлял потоками – вместе со всей своей жизнью – к этой девушке.

Они подошли к воротам ее дома.

– Зайдешь в гости, Бэзил?

– Нет. – Он понял, что совершил ошибку, но сказанного не воротить. Нечто неосязаемое только что от него ускользнуло. Но он все же не спешил уходить. – Хочешь, я подарю тебе кольцо своей школы?

– Да, если ты так хочешь...

– Я принесу его вечером. – И его голос слегка дрогнул, когда он добавил: – Но только в обмен!

– На что?

– Так, пустяки...

– Что? – Ее румянец усилился; она поняла.

– Ты знаешь. Будешь меняться?

Имогена смущенно огляделась вокруг. В медово-сладкой тишине, сгустившейся у крыльца, Бэзил затаил дыхание.

– Это просто неслыханно... – прошептала она. – Но, может быть... До вечера!

Настало лучшее время дня, и Бэзил был ужасно счастлив. Лето он с матерью и сестрой проведет на озерах, а осенью его отправят в школу-пансион. Затем он поступит в Йель, станет выдающимся спортсменом – если, конечно, эти две мечты расположить хронологически друг за другом, ведь сейчас они сосуществовали независимо, бок о бок, – а уже после этого пора будет становиться благородным грабителем. Все шло отлично. В его голове носилось столько заманчивых идей, что ему иногда с трудом удавалось уснуть.

И то, что сейчас он с ума сходил по Имогене Биссел, ничуть его не отвлекало, а было просто еще одной отличной идеей. Она пока не несла в себе никакой мучительной боли, а рождала лишь сверкающее и стремительное волнение, в котором он и неся в майских сумерках на двор Уортонов.

На нем была его любимая одежда: белые полотняные бриджи, крапчатая шерстяная куртка с поясом, воротничок марки «Бельмонт» и серый вязаный галстук. Вот такая симпатичная фигурка, со слегка взмокшими и блестящими черными волосами, свернула на знакомую и обретшую новое очарование лужайку, присоединившись к голосам в сгущающейся тьме. Там было три-четыре девочки из домов по соседству и почти вдвое больше мальчишек; теплым и далеким центром притяжения, на фоне падавшего из окон дома света, была украшавшая собой боковую веранду группа ребят постарше, изредка добавлявшая таинственного смеха уже и без того перегруженной ночи.

Перемещаясь от одной еле различимой группы к другой, Бэзил удостоверился, что Имогена еще не появлялась. Найдя Маргарет Торренс, он отвел ее в сторону и небрежно произнес:

– А мое старое колечко все еще у тебя?

Весь прошлый год в танцевальной школе Маргарет считалась его девушкой, что выражалось в том, что он пригласил ее на котильон в честь закрытия сезона. К этому времени роман уже дышал на ладан; тем не менее его вопрос прозвучал довольно бестактно.

– Да, где-то лежит, – беспечно ответила Маргарет. – А что? Хочешь забрать его?

– Ну, вроде того...

– Ладно. Мне оно и не нужно было! Ты же сам уговорил меня его взять, Бэзил! Завтра отдам.

– А сегодня не сможешь, а? – Его сердце подпрыгнуло, когда он увидел невысокую фигурку у задней калитки. – Мне оно очень нужно прямо сегодня!

– Ну ладно, Бэзил.

Она побежала к своему дому на другой стороне улицы, а Бэзил – за ней. На крыльце сидели мистер и миссис Торренс, и, пока Маргарет бегала к себе наверх за кольцом, Бэзил сумел преодолеть свое волнение и нетерпение, ответил на все вопросы о здоровье родителей, которые молодежи кажутся столь бессмысленными. Затем на него внезапно напала оторопь; он замолчал, а его взгляд остекленел – он заметил, что происходит на той стороне улицы.

Из густой тени, окутывавшей дальний конец улицы, внезапно появилась быстро движущаяся, почти летящая фигура, всплывшая в пятно света, отброшенное фонарем перед домом Уортонов. Фигура передвигалась туда-сюда зигзагами по четкой траектории, то устремляясь вперед и высекая роликами искры из брусчатки, то чудесным образом скользя назад, выполняя фантастические повороты, грациозно задрав ногу в воздух, – и из темноты к тротуару потянулись группы ребят, чтобы посмотреть на это чудо. Бэзил издал негромкий стон, осознав, что из всех возможных вечеров Хьюберт Блэр выбрал для своего прибытия именно этот.

– Так ты говоришь, что вы собрались этим летом на озеро, Бэзил? Вы сняли там коттедж?

Через некоторое время Бэзил понял, что мистер Торренс повторяет этот вопрос уже в третий раз.

– Да-да, сэр, – ответил он. – То есть, я хотел сказать, нет! Мы остановимся в гостинице.

– Наверное, там будет здорово, правда? – сказала миссис Торренс.

На другой стороне улицы, под фонарем, стояла Имогена, а перед ней наворачивал круги Хьюберт Блэр в лихо заломленной набекрень кепке. Бэзил поежился, услышав, как Хьюберт фыркает от смеха. Бэзил даже не заметил Маргарет, пока она не оказалась рядом и не сунула ему в руку кольцо, словно фальшивую монету. Вымученным глухим голосом он попрощался со взрослыми и на непослушных от

дурного предчувствия ногах побрел вслед за Маргарет обратно, на другую сторону улицы.

Остановившись в тени, он стал смотреть не на Имогену, а на Хьюберта Блэра. Без сомнений, Хьюберт выделялся среди остальных ребят. Отличительным признаком красоты для детей младше пятнадцати является форма носа. Внимание родителей могут привлекать красивые глаза, блестящие волосы или изумительный румянец, но подростки обращают внимание лишь на нос и на то, как он располагается на лице. Гибкий, элегантный и спортивный торс Хьюберта Блэра увенчивало вполне стандартное пухлое лицо, а на этом лице торчал пикантный вздернутый носик – почти что девичий, словно с картинки Харрисона Фишера.

Хьюберт вел себя уверенно; ни сомнения, ни капризы его никогда не мучили. Танцевальную школу он не посещал – его родители переехали в город всего лишь год назад, – но он и так уже успел превратиться в легенду. Хотя большинство мальчиков его недолюбливали, они не могли не отдавать дань его виртуозным акробатическим способностям, а для девушек каждое его движение, каждая шутка и даже его равнодушие были исполнены прямо-таки безмерного очарования. Бэзил уже несколько раз с этим сталкивался, а теперь перед ним вновь развернулась наводящая уныние комедия.

Хьюберт снял ролики, притворился, что один из них выскальзывает у него из руки, и тут же умудрился поймать его за шнурок, не дав ему упасть на брусчатку; Хьюберт выхватил ленточку из прически Имогены и бросился бежать; Имогена, в полном восторге, смеясь, побежала за ним вдогонку по двору, и он принялся от нее уворачиваться. Он поставил ноги крест-накрест и притворился, что сейчас облокотится о дерево, нарочно промахнулся, но удержался от падения и не без изящества устоял на ногах. Сначала мальчишки лишь искоса за ним наблюдали. А затем и они тоже пришли в движение, вытворяя все, что только придет в голову, – и даже сидевшие на крыльце стали вытягивать шеи, привлеченные внезапным всплеском энергии в саду. Но Хьюберт хладнокровно развернулся спиной к своему успеху. Он схватил шляпку Имогены и принялся примеривать ее разными уморительными способами. Имогена и все остальные девочки были в полном восторге!

Не в силах более выдерживать этот отвратительный спектакль, Бэйзил подошел к ребятам и произнес самым небрежным тоном, на который оказался способен:

– О, привет, Хьюби!

Хьюберт ответил:

– О, привет, старина Бэйзи-Крейзи! – И тут же надел шляпку на новый манер, да так, что и Бэйзил не смог удержаться и захихикал.

– Бэйзи-Крейзи! Привет, Бэйзи-Крейзи! – Этот клич обежал весь сад. Среди прочих Бэйзил услышал и голос предателя Рипли!

– Хьюби-Бубби! – быстро нашелся Бэйзил; но его плохое настроение сказалось и на шутке, не снискавшей никакого успеха, хотя несколько ребят и повторили ее пару раз, отдав ей должное.

Бэйзил загрустил, и в надвигающейся закатной тьме фигурка Имогены стала обретать новое, недостижимое очарование. Бэйзил был романтично настроенным мальчиком, и его воображение уже успело наделить девушку всевозможными достоинствами. Теперь он ненавидел ее за равнодушие, но все так же упрямо продолжал держаться рядом с ней в тщетной надежде, что ему еще удастся выжать из нее хоть малую толику того бурного восторга, который был так бездумно растрочен днем.

С заманчивым оживлением он попытался было завести разговор с Маргарет, но Маргарет отвечала ему неохотно. Из темноты уже донесся первый голос, позвавший кого-то домой. Бэйзила охватила паника; почти закончился самый блаженный час летнего вечера. Когда ребята расступились, чтобы пропустить пешеходов, ему удалось оттеснить в сторонку не слишком-то желавшую этого Имогену.

– Я принес его, – прошептал он. – Вот, смотри! Можно мне проводить тебя домой?

Она встревоженно посмотрела на Бэйзила. Ее пальцы автоматически сомкнулись на кольце.

– Что? Ах, но я пообещала Хьюберту, что сегодня меня проводит он! – Взглянув на Бэйзила, она вышла из своего гипнотического состояния и добавила с легким укором: – Я ведь видела, как ты убежал с Маргарет Торренс, как только я пришла во двор!

– Нет! Я просто бегал за кольцом!

– Нет, ты убежал! Я же видела!

Ее взгляд вновь устремился на Хьюберта Блэра. Хьюберт опять надел ролики и стал ритмично подпрыгивать и вставать на цыпочки, словно африканский знахарь, медленно погружающий племя в гипнотический транс. Бэзил все также продолжал объясняться и спорить, но Имогена отвернулась и ушла. Он обреченно последовал за ней. Из темноты стали доноситься новые голоса, звавшие детей домой, и неохотные отклики со всех сторон.

– Хорошо, мама!

– Сейчас иду, мам!

– Мама, ну можно еще хоть пять минуточек?

– Мне пора! – воскликнула Имогена. – Уже почти девять!

Помахав рукой и равнодушно улыбнувшись Бэзилу, она пошла вдоль по улице. Сбоку от нее гарцевал и выделывал разные трюки Хьюберт, кружась, обгоняя и описывая вокруг нее головокружительные пируэты.

Лишь некоторое время спустя до Бэзила дошло, что к нему обращается другая юная дама.

– Что? – рассеянно переспросил он.

– Хьюберт Блэр – самый лучший парень в городе, а ты – главный воображала! – повторила Маргарет Торренс тоном глубокого убеждения.

Он молча уставился на нее, словно получив неожиданный и болезненный удар. Маргарет наморщила носик и, повинувшись настойчивым крикам с другой стороны улицы, удалилась. Бэзил посмотрел ей вслед. Затем проводил взглядом исчезнувшие во тьме за углом фигуры Имогены и Хьюберта. И в этот момент со знойного неба раздался низкий раскат грома, а миг спустя на залитые светом фонаря листья над головой упала первая капля дождя, скатившись прямо на тротуар к его ногам. Этому дню суждено было кончиться дождем.

И начался ливень. Бэзил моментально промок до нитки, хотя всю дорогу бежал – до дома было целых восемь кварталов. Но перемена погоды, словно волна, перевернула его сердце, и он бежал вприпрыжку, ловя ртом дождевые капли и громко крича «Эге-гей!», сливаясь со свежим и диким хаосом ночи. Имогена исчезла, смытая, словно дневная пыль с брусчатки. Ее прекрасный образ вновь появится перед его мысленным взором в ясную погоду, но сейчас, среди бури, Бэзил остался наедине с самим собой. У него появилось ощущение безмерной переполнявшей его силы – такой, что его ничуть не удивило бы, если бы один из его диких прыжков унес его навсегда от земли. Он чувствовал себя одиноким волком, диким и непостижимым, ночным бродягой, демоническим и свободным. И только когда он добрался до дома, его эмоции – впрочем, исключительно умозрительные и почти бесстрастные – обратились против Хьюберта Блэра.

Он переоделся. Надел пижаму и халат, спустился в кухню, где ему на глаза попался свежее испеченный шоколадный пирог. Он съел большой кусок и выпил почти целую бутылку молока. Душевный подъем немного уменьшился, он пошел к телефону и позвонил Рипли Бакнеру.

- У меня есть план, – сказал он.
- Какой?
- Как О. С. могут проучить Х. Б.!

Рипли моментально понял, что имелось в виду. Сегодня вечером Хьюберт был столь неосторожен, что очаровал не только мисс Биссел, но и других девушек.

- Нам понадобится Билл Кампф, – сказал Бэзил.
- Хорошо.
- Встречаемся завтра у тайника. Спокойной ночи!

Четыре дня спустя, когда мистер и миссис Джордж П. Блэр заканчивали ужинать, Хьюберта позвали к телефону. Миссис Блэр воспользовалась его отсутствием, чтобы поговорить с мужем о том, что тревожило ее весь день.

– Джордж, эти мальчишки – или уж не знаю, кто они, – вчера вечером опять приходили!

Муж нахмурился:

– Ты их видела?

– Их видела Хильда и чуть не поймала одного из них! Видишь ли, я рассказала ей про записку, которую они оставили в прошлую среду, – ту, где было написано: «Первое предупреждение – О. С.», так что она была наготове. На этот раз они позвонили в дверь черного хода, и она вышла к ним прямо из кухни. Если бы руки у нее были не мокрые, она бы точно поймала одного, потому что ей удалось его схватить за руку, когда он сунул ей записку, но руки у нее были в мыле, он вырвался и убежал.

– Как он выглядел?

– Она сказала, что он был очень маленького роста, и ей показалось, что это был загримированный мальчишка. Он увернулся от нее, как мальчишка, и еще она, кажется, заметила, что на нем были детские бриджи. Записка такая же, как и предыдущая. Там написано: «Второе предупреждение – О. С.».

– Она у тебя? Покажи мне после ужина!

Хьюберт, поговорив по телефону, вернулся за стол.

– Звонила Имогена Биссел, – сказал он. – Пригласила в гости. У нее сегодня собирается целая компания.

– Хьюберт, – спросил отец, – ты, случайно, не знаешь никого из мальчишек с инициалами О. С.?

– Нет, сэр.

– Точно?

– Да, точно. Когда-то я знал одного парня по имени Оливер Стоун, но я его уже год как не видел.

– И что он был за мальчик?

– Ну, хулиган такой. Он учился в школе 44, когда я туда ходил.

– Он что-то против тебя имел?

– Вряд ли.

– Как ты думаешь, кто бы это мог быть? Есть кто-нибудь, кто имеет что-то против тебя?

– Не знаю, папа. Думаю, что нет.

– Не нравится мне это, – задумчиво сказал мистер Блэр. – Может, это просто мальчишки, но кто его знает...

Он умолк. Позже он внимательно изучил записку. Буквы были красными, в углу были нарисованы череп и скрещенные кости, но, поскольку текст был напечатан на машинке, по почерку ничего определить было нельзя.

Хьюберт тем временем поцеловал маму, нахлобучил свою кепку набекрень и, пройдя через кухню, вышел на заднее крыльцо, собираясь по привычке пойти короткой дорогой через аллею. Ярко светила луна; он на мгновение задержался на крыльце, чтобы завязать шнурок. Если бы он только знал, что этот телефонный звонок был ловушкой, что звонили совсем не из дома Имогены Биссел, что говорящий был вовсе не девочкой и что прямо за калиткой в аллее прятались расплывчатые причудливые тени, он не стал бы столь грациозно и ловко соскакивать со ступенек, засунув руки в карманы и насвистывая модную песенку «Гризли» посреди этой, как ему казалось, мирной ночи.

В аллее его свист разбудил самые разные чувства. Бэзил удачно продемонстрировал свой смелый фальцет по телефону чуть раньше, чем было нужно, и «Охотники за скандалами», несмотря на спешку, не успели подготовиться как следует. Ребята только что разделились. Бэзил занял позицию прямо за воротами Блэров; в гриме он был похож на старорежимного плантатора с Юга. Билл Кампф, с длинными, как у цыгана, усами, крепившимися ниткой к его ноздрям, двигался к нему, скрываясь в тени забора. Рипли Бакнер с прямо-таки раввинской бородой все еще находился в сотне футов от условленного места, пытаясь свернуть длинную веревку. Эта веревка являлась существенной деталью их плана; после долгих размышлений они все же придумали, что можно сделать с Хьюбертом Блэром. Они решили его связать, заткнуть ему рот кляпом, а затем запихнуть его в стоявший около его же дома мусорный бак.

Идея поначалу показалась им ужасной – в баке ведь грязь, испачкается его одежда, и еще он там может задохнуться! И мусорный бак – символ всего самого противного – победил лишь потому, что все другие наказания по сравнению с этим стали казаться банальными.

Место это было самое для него подходящее, и их сомнения быстро развеялись: одежду можно отстирать, а если не закрывать крышку, то он и не задохнется! Чтобы в этом убедиться, они провели разведку и осмотрели мусорный бак семейства Бакнеров – заглянули вовнутрь и восхитились, представив Хьюберта внутри, среди очистков и яичной скорлупы. Затем двое из них тут же выбросили эту часть плана из головы и сконцентрировались на заманивании жертвы в аллею, где им предстояло одержать над ней верх.

Радостный свист Хьюберта застал их врасплох, и все трое замерли, не сказав друг другу ни слова. Бэзила осенило: если придется нападать на Хьюберта в одиночку, без Рипли, который по плану должен был помочь засунуть в рот жертве кляп, то крики Хьюберта привлекут внимание грозной кухарки, которая чуть не поймала его вчера. Эта мысль погрузила его в состояние нерешительности. И именно в этот момент Хьюберт открыл калитку и вышел в аллею.

Двое оказались лицом к лицу, их разделяло всего лишь пять футов, и Бэзил внезапно совершил поразившее его открытие. Он вдруг понял, что Хьюберт Блэр ему нравится – нормальный парень, ничуть не хуже, чем все его приятели! У него напрочь исчезло какое-либо желание хватать Хьюберта Блэра и запихивать его, с его забавной кепкой и всеми заморочками, в мусорный бак. Он был готов даже встать на его защиту! Мгновенно подстроившись под изменившуюся ситуацию и впустив в свой разум эту столь несвоевременную мысль, он развернулся и бросился бежать по аллее к улице.

На мгновение внезапно возникшая прямо перед ним призрачная тень испугала Хьюберта, но после того, как тень развернулась и ударилась в бегство, он набрался храбрости и пустился в погоню. Сильно отстав, через пятьдесят ярдов он решил, что все равно уже никого не догонит, вернулся на аллею и опрометчиво направился на другую ее сторону, где оказался лицом к лицу с еще одним низкорослым и волосатым незнакомцем.

У Билла Кампфа, обладавшего, в отличие от Бэзила, не столь сложной душевной организацией, не было никаких сомнений. По плану следовало засунуть Хьюберта в мусорный бак; и пусть лично у него никаких претензий к Хьюберту не было, план действий уже отпечатался у него в голове и он намеревался ему следовать. Он был простым парнем – охотником, так сказать, – и, как только живое

существо превращалось в дичь, он, не колеблясь, принимался его преследовать до тех пор, пока жертва не прекращала сопротивление.

Но необъяснимое бегство Бэзила он заметил и решил, что, по всей вероятности, на горизонте появился отец Хьюберта и пустился за ними в погоню, так что Билл тоже развернулся и устремился по аллее. Это заметил Рипли Бакнер и, не теряя времени на расспросы, с энтузиазмом устремился за Биллом. И Хьюберт был так ошеломлен, что пустился за ними в погоню. Но затем, решив, что лучше пусть себе бегут, он развернулся и на полном ходу устремился обратно домой.

А Бэзил тем временем обнаружил, что никто его не преследует. Стараясь держаться там, где потемнее, он пошел обратно к аллее. Он ничуть не испугался – он просто на время утратил способность действовать. На аллее было пустынно; не было видно ни Билла, ни Рипли. Он увидел, как во двор вышел мистер Блэр, подошел к забору, открыл калитку, посмотрел туда-сюда и вернулся в дом. Бэзил подошел поближе. С кухни доносился громкий разговор – можно было различить громкий и хвастливый голос Хьюберта, а также испуганный голос миссис Блэр, и еще изредка доносился веселый хохот пары слуг-шведов. Затем из открытого окна донесся голос мистера Блэра, говорившего по телефону:

– Позовите, пожалуйста, начальника участка... Господин начальник, говорит Джордж Пи Блэр! Господин начальник, у нас здесь объявилась какая-то банда, которая...

Бэзил молнией понесся прочь, на бегу срывая с себя фальшивые плантаторские усы.

V

Имогена Биссел, которой совсем недавно исполнилось тринадцать, еще не привыкла принимать гостей по вечерам. Сегодняшний вечер выдался скучным и одиноким – она рассматривала накопившиеся за

месяц счета, разбросанные по столу в комнате матери, как вдруг из прихожей донеслись голоса вошедших в дом Хьюберта Блэра и его отца.

– Я подумал, что лучше уж приведу его сам, – говорил матери Имогены мистер Блэр. – Похоже, что сегодня вечером на аллее около нашего дома ошивалась какая-то банда.

Миссис Биссел никогда не бывала в гостях у миссис Блэр, поэтому этот неожиданный визит застал ее врасплох. Ей даже закралась в голову немилосердная мысль о том, что это был всего лишь грубый предлог для завязывания отношений, изобретенный мистером Блэром ради его жены.

– Да что вы! – воскликнула она. – Я уверена, что Имогена будет счастлива увидеться с Хьюбертом... Имогена!!!

– Эти бандиты явно сидели в засаде и поджидали Хьюберта, – продолжал мистер Блэр. – Но он у меня храбрый парень и заставил их бежать! Но я все же не осмелился отпустить его к вам одного.

– Разумеется! – согласилась она.

Но она так и не поняла, с какой это стати Хьюберт вообще решил заявиться к ним в гости? Он, конечно, был очень милым мальчиком, но Имогена и так ходила с ним гулять вот уже три вечера подряд. Честно говоря, миссис Биссел рассердилась, и ее голосу явно не хватило тепла, когда она пригласила мистера Блэра пройти в гостиную.

Они все еще стояли в холле, и мистер Блэр стал понемногу замечать, что все идет не совсем так, как должно бы. И тут в дверь опять позвонили. Когда открылась дверь, на пороге стоял Бэзил Ли, покрасневшийся и запыхавшийся.

– Добрый вечер, миссис Биссел! Привет, Имогена! – воскликнул он нарочито-бодрым тоном. – А где же остальные?

Бесстрастный наблюдатель счел бы приветствие слегка грубоватым и неестественным, но все присутствовавшие к тому времени были уже порядочно озадачены.

– А мы сегодня не ждали гостей! – удивленно ответила Имогена.

– Что? – Бэзил с преувеличенным ужасом разинул рот, его голос слегка дрогнул. – Хочешь сказать, что не звонила мне и не приглашала на вечеринку?

– Ну конечно же нет, Бэзил!

Имогену взволновало внезапное прибытие Хьюберта, и ей пришло в голову, что Бэзил, должно быть, явился нарочно и выдумал этот предлог, чтобы все испортить. Она одна из всех присутствовавших почти угадала правду; но она недооценила истинное побуждение Бэзила, которым сейчас владела не ревность, а смертельный страх.

– Но ведь мне-то ты звонила, правда, Имогена? – уверенным тоном произнес Хьюберт.

– Нет-нет, Хьюберт! Я никому не звонила.

Среди поднявшегося шума недоуменных восклицаний вновь раздался звонок в дверь, и щедрая на сюрпризы ночь исторгла из себя Рипли Бакнера-младшего и Уильяма Си Кампфа. Как и Бэзил, они выглядели несколько взъерошенными и запыхавшимися и тоже, не менее резко и категорично, стали интересоваться, где вечеринка, горячо настаивая на том, что их пригласила по телефону Имогена.

Хьюберт рассмеялся, затем стали смеяться все остальные, и натянутость исчезла. Имогена, поверив Хьюберту, поверила и всем остальным. Не в силах более сдерживаться в присутствии неожиданных слушателей, Хьюберт принялся рассказывать о своем потрясающем приключении.

– Видимо, за всеми нами охотится какая-то банда! – воскликнул он. – Когда я вышел из дома, в засаде на нашей аллее меня поджидали какие-то парни. Один был здоровый, с седыми усами, но когда он увидел меня, то тут же бросился бежать. Затем я пошел по аллее, и там было еще несколько человек, иностранцы какие-то или что-то в этом роде, и я пошел прямо на них, а они пустились в бегство. Я попробовал их догнать, но они так испугались, что бежали слишком быстро – даже для меня!

История так захватила Хьюберта и его отца, что они не заметили, как трое слушателей вдруг стали пунцовыми, и их ничуть не смутил громкий смех в ответ на вежливое приглашение миссис Биссел пройти в гостиную, чтобы все-таки устроить вечеринку.

– Хьюберт, не забудь рассказать об угрозах, – напомнил мистер Блэр. – Видите ли, Хьюберт получал письма с угрозами. А вам, ребята, угрожали?

– Да, мне! – неожиданно произнес Бэзил. – С неделю назад я получил что-то вроде угрожающего письма на клочке бумаги.

На мгновение обеспокоенный взгляд мистера Блэра задержался на Бэзиле, и его охватило сильное не то чтобы подозрение, а какое-то неопределенное недоверие. Возможно, нечто непривычное в бровях Бэзила – там все еще оставались клочки щетины от парика – соединилось в его подсознании со странными событиями сегодняшнего вечера. Он озадаченно покачал головой. Затем его мысли успокоились, переключившись на храбрость сына и проявленное им присутствие духа.

А тем временем Хьюберт, исчерпавший свой запас фактов, изготовился к прыжку в чертоги воображения.

– И я ему сказал: «Так это ты посылал мне угрозы!», и он ударил меня левой, а я увернулся и дал ему с правой. Думаю, что попал, потому что он заверещал и побежал. Черт, как же быстро он бежал! Жаль, ты этого не видел, Билл, он бегают, почти как ты!

– А он был высокий? – спросил Бэзил, громко шмыгнув носом.

– Еще бы! Ростом – как мой отец.

– А остальные тоже были высокие?

– Конечно! Они были ужас какие высокие! У меня не было времени их рассматривать, я просто крикнул: «А ну, пошли вон отсюда, бандиты, или я вам сейчас задам!» Они стали сопротивляться, но я влепил одному из них с правой, и они поняли, что лучше им бежать.

– Хьюберт говорил, что это, похоже, были какие-то итальянцы, – перебил его мистер Блэр. – Правда, Хьюберт?

– Они выглядели как-то необычно, – сказал Хьюберт. – Один из них был похож на итальянца.

Миссис Биссел пригласила всех в столовую, где на столе появился пирог и грейпфрутовый сок для гостей. Имогена села рядышком с Хьюбертом.

– Расскажи мне все подробно, Хьюберт! – попросила она, сложив руки и всем своим видом выражая внимание.

Хьюберт вновь поведал историю своего приключения. Теперь на ремнях преступников уже появились ножи; переговоры Хьюберта с бандитами стали более продолжительными, громкими и язвительными. Он стал грозить им тем, что могло их ожидать, если они не перестанут валять дурака; они было схватились за ножи, но тут же передумали и пустились в бегство.

В середине этого повествования с другой стороны стола раздалось забавное фырканье, но когда Имогена посмотрела в ту сторону, то увидела, что Бэзил с невинным видом просто сидит и намазывает варенье на кусочек пирога. Тем не менее через минуту звук повторился, и на этот раз ей удалось поймать довольно злое выражение у Бэзила на лице.

– Интересно, а что бы сделал ты, Бэзил? – язвительно поинтересовалась она. – Могу поспорить, что ты бы от них бежал, и только пятки бы сверкали!

Бэзил положил в рот кусок пирога и тут же подавился – этот инцидент Билл Кампф и Рипли Бакнер отчего-то встретили взрывом хохота. По мере продолжения истории Хьюберта казалось, что любые, даже самые мелкие, инциденты за столом вызывали у ребят все более громкое веселье. Аллея теперь просто кишела злодеями, а борющийся с неблагоприятными обстоятельствами Хьюберт стал вызывать у Имогены некое раздражение, но она никак не могла признаться себе, что рассказ ей попросту надоел. Напротив, каждый раз, когда Хьюберт припоминал новую деталь и начинал все сначала, она бросала на Бэзила враждебный взгляд, ощущая к нему все более глубокую неприязнь.

Когда все перешли в библиотеку, Имогена пошла к пианино, где и уселась в одиночестве, а мальчики сгрудились на кушетке рядом с Хьюбертом. К ее досаде, они явно были готовы слушать его рассказ снова и снова. Время от времени они издавали странные приглушенные смешки, но как только повествование начинало буксовать – они тут же начинали требовать продолжения:

– Ну же, давай, Хьюберт! А напомним-ка, который из них бежал быстрее, чем Билл Кампф?

Она была рада, когда через полчаса все встали и решили расходиться по домам.

– С самого начала и до конца – это крайне странное дело! – сказал мистер Блэр. – Не нравится мне все это! Надо будет завтра пригласить детектива и обсудить, что да как. И что им было надо от Хьюберта? Что они хотели с ним сделать?

Никто не решился ответить. Даже Хьюберт промолчал, с почтительным ужасом задумавшись о своей возможной судьбе. Во время перерывов в его повествовании разговоры переходили на такие

косвенно связанные с делом предметы, как убийства и привидения, и этими разговорами ребята вогнали себя в состояние заметной паники. Все и на самом деле поверили – в разной, конечно, степени – в то, что в окрестностях завелась банда похитителей детей.

– Не нравится мне все это! – повторил мистер Блэр. – Пожалуй, провожу-ка я вас всех по домам, ребята!

Бэзил воспринял это предложение с чувством облегчения. Вечер, без всяких сомнений, удался, однако разбуженных однажды фурий не всегда удается удержать в узде. Сегодня вечером ему как-то не хотелось ходить по улицам в одиночестве.

В прихожей Имогена, воспользовавшись моментом слегка затянувшегося прощания матери с мистером Блэром, кивком поманила Хьюберта обратно в библиотеку. Немедленно приготовившись к самому худшему, Бэзил стал прислушиваться. До него донеслись шепот и приглушенный шум несильного сопротивления, за которыми последовали отнюдь не скромные, и вполне узнаваемые звуки. Бэзил вышел из дверей, и уголки его губ грустно опустились. Он ловко сложил все карты, но в самый последний момент жизнь вдруг достала из рукава козырного туза!

Чуть погодя все пошли по домам, держась вместе, осторожно заглядывая за углы на поворотах и постоянно оглядываясь. Неизвестно, что ожидали увидеть Бэзил, Рипли и Билл, внимательно всматриваясь в злое пасти боковых улиц и заглядывая за казавшиеся во мраке огромными деревья и темные заборы; вероятно, им, мерещились там те самые нелепые и волосатые головорезы, что поджидали сегодня вечером в засаде Хьюберта Блэра.

VI

Через неделю Бэзил и Рипли узнали, что Хьюберт с матерью уехали на все лето к морю. Бэзил почувствовал сожаление. Он

надеялся перенять от Хьюберта некоторые изящные манеры, которые сверстники находили столь изумительными и которые могли бы пригодиться осенью, когда он поедет в школу-пансион. Вспоминая уехавшего Хьюберта, он стал тренироваться опираться о дерево и якобы промахиваться мимо, а также учиться скатывать по руке ролик, и стал носить свою кепку набекрень, таким же забавным манером, как Хьюберт.

Но все это продолжалось недолго. Он заметил: пусть мальчишки и девчонки были всегда готовы слушать все, что бы он ни говорил, и рты их при этом начинали двигаться буквально в унисон его словам, они никогда не смотрели на него так, как смотрели на Хьюберта. Поэтому он перестал вульгарно хихикать при каждом удобном случае – эта манера очень раздражала его мать – и вновь стал носить кепку ровно, как и раньше.

Но в нем произошла глубокая перемена. Он больше не был уверен, что ему хочется стать благородным грабителем, хотя он продолжал на одном дыхании и с восторгом читать книги об их похождениях. Стоя за калиткой дома Хьюберта, он на мгновение ощутил моральное одиночество; и тогда он понял, что, какие бы комбинации ни пришлось ему создавать из подбрасываемого жизнью материала, все они будут находиться в надежных рамках закона. А еще через неделю он обнаружил, что его больше не печалит тот факт, что он не завоевал сердце Имогены. Встречаясь с ней теперь, он видел перед собой всего лишь маленькую девочку, с которой был знаком с детства. Восторженный миг того дня был всего лишь преждевременным выкидышем – чувством, случайно замешкавшимся в воздухе от уже почти ушедшей весны.

Он и не подозревал, что испугал миссис Блэр так, что она бежала из города, и что из-за него еще много ночей подряд по тихим улицам ходили полицейские патрули. Он знал лишь одно – что все смутные и тревожащие стремления, мучившие его три долгих весенних месяца, куда-то улетучились. В ту последнюю неделю они достигли критической температуры: вспыхнули, взорвались и стали золой. И вот так, без всяких сожалений, он оказался лицом к лицу с полным бесконечных возможностей надвигающимся летом.

Наглый мальчишка

I

Глухая полночь. Подпольный ресторан на Бродвее, а в нем блестящая и таинственная публика из высшего общества – сплошь дипломаты и преступный мир. Минуту назад рекой лилось игристое вино, на столе весело отплясывала какая-то девушка, но вдруг все утихло и затаили дыхание. Взгляды устремились на спокойно стоявшего в дверях человека во фраке и цилиндре; на лице у него была маска.

– Пожалуйста, не двигайтесь, – произнес он хорошо поставленным голосом, в котором звенел металл. – Эта вот штука у меня в руке... Она может выстрелить!

Его взгляд блуждал от столика к столику – упал на сидевшего вдалеке злобного человечка с бледным угрюмым лицом, на Хизерли, вкрадчивого тайного агента иностранной державы; чуть смягчившись, задержался подольше на столике, где в одиночестве сидела темноволосая девушка с черными печальными глазами.

– А теперь, когда я достиг своей цели, вам, возможно, захочется узнать, кто я такой? – Во всех глазах сверкнул неподдельный интерес. Грудь черноглазой девушки взволнованно вздымалась, и в воздухе послышался легкий и тонкий аромат французских духов. – Я – не кто иной, как неуловимый джентльмен Бэзил Ли, более известный как Тень!

И, сняв с головы свой шикарный цилиндр, он отвесил всем присутствующим иронический глубокий поклон. А затем развернулся и, словно молния, исчез в ночном мраке.

– В Нью-Йорк отпускают всего раз в месяц, – ворчал Льюис Крам, – да еще приходится таскать с собой сопровождающего!

Тусклый взгляд Бэзила Ли медленно оторвался от амбаров и реклам индианской глубинки и обратился к купе экспресса «Бродвей Лимитед». Гипнотическое действие быстро мелькавших телеграфных столбов прекратилось, и на фоне белого чехла спинки противоположного сиденья нарисовалось глуповатое лицо Льюиса Крама.

– А я убегу от сопровождающего, как только попаду в Нью-Йорк! – сказал Бэзил.

– Ну да, конечно!

– Спорим?

– Попробуй – и он тебе покажет!

– Что ты хочешь сказать, все время повторяя «покажет» да «покажет», а, Льюис? Что он мне «покажет»?

В этот момент его смысленные синие глаза – со скукой и раздражением – уставились прямо на попутчика. Ребят не связывало ничего, за исключением одинакового возраста – обоим было по пятнадцать лет, – да еще давней дружбы их отцов; а это, как известно, даже чуть меньше, чем ничего. Кроме того, оба жили в одном и том же городе на Среднем Западе, и учиться их отправили в одну и ту же школу на востоке страны. Бэзилу предстояло учиться первый год, а Льюису – уже второй.

Но вопреки всем устоявшимся представлениям ветеран Льюис выглядел несчастным, а новичок Бэзил – чрезвычайно довольным. Льюис школу ненавидел. Он рос в тени бодрой и энергичной матери, и, чувствуя, как поезд уносит его все дальше и дальше, он все больше и больше ныл и тосковал по дому. Бэзил, напротив, всегда с большим энтузиазмом прислушивался к рассказам о жизни в школе-пансионе, живо представляя ее во всех деталях, поэтому по дому ничуть не скучал, а испытывал радостное предвкушение от скорого исполнения изученной во всех подробностях давней мечты. Вот почему он, безусловно считая, что именно так и следует поступать, вчера вечером, проезжая Милуоки, безо всякой причины взял и выбросил расческу Льюиса прямо в окно, заимствуя традиционные приемы воровской «малины».

Льюису был противен невежественный энтузиазм Бэзила, но его попытка несколько охладить этот пыл вызвала лишь взаимное раздражение.

– Я расскажу тебе, что будет, – зловещим тоном сказал он. – Тебя поймают с сигаретой и накажут!

– Ничего подобного! Я не собираюсь курить – я буду играть в футбол!

– В футбол! Ну да, конечно! В футбол!

– Скажи мне честно, Льюис, тебе что, вообще ничего не нравится, а?

– Мне не нравится футбол; в этой игре в любой момент кто-нибудь может взять и засветить тебе прямо в глаз, чего тут хорошего? – Льюис разговаривал агрессивным тоном, поскольку мать всегда возводила его слабости в разряд нерушимых и общепринятых правил.

Ответ Бэзила, который всего лишь хотел дать добрый совет, стал именно той фразой, после которой становятся врагами на всю жизнь.

– Наверное, ты был бы гораздо популярнее в школе, если бы играл в футбол! – свысока заметил он.

Льюис себя непопулярным не считал. Он вообще никогда об этом не думал. Он был ошеломлен.

– Ну, подожди же! – с яростью произнес он. – Всю твою наглость там из тебя выбьют!

– Замолчи! – ответил Бэзил, спокойно разглаживая складочку на своих первых «взрослых» брюках. – Просто замолчи!

– Да все уже знают, кто считался самым наглым мальчишкой в «Кантри-дей»!

– Замолчи! – повторил Бэзил, но уже не так уверенно. – Будь так добр, замолчи!

– И я отлично помню, что про тебя написали в школьной газете...

Спокойствие Бэзила тут же улетучилось.

– Если ты не умолкнешь, – мрачно сказал он, – я выброшу из окна все твои щетки!

Чудовищность этой угрозы возымела должный эффект. Льюис вжался в сиденье, фыркая и что-то бормоча себе под нос, но уже явно присмиревший. Его намек касался одного из самых позорных эпизодов в жизни попутчика. В газете, которая издавалась ребятами в школе, где

учился Бэзил, под заголовком «Личные объявления» однажды появилось:

«Вся школа и я лично будем крайне обязаны, если кто-нибудь отравит юного Бэзила или найдет иное средство заткнуть ему рот».

Оба мальчика так и сидели, молча пыша гневом. Затем Бэзил попытался решительно и навсегда забыть этот прискорбный случай из прошлого. Все это было позади. Возможно, он действительно вел себя несколько нагло, но теперь у него начиналась новая жизнь. Миг спустя воспоминание улетучилось, а вместе с ним исчезли и поезд, и наводящий тоску Льюис, а на Бэзила вновь повеяло ветром с востока, наполнившим его безмерной ностальгией по будущему. Из придуманного мира до него донесся голос; рядом с ним возник мужчина, положивший руку на его затянутое в спортивный свитер плечо.

– Ли!

– Да, сэр!

– Теперь все зависит от тебя. Ясно?

– Да, сэр!

– Отлично, – сказал тренер, – тогда вперед – и принеси нам победу!

Бэзил рывком сорвал свитер, под которым оказалась полосатая майка, и бросился на поле.

До конца игры оставалось две минуты, счет был 3–0 в пользу противника, но при виде юного Ли, которого весь год не выпускали на поле из-за злодейских интриг Дэна Хаскинса, главного школьного забияки, и его прихвостня Уизела Уимса, по трибунам школы Св. Риджиса пробежала дрожь надежды.

– 33-12-16-22! – пролаял Миджет Браун, низенький и щуплый квотербек.

Это был сигнал, и...

– Черт! – произнес вслух Бэзил, уже забыв о только что случившейся ссоре. – Ну почему этот поезд не может ехать побыстрее? Как же долго ждать до завтра!

II

Школа Св. Риджиса, Истчестер. 18 ноября 19... года.

Милая мама! Рассказывать сегодня особо не о чем, но я бы хотел поговорить о моих карманных деньгах. Все ребята здесь получают карманных денег больше, чем я, а мне ведь надо покупать много всяких мелочей – шнурки там и прочее. В школе мне все нравится, я отлично провожу время, но футбольный сезон кончился, и делать особо нечего. На этой неделе собираюсь в Нью-Йорк в театр. Еще не знаю, на что именно, но, скорее всего, на «Квакершу» или на «Пастушка» – обе постановки очень хорошие. Доктор Бэкон очень внимательный, а в деревне есть отличный терапевт. На этом заканчиваю, потому что надо еще доделать алгебру.

Твой любящий сын, Бэзил Дьюк Ли.

Он засунул письмо в конверт. В пустынный читальный зал, где он сидел, вошел щуплый маленький мальчик и остановился, пристально на него посмотрев.

– Привет, – нахмурившись, сказал Бэзил.

– А я тебя искал, – медленно и неприязненно произнес мальчик. – Везде искал – и в твоей комнате, и в спортивном зале; мне сказали, что ты, наверное, где-то здесь ошиваешься.

– Чего тебе надо? – спросил Бэзил.

– Полегче, генеральчик!

Бэзил вскочил. Мальчик сделал шаг назад.

– Ну, давай тресни меня! – нервно зашептал он. – Давай тресни – я же на голову тебя ниже... Генеральчик!

Бэзил поморщился:

– Еще раз так меня назовешь – получишь!

– Нет, не получу! Брик Уэйлс сказал, что если ты еще хоть пальцем кого-нибудь из нас тронешь...

– Да я к вам даже никогда не подходил!

– А разве не ты однажды за нами погнался и разве не Брик Уэйлс...

– Ох, да что тебе от меня надо? – в отчаянии воскликнул Бэзил.

– Тебя вызывает доктор Бэкон! Меня послали за тобой, и кто-то сказал, что ты, наверное, где-то здесь ошиваешься...

Бэзил сунул письмо в карман и вышел из читального зала – а мальчишка до самой двери провожал его бранью. Бэзил пересек длинный коридор, где стоял сырой запах, похожий на затхлый запах жженого сахара, который всегда чувствуется в школах для мальчиков, поднялся по лестнице и постучался в самую обыкновенную – но при этом такую страшную! – дверь.

Доктор Бэкон сидел за столом. Это был симпатичный рыжий священник епископальной церкви, лет пятидесяти. Когда-то он был искренне заинтересован в успехах и проблемах ребят, но под влиянием суетливого цинизма этот интерес уже давно почти угас – эта проблема, словно зеленая плесень, всегда рано или поздно появляется у всех директоров школ. Перед тем как Бэзилу было предложено сесть, была произведена определенная подготовка: из ниоткуда за черный шнурок было извлечено пенсне в золотой оправе; затем пенсне было наведено на Бэзила, словно его обладатель желал удостовериться, что перед ним не какой-нибудь самозванец; лежавшие на столе бумаги были нервно перетасованы, словно колода карт, но не для того, чтобы что-то найти, а просто так.

– Сегодня утром я получил письмо от твоей матери, м-м-м... Бэзил... – То, что его называли по имени, Бэзила изумило. В школе его называли не иначе, как генеральчик или Ли. – Она считает, что у тебя плохие отметки. Сдается мне, что семья отправила тебя сюда учиться, принеся... м-м-м... определенные жертвы... И поэтому она рассчитывает...

Душа Бэзила корчилась от стыда, но муки были вызваны не плохими оценками, а столь прямо упомянутой финансовой несостоятельностью. Он отлично знал, что он – один из самых бедных учеников в школе для богатых детей.

Возможно, некое давно уснувшее чувство доктора Бэкона вдруг проснулось и подсказало ему, что Бэзилу сейчас не по себе; он еще раз полистал бумаги и продолжил более мягким тоном:

– Но сегодня я вызвал тебя отнюдь не по этому поводу. Неделю назад ты попросил разрешения съездить в субботу в Нью-Йорк, на театральное представление. Мистер Дэйвис сообщил мне, что практически впервые с начала учебного года завтрашний выходной день ты проведешь без наказаний.

– Так и есть, сэр.

– Ты плохо себя ведешь. Тем не менее я бы позволил тебе съездить в Нью-Йорк, если бы это можно было организовать. К сожалению, в эту субботу у нас нет свободных сопровождающих.

Бэзил разинул рот.

– Но я... Но, доктор Бэкон, я слышал, что уже собрано целых две группы. Разве мне нельзя поехать с одной из них?

Доктор Бэкон очень быстро просмотрел свои бумаги:

– К сожалению, одна группа состоит из ребят постарше тебя, а вторая группа организовала поездку заранее, несколько недель назад.

– А нельзя ли мне поехать с группой, которая идет на «Квакершу» и с которой едет мистер Данн?

– Именно об этой группе я и говорю. Они уже обо всем договорились и купили билеты.

Бэзил все понял. Взглянув ему в глаза, доктор Бэкон торопливо продолжил:

– Похоже, что есть лишь одно-единственное решение. Само собой разумеется, что в группе должно быть несколько человек, чтобы можно было разделить на всех расходы на сопровождающего. Если ты сможешь найти еще двух ребят, которые с тобой поедут, и до пяти вечера сообщишь мне их имена, я отправлю с вами мистера Руни.

– Благодарю вас! – сказал Бэзил.

Доктор Бэкон колебался. Под налетом застарелого цинизма зашевелился инстинкт, требовавший от него попытаться разобраться получше в этом необычном ребенке, чтобы понять, что превратило его

в школе в предмет всеобщей ненависти? Среди учеников и преподавателей, кажется, существовала некая из ряда вон выходящая враждебность по отношению к Бэзилу, и хотя доктору Бэкону приходилось иметь дело с самыми разными пороками школьников, ему никак не удавалось докопаться до причины этой ненависти – ни самостоятельно, ни даже с помощью пользовавшихся его доверием информаторов из шестого класса. Видимо, причина была не одна, а сразу несколько; скорее всего, это было какое-то неуловимое личное качество. И все же он помнил, что поначалу Бэзил произвел на него на редкость благоприятное впечатление.

Он вздохнул. Иногда такие вещи проходят сами по себе. И он был не из тех, кто станет неуклюже торопить события.

– Очень надеюсь, Бэзил, что в следующем месяце мы сможем отправить домой более благоприятный отчет о твоей учебе.

– Да, сэр.

Бэзил быстро побежал вниз, в комнату отдыха. Была среда, и большинство ребят уже ушли в соседний городок Истчестер, куда Бэзилу, который все еще считался наказанным, ходить запрещалось. Оглядев тех, кто пока оставался у бильярдных столов и у школьного фортепьяно, он понял, что ему будет трудновато найти хоть кого-нибудь для этой поездки. Потому что Бэзил прекрасно знал, что он был самым непопулярным мальчиком в школе.

Началось все почти сразу, не прошло и двух недель после его приезда. Однажды младшие школьники окружили его толпой и принялись дразнить генеральчиком – возможно, их кто-то подговорил. В течение следующей недели ему пришлось дважды драться, и оба раза собравшиеся вокруг были целиком и полностью на стороне его противников. Вскоре после этого, когда он, толкаясь и пихаясь, торопился, как и все остальные, первым попасть в столовую, капитан школьной футбольной команды Карвер развернулся, схватил его за шею и, удерживая в таком положении, грубо при всех отчитал. Когда, ничего не подозревая, он подошел к собравшимся у фортепьяно, то ему сказали: «Иди отсюда! Нечего тебе здесь делать!»

Через месяц он осознал всю меру своей непопулярности. Это привело его в ужас. Однажды после особенно болезненного унижения он убежал к себе в комнату и разрыдался. Он попробовал было на некоторое время исчезнуть из поля зрения остальных, но и это не

помогло. Его стали обвинять в том, что он шныряет то тут, то там, самым гадким образом что-то вынюхивая. Ошеломленный и жалкий, он глядел на себя в зеркало, пытаясь обнаружить там загадочную причину всеобщей неприязни – может, им не нравилось что-то в выражении его лица? Может, дело было в его улыбке?

Ему стало ясно, что он совершил определенные ошибки в самом начале – много хвастался, на футбольном поле слегка трусил, не стеснялся указывать одноклассникам на их ошибки, открыто демонстрировал на занятиях свою довольно приличную эрудицию. Но ведь потом он старался вести себя лучше; он не понимал, что же мешало загладить эти прегрешения в глазах окружающих. Возможно, был упущен момент. Что бы он теперь ни делал, все всегда вызывало неприязнь.

Разумеется, он стал козлом отпущения, превратился в школьного негодяя, в губку, впитывающую в себя всю окружающую злость и раздражение, подобно тому, как самый пугливый среди прочих всегда впитывает в себя страхи остальных и, кажется, даже боится вместо всех. В создавшемся положении не помогал даже очевидный для всех факт: та самоуверенность, с которой он прибыл в сентябре в школу Св. Риджиса, теперь совершенно исчезла. Его мог безнаказанно высмеять даже тот, кто несколько месяцев назад не осмелился бы с ним заговорить на повышенных тонах.

Так получилось, что эта поездка в Нью-Йорк стала означать для него все – и передышку от ежедневных страданий, и долгожданный визит в небесные чертоги романтики. Неделю за неделей она откладывалась из-за того, что он постоянно нарушал школьный распорядок – его, например, часто ловили, когда он читал под одеялом с фонариком после отбоя, побуждаемый своими несчастьями к таким вот безобидным побегам прочь от реальности, – и это лишь усиливало его ожидания, превратившиеся уже в жгучий голод. Было невыносимо думать, что поехать не удастся, и он мысленно повторил краткий список тех, кто, возможно, согласится составить ему компанию. Среди кандидатов были «Толстяк» Гаспар, Тредвей и Багс Браун. Быстро пробежавшись по их комнатам, он выяснил, что все они воспользовались своим правом провести остаток среды в Истчестере.

Бэзил ни минуты не колебался. Времени у него было ровно до пяти, и его единственный шанс заключался в том, что он сам их

отыщет и с ними поговорит. Он уже не впервые нарушал запрет покидать школу, хотя последняя попытка окончилась неудачей и привела к увеличению срока его наказания. Оказавшись у себя в комнате, он надел толстый свитер – пальто выдало бы его намерения, – сверху надел пиджак и спрятал в задний карман брюк кепку. Затем спустился вниз и с наигранно-беспечным видом, насвистывая, промчался по лужайке к спортивному залу. Оказавшись у зала, он некоторое время постоял, словно бы заглядывая в окна – сначала в то, которое было ближе к дорожке, затем в то, которое было ближе к углу здания. Оттуда он быстрым – но не слишком – шагом направился к роще сирени. Затем бросился за угол, пробежал по длинному газону, который не просматривался из окон, и, раздвинув металлическую сетку забора, протиснулся на ту сторону, оказавшись на соседнем участке. Теперь он был на свободе. Он натянул кепку, защищаясь от холодного ноябрьского ветра, и направился пешком по дороге в городок, лежавший в полумиле от школы.

Истчестер представлял собой маленький провинциальный фермерский город, в котором была небольшая обувная фабрика. Все учреждения, предназначавшиеся для рабочих фабрики, посещались также и учениками школы: кинотеатр, ресторанчик быстрого питания в вагончике на колесах, известный как «Сосиска», и кондитерская «Бостон». Бэзил решил сначала попытать счастья в «Сосиске», и удача ему улыбнулась.

Там сидел Багс Браун – склонный к истерикам мальчик, страдавший конвульсиями, отчего все его старательно избегали. Годы спустя он превратится в блестящего адвоката, но в то время все ребята школы Св. Риджиса считали его чокнутым из-за периодически издававшихся им чередой своеобразных звуков, которыми он умирал свои нервы дни напролет.

Он дружил с мальчишками младше себя, не обладавшими предрассудками старших ребят, и, когда вошел Бэзил, он как раз сидел со своими приятелями.

– Ду-да-да! – воскликнул он. – Йя-ия-йя! – Он прикрыл рот рукой и стал быстро теревать свои губы, издавая смешные звуки. – Да это же наш генеральчик Ли! Наш генеральчик Ли! Это же наш гене-гене-гене-генеральчик Ли!

– Минуточку, Багс! – с тревогой сказал Бэзил, испугавшись, что Багс окончательно сойдет с ума еще до того, как ему удастся уговорить его съездить в Нью-Йорк. – Эй, Багс, послушай-ка... Нет-нет, Багс, ну же, минуточку! Ты можешь поехать в Нью-Йорк в субботу?

– Виу-виу-уиу! – к огорчению Бэзила, заверещал Багс. – Виу-виу-виу!

– Ну, пожалуйста, Багс, ответь, а? Если ты можешь, поехали вместе, а?

– Мне надо к врачу, – ответил Багс, внезапно успокоившись. – Нужно проверить, насколько я ненормальный.

– А ты не можешь сходить к нему в какой-нибудь другой день? – расстроено спросил Бэзил.

– Виу-виу-уиу! – опять заверещал Багс.

– Ну, ладно, – торопливо сказал Бэзил. – Случайно, не знаешь, где сейчас «Толстяк» Гаспар?

Багс зашелся в пронзительном шуме, но кто-то другой все же видел «Толстяка», и Бэзила направили в кондитерскую «Бостон».

Это был изобильный рай для любителей дешевых сладостей. Аромат, тяжелый, тошнотворный и оседавший липким потом на руках у взрослых, удушливым облаком нависал над окрестностями и встречал посетителей прямо у дверей, служа самым лучшим безмолвным предупреждением. Внутри, под подвижным черным кружевом из мух, сидели в ряд дети и поглощали сытные десерты из кусочков бананов, кленового сиропа, шоколадного зефира и мороженого с орешками. За столиком сбоку Бэзил и обнаружил Гаспара.

«Толстяк» Гаспар для Бэзила являлся одновременно и самым бесперспективным, и самым многообещающим кандидатом. Все считали его добряком – и он на самом деле был так добр, что вел себя с Бэзилом почти нейтрально и даже вежливо разговаривал всю эту осень. Бэзил понимал, что так он ведет себя со всеми, но все же втайне надеялся, что «Толстяк» относился к нему хорошо – ведь раньше все к нему хорошо относились, – и ему отчаянно хотелось попробовать – а вдруг? Но он, без всяких сомнений, заблуждался – когда Бэзил подошел к столику и увидел повернувшиеся к нему из-за стола каменные лица двух других ребят, надежда почти исчезла.

– Послушай, «Толстяк»... – начал он и запнулся. А затем выпалил скороговоркой: – Я сегодня наказан, но сбежал – мне надо с тобой

поговорить! Доктор Бэкон сказал, что я могу поехать в Нью-Йорк в субботу, если найду с кем; надо еще двух человек. Я пригласил Багса Брауна, но он не может, так что я подумал – может, сможешь ты?

Он внезапно умолк, сильно смутившись, и стал ждать ответа. Двое ребят, сидевших с «Толстяком», вдруг громко расхохотались:

– А Багс не такой уж и псих!

«Толстяк» Гаспар заколебался. В эту субботу в Нью-Йорк он поехать не мог, и если бы все было, как обычно, он бы просто вежливо отказался. Он не имел ничего против Бэзила, так же, как и против любого другого человека; но мальчишки лишь до определенной степени могут не идти на поводу у мнения окружающих, а на него сейчас действовал заразительный смех приятелей.

– Нет, что-то не хочется, – равнодушно заметил он. – И с чего это ты решил просить именно меня?

Затем, слегка устыдившись, он издал негромкий смешок, как бы извинившись, и уткнулся в свое мороженое.

– Ну, я так... Подумал, что вдруг ты... – сказал Бэзил.

Быстро отвернувшись, он подошел к стойке и глухим и незнакомым голосом заказал мороженое с клубничным сиропом. Он съел его механически, под периодически раздававшиеся со столика за спиной шепот и хихиканье. Все еще как в тумане, он пошел к выходу, забыв заплатить по счету, и его окликнул кассир, вызвав еще более громкий общий смех.

На мгновение он задумался – может, вернуться к столику и врезать одному из этих парней? – но тут же понял, что этим он ничего не добьется. Они ведь всем расскажут правду – что он это сделал потому, что не смог найти никого, кто согласился бы поехать с ним в Нью-Йорк. Сжав кулаки от бессильной ярости, он вышел из кондитерской.

И тут же натолкнулся на третьего кандидата – Тредвея. Тредвей начал учебу в школе Св. Риджиса после начала учебного года, позже остальных, и неделю назад его подселили в комнату Бэзила. Тредвей не видел постигших Бэзила осенью унижений, и это позволило Бэзилу вести себя с ним совершенно естественно; их отношения были если и не дружескими, то, по крайней мере, равными.

– Эй, Тредвей! – окликнул он его, все еще волнуясь после приключения в «Бостоне». – Ты сможешь поехать в Нью-Йорк в субботу? Сходим в театр?

Он остановился, увидев, что Тредвей шел в компании Брика Уэльса – того самого парня, с которым он подрался и который теперь был его злейшим врагом. Переводя взгляд с одного на другого, Бэзил заметил на лице Тредвея раздражение, а на лице Брика Уэльса – отсутствующее выражение; он понял, что только что произошло. Тредвею, постепенно втягивавшемуся в школьную жизнь, только что открыли глаза на статус его соседа по комнате. Как и «Толстяк» Гаспар, вместо того чтобы найти в себе силы принять дружеское приглашение, он предпочел резко оборвать дружбу.

– Ни за что на свете! – коротко ответил он. – Пока!

Тредвей с Уэльсом прошли мимо него в кондитерскую.

Подобное пренебрежение ощущалось еще более от того, что высказывалось без всякой страсти. Если бы Бэзил испытал подобное в сентябре, муки были бы невыносимы. Но с тех пор ему удалось отрастить себе довольно крепкий душевный панцирь, хотя и не добавлявший ему привлекательности, но зато оберегавший от излишней чувствительности к орудиям пыток такого рода. Хлебнув горя и отчаяния, жалея себя, он немного прогулялся по улице, пока его лицо не перестало судорожно подергиваться. Затем кружным путем он пошел обратно в школу.

Он решил вернуться тем же путем и дошел до соседнего со школой участка. У самого забора слышались приближающиеся с дорожки шаги; он неподвижно замер, опасаясь – вдруг это кто-то из преподавателей? Голоса приближались и становились все громче. Еще не совсем понимая, о чем речь, он вдруг испытал ужас, прислушавшись к разговору внимательнее.

– ... и когда ему не удалось уговорить Багса Брауна, бедняга стал умолять поехать с ним «Толстяка» Гаспара, а «Толстяк» и говорит: «И с чего это ты решил меня просить?» И поделом ему будет, если он вообще никого не найдет!

Это был заунывный и исполненный торжества голос Льюиса Крама!

Поднявшись к себе в комнату, Бэзил обнаружил на кровати посылку. Он знал, что в ней, и уже долго и с нетерпением ее ждал, но так велико было его уныние, что он вскрыл пакет совершенно равнодушно. Внутри была серия из восьми цветных репродукций картинок Харрисона Фишера с девушками, «на глянцевой бумаге, без надписей или рекламы, полностью пригодных для помещения в рамки».

Картинки были подписаны: Дора, Маргарита, Бабетта, Люсиль, Гретхен, Роуз, Катрина и Мина. После беглого просмотра двоих – Маргариту и Роуз – Бэзил медленно порвал и выбросил в мусорную корзину, словно отбраковав больных щенков из помета. Шесть оставшихся он развесил на кнопках по стенам. Затем лег на кровать и стал их рассматривать.

Дора, Люсиль и Катрина были блондинками; Гретхен была шатенкой; Бабетта и Мина были брюнетками. Через несколько минут он отметил, что чаще всего смотрит на Дору и Бабетту, чуть меньше – на Гретхен, хотя голландский чепец последней выглядел совсем не романтично и исключал элемент загадочности. Бабетта, миниатюрная брюнетка с фиалковыми глазами, в маленькой шляпке, привлекала больше всех; в конце концов его взгляд так на ней и застыл.

– Бабетта, – негромко прошептал он, – прекрасная Бабетта...

Звучание этого имени, грустное и соблазнительное, словно доносящиеся из фонографа мелодии «Велия» или «Пойду к „Максиму“ я...», лишило Бэзила твердости, и он расплакался в подушку, перевернувшись на живот. Он ухватился за прутья кровати, оказавшиеся у него над головой, и, всхлипывая и дергаясь, стал вслух отрывисто говорить сам с собой, как он их всех ненавидит, кого именно он ненавидит – назвал дюжину имен – и что бы он с ними сделал, если бы обладал силой и могуществом. Раньше в такие моменты он всегда вознаграждал «Толстяка» Гаспара за его доброту, но сегодня «Толстяк» оказался таким же, как остальные. Бэзил бросался на него, безжалостно лупил его кулаками или же презрительно смеялся, проходя мимо него, ослепшего и выпрашивающего на улице милостыню.

Он взял себя в руки, услышав, что вошел Тредвей, но даже не пошевелился – и ничего не сказал. Он прислушивался, как сосед ходит по комнате, и через некоторое время понял, что звуки открываемых шкафов и выдвигаемых ящиков комодов доносятся необычно часто. Бэзил перевернулся, прикрыв рукой заплаканное лицо. В руках у Тредвея была целая куча рубашек.

– Что ты делаешь? – спросил Бэзил.

Сосед бросил на него каменный взгляд.

– Переезжаю в комнату к Уэльсу, – ответил он.

– Что?!

Тредвей продолжил собирать вещи. Он вынес из комнаты один полный саквояж, затем – второй, снял со стены несколько вымпелов и потащил в холл большой чемодан. Бэзил глядел, как он собрал в полотенце зубные щетки и другие туалетные принадлежности, затем бросил последний взгляд на полупустую комнату, проверяя, не забыл ли он что-нибудь.

– Всего доброго, – сказал он Бэзилу, и ни один мускул не дрогнул у него на лице.

– До свидания.

Тредвей ушел. Бэзил вновь перевернулся на живот и уткнулся лицом в подушку.

– Ах, бедная Бабетта! – хрипло воскликнул он. – Бедная малышка Бабетта! О, бедная малышка Бабетта!

Стройная и обворожительная Бабетта кокетливо смотрела на него со стены.

IV

Доктор Бэкон, войдя в положение Бэзила и, возможно, осознав всю глубину его мучений, смог устроить так, что Бэзил все же поехал в Нью-Йорк. В сопровождающие ему выделили мистера Руни, тренера

по футболу, заодно преподававшего историю. В двадцать лет мистер Руни некоторое время колебался, не в силах выбрать между службой в полиции и учебой в небольшом колледже в Новой Англии; характер у него был тяжелый, и доктор Бэкон собирался избавиться от него ближе к Рождеству. К Бэзилу мистер Руни относился с пренебрежением из-за подозрительного и не внушавшего доверия поведения мальчика на футбольном поле во время последнего сезона. Сопровождать его в Нью-Йорк он согласился лишь ради своих собственных целей.

В поезде Бэзил сидел смирно, поглядывая из-за могучего плеча мистера Руни на Зунд и пустынные по-осеннему поля округа Вестчестер. Мистер Руни закончил читать газету, сложил ее и погрузился в угрюмое молчание. Завтрак был обильным, а недостаток времени не позволил ему избавиться от избытка калорий с помощью физкультуры. Он вспомнил, что Бэзил был наглым мальчишкой и было время, когда он позволял себе дерзить, так что сейчас вполне можно было немного поучить его жизни. Повисшая укоризненная тишина его раздражала.

– Ли, – внезапно обратился он к нему, стараясь вложить в свой тон хоть немного напускного дружелюбия, – когда же ты за себя возьмешься?

– Простите, сэр? – Бэзил очнулся от нашедшего на него прямо с утра взволнованного ступора.

– Я говорю: когда же ты за себя возьмешься? – чуть более резко повторил мистер Руни. – Неужели тебе нравится, что над тобой все в школе издеваются?

– Нет, не нравится. – Настроение Бэзила тут же упало. Хоть на день-то можно обо всем этом забыть?

– Не надо все время вести себя нагло! Даже я пару раз в классе едва удержался, чтобы не свернуть тебе шею! – Бэзил не нашел, что на это можно было бы ответить. – А на футболе! – продолжил мистер Руни. – Тебе ведь просто не хватает мужества! Если ты захочешь, то сможешь играть лучше, чем большая часть команды, – как тогда, когда мы играли против второго состава «Помфре», – но ты трусишь!

– Не надо мне было идти во второй состав, – сказал Бэзил. – У меня веса не хватает. Надо было мне остаться в третьем составе...

– Да ты ведь просто трусишка, вот и вся проблема! Ты должен взяться за себя. В классе ты все время витаешь в облаках. Если не

будешь учиться, в университет не поступишь.

– Я ведь самый младший в пятом классе! – не подумав, возразил Бэзил.

– И решил, что самый умный, а? – Преподаватель бросил на Бэзила свирепый взгляд.

Затем он отвлекся – что-то вдруг изменило ход его мыслей, – и некоторое время они ехали молча. Когда поезд стал пробираться сквозь плотную застройку нью-йоркских пригородов, мистер Руни вновь заговорил, уже спокойно, словно посвятил долгое время обдумыванию этого вопроса:

– Ли, могу я тебе доверять?

– Да, сэр.

– Ты сейчас пойдешь где-нибудь пообедаешь, а затем ты идешь в театр. У меня есть кое-какие личные дела, не терпящие отлагательств, и, когда я их закончу, я постараюсь появиться в театре. Если не получится, я в любом случае встречу тебя на улице после представления.

Сердце Бэзила подпрыгнуло.

– Хорошо, сэр!

– Мне бы не хотелось, чтобы ты рассказывал об этом в школе – я имею в виду, о том, что у меня тут кое-какие личные дела...

– Конечно нет, сэр!

– Посмотрим, сможешь ли ты хоть раз в жизни удержать свой рот на замке! – сказал он, попытавшись обратить все в шутку. А затем добавил суровым тоном моралиста: – И никакого алкоголя, ясно?

– Нет-нет, сэр! – Эта мысль прямо-таки ужаснула Бэзила. Спиртное он никогда еще не пробовал и даже не собирался – если не считать воображаемого и безалкогольного шампанского из его грез о полночных кафе.

По совету мистера Руни обедать он пошел в отель «Манхэттен», который был недалеко от вокзала. В ресторане он заказал «клуб-сэндвич», картошку фри и шоколадный парфе. Краем глаза он наблюдал за непринужденными, изящными и пресыщенными нью-йоркцами, сидевшими за соседними столиками, наделяя их романтическими чертами и отбрасывая от себя все мысли о том, что это, скорее всего, такие же, как и он, жители провинциальных городков Среднего Запада. Школа спала с него, словно тяжкий груз; теперь она

представлялась ему чем-то вроде еле слышного, слабого и далекого шума. Он даже не торопился вскрывать полученное им с утренней почтой письмо, лежавшее у него в кармане, – потому что получил его в школе.

Ему захотелось еще одну порцию шоколадного парфе, но не хотелось снова отвлекать от работы крайне занятого официанта; вместо этого он вскрыл конверт и положил перед собой на стол письмо. Ему писала мама.

Милый Бэзил! Пишу в крайней спешке, поскольку боюсь испугать тебя телеграммой. Дедушка собрался в Европу на воды и хочет, чтобы мы с тобой поехали вместе с ним. В таком случае до конца учебного года ты будешь учиться в школе в Гренобле или Монтре, там можно будет подучить французский, а еще мы с тобой сможем проводить время вместе. Если ты, конечно, согласишься! Я, разумеется, знаю, как тебе нравится в школе Св. Риджиса, где можно играть в футбол и бейсбол, – ну а там, разумеется, ничего такого нет. С другой стороны, всегда полезно сменить обстановку, даже если из-за этого придется отложить на год твое поступление в Йель. Поэтому, как и всегда, я хочу, чтобы решение принял ты сам. Когда ты получишь это письмо, мы уже будем на пути в Нью-Йорк. Мы остановимся в гостинице «Уольдорф», и ты, даже если решишь не ехать, сможешь к нам присоединиться хотя бы на несколько дней. Хорошенько подумай, милый мой.

С любовью к моему дорогому мальчику, мама.

Бэзил вскочил со стула с бессознательным желанием тут же отправиться в «Уольдорф» пешком и запереться там в безопасности вплоть до приезда мамы. Затем, почувствовав необходимость совершить какой-нибудь поступок, он возвысил голос и впервые в

жизни юношеским баском громко и уверенно позвал официанта. Конец школе! Конец Св. Риджису! Он едва не задышался от счастья.

«Ах ты, черт возьми! Ах, черт! Черт! Черт!» – ликовал он про себя. Он больше не увидит ни доктора Бэкона, ни мистера Руни, ни Брика Уэльса, ни «Толстяка» Гаспара! Не будет больше Багса Брауна, не будет наказаний, и никто не будет звать его генеральчиком! Больше не надо будет их ненавидеть, потому что все они превратятся в бессильные тени в застывшем навеки мире, из которого он ускользнет, который он оставит позади, помахав ему рукой: «Прощайте, прощайте!»; ему даже стало их чуточку жаль.

Лишь грохот 42-й улицы смог немного умерить его пьянящую радость. Опасаясь вездесущих карманников и придерживая рукой кошелек, он с осторожностью двинулся по направлению к Бродвею. Что за чудесный день! Сейчас он расскажет мистеру Руни... Ах, да ведь ему не нужно даже возвращаться в эту школу! Хотя, может быть, лучше вернуться и рассказать им, что его ждет, в то время как всем им придется и дальше тянуть тугую и безрадостную школьную лямку.

Он подошел к театру и вошел в фойе, где стоял запах дамской пудры, как всегда бывает на дневных спектаклях. Вытащил билет; его взгляд прямо-таки зацепился за точеный профиль в паре футов от него. Профиль принадлежал спортивно сложенному блондину лет двадцати, с волевым подбородком и пронзительным взглядом серых глаз. Голова Бэзила на мгновение закружилась, и вдруг сверкнуло имя – больше, чем имя! – легенда, спустившаяся прямо с небес! Что за чудесный день! Этого молодого человека он никогда раньше не видел, зато видел тысячи картинок с его портретом – это был, без всяких сомнений, Тэд Фэй, капитан йельской футбольной команды, практически в одиночку победивший Гарвард и Принстон осенью этого года. Бэзил ощутил нечто вроде острой боли. Профиль отвернулся; его закружила толпа, и герой исчез. Но Бэзил точно знал, что следующие несколько часов он будет находиться рядом с самим Тэдом Фэем!

В наполненном шорохами, шепотом и сладкими запахами полумраке театрального зала Бэзил прочитал программку. Это была та самая постановка, которую он так долго жаждал увидеть, и до момента, пока не поднялся занавес, даже программка была для него священным предметом – ведь в ней было написано об этой, столь

желанной пьесе! Но когда поднялся занавес, программка стала просто бумажкой, которую вполне можно было небрежно швырнуть на пол.

АКТ I

Деревенская площадь маленького городка вблизи от Нью-Йорка.

Свет был слишком ярким и ослепительным, чтобы сразу все понять, и действие с самого начала пошло столь динамично, что Бэзилу стало казаться, что он что-то упускает; надо будет попросить маму сводить его еще раз, когда она приедет... через неделю... нет, завтра...

Прошел час. Стало очень грустно – грусть была светлой, но все же грустью. Девушка и мужчина. Что же разделяло их теперь? Ах, эти трагические ошибки и непонимание! Так грустно. Разве не могли они просто посмотреть друг другу в глаза и увидеть?

В ослепительном свете, в оглушающем шуме, в потоке решимости, предвкушения и неминуемых бед акт окончился.

Бэзил вышел из зала. Поискал глазами Тэда Фэя – ему показалось, что он заметил его, грустно облокотившегося на обитую плюшем стену в дальнем конце театра, но Бэзил не был уверен, что это был он.

Бэзил купил пачку сигарет, закурил, но едва успел затянуться, как ему показалось, что из зала донесся рев оркестровых труб, и он помчался на место.

АКТ II

Вестибюль гостиницы «Астор».

Да, конечно, она была, словно песня, «Прекрасная роза ночная». Звуки вальса возносили ее вверх, все выше и выше, туда, где красота вызывает лишь боль, а затем плавно опустили вниз, в реальную жизнь, вместе с последними аккордами вальса, словно листок, который ветер, качая, уносит к земле. Ночная жизнь Нью-Йорка! Кто посмеет сказать ей хоть слово, если и ее увлек этот блеск, и она исчезала до первых лучей солнца, окрашивающих янтарным цветом рамы витрин, или скрывалась в вихре далекой и чарующей музыки, которая слышится, когда приотворяется на мгновение дверь в бальный зал? Виват сверкающему городу!

Прошло полчаса. Тот, кто любит ее по-настоящему, принес ей розы – прекрасные, как она сама, – а она с презрением швырнула их к его ногам! Она рассмеялась и повернулась к другому, и принялась танцевать – танцевать безумно, до изнеможения. Но, чу... Слышатся нежный дискант флейт и низкие вибрирующие звуки арфы. И вот опять эта музыка, острая и болезненная, проносящаяся по сцене, словно волна чувств, вновь увлекающая ее, беспомощную, словно лист на ветру:

*Роза, роза, роза ночная...
Ты расцветаешь
под яркой весенней луной...*

Через несколько минут, чувствуя непривычное потрясение и стремление улететь ввысь, Бэзил вышел постоять в толпе на театральном крыльце. И взгляд его тут же упал на почти забытый и претерпевший любопытную метаморфозу призрак мистера Руни.

Мистер Руни действительно до некоторой степени утратил свой привычный облик. Начать можно было с того, что у него на голове красовалась совершенно иная и гораздо меньшего размера шляпа, чем та, что он носил при расставании с Бэзилем в полдень. Кроме того, его лицо утратило обычный деловой вид, приобретя вместо этого оттенок наивности и даже нежную бледность; галстук и сорочка гордо торчали наружу, более не скрываемые невесть где вымокшим насквозь пальто. Каким образом за какие-то четыре прошедших часа мистеру Руни удалось привести себя в такой вид, можно было объяснить лишь тяжкими последствиями заточения пылкой и свободолюбивой души в школе-пансионе для мальчиков. Мистер Руни был рожден для трудов и подвигов под необъятным сводом небес и, даже не отдавая себе в этом отчета, продолжал уверенно двигаться навстречу своей судьбе.

– Ли, – глухо сказал он, – возмись за себя! Я заставлю тебя взяться за ум!

Чтобы избежать зловещей перспективы быть заставленным взяться за ум прямо в театре, Бэзил совершил неуклюжую попытку сменить тему разговора.

– Вы пойдете смотреть спектакль? – спросил он, явно польстив мистеру Руни своим предположением, что тот еще способен дойти до кресла в зале. – Постановка просто замечательная!

Мистер Руни снял шляпу, продемонстрировав свои насквозь мокрые матовые волосы. Где-то в глубине его сознания на мгновение забрезжила картина окружающей действительности.

– Нам нужно ехать обратно в школу, – произнес он серьезным и неуверенным тоном.

– Но ведь там еще целый акт! – в ужасе возразил Бэзил. – Я должен досмотреть последний акт!

Покачнувшись, мистер Руни посмотрел на Бэзила, смутно понимая, что отдал себя целиком и полностью в руки этого мальчишки.

– Ну, ладно, – согласился он. – Я пойду пока где-нибудь поем. Встречаемся у бокового выхода!

Он резко развернулся, прошел, пошатываясь, по лестнице и, не раздумывая, завернул в соседний с театром бар. Потрясенный Бэзил пошел обратно в зрительный зал.

АКТ III

Сад на крыше дома мистера Ван-Астора. Ночь.

Прошло полчаса. Все в конце концов должно было кончиться хорошо. Выступал комик – после слез был самый подходящий момент посмеяться, – и яркое тропическое небо сулило скорое блаженство. Еще один красивый и жалобный дуэт, и внезапно долгий миг несравненной красоты закончился.

Бэзил вышел в фойе и задумчиво постоял, глядя, как мимо проходят зрители. Письмо матери и этот мюзикл очистили его разум от горечи и мстительности – он вновь стал самим собой, и ему захотелось поступать исключительно правильно. Он думал о том, будет ли правильно доставить мистера Руни обратно в школу? Он пошел к бару, убавляя шаг по мере приближения; дойдя до двери, он робко ее приоткрыл и заглянул внутрь. Увидеть удалось лишь одно – среди пьющих у стойки мистера Руни не было. Бэзил прошел немного по улице, вернулся и вновь попробовал войти. Чувствовал он себя так, словно дверь могла его укусить, поскольку он испытывал страх перед салуном – ведь его воспитали в старых традициях Среднего Запада. На третий раз попытка увенчалась успехом. Мистер Руни крепко спал за столиком в дальнем конце зала.

Вновь выйдя на улицу, Бэзил походил взад-вперед, задумавшись. Он, пожалуй, даст мистеру Руни полчаса. Если через полчаса мистер Руни не выйдет, то Бэзил сам поедет обратно в школу. В конце концов, по окончании футбольного сезона мистер Руни только и занимался тем, что постоянно на него нападал, и теперь Бэзил просто умоет руки, а еще через день или два навеки стряхнет школьный прах со своих ног.

Он уже несколько раз прошелся вперед-назад, когда заметил вывеску «Проход на сцену», взглянув на аллею у театра. Можно было понаблюдать за выходом актеров!

Он остановился. Мимо него потоком шли девушки, но это были времена, когда образы актрис в прессе прославлять было не принято; этих по-обычному одетых дамочек он принял за гардеробщиц или кого-то в этом роде. Затем вышла девушка, а с ней – мужчина, и Бэзил развернулся и даже пробежал несколько шагов по улице, словно опасаясь, что они его узнают, а затем побежал назад, дыша так громко, словно у него случился сердечный приступ, потому что девушка, блестящая юная девятнадцатилетняя красавица, была Она, а рядом с ней шел не кто иной, как сам Тэд Фэй!

Держась за руки, они прошли мимо, и Бэзил, не в силах удержаться, пошел за ними вслед. Она на ходу очаровательно прильнула к Тэду Фэю, и стало ясно – их связывают самые нежные отношения. Они перешли на другую сторону Бродвея и зашли в гостиницу «Никербокер», а отставший футов на двадцать Бэзил последовал за ними – как раз вовремя, чтобы увидеть, как они вошли в зал, где накрыли столики для вечернего чая. Они сели за столик для двоих, что-то сказали официанту, а затем, оставшись, наконец, наедине, подались поближе друг к другу. Бэзил заметил, что Тэд Фэй держит в своих ладонях ее затянутую в перчатку руку.

Комната, где пили чай, отделялась от главного зала только рядом декоративных елочек в горшках. Бэзил прошел вдоль горшков до дивана, который стоял практически напротив их столика, и сел там.

Она говорила негромко, слегка запинаясь, не так уверенно, как на сцене, и очень печально: «Ну, конечно да, Тэд!» Довольно долгое время на протяжении их разговора она повторяла: «Ну, конечно да!», или: «Но ведь это не так, Тэд!» Тэд Фэй говорил тихо, и Бэзил не мог ничего разобрать.

– ... он сказал – через месяц, и он не намерен больше ждать... В каком-то смысле да, Тэд... Это нелегко объяснить, но ведь он сделал все и для моей мамы, и для меня... Какой смысл себя обманывать? С этой ролью справилась бы любая дурочка, и любая, кому бы он ее дал, была бы просто обречена на успех... Он ужасно заботливый... Ведь он сделал для меня все!

Бэзил прислушивался изо всех сил, захваченный сильными переживаниями; теперь он слышал и то, что говорил Тэд Фэй.

– Но ты говоришь, что любишь меня?

– Но разве ты не понимаешь, что я обещала выйти за него больше года назад?

– Скажи ему правду – что любишь меня! Попроси его тебя отпустить!

– Но это же не музыкальная комедия, Тэд!

– Да, здесь все пошлее, – с горечью сказал он.

– Прости, дорогой, милый мой Тэд, но ты сводишь меня с ума, продолжая в том же духе! Мне становится все тяжелее и тяжелее.

– Наверное, я брошу Йель и уеду из Нью-Хейвена.

– Нет, ни в коем случае! Ты останешься и будешь этой весной играть в бейсбол. Ты же идеал для всех этих мальчишек! И если ты...

Он отрывисто рассмеялся:

– Да уж! Кому, как не тебе, рассказывать мне об идеалах?

– А почему бы и не мне? Я живу, выполняя свои обязательства перед Бельтцманом; и тебе, как и мне, придется смириться с тем, что нам не дано быть вместе.

– Джерри! Подумай, что ты делаешь! Теперь всю жизнь, как только я услышу этот вальс...

Бэзил встал, быстро пошел по коридору, миновал вестибюль и вышел из гостиницы. Он находился в состоянии сильного эмоционального замешательства. Он понял не все, что услышал, но брошенный им украдкой взгляд на личные отношения этих двоих, у ног которых, как казалось ему со скромной высоты его жизненного опыта, был весь мир, показал ему, что жизнь для всех без исключения – это борьба, и пусть издавека она и выглядит блистательной, на самом деле она всегда трудная, на удивление нехитрая и немного печальная.

И они будут жить дальше. Тэд Фэй вернется в Йель, засунет ее портрет в ящик стола и вновь начнет выбивать свои знаменитые хоумраны при полных базах будущей весной; в половине девятого вечера вновь поднимется занавес, но в ее жизни уже не будет чего-то теплого и юного – того, чем она обладала еще вчера.

На улице уже стемнело, огни Бродвея напоминали лесной пожар, и Бэзил медленно пошел туда, где свет горел ярче всего. Со смутным чувством одобрения и обладания он смотрел на огромные светящиеся пересекающиеся плоскости реклам. Теперь он будет видеть их часто, и его беспокойное сердце станет биться в унисон с огромным

беспокойным сердцем нации – сюда он будет приходить всегда, когда бы ему ни удалось вырваться из школы.

Но теперь все изменилось – он едет в Европу! И тут Бэзил понял, что ни в какую Европу ему не хочется. Не мог он не послушаться зова собственной судьбы и получить взамен всего лишь несколько месяцев без боли. Последовательное покорение разных миров: сначала школа, затем университет, а после и Нью-Йорк – вот о чем он мечтал с самого детства, пронеся эту мечту с собой до самой юности. И неужели насмешки каких-то мальчишек смогут заставить его отказаться от настоящей мечты и с позором укрыться в тени? Он встряхнулся, как выходящий из воды пес, и тут же вспомнил о мистере Руни.

Спустя несколько минут он вошел в бар, поймал подтрунивающий взгляд бармена и прошел прямо к столику, где все еще спал мистер Руни. Бэзил потряс его за плечо – сначала осторожно, затем посильнее. Мистер Руни зашевелился и заметил Бэзила.

– Возьмись за себя, – сонно пробормотал он. – Возьмись за себя и оставь меня в покое!

– Я в порядке! – сказал Бэзил. – Честное слово, я – в полном порядке, мистер Руни! А вам нужно сейчас пойти со мной в туалет, умыться, в поезде еще сможете поспать, мистер Руни! Ну же, мистер Руни, пожалуйста, пойдемте...

V

Тяжелые времена, казалось, не кончатся никогда. В декабре Бэзил был опять наказан, и до самого марта ему не разрешали покидать школу. Снисходительная мать не привила ему привычки к труду, и с этим, пожалуй, не могла бы справиться никакая сила, кроме самой жизни; он много раз начинал все с чистого листа, у него ничего не получалось, но он пробовал снова и снова.

После Рождества он подружился с одним новичком, по имени Мэплвуд, но они поссорились из-за какой-то глупости; весь зимний семестр, когда школы для мальчиков превращаются в уединенный мирок, ограниченный стенами школьного здания, и дикая мальчишеская энергия лишь изредка находит себе выход в спортивном зале, Бэзил подвергался многочисленным насмешкам и унижениям за свои настоящие и придуманные грехи и проводил много времени в одиночестве. С другой стороны, теперь с ним всегда были и Тэд Фэй, и «Прекрасная роза ночная» на фонографе – «Теперь всю жизнь, как только я услышу этот вальс...», – и запечатлевшиеся в памяти огни Нью-Йорка, и мысли о том, как он будет играть в футбол будущей осенью, и очаровательный мираж Йеля, и скорая весна, несшая с собой надежду.

«Толстяк» Гаспар и еще несколько человек стали вести себя с ним вежливо. Однажды, когда ему и «Толстяку» случайно оказалось по пути по дороге с занятий, они вдруг разговорились об актрисах – и Бэзилу хватило ума впоследствии не хвастаться этим разговором.

Младшие ребята вдруг неожиданно решили, что он – вполне хороший парень, а один из преподавателей, который до этого его не любил, как-то раз по дороге в класс вдруг дружески хлопнул его по плечу. Со временем все забудется – может, для этого хватит и одного лета? В сентябре появятся новые наглые мальчишки, ну а для него в следующем классе начнется новая жизнь.

В один из февральских дней, когда ребята играли в баскетбол, случилось нечто очень важное. Он и Брик Уэльс оказались впереди, на половине противника, и в пылу схватки в спортивном зале зазвенело эхо от резких хлопков и пронзительных криков.

– Эй, сюда!

– Билл! Билл!

Бэзил вел мяч по полю, а Брик Уэльс оказался свободен и дал сигнал, что готов перехватить мяч.

– Сюда! Ли! Эй, Ли!

Ли!!!

Бэзил покраснел, дал ему пас и промахнулся. Его окликнули по фамилии! Замена была так себе, но все же лучше, чем обидная кличка или насмешка. Брик Уэльс продолжил игру, даже не заметив, что только что совершил или же поспособствовал свершению чего-то

такого, что в итоге уберегло другого мальчишку от зачисления в легион озлобленных, эгоистичных и несчастных неврастеников. Нам не дано знать, в какой редкий миг человек открыт всему миру и от легчайшего прикосновения может угаснуть навеки либо полностью исцелиться. Пройдет этот миг – и, быть может, нам уже больше никогда не удастся до него достучаться. И не исцелят его уже никогда наши самые целебные средства, и не ранят его уже никогда наши самые острые мечи.

Ли!!! Всего лишь пара звуков. Но, засыпая в тот вечер, Бэзил повторял их про себя вновь и вновь, размышляя о них, чувствуя радость от того, что теперь они с ним навсегда; и он уснул со счастливой улыбкой.

Он думает, что он – просто чудо!

I

В июне, после вступительных экзаменов в колледж, Бэзил Дьюк Ли и еще пятеро других ребят из школы Св. Риджиса сели в поезд, следовавший на запад страны. Двое сошли в Питтсбурге; один пересел на поезд до Сент-Луиса, двое вышли в Чикаго; дальше Бэзил поехал один. Впервые в жизни ему захотелось спокойствия, и теперь он мог вдыхать его полной грудью; ближе к концу учебы все стало гораздо лучше, но в целом прошедший школьный год выдался крайне неудачным.

На нем была одна из тех исключительно нелепых шляп фасона «дерби», который вошел в моду в двенадцатом году двадцатого века, и синий строгий костюм, казавшийся на нем слегка коротковатым от того, что Бэзил уже успел из него вырасти. Что касается внутреннего содержания, то Бэзил представлял собой, по очереди, то бесплотный

дух, практически не связанный с личностью и перемещавшийся в тумане впечатлений и эмоций, то крайне агрессивного индивидуума, отчаянно пытающегося контролировать поток событий, являвшийся ступенями его собственной эволюции от ребенка к мужчине. Он верил в то, что любой цели можно достичь, если приложить старания – таков принцип нынешней американской системы воспитания, – и его фантастическое честолюбие постоянно заставляло его желать слишком уж многого. Ему хотелось стать знаменитым спортсменом, популярным, блестящим и счастливым. В последний проведенный в школе год он был наказан за собственную наглость – за пятнадцать лет дома его совсем избаловали, так что теперь он вел себя излишне замкнуто, что, вкупе с наблюдениями за окружающими, обычно приводит к зарождению мудрости. Было очевидно: прежде чем достичь определенных успехов в общении с внешним миром, он поймет, что жизнь – это вечная борьба.

В Чикаго он провел целый день, гуляя по улицам и избегая вездесущих представителей криминальной среды. Купил детективный роман, называвшийся «В глухую полночь», в пять вечера забрал саквояж из вокзальной камеры хранения и сел в поезд линии Чикаго – Милуоки – Сент-Пол. И тут же столкнулся в вагоне со своей ровесницей, тоже ехавшей из школы домой.

Маргарет Торренс было четырнадцать; она была серьезной девушкой, которую все по привычке считали красавицей – в детстве она действительно была очень симпатичной. Полтора года назад после безмолвной борьбы Бэзилу удалось-таки поцеловать ее в лоб. Они были чрезвычайно рады видеть друг друга; каждый из них на некоторое время стал для другого воплощением давно не виданного голубого неба над родным домом и грядущих летних вечеров.

В тот вечер он ужинал с Маргарет и ее мамой в вагоне-ресторане. Маргарет заметила, что перед ней уже совсем не тот самоуверенный в себе мальчик, каким он был год назад; Бэзил уже не был столь безудержно оживлен, а задумчивость на лице, появившаяся у него после недавно сделанного открытия, что не только у него, но и у других имеются и желания, и возможности – и даже большие, чем у него, – понравилась Маргарет. В этой задумчивости она заметила очаровательную печаль. Он все еще излучал умиротворение после боя, который ему пришлось выдержать. Маргарет он всегда нравился – она

была девушкой серьезной и совестливой, такие иногда его любили, но сам он был не способен ответить на их чувства, – и теперь она с нетерпением ждала момента, когда сможет всем рассказать, каким же он стал привлекательным!

За окном во мраке пролетали фермерские поля; поезд вез их на запад. После ужина они вернулись в смотровой вагон и уселись на пустынной задней площадке. Они болтали об общих знакомых, о том, куда они ездили на пасхальные каникулы, о пьесах, которые шли в Нью-Йорке.

– Бэзил, а мы покупаем автомобиль! – сказала она. – И я буду учиться водить!

– Здорово! – Он задумался: разрешит ли ему дед этим летом хоть иногда брать покататься их семейный электромобиль?

Свет из вагона упал на ее юное лицо, и он, понукаемый приливом счастья от того, что с каждой минутой он все ближе и ближе к дому, с чувством произнес:

– А знаешь... Знаешь, ведь ты – самая красивая девушка в городе!

В тот момент, когда эта фраза слилась с волнующей ночью, попав Маргарет прямо в сердце, откуда-то появилась миссис Торренс и увела дочь в купе ложиться спать.

Бэзил некоторое время посидел в одиночестве на обзорной площадке вагона, едва заметив, что Маргарет уже ушла, чувствуя полное спокойствие и удовлетворение от того, что теперь до самого утра все так и останется в беспорядке и хаосе.

II

Из всех возрастов именно пятнадцать лет – тот самый возраст, который очень сложно поймать; сложно вот так вот щелкнуть пальцами и сказать: «Вот таким я был в пятнадцать!» Меланхолик Жак даже не упоминает о нем, и все, что нам о нем известно, – это то, что

где-то между тринадцатью, зенитом мальчишеского возраста, и семнадцатью, когда человек представляет собой нечто вроде пародии на юношу, существует такой период времени, когда молодой человек ежечасно перемещается между двумя мирами, его непрестанно бросает туда-сюда: то его влекут небывалые эксперименты, то – тщетные попытки вернуться в те дни, когда ни за что не нужно было платить. К счастью, сверстники не больше нашего помнят о том, как мы вели себя в пятнадцать; тем не менее вот-вот поднимется занавес, и мы увидим, как безрассудно повел себя Бэзил в то лето.

Все началось с того, что Маргарет Торренс, поддавшись тяге к идеализации, свойственной большинству рассудительных девушек, стала всем упоенно рассказывать, что Бэзил – это просто чудо! Привыкнув за прошедший в школе год верить всему, что говорят, и не найдя в тот момент больше ничего, во что бы можно было поверить, подруги восприняли эту информацию как непреложный факт. Бэзил внезапно превратился в легенду. Девушки на улице встречали его взрывами хихиканья, но он ни о чем не догадывался.

Однажды вечером, спустя неделю после приезда домой, он вместе с Рипли Бакнером после ужина пошел на традиционные посиделки на веранду к Имогене Биссел. Как только они показались на аллее, Маргарет и еще две девушки внезапно прильнули друг к другу, судорожно зашептались и стали носиться друг за другом по двору, издавая какие-то неразборчивые восклицания. Что это было, никто так и не понял, но кончилось все лишь с прибытием в лимузине Глэдис Ван-Шеллингер, которую с нежностью и помпой сопровождала горничная матери.

Все ребята немного отвыкли друг от друга. Те, кто учился в школах на востоке страны, чувствовали определенное превосходство, хотя оно более чем уравнивалось их самым плачевным неведением относительно произошедших тут в их отсутствие романтических встреч и размолвок, сцен ревности и приключений.

В девять все съели по мороженому и расселись на нагретых за день каменных ступенях, храня смущенное молчание, отмечающее половину пути между детскими дразнилками и юношеским кокетством. Еще год назад мальчишки принялись бы кататься по двору на велосипедах; теперь же все просто сидели и ждали непонятно чего.

Они знали, что оно обязательно случится, это знали даже самые незаметные девочки и самые робкие мальчики; романтический мир летней ночи, сладко и крепко сжимавший их сердца, вдруг принял в себя и их самих, и тех, кто находился с ними рядом. Потокотом отрывистых созвучий доносились их голоса до миссис Биссел, читавшей книгу возле открытого окна.

– Нет-нет, осторожнее! Сломается ведь! Бэзил!

– Рипли!

– И все-таки получилось!

Смех.

*... по Лунной бухте,
И они кричали нам...*

– А ты видел...

– Конни! Нет, нет! Щекотно! Осторожно!

Смех.

– Едешь завтра на озеро?

– Поеду в пятницу.

– Элвуд приехал...

– Разве? Элвуд приехал?

... ты разбила мне сердце...

– Да осторожнее же!

– Осторожней!

Бэзил сидел на балюстраде рядом с Рипли, слушая, как поет Джо Горман. Одной из вещей, о которых Бэзил сильно сожалел, была его неспособность петь так, «чтобы люди могли это выдержать». Поэтому он внезапно проникся восхищением по отношению к Джо Горману,

приписав свойствам его личности захватывающую чистоту звуков, паривших в вечерних сумерках.

Эти звуки заставили Бэзила вспомнить другой, совершенно изумительный вечер, и других, находившихся вдали и оттого еще более очаровательных девушек. Ему стало жаль, что голос умолк; все стали меняться местами, наступила почти деловая тишина – пришло время древней игры «Говори правду».

– Билл, какой твой любимый цвет?

– Зеленый, – подсказывает кто-то из друзей.

– Тс-с-с! Пусть сам говорит.

Билл отвечает:

– Синий.

– А какое женское имя тебе больше всего нравится?

– Мэри, – отвечает Билл.

– Мэри Хаупт! Билл втюрился в Мэри Хаупт!

Эта девушка страдала косоглазием и считалась в кругу ребят олицетворением всего самого отвратительного.

– Кого бы ты хотел поцеловать больше всех?

Возникшую в темноте паузу пронзил смешок.

– Маму!

– Нет! Кого из девушек?

– Никого!

– Нечестно! Штраф! Давай, Маргарет!

– Говори правду, Маргарет!

Она сказала правду, и мгновение спустя Бэзил с удивлением посмотрел с балюстрады вниз: он только что узнал, что нравится ей больше всех!

– Ну, надо же! – скептически воскликнул он. – Вот это да! А как же Хьюберт Блэр?

И возобновил дружеские пихания локтями с Рипли Бакнером. Оба тут же свалились с балюстрады. Теперь в процессе игры изучению подверглось тщательно опекаемое горничной сердце Глэдис Ван-Шеллингер.

– Твой любимый вид спорта?

– Крокет.

Это признание было встречено легким хихиканьем.

– Кто из мальчиков тебе больше всех нравится?

– Торстон Колер.

Раздался разочарованный ропот.

– А кто это?

– Так... Один мальчик с востока.

Это была уже явная отговорка.

– А кто тебе нравится из здешних мальчиков?

Глэдис замялась.

– Бэзил, – чуть помедлив, ответила она.

К балюстраде на этот раз обратились уже не столь насмешливые и игривые взгляды. Бэзил слегка смазал впечатление своими: «О, да! Неужели! Ну, конечно же!» Но внутри ощутил приятное чувство признания и знакомую радость.

Место Глэдис заняла Имогена Биссел – черноволосая миниатюрная красавица, самая популярная девушка в их компании. Гастрономические предпочтения вопрошающим успели надоесть, и к делу перешли на первом же вопросе:

– Имогена, ты когда-нибудь целовала мальчика?

– Нет! – Послышались недоверчивые возгласы. – Не целовала! – с негодованием подтвердила она.

– Хорошо. А тебя когда-нибудь целовали?

Порозовев, но не утратив самообладания, она кивнула и добавила:

– Я ничего не могла поделать!

– Кто?

– Не скажу!

– Ах-ах-ах! Наверное, это был Хьюберт Блэр?

– Имогена, какая у тебя любимая книга?

– «Беверлей Граустаргский».

– Кто из девушек нравится тебе больше всех?

– Пейшн Джонсон!

– Кто она?

– Ну, одна девушка из школы.

К счастью, миссис Биссел отошла от окна.

– А кто из мальчиков нравится?

Имогена ответила уверенно:

– Бэзил Ли!

На этот раз воцарилась изумленная тишина. Бэзил ничуть не удивился – мы ведь никогда не удивляемся тому, что вдруг обретаем

популярность, – но осознал, что о нем говорили отнюдь не эфемерные создания, рождавшиеся в воображении из прочитанных книг и воспоминаний о замеченных мимоходом в толпе лиц, чьи голоса он на мгновение расслышал в песне Джо Гормана. И когда в тот же момент где-то внутри особняка раздался первый телефонный звонок, звывший домой кого-то из дочерей, и девушки, щебеча, все вместе втиснулись в лимузин Глэдис Ван-Шеллингер, он нарочно задержался в тени, чтобы никто не подумал, будто он рисуется. А затем – возможно, потому, что у него в голове забрезжила шальная мысль о том, что если он познакомится с Джо Горманом поближе, то, быть может, станет и петь, как он, – он подошел к Джо и предложил зайти в лавку Ламберта выпить по стаканчику содовой.

Джо Горман был высокого роста, с белесыми бровями и глуповатым лицом. Членом их компании он стал совсем недавно. Бэзил ему не нравился – он не забыл, что весь прошлый год Бэзил смотрел на него свысока, – но полезные знания он всегда впитывал с жадностью и сейчас был прямо-таки ошеломлен очевидным успехом Бэзила у девушек.

В лавке Ламберта было весело; большие мотыльки бились о проволочную сетку двери, везде за столиками сидели томные парочки в белых платьях и легких костюмах. Ребятам принесли содовую, и Джо пригласил Бэзила к себе в гости с ночевкой; Бэзил позвонил по телефону домой, и ему разрешили.

Выйдя из залитой светом лавки в темноту, Бэзил погрузился в мир воображения, в котором, как ему казалось, он мог взглянуть на себя со стороны, и приятные события сегодняшнего вечера обрели новую важность в его глазах.

Умиротворенный гостеприимством Джо, он приступил к обсуждению волновавшего его вопроса.

– Сегодня случилась довольно забавная вещь, – с небрежной улыбкой заметил он.

– Про что ты?

– Ну, все эти девчонки, говорившие, что я нравлюсь им больше всех. – Это замечание Джо счел слегка натянутым. – Забавно то, – продолжил Бэзил, – что в школе я некоторое время считался очень непопулярным, потому что вел себя, видимо, слишком нагло. Видно,

все дело в том, что некоторые парни популярны среди парней, а некоторые – среди девчонок.

Он отдавал себя целиком и полностью в руки Джо, но не понимал этого; да и сам Джо чувствовал лишь неодолимое желание сменить тему разговора.

– Когда мне купят машину, – сказал Джо наверху в комнате, – мы будем кататься с Имогеной и с Маргарет!

– Отлично!

– Ты пригласишь Имогену, я – Маргарет, ну, или кого захочу. Я, конечно, понимаю, что нравлюсь им гораздо меньше, чем ты...

– Ну, да... Это потому, что ты в нашей компании недавно.

Эта тема была больным местом Джо, и замечание ему не понравилось. Но Бэзил ничего не заметил.

– Если хочешь быть популярным, будь как можно более вежлив со старшими! Сегодня вот, например, ты не поздоровался с миссис Биссел.

– Что-то я проголодался, – быстро произнес Джо. – Давай сходим в буфетную, поищем чего-нибудь перекусить?

В одних пижамах они отправились вниз. Чтобы раз и навсегда заставить Бэзила больше не заводить разговоров, Джо принялся негромко напевать:

*О, ты, чудесная игрушка,
Твои огромные... большущие...*

Но после целого месяца унижений в школе события этого вечера подействовали на Бэзила слишком сильно. Он стал испытывать к себе глубочайшее уважение. На кухне, сочтя, что его совета и ждут, и просят, он вновь принялся за свое:

– Вот, кстати, не стоит тебе носить эти белые галстуки! Никто из ребят в восточных штатах их не носит! – Джо, слегка покраснев, отвернулся от ледника, и у Бэзила возникло легкое нехорошее предчувствие. Но он все же продолжил: – И еще: надо бы тебе сделать так, чтобы семья отправила тебя учиться в школу на восток. Для тебя

это будет истинное благо! Особенно если ты собираешься поступать в какой-нибудь университет на востоке, тогда сначала лучше поучиться в тамошней школе. Там тебя быстро научат жизни!

Считая, что ничему особенному его учить не надо, Джо счел этот намек бестактным. Да и Бэзил в тот момент отнюдь не представлялся ему таким уж знатоком, хотя и прошел весь этот процесс.

– Ты будешь курицу или ветчину? – Они принесли стулья к кухонному столу. – А молока хочешь?

– Спасибо!

Чувствуя избыток калорий – сегодня после ужина он плотно ел еще целых три раза, – Бэзил разошелся. Мало-помалу он разворачивал перед Джо картину будущей жизни, блистательно трансформируя его из банального недотепы со Среднего Запада в исполненного изящества и неотразимого для женщин жителя восточных штатов. Пройдя в буфетную убрать молоко, Джо задержался у открытого окна, чтобы немного отдышаться; Бэзил пошел за ним.

– Дело в том, что если парня не научат жизни в школе, то ему придется всему учиться уже в университете, – продолжал Бэзил.

От отчаяния Джо открыл дверь и вышел на заднее крыльцо. Бэзил пошел за ним. Дом стоял на краю обрывистого холма; внизу располагался жилой квартал, и двое мальчишек некоторое время стояли молча, глядя на разбросанные у подножия огни города в низине. Перед лицом загадочной и незнакомой людской жизни, протекавшей среди лежавших внизу улиц, Бэзил почувствовал, что смысл его слов вдруг как-то сжался и поблек.

Он задумался, о чем же это он говорил и почему это казалось ему столь важным, и, когда Джо принялся опять негромко напевать, им вновь овладело тихое вечернее умиротворение, и он почувствовал, что верх одержала его лучшая сторона, обладавшая мудростью и выдержкой. Самообольщение, тщеславие и толстокожесть, под властью которых он провел весь последний час, исчезли, и он очень тихо сказал:

– Давай прогуляемся по кварталу?

Тротуар под их босыми ногами был теплым. На часах было всего лишь двенадцать ночи, но площадь была пустой, если не считать их белевших фигур, почти невидимых во мраке под светом звезд. Они весело смеялись, чувствуя себя отчаянно смелыми. Лишь однажды,

далеко впереди, улицу пересекла какая-то громко, по-человечески, топающая тень, но эти звуки лишь подчеркнули их собственную нематериальность. Быстро проскальзывая по освещенным газовыми фонарями полянкам среди деревьев, они обошли кругом весь квартал и прибавили шагу, как только впереди вновь замаячил дом Горманов, словно они и в самом деле потерялись посреди сна в летнюю ночь.

Поднявшись в комнату Джо, они улеглись в темноте, не засыпая.

«Я слишком много болтал, – подумал Бэзил. – Ему, наверное, показалось, что я его поучаю, – он, наверное, разозлился. Но, может, после прогулки по улице он уже все позабыл?»

Увы, Джо не забыл ничего, не считая совета, который Бэзил дал ему из самых лучших побуждений.

«Никогда еще не видел такого самодовольного типа, – с яростью думал Джо. – Он думает, что он – просто чудо! Считает себя прямо-таки чертовски популярным у девчонок...»

III

Это лето принесло с собой и новую, крайне важную весть: в компании Бэзила вдруг стало необходимо иметь в своем распоряжении автомобиль. Казалось, что все развлечения внезапно удалились на большие расстояния, концентрируясь у озер в пригородах или в загородных клубах. Прогулки по городу перестали считаться достойным времяпрепровождением. И даже единственный квартал до дома друга теперь считалось модным преодолевать исключительно на авто. Вокруг владельцев автомобилей стали формироваться группы иждивенцев, а счастливые обладатели средств передвижения вдруг стали приобретать обескураживающую – по крайней мере, по мнению Бэзила – власть.

С утра в тот день, когда на озере должны были состояться танцы, Бэзил позвонил Рипли Бакнеру:

– Привет, Рип! Собираешься ехать вечером к Конни?

– Да, поеду с Элвудом Лемингом.

– А у него местечко найдется?

Рипли, казалось, слегка смутился:

– М-м-м... Не думаю. Видишь ли, он пригласил Маргарет Торренс, а я – Имогену Биссел.

– Вот как...

Бэзил нахмурился. Видно, подготовкой надо было заняться еще неделю назад! Недолго думая, он позвонил Джо Горману:

– Джо, ты сегодня вечером едешь к Дэйвисам?

– Ну, да...

– А у тебя в машине место есть? Я хотел сказать – можно, я с тобой поеду?

– Ну, да, пожалуй... Да.

В тоне ощущался явный недостаток тепла.

– А у тебя точно место есть?

– Точно. Заедем за тобой в четверть восьмого.

Приготовления Бэзил начал в пять часов. Второй раз в жизни он побрился, завершив эту процедуру небольшим ровным порезом прямо под носом. Ранка кровоточила, не переставая, но ему, по совету горничной Хильды, удалось остановить кровотечение с помощью кусочков туалетной бумаги. Бумаги понадобилось много, и, чтобы можно было свободно дышать, он подрезал получившуюся под носом подушечку ножницами; с такими вот неуклюжими бумажными усами и запекшейся на верхней губе кровью он принялся бродить по дому, не находя себе места от нетерпения.

В шесть вечера он опять занялся ранкой, отмочив засохшую бумагу и попробовав разгладить пальцами сильно побагровевший шрам. Через какое-то время ранка подсохла, но когда он по неосторожности широко открыл рот, чтобы позвать маму, ранка открылась опять – и вновь пришлось прибегнуть к туалетной бумаге.

В четверть восьмого, надев синий пиджак и белые фланелевые брюки, он нанес последнюю полоску пудры на шрам, тщательно размазал пудру носовым платком и торопливо выбежал к машине Джо Гормана. Джо водил сам; впереди, рядом с ним, сидели Льюис Крам и Хьюберт Блэр. Бэзил уселся на широком заднем сиденье один, и машина поехала, нигде не останавливаясь, из города по шоссе Блэк-

Бэр; никто к Бэзилу не оборачивался, все тихо разговаривали между собой. Поначалу он думал, что они хотят подобрать по дороге еще каких-нибудь ребят; но, прислушавшись к разговорам, мало-помалу он пришел в ужас; в какой-то миг ему даже захотелось выйти из машины, но в таком случае они бы увидели, как он задет. Его душа, а вместе с ней и лицо окаменели, и до самого конца поездки он так и просидел молча, ни с кем не разговаривая, да и к нему никто не обращался.

Спустя полчаса в поле зрения показался дом Дэйвисов – высокий просторный коттедж, стоявший на небольшом полуострове у озера. Свет фонарей обрисовывал его колеблющиеся светящиеся очертания на водной глади, окрашенной в золотой и розовый. Чем ближе они подъезжали, тем громче доносились до них с лужайки низкие звуки басовых туб и барабанов.

Оказавшись внутри, Бэзил стал оглядываться, ища Имогену. Она была окружена толпой желающих записаться на танец к ней в книжку, но Бэзила она заметила; его сердце подпрыгнуло в ответ на ее мягкую, сердечную улыбку.

– Бэзил, я запишу тебя на четвертый, одиннадцатый и еще на второй из биса... Что с твоей губой?

– Порезался, когда брился, – торопливо ответил он. – А как насчет ужина?

– Ужинать я должна с Рипли, потому что он меня пригласил!

– Нет, не должна! – уверил ее Бэзил.

– Нет, должна! – вмешался оказавшийся поблизости Рипли. – Почему бы тебе не пригласить на ужин свою девушку?

Но никакой девушки у Бэзила не было, хотя он об этом еще и не подозревал.

После четвертого танца Бэзил повел Имогену на причал, где они нашли место в пришвартованной моторной лодке.

– И что теперь? – спросила она.

Он не знал; если бы он на самом деле в нее влюбился, то обязательно бы догадался. Когда ее рука на мгновение коснулась его колена, он ничего не заметил и принялся болтать. Он стал рассказывать ей, как здорово он играл в бейсбол во втором школьном составе, как однажды он выбил первый номер в игре из пяти подач. Он рассказал ей о том, что некоторые парни популярны среди парней, а

некоторые – среди девушек, и вот он, например, популярен среди девушек. Короче говоря, Бэзил облегчил душу.

Наконец, он почувствовал, что слишком уж много говорит о себе, и вдруг сказал, что Имогена нравится ему больше всех.

Имогена сидела, тихо вздыхая, при свете луны. В соседней лодке, скрытой тьмой за причалом, сидело четверо. Джо Горман пел:

*Моя любовь —
ее унес мой милый.
Он сердце девичье забрал...*

– Я подумал, что ты, быть может, захочешь об этом узнать, – сказал Бэзил Имогене. – Подумал, что ты, быть может, думаешь, что мне нравится другая. Ведь когда мы вчера играли, до меня очередь так и не дошла...

– Что-что? – рассеянно переспросила Имогена.

Она уже давно забыла про вчерашний вечер, и про все вечера, кроме этого, и теперь думала о том, что в голосе Джо Гормана скрыта какая-то магия. Следующий танец она будет танцевать с ним; он научит ее петь новую песню. А Бэзил был какой-то странный – зачем-то рассказывал ей все эти вещи... Он, конечно, был красивый, неплохо выглядел и все такое, но... Пожалуй, пора заканчивать этот танец. Ей было вовсе не весело!

Внутри послышалась музыка, нервные дрожащие скрипки заиграли «Все делают это».

– Ах, ты слышишь? – воскликнула она, выпрямившись и щелкнув пальцами. – Ты умеешь танцевать под рэгтайм?

– Послушай, Имогена... – он едва осознал, как нечто только что от него ускользнуло, – давай еще посидим здесь... А Джо потом скажешь, что забыла.

Она стремительно встала:

– Ах нет, как же можно!

Бэзил неохотно проводил ее в зал. Все опять вышло неудачно – он опять слишком много болтал. С печалью стал он ждать одиннадцатого

танца – он будет вести себя иначе. Теперь он убедил себя, что влюблен в Имогену. От самообмана, от притворной страсти и желания у него вдруг стало сухо во рту.

Незадолго до начала одиннадцатого танца он обнаружил, что что-то затевается, а его все намеренно избегают. Ребята перешептывались и тихо о чем-то переговаривались, а когда он подходил ближе, тут же повисала неестественная тишина. Он услышал, как Джо Горман сказал Рипли Бакнеру: «Нас не будет всего три дня. Если Глэдис не может, зови Конни! Все „дуэньи“ будут... – И тут же, заметив Бэзила, сменил окончание фразы: – И все вместе сходим в лавку Смита, съедим по мороженому, выпьем содовой».

Чуть позже Бэзил отвел в сторонку Рипли Бакнера, но никакой полезной информации из него извлечь не удалось: Рипли не простил Бэзилу попытку увести у него Имогену.

– Да ничего такого особенного, – упрямо повторял он. – Честное слово, собираемся к Смигу, только и всего... А что с твоей губой?

– Порезался, когда брился.

Когда пришло время танца с Имогеной, та повела себя еще более рассеянно, чем раньше. Перемещаясь по залу в судорожно обхвативших ее медвежьих объятиях под песенку «Гризли», она прямо во время танца не переставала обмениваться загадочными полуфразами с другими девушками. Он снова повел ее к лодке, но там уже кто-то сидел, и они стали ходить туда-сюда по причалу; он пытался завязать разговор, но она в ответ лишь напевала:

Моя любовь – ее унес мой милый...

– Послушай, Имогена! Когда мы сидели в лодке, я хотел тебя спросить про тот вечер, когда мы играли в «Говори правду». Ты тогда сказала правду?

– Ах, да к чему вообще вспоминать про эту дурацкую игру?

До ее ушей, и не единожды, уже доходило, что Бэзил считает, что он – просто чудо; этот слух разнесся с такой же легкостью, как и слухи о невиданных достоинствах Бэзила, разнесшиеся пару недель назад.

Имогена всегда со всеми соглашалась – и она уже успела согласиться сразу с несколькими охваченными эмоциями мальчиками в том, что Бэзил вел себя просто ужасно. Так что ей, благодаря ее собственной ветрености, было сложно не проникнуться к нему неприязнью.

Но Бэзил считал, что лишь неудачное стечение обстоятельств помешало ему достичь цели во время предыдущего перерыва между танцами, хотя чего ему хотелось – он и сам не знал.

Наконец, во время следующего перерыва, ему открыла правду Маргарет Торренс, которой он за весь вечер так и не уделил внимания.

– А ты едешь на прогулку к реке Сен-Кру? – спросила она, отлично зная, что его никто туда не звал.

– Что за прогулка?

– Джо Горман устраивает. Меня пригласил Элвуд Леминг!

– Нет, не еду, – угрюмо ответил он. – Я занят.

– А, ясно...

– И с Джо Горманом мы не дружим.

– Кажется, он тоже так считает!

– Да? А что он говорит?

– Да так, ничего.

– Но все же! Скажи – что он говорит?

Спустя некоторое время она ответила, как бы с неохотой:

– Ну... И он, и Хьюберт Блэр говорят, что ты... Что ты считаешь, что ты – просто чудо! – И у нее екнуло сердце.

Но она вспомнила, что сегодня он пригласил ее на единственный танец.

– Джо всем рассказал, как ты ему говорил, будто все девушки думают, что ты – чудо!

– Я никогда ничего подобного ему не говорил! – с негодованием ответил Бэзил. – Никогда!

Он все понял: это было дело рук Джо Гормана, который решил его погубить и воспользовался его болтливостью; настоящие же друзья Бэзила всегда прощали ему этот недостаток. Подлость окружающего мира вдруг сжала его, словно тиски. Он решил ехать домой.

В гардеробной с ним заговорил Билл Кампф:

– Привет, Бэзил! Что у тебя с губой?

– Порезался, когда брился.

– Слушай, а ты поедешь на прогулку через неделю? Все едут.

– Нет.

– Смотри, тут такое дело... Ко мне в гости приезжает кузина из Чикаго, и мама сказала, что хорошо бы, чтобы я пригласил на выходные кого-нибудь из ребят. Ее зовут Минни Библ.

– Минни Библ? – переспросил Бэзил, слегка разволновавшись.

– Я думал, что ты тоже едешь на эту прогулку, но Рипли Бакнер посоветовал сначала тебя спросить, так что я подумал...

– Мне надо быть дома, – быстро ответил Бэзил.

– Ах, да ладно тебе, Бэзил! – продолжил уговоры Билл. – Всего два дня, и она очень милая девушка! Она тебе понравится!

– Даже не знаю, – задумался Бэзил. – Вот что я тебе скажу, Билл. Мне сейчас надо успеть на трамвай, чтобы не опоздать домой. И если ты меня подбросишь на своей машине до Уайлдвуда, то я, пожалуй, поеду с вами на выходные.

– Ну, конечно!

Бэзил вышел на веранду и подошел к Конни Дэйвис.

– До свидания, – сказал он; несмотря на все старания, его голос прозвучал гордо и холодно. – Мне у тебя ужасно понравилось!

– Очень жаль, что ты так рано уходишь, Бэзил!

А про себя добавила: «Ну-ну, такому самодовольному типу и все понравилось! Он явно считает, что он – просто чудо!»

С причала до него донесся смех Имогены. Он молча спустился по лестнице с веранды и пошел по дорожке к Биллу Кампфу, стараясь держаться вдали от гуляющих, словно думая, что один его вид испортит им все удовольствие от прогулки.

Вечер получился просто ужасным.

Через десять минут Билл высадил Бэзила на остановке трамвая. Вместе с ним в вагон зашло несколько запоздавших гуляк, и трамвай, покачиваясь и гремя в темноте, повез его в Сент-Пол.

Две сидевшие напротив Бэзила девушки тут же стали его разглядывать и пихать друг друга локтями, но он не обратил на них внимания – он думал о том, как они все будут потом жалеть: и Имогена, и Маргарет, и Джо, и Хьюберт, и Рипли...

«Только подумать! – станут они с горечью повторять. – Всего двадцать пять, а уже президент Соединенных Штатов! Эх, и зачем же мы с ним так плохо обошлись в тот вечер!»

Он действительно думал, что он – просто чудо!

IV

Эрмини Гилберт Лабус Библ пребывала в изгнании. В мае родители привезли ее из Нового Орлеана в Саутгемптон, надеясь, что активная жизнь на свежем воздухе, наиболее подходящая для девушки пятнадцати лет, отвлечет ее от мыслей о любви. Но и на севере, и на юге – везде вокруг нее всегда вилась прямо-таки туча юнцов. Не прошло и месяца, как она и здесь уже была «помолвлена».

Из вышеизложенного отнюдь не следует, что свойственная двадцатилетней мисс Библ некоторая тяжеловесность проявилась уже в то время. Тогда она обладала лучезарной свежестью; иным юношам, во всех других смыслах отнюдь не слывшим невежами, ее лицо напоминало о покрытых росой голубых фиалках, среди которых на мир взирали голубые озера, за гладью которых скрывалась ясная душа и виднелись свежие, распустившиеся лишь сегодня утром розы.

Она пребывала в изгнании. Она следовала в национальный парк «Глейшер», чтобы забыть. Судьбой было предначертано, что на пути она встретит Бэзила, для которого эта встреча станет чем-то вроде обряда инициации, после которого он перестанет смотреть лишь на себя и впервые заглянет в ослепительно сияющий мир любви.

При первой встрече он показался ей тихим и красивым мальчиком с задумчивым лицом, что стало результатом недавнего повторного открытия им того факта, что и у других, а не только у него, имеются и желания, и возможности – и даже большие, чем у него. Минни, как и несколько месяцев назад Маргарет Торренс, сочла эту задумчивость очаровательной печалью. За ужином он вел себя крайне любезно по отношению к миссис Кампф – эту манеру он перенял от отца. Кроме того, Бэзил с таким интересом и вниманием слушал, как мистер Библ рассказывает о происхождении слова «креол», что мистер Библ подумал про себя: «Вот, наконец-то, юноша, в котором что-то есть!»

После ужина Минни, Бэзил и Билл поехали в поселок Блэк-Бэр смотреть кино, и мало-помалу воздействие очарования и личности Минни придало их роману и прелесть, и уникальность.

Так уж получилось, что на протяжении многих лет все романы Минни были похожи один на другой, словно близнецы. Она посмотрела на Бэзила – открыто, как ребенок; затем широко распахнула глаза, словно испытывая некое забавное опасение, и улыбнулась... Она улыбнулась...

Несмотря на всю чистоту этой улыбки, она всегда воспринималась, как зов, и била в голову, словно шампанское, благодаря очертаниям лица Минни и вне всякой зависимости от ее настроения. Как только улыбка появилась у нее на лице, Бэзил ощутил внезапную легкость и стремление ввысь, с каждым разом взмывая все выше и выше, спускаясь на землю лишь тогда, когда улыбка вот-вот грозила превратиться в оскал, но вместо этого просто тихо таяла. Она была словно наркотик. Чуть погодя ему уже ничего не было нужно – он хотел лишь смотреть и смотреть на нее, испытывая необъятную и вздымающую ввысь радость.

Затем ему захотелось узнать, насколько близко ему удастся подойти?

На определенной фазе романтических отношений между двумя молодыми людьми присутствие кого-то третьего действует как катализатор. На второй день, еще до того, как Минни и Бэзил успели миновать рубеж многословных и грубоватых комплиментов исключительной красоте и очарованию друг друга, оба уже принялись мечтать о том моменте, когда им удастся отделаться от общества пригласившего их в гости Билла Кампфа.

В конце дня, когда в воздухе стала чувствоваться прохлада надвигающегося вечера, Бэзил и Минни, искупавшись, ощущали себя свежими и открытыми всеми миру; они сидели на мягких качелях, утопая в высоких подушках, в тени от опутавших веранду густых виноградных лоз. Рука Бэзила сплелась с ее рукой, он наклонился к ее щеке, а Минни сделала так, что вместо щеки он прикоснулся к ее влажным губам. Учился он всегда с охотой и очень быстро.

Так они просидели целый час, не обращая внимания на доносившийся до них голос Билла – он звал их то с причала, то со второго этажа, то из беседки в конце сада, – а три оседланных лошадки

так и кусали в стойлах удила, и пчелки добросовестно трудились среди цветов. Затем Минни вернулась в реальный мир, и они позволили себя найти...

– Ах, мы тоже тебя потеряли!

И Бэзил, взмахнув руками, чудесным образом вознесся на второй этаж, чтобы привести себя в порядок перед ужином.

– Она просто потрясающая девушка! Черт возьми, она – просто чудо!

Он не должен терять голову! За ужином и после он с твердым и почтительным вниманием слушал, как мистер Библ рассказывает о долгоносике, который пожирает хлопок.

– Но я вам, наверное, уже надоел? Вам, молодым, наверное, хотелось бы побыть друг с другом...

– Вовсе нет, мистер Библ! Нам было очень интересно, честное слово!

– Ну ладно, давайте-ка собирайтесь и идите погуляйте. Я даже не заметил, что время-то уже позднее! Юноши с хорошими манерами и умной головой так редко встречаются в нынешние времена, что старики вроде меня готовы заговорить их до смерти!

Билл вместе с Бэзилем и Минни дошли до причала.

– Надеюсь, что завтра будет благоприятная для плавания погода. Слушайте, мне сейчас надо съездить в поселок и найти кого-нибудь себе в помощь на завтра. Поехали со мной?

– Я, наверное, еще немного тут посижу, а потом пойду спать, – сказала Минни.

– Ладно. А ты поедешь, Бэзил?

– Ну... Ну, да, конечно, если я тебе нужен, Билл!

– Но тебе придется сидеть на парусе, я везу его в починку.

– Мне бы не хотелось тебя стеснять, раз места нет...

– Да нет, ты не стеснишь. Пойду выведу машину.

Когда он ушел, они в отчаянии посмотрели друг на друга. Но прошел час, а он так и не вернулся – что-то там такое случилось с парусом или с машиной, и это его задержало. Была всего лишь угроза, что он вот-вот появится, это придавало всему остроту и заставляло сдерживать дыхание.

Они спустились к моторной лодке и сели там, шепча друг другу: «Этой осенью...» – «Когда ты приедешь в Новый Орлеан...» – «Когда

через год я поступлю в Йель...» – «Когда я приеду в школу, на север...» – «Когда я вернусь из „Глэйшер“...» – «Поцелуй меня еще...» – «Ты потрясающий! Ты знаешь, что ты – потрясающий?... Ты просто чудо...»

Плескалась вода; лодка глухо билась о причал; Бэзил отвязал канат, оттолкнулся, и они, покачиваясь, отплыли от причала, и лодка превратилась в уединенный островок в ночи...

... На следующее утро, когда он собирал чемодан, она пришла к нему в комнату и встала в дверях. Ее лицо сияло от волнения; на ней было белое накрахмаленное платье.

– Бэзил, послушай! Я должна тебе рассказать: папа после завтрака разговорился и сказал дяде Джорджу, что никогда еще не встречал столь вежливого, тихого и уравновешенного юношу, как ты; кузен Билл уезжает в лагерь на месяц, так что папа спросил у дяди Джорджа, как он считает, разрешат ли тебе родители поехать с нами на две недели в «Глэйшер», чтобы у меня там была компания? – Они взялись за руки и запрыгали по комнате от радости. – Только пока ничего никому не говори, потому что он, думаю, напишет твоей маме и все такое. Бэзил, ну разве это не чудесно?

Поэтому в одиннадцать, когда Бэзилу уже пора было уезжать, они попрощались без всякой скорби. До станции Бэзила взялся подвезти сам мистер Библ, как раз собравшийся в поселок за газетами. Пока автомобиль не скрылся из виду, глаза двух юных особ продолжали сиять, а их машущие на прощание руки хранили общую тайну.

Бэзил откинулся на сиденье; его переполняло счастье. Он расслабился – было приятно, что визит прошел так удачно. Он любил и ее, и даже ее отца, сидевшего рядом, – того, кто имел счастье всегда находиться рядом с ней и ощущать дурман ее улыбки...

Мистер Библ закурил сигару.

– Какой климат! – сказал он. – До конца октября тут всегда хорошая погода.

– Да, просто чудесная, – согласился Бэзил. – Я уже тоскую по здешним октябрьским дням, потому что мне придется учиться на востоке страны.

– Готовитесь поступать в университет?

– Да, сэр. Готовлюсь к экзаменам в Йель! – Ему пришла в голову новая приятная мысль. Он замялся, но решил, что мистер Библ,

которому он понравился, наверняка разделит его радость. – Весной я сдавал предварительные экзамены, и мне недавно сообщили результат – я сдал шесть из семи!

– Неплохо!

Бэзил опять замялся, но все же продолжил:

– Я получил «отлично» по истории Древнего мира, «хорошо» по истории Англии и «отлично» по литературе. По алгебре у меня «удовлетворительно», по латыни – один экзамен «отлично», второй «хорошо». Провалил только французский!

– Очень хорошо, – сказал мистер Библ.

– Я бы сдал все, – продолжал Бэзил, – если бы не ленился поначалу. Я был самым младшим у себя в классе, так что по этому поводу слегка зазнался.

Было бы неплохо, если бы мистер Библ понял, что возьмет с собой в парк «Глейшер» отнюдь не дурака! Мистер Библ глубоко затянулся сигарой.

Подумав, Бэзил решил, что последнее замечание прозвучало не совсем так, как хотелось бы, и решил дать некоторые пояснения:

– Ну, я не то чтобы зазнался, просто мне никогда не нужно было много учить – по литературе, так уж получилось, я обычно читал все заранее, и по истории я тоже очень много читал. – Он умолк и попробовал высказаться иначе: – Я хотел сказать, что обычно, когда говорят «зазнался», на ум всегда приходит мальчик, который бежит весь такой надутый, как бы говоря всем: «Вот, смотрите, как я много знаю!» Но я не такой! Я хотел сказать, что вовсе не считаю, что знаю все, а просто вроде как...

Пока он подыскивал нужное слово, мистер Библ произнес: «Гм!» – и указал сигарой на далекое пятнышко на озере.

– А вон яхта плывет, – сказал он.

– Да, – согласился Бэзил. – Но я плохо разбираюсь в яхтах. Как-то никогда не интересовался. Я, конечно, много раз плавал, помогал закладывать галсы и все такое, но большую часть времени, в сущности, там просто сидишь и ничего не делаешь. Мне больше нравится играть в футбол.

– Гм! – сказал мистер Библ. – А вот когда я был в твоём возрасте, я каждый день ходил на яхте по заливу.

– Наверное, это здорово, раз вам так нравилось, – уступил Бэзил.

– Лучшее время в моей жизни!

Показалась железнодорожная станция. Бэзил подумал, что хорошо бы было на прощание еще раз продемонстрировать свой дружеский настрой.

– Ваша дочь, мистер Библ, на редкость привлекательная девушка, – сказал он. – Девушкам со мной легко поладить, но обычно они мне не очень нравятся. А вот ваша дочь, по моему мнению, крайне привлекательная девушка! – Когда остановилась машина, его вдруг охватило легкое дурное предчувствие; оно побудило его с извиняющимся смешком добавить: – Всего доброго! Надеюсь, я не слишком много болтал?

– Вовсе нет, – ответил мистер Библ. – Желаю вам удачи. Всего доброго!

Через несколько минут поезд Бэзила тронулся, а мистер Библ остановился у газетного киоска, выбирая газету и вытирая пот со лба – июльский день выдался жарким.

«Да, сэр! Вот вам и урок – никогда и ничего не делайте в спешке! – с негодованием подумал он. – Только подумать, целых две недели пришлось бы слушать в „Глэйшере“, как этот наглый мальчишка тараторит о себе, любимом! Спасибо тебе, Господи, за эту недолгую поездку!»

Приехав домой, Бэзил в буквальном смысле сел и стал ждать. Ни под каким предлогом он не желал покидать дом, отлучаясь лишь в ближайшую лавку, чтобы освежиться лимонадом, но и оттуда он возвращался домой бегом. От звука телефонного звонка или звонка в дверь он подскакивал и замирал, словно от удара током на электрическом стуле. Днем он написал дивное географическое стихотворение, которое отослал в письме Минни.

*Из прекрасных парижских цветов,
из роз алых Рима, из венских
слез горьких печаль моя соткана.
И где бы я ни находился,
мне кажется – я под Луной
с тобою вдвоем, и лишь звезды
нам светят, и слышится тихая
гитары испанской мелодия,
что запахом скорби пропитана.*

Но вот кончился понедельник, почти прошел вторник, а ничего не происходило. В конце второго дня ожидания он рассеянно блуждал из комнаты в комнату, глядя из окон на пустынную, безжизненную улицу. И вот по телефону позвонила Минни.

– Алло! – Его сердце отчаянно забилося.

– Бэзил, мы уезжаем завтра днем.

– Уезжаете... – беспомощно повторил он.

– Ах, Бэзил, мне так жаль! Папа передумал и не хочет никого с нами брать.

Ох!

– Мне так жаль, Бэзил...

– Я бы, наверное, все равно не смог...

На миг повисла тишина. Чувствуя, что там, на другом конце провода, – она, он с трудом дышал, да и говорить мог тоже лишь с трудом.

– Бэзил, ты меня слышишь?

– Да.

– На обратном пути мы, может быть, снова окажемся здесь. Как бы там ни было, помни – зимой мы увидимся в Нью-Йорке!

– Да, – сказал он, а затем добавил: – Возможно, мы больше никогда не увидимся...

– Разумеется, увидимся! Ах, меня зовут, Бэзил! Я должна идти. До свидания!

Он сидел рядом с телефоном, обезумев от печали. Полчаса спустя его нашла горничная – он сидел, уронив голову на кухонный стол. Он понял, что стряслось, хотя Минни ему об этом и не сказала. Он вновь

совершил все ту же ошибку, уничтожив за какие-то полчаса все результаты своего трехдневного примерного поведения. И его бы нисколько не утешило, если бы он узнал, что этого все равно было не избежать. Во время поездки он обязательно перестал бы сдерживаться, и тогда вышло бы еще хуже, хотя, возможно, было бы и не столь грустно. Но сейчас он мог думать лишь о том, что она уезжает...

Он лежал на кровати, расстроенный, запутавшийся, несчастный, но не побежденный. Раз за разом все та же жажда жизни, подвергавшая его дух болезненным бичеваниям, давала ему возможность стереть с себя кровь, словно капли росы, но не затем, чтобы все забыть, а чтобы и дальше нести свои шрамы навстречу новым бедствиям и новым воздаяниям, навстречу неизведанной судьбе.

Через два дня мама сказала, что дед разрешает ему иногда брать покататься семейный электромобиль, если, конечно, машина никому не понадобится по делам и при условии, что батареи будут всегда заряжены, а раз в неделю машина будет вымыта. Два часа спустя Бэзил уже выехал из гаража и поехал по Крест-авеню. Он откинулся назад, словно сидел за рулем «Штутц Биркэт», и выжал из своей машины максимальную скорость. У особняка семейства Биссел он неуверенно остановился, увидев, что ему машет стоящая возле дома Имогена.

– Привет! У тебя есть машина?

– Это дедушкина, – скромно сказал он. – А я думал, что ты поехала со всеми на Сен-Кру?

Она покачала головой:

– Мама не разрешила – из девушек почти никто не поехал. В Миннеаполисе случилась какая-то страшная авария, и мама сказала, что разрешит мне кататься в машине, только если за рулем будет кто-нибудь старше восемнадцати.

– Слушай, Имогена, а как ты думаешь, к электромобилям это относится?

– Ну, я не знаю... Как-то не думала. Могу пойти и спросить.

– Скажи маме, что моя машина не может ехать быстрее двенадцати миль в час, – крикнул он вдогонку.

Спустя минуту она весело выбежала из дома.

– Мне разрешили, Бэзил! – воскликнула она. – Мама никогда не слышала, чтобы электромобили попадали в аварии. Куда поедем?

– Куда угодно! – беспечно произнес он. – Я чуть-чуть ошибся, когда сказал, что эта машина делает всего лишь двенадцать миль в час; из нее легко выжать все пятнадцать! Слушай, а давай съездим в лавку Смита и выпьем по лимонаду с кларетом?

– Ах, Бэзил Ли!

Тень плененная

I

Бэзил Дьюк Ли закрыл за собой входную дверь и включил свет в столовой. Со второго этажа донесся сонный голос матери:

– Это ты, Бэзил?

– Нет, мама, это грабитель!

– Мне кажется, что пятнадцать лет – не совсем тот возраст, когда можно запросто возвращаться домой в полночь!

– Мы зашли в лавку Смита выпить содовой.

Всегда, когда на Бэзила сваливалась какая-нибудь новая обязанность, ему говорили, что ему «уже почти шестнадцать»; когда же речь заходила о каких-нибудь льготах, ему всегда было «всего лишь пятнадцать».

Сверху донеслись шаги, и миссис Ли в пеньюаре спустилась на один пролет по лестнице:

– Понравилась ли вам с Рипли пьеса?

– Да, очень.

– И о чем она?

– Да так, про одного человека. Самая обыкновенная пьеса.

– А название-то у нее было?

– «Вы масон?»

– Ясно. – Она замешкалась, пристально вглядываясь в его настороженное и напряженное лицо, удерживая его тем самым на месте. – Ты пойдешь спать?

– Что-то есть захотелось...

– А разве ты не наелся?

Он медлил с ответом. Перед ним в гостиной стоял матово поблескивавший стеклами книжный шкаф, и Бэзил, бросив на него тусклый взгляд, стал рассматривать книги.

– Мы хотим поставить пьесу, – вдруг произнес он. – А я ее пишу!

– Что ж... Это очень хорошо. Пожалуйста, не засиживайся и ложись спать. Вчера ты лег слишком поздно, и у тебя уже появились темные круги под глазами.

Из книжного шкафа Бэзил извлек «Ван-Бибера и других», раскрыл и стал читать, одновременно поглощая большую тарелку клубники со сливками. Вернувшись в гостиную, он несколько минут посидел у фортепьяно, переваривая ужин и любуясь цветной картинкой на обложке нот песни из «Сыновей полуночи». На картинке были нарисованы трое мужчин в вечерних костюмах и цилиндрах, весело шагающие по Бродвею на фоне сверкающей огнями Таймс-сквер.

Бэзил с негодованием отверг бы любые попытки уличить его в том, что из всех произведений искусства именно это нравилось ему больше всего, хотя на сегодня дело обстояло именно так.

Он поднялся наверх. Достал из ящика стола толстую тетрадь и раскрыл ее.

*БЭЗИЛ ДЬЮК ЛИ
ЩКОЛА СВ. РИДЖИСА,
ИСТЧЕСТЕР, ШТАТ КОННЕКТИКУТ.
ПЯТЫЙ КЛАСС, ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК.*

На следующей странице, под заголовком «Неправильные глаголы», было записано:

Настоящее время

*je connais – nous con
tu connais
Il connaît*

Он перевернул страницу.

МИСТЕР ВАЦИНГТОН-СКВЕР

Музыкальная комедия

*Либретто: БЭЗИЛ ДЬЮК ЛИ
Музыка: Виктор Герберт.*

АКТ I

*(Крыльцо «Клуба миллионеров», вблизи Нью-Йорка.
Вступление исполняют ЛЕЙЛА и ХОР ДЕБЮТАНТОК.)*

*Поем мы вам не тихо и не громко,
Никто еще не слышал этой песни!
Вам с нами будет весело, поверьте!
Никто еще не слышал этой песни!
Мы – юные веселые девицы,
И скуки мы не ведаем, ведь мы
Совсем еще недавно в высшем свете.
Мы остроумны и прекрасны, и
Никто еще не слышал этой песни!*

*Лейла (шагнув вперед). Ну, девочки, скажите: заглядывал ли
сегодня мистер Вашингтон-Сквер?*

Бэзил перевернул страницу; вопрос Лейлы так и остался без ответа.
Вместо него на новом листе большими буквами был записан новый
заголовок:

БЭЗИЛ ДЬЮК ЛИ

ИК! ИК! ИК!

Веселый фарс в одном акте.

Сцена

*(Модная квартира недалеко от нью-йоркского Бродвея. На
часах – почти полночь. Не успевает подняться занавес, как*

раздается стук в дверь, и чуть погодя дверь открывается; выходит красивый мужчина в вечернем костюме, в сопровождении приятеля. Мужчина явно пил весь вечер, поскольку бормочет нечто нечленораздельное, нос его покраснел, ему с трудом удастся удерживаться на ногах. Он включает свет и выходит на середину сцены.)

Стьювесант. Ик! Ик! Ик!

О'Хара (его приятель). Бегора, ты весь вечер только это и повторяешь!

Бэзил перевернул страницу, затем еще одну торопливо, но не без интереса, пробегая глазами написанное.

Профессор Пампкин. Итак, раз вы считаете себя образованным человеком, скажите мне, пожалуйста, как на латыни сказать «это»?

Стьювесант. Ик! Ик! Ик!

Профессор Пампкин. Верно. Разумеется, так. Я...

На этом месте текст «Ик! Ик! Ик!» обрывался. На следующей странице все та же решительная рука, словно не заметив, что две предыдущие попытки кончились ничем, начертала новый заголовок, жирно его подчеркнув.

БЭЗИЛ ДЬЮК ЛИ

ТЕНЬ ПЛЕНЕННАЯ

Мелодраматический фарс в трех актах

Сцена

(Действие всех трех актов происходит в библиотеке нью-йоркского дома ВАН-БЕЙКЕРОВ. Библиотека богато обставлена, сбоку стоит красный торшер, на стене висят старинные перекрещенные копья, рыцарские шлемы и тому

подобное, у стены – диван; обстановка напоминает пещеру в восточном стиле.

Когда поднимается занавес, за столом сидят МИСС САУНДЕРС, ЛЕЙЛА ВАН-БЕЙКЕР и ЭСТЕЛЛА КЭРРЕДЖ. МИСС САУНДЕРС – весьма игривая старая дева лет сорока. ЛЕЙЛА – черноволосая красавица. ЭСТЕЛЛА – блондинка. Вместе эти дамы представляют собой довольно неожиданное сочетание.)

«Тень плененная» занимала все оставшиеся листы и еще несколько дополнительных листков, вставленных в конце тетради. Дочитав до конца, Бэзил некоторое время задумчиво сидел. В Нью-Йорке в этом году был бум «криминальных комедий», и сейчас он вновь живо и ярко переживал ощущения и размах двух виденных постановок. Ему они казались исполненными громадного значения, открывая новый мир, гораздо более обширный и блестящий, чем мир за окнами и дверями его дома, и именно этот самый мир, а вовсе не желание создать некое подобие «Офицера 666», вдохновил его на лежавшее сейчас перед ним произведение. Он взял новый блокнот, написал сверху «Акт II» и принялся строчить.

Прошел час. Несколько раз он обращался к небольшой коллекции сборников шуток и прибегал к помощи потрепанной «Сокровищницы остроумия и веселья», в которой содержались уже успевшие мумифицироваться викторианские остроты епископа Уилберфорса и Сиднея Смита. В тот самый момент, когда по сюжету медленно открылась дверь, он услышал громкий скрип лестничной ступеньки. В ужасе, дрожа, он вскочил, но все было тихо; о сетку двери с улицы бился белый мотылек, где-то вдали в городе пробили часы, птица на дереве шумно расправила крылья.

Оказавшись в половине пятого в ванной, он был потрясен – за окном уже начинало светать. Он не спал всю ночь! Ему вспомнилось, что те, кто не спит по ночам, сходят с ума, и у него прямо в коридоре замерло сердце. Он с мучительным томлением стал прислушиваться к себе, чтобы понять, сошел он уже с ума или нет? Все вокруг казалось каким-то необычным и нереальным; он лихорадочно бросился в свою комнату, судорожно срывая с себя одежду, пытаясь нагнать убегающую ночь. Раздевшись, он бросил последний грустный взгляд на свою

рукопись; в голове у него оставалась еще целая сцена. Чтобы хоть немного отсрочить надвигающееся безумие, он лег в постель – и еще целый час писал лежа.

Поздним утром следующего дня его грубо разбудила одна из двух безжалостных скандинавок, которые, в теории, считались прислугой семейства Ли.

– Одиннадцать утра! – проорала она. – Пять минут двенадцатого!

– Оставьте меня в покое, – пробормотал Бэзил. – Что вам нужно, зачем вы меня будите?

– К вам пришли! – Он открыл глаза. – Вы вчера вечером съели все сливки! – продолжала Хильда. – Вашей маме не с чем было выпить кофе!

– Все сливки?! – воскликнул он. – Но я же видел – там еще были!

– Те скисли!

– Какой ужас! – воскликнул он, сев в постели. – Просто кошмар!

Миг она наслаждалась его смущением. Затем сказала:

– К вам пришел Рипли Бакнер! – И ушла, закрыв за собой дверь.

– Скажите ему, чтобы шел сюда! – крикнул он ей вслед. – Хильда, ну неужели нельзя хотя бы выслушать до конца? Были какие-нибудь письма для меня?

Ответа не было. Через секунду вошел Рипли:

– О, боже, ты еще в постели?

– Я всю ночь писал пьесу. Почти закончил второй акт. – Он показал на стол.

– Вот об этом я и хотел с тобой поговорить, – сказал Рипли. – Мама считает, что нам необходимо пригласить мисс Халлибартон.

– Зачем?

– Просто так.

Хотя мисс Халлибартон и была приятной особой, совмещавшей обязанности репетитора по французскому языку и тренера по бриджу, и считалась неформальной воспитательницей и другом детей, Бэзилу показалось, что под ее руководством проект приобретет оттенок непрофессионализма.

– Она не станет вмешиваться, – продолжал Рипли, явно цитируя мать. – Я буду продюсером, ты – режиссером, как мы и договаривались, а она нам пригодится в качестве суфлера и поможет

поддерживать порядок на репетициях. Мамам девушек это точно понравится!

– Ну, ладно. – Бэзил неохотно согласился. – А теперь давай посмотрим, кого мы пригласим играть. Для начала решим, кто будет играть главную роль – это у нас благородный грабитель, по кличке Тень; только в конце выяснится, что на самом деле он – юноша из высшего общества, который все это делал, потому что поспорил, и вовсе он никакой не грабитель!

– Это будешь ты!

– Нет, ты!

– Да ладно тебе! Ты ведь отличный актер! – возразил Рипли.

– Нет, себе я возьму какую-нибудь небольшую роль – мне ведь еще придется работать с актерами!

– Ладно. Но мне тоже надо будет решать всякие деловые вопросы, я же продюсер!

Выбор актрис – подразумевалось, что все с радостью примут предложение, – оказался сложнее. В конце концов для главной роли была одобрена кандидатура Имогены Биссел, роль ее подруги решили отдать Маргарет Торренс, а роль «мисс Саундерс, весьма игривой старой девы», – Конни Дэйвис.

Рипли подумал о том, что некоторые девушки могут обидеться, если их не пригласят, поэтому Бэзил придумал роли горничной и кухарки, которые «будут просто выглядывать из кухни». Но он наотрез отказался выполнять дальнейшие пожелания Рипли о том, что хорошо бы ввести еще двух-трех горничных, «какую-нибудь белошвейку» и профессиональную сиделку. Даже самый ловкий из благородных грабителей испытывал бы определенные трудности с перемещением по столь переполненному женщинами дому.

– И я скажу тебе, кого мы точно не пригласим! – задумчиво произнес Бэзил. – Джо Гормана и Хьюберта Блэра!

– Если бы пришлось иметь дело с Хьюбертом Блэром, я бы вообще отказался участвовать! – уверенно заявил Рипли.

– И я тоже!

Успех Хьюберта Блэра у девушек был сродни чуду – и Бэзилу, и Рипли довелось испытать из-за него немало мук ревности.

Они приступили к обзвону предполагаемых кандидаток, и постановку тут же постиг первый удар. Имогена Биссел уезжала на

три недели в Рочестер, штат Миннесота, где ей должны были удалить аппендицит.

Они призадумались.

– А как насчет Маргарет Торренс?

Бэзил отрицательно покачал головой. Лейлу Ван-Бейкер он представлял исключительной и пылкой натурой, не похожей на Маргарет Торренс. Не то чтобы образ Лейлы обладал какой-либо реальностью хотя бы в глазах Бэзила – нет, она значила для него даже меньше, чем девушки с иллюстраций Харрисона Фишера, пришпиленных по стенам его комнаты в школе. Но Маргарет Торренс для этой роли точно не годилась. Она не была той, кого он себе представил за полчаса до того, как взялся за телефон.

Он отвергал кандидатку за кандидаткой. В конце концов перед его мысленным взором замаячило лицо, словно бы связанное с чем-то иным, но столь настойчиво было видение, что у него с языка через какое время сорвалось имя:

– Эвелин Биби!

– Кто-кто?

Эвелин Биби было всего шестнадцать лет, но преждевременно расцветшее очарование вознесло ее в компанию молодых людей постарше, и для Бэзила она была представительницей поколения героини его пьесы Лейлы Ван-Бейкер. Думать о том, чтобы ее пригласить, было сродни надежде заполучить в свою пьесу Сару Бернар, но как только было произнесено ее имя, все остальные кандидатки в один миг лишились и живости, и яркости.

В полдень они позвонили в дверной звонок особняка семейства Биби, а когда дверь открыла сама Эвелин и с вежливостью, под которой скрывалось удивление, предложила им войти, ребят охватил паралич смущения.

За портьерами гостиной Бэзил вдруг заметил молодого человека в спортивных бриджах гольфиста – и узнал его.

– Мы, наверное, не вовремя... – торопливо произнес он.

– Зайдем в другой раз! – добавил Рипли.

И они поспешно двинулись к двери, но на пути у них встала Эвелин.

– Что за глупости! – сказала она. – Это ведь просто Энди Локхарт!

«Просто» Энди Локхарт! Чемпион по гольфу западных штатов в восемнадцать лет, капитан юношеской бейсбольной команды, красавец, добивавшийся успеха во всем, живой символ великолепного и чарующего мира Йеля! Целый год Бэзил пытался перенять его походку и безуспешно пытался научиться играть на фортепьяно без нот, со слуха, как это умел делать Энди Локхарт.

Поскольку отступление стало невозможным, пришлось пройти в комнату. Их план уже казался им чересчур самонадеянным и смехотворным.

Заметив, в каком они находятся состоянии, Эвелин попыталась их немного успокоить с помощью легкого подтрунивания.

– А вы как раз вовремя! – сказала она Бэзилу. – А то я вечера напролет сидела дома и все ждала, ну когда же вы придете, прямо с того самого вечера у Дэйвисов. И что же вы раньше-то не приходили?

Бэзил смущенно посмотрел на нее, не в силах даже улыбнуться, и пробормотал:

– Ну да, так мы и поверили!

– Но это действительно так! Присаживайтесь и расскажите мне, пожалуйста, почему вы меня бросили? Подозреваю, что вы оба были слишком заняты, ухаживая за прекрасной Имогеной Биссел!

– М-м-м, как я понял... – сказал Бэзил. – Н-да, я слышал, что она уехала, ей должны вырезать аппендицит, вот как...

На этом его голос превратился в неразборчивое бормотание, потому что Энди Локхарт стал наигрывать на фортепьяно задумчивые аккорды, сменившиеся матчишем – эксцентрическим пасынком аргентинского танго. Откинув назад шарф, чуть приподняв юбку, Эвелин плавно протопала несколько па, постукивая каблучками по полу.

Не подавая признаков жизни, они сидели на диване, словно подушки, и глядели на нее. Она была почти что красавица, с довольно крупными чертами лица и ярким румянцем, за которым, казалось, всегда чуть подрагивало от смеха ее сердце. Ее голос и гибкое тело пребывали в постоянном движении, безостановочно отзываясь забавным эхом на каждый звук и движение окружающего мира, и даже те, кому она не нравилась, вынуждены были признавать: «Эвелин всегда умеет рассмешить». Свой танец она завершила, нарочно споткнувшись и будто бы в испуге ухватившись за фортепьяно, и

Бэзил с Рипли приснули. Заметив, что их смущение прошло, она подошла к ним и села, и они опять рассмеялись, когда она сказала:

– Прошу прощения – не смогла удержаться!

– Хочешь сыграть главную роль в нашей пьесе? – спросил Бэзил, набравшись отчаянной храбрости. – Мы ставим ее в школе «Мартиндейл», а сборы пойдут в пользу Фонда помощи бедным детям.

– Бэзил, это так неожиданно...

Энди Локхарт отвернулся от фортепьяно и посмотрел на них:

– И что вы собираетесь ставить? Шоу с негритянскими песнями?

– Нет, мы ставим криминальную драму, она называется «Тень плененная». Под руководством мисс Халлибартон. – Он внезапно оценил все удобство этого имени, за которым можно было легко спрятаться.

– А почему бы вам не поставить, например, «Личного секретаря»? – перебил его Энди. – Очень хорошая пьеса для вашего возраста. Мы ставили ее в последнем классе.

– Нет-нет, все уже решено! – торопливо произнес Бэзил. – Мы ставим мою пьесу!

– Так ты сам ее написал? – воскликнула Эвелин.

– Да!

– О, боже мой! – сказал Энди. И вновь принялся наигрывать на фортепьяно.

– Послушай, Эвелин! – сказал Бэзил. – Репетировать будем всего три недели, и у тебя будет главная роль!

Она рассмеялась:

– Ах, нет! Я не смогу. Почему бы вам не пригласить Имогену?

– Она заболела, я же только что говорил... Послушай...

– Или Маргарет Торренс?

– Мне не нужен никто, кроме тебя!

Прямота этой просьбы тронула ее сердце, и она на мгновение заколебалась. Но в этот миг чемпион по гольфу среди западных штатов вновь посмотрел на нее с насмешливой улыбкой, и она покачала головой:

– Я не смогу, Бэзил. Мне, скорее всего, придется ехать с семьей на восток...

Бэзил и Рипли нехотя встали.

– Эх, как бы мне хотелось, чтобы ты согласилась, Эвелин!

– Мне очень жаль, но я не смогу.

Бэзил помедлил, пытаясь придумать что-нибудь на ходу; ему еще больше захотелось, чтобы она согласилась; стоило ли вообще продолжать всю эту историю без нее? И внезапно с его губ сорвалось отчаянное:

– Ты, без сомнения, смотрелась бы на сцене просто чудесно! Видишь ли, главную роль у нас будет играть Хьюберт Блэр...

И посмотрел на нее, затаив дыхание; она задумалась.

– До свидания! – сказал он.

Чуть нахмурившись, она проводила их до двери и вышла с ними на веранду.

– Так сколько времени, вы говорите, нужно будет репетировать? – задумчиво спросила она.

II

Три дня спустя, августовским вечером, на крыльце дома мисс Халлибартон Бэзил читал актерам свою пьесу. Он нервничал, и поначалу так и сыпались замечания вроде: «Погромче!» или «Помедленнее, пожалуйста!» В тот самый момент, когда остроумная перепалка двух бандитов-комиков вызвала у слушателей смех – шутки были проверены временем и обкатаны еще Уэбером и Филдсом, – читку прервало прибытие Хьюберта Блэра.

Хьюберту было пятнадцать лет; это был довольно ограниченный мальчик, от остальных его отличали лишь две-три способности, зато развиты они у него были в экстраординарной степени. А поскольку одно совершенство всегда подразумевает наличие и других совершенств, юные дамы никогда не могли оставить без внимания ни одного даже самого прихотливого его каприза, безмолвно терпели его ветреность и не могли поверить, что им никогда не удастся побороть лежавшее в глубине его натуры равнодушие. Их ослепляла его яркая

самоуверенность, его прямо-таки ангельская непосредственность, за которой скрывался настоящий талант манипулятора, и его экстраординарная грация. Длинноногий, красиво сложенный, он обладал ловкостью и силой акробата, которая обычно наблюдается лишь у тех, кто, как говорится, «плоть от плоти земной». Его тело находилось в постоянном движении, смотреть на него было истинным наслаждением, и Эвелин Биби была не единственной девушкой из «взрослой» компании, которой мерещилось в нем некое таинственное обещание; не она одна подолгу наблюдала за ним, испытывая нечто большее, чем банальное любопытство.

И вот он появился в дверях, с выражением притворного почтения на округлом дерзком лице.

– Прошу прощения! – произнес он. – Это же Первая методистская епископальная церковь, не правда ли? – Все, включая Бэзила, рассмеялись. – Я просто был не совсем уверен. Мне показалось, что я попал в церковь, но здесь почему-то нет скамеек!

Все опять, уже слегка обескураженно, рассмеялись. Бэзил подождал, пока Хьюберт усядется рядом с Эвелин Биби. Затем он снова стал читать пьесу, а все остальные – восхищенно смотреть, как Хьюберт пытается удержать равновесие, балансируя на двух задних ножках стула. Чтение теперь сопровождалось этим скрипучим аккомпанементом. Внимание слушателей вновь обратилось к пьесе лишь тогда, когда Бэзил произнес: «А теперь на сцену выходит Хьюберт».

Бэзил читал больше часа. Когда он закончил, закрыл тетрадь и робко взглянул на слушателей, неожиданно раздался взрыв аплодисментов. Он очень точно описал своих героев, и, несмотря на все несуразицы, результат его трудов и в самом деле вызывал интерес – это была самая настоящая пьеса. Бэзил еще задержался поговорить с мисс Халлибартон, а затем, весь красный от смущения, пошел домой в августовских сумерках, чуть-чуть актерствуя по дороге – просто так, сам для себя.

Всю первую неделю репетиций Бэзил провел, бегая из зала на сцену и со сцены в зал, крича: «О, нет! Конни, ну посмотри же: ты должна стоять вот так!» А затем пошли неприятности. В один прекрасный день на репетицию пришла миссис Ван-Шеллингер. После репетиции она объявила, что не может позволить Глэдис участвовать в

«пьесе о преступниках». Она считала, что от этого элемента действие можно легко избавиться; например, пару бандитов-комиков легко заменит «пара веселых фермеров».

Бэзил с ужасом все это выслушал. Когда она ушла, он заверил мисс Халлибартон, что не изменит в тексте ни слова. К счастью, Глэдис играла кухарку, и эту вставную роль можно было легко убрать, но ее отсутствие сказалось в совершенно ином аспекте. Глэдис была спокойной и смирной девушкой, «самой воспитанной девушкой в городе», и с ее отсутствием поведение актеров на репетициях стало ухудшаться. Те, у кого были лишь реплики вроде: «Я спрошу у мистера Ван-Бейкера, сэр!» в первом акте и «Нет, мэм!» в третьем, стали демонстрировать свою неприкаянность в промежутках между выходами. Так что теперь на репетициях стало все чаще раздаваться:

– Прошу вас, уймите этого щенка или отправьте его, наконец, домой!

– Да где же эта кухарка? Маргарет, проснись, наконец, бога ради!

– И что же тут такого смешного, чтобы ржать как лошадь?

Мало-помалу главной проблемой стала необходимость исподволь и тактично управлять Хьюбертом Блэром. Не считая его нежелания учить реплики, актером он оказался вполне сносным, но вне сцены он превратился в настоящую проблему. Он без устали актерствовал лично для Эвелин Биби, что выражалось, например, в том, что он игриво гонялся за ней по фойе или же щелкал орешки и бросал скорлупки за спину так, что они самым таинственным образом всегда приземлялись прямо на сцене. Когда его призывали к порядку, он бормотал вполголоса себе под нос: «Ах, да сам заткнись!», и Бэзил вполне угадывал смысл слов, хотя толком ничего разобрать не мог.

Но Эвелин Биби полностью оправдала все ожидания Бэзила. Едва выйдя на сцену, она тут же приковывала к себе внимание зала, и Бэзил это отметил, добавив ей реплик. Он завидовал тому слегка сентиментальному удовольствию, которое она испытывала от совместных с Хьюбертом сцен, и даже ощущал неопределенную и обезличенную ревность, видя, как почти каждый вечер после репетиций Хьюберт подвозил ее домой в своей машине.

Однажды на второй неделе репетиций Хьюберт опоздал на целый час, вяло отработал первый акт, а затем объявил миссис Халлибартон о том, что ему пора домой.

– А что случилось? – спросил Бэзил.

– У меня дела.

– Что, очень важные?

– А тебе какое дело?

– Да такое! – запальчиво ответил Бэзил, но тут вмешалась мисс Халлибартон:

– Не нужно ссориться, ребята! Хьюберт, Бэзил ведь просто хотел сказать, что если это не слишком важное дело, то... Мы ведь все здесь жертвуем своим свободным временем ради того, чтобы у нас получилась успешная постановка!

Это замечание явно не вызвало у Хьюберта ничего, кроме скуки.

– Мне нужно съездить в центр и забрать отца.

Он бросил холодный взгляд на Бэзила, словно желая ему сказать – ну, попробуй скажи, что это ерунда!

– А почему же ты тогда опоздал на целый час? – спросил Бэзил.

– Потому что мне нужно было помочь маме.

Вокруг собралась уже целая группа, и он окинул окружающих взглядом победителя. Ведь причина была уважительная – и лишь Бэзил заметил, что это было вранье.

– Чепуха! – сказал он.

– Может, для тебя и так... Генеральчик!

Бэзил шагнул к нему, его глаза сверкнули.

– Что ты сейчас сказал?

– Я сказал «генеральчик». Разве не так тебя прозвали в школе?

Это было правдой. Кличка преследовала его и дома. И даже когда он прямо-таки побелел от ярости, на него тут же навалилось полнейшее бессилие от понимания того, что прошлое – оно всегда рядом, никуда от него не деться. На миг ему показалось, что вокруг – смеющиеся над ним его школьные недруги. Хьюберт засмеялся.

– Уходи! – натянутым голосом произнес Бэзил. – Ну, давай! Уходи!

Хьюберт опять засмеялся, но Бэзил внезапно к нему шагнул, и Хьюберт тут же сделал шаг назад:

– Да не очень-то и хотелось участвовать в твоей пьесе! Очень надо!

– Тогда уходи и не возвращайся!

– Успокойся, Бэзил! – безмолвно нависла над ними мисс Халлибартон; Хьюберт вновь засмеялся и стал искать взглядом свою кепку.

– Я в твоём дурацком погорелом театре участвовать точно не буду! – ответил он и медленно, с веселым видом, развернулся и, не торопясь, ушел.

В тот день реплики Хьюберта читал Рипли Бакнер, но казалось, что над репетиционным залом нависла туча. Игре мисс Биби не хватало привычной силы, все остальные актеры периодически собирались в группы и перешептывались, мгновенно умолкая с приближением Бэзила. После репетиции мисс Халлибартон, Рипли и Бэзил собрались на совещание. Поскольку Бэзил наотрез отказался играть главную роль, было решено пригласить некоего Мэйола Де-Бека, с которым Рипли был немного знаком и который уже прославился своей игрой в драмкружке городской старшей школы.

Следующий день ознаменовался новым беспощадным ударом. Эвелин, покраснев и смутившись, сказала Бэзилу и мисс Халлибартон о том, что у семьи изменились планы и они уезжают на восток страны на следующей неделе, так что у нее никак не получится сыграть премьеру. Бэзил все понял. Она была с ними до сих пор лишь из-за Хьюберта.

– До свидания, – печально сказал он.

Ей стало стыдно, когда она увидела его неприкрытое отчаяние, и она попыталась оправдаться:

– Но я, в самом деле, ничего не могу поделать! Бэзил, мне очень жаль!

– А если я за тобой присмотрю, ты не сможешь остаться дома еще на неделю? А потом поедешь к семье, – предложила ничего не подозревавшая мисс Халлибартон.

– Нет, не получится. Отец хочет, чтобы мы ехали вместе. Если бы не он, я бы осталась!

– Ладно, – сказал Бэзил. – До свидания.

– Бэзил, ты ведь не обиделся, правда? – Ею овладел порыв раскаяния. – Я буду помогать вам всем, чем только смогу! Я буду репетировать еще неделю, пока вы не найдете кого-нибудь мне на замену; я помогу всем, чем только можно. Но, к сожалению, отец сказал, что ехать мы должны вместе.

В тот вечер после репетиции Рипли тщетно взывал к боевому духу Бэзила, предлагая ему разные решения, которые Бэзил с презрением отвергал. Маргарет Торренс? Конни Дэйвис? Да они едва справляются

с теми ролями, которые у них уже есть! Бэзилу казалось, что постановка попросту разваливается на глазах.

Когда он пришел домой, было еще совсем не поздно. Упав духом, он сидел у окна своей спальни, глядя, как сын Барнфильдов одиноко играет сам с собой в соседнем дворе.

Мама Бэзила пришла домой в пять и сразу почувствовала, как он подавлен.

– У Тедди Барнфильда свинка, – сказала она, пытаясь его растормошить. – Вот он и играет там один...

– Да? – равнодушно ответил он.

– Это не опасно, но болезнь очень заразная. Ты уже переболел, когда тебе было семь лет.

– Гм...

Она помолчала.

– Ты беспокоишься из-за своей пьесы? У вас там что-то случилось?

– Нет, мама. Я просто хочу побыть один.

Через некоторое время он встал и пошел на улицу, чтобы выпить солодового молока в кафе за углом. У него в голове бродила шальная мысль – а что, если взять и зайти к мистеру Биби и попросить его отложить отъезд на неделю? Эх, если бы только знать наверняка, что именно отъезд и есть единственная причина отказа Эвелин...

Его мысли нарушил шагавший навстречу по улице девятилетний брат Эвелин.

– Привет, Хем! Слышал, вы собрались уезжать?

Хем утвердительно кивнул:

– На следующей неделе. Поедем на море.

Бэзил задумчиво на него посмотрел, словно младший брат Эвелин в силу своей к ней близости владел неким секретом, с помощью которого можно было заставить ее передумать.

– А куда ты собрался? – спросил Бэзил.

– Иду играть с Тедди Барнфильдом.

– Что? – воскликнул Бэзил. – Да разве ты не знаешь... – И тут же умолк. Ему в голову пришла абсолютно безумная и преступная мысль; в голове вновь прозвучали слова матери: «Это не опасно, но болезнь очень заразная». Если юный Хем Биби подхватит свинку, то Эвелин никуда не поедет...

Решение он принял быстро и холоднокровно.

– Тедди играет во дворе за домом, – сказал он. – Если хочешь пройти к нему побыстрее, не ходи через дом – можно пройти чуть дальше по улице, а затем свернуть на аллею.

– Ладно... Спасибо! – доверчиво сказал Хем.

Почти минуту Бэзил простоял, глядя ему вслед, пока мальчишка не свернул за угол на аллею; Бэзил знал, что в жизни еще не совершал поступка хуже.

III

Неделю спустя миссис Ли приказала подать ужин раньше обычного; на столе были любимые блюда Бэзила: гуляш, жаренная ломтиками картошка, нарезанные колечками персики со сливками и шоколадный торт.

Каждые несколько минут Бэзил говорил: «Боже! А сколько сейчас времени?» – и выбегал в холл посмотреть на часы. «А они не отстают?» – вдруг спрашивал он с подозрением. Раньше его никогда это не интересовало.

– Ни на секунду! Если будешь так быстро есть, начнется изжога, и ты не сможешь хорошо сыграть.

– Тебе понравилась афиша? – уже в третий раз спрашивал он. – «Рипли Бакнер-мл. представляет комедию Бэзила Дьюка Ли „Тень плененная“».

– Да, очень мило.

– Но на самом деле он ведь ничего не представляет!

– Зато звучит очень солидно!

– А сколько сейчас времени? – спросил он.

– Ты только что сам говорил, что сейчас десять минут шестого.

– Ну да. Мне, наверное, уже пора идти?

– Ешь персики, Бэзил! Если не доешь, не будет сил играть!

– Но мне ведь не нужно играть, – терпеливо объяснял он. – У меня лишь малюсенькая роль, и совершенно неважно...

Объяснять дальше уже не стоило.

– Мама, прошу тебя, не улыбайся, когда я выйду на сцену, – попросил он. – Веди себя так, словно ты меня совсем не знаешь.

– Что, даже «Привет!» нельзя будет крикнуть?

– Что?! – Он совершенно утратил чувство юмора.

Со всеми попрощался, и, стараясь изо всех сил заставить свой желудок переваривать еду, а не сердце, которое вдруг почему-то оказалось в районе живота, он отправился в школу «Мартиндейл».

Когда в сумерках показались освещенные окна школы, его волнение стало просто невыносимым; здание сейчас ничуть не походило на то здание, куда он ходил целых три недели подряд. Его шаги в пустынном вестибюле звучали гулко и зловеще; наверху был только смотритель, расставлявший рядами стулья, и Бэзил бродил один по пустой сцене, пока в зал не вошел кто-то еще.

Пришел Мэйол Де-Бек, высокий, умный, но не слишком приятный юноша, которого они импортировали из располагавшегося в нефешенебельной части Крест-авеню квартала для исполнения главной роли. Мэйол, который вовсе не нервничал, попытался завязать с Бэзилем непринужденную беседу. Ему хотелось знать мнение Бэзила относительно того, не будет ли Эвелин Биби возражать, если он станет изредка ее навещать после того, как они отыграют спектакль. Бэзил предположил, что не будет. Мэйол сообщил, что у него есть друг, отец которого владеет пивоварней, и еще у него есть машина с двигателем из двенадцати цилиндров.

Бэзил ответил: «Вот это да!»

В четверть седьмого группами стали прибывать другие участники постановки: Рипли Бакнер с шестью ребятами, которые должны были выполнять обязанности капельдинеров и билетеров; мисс Халлибартон, старавшаяся выглядеть спокойно и солидно; Эвелин Биби, которая вошла, словно принося себя в жертву неизвестно чему, и бросила на Бэзила взгляд, говоривший: «Ну что ж! Похоже, мне и в самом деле придется через все это пройти...»

Мэйол Де-Бек должен был гримировать ребят, а мисс Халлибартон – девушек. Вскоре Бэзил пришел к заключению, что мисс Халлибартон исполняет обязанности гримера впервые; он счел, что три недели

репетиций крайне ее утомили, поэтому проблему следует решить дипломатично. Ничего не говоря, он стал водить каждую девушку к Мэйолу для внесения необходимых поправок в образ.

Восклицание Билла Кампфа, стоявшего у щели между полотнищами занавеса, заставило Бэзила немедленно туда подбежать. В зал вошел лысый мужчина в очках, его провели на место в середине, он сел и стал изучать программку. Это был первый зритель! Его ожидающий взгляд, внезапно ставший столь таинственным и непостижимым, таил в себе секрет успеха или провала пьесы. Он закончил читать программку, снял очки и огляделся. В зал вошли две старушки и двое мальчишек, за ними почти сразу явилась еще дюжина зрителей.

– Эй, Рипли! – тихо позвал Бэзил. – Скажи там, чтобы детей сажали в первый ряд!

Рипли посмотрел на него, втискиваясь в костюм полицейского, и длинный черный ус у него под носом с негодованием задрожал.

– Об этом я распорядился еще вчера!

Зал быстро заполнялся зрителями и оживал, жужжа разговорами. Дети в первом ряду ерзали, все болтали друг с другом и окликали сидевших впереди и сзади знакомых; чопорными и безмолвными парочками в разных местах зала сидело несколько дюжин кухарок и горничных.

А затем, внезапно, все было готово для начала. Это было невероятно! «Стойте! Стойте! – хотелось крикнуть Бэзилу. – Не может быть, чтобы все было готово! Что-то обязательно забыли – мы ведь все время что-то забывали!», но в зале уже погас свет, и заигравшие «Встретимся в тени» пианист со скрипачом из оркестра Гейера тут же опровергли эти так и не произнесенные слова. Мисс Саундерс, Лейла Ван-Бейкер и подруга Лейлы, Эстелла Кэрредж, сидели на сцене, а готовая суфлировать мисс Халлибартон с текстом пьесы в руках заняла место сбоку в кулисах. Музыка внезапно смолкла, и разговоры в первых рядах затихли.

«Боже! – подумал Бэзил. – Боже мой!»

Раскрылся занавес. Откуда-то донесся громкий голос. Неужели из той, совершенно незнакомой группы на сцене?

А я буду, миссис Саундерс! Буду, говорю я вам!

Но, мисс Лейла, я считаю, что современным юным леди не подобает читать газеты!

Мне все равно! Я жажду новостей об этом изумительном благородном грабителе, которого прозвали Тенью!

Это все происходило на самом деле! Он еще не опомнился, а по залу прошелестел смешок – это Эвелина передразнила мисс Саундерс у нее за спиной.

– Бэзил, твой выход! – шепнула мисс Халлибартон.

Бэзил и Билл Кампф, бандиты, ухватили за локти Виктора Ван-Бейкера, гуляку и хозяйского сына, и приготовились помочь ему попасть в дом.

Выйти на сцену, когда на тебя ободряюще смотрит сразу столько глаз, оказалось до странности просто. Взгляд матери скользнул куда-то на задник сцены; он узнал и навсегда запомнил и другие лица из зала.

Билл Кампф забыл свою реплику, но Бэзил тут же произнес свою – и действие пошло дальше.

Мисс Саундерс. Так это вы судья из шестого участка?

«Кролик» Симмонс. Да, мэм.

Мисс Саундерс (игриво покачивая головой). А что это такое – судья?

«Китаец» Руд. Судья – это нечто среднее между политиком и пиратом!

Этой репликой Бэзил гордился больше всего, но из зала не донеслось ни звука; никто даже не улыбнулся. Мгновение спустя Билл Кампф по рассеянности вытер лоб платком, а затем удивленно на него посмотрел – на платке остались красные пятна грима; в зале раздался хохот. Вот такой он, театр.

Мисс Саундерс. Так, значит, вы, мистер Руд, верите в спиритизм?

«Китаец» Руд. Да, мадам, спиритизм для меня – это все! Спирт – это ведь универсальное средство!

Настал черед первой большой сцены. На затемненных подмостках медленно открылось окно, и Мэйол Де-Бек в «элегантном вечернем костюме» залез в комнату. На цыпочках, соблюдая осторожность, он прошел из одного края сцены в другой, и в этот момент вошла Лейла Ван-Бейкер. На мгновение она испугалась, однако он уверил ее, что он – просто друг ее брата Виктора. Они стали беседовать. Она наивно, но с чувством, поведала ему о том, как она восхищается Тенью, о чьих похождениях она много читала. Она надеялась, что Тень не появится здесь сегодня – ведь в том сейфе, справа, сейчас лежат все их фамильные драгоценности.

Незнакомец был голоден. Он опоздал на ужин, так что поесть ему сегодня вечером так и не удалось. Нельзя ли предложить ему молока и печенья? Да, конечно, это было бы чудесно. Едва она удалилась из комнаты, как он уже стоял на коленях у сейфа, шаря в поисках добычи, ничуть не смущенный тем, что на передней дверце сейфа по трафарету было выведено слово «Духовка». Дверца открылась, но он услышал шаги снаружи и успел ее закрыть до того, как вернулась Лейла с печеньем и молоком.

Они медлили; их явно тянуло друг к другу. Вошла весьма игривая мисс Саундерс; ее представили. И вновь Эвелин передразнила ее у нее за спиной, и в зале раздался хохот. Появились и остальные обитатели дома; всех представили незнакомцу.

Что такое? Хлопнула дверь, и вбежал Маллиган, полицейский.

Нам только что сообщили из главного управления, что знаменитого грабителя по кличке Тень видели, когда он забирался в окно этого дома! Прошу всех не пытаться покинуть помещение!

Занавес. Первые ряды – там сидели младшие братья и сестры актеров – выражали свой восторг, ничуть не стесняясь. Актеры вышли на поклон.

Через мгновение Бэзил оказался на сцене наедине с Эвелин Биби. Она облокотилась на стол; в гриме она походила на изможденную куклу.

– Выше нос, Бэзил! – сказала она.

Она еще не совсем его простила, ведь он поймал ее на слове и потребовал выполнить обещание, когда ее младший брат подхватил свинку, что отложило отъезд всей семьи. До сих пор Бэзил старался тактично не попадаться ей на глаза, но теперь они оказались лицом к лицу, и от волнения и успеха у обоих по-хорошему кружилась голова.

– Ты изумительно сыграла! – сказал он. – Просто изумительно!

Он задержался. Ему никогда не удалось бы ей понравиться, потому что ей нужен был кто-то вроде нее, кто смог бы тронуть ее душу, действуя на чувства, – кто-то вроде Хьюберта Блэра, например. Интуиция ей подсказывала, что в будущем Бэзил займет некое – пока еще неясно какое, но точно важное – положение; но его постоянные попытки заставить окружающих думать и чувствовать вызывали у нее лишь скуку и утомление. А в пылу этого вечера они вдруг наклонились друг к другу и мирно поцеловались, и с этого момента – поскольку общего у них было так мало, что этого им не хватило бы даже для ссоры, – они стали друзьями на всю жизнь.

Когда в начале второго акта раскрылся занавес, Бэзил быстро пробежал вниз по лестнице, затем поднялся по другой лестнице в самый конец зала, где и встал в темноте, наблюдая за спектаклем. Он тихо смеялся, когда смеялись зрители, наслаждаясь пьесой так, словно раньше ее никогда не видел.

Во втором и третьем актах было две похожие сцены. В каждой из них взломщика, находившегося на сцене в одиночестве, заставлял

врасплох мисс Саундерс. Мэйол Де-Бек, репетировавший всего лишь десять дней, все время эти сцены путал, но Бэзил был совершенно не готов к тому, что случилось в тот вечер. При появлении на сцене Конни Мэйол произнес свою реплику из третьего акта, и Конни невольно ответила своей – и тоже не из того акта.

Все остальные на сцене тоже нервничали и смущались, и внезапно в середине второго акта актеры вдруг принялись играть сцену из третьего. Все вышло столь стремительно, что Бэзил лишь нутром ощутил, что что-то пошло не так. Затем он бросился вниз по одной лестнице, вверх – по другой, вбежал за кулисы и крикнул:

– Занавес! Опускайте занавес!

Охваченные ужасом ребята схватились за тросы. Через мгновение Бэзил, у которого перехватило дыхание, стоял перед зрителями.

– Дамы и господа! – произнес он. – В составе нашей труппы были замены, а то, что вы сейчас видели, произошло по ошибке. Приносим вам свои извинения! Сейчас эта сцена будет сыграна вновь!

Под смешки и аплодисменты он шагнул обратно за кулисы.

– Мэйол, внимание! – взволнованно выкрикнул он. – Сцену начинаешь один. Твоя реплика: «Просто хочу убедиться, что драгоценности на месте». Конни отвечает: «Пожалуйста, и не обращайтесь на меня внимания». Приготовились! Занавес!

И сразу все наладилось. Кто-то принес воды мисс Халлибартон, которая упала в обморок; по окончании акта актеры вновь вышли на поклон. Через двадцать минут пьеса окончилась. Герой прижал Лейлу Ван-Бейкер к груди, признался, что он – «Тень, но Тень уже плененная»; занавес поднимался вновь и вновь; на сцену против ее воли вытащили мисс Халлибартон, а по проходам между рядами сновали капельдинеры с охапками цветов. Затем воцарилась непринужденность, и счастливые актеры смешались со зрителями, улыбаясь и чувствуя себя героями вечера, осыпаемые со всех сторон поздравлениями. Какой-то незнакомый Бэзилу старик подошел к нему и пожал ему руку, сказав: «Молодой человек! Я уверен, что мы о вас еще услышим!», а репортер из газеты спросил, действительно ли ему всего пятнадцать лет. Все это могло бы повлиять на Бэзила очень дурно и расслабляюще, но Бэзил почувствовал, что все это уже прошлое. Еще не разошлись все зрители – к нему все еще подходили и поздравляли, – а он уже чувствовал, что в сердце у него воцарилась

необъятная безучастность. Все кончилось, все уже случилось, и вот уже ничего не осталось – кончилась вся работа, весь интерес, поглощавшие его без остатка. Он ощущал пустоту сродни той, что обычно рождает страх.

– До свидания, мисс Халлибартон! До свидания, Эвелин!

– До свидания, Бэзил! Мои поздравления, Бэзил! До свидания!

– Где мое пальто? До свидания, Бэзил!

– Пожалуйста, оставляйте костюмы прямо на сцене! Завтра нам нужно их вернуть.

Он уходил одним из последних; перед уходом забрался ненадолго на сцену, оглядел опустевший зал. Его ждала мама, и они вместе пошли пешком домой. Впервые в этом году ночь выдалась прохладной.

– Ну что ж... Мне, разумеется, очень понравилось! Ты сам-то доволен? – Он медлил с ответом. – Разве ты не доволен, как все прошло?

– Доволен. – Он отвернулся.

– А в чем дело?

– Да так. – А затем добавил: – На самом деле никто ведь особо и не переживал, правда?

– О чем?

– Да обо всем.

– Все переживают о разном. Я вот, например, переживаю за тебя.

Она хотела потрепать его по голове, но он инстинктивно уклонился от протянутой к нему руки:

– Ах, не надо! Я вовсе не об этом.

– Ты просто переутомился, милый мой.

– Я не переутомился! Мне просто немного грустно.

– Не надо грустить. После пьесы мне многие говорили...

– Ах, да все это уже в прошлом! И давай не будем об этом говорить – никогда больше со мной об этом не говори, ладно?

– Тогда о чем же ты грустишь?

– Да так, об одном мальшке.

– Каком еще мальшке?

– Ну, о Хеме... я не могу тебе рассказать...

– Когда придем домой, примешь горячую ванну, чтобы успокоить нервы.

– Хорошо.

Но едва они вошли в дом, как он тут же крепко уснул прямо на диване. Она не стала его будить. Накрыла одеялом, пледом, подсунула под упиравшуюся голову подушку и ушла наверх.

Долго она простояла на коленях у кровати.

– Боже милостивый, помоги же ему, помоги! – молилась она. – Потому что нужна ему помощь, которой я ему дать уже не в силах.

Безупречная жизнь

I

Когда он, чувствуя легкую усталость и приятную прохладу свободной одежды на свежем после душа теле, вошел в столовую и стал пробираться на свое место, все вскочили на ноги и стали его приветствовать, хлопая в ладоши. Сидевшие за столом вытягивались вперед и улыбались ему:

– Отличная игра, Ли! Пусть мы и проиграли – но ты в этом точно не виноват!

Бэзил и сам знал, что матч он отыграл отлично. Вплоть до последнего свистка после каждого следующего рывка он чувствовал чудесный прилив сил. Но такой успех сразу не осознать; в памяти всплывали лишь отдельные эпизоды – например, когда огромный такл команды Эксетера встал во весь рост в линии прямо напротив и выкрикнул: «Все на этого квотера! Он – трус!» А Бэзил крикнул в ответ: «Да это папаша твой – трус!», и судья на линии добродушно осклабился, зная, что это – неправда. И на весь тот великолепный час тела противников утратили и массу, и силу; Бэзил лежал под огромной их грудой, бросался им прямо наперерез, совершенно не чувствуя ударов, желая лишь одного – поскорее оказаться вновь на ногах, чтобы отвоевать заветные два акра лужайки. К концу первой половины матча

он вырвался вперед на шестьдесят ярдов – ура, тачдаун! Но раздался свисток, и тачдаун не засчитали. Для школы Св. Риджиса этот момент стал кульминацией всего матча. Игроки противника были тяжелее фунтов на десять; к концу последней четверти матча все вдруг пали духом, и команда Эксетера провела два тачдауна, одержав победу над командой школы, в которой училось всего сто тридцать пять человек!

Когда закончился обед и ученики толпой повалили прочь из столовой, к Бэзилу подошел тренер команды Эксетера и сказал:

– Ли, я видел много квотербеков из разных школ, но еще никогда не видел такой потрясающей игры!

Доктор Бэкон подозвал его к себе кивком головы. Рядом с ним стояло двое выпускников школы Св. Риджиса, приехавших на матч из Принстона.

– Игра была очень напряженной, Бэзил! Мы все гордимся нашей командой, и особенно тобой! – Словно похвала показалась ему чрезмерной, он поторопился добавить: – И всеми остальными ребятами, конечно!

Он представил Бэзила выпускникам. Об одном из них – Джоне Грэнби – Бэзил слышал. О нем говорили, что в Принстоне он считается «большим человеком»; это был серьезный, прямодушный и симпатичный юноша, с доброй улыбкой и большими честными голубыми глазами. Школу Св. Риджиса он окончил еще до поступления туда Бэзила.

– Отличная игра, Ли! – И Бэзил в ответ издал подобающий скромный смешок. – Не найдется ли у вас сегодня немного времени? Мне бы хотелось с вами немного побеседовать.

– Конечно, сэр! – Бэзил был польщен. – В любое время!

– Давайте тогда пройдемся погуляем – скажем, в три? Мой поезд отходит в пять.

– Буду очень рад!

Словно на крыльях, он взлетел в свою комнату в корпусе шестиклассников. Всего год назад он был, наверное, самым непопулярным парнем в школе – все звали его «генеральчик Ли». А теперь окружающие звали его генеральчиком лишь изредка, по забывчивости, и немедленно при этом извинялись.

Какой-то младшекласник высунулся из окна корпуса Митчелл и, увидев Бэзила, крикнул: «Отличная игра!» Черный садовник,

выравнивавший живую изгородь, усмехнулся, увидев его, и громко произнес:

«Да ведь вы их почти побили, сэр, да еще и в одиночку!». Когда Бэзил вошел в здание, комендант общежития мистер Хикс воскликнул: «Они должны были засчитать тот тагдаун! Просто безобразие!» Стоял прохладный золотистый октябрьский день, слегка подернутый голубой дымкой бабьего лета, – в такую погоду всегда хорошо мечтается о будущей славе, о триумфальных прибытиях в большие города, о романтических встречах с таинственными, словно непостижимые богини, девушками. Оказавшись у себя в комнате, он погрузился в сон наяву, шагая из угла в угол и повторяя про себя обрывки фраз: «... никогда не видел такой потрясающей игры!», «... папаша твой – трус!», «Еще раз устроишь офсайд, и я надеру твою жирную задницу!»

Тут он повалился на постель от смеха. Ведь тот, кому предназначалась эта угроза, в перерыве был вынужден еще и извиниться – это был тот самый Порк Корриган, от которого в прошлом году Бэзилу пришлось бежать целых два лестничных пролета!

В три он встретился с Джоном Грэнби, и они отправились гулять на пик Грюнвальда, следуя по тропе вдоль длинной и низкой кирпичной стены; эта стена в солнечное утро всегда заставляла Бэзила задумываться о каких-то туманных и смелых исканиях, совсем как в книге «Широкое шоссе». Джон Грэнби много рассказывал о Принстоне, но, поняв, что в сердце Бэзила глубоко засел Йель, и только Йель, он сдался. Через некоторое время на его красивом лице появилось рассеянное выражение, он улыбнулся – и эта улыбка, казалось, была отражением иного, лучшего мира.

– Ли, я очень люблю школу Св. Риджиса! – вдруг сказал он. – Здесь я провел самые счастливые годы своей жизни. Я обязан ей стольким, что не смогу расплатиться никогда. – Бэзил промолчал, и Грэнби неожиданно повернулся и посмотрел на него: – Интересно, а ты сам понимаешь, что ты мог бы здесь совершить?

– Что? Я?

– Понимаешь ли ты, какой эффект могла бы иметь твоя великолепная игра?

– Ну, я не так уж и великолепно сыграл...

– Конечно, именно так ты и должен говорить, – с жаром объявил Грэнби, – но все же это неправда! Тем не менее я позвал тебя сюда вовсе не затем, чтобы возносить тебе хвалу! Мне захотелось узнать, понимаешь ли ты, какая у тебя появилась сила, чтобы творить добро. Я хочу сказать, что теперь ты можешь влиять на всех этих ребят – они все могут вести чистую, честную и достойную жизнь!

– Я как-то никогда об этом не думал, – произнес Бэзил, слегка огорошенный, – я никогда не думал о...

Грэнби энергично хлопнул его по плечу:

– С сегодняшнего утра у тебя появилась ответственность, от которой тебе не уклониться! С этого самого утра ты в ответе за любого ученика, прячущегося за физкультурным залом с сигаретой и воняющего табаком; ты в ответе за их ругань и грязные словечки и за то, что они учатся брать чужое, ворую молоко и еду по ночам из буфетной!

Он умолк. Бэзил, нахмурившись, смотрел прямо перед собой.

– Вот это да! – сказал он.

– Да-да! – подтвердил Грэнби; глаза его сияли. – У тебя есть возможности, которыми мало кто обладает. Я расскажу тебе один случай. В Принстоне я познакомился с двумя ребятами, которые разрушали свои жизни пьянством. Я мог бы сказать: «Это не мое дело» – и позволить им и дальше катиться по наклонной, но когда я прислушался к голосу своего сердца, то понял, что я так не могу! Поэтому я пришел к ним с открытой душой и рассказал им все, прямо и откровенно, и эти ребята – по крайней мере, один из них – с тех самых пор и капли в рот не взяли!

– Но в нашей школе, кажется, никто не пьет! – возразил Бэзил. – Хотя был у нас один парень, его звали Бэйтс, но его исключили в прошлом году, и...

– Это неважно, – перебил его Джон Грэнби. – Курение влечет за собой пьянство, а пьянство влечет за собой... ну, всякие другие вещи...

Грэнби говорил целый час, а Бэзил слушал; кирпичная стена у дороги и склонившиеся под тяжестью плодов сучья яблонь над головой с каждой минутой все больше и больше утрачивали краски, а мысли его все больше и больше уходили куда-то вглубь. Его глубоко поразило полное отсутствие эгоизма у этого человека, который взвалил

на свои плечи чужое бремя. Грэнби опоздал на поезд, но сказал, что это неважно, поскольку он видит, что ему удалось посеять семена ответственности в душе Бэзила.

К себе в комнату Бэзил вернулся, исполнившись трепета, отрезвленный и убежденный. До этого момента он всегда считал себя довольно скверным мальчишкой; последним героем, с которым ему удалось себя отождествить, был «Гарри-на-волосок» из комиксов, печатавшихся в воскресных приложениях, – Бэзилу тогда было десять лет. И хотя он довольно часто размышлял о жизни, все его мысли были мрачноваты и описанию не поддавались, и никогда не касались вопросов морали. Его дурные наклонности по-настоящему сдерживал лишь страх – страх лишиться возможности чего-то достичь и обрести силу.

Но встреча с Джоном Грэнби произошла в знаменательный момент. После утреннего триумфа ему показалось, что в школьной жизни уже не осталось ничего, чего стоило бы добиваться, – и тут перед ним внезапно замаячила новая цель. Стать совершенством, прекрасным внутри и снаружи, как сказал Грэнби, попробовать вести безупречную жизнь... Грэнби вкратце обрисовал ему эту самую безупречную жизнь, не преминув сделать упор на ее вполне материальные преимущества, вроде всеобщего признания и влияния в университете, а воображение Бэзила уже давно пребывало где-то в далеком будущем. Когда на последнем курсе Йеля его выберут последним кандидатом в члены тайного общества «Череп и кости», а он с печальной и сентиментальной, совсем как у Джона Грэнби, улыбкой отрицательно покачает головой и укажет на кого-нибудь другого, кто больше, чем он, жаждет вступить в это общество, собравшаяся вокруг толпа разразится грустными возгласами... А затем, когда он вступит в настоящую жизнь и в возрасте двадцати пяти лет посмотрит в лицо нации с инаугурационной трибуны на ступеньках Капитолия, все собравшиеся у подножия граждане его страны будут смотреть на него снизу вверх с восхищением и любовью...

Размышляя, он рассеянно съел оставшиеся от ночного налета на буфет полдюжины крекеров и выпил бутылку молока. Где-то на краю сознания у него забрезжило, что эти ночные налеты – одна из тех вещей, от которых теперь придется отказаться, но ему очень хотелось

есть. И он почтительно оборвал цепочку своих приятных мыслей, пока не покончил с едой.

Осенние сумерки за окном разрывались вспышками фар проезжавших мимо машин. В этих автомобилях ехали великие атлеты и прекрасные дебютантки, таинственные авантюристки и шпионы международного класса – богатые, веселые и очаровательные люди, спешившие в блестящий Нью-Йорк, к модным дансингам и тайным кафе, в украшенные зеленью рестораны на крышах небоскребов под яркой осенней луной. Он вздохнул: быть может, когда-нибудь потом и ему удастся стать частью всей этой романтической жизни? Прослыть великим остряком и великолепным собеседником и выглядеть при этом сильным, серьезным и молчаливым... Прослыть щедрым, открытым и не чуждым самопожертвования, но при этом всегда оставаться слегка таинственным, и вызывать у окружающих добрые чувства и даже легкую горечь меланхолии... Стать одновременно и светлым, и темным... Достичь этой гармонии, сплавить все это воедино в одном человеке – вот это была цель! Сама мысль о таком совершенстве выкристаллизовала его жизненную энергию в исступленный и стремительный порыв. Еще одно долгое мгновение душа его стремилась вслед быстро бегущим огням, туда – в мегаполис; затем он решительно встал, выбросил за окно сигарету и, включив настольную лампу, стал набрасывать для себя правила будущей безупречной жизни.

II

Месяц спустя страдальчески исполнявший свой долг Джордж Дорси и его мать, которой он показывал территорию школы, достигли относительно уединенных мест, где располагались теннисные корты; Джордж настойчиво предложил матери присесть отдохнуть на скамейке.

До сих пор его вклад в беседу сводился к немногочисленным отрывистым репликам вроде: «А вот это спортзал...», «Это „Ку-ку“ Конклин, который преподает французский... Его у нас никто не любит...», «Пожалуйста, не называй меня „Брат мой“ перед ребятами...». Теперь же его лицо приобрело озабоченное выражение, столь свойственное юношам в присутствии родителей. Он расслабился. Он ждал, что сейчас начнутся расспросы.

– Так, Джордж, а теперь давай-ка поговорим о каникулах на День благодарения. Кого ты к нам пригласил?

– Бэзила Ли.

– Ну, расскажи мне немного о нем.

– Да нечего особо рассказывать. Просто парень, учится в шестом классе, ему шестнадцать лет.

– Из хорошей семьи?

– Да. Приехал сюда из Сент-Пола, это в Миннесоте. Я его уже давно пригласил.

Мисс Дорси показалось, что в голосе сына прозвучала некая сдержанность.

– Ты разве жалеешь, что пригласил его? Вы с ним больше не дружите?

– Конечно, дружим!

– Просто я не вижу смысла звать к себе в гости того, с кем ты уже не дружишь. Можно просто сказать, например, что у мамы вдруг поменялись планы.

– Но мы с ним дружим! – настаивал Джордж, затем нехотя добавил: – Просто последнее время он стал какой-то чудной.

– А что такое?

– Ну, просто чудной...

– Но что с ним такое, Джордж? Я не хочу, чтобы ты приглашал в гости всяких сумасшедших!

– Он не сумасшедший. Просто теперь он как-то чудно себя ведет: бывает, ответит кого-нибудь в сторонку и давай разговаривать. А затем вроде как улыбается...

Миссис Дорси была заинтригована.

– Улыбается?

– Ну да. Все время норовит кого-нибудь увести и давай говорить без остановки, лишь бы только слушали, а затем улыбается... – он

скривил губы, показывая, – вот так.

– А о чем он говорит?

– Ах, да все про сквернословие, и про курение, и про то, что надо писать домой почаще, и все такое. Никто его не слушает, один только мальчик у нас есть – он теперь ведет себя так же, как и он. Очень загордился – или что там такое с ним приключилось, ума не приложу! – оттого, что здорово играет в футбол.

– Ну, если ты не хочешь, давай не будем его приглашать?

– Нет-нет! – встревоженно воскликнул Джордж. – Как же я могу отказаться – я ведь его уже пригласил!

Само собой, Бэзил не подозревал об этом разговоре, когда утром неделю спустя встречавший ребят на Центральном вокзале шофер семейства Дорси принимал у них багаж. Город заливал сланцево-розовый свет, всех прохожих на улицах сопровождали маленькие шары выдыхаемого морозного воздуха. Вокруг множеством граней устремлялись в небо здания: внизу они казались ледяными, словно бесцветная улыбка старика, выше шли диагонали выцветшего золота, окрашенные пурпуром по краям – там, где над неподвижным небом плыли карнизы.

В длинном приземистом английском лимузине – такого автомобиля Бэзилу видеть еще не доводилось – сидела девушка примерно одного с ним возраста. Она небрежно подставила брату щеку для поцелуя, сухо кивнула Бэзилу и пробормотала «добрый день», даже не улыбнувшись. Больше она ничего не сказала и, казалось, полностью ушла в мысли о чем-то своем. Поначалу – возможно, по причине ее крайнего спокойствия – она не произвела на Бэзила никакого впечатления, но не успели они доехать до особняка Дорси, как Бэзил понял, что в жизни еще не видел такой красавицы!

Ее лицо приводило в замешательство. Длинные ресницы казались очень мягкими на фоне бледных щек, почти касаясь их, словно пытаясь скрыть бесконечную тоску в ее глазах, но когда она улыбалась, глаза будто вспыхивали изнутри огнем чудесного дружелюбия, словно говоря: «Продолжайте же, я слушаю. Я очарована! Я... Я так ждала – целую вечность – и вас, и этого мига!» Затем она вспоминала, что застенчива или тоскует; улыбка исчезала, а серые глаза вновь прикрывались. Едва успев начаться, мгновение тут

же завершалось, оставляя за собой лишь навязчивое и неудовлетворенное любопытство.

Особняк Дорси находился на 53-й улице. Поначалу Бэзила изумила кажущаяся узость его фасада из белого мрамора и максимально полное использование всего возможного внутреннего пространства. По всей ширине дома шли залы для приема гостей, в окнах столовой сияло искусственное освещение, пять этажей в почтительной тишине обслуживал небольшой лифт. Эта компактная роскошь показалась Бэзилу новым миром. Увлекательным и романтичным казалось то, что даже полы на этом островке выглядели роскошнее, чем весь огромный особняк Джеймса Дж. Хилла в родном городе. От волнения с Бэзила тут же спало школьное оцепенение. Им опять овладело томительное ожидание нового опыта, которое пробуждали в нем предыдущие краткие поездки в Нью-Йорк. В сильном и ярком блеске Пятой авеню, в этой красивой девушке, не проронившей всю дорогу ни единого слова, кроме механического «Добрый день!», в этом безупречном доме ничто не показалось ему знакомым, а он знал, что если он ничего вокруг не узнает – значит, впереди обязательно ждет приключение.

Но не так-то просто оказалось сбросить с себя настроение, владевшее им целый месяц. На первом месте для него теперь стоял идеал. Не должно было пройти ни единого дня, когда бы он не был, как говорил Джон Грэнби, «честен с собой», а это значило «оказывать помощь другим». За эти пять дней он сможет хорошо потрудиться над Джорджем Дорси; кроме того, могут подвернуться и другие кандидаты. Вот так, размышляя о том, что ему выпала возможность получить лучшее из обоих миров, он распаковал свой саквояж и переоделся к обеду.

Его усадили рядом с миссис Дорси, которая нашла его чуть более дружелюбным, чем было принято – так всегда вели себя уроженцы Среднего Запада, – но при этом вежливым и отнюдь не страдающим неуравновешенностью. Он рассказал ей, что собирается стать дипломатом, – и сам себе не поверил; но, увидев, что это вызвало у миссис Дорси интерес, он не стал больше ничего придумывать, чтобы исправить допущенную оплошность.

Остаток дня был распланирован заранее; они должны были идти танцевать. Ведь это было замечательное время! Морис танцевал танго в шоу «За рекой», Кастлы демонстрировали свой знаменитый шаг в

третьем акте «Солнышка» – и этот шаг открыл обществу современный танец, открыл для девушек из хороших семей дорогу в кафе и стал причиной глубочайшей революции в жизни Америки. Великая и богатая империя почувствовала свою силу и пустилась в погоню за весельем – пусть и непритязательным, но и не вульгарным.

К трем часам собралось семеро; все уселись в лимузин и поехали в кабаре «У Эмиля». Компания состояла из двух бледных элегантных девиц лет шестнадцати – фамилия отца одной из них гремела в финансовом мире – и двух гарвардских первокурсников, обменивавшихся понятными лишь им обоим шутками и проявлявших внимание исключительно к Юбине Дорси. Бэзил ждал, что вот-вот все примутся друг друга расспрашивать: «А ты в какой школе учишься?», «А ты знаешь такого-то или такую-то?» – и тогда все в компании почувствуют себя посвободнее, но ничего такого не последовало. Повисла какая-то обезличенная атмосфера; он даже засомневался, запомнили ли остальные четыре гостя, как его зовут. «На самом деле, – подумал он, – это выглядит так, словно каждый только и ждет, что сосед вот-вот выставит себя в смешном свете». И вновь все вокруг показалось ему новым и неузнаваемым; он решил, что в Нью-Йорке, должно быть, принято себя вести именно так.

Они приехали в кабаре «У Эмиля». Лишь в некоторых парижских ресторанах, где все еще встречаются аргентинцы, без устали выписывающие ногами самой природой заложенные в них кренделя, сохранился хотя бы отблеск того танцевального безумия, что охватило мир в годы перед Первой мировой. В то время танцы не считались сопровождением пьянства, флирта или кутежей до рассвета – танцы что-то значили сами по себе. Ведущие малоподвижный образ жизни биржевые маклеры, шестидесятилетние бабули, ветераны армии Конфедерации, почтенные государственные мужи и ученые, страдавшие двигательной атаксией, – все они желали танцевать, причем танцевать великолепно! Самые фантастические устремления созревали в до того вполне трезвых головах, дичайшая потребность выставлять себя напоказ вдруг стала проявляться в семьях, славившихся своей скромностью на протяжении нескольких поколений. Длинноногие ничтожества наутро просыпались знаменитостями, открывались места, в которых, если было желание, можно было танцевать хоть до утра. Благодаря изяществу движений

или же неуклюжей ошибке строились и рушились карьеры, заключались браки или разрывались помолвки – а долговязый англичанин и девушка в голландском чепце объявляли следующий танец...

Когда они вошли в кабаре, Бэзиллом вдруг овладела тревога, ведь особенно яростно среди прочего Джон Грэнби клеймил современные танцы!

В гардеробной Бэзил подошел к Джорджу Дорси:

– У нас ведь есть свободный юноша? Как считаешь, ничего, если я буду танцевать только вальсы? Все остальное я танцую так себе...

– Разумеется, никаких проблем. – Джордж с любопытством посмотрел на Бэзила: – Черт возьми, да неужели ты вообще от всего решил отказаться?

– Нет, не от всего, – ответил Бэзил, чувствуя себя неудобно.

Там, где танцевали, было уже очень много народа. Люди всех возрастов и из разных слоев общества напряженно скользили под нервные и беспокойные ритмы модной песенки «Переборщил с горчичкой». Три образовавшиеся пары тут же встали и ушли, оставив Бэзила в одиночестве за столиком. Он сидел и смотрел на танцующих, пытаясь себя убедить, что ему все это не нравится и лишь вежливость не позволяет ему этого показать. Но когда взору открывалось столь много и сразу, было весьма тяжело сохранить этот настрой – и он, как зачарованный, сидел и смотрел на энергичные ножки Юбины. В этот момент к нему за столик сел хорошо одетый молодой человек лет девятнадцати.

– Прошу прощения, – с преувеличенной вежливостью произнес он. – Не за этим ли столиком сидит мисс Юбина Дорси?

– Да, за этим.

– Я так и подумал. Я – Де-Винчи. И не спрашивайте – с художником мы не родня!

– Меня зовут Ли.

– Очень приятно, Ли! Что будете пить? Что у вас там? – Подошел официант с подносом, и Де-Винчи с отвращением поглядел на то, что принесли. – Чай... Один только чай... Официант, принесите-ка двойной «Бронкс»... А вам, Ли? Тоже двойной «Бронкс»?

– О, нет, благодарю вас! – быстро ответил Бэзил.

– Официант, тогда несите один!

Де-Винчи вздохнул; у него был столь утомленный вид, что не оставалось никаких сомнений в том, что перед вами человек, не трезвевший вот уже несколько дней.

– Какая там под столиком красивая собачка! Разве можно позволять здесь курить, если сюда приводят собак?

– А что тут такого?

– Да ведь дым ест им глаза!

Бэзил в смущении принялся обдумывать эту мысль.

– Но только не говорите со мной о собаках! – с глубоким вздохом произнес Де-Винчи. – Я изо всех сил стараюсь не думать о собаках!

Бэзил послушно сменил тему разговора, спросив, учится ли он в университете.

– Две недели проучился. – Для большего эффекта Де-Винчи помахал двумя пальцами. – Йельский курс я прошел очень быстро. Первый вылетел из класса 15-го года в Шеффилде.

– Это плохо, – искренне посочувствовал Бэзил; глубоко вздохнул и изобразил губами добрую улыбку. – Должно быть, ваши родители очень огорчились, узнав об этом?

Де-Винчи уставился на него, словно глядя сквозь мутные очки, но не успел ничего сказать: танец закончился, и за столик вернулись остальные.

– О, привет, Скидди!

– Кого я вижу! Скидди!

Его знали все. Один из первокурсников уступил ему место рядом с Юбиной, и они принялись негромко разговаривать.

– Это Скидди Де-Винчи, – шепнул Джордж Бэзилу. – Прошлым летом они с Юбиной были помолвлены, но теперь, кажется, она с ним порвала. – Он покачал головой. – Все время катались в электромобиле его матери в Бар-Харбор, вели себя просто ужасно!

Бэзил внезапно покраснел от волнения, словно кто-то щелкнул кнопкой и зажег электрический фонарик. Он бросил взгляд на Юбину – ее лицо, бесконечно спокойное, на мгновение вспыхнуло, но на этот раз ее улыбка выглядела печальной; в глазах читалось глубокое дружелюбие, но отнюдь не радость. Он задумался: имело ли для Скидди Де-Винчи какое-либо значение то, что она с ним порвала? Быть может, если он исправится, бросит пить и вернется в Йель, она передумает?

Вновь послышалась музыка. Бэзил принялся сконфуженно разглядывать свою чашку.

– Это танго! – сказал Джордж. – Тебе ведь можно танцевать танго, правда? Это приличный танец, он же испанский!

Бэзил задумался.

– Ну конечно, можно! – настаивал Джордж. – Это же испанский танец, говорю я тебе! Разве могут быть какие-нибудь возражения, если танец – испанский, а?

Один из первокурсников с любопытством на них посмотрел. Бэзил наклонился над столом и пригласил Юбину потанцевать.

Перед тем как встать, она напоследок что-то тихим голосом сказала Де-Винчи; затем, чтобы компенсировать эту неучтивость, улыбнулась Бэзилу. И он с легким сердцем повел ее в зал.

Но вдруг она позволила себе совершенно возмутительное замечание; Бэзил вздрогнул и чуть не споткнулся, сомневаясь – не послышалось ли ему?

– Могу поспорить, что эти губы уже поцеловали целую тысячу девушек! – сказала она.

– Что?

– Разве не так?

– О, нет! – ответил Бэзил. – Я, честно говоря...

Ее веки и ресницы вновь равнодушно опустились; она стала подпевать оркестру:

*Танго греет изнутри;
Ты качаешься, скользишь;
Нет на свете ничего, кроме...*

Что она имела в виду? Что поцелуи в порядке вещей и что это даже восхитительно? Он вспомнил, что говорил Джон Грэнби: «Всякий раз, когда ты целуешь красивую девушку, ты толкаешь ее на дорогу, ведущую в ад!»

Он стал вспоминать свое собственное прошлое: вечер на крыльце дома Кампффов с Минни Библ, возвращение домой с озера Блэк-Бэр на

заднем сиденье лимузина рядом с Имогеной Биссел, и еще раньше, когда играли в «почту», – вплоть до детских поцелуев, попадавших в неохотно подставляемые носик или ушко.

Теперь с этим было покончено; он больше не собирался целовать ни одной девушки до тех пор, пока не встретится та, которая станет его женой! Его беспокоило, что эта девушка, которая показалась ему столь прекрасной, легкомысленно относится к подобным вещам. Неведомый трепет, который он испытал, когда Джордж сказал ему о том, что она «вела себя просто ужасно» со Скидди Де-Винчи в электромобиле, превратился в негодование – весьма стойкое и усиливающееся. Какой позор – ведь этой девушке не было и семнадцати!

Внезапно ему пришло в голову, что, быть может, это и была та самая кандидатка, взывавшая к его чувству ответственности? Если только ему удастся внушить ей мысль о том, что все это не стоит ровным счетом ничего, если она поймет, какие несчастья она сама на себя навлекает, то его приезд в Нью-Йорк не будет напрасным. В школу он вернется счастливый от того, что сумел принести этой девушке душевное спокойствие, которого ей раньше так не хватало.

На самом деле, чем больше он думал о Юбине и Скидди Де-Винчи в электромобиле, тем больше он терял голову.

В пять вечера они уехали из кабаре «У Эмиля» и поехали в танцевальную школу Кастлов. Моросил дождик, тротуары сияли огнями реклам. Оказавшись в сумерках и расчувствовавшись, Юбина быстрым скольльзящим движением взяла Бэзила под руку:

– В машине теперь тесно... Давай возьмем экипаж!

Она назвала адрес престарелому вознице, облаченному в выцветший сюртук бутылочного цвета; косые дверцы экипажа затворились, и они уселись внутри, оставив слякоть снаружи.

– Они меня утомили, – прошептала она. – У всех, кроме Скидди, такие пустые лица, да и с ним через час будет уже невозможно разговаривать! Начнет заводить плаксивые разговоры про своего пса, его звали Цыпленок, и месяц назад он сдох, а это уже верный знак... Чувствовал ли ты когда-нибудь очарование обреченности? Обреченный всегда идет и идет только вперед по дороге, для которой он был рожден, никогда не жалуясь, ни на что не надеясь; он просто принимает все как есть...

Его чистое сердце во весь голос кричало, что это не так!

– Никто не обязан сходить с ума, – уверил он ее. – Всегда можно начать все заново!

– Только не для Скидди!

– Это под силу любому! – не согласился он. – Ты просто берешь себя в руки и принимаешь решение о том, что отныне будешь вести безупречную жизнь, а потом сам удивляешься, насколько это просто и как много это приносит тебе счастья.

Кажется, она его не слышала.

– Разве не прекрасно – ехать в этом экипаже, когда в окна задувает влажный ветер, а мы с тобой здесь... – она повернулась к нему и улыбнулась, – вдвоем...

– Да, – рассеянно сказал Бэзил. – Главное, чтобы все на свете старались сделать свою жизнь безупречной! И начинать никогда не рано; можно даже сказать, что начинать надо лет в одиннадцать или в двенадцать, и тогда можно добиться полного совершенства!

– Да, это так! – сказала она. – В каком-то смысле жизнь Скидди безупречна. Он ни о чем не беспокоится, ни о чем не жалеет. Его вполне можно отправить назад во времени, ну, скажем, в восемнадцатый век – или когда там жили щеголи и кавалеры? – и он отлично там устроится.

– Я говорил совсем не об этом, – с тревогой сказал Бэзил. – Я имел в виду совсем не это, когда говорил о безупречной жизни!

– А, ты говорил о тех, кто обладает силой и властью? – предположила она. – Я так и подумала, глядя на твой подбородок! Могу поспорить, что ты всегда берешь то, что хочешь!

И она вновь посмотрела на него и придвинулась к нему поближе.

– Ты не понимаешь... – начал было он.

Она взяла его за руку:

– Подожди; мы уже почти приехали. Туда можно не торопиться. Тут так хорошо, вокруг так много огней, а там будет душно и тесно. Скажи ему, пусть едет дальше – еще пару кварталов. Я заметила, что ты почти совсем не танцевал; мне это понравилось. Ненавижу мужчин, которые вскакивают при первом же аккорде, словно на карту поставлена вся их дальнейшая жизнь! Неужели тебе действительно всего шестнадцать?

– Да.

- А выглядишь старше. В твоём лице так много можно прочесть...
- Ты не понимаешь... – уже с отчаянием повторил Бэзил.

Приоткрыв окошко, она сказала вознице:

– Поезжайте вперед, к Бродвею, мы вам скажем, где остановиться. – Вновь откинувшись на сиденье, она мечтательно повторила: – Безупречная жизнь! Как бы я хотела, чтобы моя жизнь была безупречной! Я готова к страданиям, если найдется что-то, ради чего стоит страдать; я не желаю делать ничего низменного, мелкого или подлого – пусть у меня будут лишь великие грехи!

– Нет, только не это! – в ужасе воскликнул Бэзил. – Разве так можно? Что за болезненные мысли? Ты даже говорить об этом не должна – тебе ведь всего шестнадцать! Ты должна... Ты должна все обдумать... Ты должна больше думать о жизни вечной. – Он умолк, подсознательно ожидая, что сейчас она его перебьёт, но Юбина молчала. – Ещё месяц назад я выкуривал по двенадцать – пятнадцать сигарет в день, если только не было тренировок по футболу. Я сквернословил и ругался, писал домой лишь от случая к случаю, и родителям иногда приходилось посылать телеграммы, чтобы убедиться, что я жив и здоров. У меня не было никакого чувства ответственности. Я никогда не думал, что смогу вести безупречную жизнь, но стоило лишь попробовать...

Он сделал паузу, не в силах справиться со своими чувствами.

– Правда? – тихо спросила Юбина.

– Да! Я был как все, только хуже. Я целовал девушек и никогда об этом даже не задумывался.

– И что... Что заставило тебя измениться?

– Встреча с одним человеком. – Он внезапно повернулся к ней и не без труда изобразил на лице карикатурное подобие печальной и сентиментальной улыбки Джона Грэнби. – Юбина, у тебя... У тебя задатки изумительной девушки! Мне сегодня было очень грустно видеть, как ты поглощаешь никотин и танцуешь современные развратные танцы, похожие на дикарские пляски! Да ещё твои разговоры о поцелуях... А если тебе встретится мужчина, сохранивший чистоту, никогда не целовавший никого, кроме своих родных, тебе ведь придется рассказать ему о том, как ужасно ты себя вела!

Она внезапно решительно отодвинулась и произнесла в боковое окошко:

– Теперь можете поворачивать обратно – адрес мы вам уже сказали!

– Ты должна покончить со всем этим навсегда! – Бэзил улыбнулся вновь, изо всех сил стараясь заставить ее воспарить в высшие сферы. – Обещай мне, что ты постарайся! Это совсем не сложно. И если в один прекрасный день ты встретишь какого-нибудь честного и прямого человека, который спросит: «Ты выйдешь за меня?», ты сможешь ему ответить, что никогда не танцевала современных развратных танцев, а танцевала лишь испанское танго и бостон, и никогда никого не целовала, ну, с тех пор, как тебе исполнилось шестнадцать, а может, тебе вообще не придется ему говорить, что ты кого-нибудь целовала...

– Но ведь это будет неправда? – сказала она каким-то странным голосом. – Разве я не должна буду сказать ему правду?

– Ты сможешь сказать ему, что просто вела себя неосторожно!

– Ну, да...

К огорчению Бэзила, экипаж подъехал к зданию танцевальной школы Кастлов. Юбина поспешила войти и, чтобы загладить свое затянувшееся отсутствие, остаток вечера посвятила исключительно Скидди и гарвардским первокурсникам. Но она наверняка напряженно размышляла – так же, как месяц назад размышлял он. Эх, еще бы немного времени, и ему бы удалось окончательно и наглядно подтвердить свою правоту, продемонстрировав влияние на окружающих того, кто живет безупречной жизнью. Завтра надо будет обязательно найти какую-нибудь возможность...

Но на следующий день он ее почти не видел. Завтракала она где-то в городе, на назначенной после дневного спектакля встрече с Бэзилом и Джорджем она так и не появилась; напрасно они прождали ее целый час в зале ресторана гостиницы «Билтмор». За обедом были гости, и Бэзил почувствовал досаду от того, что после обеда она сразу же куда-то исчезла. Неужели его серьезность ее напугала? В таком случае становилось совершенно необходимо с ней увидеться, чтобы переубедить ее, чтобы связать ее с собой невидимыми нитями высокого предназначения. Быть может... Быть может, она и была той самой идеальной девушкой, которую он когда-нибудь возьмет в жены? Эта прекрасная мысль наполнила все его существо исступленным

восторгом. Он стал думать о будущем: долгие годы ожидания, когда они станут помогать друг другу вести безупречную жизнь, и никто из них не станет ни с кем целоваться – на этом он будет настаивать, – да, никаких сомнений! Она должна будет пообещать ему больше никогда не встречаться со Скидди Де-Винчи, а затем будет свадьба и долгие годы служения людям, достижение совершенства, и слава, и любовь!

Вечером ребята опять пошли в театр. Домой они вернулись чуть позже одиннадцати, и Джордж пошел наверх пожелать маме спокойной ночи, а Бэзил остался внизу, чтобы исследовать содержимое кухонного ледника. Находившаяся между прихожей и кухней буфетная была погружена во тьму, и, когда он шарил по незнакомой стене в поисках выключателя, из кухни до него вдруг донесся голос, произнесший его имя:

– ... мистер Бэзил Дьюк Ли!

– Показался мне вполне достойным парнем! – Бэзил узнал медлительную манеру речи Скидди Де-Винчи. – Обычный мальчишка...

– Вовсе нет, он мерзкий маленький ханжа! – решительно заявила Юбина. – Прочел мне старомодную лекцию о морали, о курении, о современных танцах и поцелуях, и еще рассказывал про честного и прямодушного человека, который встретится мне в один прекрасный день – ну, ты ведь знаешь, про каких честных и прямодушных людей они все время говорят! Он, видимо, имел в виду себя, потому что рассказывал мне, что ведет безупречную жизнь. Это было так кошмарно и говорилось таким елейным тоном, что меня чуть не стошнило, Скидди! Впервые в жизни мне вдруг захотелось выпить чего-нибудь крепкого!

– Ну он же просто мальчишка! – примирительно сказал Скидди. – Для него это просто очередной этап. Скоро пройдет.

Бэзил был в ужасе от того, что услышал; его щеки горели, рот приоткрылся. Больше всего на свете ему сейчас хотелось оказаться где-нибудь подальше от этого места, но смятение словно приковало его к полу.

– Мое мнение о праведниках вряд ли можно напечатать на бумаге, – произнесла Юбина спустя некоторое время. – Скидди! Я, наверное, от природы скверная; по крайней мере, сколько я ни

общалась с прямодушными юношами, они всегда действовали на меня именно так.

– Тогда что скажешь мне, Юбина?

Последовала долгая тишина.

– Что-то во мне изменилось, – наконец, произнесла она. – Еще вчера я считала, что порвала с тобой, Скидди, но с тех пор у меня перед глазами так и стоят тысячи мистеров Бэзилов Дьюков Ли, уже повзрослевших и молящих меня разделить с ними их безупречные жизни. А я отказываюсь – решительно и бесповоротно! И, если ты хочешь, я выйду за тебя завтра в Гринвиче!

III

В час ночи в комнате Бэзила все еще горел свет. Шагая взад и вперед по комнате, он придумывал для себя оправдание за оправданием, выставляя Юбину в роли злодейки, но все его оправдания разбивались о камни болезненного унижения. «Мерзкий маленький ханжа» – эти слова, произнесенные с глубоким убеждением и презрением, напрочь выбили из него все высокие принципы Джона Грэнби. Он был рабом своих восторгов, а за последние сутки личность Юбины оказала на него огромное влияние; в глубине сердца он поверил, что услышал от нее правду.

В утро Дня благодарения он проснулся с темными мешками под глазами. Приготовленные для немедленного отъезда вещи, уложенные в саквояж, вновь напомнили ему о вчерашней катастрофе; он лежал, глядя в потолок, еще не совсем проснувшийся; к глазам подступали огромные слезы. Человек постарше обязательно утешился бы тем, что побуждения его были самые благородные, но Бэзил о таком утешении и не подозревал. Все свои шестнадцать лет он провел, двигаясь собственным курсом, без руля и без ветрил, руководствуясь присущей ему от природы стойкостью в борьбе; и ни одному человеку старше

его, за исключением Джона Грэнби, до сих пор не удавалось овладеть его воображением. А теперь Джон Грэнби исчез вместе со вчерашним днем, и Бэзилу, естественно, показалось, что отвоевывать свои прежние позиции ему предстоит в одиночку, полагаясь лишь на собственные силы.

Твердо он знал лишь одно – Юбина не должна выйти замуж за Скидди Де-Винчи. Ответственность за это он принять на себя не мог. Если будет необходимо, он пойдет к ее отцу и расскажет ему все, что случайно узнал.

Выйдя из своей комнаты через полчаса, он столкнулся в холле с Юбиной. На ней был элегантный синий уличный костюм, с узкой юбкой и круглым льняным воротником. Она слегка округлила глаза и вежливо пожелала ему доброго утра.

– Мне надо с тобой поговорить, – быстро сказал он.

– Мне ужасно жаль. – Она улыбнулась ему так, словно ничего не случилось, и это усилило его дискомфорт. – У меня сейчас совсем нет времени.

– Это очень важно. Я знаю, что я тебе не нравлюсь...

– Что за глупости! – Она весело рассмеялась. – Конечно, ты мне нравишься. С чего это ты вбил себе в голову такую глупость?

Прежде чем он успел ответить, она торопливо помахала ему рукой и убежала вниз по лестнице.

Джордж уехал в город по делам, и Бэзил провел утро, гуляя по Центральному парку под крупными неторопливыми хлопьями снега, придумывая, что он скажет мистеру Дорси.

– Меня это не касается, но я не могу видеть, как ваша единственная дочь желает бросить свою жизнь к ногам беспутного человека! Если бы у меня была дочь, которая собиралась бы потратить впустую свою жизнь, то я бы хотел, чтобы кто-нибудь мне об этом вовремя рассказал. Поэтому я к вам и пришел. Разумеется, после нашего разговора я не смогу оставаться у вас в доме, поэтому теперь я с вами прощаюсь...

В четверть первого, с волнением поджидая мистера Дорси в гостиной, он услышал, как тот вошел в дом. Бэзил бросился вниз, но мистер Дорси уже успел войти в лифт, закрыв за собой дверцу кабины. Развернувшись, Бэзил бросился наперегонки с машиной по лестнице на третий этаж и догнал мистера Дорси в холле.

– Я касательно вашей дочери! – взволнованно начал он. – Касательно вашей дочери...

– Да? – сказал мистер Дорси. – И что же такое приключилось с Юбиной?

– Я хочу с вами о ней поговорить.

Мистер Дорси рассмеялся:

– Вы хотите попросить у меня ее руки?

– Нет-нет!

– Что ж, тогда давайте поговорим после обеда, когда наедемся индейки, наберемся сил и позабудем обо всех заботах!

Он хлопнул Бэзила по плечу и ушел к себе в комнату.

К обеду собралось много родственников и друзей, и под прикрытием разговоров Бэзил внимательно наблюдал за Юбиной, пытаясь определить по ее наряду и выражению лица, не исчезло ли ее отчаянное намерение. Как он убедился этим утром, она мастерски умела прятать свои настоящие чувства, но раз или два ему все же удалось заметить, как она бросает взгляд на часы и как после этого во взгляде появляется задумчивость.

Кофе после обеда подали в библиотеку; воцарилась нескончаемая, как показалось Бэзилу, болтовня. Когда Юбина внезапно встала и вышла из комнаты, Бэзил тут же подошел к мистеру Дорси.

– Ну что ж, юноша, чем могу вам служить?

– М-м-м... – Бэзил замялся.

– Сейчас самое время, если хотите о чем-нибудь меня попросить: я сыт и чувствую себя превосходно!

– Ну... – Бэзил никак не мог решиться.

– Не стесняйтесь! Вы ведь хотели поговорить о Юбине?

Но странная вещь случилась с Бэзилом! Он вдруг увидел себя со стороны: увидел, как вот-вот тайком наябедничает мистеру Дорси – наябедничает на девушку, да еще и у нее в доме, где его принимают как гостя...

– Ну... – беспомощно повторил он.

– Вопрос в следующем: сможете ли вы ее содержать? – весело сказал мистер Дорси. – И второй вопрос: хватит ли у вас сил держать ее в узде?

– Я забыл, что я вам хотел сказать! – выпалил Бэзил.

Торопливо и в смятении он покинул библиотеку. Бросившись наверх, он постучал в дверь комнаты Юбины. Ответа не последовало, он распахнул дверь и заглянул внутрь. В комнате никого не было, но на кровати лежал наполовину собранный чемодан.

– Юбина! – с тревогой позвал он.

Ответа не было; проходившая по холлу горничная сказала, что мисс Юбина сейчас завивается в комнате у матери.

Он поспешил вниз, торопливо надел шляпу, пальто и изо всех сил попытался вспомнить адрес, по которому они отвезли Скидди Де-Винчи позавчера. Будучи уверен, что само здание он обязательно узнает, он сел в такси, поехал по Лексингтон-авеню, сделал три остановки и задрожал от волнения, увидев табличку с именем «Леонард Эдвард Дэвис Де-Винчи» у звонка. Он позвонил; внутри щелкнула дверная щеколда.

Плана у него не было. За неимением аргументов в голову Бэзила пришла лишь отдающая театром мысль о том, что надо свалить его одним ударом с ног, связать и оставить лежать в таком положении, пока все не уляжется. Учитывая, что Скидди весил фунтов на сорок больше, задача была не из легких.

Скидди собирался – и даже пальто, которое он торопливо набросил на чемодан, не могло скрыть от Бэзила этого факта. На заваленном какими-то вещами комоде перед зеркалом стояла початая бутылка виски, а рядом с ней – недопитый стакан.

Скрыв свое удивление, Скидди предложил Бэзилу садиться.

– Я пришел к вам, – Бэзил старался говорить как можно спокойней, – чтобы поговорить о Юбине.

– О Юбине? – Скидди нахмурился. – А что с ней? Это она вас сюда послала?

– О, нет! – Бэзил шумно сглотнул, желая потянуть время. – Я подумал... Может, вы сможете дать мне совет... Видите ли, мне кажется, что я ей не нравлюсь, и я не понимаю, в чем дело.

Лицо Скидди смягчилось.

– Ерунда! Конечно вы ей нравитесь! Хотите выпить?

– Нет. По крайней мере, не сейчас.

Скидди допил свой стакан, после недолгих колебаний убрал с чемодана пальто.

– Прошу прощения, но я продолжу собирать вещи, ладно? Я собрался уехать...

– Конечно!

– Может, все же выпьете?

– Нет, я сейчас пью только воду – никакого алкоголя.

– Когда беспокоишься по пустякам, лучшее средство – выпить!

Зазвонил телефон, он поднял трубку и покрепче прижал ее к уху:

– Алло... Я не могу сейчас говорить... Да... Тогда в половине шестого... Сейчас около четырех... Объясню при встрече... Пока! – Он повесил трубку. – Это с работы, – сказал он с наигранным равнодушием. – Так, может, все же немного налью, а?

– Нет, благодарю вас!

– Ни о чем никогда не беспокойтесь! Просто наслаждайтесь жизнью.

– Очень тяжело приехать в гости и узнать, что ты кому-то не нравишься.

– Но вы ей нравитесь! Она сама говорила мне об этом позавчера.

Они продолжали обсуждение этой ситуации, пока Скидди собирал вещи. Он был слегка навеселе и очень нервничал, поэтому единственный вопрос, заданный с достаточно серьезным видом, заставил его разглагольствовать без всякой надежды на остановку. А Бэзил так ничего и не придумал, кроме как остаться со Скидди и ждать подходящего повода, чтобы высказаться со всей откровенностью.

Оставаться со Скидди становилось все более и более затруднительным – навязчивость Бэзила уже стала его беспокоить. В конце концов Скидди захлопнул чемодан с нарочито-громким решительным щелчком, быстро выпил большую порцию виски и произнес:

– Ну, что ж... Мне, кажется, пора.

Они вышли вместе, и Скидди поймал такси.

– А куда вы сейчас поедете? – спросил Бэзил.

– В пригород... То есть в центр!

– Нельзя ли мне с вами? – стал напрашиваться Бэзил. – Мы могли бы... Могли бы немного выпить... В баре «Билтмора»?

Скидди задумался.

– Я вас подвезу, – сказал он.

Когда они доехали до «Билтмора», Бэзил даже не пошевелился, чтобы выйти.

– Вы ведь со мной, не правда ли? – с надеждой в голосе спросил он.

Нахмурившись, Скидди поглядел на часы:

– У меня совсем мало времени...

Бэзил поник и откинулся на сиденье:

– Что ж, одному мне туда идти не стоит – я очень молодо выгляжу, так что мне там точно не нальют, разве только я буду в компании кого-нибудь постарше...

Просьба была услышана. Скидди вышел из машины, приговаривая: «Мне надо торопиться», и они пошли в бар.

– Что будете?

– Что-нибудь покрепче, – ответил Бэзил, закуривая первую за месяц сигарету.

– Две «колючки»! – заказал Скидди.

– Может, еще крепче?

– Дайте две двойных «колючки»!

Краем глаза Бэзил посмотрел на часы. Было двадцать минут шестого. Дождавшись, когда Скидди поднесет свой бокал ко рту, он жестом попросил официанта повторить заказ.

– О, нет! – воскликнул Скидди.

– Но я же должен вас угостить!

– Но вы к своему даже не притронулись!

Бэзил пригубил свой коктейль, тут же его возненавидев. Он заметил, что с новой порцией алкоголя Скидди слегка расслабился.

– Мне пора бежать, – автоматически произнес он. – Важное дело!

И тут Бэзила посетило вдохновение.

– А знаете, я ведь подумываю о том, чтобы завести собаку! – объявил он.

– Не будем говорить о собаках, – скорбным тоном сказал Скидди. – Со мной только что произошло нечто ужасное, связанное с собакой. Я только-только пришел в себя!

– Расскажите мне!

– Мне не хотелось бы об этом вспоминать! Это было ужасно!

– А я считаю, что собака – лучший друг человека! – сказал Бэзил.

– Правда? – Скидди выразительно хлопнул рукой по столу. – И я тоже, Ли! Я тоже...

– Никто не любит человека так, как собака! – продолжил Бэзил, сентиментально уставившись вдаль.

Принесли вторую порцию двойных «колючек».

– Я расскажу вам о собаке, которую я потерял, – сказал Скидди, посмотрев на часы. – Я уже опаздываю, но что значит какая-то минута, если вы любите собак!

– Я люблю их больше всего на свете! – Бэзил поднял свой бокал – все тот же, первый, и он все еще не был пуст. – Давайте выпьем за лучших друзей человека – за собак!

Они выпили. В глазах Скидди показались слезы.

– Я вам сейчас все расскажу. Своего пса – его звали Цыпленок – я взял еще щенком, вырастил и выкормил. Он был красавец – эрдельтерьер, потомок Мак-Тавиша VI...

– Да, он не мог не быть красавцем!

– И он им был! Я сейчас расскажу вам...

Как только Скидди увлекся предметом своего рассказа, Бэзил подвинул второй бокал прямо под руку Скидди, и тот тут же схватил ножку бокала пальцами. Окликнув бармена, Бэзил заказал еще две порции. На часах было без пяти шесть.

Скидди продолжал говорить. Впоследствии один лишь взгляд на рассказ про собак в каком-нибудь журнале всегда вызывал у Бэзила острый приступ тошноты. В половине седьмого Скидди, покачиваясь, встал:

– Мне пора. Важная встреча. Не хочу расстраивать...

– Ладно. Сейчас дойдем до стойки и выпьем еще на посошок!

За стойкой работал знакомый со Скидди бармен, так что они немного поболтали, потому что время уже, казалось, не имело никакого значения. Скидди выпил со своим старым другом – пожелать ему удачи в каком-то очень важном деле. Затем выпил еще.

Без четверти восемь Бэзил вывел Леонардо Эдварда Дэвиса Де-Винчи из бара гостиницы, оставив чемодан на хранение у бармена.

– Важное дело, – бормотал Скидди, пока они ловили такси.

– Очень важное! – поддакивал Бэзил. – Я позабочусь, чтобы вы обязательно туда добрались!

Когда подъехала машина, Скидди ввалился в салон, а Бэзил назвал водителю адрес.

– Большое спасибо и до свидания! – с жаром крикнул Скидди. – Поехали со мной, выпьем еще разок за лучших друзей человека!

– Нет-нет! – сказал Бэзил. – Это ведь очень важное дело!

– Вы правы! Крайне важное!

Машина отъехала, и Бэзил проводил ее взглядом, пока она не скрылась за поворотом. Скидди поехал на Лонг-Айленд, к могиле Цыпленка.

IV

До этого Бэзил никогда не пил, а теперь в его и без того охваченную ликующей легкостью голову ударило еще и три коктейля, которые ему пришлось в себя опрокинуть. На обратном пути в особняк Дорси он запрокинул голову и во все горло расхохотался. Чувство собственного достоинства, утраченное вчера вечером, вновь оказалось на месте; его собственная уверенная сила внушила ему трепет.

Дверь открыла горничная, а шестое чувство подсказало, что в холле на первом этаже кто-то есть. Он дождался ухода горничной; затем шагнул к двери гардеробной и распахнул ее. Там стоял чемодан, а у чемодана стояла Юбина, выглядевшая и раздраженной, и испуганной. Обмануло ли его радостное возбуждение – или же, когда она его узнала, ее лицо и в самом деле вспыхнуло облегчением?

– Привет!

Она сняла пальто, повесила его, словно бы зашла сюда именно для этого, и вышла на свет. Ее лицо, красивое и бледное, стало спокойным, словно она уселась и сложила руки.

– Тебя Джордж искал, – равнодушно сказала она.

– Правда? А я был у друга.

Она с удивлением принялась к легкому запаху алкоголя.

– Но мой друг поехал на могилу своей собаки, так что я ушел домой.

Она внезапно застыла:

– Ты был у Скидди?

– Он рассказывал мне о своей собаке, – серьезным тоном сказал Бэзил. – В конце концов, лучший друг человека – это собака!

Она села и уставилась на него широко раскрытыми от удивления глазами:

– Скидди напился?

– Он поехал навестить могилу своей собаки!

– Вот дурак! – воскликнула она.

– А разве ты его ждала? Это же не твой чемодан, верно?

– Не твое дело!

Бэзил вытащил чемодан из шкафа и унес в лифт.

– Сегодня он тебе не понадобится, – сказал он.

В ее глазах сверкнули крупные слезы отчаяния.

– Не нужно тебе пить, – отрывисто сказала она. – Разве ты не видишь, во что он превратился из-за пьянства?

– Лучший друг человека – это «колючка»!

– Тебе всего шестнадцать! Видимо, все, что ты мне рассказывал позавчера, было шуткой? Я имею в виду, про безупречную жизнь?

– Да, это была шутка, – согласился он.

– А я подумала, что ты серьезно! Неужели никто на свете ничего не говорит серьезно?

– Ты мне очень нравишься, – тихо сказал Бэзил. – Вот это я говорю серьезно.

– Ты тоже мне нравился, пока не стал говорить о том, что я не должна целоваться.

Он подошел, склонился над ней и взял ее за руку:

– Давай перенесем наверх чемодан, пока не пришла горничная?

Они вошли в темную кабину лифта и закрыли дверцу.

– Тут где-то есть выключатель, – сказала она.

Все еще держа ее за руку, он притянул ее к себе и обнял в темноте:

– Свет нам сейчас совсем ни к чему...

В поезде, который вез их обратно в школу, Джордж Дорси внезапно принял решение. Его губы сжались.

– Я, конечно, ничего такого не хотел говорить, Бэзил... – Он запнулся. – Но все же... Ты, случайно, не пил в День благодарения?

Бэзил нахмурился и кивнул.

– Иногда меня тянет! – рассудительным тоном произнес он. – Сам не знаю, что с этим делать. В моей семье все умирают от алкоголизма!

– Ну и ну! – воскликнул Джордж.

– Но теперь это в прошлом! Я обещал Юбине, что не выпью больше ни капли, пока мне не исполнится двадцать один. Она считает, что я погублю себя, если и дальше продолжу вести столь беспутный образ жизни!

Джордж некоторое время молчал.

– А о чем это вы с ней все время болтали? Я ведь, черт возьми, думал, что ты приехал в гости ко мне, а не к ней!

– Да так, о всяких... О всяких духовных вещах, – безмятежно ответил Бэзил. – Слушай! Если опоздаем на ужин, давай попросим Сэма, чтобы не запирали на ночь окно в буфетной?

Жозефина

Первая кровь

помню, как вы пришли ко мне в отчаянии, когда Жозефине было три — Ягода, — говорила миссис Брэй. — Джордж тогда безумствовал, потому что никак не мог найти подходящую работу и вымещал злость на маленькой Жозефине.

— Да, я тоже это помню, — сказала мать Жозефины.

— А вот и она — Жозефина!

И это была действительно Жозефина! Она улыбнулась миссис Брэй, и во взгляде миссис Брэй появилась какая-то тяжесть. Жозефина продолжала улыбаться.

— Сколько вам лет, Жозефина?

— Недавно исполнилось шестнадцать.

— Надо же! Мне показалось, что вы немного старше.

Как только представился случай вставить словечко в разговор, Жозефина спросила у миссис Перри:

— Можно, я схожу сегодня с Лилиан в кино?

— Нет, дорогая, ты должна сделать уроки.

И миссис Перри повернулась к миссис Брэй, как бы дав понять, что разговор окончен, но Жозефина вполголоса пробормотала: «Дура проклятая!»

Миссис Брэй тут же затараторила, пытаясь сменить тему разговора, но миссис Перри конечно же не смогла обойтись без выговора Жозефине.

— Как ты назвала маму, Жозефина?

— Я не понимаю, почему я не могу сходить в кино с Лилиан?

Казалось, что мама почла бы за благо закончить на этом разговор.

— Потому что ты должна учиться! Ты каждый день куда-нибудь ходишь, и твоему отцу это совсем не нравится.

— Вы оба сошли с ума! — заявила Жозефина и с жаром добавила: — Полнейший идиотизм! Наш папочка, наверное, просто маньяк. Скоро он начнет рвать на себе волосы и думать, что он Наполеон или что-то в этом роде.

— Нет! — рассмеялась миссис Брэй, в то время как миссис Перри начала краснеть от злости. — Хотя, может, она и права? Возможно, Джордж и сумасшедший — лично я уверена, что мой муж сошел с ума. Это все война!

Но на самом деле ей вовсе не было весело — она подумала, что Жозефину стоило бы выпороть розгами.

В разговоре прозвучало имя Энтони Харкера – ровесника старшей сестры Жозефины.

– Он восхитителен! – без всякого желания навязать свою точку зрения вмешалась в разговор Жозефина.

Она вовсе не была грубиянкой; она крайне редко переходила границы обычной светской беседы, хотя легко теряла беспечное расположение духа, встречаясь с какой-либо несправедливостью или глупостью со стороны собеседника.

– Он совершенно...

– Он пользуется большим успехом. Но лично я не вижу в нем ничего особенного. Он какой-то поверхностный.

– О, нет, мама! – сказала Жозефина. – Он вовсе не такой. Любой тебе скажет, что он – настоящая личность, не чета тем недотепам, которых хоть пруд пруди. Любая девушка была бы рада прибрать его к рукам. Я бы не раздумывая вышла за него замуж!

На самом деле она никогда не думала об этом раньше. Фраза предназначалась, вообще-то, для выражения ее чувств к Трэвису Де-Коппету. И вскоре, когда подали чай, она извинилась и ушла к себе в комнату.

Несмотря на то что дом был совсем новым, Перри вовсе не были нуворишами. Принадлежа к высшему чикагскому обществу (что предполагало весьма солидные доходы), они не выглядели невежами вроде тех, что вломились в высшее общество после 1914 года. Жозефина невольно стала одним из пионеров поколения, которому было суждено «отбиться от рук».

Она одевалась в своей комнате, собираясь пойти к Лилиан и думая время от времени то о Трэвисе Де-Коппете, то о том, как она вчера ехала домой с бала у Дэвидсонов. Трэвис носил под смокингом свободную накидку синего цвета, унаследованную им от какого-то старого дядюшки. Трэвис был высок, худощав, превосходно танцевал; его глаза часто описывались ровесницами противоположного пола как «очень глубокие и темные», хотя взрослые видели обыкновенные карие глаза, обведенные темными, похожими на синяки кругами. Область, их окружавшая, казалась то пурпурной, то коричневой, то малиновой; бросив мимолетный взгляд на Трэвиса, это было первым, что вы замечали, и – не считая ослепительно-белых зубов – последним. Как и Жозефина, он тоже был человеком нового типа. Хотя

в Чикаго в те времена новым было все, в скобках, чтобы не потерять нити повествования, заметим: Жозефина была «новейшей из новых».

Одевшись, она спустилась вниз по лестнице и через приоткрытую дверь вышла на улицу. Стоял октябрь, деревья уже сбросили листву, и в спину ей дул суровый бриз. Она шла мимо холодных углов домов, мимо закоулков жилых кварталов, в которых прятался ветер. С этой поры и до начала апреля Чикаго становится городом, в котором жизнь прячется за стенами домов, где войти в дверь означает попасть в другой мир, потому что холод озера Мичиган всегда недружелюбен и не похож на настоящий северный холод; он служит лишь для того, чтобы акцентировать внимание на том, что внутри, а не снаружи. На улицах в это время не слышно музыки, там не наткнешься на влюбленных, и даже в благоприятное время года богатство, которое проезжает мимо в лимузинах, скорее раздражает, чем очаровывает тех, кто ходит по тротуарам. А внутри домов царит глубокая, полная тишина – или волнующий поющий шум, как будто те, кто живет внутри, все время заняты изобретением новых танцев. И все это – лишь часть того, что люди имеют в виду, произнося: «Наш Чикаго».

Жозефина собиралась встретиться со своей подругой Лилиан Хэммел, но посещение кинотеатра в их планы не входило. Если бы только матери знали, куда на самом деле собираются дочери, даже самый предосудительный, самый мрачный фильм показался бы им предпочтительней. Потому что девушки собрались на автопрогулку с Трэвисом Де-Коппетом и Говардом Пэйджем – и собирались уехать как можно дальше, чтобы успеть всласть нацеловаться. Все четверо вынашивали этот план еще с прошлого воскресенья, когда поездку пришлось отложить из-за неблагоприятных обстоятельств.

Трэвис и Говард уже ждали, олицетворяя собой готовность к действиям и безмолвно торопя девушек навстречу грядущему. Трэвис был одет в пальто с меховым воротником, в руках у него была трость с золотой рукояткой. Он полушутливо-полусерьезно поцеловал руку Жозефины, и Жозефина сказала ему «Здравствуй, Трэвис!» с теплотой политика, приветствующего электорат. Через минуту девушки уже обменивались новостями.

– Я видела его, – прошептала Лилиан, – только что!

– Честно?

Глаза обеих сверкнули.

– Не правда ли, он восхитителен? – сказала Жозефина.

Все это относилось к двадцатидвухлетнему мистеру Энтони Харкеру, даже и не подозревавшему об их существовании, хотя Жозефину однажды представили ему в доме Перри как «младшую сестренку Констанции Перри».

– У него самый красивый в мире носик, – воскликнула Лилиан, неожиданно рассмеявшись.

Она нарисовала контур носика пальцем в воздухе, и обеим стало весело. Но Жозефина сразу же сделала серьезное лицо, потому что в проеме двери, выходящей в холл, показались темно-карие глаза Трэвиса, такие ясные, словно их создали накануне вечером.

– Ну же! – сказал он им с нетерпением.

Четверо молодых людей вышли на улицу, прошли нелегких пятьдесят шагов навстречу ветру и сели в машину Пэйджа. Все они были уверены в себе и точно знали, чего хотят. Две девушки сознательно не слушали своих родителей и, подобно солдату, бежавшему из неприятельского плена, не чувствовали никаких угрызений совести по этому поводу. На заднем сиденье Жозефина и Трэвис посмотрели друг на друга; она ждала, когда его лицо станет пунцовым от волнения.

– Смотри! – сказал он, достав билеты; его рука дрогнула. – До пяти утра! Варьете!

– Ах, Трэвис! – машинально воскликнула она, и впервые не получила никакого удовольствия от такого способа общения. Она взяла его за руку, удивляясь, что же с ней случилось?

Уже стемнело; он наклонился к ней, но она впервые от него отвернулась. Рассердившись, он напустил на себя циничный вид, кивнул головой и обеспокоенно отодвинулся от нее в дальний угол машины. Ему обязательно нужно было сохранить ту мрачную загадочность, которая заставляла ее его желать. Она заметила, что тайна появилась в его глазах и начала переползать на его лицо, грозя заполнить его целиком, но Жозефина никак не могла заставить себя думать только о нем. Романтическая загадка мира вдруг переместилась в другого мужчину.

Трэвис десять минут ждал ее капитуляции; затем вновь попытался ее поцеловать, и в это короткое мгновение она впервые подумала, что он некрасив. Этого было достаточно. Воображение и желания

Жозефины могли работать лишь до определенного предела, по достижении которого ее начинала защищать присущая ей другая черта – импульсивность. Только что – совершенно неожиданно – она обнаружила в себе неприязнь к Трэвису, и ее голос наполнился глубокой печалью:

– Я слышала о том, что ты сказал вчера.

– Что ты имеешь в виду?

– Ты сказал Эду Бементу, что остаешься на танцах допоздна лишь потому, что хочешь отвезти меня домой в своей машине.

– И кто же тебе об этом рассказал? – спросил он, не чувствуя за собой никакой вины.

– Сам Эд Бемент, и еще он сказал, что чуть не влепил тебе пощечину, когда это услышал! Он с трудом сдержался!

И вновь Трэвис удалился в дальний угол сиденья. Он принял этот инцидент за причину ее холодности, и в чем-то он был прав. По теории доктора Юнга бесчисленные мужские голоса, спорящие друг с другом в подсознании женщины, иногда говорят ее устами – по всей видимости, в этот момент устами Жозефины высказывался отсутствующий Эд Бемент.

– Я решила больше ни с кем не целоваться, иначе у меня не останется ничего, что я смогу подарить мужчине, которого люблю по-настоящему.

– Чушь! – ответил Трэвис.

– Нет, это чистая правда. В Чикаго и так слишком много говорят обо мне. Мужчина не станет уважать девушку, которая позволяет себя целовать, когда бы ему этого ни захотелось! А я хочу, чтобы человек, за которого я когда-нибудь выйду замуж, меня уважал.

Эд Бемент был бы подавлен степенью своего влияния на Жозефину этим вечером, если бы только знал...

Идя пешком от перекрестка, на котором ее из осторожности высадили из машины, Жозефина ощущала ту приятную легкость, которая приходит после окончания какой-нибудь тяжелой работы. Отныне и навсегда она станет «хорошей девочкой», не будет встречаться с мальчиками, будет слушаться своих родителей и постарается стать тем, что в школе миссис Бенбовер называется «идеальной девушкой Бенбовер». А на следующий год, в школе Брирли, она станет «идеальной девушкой Брирли». Но в небе над

шоссе Лейк-Шор показались первые звезды, и все вокруг напоминало ей о том, что Чикаго, вращаясь вместе с планетой, совершает свой путь по орбите со скоростью сотен миль в час, и Жозефина знала, что ей хотелось такой скучной жизни лишь в душе. На самом деле у нее не было ни малейшего желания совершать подобные чудеса аскетизма. Ее дед изменял этот мир, ее родители знали, что его можно изменить, – а она просто принимала его таким, какой он есть. Это был Чикаго – совсем не похожий на Нью-Йорк город-государство, где старинные семьи формировали особую касту, а интеллект был представлен университетскими профессорами, и не было никаких исключений из этого правила, благодаря чему даже Перри вынуждены были заискивать перед полудюжиной еще более богатых и влиятельных семей. Жозефине нравилось танцевать, а поле женской славы – бальный зал был тем, что ускользало из жизни девушки, как только рядом с ней появлялся мужчина.

Жозефина подошла к железным воротам своего дома и увидела на лестнице сестру, прощающуюся с молодым человеком; затем парадная дверь закрылась, и молодой человек спустился вниз. Она знала, кто это был!

Он прошел мимо, бросил на нее рассеянный взгляд, но все-таки ее узнал.

– Добрый вечер! – сказал он.

Она повернулась так, чтобы он мог увидеть ее в свете фонаря; подняла голову, чтобы меховой воротник не помешал ему ее рассматривать, а затем улыбнулась.

– Здравствуйте! – скромно ответила она.

Они разошлись. Она, как черепаха, втянула голову в воротник.

«Ну, что ж, теперь он знает, как я выгляжу», – взволнованно подумала она, входя в дом.

Спустя несколько дней Констанция Перри решила серьезно поговорить с матерью:

– Жозефина так поглощена собой, что я уже беспокоюсь, все ли у нее в порядке с головой?

– Да, она действительно ведет себя странно, – признала миссис Перри. – Я поговорила с отцом, и мы решили, что после первого января отправим ее учиться в пансион на востоке страны. Но не говори ей ни слова, пока мы не обсудим все детали.

– Слава богу, мама, еще не слишком поздно! Она появляется повсюду с этим ужасным молокососом Трэвисом Де-Коппетом, который не расстается со своим кошмарным плащом, и устраивает настоящий цирк! На прошлой неделе они явились в кафе Блэкстона, и я сама чуть от смеха не лопнула. Они выглядели как маньяки – крадущийся, словно вор, Трэвис и Жозефина, гримасничающая так, словно у нее началась пляска святого Витта. Говоря откровенно...

– А что ты там говорила об Энтони Харкере? – перебила ее миссис Перри.

– Что она свихнулась на нем! А он ей в дедушки годится!

– Ну, не совсем так...

– Мама, ему двадцать два года, а ей всего шестнадцать! Каждый раз, когда Жози и Лилиан проходят мимо него, они начинают хихикать, как две дурочки, и разглядывать его, как картину...

– Зайди, Жозефина! – позвала миссис Перри.

Жозефина медленно, слегка раскачиваясь, вошла в комнату и облокотилась о дверной косяк:

– Что, мама?

– Дорогая, ведь ты же не хочешь, чтобы над тобой смеялись?

Жозефина обратила свой мрачный взор на сестру:

– И кто же надо мной смеется? Догадываюсь... Ты единственная, кому это могло прийти в голову!

– Ты так поглощена собой, что ничего не замечаешь! Когда вы с Трэвисом Де-Коппетом пришли в кафе Блэкстона, у меня от смеха чуть не вылетели позвонки. Смеялись все, сидевшие за нашим столиком, и все остальные посетители кафе тоже – конечно, кроме тех, кто был просто шокирован.

– Предполагаю, что шокированных было больше, – с удовлетворением заметила Жозефина.

– Хорошенькая же будет у тебя репутация, когда придет пора выводить тебя в свет!

– Замолчи! – крикнула Жозефина.

На мгновение наступила тишина. Затем миссис Перри торжествующе прошептала:

– Придется рассказать об этом твоему отцу, когда он вернется домой!

– Давай расскажи ему!

Неожиданно Жозефина заплакала:

– Почему никто, никто не может оставить меня в покое? Я хочу умереть!

Мать обняла ее, приговаривая: «Жозефина, ну-ну, Жозефина!», но Жозефина продолжала всхлипывать – казалось, что плач исходит прямо у нее из сердца.

– Всего лишь кучка некрасивых и завистливых девчонок, которые, стоит только кому-нибудь на меня посмотреть, сходят с ума и придумывают абсолютно ни на чем не основанные сплетни – и все потому, что я могу заполучить любого, кого только захочу! Наверное, Констанция бесится от того, что я вошла и просидела целых пять минут наедине с Энтони Харкером, пока он ждал ее внизу вчера вечером!

– Да, я ужасно заревновала тебя к нему! Я всю ночь сидела и плакала! Особенно из-за того, что он пришел поговорить со мной о Мэри Вэйли. Что ты! Ты просто с ума его свела за эти пять минут, так что он никак не мог успокоиться и прекратить смеяться, пока мы шли к Уорренсам.

Жозефина всхлипнула в последний раз и перестала плакать:

– Если хочешь знать, я решила дать ему отставку.

– Ха-ха-ха! – Констанция просто взорвалась от смеха. – Ты это слышала, мама? Она собирается дать ему отставку! Будто он хоть раз в жизни посмотрел на нее! Будто он вообще знает о том, что она существует! Из всех самовлюбленных...

Но миссис Перри не могла больше это терпеть. Она обняла Жозефину и попросила ее уйти к себе в комнату.

– Все, чего хочет твоя сестра, это чтобы над тобой никто не смеялся, – объяснила ей она.

– Ну, ладно, это он дал мне отставку, – с грустью произнесла Жозефина.

И она отказалась от него, отказалась от тысяч поцелуев, которых у нее никогда не будет, от сотен длинных, увлекательных танцев в его объятиях, от сотен вечеров, которые невозможно будет ничем возместить. Она вовсе не придавала значения письму, которое написала ему прошлой ночью и не успела еще отослать, а теперь уже не отошлет никогда.

– В твоем возрасте рано думать о таких вещах, – сказал мистер Перри. – Ты всего лишь ребенок.

Жозефина встала и подошла к зеркалу:

– Я обещала зайти к Лилиан. И я уже опаздываю.

Вернувшись в свою комнату, миссис Перри подумала: «До января еще целых два месяца». Она была красивой женщиной, которая хотела, чтобы ее любили все окружающие; ей никогда не хотелось управлять другими людьми. В душе она уже аккуратно упаковала и отправила на почту сверток с Жозефиной внутри, адресовав его в безопасную и тихую школу Брирли.

Часом позже в кафе Блэкстона Энтони Харкер и еще один молодой человек расслабленно сидели за столиком. Энтони был приятным парнем: слегка ленивым, довольно богатым и вполне удовлетворенным

своим нынешним успехом в обществе. После того как он вылетел из одного университета на востоке страны, он перешел в один из известнейших университетов Виргинии, где и завершил свое образование в более благоприятной обстановке. Там он смог впитать в себя определенные привычки и манеры, которые девушки из Чикаго находили очаровательными.

– А вон и небезызвестный Трэвис Де-Коппет, – заметил приятель. – Интересно, что это такое он о себе возомнил?

Энтони посмотрел издали на молодого человека, узнав Перри-младшую и остальных сидевших с ним рядом девушек, которых он часто встречал на вечерних улицах. Находясь почти что дома, они чересчур громко разговаривали и выглядели довольно глупо. Он отвел от них взгляд и стал искать себе партнершу на танец, но все еще сидел за столиком, когда комната – она была полутемной, несмотря на зажженные огни и тьму за окнами, – как бы проснулась, услышав громкую и волнующую музыку. Свободных девушек становилось все меньше. Мужчины в костюмах свободного покроя, выглядевшие так, словно они только что закончили какие-то зловещие дела, и женщины в шляпках, которые, казалось, были готовы сейчас же отправиться в полет, придавали всей окружающей обстановке особое, непередаваемое ощущение времени как непостоянной величины. Главным для Энтони было то, что это общество – вроде и не случайное, но и не тщательно избранное – могло мгновенно исчезнуть, как гости после званого обеда, а могло и провести вместе всю ночь, как гости на удачной свадьбе. Энтони забеспокоился, что не успеет ухватить свою долю веселья. Он все более и более пристально глядел в толпу, пытаясь найти хоть одно знакомое женское лицо.

И такое лицо неожиданно возникло в пяти футах от Энтони; на мгновение из-за плеча какого-то мужчины он поймал на себе печальнейший и трагичнейший взор. Это была улыбка – и не улыбка; большие серые глаза с яркими треугольниками теней под ними, губы, улыбавшиеся всему миру, в который можно было включить их обоих, и вместе с тем выражавшие не печаль жертвы, а скорее печаль Демона в состоянии нежной меланхолии. Впервые Энтони по-настоящему увидел Жозефину.

Он немедленно отреагировал – посмотрев, с кем она танцует. Знакомый юноша. Окончательно в этом убедившись, он встал из-за

стола, быстро одернул пиджак и вышел на танцплощадку:

– Позвольте пригласить вашу даму!

Жозефина почти прижалась к нему, когда они начали танцевать; заглянула ему в глаза и через мгновение отвела взгляд. Она молчала. Понимая, что ей никак не больше шестнадцати, Энтони все же надеялся, что дама, с которой он условился танцевать весь этот вечер, не прибудет совсем – или хотя бы задержится, пока не кончится этот танец.

А когда танец кончился, она опять посмотрела на него; им овладело чувство, что он ошибся – что она старше, чем он предполагал. Он проводил ее до столика, и что-то заставило его спросить:

– Нельзя ли пригласить вас еще раз?

– Пожалуйста! Благодарю вас!

Они видели лишь друг друга, и каждый взгляд был острым, как гвоздь – из тех, какими крепят рельсы железных дорог, на которых было основано благополучие их семей. Энтони почувствовал волнение, когда возвращался к своему столику.

Через час они покинули кафе вместе, в ее лимузине.

Все вышло очень просто и естественно: слова Жозефины о том, что ей пора домой, прозвучавшие по окончании второго танца, затем ее просьба и его собственная чрезмерная самоуверенность, когда он шел позади нее через опустевшую танцплощадку. Проводить ее до дома было просто любезностью по отношению к ее сестре; и еще он ощущал никогда не обманывавшее его чувство надежды...

Тем не менее, выйдя на улицу и слегка охладившись под резким ветром, он попробовал еще раз осмыслить свои поступки и свою меру ответственности. Но сделать это оказалось очень трудно, потому что на него давила темная, подобная слоновой кости, молодость Жозефины. Когда они сели в машину, он попытался стать хозяином положения – с помощью взгляда «настоящего мужчины», который он направил на нее, – но ее глаза, лихорадочно-блестящие, в одну секунду расплавили всю его фальшивую суровость.

Он лениво пожал ее руку, затем оказался в радиусе действия ее духов – и, затаив дыхание, он ее поцеловал.

– Что случилось, то случилось, – прошептала она через мгновение.

Изумленный, он подумал, что о чем-то забыл – о чем-то сказанном раньше.

– Какое жестокое замечание! – произнес он. – А я как раз уже начал в тебя влюбляться!

– Я имела в виду, что любая минута рядом с тобой может оказаться последней, только и всего, – горестно сказала она. – Моя семья хочет, чтобы я уехала в школу на восток; они думают, что я до сих пор ни о чем не догадалась...

– Это плохо.

– ... а сегодня они собрались вместе и попытались меня убедить, что ты даже не подозреваешь о моем существовании!

После долгой паузы Энтони выразил слабое сочувствие:

– Я надеюсь, ты им не поддалась?

Она улыбнулась:

– Я просто рассмеялась и поехала в кафе.

Ее руки покоились в его руках. Когда он сжал их, ее глаза, ставшие ослепительно-яркими, поднялись до уровня его глаз, и они вновь посмотрели друг на друга. Через мгновение он подумал про себя: «Грязный соблазнитель».

Он был уверен, что от него что-то зависело!

– Ты такая хорошая, – сказал он.

– А ты совсем как мальчишка. Больше всего на свете я ненавижу зависть, – неожиданно продолжила Жозефина, – мне не однажды приходилось с ней сталкиваться. И моя собственная сестра в этом плане хуже всех остальных.

– О, нет, – запротестовал он.

– Ведь я не виновата в том, что влюбилась... Я пыталась выбросить тебя из головы – я специально уходила из дома, когда узнавала, что ты должен был к нам зайти.

Сила ее лжи происходила от ее искренности и от простодушной и прекрасной уверенности в том, что она всегда получит ответ на свое чувство, кого бы она ни полюбила. Жозефина никогда не была стыдливой и никогда ни на что не жаловалась. Она жила в мире, в котором ей всегда приходилось стоять один на один лицом к лицу с мужчиной, и рассчитывать она могла лишь на свои собственные силы. В этом мире она уверенно ориентировалась с тех пор, как ей исполнилось восемь лет. Она никогда ничего не планировала: она просто с легким сердцем отпускала поводья, а всепобеждающая молодость доделывала остальное. Только когда юность проходит и

опыт наделяет нас уже ничего не стоящей смелостью, мы начинаем понимать, как просты, в сущности, все эти вещи.

«Но когда ты успела в меня влюбиться?» – хотел спросить Энтони – и не смог! Он боролся с желанием поцеловать ее опять, еще нежнее, – и хотел сказать ей, что в ее поступке нет мудрости; но не успел он начать осуществлять этот благородный замысел, как она снова оказалась в его объятиях и прошептала что-то, с чем ему пришлось согласиться, потому что в придачу он получил поцелуй. А затем, уже в одиночестве, он отъезжал от двери ее дома.

С чем же он согласился? Все, что они сказали друг другу, звенело и билось в его ушах, словно у него внезапно поднялась температура: завтра в четыре, на углу.

«Боже мой! – подумал он, чувствуя себя как-то неудобно. – Вся эта ерунда о моей „отставке“... Это сумасшедший ребенок, и она обязательно организует какие-нибудь неприятности, если найдет того, кто их ищет. У нее просто миллион шансов встретиться со мной завтра!»

Но ни на обеде, ни на танцах, куда он пошел вечером, не мог Энтони выбросить ее из головы. Он с каким-то непонятным сожалением оглядывал танцплощадку – как будто искал кого-то, кто должен был здесь обязательно быть.

III

Две недели спустя, ожидая Мэри Вэйли в безликой, скудно обставленной гостиной, Энтони достал из кармана какие-то полузабытые письма. Три письма он сунул обратно, а четвертое, прислушавшись на мгновение к тому, что происходит в доме, быстро открыл и прочитал, встав спиной к двери. Это письмо стало третьим в серии писем, которые он получал от Жозефины после каждого

свидания, и оно было точно таким же детским и смешным, как и все остальные.

Как бы ни были сильны ее чувства, когда она выражала их лично, на бумаге они превращались в нелепость. В письме много говорилось о «твоем чувстве ко мне» и о «моем к тебе»; предложения начинались с «Да, я знаю, что выгляжу сентиментальной», или еще более неуклюже: «Я всегда была объектом преклонения для мужчин, и я ничего не могу с этим поделать»; там неизбежно попадались цитаты из популярных песенок – как будто они выражали состояние пишущего более полно, чем его собственные литературные потуги.

Письмо обеспокоило Энтони. Когда он дочитал до постскриптума, в котором ему холодно назначалось свидание «сегодня вечером, в пять», то услышал, как Мэри вышла из комнаты и начала спускаться вниз по лестнице; он быстро спрятал письмо обратно в карман.

Двигаясь по комнате, Мэри тихо напевала какую-то песенку. Энтони закурил.

– Я видела тебя в четверг вечером. Ты, кажется, весело провел время?

– В четверг? – как бы задумавшись, переспросил он. – Ах да... Я был на вечеринке и взял туда с собой нескольких детей. Было весело.

– Когда я тебя видела, ты был почти что один.

– К чему ты клонишь?

Мэри снова начала что-то напевать.

– Пойдем, а то опоздаем на спектакль.

По дороге Энтони пустился в объяснения, как случилось, что он оказался с «младшей сестренкой Констанции». Необходимость объяснения слегка рассердила его. Когда он закончил, Мэри очень живо сказала:

– Если уж ты решил украсть дитя из колыбели, зачем ты выбрал именно эту маленькую ведьму? Ее репутация уже так ужасна, что миссис Мак-Ри даже хотела отказаться давать ей уроки танцев и взяла ее лишь потому, что не хотела обижать Констанцию!

– Неужели и правда ее репутация столь плоха? – обеспокоенно спросил Энтони.

– Я бы предпочла это не обсуждать.

Во время спектакля у него на уме было только назначенное ему randevu. Хотя замечания Мэри послужили лишь к тому, что ему стало

ужасно жаль Жозефину, тем не менее он решил, что эта встреча должна стать последней. Он постоянно попадал в неловкое положение из-за того, что его замечали в компании Жозефины, хотя он честно старался ее избегать. Интрижка легко могла развиваться в нечто совершенно хаотическое и опасное, что не принесло бы ничего хорошего ни Жозефине, ни ему самому. Негодование Мэри его совершенно не заботило; всю осень она только и ждала, чтобы он сделал ей предложение, и готова была для этого на все что угодно; но Энтони не хотел жениться: он вообще не хотел ничем себя связывать.

Солнце уже зашло, когда он освободился и повел машину по лабиринтам перестраиваемого Грант-парка к новому «Филантропологическому дому»; на часах была половина шестого. Мрачность места и времени угнетала его, придавая всему делу оттенок непреодолимой трудности. Выйдя из машины, он пошел вслед за молодым человеком, вышедшим из остановившегося «родстера», – лицо юноши на мгновение показалось ему знакомым – и встретился с Жозефиной в маленьком полутемном помещении, которое образовывали двойные «штормовые» двери вестибюля отеля.

Неопределенно хмыкнув в виде приветствия, Жозефина решительно устремилась в его объятия и запрокинула голову.

– У нас с тобой всего *пять сек*, – быстро заговорила она, как будто это он умолял ее о встрече. – Я должна идти вместе с сестрой на какую-то свадьбу, но мне необходимо с тобой поговорить!

Было холодно, и когда Энтони произносил слова, те сразу же превращались в белые клочки тумана, ясно различимые в темноте. Он повторил все то, что говорил ей раньше, но на этот раз он говорил твердо и решительно. Здесь, в этом месте, это было гораздо проще – потому что он едва различал в полумраке черты ее лица и еще потому что где-то в середине монолога она разозлила его, ударившись в плач.

– Я, конечно, знала, что ты отличаешься непостоянством, – прошептала она, – но такого я не ожидала; как бы там ни было, у меня хватит гордости, чтобы больше тебе не надоедать...

Она запнулась.

– Но я хочу встретиться с тобой еще раз, чтобы расстаться по-другому!

– Нет.

– Ты говорил обо мне с какой-то завистливой девчонкой?

– Нет.

Затем, отчаявшись, он нанес последний удар:

– Я не отличаюсь непостоянством, я никогда не был ветреным. Я никогда не любил тебя и никогда даже не заикался об этом!

Догадываясь о том беспомощном и покинутом выражении, которое появилось у нее на лице, Энтони отвернулся и сделал шаг в сторону. Когда он снова посмотрел туда, где она только что стояла, то увидел лишь закрывающуюся дверь – она ушла.

– Жозефина! – крикнул он с беспомощной жалостью, но никакого ответа не последовало. Он так и стоял, испуганный тем, что только что сделал, – сердце его ушло в пятки, когда он услышал звук отъезжающего авто.

Подъехав к дому, Жозефина отблагодарила маленьким пирожным и слабой надеждой любезно согласившегося стать на сегодня ее шофером Эда Бементы, вошла в дом с черного хода и поднялась в свою комнату. Надевая вечернее платье, она встала как можно ближе к открытому окну – чтобы простудиться и умереть.

Рассматривая себя в зеркале ванной комнаты, она не выдержала и расплакалась, присев на край ванны и издав такой звук, словно хотела подавить внезапно подступивший к горлу кашель, после чего занялась своими ногтями. Немного позже, в постели, у нее еще будет время, чтобы проплакать хоть всю ночь, когда заснут все остальные, но надо было пережить этот вечер...

На свадебной церемонии Мэри Джексон и Джексона Дилана сестры и мать стояли рядом. Это была печальная и сентиментальная свадьба – завершение прелестной юности очаровательной девушки, которую все любили и обожали. Хотя никакой посторонний наблюдатель не заметил бы ничего символизирующего окончание юности, с позиции текущего десятилетия некоторые черты церемонии были как бы припудрены вызывающей смех старомодностью и слегка отдавали лавандовым ароматом старины. Невеста подняла фату с лица и улыбнулась той очаровательно серьезной улыбкой, которая и делала ее «обожаемой». Когда она посмотрела на друзей и подруг, как бы обнимая их в последний раз, по щекам у нее потекли слезы. Затем она повернулась к мужу, такому же невинному и серьезному, как и она сама, как бы говоря: «Все кончено. Теперь я, отныне и навеки, принадлежу лишь тебе».

Констанция, которая училась в одной школе с Мэри Джексон, сидела на церковной скамье и, не таясь, от чистого сердца, прыгавшего и звеневшего внутри, рыдала. Лицо сидевшей рядом Жозефины выражало более сложные чувства – казалось, она пристально наблюдала за происходящим. Один или два раза – хотя лицо ее оставалось все таким же сосредоточенным – по ее щеке пробежали одинокие слезинки. Она была неприятно ими удивлена. Губы вызывающе-неподвижно сжались, словно у ребенка, которому строго предписано соблюдать тишину в доме. Лишь раз она позволила себе нечто большее. «Смотрите, а вон младшая дочка Перри, – не правда ли, симпатичная?» – услышала она из-за спины и тут же принялась внимательно изучать разноцветный витраж, чтобы неизвестный обожатель больше не увидел ее лица.

После венчания семья Жозефины направилась на банкет, поэтому обедать девушке пришлось в одиночестве – точнее, почти в одиночестве, ведь младшего брата и его гувернантку трудно было считать обществом.

Она чувствовала себя совершенно опустошенной. Сегодня вечером Энтони Харкер – «так глубоко любимый – так нежно любимый – так глубоко, нежно любимый!» – шел на свидание с другой, чтобы целовать ее отвратительное глупое лицо; и скоро он исчезнет навсегда – как и все остальные мужчины его поколения – в объятиях какой-нибудь женщины, вовсе его не любившей, оставив ей лишь миллиарды Трэвисов Де-Коппетов и Эдов Бементов – людей, которые до того неинтересны, что едва ли стоят хотя бы полуулыбки...

Когда она увидела свое отражение в зеркале ванной, на нее вновь нахлынули чувства. А что, если она умрет сегодня ночью, во сне?

– Какая глупость, – прошептала она.

Открыла окно и, держа в руке единственную вещь, оставшуюся на память об Энтони – большой полосатый носовой платок с его инициалами, – с грустью залезла под одеяло. Но не успели нагреться простыни, как послышался стук в дверь.

– Вам срочное письмо, – сказала горничная, войдя в комнату.

Включив свет, Жозефина распечатала письмо, и первым делом взглянула на подпись. Затем начала читать; ее грудь тяжело вздымалась и опускалась под ночной рубашкой.

Моя дорогая маленькая Жозефина, все бесполезно. Я ничего не могу с собой поделать, не буду тебе лгать. Я ужасно, отчаянно люблю тебя. Когда ты ушла сегодня, это нахлынуло на меня, и я понял, что никогда не смог бы с тобой расстаться. Я приехал домой и не мог ни есть, ни даже просто спокойно сидеть – я мог лишь ходить туда-сюда по дому, думая о тебе и твоих слезах в вестибюле. И сейчас я пишу это письмо...

Письмо было на четырех листах. Где-то ближе к концу Энтони заявлял, что разница в возрасте не имеет никакого значения, а последними словами были следующие:

Я знаю, что ты должна чувствовать себя совершенно несчастной, и я бы отдал десять лет своей жизни за то, чтобы оказаться сейчас рядом с тобой, поцеловать и пожелать тебе приятных снов.

Дочитав до конца, Жозефина просидела несколько минут в тишине; печаль неожиданно исчезла; она была так подавлена, что ей показалось, что на место печали пришла радость. Она подмигнула самой себе, но тут же нахмурилась.

– Боже мой! – произнесла она вслух. И перечитала письмо еще раз.

Первым побуждением было поделиться новостью с Лилиан, но она решила не торопиться. В памяти неожиданно всплыл образ невесты на свадьбе – невесты беспорочной, незапятнанной, любимой и почти святой, с легким румянцем на щеках. Чистота юности, множество друзей, затем появляется Он – идеальный и любимый. С некоторым усилием она покинула мир грез. Мэри Джексон определенно не стала бы хранить у себя такие письма... Встав с постели, Жозефина порвала письмо на мелкие клочки, положила обрывки на стеклянный столик и

сожгла, заполнив комнату дымом. Ни одна хорошо воспитанная девушка не даст ответа на такое письмо; единственно верное решение – сделать вид, будто ничего не было.

Она смела пепел со столика большим полосатым носовым платком, который все еще держала в руке, затем рассеяно выбросила платок в мусорную корзину и снова легла в постель. Ей вдруг ужасно захотелось спать.

IV

В том, что последовало за этим, никто – даже Констанция! – Жозефину не обвинял. Если двадцатидвухлетний мужчина мог так унижить себя неистовыми ухаживаниями за шестнадцатилетней девушкой, да еще и вопреки желанию ее родителей, это могло означать лишь одно: уважающим себя людям не стоит даже здороваться с таким человеком! Когда Трэвис Де-Коппет на танцах позволил себе высказать мнение, целиком противоречившее общепризнанному, Эд Бемент избил его так, что лицо Трэвиса превратилось в кашу, а репутация Жозефины вновь поднялось и закрепились на достигнутом уровне. В обществе ходили рассказы о том, как Энтони безуспешно названивал домой Жозефине, раз за разом получая ответ: «Ее нет дома»; о том, как он угрожал миссис Перри; как он пытался подкупить горничную, чтобы та передала Жозефине письмо; о том, как он пытался подкараулить Жозефину на пути из школы домой, – все указывало на то, что Энтони потерял голову. И его собственная семья настояла на том, чтобы он отправился подальше, куда-нибудь на запад страны.

Для Жозефины это время стало временем испытаний. Она увидела, как близка она была к катастрофе, и с помощью безусловного послушания и повышенного внимания попыталась вновь наладить отношения с родителями и заставить их забыть все невольно причиненные ею неприятности. Она даже решила не посещать

никаких праздников и балов по случаю Рождества, но мать постаралась ее переубедить, считая, что общество вернувшихся домой на рождественские каникулы ровесников хоть немного отвлечет Жозефину. В начале января миссис Перри отправляла ее на восток страны, в школу Брирли; мать и дочь сблизилась, когда по случаю отъезда им вместе пришлось заказывать платья и все необходимое. Миссис Перри буквально наслаждалась новыми качествами, появившимися у Жозефины, старавшейся стать как можно более ответственной и зрелой.

И действительно: Жозефина вполне искренне старалась измениться. Лишь раз она сделала то, о чем ей вовсе не хотелось бы рассказывать по радио. Первого января она надела новое платье, новое меховое манто и до боли знакомым образом – через черный ход – вышла на улицу. Пройдя пешком один квартал, она села в поджидавшую ее машину Эда Бемента. Доехав до центра, она оставила Эда в машине на углу и вошла в аптеку напротив старого вокзала, недалеко от улицы Лассаль. Мужчина, выглядевший очень несчастным, с отчаянными, почти безумными глазами, уже ждал ее внутри.

– Спасибо, что пришла, – горестно сказал он.

Она ничего не ответила. Ее лицо выражало вежливую серьезность.

– Я хочу знать только одно, – быстро сказал он, – почему ты передумала? Что я сделал такого, что заставило тебя передумать так скоро? Что такое случилось, что я такого сделал? Неужели это из-за того, что я сказал тебе в вестибюле?

Молча разглядывая его, она пыталась придумать хоть что-нибудь, но все ее мысли вертелись вокруг того, каким непривлекательным – и даже страшным – он ей теперь казался; она изо всех сил старалась не дать ему понять, что она думает о нем на самом деле. Бесполезно было говорить простую правду – что она уже никак не могла изменить того, что сделала, что ее красота была почти обязана испытать свою силу, что ее вместительная чаша чувств сама собою переполнилась и что из-за этого по чистой случайности был разрушен он, а не она... Весть о том, что Энтони Харкеру теперь придется уехать на запад, могла бы, конечно, вызвать у нее жалость; но можно сказать, что сама судьба хранила Жозефину, когда она перешла улицу и села в припорошенную снегом машину Эда Бемента.

Они ехали, и она сидела тихо, перебирая в памяти мгновения встречи, все еще полная ужаса и благоговейного страха. Энтони Харкеру было двадцать два, он был красив, пользовался успехом, добивался от нее взаимности, был в нее влюблен – и ему пришлось бежать из города лишь потому, что она не могла ответить на его чувство. Она была поражена – но так, будто услышала чей-то рассказ, а не сделала все это сама.

Думая, что она хранит молчание из-за переживаний, Эд Бемент сказал:

– Ну что ж, эта история хотя бы положила конец всем тем сплетням, которые ходили про тебя раньше.

Она быстро повернулась к нему:

– Каким еще сплетням?

– О, да это всего лишь слухи!

– И что же ты слышал? – осведомилась она.

– Да так, ничего особенного, – сказал он, поколебавшись, – но говорили, что в прошлом августе вы с Трэвисом Де-Коппетом тайком поженились.

– Какая ужасная глупость! – воскликнула она. – Никогда не слышала столь неправдоподобной лжи! Ведь мы...

Она тут же умолкла, потому что чуть не сказала правду: они с Трэвисом действительно отправились в авантюрную поездку за двадцать миль, в Нью-Алм, но им не удалось отыскать священника, который согласился бы их обвенчать. Сейчас казалось, что эта история произошла столетия назад: все было очень по-детски и было давно забыто.

– Какая ужасная глупость! – повторила она. – Это одна из тех сплетен, которые придумывают завистливые девчонки, чтобы опорочить соперниц.

– Я знаю, – согласился Эд. – Не позавидую я тому, кто осмелится это при мне повторить! Да какая разница, этому и так никто не верит!

Это была работа безобразных, завистливых девчонок! Эд Бемент, чувствовавший, что она находится совсем с ним рядом и видевший в полумраке ее прекрасное, словно огонь, лицо, подумал: ну разве это прекрасное создание способно совершить хоть что-то, достойное осуждения?

Тихое и приятное место

I

Всю ту неделю она никак не могла решить, кто же она такая: леденец на палочке или «римская свеча»? В ее мечтах, суливших ничем не нарушаемый утренний сон в дни каникул, вновь и вновь раздавался долгий непрерывный шепот признаний «Я тебя люблю, я тебя люблю!» под аккомпанемент «паф-паф-паф» гоночного мотора без глушителя. Вечером она написала:

Дорогой Ридж! Когда я думаю о том, что не смогла приехать к тебе на бал первокурсников в июне, мне хочется просто лечь и умереть! Но мама у меня в некоторых вопросах ограниченная и считает, что в шестнадцать еще рано ездить по балам; также думает и мама Лили Хеммел. Когда я думаю о том, как ты танцуешь с какой-нибудь другой девушкой, и представляю себе, что ты говоришь ей то же, что и всем, мне хочется лечь и завывать! Да, я все знаю, потому что одна девочка из нашей школы познакомилась с тобой после того, как я уехала из Хот-Спрингс на Пасху. Ну да ладно; но если ты примешься ухаживать за какой-нибудь другой малышкой, когда приедешь на день рождения к Эду Бементу этим летом, я ей – или себе – глотку перегрызу или сделаю еще что-нибудь безумное. И, наверное, никто не пожалеет, если я умру. Ха-ха...

Лето, лето, лето – ласковое солнце равнин и приятный дождик. Лейк-Форест с тысячами зачарованных веранд, танцами на уличной площадке у клуба, и всегда рядом парни, похожие в своих новых автомобилях на кентавров. С востока ее забирала мать, и, когда они вместе вышли из здания вокзала «Гранд-Сентрал», симфония манящих перспектив стала звучать так громко, что Жозефина сдвинула брови и прищурилась, словно ей в лицо светило яркое солнце.

– А у нас появился просто замечательный план! – сказала мама.

– Что? Что такое, мама?

– Все поменялось. Расскажу, когда приедем в отель.

У Жозефины дрогнуло сердце – она вдруг уловила явный диссонанс.

– О чем ты? Разве мы не поедem в Лейк-Форест?

– Мы поедem в другое место, получше. – Веселый тон матери звучал тревожно. – Ничего не скажу, пока не приедем в отель!

Перед отъездом миссис Перри из Чикаго родители Жозефины приняли решение: основываясь на собственных наблюдениях и откровениях старшей сестры Констанции, мать с отцом сочли, что Жозефина чересчур хорошо освоилась в Лейк-Форест. За двадцать лет место изменилось: раньше летом здесь отдыхали лишь жители фешенебельной части Чикаго, а теперь все чаще слышались не столь известные фамилии детей из «новых» семей. Как и все матери, миссис Перри считала, что ее дочь легко поддается дурному влиянию, хотя не столь пристрастные наблюдатели из числа проживавших в окрестностях уже давно считали самым главным фактором морального разложения именно Жозефину. Неважно, была ли это профилактика или наказание, но Жозефину потряс сам факт, что этим летом семья Перри поедет в «тихое и приятное место».

– Мама, но ведь я не могу уехать на «Фермерский остров»! Я не...

– Папа считает...

– А почему бы вам не отправить меня в исправительную школу, раз уж я так ужасно себя веду? Или, может, вообще в тюрьму? Почему я должна ехать на отвратительную старую ферму, где вокруг одни деревенские недотепы, никаких развлечений, никаких друзей и подруг, кроме деревенских остолопов!

– Но, милая, там совсем не так, как ты говоришь! «Фермерский остров» ведь просто название! На самом деле имение твоей тетки –

вовсе не ферма, а небольшой приятный курорт в глубинке Мичигана, где многие проводят лето. Там можно играть в теннис, можно плавать... И ловить рыбу!

– Рыбу? – скептически переспросила Жозефина. – Это ты называешь развлечением? – Она молча покачала головой, потому что у нее не было слов. – Меня ведь просто забудут, вот и все! Когда придет время моего дебюта в обществе, никто не будет знать, кто я такая. Все станут спрашивать: «Да кто эта Жозефина Перри, черт возьми? Никогда ее тут не видел. А, это какая-то деревенщина с жуткой старой фермы в Мичигане! Давайте не будем ее приглашать». И как раз тогда, когда все станут веселиться...

– Никто не позабудет тебя за одно лето, милая.

– Еще как забудут! У всех появятся новые друзья, все будут танцевать новые танцы, а я буду сидеть в этой глуши, в которой одна «соль земли», и позабуду даже то, что уже знаю! Если уж там так прекрасно, почему не едет Констанция?

Лежа без сна в купе экспресса «Двадцатый век», Жозефина размышляла об этой ужасной несправедливости. Она знала, что мама согласилась на поездку из-за нее, а главной причиной были сплетни, распускаемые некрасивыми и завистливыми девчонками. Эти некрасивые и завистливые девчонки, ее безжалостные враги, существовали не только в воображении Жозефины. В неприкрито-чувственной красоте девушки было нечто такое, чего не выносят обычные женщины; они всегда смотрели на нее с испугом и осторожностью.

Сплетни лишь недавно стали вызывать у Жозефины беспокойство. Сама она считала, что если в тринадцать-четырнадцать лет она и была «легкомысленной» – это было очень удобное слово, в котором отсутствовал налет вульгарности, как в слове «фривольный», – то уж теперь-то она старается изо всех сил, а это было совсем непросто, даже если бы против нее не работало ее прошлое. Ведь, кроме любви и постоянного присутствия рядом с ней того, в кого она была сейчас влюблена, в этом мире ей больше ничего не было нужно!

Ближе к полуночи мама что-то тихо ей сказала – и обнаружила, что дочь уснула. Включив лампочку над вагонной постелью, она взгляделась в раскрасневшееся юное лицо, на котором сейчас вместо разочарования играла странная легкая улыбка. Она нагнулась и

поцеловала Жозефину в лоб, за которым, без сомнений, сейчас проносились одна за другой картины незрелых и ожидавшихся с таким нетерпением оргий, которых она будет лишена этим летом.

II

Вперед, в Чикаго, где звучит пронзительный июньский шум; оттуда – в Лейк-Форест, где подруги уже кружатся в ореоле новых парней, новых мелодий, грядущих вечеринок и приемов. А ей придется довольствоваться единственной уступкой: с «Фермерского острова» она уедет как раз перед днем рождения Эда Бементы, то есть вернется домой к первому сентября – к приезду Риджвея Саундерса.

Затем – дальше, на север, оставляя все веселье позади, – в тихое и приятное место, где даже вокзальный полустанок говорил о многом: эта платформа явно никогда не видела ни горячих встреч, ни бурных прощаний. В доме жила тетка, а также пятнадцатилетний кузен Дик, глядевший с юношеской бессмысленной обидой на весь мир из-за очков; вокруг находилось с дюжину имений, в которых дни напролет дремали усталые люди, и еще в трех милях от дома находилась скучная деревушка. Все было гораздо хуже, чем думала Жозефина до приезда; окрестности для нее были буквально необитаемы, поскольку на всю округу она была единственным представителем своего поколения. От отчаяния она полностью погрузилась в непрерывную переписку с внешним миром, а для разнообразия играла в теннис с Диком, равнодушно поддерживая вялотекущую ссору, причиной которой была его нарочитая и недоброжелательная незрелость.

– Ты что, собираешься остаться таким навсегда? – спросила она однажды, не выдержав его тупости. – И ничего не можешь с этим поделать? Самому-то не тошно?

– Каким еще «таким»? – Дик обошел теннисную сетку, шаркая ногами – именно это ее и бесило.

– Вот зануда! Тебя надо отправить в какую-нибудь приличную школу!

– Уже собрался!

– Да уж... У большинства чикагских парней твоего возраста давно есть собственные автомобили!

– Слишком уж у многих! – ответил он.

– Это ты про что? – вспыхнула Жозефина.

– Я слышал, как моя тетя рассказывала, что там у вас этого более чем достаточно! Вот почему тебя сюда привезли! Слишком уж ты любишь подобные вещи!

Жозефина покраснела:

– Неужели ты не можешь не быть таким занудой, если постараться?

– Не знаю, – признался Дик. – И даже думаю, что я, может быть, никакой не зануда!

– Да самый что ни на есть! Могу тебя в этом уверить!

Ей пришло в голову – хотя на успех особой надежды не было, – что при должном старании из него можно что-то сотворить. Может, ей удастся научить его танцевать или научить водить теткину машину? Она даже снизошла до того, что попыталась немного поднять его общий уровень, заставляя мыть руки хотя бы раз в два дня, а также научила причесываться, смачивая волосы и сооружая ровный прямой пробор. Она намекнула, что без очков он будет выглядеть красивее, и несколько вечеров он послушно провел, врезаясь во все углы в доме. Но когда однажды вечером у него разыгралась жуткая головная боль и он рассказал матери, почему в последние дни вел себя «совершенно ненормально», Жозефина отступила, ничуть об этом не пожалев.

Ведь ей было все равно, о ком заботиться! Ей хотелось слышать таинственные слова любви, хотелось чувствовать, как вздымается и томится душа в груди, как это бывало с ней во время каждого из дюжины пережитых ей романов. Конечно же она написала Риджвею Саундерсу. Он ответил. Она написала опять. Он ответил – спустя пару недель. Первого августа, когда миновал первый месяц и впереди оставался еще один, она получила письмо от Лилиан Хэммел, своей лучшей подруги в Лейк-Форест.

Дорогая Жози! Ты просила меня писать тебе обо всем, и так я и сделаю, хотя кое-что может стать для тебя смертельным ударом – я имею в виду новости о Риджвее Саундерсе. Эд Бемент гостил у него в Филадельфии и рассказал, что Риджвей там совсем голову потерял от одной девушки, даже собрался бросить Йель и жениться. Ее зовут Евангелина Тикнор, в прошлом году ее исключили из школы «Фокскрофт» за курение. Очень легкомысленная и, говорят, красивая – похожа на тебя, как я поняла. Эд сказал, что Риджвей так влюбился, что сказал, что не приедет к нему на день рождения в сентябре, если Эд не пригласит и ее тоже; так что Эд пригласил. Думаю, что тебе есть о чем подумать! У тебя там, наверное, куча поклонников – есть же там симпатичные парни...

Жозефина медленно прошлась туда-сюда по комнате. Итак, родители добились своего: заговор против нее увенчался успехом. Впервые в жизни ее бросили, и сделал это самый привлекательный, самый желанный парень – да еще и ради девушки, которая очень «похожа на нее»! Жозефина тут же страстно пожелала, чтобы и ее исключили из школы – и тогда семья, быть может, сдастся и оставит ее в покое?

Она чувствовала не унижение, а скорее гневное отчаяние; но гордость требовала свое, и она тут же села писать ответ. Когда она начала, в ее глазах блеснули слезы.

Милая Лили! Меня ничуть не удивили новости о Р. С. Я знаю, что он не отличается постоянством, поэтому я о нем и не вспоминала с тех пор, как в июне кончились занятия в школе. Честно говоря, ты ведь знаешь, что постоянством не отличаюсь и я сама, так что, милая моя, сама понимаешь, что у меня и времени бы не нашлось, чтобы обо всем этом беспокоиться. Каждый имеет право делать, что ему вздумается, – вот что я всегда говорю! Живи и дай жить другим – вот мой девиз! Как бы

*мне хотелось, чтобы ты оказалась здесь со мной этим летом!
Таких чудесных вечеринок...*

На этом она остановилась, понимая, что необходимо представить более яркие свидетельства царящего тут веселья. Ручка замерла в воздухе, а Жозефина уставилась в окно на таинственную и неподвижную картину северного леса. Что-нибудь придумать – весьма тонкая работа, и ее воображение, обычно не простиравшееся далее реального мира, было плохо для нее приспособлено. Тем не менее через несколько минут перед ее мысленным взором стала вырисовываться некая неясная составная фигура. Она окунула ручку в чернильницу и написала: «Один из самых симпатичных...», затем остановилась и вновь обратилась за вдохновением к окну.

Внезапно она вздрогнула и вытянулась; слезы тут же куда-то исчезли. По дороге, футах в пятидесяти от ее окна, шагал самый красивый и обворожительный на свете парень!

III

Это был высокий блондин лет девятнадцати, похожий на викинга; солнце освещало свежий румянец на его впалых, почти костлявых, щеках. Она на мгновение встретила с ним взглядом, и этого оказалось достаточно, чтобы понять, что глаза у него «печальные», на редкость сияющие и голубые. Словно вылепленные скульптором ноги были затянuty в галифе, а сверху на нем была мягкая синяя замшевая куртка. Он шел и резкими движениями кнута щелкал по нависавшим сверху листьям.

Видение длилось еще мгновение; тропинка сворачивала за деревья, и он исчез из виду, но от его шагов все еще продолжали хрустеть

опавшие сосновые иголки.

Жозефина не двигалась. Таинственные зеленые деревья, только что не сулившие никаких перспектив, внезапно превратились в расступившуюся волшебную стену, за которой мелькнула тропа к возможному блаженству. От леса послышался громкий прерывистый шум. Еще мгновение она медлила, а затем бросилась дописывать письмо:

...обычно он носит костюм для верховой езды. У него очень красивые глаза. А его синяя замшевая куртка – ну просто потрясающая!

IV

Когда полчаса спустя в комнату вошла мама, Жозефина с оживленным и одновременно отсутствующим выражением как раз надевала свое лучшее вечернее платье.

– Я тут подумала: а не нанести ли визиты соседям? – сказала мама. – Но ты, наверное, не очень хочешь со мной?

– Да нет, я с удовольствием! – неожиданно ответила Жозефина.

Мама нерешительно сказала:

– Боюсь, что этот месяц дался тебе тяжело. Я и не подозревала, что здесь не будет ребят твоего возраста. Но произошла одна приятная неожиданность – я пока не стану тебе говорить, но тебя ждет чудесный сюрприз!

Жозефина, кажется, пропустила это мимо ушей.

– К кому пойдем? – с готовностью спросила она. – Давай обойдем всех, даже если придется ходить до десяти вечера! Начнем с ближайшего дома, а затем продолжим до победного!

– Не уверена, что стоит так уж стараться.

– Пойдем! – Жозефина надела шляпку. – Собирайся, мама!

Миссис Перри подумала, что это лето, возможно, и правда изменит ее дочь; возможно, ее поведение в обществе станет более спокойным? Везде, где они появлялись с визитом, Жозефина прямо-таки излучала радостное оживление и демонстрировала искреннее разочарование, когда кого-нибудь не удавалось застать дома. Когда мать решила, что на сегодня достаточно, свет в глазах дочери погас.

– Можно еще завтра попробовать, – с раздражением сказала Жозефина. – Познакомимся со всеми без исключения! Обойдем еще раз все дома, где сегодня никого не было.

Было почти семь вечера; этот час навевал ностальгические воспоминания, потому что в Лейк-Форест в прошлом году именно это время было самым прекрасным. После ванны, прямо-таки сияя, сидишь в одиночестве на веранде и думаешь о том, что принесет остаток дня, какие романтические перспективы таит в себе наступающий вечер, а вокруг в окнах превращающихся в неясные тени домов зажигается свет, и проносятся машины, в которых едут опаздывающие домой с вечернего чая...

Но сегодня приглушенные сумерки в индейской стране озер сулили что-то свое, особенное. Выйдя на лужайку перед домом, Жозефина вдруг преобразилась, всем своим видом выразив состояние своей души; этот образ до сих пор приберегался ею для более изысканных мест. Этот образ – парящая поступь, порывистые движения бедер, рассеянная улыбка и, наконец, взор, блуждающий в двадцати футах впереди – намекал, что эта девушка приготовилась пересечь некий осязаемый рубеж, за которым ее с нетерпением ждут; честно говоря, она уже пересекла его в своем воображении, оставив всю окружающую обстановку позади. И именно в этот самый момент она услышала впереди себя громкий отчетливый голос, и звук трости, со свистом рассекающей листву.

*Привет,
Фриско,
привет!
Как там дела в милом Фриско?
Как я хотел бы, чтобы ты была рядом!*

Сердце выдало знакомую барабанную дробь; она догадалась, что они встретятся именно в том месте, куда сквозь кроны сосен упал последний закатный луч солнца.

*Привет,
Фриско,
привет!*

А вот и он – четкий контур перед авансценой. Его прекрасное лицо, словно вычерченное одной непрерывной смелой линией, синяя замшевая куртка – она была так близко, что могла бы до нее дотронуться... А затем она увидела – и это был удар! – что он прошел мимо, ничем не показав, что заметил ее, – и даже грустным глазом не моргнул!

«Напыщенный зануда! – с негодованием подумала она. – Из всех напыщенных...»

За ужином она молчала; ближе к десерту заговорила с теткой, улыбнувшись в качестве вступления:

– Сегодня мне встретился один на редкость напыщенный молодой человек. Кто бы это мог быть?

– Возможно, племянник старого Дорренса? – предположил Дик. – Или тот парень, который приехал к Дорренсам. Кто-то мне говорил, что он – его племянник или какой-то там дальний родственник.

Мама с особенным выражением сказала Жозефине:

– Мы с Дорренсами не общаемся. Мистер Чарльз Дорренс считал, что папа поступил нечестно, когда несколько лет назад межевали границы имений. Это неудивительно – старый мистер Дорренс был крайне упрямым человеком.

Жозефина задумалась: не поэтому ли сегодня вечером он никак на нее не отреагировал? Очень глупая причина!

А на следующий день, на том же месте, в тот же час, он буквально подпрыгнул, услышав ее тихое: «Добрый вечер!», и уставился на нее с явным испугом. Затем его рука поднялась, словно он хотел снять шляпу, которой не было; он поклонился и пошел дальше.

Но Жозефина быстро развернулась и пошла рядом с ним, улыбаясь:

– Вам надо быть пообщительней! Не стоит держать себя так независимо – здесь ведь только вы да я, больше никого! Я считаю, что молодежи не пристало слушать стариковские глупости.

Он шагал так быстро, что она едва за ним поспевала.

– Честное слово – я очень милая девушка! – продолжала она, все еще с улыбкой. – На танцах у меня всегда куча поклонников, а однажды в меня даже влюбился слепой!

Они шли все так же быстро и дошли почти до калитки тетушкиного имения.

– А вот здесь я живу! – сказала она.

– Ну, тогда прощайте!

– Да что такое? – спросила она. – Разве можно вести себя столь грубо?

Его губы сложились, словно он хотел сказать: «Прошу прощения!»

– Вы, видимо, очень торопитесь домой – покрутиться у зеркала?

Она отлично знала, что это было не так. На его красивом лице отразилось почти сожаление. Но укол на него подействовал, потому что он вдруг остановился и тут же отодвинулся подальше.

– Простите мою грубость, – выпалил он. – Я не умею общаться с девушками!

Она слишком запыхалась, чтобы отвечать. Но, когда ее пошатнувшееся самообладание постепенно к ней вернулось, она заметила у него на лице странную усталость.

– Но я все же могу с вами немного поговорить? Я не стану подходить ближе.

Поколебавшись, он неуверенно забрался на забор и уселся на перекладине.

– Если уж вы так боитесь женщин, не пора ли вам принять какие-нибудь меры? – спросила она.

– Слишком поздно!

– Никогда не поздно! – уверенно сказала она. – Вы же теряете половину жизни! Разве вам не хочется жениться, завести детей и обладать чудесной женой, то есть, я хотела сказать, составить счастье какой-нибудь женщины?

В ответ он лишь пожал плечами.

– Я раньше тоже была ужасно робкой, – соврала она из жалости. – Но потом поняла, что теряю половину жизни!

– Сила воли здесь не поможет. Просто я немножко чокнутый, когда дело касается женщин. Минуту назад мне хотелось швырнуть в вас камнем! Я знаю, что это ужасно, так что я, с вашего позволения...

Он спрыгнул с забора, но она торопливо крикнула:

– Пойдите! Давайте это обсудим!

Он неохотно остановился.

– Знаете ли, – сказала она, – в Чикаго такой красивый мужчина, как вы, получит любую девушку, какую он только пожелает! Все будут за ним просто-напросто бегать!

Эта мысль, кажется, лишь усилила его испуг. Его лицо стало столь печальным, что она инстинктивно подошла к нему поближе, но он тут же закинул ногу на забор.

– Ладно, ладно... Поговорим о чем-нибудь другом! – отступила она. – Не кажется ли вам, что здесь – самое унылое на свете место? В Лейк-Форест я считалась легкомысленной, поэтому семья приговорила меня к ссылке, и вот уже месяц я просто умираю от тоски, сидя здесь и ничего не делая. А вчера я выглянула в окно и увидела вас!

– Вы легкомысленная? Что вы этим хотели сказать? – спросил он.

– Ну, что у меня все происходит быстро... Как бы это сказать... Я очень быстро увлекаюсь!

Он выпрямился – на этот раз уверенно и окончательно:

– Вы просто обязаны меня извинить! Я знаю, что веду себя как идиот, когда дело касается женщин, но ничего не могу с этим поделать.

– Встретимся здесь завтра?

– О, боже мой – нет!

Жозефина вдруг разозлилась; пожалуй, довольно с нее унижений за один-единственный вечер! Холодно поклонившись, она развернулась и направилась по лужайке к дому.

– Пойдите!

Теперь, когда их отделяло друг от друга тридцать футов, его робость исчезла. Она с большим трудом удержалась от искушения развернуться и пойти обратно.

– Я буду здесь завтра, – не оборачиваясь, холодно произнесла она.

Медленно шагая к дому, она скорее почувствовала, нежели осознала, что было во всем этом нечто для нее непонятное. Обычно отсутствия уверенности у парня было вполне достаточно, чтобы она утратила к нему интерес: это был непростительный грех, это был белый флаг, говоривший об отказе вступать в борьбу. Но когда этот молодой человек скрылся с глаз, она вспомнила, каким он выглядел вчера вечером: раскованным, слегка высокомерным и, несомненно, жизнерадостным. Она опять задумалась – неужели плохие отношения между семьями могли стать причиной такого к ней отношения?

Несмотря на неудавшуюся беседу, она чувствовала себя счастливой. В мягком свете заката казалось, что завтра все, без сомнений, наладится. Гнетущее чувство напрасно потраченного времени уже покинуло ее. Парень, который вчера вечером прошел за окном, был способен на все: и на любовь, и на трагедию, и даже на отчаянное безрассудство, которое нравилось ей больше всего.

На веранде ее поджидала мама.

– Я хочу поговорить с тобой наедине, – сказала она, – потому что мне кажется, что тетя Глэдис обидится, если увидит, как ты сейчас обрадуешься! Завтра мы уезжаем в Лейк-Форест!

– Мама!

– Констанция завтра объявит о своей помолвке; через десять дней состоится свадьба. Малькольм Либби работает в министерстве иностранных дел, и его направляют за границу. Прекрасно, не правда ли? Твоя сестра сегодня переезжает в наш дом в Лейк-Форест.

– Это чудесно! – И миг спустя Жозефина повторила, уже более твердо: – Просто чудесно!

Лейк-Форест... Она уже чувствовала, как быстро и взволнованно забилось ее сердце. Но чего-то не хватало, словно какой-то трубач в оркестре играл, не слыша остальных. Пять недель она страстно

ненавидела «Фермерский остров», но сейчас, оглянувшись вокруг в сумерках, ей вдруг стало жаль, что она покидает это место.

Весь ужин странное чувство не отступало. Она с головой погружалась в волнующие мысли, начинавшиеся с «Как будет здорово, когда...», а затем надвигавшееся сияние блекло и внутри нее вновь воцарялось безмолвие, подобное безмолвию ночей в этой мичиганской глубинке. В Лейк-Форест такого не было – там не было безмолвия, среди которого что-то могло случиться, в котором кто-то внезапно мог появиться.

– У нас будет ужасно много дел, – сказала мама. – На следующей неделе к нам начнут съезжаться подружки невесты и гости, а затем будет свадьба. Нам бы лучше вообще сегодня вечером уехать...

Жозефина тут же ушла к себе в комнату и села, глядя во тьму за окном. Как плохо; лето все-таки пропало зря! Если бы то, что случилось вчера, случилось бы чуть раньше, она бы уезжала с чувством, что провела здесь время не напрасно. Слишком поздно. «Но ведь будут и другие парни», – сказала она себе... Риджвей Саундерс...

Она представила себе их уверенные голоса, но почему-то они звучали для нее глуповато. Внезапно она поняла, что жалеет не о потерянном времени, а о том, что теряет в будущем, не о том, что было, а о том, чего никогда не будет! Она встала, учащенно дыша.

Несколько минут спустя она вышла из дома через черный ход и пошла по лужайке к боковой калитке в саду. Она слышала, как ее неуверенно окликнул Дик, но не отозвалась. Было темно и прохладно, и еще у нее было такое чувство, словно лето от нее убегает. Будто пытаясь его нагнать, она пошла быстрее, и за десять минут дошла до ворот имения Дорренсов; дом скрывался за зазубренными силуэтами множества деревьев. Когда она приблизилась, кто-то с веранды окликнул ее:

– Добрый вечер! Простите, я вас не узнаю – слишком темно.

– Я – та самая девушка, которая так дерзко вела себя сегодня днем!

Она услышала, как он внезапно затаил дыхание.

– Можно, я присяду тут на ступеньках, ненадолго? Вот здесь? Вы в полной безопасности, я от вас далеко. Я пришла попрощаться, потому что завтра уезжаю домой.

– Правда? – Она не поняла, что выражал его тон – тревогу или облегчение. – Здесь станет тихо...

– Я хотела бы объясниться по поводу сегодняшнего вечера, потому что не хочу, чтобы вы думали, будто я такая дерзкая. Обычно мне нравятся более опытные парни, но я подумала, что раз уж здесь, кроме нас с вами, никого нет, то мы с вами могли бы провести время весело, и мне было жаль терять время.

– Понимаю. – А через мгновение он спросил: – Что будете делать в Лейк-Форест? Опять станете вести себя... легкомысленно?

– Все что угодно, и не важно что именно! Я тут целых шесть недель потеряла!

Она услышала, как он рассмеялся.

– По вашему тону можно заключить, что кому-то придется за это заплатить, – сказал он.

– Надеюсь, – зловещим тоном ответила она.

Она почувствовала, как в глазах собираются слезы. Все шло не так. Казалось, что все на свете складывается не в ее пользу!

– Позвольте мне подняться и посидеть с вами на скамейке? – вдруг попросила она.

Раздался скрип – он перестал покачиваться.

– Пожалуйста, не надо! Мне очень неприятно это говорить, но я буду вынужден уйти, если вы подниметесь. Давайте поговорим о... Вам нравятся лошади?

Она быстро встала, поднялась по ступенькам и направилась в угол, где он сидел.

– Нет, – сказала она. – Но я думаю, что мне понравится, если вам понравлюсь я!

В свете только что появившейся из-за леса луны его лицо вновь показалось ей каким-то усталым. Он вскочил, затем схватил ее за руки и медленно притянул к себе.

– Ты просто напрашиваешься на поцелуй, – сказал он, едва двигая губами. – Я понял это сразу же, едва увидел твои губы – твою эгоистическую, самодовольную улыбку, которая...

И вдруг он уронил руки и с испуганным жестом отошел от нее на шаг.

– Не останавливайся! – воскликнула она. – Делай что угодно, говори что угодно, пусть это даже будет неприятно. Я не против!

Но он быстро перескочил через балюстраду террасы и, обхватив руками затылок, пошел по лужайке. Она тут же его нагнала и с

умоляющим видом встала у него на пути; ее маленькая грудь вздымалась и опадала.

– Как ты думаешь, почему я оказался здесь? – внезапно спросил он. – Ты думаешь, я здесь один?

– Что...

– Со мной моя жена!

Жозефина вздрогнула:

– Ах... А... Почему же никто об этом не знает?

– Потому что моя жена... Моя жена – цветная!

Если бы не было так темно, Жозефина заметила бы, что он при этом беззвучно и неудержимо расхохотался, но лишь на мгновение.

– Ах... – повторила она.

– Я же не знал, – продолжил он.

Несмотря на подсознательное недоверие, Жозефиной овладело жуткое чувство.

– Какие отношения могут быть у меня с девушкой вроде тебя?

Она принялась тихо плакать:

– Ах, мне так жаль... Если бы я только могла тебе помочь!

– Ты не можешь мне помочь! – Он резко развернулся.

– Ты хочешь, чтобы я ушла?

Он кивнул.

– Хорошо. Я ухожу.

Все еще всхлипывая, она пошла, отступившись от него, запуганная, но все же с надеждой, что он ее окликнет. Подойдя к воротам имения, она бросила на него прощальный взгляд – он все еще стоял там, где они расстались, и его красивое худое лицо четко виднелось в струившемся свете внезапно появившейся луны.

Она прошагала четверть мили по дороге, когда услышала быстрые шаги у себя за спиной. Не успела она вздрогнуть и испуганно обернуться, как перед ней возникла какая-то фигура. Это был ее кузен Дик.

– Ах! – воскликнула она. – Ты меня напугал!

– Я следил за тобой! С какой это стати ты решила гулять по ночам в такую погоду?

– Какая низость! – с презрением ответила она.

Они пошли рядом.

– Я слышал, как ты разговаривала с тем парнем. Ты в него втюрилась, да?

– Не вздумай никому рассказать! Разве такой ужасный зануда, как ты, может что-нибудь понять?

– Я много чего понимаю, – угрюмо сказал Дик. – И знаю, что в Лейк-Форест этого самого чересчур уж много!

Ответить ему она сочла ниже своего достоинства; в молчании они дошли до ворот теткиного имения.

– Скажу тебе лишь одно, – неуверенно произнес он. – Бьюсь об заклад, что тебе не хотелось бы, чтобы твоя мама об этом узнала!

– Ты что, собрался рассказать моей матери?

– Придержи коней! Я лишь хотел сказать, что ничего никому не скажу...

– Да уж, надеюсь!

– ... при одном условии.

– Ну?

– Условие такое... – Он поежился; ему было неловко. – Ты мне как-то рассказывала, что многие девушки в Лейк-Форест целуются с парнями и ничего не имеют против?

– Да. – Внезапно она догадалась, что он сейчас скажет, и чуть не рассмеялась от изумления.

– Ну... Тогда... Поцелуй меня!

Перед глазами застыл образ матери – и картина возвращения в Лейк-Форест в цепях. Быстро приняв решение, она наклонилась к нему. И минуты не прошло, а она уже была у себя в комнате, почти в истерике – ей хотелось плакать и смеяться одновременно. Вот, значит, каким поцелуем судьбе было угодно увенчать это лето!

Сенсационное августовское возвращение Жозефины в Лейк-Форест стало причиной изменения общего мнения о ней. Это возвращение напоминало внезапное, исключительно по праву сильного, превращение грабителя-взломщика в феодального сеньора.

К трехмесячному, начиная с Пасхи, накоплению нервной энергии под школьной формой прибавилось еще шесть недель обиды – в сумме получилось так, словно к пороху поднесли зажженную спичку. И Жозефина взорвалась с хорошо слышным и заметным издали «бахом»; даже несколько недель спустя ее клочки все еще продолжали собирать с безукоризненных лужаек Лейк-Форест.

Все началось тихо; началом послужил долгожданный день рождения, в первый же вечер празднования которого за ужином ее усадили рядом с неверным Риджвеем Саундерсом.

– Мне стало по-настоящему плохо, когда ты меня бросил, – безразлично произнесла Жозефина, чтобы окончательно развеять у него любые иллюзии по поводу того, что это он бросил ее.

Как только она «остудила» его до того состояния, когда он стал задумываться, а он ли вышел победителем из этой ситуации, она развернулась и стала разговаривать с мужчиной, сидевшим от нее по другую руку. К тому времени, когда подали салат, Риджвей уже перешел к оправданиям. А его девушка с востока, мисс Тикнор, стала понимать, что за несносная особа была эта Жозефина Перри! И совершила ошибку, сообщив об этом Риджвею. Жозефина таких ошибок не делала; лишь ближе к концу ужина мимоходом задала ему невинный вопрос о том, как же зовут его подругу – вон ту, в высоких старомодных ботинках на кнопках.

В десять вечера Жозефина и Риджвей уехали в чьей-то машине – уехали далеко, туда, где кончались дома и начиналась прерия. С каждой минутой ее все больше утомляла его мягкотелость, и его мучения лишь усиливались. Она позволила ему себя поцеловать, просто чтобы закрепить произведенный эффект; в хозяйский дом той ночью вернулся молодой человек в состоянии отчаяния.

Весь следующий день его жалкий взгляд следовал за ней. На следующий день мисс Тикнор неожиданно вызвали домой, на восток. Это было достойно жалости, но, безусловно, кто-то должен был заплатить за выпавшее Жозефине лето. И когда счет сравнялся, она переключила все свое внимание на свадьбу сестры.

Немедленно по возвращении она потребовала контрибуции в виде чести стать подружкой невесты и, воспользовавшись царившей в семье суматохой, умудрилась заказать себе платье, в котором выглядела старше и очаровательнее на целый год. Без всяких сомнений, это тоже послужило к изменению общего мнения относительно нее. Для девушки в платье школьницы внешняя эмоциональная зрелость Жозефины выглядела несколько неподобающе, а в более взрослом наряде она сразу же стала бесспорной юной красавицей, и в качестве таковой и была принята, по крайней мере, мужской половиной съехавшихся на свадьбу гостей.

Констанция демонстрировала неприкрытую враждебность. Утром свадебного дня она облегчила душу матери.

– Надеюсь, мама, что тебе удастся удерживать ее в руках после того, как я уеду! Она ведет себя просто невыносимо! Ни одна другая подружка невесты так не веселится!

– Не нужно беспокоиться, – стала уговаривать ее миссис Перри. – В конце концов, у нее ведь выдалось на редкость тихое лето.

– Я беспокоюсь вовсе не о ней! – с возмущением сказала Констанция.

Все прибывшие на свадьбу гости обедали в клубе, и за столом рядом с Жозефиной оказался какой-то веселый шафер, который как приехал «под градусом», так из этого состояния и не выходил. Однако час для него был слишком ранний, так что он еще был способен поддерживать беседу.

– Краса Чикаго, золотая куколка с золотого запада! Ах, как жаль, что меня не было здесь этим летом!

– Меня тоже здесь не было. Я отдыхала на «Фермерском острове».

– Ого! – воскликнул он. – Ага!!! Это многое объясняет! Вот что стало причиной внезапного паломничества Сонни Дорренса!

– Кого-кого?

– Знаменитого Сонни Дорренса – позора Гарварда и мечты любой юной девы! И не вздумайте мне рассказывать, что вы не обменялись ни единым страстным взглядом с Сонни Дорренсом!

– Но разве он... – тихо спросила она, – разве он не... женат?

Собеседник так и покатился со смеху:

– Женат? Ну, конечно женат! На мулатке! Вот уж не думал, что кто-то купится на это старье! Он всегда рассказывает эту историю, когда

отходит от очередного бурного романа, чтобы на него не нападали, пока он не придет в себя. И вся его жизнь отравлена этой роковой красоткой!

Через некоторое время ей стала известна вся история. Кроме всего прочего, Сонни Дорренс был сказочно богат, и женщины преследовали его с пятнадцати лет – замужние дамы, дебютантки, хористки. Он стал своего рода легендой.

Составлялись целые заговоры, чтобы поймать его в силки брака, поймать его в самые разные ловушки. Одна девушка пыталась себя убить, одна пыталась убить его. Весной этого года вышла история с аннулированием брака, стоившая ему членства в гарвардском клубе «Порселиан» и, по слухам, обошедшаяся его отцу в пятьдесят тысяч долларов.

– И после этого, – с напряжением спросила Жозефина, – вы утверждаете, что он не любит женщин?

– Сонни? Могу сказать, что он – самый влюбчивый человек во всей Америке! Эта последняя история потрясла его до глубины души, так что он отпугивает от себя обожательниц, рассказывая им все что угодно. Но не пройдет и месяца, как он опять будет по уши влюблен!

И он продолжал говорить, а перед глазами Жозефины столовая плавно уходила в затемнение, словно на киноэкране, и она вновь оказывалась на «Фермерском острове» и сидела у окна, и из-за сосен опять появлялся юноша.

«Он меня испугался, – подумала она, и ее сердце застучало, как пулемет. – Он решил, что я – такая же, как и все остальные!»

Через полчаса она подошла к матери, не дожидаясь окончания последнего и самого бурного взрыва эмоций перед свадьбой.

– Мама, я хочу уехать на «Фермерский остров» до конца лета, – сказала она.

Миссис Перри смотрела на нее, ничего не понимая, и Жозефине пришлось повторить то, что она только что сказала.

– Зачем? До твоего отъезда в школу осталось меньше месяца.

– Я все равно хочу уехать.

– Я тебя не понимаю! Во-первых, тебя туда никто не приглашал; а во-вторых, я считаю, что немного веселья перед школой тебе не повредит; в-третьих, я хочу, чтобы ты была здесь, рядом со мной.

– Мама! – повысила голос Жозефина. – Что тут непонятного? Я хочу уехать! Ты увезла меня туда на все лето, когда я этого не хотела, а теперь, когда я туда хочу, ты хочешь, чтобы я осталась в этом ужасном месте! Позволь тебе заметить, что здесь у нас совсем не подходящее место для шестнадцатилетней девушки, если уж на то пошло!

– Зачем ты пристаешь ко мне с этими глупостями в такой важный день?

Жозефина в отчаянии всплеснула руками; по щекам у нее потекли слезы.

– Я здесь погибну! – воскликнула она. – Здесь все только и думают о парнях и о танцах с утра до вечера! Все только и делают, что разъезжают в автомобилях и с утра до вечера целуются!

– Но я уверена, что моя маленькая девочка ничего подобного не делает!

Жозефина запнулась, слегка захваченная врасплох.

– Ну что ж, тогда я буду! – объявила она. – Я ведь слабохарактерная. Ты сама мне говорила. Я всегда делаю то, что мне говорят, а эти парни все, как один, безнравственные, вот! Ты и не заметишь, как я окончательно погибну, и тогда ты пожалеешь, что не позволила мне уехать на «Фермерский остров». Ты пожалеешь...

Она довела себя до истерики. Сбитая с толку мать взяла ее за плечи и усадила на стул:

– Я еще никогда не слышала таких глупостей! Если бы ты не была почти взрослой, я бы тебя отшлепала! Если станешь продолжать в том же духе, я тебя накажу.

Слезы вдруг высохли, Жозефина встала и удалилась из комнаты. «Накажу»! Все лето ее наказывали, а теперь вдруг отказываются наказывать – отказываются отправить ее отсюда! Ах, как же она устала от этого постоянного сопротивления... Придумать бы что-нибудь по-настоящему ужасное, чтобы они отправили ее отсюда навсегда...

Через пятнадцать минут в укромном уголке сада на нее наткнулся будущий новобрачный, Малькольм Либби. Он беспокойно вышагивал, пытаясь собраться с духом для репетиции церемонии, назначенной на четыре часа, и для самой церемонии, которая должна была состояться двумя часами позже.

– О, привет! – воскликнул он. – Что такое? Что с тобой? Ты плакала?

Преисполненный сочувствия к младшей сестренке Констанции, он присел на скамейку.

– Я не плакала, – всхлипнула она. – Мне просто очень горько.

– Из-за того, что Констанция уезжает? Думаешь, что я не сумею о ней позаботиться?

Склонившись, он похлопал ее по руке. Если бы он видел, как внезапно блеснули ее глаза, он бы встревожился – в тот миг ее лицо было точь в точь как у известного персонажа из «Фауста».

Когда она заговорила, голос ее был спокоен и холоден, но в нем звучала и нежная печаль.

– Нет, дело не в этом. Причина в другом.

– Расскажи мне! Может, я смогу помочь?

– Я плакала... – она тактично замялась, – я плакала оттого, что Констанции всегда достается все самое лучшее!

Когда через полчаса будущая новобрачная в ярости обшаривала сад – репетиция церемонии должна была вот уже двадцать минут как начаться – и неожиданно на них наткнулась, рука Малькольма Либби обнимала погрузившуюся в неудержимую печаль Жозефину, а на его лице читалось дикое смущение, которого невесте раньше видеть не доводилось. Констанция судорожно вскрикнула и осела на гравий дорожки.

Весь следующий час повсюду царил беспорядок. Вызвали врача, везде захлопали двери; мистер Малькольм Либби погружился в болезненное состояние, на лбу у него выступила испарина, он снова и снова объяснял миссис Перри, что сможет все объяснить, если только ему разрешат увидеться с Констанцией. С молчаливой Жозефиной в доме холодно разговаривали разные члены семьи. Шумели прибывающие гости; последовало лихорадочное примирение, Констанция и Малькольм в последнюю минуту вновь обнялись, а непрощенную Жозефину второпях облачили в платье.

Наступила торжественная тишина, и подружка невесты, с наигранной скромностью склонив голову, под музыку последовала за сестрой через коридор, образованный заполнившими дом гостями. Свадьба была красивая и печальная; сестры, блондинка и брюнетка, создавали друг для друга красивый контраст; и та и другая пробуждали одинаковый интерес. Жозефина превратилась в восхитительную

красавицу, и все наперебой пустились в пророчества, предрекая ей, стоявшей рядом с сестрой, блестящее будущее.

Было так много гостей, что Жозефины не хватились до самого окончания приема. Но задолго до девяти вечера, задолго до того момента, когда у миссис Перри проснулось бы материнское беспокойство, к дверям дома доставили со станции записку:

Милая мамочка! Эд Бемонт привез меня сюда на своей машине, и в семь я сяду на поезд до «Фермерского острова». Я дала телеграмму экономке, чтобы меня встретили, так что не беспокойся. Я поняла, что вела себя просто ужасно, и мне стыдно смотреть всем в глаза, так что я решила сама себя наказать по заслугам и вернуться к простой здоровой жизни. В конце концов, я думаю, что это только на пользу девушке шестнадцати лет, и мне кажется, что ты со мной, подумав, согласишься.

С любовью, Жозефина.

В конце концов, подумала миссис Перри, может быть, это и к лучшему? Муж не на шутку рассердился, сама она очень вымоталась и прямо сейчас была не готова решать еще одну проблему. Может, тихое и приятное место – это лучший вариант?

Женщина с прошлым

I

Две юные девушки, медленно проезжая по улицам Нью-Хейвена, внимательно смотрели по сторонам. Жозефина и Лилиан, не таясь, бросали нежные взгляды на прогуливавшихся небольшими группами старшекурсников, на стоявшие на перекрестках группы побольше, и те, словно один человек, поворачивали головы, глядя им вслед. Решив, что в одиноком прохожем они узнали знакомого, девушки стали изо всех сил махать руками, а юноша в недоумении разинул рот и с опозданием, когда они уже скрылись за поворотом, поднял руку в ответ. Девушки рассмеялись: «Когда вернемся вечером в школу, пошлем ему открытку – проверим, правда ли это он?»

Адель Кроу, сидевшая на откидном сиденье лимузина, продолжала беседовать с мисс Чамберс, их «дуэньей». Искоса поглядывая на нее и ничуть не смущаясь, Лилиан подмигнула Жозефине, но Жозефина погрузилась в мечты.

Ведь это был Нью-Хейвен – город ее юных грез, город роскошных балов, на которых она будет парить среди мужчин, неосязаемых, как мелодии, под которые они будут танцевать. Город священный, словно Мекка; блестящий, как Париж; сокровенный, будто Тимбукту. Дважды в год сюда утекала вся юная кровь Чикаго, ее родного города, и дважды в год этот источник живительной силы возвращался обратно, неся с собой дух Рождества или наступающего лета. В точку, в точку, в точку, такая вот цепочка; любовь моя, я жду тебя, взгляни же на меня;

по левую руку мой милый мальчик; мы встретимся под звездами ночными...

Увидев этот город впервые, она, к своему изумлению, ничего не почувствовала – все попадавшиеся на пути мужчины больше напоминали мальчишек и явно сучали, ничего не ожидая от

грядущего дня, так и норовя с благодарностью уцепиться взглядом хоть за что-нибудь; им всем явно не хватало энергии и целеустремленности, а фоном этой картине служили голые вязы, сугробы из грязного снега и тесно прижимавшиеся друг к другу под февральским небом здания. Ее внимание привлек замаячивший на горизонте дымок надежды – хорошо одетый, увенчанный шляпой-котелком мужчина с тростью и портфелем, торопившийся к железнодорожной станции, – но в его ответном взгляде читалось изумление и простодушие. Жозефина сама удивлялась, до какой же степени она была разочарована!

Ей было всего семнадцать лет, но опыта ей было не занимать. Она уже становилась причиной и сенсаций, и скандалов; из-за нее взрослые мужчины теряли покой; это она, как поговаривали, свела в могилу своего деда, хотя ему к тому моменту было уже за восемьдесят и, возможно, он все же умер от старости. На географической карте по всему Среднему Западу то тут, то там были разбросаны разочарованные белые пятнышки, которые при ближайшем рассмотрении оказывались юношами, которым довелось разок сполна окунуться в ее зеленые задумчивые глаза. Но закончившийся прошлым летом роман разрушил ее веру в то, что само по себе существование мужчин – вполне достаточное оправдание существованию. Сентябрь шел на убыль, и ей становилось все скучнее – слишком уж часто все в ее жизни стало повторяться. Соблазнительно короткие рождественские каникулы, с обязательными гастролями студенческих хоров, не принесли с собой ничего нового. У нее оставалась лишь одна упорная надежда, которую она ощущала физически, словно боль в животе: надежда на то, что встретится кто-нибудь, кого она полюбит сильнее, чем он ее.

Они остановились у магазина спортивных товаров, и Адель Кроу, красивая девушка с честными глазами и точеными ножками, выбрала спортивный инвентарь, что и было целью их поездки – они были членами школьного хоккейного комитета, готовившегося к весеннему сезону. Адель, кроме того, была президентом старшего класса и считалась идеалом школы. В последнее время она стала замечать в Жозефине Перри перемену к лучшему; даже бесхитростный добропорядочный гражданин вполне может подружиться с отошедшим от дел казнокрадом, проживающим награбленное. А Жозефина была

неспособна понять Адель: без сомнений, она заслуживала восхищения, но явно относилась к совершенно иному виду. И все же с очаровательным приспособленчеством, которое она до сих пор берегла для мужчин, Жозефина изо всех сил старалась ее не разочаровывать, честно пытаясь войти во вкус мелкой, опрятной и упорядоченной школьной жизни.

Двое мужчин, стоявшие к ним спиной у соседнего прилавка, повернулись, собираясь покинуть магазин, но заметили мисс Чамберс и Адель, и тут же к ним подошли. Тот, который заговорил с мисс Чамберс, был худой и строгий на вид. Жозефина его узнала – это был племянник мисс Брейретон, студент из Нью-Хейвена, который провел несколько выходных у тетушки в школе. Второго мужчину Жозефина никогда раньше не видела. Он был высокий, широкоплечий, со светлыми вьющимися волосами и открытым лицом, в котором читалась приятная смесь целеустремленности и милой задумчивости. Обычно такие лица Жозефину не привлекали. В глазах не было совершенно никакой тайны, никакого намека на возможность какого-нибудь внезапного поворота, никакого отчаянного огонька, который показал бы, что их язык совсем не похож на тот, что доносится с губ. Сами губы были крупные, очертания рта – мужественные; улыбка демонстрировала добродушие и самообладание. Жозефина продолжала рассматривать его скорее из любопытства – как мужчину, который проявляет внимание к Адели Кроу, потому что его голос, который явно не умел лгать, приветствовал Адель так, словно эта встреча стала для него самым приятным сюрпризом за сегодняшний день.

Через мгновение Жозефину и Лилиан пригласили подойти поближе и представили.

– Мистер Уотербери! – Это относилось к племяннику мисс Брейретон. – И мистер Дадли Ноулетон!

Взглянув на Адель, Жозефина заметила у нее на лице выражение спокойной гордости – лучше сказать, обладания. Мистер Ноулетон был любезен, но было ясно: пусть он и смотрит на младших девушек, но он их совсем не замечает. Поскольку это были подруги Адель, он высказал подходящие случаю любезности и в ответ узнал, что обе собираются на следующей неделе на свой первый бал в Нью-Хейвене. Кто их пригласил? А, второкурсники; он их почти не знал. Жозефина

подумала, что это было высказано с ненужным высокомерием. Ведь Риджвей Саундерс и Джордж Дейви были основателями тайного студенческого братства «Любящие братья», и во всех городах на гастролях студенческого хора девушки, за которыми они ухаживали, рассматривали себя как своего рода элиту, уступавшую лишь тем девушкам, которых приглашали в Нью-Хейвен.

– И вот еще что: у меня есть не очень приятная новость, – сказал Ноулетон Адели. – Возможно, на балу тебе придется идти первой. Джек Кой угодил в больницу с аппендицитом, и вопреки здравому смыслу получается, что я на время стал председателем бального комитета. – Он посмотрел на нее, словно извиняясь. – С учетом того, что я – король тустепа и других танцев каменного века, у меня у самого в голове не укладывается, как я вообще попал в этот комитет?

Машина повезла их обратно, в школу мисс Брейретон, а Жозефина и Лилиан стали забрасывать Адель вопросами.

– Он мой друг детства, из Цинциннати, – скромно объяснила Адель. – Капитан бейсбольной команды и последний, кого избрали в общество «Череп и кости».

– Ты идешь с ним на бал?

– Да. Видите ли, мы с ним дружим с детства.

Не скрывался ли в этой фразе легкий намек на то, что лишь те, кто знает Адель с детства, способны оценить ее в полной мере?

– Вы помолвлены? – спросила Лилиан.

Адель рассмеялась:

– Избави боже, я об этом никогда и не думала! Нам рано думать о вещах в этом роде, не правда ли? («Да!» – мысленно поддержала ее Жозефина.) Мы просто хорошие друзья. Я считаю, что между мужчиной и женщиной может быть абсолютно нормальная дружба, без всяких там...

– Сюсюканий! – с готовностью подсказала Лилиан.

– Ну, да, хотя мне не нравится это слово. Я хотела сказать – без всяких там сентиментальностей и романтики; все это появится позже.

– Bravo, Адель! – несколько поверхностно похвалила ее мисс Чамберс.

Но любопытство Жозефины еще не было удовлетворено.

– А он не говорит, что любит тебя, и все такое прочее?

– Избави боже, нет! Дадли не думает об этих вещах, как и я. У него есть чем заняться в Нью-Хейвене – куча комитетов и команда.

– Ну надо же! – сказала Жозефина.

Она почувствовала странный интерес. То, что два человека, которые друг другу нравятся, никогда даже не разговаривали об этом друг с другом и вполне себе довольны, «не думая об этих вещах», было для нее чем-то новым. Она знала девушек, у которых не было поклонников; знала и таких, у которых, кажется, не было чувств; и даже таких, которые ввали о том, что они подумали или сделали. Но вот перед ней сидит девушка, рассказывающая о том, что к ней проявляет внимание последний, кого избрали в «Череп и кости», и рассказывает так, словно он и она – вытесанные из известняка химеры на только что открытой колокольне «Харкнесс-Холл», которых им показывала мисс Чамберс. И тем не менее Адель выглядела счастливой – и гораздо счастливее, чем Жозефина, которая всегда верила в то, что мальчики и девочки созданы исключительно друг для друга, и раз уж так распорядилась судьба, ее веление следует выполнять как можно быстрее.

В свете популярности и успеха Ноулетон стал казаться ей очень привлекательным. Жозефина задумалась, вспомнит ли он ее и пригласит ли потанцевать на балу – и не зависит ли это от того, насколько хорошо он знаком с ее кавалером, Риджвеем Саундерсом? Она попыталась вспомнить, улыбалась ли она ему, когда он на нее смотрел? Если улыбалась по-настоящему, тогда обязательно вспомнит и пригласит! Этот вопрос мучил ее весь вечер, пока она учила два французских неправильных глагола и заучивала наизусть десять строф из «Старого моряка»; но, даже ложась спать, она так и не смогла точно вспомнить, улыбалась она ему или нет.

Основатели тайного братства «Любящие братья», трое юных и веселых второкурсников, наняли дом для Жозефины, Лилиан, еще одной девушки из школы в Фармингтоне и их матерей. Девушки еще никогда в жизни не бывали на балу и ехали в Нью-Хейвен с опаской, словно осужденные. Но на состоявшемся ближе к вечеру приеме, устроенном студенческим братством из Шеффилда, они увидели много парней из родного города, а также бывавших у них в гостях парней, и друзей этих парней, и даже новых парней, суливших неизведанные перспективы, подкреплявшиеся их пылкими взглядами. И девушки вновь обрели уверенность, влившись в блестящую толпу, заполнившую к десяти вечера учебный манеж.

Их впечатлило то, что они увидели; Жозефина впервые попала на мероприятие, которое было организовано мужчинами по их, мужским, стандартам – она увидела внешнюю проекцию мира Нью-Хейвена, куда не допускались женщины и который за кулисами продолжал жить своей таинственной жизнью. Она заметила, что трое их кавалеров, которых они считали прямо-таки воплощением светского лоска, в этом безжалостном микромире таланта и успеха были лишь скромной мелюзгой. Мир мужчин! Оглянувшись вокруг на концерте студенческого хора, Жозефина почувствовала подспудное стремление к настоящей дружбе; у нее возникло очень хорошее чувство. В гардеробной мельком она заметила Адель Кроу и позавидовала тому положению, которое она заняла автоматически лишь потому, что сегодня вечером она была девушкой Дадли Ноулетона. И Жозефина позавидовала ей еще больше, когда Адель во главе «гранд-марша» удалилась под украшенный флагами и гортензиями вход в зал, очень скромная, почти не напудренная, в простом белом платье. На какое-то время она оказалась в центре всеобщего внимания, и при виде этого в Жозефине проснулось нечто давно уже дремавшее внутри – ощущение того, что перед ней вырисовывается новая задача, едва осознанная возможность...

– Жозефина, – начал Риджвей Саундерс, – ты даже представить не можешь, как я счастлив, что сбылись мои мечты. Я так долго ждал этого момента, так сильно мечтал...

Она механически ему улыбнулась, но продолжала думать о чем-то своем, и на всем протяжении танца эта мысль не давала ей покоя. С самого начала ее стали наперебой «перехватывать»; к мужчинам,

познакомившимся с ней за чаем, добавилось с дюжину новых лиц, целая дюжина уверенных или робких голосов; как и все популярные девушки, она вскоре обзавелась собственной свитой, преследовавшей ее по всему залу. Такое случалось с ней не впервые, но чего-то не хватало. С ней танцевало впятеро больше мужчин, чем с Аделью, но Жозефина внезапно осознала, что здесь девушка могла занять какое-либо положение лишь благодаря тому положению, которое занимал пригласивший ее кавалер.

Эта несправедливость ее беспокоила. Девушка завоевывает популярность своей красотой и очарованием! Чем она прекраснее и очаровательнее, тем больше она может себе позволить, невзирая на общественное мнение. Казалось нелепым, что лишь потому, что Адель пригласил капитан бейсбольной команды – может, он вообще ничего не понимает в девушках и не способен судить о том, кто из них прекраснее? – Адель оказалась на вершине, несмотря на толстые колени и чересчур яркий румянец.

Жозефина танцевала с Эдом Бементом из Чикаго. Он был ее самым первым поклонником, с которым они были знакомы еще с танцевальной школы, где она носила косички, белые шелковые колготки, кружевные панталончики с поясом и развевающиеся платица с неизбежным шарфиком.

– Что со мной такое? – спросила она Эда, размышляя вслух. – Уже несколько месяцев я чувствую, будто мне сто лет, а ведь мне всего семнадцать, и мы с тобой танцевали в первый раз каких-то семь лет назад!

– С тех пор ты много раз влюблялась, – ответил Эд.

– Вовсе нет! – с негодованием возразила она. – Обо мне много разных глупостей рассказывают, но в них нет ни слова правды. Обычно это просто завистливые девчонки.

– Чему же они завидуют?

– Не дерзи! – язвительным тоном сказала она. – Ну-ка, давай двигаться к Лилиан.

Дадли Ноулетон только что «перехватил» Лилиан. Жозефина что-то сказала подруге; затем, выждав, пока они в танце не окажутся лицом друг к другу, она улыбнулась Ноулетону. И на этот раз постаралась встретиться с ним взглядом, чтобы он увидел ее улыбку, чтобы попал в радиус действия ее чарующего аромата. Если бы эти духи выпустили

во Франции несколько позже, их название наверняка переводилось бы как «Прошу тебя!». Он поклонился и улыбнулся в ответ; спустя минуту он ее «перехватил».

Произошло это в вихре в углу зала, и она стала танцевать медленнее, чтобы он смог приноровиться к такту, и мгновение спустя они медленно закружились по залу.

– Вы так красиво смотрелись, когда вместе с Адель открывали бал, – сказала она ему. – Вы были такой серьезный и добрый, и все вокруг выглядели словно дети малые! И Адель тоже очень хорошо смотрелась. – И, в порыве вдохновения, она добавила: – Я ведь выбрала ее для себя идеалом в школе!

– Неужели? – Она увидела, что он пытается скрыть внезапное удивление; затем он сказал: – Я не могу ей об этом не рассказать!

Он был красивее, чем она думала, а за его доброжелательной манерой скрывалась некая властность. Хотя он вел себя по отношению к ней с подобающим вниманием, она заметила, как его взгляд быстро обежал зал, чтобы убедиться, что все идет хорошо; проходя в танце рядом с оркестром, он тихо обратился к дирижеру, который почтительно подошел к краю своего возвышения. Последний избранный в «Череп и кости»! Жозефина знала, что это значило – ее отец был членом этого братства. Риджвей Саундерс и все остальные «Любящие братья» точно не попадут в «Череп и кости». Она задумалась, существовало ли такое же, как «Череп и кости», братство для девушек – туда могли бы избрать и ее... Или же Адель Кроу с ее коленками, которые были символом ее солидности!

*Скорее приходите к нам,
Хотим, чтобы вы были с нами;
Идите же скорее к нам,
И чувствуйте себя, как дома!*

– Интересно, сколько здесь парней, которые выбрали вас своим идеалом? – спросила она. – Если бы я была парнем, то я захотела бы

стать именно таким, как вы! Правда, мне бы ужасно надоедало, что в меня все время влюбляются девушки.

– Не влюбляются, – просто ответил он. – И никогда не влюблялись.

– Конечно, влюбляются, но они это скрывают, потому что вы производите на них впечатление, и еще потому, что они боятся Адели.

– Адель вряд ли будет возражать. – И торопливо добавил: – Если когда-нибудь такое случится. Кажется, Адель такие вещи всерьез не воспринимает.

– Вы с ней помолвлены?

Он слегка вздрогнул:

– Я считаю, что всему свое время, в том числе и помолвке.

– И я тоже так думаю, – с готовностью согласилась Жозефина. – Лучше иметь одного настоящего друга, чем сотню поклонников, все время увивающихся вокруг тебя с сюсюканьями.

– Так вот чем занимается вся эта толпа, бегающая за вами весь вечер!

– Какая еще толпа? – наивно спросила она.

– За вами бегают половина второкурсников!

– Ах, это всего лишь кучка щеголей! – неблагодарно отозвалась она.

Жозефина лучилась счастьем, красиво кружась в танце среди ставшего вдруг чарующим бала, в объятиях самого председателя бального комитета. Лишь трепет, который он вызывал у членов ее «свиты», стал причиной того, что ее так долго никто не «перехватывал»; но через некоторое время все же нашелся смельчак, и ее чувство гордости вдруг исчезло. Юноша был впечатлен тем, что с ней танцевал сам Дадли Ноулетон; он стал вести себя очень почтительно, и это сдержанное обожание скоро ей наскучило. Пройдет совсем немного времени, надеялась она, и Дадли Ноулетон опять ее «перехватит», но наступила полночь, затем прошел еще один скучный час, и она стала задумываться, а не было ли все это лишь любезностью по отношению к девушке из школы Адели? Адель уже, наверное, успела нарисовать ему хорошенькую картину прошлых подвигов Жозефины! Когда он, наконец, к ней приблизился, она напряглась и насторожилась – в таком состоянии она всегда выглядела податливой, слабой и тихой. Но вместо того, чтобы пригласить ее танцевать, он потянул ее за собой туда, где оканчивался ряд лож.

– С Адель произошла неприятность на лестнице из гардеробной. Она немного подвернула коленку и порвала чулок. Она просит вас одолжить ей чулки, потому что вы остановились тут недалеко, а до нашего клуба «Лаун» отсюда неблизко.

– Конечно!

– Я вас отвезу, моя машина на улице.

– Но вы ведь так заняты – прошу вас, не беспокойтесь!

– Ничего, я вас отвезу.

На улице была оттепель; казалось, будто слабая и прозрачная весна нависла над вязами и карнизами зданий, обнаженность и холод которых так не понравились ей неделю назад. Ночь казалась аскетичной, словно дух мужской борьбы за существование пронизывал весь этот городок, где три столетия подряд мужчины посвящали науке всю свою энергию и помыслы. Все это символизировал сидевший с ней рядом энергичный и могучий Дадли Ноулетон. Ей казалось, что она никогда еще не встречала таких мужчин.

– Прошу вас, входите, – сказала она, когда он поднялся по ступенькам к двери дома. – У нас тут очень уютно.

В неосвещенной гостиной горел камин. Спустившись сверху с чулками, она вошла в гостиную и встала с ним рядом, ничего не говоря и глядя вместе с ним на огонь. Затем она посмотрела на него, все еще молча, опустила глаза, а затем опять посмотрела на него.

Он пошевелился и спросил:

– Вы нашли чулки?

– Да, – ответила она, затаив дыхание. – Правда, я быстро? За это с вас поцелуй!

Он рассмеялся, словно она пошутила, и двинулся к двери. Она улыбнулась и глубоко упрятала свое разочарование. Они сели в машину.

– Чудесно, что мы с вами познакомились, – сказала она ему. – Передать вам не могу, как много новых мыслей я почерпнула из нашей беседы!

– Но разве я вам что-нибудь сказал?

– Конечно сказали! О том, что и помолвке нужно свое время! Мне раньше не доводилось разговаривать с мужчинами вроде вас. Иначе я бы, наверное, думала совсем по-другому. Я только что поняла, что во

многом заблуждалась. Мне вот всегда хотелось вызывать волнение. А теперь я хочу помогать людям.

– Да, – согласился он, – это очень хорошо.

Когда они прибыли в учебный манеж, ей показалось, что он хочет сказать ей что-то еще. В их отсутствие начался ужин; идя рядом с ним через большой зал, чувствуя, что на них смотрит множество глаз, Жозефина спрашивала себя – думают ли все эти люди о том, что между ними что-то было?

– Мы немного опоздали, – сказал Ноулетон, когда Адель ушла надеть чулки. – Ваш кавалер, наверное, давно уже вас потерял. Так что давайте я вам отыщу здесь что-нибудь перекусить, ладно?

– Это было бы просто великолепно!

А потом, когда вновь начались танцы, она двигалась, полностью погрузившись в свои приятные мысли. Поклонники нескольких уже уехавших с бала красавиц смешались с ее поклонниками, и вскоре ни одну девушку в зале не приглашали чаще, чем Жозефину. Даже племянник мисс Брейретон, Эрнест Уотербери, с ней потанцевал, выражая свое чопорное восхищение. Но разве она танцевала? Не успевая вновь поймать такт, она просто перелетала по всему залу от мужчины к мужчине – руку вправо, руку влево... Внезапно ей захотелось отдохнуть, и словно в ответ на это желание перед ней возник новый юноша: высокий, елейный южанин с вкрадчивым голосом:

– Ах, прекрасное создание! Я все глаза проглядел, любуясь твоим порхающим точеным профилем. Ты выделяешься здесь среди всех, словно прекрасная американская роза среди полевых маргариток!

Танцуя с ним второй раз, Жозефина вняла его мольбам:

– Хорошо. Пойдем, подышим воздухом.

– Но я говорил совсем не об улице! – сказал он, едва они вышли за дверь. – Случилось так, что мне на время досталось одно гнездышко, прямо в этом здании.

– Хорошо.

Бук Чаффи, из Алабамы, пошел впереди, указывая путь: через гардеробную, затем на пролет выше, прямо к незаметной двери.

– Это квартира моего друга, сержанта Буна – он инструктор батареи. И он очень настаивал, чтобы сегодня вечером квартиру

использовали только как гнездышко, а не как читальный зал и тому подобное!

Открыв дверь, он включил тусклый свет; она вошла, он прикрыл за ней дверь, и они посмотрели друг на друга.

– Как хорошо! – прошептал он.

Его высокая голова склонилась, длинные руки нежно обхватили Жозефину, и очень медленно – так, чтобы их взгляды как можно дольше оставались прикованными друг к другу, – он притянул ее к себе. Жозефина в это время думала о том, что никогда еще не целовалась с южанином.

Неожиданно в замке двери раздался звук вставляемого ключа, и они тут же отскочили друг от друга. Затем раздался приглушенный смех, за ним – звук удаляющихся шагов, и Бук, подскочив к двери, стал крутить ручку. В то же мгновение Жозефина заметила, что комната служила сержанту Буну не только гостиной; здесь же он и спал.

– Кто это был? – спросила она. – Зачем нас здесь заперли?

– Какой-то шутник. Пусть только попадется мне в руки...

– Он вернется?

Бук сел на кровать, чтобы все обдумать.

– Я не знаю. Я даже не знаю, кто это был! Но если здесь появится кто-нибудь из комитета, выйдет не очень хорошо, не правда ли?

Увидев, что она изменилась в лице, он подошел и обнял ее.

– Не волнуйся, солнышко! Мы что-нибудь придумаем.

Она поцеловала его в ответ – наскоро, не теряя головы. Затем отодвинулась и пошла в соседнюю комнату, которая была увешана сапогами, шинелями и другими деталями военной амуниции.

– Тут есть окно, – сказала она.

Окно располагалось высоко, его очень давно не открывали. Бук залез на стул и с трудом распахнул окно настежь.

– До земли футов десять, – сказал он миг спустя, – и прямо внизу лежит огромная куча снега. Ты можешь упасть, испачкаться и уж точно промочишь туфли и чулки.

– Но мы должны отсюда выбраться! – резко ответила Жозефина.

– Лучше подождем здесь и будем надеяться, что шутник...

– Я не стану ждать! Я хочу отсюда выбраться. Так... Бросай вниз все одеяла с кровати, а я на них спрыгну; или ты спрыгни первый и разложи их на куче снега.

После этого им стало весело. Бук Чаффи аккуратно вытер пыль с подоконника, чтобы она не испачкала платье; затем они замерли, услышав приближающиеся шаги, но шаги стали удаляться от двери. Бук спрыгнул, и она услышала, как он выругался, выбираясь из мягкого сугроба. Он разложил одеяла. В тот момент, когда Жозефина свесила ноги из окна на улицу, за дверью послышались голоса, и в замке вновь стал поворачиваться ключ. Она удачно приземлилась, протянула ему руку, и, содрогаясь от смеха, они пустились бежать. Промчавшись полквартила до угла здания, они оказались у входа в учебный манеж, остановились, тяжело дыша и вдыхая свежий ночной воздух. Бук не хотел идти внутрь.

– Почему ты не хочешь, чтобы я проводил тебя до твоей квартирки? Мы могли бы там немного посидеть, восстановить силы...

Она задумалась. Ее влекло к нему из-за только что пережитого совместно приключения, но что-то звало ее обратно в зал, словно там ее гордость ожидал некий триумф.

– Нет, – решила она.

В дверях она столкнулась с мужчиной, который очень куда-то спешил – приглядевшись, она узнала Дадли Ноулетона.

– Прошу прощения... – сказал он. – Ах, привет!

– Вы не могли бы протанцевать со мной до моей ложи? – порывисто попросила его она. – У меня платье порвалось.

Когда они начали свой путь, он рассеянно произнес:

– Дело в том, что тут только что произошла одна неприятность, а разбираться придется мне. Я как раз шел узнать, что там стряслось.

Ее сердце дико забилося, и она почувствовала, что хотела бы немедленно стать другим человеком.

– И передать вам не могу, как много для меня значит наше знакомство! Было бы чудесно, если бы у меня появился хотя бы один друг, с которым можно разговаривать серьезно, без всякого сюсюканья и сантиментов. Вы ведь не станете возражать, если я буду вам писать – Адель ведь не обидится?

– Ну конечно нет! – Его улыбка была для нее совершенно непостижима.

Когда они дотанцевали до ложи, ей пришла в голову еще одна мысль:

– А правда, что на пасхальных каникулах бейсбольная команда будет тренироваться в Хот-Спрингс?

– Да. Вы туда собираетесь?

– Да. Доброй ночи, мистер Ноулетон!

Но судьба назначила ей увидеть его сегодня еще раз. Это произошло рядом с мужской гардеробной, где она и еще целая толпа оставшихся до самого конца девушек и их еще более бледных матерей, чьи морщины за прошедшую ночь удвоились и утроились, ожидали кавалеров. Он что-то рассказывал Адель, и до Жозефины донеслось: «Дверь была заперта, а окно открыто...»

Внезапно Жозефине пришло в голову, что, встретив ее в дверях – мокрую и запыхавшуюся, – он мог догадаться, что на самом деле произошло, а Адель, без сомнений, подтвердила бы его подозрения. Опять перед ней замаячил призрак ее старого врага – безобразной девчонки. Сжав губы, она отвернулась.

Но они ее заметили, и Адель окликнула ее веселым звонким голосом:

– Иди сюда, попрощаемся! Ты так меня сегодня выручила с чулками! Дадли, смотри, вот девушка, от которой не стоит ждать дрянных и глупых поступков! – Она порывисто нагнулась и поцеловала Жозефину в щечку. – Ты еще увидишь, Дадли, как я сейчас права – через год она станет самой уважаемой девушкой в школе!

III

То, что случилось потом, в скучные дни начала марта, как обычно не заставило себя ждать. В один из насквозь пропитанных весной вечеров состоялся ежегодный бал старших классов в школе мисс Брейретон, и все ученицы младших классов никак не могли уснуть, прислушиваясь к доносившейся из физкультурного зала музыке. Между песнями, когда парни из Нью-Хейвена и Принстона гуляли по

территории школы, из открытых окон темных спален на смутно различимые фигуры внизу устремлялись укромные взгляды затворниц.

Но Жозефина в этом не участвовала, хотя, как и все остальные, тоже лежала в кровати и не спала. Таким ненастоящим радостям не было места среди рациональных схем, день за днем прокручивавшихся у нее в голове; но с таким же успехом она могла бы находиться в первых рядах среди тех, кто окликал гулявших внизу мужчин, бросал им записочки и вовлекал в разговоры, поскольку от нее неожиданно отвернулась удача, и вокруг начала сплетаться черная паутина.

*Не унывай и не грусти, малышка,
ведь мы с тобой сегодня в одной лодке...*

В физкультурном зале, в каких-нибудь пятидесяти ярдах отсюда, находился Дадли Ноулетон, но близость мужчины не волновала ее, как год назад – по крайней мере, не волновала столь сильно. Жизнь, как она теперь считала, была серьезным делом, и в благопристойной темноте ей на ум пришла и никак не хотела уходить строчка из одного романа: «Это мужчина, который достоин быть отцом моих детей». И чего стоили по сравнению с ним все обольстительные манеры и остроумные слова целой сотни светских щеголей? Разве можно всю жизнь лишь целоваться с едва знакомыми людьми за прикрытыми дверями?

У нее под подушкой лежало два письма – ответы на ее письма. В них уверенным округлым почерком рассказывалось о начале тренировок по бейсболу; в них выражалась радость по поводу того, что Жозефина теперь думает обо всем именно так; автор явно ждал Пасхи, когда они смогут увидеться. Из всех писем, которые она когда-либо получала, эти были самыми сложными в том плане, что из них непросто было выжать хоть каплю сокровенного чувства, даже перед подписью стояло «Ваш», а не «Твой»! Но Жозефина выучила их наизусть. Они были бесценны, потому что он нашел время, чтобы их написать; красноречивы были даже конверты – ведь он наклеил так мало марок!

Она лежала в постели и не могла уснуть – в физкультурном зале вновь заиграла музыка:

Ах, я ждал тебя так долго, о, моя любовь!

Ах, пою я песню для тебя, моя любовь!

А-а-а-а!

Из соседней комнаты донесся тихий смех, а снизу с улицы – мужской голос, и последовал долгий разговор веселым шепотом. Жозефина узнала смех Лилиан и голоса двух других девушек. Она представила себе, как они лежат на подоконнике в ночнушках, высовывая головы из окна.

– Спускайтесь вниз! – несколько раз повторил один из парней. – Не нужно наряжаться – спускайтесь прямо так!

Вдруг воцарилась тишина, затем слышались быстрые шаги по хрустящему гравия, сдавленный смех, суета, резкий, негодующий скрип пружин нескольких кроватей в соседней комнате и звук хлопнувшей двери в холле внизу. Видимо, у кого-то будут неприятности. Через несколько минут приоткрылась дверь в комнату Жозефины; при тусклом свете из коридора она заметила мисс Квейн, затем дверь закрылась.

На следующий день Жозефину и еще четырех девушек, наотрез отказывавшихся признаваться в том, что они произнесли ночью хоть слово, отчитали и наказали. И с этим ничего нельзя было поделать. Мисс Квейн узнала лица в окне, и все эти девушки оказались из двух соседних комнат. Это было несправедливо, но по сравнению с тем, что случилось потом, это была ерунда. За неделю до начала пасхальных каникул вся школа отправилась на экскурсию на молочную ферму – поехали все, кроме тех, кого наказали. Мисс Чамберс, сочувствовавшая невезению Жозефины, назначила ее компаньонкой для мистера Эрнеста Уотербери, который в очередной раз проводил выходной у тетки. Это было немногим лучше, чем совсем ничего, потому что мистер Уотербери был весьма скучным и чопорным юношей. Он

оказался настолько скучным и чопорным, что на следующий день Жозефину исключили из школы.

Произошло следующее. Они гуляли по территории школы, затем присели за столиком в саду выпить чаю. За несколько минут до того, как на аллею выехала машина тетки, Эрнест Уотербери выразил желание рассмотреть какую-то деталь убранства в часовне. К часовне нужно было спускаться по спиральной псевдосредневековой лестнице, и Жозефина, у которой после прогулки в саду еще не просохли туфли, поскользнулась на верхней ступеньке и пролетела пять футов, приземлившись прямо в неохотно раскрывшиеся объятия мистера Уотербери, в которых она беспомощно замерла, сотрясаемая неудержимым хохотом. Именно в этом положении их и застала мисс Брейретон вместе с сопровождавшей ее попечительницей школы.

– Но я тут совершенно ни при чем! – без всякой галантности объявил мистер Уотербери.

Его, смущенного и оскорбленного, тут же отослали обратно в Нью-Хейвен, а мисс Брейретон, приплетя к происшествию еще и прегрешения прошлой недели, потеряла голову. Униженная и взбешенная Жозефина в ответ потеряла свою, и в тот же вечер в школу прибыл мистер Перри, случайно оказавшийся в Нью-Йорке. Увидев его страстное негодование, мисс Брейретон сдалась и пошла на попятный, но исправить было уже ничего нельзя, и Жозефина пошла собирать вещи. Неожиданно и чудовищно, как раз в тот момент, когда школа вдруг обрела для нее смысл, ее школьная жизнь подошла к концу.

В тот момент все ее чувства были направлены против мисс Брейретон, и, покидая школу, она плакала лишь от гнева и злости. Вместе с отцом она отправилась в Нью-Йорк; хотя папа инстинктивно и от чистого сердца сразу же принял ее сторону, она заметила, что он был слегка недоволен ее невезучестью.

– Жизнь продолжается, – произнес он. – К сожалению, и для этой старой идиотки, мисс Брейретон, она тоже продолжается. Ей бы надо устроиться заведовать школой для малолетних преступников! – Он на мгновение задумался. – Ну да ладно; завтра приезжает твоя мать, и ты с ней поедешь в Хот-Спрингс, как мы и планировали.

– В Хот-Спрингс? – воскликнула Жозефина приглушенным голосом. – Только не туда!

– А почему? – с удивлением спросил отец. – Кажется, это будет самое лучшее решение. Пройдет время, все уляжется, а потом ты вернешься в Чикаго.

– Я бы лучше сразу в Чикаго, – затаив дыхание, сказала Жозефина. – Папочка, мне действительно лучше поехать сразу в Чикаго!

– Что за нелепость! Твоя мать уже выехала на восток, и все уже устроено. В Хот-Спрингс ты будешь гулять, играть в гольф и забудешь эту старую чертовку...

– А нельзя ли нам поехать в какое-нибудь другое место на востоке? Я знаю, что в Хот-Спрингс собираются и те, кто знает об этой истории, а мне не хотелось бы с ними встречаться – там будут девушки из школы...

– Жози, выше голову! Сейчас надо вести себя именно так! Мне жаль, что я только что сказал, что надо, чтобы «все улеглось». Если бы у нас уже не было все запланировано, мы вернулись бы домой и встретили бы с открытым забралом любую сварливую бабу и сплетницу в городе! Ведь когда забиваешься в угол, все думают, что ты действительно совершил нечто плохое. И если вдруг тебе кто-нибудь что-нибудь скажет, просто расскажи им правду – я так и сделал, когда разговаривал с мисс Брейретон! Скажи им, что она говорила, что ты можешь остаться в школе, но я, черт возьми, не позволил тебе там остаться!

– Они не поверят.

Как бы там ни было, а в Хот-Спрингс у нее будет четыре дня передышки до того, как начнутся школьные каникулы. Это время Жозефина провела, занимаясь гольфом с профессиональным игроком, только что прибывшим из Шотландии и совершенно точно ничего не знавшим о ее горестях; в один из дней она даже совершила конную прогулку с одним юношей, и ей стало с ним почти легко после того, как он признался, что в феврале вылетел из Принстона, – правда, она не стала отвечать взаимностью на это признание. Но вечера, несмотря на назойливость юноши, она проводила с матерью, сблизившись с ней, как никогда раньше.

В один прекрасный день Жозефина увидела в фойе у стойки размещения две дюжины симпатичных парней, сваливших в кучу чемоданы и биты в чехлах, и поняла, что вот-вот произойдет то, чего

она так боялась. Она убежала к себе наверх и под предлогом выдуманной головной боли поужинала в тот вечер в номере, а после ужина принялась мерить беспокойными шагами комнату. Она стыдилась не только того, что с ней произошло, но и своей реакции на эту ситуацию. Она никогда не испытывала жалости по отношению к не пользовавшимся популярностью девушкам, которые прятались по гардеробным потому, что не могли привлечь к себе партнеров в танцевальном зале, или к девушкам, которые не принадлежали к «обществу» Лейк-Форест. А теперь она сама им уподобилась – урод, стыдящийся показать свое лицо! Забеспокоившись, не случилось ли уже что-нибудь с ее лицом, она встала перед зеркалом, но, как обычно, ее очаровало то, что она там увидела.

– Чертовы дураки! – вслух произнесла она.

И как только она это сказала, ее голова гордо поднялась, а взгляд прояснился. Она вспомнила фразы из несметного количества полученных ею любовных писем; в конце концов, у нее ведь была надежная опора из сотен потерянных и умоляющих взглядов, из бесчисленных нежных и молящих голосов, вселявших в нее уверенность. Ее вновь переполняла гордость, и вскоре она увидела, как у нее на щеках опять заиграл теплый румянец.

Раздался стук в дверь; это был юноша из Принстона.

– Не хочешь сходить вниз? – предложил он. – Там танцы! Полно ребят из Йеля – вся их бейсбольная команда. Я тебя кому-нибудь из них представлю, и ты проведешь замечательный вечер. Пойдем?

– Хорошо, но я не хочу ни с кем знакомиться. Придется тебе танцевать со мной весь вечер.

– Ты же знаешь, что больше мне ничего и надо!

Она торопливо надела новое вечернее платье – по-весеннему голубое, хрупкое и иллюзорное. Увидев его на себе, она разволновалась – словно сбросила старую зимнюю кожу и превратилась в сияющую куколку без единого пятнышка; на лестнице она мягко ступала в такт доносившейся снизу музыке. Играли песню из пьесы, которую она смотрела неделю назад в Нью-Йорке; эта мелодия для нее олицетворяла будущее, сулила веселье, о котором она еще не думала, и любовь, которую она еще не встретила. Закружившись в танце, она вновь обрела уверенность в том, что жизнь

дает бесконечные возможности начать все сначала. Не прошло и десяти тактов, как ее «перехватил» Дадли Ноулетон.

– Ну, надо же! Жозефина! – Раньше он никогда не называл ее по имени; он остановился, взяв ее за руку. – Вот это да! Как я рад тебя видеть! Я очень надеялся, что ты здесь появишься.

Словно на ракете удивления и радости, она воспарила прямо в небеса. Он был действительно рад ее видеть – его искреннее лицо не оставляло в этом никаких сомнений. Может, он еще ничего не знал?

– Адель писала мне, что ты, возможно, здесь появишься. Но она не знала точно...

... выходит, он все знал, но не придавал этому никакого значения; она ему все равно нравилась!

– Я теперь ношу дерюгу и посыпаю голову пеплом, – сказала она.

– Что ж, тебе идет!

– Ты ведь знаешь, что со мной случилось... – начала она.

– Знаю. Я не собирался об этом говорить, но все считают, что Уотербери выставил себя дураком – так что на выборах в клубы через месяц ему придется туго. Послушай! Мне бы хотелось, чтобы ты потанцевала с ребятами; им всем так не хватает в жизни красоты!

Немного погодя она уже танцевала, как ей показалось, со всей командой сразу. Дадли Ноулетон постоянно ее перехватывал, и юноша из Принстона тоже – слегка негодуя по поводу неожиданной конкуренции. В зале было много девушек из разных школ, но студенты Йеля, с оттенком восхищения проявляя командный дух, все, как один, отдавали явное предпочтение Жозефине; на нее уже стали показывать пальцем со стоявших вдоль стены стульев.

Но она ждала того, что должно было вот-вот случиться; ждала того момента, когда вместе с Дадли Ноулетоном они выйдут в теплую южную ночь... Закончилась очередная песня, и все произошло совершенно естественно; они пошли вдоль по улице, среди рано распустившейся сирени, свернули за угол, затем опять свернули...

– Ты ведь правда рад меня видеть? – спросила Жозефина.

– Конечно!

– Я поначалу боялась. То, что случилось в школе, мучило меня в первую очередь из-за тебя. Я так сильно старалась измениться – из-за тебя!

– Не думай больше о том, что случилось в школе. Все, чье мнение хоть что-нибудь значит, считают, что с тобой поступили несправедливо. Забудь об этом и начни все сначала.

– Да, – безмятежно согласилась она. Она чувствовала себя счастливой. Легкий ветерок и запах сирени – это была она, прекрасная и неосязаемая; деревянная скамейка, на которую они сели, и деревья – это был он, грубоватый и сильный, с ней рядом, готовый ее защищать.

– Я много думала о том, как мы с тобой здесь встретимся, – через некоторое время сказала она. – Ты оказал на меня такое сильное и хорошее влияние, что я подумала: быть может, и я смогу открыть для тебя что-нибудь новое, в другом роде? Я хочу сказать, что я умею получать от жизни удовольствие, а ты не умеешь. Мы с тобой обязательно должны как-нибудь вечером поехать кататься на лошадях при луне. Будет очень здорово!

Он промолчал.

– Я могу быть по-настоящему милой, когда мне кто-нибудь нравится – а это случается совсем не часто. – И она тут же торопливо добавила: – И не серьезно. Я лишь хочу сказать, что если чувствую, что серьезно и по-настоящему подружилась с парнем, то считаю, что целая толпа парней, увивающихся вокруг, просто ни к чему! Мне все время, и днем и вечером, хочется быть только с ним, понимаешь?

Он пошевелился, сидя на скамейке; нагнулся вперед, положив локти на колени, и уставился на свои сильные ладони. Ее нежный ровный голос стал звучать чуть ниже:

– Когда мне кто-нибудь нравится, мне не хочется даже танцевать. Приятнее просто побыть с ним наедине...

На мгновение повисла тишина.

– Ну, знаешь... – он запнулся, нахмурившись, – у меня, честно говоря, вообще не будет свободного времени... У меня здесь живут друзья, и я им уже давно обещал заехать в гости... – Ему было очень грустно это говорить; он тщательно подбирал слова. – Меня и в гостинице-то с послезавтра уже не будет. Я должен ехать к друзьям за город – у них там будет праздник. А еще завтра приезжает Адель.

Полностью поглощенная своими мыслями, она поначалу его совсем не слушала, но от звука произнесенного имени у нее внезапно перехватило дыхание.

– Мы должны вместе ехать на этот праздник, и я так понимаю, что все наше время уже более-менее распланировано. Но днем я конечно же буду приезжать сюда на тренировки.

– Понимаю. – Ее губы дрожали. – Тебя не будет... Ты будешь с Адель!

– Думаю, что... большую часть времени... Ну, да... Она... Она, само собой, наверняка захочет с тобой увидеться.

Опять повисла пауза. Он сцепил большие пальцы, и она сокрушенно повторила этот жест.

– Тебе просто было меня жаль, – сказала она. – Тебе нравится Адель... Больше, чем я!

– Мы с Адель понимаем друг друга. Она была моим идеалом с самого детства!

– А девушки вроде меня тебе не нравятся? – Голос Жозефины испуганно дрогнул. – Наверное, потому, что я целовалась со многими парнями и у меня репутация легкомысленной и взбалмошной девчонки?

– Не в этом дело...

– Нет, в этом! – с чувством заявила она. – Мне приходится за все расплачиваться! – Она встала. – Проводи меня обратно в зал. Я буду танцевать с теми, кому я нравлюсь!

Она быстро пошла по дорожке, мучительные слезы текли у нее по щекам. Он догнал ее у лестницы, но она лишь покачала головой и сказала:

– Прости меня за то, что я вела себя так дерзко. Я повзрослею... Я ведь получила по заслугам... Все в порядке.

Немного позже она окинула взглядом зал, но Дадли уже ушел, и с ужасом Жозефина поняла, что впервые в жизни она попыталась добиться внимания мужчины, и у нее ничего не вышло. Лишь любовь порождает любовь, и только у совсем юных бывает иначе. А когда Жозефине стало ясно, что он проявлял к ней интерес лишь из доброты, она тут же поняла, что рана нанесена ее гордости, но не сердцу. Она быстро позабудет его самого, но никогда не забудет то, что от него узнала. Есть два типа мужчин: те, с кем флиртуют, и те, за кого выходят замуж. И с этой мыслью ее неутомимый взгляд небрежно скользнул по группе одиноких парней, чуть задержавшись на мистере Гордоне Тинсли, который на тот момент был одним из лучших игроков

команды Чикаго и, по слухам, самым богатым юношей на всем Среднем Западе. До сегодняшнего вечера он никогда не обращал внимания на юную Жозефину. А десять минут назад он неожиданно пригласил ее покататься с ним завтра на автомобиле.

Но он ей не нравился – и она решила отказаться. Незачем жадно хвататься за людей, ничуть ими не дорожа, и ради романтического получаса лишать себя грядущих возможностей. Ведь когда придет время, они могут обернуться серьезной перспективой. Она и не подозревала, что это была ее первая в жизни зрелая мысль, но так оно и было!

Музыканты оркестра укладывали свои инструменты в чехлы, юноша из Принстона по-прежнему был рядом с ней, продолжая ее умолять пойти с ним прогуляться под луной. Жозефина без всяких размышлений знала, что он из себя представлял, но луна ярко отсвечивала на оконных стеклах... Чувствуя облегчение, она взяла его под руку, и они пошли к красивой беседке, из которой она так недавно вышла, и повернулись друг к другу, и их лица были словно две маленькие луны под одной большой белой, висевшей над Голубым хребтом; его рука мягко обвилась вокруг ее податливых плеч.

– Ну и? – прошептал он.

– Да...

Сумасшедшее воскресенье

I

Настало воскресенье – не день, а некое «окно» в череде будней. Позади остались съемочные площадки и дубли, долгие ожидания под студийными кранами со свисающими микрофонами, сотни миль в день во все концы округа на автомобилях,

битвы изобретательных умов в переговорных, непрерывный компромисс, конфликты и перемирия множества индивидуумов в борьбе за существование... И вот наступает воскресенье, и снова начинается обычная жизнь, и снова в глазах, в которых накануне вечером читалось лишь утомление от будничного однообразия, появляется яркий огонек! Медленно, по часам, убывают будни, и оживают люди, будто «Фея кукол» в игрушечной лавке: по углам вспыхивают жаркие споры; любовники, нежно обнявшись и прильнув друг к другу, исчезают в коридоре. И у всех в голове звучит: «Торопись, еще не поздно, но, бога ради, поторопись, ведь эти блаженные сорок часов досуга кончатся так скоро!»

Джоул Коулз писал сценарии. Ему было двадцать восемь, Голливуд его еще не сломил. Он приехал сюда шесть месяцев назад; работа попадалась интересная, поэтому он с большим энтузиазмом выдавал свои сцены и эпизоды. Называя себя из скромности «писателем по вызову», он вовсе и не думал считать свою работу чем-либо подобным. Его мать была популярной актрисой; Джоул провел детство между Лондоном и Нью-Йорком, пытаясь не смешивать реальность с иллюзиями или хотя бы научиться угадывать разницу заранее. Он был красивым мужчиной с огромными карими глазами; точно такие же смотрели на бродвейскую публику с лица его матери в 1913 году.

Приглашение убедило его, что он уже чего-то достиг. Обычно он не ходил в воскресенье по гостям, а брал работу на дом и пребывал в полнейшей трезвости. Недавно ему выдали в работу пьесу Юджина О'Нила, предназначенную для одной весьма важной дамы. Все, что он до сих пор сделал, нравилось Майлзу Кальману, а Майлз Кальман был единственным режиссером на студии, который не работал под чьим-либо руководством и отчитывался непосредственно перед толстосумами. Карьера Джоула складывалась удачно. («С вами говорит секретарь Майлза Кальмана; он приглашает вас к себе в воскресенье, с четырех до шести... Адрес – Беверли-Хиллз, дом...»)

Джоул был польщен. На вечеринки в этом доме собиралось самое лучшее общество. Приглашение он счел наградой, врученной ему как многообещающему юному дарованию. У Кальмана, вероятно, соберется окружение Мэрион Дэвис, всякие «шишки», финансовые воротилы; возможно, появятся даже Дитрих, и Гарбо, и Дон Маркис – люди, которые вообще редко появляются на виду.

«Пить я не буду», – сказал он себе. Было общеизвестно, что Кальман не любил пьяниц и вслух сожалел, что без них при производстве фильмов не обойтись.

Джоул был согласен, что сценаристы чересчур много пьют, он и сам был такой, но только не в этот вечер! Ему хотелось, чтобы Майлз оказался поблизости, когда будут разносить коктейли, а он без лишних слов, скромно, скажет официанту: «Нет, спасибо».

Поместье Майлза Кальмана должно было производить неизгладимое впечатление: обычно казалось, что в молчаливых, простирающихся вдаль аллеях спряталась невидимая внемлющая публика, готовая вот-вот разразиться овацией; однако в этот вечер повсюду были люди, и казалось, что собрались они не по приглашению, а по обязанности. Джоул с гордостью отметил, что среди гостей было всего лишь двое других сценаристов со студии: один почтенный английский сквайр и, к его немалому удивлению, Нэт Кеог, который и был причиной высказывавшихся вслух недовольных замечаний Кальмана о пьяницах.

Стелла Кальман (Стелла Уолкер, само собой!) не стала спешить к другим гостям после того, как поприветствовала Джоула. Она задержалась рядом с ним и посмотрела на него своими прекрасными глазами – взгляд взывал, требуя поклонения, и Джоул тут же натянул на себя подобающую случаю маску; это умение он впитал с молоком матери.

– Боже мой, да ведь ты еще несовершеннолетняя! И где же твой малютка-пони?

Она явно была польщена; она не спешила. Ему нужно было сказать что-нибудь еще, что-нибудь бодрое и непринужденное, – они познакомились еще в ту пору, когда она в тяжелой борьбе добывала любые эпизодические роли в Нью-Йорке. Откуда ни возьмись, рядом возник поднос, и Стелла сунула ему в руку бокал с коктейлем.

– Все боятся, да? – сказал он, рассеянно глядя на бокал. – Все только и делают, что внимательно следят за чужими промахами и стараются общаться с теми, кто может быть им полезен. Конечно, это не относится к вашему дому, – торопливо поправил себя он. – Я говорю о Голливуде в целом.

Стелла согласилась. Она представила Джоулу несколько человек, будто он был очень важной персоной. Успокаивая себя мыслью о том,

что Майлз находится в другом конце комнаты, Джоул выпил коктейль.

– У тебя же теперь ребенок? – сказал он. – Ну, держи ухо востро! Когда красивая женщина рождает первого ребенка, она становится очень уязвимой, потому что ей требуется постоянно напоминать о том, что ее шарм никуда от нее не делся. Ей необходима новая и беззаветная мужская любовь, которая докажет ей, что она ничего не утратила.

– А вокруг меня нет никакой беззаветной любви, – пожаловалась Стелла.

– Все опасаются твоего мужа!

– Думаешь, это из-за него? – Она наморщила лоб, задумавшись; разговор оборвался именно в тот момент, который выбрал бы сам Джоул, если бы его об этом спросили.

Ее внимание придало ему уверенности. Нет, не станет он пристраиваться к разным группам гостей, чтобы чувствовать себя в безопасности, не станет и искать убежища под крылом находившихся в этой комнате знакомых! Он подошел к окну и посмотрел на Тихий океан, бесцветный в лучах медлительного заката. Здесь было здорово: Американская Ривьера и все такое, лишь бы было время всем этим пользоваться... Красивые, прекрасно одетые люди в комнате, красивые девушки и... Ну да, красивые девушки. Что толку желать все и сразу?

Он взглянул на свежее, почти мальчишеское лицо Стеллы – у нее были усталые веки, одно всегда чуть опускалось на глаз; она ходила туда-сюда, общалась с гостями, а ему хотелось, чтобы она присела рядом и завела долгий разговор, как самая обычная девушка, чье имя не мелькает на экране; он следил за ней взглядом, пытаясь уловить, уделяет ли она кому-нибудь столько же внимания, сколько уделила ему. Он взял еще коктейль – не потому, что хотел почувствовать себя увереннее, а потому, что уверенность внушила ему она. Затем он присел рядом с матерью режиссера.

– Ваш сын уже стал легендой, миссис Кальман, его называют «Оракулом», «Избранником судьбы» и все такое прочее. Я лично против него, но я – в меньшинстве. А что думаете о нем вы? Вы рады? Вы удивлены, как далеко он продвинулся?

– Нет, я вовсе не удивлена, – спокойно ответила она. – От Майлза мы всегда ждали многого.

– Надо же, как необычно, – заметил Джоул. – А я думал, что матери всегда ведут себя, как мать Наполеона! Моя мама всегда хотела, чтобы я никоим образом не связывался с индустрией развлечений. Она желала, чтобы я поступил в академию «Вест-Пойнт» и всегда чувствовал себя уверенно.

– Мы всегда верили в Майлза...

Он остановился у бара в столовой и разговорился с добродушным, сильно пьющим и высокооплачиваемым Нэтом Кеогом.

– ... я заработал сотню тысяч за год, сорок тысяч я проиграл, так что теперь я нанял себе управляющего.

– Хочешь сказать, агента? – переспросил Джоул.

– Нет, это у меня уже есть. Я говорю об управляющем! Я все отписываю своей жене, а затем он и жена собираются вместе и выдают мне деньги. Я плачу управляющему пять тысяч в год только за то, чтобы он выдавал мне мои же деньги!

– Ты хочешь сказать, твоему агенту?

– Да нет же, моему управляющему; и я не один такой, его многие безответственные люди нанимают.

– Слушай, но если ты безответственный, то откуда вдруг у тебя взялось столько ответственности, чтобы нанять управляющего?

– Я безответственный только в плане игры. Смотри...

Началось выступление какого-то певца; Джоул и Нэт, как и все остальные, пошли слушать.

II

Пение не произвело на Джоула никакого впечатления; он был рад, что он здесь, он был бы рад подружиться со всеми присутствующими: великолепными людьми, работавшими в киноиндустрии, стоявшими много выше буржуазии, превзошедшей их в невежестве и беспутной жизни, достигшими выдающегося положения в глазах нации, вот уже

десятилетие жаждавшей лишь развлечений. Они все ему нравились – он любил их. Он плавал в накативших на него волнах симпатии.

Когда певец кончил песню и гости потянулись к хозяйке, чтобы поблагодарить ее за приятно проведенный вечер, у Джоула родилась идея. Он покажет им «Подинамичнее» – сценку собственного сочинения. Это был его единственный «светский» номер, он уже с успехом демонстрировался на нескольких вечеринках и, возможно, понравится Стелле Уолкер. Под властью момента по его сосудам беспорядочно забегали алые молекулы развязности, и он подошел к Стелле.

– Ну конечно! – воскликнула она. – Пожалуйста! Тебе что-нибудь понадобится?

– Нужен кто-то на роль секретарши, которой я буду диктовать.

– Я подыграю.

Молва разнеслась быстро; из холла, где некоторые гости уже успели надеть пиджаки, чтобы уходить, стали подтягиваться люди, и Джоул оказался лицом к лицу с толпой незнакомцев. Едва до него дошло, что выступавший перед ним человек был популярным радиоведущим, как у него тут же появилось нехорошее предчувствие. Кто-то зашикал, призывая к тишине, и он остался один на один со Стеллой; вокруг них зловещим полукольцом, как индейцы, выстроились зрители. Стелла выжидающе улыbnулась, и он начал.

Номер высмеивал известный недостаток образования и культуры, присущий независимому продюсеру мистеру Дэйву Зильберштейну; по сценарию Зильберштейн надиктовывал меморандум по сюжету рассказа, который он только что приобрел для переработки в сценарий.

– ... рассказ о разводе, о молодежи и об Иностранном легионе... – произносил он с характерными интонациями мистера Зильберштейна. – Но надо подинамичнее, понимаешь?

Внезапно его пронзила острая боль сомнения. В нежно «выстроенном» свете на него смотрели внимательные и заинтересованные глаза, но ни на одном лице не виднелось и тени улыбки; прямо перед ним находился «великий любовник» экрана, но глядел он на него так, словно эти глазки находились на картофелине, а не на человеческом лице. Лишь Стелла Уолкер поглядывала на него снизу вверх с неизменно лучезарной улыбкой.

– Если мы его сделаем типа Менжу, то получится что-то вроде книжки Майкла Арлена, но в декорациях Гонолулу!

И вновь в первых рядах ни намек на смех, а на галерке послышался явственный шорох подошв, направлявшихся влево, к выходу.

– ... затем она говорит: «У меня на тебя стоит», а он взрывается и говорит: «Конечно, валяй – разбейся в лепешку...»

В какой-то момент он услышал, как прыснул Нэт Кеог; кое-кто смотрел на него с одобрением. Однако когда он закончил, то до отвращения ясно осознал, что только что свалял дурака на глазах у важнейшей части киномира – людей, чья благосклонность являлась ключом его карьеры.

На некоторое время повисла сконфуженная тишина, нарушаемая лишь шорохом начавшегося исхода в направлении дверей. Он почувствовал, как его окутывают еще не видимые волны насмешки, ощущавшейся в воцарившемся шелесте разговоров; затем – все это длилось не более десяти секунд – «великий любовник», с глазками жесткими и пустыми, словно игольное ушко, неодобрительно зашикал, выражая обертонами подхваченное им общее настроение. Это было негодование профессионала по отношению к любителю, злоба общины, направленная на чужака, опущенные вниз большие пальцы старейшин рода.

Одна лишь Стелла Уолкер все еще стояла рядом и благодарила его, будто он снискал небывалый успех, будто она и не заметила, что номер никому не понравился. Влезая с помощью Нэта Кеога в пальто, он испытал глубочайшее отвращение к самому себе и отныне зарекся демонстрировать какие-либо низкие чувства как минимум до тех пор, пока не исчезнет их влияние.

– Провал! – как можно беспечнее сказал он Стелле. – Но вообще это хороший номер, если публика доброжелательная. Спасибо за помощь!

Улыбка не сходила с ее лица; пьяно покачиваясь, он откланялся, и Нэт потащил его к дверям.

II

Утром принесли завтрак, и он окончательно проснулся; мир вокруг был расколот и разрушен. Еще вчера он был самым собой: яростным бойцом с поточным методом кинопроизводства, ну а сегодня он чувствовал себя раздавленным под тяжким спудом неудачи – перед глазами стояли вчерашние лица, и каждое излучало презрение, и все, как один, над ним смеялись... Но самым печальным было то, что для Майлза Кальмана он теперь стал одним из этих бессовестных «пьяниц» – одним из тех, с кем Кальман был вынужден, скрепя сердце, работать. Ему было страшно представить, что теперь о нем думает Стелла Уолкер, которую он обрек на муки – ведь хозяйка дома не могла не изображать учтивость! Пищеварительная система отказалась работать и его стошнило яйцами всмятку прямо на телефонный столик. Он стал писать:

Дорогой Майлз! Ты вряд ли сможешь представить, как глубоко я сам себе противен. Я действительно страдаю пороком развязности – но, Боже мой, в шесть вечера, почти при свете дня! Передай мои извинения супруге.

Твой Джоул Коулз.

Из рабочего кабинета на студии Джоул вышел лишь раз и, словно преступник, прокрался к табачной лавке. Выглядел он столь подозрительно, что попавшийся на пути дежурный полицейский попросил предъявить пропуск. Обедать он пошел «в город», но по пути столкнулся с Нэтом Кеогом, излучавшим уверенность и хорошее настроение.

– И с чего ты решил, что надо увольняться? Подумаешь, «щеголек» тебя освистал!

– Я тебе сейчас кое-что расскажу, – продолжил он, увлекая Джоула за собой в столовую на студии. – Однажды после премьеры в кинотеатре Граумана Джо Сквайрс пнул его ногой в зад прямо во время выхода к зрителям. Этот бездарь заявил, что с Джо он еще разберется, но когда на следующий день в восемь утра Джо позвонил ему и сказал: «Ну что, когда будем разбираться – я готов!», он вместо ответа просто бросил трубку!

Нелепая история подбодрила Джоула, а угрюмое созерцание группы за соседним столиком слегка его утешило: там сидели работавшие на цирковой картине грустные и прекрасные сиамские близнецы, а также жалкие карлики и гордый гигант. Желтолицые красавицы с меланхоличными, подведенными тушью и оттого пугающими глазами, в вечерних платьях, казавшихся безвкусными при свете дня... За их спинами он вдруг заметил людей, которые были в гостях у Кальманов, и вздрогнул.

– Никогда и ни за что! – вслух воскликнул он. – Кто бы ни позвал – больше в Голливуде я ни в какие гости не пойду!

На следующее утро в кабинете его ждала телеграмма:

*ТЫ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВСЕХ ГОСТЕЙ ВСКЛ
БЫЛА ОЧЕНЬ РАДА ВИДЕТЬ ТЕБЯ У НАС ТЧК
ПРИГЛАЩАЮ ФУРЦЕТ МОЕЙ СЕСТРЫ ДЖУН
СЛЕДУЮЩЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ТЧК
СТЕЛЛА УОЛКЕР КАЛЬМАН*

Он вдруг почувствовал, что кровь по венам побежала быстрее и лихорадочней. Не веря, он прочитал телеграмму еще раз.

– В жизни бы не подумал, что бывают такие приятные неожиданности!

III

И вновь настало сумасшедшее воскресенье. Джоул проснулся в одиннадцать, затем почитал газету, чтобы быть в курсе событий за прошедшую неделю. Позавтракал у себя в комнате, заказав форель, салат из авокадо и пинту калифорнийского вина. Надо было собираться на фуршет – он выбрал костюм в мелкую клетку, голубую рубашку, желтовато-красный галстук. Взгляд был усталым, под глазами – темные круги. В дом на Ривьере он прибыл на своем потрепанном автомобиле. Представился сестре Стеллы, и тут же подъехали Майлз и Стелла, прямо в костюмах для верховой езды; весь вечер они неистово ссорились, разъезжая по грязным дорогам за холмами Беверли-Хиллз.

Майлз Кальман – высокий, нервный, в ужасном настроении и с таким несчастным взглядом, какого Джоулу еще не доводилось видеть, – был целиком и полностью художником, начиная с головы неправильной формы и заканчивая грубыми, как у негра, ступнями. На них он стоял очень крепко: ни одну из сделанных им картин нельзя было назвать дешევкой, хотя временами ему и приходилось сполна расплачиваться за роскошь экспериментов кассовыми провалами. В его обществе было всегда легко и весело, но, проведя с ним какое-то время, любому бросалось в глаза: этот человек нездоров.

Как только они вошли, между ними и Джоулом установилась сложная и неразрывная связь. Он присоединился к собравшейся вокруг них группе гостей, и Стелла тут же отвернулась от них, в нетерпении прищелкнув язычком, а Майлз Кальман сказал рядом стоящему человеку:

– С Евой Гебель надо поосторожнее! В быту она обходится недешево. – И Майлз повернулся к Джоулу: – Очень жаль, что мы с тобой вчера на работе так и не поговорили. Мне пришлось весь вечер провести у аналитика...

– Ты ходишь к психоаналитику?

– Уже несколько месяцев. Сначала лечил клаустрофобию, а теперь хочу навести порядок в своей жизни. Он говорит, что за год управимся.

– Да брось ты! Нет у тебя никаких проблем, – возразил Джоул.

– Не скажи... По крайней мере, Стелла считает, что есть. Да спроси любого – тебе тут всякий обо мне расскажет, – язвительно ответил он.

Какая-то девушка уселась на ручку кресла Майлза; Джоул отошел и направился к Стелле, мрачно стоявшей у камина.

– Спасибо за телеграмму! – сказал он. – Чертовски мило с твоей стороны! Я и не подозревал, что столь красивая женщина может обладать такой добротой!

Сегодня она казалась ему красивой, как никогда, – возможно, это безмерное обожание в его глазах и подтолкнуло ее облегчить душу; она даже не задумывалась, потому что явно дошла до точки эмоционального кипения.

– ... а Майлз уже два года с ней путается, а я ничего и не подозревала! Она же была моей лучшей подругой, приходила к нам чуть не каждый день! Ну а когда мне стали уже совершенно посторонние люди рассказывать, Майлзу пришлось признаться.

Она резко присела на ручку кресла Джоула. Ее галифе были того же цвета, что и кресло, и еще Джоул отметил, что копна ее волос состояла из прядей двух оттенков: червонного и белого золота, так что это была не краска; и еще она не пользовалась косметикой. Она была такая красивая...

Все еще дрожа от удара, которым стало для нее это открытие, Стелла не могла видеть, как очередная новая девушка вьется вокруг Майлза; она увлекла Джоула в спальню, и, усевшись по разные стороны большой кровати, они продолжили разговор. К ним заглядывали люди по пути в туалет, отпускали шуточки, но Стелла, которой необходимо было выговориться, не обращала на них никакого внимания. Через некоторое время в дверях показалась голова Майлза, который сказал: «Какой смысл пытаться за полчаса объяснить Джоулу то, чего я и сам не понимаю, а если верить психоаналитику, смогу понять не раньше чем через год?»

Она продолжала говорить так, словно здесь и не было никакого Майлза. Она любила Майлза, говорила она, и, несмотря на значительные трудности, она всегда была ему верна.

– Психоаналитик сказал Майлзу, что у него «материнский комплекс». Женившись в первый раз, он тут же стал ассоциировать свою жену с матерью, а затем его либидо направилось на меня. Но когда он женился на мне, все повторилось – меня он стал воспринимать как мать, а либидо направил на другую женщину.

Джоул понимал, что это, скорее всего, никакая не чушь – и все же звучало чудно. С Евой Гебель он был знаком: она была по-матерински заботливой женщиной, старше и, может быть, мудрее Стеллы, которая была, по общему мнению, «чудесное дитя».

В этот момент Майлз с раздражением предложил Джоулу ехать с ними домой, раз уж Стелле захотелось поговорить; и они поехали в особняк на Беверли-Хиллз. Под высокими потолками особняка ситуация вдруг обрела черты высокой трагедии. Вечер был жутко ясным, прямо за окнами стояла тьма, а по комнате яростно металась в истерике златовласая Стелла. Джоул не очень-то верил в горе киноактрисы. У них ведь ведь совсем другие заботы – жизнь в их прекрасные златовласые тела вдыхают сценаристы и режиссеры, а по вечерам после съемок им самой судьбой суждено сидеть без дела и шептаться, хихикая и злословя, и на них, но не задевая их, должны оканчиваться множества приключений.

Иногда он притворялся, что слушает, а вместо этого думал о том, как хорошо она одета – гладкие галифе с соответствующей парой ног в них, свитер под горло в цветах итальянского флага, короткая куртка из коричневой замши. Он никак не мог решить, была ли она искусным подражанием английским леди или же это английские леди подражали ей? Она парила где-то между самой материальной реальностью и несомненным из олицетворений.

– Майлз так ревнует, что не доверяет мне ни в чем, – презрительно воскликнула она. – Когда я ездила в Нью-Йорк, то написала ему, что ходила в театр с Эдди Бейкером. Майлз так ревновал, что звонил мне по десять раз на дню!

– Я был вне себя. – Майлз громко шмыгнул носом – эта привычка проявлялась у него при стрессе. – Аналитик за неделю не добился никакого результата.

Стелла безнадежно покачала головой:

– А ты хотел, чтобы я три недели безвылазно просидела в гостинице?

– Я ничего не хотел! Признаюсь: да, я ревную! Я стараюсь не ревновать, но... Мы с доктором Бриджбейном пытались над этим поработать, но ничего не вышло. Я и сегодня ревновал к Джоулу, когда ты сидела на ручке его кресла.

– Ты ревновал?! – Ее аж передернуло. – Надо же, он ревновал! А на твоём кресле, случайно, никого не было? Ты за два часа мне хоть слово сказал?

– Но ты ведь была в спальне и рассказывала Джоулу о своих проблемах!

– Когда я думаю о том, что эта... Эта женщина... – кажется, она решила, что если не называть Еву Гебель по имени, то от этого она быстрее дематериализуется, – приходила сюда...

– Хорошо, хорошо, – устало сказал Майлз. – Я во всем признался, и мне так же плохо, как и тебе. – Повернувшись к Джоулу, он стал говорить о кино, а Стелла беспокойно шагала туда-сюда в другом углу комнаты, засунув руки в карманы галифе.

– Они ужасно поступают с Майлзом, – сказала она, как ни в чем не бывало включившись в разговор, словно это не они только что обсуждали семейные проблемы. – Милый, расскажи ему, как старикан Бельтцер пытался испортить твою картину!

Она остановилась, всем своим видом демонстрируя, что готова тут же встать на защиту Майлза; глаза ее пылали негодованием по отношению к его врагам, и Джоул понял: да ведь он же любит ее! Не в силах от волнения ровно дышать, он встал и отклонялся.

В понедельник неделя вновь вошла в рабочую колею, резко контрастирующую с воскресными умозрительными разговорами, сплетнями и скандалами; бесконечные подробности переписываемого сценария: «Вместо паршивого наплыва оставляем ее голос на звуковой дорожке и тут же монтируем средний план внутри такси, со стороны Белла; либо камера отъезжает назад, на экране появляется станция, какое-то время держим статичный план, затем панорамный план на стоянку такси...»; к вечеру понедельника Джоул уже забыл, что людям, чьей профессией было развлекать, тоже была доступна роскошь развлечений. Вечером он позвонил по телефону Майлзу домой. Он спросил Майлза, но к телефону подошла Стелла.

– Ну что, помирились?

– Не совсем. У тебя есть планы на вечер в следующую субботу?

– Да вроде бы нет...

– Перри приглашают на ужин и на вечеринку в театр, а Майлза не будет: он улетает в Саут-Бенд смотреть матч «Нотр-Дам» – «Калифорния». Я подумала: может, ты пойдешь со мной вместо него?

Джоул надолго задумался и сказал:

– Ну, что ж... Пожалуй. Если будет совещание, то на ужин я не успею, но в театр – точно получится.

– Ну, тогда я говорю, что мы будем.

Джоул пошел в свой кабинет. На фоне натянутых отношений в семействе Кальманов было непонятно, как отреагирует Майлз, – или же она и не собиралась ничего говорить Майлзу? Ну, об этом и думать было нечего: если не заговорит Майлз, то Джоул сам ему все расскажет. Но вернуться к работе после этого звонка ему удалось только спустя час.

В среду, в заполненной планетами и туманностями сигаретного дыма переговорной, уже четвертый час шел ожесточенный спор. Трое мужчин и одна женщина по очереди мерили шагами ковер, высказывая и отменяя предложения, разговаривая то резко, то убедительно, то уверенно, то с отчаянием. По окончании совещания Джоул задержался, чтобы поговорить с Майлзом.

Он выглядел уставшим – не утомленным сегодняшним днем, а уставшим от жизни вообще; веки его набухли, а в отливающих синью складках у рта явственно проступала щетина.

– Я слышал, ты улетаешь на матч «Нотр-Дам»?

Майлз посмотрел куда-то мимо него и отрицательно покачал головой:

– Я передумал.

– Почему?

– Из-за тебя. – Он все еще избегал встречаться глазами с Джоулом.

– Какого черта, Майлз?

– Да, из-за тебя я и передумал. – Он небрежно рассмеялся сам над собой. – Боюсь представить, что может придумать Стелла мне назло – она ведь пригласила тебя сходить с ней к Перри, так ведь? Матч не доставит мне никакого удовольствия!

Чудесный инстинкт, всегда ведший его быстро и уверенно на съемочной площадке, становился слабым и беспомощным в обычной жизни.

– Послушай, Майлз, – нахмурившись, произнес Джоул. – Я к Стелле никогда даже не подкатывал. Если ты действительно собираешься отменить поездку из-за меня, то я не пойду с ней к Перри. Я к ней даже не подойду. Можешь мне полностью доверять.

Майлз посмотрел на него – на этот раз очень внимательно.

– Может быть. – Он пожал плечами. – В таком случае, найдется кто-нибудь другой. Мне там будет нехорошо.

– Кажется, ты не очень-то доверяешь Стелле. Она сказала мне, что всегда была тебе верна.

– Может, и была. – За последние несколько минут вокруг рта Майлза появились новые складки. – Но как я могу от нее чего-либо требовать после того, что случилось? Могу ли я ждать от нее... – Он умолк, и затем с ожесточением произнес: – Скажу тебе лишь одно. Прав я, не прав – неважно; что бы я ни сделал – тоже неважно. Но если вдруг у меня будут какие-либо доказательства против нее, я с ней разведусь. Я не могу позволить, чтобы она ранила мою гордость – для меня это станет последней соломинкой.

Джоула разозлил этот тон, но он сказал:

– Она уже успокоилась по поводу Евы Гебель?

– Нет. – Майлз пессимистично шмыгнул носом. – И я тоже никак не могу.

– А мне казалось, все прошло?

– Я стараюсь больше не видеться с Евой, но, знаешь ли, не так-то просто взять и просто выбросить ее из головы – мы ведь с ней не просто разок в такси поцеловались. Психолог говорит...

– Знаю, – перебил его Джоул. – Мне Стелла рассказывала. – Ему было очень тяжело это слушать. – Ну что ж, что касается меня – обещаю не видеться со Стеллой, если ты улетишь на игру. И я уверен, что больше у Стеллы никого на уме нет.

– Может, и нет, – вяло повторил Майлз. – Неважно. Я останусь и пойду с ней на вечеринку. Слушай! – вдруг добавил он. – Мне бы хотелось, чтобы ты тоже пошел. Мне нужно, чтобы рядом был кто-нибудь сочувствующий, с кем можно было бы поговорить. Вот в чем проблема: Стелла во всем находится под моим влиянием. И особенно это касается людей – ей нравятся все, кто нравится мне. Тут все очень сложно.

– Без всякого сомнения, – согласился Джоул.

IV

На ужин Джоул не успел. Стесняясь своего цилиндра и того, что рядом с ним – никого, он поджидал остальных перед входом в голливудский театр и смотрел на вечерний променад: перед ним фланировали грубые непохожие копии популярных кинозвезд, брели побитые жизнью мужчины в двубортных пальто, приплясывал дервиш, сложением напоминавший апостола, плыла пара нарядных филиппинок в студенческой форме, напоминавшие, что этот уголок республики омывается Мировым океаном; раздался долгий невообразимый шум, исторгаемый юными глотками: какое-то студенческое братство принимало новых членов. Толпа раздваивалась, огибая пару шикарных лимузинов, остановившихся у тротуара.

Рядом с ними стояла она; ее платье, напоминавшее поток ледяной воды, было соткано из тысячи бледно-голубых лоскутков, а ожерелье на шее, казалось, состояло из мелких сосуллек. Он пошел к ней.

– Тебе понравилось мое платье?

– Где Майлз?

– Он все-таки улетел на матч. Вчера утром – по крайней мере, я так думаю... – Она умолкла. – Я только что получила телеграмму из Саут-Бенда: он написал, что едет домой. Извини, я забыла: ты со всеми знаком?

Все четыре пары пошли в театр.

Итак, Майлз улетел, и теперь Джоул не знал, стоило ли ему приходить? Но во время спектакля, поглядывая искоса на профиль Стеллы под шапкой безупречных светлых волос, он совсем забыл о Майлзе. Он повернулся и посмотрел на нее, и она ответила, улыбнувшись и глядя ему прямо в глаза, пока он сам не отвел взгляда. В антракте они курили в фойе, и она прошептала:

– Они все собираются идти на открытие ночного клуба Джека Джонсона, но я туда не хочу, а ты?

– А это обязательно?

– Думаю, нет. – Она замаялась. – Я бы лучше с тобой поболтала. Думаю, что мы могли бы поехать ко мне... Если бы только знать наверняка...

Она снова умолкла, и Джоул спросил:

– Знать наверняка что?

– Ну, как... Ох, я не знаю. Может, я все чересчур близко к сердцу принимаю, но откуда мне знать, действительно ли Майлз улетел на игру?

– Хочешь сказать, что он может быть у Евы Гебель?

– Да нет, не до такой же степени... Но вполне могу представить, что он остался и наблюдает, что тут делаю я. Ты же знаешь, Майлз иногда творит странные вещи. Как-то раз ему захотелось выпить чаю в компании с бородачом, и он послал в актерское агентство, чтобы ему там подобрали кого-нибудь с бородой подлиннее, и потом весь вечер пил с ним чай.

– Ну, это другое. Он же послал тебе телеграмму из Саут-Бенда – это доказывает, что он на игре.

Выйдя на улицу по окончании пьесы, они попрощались со всеми остальными, ответившими им веселыми взглядами. Они ускользнули вдоль по безвкусно блестящей золотом дорожке в толпе, начавшей собираться вокруг Стеллы.

– Видишь ли, телеграммы очень просто можно организовать, – сказала Стелла.

Это было действительно так. Джоул рассердился, подумав о том, что ее беспокойство могло иметь основания; но если Майлз «держал их на мушке», тогда у него не могло быть никаких обязательств по отношению к Майлзу. Вслух он сказал:

– Это глупость.

В витринах магазинов уже стояли наряженные елки, и полная луна над бульваром казалась нарисованной на заднике – она выглядела такой же декорацией, как и огромные фонари – торшеры на перекрестках. Под темной листвой Беверли-Хиллз, вспыхивавшей, будто эвкалипты днем, Джоул видел лишь проблески бледного лица

чуть пониже его лица и изгиб ее плеча... Вдруг она отодвинулась и посмотрела ему в глаза.

– У тебя глаза, как у твоей матери, – сказала она. – У меня раньше был целый альбом с ее фотографиями из журналов.

– А твои глаза – только твои и ни на чьи не похожи, – ответил он.

Что-то заставило Джоула взглядеться в окрестности, когда они подошли к дому – будто где-то в кустах прятался Майлз. На столике в холле ждала телеграмма. Она прочитала вслух:

*ЧИКАГО ТЧК
ДОМА ЗАВТРА ВЕЧЕРОМ ТЧК
СОСКУЧИЛСЯ ЛЮБЛЮ ТЧК
МАЙЛЗ.*

– Вот видишь, – сказала она, бросив бумажку обратно на стол, – он легко мог это подстроить.

Она попросила дворецкого принести напитки, сэндвичи и убежала наверх, а Джоул пошел в пустую гостиную. Совершенно случайно он набрел на пианино, у которого с позором стоял два воскресенья назад.

– И тогда у нас получится, – произнес он вслух, – рассказ о разводе, о молодежи и об Иностранном легионе.

Он вспомнил про другую телеграмму.

«Ты самый лучший из всех гостей...»

Вдруг в голову ему пришла новая мысль. Если телеграмма Стеллы была всего лишь вежливостью, значит, очень может быть, что ее придумал Майлз – потому что приглашал-то его Майлз! Возможно, Майлз сказал:

«Пошли ему телеграмму – ему, наверное, сейчас погано; он наверняка думает, что опозорился».

Такой поступок вполне соответствовал сказанному им: «Стелла во всем находится под моим влиянием. И особенно это касается людей – ей нравятся все, кто нравится мне». Женщина могла бы поступить так

из сострадания, но лишь мужчина мог поступить так из чувства ответственности.

Когда в комнате появилась Стелла, он взял ее руки в свои.

– У меня возникло такое странное чувство, будто я – всего лишь пешка в игре, которую ты ведешь против Майлза, – сказал он.

– Налей себе выпить.

– И что еще более странно – я все равно тебя люблю!

Зазвонил телефон, и она высвободила свои руки, чтобы ответить.

– Еще одна телеграмма от Майлза, – объявила она. – Он отправил ее с самолета над Канзас-Сити – по крайней мере, они так сказали.

– Наверное, передает мне привет?

– Нет, он просто пишет, что любит меня. Я ему верю. Он такой слабый.

– Иди сюда, садись, – позвал ее Джоул.

Было еще рано. Когда спустя полчаса Джоул подошел к остывшему камину, до полуночи все еще оставалась пара минут; он отрывисто сказал:

– Я тебе совсем не нравлюсь?

– Вовсе нет! Меня к тебе очень тянет, и ты это знаешь. Но дело в том, что я, видимо, на самом деле люблю Майлза.

– Очевидно, так.

– А сегодня мне почему-то очень беспокойно.

Он не сердился – он даже был отчасти рад, что смог избежать возможных осложнений. И все-таки, глядя на нее, представляя, как тепло и мягкость этого тела растапливают лед голубого платья, он знал, что всегда будет с сожалением вспоминать этот миг.

– Ну, мне пора, – сказал он. – Я позвоню, вызову такси?

– Ни в коем случае – у нас есть машина и дежурный шофер.

Он вздрогнул от столь явной готовности его выпроводить; заметив это, она по-дружески его поцеловала и сказала: «Ты очень милый, Джоул». Затем вдруг произошло сразу три события: он залпом допил свой стакан, на весь дом затрезвонил телефон и стали бить трубным гласом часы.

Девять... Десять... Одиннадцать... Двенадцать...

И вновь настало воскресенье. Джоул неожиданно осознал, что вчера вечером явился в театр, словно на работу, – работа окутывала его, будто саван. И Стеллу он соблазнял так, будто торопливо атаковал какую-то очередную проблему, которую нужно было решить до конца дня. Но наступило воскресенье, и перед ним развернулась приятная, исполненная ленивой неги перспектива ближайших двадцати четырех часов: к каждой минуте следовало подходить с усыпляющей уклончивостью, в каждом мгновении содержались ростки безграничных возможностей. Невозможное исчезло – все только начиналось. Он налил себе еще выпить.

Резко вскрикнув, Стелла неуклюже поскользнулась, выронив телефон. Джоул поднял ее и уложил на диван. Сбрызнул газировкой носовой платок и слегка похлопал им ее по лицу. В телефоне кто-то все еще продолжал усердно жужжать, и он приложил трубку к уху.

– ... самолет упал совсем рядом с Канзас-Сити. Тело Майлза Кальмана было найдено и опознано...

Он повесил трубку.

– Лежи тихо, – сказал он, застыв, когда Стелла открыла глаза.

– Что случилось? – прошептала она. – Позвони им. Что случилось?

– Я им сейчас позвоню. Как вызвать вашего врача?

– Они сказали, что Майлз умер?

– Лежи тихо... Кто-нибудь из прислуги еще не спит?

– Держи меня... Мне страшно.

Он приобнял ее.

– Как вызвать вашего врача? – строго повторил он. – Возможно, это ошибка, но я все равно хочу, чтобы он приехал.

– Нужно вызвать доктора... Доктора... О, господи, неужели Майлз умер?

Джоул побежал наверх и стал искать по чужим аптечкам нашатырь. Когда он спустился вниз, Стелла сквозь плач вскрикивала:

– Он не умер! Я знаю, что нет. Это часть его плана. Он решил меня помучить! Я уверена, что он жив. Я это чувствую!

– Я хочу вызвать каких-нибудь твоих близких друзей, Стелла. Тебе сегодня лучше не оставаться одной.

– Нет, нет! – всхлипнула она. – Я никого не хочу видеть. Оставайся ты, у меня нет никаких друзей. – Она встала, по ее лицу катились слезы. – Майлз был моим единственным другом. Он не умер – он не мог умереть! Я поеду туда прямо сейчас, и мы во всем разберемся. Узнай, когда поезд. Ты поедешь со мной.

– Это невозможно. Прямо сейчас, ночью, ничего не выйдет. Скажи мне имя какой-нибудь женщины, которой можно позвонить. Лоис? Джоан? Кармель? Кого можно позвать?

Стелла ошеломленно посмотрела на него.

– Ева Гебель была моей лучшей подругой, – сказала она.

Джоул вспомнил Майлза, каким печальным и отчаявшимся он выглядел два дня назад, на работе. В ужасной тишине после его смерти он вдруг понял всю правду о нем. Майлз был единственным родившимся в Америке режиссером, обладавшим ярко выраженным характером и сознанием художника. Опутанный сетями киноиндустрии, он заплатил своей разрушенной нервной системой за то, что не умел быстро восстанавливать силы, не обладал здоровым цинизмом, не умел прятаться и оказался способен лишь на жалкий и рискованный побег.

У двери на улицу раздался какой-то шум – дверь открылась, и в холле послышались шаги.

– Майлз! – взвизгнула Стелла. – Майлз, это ты? Это ведь Майлз, правда?

В дверях показался посыльный с телеграммой:

– Простите, не нашел звонок. Услышал, как вы здесь разговариваете...

Телеграмма содержала тот же текст, который только что продиктовали по телефону. Пока Стелла перечитывала ее снова и снова, будто это была неправда, Джоул сел на телефон. Время все еще было не совсем позднее, поэтому он никак не мог никого найти; когда, наконец, ему удалось дозвониться до какой-то приятельницы, он налил джина и заставил Стеллу выпить, не разбавляя.

– Останься со мной, Джоул, – прошептала она, будто в полудреме. – Не уходи! Ты нравился Майлзу... Он говорил, что ты... – Она сильно задрожала. – О, боже, как же мне одиноко! – Глаза ее закрылись. – Обними меня. У Майлза был точно такой же костюм. – Она внезапно села прямо, вытянувшись стрункой. – Только подумай, что он чувствовал! Он ведь практически всего и всегда боялся.

Она изумленно помотала головой.

Неожиданно она схватила Джоула и притянула его лицо к себе:

– Ты не уйдешь! Я ведь нравлюсь тебе – ты ведь меня любишь, правда? Не надо никому звонить. Завтра времени будет достаточно. Останься сегодня у меня ночевать!

Он недоверчиво уставился на нее – затем его как громом поразило. В своем помраченном сознании Стелла пыталась сохранить Майлзу жизнь, не давая завершиться ситуации, в которой фигурировал он живой, как будто разум Майлза продолжил бы свое существование до тех пор, пока существовали беспокоившие его возможные события. Это была безумная и мучительная попытка отсрочить окончательное осознание того факта, что Майлз был мертв.

Джоул решительно взялся за телефон и позвонил доктору.

– О, нет! Только никому не звони! – воскликнула Стелла. – Иди же сюда и обними меня!

– Попросите, пожалуйста, доктора Бейлза.

– Джоул! – воскликнула Стелла. – А я-то думала, что на тебя можно рассчитывать! Ты нравился Майлзу. Он ревновал к тебе... Джоул, иди ко мне!

Да уж... Если он предаст Майлза, тот для нее еще какое-то время не умрет – но только как его можно было предать, если он уже мертв?

– ... испытала очень тяжелое потрясение. Прошу вас приехать как можно скорее – и еще, пожалуйста, пригласите сиделку.

– Джоул!

В этот момент дверной звонок и телефон стали трезвонить без перерыва, а к дому стали подъезжать автомобили, останавливаясь рядом.

– Только не уходи, – взмолилась Стелла. – Ты ведь останешься, правда?

– Нет, – ответил он. – Но я вернусь, если я тебе понадобится.

Остановившись на крыльце дома, который теперь гудел и трепетал от жизни, которая всегда суется вокруг смерти, будто защитная листва, он почувствовал комок в горле, а к глазам подступили слезы.

«Все, к чему он прикасался, волшебным образом менялось, – подумал он. – Ему даже удалось вдохнуть жизнь в этого гамена и создать из нее шедевр в своем роде».

А затем:

«Какую же чертовски огромную дыру он оставляет в этой проклятой пустыне – да что там, уже оставил!»

И затем с горечью: «О, да – я вернусь... Я-то еще вернусь!»

Злом зла не поправишь

I

— Ну, как ботиночки? – сказал Билл. – Двадцать восемь долларов! Мистер Бранкузи посмотрел внимательно:

– Шикарно!

– Сделаны на заказ!

– Ну, ты у нас известный денди. Но ведь пригласил ты меня не только ради ботинок, а?

– Никакой я не денди! Это кто говорит, что я какой-то там денди? – возразил Билл. – Это все потому, что я образован гораздо лучше, чем большинство тех, кто занимается шоу-бизнесом!

– Ладно, но ты ведь не станешь отрицать, что ты – красивый молодой человек? – сухо сказал Бранкузи.

– Конечно нет, а по сравнению с тобой так уж наверняка! Девушки всегда думают, что я актер, пока не узнают правду... Есть сигаретка? Да что там: я еще и выгляжу как мужик – не чета всем этим приятным парнишкам, которые околачиваются у Таймс-сквер.

– Отлично выглядишь. Джентльмен. Дорогие ботинки. И удача преследует по пятам!

– Вот тут ты не прав! – возразил Билл. – Это все мозги! Три года, девять постановок, четыре хита – и всего один провал. И где же ты тут углядел удачу, а?

Слегка утомившись, Бранкузи просто молча посмотрел на него. И если бы его взгляд не стал непроницаемым и он бы не задумался о чем-то другом, то увидел бы он следующее: перед ним стоял нахальный молодой ирландец, распространявший вокруг себя агрессию и самоуверенность в таком объеме, что в кабинете от них уже дышать было нечем. Бранкузи знал, что чуть погодя Билл услышит собственный голос, устыдится и тут же переключится на свою другую манеру: скромное превосходство, чувствительность, этакий покровитель искусств по образу и подобию интеллектуалов из «Театральной гильдии». С манерой поведения Билл Макчесни еще окончательно не определился: такие противоположности редко находят баланс лет этак до тридцати.

– Вот возьми Эймса, возьми Хокинса, возьми Харриса – да любого возьми! – продолжал гнуть свое Билл. – Да кто они такие по сравнению со мной?! Что такое? Выпить хочешь? – Он увидел, как взгляд Бранкузи скользнул к шкафу у противоположной стены.

– Я не пью по утрам. Мне просто стало любопытно, кто же это там стучит? Надо бы как-то это прекратить. Меня всего аж передергивает, как психа, от таких вещей.

Билл быстро подошел к двери и распахнул ее.

– Никого, – сказал он. – Постой-ка. Эй, вам чего?

– Ох, простите ради бога! – послышался голос. – Извините! Я так разволновалась, что совсем забыла, что у меня в руках карандаш.

– И что вам здесь нужно?

– Я пришла к вам, а секретарь сказал, что вы заняты. У меня для вас письмо от Алана Роджерса, драматурга; я хотела вам передать его лично.

– Я занят, – сказал Билл. – Обратитесь к мистеру Кейдорну.

– Я обращалась, но он не очень-то любезен, а мистер Роджерс сказал...

Беспокойно выглянув из кабинета, Бранкузи ее оглядел. Она была юной, с чудесными рыжими волосами и читавшимся на лице,

несмотря на доносившийся лепет, характером; Бранкузи не мог знать, что в Делани, штат Южная Каролина, откуда она была родом, все такие.

– И что же мне теперь делать? – спросила она, покорно отдавая свое будущее в руки Билла. – У меня было письмо для мистера Роджерса, а он дал мне письмо к вам.

– И что вы от меня хотите? Жениться мне на вас теперь, что ли? – взорвался Билл.

– Я хотела бы получить роль в одной из ваших постановок.

– Тогда сидите и ждите! Я занят. Да где же мисс Кохалан?

Он позвонил в звонок, бросил еще один, сердитый, взгляд на девушку и закрыл дверь кабинета. За время этого неожиданного вторжения им овладела его другая манера, и разговор с Бранкузи он продолжил в новом ключе – с позиции человека, который чуть ли не рука об руку с Рейнхардтом сейчас работает над будущим театральной сцены.

К 12:30 он забыл обо всем, за исключением своего намерения стать величайшим продюсером в мире и о том, что сегодня за обедом с Солом Линкольном он ему об этом и сообщит. Выйдя из кабинета, он вопросительно посмотрел на мисс Кохалан.

– Мистер Линкольн не сможет с вами встретиться, – сказала она. – Он только что звонил.

– Только что?! – повторил потрясенный Билл. – Ну ладно; вычеркните его из списка на четверг.

Мисс Кохалан послушно провела линию на лежавшем перед ней листе бумаге.

– Мистер Макчесни, вы не забыли обо мне?

Он повернулся к рыжеволосой девушке.

– Нет, – рассеянно сказал он; затем обратился к мисс Кохалан: – Ладно, все отменяется. Пригласите его в четверг. Ну его к черту.

Обедать в одиночестве ему не хотелось. Теперь он уже ничего не желал делать в одиночестве, поскольку общение, как выяснилось, становится потрясающе интересным после того, как у тебя появляется выдающееся положение и власть.

– Если бы вы уделите мне пару минут... – начала она.

– Боюсь, я не смогу. – И вдруг он понял, что в жизни еще не видел такой красивой женщины!

Он уставился на нее.

– Мистер Роджерс мне сказал...

– Пойдемте перекусим вместе, – сказал он, а затем, сделав вид, что куда-то очень сильно торопится, выпалил мисс Кохалан несколько отрывистых противоречивых инструкций, после чего открыл и придержал дверь.

Они вышли на 42-ю улицу, и он вдохнул свой заранее застолбленный воздух – ведь воздуха там едва хватает лишь для небольшого количества одновременно находящихся там людей. Наступил ноябрь, и начало сезона с его традиционным оживлением уже кончилось, однако можно было взглянуть на восток – и увидеть светящуюся электрическими огнями рекламу одной из его постановок, бросить взгляд на запад – а там висела еще одна! За углом была еще одна, эту постановку он делал вместе с Бранкузи, но больше ни с кем и никогда, только самостоятельно!

Они пришли в «Бедфорд»; сразу же, как только он вошел, засуетились официанты и метрдотели.

– Очень симпатичный ресторан, – сказала она, находясь под впечатлением и желая сделать ему приятное.

– Мекка лицедеев. – Он кивнул нескольким людям: – Привет, Джимми... Билл... Здорово, Джек! Это Джек Демпси... Я тут нечасто появляюсь. Обычно я обедаю в Гарвардском клубе.

– О, вы учились в Гарварде? Я знакома с...

– Да. – Он замялся; у него было две версии рассказа про Гарвард, и неожиданно он решил рассказать ей правду. – Да; меня там считали деревенщиной, хотя теперь уже не считают. Неделю назад я был в гостях у Гувернира Хейтса, на Лонг-Айленде – у них всегда очень изысканное общество, – и парочка ребят с Золотого побережья, которые даже не слыхали обо мне, когда я был в Кембридже, стали петь свои обычные песни вроде: «Привет, Билл, старина! Ну, как делишки?» и так далее.

Он умолк и вдруг решил, что на этом историю можно завершить.

– Чего ты хочешь? Работу? – Он вдруг заметил, что у нее на чулках спустились петли. Спущенные петли на чулках всегда трогали и успокаивали его душу.

– Да. Или мне придется уехать домой, – сказала она. – Я хочу стать балериной – знаете, русский балет и все такое? Но уроки стоят дорого,

так что мне необходима работа. И еще я подумала, что такая работа в любом случае сможет развить у меня сценическое обаяние.

– Танцовщица, значит?

– О, нет, я балетом занималась.

– Ну, так ведь и Павлова тоже танцовщица, разве нет?

– Конечно нет! – Ее потрясла столь низкая оценка высокого искусства, но через мгновение она продолжила: – Я занималась у мисс Кемпбелл... у Джорджии Берримен Кемпбелл... Там, у себя дома... Может, вы слышали о ней? Она училась у Нэда Вейбурна; она просто великолепна! Она...

– Правда? – рассеянно сказал он. – Что ж, это тяжелая профессия: актерские агентства переполнены людьми, умеющими делать все на свете, правда, лишь до тех пор, пока я не приглашаю их на просмотр. Сколько тебе лет?

– Восемнадцать.

– А мне двадцать шесть. Приехал сюда четыре года назад без единого цента в кармане.

– Ого!

– А теперь могу совсем отойти от дел и жить в комфорте до конца своих дней.

– Ого!

– В следующем году собираюсь взять отпуск на год – женюсь, пожалуй... Слышала об Ирен Риккер?

– Еще бы! Она – моя самая любимая актриса!

– Мы помолвлены.

– Ого!

Когда спустя некоторое время они вышли на Таймс-сквер, он беспечным тоном спросил:

– Что собираешься делать?

– Ну... Попытаюсь найти работу.

– Я имею в виду, сегодня?

– Ну, так... Ничего.

– Хочешь, пойдем ко мне в гости – у меня квартира на 46-й улице? Выпьем по чашечке кофе?

Их взгляды встретились, и Эмми Пинкард решила, что в случае чего сможет за себя постоять.

Квартира была однокомнатная, большая и светлая, с десятифунтовым диваном; после того как она выпила кофе, а он – виски с содовой, его рука оказалась у нее на плече.

– Зачем мне вас целовать? – спросила она. – Я вас едва знаю, и кроме того, вы же помолвлены с другой женщиной!

– Да ну! Ей все равно!

– Нет, не может быть!

– Хорошая девочка.

– Уж по крайней мере, не дура!

– Ну и ладно, продолжай быть хорошей девочкой.

Она встала, но задержалась на мгновение – вся такая свежая и прохладная, и вовсе не расстроенная.

– Полагаю, что теперь мне можно не надеяться получить у вас работу? – вежливо спросила она.

Он уже думал о другом: об интервью и о репетиции, – но тут его взгляд вновь упал на спущенные петли у нее на чулках. Он позвонил:

– Джо, это «Нахал». А, так ты не знал, что мне известно, как вы меня прозвали? Да ладно, все в порядке. Слушай, вы уже выбрали трех девчонок для сцены на вечеринке? Ну, так вот, слушай: оставь там одну роль, есть у меня одна южаночка, я ее к тебе сегодня пришлю.

Он бросил на нее самодовольный взгляд, говоривший о том, какой же он хороший парень!

– Ну, даже не знаю, как мне вас благодарить... Вас и мистера Роджерса! – дерзко добавила она. – Прощайте, мистер Макчесни!

Сказать что-нибудь в ответ он счел ниже своего достоинства.

II

Он очень часто забегал на репетиции и просто стоял с умным лицом и наблюдал, словно читая мысли; но на самом деле он пребывал в полнейшем неведении насчет собственного везения, ничего не

замечал и совсем ни о чем не задумывался. Выходные он проводил в основном на Лонг-Айленде, в светских компаниях, где его принимали «на ура». Когда Бранкузи говорил ему, что он – «ну прямо светский лев», он отвечал: «Ну и что? Разве я не учился в Гарварде? А ты, небось, думал, что я, как и ты, вырос в тележке с яблоками на Гранд-стрит?» Его новые друзья любили его за привлекательную внешность, доброту, а также за его успех.

Помолвка с Ирен Риккер вносила в его жизнь значительный диссонанс; они устали друг от друга, но были не в силах положить этому конец. Подобно тому как двое юных отпрысков самых богатых семей в городе связаны друг с другом самым фактом своего существования, Билл Макчесни и Ирен Риккер, скользя бок о бок на гребне волны успеха, не могли отказать друг другу в том, что выглядело приятным и достойным такого успеха последствием. Несмотря на все это, они устраивали все более исступленные и сложные ссоры, так что конец отношений был уже не за горами. И он материализовался в виде некоего Френка Луэлена – высокого красавца актера, игравшего в паре с Ирен. Сразу же оценив ситуацию, Билл стал относиться к ней с горьким юмором; на второй неделе репетиций в воздухе стало витать напряжение.

А между тем Эмми Пинкард теперь могла позволить себе покупать и печенье, и молоко, а на ужин ее всегда приглашал друг – и она была просто счастлива. Друг, Истон Хьюз, родом из Делани, учился в Колумбийском университете на дантиста. Иногда он приводил с собой других будущих дантистов, так что Эмми всегда была сыта, расплачиваясь, если можно так выразиться, лишь парой ни к чему не обязывающих поцелуев в такси. Однажды у служебного входа она познакомила Истона и Билла Макчесни, и с тех пор фундаментом их с Биллом отношений стала его шутливая ревность.

– Я вижу, этот зубодер опять меня обскакал! Ну, что ж... Прими хотя бы совет: не давай ему тебя охмурять веселящим газом!

Они нечасто встречались, но всегда внимательно присматривались друг к другу. Билл смотрел на нее так: сначала – ничего не выражающим взглядом, будто видит ее впервые в жизни; мгновение спустя – будто неожиданно вспомнив, кто она такая, и тут же начинал ее подкалывать. А когда на него смотрела она, ей всегда приходило на ум многое: солнечный день, толпы народа на улицах, и все куда-то

спешат; у тротуара стоит прекрасный новенький лимузин; к нему подходит пара, оба – в модной одежде; они садятся в машину и куда-то уезжают – в какой-то город, похожий на Нью-Йорк, но много дальше и веселее. Она не раз жалела, что не поцеловала его тогда, но столько же раз хвалила себя за то, что не сделала этого; шли недели, и он, как и все остальные, уже не казался столь романтичным, все больше сливаясь с рутинной рождавшейся в муке постановки.

Премьера была назначена в Атлантик-Сити. У Билла все чаще стали случаться замечаемые всеми перепады настроения. Он грубил режиссеру и язвительно насмехался над актерами. Все это, по слухам, было из-за того, что Ирен Риккер приехала другим поездом вместе с Френком Луэленом. Сидя рядом с автором пьесы на генеральной репетиции, в полумраке зала он смотрелся почти зловеще, хотя не произнес ни слова до конца второго акта; на сцене остались только Луэлен и Ирен Риккер, и тогда он вдруг прокричал:

– Ну-ка, давайте-ка еще разок – и, пожалуйста, без соплей!

Луэлен подошел поближе к рампе.

– Ты про что? Какие еще сопли? – спросил он. – Это же текст такой – не так ли?

– Ты отлично знаешь, про что я! Давай работай!

– Я тебя не понимаю!

Билл встал:

– Нечего там перешептываться!

– Мы не шептались! Я просто спросил...

– Проехали. Давай приступай.

Луэлен в бешенстве отвернулся, но не успел начать сцену, как Билл во всеуслышание добавил:

– Даже бездарность обязана работать!

Луэлен тут же обернулся:

– Я не позволю разговаривать со мной в подобном тоне, мистер Макчесни!

– Это почему? Ты ведь бездарность, не так ли? С каких это пор тебе вдруг стало стыдно быть бездарным? Я ставлю пьесу, и я желаю, чтобы ты четко выполнял свои обязанности. – Билл встал и пошел между рядами кресел. – И если ты этого не делаешь, я буду говорить тебе все, что сочту нужным.

– Следите за своим тоном!

– А то что?

Луэлен спрыгнул в оркестровую яму.

– Я этого так не оставлю! – заорал он.

Ирен Риккер со сцены крикнула: «Господи, да вы что, оба с ума сошли?» И тут Луэлен нанес сильный и резкий удар кулаком. Билл упал назад, проломил собой кресло и остался лежать, застряв в обломках. На мгновение воцарилась дикая суматоха, Луэлена схватили, затем побелевший автор пьесы помог Биллу подняться, помощник режиссера заорал: «Шеф, я его сейчас убью! Я расплющу его жирную рожу!» Луэлен тяжело дышал, Ирен Риккер перепугалась.

– По местам! – крикнул Билл, приложив к лицу платок, опираясь на руки автора пьесы и пошатываясь. – Все по местам! Еще раз эту сцену, и без трепя! Луэлен, на место!

Никто ничего не понял, но через мгновение все уже были на сцене, Ирен держала Луэлена за руку и быстро произносила свой текст. Кто-то включил свет в зале, затем торопливо приглушил его. Через некоторое время на сцену вышла Эмми, бросила быстрый взгляд в зал и увидела, что Билл сидит, практически полностью закрыв окровавленное лицо маской из носовых платков. Она возненавидела Луэлена и испугалась, что теперь труппа распадется и всем придется вернуться в Нью-Йорк. Но Биллу удалось исправить собственную глупость и тем самым спасти постановку: получилось, что Луэлен теперь мог покинуть труппу лишь по собственному желанию, а это нанесло бы непоправимый урон его профессиональной репутации. Акт кончился, и тут же без антракта последовал другой. Когда он закончился, Билла в зале уже не было.

На следующий вечер, во время премьеры, он сидел в кулисах, откуда ему были видны все выходы и уходы. Его лицо опухло и покрылось синяками, но он не обращал на это никакого внимания, и окружающие тоже молчали. Один раз он вышел в первые ряды, а когда вернулся, из уст в уста стали передавать, что пара нью-йоркских театральных агентств уже готовы заключить солидные контракты. У него получился хит – у них получился хит!

Увидев того, кому, как считала Эмми, все они были стольким обязаны, она почувствовала огромную признательность. Она подошла к нему и стала его благодарить.

– Да, рыжик, я умею выбирать, – сухо и с горечью согласился он.

– Спасибо, что выбрали меня.

И вдруг что-то подтолкнуло Эмми сделать необдуманное замечание.

– Вы ужасно поранили лицо! – воскликнула она. – Лично я думаю, что вы вчера поступили очень смело, не допустив, чтобы все пошло прахом!

Он бросил на нее тяжелый взгляд, а затем на его опухшем лице появилось подобие ироничной улыбки.

– Ты восхищаешься мной, детка?

– Да.

– И даже когда я упал на кресла, ты все равно мной восхищалась?

– Вам очень быстро удалось снова взять все под контроль!

– Плюс тебе! Даже в этом дурацком бардаке ты нашла, чем восхититься!

Ее безудержная радость вылилась в: «Неважно, но вы действовали просто изумительно!» Она была такой свежей и юной, что Биллу, у которого выдался ужасный день, захотелось тут же прижаться своей распухшей щекой к ее щеке.

На следующее утро и синяк, и желание он увез с собой в Нью-Йорк; синяк прошел, а желание осталось. Пьеса пошла в Нью-Йорке, и едва он заметил, что вокруг Эмми стали виться поклонники, отдававшие дань ее красоте, как она и эта пьеса стали для него одним целым, олицетворением успеха, и в театр он ходил, только чтобы посмотреть на нее. Постановка шла довольно долго и сошла со сцены как раз в тот момент, когда он запил и в серые дни похмелья не мог оставаться один. Они внезапно поженились в начале июня в Коннектикуте.

III

Двое американцев сидели в лондонском баре «Савой Гриль». До четвертого июля было еще далеко, а в мае темнеет рано.

– Он хороший парень? – спросил Хаббл.

– Очень хороший, – ответил Бранкузи. – Хороший, красивый, популярный. – И через мгновение добавил: – Хочу уговорить его вернуться домой.

– Вот чего я совсем не понимаю, – сказал Хаббл. – Здешний шоу-бизнес – ничто по сравнению с нашим. И чего ради он тут сидит?

– Он общается со всякими герцогами и леди.

– Что, простите?

– Когда я встретил его неделю назад, он был в компании трех леди – леди такая-то, леди сякая-то и леди еще какая-то.

– Но он же вроде как женат?

– Да, уже три года, – ответил Бранкузи. – У них ребенок, и сейчас ждут еще одного.

Он умолк, потому что вошел Макчесни. Его типично американская физиономия торчала из воротника плаща с широкими плечами; он обвел присутствующих нахальным взглядом.

– Привет, Мак! Познакомся: мой друг, мистер Хаббл.

– Добрый день, – сквозь зубы, на английский манер, произнес Билл. Он сел, все еще оглядывая бар в поисках знакомых.

Спустя несколько минут Хаббл ушел, и Билл спросил:

– Что за птица?

– Он тут всего месяц, так что титулом еще не успел обзавестись. Помни: ты-то ведь тут уже целых полгода!

Билл широко улыбнулся:

– Думаешь, я зазнался, да? Ну, что тут поделаешь, себя-то ведь не обманешь! Мне это нравится; это как раз по мне! Эх, хотелось бы мне стать маркизом Макчесни!

– Ну, что ж, может, еще допьешься до маркиза? – заметил Бранкузи.

– Заткни варежку! Кто это говорит, что я пью? Это что, теперь обо мне такие слухи распускают? Слушай: если ты мне назовешь хотя бы одного американского продюсера за всю историю театра, который за восемь месяцев добился такого же успеха в Лондоне, тогда я поеду с тобой в Америку прямо завтра. Если ты мне только скажешь...

– Так это были твои старые постановки, а в Нью-Йорке у тебя два провала.

Билл встал, его лицо ожесточилось.

– Да кто ты такой? – спросил он. – Ты сюда явился, чтобы разговаривать со мной в подобном тоне?

– Не надо злиться, Билл! Я просто хочу, чтобы ты вернулся. Ради этого я готов сказать все что угодно. Всего три таких успешных сезона, как в 22-м и 23-м, – и ты будешь обеспечен на всю жизнь!

– Меня тошнит от Нью-Йорка, – капризно сказал Билл. – Сегодня ты король, завтра у тебя два провала, и все уже твердят, что ты катишься под уклон!

Бранкузи покачал головой:

– Вовсе не поэтому все так говорили. Все из-за того, что ты поссорился с Аронштайном, твоим лучшим другом.

– Другом?! Черта с два!

– Твоим лучшим другом в бизнесе, что бы ты там ни говорил. А затем...

– Я не желаю об этом разговаривать. – Он посмотрел на часы. – Слушай, Эмми плохо себя чувствует, так что боюсь, что не смогу пригласить тебя сегодня к нам на ужин. Но непременно зайди ко мне в офис попрощаться перед отъездом!

Через пять минут, остановившись у прилавка в табачной лавочке, Бранкузи увидел, как Билл опять входит в «Савой» и спускается по лестнице в подвальное кафе.

«Каков стал дипломат! – подумал Бранкузи. – А раньше просто говорил, что у него свидание. Общение с герцогами и леди навело на него еще больший лоск».

Возможно, он немного обиделся, хотя обижаться было для него совсем не типично. В любом случае, в тот момент для себя он решил: Билл Макчесни катится под уклон; и он тут же навеки стер его из своей памяти, что было для него как раз типично.

Внешние признаки того, что Билл катится под уклон, отсутствовали: успех в «Нью Стренд», успех в «Принс Оф Уэльс», еженедельные сборы были почти такие же, как и два-три года назад в Нью-Йорке. Без всяких сомнений, человек действия имеет право менять свой плацдарм. И у того человека, что часом позже явился поужинать в собственный дом в районе Гайд-парка, жизненной

энергии было ровно столько, сколько обычно и бывает у тех, кому под тридцать. Очень усталая и неповоротливая Эмми лежала на диване в гостиной наверху. Он на мгновение сжал ее в объятиях.

– Уже скоро, – сказал он. – Ты прекрасна!

– Не говори глупости.

– Но это правда! Ты всегда прекрасна! Сам не знаю почему. Возможно, от того, что у тебя есть характер, и он всегда читается у тебя на лице, даже когда ты такая.

Ей было приятно; она взъерошила его волосы.

– Характер – это самая главная в мире вещь, – объявил он. – И я не знаю никого, кому он отпущен в той же мере, что и тебе!

– Ты встречался с Бранкузи?

– Да! Вот же паршивец! Я решил не приглашать его к нам на ужин.

– Что случилось?

– Слишком задирает нос: сказал, что ссора с Аронштайном – моя вина.

Она не решилась заговорить сразу, поджала губы, но затем тихо произнесла:

– Ты подрался с Аронштайном потому, что был пьян.

Он раздраженно вскочил:

– Ты что, опять начинаешь...

– Нет, Билл. Но ты стал много пить. И ты сам это знаешь.

Прекрасно зная, что она права, он не стал развивать эту тему, и они пошли ужинать вниз. Раскрасневшись от бутылки кларета, он решил, что завтра же бросает пить до тех пор, пока не родится ребенок.

– Я всегда могу бросить, если захочу, да? Сказал – сделал! Ты еще ни разу не видела, как я бросаю!

– Да, действительно, ни разу.

Они выпили по чашке кофе, и он собрался уходить.

– Приходи пораньше, – сказала Эмми.

– Да, конечно... А что такое, детка?

– Мне просто тоскливо. Не обращай внимания. Ну, иди же, не стой тут, как дурак!

– Но я же, само собой, беспокоюсь! Я не люблю, когда ты хнычешь.

– Ох, я ведь даже не знаю, куда ты ходишь по вечерам; я не знаю, с кем ты общаешься. Да еще эта леди Сивилла Комбринк, которая все

время звонит... Наверняка ведь ничего такого, но я просыпаюсь среди ночи, и мне так одиноко, Билл! Ведь мы всегда были вместе, правда, – до недавних пор?

– Но мы и сейчас вместе... Что с тобой, Эмми?

– Да, я знаю... Я сумасшедшая... Мы ведь никогда не предадим друг друга, правда? У нас никогда не будет...

– Конечно нет!

– Приходи пораньше. Как только сможешь.

Он заглянул на минутку в театр «Принс Оф Уэльс»; затем зашел в соседний отель и позвонил по телефону:

– Позовите, пожалуйста, ее милость! Говорит мистер Макчесни.

Леди Сивилла подошла к телефону не сразу:

– Какой сюрприз! Минуло уже несколько недель с тех пор, как я имела счастье вас слышать...

Голос в телефоне звучал равнодушно, словно плеть, и обдавал холодом, словно автоматический морозильник; такой обычай вошел в моду с тех пор, как настоящие английские леди стали подражать английским леди из книг. Некоторое время это приводило Билла в восхищение – но недолго. Он смог сохранить спокойствие.

– Ни минутки свободной не было, – непринужденно объяснил он. – Ты же не сердишься, правда?

– Разве я сказала, что сержусь?

– А я уже было испугался – ты не прислала мне приглашения на свой сегодняшний прием. Я думал, что после того, как мы все обговорили, мы оба согласились...

– Но говорил-то ведь только ты, – сказала она. – И возможно, чуть больше, чем требовалось.

И она, к изумлению Билла, повесила трубку.

«Решила продемонстрировать свой британский характер, – подумал он. – Подумаешь, дочь тысячи графов, маленькая титулованная кокетка!»

Пренебрежение разозлило его, а равнодушие разбудило угасший интерес. Обычно женщины прощали ему охлаждение чувств из-за его очевидной глубокой привязанности к Эмми, и множество леди вспоминали о нем, вздыхая с приятным сожалением. Но только что по телефону он не услышал ничего подобного.

«Надо разобраться», – подумал он. Если бы на нем был фрак, он заглянул бы на бал и там смог бы все выяснить; но идти домой ему не хотелось. Поразмыслив, он решил, что возникшее непонимание необходимо устранить как можно скорее, и им тут же овладела мысль пойти прямо в том, что на нем: американцам прощали нарушение традиций в отношении одежды. Все равно идти было еще рано, и он целый час обдумывал ситуацию в компании нескольких бокалов виски с содовой.

В полночь он вошел в ее особняк в районе Мейфэр. Прислуга в гардеробе неодобрительно поглядывала на его твидовый костюм, а лакей, конечно, не нашел его имени в списке гостей. На счастье, одновременно с ним прибыл его друг, сэр Хамфри Данн, убедивший лакея, что это, должно быть, ошибка.

Войдя, Билл тут же принялся искать взглядом хозяйку.

Молодая дама высокого роста была наполовину американка и оттого особо тщательно подчеркивала свою английскую половину. В известном смысле именно она «открыла» Билла Макчесни обществу, став порукой его грубому обаянию; его отставка стала для нее одним из самых унижительных переживаний с тех пор, как она ударилась в разврат.

Она стояла рядом с мужем, приветствуя прибывающих гостей; раньше Биллу не доводилось видеть их вместе. Он решил представиться попозже, когда кончится официальная часть.

Но гости все продолжали и продолжали прибывать, и он чувствовал себя все более неуверенно. Попадались и знакомые, но их было немного; его костюм привлекал значительное внимание. Он знал, что леди Сивилла его заметила и могла бы вывести из затруднительного положения одним мановением руки, но этого не происходило. Он уже пожалел, что пришел, но уйти теперь было бы нелепо, поэтому, подойдя к сервированному столу, он взял бокал шампанского.

Обернувшись, он увидел, что рядом с ней, наконец-то, никого, и уже собрался было к ней подойти, как вдруг около него возник дворецкий:

– Прошу прощения, сэр! Позвольте вашу карточку?

– Я друг леди Сивиллы, – с раздражением ответил Билл.

Он отвернулся и пошел, но дворецкий не отставал:

– Простите, сэр, но я вынужден просить вас пройти за мной и уладить это недоразумение.

– Не трудитесь. Я как раз собираюсь представиться леди Сивилле.

– Мне даны другие указания, сэр, – твердо сказал дворецкий.

И не успел Билл осознать, что происходит, как его молча сжали с обеих сторон и провели в небольшую приемную за столовой.

Здесь его встретил человек в пенсне, в котором он узнал личного секретаря Комбринков.

Секретарь кивнул дворецкому, сказав: «Да, этот тот самый господин», и Билла отпустили.

– Мистер Макчесни! – обратился к нему секретарь. – Вы сочли уместным ворваться сюда без приглашения, и его светлость просит вас немедленно покинуть его дом. Соболаговолите отдать мне номерок из гардероба, где вы оставили ваше пальто.

Лишь теперь Билл понял, что произошло, и с его губ сорвалось единственное слово, которое у него нашлось для леди Сивиллы; после этого секретарь подал знак лакеям, и оказывавшего яростное сопротивление Билла вынесли через кухню, под молчаливые взгляды суетившихся поварят, в длинный коридор и вытолкнули в дверь на темную улицу. Дверь закрылась; минуту спустя она открылась снова, и из нее комком вылетело пальто, а вслед за ним и трость, пересчитавшая ступеньки.

Подавленный и уязвленный до глубины души, он стоял на улице; рядом остановилось такси, и из него послышалось:

– Приболели, командир?

– Что?

– Говорю, что знаю место, где можно похмелиться, командир! Всегда открыто.

Дверца такси отворилась, и машина унесла его прямо в ночной кошмар. Там было и кабаре, открытое всю ночь напролет вопреки закону; были и незнакомые собутельники, подобранные неизвестно где; затем были споры, попытки расплатиться чеком среди ночи и внезапное объявление всем и не единожды, что он – Уильям Макчесни, продюсер, но никто ему не верил, и он сам себе не верил. Вдруг возникла жизненно важная необходимость сию же минуту увидеть леди Сивиллу и призвать ее к ответу, но мгновение спустя ничто уже

не имело значения. Проснулся он в такси около дома от того, что его тряс за плечо водитель.

Когда он вошел, раздался телефонный звонок, но он с каменным выражением лица прошел мимо горничной и услышал ее голос, лишь ступив на лестницу.

– Мистер Макчесни, это снова звонят из больницы! Миссис Макчесни там, они звонят каждый час.

Все еще с трудом соображая, он поднес трубку к уху.

– Вас беспокоит больница «Мидланд», по поводу вашей жены. Сегодня в девять утра она родила; ребенок мертвый.

– Минуточку. – Его голос звучал сухо и надтреснуто. – Я вас не понимаю.

Через некоторое время до него дошло, что у Эмми случился выкидыш и что он ей нужен. Выйдя на улицу на подгибавшихся ногах, он поймал такси.

В палате было темно; со смятой постели на него смотрела Эмми.

– Ты! – воскликнула она. – Я думала, что ты умер! Где ты был?

Он встал на колени рядом с кроватью, но Эмми отвернулась от него.

– От тебя ужасно пахнет, – сказала она. – Меня сейчас стошнит!

Но она не стала убирать руку с его головы, и он долго так и стоял рядом с ней на коленях без движения.

– С тобой у нас все кончено, – пробормотала она, – но как мне было плохо, когда я подумала, что ты умер! Все умерли. И я тоже хочу умереть.

Ветер растворил шторы, и, когда он подошел к окну, чтобы задернуть их на место, она увидела его при утреннем свете: он был бледен, выглядел ужасно, костюм был мятый, на лице красовались синяки. На этот раз она возненавидела не тех, кто его отделал, а его самого. Она чувствовала, как он улечивается из ее сердца, как стремительно пустеет то место, которое он занимал в нем раньше, и вот его уже там нет, совсем нет – и она теперь может и простить его, и даже пожалеть. Все это заняло считанные минуты.

Она споткнулась и упала на пороге больницы, пытаясь без посторонней помощи выйти из такси.

IV

Когда к Эмми вернулось и физическое, и психическое здоровье, ею завладела идея вернуться к балету; привитая еще мисс Джорджией Берримен Кемпбелл из Южной Каролины старая мечта вновь обрела для нее черты блестящей перспективы, ведущей вспять, в дни юности и первых надежд в Нью-Йорке. Танец в ее понимании представлял собой сложную комбинацию непростых позиций и традиционных пируэтов, впервые возникшую в Италии несколько столетий назад и достигшую своего расцвета в России в начале двадцатого века. Ей хотелось заниматься тем, во что она верила; балет ей представлялся женской ипостасью музыки: вместо сильных пальцев у нее были ноги, которыми тоже можно было исполнять и Чайковского, и Стравинского; в «Шопениане» ноги были столь же красноречивы, как и голоса в «Кольце Нибелунга». В самых своих низменных проявлениях танец находился где-то между мастерством акробатов и дрессированных котиков; в наивысшей же точке он был высоким искусством Павловой.

Как только они вернулись в Нью-Йорк и вновь поселились в своей квартире, она целиком и полностью, будто шестнадцатилетняя девчонка, отдалась работе: по четыре часа в день у станка, позиции, соте, арабески и пируэты... Это стало смыслом ее жизни, и беспокоилась она лишь о том, не слишком ли она стара для балета? Ей было двадцать шесть, предстояло наверстать десять лет, но она была прирожденной балериной, с прекрасным телом и красивым лицом.

Билл поддерживал ее новое увлечение; как только она будет готова выступать, он создаст для нее первый настоящий американский балет. Ее поглощенность вызывала у него временами зависть; его же дела с тех пор, как они вернулись, шли трудновато. В прежние дни, благодаря своей чрезмерной самоуверенности, он обзавелся множеством врагов; ходили преувеличенные слухи о его пьянстве, о его суровом обращении с актерами и о том, что с ним очень тяжело работать.

Против него работало и то, что он никогда не умел копить, поэтому на каждую новую постановку необходимо было кланчить деньги. А

еще, как ни странно, он оказался в некотором смысле интеллектуалом, да еще и смелым – он доказал это несколькими некоммерческими экспериментальными постановками, – однако за ним не стояла «Театральная гильдия», поэтому коммерческие провалы ему приходилось компенсировать из собственного кармана.

Были и успехи, но для них теперь требовалось гораздо больше сил – по крайней мере, так казалось ему, поскольку пришло время расплаты за прежнюю беспорядочную жизнь. Он все время собирался взять отпуск или перестать курить одну за другой, но развелось так много конкурентов: появились новые люди, сформировались новые непогрешимые репутации, да и вообще, к упорядоченному укладу жизни он не привык. Ему нравилось работать «запоем», поддерживая бодрость черным кофе, что не редкость в шоу-бизнесе, но не идет на пользу тем, кому за тридцать. В каком-то смысле опорой для него стали отличное здоровье и жизненная энергия Эмми. Они были все время вместе, и если иногда он и чувствовал легкое недовольство от того, что теперь он нуждался в ней больше, чем она в нем, то всегда успокаивал себя тем, что все у него наладится через месяц – ну, или в следующем сезоне.

Однажды ноябрьским вечером Эмми вернулась домой из балетной школы, бросила свою серую сумочку, натянула шляпку пониже на еще не совсем высохшие волосы и предалась приятным размышлениям. Она знала, что в студию уже месяц специально приходят люди, чтобы посмотреть на нее: она была готова выступать. В жизни ей уже приходилось работать столь же напряженно и долго, когда она выстраивала отношения с Биллом, и все закончилось страданием и отчаянием, ну а сейчас подвести ее могла лишь она сама, и никто другой. Но даже теперь у нее в голове крутилось: а не слишком ли она забегает вперед, считая, что ей улыбнулась удача, что она будет счастлива?

Она очень спешила домой, потому что сегодня неожиданно случилось нечто, о чем нужно было поговорить с Биллом.

Обнаружив его в гостиной, она крикнула, чтобы он шел к ней, а она пока переоденется. Она стала говорить, даже не оглянувшись:

– Послушай, что я тебе сейчас расскажу! – Она говорила громко, чтобы было слышно, несмотря на льющуюся в ванной воду. – Поль Маков пригласил меня танцевать с ним в этом сезоне в

«Метрополитен»; правда, это еще не точно, так что никому не говори; предполагается, что даже я об этом не знаю.

– Отлично!

– Осталось только решить – не будет ли лучше, если я дебютирую за границей? Как бы там ни было, но Данилов говорит, что я готова выступать на публике. А ты как считаешь?

– Я не знаю.

– Неужели ты не в восторге?

– Мне нужно с тобой поговорить. Чуть позже. Продолжай.

– Это все, милый! Если ты, как и говорил, все еще собираешься в Германию на месяц, то Данилов сможет устроить мне дебют в Берлине. Но я бы лучше дебютировала здесь и начала выступать с Полем Маковым. Ты только представь... – Она умолкла, внезапно почувствовав сквозь толстую шкуру своей бурной радости, что он ее совсем не слушает. – Ну, а ты что хотел мне сказать?

– Сегодня вечером я ходил к доктору Кернсу.

– И что он сказал? – Голос ее радости заглушал для нее абсолютно все. Периодические приступы мрачного настроения Билла ее давно уже не тревожили.

– Я рассказал ему про кровь этим утром, и он сказал то же, что и год назад, – что, наверное, это просто лопнул какой-то сосудик в горле. Но, поскольку у меня был кашель и я беспокоился, возможно, лучше на всякий случай сделать рентген, чтобы окончательно во всем разобраться. Ну вот, мы и разобрались. У меня больше нет левого легкого.

– Билл!

– К счастью, на правом пятен нет.

Ужасно испугавшись, она ждала, что он скажет дальше.

– Сейчас не самый подходящий момент, – размеренно продолжал он, – но ничего не поделаешь. Он думает, что мне нужно уехать на зиму в горы, в Адирондак, или же в Денвер – он считает, что лучше в Денвер. Тогда, возможно, месяцев за пять-шесть все пройдет.

– Ну, конечно, нам придется... – едва начав, она тут же замолчала.

– Я вовсе не жду, что ты поедешь, особенно теперь, когда у тебя появился шанс.

– Конечно, я поеду, – быстро сказала она. – Твое здоровье – прежде всего! Мы всегда и везде ездили вместе.

– О, нет!

– Само собой, да! – заявила она уверенно и решительно. – Мы всегда были вместе. Я не смогу остаться здесь без тебя. Когда тебе нужно ехать?

– Чем раньше, тем лучше. Я заскочил к Бранкузи узнать, не возьмет ли он у меня ричмондскую постановку, но кажется, он не в восторге. – Его лицо ожесточилось. – Конечно, временно нам рассчитывать больше не на что, но я смогу наскрести, сколько надо, если посчитать, что причитается...

– О, если бы я только зарабатывала какие-нибудь деньги! – воскликнула Эмми. – Ты так много работаешь, а я лишь трачу: на одни только уроки балета уходит по двести долларов в неделю – и это больше, чем я смогу зарабатывать еще минимум несколько лет!

– Конечно, через шесть месяцев я буду здоров, как прежде, – так говорит врач.

– Конечно, дорогой; мы тебя вылечим. Мы уедем сразу же, как только сможем.

Она обняла его и поцеловала в щечку.

– Я просто паразитка! – сказала она. – Как же я не заметила, что мой милый нездоров?!

Он машинально потянулся за сигаретой, но тут же отдернул руку:

– Да, забыл... Придется теперь как можно меньше курить. – Неожиданно он оказался на высоте положения: – Нет, детка, нет! Я поеду один. Ты там со скуки с ума сойдешь, а я буду все время думать, что помешал тебе стать балериной.

– Не думай об этом! Главное – вылечить тебя.

Всю следующую неделю они часами обсуждали дело, и каждый говорил все, кроме правды: что он хотел, чтобы она поехала с ним, а она страстно желала остаться в Нью-Йорке. Она осторожно поговорила с Даниловым, своим балетным наставником, и поняла, что любая отсрочка, по его мнению, станет ужасной ошибкой. Глядя, как остальные девушки в балетной школе строят планы на зиму, она была готова умереть, но не ехать – и Билл не мог не заметить косвенных признаков ее страданий. На какое-то время они сошлись на компромиссном варианте: в горы Адирондак можно было летать на самолете на выходные, но затем у него стала постоянно подниматься

температура, после чего ему было строго предписано ехать только на Запад.

В один из пасмурных воскресных вечеров Билл все уладил – с присущей ему грубоватой и великодушной справедливостью, за которую она его поначалу и полюбила, из-за которой его несчастье воспринималось как трагедия и из-за которой его всегда можно было терпеть в дни, когда он смотрел на всех свысока, с вершины своего успеха.

– Я должен справиться один, детка. Все мои неприятности от того, что у меня отсутствует самоконтроль – кажется, в нашей семье он весь достался тебе, – так что теперь мне себя и вытаскивать. Ты три года трудилась изо всех сил, и ты заслужила свой шанс, и если сейчас поедешь со мной, ты не простишь мне этого до конца моих дней. – Он усмехнулся. – А я этого не вынесу. И кроме того, для ребенка там тоже нет ничего хорошего.

Постепенно она уступила – ей было стыдно и грустно, но одновременно и радостно. Потому что тот мир, где она трудилась, где она существовала без Билла, значил для нее теперь много больше, чем мир, где они существовали вместе. В одном было много места для радости, а в другом – одни лишь сожаления.

Два дня спустя, когда уже был куплен билет на вечерний пятичасовой поезд, они проводили последние часы вместе, строя радужные планы. Она все еще возражала, и делала это искренне; расслабься он хотя бы на мгновение, и она поехала бы с ним. Но от потрясения с ним что-то случилось, и теперь он стал демонстрировать характер, чего с ним не бывало уже долгие годы. Может быть, если он будет полагаться только на себя, это пойдет ему на пользу?

– Прощай, до весны! – говорили они друг другу.

Затем вместе с Билли-младшим они прибыли на станцию, и Билл сказал:

– Ненавижу эти похоронные прощания! Не ходите дальше. Мне еще надо позвонить, пока поезд не отошел.

За шесть лет они и ночи не провели по отдельности, если не считать того дня, когда Эмми была в больнице; кроме времени, когда они жили в Англии, они оба всегда были верными и нежными по отношению друг к другу, хотя его рискованное бахвальство поначалу тревожило и огорчало ее. Когда он в одиночестве вышел из вокзала на

перрон, Эмми была рада, что ему еще нужно позвонить, и она попыталась себе представить, как он сейчас станет это делать.

Она была доброй женщиной; она любила его всем сердцем. 33-я улица, на которую она вышла, на какое-то время показалась ей вымершей, словно кладбище, и квартира, за которую платил он, будет казаться без него опустевшей; но она все равно останется здесь и будет заниматься тем, что принесет ей счастье.

Через несколько кварталов она остановилась и подумала: «Но ведь это же ужасно! Что я делаю! Я ведь его предаю; что за неслыханная низость! Он абсолютно раздавлен, а я его бросаю и иду ужинать с Даниловым и Полем Маковым, который нравится мне лишь тем, что красив и что у него глаза и волосы одного оттенка. А Билл сейчас поедет в поезде один!»

Она вдруг развернула Билли-младшего, будто собираясь бежать обратно, на вокзал. Перед глазами у нее возникла картина: он сидит в купе, один, бледный и усталый, и рядом с ним нет никакой Эмми!

«Я не могу его предать!» – выкрикнула она про себя под действием накативших волн сильного чувства. Но это было лишь чувство – разве он не предавал ее? Разве в Лондоне он не делал все, что ему было угодно?

– Бедный, бедный Билл!

Она остановилась в нерешительности и в одно мгновение, не пытаясь обманывать себя, поняла, что сможет очень быстро обо всем забыть и придумать для себя оправдания. Достаточно было хорошенько задуматься о Лондоне, и ее совесть тут же становилась чиста. Но думать так в тот момент, когда Билл сидел в поезде, совсем один, казалось ужасным. Даже сейчас она еще могла бы развернуться и пойти на вокзал, и сказать ему, что едет с ним, но она мешкала – новая жизнь не отпускала ее, настойчиво звала ее к себе. Там, где она остановилась, тротуар был очень узким; высыпавшая из театра толпа людей заполонила тротуар и увлекла ее вместе с Билли-младшим за собой.

В поезде Билл разговаривал по телефону до последней минуты перед отходом, оттягивая момент, когда придется войти в купе, потому что он был практически уверен, что ее там не будет. Когда поезд тронулся, пришлось идти – и, разумеется, в купе никого не было, лишь чемоданы на багажной стойке и журналы на сиденье.

И тогда он понял, что потерял ее. Он смотрел на ситуацию без всяких иллюзий: этот Поль Маков, месяцы сближения, одиночество – а потом ничто и никогда уже не будет, как прежде. После долгих размышлений обо всем этом, с чтением «Вэрити» и «Зит» в промежутках, всякий раз, когда он мысленно возвращался назад, все для него выглядело так, будто Эмми уже умерла.

«Она была прекрасной женщиной – одной из лучших. У нее был характер». Он отлично понимал, что сам стал причиной всего этого и что в жизни действует некий закон компенсации. Он также понял, что, уехав, он опять стал хорошим, как и она; наконец-то был достигнут баланс.

Отбросив все обстоятельства, отбросив даже свое горе, он чувствовал, как ни странно, спокойствие от того, что находится во власти кого-то или чего-то большего, нежели он сам; ему, слегка уставшему и утратившему уверенность – раньше он ни на мгновение не готов был мириться с этими двумя качествами, – уже не казалось ужасным то, что он едет на Запад, где его, без всяких сомнений, ждет конец. Он был уверен, что Эмми появится ближе к концу, что бы она ни делала и как бы ни был хорош ее ангажемент.

Ночь у Ченслорсвилля

I

Говорю же, что понятия не имела, во что ввязываюсь, а то разве ж я б поехала? Да пошли они со своей армией – по мне, так это была просто кучка желторотых юнцов! А моя подруга, Нэлли ее звать, и говорит мне: «Нора, Филадельфия просто вымерла, прям как Балтимор, а на что мы летом-то жрать будем?» Она только что получила письмо от одной девчонки, и та ей пишет, как они шикарно

устроились в «старой доброй Виргинии». Солдатам много платят, а они думают, что, небось, просидят там все лето – ну, уж на крайний случай, пока «Джонни» с Юга не сдадутся. Жалованье у них регулярно дают, так что девчонка повидней и поаккуратней может просить хоть... Эх, позабыла уже... Да разве после всего, что с нами было, я вообще могу чего-нибудь помнить?

Я, почитай, привыкла к хорошему обращению – встречаюсь, например, с мужчиной, и как бы ни нахальничал поначалу, все одно потом зауважает, и никогда со мной такого не было, как с некоторыми, – ну, чтоб бросить там где-нибудь не пойми где или кошелек стибрить.

А, ну да, я ж тебе рассказываю, как съездила к солдатам в «старую добрую Виргинию». Да ни ногой туда больше! Ну, в общем, слушай дальше.

А я ж привыкла ездить как люди – помню, однажды, когда маленькая была, папаша даже возил меня на поезде в Балтимор, мы тогда жили в Йорке, Пенсильвания. Все удобства были, лучше некуда;

подушки даже давали, а по вагону ходил мужик такой с корзиной, а там у него и апельсины, и яблоки. Ну, знаешь, орут они еще: «А кому апельсины, яблоки кто желает – или пивка холодного?»

Ну сам знаешь, чем торгуют... правда, я никогда пиво не беру, потому что...

А, ну да, я ж не об этом... А тебе бы только про войну, как и всем мужикам! Но если это, по-вашему, война, тогда...

Ну так вот, набили нас всех в один вагон, какой-то нахал давай проверять билеты, подмигивает такой и приговаривает:

– Ага, – говорит, – наши батальоны «по вызову» спешат в атаку!

В вагоне свет такой ужасный, лампы чадят, мухи летают, на кого ни взглянешь – ну точно мулатка какая, все желтые в свете этом... Да еще вагон этот старый такой, только что не разваливается...

Нас там, девчонок, было, почитай, под сорок, большинство из Балтимора и из Филадельфии. И только три или четыре не из наших – ну, короче, из богатых, впереди сидели. И все время офицер такой выскакивал из соседнего вагона, спрашивал у них, не надо ли чего. А мы с Нэлли прямо за ними сидели и слышали, как он шептал: «Понимаю, компания ужасная, однако через пару часов будем на

месте. Я вас сразу же отвезу в ставку, а там уж вам обеспечат достойные условия».

Никогда не забуду эту ночь. Никто с собой еду не взял, только у девчонок за нами были сосиски и хлеб, вот они нас тем и угостили, что сами не доели. Кран поворачиваешь – а воды-то и нет! Часа через два – а ехали так: две минуты едем, две стоим, ну или мне так казалось – заходят из соседнего вагона два лейтенантика, пьяные в зюзю, и предлагают нам с Нэлли виски, прямо из горлышка. Нэлли чуть выпила, я тоже сделала вид, ну они и подсели к нам. Один давай кадриться к Нэлли, но тут как раз тот офицер, что с дамочками шептался. – а он не простой был, а вроде как майор или генерал, – появляется такой и спрашивает:

– Все в порядке? Не желаете ли чего?

Одна из дамочек этих пошепталась с ним, и он поворачивается к тому, который с Нэлли болтал, и уводит его в другой вагон. Потом с нами только один офицер остался; он и не такой уж пьяный был, просто укачало его вроде.

– Какая же веселая у вас тут компания! – говорит. – Как же хорошо, что здесь такой свет, что почти ничего не видно! А то вы все выглядите, будто у вас лучший друг помер.

– А может, так и есть, – быстро так его Нэлли осадил. – А ты бы как смотрелся, если б ехал прямо с Филадельфии да еще попал в эту клоповозку?

– Да я тут вообще-то прямо с «семидневки», сестренка, – отвечает он. – Может, конечно, я б тебе больше приглянулся, кабы не забыл глаз у Гейнс-Милль.

И тут мы только и заметили, что у него глаза не хватает. Он его вроде как прищуривал, вот мы и не заметили поначалу. Ну, тут он быстренько собрался и ушел, сказал, что попробует достать воды или кофе, вот чего нам больше всего хотелось-то!

Вагон все время покачивало, это так смешно было! Кое-кого подташнивало, а некоторые спали друг у друга на плечах.

– Да где ж эта армия-то? – Нэлли сказала. – В Мексике, что ли?

Я уж полусонная была, ничего не ответила.

Потом помню, что просыпаюсь от грозы, вагон опять стоит, я и говорю: «Дождь пошел».

– Какой еще дождь! – Нэлли говорит. – Это ж пушки – там сражение!

– Вот те на! – Тут я совсем проснулась. – Ну, после такой поездочки мне даже все равно, кто победит.

Грохотало все громче и громче, но из окна ничего не видно было, потому что был туман.

Где-то через полчаса заходит в вагон другой офицер – неопрятный такой, будто только что из постели вылез: френч расстегнут, штаны руками подтягивает, будто подтяжки позабыл прицепить.

– Так, дамочки, все на выход, – говорит. – Вагон нужен для раненых.

– Чего?

– Мы что, за билеты не заплатили, что ли?!

– Нам нужны вагоны под раненых, все остальные вагоны уже набиты битком.

– Чего? Мы ни на какие битвы не собирались, понял?

– Какая разница, куда вы собирались, – вы как раз в битву и попали!

Я так испугалась, ты себе не представляешь! Я подумала, а вдруг мятежники нас захватят и посадят в одну из этих их тюрем – там, говорят, морят голодом, если не поешь целыми днями «Дикси» и не целуешься с неграми.

– Живее!

Но тут заходит другой офицер, на вид поприличней.

– Леди, прошу оставаться на своих местах, – говорит. А затем говорит другому офицеру: – Ты чего делаешь? Хочешь высадить их прямо на рельсы?! Если корпус Сэджвика, как говорят, разбит, так мятежники могут ударить прямо сюда!

Некоторые девчонки начали реветь.

– И, в конце концов, это же северянки, – сказал.

– Это...

– Заткнись и ступай к командиру! Организовать перевозку раненых приказано мне, и я везу этих девушек с собой обратно в Вашингтон.

Я думала, они прям подерутся, но они вместе взяли и ушли. А мы все, девушки, сидели и думали: что же теперь делать-то?

Что было потом, я уже плохо помню. Пушки палили то очень близко, то подальше, зато прямо около нас стреляли, а у одной

девушки даже окно разбилось, сначала дырка такая в центре, а потом все разлетелось – ну знаешь, не как стекло бьется, а больше похоже как лед зимой, дырка, потом трещины вокруг, вот примерно так. Еще слышала, как целый табун лошадей пронесся галопом прямо у окон, но видно все равно ничего не было.

И так еще полчаса – галоп, и опять выстрелы. Не поймешь, конечно где, но вроде как ближе к паровозу.

А потом все стихло – и в вагон вошли двое. Мы все сразу поняли, что это южане, не офицеры – простые рядовые, с мушкетами. На одном надето что-то коричневое вроде кителя, а на втором – что-то синее, все в пятнах, – я сразу поняла, что ни за что бы не позволила такому ко мне даже подкатить. Все в пятнах, да еще и мало – и вообще, старье какое-то нацепил. Выглядело так мерзко! Я вообще удивилась, потому что думала, что они носят только серое. Они отвратительно выглядели, все в грязи; у одного была большая банка варенья, всю харю им вымазал, а у другого большой ящик с печеньем.

– Привет, дамочки.

– А что это вы тут, девчата, делаете?

– Ты чего, ослеп, Стив, это ж батальон генерала Шлюхельсона!

– Надо бы их к нашему генералу доставить!

Они так диковинно говорили – с таким акцентом, я едва разобрала, забавно так.

Одна девчонка ударилась в истерику с испугу, и они застеснялись. Они же были просто мальчишки, хоть и бородатые, и один даже честь отдал – руку так поднес к своей шапке, или это фуражка была – в общем, старье там какое-то у него на башке было.

– Да мы вас не обидим!

И тут снова начались выстрелы впереди у паровоза, а мятежники развернулись и убежали.

Уж мы так обрадовались, куда там!

А минут через пятнадцать заходит один из наших офицеров. Мы его еще не видели.

– Быстро все нырнули вниз! – орет. – Сейчас по поезду стрелять будут! Отправимся сразу, как только разгрузим две последние санитарные кареты.

Половина из нас уже и так были на полу. Богатые дамочки, которые впереди нас с Нэлли сидели, пошли в передний вагон, где раненые,

спросить, не нужна ли какая помощь. Нэлли хотела тоже туда сходить, но сразу вернулась, зажав нос. Сказала, там такой жуткий запах!

И хорошо, что она не смогла войти, потому что две девчонки из нашего вагона сходили. Больные же не могут уважать тех, кому повезло и кто здоров. Да и медсестры сразу же их прогнали, будто они грязь какую принесли.

Неизвестно сколько времени прошло, и поезд, наконец, тронулся. Пришел солдат, слил масло из всех ламп, кроме одной, и унес в вагон с ранеными. Так что мы теперь уже вообще ничего не видели.

Если туда мы ехали медленно, то обратно – еще медленней... Раненые стали так шуметь, стонать и все такое, что мы из-за них так и не смогли уснуть.

Останавливались мы почти что на каждом шагу.

Когда, наконец, дотащились до Вашингтона, на станции была огромная толпа, и всем надо было знать, как же там наша армия, но я всем говорила: «Понятия не имею». Все, чего мне надо, – моя комнатуха и моя кроватка. Со мной еще никогда в жизни так не обращались!

Одна из девушек сказала, что напишет жалобу президенту Линкольну.

А на следующий день в газетах не было ни слова о том, как напали на наш поезд, и вообще ничего про девушек не написали! Ну вот что тут скажешь?

Последняя южная красавица

I

икто не оценил Тарлтон после того нарочитого и театрализованного южного шарма, которым отличается Атланта. В Тарлтоне было жарче,

Нчем везде: в первый же день с дюжину новобранцев упало в обморок под солнцем Джорджии, а при виде бредущих по улицам делового квартала коровьих стад, понукаемых цветными пастухами, от жары и яркого света вы незаметно впадали в транс – хотелось пошевелить рукой или ногой, чтобы убедиться, что вы все еще живы.

Так что я проводил время в лагере, довольствуясь рассказами о девушках из уст лейтенанта Уоррена. Это было пятнадцать лет назад, и я уже забыл свои тогдашние ощущения – помню лишь, что дни протекали гораздо приятней, чем сейчас, а в моем сердце была пустота, потому что там, на севере страны, вышла замуж та, чей образ я любил целых три года. Я видел вырезки из газет и печатавшиеся фотографии. Это была «романтическая свадьба военного времени», очень богатая и печальная. Я живо ощущал мрачное величие небосклона, под которым она проходила; как и положено юному снобу, я чувствовал скорее зависть, нежели сожаление.

Однажды я поехал в Тарлтон, чтобы подстричься, и в городе столкнулся с Биллом Ноулзом – хороший парень, мы вместе учились в Гарварде. Он был в подразделении Национальной гвардии, стоявшем в лагере до нас; в последний момент он перевелся в авиацию и поэтому все еще оставался здесь.

– Очень хорошо, что мы встретились, Энди! – произнес он, очень серьезно. – Я передам тебе все свои наработки, пока меня не перевели в Техас. Так вот, на самом деле здесь всего три девушки...

Он меня заинтересовал; было что-то мистическое в том, что здесь было всего три девушки.

– ... а вот и одна из них!

Мы стояли перед местной аптекой; он увлек меня внутрь и представил леди, которая тут же вызвала у меня неприязнь.

– Две другие – это Эйли Калхоун и Салли Кэрролл Хоппер.

По тому, как он произнес ее имя, я догадался, что ему нравилась Эйли Калхоун. Он размышлял, что она будет делать здесь без него; он определенно желал, чтобы жизнь ее стала тихой и неинтересной.

В моем возрасте уже не стыдно признаться, какие отнюдь не благородные мысли тут же возникли у меня по поводу Эйли Калхоун – что за прекрасное имя! В двадцать три такой вещи, как «чья-то» красавица, не существует; хотя, если бы Билл меня спросил, я, без

всякого сомнения, поклялся бы – и совершенно искренне! – что стану относиться к ней, как к сестре. Но он не спросил; он лишь вслух переживал о том, что ему приходится уезжать. Три дня спустя он сообщил мне по телефону, что отбывает завтра утром, а сегодня вечером готов взять меня с собой к ней в гости.

Мы встретились в гостинице и пошли пешком к окраине города в жарких, благоухающих сумерках. Особняк Калхоунов с улицы смотрелся как четыре белые колонны, за которыми находилась темная, как пещера, веранда, со свисающими, переплетающимися, вьющимися стеблями лоз.

Когда мы ступили на ведущую к дому дорожку, из дверей выскочила девушка в белом платье, крича: «Простите, ради бога, я немного задержалась!», а увидев нас, добавила: «Ой, а мне показалось, что вы уже минут десять как...»

Она умолкла, потому что в этот момент скрипнул стул и из тьмы веранды возник еще один человек – авиатор из лагеря «Генри Ли».

– Ах, Кэнби! – воскликнула она. – Привет!

Билл Ноулз и Кэнби посмотрели друг на друга напряженно, словно адвокаты противоборствующих сторон в зале суда.

– Кэнби, милый, мне нужно тебе кое-что сказать, – промолвила она, выдержав паузу. – Билл, прошу прощения, мы ненадолго.

Они отошли в сторону. Тут же послышался мрачный и крайне разочарованный голос лейтенанта Кэнби: «Хорошо, пусть будет четверг – но только наверняка!» Едва кивнув нам, он ушел по дорожке, поблескивая в свете фонарей шпорами – ими он, должно быть, подгонял свой аэроплан.

– Входите... Простите, не знаю, как вас зовут...

Это была она: типичная южанка, без единой примеси! Я узнал бы Эйли Калхоун, даже если бы никогда не видел на сцене Руфь Дрейпер и не читал «Масса Чан». Она обладала ловкостью, прикрытой сахарной глазурью милой и непринужденной простоты, намекавшей на стоявшую за ней и уходившую в героическое прошлое американского Юга целую линию любящих отцов, братьев и поклонников; ее неизменное хладнокровие было результатом бесконечной борьбы с жарой. В ее голосе слышались нотки, от которых трепетали рабы и захлебывались атаки капитанов из янки, а затем вдруг этот голос

начинал звучать мягко и вкрадчиво, соперничая в своем непривычном очаровании с самой ночью.

Я почти не видел ее в окружавшей нас темноте, но когда я поднялся, чтобы уходить – было ясно, что мне не стоило задерживаться, – она тоже встала, и на нее упал оранжевый свет из открытой двери дома. Она была небольшого роста, с очень светлыми волосами; густой слой румян придавал ее лицу лихорадочный оттенок, подчеркнутый напудренным до белизны, словно у клоуна, носом, но сквозь весь этот грим она сама сияла, как звезда.

– Когда уедет Билл, я буду сидеть здесь каждый вечер в полном одиночестве. Быть может, вы иногда будете приглашать меня на танцы в загородный клуб? – В ответ на это жалостное пророчество Билл рассмеялся. – Одну минуточку, – прошептала Эйли. – Ваши пушечки висят как-то криво!

Она поправила значок в моей петлице, почти целую секунду глядя мне в глаза – во взгляде читалось нечто большее, чем простое любопытство. Это был вопросительный взгляд, она будто спросила: «А может быть, это ты?» Как и лейтенант Кэнби, я крайне неохотно скрылся в потерявшей вдруг все свое очарование ночи.

Через две недели я сидел с ней на той же самой веранде – лучше сказать, она полулежала у меня в объятиях, при этом умудряясь едва касаться меня; как ей это удавалось, я уже не могу припомнить. Я безуспешно пытался ее поцеловать, и длилось это вот уже почти целый час. У нас с ней было нечто вроде шутки о том, что я веду себя неискренне. Я утверждал, что влюблюсь в нее, если она позволит мне себя поцеловать. Она возражала, что ей совершенно ясно, что я веду себя неискренне.

В перерыве между двумя моими попытками она рассказала мне о своем брате, который умер, когда учился на последнем курсе в Йельском университете. Она показала мне его фотографию: красивое, серьезное лицо с прядкой на лбу, как на рисунках Лейендекера, – и сказала, что выйдет замуж, как только встретит кого-нибудь, кто будет похож на брата. Такая идеализация семейного сходства показалась мне бесперспективной; даже с моей дерзкой уверенностью вряд ли имело смысл пытаться конкурировать с мертвецом.

Так у нас проходили и этот вечер, и все остальные вечера; я уходил обратно в лагерь, вспоминая запах цветов магнолии и чувствуя легкое

неудовлетворение. Я так ее и не поцеловал. Я водил ее на водевили, а субботними вечерами мы с ней ездили в загородный клуб, где она редко танцевала хотя бы десяток тактов с одним и тем же мужчиной; она приглашала меня на барбекю и на буйные арбузные вечеринки, и ей никогда не приходило в голову, что наши с ней отношения стоило бы развить до романа. Теперь мне ясно, что это было бы совсем не сложно, но она была мудрой в свои девятнадцать лет и видела, что эмоционально мы с ней несовместимы. Поэтому вместо любовника я стал ее наперсником.

Мы разговаривали о Билле Ноулзе. К Биллу она относилась серьезно, поскольку, хотя она сама никогда бы в этом не призналась, один учебный год, проведенный в школе в Нью-Йорке, а также студенческий бал в Йеле заставили ее обратить взор на север. Она говорила, что вряд ли выйдет замуж за южанина. А я постепенно стал замечать, что она сознательно и нарочно старалась отличаться от других девушек, певших негритянские песни и резавшихся в кости за столами в баре загородного клуба. Вот почему и Билла, и меня, и всех остальных к ней так тянуло. Мы узнавали в ней «свою».

Весь июнь и июль, пока до нас доходили слабые и бесплодные слухи о сражениях и ужасах, творившихся в Европе, взгляд Эйли блуждал по залу загородного клуба, ища чего-то то здесь, то там, среди высоких молодых офицеров. Нескольких она приблизила к себе, выбирая с неизменной проницательностью — за исключением лейтенанта Кэнби, которого она, как говорила, «презирала», но при этом в свиданиях не отказывала, «потому что он такой искренний», — так что все лето мы все по очереди проводили с ней вечера.

Как-то раз она отменила все назначенные свидания: Билл Ноулз получил увольнение и должен был приехать. Об этом событии мы говорили с беспристрастностью ученых: сможет ли он сподвигнуть ее принять решение? Лейтенант Кэнби, наоборот, утратил всякую беспристрастность и надоел буквально всем. Он объявил ей, что если она выйдет замуж за Ноулза, то он поднимется на аэроплане на шесть тысяч футов, заглушит мотор и рухнет вниз. Он ее испугал: мне пришлось уступить ему мое последнее свидание накануне приезда Билла.

В субботу вечером она пришла в загородный клуб с Биллом Ноулзом. Они так хорошо смотрелись вместе, что я вновь

почувствовал зависть и печаль. Они вышли танцевать, и оркестр-трио заиграл «Когда ты ушел»; я никогда не забуду, как мучительно-неполно звучала песня в том исполнении, словно каждый аккорд выцеживал по капле драгоценную минуту того вечера. К тому времени я уже полюбил Тарлтон и стал почти в панике оглядываться, не появится ли какое-нибудь лицо и для меня из теплой, поющей окружающей тьмы, откуда возникали пара за парой в серебристом органди и в коричневой униформе. Это было время молодости, военное время – и никогда вокруг меня не было так много любви.

Мы танцевали с Эйли, и вдруг она предложила выйти на улицу, к машине. Ей хотелось знать, отчего это сегодня никто не «перехватывает» ее во время танца. Они все что, решили, что она уже вышла замуж?

– А ты собираешься?

– Не знаю, Энди; иногда он обращается со мной как со святыней, и меня дрожь пробирает. – Ее приглушенный голос, казалось, доносился издалека. – А затем...

Она рассмеялась. Ее тело, столь хрупкое и нежное, касалось меня, она смотрела мне прямо в глаза – и вдруг, несмотря на Билла Ноулза в десяти ярдах от нас, я наконец-то получил возможность ее поцеловать. Наши губы соприкоснулись, будто на пробу; но из-за ближайшего к нам угла веранды появился какой-то авиатор, взгляделся во тьму и застыл.

– Эйли!

– Да.

– Ты слышала, что случилось сегодня вечером?

– А что? – Она вытянулась вперед; в ее голосе тут же послышалось напряжение.

– Гораций Кэнби разбился. Насмерть.

Она медленно встала и шагнула из машины.

– Ты хочешь сказать, что он умер? – переспросила она.

– Да. Никто не знает, в чем причина. Его самолет...

– Ах! – Режущий ухо шепот донесся сквозь руки, которыми она вдруг закрыла лицо.

Мы беспомощно смотрели, как она прислонилась щекой к машине, давясь и утирая слезы. Спустя минуту я пошел за Биллом, который

стоял у стенки, взволнованно ища ее глазами, и сказал ему, что она хочет ехать домой.

Я присел на ступеньках крыльца. Кэнби я не любил, однако его ужасная, бессмысленная смерть была для меня более реальной, нежели ежедневные тысячные потери войск во Франции. Через несколько минут на улицу вышли Эйли и Билл. Эйли чуть всхлипывала, но, увидев меня, взяла себя в руки и подошла ко мне быстрым шагом.

– Энди, – тут же негромко сказала она, – само собой, ты не должен никому рассказывать о том, что я рассказала тебе вчера про наш разговор с Кэнби. Никому не говори, что он мне сказал!

– Ну, разумеется, не расскажу.

Она еще секунду смотрела на меня пристально, как бы спрашивая, можно ли мне верить. В конце концов, она решила, что можно. Затем странно вздохнула – так тихо, что я подумал, будто мне это показалось, – а на ее лице появилось выражение, которое можно было описать лишь как шуточное отчаяние.

– Эн-ди!

Мне стало неловко, и я уставился в землю, понимая, что она пытается привлечь мое внимание к произвольному и губительному действию ее чар на мужчин.

– Доброй ночи, Энди! – крикнул Билл, когда они садились в такси.

– Доброй ночи! – ответил я, едва не добавив вслух: «Дурак ты несчастный!»

II

Конечно, мне следовало бы принять одно из тех высокоморальных решений, которые обычно принимают в таких ситуациях персонажи книг; я должен был тут же начать ее презирать. Но на деле я, без

всяких сомнений, был готов бежать за ней хоть на край света, стоило ей лишь поманить меня пальцем!

Через пару дней она все объяснила, задумчиво сказав: «Знаю, о чем ты подумал: как ужасно было думать о себе в тот момент; но ведь для меня-то это совпадение было просто кошмарным!»

В свои двадцать три я был убежден лишь в одном: что есть люди сильные и привлекательные, которые могут делать все, что пожелают, и остальные люди – ущемленные и никому не нужные. Я надеялся, что я был из первых, и был уверен, что к ним принадлежала и Эйли.

Другие мои умозаключения по поводу нее мне пришлось пересмотреть. В процессе долгого разговора о поцелуях с одной девушкой – в те времена поцелуи были все еще темой для разговора, а не обычным развлечением – я упомянул о том факте, что Эйли целовалась лишь с двумя-тремя мужчинами, и лишь потому, что думала, что была в них влюблена. К моему немалому замешательству, девушка буквально чуть не надорвалась от смеха.

– Но ведь это правда! – уверял ее я, внезапно уверившись, что это не так. – Она сама мне сказала!

– Эйли Калхоун? О, боги, боги! Да в прошлом году, весной, на вечеринке у одного парня из Технологического института она...

Разговор происходил в сентябре. Вот уже несколько недель мы находились в ожидании срочной переброски в Европу, и к нам прислали последнюю партию офицеров из четвертого тренировочного лагеря, чтобы укомплектовать часть. Четвертый тренировочный был совсем не похож на первые три: все офицеры в нем были из низших чинов, а некоторые даже служили по призыву. У них у всех были имена, в которых начисто отсутствовали гласные, так что, за исключением нескольких свежеиспеченных офицеров из Национальной гвардии, про остальных можно было с уверенностью сказать, что это люди «из ниоткуда». К нашей роте был приписан лейтенант Эрл Шоен, родом из Нью-Бедфорда, штат Массачусетс; мне еще не доводилось видеть столь великолепно сложенного в физическом плане человеческого экземпляра. Ростом он был шесть футов три дюйма, брюнет, с ярким румянцем и блестящими темно-кариыми глазами. Не слишком толковый, явный невежда, он был хорошим офицером, в высшей степени сдержанным с подчиненными и умеющим приказывать, обладая при этом подобающей толикой

тщеславия, которое так идет военным. Я сразу подумал, что Нью-Бедфорд располагается где-то в сельской глуши – вот чему он был обязан своей чрезмерной самоуверенностью.

Нас всех уплотнили, и его подселили в мою комнату в казарме. Не прошло и недели, как на стене нашей хижины появилась грубо прибитая гвоздем картонная фотокарточка какой-то тарлтонской девицы.

– Это тебе не какая-то деваха, ничего подобного! Она из общества, вращается тут в самых лучших кругах.

В следующее воскресенье, вечером, я смог лично познакомиться с этой дамой в небольшом бассейне, располагавшемся за городом. Когда мы с Эйли вошли, мускулистое тело Шоена в купальном костюме уже вздымало волны в дальнем конце бассейна.

– Привет, лейтенант!

Я помахал рукой ему в ответ, а он осклабился и подмигнул, кивнув головой в сторону девушки рядом с ним. Затем, легко ткнув ее под ребро, он кивнул, указав ей на меня. Вот так мы были представлены.

– Кто это с Китти Престон? – спросила Эйли; когда я ей сказал, она заметила, что он похож на кондуктора в трамвае, и тут же притворилась, что никак не может найти свой билет.

Спустя мгновение Шоен мощным и грациозным кролем пересек бассейн и уселся на бортик с нашей стороны. Я представил его Эйли.

– Ну, как тебе моя девушка, лейтенант? – осведомился он. – Я ведь говорил, что она – то, что надо, да? – Он резко повернул голову в сторону Эйли, на этот раз чтобы показать, что его девушка и Эйли вращаются в одних и тех же кругах. – Давайте все вместе как-нибудь соберемся и поужинаем в ресторане?

Я их практически сразу же оставил наедине, чуть не рассмеявшись, когда заметил на лице Эйли выражение, свидетельствовавшее о том, что она пришла к выводу, что перед ней, увы, не идеальный вариант. Но от лейтенанта Эрла Шоена было не так-то просто отделаться. Он окинул веселым, вполне безобидным взглядом ее привлекательную, изящную фигурку и тут же решил, что она, пожалуй, сгодится даже лучше, чем прежняя подруга. Несколько минут спустя я уже видел их обоих в воде: Эйли уплывала, рассекая воду характерными решительными взмахами, а Шоен шумно плескался вокруг, заплывая

вперед, периодически останавливаясь и глядя на нее в полном упоении, словно мальчишка на куклу-неваляшку.

Весь вечер он так и провел рядом с ней. В конце концов Эйли подошла ко мне и прошептала со смешком:

– Он меня преследует! Наверное, решил, что я не заплатила за проезд.

Она быстро обернулась. Рядом остановилась, глядя нам в глаза, крайне взволнованная Китти Престон.

– Эйли Калхоун! Вот уж не думала, что ты тут появишься и станешь нарочно отбивать у девушки парня! – По лицу Эйли скользнула тень досады от надвигавшейся сцены. – Я всегда думала, что ты считаешь себя выше подобных вещей!

Мисс Престон говорила негромко, но в ее голосе было напряжение, которое передается даже тем, кто находится далеко и не может разобрать слов; я заметил, как прекрасные глаза Эйли в панике обвели все вокруг. К счастью, в этот момент Эрл весело и в полном неведении происходящего неторопливо двинулся по направлению к нам.

– Если он тебе так важен, то уж точно не стоит так унижаться прямо у него на глазах! – мгновенно парировала Эйли, гордо вскинув голову.

Она победила благодаря своему знакомству с традиционной манерой поведения, противопоставленной наивному и свирепому собственничеству Китти Престон – или, если вам будет угодно, победу над «вульгарностью» противницы одержала «порода» Эйли. Она тут же развернулась, чтобы идти.

– Минутку, малышка! – воскликнул Эрл Шоен. – Не дашь ли адресок? Я, может, захочу тебе однажды позвонить по телефону!

Эйли постаралась взглянуть на него так, чтобы показать Китти полное отсутствие какого-либо интереса.

– В этом месяце я очень занята в Красном Кресте, – сказала она; ее голос был прохладен, словно ветерок, обдувавший ее зачесанные назад светлые волосы. – Всего доброго!

По дороге домой она смеялась. Она больше не чувствовала себя нечаянно вовлеченной в презренное дело.

– Ей ни за что не удержать этого парня, – сказала она. – Он все время ищет что-то новенькое!

– Очевидно, теперь он ищет Эйли Калхоун?

Эта мысль насмешила ее.

– А вместо значка своего студенческого братства он, наверное, подарит мне свой компостер! Вот будет потеха! Как только мама увидит, что к ней в дом появился кто-то вроде него, она тут же сляжет и умрет.

Надо отдать Эйли должное: прошло почти две недели, прежде чем Шоен был приглашен к ней в гости, хотя бегал он за ней так, что на следующих танцах в загородном клубе она даже сделала вид, будто он ей надоел.

– Он ужасный наглец, Энди! – шепнула она мне. – Но он такой искренний!

Она использовала слово «наглец», даже не подозревая, что попадет в точку, ведь он не был южанином. Она просто угадала; по выговору она никогда не смогла бы отличить одного янки от другого. И каким-то образом миссис Калхоун удалось не испустить последний вздох прямо на пороге. Якобы «неискоренимые» предрассудки родителей Эйли были весьма удобным явлением, мгновенно исчезающим по ее желанию. Изумились лишь ее друзья. Эйли, всегда парившая где-то чуть выше тарлтонского общества; та самая Эйли, чьими ухажерами всегда были лучшие кавалеры лагеря – та самая Эйли и лейтенант Шоен! Я устал всех уверять, что она всего лишь развлекается – действительно, каждую неделю или две появлялся кто-то новый: то моряк из Пенсаколы, то старый приятель из Нового Орлеана; но в промежутках между ними рядом с ней всегда присутствовал Эрл Шоен.

Поступил приказ: авангарду из офицеров и сержантов надлежало выдвинуться в порт отправления и садиться на корабль, следующий во Францию. Мое имя было в списке. Неделью я был на стрельбище, а когда вернулся в лагерь, тут же был взят в оборот Эрлом Шоеном.

– Мы решили устроить прощальную вечеринку в столовой. Ты, я, капитан Крейкер и три девушки!

Эрл и я должны были заехать за девушками. Сначала мы заехали за Салли Кэрролл Хоппер и Нэнси Ламарр, а затем поехали за Эйли; дверь открыл дворецкий, объявивший, что мисс нет дома.

– Нет дома? – тупо повторил Эрл. – А где она?

– Об этом она ничего не сказала, велела лишь передать, что ее нет дома.

– Черт возьми, что за шутки! – воскликнул Эрл.

Он ходил по знакомой тенистой веранде, а дворецкий стоял в дверях. Неожиданно ему в голову пришла мысль.

– Послушай-ка, – поделился он со мной, – кажется, она обиделась!

Я молчал. Он суровым тоном сказал дворецкому:

– Скажи ей, что мне надо с ней поговорить.

– Да как я ей скажу, если ее нет дома?

И снова Эрл задумчиво прошелся по веранде. Затем покивал головой и сказал:

– Она обиделась из-за одного случая в городе.

Он в нескольких словах описал мне причину.

– Так, жди меня в машине, – сказал я. – Может быть, мне удастся все уладить. – И когда он неохотно удалился: – Оливер, скажи мисс Эйли, что с ней хочу поговорить я, только я один.

Немного поперекавшись, он все же доставил мое сообщение и вернулся с ответом:

– Мисс Эйли говорит, что больше никогда и ни по какому поводу не хочет видеть того другого джентльмена. Она сказала, что вы, если хотите, можете войти.

Она была в библиотеке. Я ожидал увидеть холодность и оскорбленное достоинство, но вместо этого на ее лице я прочитал смутение, беспокойство и отчаяние. Глаза покраснели, словно она провела несколько часов, медленно и мучительно плача.

– Ну, привет, Энди, – отрывисто произнесла она. – Давно не виделись. Он ушел?

– Послушай, Эйли...

– Послушай, Эйли! – передразнила она. – Послушай, Эйли! Это ты послушай! Он ведь со мной чуть не заговорил! Приподнял шляпу! Стоял в десяти футах от меня с этой ужасной... этой кошмарной бабой, держал ее за руку, разговаривал с ней, а когда увидел меня – приподнял шляпу! Энди, я не знала, что мне делать! Мне пришлось зайти в аптеку и попросить, чтобы мне дали стакан воды; я так испугалась, что он пойдет за мной, что даже попросила мистера Рича позволить мне выйти через черный ход! Я больше видеть его не хочу, даже слышать ничего о нем не желаю!

Я стал говорить. Я сказал все, что обычно в таких случаях говорят. Я говорил полчаса – и никак не мог до нее достучаться. Она несколько

раз мне отвечала, бормоча что-то о том, что он «неискренний», и в четвертый раз я задумался: что же это слово для нее значило? Она определенно не могла иметь в виду «верность»; я подозреваю, что она, скорее всего, обозначала им некое особое к себе отношение, которого она ожидала.

Я встал, чтобы попрощаться. И в этот момент – я ушам своим не поверил! – снаружи трижды прозвучал нетерпеливый автомобильный гудок. Я был ошеломлен. Эти звуки прозвучали столь же ясно, словно Эрл находился в комнате и произнес: «Раз так, ну и катись к черту! Я не собираюсь стоять и ждать тут всю ночь».

Эйли с ужасом посмотрела на меня. И вдруг на ее лице появилось совершенно неожиданное выражение – тут же исчезнув, оно возникло вновь, сменившись затем печальной, истерической улыбкой.

– Ну разве он не ужасен? – воскликнула она с беспомощным отчаянием. – Это ведь просто кошмар!

– Поторопись! – тут же сказал я. – Не забудь плащ. Это ведь наша последняя ночь!

Я очень хорошо помню эту последнюю ночь; помню свет свечей, мерцавший на неотесанных деревянных стенах столовой, на потрепанных бумажных украшениях, оставшихся от вечеринки снабженцев; помню, как печально звучала мандолина где-то вдали между казармами, снова и снова повторяя мелодию «Мой дом в Индиане», звучащую, словно вселенская ностальгия по уходящему лету. Три девушки, затерявшиеся в таинственном городе мужчин, тоже что-то почувствовали: непостоянство всего окружающего околдовало и их, будто они попали на зависший над южной глубиной волшебный ковер, который мог в любой момент подняться и унести по воле ветра. Мы подняли бокалы за нас и за Юг. А затем мы оставили на столе салфетки, пустые стаканы и немного прошлого и вышли, держась за руки, на улицу, прямо в лунный свет. Проиграли отбой; вокруг стояла тишина, слышалось лишь далекое негромкое ржание лошадей да чей-то громкий настойчивый храп, рассмешивший нас, и еще скрип кожаной портупей часового у гауптвахты, взявшего оружие наизготовку. Крейкер был на дежурстве; мы, оставшиеся, сели в поджидавшую машину и проводили домой его девушку, доехав с ней до Тарлтона.

Затем Эйли и Эрл, Салли и я, усевшись парами на широком заднем сиденье, отвернувшись от соседей, полностью поглощенные друг другом, перешептываясь, поехали кататься в беспредельную тусклую тьму.

Мы ехали сквозь сосновый бор, где деревья густо заросли лишайником и бородатым мхом, затем – среди невспаханных хлопковых полей, где дорога стала белой, словно на краю света. Машина остановилась в неровной тени мельницы; до нас доносился шум бегущей воды и резкие птичьи крики, а над всем этим царил яркий лунный свет, стремившийся проникнуть, казалось, всюду: и в заброшенную негритянскую лачугу, и в автомобиль, и в колотившиеся сердца. Юг пел нам свою песню; не знаю, запомнилась ли она остальным? Мне запомнилась; серьезные бледные лица, сонные влюбленные глаза и голоса:

– Тебе хорошо?

– Да, а тебе?

– Точно?

– Да!

И вдруг всем одновременно стало ясно, что уже поздно, и это – все... Мы развернулись и поехали домой.

Наш отряд отправился в лагерь «Миллс» на следующий день, но я так и не попал во Францию. На Лонг-Айленде мы провели месяц, было очень холодно; маршем, со стальными касками по бокам, мы зашли на корабль, а затем снова маршем сошли на берег. Войны больше не было; я опоздал на войну. Возвратившись в Тарлтон, я попытался расстаться с армией, но, поскольку я был кадровым офицером, это заняло у меня большую часть зимы. Зато Эрла Шоена демобилизовали одним из первых. Он хотел устроиться на приличную работу, «пока есть хороший выбор». Эйли вела себя уклончиво, однако между ними подразумевалось, что впоследствии он, разумеется, вернется.

К январю военные лагеря, два года игравшие заметную роль в жизни маленького городка, уже стали прошлым. Лишь стойкий запах сжигаемого в печах мусора напоминал о былом оживлении и суете. Оставшаяся лагерная жизнь теперь с горечью концентрировалась вокруг здания штаба части, состоявшего из унылых кадровых офицеров, которые так же, как и я, опоздали на войну.

А в город со всех концов Земли стала возвращаться тарлтонская молодежь: кто в форме канадских подразделений, кто на костылях, кто с пустым рукавом. Промаршировал по улицам вернувшийся домой батальон Национальной гвардии, и вместо убитых в его рядах зияли пустые места, а оставшиеся в живых тут же сбросили с себя романтический флер и встали за прилавки местных лавчонок. На танцах в загородном клубе военная форма стала редкостью, теряясь среди смокингов.

Под Рождество неожиданно приехал Билл Ноулз – и уехал на следующий день: то ли он вручил Эйли свой ультиматум, то ли она, наконец-то, определилась. Иногда, когда она не была занята вернувшимися героями из Саванны или Огасты, я с ней встречался, но чувствовал я себя при этом неким пережитком прошлого – чем, впрочем, и являлся. Эрла Шоена она ждала со столь безграничной неуверенностью, что даже не хотела об этом разговаривать. Он прибыл за три дня до моего окончательного освобождения.

О его приезде я узнал, увидев, как они вместе шагают по Маркет-стрит; мне в жизни еще не доводилось видеть столь жалкой парочки, хотя я вполне допускаю, что такие ситуации повторялись сплошь и рядом во всех городах, где стояли военные лагеря. Это трудно представить, но во внешности Эрла практически все было не так. Из зеленой шляпы торчало «шикарное» перышко; костюм с укороченными брючками был украшен тесьмой по той гротескной моде, которой был положен конец благодаря усилиям общенациональной рекламы и кинофильмам. Он явно побывал у своего прежнего парикмахера, поскольку его волосы аккуратной скобочкой окаймляли розовую, чисто выбритую шею. Он не выглядел ни потрепанным, ни бедным, но этот шик «первого парня на деревне» и звезды «танцулек под гармонь» просто бросался в глаза – и особенно в глаза Эйли. Ведь она и представить себе не могла, как обстояли дела на самом деле; в таком костюме исчезала даже природная грация его изумительного телосложения. Сначала он хвастался своей отличной работой; она должна была их прокормить до тех пор, пока ему «не представится случай урвать хорошую деньгу». Но в тот самый миг, когда он возвратился в ее мир на своих условиях, ему следовало расстаться со всеми надеждами. Я не знаю, что ему сказала Эйли и что перевесило – ее печаль или ошеломление, но действовала она быстро:

спустя три дня после прибытия Эрл уже ехал вместе со мной в поезде обратно на север страны.

– Ну что ж, вот все и кончилось, – уныло сказал он. – Она прекрасная девушка, но слишком уж ученая для меня. Наверное, выйдет замуж за какого-нибудь богатея, который даст ей положение в обществе. Терпеть не могу таких задавак! – И чуть позже: – Она мне сказала, чтобы я приезжал через годик, но я никогда не вернусь. Все эти барские замашки хороши, когда на них есть деньги, да только...

«...да только все это было ненастоящее», – хотел сказать он. Провинциальное общество, в котором он с таким удовольствием повращался в течение полугода, уже казалось ему жеманным, фатовским и искусственным.

– Слушай-ка, а ты тоже заметил, когда мы садились в поезд? – спросил он меня через некоторое время. – Две отличные девахи, и совершенно одни! Может, смотаемся в соседний вагон, позовем их пообедать? Чур, моя та, что в синем! – Прошагав полвагона, он вдруг обернулся. – Слушай, Энди! – сказал он, нахмурившись. – Хотел спросить у тебя одну вещь: откуда она узнала, что я водил трамвай? Я ведь никогда ей не говорил.

– Это я сказал!

III

В этом месте повествования зияет значительный пробел, о котором я знал с самого начала. В течение последующих шести лет, пока я оканчивал Гарвардскую школу права, вкладывался в коммерческие самолеты и в производство прочной дорожной плитки, которая выдерживала новые грузовики, Эйли Калхоун была для меня не более чем просто именем на рождественской открытке; теплыми ночами, вспоминая запах магнолий, я иногда вспоминал и о ней. Изредка кто-нибудь из армейских знакомых спрашивал: «А что стало с той

блондинкой, за которой все тогда бегали?», но я ничего не знал. Однажды вечером в нью-йоркском «Монмартре» я наткнулся на Нэнси Ламарр и узнал, что Эйли была помолвлена с одним человеком из Цинциннати, ездила на север страны в гости к его родителям, а затем разорвала помолвку. Она оставалась все такой же прекрасной, рядом с ней постоянно крутился какой-нибудь жутко влюбленный ухажер или даже сразу несколько. Но ни Билл Ноулз, ни Эрл Шоен больше уже не возвращались.

Примерно в это же время до меня дошла молва, что Билл Ноулз женился на девушке, с которой познакомился на пароходе. Вот, собственно, и все – не так уж и много за целых шесть лет.

Как ни странно, но увиденная мною в сумерках на какой-то тихой платформе в Индиане девушка вдруг пробудила во мне желание вновь оказаться на Юге. Девушка в накрахмаленном розовом платье из органди заключила в объятия какого-то мужчину, сошедшего с нашего поезда, и увлекла его к поджидавшей машине – и я почувствовал что-то вроде внезапного укола. Мне показалось, что она унесла его прямо в навсегда утраченный мир того лета, когда мне было двадцать лет, где время замерло и очаровательные девушки, чьи черты я не мог различить, словно их скрывала пелена прошлого, все еще бродят по тенистым улицам. Мне кажется, что поэзия – это мечта о Юге уроженцев Севера. Но прошли месяцы, прежде чем я отправил Эйли телеграмму и тут же отправился вслед за ней в Тарлтон.

Стоял июль. Отель «Джефферсон» выглядел каким-то обветшалым и переполненным; в столовой, которую моя память населяла лишь офицерами и девушками, заседал местный клуб, члены которого периодически разражались песнями. Я узнал таксиста, который вез меня в дом Эйли, но его «И я вас тоже, лейтенант» прозвучало неубедительно. Нас таких там было двадцать тысяч.

Это были три очень любопытных дня. Я могу лишь предположить, что Эйли утратила часть юного лоска, как и полагается в этом мире, но поручиться за это я бы не смог. Внешне она была по-прежнему столь привлекательна, что вас тянуло к личности, рвавшейся с ее уст. Нет, произошедшая перемена была гораздо более глубокой.

Я сразу же заметил, что она теперь по-другому разговаривала. Из ее голоса исчезли гордые модуляции, звучно намекавшие, что ей известны секреты ушедшего яркого и прекрасного патриархального

прошлого; теперь для всего этого не было времени, поскольку она стала разговаривать в полушутливой, полуотчаянной новой южной манере. И этой манере в жертву приносились все оттенки, поскольку только так она работала, не оставляя времени задуматься: ни о настоящем, ни о будущем, ни о ней, ни обо мне. Мы пошли на шумную вечеринку в доме одной молодой пары, и нервным и блистающим ее центром была Эйли. Ей было уже не восемнадцать, но в маске дерзкого паяца она смотрелась так же привлекательно, как и всегда.

– Эрл Шоен давал о себе знать? – спросил я ее на следующий день по дороге на танцы в загородный клуб.

– Нет. – Она вдруг ненадолго стала серьезной. – Я часто о нем вспоминаю. Он был... – Она умолкла.

– Болваном.

– Я вообще-то собиралась сказать «мужчиной, которого я больше всех любила», но это неправда. Я никогда его не любила – иначе я бы все равно вышла за него замуж, правильно? – Она вопросительно взглянула на меня. – По крайней мере, я бы с ним так не обошлась.

– Это было невыносимо!

– Конечно, – неуверенно согласилась она. Ее настроение поменялось: она стала насмешливой. – Как же эти янки морочили нам головы! Нам, бедным южным девочкам! Ой, боже ж ты мой!

Когда мы приехали в загородный клуб, она тут же, словно хамелеон, растворилась в незнакомой мне толпе. Танцевальный зал наполнило новое поколение, в котором не было достоинства, отличавшего тех, кого я знал; но никто из них не мог соперничать с Эйли, представлявшей собой частицу его ленивой, лихорадочной сути. Возможно, она заметила, что лишь она одна сохранила изначальное стремление покинуть провинциальный Тарлтон, двигаясь вслед за поколением, которое было обречено остаться без преемников. Когда именно она проиграла битву, разыгравшуюся за белыми колоннами веранды ее дома, я не знаю. Но что-то она рассчитала неверно, где-то промахнулась. Сама ее сумасбродная живость, которая даже сейчас привлекала мужчин, собирая вокруг нее толпу поклонников, не уступавшую свитам самых юных и свежих, была признанием поражения.

Я покинул ее дом все с тем же, часто посещавшим меня в том давно исчезнувшем июле чувством смутного неудовлетворения. Лишь несколько часов спустя, не находя себе места в гостиничной постели, я понял, в чем было дело и сегодня, и всегда: я был глубоко и неизлечимо в нее влюблен! Несмотря на всю нашу несовместимость, она все еще была и всегда останется для меня самой привлекательной девушкой на свете. Я так и сказал ей на следующий вечер. Стоял один из тех хорошо знакомых мне жарких дней, и Эйли сидела рядом со мной на диване в темной библиотеке.

– Нет-нет, я не могу за тебя выйти, – немного испуганно сказала она. – Я ведь не люблю тебя *так*... И никогда не любила. Да и ты не любишь меня... Я не хотела тебе говорить, но через месяц я выхожу замуж за другого. Мы даже не объявляли о помолвке, потому что я уже объявляла пару раз. – Неожиданно ей пришло в голову, что она могла сделать мне больно. – Энди, это ведь просто глупость, правда? Ты же понимаешь, что я никогда бы не вышла замуж за северянина.

– Кто он? – спросил я.

– Один человек, из Саванны.

– Ты его любишь?

– Конечно да! – Мы оба улыбнулись. – Само собой! Ты думал, я скажу что-то другое?

Не было никаких сомнений, как раньше с другими мужчинами. Она не могла позволить себе иметь какие-либо сомнения. Я был в этом уверен, поскольку передо мной она уже давным-давно не притворялась. Такая естественность, как я понял, объяснялась тем, что она не рассматривала меня в качестве возможного жениха. Под маской врожденных безукоризненных манер она никогда не отступала от познанной ею собственной сути и не могла поверить, что ее можно полюбить по-настоящему, не относясь к ней с безграничным обожанием. Вот что она имела в виду, говоря «искренний»; она чувствовала себя в полной безопасности лишь с людьми вроде Кэнби и Эрла Шоена, которые были неспособны осудить это якобы аристократическое сердце.

– Ну, ладно, – сказал я, словно она спрашивала моего разрешения выйти замуж. – А могу я попросить тебя об одной вещи?

– Проси о чем угодно.

– Давай съездим в лагерь.

– Но, милый, там ведь ничего не осталось!

– Это неважно.

Мы пошли в центр города.

Таксист в стоявшей перед гостиницей машине повторил вслед за ней:

– Там сейчас ничего нет, капитан!

– Неважно. Поехали.

Через двадцать минут он остановился посреди широкой незнакомой равнины, на которой белели свежие хлопковые поля, отделенные друг от друга сосновыми рошицами.

– Хотите, съездим вон туда, где дымок? – спросил таксист. – Там новая тюрьма штата.

– Нет. Поезжайте по этой дороге. Хочу найти место, где я жил.

Посреди пустыни вздымал свои обветшалые трибуны старый ипподром, который никто не замечал в те дни, когда здесь находился лагерь. Я тщетно попытался сориентироваться:

– Поезжайте по этой дороге вон до той роши; затем поверните направо... Нет, налево!

Он подчинился, выражая всем своим видом профессиональную безразличность.

– Ты ничего там не найдешь, милый, – сказала Эйли. – Подрядчики при сносе все вывезли.

Мы медленно ехали по краю поля. Может, здесь?

– Так, стоп! Я выйду, – вдруг сказал я.

Эйли осталась сидеть в машине; легкий теплый ветерок колыхал ее недлинные вьющиеся волосы; она была прекрасна.

Возможно, здесь? Вот тут вполне могли идти улицы между казармами, а на другой стороне была столовая, где мы ужинали в тот вечер.

Таксист снисходительно смотрел, как я, спотыкаясь то тут, то там, в траве по колено, искал свою молодость, подбирая то кусок дранки, то жестяной лист, то ржавую банку от томатов. Я пытался сориентироваться по смутно знакомой группе деревьев, но стало темнее, и я уже не мог разглядеть, точно ли это были те самые деревья.

– Старый ипподром собираются ремонтировать, – крикнула Эйли из машины. – Наш Тарлтон на старости лет вдруг решил приукраситься!

Нет. Поразмыслив, я решил, что это были не те деревья. Я мог быть уверен лишь в том, что когда-то в этом месте кипела жизнь, а теперь все напряжение исчезло, будто и не было его, и еще в том, что через месяц исчезнет и Эйли, и тогда Юг опустеет для меня навсегда.

Величество

I

Удивительно не то, что люди в жизни оказываются лучше или хуже, чем мы ожидаем; что касается Америки, то здесь как раз только этого и можно ждать. Удивительнее другое – что люди могут оставаться верными самим себе и добиваться своих целей, вопреки удерживающей их, словно якорь, неумолимой судьбе.

Я горжусь тем, что еще никто не смог меня разочаровать с тех пор, как мне исполнилось восемнадцать и я научился отличать настоящее качество от искусной имитации, так что даже множество эффектных показушников из моего прошлого так и остались для меня показушниками, да и только.

Эмили Каствлтон появилась на свет в Гаррисберге, в средних размеров доме; когда ей исполнилось шестнадцать, она переехала в большой дом в Нью-Йорке, потом училась в пансионе Брирли, переехала в огромный дом, затем переехала в особняк в Такседо-Парк, уехала за границу, где занялась мельканием в обществе и на полосах светской хроники всех газет. В год ее дебюта один из этих французских художников, столь категоричных к американским красавицам, включил ее и еще одиннадцать светских и полусветских фигур в серию, представлявшую типы настоящих американок. В то время многие мужчины были с ним согласны.

Она была чуть выше среднего роста, с красивыми крупными чертами лица, а глаза были такими голубыми, что вы просто не могли их не заметить всякий раз, когда смотрели на нее, да еще густая копна светлых волос – выглядела она захватывающе и ярко. Мама и папа почти ничего не знали о том новом мире, в который они попали, поэтому Эмили пришлось узнавать все на собственном опыте – она периодически «влипала» в разные ситуации, и первая пыльца с ее крылышек уже облетела. Тем не менее главное, что эта пыльца была! Были помолвки и почти помолвки, короткие страстные романы, а затем продолжительный роман, когда ей исполнилось двадцать два, наполнивший ее горечью и побудивший ее отправиться блуждать по континентам в поисках счастья. Она решила «заняться искусством», как и большинство богатых незамужних девушек в этом возрасте, потому что люди искусства всегда кажутся обладателями какой-то тайны, какого-то внутреннего убежища, какого-то выхода. Но к этому времени большинство ее подруг были уже замужем, и ее образ жизни стал сильнейшим разочарованием для отца; в двадцать четыре, с мыслью о женитьбе – пусть не в сердце, но хотя бы в голове, – Эмили вернулась домой.

Это была низшая точка ее карьеры, и Эмили прекрасно об этом знала. Она проиграла. Она была одной из популярнейших и красивейших девушек своего поколения, обладала шармом, деньгами и даже определенной славой, но ее поколение ушло к новым горизонтам. Едва уловив первую снисходительную нотку в обращении старой школьной подруги, теперь уже юной матроны, она умчалась в Ньюпорт и позволила себя завоевать Уильяму Бревурту Блэйру. И тут же вновь превратилась в несравненную Эмили Кастлтон. В газетах даже появилась тень французского художника; самым обсуждаемым октябрьским событием в жизни праздного класса стал день ее свадьбы.

Роскошь отличает светские бракосочетания... Гарольд Кастлтон установил несколько павильонов, по пять тысяч долларов каждый, выстроенных как перекрывающиеся шатры бродячего цирка, в которых будут устроены прием, свадебный ужин и бал... Почти тысяча гостей, среди которых будут и

флагманы промышленности, и сливки общества... Стоимость подарков приближается к четверти миллиона долларов...

За час до церемонии, которая должна была свершиться в соборе Св. Варфоломея, Эмили сидела у туалетного столика и разглядывала себя в зеркале. Она чувствовала, что немного устала от своего лица, и к тому же ее неожиданно поразила тоскливая мысль о том, что в ближайшие пятьдесят лет это лицо будет требовать все большего и большего ухода.

– Я должна быть счастлива, – вслух сказала она, – а в голову лезут сплошь печальные мысли!

Ее кузина Оливия Мерси, сидевшая на краешке кровати, кивнула:

– Невестам всегда грустно.

– Такая потеря, – сказала Эмили.

Оливия негодуя нахмурилась:

– Потеря чего? Женщины обретают цельность, лишь выйдя замуж и родив детей!

Эмили медлила с ответом. Затем медленно сказала:

– Да, но чьих детей?

Впервые в жизни Оливия, всегда боготворившая Эмили, практически возненавидела ее. Любая из приглашенных на свадьбу, включая и Оливию, была бы счастлива заполучить Бревурта Блэйра.

– Тебе повезло, – сказала она. – Тебе так повезло, что ты сама этого не понимаешь! Тебя бы надо высечь за такие речи.

– Я люблю его, – насмешливо заявила Эмили. – Любовь придет после свадьбы. Какая ужасная перспектива, правда?

– Где романтика, а?

– Напротив, никого романтичнее себя я еще не встречала. Знаешь, о чем я думаю, когда он меня обнимает? Мне кажется, что, подними я глаза, тотчас покажется лицо Гарланда Кэйна!

– Но тогда зачем...

– А однажды, сев в его самолет, я так и не смогла подумать ни о ком другом, кроме как о капитане Марчбанксе, и как однажды мы с ним в его маленьком двухместном самолетике летали над Ла-Маншем, и у нас у обоих просто сердца разрывались, а мы ни слова не говорили

друг другу, потому что он был женат. Я не сожалею об этих мужчинах; я сожалею лишь о той части себя, которая их любила. Бревурту в розовой мусорной корзинке я могу вручить лишь оставшийся мусор. Должно же было хоть что-то остаться; я всегда думала, даже тогда, когда меня напрочь уносило чувство, что я все-таки что-то приберегла для того, единственного. Но, видимо, я ошиблась. – Она умолкла и добавила: – И все-таки я желаю знать!

От того, что все было ясно, негодование Оливии лишь возрастало – и если бы не положение бедной родственницы, она обязательно сказала бы все, что думает. Эмили была сильно избалована – восемь заполненных мужчинами лет убедили ее, что для нее все они недостаточно хороши, поэтому этот факт она приняла за аксиому.

– Ты нервничаешь. – Оливия пыталась скрыть свое раздражение. – Может, лучше прилечь на часок?

– Да, – задумчиво ответила Эмили.

Оливия вышла и спустилась вниз. В холле на первом этаже она столкнулась нос к носу к Бревуртом Блэйром, уже облаченным в свадебный костюм и даже с белой гвоздикой в петлице. Он находился в состоянии заметного волнения.

– Ох, прошу прощения, – извинился он. – Бегу к Эмили. Надо спросить про кольца – какое именно, понимаете? У меня четыре пары, она так и не решила – не могу же я вытащить их все в церкви и ждать, пока она выберет?

– Я совершенно случайно знаю, что она выбрала большое гладкое из платины. Но если она вам нужна...

– О, благодарю вас! Не буду ее беспокоить.

Они стояли и почти касались друг друга, и даже в этот момент, когда он был уже потерян для нее навсегда, Оливия не могла не думать о том, как же они с Бревуртом похожи. Волосы, кожа, черты – их можно было принять за брата с сестрой, – и характерами они тоже были похожи: одинаковая застенчивая серьезность, одинаковая простая прямота. Все это мгновенно промчалось у нее в голове вместе с мыслью о том, что ветреная, горячая Эмили, с ее живостью и большим размахом колебаний, была, по большому счету, лучшей партией для него; а затем, вопреки всему, огромная волна нежности, физически ощутимой жалости и желания захлестнула ее, и ей

показалось, что сделай она лишь шагжок вперед, и его объятия раскроются ей навстречу.

Вместо этого она шагнула назад, оставив его, словно коснулась его кончиками пальцев и вдруг неожиданно опустила руки. Возможно, какие-то волны ее чувств пробились к его сознанию, потому что он вдруг сказал:

– Мы ведь будем дружить, правда? Пожалуйста, не думайте, что я отнимаю у вас Эмили. Я знаю, что никогда не смогу ей обладать – никто не сможет, – да я и не хочу.

Не сказав ни слова, пока говорил он, она попрощалась с ним, с единственным мужчиной, которого она когда-либо желала.

Ведь она любила даже самопоглощенную нерешительность, с которой он искал свои пальто и шляпу; она так хотела бы стать той ручкой закрытой двери, за которую он ухватился по ошибке!

Когда он ушел, она прошла в громадную и великолепную гостиную. На потолке была нарисована вакханалия, по стенам висели массивные канделябры и портреты восемнадцатого века, на которых вполне могли бы быть нарисованы предки Эмили, но увы! – это были вовсе не они, хотя отчего-то это наделяло ее куда большими на них правами. Здесь она решила немного отдохнуть – как всегда, в тени Эмили.

Через дверь, выходящую на маленький и бесценный, окаймленный праздничными павильонами клочок травы прямо посреди 16-й улицы, вошел ее дядя, мистер Гарольд Кастлтон. В руке у него был бокал шампанского.

– Оливия, прекрасная и милая! – с чувством воскликнул он. – Оливия, дитя мое, она все-таки сделала это! Внутри она все-таки хорошая, так я и думал. Порода всегда побеждает; правда, настоящие аристократы? Я – только между нами – уже начал было думать, что Господь с моей помощью дал ей чересчур много, что она никогда не удовлетворится, однако вот и она сходит на землю, как... – он безуспешно пытался подобрать метафору, – как настоящий аристократ, и я уверен, что она поймет, что это, в сущности, не такое уж плохое место. – Он подошел ближе. – Ты плакала, маленькая Оливия?

– Немного.

– Ничего страшного, – великодушно сказал он. – Не будь я так счастлив, я бы тоже расплакался.

Позже, когда она отправилась вместе с двумя другими подружками невесты в церковь, торжественный пульс большой свадьбы, казалось, слышался уже в вибрации мотора авто. У дверей его подхватил орган, позже он будет подхвачен виолончелями и скрипками бала и утихнет, когда раздастся звук мотора лимузина, увозящего невесту и жениха.

В церкви собралось очень много народу, в воздухе уже за десять футов чувствовался сильный аромат духов, слабый аромат чисто вымытых человеческих тел и запах глаженной ткани нарядов «с иголки». За многочисленными шляпами ближе к алтарю церкви на передних скамьях с обеих сторон сидели обе семьи. Блэйры – семейное сходство проявлялось в слегка снисходительном выражении лиц, причем эта черта наблюдалась как у родни, так и у урожденных Блэйров, – были представлены: Гардинером Блэйром, старшим и младшими; леди Мэри Боус Говард, урожденной Блэйр; миссис Поттер Блэйр; миссис Принсес Потоуки Пэрр Блэйр, урожденной Инчбит; мисс Глорией Блэйр; его преподобием Гардинером Блэйром III, а также бедными и богатыми представителями родственных семейств Смисов, Байклов, Диффендорферов и Хамнов. По другую сторону алтаря сидели не столь впечатляющие Кастлтоны: мистер Гарольд Кастлтон, мистер и миссис Теодор Кастлтон с детьми, Гарольд Кастлтон-младший, а также мистер Карл Мерси из Гаррисберга, и еще в уголке прятались две маленькие тетушки в возрасте, по фамилии О’Киф. Они еще никак не могли прийти в себя после того, как сегодня утром были спешно погружены в лимузин и отвезены к модному кутюрье, одевшему их с головы до ног.

В ризнице, где как птицы, в своих огромных шляпах с полями порхали подружки невесты, наносились последние штрихи помады и проверялись последние булавки – вот-вот прибудет Эмили! Подружки представляли различные стадии жизненного пути Эмили: школьная подруга из Брирли, последняя незамужняя подруга из тех, что вышли в свет одновременно с ней, компаньонка по путешествию в Европу и девушка, у которой она гостила в Ньюпорте, когда повстречала Бревурта Блэйра.

– Они наняли Уэйкмана, – говорила последняя, стоя у двери и прислушиваясь к музыке. – Он играл у моей сестры, но себе я бы Уэйкмана не хотела.

– Почему это?

– Да ведь он все время играет одну и ту же вещь – «На рассвете». Он сыграл ее уже полдюжины раз!

В этот момент открылась вторая дверь, и показалось озабоченное лицо какого-то юноши.

– Все готовы? – осведомился он у ближайшей к нему подружки невесты. – У Бревурта уже легкое помешательство. Он стоит и меняет воротнички, один за другим, один за другим...

– Успокойтесь, – ответила юная леди. – Невеста всегда немного опаздывает!

– «Немного опаздывает»?! – возразил друг жениха. – Я бы не сказал «немного». Там уже начинают ногами топтать и шикать, как в цирке, а органист уже полчаса наигрывает один и тот же мотив! Хотя бы немного разбавил эту скуку каким-нибудь джазом.

– Который час? – спросила Оливия.

– Четверть пятого... без десяти пять...

– Может, на дороге пробки? – Оливия замолкла, увидев, что мистер Гарольд Кастлтон вместе с обеспокоенным викарием находятся посреди праздничной толпы, пробиваясь к телефону.

А вслед за этим началось неожиданное движение к входу от алтарной части церкви: люди шли один за другим, потом пара за парой, и так – пока ризница не заполнилась толпой родственников, а воздухе не повисло беспокойство.

– Что случилось?

– Кто-нибудь может объяснить, что случилось?

Вошел шофер и стал что-то взволнованно докладывать. Гарольд Кастлтон выругался и с пылающим лицом стал грубо проталкиваться к дверям. Раздалась просьба очистить ризницу, и затем, будто в противовес движению к входу, от дальнего угла церкви стала нарастать рябь разговора, стремившаяся дальше, к алтарю, усиливаясь и ускоряясь, становясь все более отчетливой, не затихая, заставляя людей вставать со скамей, превращаясь в нечто вроде приглушенного крика. Сделанное с алтаря объявление о том, что венчание откладывается, почти никто и не услышал, потому что к этому моменту уже каждый знал, что прямо к него на глазах разворачивается грандиозный скандал, который будет на первых полосах всех газет: Эмили Кастлтон, невеста Бревурта Блэйра, сбежала прямо из-под венца!

II

Оливия вернулась домой настолько погруженной в себя, что не заметила даже толпившихся у входа в особняк Кастлтонов на 60-й улице репортеров. Ей отчаянно хотелось пойти и утешить того, к кому она не должна была даже приближаться, и поэтому в качестве замены она пошла искать дядю Гарольда. Она прошла сквозь анфиладу пяти тысячедолларовых павильонов, в которых в подобающем случае похоронном полумраке, среди блюд с икрой, жареной индейкой и пирамидального свадебного торта, все еще стояли официанты и слуги, ожидая неизвестно чего. Поднявшись наверх, Оливия обнаружила дядю сидящим на стуле перед туалетным столиком Эмили. Перед ним в беспорядке были разбросаны коробочки с косметикой – явное свидетельство женских приготовлений, делавшее его нелепое одинокое присутствие символом безумной катастрофы.

– А, это ты. – Его голос звучал глухо; он сильно постарел за прошедшие два часа.

Оливия положила руку на его согбенное плечо:

– Какой ужас, дядя Гарольд!

Неожиданно раздался поток богохульств, затем стих, и одна-единственная слеза медленно сползла по его щеке.

– Где мой массажист? – сказал он. – Пусть Мак-Грегор вызовет его.

Он издал долгий отрывистый вздох, как ребенок после истерики, и Оливия заметила, что его локти покрылись пудрой с туалетного столика, словно он, опираясь на него, плакал – казалось выпитое заранее шампанское.

– Где-то тут была телеграмма, – пробормотал он.

– Да, где-то здесь...

Он медленно добавил:

– С этой минуты ты – моя единственная дочь.

– О, нет, прошу вас, не говорите так!
Развернув телеграмму, она прочла:

*НЕ МОГУ ТЧК
БУДУ ДУРОЙ ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ТЧК
ЧЕМ РАНЬЩЕ КОНЧИТСЯ ТЕМ ЛУЧШЕ ТЧК
ЧЕРТОВСКИ ЖАЛЬ ВАС ТЧК
ЭМИЛИ*

Когда Оливии удалось вызвать массажиста и поставить слугу охранять снаружи дверь дядиной комнаты, она ушла в библиотеку, где растерянный секретарь старательно пытался не сказать ничего лишнего в ответ на настойчивые телефонные допросы.

– Я так расстроен, мисс Мерси! – чуть не расплакался он; голос его отчаянно дрожал. – Говорю вам, я так расстроен, что у меня разыгралась дикая головная боль. Уже с полчаса мне мерещится, что снизу раздается танцевальная музыка.

Оливии тоже показалось, что она понемногу впадает в истерику; в перерывах между шумом проезжавших по улице машин ей тоже явственно слышались звуки песни:

*Она так прекрасна,
она так мила,
а мне все равно,
потому что ведь я
не пара ей, кто же...*

Она быстро сбежала вниз, пробежала через гостиную – музыка становилась все громче. У входа в первый павильон она, остолбенев, остановилась.

По затянутому парусиной дощатому полу под музыку небольшого профессионального оркестра кружилось несколько юных пар. У бара в углу стоял еще один молодой человек, с полдюжины официантов были заняты смешиванием коктейлей и открывали шампанское.

– Гарольд! – властно позвала она одного из танцующих. – Гарольд!

Высокий молодой человек лет восемнадцати извинился перед партнершей и направился к ней:

– Привет, Оливия. Ну, как отец?

– Гарольд, ради всего святого, что тут...

– Эмили сошла с ума, – примирительно сказал он. – Я всегда говорил, что Эмили сумасшедшая. Шарик за ролик. И всегда такая была.

– А этим вы что хотите продемонстрировать?

– Этим? – он невинно огляделся. – А, да это просто мои приятели из Кембриджа.

– Но... танцы?!

– Ну, так ведь никто не умер? Я и подумал, что, раз уж все приготовлено, не пропадать же добру...

– Скажи им, что пора расходиться, – сказала Оливия.

– Почему? Что тут такого? Ребята ехали аж из Кембриджа...

– Это просто неприлично!

– Да все нормально, Оливия. У одного парня сестра сделала то же самое – правда, через день после, а не до. Сейчас многие так делают!

– Вот что, Гарольд. Музыку прекратить, все по домам, – оборвала Оливия, – или я иду к твоему отцу!

Он явно думал, что никакая семья не может быть опозорена событием столь изумительного масштаба, но все же неохотно подчинился. Крайне разочарованный дворецкий проследил за тем, как уносят шампанское, и слегка расстроенная молодежь равнодушно удалилась в более терпимую ночь. Оставшись наедине с тенью – тенью Эмили, повисшей над домом, – Оливия присела в гостиной, чтобы все обдумать. В тот же момент в дверях возник дворецкий:

– Пришел мистер Блэйр, миссис Оливия.

Она вскочила на ноги:

– К кому?

– Он ничего не сказал. Просто пришел.

– Передайте ему, что я здесь.

Он вошел, скорее задумчивый, чем подавленный, кивнул Оливии и уселся на табурет у рояля. Ей хотелось сказать: «Иди сюда. Иди ко мне, бедный ты мой. Ничего, ничего...» Но в то же время ей самой хотелось расплакаться, и она промолчала.

– Через три часа, – тихо сказал он, – выйдут утренние газеты. На 59-й улице есть киоск.

– Глупости какие... – начала она.

– Я не тщеславен, – перебил он, – но тем не менее сейчас меня больше всего заботит, что напишут в утренних газетах! Конечно, позже еще придется терпеть вежливое, красноречивое молчание родственников, друзей и деловых партнеров. Что же касается самого происшествия, то, как ни странно, я не чувствую ровным счетом ничего.

– Я не обращала бы внимания вообще ни на что.

– Скорее я ей благодарен, что она сделала это вовремя.

– Может, вам уехать? – резко подалась к нему Оливия. – В Европу, пока все не уляжется?

– Уляжется? – Он рассмеялся. – Такие вещи люди никогда не забывают! Хихиканье за спиной теперь будет преследовать меня до конца моих дней. – Он застонал. – Дядя Гамильтон прямо из церкви отправился на Парк-Роу переговорить с газетчиками. Он из Виргинии, и в разговоре с одним редактором он неосторожно употребил старомодное слово «порка». Жду не дожусь этой газеты. – Он умолк. – Как мистер Кастлтон?

– Думаю, будет благодарен, что вы заглянули.

– Я не за этим пришел. – Он замялся. – Я хочу задать вам один вопрос. Вы выйдете за меня замуж завтра, в Гринвиче?

Целую минуту Оливии казалось, что она стремительно куда-то падает; она издала какое-то нечленораздельное восклицание; у нее просто отвисла челюсть.

– Я знаю, что нравлюсь вам, – быстро продолжил он. – Я даже как-то вообразил, что вы в меня немного влюблены, вы уж простите за такое предположение. Ну да ладно. Вы очень похожи на одну девушку, которая любила меня когда-то, так что, вполне возможно, вы... – Он побагровел от смущения, но мужественно продолжал: – Так вот, вы мне безумно нравитесь, и что бы я ни чувствовал по отношению к Эмили, все это, если можно так сказать, уже улетучилось.

Ее сердце стучало так, что он должен был его слышать.

– Любезность, которую вы мне этим окажете, я вряд ли смогу переоценить, – продолжил он. – Господи, я знаю, что это звучит совершенно безумно, но что может быть безумнее, чем сегодняшний день? Понимаете, если вы выйдете за меня, в газетах появится совершенно другая история; они подумают, что Эмили сбежала, чтобы не стоять у нас на пути, и в дураках останется все-таки она.

На глазах Оливии показались слезы негодования.

– Я, конечно, понимаю, что это говорил ваш уязвленный эгоизм, но понимаете ли вы, что делаете мне оскорбительное предложение?

Его лицо осунулось.

– Прошу меня простить, – через некоторое время ответил он. – Понимаю, что с моей стороны было глупо даже думать об этом, но мужчина никогда не сможет смириться с потерей собственного достоинства из-за женского каприза. Я понимаю, что это невозможно. Прошу меня извинить.

Он встал и взял свою трость.

Он направился к двери, и сердце Оливии сжалось, а огромная неодолимая волна самосохранения накрыла ее, утопив и сомнения, и гордость. Его шаги уже звучали в холле.

– Бревурт! – окликнула она. Вскочила и побежала к двери. Он обернулся. – Бревурт, как называется газета – ну, та, куда ходил твой дядя?

– А что?

– Если я позвоню прямо сейчас, они успеют изменить статью. Я скажу им, что мы только что поженились!

III

Есть в Париже определенный круг высшего общества, который условно можно считать разношерстным продолжением американского

«высшего света». Входящие в него люди привязаны сотнями нитей к родной земле, и все их развлечения, чудачества, взлеты и падения являются открытой книгой для всех их друзей и родственников в Саутгемптоне, Лэйк-Форест или Бэк-Бэй. Поэтому публика неизменно находилась в курсе всех предыдущих европейских походов Эмили, следовавшей за переменчивой континентальной модой; но спустя месяц после несостоявшейся свадьбы, с того дня, когда она отплыла на пароходе из Нью-Йорка, она совершенно исчезла из виду. Были редкие письма отцу, иногда доносились слухи, что кто-то встречал ее в Каире, Константинополе или на безлюдной Ривьере – вот и все.

Год спустя мистер Кастлтон встретился с ней в Париже, но, как он рассказал Оливии, встреча вселила в него лишь беспокойство.

– Что-то с ней было такое... – никак не мог подобрать он слов, – ну, такое, будто она о чем-то таком своем все время думала, и мне этого было не понять. Она была очень любезна, но вела себя натянуто, словно автомат... Она и про тебя спросила.

Несмотря на солидное положение, о котором свидетельствовали трехмесячный ребенок и прекрасная квартира на Парк-авеню, Оливия почувствовала, как ее сердце по-девичьи неуверенно дрогнуло.

– Что она сказала?

– Что очень рада за тебя и Бревурта. – А про себя добавил, не скрывая разочарования: «Еще бы, ведь тебе достался лучший жених Нью-Йорка, пусть и после того, как его бросила она...»

... В тот день, когда Оливии позвонил его секретарь и осведомился, не будут ли они так любезны нанести сегодня вечером визит мистеру Кастлтону, с той встречи миновало больше года. Приехав, они обнаружили, что старик в волнении меряет шагами библиотеку.

– Вот оно и случилось, – объявил он в ярости. – Люди никогда не стоят на месте; никто никогда не останавливается на достигнутом! В жизни всегда либо ползешь вверх, либо падаешь вниз. Эмили выбрала низ. Она уже где-то в районе дна. Вы когда-нибудь слыхали о человеке, которого мне описали как... – он заглянул в письмо, которое держал в руке, – «отпетого негодяя по имени Петрокобеско»? Сам он представляется как «принц Габриэль Петрокобеско», из ни пойми какого королевства, видимо. Письмо прислал Халлэм, мой представитель в Европе, и приложил вырезку из парижской газеты. Похоже, что этого джентльмена пригласили в полицию, где попросили

немедленно покинуть Париж, и среди небольшой свиты, сопровождавшей его при отъезде, была одна американка по имени мисс Кастлтон, «по слухам, дочь миллионера». До станции процессию сопровождали жандармы. – Дрожащими руками он передал письмо и вырезку Бревурту Блэйру. – Что тут сказать? Вот до чего докатилась Эмили!

– Мало хорошего, – нахмурившись, сказал Бревурт.

– Это конец! Мне показалось, что с недавних пор ее счета стали больше обычного, но мне даже в голову не могло прийти, что она содержит...

– Возможно, это ошибка, – предположила Оливия. – Возможно, это какая-нибудь другая мисс Кастлтон.

– Нет, все верно, это Эмили. Халлэм изучил дело. Это действительно Эмили, которая когда-то побоялась нырнуть с головой в чистый омут нормальной жизни, а в результате плещется в сточной канаве.

Шокированная Оливия почувствовала горечь судьбы во всей ее остроте. Вот она и ее особняк в Уэстбери Хиллз, а вот Эмили, спутавшаяся с депортированным в результате позорного скандала авантюристом.

– Я не имею никакого права просить вас об этом, – продолжал мистер Кастлтон. – Безусловно, я не имею никакого права просить Бревурта о чем-либо, связанном с Эмили. Но мне уже семьдесят два, и Фрэйз говорит, что если я прерву курс процедур хотя бы на пару недель, он тут же снимает с себя всякую ответственность, и тогда Эмили останется совсем одна в этом мире. Я прошу вас съездить за границу месяца на два, найти ее там и привезти домой.

– Вы считаете, что мы сможем ее убедить? – спросил Бревурт. – Я думаю, она вряд ли меня послушает.

– Время не ждет. Если не едете вы, тогда еду я.

– Только не это, – быстро ответил Бревурт. – Сделаем все, что в наших силах, правда, Оливия?

– Конечно.

– Верните ее любыми средствами – только верните! Если будет нужно, поклянитесь в суде, что она ненормальная.

– Хорошо. Сделаем все, что в наших силах.

Спустя десять дней после этого разговора супруги Блэйр нанесли визит парижскому представителю мистера Кастлтона, чтобы выяснить все известные подробности дела. Они были в изобилии, но все – неутешительны. Халлэм видел Петрокобеско в разных ресторанах – толстый коротышка с масленными глазками и неутолимой жаждой. Он был родом из какой-то неизвестной страны и вот уже несколько лет болтался туда-сюда по Европе, на какие средства – одному Богу известно; возможно, источником его существования служили американцы, хотя, как понял Халлэм, не так давно для него закрылись двери даже самых отдаленных кругов международного общества. Об Эмили Халлэм знал чрезвычайно мало. Неделю назад была информация, что они в Берлине, а вчера сообщили, что в Будапеште. Скорее всего, Петрокобеско, как персона нон-грата, должен был всегда регистрироваться в местной полиции, так что Блэйрам посоветовали приступить к поискам именно в этом направлении.

Через сорок восемь часов в сопровождении американского вице-консула они переступили порог начальника будапештской полиции. Офицер по-венгерски отвечал вице-консулу, который немедленно передал основную суть беседы: Блэйры опоздали.

– Куда они уехали?

– Он не знает. Он получил приказ выдворить их из страны, и вчера вечером они уехали.

Вдруг начальник полиции написал что-то на листке бумаги и, что-то сказав, передал листок вице-консулу.

– Он сказал: «Ищите здесь».

Бревурт посмотрел на бумажку:

– Стармдорп – а где это?

Снова начался разговор на венгерском.

– Ехать пять часов на местном поезде, который ходит по средам и пятницам. Сегодня – суббота.

– Мы возьмем машину в отеле, – сказал Бревурт.

Они выехали сразу после ужина. По ухабистой дороге, в ночи, сквозь безмолвные венгерские равнины. Оливия очнулась от тревожной дремоты и увидела, как Бревурт и шофер меняют шину;

а затем снова проснулась, когда они остановились у мутной речушки, за которой виднелись редкие огни города. Двое солдат в незнакомой форме осмотрели машину и пассажиров; затем они пересекли мост и поехали по узкой, извилистой главной улице к единственной имевшейся в Стармдорпе гостинице; в неудобные постели они свалились, когда уже прокукарекали первые петухи.

Оливия проснулась с ничем не объяснимой уверенностью, что наконец-то они догнали Эмили; вместе с ней проснулось и старое знакомое ощущение беспомощности перед лицом причуд Эмили; на мгновение на нее опять навалилось далекое прошлое и господство в нем Эмили, и находиться в этом месте показалось ей почти наглостью. Но простодушная целеустремленность Бревурта освободила ее и вернула уверенность, когда они спустились вниз к хозяину гостиницы, который, как оказалось, бегло говорил по-английски: язык он выучил в Чикаго еще до войны.

– Вы уже не в Венгрии, – пояснил он. – Вы перешли границу и находитесь в Чех-Ганза. Это маленькая страна, у нас всего два города, этот и столица. Американцам виза не требуется.

«Наверное, поэтому они и приехали сюда», – подумала Оливия.

– Нас интересуют иностранцы, – сказал Бревурт. – Мы ищем одну даму... американку... – И он описал Эмили, не упоминая о ее предполагаемом спутнике; когда он закончил, лицо хозяина гостиницы изменилось.

– Прошу показать ваши паспорта, – сказал он; затем: – Почему вы ее ищете?

– Эта дама – кузина моей жены.

Хозяин гостиницы ненадолго задумался.

– Думаю, что смогу помочь вам ее найти, – сказал он.

Он вызвал портье и что-то быстро произнес на непонятном диалекте. Затем:

– Идите за мальчиком – он покажет дорогу.

Их провели по грязным улицам к полуразрушенному дому на окраине городка. Мужчина с охотничьим ружьем, развалившийся у входа снаружи, встал и что-то резко спросил у портье, после обмена непонятными фразами им дали пройти, они поднялись по лестнице и постучали в дверь. Когда она открылась, оттуда показалась чья-то

голова, стрельнувшая глазами туда и сюда; портье снова что-то сказал, и они вошли внутрь.

Они попали в большую грязную комнату, которая нашлась бы в любом пансионе для бедных в любом уголке западного мира, – выцветшие обои на стенах, разодранная обивка, бесформенная кровать и возникавшее, несмотря на пустоту, ощущение загромождения помещения призрачной мебелью последнего десятилетия, на присутствие которой указывали кольца пыли и пятна проплешин на полу. В середине комнаты стоял невысокий тучный человек с влажными глазками и выдающимся над сладострастным, порочным ротиком носом. Человек изучающе уставился на Бревуртов, когда они вошли в дверь, а затем, издав одно раздраженное «Чушь!», нетерпеливо отвернулся. В комнате находилось еще несколько человек, но Бревурт и Оливия смотрели лишь на Эмили, возлежавшую с полузакрытыми глазами в шезлонге.

Когда она их увидела, ее глаза чуть изумленно раскрылись; она сделала движение, словно собираясь подпрыгнуть, но вместо этого протянула руку, улыбнулась и громко произнесла их имена вежливым тоном – скорее в качестве объявления остальным их присутствия, чем в качестве приветствия. При звуках имен угрюмость на лице коротышки сменила вынужденная любезность.

Девушки расцеловались.

– Дуду! – произнесла Эмили, желая привлечь его внимание. – Принц Петрокобеско, позвольте вам представить мою кузину, миссис Блэйр, и мистера Блэйра!

– Весьма польщен, – сказал Петрокобеско.

Они с Эмили обменялись быстрыми взглядами, после чего он предложил: «Присаживайтесь!» и тут же сам занял единственный свободный стул, как в детской игре «музыкальные стулья».

– Весьма польщен, – повторил он.

Оливия присела у подножия шезлонга Эмили, а Бревурт уселся на стул, который принес от стены, по пути рассмотрев других присутствовавших в комнате. В одном с ними помещении находились: свирепого вида молодой человек в плаще, стоявший у двери скрестя руки и блестя зубами, а также два потрепанных бородача, сидевших бок о бок в углу, – у одного из них в руках был револьвер, а другой сидел, подавленно свесив голову на грудь.

– Давно вы здесь? – спросил принц.

– Приехали сегодня утром.

На мгновение Оливия не смогла удержаться и мысленно сравнила этих двоих: высокую красавицу американку и невзрачного славянина, которого вряд ли потерпели бы даже в лагере для эмигрантов на Эллис-Айленд. Затем она посмотрела на Эмили – все те же густые светлые волосы, которые, казалось, впитывали в себя солнечные лучи, глаза, напоминавшие о глубоких морях... Лицо ее немного осунулось, у губ появились небольшие морщинки, но это была все та же Эмили – как всегда, доминирующая, сияющая и масштабная. Позором казалось, что вся эта красота и яркая индивидуальность в итоге очутились в дешевом пансионе на краю света.

В дверь постучали. Мужчина в плаще открыл и передал Петрокобеско записку; тот ее прочитал, воскликнул «Чушь!» и передал листок Эмили.

– Как видишь, здесь нет экипажей, – горестно произнес он по-французски. – Все экипажи были уничтожены – все, кроме одного, который теперь находится в музее. Ну да ладно, я предпочитаю коня.

– Нет, – ответила Эмили.

– Да, да, да! – воскликнул он. – Мне решать, как ехать!

– Не надо устраивать сцену, Дуду!

– Сцену? – Он вскипел от злости. – Сцену?!

Эмили повернулась к Оливии:

– Вы приехали на автомобиле?

– Да.

– Большая шикарная машина? С открывающимся верхом?

– Да.

– То, что надо! – сказала Эмили принцу. – Можно нарисовать герб на дверце!

– Ну-ну, полегче, – сказал Бревурт. – Машина принадлежит отелю в Будапеште.

Эмили ничего не слушала.

– Жаньерка умеет рисовать, – задумчиво продолжила она.

В этот момент их снова прервали. Понурый человек в углу неожиданно вскочил и попробовал метнуться к двери, но другой человек поднял револьвер и обрушил рукоятку прямо ему на голову. Мужчина обмяк и свалился бы на пол, если бы напавший на него не

пихнул его обратно на стул, на который он и осел, потеряв сознание; на лбу у него показалась струйка крови.

– Вонючие бургеры! Грязный, вонючий шпик! – сквозь сжатые зубы крикнул Петрокобеско.

– Чтобы я больше никогда не слышала от тебя подобных замечаний! – резко сказала Эмили.

– Тогда почему нет новостей? – воскликнул он. – Мы что, так и просидим всю жизнь в этом хлеву?

Не обращая на него внимания, Эмили повернулась к Оливии и стала непринужденно расспрашивать ее о Нью-Йорке. Сухой закон все еще действует? Что новенького в театре? Оливия старалась отвечать и одновременно пыталась поймать взгляд Бревурта. Чем скорее их цель будет объявлена, тем скорее они смогут забрать Эмили.

– Мы можем поговорить наедине, Эмили? – вмешался в разговор Бревурт.

– К сожалению, в настоящий момент мы не располагаем другими помещениями.

Петрокобеско как раз затеял оживленный разговор с человеком в плаще, и, воспользовавшись моментом, Бревурт тихо и торопливо заговорил с Эмили:

– Эмили, твой отец стареет; ты нужна ему дома. Он хочет, чтобы ты бросила эту безумную жизнь и вернулась в Америку. Он отправил нас, потому что не смог поехать сам, а никто не знает тебя так же хорошо, как знаем мы...

Она рассмеялась:

– Хочешь сказать, знает, «на какие пакости я способна»!

– Нет, – быстро вставила Оливия. – Любит тебя, как мы! Не могу передать, как ужасно видеть, что ты блуждаешь по свету, словно неприкаянная.

– Но мы уже не блуждаем, – возразила Эмили. – Эта страна – родина Дуду.

– Где твоя гордость, Эмили? – нетерпеливо произнесла Оливия. – Ты знаешь, что тот случай в Париже попал в газеты? Как ты думаешь, что подумали дома?

– То, что произошло в Париже, настоящее оскорбление. – Глаза Эмили метнули голубые молнии. – Кое-кому придется заплатить за тот случай в Париже!

– Но везде будет то же самое. Ты погружаешься все ниже и ниже, тебя затягивает трясина, а однажды ты останешься совсем одна...

– Остановись, прошу тебя! – Голос Эмили был холоден как лед. – Мне кажется, ты не совсем понимаешь...

Эмили замолкла, не договорив. Вернулся Петрокобеско, бросился на стул и обхватил лицо руками.

– Я этого не вынесу, – прошептал он. – Прощу тебя, проверь мой пульс. Кажется, мне стало хуже. Ты захватила с собой термометр?

Некоторое время она молча держала его запястье.

– Все в порядке, Дуду. – Ее голос теперь был мягким, почти баюкающим. – Сядь. Будь мужчиной.

– Ладно.

Он, как ни в чем не бывало, положил ногу на ногу и резко повернулся к Бревурту.

– Ну, как там, в Нью-Йорке? Рынок сейчас на подъеме? – спросил он.

Но Бревурт был уже не в состоянии и дальше выдерживать эту абсурдную сцену. На него накатило воспоминание об одном ужасном часе, который он пережил три года назад. Он не позволит сделать из себя посмешище второй раз – его желваки решительно напряглись, когда он поднялся на ноги.

– Эмили, собирай вещи, – коротко сказал он. – Мы едем домой.

Эмили не пошевелилась; удивление на ее лице постепенно сменилось весельем. Оливия обняла ее за плечи:

– Пойдем, дорогая. Забудем про этот кошмар!

А Бревурт добавил:

– Мы ждем!

Петрокобеско что-то быстро сказал человеку в плаще, тот подошел и схватил Бревурта за руку. Бревурт раздраженно стряхнул его руку, мужчина отступил и схватился за пояс.

– Нет! – повелительно воскликнула Эмили.

Их снова прервали. Дверь без стука открылась, два тучных человека в длинных плащах и цилиндрах ворвались в комнату и бросились к Петрокобеско. Они улыбались, похлопывали его по плечу, что-то тараторили на непонятном языке, и он тоже заулыбался и стал хлопать их по плечам, они стали целоваться; затем, повернувшись к Эмили, Петрокобеско заговорил с ней по-французски.

– Все в порядке, – возбужденно сказал он. – Не было даже дебатов. Я получу титул короля!

Глубоко вдохнув, Эмили откинулась на спинку стула, ее губы разжались, а на лице появилась непринужденная спокойная улыбка.

– Очень хорошо, Дуду. Я выйду за тебя замуж.

– Господи, какое счастье! – Он захлопал в ладоши и в экстазе уставился на обшарпанный потолок. – Какое потрясающее счастье! – Он упал на колени рядом с ней и поцеловал ее ладошку.

– Какие еще короли? – спросил Бревурт. – Он что... Он – король?

– Он король. Правда, Дуду? – Рука Эмили нежно гладила его давно немую голову, а Оливия заметила, что ее глаза заблестели.

– Я – твой муж, – едва не плача, воскликнул Дуду. – Самый счастливый человек на свете!

– До войны его дядя был принцем Чех-Ганза, – пояснила Эмили; в ее голосе слышалась музыка. – С тех пор тут была республика, но в крестьянской партии захотели перемен, и Дуду оказался ближайшим наследником. Но я бы не согласилась выйти за него, если бы он не настоял на титуле короля, а не принца!

Бревурт провел рукой по вспотевшему лбу:

– Ты хочешь сказать, что это – факт?

Эмили кивнула:

– Парламент проголосовал сегодня утром. И если вы дадите нам на время ваш шикарный лимузин, сегодня же вечером мы устроим торжественный въезд в столицу.

IV

Два года спустя мистер и миссис Блэйр, а также двое их детей стояли на балконе номера лондонского отеля «Карлтон» – именно так управляющий отеля рекомендовал наблюдать за шествием королевских

кортежей. Вдали, со Стрэнда, слышались фанфары, а сейчас, наконец, показалась цепочка малиновых мундиров первых всадников гвардии.

– Мамочка, – спросил мальчик, – а тетя Эмили – королева Англии?

– Нет, солнышко, она королева маленькой далекой страны, но когда она приезжает сюда, то передвигается с кортежем королевы.

– А-а-а...

– Благодаря магниевым месторождениям, – сухо добавил Бревурт.

– А она была принцессой до того, как стала королевой? – спросила девочка.

– Нет, милая, она сначала была американской девочкой, а затем стала королевой.

– А почему?

– Потому что все остальное казалось ей слишком мелким, – ответил отец. – Представь себе, однажды она чуть было не вышла замуж за меня! А что бы сделала ты – вышла за меня или стала королевой?

Девочка задумалась.

– Вышла бы за тебя, – ответила она вежливо, но неуверенно.

– Хватит, Бревурт, – сказала ее мать. – Вот они!

– Я их вижу! – воскликнул мальчик.

Уличная толпа с поклонами расступалась перед кавалькадой. Показались еще гвардейцы, отряд драгун, всадники эскорта, а затем у Оливии перехватило дыхание, и она вцепилась в перила балкона, увидев между двойной цепью лейб-гвардейцев пару неторопливо перемещавшихся огромных малиново-золотых карет. В первой находились царственные монархи, их костюмы сияли от обилия лент, крестов и звезд, а во второй ехали их царственные супруги, старая и юная. Зрелище было подернуто романтическим ореолом, всегда источаемым древней империей, владевшей половиной мира, ее парусниками и церемониями, ее пышностью и символами; и толпа чувствовала это, и негромкий ропот восхищения катился перед кортежем, превращаясь в громкое приветственное ликование. Обе дамы раскланивались направо и налево, и хотя мало кто знал, что это за вторая королева, заодно приветствовали и ее. Через некоторое время великолепная процессия миновала улицу под балконом и скрылась из вида.

Когда Оливия отвернулась от окна, в ее глазах показались слезы.

– Довольна ли она, Бревурт? Счастлива ли она с этим ужасным коротышкой?

– Ну, она ведь получила то, что хотела, правда? А это уже кое-что! Оливия глубоко вздохнула.

– Она так прекрасна, – расплакалась она, – так прекрасна! Она всегда трогала меня до слез, даже когда я была от нее в ярости!

– Глупости, – сказал Бревурт.

– Да, наверное, – прошептала Оливия. Но ее сердце, окрыленное беспомощным обожанием, летело за кузиной еще полмили, прямо до ворот дворца.

Семья против ветра

I

Двое мужчин ехали в автомобиле вверх по склону холма; впереди сияло кроваво-красное солнце. Окружавшие дорогу хлопковые поля были голые и поблекшие, сосны стояли неподвижно – ветра не было совсем.

– Когда я трезвый, – говорил доктор, – то есть абсолютно трезвый, я вижу мир совсем не так, как ты. Я словно один мой приятель, у которого один глаз видел хорошо, а второй – плохо; он заказал очки, чтобы и второй глаз видел лучше. В результате он стал видеть солнце в форме эллипса, по дороге пройти не мог, потому что все время падал в кювет, – пришлось ему эти очки выбросить. Учитывая, что большую часть дня я провожу под полным наркозом, я теперь берусь только за ту работу, которую точно смогу выполнить в этом состоянии.

– Ну, да, – согласился его брат Джин, чувствуя себя неловко.

Доктор сейчас был слегка навеселе, и Джин никак не мог придумать, что бы такое сказать, чтобы перейти к делу. Как и у

большинства южан «из простых», он впитал с молоком матери глубоко сидевшую внутри него учтивость, характерную для всех жителей этого края вспыльчивых и страстных характеров; предмет разговора сменить было нельзя, пока не наступит хотя бы мгновение тишины, а Форрест все никак не умолкал.

– Я либо счастлив, либо в печали, – продолжал он. – Спьяну посмеиваюсь либо плачу, а когда замедляюсь, жизнь вокруг услужливо ускоряется; поэтому, чем меньше меня в ней, тем веселее становится это кино, в котором я участия не принимаю. Я навсегда утратил уважение своих братьев, но отдаю себе отчет в том, что у меня наблюдается компенсирующий цирроз эмоций. И поскольку мои чувства и моя жалость более ни на что не направлены, они просто изливаются на все, что попало, так что я стал на редкость хорошим парнем – гораздо лучше, чем когда был хорошим врачом.

Когда после поворота дорога пошла прямо и Джин увидел вдалеке свой дом, он вспомнил лицо жены, когда она добила от него обещания. Больше он ждать не мог:

– Форрест, мне надо с тобой поговорить...

Но в этот момент доктор неожиданно затормозил перед маленьким домиком, стоявшим за небольшой сосновой рощицей. На крыльце играла с серой кошкой девочка лет восьми.

– В жизни не видел такой милой девочки! – сказал доктор Джину, а затем обратился к девочке серьезным тоном: – Элен, не нужны ли твоей кошечке какие-нибудь таблетки?

Девочка рассмеялась.

– Я даже не знаю, – с сомнением в голосе ответила она.

Она только что играла с кошкой в совсем другую игру и к этому вмешательству была не готова.

– Кошечка звонила мне сегодня утром по телефону, – продолжал доктор, – и сказала, что мамочка совсем о ней не заботится; она попросила меня поискать для нее сиделку в Монтгомери.

– Она не звонила! – Девочка возмущенно прижала кошку к себе; доктор достал из кармана монетку и бросил ее на ступеньки.

– Прописываю хорошую порцию молока, – сказал он, заводя машину. – Доброй ночи, Элен!

– Доброй ночи, доктор!

Когда они отъехали, Джин попробовал снова.

– Послушай, остановись-ка, – сказал он. – Вон там, чуть подальше... Здесь!

Доктор остановил машину, и братья посмотрели друг другу в глаза. Они были похожи: оба обладали крепким сложением, аскетичными чертами лица, обоим было за сорок; отличие было в том, что очки доктора несколько не скрывали слезящихся, с красными прожилками, глаз алкоголика, вокруг которых расходились густые городские морщины; у Джина же морщины напоминали о бескрайних полях, стропилах и столбах, подпирающих деревенский сарай. Глаза его были яркого и теплого голубого цвета. Но самое резкое отличие было в том, что Джин Дженни был «малограмотным», а доктор Форрест Дженни, несомненно, «образованным».

– Ну и? – сказал доктор.

– Ты ведь знаешь – Пинки вернулся домой, – сказал Джин, глядя на дорогу.

– Да, я слышал, – уклончиво ответил доктор.

– Он ввязался в драку в Бирмингеме и получил пулю в голову. – Джин умолк. – Мы пригласили доктора Берера, потому что подумали, что ты вряд ли... Ты вряд ли...

– Да, я вряд ли бы взялся, – вежливо подтвердил доктор Дженни.

– Но вот что, Форрест... Вот что я хотел тебе сказать... – В голосе Джина появилась настойчивость. – Ты ведь все знаешь – ты сам часто говорил, что доктор Берер ничего не смыслит. Черт! Я и сам всегда так считал! Он сказал, что пуля давит... Давит на мозги, и он не сможет ее извлечь, не вызвав кровоизлияния, и еще он сказал, что не знает, сможем ли мы довести его до Бирмингема или Монтгомери, так он плох. Доктор ничем не помог. И мы хотели...

– Нет! – ответил брат, покачивая головой. – Нет.

– Я просто прошу тебя взглянуть на него и сказать нам, что делать, – взмолился Джин. – Он без сознания, Форрест. Он тебя не узнает; ты его тоже не узнаешь. Просто мать очень уж убивается.

– Она находится во власти примитивного животного инстинкта. – Доктор достал из кармана фляжку, наполненную местной алабамской кукурузной водкой пополам с водой, и отпил глоток. – Мы с тобой оба знаем, что этого мальчишку следовало утопить сразу же, как только он родился.

Джин вздрогнул.

– Да, он плохой человек, – согласился он, – но... Не знаю, как объяснить... Представь, он лежит дома, без...

Как только кровь разнесла алкоголь по всему телу, доктор ощутил порыв: ему захотелось что-нибудь сделать; не идти наперекор своему убеждению, разумеется, а совершить некий жест, чтобы доказать себе, что его умирающая, но все еще не сдавшаяся воля обладает некоторой силой.

– Ладно, я его посмотрю, – сказал он. – Я ему не стану помогать, потому что он должен умереть. Хотя даже его смерти будет недостаточно, чтобы искупить то, что он сделал с Мэри Деккер.

Джин Дженни поджал губы:

– Форрест, а ты уверен?

– Еще бы! – воскликнул доктор. – Разумеется, я уверен. Она умерла от истощения; целую неделю она жила на паре чашек кофе. Видел бы ты ее туфли – по ним можно было точно сказать, что она шла пешком много миль.

– Доктор Берер говорит...

– Да что он может сказать? Вскрытие делал я, прямо в тот день, когда ее нашли на бирмингемском шоссе. С ней все было в порядке, единственной причиной смерти было истощение. А этому... – Его голос дрогнул от переполнявших его чувств. – А этому Пинки она, видите ли, надоела, и он ее выгнал, и вот она попыталась добраться домой! По мне так только справедливо, что спустя пару недель после этого он сам лежит при смерти у себя дома.

Разговаривая, доктор яростно надавил на педаль скорости и резко выжал сцепление; через мгновение они остановились перед домом Джина Дженни.

Это был обычный каркасный дом с кирпичным фундаментом и ухоженной лужайкой, изолировавшей его от фермы, – дом выглядел лучше большинства домов городка Бендинг и ближайшей сельской округи, хотя не сильно отличался ни внешним, ни внутренним убранством. В этом углу Алабамы давно исчезли последние усадьбы плантаторов: гордые колонны не смогли устоять перед бедностью, гниением и дождем.

Роуз, жена Джина, встала им навстречу с кресла-качалки на крыльце:

– Привет, доктор. – Она поздоровалась несколько нервно, стараясь не смотреть ему в глаза. – Давненько вы у нас не появлялись.

Доктор несколько секунд смотрел ей в глаза.

– Здравствуй, Роуз! – сказал он. – Привет, Эдит! Привет, Юджин! – Это уже относилось к маленьким девочке и мальчику, стоявшим рядом с матерью; а затем: – Привет, Батч! – коренастому парню лет двадцати, который появился из-за угла, таща в руках большой круглый камень.

– Хотим сделать небольшую стеночку перед домом, чтобы смотрелось поаккуратнее, – объяснил Джин.

Они все по привычке относились к доктору с уважением. Про себя они упрекали его в том, что больше уже не могли хвастать им как знаменитым родственником: «Один из лучших хирургов Монтгомери – вот так вот, сэр!», однако для них он все же оставался образованным человеком, занимавшим когда-то положение в большом мире, пока не совершил профессиональное самоубийство, став циником и пьяницей. Два года назад он вернулся домой в Бендинг и стал владельцем половины местной аптеки, все еще имея лицензию врача, но практикуя лишь в случаях крайней необходимости.

– Роуз, – сказал Джин, – док сказал, что посмотрит Пинки.

Пинки Дженни лежал в постели, в затемненной комнате; под отросшей щетиной виднелись бледные, болезненно искривленные губы. Когда доктор снял бинт с головы, больной издал тихий стон, однако его пухлое тело не пошевелилось. Через несколько минут доктор вновь наложил повязку и вместе с Джином и Роуз вернулся на крыльцо.

– Берер отказался оперировать? – спросил он.

– Да.

– Почему его не прооперировали в Бирмингеме?

– Я не знаю.

– Гм... – Доктор надел шляпу. – Пулю нужно вынуть, и побыстрее. Она давит на оболочку сонной артерии. Это... Ладно, вам все равно не довезти его до Монтгомери, с таким-то пульсом!

– И что нам делать? – За вопросом Джина последовала недолгая тишина; он шумно выдохнул.

– Заставьте Берера передумать. Или найдите кого-нибудь в Монтгомери. Вероятность 25 процентов, что операция его спасет; без операции у него нет никаких шансов.

– Кого искать в Монтгомери? – спросил Джин.

– Любой хороший хирург справится. Даже Берер смог бы, если бы был посмелее.

Неожиданно Роуз Дженни подошла к нему поближе: взгляд был напряженным, в глазах горел животный материнский инстинкт. Она ухватила за его расстегнутое пальто:

– Док, сделайте! Вы можете. Вы ведь когда-то были таким хирургом, что все остальные, вместе взятые, вам в подметки не годились! Прошу вас, док, сделайте!

Он отступил на шаг назад, чтобы освободиться от ее хватки, и вытянул перед ней свои руки.

– Видишь, как они дрожат? – сказал он с подчеркнутой иронией. – Посмотри внимательней – увидишь. Я не могу оперировать.

– Еще как сможешь, – торопливо сказал Джин, – если немного выпьешь для кондиции.

Доктор покачал головой и сказал, глядя на Роуз:

– Нет. Видишь ли, мои решения теперь подвергаются сомнению, и если что-то пойдет не так, виноватым выставят меня. – Он сейчас слегка играл, так что очень тщательно выбирал слова. – Я слышал, что мое заключение о том, что Мэри Деккер умерла от истощения, подвергли сомнению на том основании, что я пьяница!

– Я такого не говорила! – затаив дыхание, солгала Роуз.

– Разумеется, нет. Я рассказал об этом, чтобы было понятно, что теперь мне нужно вести себя крайне осмотрительно. – Он стал спускаться с крыльца. – Что ж, могу лишь посоветовать пригласить Берера еще раз, а если ничего не получится, пригласить кого-нибудь другого из города. Доброй ночи.

Но не успел он дойти до ворот, как Роуз его догнала – она была в бешенстве, глаза горели от ярости.

– Да, я говорила, что ты – пьяница! – воскликнула она. – Когда ты сказал, что Мэри Деккер умерла от истощения, то обставил все так, будто это Пинки виноват, – ты, который ежедневно напивается до потери сознания! Да разве кто-нибудь может поручиться, что ты вообще соображаешь? И вообще, с чего это ты так заинтересовался Мэри Деккер – она ведь тебе в дочери годилась! Все видели, как она ходила в твою аптеку и трепалась там с тобой до...

Джин, пошедший за ней, схватил ее за руки:

– Умолкни, Роуз! Форрест, уезжай.

И Форрест уехал, притормозив на следующем повороте, чтобы отхлебнуть из фляжки. За незасеянным полем виднелся дом, где раньше жила Мэри Деккер. Перенестись бы сейчас на шесть месяцев назад, и он обязательно сделал бы крюк: узнать, отчего она не зашла сегодня в аптеку, чтобы выпить, как всегда, стаканчик содовой «за счет заведения». Или вручить ей набор образцов косметики, оставленный заезжим коммивояжером сегодня утром... Он никогда не говорил Мэри Деккер о своих чувствах и никогда не собирался; ей было семнадцать, ему сорок пять, и категориями будущего он уже не мыслил, но лишь когда она сбежала в Бирмингем с Пинки Дженни, он понял, что значила эта любовь в его одинокой жизни.

Его мысли опять возвратились к дому брата.

«Если бы я был приличным человеком, – подумал он, – я бы так не поступил. И еще одним человеком пришлось бы пожертвовать ради этой сволочи, потому что умри он через какое-то время – и Роуз обязательно скажет, что это я его убил».

Однако, ставя машину в гараж, он чувствовал себя плохо: поступить иначе он не мог, но все это было так ужасно...

Он вошел в дом; не прошло и десяти минут, как снаружи раздался скрип тормозов останавливающейся машины, и вошел Батч Дженни. Его губы были сжаты, глаза прищурены, словно он старался не расплескать переполнявший его гнев, пока не представится возможность спустить его на намеченную жертву.

– Привет, Батч.

– Хочу вам сказать, дядя Форрест, что не позволю разговаривать с моей матерью в таком тоне! Я вас прибью, если вы еще когда-нибудь будете так разговаривать с мамой!

– А теперь умолкни, Батч, и присаживайся, – резко сказал доктор.

– Она и так чуть с ума не сошла из-за Пинки, а тут еще вы приехали и стали такое ей говорить!

– Это твоя мать стала меня оскорблять, Батч; я всего лишь слушал.

– Она сейчас сама не знает, что говорит, и вы должны это понять.

Доктор на мгновение задумался.

– Батч, а что ты думаешь о Пинки?

Батч замялся; ему было неловко.

– Ну, я с ним не особо... – И дальше уже с вызовом: – Но, как бы там ни было, он ведь мой брат...

– Минуточку, Батч! Что ты думаешь о том, как он обошелся с Мэри Деккер?

Но Батч уже закусил удила и больше не сдерживал галопа своей ярости:

– При чем здесь это? Мы говорим о том, что, если кто обидит мою мать, будет иметь дело со мной! Разве справедливо, когда вы в семье один образованный, а...

– Свое образование я получил сам, Батч.

– Мне все равно. Мы собираемся снова пригласить доктора Берера прооперировать, или же пусть ищет нам кого-нибудь в городе. Но если ничего не выйдет, я приеду и увезу вас с собой, и вы достанете эту пулю, даже если мне придется при этом стоять рядом и держать вас на мушке дробовика. – Он кивнул, чуть задыхаясь, затем развернулся, вышел и уехал.

– Что-то мне подсказывает, – сказал доктор сам себе, – что кончились для меня мирные времена в округе Чилтон.

Он крикнул помогавшему по дому цветному мальчишке, что можно подавать ужин. Затем скрутил папиросу и вышел на заднее крыльцо.

Погода поменялась. Небо покрылось облаками, ветер трепал траву, затем внезапно пошел ливень, почти сразу закончившийся. Минуту назад было тепло, а теперь влага на лбу вдруг стала прохладной, и он вытер лоб платком. В ушах вдруг зашумело, он сглотнул и помотал головой. На мгновение ему почудилось, что он заболел; затем шум неожиданно отделился от него и превратился в нарастающий гул, который становился все громче и ближе, словно рев приближающегося поезда.

Батч Дженни был на полпути домой, когда увидел ее: огромная, черная надвигающаяся туча, нижним концом тащившаяся по земле. Он рассеянно поглядывал на нее, а она росла прямо на глазах, полностью закрыв все небо с южной стороны; виднелись вспышки молний, слышался нарастающий рев. Вокруг поднялся сильный ветер: мимо летали какие-то обломки, сломанные сучья, щепки, что-то крупное и неразличимое в наступившей вдруг темноте. Повинуясь инстинкту, он вышел из машины; к этому моменту устоять на ногах против ветра было уже невозможно, поэтому он побежал к насыпи – точнее, его бросило и прижало к насыпи. Следующую минуту или две он провел прямо в центре ада кромешного.

Сначала возник звук, и Батч стал частью этого звука, поглощенный им до такой степени, что он, казалось, не просто оказался в его власти, а полностью перестал существовать вне его. Это не был набор каких-то разнородных шумов; это был всепоглощающий и всеобъемлющий звук как таковой, словно по струнам Вселенной водили гигантским скрипучим смычком. Звук и сила стали единым целым. И звук, и сила вместе распылили его на том, что было, по его мнению, насыпью; он не мог даже пошевелиться. Приблизительно в этот первый момент его глаза, сдавленные с обеих сторон, увидели, как автомобиль, подпрыгнув, закрутился на пол-оборота и, подскакивая, понесся по полю огромными беспомощными прыжками. Затем началась бомбардировка, и звук разделился – непрерывный пушечный гул сменился треском гигантского пулемета. Батч почти потерял сознание, почувствовав, что становится частью одного из этих щелчков, почувствовав, как его поднимает с насыпи и уносит в пространство, прямо сквозь норовящую выколоть глаза массу летящих веток и сучьев, а затем, на неизвестно какое время, он перестал воспринимать окружающее.

Все тело болело. Он лежал на сучьях в кроне дерева; воздух, казалось, состоял сплошь из пыли и дождя, и он не слышал ни звука; прошло много времени, прежде чем он понял, что дерево, на котором он лежит, было опрокинуто ветром и его колющийся сосновыми иголками «насест» находится всего футах в пяти над землей.

– Ни хрена себе! – громко и с гневом воскликнул он. – Ну ни хрена ж себе! Вот это ветер! Обалдеть!

От боли и страха он стал соображать – и догадался, что случайно встал прямо на корень дерева, который и выбросил его вверх, словно гигантская катапульта, когда огромную сосну выворотило из земли. Ощупав себя, он обнаружил, что левое ухо забилося грязью, словно некто попытался сделать с него слепок. Одежда превратилась в лохмотья, пиджак разорвался по заднему шву, и Батч чувствовал, как он врезается ему в подмышки, когда случайный порыв ветра попытался завершить его раздевание.

Спустившись на землю, он пошел в направлении отцовского дома, но окружающий пейзаж теперь выглядел новым и незнакомым. Это – он не знал, что это называлось «торнадо», – прорубило на своем пути просеку шириной с четверть мили, и когда понемногу стала оседать пыль, он в замешательстве увидел невиданные ранее перспективы. Казалось невозможным, чтобы отсюда можно было увидеть церковь в Бендинге, ведь раньше вокруг росли высокие деревья.

Но где он вообще находился? Вроде бы сейчас он должен быть недалеко от дома Балдвинов; и, лишь миновав огромные кучи досок, похожие на небрежно сваленные дрова, Батч сообразил, что дома Балдвинов больше не существовало; оглядевшись вокруг, он понял, что исчез и дом Некроуни на холме, и дом Пельтцеров, стоявший пониже. Нигде не было ни огонька, нигде не слышалось ни звука – лишь дождь стучал по поваленным деревьям.

Он бросился бежать. Когда вдали показалась громада отцовского дома, он издал вопль облегчения; но, приблизившись, он заметил, что чего-то не хватает. Исчезли сараи во дворе, а пристроенное крыло, в котором была комната Пинки, срезало, будто косой.

– Мама, папа! – позвал он; ответа не последовало.

Со двора навстречу выбежала собака и лизнула его руку...

... Когда двадцать минут спустя доктор Дженни остановил машину перед своей аптекой в Бендинге, вокруг была полная темнота. Электрические фонари не горели, но по улице ходили люди с

фонариками, и через минуту вокруг него собралась небольшая толпа. Он торопливо открыл двери.

– Кто-нибудь, бегите, открывайте старую больницу Виггинса! – Он указал на другую сторону улицы. – У меня в машине шестеро тяжело раненных. Мне нужны люди, чтобы перенести их в помещение. Доктор Берер тут?

– Вот он! – раздались услужливые голоса из мрака, когда доктор с чемоданчиком в руке вышел к нему из толпы. Мужчины посмотрели друг другу в глаза при свете фонариков, забыв об обоюдной неприязни.

– Один бог ведает, сколько их еще будет, – сказал доктор Дженни. – Я пойду переоденусь и продезинфицируюсь. Будет много переломов... – Он громко крикнул: – Эй, несите сюда спирт!

– Я начну прием прямо здесь, – сказал доктор Берер. – Еще с полдюжины уже приползли сами.

– Какие меры предприняты? – спросил доктор Дженни у людей, следовавших за ним в аптеку. – Позвонили в Бирмингем и в Монтгомери?

– Телефонные провода оборваны, но удалось отправить телеграмму.

– Хорошо. Пусть кто-нибудь съездит за доктором Коэном в Этталу; скажите всем, у кого есть автомобили, чтобы проехали до Уиллард-Пак, затем пусть едут до Корсики, и пусть внимательно осматривают все дороги в том направлении. На перекрестках у негритянского квартала не осталось ни одного дома. Я по дороге видел множество людей, все шли сюда, все раненные, но у меня уже не было места, и некого было с ними оставить. – Разговаривая, он швырял бинты, пузырьки с йодом и лекарства в одеяло. – А мне казалось, что у меня тут запас гораздо больше! Эй, погоди! – крикнул он. – Пусть кто-нибудь съездит и посмотрит, что там в низине, где живут Вулли. Поезжайте прямо через поля – по дороге не проедете, все завалено. Эй, ты, в кепке, Эд Дженкс, так?

– Точно, док!

– Видишь, что у меня тут? Иди в лавку, собери там все похожее и неси на другую сторону улицы, понял?

– Да, док!

Когда доктор вышел на улицу, в город начали стекаться пострадавшие: женщина пешком с тяжелораненым ребенком на руках, коляска, набитая стонущими неграми, обезумевшие люди, обменивавшиеся ужасными историями... Повсюду в слабо освещенной тьме чувствовались нараставшие смятение и истерия. Проехал покрытый грязью репортер из Бирмингема в мотоциклете с коляской, колеса ехали прямо по упавшим проводам и веткам, загромоздившим улицу; слышались звуки сирены полицейской машины из участка, находившегося в тридцати милях отсюда, в Купере.

У дверей больницы, не работавшей вот уже три месяца из-за отсутствия пациентов, собралась плотная толпа. Доктор протиснулся сквозь мешанину белевших в темноте лиц и разместился в ближайшей палате, с признательностью посмотрев на ровные ряды железных коек, поджидавших пациентов. Доктор Берер уже всю работу в другом углу приемного покоя.

– Принесите сюда дюжину фонарей, – скомандовал он.

– Принесите доктору Береру йод и пластырь!

– Отлично, вот так... Эй, Шинкей! Ну-ка, встань у двери и никого сюда не пускай; пусть заносят только тех, кто не может сам ходить. Пусть кто-нибудь сбегает и посмотрит, нет ли в бакалейной лавке свечей.

С улицы теперь доносилось множество звуков: крики женщин, противоречивые указания бригад волонтеров, пытавшихся очистить шоссе, напряженные отрывистые голоса людей, искавших помощи. Незадолго до полуночи прибыла первая бригада Красного Креста. Но три врача, к которым теперь присоединились еще двое из ближайших деревень, потеряли счет времени задолго до этого момента. Ближе к десяти стали привозить мертвых; сначала их было двадцать, затем двадцать пять, потом уже тридцать, сорок – список все увеличивался. Им уже ничего не требовалось, и они ждали, как и подобало простым фермерам, в гараже на заднем дворе, а поток пострадавших – их были сотни – продолжал течь сквозь старое здание больницы, в котором задерживались лишь самые тяжелые; старое здание больницы было рассчитано лишь на пару десятков больных. Торнадо оставил людям сломанные ноги, ключицы, ребра и бедра, рваные раны на спинах, локтях, ушах, веках, сломанные носы; были увечья от ударов досок,

осколки разной величины в самых неожиданных местах, был человек, у которого срезало кожу с головы и которому теперь придется долго отращивать вместе с кожей новые волосы. Живые, мертвые – доктор Дженни знал их всех в лицо, почти каждого – по имени.

– Так, а теперь не шевелись. С Билли все в порядке. Держи крепко, а я сейчас перевяжу. Люди подходят почти каждую минуту, но тут так чертовски темно, что они просто не могут их отыскать... Так хорошо, мистер Оуки? Ничего страшного. Сейчас вам тут смажут йодом... Так, давайте сюда этого человека!

Два часа. Пожилой доктор из Этталы выбился из сил, но на его место прибыли свежие люди из Монтгомери. Воздух в помещении был насквозь пропитан запахом йода, люди говорили без остановки, но голоса едва доносились до доктора сквозь накатывавшие на него волны утомления, становившиеся все сильнее и сильнее.

– ...кружило, кружило – меня бросило на землю и давай кружить. Ухватился за куст, и куст так и неся вместе со мной.

– *Джеф! Где Джеф?*

– ...бьюсь об заклад, что та свинья так и пролетела ярдов сто...

– ...слава богу, поезд вовремя остановился. Все пассажиры вышли, стали помогать оттаскивать столбы...

– *Где Джеф?*

– А он и говорит: «Давай спустимся в подвал», а я ему: «Да нет у нас никакого подвала»...

– Если больше нет носилок, берите двери, только какие полегче.

– Пять секунд? Как же, скорее уж пять минут!

В какой-то момент он услышал, что где-то видели Джина и Роуз вместе с парой младших детей. По дороге в город он проехал мимо их дома; увидев, что дом на месте, он поспешил дальше. Семье Дженни повезло; дом самого доктора торнадо тоже обошел стороной.

Лишь увидев, как на улице внезапно зажглись электрические фонари, осветив очередь за горячим кофе перед машиной Красного Креста, доктор осознал, как сильно он устал.

– Идите отдохните, – сказал ему какой-то юноша. – Я беру на себя эту половину палаты. Со мной две медсестры.

– Ладно, ладно. Сейчас вот – только закончу этот ряд...

Как только пострадавшим оказывали первую помощь, их тут же увозили в город на поезде, а на их месте сразу же появлялись

следующие. Ему оставалось осмотреть только две койки – и на первой лежал Пинки Дженни.

Он приложил к его груди стетоскоп. Сердце слабо билось. Было удивительно, как он, столь слабый, находясь одной ногой в могиле, выжил в этот ураган. А уж как он сюда попал, кто его нашел и принес сюда, было отдельной загадкой. Доктор осмотрел тело; были небольшие синяки и раны, несколько пальцев было сломано, уши забиты грязью, как и у всех остальных, и больше ничего. Некоторое время доктор колебался, но образ Мэри Деккер, казалось, отступил в прошлое и больше не возникал, даже когда он прикрыл глаза. Внутри него сработало что-то чисто профессиональное, не имевшее ничего общего с обычными чувствами людей, и он не смог погасить этот импульс. Он вытянул руки; они слегка дрожали.

– Черт возьми! – пробормотал он.

Он вышел из палаты и прошел за угол коридора приемного покоя, где достал из кармана фляжку с остатками разбавленной водки, которую не допил этим вечером. Он выпил все до дна. Вернувшись в палату, он продезинфицировал пару скальпелей и вколол местное обезболивающее в квадратный участок кожи у основания черепа Пинки, где было уже затянувшееся входное отверстие от пули. Позвал медсестру и, взяв в руку скальпель, встал на одно колено у койки племянника.

III

Два дня спустя доктор медленно ехал по скорбной сельской местности. После первой отчаянной ночи он отказался продолжать прием, почувствовав, что его нынешнее положение обычного фармацевта может унижить бывших коллег. Но оставалось еще немало работы по линии Красного Креста – нужно было оценивать ущерб в отдаленных хозяйствах, чем он и занимался.

Легко было проследить путь дьявола. В своих семимильных сапогах он следовал неправильным курсом, напрямик через села, через леса, иногда любезно стараясь придерживаться дорог – до тех пор, пока они не поворачивали, и тогда он опять летел так, как ему заблагорассудилось. Временами след пролегал по хлопковым полям в полном цвету, но весь этот хлопок попал на землю из сотен стеганых одеял и матрасов, разбросанных торнадо по полям.

У кучи дров, которая еще недавно была негритянской хижинкой, доктор ненадолго остановился, чтобы послушать разговор между двумя репортерами и парой робких негритят. Среди руин сидела старуха с забинтованной головой, непрестанно жуя челюстями и раскачиваясь в кресле-качалке.

– Но где же эта река, через которую вы перелетели? – спросил один из репортеров.

– Здесь.

– Где?

Негритята оглянулись на бабушку, ища помощи.

– Да вон она, прямо за вами! – сказала старуха.

Газетчики с отвращением поглядели на мутный ручей в четыре ярда шириной.

– Разве это река?

– Это река Менада, мы всегда ее так звали, с тех пор как я была девчонкой. Да, сэр, это и есть река Менада! И этих двух парнишек перенесло прямо через нее, и приземлились они прямо на той стороне, и ничего с ними не случилось. А на меня упала труба, – закончила она, пощупав голову.

– И что, вы хотите сказать, что больше ничего не было? – с негодованием спросил репортер. – Ну, надо же, через какую реку их перенесло! Сто двадцать миллионов людей сидят и ждут подробностей, а оказывается, их водили...

– Да все правильно, ребята! – перебил его доктор Дженни. – Для этих мест это вполне себе река. И она разливается – это так же точно, как и то, что эти мальчишки вырастут!

Он бросил старухе четвертак и поехал дальше.

Проезжая мимо деревенской церкви, он остановился и посчитал, сколько новых свежих холмиков появилось на кладбище. Он приближался к эпицентру уничтожения. Там стоял дом Хоуденов, где

погибло трое; от дома остались лишь одиноко торчавшая печная труба, куча мусора да пугало в огороде – торнадо, словно в насмешку, оставил его нетронутым. В руинах дома, стоявшего через дорогу, по крышке пианино важно расхаживал петух, горласто воцарившийся над грудой из сундуков, башмаков, банок, книг, календарей, дорожек, стульев, оконных рам, искореженного радиоприемника и безногой швейной машинки. Везде валялись постельные принадлежности, одеяла, матрасы, перекрученные пружины из диванов, клочки набивки; он раньше и не задумывался, какую огромную часть своей жизни люди проводят в постели! Как прежде, то тут, то там паслись в полях коровы и лошади – на боках многих виднелись пятна йода. Здесь и там виднелись палатки Красного Креста; у одной из них доктор набрел на сидевшую с кошкой на руках маленькую Элен Килрейн. Ставшая уже привычной куча досок, валявшихся, словно разрушенный малышом в припадке злости игрушечный домик, была красноречивей любых слов.

– Здравствуй, милая, – поздоровался он с ней; сердце его екнуло. – Понравился твоей кошечке торнадо?

– Не понравился!

– А почему ты так решила?

– Она мяукала.

– Да?

– Она хотела убежать, но я ее схватила, а она меня поцарапала – вот, смотрите.

Он поглядел на палатку Красного Креста:

– О тебе кто-нибудь заботится?

– Дама из Красного Креста и миссис Уэллс, – ответила она. – Папу ранило. Он закрыл меня собой, чтобы на меня ничего не упало, а я защищала котенка. Он в больнице, в Бирмингеме. Когда он вернется, то снова построит нам дом.

Доктор содрогнулся. Он знал, что ее отец уже никогда не построит дом: он умер этим утром. Она осталась одна, и она не знала, что она теперь одна. Вокруг нее простиралась мрачная Вселенная, безличная, ничего не сознающая. Ее симпатичное личико смотрело на него уверенно, когда он спросил:

– Элен, а у тебя есть родня?

– Я не знаю.

– Ну, как бы там ни было, у тебя ведь есть кошечка, правда?

– Но это же просто кошка! – спокойно сказала она, но тут же прижала котенка к себе, мучаясь от предательства любимого существа.

– Заботиться о котенке, наверное, непросто?

– О, нет! – торопливо ответила она. – Совсем не сложно. Она ведь ест совсем немного.

Доктор сунул было руку в карман, но вдруг передумал:

– Милая, мы с тобой еще сегодня увидимся – я заеду на обратном пути. А ты пока хорошенько заботься о кошечке, ладно?

– Ладно, – беспечно ответила она.

Доктор поехал дальше. Следующую остановку он сделал около дома, избежавшего разрушения. Уолт Каппс, хозяин, сидел на крыльце и чистил дробовик.

– Что такое, Уолт? Готовишься подстрелить следующий торнадо?

– Не будет больше никакого торнадо.

– Кто его знает? Взгляни сам на небо. Что-то слишком уж быстро оно темнеет.

Уолт рассмеялся и похлопал ладонью по ружью:

– Следующий раз будет лет через сто, не меньше. А это у меня для мародеров. Очень уж много их тут вокруг шныряет, и не только черные. Когда будешь в городе, скажи там – пусть пришлют сюда какие-нибудь патрули.

– Скажу, конечно. У тебя все хорошо?

– Слава богу, повезло! Всем шестерым. Унесло всего одну несущку – небось, так до сих пор и носит ее незнамо где.

Доктор поехал дальше по дороге в город; им овладело тревожное чувство, которое никак не уходило.

«Видимо, погода, – подумал он. – Чувствуется в воздухе что-то этакое, как в прошлое воскресенье».

Уже месяц доктора не отпускало навязчивое желание уехать отсюда навсегда. Когда-то эта деревенская обстановка, казалось, сулила ему мир и покой. Когда иссяк импульс, заставивший его временно покинуть скучное семейное гнездо, он вернулся обратно, чтобы жить тихо и мирно, наблюдая за тем, как из земли появляются молодые ростки и побеги, живя простой и приятной жизнью в согласии с соседями. Мир и спокойствие! Он отлично знал, что нынешняя семейная ссора не кончится никогда, и ничто уже не будет, как раньше; и горечь останется навсегда. И ему довелось увидеть, как мирный

деревенский пейзаж превратился в край скорби. Не было тут никакого мира и спокойствия! Надо отсюда уезжать.

По пути он догнал Батча Дженни, который шел в город пешком.

– А я как раз иду к вам, – сказал Батч, нахмурившись. – Вы ведь все-таки прооперировали Пинки, да?

– Залезай... Да, прооперировал. А ты откуда знаешь?

– Доктор Берер нам сказал. – Он бросил на доктора быстрый взгляд, и от доктора не укрылось сквозившее в этом взгляде подозрение. – Уже поговаривают, что он и дня не протянет!

– Сочувствую твоей матери.

Батч противно рассмеялся:

– Ну да, конечно!

– Я, кажется, сказал, что сочувствую твоей матери! – резко повторил доктор.

– Я вас слышал.

Некоторое время они ехали молча.

– Нашел свою машину?

– Машину-то? – с сожалением рассмеялся Батч. – Я нашел нечто – не уверен, что теперь хоть кто-нибудь назовет это машиной! А ведь я мог бы купить себе страховку от торнадо всего за двадцать пять центов! – Его голос дрожал от негодования. – Двадцать пять центов! Но кому могло прийти в голову покупать себе страховку от торнадо?

Стало темнее; издалека, с юга, донесся слабый раскат грома.

– Что ж, – сказал Батч, глядя на доктора с прищуром, – я надеюсь, вы не пили, когда оперировали Пинки?

– Знаешь, Батч, – медленно ответил доктор, – я, конечно, поступил крайне подло, настав на вас этот торнадо!

Он не надеялся, что его сарказм будет оценен по достоинству, и ждал в ответ какую-нибудь грубость, но вдруг он увидел лицо Батча. Оно было мертвенно-бледным, рот приоткрылся, застывшие глаза широко распахнулись, а из горла донесся мяукающий звук. Он вяло поднял руку прямо перед собой, и тогда доктор увидел...

Меньше чем в миле от них огромная конусообразная черная воронка заполнила все небо и неслась прямо на них, опускаясь и закручиваясь, а перед ней плыл громкий воющий ветер.

– Он возвращается! – пронзительно крикнул доктор.

В пятидесяти ярдах впереди был старый железный мост через ручей Бильби. Доктор изо всех сил нажал на газ и поехал к нему. По полям в том же направлении бежало множество людей. Добравшись до моста, он выскочил из машины и схватил Батча за руку.

– Вылезай, балбес! Быстро вылезай!

Обмякшее тело, спотыкаясь, вылезло из машины; через мгновение они оказались среди полудюжины людей, сгрудившихся в треугольном пространстве между мостом и берегом.

– Идет сюда?

– Нет, поворачивает!

– Нам пришлось бросить деда!

– Спаси и сохрани! Господи Иисусе, спаси и сохрани! Господи, помоги!

– Господь всемогущий, спаси мою душу!

Снаружи чувствовался порывистый ветер, запуская под мост небольшие щупальца, казавшиеся такими плотными, что по коже доктора побежали мурашки. Затем внезапно наступила пустота, ветер прекратился и вдруг пошел хлещущий дождь. Доктор подполз к краю моста и осторожно выставил голову наружу.

– Ушел! – сказал он. – Нас задело самым краешком; центр прошел далеко справа.

Он ясно видел его: целую секунду он мог даже различить находившиеся там предметы, кусты, небольшие деревья, толстые доски и комья земли. Он выполз чуть дальше, достал часы и попытался засечь время, но из-за плотной завесы дождя ничего не было видно.

Промокнув до нитки, он уполз обратно под мост. Батч, дрожа, лежал в самом дальнем углу, и доктор стал его трясти.

– Он пошел в направлении твоего дома! – крикнул доктор. – Возьми себя в руки. Кто остался в доме?

– Никого! – простонал Батч. – Все ушли к Пинки.

Дождь теперь сменился градом; сначала градины были небольшими, затем побольше, затем еще больше, пока стук от их ударов по железному мосту не стал напоминать оглушительную барабанную дробь.

Спасшиеся под мостом бедняги медленно приходили в себя, слышались взрывы истерического смеха. Напряжение выше

определенного предела заставляет нервную систему совершать переходы из крайности в крайность без всяких причин и без оглядки на обычные правила. Даже доктор поддался общему настроению.

– Это похуже обычной катастрофы, – сухо сказал он. – Оно уже просто начинает надоедать!

IV

Той весной торнадо в Алабаме больше не появлялись. Второй – все думали, что это был первый, который вернулся, ведь для округа Чилтон стихия превратилась во вполне реального врага, в чем-то сродни языческому божеству – унес с собой дюжину домов, и среди них дом Джина Дженни, и нанес телесные повреждения тридцати жителям. На этот раз никто не погиб – возможно, потому, что каждый уже выработал для себя определенный метод спасения. Свой драматический прощальный поклон торнадо совершил, прогулявшись по главной улице Бендинга, опрокинув телеграфные столбы и вдребезги расколошматив витрины трех лавок, среди которых оказалась и аптека доктора Дженни.

К концу недели стали вновь подниматься дома, отстроенные из старых досок; не успело кончиться долгое и пышное алабамское лето, как на свежих могилах зазеленела трава. Но должны пройти годы, прежде чем жители округа перестанут говорить «это было до торнадо» или «это случилось после торнадо», а для многих семей прежний уклад не восстановится уже никогда.

Доктор Дженни решил, что для отъезда это время годится не хуже любого другого. Он распродал остатки запасов товара из своей аптеки, опустевшей из-за благотворительности и катастрофы, и временно переписал свой дом на брата, пока Джин не отстроится заново. Он уезжал в город на поезде, поскольку машина так разбилась об дерево, что доехать на ней теперь можно было разве что до станции.

Несколько раз на пути он останавливался у обочины, чтобы попрощаться – среди прочих навестил он и Уолтера Каппса.

– И до тебя он все же добрался, – сказал доктор, поглядев на наводивший уныние сарай, одиноко торчавший на участке.

– Да, и еще как, – ответил Уолтер. – Но ты только подумай: мы все шестеро были в доме или поблизости, и никто не пострадал! Хорошо хоть так; спасибо тебе, Господи, и за это.

– Да, тут тебе повезло, Уолт, – согласился доктор. – А ты, случайно, не слышал, куда Красный Крест отправил маленькую Элен Килрейн – в Монтгомери или в Бирмингем?

– В Монтгомери. Знаешь, я ведь был тут, когда она пришла в город с этой кошкой, пытаюсь найти кого-нибудь, кто смог бы перевязать кошке лапу. Она, должно быть, несколько миль прошла под дождем и градом, но для нее было важно только, чтобы оказали помощь ее котенку! Плохо мне было, но даже я не мог не рассмеяться, когда про это услышал: какая же храбрая девчонка!

Доктор какое-то время помолчал.

– А не припомнишь, остался у нее кто-нибудь?

– Нет, не знаю, – ответил Уолтер, – но кажется, что нет.

У бывшего дома брата доктор сделал последнюю остановку. Вся семья была здесь, даже самые маленькие, и все работали среди руин. Батч уже успел поставить сарайчик, чтобы складывать туда спасенное добро. Не считая его, от прежнего аккуратного участка осталась лишь стеночка из белых круглых камней, которая должна была идти вокруг сада.

Доктор вытащил из кармана сто долларов разными банкнотами и сунул их Джину.

– Когда-нибудь потом отдашь, но особо не переживай, – сказал он. – Это деньги, которые я выручил за лавку. – Он не стал слушать благодарности Джина. – Хорошенько упакуй мои книги, когда я за ними пришло!

– Собираешься опять начать практику, Форрест?

– Может, и попробую.

Братья пожали друг другу руки; рукопожатие длилось чуть дольше обычного. Двое самых младших подошли, чтобы попрощаться. Роуз стояла вдали, на ней было старое синее платье – у них не было денег, чтобы надеть траур по старшему сыну.

– До свидания, Роуз! – сказал доктор.

– До свидания, – ответила она и добавила безжизненным голосом: – Удачи тебе, Форрест.

На одно мгновение ему очень захотелось сказать что-нибудь в утешение, но он видел, что не стоило. Он ведь пошел наперекор материнскому инстинкту, а это была та же сила, которая отправила Элен в ненастье искать помощи раненой кошке.

На станции он купил билет в один конец до Монтгомери. Деревня выглядела серой и монотонной под светом запоздалого весеннего солнца, и, когда поезд тронулся, ему даже не поверилось, что полгода назад все здесь ему казалось не хуже, чем везде.

В отделении для белых сидячего вагона он оказался один; он тут же нащупал бутылку в кармане и извлек ее оттуда. «В конце концов, мужчина сорока пяти лет имеет право воспользоваться эликсиром храбрости, когда начинает жизнь заново». Он стал думать об Элен. «Родни у нее не осталось. Значит, теперь это моя маленькая дочка».

Он похлопал по бутылке, а затем поглядел на нее так, словно увидел впервые.

«Ну что ж, старый друг, придется мне тебя на время оставить. Любому котенку, которому уделяют столько внимания и заботы, наверняка нужно много обезжиренного молока».

Он устроился поудобнее на сиденье и стал смотреть в окно. Вспоминая ту ужасную неделю, он чувствовал, как вокруг него носится ветер, пытаясь добраться до него под видом сквозняка из коридора вагона, – все ветры мира: циклоны, ураганы, торнадо, серые и черные, внезапные и ожидаемые, дующие с небес, дующие из адской бездны.

Но он больше никогда не позволит им прикоснуться к Элен – он сделает все, что в его силах.

Он ненадолго задремал, но его разбудил навязчивый сон: «Папа закрыл меня собой, а я защищала котенка».

– Ладно, Элен! – произнес он вслух. – Думаю, что, каков бы ни был ветер, старый бриг еще подержится на плаву.

Каникулы дома^[1]

I

Я был рядом, держась позади, чтобы пройти с ней хотя бы несколько шагов от гостиной до входной двери. О большем я и не мечтал, потому что она вдруг внезапно расцвела, а я – подросток всего на год младше нее – цвести пока даже не собрался и едва осмеливался приблизиться к ней всю ту неделю, которую мы провели дома на каникулах. Я не собирался ни говорить с ней, ни даже касаться ее все предстоявшие нам десять футов пути; но была у меня смутная надежда, что она сама что-нибудь сделает, может быть, немного пококетничает, и я буду думать, что это – лично для меня, раз уж мы оказались наедине.

Внезапно меня околдовало мерцание ее коротко стриженных, до шеи, волос и спокойная неприкрытая уверенность, которая у привлекательных американок всегда становится глубже и заметней годам к восемнадцати. Свет лампы блуждал в ее светлых прядях.

Она уже почти перенеслась в другой мир – мир Джо Джелка и Джима Кэткарта, уже поджидавших нас в автомобиле. Еще год, и она навсегда оставит меня позади.

Я ждал, ощущая присутствие тех, кто находился снаружи в снежной ночи. Я чувствовал всегдашнее возбуждение рождественской недели и волнение оттого, что Элен здесь, рядом со мной, расцветшая и наполнившая комнату своей притягательностью – избитое слово, выражающее всегда новое качество, – и тут из столовой вышла горничная, что-то тихо сказала Элен и протянула ей записку. Элен прочитала, и ее взгляд внезапно потух, будто ток в проводах далеких сельских линий передачи, а затем тлеющий огонек вновь появился где-то далеко в пространстве. Она бросила на меня странный взгляд – скорее всего, она меня не заметила – и, не говоря ни слова, пошла

вслед за горничной в столовую и вышла на улицу. Я присел и с четверть часа листал какой-то журнал.

Вошел Джо Джелк, румяный от холода, в белом шарфе, сиявшем под воротником его шубы. Он учился на последнем курсе университета в Нью-Хейвене, я – на младшем. Он был широко известен, состоял в братстве «Свиток и ключ» и, на мой взгляд, был весьма изысканен и красив.

– Когда, наконец, выйдет Элен?

– Не знаю, – ответил я осторожно. – Только что была готова.

– Элен! – позвал он. – Элен!

Он не закрыл за собой входную дверь, и внутрь ворвалось большое облако морозного воздуха. Он поднялся до половины лестницы – в этом доме он был своим – и позвал снова, пока сверху у перил не показалась миссис Бейкер и не сказала, что Элен внизу. Затем в дверях столовой появилась слегка взволнованная горничная.

– Мистер Джелк! – негромко позвала она.

Джо повернулся к ней и как-то сник, предчувствуя нехорошие вести.

– Мисс Элен просила передать, чтобы вы отправлялись на вечеринку. Она приедет позже.

– А в чем дело?

– Она не может ехать прямо сейчас. Она приедет позже.

Он замолчал, ничего не понимая. Это был последний большой бал на каникулах, и он с ума сходил по Элен. Он пытался всучить ей в подарок на Рождество кольцо, но это не удалось, и тогда он с трудом упросил ее принять хотя бы плетеную золотую сумочку, стоившую, наверное, пару сотен долларов. И он был не единственным – еще трое или четверо находились в таком же неуправляемом состоянии, и все это случилось за те десять дней, что она провела дома, – но его шансы были чрезвычайно высоки, потому что он был богатым, любезным и самым желанным парнем в Сент-Поле в то время. Мне казалось невероятным, что она предпочла кого-нибудь другого, но, по слухам, она отзывалась о Джо как о «чересчур совершенном» для нее. Думаю, ей не хватало в нем тайны, а когда о тебе подобным образом думает юная девушка, еще не задумывающаяся о практической стороне брака, то...

– Она в кухне! – в сердцах сказал Джо.

- Нет. – Горничная отвечала твердо и немного испуганно.
- Да, она там!
- Она вышла через другую дверь, мистер Джелк.
- Хорошо, пойду проверю.

Я пошел за ним. При нашем появлении занятые работой посудомойки, шведки по национальности, стали бросать на нас косые взгляды, и любопытный перестук кастрюль отмечал наш путь. Задняя дверь, незакрытая, хлопала на ветру; выйдя на заснеженный двор, мы увидели лишь задние фары автомобиля, исчезнувшего за поворотом в конце аллеи.

– Я еду за ней, – медленно проговорил Джо. – Вообще ничего не понимаю!

Катастрофа слишком испугала меня, чтобы я мог спорить. Мы поспешили к его автомобилю и стали кататься бесполезными отчаянными зигзагами по всему жилому кварталу, пялясь на все машины, которые были на улице. Прошло полчаса прежде, чем он осознал тщетность всей затеи – в городе Сент-Поле проживает почти триста тысяч человек, – и Джим Кэткорт напомнил ему, что нам надо заехать за еще одной девушкой. Как раненый зверь, меланхоличной кучей меха он погрузился в глубь сиденья, ежеминутно дергаясь, выпрямляясь и немного покачивая головой взад-вперед в знак протеста и отчаяния.

Девушка Джима была давно готова и уже злилась, но после того, что случилось, ее раздражение не имело никакого значения. Несмотря на это, выглядела она очаровательно. Рождественские каникулы этим и отличаются: ажиотаж оттого, что все повзрослели, изменились и только что вернулись из каких-то других краев, всегда меняет даже тех, с кем знаком всю жизнь. Джо Джелк с ней был вежлив, но находился в трансе: за все время пути до отеля он издал единственный короткий, громкий и резкий смешок; так мы и доехали.

Шофер подвез нас не с той стороны – со стороны, где не было цепочки машин, из которых выходили гости, – и лишь благодаря этому мы неожиданно натолкнулись на Элен и увидели, как она покидает салон небольшого авто. Мы еще даже не остановились, а Джо Джелк уже успел выскочить из машины.

Элен повернулась к нам, бросила на нас слегка отстраненный взгляд – чуть удивленный, но несколько не встревоженный; на самом

деле она нас, кажется, и не заметила. Джо приближался к ней с натянутым, гордым, оскорбленным и, как мне показалось, абсолютно подобающим случаю укором на лице. Я пошел за ним.

В салоне сидел – он даже не вышел, чтобы помочь Элен! – какой-то неприятный тип лет тридцати пяти. На его вытянутом лице – кажется, со шрамом – играла легкая зловещая ухмылочка. Глаза казались насмешкой над родом человеческим – это были глаза животного, сонные и покойные в присутствии особей другого вида. Взгляд был беспомощным и одновременно жестоким, безнадежным и в то же время уверенным. Глаза, казалось, говорили о том, что сил для действия у него нет, но он всегда готов воспользоваться любым проявлением чужой слабости.

Я смутно отождествил его с парнями того сорта, который с самого раннего детства проходил у меня под названием «ошивающиеся» – всегда облакачивавшиеся на прилавки табачных лавок, занимавшиеся лишь рассматриванием сквозь узкие щелочки глаз входивших и выходивших, – одному богу известно, имелись ли у них хотя бы зачатки мозгов. Непременная принадлежность гаражей, где они занимались какими-то туманными «делами», о которых всегда говорили лишь вполголоса, а также завсегдатаи парикмахерских и театральных фойе. По крайней мере, именно об этих местах вспоминалось, когда появлялся такой тип – конечно, если его можно было отнести к «типу». Иногда его лицо появлялось на карикатурах Теда – из тех, что поглубей, – и с самого раннего детства я приучился всегда бросать нервный взгляд на тусклую границу, где он стоял, и я видел, что он рассматривает и презирует меня. Однажды – во сне – он сделал несколько шагов ко мне, отдергивая голову назад и бормоча: «Эй, парнишка!» – тоном, который должен был, наверное, меня успокоить, а я в ужасе бросился к двери. Это был парень как раз такого сорта.

Джо и Элен молча смотрели друг на друга; казалось, что она, как я уже говорил, находится в трансе. Было холодно, но она даже не заметила, что ее шубу распахнуло ветром; Джо протянул руки и запахнул полы, она автоматически придержала их руками.

Неожиданно молча смотревший на них человек в салоне автомобиля засмеялся. Это был почти беззвучный смех на вдохе – просто шумное дрожание головы, – но это было настоящее

оскорбление, если я хоть что-то понимаю в таких вещах; самое настоящее, простить которое невозможно. Я не удивился, когда Джо, у которого был вспыльчивый характер, в гневе обернулся к нему и спросил:

– Есть проблемы?

Человек ничего не ответил, его глаза одновременно бегали и в то же время смотрели, все время смотрели. Затем он снова точно так же рассмеялся. Элен беспокойно поежилась.

– Кто это... Этот... – Голос Джо дрожал от гнева.

– Поосторожнее, – медленно произнес человек.

Джо повернулся ко мне.

– Эдди, проводишь Элен и Катарину внутрь, ладно? – быстро сказал он. – Элен, иди с Эдди.

– Поосторожнее, – повторил человек.

Элен чуть слышно цокнула языком, но не стала сопротивляться, когда я взял ее за руку и повел к боковому входу отеля. Меня как громом поразило, я не мог понять, отчего она так беспомощна – ни слова не сказала, приняв неизбежные неприятности молча, как само собой разумеющееся.

– Не связывайся, Джо! – крикнул я, уходя. – Идем!

Элен, повиснув у меня на руке, потянула нас оттуда. Замешкавшись у вращающейся двери, я краем глаза увидел, как мужчина выбрался из салона авто.

Через десять минут, когда я поджидал девушек у дверей женской гардеробной, из лифта появились Джо Джелк и Джим Кэткарт. Джо был чрезвычайно бледен, взгляд его был тяжел, глаза остекленели, со лба стекала темная струйка крови, на белом шарфе появилось пятно. Его шляпу, как и свою, Джим нес в руках.

– Он стукнул Джо латунным кастетом! – тихо произнес Джим. – Джо потерял сознание на минуту или около того. Надо отправить посыльного за гамамелисом и лейкопластырем.

Было поздно, в холле никого больше не было; шум танцев доносился до нас снизу фрагментами, будто ветер то раздувал, то оставлял в покое какие-то тяжелые занавески. Когда вышла Элен, я сразу же повел ее вниз. Мы не стали приветствовать хозяев, а прошли в тускло освещенное помещение, уставленное всклокоченными

гостиничными пальмами, где иногда посиживали уставшие от танцев парочки; там я и рассказал ей, что случилось.

– Джо сам виноват, – услышал я совершенно неожиданный ответ. – Я же говорила ему – не вмешивайся!

Это было неправдой. Она не сказала ничего, лишь нетерпеливо цокнула языком.

– Ты убегаешь с черного хода и исчезаешь на целый час, – возразил я. – После этого ты вдруг появляешься с неким «крутым» типом, который смеется Джо прямо в лицо.

– Крутой тип, – повторила она, как бы пробуя слова на вкус.

– А что, не так? Да где ты его вообще откопала, Элен?

– В поезде, – ответила она. И сразу же стало ясно, что она пожалела об этом признании. – Эдди, не лезь не в свое дело. Ты знаешь, что случилось с Джо.

Я буквально задохнулся. Смотреть на нее, сидящую рядом со мной, с невинным румянцем на щеках, чувствовать, как ее тело волна за волной излучает свежесть и нежность, – и слышать, что она говорит...

– Да он же просто отморозок! – воскликнул я. – Ни одна девушка не может чувствовать себя в безопасности рядом с ним. Он ударил Джо кастетом – кастетом, ты понимаешь?

– А что тут такого?

Она сказала это так, словно говорила со мной несколько лет назад. Она наконец-то посмотрела мне в глаза, и я понял, что она действительно ждет моего ответа; на мгновение мне показалось, что она пытается снова ухватиться за свое прежнее мироощущение, которое было практически забыто; затем она опять стала бесчувственной. Я говорю «бесчувственной», потому что как раз тогда заметил, что всегда, когда в ее сознании всплывал тот человек, ее веки опускались, не давая видеть другие вещи, то есть все остальное.

Думаю, в этот момент мне надо было что-то сказать, но, несмотря ни на что, я никак не мог на нее напасть. Я находился под властью чар – ее красоты и ее действия на окружающих. Я даже стал подыскивать для нее оправдания – ну, может, этот парень был вовсе не тем, кем казался; а может – более романтическая версия, – она связалась с ним против своей воли, чтобы спасти кого-нибудь другого? Сейчас же в комнату стали заходить люди, стали подходить к нам поболтать. Мы не могли больше разговаривать друг с другом, поэтому вышли в зал и

обменялись поклонами с «дуэньями». А затем я отпустил ее в яркое бурное море танцев, где она превратилась в центр водоворота, среди манящих островков выставленных на столиках разноцветных лакомств и выдуваемых медными трубами на другой стороне зала южных ветров. Через некоторое время я увидел сидевшего в углу с полоской лейкопластыря на лбу Джо Джелка, наблюдавшего за Элен так, будто это она лично его нокаутировала, но к нему я не пошел. Я и сам чувствовал себя «не в своей тарелке» – я чувствовал себя так, словно проспал весь вечер, все казалось мне таким странным и зловещим, будто за это время незаметно произошло что-то, полностью изменившее суть вещей.

Вечер шел своим чередом: картонные свистки, «живые картины», вспышки магния для светской хроники. Затем последовал «гранд-марш» и ужин. Около двух часов члены организационного комитета собрали взносы с публики, переодевшись налоговыми агентами, и в результате каждый получил по номеру шуточной газеты, высмеивавшей события сегодняшнего вечера. И все это время краем глаза я наблюдал за приколотой к плечу Элен сверкающей орхидеей, перемещавшейся по залу, как плюмаж Стюартов. Дурное предчувствие не оставляло меня – я наблюдал за ней, пока последние стайки сонных гостей не скрылись в лифте, чтобы, укутавшись с головы до ног в огромные бесформенные меховые шубы, исчезнуть в ясной сухой ночи Миннесоты.

II

Между жилым кварталом, что на холме, и деловым районом, который находится на уровне реки, лежит покатая средняя часть нашего города. Подъемы разбивают ее на треугольники и неровные участки – отсюда и названия вроде «Семи углов». Я уверен, что не найдется и дюжины людей, которые могли бы нарисовать точную

карту этого неопределенного места, несмотря на то что практически каждый пару раз в день пересекает его на трамвае, автомобиле или просто пешком. Район считался деловым, но я вряд ли смог бы ответить, какими именно делами занимаются там люди. Там стояли длинные очереди трамваев, всегда готовых куда-то отправиться; там располагался большой кинотеатр и много маленьких, обклеенных снаружи афишами с именами «Клоун Гибсон», «Ученые собачки» и «Ученые пони»; были там и небольшие лавчонки с рекламами «Кинг Брейди-старший» и «Либерти Бойз, номер 76» в витринах, торговавшие стеклянными шариками, сигаретами и конфетами; а еще там – по крайней мере, в одном месте – располагалось модное ателье, которое каждый посещал хотя бы раз в году. Став мальчишкой, я неожиданно узнал, что на одной стороне одной темной улицы располагались дома терпимости, повсюду по кварталу были разбросаны ломбарды, дешевые ювелирные лавки, небольшие атлетические клубы и гимнастические залы, а также нарочито захудалые салуны.

Наутро после вечеринки клуба «Котильон» я поздно проснулся и лежал в постели, чувствуя себя счастливым оттого, что еще день или два не надо думать ни об утренних молитвах, ни об учебе – не надо думать ни о чем, можно просто ждать сегодняшнюю вечеринку, вот и все! Было свежо и солнечно – один из тех дней, когда забываешь о холоде до тех пор, пока не отморозишь щеку, – и события вчерашнего вечера, казалось, произошли давным-давно и подернулись туманом небытия. После завтрака я пошел пешком в центр города, прямо по мягкому свежему снегу – он падал мелкими хлопьями и не собирался прекращаться. Я прошел уже половину этого квартала – насколько я знаю, у него нет названия, – когда все мои легкие мысли, блуждавшие в голове, вмиг сдуло, как шляпу ветром, и я стал напряженно думать об Элен Бейкер. Я беспокоился о ней так, как никогда еще не беспокоился ни о ком, кроме себя. Я замедлил шаг, мне захотелось бежать обратно и поговорить с ней; затем я вспомнил, что она сегодня приглашена на чай, и я пошел дальше, все еще думая о ней, а мысли были все тяжелее и тяжелее. И тут история получила неожиданное продолжение.

Как я уже говорил, падал снег – в декабре в четыре часа вечера уже начинает темнеть, зажигаются уличные фонари. Я прошел мимо ресторана с бильярдной – в витрине располагался гриль с хот-догами,

у двери ошивалось несколько бездельников. Внутри горел свет – неяркий, всего лишь несколько тусклых желтых лампочек под потолком, едва разгонявших морозные сумерки, не вызывая ни малейшего желания заглянуть внутрь. Так вот, проходя мимо и все время думая об Элен, я краем глаза заметил этот квартет бездельников. Я не отошел еще и на полдюжины шагов, когда один из них окликнул меня – не по имени, но так, что я понял, что обращались именно ко мне. Я подумал, что таким образом он решил отдать дань уважения моей енотовой шубе и не стал обращать внимания, но через мгновение этот тип вновь меня окликнул, громче и наглее. Я разозлился и обернулся. Среди парней, футак в десяти от меня, стоял и презрительно – точно как вчера в лицо Джо Джелку! – ухмылялся человек с вытянутым лицом со шрамом.

На нем было черное щегольское пальто, воротник застегнут, будто ему было очень холодно. Руки он держал глубоко в карманах, на голове у него был котелок, на ногах – высокие ботинки на пуговицах. Я испугался и на мгновение замешкался, но я ведь разозлился, и к тому же был уверен, что дерусь лучше, чем Джо Джелк, так что я шагнул назад, к нему поближе. Остальные парни на меня не смотрели – думаю, они вообще меня не заметили, – но я был уверен, что этот тип меня узнал; я был совершенно уверен, что не ошибся.

«Ну, вот он я. И что ты теперь будешь делать?» – казалось, говорил его взгляд.

Я сделал еще один шаг к нему, а он рассмеялся – беззвучно, но с явным презрением – и скрылся за остальными. Я пошел к нему. Я хотел ему что-нибудь сказать – сам не знаю что, – но когда я подошел вплотную, он либо передумал и решил смыться, либо же захотел заставить меня войти за ним внутрь, потому что я вдруг его потерял, а трое оставшихся парней повернулись и стали с любопытством наблюдать за моим приближением. Они были того же сорта – «крутые», но, в отличие от него, скорее спокойные, чем агрессивные; в их взглядах я не обнаружил никакой направленной лично на меня злобы.

– Он пошел внутрь? – спросил я.

Они подозрительно посмотрели друг на друга, затем перемигнулись, и после долгой паузы один из них переспросил:

– Кто пошел внутрь?

– Я не знаю, как его зовут.

Они опять перемигнулись. Злой и решительный, я прошел мимо них прямо в бильярдную. У стойки сидело несколько человек, еще несколько играли в бильярд, но его среди них не было.

Я вновь замешкался. Если он хотел заманить меня в какой-нибудь темный угол в здании – вдали виднелось несколько приоткрытых дверей, – мне не помешала бы поддержка. Я подошел к бармену:

– Куда делся парень, который только что зашел?

Он тут же насторожился – или мне показалось?

– Какой еще парень?

– Вытянутое лицо, в котелке.

– Давно вошел?

– Ну, с минуту.

Он снова помотал головой.

– Не видел такого, – сказал он.

Я подождал. Трое парней с улицы вошли внутрь и уселись за стойку рядом со мной. Я чувствовал, что все они как-то странно на меня поглядывают. Я почувствовал себя беспомощным, беспокойство нарастало, и тогда я повернулся и вышел вон. Чуть отойдя от дверей, я снова обернулся и хорошенько осмотрел это место, чтобы запомнить его и при случае найти. Свернув за угол, я резко бросился бежать, затем поймал такси у дверей отеля и поехал обратно.

Элен не было дома. Вниз поговорить со мной спустилась миссис Бейкер. Она была в хорошем настроении и гордилась тем, какая у нее прекрасная дочь. Вчера она не почувствовала ничего дурного и даже не догадывалась, что могло произойти нечто необычное. Все-таки хорошо, что каникулы заканчиваются, ведь это такое напряжение, а бедная девочка еще так мала! Мне стало гораздо легче, когда я услышал, что она сказала после этого. Хорошо, что я зашел, ведь Элен наверняка будет рада со мной увидеться – времени-то осталось совсем мало: она же уезжает сегодня вечером, в половине девятого.

– Сегодня вечером? – воскликнул я. – А я думал, что послезавтра.

– Она едет в гости к Брокуи, в Чикаго, – сказала миссис Бейкер. – Они пригласили ее на какую-то вечеринку. Мы только сегодня все решили. Так что она едет сегодня вечером с дочерьми Ингерсолов.

Я был так рад, что едва удержался, чтобы не пожать ей руку. Элен была в безопасности. Все это было лишь очередным маленьким приключением, не более. Я чувствовал себя набитым дураком, но теперь я понял, как много для меня значит Элен и как сильно я хочу, чтобы с ней не случилось ничего дурного.

– Она скоро вернется?

– С минуты на минуту. Она только что звонила из университетского клуба.

Я сказал, что зайду попозже: наши дома стояли почти рядом, а мне сейчас захотелось побыть одному. Выйдя, я вспомнил, что ключа у меня не было, так что я свернул на заднюю дорожку за домом Бейкеров, чтобы срезать путь через находившийся между нашими домами двор, как мы всегда делали в детстве. Снег продолжал падать, его хлопья в темноте казались больше; пытаюсь найти заметенную снегом дорожку, я заметил, что задняя дверь дома Бейкеров была распахнута настежь.

Едва ли я смогу объяснить, почему мне вдруг захотелось зайти на кухню. Когда-то я знал всех слуг в доме Бейкеров по именам. С тех пор прошло много лет, но ведь они-то меня помнили, и я почувствовал, как все замерло, едва я появился. Утихли не только разговоры, но и какое-то настроение – а лучше сказать, ожидание, – которое их переполняло. Они с преувеличенным рвением принялись за работу, стали как-то беспорядочно двигаться и галдеть – все трое. Горничная испуганно на меня посмотрела, и тогда я догадался, что она ждет момента, чтобы передать новую записку. Я кивком позвал ее за собой в буфетную.

– Я все знаю, – сказал я. – Дело очень серьезное. Выбирайте – или я прямо сейчас иду к миссис Бейкер, или вы сейчас же запираете заднюю дверь.

– Не говорите миссис Бейкер, мистер Стинсон!

– В таком случае я не хочу, чтобы кто-либо беспокоил мисс Элен. Если это произойдет – а если это произойдет, то я об этом узнаю... – И я жестоко пригрозил, что обойду все агентства по найму и прослежу за тем, чтобы она никогда не смогла найти себе работу в этом городе.

Она основательно перепугалась, когда я вышел; не прошло и минуты, как за мной захлопнулась и была закрыта на засов задняя дверь.

Одновременно я услышал, как перед домом остановилась большая машина, глухо звякнули зарывшиеся в мягкий снег колесные цепи; Элен приехала домой, и я пошел в дом попрощаться.

С ней вместе вошли Джо Джелк и еще двое, и никто из них не мог отвести от нее глаз – даже не поздоровались со мной. У нее была прелестная, подернутая нежным румянцем кожа – не редкость в наших краях, – правда, годам к сорока эту красоту начинают портить небольшие жилки; в данный же момент, румяная от мороза, она походила на букет нежно-розовых гвоздик. Они с Джо в каком-то смысле достигли примирения – по крайней мере, он был так в нее влюблен, что уже забыл о том, что случилось вчера. Но несмотря на то, что она все время смеялась, я заметил, что на самом деле она ни на него, ни на остальных не обращала никакого внимания. Она хотела, чтобы они ушли, и тогда с кухни принесут записку, но я знал, что записку не принесут и что теперь она в безопасности. Некоторое время обсуждали бал «Башмак и туфелька» в Нью-Хейвене, бал в Принстоне, затем, в разном настроении, мы все вчетвером вышли на улицу и быстро разошлись. Я, расстроившись, пошел домой и целый час пролежал в горячей ванне, думая о том, что теперь, когда она уехала, каникулы для меня можно считать окончившимися. Я чувствовал гораздо глубже, чем вчера, что теперь она ушла из моей жизни.

И что-то еще все время ускользало от меня – какая-то незавершенная мысль, которую я потерял среди всех событий сегодняшнего вечера, пообещав себе вернуться и подобрать ее потом, а теперь вот никак не мог ее ухватить. Ее хвост показался примерно посреди потока разговора с миссис Бейкер – я смутно помнил, что мысль ассоциировалась именно с миссис Бейкер. Почувствовав облегчение по поводу Элен, я совершенно забыл задать ей какой-то вопрос, уточнить что-то из того, что она мне говорила.

Брокуи, к которым Элен едет в гости, – вот что это было! Я был хорошо знаком с Биллом Брокуи: он учился в моей группе в Йеле. Я вспомнил – и тут же сел в ванной, выпрямившись, как стрела: это Рождество Брокуи проводили не в Чикаго; они уехали в Палм-Бич!

Мокрый, я выпрыгнул из ванной, набросил легкий халат на плечи и побежал к телефону в своей комнате. Меня быстро соединили, но мисс Элен уже отправилась на вокзал.

К счастью, наша машина стояла в гараже, и, пока я, не успев толком вытереться, натягивал на себя одежду, шофер подал ее к двери. Ночь была морозной и сухой, по глубокому жесткому снегу мы очень быстро доехали до вокзала. В начале пути я было засомневался, так ли я все делаю, но, как только в холодной темной мгле замаячило новенькое, ярко освещенное здание вокзала, ко мне вернулась уверенность. Пятьдесят лет моя семья владела участком, на котором было выстроено это здание, и моя безрассудная смелость стала в моих глазах вполне оправданной. Я ни на секунду не забывал, что самонадеянно лезу в очень щекотливое дело, но чувство, что у меня есть прочная опора в прошлом, уверило меня в том, что я готов рискнуть, несмотря на риск выставить себя круглым дураком. Все это дело представлялось мне нехорошим – ужасно нехорошим. У меня исчезла всякая мысль о том, что происходящее не может причинить никому вреда; лишь я находился между Элен и какой-то неведомой всепоглощающей катастрофой, а если не я, оставались лишь полиция и скандал. Я вовсе не моралист, но здесь имелся какой-то иной оттенок, темный и страшный, и мне не хотелось, чтобы Элен пришлось в одиночестве противостоять всему этому.

Из Сент-Пола в Чикаго идут три поезда, и все они отходят с разницей в несколько минут, около половины девятого. Она ехала на барлингтонском, и когда я бежал по вокзалу, то увидел, что вход на перрон закрылся, а фонарь над решеткой погас. Но я был уверен, что она едет в купе с дочерьми Ингерсолов, потому что ее мать упомянула о том, что они брали билеты вместе, так что до завтрашнего утра она, можно сказать, находилась «под колпаком».

Экспресс «Чикаго – Милуоки – Сент-Пол» отходил с перрона на другом конце вокзала. Я успел туда добежать и вскочил в вагон. Но я не учел лишь одного, и этого было достаточно, чтобы я провел полночи без сна. Этот поезд прибывал в Чикаго на десять минут позже того, которым ехала она. У Элен была масса времени, чтобы раствориться в одном из самых больших городов на свете.

В Милуоки я через проводника передал телеграмму домой, и в восемь утра на следующее утро я уже проталкивался сквозь толпу

пассажиров, крича, чтобы они убрали с дороги свои сумки, разбросанные по всему проходу, а затем я пулей выскочил из двери вагона, едва не придавив проводника. На мгновение меня оглушили суматоха огромного вокзала, громкие свистки, крики, звонки, клубы пара. Затем я бросился к выходу, чтобы не упустить единственный шанс ее найти.

Я угадал. Она стояла у окошка телеграфа, заполняя бог знает какой ложью бланк с адресом матери, и, когда она увидела меня, на ее лице показались испуг и удивление. И хитрость в глазах! Она лихорадочно обдумывала ситуацию – ей явно хотелось просто уйти по своим делам, сделав вид, что она меня не заметила, но она не могла. В ее жизни я являлся тем, через что было не так-то просто переступить. Поэтому мы молча стояли, глядя друг на друга, и оба думали, что же теперь делать.

– Брокуи во Флориде, – через минуту произнес я.

– Очень любезно с твоей стороны проделать столь дальний путь, чтобы сообщить мне об этом.

– Ну, раз ты теперь об этом знаешь, не лучше ли сразу отправиться в колледж?

– Оставь меня в покое, Эдди, – ответила она.

– Я провожу тебя до Нью-Йорка. Я решил, что тоже вернусь в университет пораньше.

– Оставил бы ты меня в покое!

Ее прелестные глазки сощурились, а на лице появилась звериная строптивость. Она с видимым усилием взяла себя в руки, в глазах снова мелькнула хитрость, затем все исчезло, и на лице засияла веселая, обезоруживающая улыбка, несколько меня не успокоившая.

– Эдди, глупый ты мальчишка! Неужели ты думаешь, что я не в состоянии сама о себе позаботиться? – Я ничего не ответил. – Мне нужно встретиться с одним человеком, пойми. Я просто хочу с ним сегодня увидеться. У меня в сумочке билет на Восток, поезд уходит в пять вечера. Если не веришь, могу показать.

– Верю.

– Ты этого человека не знаешь, и – если честно – я считаю, что ты ведешь себя невообразимо нагло.

– Я знаю этого человека.

Она снова потеряла контроль. На лице опять показалось это ужасное выражение, и она почти что прорычала:

– Оставь меня в покое!

Я взял у нее бланк телеграммы и написал текст с объяснениями для ее матери. Затем повернулся к Элен и, не церемонясь, сказал:

– Поедем на Восток пятичасовым вместе. Весь день я буду с тобой.

Звук собственного уверенного голоса вселил в меня уверенность, и мне кажется, что на нее это тоже произвело впечатление; как бы там ни было, она – пусть на время – подчинилась и без возражений пошла за мной к кассе покупать билет.

Всегда, когда я пытаюсь собрать воедино фрагменты событий этого дня, у меня в голове возникает сумятица, как будто память не желает с ними расставаться, а сознание никак не хочет выстраивать кусочки в единое целое. Помню солнечное, ветреное утро, как мы ехали в такси, затем зашли в большой универмаг: Элен сказала, что ей нужно что-то купить, а затем попыталась ускользнуть от меня через черный ход. Около часа мне казалось, что за нами по Лейк-Шор-драйв неотступно следует какое-то такси, я пытался его поймать, быстро оборачиваясь или неожиданно уставясь в зеркало заднего вида, но никого так и не увидел, а когда отворачивался, то видел лишь лицо Элен, искаженное грустным принужденным смехом.

Все утро дул промозглый, холодный ветер с озера, но когда мы заехали на обед в «Блэкстоун», за окнами стал падать тихий снег, и мы, как ни в чем не бывало, вдруг стали разговаривать об общих друзьях и других совершенно обычных вещах. Неожиданно она сменила тон; она вдруг стала серьезной и посмотрела прямо мне в глаза, честно и откровенно.

– Эдди, ты мой самый старый друг, – сказала она, – и поэтому тебе не надо объяснять, почему мне можно доверять. Если я дам тебе честное слово, что не опоздаю на пятичасовой, ты отпустишь меня на пару часов?

– Зачем?

– Ну... – она замялась, чуть опустив голову, – мне кажется, у каждого есть право... попрощаться.

– Ты хочешь попрощаться с этим...

– Да, да, – торопливо ответила она. – Всего на пару часов, Эдди, и я даю честное слово, что уеду в этом поезде.

– Ну что ж, думаю, что за пару часов особо дров не наломаешь. Если ты действительно хочешь попрощаться...

В этот момент я неожиданно посмотрел на нее и был награжден столь лицемерным взглядом, что даже вздрогнул. Она хитро поджала губы, глаза вновь превратились в щелочки; в ее лице не осталось ничего, хоть отдаленно напоминавшего о честности и откровенности.

Мы заспорили. Она спорила не очень уверенно, я – жестко, но сдерживаясь. Я не собирался дать себя снова уговорить, поддавшись слабости – ни своей, ни ее; вся атмосфера отдавала каким-то душком зла. Она пыталась настаивать – без всяких разумных аргументов, – что все будет хорошо. Но она была чересчур переполнена всем этим – что бы это ни было – и поэтому не могла придумать никакой правдоподобной истории, так что ей оставалось лишь надеяться, что в моей голове сама собой появится какая-нибудь удобная и все объясняющая логическая цепочка, на которой она и сможет выехать. Отбрасывая каждое мое возражение, она алчно поглядывала на меня, надеясь, что я вот-вот пущусь в высокоморальные рассуждения, которые завершатся обычным слащавым назидательным выводом, что в данном случае будет означать ее свободу. Но наша схватка ее вымотала. Два или три раза она была почти готова расплакаться – а этого мне, конечно, и нужно было, – но надо было еще чуть-чуть надавить, чего у меня никак не выходило. Я уже почти побеждал – почти овладел ее внутренним вниманием, – но затем она вновь ускользнула.

Около четырех я бесцеремонно заставил ее сесть в такси, и мы поехали на вокзал. Снова поднялся пронизывающий ветер, снежинки кололи лицо; на улицах стояли замерзшие, встревоженные и нерадостные люди, ждавшие автобусов и трамваев, слишком тесных, чтобы они все могли туда поместиться. Я старался думать о том, как же нам повезло, что мы сейчас удобно устроимся в вагоне, о нас будут заботиться, но весь теплый и уютный мир, частью которого я чувствовал себя до вчерашнего вечера, внезапно съежился и исчез. С нами следовало что-то, что являлось врагом и полной противоположностью всему этому благополучию; оно наполняло даже такси рядом с нами, даже улицы, которые мы проезжали. Поддавшись панике, я стал думать: не овладело ли *это* незаметно сознанием Элен? Пассажиры, ожидающие, пока подадут поезд, казались мне далекими, словно из иного мира, но я понимал, что это именно я сам понемногу отделяюсь от них и оставляю их позади.

У меня было место в том же вагоне, что и ее купе. Вагон был старомодным, свет немного тускловат, ковры и обивка хранили дух предшествующих поколений пассажиров. В вагоне ехало еще с полдюжины пассажиров, но никто не произвел на меня никакого особенного впечатления, не считая их общей нереальности, которую я теперь ощущал уже повсюду. Мы вошли в купе Элен, заперли дверь и уселись рядом.

Я вдруг обнял ее и как можно нежнее притянул к себе – так, будто она была маленькой девочкой, которой она и была. Она почти не сопротивлялась, через мгновение сдалась совсем и осталась лежать, напряженная и неподвижная, в моих объятиях.

– Элен, – беспомощно произнес я, – ты просишь, чтобы я тебе доверял. Гораздо лучше, если ты сама станешь доверять мне. Может, ты мне немного расскажешь обо всем и тебе станет легче?

– Я не могу, – очень тихо ответила она, – то есть мне не о чем рассказывать.

– Ты познакомилась с этим человеком в поезде по пути домой и влюбилась, не правда ли?

– Не знаю.

– Расскажи мне, Элен. Ты влюбилась в него?

– Я не знаю. Пожалуйста, отстань от меня.

– Что бы ты ни говорила, – продолжал я, – он каким-то образом завладел тобой. Он пытается тебя использовать; он пытается что-то от тебя получить. Он не любит тебя.

– Какая разница? – слабым голосом возразила она.

– Большая. Вместо того чтобы бороться с этим – чтобы это ни было, – ты пытаешься бороться со мной. А я люблю тебя, Элен. Слышишь меня? Я говорю это тебе только сейчас, но все началось не вчера. Я люблю тебя.

Она посмотрела на меня; на ее нежном лице появилась глумливая усмешка; такое выражение я видел только у пьяных, не желавших, чтобы их увозили домой. Но это было человеческое. Я все-таки достучался до нее – пусть слабо, пусть издалека, но она меня слышала!

– Элен, ответь мне на один вопрос. Он должен ехать этим поездом?

Она молчала; затем, на мгновение позже, чем нужно, она отрицательно помотала головой.

– Будь осторожнее, Элен. Я задам тебе еще один вопрос, и я хочу, чтобы ты очень хорошо подумала, прежде чем ответишь. Мы движемся на Запад – когда этот человек должен сесть в поезд?

– Я не знаю, – сделав над собой усилие, произнесла она.

В этот момент я уже безошибочно знал – будто сам это видел, – что он находится прямо за дверью. Она тоже это знала; кровь отхлынула у нее от лица, потихоньку на нем стала проявляться самая низшая форма животного инстинкта. Я спрятал лицо в ладони и попытался привести свои мысли в порядок.

Должно быть, мы просидели так около часа, не проронив ни слова. Мой мозг машинально фиксировал, как мимо проносились огни Чикаго, затем Инглвуда, затем бесконечных пригородов, а затем огни кончились, и мы двигались сквозь тьму по равнинам Иллинойса. Казалось, поезд сам собой втягивается во мрак; казалось, что мы были одни в пространстве. В дверь постучал проводник и предложил постелить постель, но я сказал, что нам ничего не надо, и он ушел.

Через некоторое время я убедил себя в том, что приближающаяся схватка, которой было не избежать, будет мне вполне по силам, ведь я не окончательно потерял разум и веру в неизбежное торжество справедливости, являющейся неотъемлемым свойством мира людей и вещей. То, что намерения этого типа были криминальными, я считал само собой разумеющимся, однако не было никакой нужды приписывать ему какие-то выдающиеся умственные способности, необходимо присущие области человеческой, или нечеловеческой, деятельности высшего порядка. Я все еще думал, что это человек, и я пытался понять саму сущность его стремлений, что им двигало – что именно билось в нем вместо простого и понятного человеческого сердца? – но думаю, что уже тогда я почти догадался, с чем столкнусь, едва открою дверь.

Элен, кажется, даже не заметила, что я встал. Она сгорбилась в углу, глядя прямо перед собой, словно сквозь прозрачную пленку, сковывавшую движения ее тела и мысли. Я приподнял ее, подложил ей под голову пару подушек и накрыл ее ноги своей шубой. Затем встал на колени, поцеловал ее руки, открыл дверь и вышел в коридор вагона.

Я закрыл за собой дверь и около минуты простоял, опираясь на нее спиной. В вагоне было темно, если не считать ночников, горевших в тамбурах с обоих концов. Не было слышно ни звука – только скрип

вагонных сцепок, ровный стук колес и чей-то громкий храп в другом конце вагонного коридора. Через некоторое время я увидел фигуру, стоявшую у бачка с питьевой водой, как раз у курительной комнаты, – на голове котелок, воротник пальто поднят, как будто ему было очень холодно, руки в карманах. Как только я его заметил, он повернулся и вошел в курительную, а я пошел за ним. Он уселся на дальнем конце длинной, обитой кожей скамейки; я занял единственное кресло у двери.

Войдя, я кивнул ему, а он издал в ответ один из этих своих ужасных беззвучных смешков. На этот раз смешок продолжался дольше – казалось, он никогда не закончится, – и, чтобы хоть как-то его оборвать, я спросил его: «Откуда вы?», стараясь говорить как можно непринужденнее.

Он прекратил смеяться и пристально на меня посмотрел, пытаюсь понять, что у меня на уме. Наконец он решил ответить, и его голос зазвучал, будто он говорил сквозь шелковое кашне, а сам он находился очень далеко от меня:

– Из Сент-Пола, друг.

– Ездили домой?

Он кивнул. Затем он глубоко вдохнул и произнес резким, угрожающим тоном:

– Сошел бы ты лучше в Форт-Уэйне, друг.

Он был мертв! Он был мертв, как черт в аду, – и он все время был мертв, а та сила, которая текла сквозь него, как кровь по венам, благодаря которой он смог добраться до Сент-Пола и обратно, теперь покидала его. Новые черты – черты мертвеца – проступали сквозь осязаемую фигуру того, кто сбил с ног Джо Джелка.

Он снова заговорил, голос его прерывался:

– Сойдешь в Форт-Уэйне, друг, не то придется тебя прикончить. – Он пошевелил рукой в кармане, продемонстрировав контур револьвера.

Я покачал головой.

– Тебе меня не достать, – ответил я. – Видишь ли, я все знаю.

Его ужасные глаза быстро пробежали по мне, пытаюсь оценить, действительно ли мне все известно. Затем он зарычал и притворился, что сейчас вскочит на ноги.

– Слезаешь тут или я доберусь до тебя, друг! – хрипло крикнул он.

Поезд замедлил ход, приближаясь к Форт-Уэйну, и в относительной тишине его крик показался громким, но он не двинулся с места – думаю, он был уже слишком слаб. Так мы и сидели, глядя друг на друга, пока за окном взад и вперед ходили обходчики, простукивая тормозные колодки и колеса, до тех пор, пока паровоз впереди не запыхтел громко и жалобно. В наш вагон никто не вошел. Через некоторое время проводник запер дверь в тамбур, прошел по коридору на свое место, и мы плавно переместились опять во тьму, покинув мутный желтый свет перронных фонарей.

То, что, как я вспоминаю, произошло затем, должно быть, тянулось пять или шесть часов, хотя мне всегда кажется, что это было вне времени – это могло продолжаться и пять минут, и целый год. Он начал медленную, хорошо обдуманную атаку на меня, безмолвную и ужасную, – я чувствовал, как нечто неведомое и холодное пытается мной овладеть, нечто подобное тому, что я чувствовал весь вечер, только еще более пронизывающее и сильное. Это было ни на что не похоже; я лишь чувствовал, как меня куда-то уносит, и я механически вцепился в подлокотники кресла, пытаюсь удержаться хоть за что-то в реальном мире. Иногда я чувствовал, что от напряжения сейчас потеряю сознание. Я чувствовал, что сейчас вдруг станет легче, что теперь уже все равно; но затем, диким усилием воли, я возвращался обратно в реальный мир.

Вдруг я осознал, что некоторое время назад я перестал его ненавидеть, перестал чувствовать пропасть, отделявшую его от меня, и при этой мысли меня охватил озноб; с меня ручьями полился пот. Ему удалось прорваться сквозь мою ненависть – так же, как раньше ему удалось приблизиться к Элен, возвращавшейся домой с Запада. Именно так он и вытягивал из своих жертв ту силу, которая позволила ему воплотиться до степени, когда он смог совершить настоящее насилие в Сент-Поле, и которая, постепенно уменьшаясь и угасая, все еще позволяла ему бороться.

Наверное, он заметил трепет в моем сердце, потому что сразу же заговорил, тихо, спокойно и почти что нежно:

- Лучше уходи.
- Никуда я не пойду, – заставил я себя ответить.
- Ну, как знаешь, друг.

Он был моим другом, давал он понять. Он знал, каково мне было, и хотел помочь. Он жалел меня. Пока еще не поздно, мне лучше было уйти. Ритм его атаки стал успокаивающим, словно колыбельная: мне лучше уйти – *и тогда он займется Элен*. Издав слабый крик, все еще сидя, я выпрямился.

– Чего тебе надо от девушки? – дрожащим голосом произнес я. – Хочешь превратить ее в зомби?

Его взгляд выражал лишь тупое недоумение, как у животного, которое наказывают за то, чего оно не понимает.

На мгновение я заколебался, а затем наугад продолжил:

– Ты потерял ее! Она мне поверила!

Он почернел от злости, закричал: «Ты лжешь!», и от его голоса мне показалось, что у меня побежали мурашки по коже.

– Она доверяет мне, – сказал я. – Тебе ее не достать. Она в безопасности!

Он взял себя в руки. Его лицо вновь стало вкрадчивым, и я почувствовал, как у меня внутри опять появились ощущения неестественной слабости и безразличия. Что толку во всем этом? Что толку?

– У тебя осталось мало времени, – заставил я себя сказать, а затем у меня в голове вспыхнула догадка, и я выпалил правду: – Ты сдох, или тебя убили где-то здесь, недалеко от этого места! – И тогда я заметил то, чего не видел раньше: у него во лбу зияло небольшое отверстие, похожее на то, которое остается в гипсовой стенке от толстого гвоздя. – А теперь ты гибнешь. У тебя осталась лишь пара часов. Каникулы кончились!

Его лицо искривилось и перестало быть похожим на человеческое, даже на мертвое. Одновременно с этим воздух в помещении стал холодным, и с шумом, напоминавшим нечто среднее между приступом кашля и взрывом ужасного смеха, он встал на ноги, смердя грехом и кощунством.

– Еще посмотрим! – закричал он. – Я тебе покажу...

Он сделал шаг ко мне, затем другой, и тут позади него будто внезапно растворилась какая-то дверь – дверь, за которой зияла немыслимая бездна тьмы и тления. Послышался вопль смертельной агонии – от него или откуда-то позади него, – и внезапно сила покинула его одним долгим хриплым выдохом, и он поник на пол...

Сколько я там просидел, полумертвый от испуга и изнеможения, я не знаю. Сразу вслед за этим в памяти сохранились начищенные ботинки сонного проводника в противоположном углу курительной, а за окном – стальные отблески Питтсбурга, нарушившие плоскость ночной панорамы. А еще на скамейке лежало нечто – слишком незаметное, чтобы быть человеком, и чересчур плотное, чтобы быть тенью. Прямо на моих глазах оно поблекло и окончательно исчезло.

Через несколько минут я открыл дверь купе Элен. Она спала там же, где я ее вчера и оставил. Ее прелестные щечки утратили румянец и стали бледными, но она лежала совершенно естественно – руки ее были расслаблены, дыхание ровное и чистое. Передо мной снова была сама Элен, пусть и похожая на выжатый лимон; то, что владело ею, теперь ее покинуло.

Я устроил ее поудобнее, подоткнул одеяло, выключил свет и ушел.

III

Приехав домой на пасхальные каникулы, первым делом я пошел в бильярдную у «Семи углов». Кассир за стойкой, само собой, ничего не помнил о моем кратковременном визите тремя месяцами раньше.

– Хочу вот найти одного типа, который здесь, кажется, когда-то часто бывал.

Я достаточно точно описал человека, а когда закончил, кассир окликнул какого-то замухрышку, сидевшего невдалеке с таким видом, будто у него какое-то важное дело – жаль только, что он забыл какое.

– Эй, Коротышка, поговори с этим парнем, ладно? Кажется, он ищет Джо Варланда.

Замухрышка бросил на меня подозрительный взгляд, как и положено всей этой братии. Я подошел к нему и сел рядом.

– Джо Варланд помер, приятель, – нехотя произнес он. – Помер прошлой зимой.

Я снова описал его: пальто, смех, обычное выражение глаз.

– Точно, это Джо Варланд, но он помер.

– Я хочу про него кое-что узнать.

– Что узнать?

– Чем он, скажем, занимался?

– Откуда я знаю?

– Слушайте! Я не из полиции. Мне просто нужны некоторые сведения о нем. Он мертв, и это уже не может ему повредить. И еще обещаю держать язык за зубами.

– Ну... – он задумался, оглядывая меня, – очень он любил путешествовать. Ввязался в драку на вокзале в Питтсбурге, и какой-то хрен уколошил его.

Я кивнул. В моей голове стали собираться разрозненные части головоломки.

– А почему он все время ездил поездами?

– А откуда я знаю, приятель?

– Ну, если десятка будет вам кстати, то я бы хотел узнать все, что вы слышали по данному поводу.

– Ну, слышал кое-что... – неохотно признался Коротышка. – Поговаривали, что он работает в поездах.

– Работает в поездах?

– Была у него какая-то своя афера, про которую он никогда особо язык не распускал. Он работал с девчонками, которые одни катались на поездах. Никто ничего об этом особо не говорил – парень он был ловкий, – но иногда он появлялся тут с кучей бабла и давал всем понять, что это ему от бабенок перепало.

Я поблагодарил его, дал ему десять долларов и ушел в глубокой задумчивости, ни слова не сказав о последней поездке Джона Варланда.

Эту Пасху Элен проводила не на Западе, но даже если бы она и приехала, я вряд ли пошел бы к ней делиться информацией – по крайней мере, летом мы виделись с ней почти каждый день и подолгу болтали о чем угодно, но только не об этом. Но иногда она вдруг ни с того ни с сего умолкает и хочет быть поближе ко мне – и я знаю, о чем она думает.

Конечно, этой осенью она выйдет в свет, а мне осталось еще два года в Нью-Хейвене; но все уже не выглядит столь невероятным, как

казалось несколько месяцев назад. Она принадлежит мне – даже если я ее потеряю, она все равно будет моей. Как знать? Как бы там ни было, я всегда буду рядом.

Интерн

I

По традиции концерт в клубе «Кокцидиан» устраивают в самый жаркий вечер весны, и тот год не стал исключением. Двести докторов и студентов заполнили гостиные тесного здания, и еще двести студентов давились у дверей, надежно изолируя внутренние помещения от любого ветерка из мэрилендской ночи снаружи. До этих последних доносились лишь слабые отголоски представления, зато по цепочке им исправно передавались прохладительные напитки из буфета. Внизу в подвале уборщики, как и каждый год, молились о том, чтобы прогнувшиеся полы выдержали публику и на этот раз.

Билл Талливер оказался самым холоднокровным в зале. Ничуть не стеснясь, он надел легкий халат и взял в руки посох в единственном номере, в котором принимал участие, – это была остроумная, грубоватая и неизбежная песенка, в которой описывались неудачи и чудачества медицинского факультета. Он сидел в относительном комфорте сцены и оглядывал горячее море лиц. Самые известные доктора сидели в первых рядах: доктор Раф, офтальмолог; доктор Лэйн, нейрохирург; доктор Джорджи, специалист по желудочно-кишечному тракту; доктор Барнет, алхимик внутренних органов; а с краю виднелось ангелоподобное лицо диагноста доктора Нортон, который, кажется, не замечал ручьев пота, стекавших с его куполоподобного черепа.

Как и большинство студентов, уверовавших в Нортон, Билл Талливер шел за ним безоговорочно, но не совсем так, как другие. Он эгоистично поклонялся ему как божеству, дарующему жизнь. Ему хотелось не завоевать его расположение, а заставить его это расположение подарить. Его карьера – которая, по большому счету, должна была начаться только тогда, когда в июле он поступит интерном в госпиталь, – заполняла всю его жизнь, стремившуюся к тому дню, когда его диагноз окажется верным, а диагноз доктора Нортон ошибочным. Только тогда он сможет стать свободным – ему больше не нужно будет оснований в виде арифмометра – вычислительной машины – вероятностной машины – машины святого Франциска Ассизского.

До этой степени эгоизма Билл Талливер дошел в состоянии полной готовности. Он был пятым в непрерывной серии докторов Уильямов Талливеров, практиковавших в городе, повинувшись призванию. Его отец умер прошлой зимой, и не было ничего неестественного в том, что еще со школьной скамьи этот последний отпрыск медицинской династии шумно требовал «свободы самовыражения».

Песня о медицинском факультете, популярная с незапамятных времен, шла дальше и дальше. Прозвучал куплет о кровавом докторе Лэйне, о названиях, которые доктор Брюн выдумывал для изобретенных им новых недугов, об отличительных «пунктиках» доктора Шварца и домашних скандалах доктора Гиллесли. Доктор Нортон, один из самых популярных сотрудников, отделался легко. Было несколько новых куплетов, некоторые написал Билл:

*Наш герр Зиглер, седой и усталый,
Вас прогонит или убьет,
Если вы позабудете малый
Ген, что в крови Бурбонов живет.
Бам-тидди-бам-бам,
Тидди-бам-бам.
Три тысячи лет назад,
Три тысячи лет назад.*

Он внимательно смотрел на доктора Зиглера и заметил, как тот вздрогнул, рассмеявшись. Биллу хотелось знать, скоро ли в песне появится куплет и о нем, о Билле Талливере, – слушая припев, он стал придумывать текст.

После концерта старики удалились. На полу появились пивные лужи и вечер превратился в традиционный шумный бедлам. Но у Билла было серьезное настроение, поэтому он надел свой полосатый костюм и, выждав для приличия десять минут, покинул жаркий зал. На крыльце стояла группа людей, вдыхавшая разреженный воздух, другая группа распевала песни у фонаря за углом. На другой стороне улицы возвышался громадный корпус больницы, вокруг которого и вертелась вся его жизнь. Между клиникой Св. Майкла и муниципальной больницей сияла круглая полная луна.

Девушка – она торопилась – поравнялась с гуляками у фонаря одновременно с Биллом. На ней было темное платье и темная шляпа с полями, однако у Билла возникло впечатление, что ее одежда была нарядной – об этом говорил, наверное, покрой, раз уж не цвет. Все произошло буквально за минуту; человек обернулся – Билл увидел, что он не принадлежит к великому братству – и буквально рухнул к ней на грудь, как обиженный ребенок на мать.

Девушка отшатнулась, испуганно вскрикнув; вся группа немедленно отреагировала:

– Вы в порядке? Все хорошо?

– Да, – судорожно вздохнула она. – Он, наверное, отключился и даже не понял, что я его при всем желании не удержу.

– Оттащим его в реанимацию и посмотрим, сможет ли он проглотить желудочный зонд!

Билл Талливер пошел рядом с девушкой:

– Так вы в порядке?

– Да. – Она все еще тяжело дышала, ее грудь вздымалась, даря бесконечные обещания – словно глоток воздуха, который она сделала, был последним на всей земле.

– Не дышите... Не дышите – дышите... Не дышите... – выдохнула она. – Я только сейчас поняла, что это студенты. И зачем я сегодня решила идти этой улицей?

Ее волосы, темные и зачесанные за уши назад, падали ей на плечи. Она неожиданно рассмеялась.

– Он был такой беспомощный, – сказала она. – О, господи, видела я беспомощных людей – сотню, наверное, или больше, – но чтобы такое выражение лица, как у этого, когда он решил на меня... опереться...

В ее темных глазах сияло веселье, и Билл понял, что на самом деле она со всем всегда успешно справлялась сама. Он внимательно рассматривал ее, и ее красота действовала на него так, что он, не говоря ни слова, даже не представившись, почувствовал, что раскрывается навстречу ей, следя за изгибом ее губ и ямочками на щеках, когда она улыбалась...

Все это произошло за те три или четыре минуты, пока он шел рядом с ней; только потом он смог осознать, как глубоко было это впечатление.

Когда они миновали похожий на церковь административный корпус, недалеко от них затормозил открытый кабриолет, из которого выпрыгнул мужчина лет тридцати пяти. Девушка побежала к нему.

– Говард! – воскликнула она взволнованно и весело. – На меня напали! Перед клубом «Кокцидиан» были студенты...

Мужчина резко и угрожающе повернулся к Биллу Талливеру.

– Это один из них? – спросил он.

– Нет, нет... это не он.

И тут Билл узнал его – это был доктор Говард Дарфи, бриллиант среди молодых хирургов, имевший репутацию сердцееда и забияки.

– Надеюсь, вы не слишком «достали» мисс...

Она жестом остановила его, но Билл успел сердито ответить:

– Я никогда не «достаю» людей.

Так и не успокоившись, как будто Билла можно было хоть в чем-то обвинить, доктор Дарфи залез в машину; девушка села рядом с ним.

– Счастливо, – сказала она, – и спасибо вам.

Она посмотрела на Билла с дружеским интересом, и в тот миг, пока машина готовилась сорваться с места, она слегка прищурилась, а затем широко раскрыла глаза, будто подав ему знак, что их встреча для нее не просто пустяк. «Я вижу тебя, – казалось, сказала она. – Ты взят на заметку. В жизни нет ничего невозможного».

Под негромкие фанфары нового мотора она растворилась в весенней ночи.

II

Билл должен был поступить в госпиталь в июле с первой группой свежее испеченных докторов. Оставшиеся месяцы он провел в Марта-Вайнард, плавая и рыбача вместе с Шульцем, своим одноклассником; вернулся он, лучась здоровьем и горя энтузиазмом, мечтая приступить к работе.

Красная площадь буквально жарилась под мэрилендским солнцем. Билл вошел в административный корпус – гигантский мраморный Христос благословлял всех входящих в холл. Через те же самые двери тридцать лет назад, тоже интерном, вошел сюда отец Билла.

Неожиданно Билл почувствовал шок, его спокойствие раскрошилось на куски, и он вряд ли смог бы дать рациональное объяснение, почему он был там, где он был. Прямо из тени статуи возникла темноволосая девушка с большими ясными глазами, которые смотрели на него ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы нанести удар, а затем с громким «Привет!» она исчезла за дверью одного из кабинетов.

Он все еще глядел ей вслед, пораженный, взволнованный, рассеянный и расплавленный, когда его окрикнул доктор Нортон:

– Сдается мне, я имел честь обратиться к Уильяму Талливеру-пятому...

Билл был благодарен за напоминание о том, кто он такой.

– ... проявившему такой неподдельный интерес к девушке доктора Дарфи, – продолжал Нортон.

– Она его девушка? – машинально переспросил Билл. А затем: – О, добрый день, доктор!

Доктор Нортон решил поупражняться в остроумии, которого у него было в избытке.

– Мы знаем наверняка, что дни они проводят вместе, а судя по сплетням, возможно, что и вечера тоже.

– Дни вместе? А мне казалось, что он должен быть сильно занят в это время.

– Так и есть. Дело в том, что мисс Синглтон вызывает у пациента состояние комы, необходимое художнику скальпеля для того, чтобы отсечь внутри все лишнее. Она анестезиолог.

– Понятно. Ну что ж, тогда они... обречены судьбой проводить дни вместе.

– Это можно рассматривать как романтическую ситуацию. – Доктор Нортон посмотрел на него внимательно: – Уже освоились? Можете прямо сейчас приступить к работе?

– Да, конечно.

– Я знаю, что вы должны приступить к работе только завтра, но, с вашего позволения, я дам вам задание прямо сейчас: отправляйтесь в Ист-Майкл, проведите осмотр и составьте анамнез.

– Хорошо.

– Палата 312. Вашего методичного приятеля Шульца я отправил на охоту за другой тайной в соседнюю палату.

Билл поспешил в свой кабинет на верхнем этаже корпуса, облачился в новую белоснежную униформу и разложил по карманам инструменты. В спешке он позабыл, что впервые самостоятельно – без посторонней помощи! – проводит обследование. Выйдя за дверь, он заставил себя успокоиться и придал лицу серьезное выражение. Когда он входил в палату, то выглядел почти как белоснежный ангел – по крайней мере, он очень старался.

В постели, покуривая сигарету, лежал пузатый болезненный мужчина лет сорока.

– Доброе утро! – сердечно поприветствовал его Билл. – Как себя чувствуете?

– Отвратительно, – ответил мужчина. – Вот почему я здесь.

Билл поставил портфель на пол и осторожно приблизился к постели, словно кот к своему первому в жизни воробышку:

– Что вас беспокоит?

– Все. Болит голова, болят кости, не могу уснуть, не хочу есть, меня знобит. Мой шофер переехал меня, то есть приехал меня, ну то есть привез меня, надеюсь, вы поняли. То есть прямо из Вашингтона сегодня утром. Терпеть не могу этих вашингтонских врачей – только и знают, что разговаривать о политике.

Билл засунул термометр ему в рот и проверил пульс. Затем осмотрел грудь, живот, горло и все остальное. Резиновый молоточек

вызвал вялую рефлекторную реакцию. Бил присел рядом с кроватью.

– Готов поменяться с вами сердцами хоть сейчас, – пошутил он.

– Да, все говорят, что сердце у меня превосходное, – согласился человек. – И что вы думаете о последней речи Гувера?

– Мне казалось, вы устали от политики.

– Точно, но, пока вы меня изучали, в голову лез только Гувер.

– Только Гувер?

– И я сам. Что вы выяснили?

– Нужно будет сделать анализы. Однако мне кажется, что вы практически здоровы.

– Я не здоров! – возмутился пациент. – Я не здоров! Я больной.

Билл достал карту и ручку.

– Как вас зовут? – начал он.

– Пол Б. Ван Шейк.

– Ближайший родственник?

В истории болезни не было ничего, что помогло бы поставить диагноз. Мистер Ван Шейк демонстрировал симптомы сразу нескольких детских болезней. Вчера утром он не смог встать с постели, слуга измерил ему температуру и обнаружил, что она повышенная.

Термометр Билла показывал нормальную температуру.

– А теперь мне придется чуть-чуть уколоть ваш большой палец, – сказал он, готовя стеклянные пластинки, и когда процедура завершилась под звук короткого заунывного стога пациента, он добавил: – Еще нам потребуется совсем маленький образец ткани из вашего предплечья.

– Вы добиваетесь, чтобы я расплакался? – возразил пациент.

– Нужно проверить все возможные варианты, – сухо ответил Билл, погружая иглу шприца в мягкую ткань предплечья, что вызвало новый взрыв негодования со стороны мистера Ван Шейка.

Билл автоматически убрал инструменты. У него не возникло ни единой догадки о том, что же может являться причиной болезни, и он укоризненно посмотрел на пациента. На всякий случай посмотрел, не увеличены ли гланды, спросил, живы ли родители, и бросил прощальный взгляд на горло и зубы.

«Глаза слегка навывкате, – записал он в полном отчаянии. – Зрачки округленные и ровные».

– Пока все, – сказал он. – Отдыхайте.

– Отдыхайте?! – негодуяще воскликнул мистер Ван Шейк. – Если бы я только мог! Я не могу уснуть уже третий день подряд! Мне хуже с каждой секундой!

Билл вышел в холл – из двери соседней палаты вышел Джордж Шульц. Во взгляде читалась неуверенность, а на лбу выступил пот.

– Закончил? – спросил Билл.

– Ну да, вроде бы. Доктор Нортон тебя тоже озадачил?

– Да. Какой-то загадочный случай – взаимоисключающие симптомы, – солгал он.

– И у меня тоже, – сказал Джордж, вытирая лоб. – Лучше бы нам для начала дали что-нибудь более ярко выраженное, вроде тех случаев, которые нам описывал Робинсон в классе в прошлом году, – помнишь, где было две возможности и одна вероятность.

– И пациенты тут какие-то нелюбезные, – согласился Билл.

К ним подошла медсестра.

– Вы только что были в 312, – тихо сказала она. – Лучше уж я вам скажу. Я раскладывала вещи пациента и обнаружила одну пустую бутылку от виски и еще одну начатую. Он попросил дать ему выпить, но я решила, что сначала надо спросить доктора.

– Вы правильно сделали, – спокойно ответил Билл, хотя на самом деле ему хотелось расцеловать ее в знак признательности.

Передав биоматериал в лабораторию, интерны пошли в кабинет к доктору Нортону.

– Уже закончили? Ну и что обнаружили, Талливер?

– Он был в запое, а теперь у него похмелье, – выпалил Билл. – Результаты из лаборатории еще нет, однако я думаю, что это и есть диагноз.

– Согласен с вами, – сказал доктор Нортон. – Ну ладно, теперь Шульц. Что с леди из 314?

– Ну, что ж, если только причина не лежит слишком для меня глубоко, то с ней вообще все в порядке.

– И вы правы, – согласился доктор Нортон. – Нервы – и даже этого недостаточно для клиники. Что будем с ними делать?

– Выпишем сейчас же, – предложил Билл.

– Оставим лежать, – поправил доктор Нортон. – Они ведь могут себе это позволить. Они обратились к нам за защитой, которая им не

нужна, так пусть уж лучше они заплатят за пару настоящих больных, которые попадут в муниципальное отделение. У нас места достаточно.

Выйдя из кабинета, Билл и Джордж внимательно посмотрели друг на друга.

– Опустил нас на землю, – с досадой сказал Билл. – Давай сходим в операционные; хочу снова убедиться, что это серьезная профессия. – И он выругался. – Видимо, следующие несколько месяцев нам придется щупать животы симулянтов и писать истории болезней, которые придумывают мнительные дамы.

– Не обращай внимания, – осторожно ответил Джордж. – Я лично даже рад, что нам пришлось начать с чего-то простого, совсем с...

– С чего же?

– Да совсем ни с чего!

– Тебе легко угодить, – сказал Билл.

Выяснив из висевшего на стене расписания, что доктор Говард Дарфи работает сегодня в № 4, они на лифте поднялись в операционные. Надевая халат, шапочку и маску, Билл осознал, что его дыхание участилось.

Ее он увидел сразу, еще не успев рассмотреть как следует обстановку помещения, если не считать ярко-алого пятна на операционном столе, нарушавшего универсальную белизну палаты. Все взгляды устремились на двух интернов, едва они вошли в галерею. Она сидела у газового аппарата рядом с невидимой головой пациента, и Билл поймал ее взгляд – глаза казались темнее обычного из-за контраста с белоснежной шапочкой и маской. Помещение было тесным. Платформа, на которой они стояли, возвышалась на четыре фута, их глаза оказались буквально в паре футов от рук хирурга, когда они встали вплотную к стеклянному экрану, похожему на ветровое стекло.

– Чистый аппендикс – не задет ни один мускул, – прошептал Джордж. – Парень уже завтра сможет играть в лакросс.

Доктор Дарфи, зашивавший кетгутом рану, услышал его.

– Только не этот пациент, – сказал он. – Слишком много швов.

Его руки, проверявшие шов, двигались уверенно и точно – нежные и одновременно сильные руки, которые могли принадлежать и пианисту, и питчеру. Билл подумал, что непосвященному могло показаться, будто больной в опасности и совсем беспомощен, но на самом деле эти уверенные руки гарантировали безопасность, и эта атмосфера безопасности лишь нарастала с течением времени. Время останавливалось у дверей операционной, чувствуя себя недостойным сюда войти.

Тея Синглтон стояла на страже у дверей сознания пациента – рука на пульсе, еще один поворот колеса газового аппарата, похожего на регистр безмолвного органа. Были и другие помощники – ассистирующий хирург, медсестра, подававшая инструменты, медсестра, отвечавшая за связь между операционным столом и шкафами с медикаментами, – но Билл был полностью поглощен лишь той неуловимой связью, которая существовала между Говардом Дарфи и Теей Синглтон; он чувствовал дикую ревность по отношению к маске и блестящим проворным рукам.

– Я пошел, – сказал он Джорджу.

Он снова увидел ее вечером, и снова это произошло в тени огромного каменного Христа в главном холле. Она была в обычной уличной одежде и выглядела отлично – свежей и дразняще-волнующей.

– Конечно! Мы с вами столкнулись в тот вечер, после концерта в «Кокцидиане». Так вы, оказывается, теперь интерн? А не вы ли заходили в 4-ю операционную сегодня утром?

– Да, я. Как все прошло?

– Отлично. Это же доктор Дарфи!

– Да, – с нажимом сказал он. – Я знаю, что это был доктор Дарфи.

В течение следующий пары недель он сталкивался с ней еще несколько раз, случайно и нарочно, и наконец решил, что теперь может просить ее о свидании.

– Ну что ж, пожалуй, да. – Она немного удивилась. – Так... посмотрим... Как насчет следующей недели – во вторник или среду?

– А может, сегодня?

– Нет, я не могу.

Когда во вторник он позвонил в дверь маленькой квартиры, которую она снимала вместе с подругой, работавшей в оркестре института Пибоди, то спросил:

– Хотите куда-нибудь? Может, в кино?

– Нет, – категорично ответила она. – Если бы мы были знакомы получше, я бы, пожалуй, предложила прокатиться за город, там можно поплавать в одном карьере – всего какая-то тысяча миль. – Она вопросительно-насмешливо посмотрела на него. – Вы же не один из этих чересчур импульсивных интернов, которым лишь бы выбить почву из под ног бедных медсестричек?

– Наоборот, я сам вас до смерти боюсь, – признался Билл.

Ночь была жаркой, но белые дороги были прохладными. Они немного поговорили друг о друге: она была дочерью армейского офицера и выросла на Филиппинах, и в серебристо-черной воде брошенного карьера она удивила его, ныряя так, как ни одна девушка из тех, кого он знал до этого. Казалось, что в черной тени, окружавшей яркий лунный диск, летали призраки, и, когда они звали друг друга, их голоса подхватывало громкое эхо.

Потом, с мокрыми головами и горящими телами, они немного посидели, потому что им не хотелось назад. Неожиданно она улыбнулась, а затем посмотрела на него, не говоря ни слова – лишь слегка приоткрыв губы. В сияющей тьме был только лунный свет и ее бледные холодные щеки, и Билл почувствовал, что влюблен, как ему этого и хотелось.

– Пора ехать, – в тот же миг сказала она.

– Еще не пора.

– Пора – как раз пора – именно сейчас пора!

– Потому что, – сказал он, немного помолчав, – ты девушка доктора Дарфи?

– Да, – через некоторое время сказала она, – я девушка доктора Дарфи.

– Почему? – воскликнул он.

– Ты влюбился в меня?

– Да. Ты любишь Дарфи?

Она покачала головой:

– Нет, я никого не люблю. Просто... я его девушка.

Вот так вечер, поначалу обещавший столь много, закончился ничем. Это чувство еще усилилось, когда он обнаружил, что своим свиданием обязан тому обстоятельству, что Дарфи уехал из города на несколько дней.

Когда наступил август и большинство докторов разъехались в отпуска, он оказался сильно загружен работой. Четыре года он только и мечтал о такой вот работе, которая была у него сейчас, но все удовольствие было испорчено постоянными мыслями о «девушке Дарфи». Напрасно искал он среди городских девушек в те субботы, когда он мог выехать в город, ту, что смогла бы приглушить боль его неразделенного чувства. Казалось, что в городе исчезли девушки, а на работе юные практикантки в коротеньких халатах не вызывали у него никаких эмоций. В действительности получилось, что его изначальный идеализм, центрировавшийся вокруг доктора Нортона, вдруг получил другой центр – Тею. Вместо бога появилась богиня, олицетворявшая для него славу и призвание избранной профессии; то, что запутанные обстоятельства отделяли ее от него, заставили его утратить спокойствие.

Диагностика стала рутинной работой – ну, почти что. Ему несколько раз удалось правильно угадать диагноз, и доктор Нортон это отметил.

– В девяти из десяти случаев прав буду я, – сказал Нортон. – Редкие болезни настолько редки, что я уже отвык их искать. И вот тут на сцену выступаете вы, молодежь; ваши глаза ищут что-то редкое, и в одном случае из десяти вы это находите.

– Это такое хорошее чувство, – сказал Билл. – Этот актиномикоз доставил мне настоящее удовольствие!

– Вы выглядите чересчур усталым для вашего возраста, – неожиданно сказал доктор Нортон. – В двадцать пять нельзя существовать только за счет нервной энергии, Билл, а вы именно так и делаете. Ваши хорошие знакомые говорят, что практически вас не видят. Почему бы вам не проводить хоть пару часов в неделю вне больницы, хотя бы ради ваших пациентов? Вы сделали мистеру

Доремусу так много анализов крови, что нам едва не пришлось делать ему переливание, чтобы поставить на ноги.

– Но я оказался прав, – решительно ответил Билл.

– И сделали работу грубо! Все и так выяснилось бы через день-другой. Умерьте пыл, берите пример с вашего друга Шульца. Вы обязательно узнаете много нового о медицине, но не надо торопиться.

Но Билл был весь в работе; он попробовал провести еще несколько субботних вечеров с юными дебютантками, но обнаружил, что прямо посреди разговора его разум отключался и улетал к тем огромным корпусам из красного кирпича, олицетворявшим для него Идею, где он в одиночестве мог чувствовать пульс самой жизни.

Новость о том, что один известный политик покидает Западное побережье и направляется в их больницу на диагностику какого-то непонятного заболевания, послужила причиной его неожиданного интереса к политике. Он постарался узнать как можно больше об этом человеке и стал следить за его путешествием на восток страны, отчеты о котором ежедневно занимали полколонки в газетах; дела партии зависели от его лечения и последующего выздоровления.

И вдруг в один из августовских вечеров в колонке светских новостей появилось объявление о помолвке дебютантки этого года Елены, дочери миссис Траби Понсоби Дэй, и доктора Говарда Дарфи. Спокойствие примирившегося было Билла разлетелось в пух и прах. Испытав настоящую горе, он все-таки смирился с тем фактом, что Тея является любовницей известного хирурга, однако то, что доктор Дарфи мог от нее сбежать, показалось ему просто невообразимым.

Он немедленно отправился ее искать и обнаружил выходящей из сестринской в уличной одежде. Ее красивое лицо, с глазами, олицетворявшими для него все тайны человеческих усилий, все величие цели, все награды, всю любовь и всю радость, выглядело раздраженным; на нее смотрели, ее жалели.

– Если хочешь, – ответила она, когда он предложил подвезти ее домой, а затем: – Господи, помоги женщинам! Прозвучавшего за сегодняшний вечер количества стонов над моим бранным телом могло бы хватить на целую войну!

– Я готов тебе помочь, – сказал он. – Если этот парень тебя обманул...

– Замолчи! Еще несколько недель назад я могла бы выйти замуж за Говарда Дарфи, стоило мне лишь кивнуть, но этим женщинам сегодня я этого так и не сказала. Думаю, что у тебя есть деликатность, и она очень пригодится, когда станешь доктором.

– Я – доктор! – напыщенно сказал он.

– Нет, ты просто интерн.

Он негодовал, и они ехали молча. Затем, смягчившись, она повернулась и дотронулась до его руки.

– Ты настоящий джентльмен, – сказала она, – и иногда это очень кстати, хотя лично я предпочитаю искру гения.

– Это у меня есть, – упрямо сказал Билл. – У меня есть все, кроме тебя.

– Давай поднимемся ко мне, и я тебе расскажу то, чего не знает никто в этом городе.

Квартира была скромной, но обстановка говорила о том, что когда-то она жила в более просторном мире. Все было каким-то уменьшенным, как будто она ограничивалась небольшим числом любимых вещей – столик работы Дункана Файфа, латунная статуэтка Бранкузи, пара портретов 50-х годов.

– Я была невестой Джона Гришама, – сказала она. – Знаешь, кто это?

– Конечно, – сказал он. – Я организовывал подписку на его мемориальную доску.

Тело умиравшего Джона Гришама буквально развалилось на куски в результате его экспериментов с радиоактивными материалами.

– Я была с ним до конца, – быстро продолжала Тея, – и перед смертью он погрозил мне последним оставшимся пальцем и сказал: «Я запрещаю тебе терять себя по кусочкам. Это очень неприятно». Поэтому я, как послушная девочка, не сошла потихоньку с ума, но зато стала жесткой внутри. Вот почему я так и не смогла полюбить Говарда Дарфи так, как он хотел бы, несмотря на весь его шик и прекрасные руки.

– Понимаю. – Ошеломленный откровенностью, Билл попробовал ответить тем же. – Я всегда чувствовал в тебе какую-то отстраненность, что-то вроде... Ну, что у тебя есть что-то, о чем я не знаю.

– Да, со мной нелегко. – Она резко встала. – Ну вот, сегодня я потеряла хорошего друга, и я сердита, так что уходи, пока я не стала это демонстрировать. Можешь поцеловать меня на прощание, если хочешь.

– Сейчас это не будет ничего значить.

– Нет, будет, – возразила она. – Я хочу быть с тобой рядом. И еще мне нравится твой костюм!

Он послушно поцеловал ее, но, когда он шел к двери, ему показалось, что он очень далек от нее, отвергнут и очень юн.

На следующее утро он проснулся с чувством, что сегодня очень важный день; затем он вспомнил. Сегодня утром, передаваемый от первого класса поезда к аэроплану, от аэроплана к санитарной машине, должен был прибыть сенатор Биллингс, и тяжелое тело, умудрившееся вместить и извергнуть столько чепухи за последние тридцать лет, должно было наконец поступить в распоряжение разумных людей.

«Я поставлю диагноз старику, – цинично подумал он, – даже если для этого мне придется изобрести новую болезнь».

Этим утром обычная работа вызвала у него чувство утомления. Быть может, доктор Нортон оставит этот лакомый кусочек для себя, а Биллу не даст и взглянуть? Но в одиннадцать утра он встретил своего начальника в коридоре.

– Сенатор прибыл, – сказал он. – Я поставил предварительный диагноз. Идите запишите анамнез. Проведите осмотр побыстрее и сделайте ему стандартные анализы.

– Хорошо, – сказал Билл, но без особого рвения.

Кажется, весь его энтузиазм улетучился. Взяв инструменты и бланк медицинской карты, он отправился в палату сенатора.

– Доброе утро, – начал он. – Немного устали с дороги?

Бочкообразный человек перевернулся и посмотрел на него.

– Вымотался, – неожиданно пропищал он. – Совсем.

Билла это не удивило; он и сам чувствовал себя так, будто преодолел тысячи миль во всевозможных экипажах и его внутренности, включая и мозги, от тряски превратились в один взбитый ком.

Он взял медицинскую карту:

– Ваша профессия?

– Законодатель.

– Вы употребляете алкоголь?

Сенатор приподнялся на локте и разразился тирадой:

– Полегче, молодой человек, моим оппонентам этого никогда не дожждаться! До тех пор, пока действует восемнадцатая поправка... – Тут он стих.

– Вы употребляете алкоголь? – терпеливо повторил Билл.

– Ну, да.

– В каких количествах?

– Несколько стаканчиков, ежедневно. Я не считаю. Кстати, загляните в мой портфель, там моя рентгенограмма легких. Делал несколько лет назад.

Билл достал снимок, посмотрел и почувствовал, что все вокруг неожиданно сошли с ума.

– Это снимок живота, и живот женский, – сказал он.

– Ох, они все перепутали, – сказал сенатор. – Это моей жены!

Билл прошел в душевую, чтобы вымыть термометр. Вернувшись, он стал проверять пульс сенатора и удивился, когда заметил, что сенатор как-то странно на него смотрит.

– В чем дело? – спросил сенатор. – Кто тут пациент – вы или я? – Он резко выдернул свою руку из руки Билла. – У вас ледяные руки. И еще вы засунули термометр себе в рот!

Лишь в этот момент Билл осознал, как ему плохо. Он нажал кнопку вызова медсестры, пошатнулся и осел на стул, а в его животе волна за волной закружила боль.

III

Очнулся он с чувством, что провел в постели много часов. В голове стучал лихорадочный пульс, во всем теле чувствовалась проникающая слабость, а разбудили его новые приступы боли в животе. На другом

конце комнаты в кресле сидел доктор Джордж Шульц, у него на коленях лежал знакомый бланк медицинской карты.

– Какого черта, – слабым голосом сказал Билл. – Что за чертовщина такая со мной? Что случилось?

– Все в порядке, – сказал Джордж. – Просто лежи.

Билл попытался сесть в кровати, но обнаружил, что слишком слаб.

– Лежи! – скептически повторил он. – Кто я, по-твоему, такой – какой-то тупой пациент? Я спрашиваю тебя: что со мной случилось?

– Именно это мы и пытаемся выяснить. Кстати, сколько тебе полных лет?

– Сколько лет? – воскликнул Билл. – Сто десять в тени! Меня зовут Аль Капоне, я уже давно на игле. Нацарапай это на своей проклятой бумажке и пошли ее Санта-Клаусу. Я спрашиваю тебя: что со мной?

– А я отвечаю, что именно это мы и пытаемся выяснить, – твердо, но слегка нервничая, ответил Джордж. – А теперь успокойся.

– Успокойся! – воскликнул Билл. – У меня жар, а рядом сидит слабоумный интерн и спрашивает, сколько у меня пломб в зубах! Ставь мне градусник и выметайся вон отсюда!

– Ладно, ладно, – примирительно сказал Джордж. – Я как раз собирался...

Он засунул термометр в рот Биллу и стал отсчитывать пульс, но Билл промычал: «Я сам свой пульс проверю» – и выдернул руку. Через две минуты Джордж молча извлек термометр и пошел с ним к окну – и этот акт вероломства заставил Билла выскочить из постели.

– Я сам посмотрю термометр! – воскликнул он. – Эй, ты! Я желаю знать, что там на термометре!

Джордж быстро стряхнул ртутный столбик и убрал прибор в футляр.

– У нас здесь так не делается, – сказал он.

– Неужели? Ну что ж, тогда я пойду туда, где работают люди с мозгами!

Джордж приготовил шприц и две небольшие стеклянные пластинки.

Билл издал стон:

– Неужели ты думаешь, что я позволю тебе это сделать? Всему, что ты знаешь о биохимии крови, научил тебя я! О господи, да ведь я даже

делал за тебя домашние задания, и вот ты здесь и собираешься проковырять дыру в моей руке!

Как всегда сильно потя от волнения, Джордж вызвал сиделку, надеясь, что присутствие женщины успокоит Билла. Но женщина оказалась не та.

– Еще одна идиотка! – воскликнул Билл, когда она вошла. – Думаете, что я так и буду тут лежать и терпеть весь этот бардак? Почему никто ко мне не идет? Почему никто ничего не сделает? Где доктор Нортон?

– Он будет днем.

– Днем? Да я уже в могиле буду днем! Почему его нет утром? Уехал на какую-нибудь светскую гулянку, а я должен тут валяться в окружении болванов, потерявших разум и даже не подозревающих об этом! Что ты там пишешь? Что мой «язык высовывается свободно, дрожь отсутствует»? Дайте мне туфли и халат! Я хочу всем сказать, что вас давно пора упрятать в психушку!

Они уложили его в постель, откуда он с бесконечным укором стал глядеть на Джорджа.

– Ты, которому я сам объяснял весь курс токсикологии, собираешься ставить мне диагноз? Ну что ж, давай! Что у меня? Почему мой живот как в огне? Это аппендицит? Каков уровень лейкоцитов?

– Да откуда я могу знать уровень лейкоцитов, когда ты...

Издав вздох, исполненный бесконечного отчаяния по поводу глупости человеческой, Билл расслабился, исчерпав все свои силы.

В два часа приехал доктор Нортон. Его присутствие должно было подействовать благотворно, но к этому моменту пациент уже находился в сильном нервном возбуждении.

– Послушайте, Билл, – сухо сказал он. – До меня дошел слух, что вы не даете Джорджу осмотреть ваше горло?

– Потому что я чуть не задохнулся, когда он нарочно засунул стек поглубже, – воскликнул Билл. – Как только встану на ноги, я ему самому в глотку доску запихну!

– Ну, хватит. Вы в курсе, что юная мисс Кэри рыдает? Она говорит, что бросит работу. Она говорит, что еще никто никогда ее так не разочаровывал.

– Аналогично. Скажите ей, что я тоже брошу работу. После всего этого я хочу людей убивать, а не лечить. Никто даже не попытался мне помочь, когда потребовалось!

Через час доктор Нортон встал:

– Ну что ж, Билл, ловлю вас на слове и рассказываю, как обстоят дела. Я открою карты и скажу, что мы не знаем, что с вами. Только что принесли утреннюю рентгенограмму, и теперь мы уверены, что это не желчный пузырь. Имеется вероятность острого пищевого отравления, а также тромбоза брыжечных сосудов либо же это что-то иное. Потерпите, Билл.

Совершив усилие, не без помощи успокоительного, Билл обрел над собой относительный контроль, но на следующее утро снова вышел из себя, когда прибыл Джордж Шульц, чтобы сделать ему подкожную инъекцию питательного раствора.

– Но я не переношу капельницу! – пришел в ярость Билл. – Я терпеть не могу уколов, а давать тебе иглу в руки – это все равно что дать грудничку в руки пулемет!

– Доктор Нортон приказал не давать тебе ничего орально.

– Тогда давай внутривенно.

– Так лучше.

– Что я с тобой сделаю, когда выздоровею! Я буду набивать тебя чем попало, пока ты не станешь похож на бочонок! Я сделаю это! Я найму кого-нибудь, чтобы тебя держать!

Спустя сорок восемь часов доктор Нортон и доктор Шульц собрались на консилиум в кабинете последнего.

– Вот так вот, – без всякой жалости сказал Джордж. – Он прямым текстом отказывается от операции.

– Гм... – Доктор Нортон задумался. – Это плохо.

– Имеется явная опасность прободения.

– И вы говорите, что его основное возражение...

– ... что диагноз поставил я. Он говорит, что я вспомнил фразу «заворот кишечника» из какой-то книжки и теперь пытаюсь узнать на нем, что это такое. – Джордж добавил, стесняясь: – Он, конечно, всегда доминировал, но такого я еще не видел. Сегодня он заявил, что у него острый панкреатит, однако никаких убедительных симптомов так и не указал.

– Он знает, что я согласен с вашим мнением?

– Похоже, что он никому не верит, – ответил Джордж, опять смутившись. – Он все время говорит о своем отце; он считает, что тот помог бы ему, если бы был жив.

– Хотелось бы мне, чтобы был кто-нибудь вне больницы, кому бы он верил, – сказал Нортон. У него появилась идея. – А что, если... – Он взял трубку телефона и сказал телефонистке: – Найдите миссис Синглтон, она анестезиолог доктора Дарфи. Как только она освободится, попросите ее ко мне зайти.

Билл устало открыл глаза, когда в комнату вошла Тейя. Было около восьми вечера.

– Это ты, – пробормотал он.

Она присела на краешек кровати и накрыла рукой его руку.

– Привет, Билл, – сказала она.

– Привет.

Он неожиданно повернулся в кровати и накрыл обеими руками ее руку. Ее свободная рука коснулась его головы.

– Ты плох, – сказала она.

– А что делать...

Полчаса она молча сидела рядом с ним; затем изменила позу так, что теперь ее рука оказалась у него под головой. Наклонившись к нему, она поцеловала его в лоб. Он сказал:

– Впервые за четыре дня я хоть немного забылся, и то только потому, что ты рядом.

Через некоторое время она сказала:

– Три месяца назад доктор Дарфи прооперировал пациента с заворотом кишок, и все прошло успешно.

– Но это не кишки! – воскликнул он. – Заворот кишок – это когда кишки петлей обвились вокруг себя! Это дурацкая выдумка Шульца! Он хочет поставить сложный диагноз и прославиться!

– Доктор Нортон с ним согласен. Билл, ты тоже должен согласиться. Я все время буду рядом с тобой, как и сейчас.

Ее тихий голос действовал как успокоительное; он почувствовал, что его сопротивление слабеет; с его глаз скатились две большие слезы.

– Чувствую себя таким беспомощным, – признался он. – Откуда мне знать, есть ли у Шульца в голове мозги?

– Ты просто ребенок, – мягко ответила она. – Ты получишь больше, чем доктор Шульц, если его догадка окажется верной.

Он неожиданно вцепился в нее:

– Если все будет хорошо, ты станешь моей?

Она рассмеялась:

– Какой эгоизм! Нашел, когда торговаться! Вряд ли ты будешь интересной партией, если так и останешься с перекрученными кишками.

Он помолчал.

– Вчера я написал завещание, – сказал он. – Я разделил все пополам: половину – моей старой тете, половину – тебе.

Она прижалась к нему лицом:

– Я сейчас расплачусь, хотя с тобой и не случилось ничего серьезного.

– Ну, хорошо. – Его бледное измученное лицо расслабилось. – Делайте, что хотите.

Через час Билла на каталке отвезли наверх. Как только он принял решение, вся его нервозность исчезла, и он вспомнил, какое чувство уверенности вселили в него руки доктора Дарфи, когда он смотрел на его работу месяц назад, в июле, и вспомнил, кто будет находиться у его изголовья, наблюдая за ним. Последним его чувством до того, как начал действовать газ, стала неожиданная ревность по отношению к доктору Дарфи, который будет бодрствовать рядом с Теей, пока он будет спать...

...Когда он очнулся, его везли на каталке по коридору в палату. Доктор Нортон и доктор Шульц, оба очень довольные, шли рядом с ним.

– Привет, привет, – воскликнул Билл, еще не совсем очнувшись. – Слушайте, а что же вы все-таки обнаружили у сенатора Биллингса?

– Это была обычная простуда, Билл, – сказал доктор Нортон. – Его отправили обратно на запад дирижаблем, вертолетом и грузовым лифтом.

– Вот как, – сказал Билл; а затем, через некоторое время: – Чувствую себя ужасно.

– Все позади, – уверил его доктор Нортон. – Через неделю будешь как огурчик. Наш Джордж – отличный диагност.

– Операция была выполнена великолепно, – скромно сказал Джордж. – Еще шесть часов – и произошло бы прободение кишечной петли.

– Анестезия тоже была великолепная, – сказал доктор Нортон, подмигнув Джорджу. – Как колыбельная!

Тея забежала навестить Билла на следующее утро – он пришел в себя, рана стала чуть меньше болеть, он был еще слаб, но к нему вернулось самообладание. Она присела на кровать рядом с ним.

– Я вел себя как настоящий дурак, – признался он.

– Многие медики так себя ведут, когда сами впервые заболевают. У них нервы сдают.

– Наверное, все от меня отвернутся...

– Вовсе нет. Конечно, будут подшучивать. Один юный талант уже написал куплет для концерта в «Кокцидиане». – И она прочитала с бумажки:

*Интерн Талливер под хлороформом
Видел сон, будто он в небесах.
Никому не поверив, он принял решение:
Я себя оперирую сам!*

– Кажется, это я вынесу, – сказал Билл. – Когда ты рядом, я вынесу все что угодно; я очень тебя люблю. Но мне кажется, что после всей этой истории ты будешь воспринимать меня как школьника.

– Если бы ты впервые заболел лет в сорок, все было бы точно так же.

– Я слышал, что твой приятель Дарфи провел операцию блестяще, как и всегда, – с досадой сказал он.

– Да, – согласилась она и через минуту добавила: – Он хочет расторгнуть свою помолвку и предложил мне выйти замуж на моих условиях.

Его сердце замерло.

– И что ты ему сказала?

– Я сказала: «Нет».

Жизнь снова к нему вернулась.

– Иди ко мне, – прошептал он. – Где твоя рука? Ты будешь ездить со мной плавать каждый вечер, пока не кончится сентябрь?

– Через вечер.

– Каждый вечер.

– Ладно, каждый вечер, пока тепло, – уступила она.

Тея встала.

Он увидел, что ее взгляд на мгновение остановился на чем-то далеком и замер, будто ища там, вдали, поддержку; затем она наклонилась к нему и на прощание поцеловала его голодные губы, и снова исчезла, под покровом своей личной тайны, в тех лесах, где охотилась только она, вместе с прошлым страданием и памятью, которую она не могла ни с кем разделить.

Но сущность всего, что было в них ценного, она сумела извлечь; она знала, как ее можно передать, чтобы она не исчезла никогда. На мгновение Билл получил больше того, что ему полагалось, и он неохотно отпустил ее.

«Пока что это мой самый интересный случай», – засыпая, подумал он.

Он вспомнил песню из концерта в «Кокцидиане», и припев все повторялся и повторялся, погружая его в глубокий сон:

*Бам-тидди-бам-бам,
Тидди-бам-бам.
Три тысячи лет назад,
Три тысячи лет назад.*

Изверг

3 июня 1895 года на проселочной дороге, недалеко от города Стиллуотер, штат Миннесота, Изверг выследил и убил миссис Криншоу и ее семилетнего сына Марка. Обстоятельства дела были настолько гнусны и отвратительны, что... К счастью, нам нет нужды их здесь описывать.

Криншоу Инджелс, муж и отец несчастных, держал фотостудию в Стиллуотер. Он очень любил читать и имел репутацию «слегка неблагонадежного человека», потому что совершенно откровенно высказывал свое мнение о железнодорожно-аграрных «баталиях» тех времен, приведших к экономическому кризису 1895 года. Но никто и никогда не отрицал, что он был примерным семьянином, и постигшая его катастрофа на много недель повисла мрачной тучей над городом. Слышались призывы линчевать преступника, посеявшего ужас в городе, так как законы штата Миннесота не позволяли применить к злодею высшую меру наказания, которой он, бесспорно, заслуживал; подстрекателей остановили лишь каменные стены городской тюрьмы.

Туча, висевшая над домом Инджелса, побуждала его гостей к невеселым мыслям о покаянии, страхе Господнем, преступлении и наказании – гости находили, что ответный визит Инджелса, если бы таковой последовал, послужил бы лишь тому, чтобы навсегда оставить и их самих под черным небом неудач. Фотостудия также пострадала: необходимость сидеть неподвижно, неизбежная тишина и паузы в процессе съемки вынуждали клиентов к чрезмерно длительному созерцанию постаревшего лица Криншоу Инджелса; школьники, молодожены и новоиспеченные матери всегда так радовались моменту,

когда из этого затемненного помещения можно было снова выйти на свежий воздух, что иногда даже забывали забрать фотографии. Поэтому бизнес Криншоу развалился, в студию к нему никто не шел – и ему пришлось продать лицензию и аппаратуру; он лишился воли к жизни и продолжал существовать на вырученные от ликвидации дела деньги. Он продал свой дом за сумму лишь немногим большую той, что он сам за него когда-то отдал, и поселился в пансионе для стариков, устроившись работать клерком в универмаг Радамакера.

С точки зрения своих соседей, он выглядел человеком, которого сломило свалившееся на него несчастье: он был неудачником, он был совершенно опустошен изнутри. Но в последней части утверждения они ошибались – он действительно был опустошен, но внутри у него все же кое-что осталось. Его память была так же тверда, как память библейских «Сынов Израилевых», и хотя сердце его находилось в могиле, сам он оставался в здравом уме, как и в то самое утро, когда его жена и сын отправились на свою последнюю прогулку. На первом судебном заседании он потерял контроль над собой и схватил Изверга за галстук – но его вовремя успели оттащить, хотя он и затянул галстук так, что злодей почти задохнулся.

На втором судебном заседании Криншоу лишь раз разразился слезами. По окончании суда он подошел к судейской коллегии и подал судьям законопроект о введении в штате смертной казни; он написал его самостоятельно, и этот законопроект предусматривал «обратное действие» по отношению к ранее осужденным на пожизненное заключение преступникам. Законопроект не был принят в сенате; едва узнав об этом, Криншоу с помощью какой-то уловки проник в тюрьму и был схвачен как раз вовремя – при попытке пристрелить Изверга прямо в камере.

Под страхом ареста Криншоу дал подписку о том, что в будущем не предпримет никаких действий подобного рода, и через несколько месяцев притворился, что мысли о мести постепенно исчезли из его разума. Это ему удалось; и тогда он предстал перед директором тюрьмы в иной роли (это случилось, когда после преступления минул целый год), и чиновник с сочувствием отнесся к заявлению Криншоу о том, что сердце его смягчилось и он почувствовал, что выйти из долины теней он сможет, лишь простив злодея, и он хочет помочь Извергу и указать преступнику Путь Истинный с помощью хороших

книг и неустанных обращений к похороненной под спудом злодейства лучшей части души преступника. Таким образом, после тщательного обыска, Криншоу было позволено раз в две недели проводить по полчаса в коридоре у камеры Изверга.

Но если бы директор догадывался об истинных причинах такого относительно быстрого обращения Криншоу, то вряд ли он разрешил бы эти визиты, потому что, далекий от всякой мысли о прощении, Криншоу решил отомстить Извергу нравственными муками взамен физических истязаний, которые отнял у него закон.

Оказавшись лицом к лицу с Извергом, Криншоу почувствовал, как зазвенело у него в голове. Из-за засовов на него неуверенно смотрел упитанный человечек, на котором даже халат заключенного неуловимо напоминал костюм бухгалтера; человечек в очках с толстой роговой оправой, опрятный, как страховой агент. Почувствовав внезапную слабость, Криншоу присел на принесенный ему стул.

– Воздух вокруг тебя смердит! – неожиданно закричал он. – Весь коридор, вся тюрьма – все смердит!

– Думаю, что вы правы, – признал Изверг. – Я тоже это заметил.

– У тебя было достаточно времени, чтобы это заметить, – пробормотал Криншоу. – Всю свою оставшуюся жизнь ты будешь мерить шагами эту вонючую маленькую камеру, и все вокруг будет становиться чернее и чернее. И даже после этого тебя будет ждать ад. Навеки ты будешь заперт в маленькой камере, но в аду она будет так мала, что ты не сможешь там встать во весь рост или лечь, чтобы выспаться.

– Так и будет? – озабоченно спросил Изверг.

– Да! – сказал Криншоу. – Ты останешься один на один со своими гнусными мыслями в этой маленькой камере – навеки! Ты будешь чесаться, ты будешь истекать гноем, и ты никогда не сможешь заснуть; ты будешь умирать от жажды, но никто не подаст тебе и капли воды.

– Так и будет? – повторил Изверг, еще более озабоченный. – Я помню, как однажды...

– Все время ты будешь дрожать от ужаса, – перебил его Криншоу. – Ты будешь сходить с ума, но никогда не станешь сумасшедшим! И все время ты будешь думать о том, что это будет продолжаться вечно.

– Какой ужас, – сказал Изверг, печально покачав головой, – это настоящий кошмар.

– А сейчас я расскажу тебе кое-что еще, – продолжил Криншоу. – Я принес несколько книг, чтобы тебе не было скучно. Я устроил так, что ты не будешь получать никаких книг, журналов или газет – кроме тех, что буду приносить тебе я!

Для начала Криншоу принес полдюжины книг, которые его прихотливое любопытство собирало долгие годы. Одна из них, написанная каким-то немецким доктором, называлась «Тысяча историй болезней на почве сексуальных извращений» – все случаи были неизлечимы, без всяких надежд, без всяких прогнозов, просто бесстрастно изложенные истории болезней; другая была сборником проповедей Джонатана Эдвардса, пуританского проповедника, описывавшего пытки проклятых душ в аду. Принес он и сборник рассказов о привидениях, и том эротических рассказов, причем из каждого рассказа были вырваны последние страницы с развязками; и еще том детективных рассказов, изуродованных таким же образом. Том «Ежегодника Ньюгейтской тюрьмы» с описаниями историй заключенных служил достойным завершением этой коллекции. Всю кипу Криншоу просунул через решетку – Изверг взял книги и положил их на железную тюремную койку.

Так прошел первый из визитов, которые Криншоу стал наносить регулярно, каждые две недели. Он всегда приносил с собой что-нибудь мрачное и грозное на словах и что-нибудь гнусное и ужасное на бумаге, исключая продолжительный период, когда у Изверга не появилось ни одной новой книги, зато потом он получил сразу четыре огромных тома с вдохновляющими названиями, в которых под обложками не было ничего, кроме чистой бумаги. В другой раз Криншоу притворился, что уступил просьбам Изверга принести ему хоть одну газету, – и принес ему десяток «желтых» журналов, повествовавших о преступлениях и арестах. Иногда он добывал медицинские атласы, которые в цвете показывали опустошения, производимые на человеческой плоти проказой, поражения от кожных болезней, злокачественные опухоли, пораженные червями ткани и коричневую гнилую кровь.

И не было таких клоак в мире печати, из которых Криншоу не добывал бы записей о том, что считалось грязным и гнусным в мире людей.

Он не мог бесконечно долго продолжать эту пытку из-за дороговизны и относительной редкости подобных изданий. Через пять лет он изобрел новую форму истязаний. Он заронил в душу Изверга надежду об освобождении, подкрепляя ее собственными протестами и маневрами в различных инстанциях, – а затем вдребезги эту надежду разбил. Иногда он делал вид, что принес с собой пистолет или емкость с бензином, который за пару минут мог прикончить Изверга, превратив его камеру в пылающий ад; однажды он даже вбросил внутрь камеры бутылку-обманку и с наслаждением слушал вопли Изверга, носившегося по камере взад и вперед в ожидании взрыва. А иногда он с суровым видом объявлял, что законодательное собрание штата приняло новый закон, в соответствии с которым Изверга должны были казнить через несколько часов.

Прошло десять лет. Первая седина пробилась у Криншоу к сорока, а в пятьдесят он уже был бел, как лунь. Привычка к посещениям раз в две недели могил своих любимых и тюрьмы их убийцы стала единственной страстью его жизни. Долго тянувшиеся дни, проходившие на работе у Радамакера, казались ему лишь повторяющимся сном. Иногда он приходил и просто просиживал у камеры Изверга положенные полчаса, не говоря ни слова. Изверг также постарел за эти десять лет. Весь седой, в очках с роговой оправой, он выглядел очень респектабельно. Кажется, он глубоко уважал Криншоу, и когда тот в припадке внезапно в нем проснувшейся воли к жизни – которая, казалось бы, исчезла у него навсегда – однажды пообещал ему, что в следующий раз принесет с собой револьвер и закончит это затянувшееся дело, он с печальной серьезностью кивнул в ответ, соглашаясь, и сказал: «Да, я думаю, что вы совершенно правы» – и даже не заикнулся об этом охранникам. Когда пришло время следующего визита, он ждал Криншоу, положив руки на засовы камеры и глядя на него с надеждой и отчаянием. В определенных ситуациях смерть приобретает качества захватывающего приключения – это может вам подтвердить любой старый солдат.

Шли годы. Криншоу получил повышение по службе и стал управлять целым этажом в универмаге. Появилось уже целое поколение служащих, не имевшее представления о постигшей его трагедии и рассматривавшее его как обыкновенное ничтожество. Он

получил небольшое наследство и обновил памятники на могилах жены и сына. Он знал, что скоро ему придется уйти на пенсию, и по истечении тридцатой белой зимы, тридцатого короткого, теплого лета ему стало ясно, что наконец-то пришло время прикончить Изверга – чтобы предупредить какое-нибудь препятствие, которое могло бы возникнуть на пути Мести и оставить Изверга доживать свой век уже без Мстителя.

Время, выбранное им для осуществления плана, пришлось как раз на тридцатилетний «юбилей». Криншоу уже давно приобрел револьвер, с помощью которого надеялся привести свой приговор в исполнение; он с любовью перебирал патроны и прикидывал, какие дыры должны остаться в теле Изверга от каждого из них, чтобы смерть наступила неизбежно, но все же не сразу – он внимательно изучал фронтовые репортажи в газетах о ранах в брюшную полость. Он заранее наслаждался агонией, которая заставила бы жертву молить о немедленной смерти без мучений.

После того как это случится, то, что произойдет с ним самим, уже не будет иметь для него никакого значения.

В решающий день он безо всяких проблем пронес пистолет в тюрьму. Но, к своему удивлению, он обнаружил, что Изверг вместо того, чтобы алчно ждать его прихода за дверью камеры, лежал, съежившись в комок, на железной тюремной койке.

– Я болен, – сказал Изверг. – У меня с самого утра жуткие боли в животе. Они дали мне лекарство, но сейчас мне еще хуже, и никто ко мне не идет.

Криншоу вообразил, что это было предчувствием тех ран, которые он собирался нанести злодею.

– Подойди к двери, – резко сказал он.

– Я не могу двигаться.

– Нет, ты сможешь.

– Я даже лежать могу, только согнувшись.

– Тогда иди, согнувшись.

С усилием Изверг заставил себя подняться, но сразу же охнул и упал боком на цементный пол. Он застонал и с минуту лежал тихо; затем, все еще согнутый в три погибели, он начал ползти фут за футом по направлению к двери.

Неожиданно Криншоу пустился бежать в конец коридора.

– Мне нужен врач! – крикнул он охраннику. – Там человек болен – болен, говорю я вам!

– Доктор уже приходил...

– Найдите его, найдите его немедленно!

Охранник колебался, но Криншоу был в тюрьме особым, привилегированным, посетителем, и через мгновение охранник снял трубку и позвонил в тюремную больницу.

Весь этот вечер Криншоу провел в ожидании, расхаживая взад и вперед у тюремных ворот. Время от времени он подходил к окошку в воротах и спрашивал у охранника:

– Новостей еще нет?

– Еще нет. Мне позвонят, как только что-нибудь станет известно.

Поздно ночью директор тюрьмы появился у ворот, выглянул на улицу и заметил Криншоу. Тот проворно подбежал к нему.

– Он умер, – сказал директор. – У него произошел разрыв аппендикса. Врач сделал все, что мог.

– Умер... – повторил Криншоу.

– Мне очень жаль, что я принес вам плохие вести. Я знаю, как...

– Все в порядке, – сказал Криншоу и облизал свои губы. – Итак, он мертв...

Директор закурил.

– Раз уж вы здесь, мистер Инджелс, мне бы хотелось, чтобы вы отдали мне обратно пропуск, который я вам выписал, чтобы вам не пришлось лишний раз ходить в контору. Я думаю, он вам больше не понадобится.

Криншоу достал синюю карточку из кармана и передал ее директору. Они пожали друг другу руки.

– Одну минуту, – попросил Криншоу когда директор повернулся, чтобы уйти. – Отсюда видно окно больницы?

– Оно выходит во внутренний двор, вы не сможете его увидеть.

– Жаль.

Когда директор ушел, Криншоу еще долго стоял у двери, и по лицу его текли слезы. Он никак не мог справиться с мыслями и начал с того, что постарался вспомнить, какой сегодня был день; было воскресенье, тот день, в который он каждые две недели тридцать лет подряд приходил в тюрьму навестить Изверга.

Он не увиделся бы с Извергом еще целых две недели.

В отчаянии от внезапно обрушившегося на него одиночества он вслух пробормотал: «Итак, он умер. Он оставил меня». И затем, с глубоким вздохом, в котором слышались и печаль, и страх: «Итак, я потерял его – своего единственного друга, я остался один».

Он продолжал разговаривать с самим собой, когда проходил через внешние ворота, и его пальто зацепилось за огромную, расшатанную дверь, которую охранник открыл, чтобы выпустить его, и услышал повторенные эхом слова: «Я – один. Наконец, наконец я – один!»

Он зашел к Извергу через несколько недель.

– Но он же умер! – дружелюбно ответил ему директор.

– Да-да... Кажется, я просто запамятовал, – сказал Криншоу.

И он отправился обратно домой, и ботинки его утопали в белой и сверкающей, словно грани бриллианта, поверхности зимних равнин.

Снова в Вавилоне

I

— **И** где же мистер Кэмпбелл? – спросил Чарли.

– В Швейцарии. Мистер Кэмпбелл нездоров, мистер Уэйлс.

– Жаль. А Джордж Хардт? – опять спросил Чарли.

– В Америке, работает.

– Ну а Снежок?

– Заходил на той неделе. И его приятель, мистер Шаффер тоже в Париже.

Полтора года прошло, и всего два имени из длинного списка! Чарли написал в записной книжке адрес и вырвал страничку.

– Если мистер Шаффер появится, передайте ему, – сказал он. – Это адрес моего свояка. Я пока не знаю, в каком отеле останюсь.

На самом деле не так уж сильно он огорчился, найдя Париж опустевшим. Но в баре отеля «Ритц» было непривычно и зловеще спокойно. Бар больше не был американским – здесь надо было поневоле сдерживаться, ты больше не чувствовал себя здесь хозяином. Бар вновь отошел обратно французам. Это спокойствие он почувствовал, едва выйдя из такси: швейцар, у которого обычно в такой час не было ни минуты покоя, спокойно болтал у черного входа с посыльным.

Он шел по коридору, и из некогда шумной дамской комнаты до него донесся одинокий недовольный голосок. Вошел в зал; оставшиеся до стойки двадцать футов он по привычке миновал, глядя под ноги на зеленый ковер; затем почувствовал под ногами прочную металлическую подножку стойки, вскинул голову, обернулся, окинул взглядом зал – и встретил один-единственный взгляд из-за газеты в углу! Чарли попросил позвать Поля, старшего бармена, который в былые дни биржевого подъема прибывал на работу в собственном, собранном на заказ лимузине – правда, высаживаясь из скромности на соседней улице. Но у Поля сегодня был выходной, так что разговаривать пришлось с Аликсом.

– Нет-нет, достаточно, – сказал Чарли. – Я теперь сбавил обороты.

Аликс явно обрадовался за него:

– А пару лет назад вы крепко...

– Да, завязал теперь, – подтвердил Чарли. – Уже полтора года.

– Как идут дела в Америке?

– Я в Америке несколько месяцев не был. Работаю в Праге, представляю там пару концернов. Там меня никто не знает.

Аликс улыбнулся.

– Помнишь, как Джордж Хардт устраивал здесь мальчишник? – спросил Чарли. – Кстати, о Клоде Фессендене ничего не слышно?

Аликс ответил, понизив голос:

– Он в Париже, но больше сюда не ходит: Поль его выставил. Он задолжал здесь тридцать тысяч франков: больше года в долг пил, ел и

даже угощал. А когда Поль все-таки попросил оплатить счет, он дал ему чек, который банк отказался оплатить!

Аликс удрученно покачал головой.

– В голове не укладывается – такой джентльмен! А теперь он еще и распух. – И он обвел руками широкую окружность в районе живота.

Чарли бросил взгляд на устраивавшуюся в уголке шумную группу педиков.

«А этих ничего не берет, – подумал он. – Акции будут взлетать и падать, людей будут нанимать и выбрасывать на улицу, а они как были, так и будут!» Это место стало действовать на него угнетающе. Он спросил кости и сыграл с Аликом на выпивку.

– Надолго приехали, мистер Уэйлс?

– Четыре-пять дней, с дочкой повидаться.

– Ого! Не знал, что у вас есть дочь.

На улице сквозь редкий дождь тускло светились огненно-красные, газово-синие, призрачно-зеленые огни рекламы. Наступил вечер, улицы пришли в движение, засветились витрины бистро. На углу бульвара Капуцинов он поймал такси. Мимо проплыла розово-величавая площадь Согласия, они пересекли неизменную Сену, и Чарли вдруг ощутил неотъемлемую провинциальность района Левого берега.

Чарли попросил проехать по Оперному проезду, хотя это и было не по пути. Но ему очень хотелось посмотреть, как сумерки расплываются по волшебному фасаду, и услышать трубы Второй империи в гуле автомобильных гудков, выдувающих первые аккорды «Медленного вальса» Дебюсси. Витрину книжного магазина Брентано закрывали железной решеткой, а за низенькой стриженной буржуазной изгородью ресторана Дюваля уже садились за ужин. Ему никогда не приходилось есть в дешевом парижском ресторане. Обед из пяти блюд, четыре с половиной франка и восемьдесят центов, включая вино. Он вдруг почему-то об этом пожалел.

Машина продолжала ехать по Левому берегу, провинциальность никуда не уходила, и ему пришло в голову: «Сам ведь испортил себе целый город! Ничего не замечал, жил себе день за днем – раз, и пролетело два года, и все ушло, и я ушел».

Ему было тридцать пять, он прекрасно выглядел. По-ирландски подвижное лицо уравнивалось глубокой морщиной на

переносице. Он позвонил в дверь дома свояка на улице Палатин, и морщина углубилась, промежуток между бровями исчез, а сердце на мгновение ушло в пятки. Из-за спины открывшей дверь горничной вылетела симпатичная девочка лет девяти, взвизгнула: «Папа!» – и, подпрыгнув, как вытащенная на берег рыбешка, бросилась в его объятия. Схватив за ухо, пригнула его голову к себе и прижалась щекой к щеке.

– Ты мое солнышко! – сказал он.

– О, папа, папа, папа, папочка!

Она потащила его в гостиную, где ждала семья: девочка и мальчик одного с ней возраста и его свояченица с мужем. Он спокойно поздоровался с Мэрион, следя, чтобы в голосе не чувствовалось ни притворного воодушевления, ни неприязни, но ответ прозвучал неприкрыто холодно, хотя неизменное выражение недоверия она свела к минимуму, сразу же переключив внимание на его дочь. Мужчины обменялись дружеским рукопожатием, а Линкольн Петерс даже чуть дольше обычного задержал руку Чарли.

В комнате было тепло и по-американски уютно. На полу дорожкой выстроились желтые прямоугольники света, и трое детей подомашнему играли в классики; звуки энергичного потрескивания дров в камине и типично французское оживление на кухне говорили о том, что уже шесть вечера. Чарли не расслаблялся; сердце в груди билось напряженно, но дочка придавала ему уверенности, подбегая к нему время от времени и не выпуская из рук куклу, которую он ей только что подарил.

– На редкость хорошо! – объявил он в ответ на вопрос Линкольна. – Дела у многих не идут вовсе, ну а у нас – гораздо лучше обычного. Честно говоря, просто чертовски здорово! Я даже пригласил сестру из Америки, чтобы вести хозяйство, она приедет через месяц. За прошлый год я получил даже больше, чем тогда, когда у меня были деньги в банке. Видишь ли, чехи...

Хвастался он не просто так; но, поймав косой взгляд Линкольна, тут же сменил тему:

– Какие у вас замечательные дети, как хорошо воспитаны! Прекрасно себя ведут...

– И Гонория тоже прекрасная девочка!

С кухни вернулась Мэрион Петерс. Высокого роста, с беспокойным взглядом – когда-то она была по-американски свежа и очаровательна. Чарли это никогда не привлекало, и он всегда удивлялся, слыша, как говорят о том, какой она была красавицей в молодости. Между ними с самого начала возникла инстинктивная антипатия.

– Ну, как тебе Гонория? – спросила она.

– Потрясающе! На удивление выросла за десять месяцев. Все дети выглядят просто замечательно.

– Да, мы уже год как не вызывали врача. А как тебе Париж – сильно изменился?

– Так странно – почти не видно американцев.

– И отлично, – резко отозвалась Мэрион. – По крайней мере, теперь в магазине тебя уже не принимают за миллионершу. Мы, конечно, пострадали, как и все, но в целом все это было к лучшему.

– Но и тогда было очень здорово, – ответил Чарли. – Мы чувствовали себя здесь королями, практически небожителями, мы были окружены какой-то магической аурой. Сегодня в баре... – он прикусил язык, поняв, что заговорился, – я не встретил ни одного знакомого.

Она бросила на него изучающий взгляд:

– А мне казалось, что с тебя уже достаточно баров?

– Зашел на минутку. Каждый вечер выпиваю рюмку, и все.

– Может быть, коктейль перед ужином? – предложил Линкольн.

– Я каждый вечер выпиваю одну рюмку, а сегодня уже пил.

– Надеюсь, что так будет и впредь, – сказала Мэрион.

Она сказала это таким холодным тоном, что ее неприязнь нельзя было не заметить, но Чарли лишь улыбнулся; у него был свой план. Ее агрессия давала ему преимущество, а еще он умел ждать. Ему надо было, чтобы они сами начали разговор о том, что – они это отлично знали – привело его в Париж.

За ужином он никак не мог решить, кого же больше напоминает Гонория: его самого или мать? Не дай ей бог получить от каждого из них то, что в сумме и привело их к катастрофе! Его охватило желание всеми силами укрыть и защитить ее. Он считал, что знает, что должен для нее сделать. Он верил в характер; нужно было отпрыгнуть на поколение назад и вновь поставить на характер как на вечную ценность. Все изнашивалось.

Он ушел почти сразу после ужина, но в отель не пошел. Ему хотелось увидеть ночной Париж чистыми и трезвыми глазами – не так, как раньше. Он купил билет на откидное место в «Казино» и стал смотреть, как Жозефина Бейкер творит свои шоколадные арабески.

Спустя час он вышел и пошел пешком к Монмартру по улице Пигаль через площадь Бланш. Дождь перестал, на улице у кабаре высаживалась из такси немногочисленная публика в вечернем платье, поодиночке и парами рыскали кокотки, и еще было множество негров. Он прошел мимо светящейся двери, из-за которой доносилась музыка, и вдруг остановился, узнав: это же «Бриктоп», место, где он просадил так много времени и денег! Несколькими дверями дальше он наткнулся на еще одно знакомое местечко и неосторожно заглянул внутрь. Сейчас же грянул всегда готовый оркестр, вскочила пара профессиональных танцоров, а к нему бросился метрдотель, крича: «Как вовремя, вот-вот начнется веселье, сэр!» Но он поспешил удалиться.

«Да, тут надо быть чертовски пьяным», – подумал он.

Ресторан «Зелли» был закрыт, окна расположенных вокруг мрачных и зловещих дешевых отелей не светились; вдали, на улице Бланш, было посветлее, оттуда доносилась французская речь. «Пещера Поэта» исчезла, но все еще разверзались две громадные пасти кафе «Рай» и «Ад», и даже поглощали у него на глазах скудное содержимое туристического автобуса: немцы, японцы и испуганно поглядевшая на него американская пара.

Вот результат всех монмартрских усилий и оригинальности! Такая сервировка порока и расточительности годилась разве что для детей, и неожиданно он осознал значение слов «прожигать, бесследно исчезать»: создавать ничто из нечего. После полуночи любое перемещение из точки в точку давалось лишь крайним напряжением человеческих усилий, постоянно повышавшейся платой за привилегию двигаться все медленнее и медленнее.

Он вспомнил, как оркестру совали тысячефранковые банкноты за одну-единственную песню, как портье совали стофранковые билеты, чтобы позвать такси.

Но все это было роздано не просто так.

Любые суммы, даже самые дикие, можно было промотать, лишь бы получить у судьбы за эту взятку шанс забыть то, что действительно

стоило бы забыть, – то, что теперь он будет помнить вечно: ребенка, которого у него отобрали, и жену, навсегда скрывшуюся в вермонтской могиле.

В тусклом свете пивной с ним заговорила женщина. Он заказал ей яичницу с кофе, а затем, избегая ее призывного взгляда, сунул на прощание двадцать франков и на такси отправился в отель.

II

Он проснулся; стоял ясный осенний день – мечта футболиста. Вчерашняя подавленность ушла, люди на улице попадались исключительно приятные. В полдень он сидел напротив Гонории в «Ле Гранд Ватель», единственном ресторане, который не был для него связан с воспоминаниями об ужинах с шампанским и завтраками, начинавшимися в два и оканчивавшимися в рассеянном и неуверенном свете сумерек.

– А как насчет овощей? Ты ведь должна есть овощи?

– Ну, да.

– Есть *эпинард*, *чу-флер*, морковка и *арикот*.

– Давай *чу-флер*.

– Может, еще что-нибудь добавим?

– Обычно на завтрак у нас что-то одно.

Официант притворился, что без ума от детей:

– *Ку-эль э миньон ля петит?! Эль парль экзактмент ком ун франсэз!*

– А десерт? Подождем пока?

Официант исчез. Гонория с интересом посмотрела на отца:

– Какой у нас план?

– Сначала идем в магазин игрушек на улице Сен-Онор и покупаем все, что ты хочешь. А затем пойдем в водевиль «Эмпайр».

Она задумалась.

– Водевиль – отлично, а магазин игрушек – нет.

– Почему?

– Ну, ты же подарил мне эту куклу. – Игрушка была у нее с собой. – У меня много игрушек. И мы ведь уже больше не богаты, да?

– Да мы и не были... Но сегодня ты получишь все что угодно.

– Ладно, – послушно согласилась она.

Когда у нее была мать и французская нянька, он старался вести себя поосторожнее; теперь он сильно расширил границы допустимого; он должен стать ей сразу и отцом, и матерью и не позволить оборваться ни единой связи между ними.

– Позвольте с вами познакомиться! – серьезно сказал он. – Для начала позвольте представиться. Меня зовут Чарльз Дж. Уэйлс, я из Праги.

– Ой, папочка! – Она чуть не лопнула от смеха.

– А как, простите, ваше имя? – продолжил он, и она тут же включилась в игру:

– Гонория Уэйлс, живу на улице Палатин в Париже.

– Замужем или свободна?

– Нет, не замужем. Я свободна.

Он указал на куклу:

– Но я вижу, у вас есть ребенок, мадам?

Не в силах предать куклу, она прижала игрушку к сердцу и быстро нашла выход из положения:

– Да, я была замужем, но теперь уже нет. Мой муж скончался.

Он быстро перебил ее:

– Как зовут дитя?

– Симона. В честь моей лучшей школьной подруги.

– Мне очень приятно, что ты хорошо учишься.

– В этом месяце я третья в классе, – похвасталась она. – Элси, – так звали ее кузину, – на восемнадцатом месте, а Ричард где-то в самом хвосте.

– Ты дружишь с Ричардом и Элси?

– Да. Ричард хороший, и она тоже ничего.

Осторожно и как бы между делом он спросил:

– А как тебе тетя Мэрион и дядя Линкольн? Кто тебе больше нравится?

– Наверное, дядя Линкольн.

Он чувствовал себя все ближе и ближе к ней. Когда они вошли, по ресторану пронесся шепот: «... прелестное дитя», а теперь сидящие за соседним столиком даже умолкли, откровенно разглядывая ее, будто она была не больше чем цветок.

– А почему я не живу с тобой? – неожиданно спросила она. – Потому что мама умерла?

– Ты должна быть здесь и учить французский. Папе будет тяжело так хорошо заботиться о тебе.

– Да обо мне не надо так уж сильно заботиться! Я уже могу сама о себе позаботиться.

Когда они выходили из ресторана, его неожиданно окликнули мужчина с женщиной.

– Вот это да, старина Уэйлс!

– А, привет, Лоррейн... Дунк...

Нежданные призраки из прошлого. Дункан Шаффер, приятель из университета. Лоррейн Карлс, красивая бледная блондинка лет тридцати; одна из той компании, что помогала им в тучные времена три года назад превращать месяцы в дни.

– Муж в этом году не смог приехать, – ответила она на его вопрос. – Мы бедны, как церковные крысы. Он дал мне две сотни на месяц и сказал: живи, как хочешь. Твоя девочка?

– Давайте вернемся и посидим! – предложил Дункан.

– Не могу. – Он был рад тому, что у него нашлась причина. Он опять почувствовал пылкую, вызывающую привлекательность Лоррейн, но теперь он жил в другом ритме.

– А может, поужинаем вместе? – спросила она.

– Увы, дела. Скажите мне ваш адрес, я вас обязательно навещу.

– Чарли, да ведь ты трезв! – с осуждением сказала она. – Дункан, я уверена, что он трезвый! Ущипни его и убедись, что он трезвый.

Чарли кивком указал на Гонорию. Оба рассмеялись.

– И где остановился? – со скепсисом произнес Дункан.

Он замялся, не желая сообщать им название отеля.

– Я пока не решил... Лучше я к вам зайду. Мы опаздываем на водевиль в «Эмпайр»...

– О! И я тоже хочу! – ответила Лоррейн. – Хочу поглядеть на клоунов, акробатов и жонглеров. Идем сейчас же, Дунк.

– А у нас по дороге есть еще одно дело, – сказал Чарли. – Так что увидимся.

– Ну пока, сноб... До свидания, юная красавица!

– До свидания.

Гонория вежливо поклонилась.

Н-да, лучше бы не встречаться... Он привлекал их своей деловитостью, своей серьезностью; они хотели с ним общаться, потому что он был сильнее их, и они хотели получить подпитку от этой его силы.

В «Эмпайр» Гонория гордо отказалась сидеть повыше, на свернутом папином пальто. Она уже была личностью с собственными принципами, и Чарли все больше и больше желал вложить в нее немного от себя до того, как она окончательно сформируется. Нечего было и надеяться, что за столь короткое время он сможет хорошо ее узнать!

В антракте они вышли в холл, где играл оркестр, и натолкнулись на Дункана с Лоррейн.

– Выпьем?

– Ладно, но не в баре. Пойдемте за столик.

– Идеальный папаша!

Не слушая болтовню Лоррейн, Чарли наблюдал за Гонорией – ее взгляд оторвался от столика, и он тоже с тоской осмотрел помещение, пытаясь увидеть его ее глазами. Их взгляды встретились, и она улыбнулась.

– Вкусный лимонад, – сказала она.

Что она сказала? А чего он ждал? По пути домой в такси он притянул ее к себе, положив ее голову к себе на грудь:

– Милая, ты вспоминаешь маму?

– Да, иногда, – неуверенно ответила она.

– Прощу, не забывай ее. У тебя есть ее фотография?

– Да, наверное. У тети Мэрион точно есть. Почему ты хочешь, чтобы я не забывала ее?

– Она очень тебя любила.

– Я тоже ее любила.

Они помолчали.

– Папа, я хочу уехать и жить с тобой, – неожиданно сказала она.

Его сердце дрогнуло; именно так он себе и представлял этот момент.

– Разве ты не довольна своей жизнью?

– Довольна, но тебя я люблю больше всех. И ты любишь меня больше всех, правда, раз мамочка умерла?

– Ну конечно! Но, милая моя, ты ведь не всегда будешь любить меня больше всех. Ты вырастешь, встретишь какого-нибудь ровесника, выйдешь за него замуж и забудешь, что когда-то у тебя был папа.

– Да, это правда, – спокойно согласилась она.

Он не стал входить в дом. В девять вечера он опять сюда придет – и для того, что он собирался сказать, лучше было сберечь свежесть и новизну.

– Когда поднимешься, выгляни в окошко.

– Ладно. До свидания, пап, пап, пап!

Он постоял в темноте на улице, пока она, теплая и лучистая, не показалась в окне верхнего этажа и не послала в сумерки воздушный поцелуй.

III

Его ждали. За накрытым кофейным столиком сидела Мэрион в величественном черном вечернем платье, слегка отдававшем трауром. Линкольн мерил шагами комнату с оживлением только что державшего речь человека. Им, как и ему, не терпелось перейти к главной теме. Так что он почти сразу к ней и перешел.

– Думаю, вы догадываетесь, зачем я к вам пришел – для этого я и приехал в Париж.

Мэрион перебирала пальцами черные звездочки своего ожерелья и нахмурилась.

– Мне очень хочется завести себе настоящий дом, – продолжал он. – И очень хочется, чтобы в нем жила Гонория. Я очень благодарен

вам за то, что вы взяли к себе Гонорию и заменили ей мать, но теперь мое положение изменилось. – Он помолчал и затем продолжил более напористо: – Очень сильно изменилось, поэтому мне бы хотелось снова вернуться к этому вопросу. Было бы глупо отрицать, что три года назад я вел себя неподобающим образом...

Мэрион тяжело на него посмотрела.

– ... но теперь это в прошлом. Как я говорил, уже год я выпиваю не более одной рюмки в день, и эту рюмку я пью исключительно для того, чтобы не давать воли мыслям об алкоголе. Вы понимаете?

– Нет, – процедила Мэрион.

– Это что-то вроде ритуала. Чтобы привычка не занимала мои мысли.

– А, понял, – сказал Линкольн. – Не признавать, что тебя вообще-то тянет.

– Что-то вроде. Иногда я забываю и вообще не пью. Но стараюсь не пропускать. Кроме того, в своем нынешнем положении я не могу себе позволить пить. Люди, чьи интересы я представляю, более чем довольны моей деятельностью; для ведения домашнего хозяйства я привезу свою сестру из Барлингтона, и мне ужасно хочется, чтобы Гонория была со мной. Вы знаете, что даже тогда, когда мы с ее матерью не очень ладили, что бы там у нас ни происходило, на Гонории это никак не отражалось. Я уверен, что она любит меня, и уверен, что способен о ней заботиться, и... ладно, хватит. Что скажете?

Он знал, что теперь ему предстоит трепка. Она будет продолжаться час или два, будет тяжело, однако если ему удастся спрятать свое неизбежное негодование под маской смирения раскаявшегося грешника, то он в конце концов одержит победу.

Держи себя в руках, повторял он про себя. Не нужно тебе никакой справедливости. Тебе нужна Гонория.

Первым заговорил Линкольн:

– Мы уже месяц только об этом и говорим – с тех пор, как получили твое письмо. Мы очень рады, что Гонория живет с нами. Она – милый ребенок, и мы счастливы, что можем ей помочь, хотя, конечно, речь сейчас не об этом...

Неожиданно его перебила Мэрион.

– И надолго твоя трезвость, а, Чарли? – спросила она.

– Надеюсь, навсегда.

– Неужто ты сам в это веришь?

– Ты прекрасно знаешь, что сильно я не пил до тех пор, пока не отошел от дел и не приехал сюда бездельничать. Тогда-то мы с Хелен и стали гулять с...

– Оставь в покое Хелен! Не могу слышать, когда ты говоришь о ней такие вещи.

Он сурово посмотрел на нее; не было у него уверенности, что сестры так уж сильно любили друг друга при жизни.

– Я пил всего полтора года... С тех пор, как мы приехали сюда, и до тех пор, пока я... не слег.

– И это долго!

– Это долго, – подтвердил он.

– Я чувствую себя обязанной только по отношению к Хелен, – сказала она. – Пытаюсь понять, что бы она хотела сейчас от меня. Честно говоря, с той ночи, когда ты устроил тот ужас, тебя для меня больше не существует. Ничего не могу с собой поделать. Это ведь моя сестра!

– Да.

– Когда она умирала, то просила меня присматривать за Гонорией. Если бы ты тогда не попал в лечебницу, было бы легче.

Он ничего не ответил.

– В жизни не забуду то утро, когда Хелен постучалась к нам в дом – дрожащая, промокшая до нитки! – и рассказала, что ты заперся в доме и оставил ее на улице.

Чарли ухватился обеими руками за сиденье стула. Оказалось тяжелее, чем он ожидал; он собрался было начать возражать и объясняться, но едва он успел произнести: «В ту ночь, когда я заперся в доме...», как она его перебила: «Я не хочу опять об этом разговаривать».

Наступившую после этого тишину нарушил Линкольн:

– Мы отклоняемся от сути. Ты хочешь, чтобы Мэрион отказалась от своего законного права опеки и отдала тебе Гонорию. Мне кажется, что для нее главное – решить, доверяет ли она тебе или нет.

– Я Мэрион ни в чем не виню, – медленно произнес Чарли, – но мне кажется, что мне она может полностью доверять. Не считая тех последних лет, ничего плохого обо мне сказать нельзя. Конечно, все мы люди, и я тоже в любой момент могу снова сорваться. Но еще

немного – и я навсегда потеряю детство Гонории и свой единственный шанс обрести дом. – Он покачал головой. – Я просто ее потеряю, понимаете?

– Да, понимаю, – ответил Линкольн.

– А раньше ты не мог об этом подумать? – спросила Мэрион.

– Конечно, иногда я об этом думал, но мы с Хелен плохо ладили. Когда я согласился на опеку, я был прикован к постели в лечебнице, а биржевой кризис меня просто выпотрошил. Я знаю, что поступил плохо, но тогда я готов был согласиться на что угодно, лишь бы это успокоило Хелен. Теперь все иначе. Я в деле, веду себя чертовски хорошо, и что касается...

– Нельзя ли не выражаться? – перебила Мэрион.

Он изумленно посмотрел на нее. С каждым новым замечанием ее неприязнь становилась все глубже и очевидней. Она выстроила стену, вложив в нее весь свой страх перед жизнью, и ею пыталась от него отгородиться. Последний банальный упрек был, возможно, результатом ссоры с кухаркой несколько часов тому назад. Чарли боялся оставлять Гонорию в этой враждебной к нему атмосфере; рано или поздно это вырвется наружу – там словом, здесь жестом, – и что-то от этого недоверия обязательно укоренится в Гонории. Но он собрал все свои чувства и запрятал их с глаз долой, глубоко внутри; он выиграл одно очко, потому что смехотворность замечания Мэрион бросилась в глаза Линкольну, который пренебрежительно поинтересовался, с каких это пор Мэрион стала считать ругательством слово «черт».

– И еще, – сказал Чарли. – Теперь я могу себе позволить дать ей определенные преимущества. Я собираюсь взять с собой в Прагу французскую гувернантку. Я подыскал новую квартиру...

Он умолк, осознав, что допустил промах. Ну как можно было допустить, что они хладнокровно воспримут тот факт, что его месячный доход был снова в два раза больше, чем у них!

– Да, наверное, у тебя она будет купаться в роскоши – не то что у нас, – ответила Мэрион. – Пока ты швырял деньги направо и налево, мы с трудом сводили концы с концами и считали каждый франк... Видимо, все повторится.

– Нет, – сказал он. – Я теперь ученый. Пока, как и многим, мне не повезло на бирже, я десять лет работал не покладая рук. Ужасно ведь

повезло! Мне тогда казалось, что работать больше смысла нет, и тогда я удалился от дел. Больше этого не повторится.

Последовала долгая пауза. Нервы у всех были напряжены, и впервые за последний год Чарли захотелось выпить. Теперь он был уверен, что Линкольн Петерс хочет, чтобы он получил своего ребенка.

Мэрион неожиданно вздрогнула; разумом она понимала, что Чарли теперь крепко стоит на ногах, а ее материнский инстинкт подсказал, что его желание совершенно естественно. Но она слишком долго прожила с предубеждением, неизвестно почему не веря в счастье сестры, и от испытанного в одну ужасную ночь шока это предубеждение превратилось в ненависть по отношению к Чарли. Тогда ее жизнь преодолевала порог в виде пошатнувшегося здоровья и неблагоприятных обстоятельств, и ей было необходимо уверовать в непридуманное злодейство и осязаемого злодея.

– Я не могу заставить себя думать иначе! – вдруг выкрикнула она. – Много ли твоей вины в смерти Хелен – я не знаю. Сам разбирайся со своей совестью!

Внутри него зашипел агонизирующий электроток; он чуть не вскочил, издав подавленный хрип. Но он сдержался и продолжал сдерживаться.

– А ну, прекратите! – почувствовав себя неловко, сказал Линкольн. – Я никогда не считал тебя в этом виноватым!

– Хелен умерла от разрыва сердца, – глухо произнес Чарли.

– Да, от разрыва сердца, – отозвалась Мэрион таким тоном, будто для нее фраза значила нечто иное.

А затем, когда на смену вспышке пришла вялость, она ясно осознала, что ситуация теперь у него под контролем. Взглянув на мужа, она не получила никакой поддержки, и тогда, будто дело шло о каком-то пустяке, она резко выбросила белый флаг.

– Делай что хочешь! – воскликнула она, вскочив со стула. – Это твой ребенок. Я не собираюсь стоять у тебя на пути. Была бы она моим ребенком, да лучше бы я ее... – Она смогла вовремя остановиться. – Решайте вы вдвоем. Я больше не могу. Мне плохо. Я пошла спать.

Она быстро ушла из комнаты; через некоторое время Линкольн произнес:

– У нее сегодня был тяжелый день. Понимаешь, для нее это болезненная тема... – Он почти оправдывался: – Если женщина вбила себе

что-нибудь в голову...

– Ну, разумеется...

– Все будет хорошо. Думаю, она поняла, что ты... сможешь позаботиться о ребенке, и поэтому мы больше не имеем никакого права стоять на пути ни у тебя, ни у Гонории.

– Спасибо, Линкольн.

– Мне надо идти к ней.

– Ну, тогда и мне пора.

Выйдя на улицу, он еще дрожал, однако прогулка к набережной по улице Бонапарт привела его в норму, а перейдя через Сену, новую и свежую в свете фонарей набережной, он почувствовал ликование. Он не смог уснуть, вернувшись к себе в номер. Его преследовал образ Хелен. Той Хелен, которую он так любил до тех пор, пока они оба не стали бесчувственно пренебрегать своей любовью и не порвали ее в клочки. В ту ужасную февральскую ночь, которую так живо запомнила Мэрион, на протяжении нескольких часов медленно собиралась ссора. В кафе «Флорида» разразилась сцена, и он попытался увести ее домой, а она прямо за столиком стала целоваться с Уэббом-младшим; после этого она в истерике наговорила ему всякого. Приехав в одиночестве домой, он в дикой ярости запер дверь на ключ. Откуда было ему знать, что она появится через час, одна, и что пойдет сильный снег, и что она будет бродить по улицам в одних туфлях-лодочках, не сообразив даже поймать такси? А потом последствия – она лишь чудом избежала пневмонии, и весь этот сопутствующий ужас... Они «помирились», но это было начало конца – и Мэрион, воспринимавшая все это со своей колокольни, вообразила, что это был лишь единственный из множества эпизодов, составлявших мученический венец сестры, и так и не простила.

Воспоминания притянули к нему Хелен, и в белесом тусклом свете, который царит в полусне под утро, он обнаружил, что опять говорит с ней. Она сказала, что он абсолютно прав в том, что касается Гонории, и что ей хотелось бы, чтобы Гонория была с ним. Она сказала, что рада, что он стал хорошим и дела у него пошли в гору. Она еще много чего сказала, и все только хорошее, но она все время кружилась в белом платье, быстрее и быстрее, так что в конце он уже не мог разобрать все, что она ему говорила.

IV

Он проснулся и почувствовал, что счастлив. Мир снова распахнул перед ним свои двери. Он придумывал планы, рисовал перспективы и пытался угадать будущее для себя и Гонории, но вдруг ему стало грустно – он вспомнил, какие планы строили они с Хелен. Она не собиралась умирать. Надо жить настоящим: делать дела и кого-то любить. Но любить не слишком сильно, потому что он знал, какую рану может нанести отец дочери или мать сыну, слишком сильно привязав их к себе: во взрослой жизни ребенок будет искать в супруге такую же слепую нежность и, скорее всего, не сможет ее найти – и тогда он отвернется и от любви, и от жизни.

День опять выдался ясный и свежий. Он зашел к Линкольну Петерсу в банк, где тот трудился, и спросил, может ли он рассчитывать уже в этот раз забрать Гонорию с собой в Прагу. Линкольн согласился, что для задержки нет никаких причин. Остался единственный вопрос: опека. Мэрион желала еще на некоторое время ее сохранить. Она была крайне расстроена всем этим делом, так что лучше будет немного ее умаслить: пусть еще годик она будет уверена, что ситуация находится у нее под контролем. Чарли согласился, желая получить лишь ребенка, материального и осязаемого.

Теперь нужно было решить вопрос с гувернанткой. В унылом агентстве Чарли поговорил с сердитой уроженкой Беарна и упитанной деревенщиной из Бретани – и ту, и другую он вряд ли смог бы долго терпеть. Были и другие – их можно будет посмотреть завтра.

Обедал он с Линкольном Петерсом в ресторане «Грифон», с трудом скрывая свое ликование.

– Да, ничто не сравнится с твоим собственным ребенком, – сказал Линкольн. – Но ты должен понять, что чувствует Мэрион.

– Она позабыла, как я здесь семь лет вкалывал, – сказал Чарли. – А помнит она одну-единственную ночь.

– Тут дело не в этом, – Линкольн помолчал. – Пока вы с Хелен носились сломя голову по Европе, швыряя деньги направо и налево, мы едва сводили концы с концами. Бума мы даже не почувствовали, потому что моих заработков едва на страховку-то хватало. Думаю, Мэрион считает, что это как-то несправедливо – ты ведь ближе к концу уже даже и не работал, а лишь богател и богател.

– Ушло все так же быстро, как и пришло, – ответил Чарли.

– Да, а сколько осело в руках лакеев, саксофонистов и метрдотелей... Ну что ж, теперь праздник кончился. Я заговорил об этом лишь для того, чтобы объяснить, что думает Мэрион об этом сумасшедшем времени. Приходи сегодня вечером, часам к шести: Мэрион еще не успеет устать, там и обсудим все детали, не откладывая.

Вернувшись в отель, Чарли обнаружил письмо – его переслали из отеля «Ритц» парижской пневмопочтой. Чарли оставил там свой адрес в надежде найти одного человека.

Дорогой Чарли! Ты был так не похож на себя, когда мы встретились, что я даже испугалась: не обидела ли я тебя? Если так, то даже не представляю чем. Весь прошлый год я почему-то думала о тебе, и мне всегда казалось, что я встречу тебя, если сюда приеду. Так весело было той безумной весной – в ту ночь, когда мы с тобой угнали велотележку у мясника и когда мы пытались нанести визит президенту, а ты был в дырявом котелке и с тонкой тросточкой. Последнее время все стали какие-то старые, но я ни капельки не постарела! Может, соберемся опять вместе, как в добрые старые времена? У меня сейчас жуткое похмелье, но к вечеру полегчает, буду тебя ждать ближе к пяти в тошиловке у «Ритца».

Как всегда, с любовью, Лоррейн.

Первым чувством был благоговейный ужас: он, взрослый мужчина, действительно ведь угнал велотележку и катал в ней Лоррейн по площади Этуаль ночь напролет! Сегодня это выглядело как кошмар. Закрыться в доме и оставить Хелен на улице было на него непохоже, но вот случай с тележкой был вполне в его духе – подобных приключений было множество. Сколько же надо недель или месяцев разгула, чтобы достичь такого состояния полнейшей безответственности?

Он попробовал вспомнить Лоррейн такой, какой он ее видел тогда, то есть крайне привлекательной; Хелен это раздражало, хотя она ничего ему не говорила. Вчера, в ресторане, Лоррейн показалась ему самой обычной, бледноватой и постаревшей. Ему решительно не хотелось с ней встречаться, и он был рад, что Аликс не выдал его адрес. Чтобы отвлечься, он стал думать о Гонории, о том, как они будут проводить вместе выходные, как он будет говорить ей: «Доброе утро!», а по ночам знать, что она здесь, в его доме, и сейчас, ровно дыша, спит в темноте.

В пять он вызвал такси и съездил за подарками Петерсам: кокетливая тряпичная кукла, коробка солдатиков древнеримской армии, букет для Мэрион и большие полосатые носовые платки Линкольну.

Войдя в квартиру, он заметил, что Мэрион смирилась с неизбежным. Сегодня она приветствовала скорее неуживчивого родственника, нежели зловещего чужака. Гонории уже сказали, что она уезжает; Чарли обрадовался, видя, как она из чувства такта скрывает переполнявшую ее радость. Только у него на коленях шепнула, как она счастлива, и спросила: «Когда?» – перед тем, как убежать из комнаты с остальными детьми.

На какое-то время он остался в комнате один на один с Мэрион и во внезапном порыве откровенности произнес:

– Семейные ссоры крайне болезненны. Этот процесс не подчиняется никаким законам. Они не похожи ни на боль, ни на раны; их можно сравнить разве что с незаживающей язвой, которая не затягивается, потому что на теле не хватает кожи. Мне бы очень хотелось, чтобы наши отношения наладились.

– Некоторые вещи забыть нелегко, – ответила она. – Все дело в доверии. – И, поскольку ответа не требовалось, она тут же спросила: –

Когда ты хочешь ее забрать?

– Как только подберу гувернантку. Надеюсь, что послезавтра.

– Это невозможно! Мне ведь надо привести в порядок ее вещи. Не раньше воскресенья!

Он уступил. Вернувшись в комнату, Линкольн предложил выпить.

– Можно. Я сегодня еще не принимал, так что давай виски, – ответил он.

Здесь было тепло, здесь был дом, семья у очага. Дети чувствовали, что здесь с ними ничего не случится, здесь они самые главные; мать и отец были серьезны и внимательны. Детские дела были для них гораздо важнее посетившего дом гостя. В конце концов, ложка лекарства для ребенка важнее напряженных отношений между ним и Мэрион. Они не были скучными людьми, просто жизнь и обстоятельства крепко держали их в своих тисках. Он стал думать: не может ли он как-нибудь помочь Линкольну вырваться из банковской рутины?

Раздался длинный звонок в дверь; экономка прошла по комнате и ушла в коридор. Еще один длинный звонок, дверь открылась, послышались голоса; трое в гостиной выжидающе прислушивались; Ричард пересел, чтобы коридор оказался у него на виду, Мэрион встала. Затем в коридоре снова послышались шаги экономки и приближающиеся голоса, материализовавшиеся на свету в Дункана Шаффера и Лоррейн Карлс.

Они были навеселе, им было весело, они просто лопались от смеха. Чарли на мгновение даже изумился: он не понимал, как им удалось разузнать адрес Петерсов.

– Ага! – Дункан шаловливо погрозил пальцем Чарли. – Ага!

И оба разразились новым каскадом смеха. В тревоге и растерянности Чарли быстро пожал им руки и представил Линкольну и Мэрион. Мэрион кивнула, будто проглотив язык. Она отступила на шаг к камину; ее дочь встала рядом, и Мэрион обняла ее за плечо.

С нарастающей досадой на нежданное вторжение Чарли ждал их объяснений. Дункану понадобилось некоторое время, чтобы собраться с силами и произнести:

– Мы зашли пригласить тебя на ужин. Лоррейн и я настаиваем: этим твоим таинственным пряткам необходимо положить конец!

Чарли подошел к ним поближе, будто собирался вынудить их отступить обратно в коридор:

– Прошу прощения, но я не смогу. Скажите, куда вы собираетесь, и я позвоню вам через полчаса.

Никакой реакции. Лоррейн вдруг уселась на подлокотник кресла и, сфокусировав взгляд на Ричарде, завопила: «Ах, что за прелестный мальчонка! Иди ко мне, малыш!» Ричард посмотрел на мать и не сдвинулся с места. Демонстративно пожав плечами, Лоррейн снова обернулась к Чарли:

– Пошли ужинать! Твои кузены нас простят. Видимся так редко. Но метко!

– Не могу, – резко ответил Чарли. – Идите вдвоем, а я вам позвоню.

Голос Лоррейн вдруг стал скрипучим:

– Ну, ладно, мы-то пойдем... Но мне вспомнилось, как ты однажды барабанил в мою дверь в четыре часа утра – а я друзей не бросаю, и выпить тебе налила! Пошли, Дунк.

Двигаясь замедленно, с искаженными злобой лицами, покачиваясь, они двинулись по коридору.

– Доброй ночи! – сказал Чарли.

– И вам всего доброго! – с особенным выражением ответила Лоррейн.

Когда он вернулся в гостиную, Мэрион все еще стояла на том же месте, только теперь она прижимала к себе с другой стороны еще и сына. Линкольн все так же, как маятник, продолжал качать Гонорию взад-вперед.

– Какое безобразие! – выпалил Чарли. – Просто возмути тельно!

Никто ничего не ответил. Чарли плюхнулся в кресло, взял свой стакан, поставил его обратно и произнес:

– Люди, которых я два года не видел, набрались поразительной...

Он умолк. Мэрион выдохнула одно короткое неистовое «Ох!», резко повернулась к нему спиной и вышла из комнаты.

Линкольн аккуратно поставил Гонорию на пол.

– Дети! Ну-ка, марш есть суп, – скомандовал он; как только они ушли, он обратился к Чарли: – Мэрион нездоровится, волноваться ей вредно. Такие люди вызывают у нее физическую боль.

– Я их сюда не звал. Они сами где-то разузнали ваш адрес! Они нарочно...

– Что ж, очень жаль. Делу это не поможет. Подожди минутку, я сейчас приду.

Оставшись один, Чарли в напряжении уселся на стул. В соседней комнате ужинали дети, время от времени коротко о чем-то переговариваясь, тут же забыв, что только что случилось у взрослых. До него донесся приглушенный шум голосов из кабинета, затем негромкий звонок снимаемой трубки телефона, и он в панике переместился к другой стене комнаты, чтобы не подслушивать.

Линкольн вернулся через минуту:

– Послушай, Чарли! Придется нам сегодня отменить ужин. Мэрион неважно себя чувствует.

– Злится на меня?

– Ну, в общем, да, – грубовато ответил он. – Сил у нее сейчас маловато, так что...

– Хочешь сказать, что она передумала насчет Гонории?

– Сейчас она очень злится. Не знаю. Лучше позвони мне завтра в банк.

– Прошу, объясни ей, что мне и в страшном сне не приснилось бы, что эти люди могут здесь появиться. Я так же зол на них, как и вы...

– Я ей сейчас ничего не смогу объяснить.

Чарли встал. Взял пальто, шляпу, пошел по коридору. Затем открыл дверь столовой и произнес не своим голосом:

– До свидания, дети!

Гонория встала из-за стола и подбежала к нему обняться на прощание.

– До свидания, любимая моя, – нерешительно сказал он, и затем, стараясь говорить нежнее, будто кого-то успокаивая: – До свидания, милые дети!

Чарли в ярости направился напрямиком в бар отеля «Ритц», надеясь отыскать там Лоррейн и Дункана, но их там не было – и он осознал, что, как бы там ни было, от него теперь уже ничего не зависит. Он так и не выпил у Петерсов, так что сейчас заказал себе виски с содовой. В зал, поболтать с ним, вышел Поль.

– Все очень сильно изменилось, – печально произнес он. – У нас сейчас оборот где-то в половину от прежнего. Многие, о ком я слышал, у себя в Штатах потеряли все – не в первой, так во второй волне кризиса. Я слышал, ваш друг Джордж Хардт потерял все, до последнего цента. Вы теперь в Штатах?

– Нет, работаю в Праге.

– Слышал, вы много потеряли в кризис.

– Да. – И мрачно добавил: – Но главное я потерял во время бума.

– Играли на понижение?

– Вроде того.

И снова на него кошмаром нахлынули воспоминания о тех днях: люди, с которыми они познакомились в путешествиях; люди, которые были не в состоянии даже сложить числа в столбик или произнести связное предложение. Бал на корабле; коротышка, которому Хелен позволила пригласить себя на танец и который оскорбил ее, не пройдя с ней рядом и десяти шагов; напившиеся или нанюхавшиеся до визга дамы и девушки, уносимые на руках из общественных мест...

... мужчины, запиравшиеся дома и оставлявшие своих жен на улице в снегопад, потому что снег двадцать девятого года не был настоящим снегом. Если ты не хотел, чтобы он был снегом, нужно было просто заплатить.

Он пошел к телефону и назвал номер квартиры Петерсов; ответил Линкольн.

– Звоню, потому что никак не могу успокоиться. Мэрион что-нибудь сказала?

– Мэрион плохо, – коротко ответил Линкольн. – Я знаю, что винить тебя тут практически не в чем, но я не могу позволить, чтобы она из-за всего этого опять впала в депрессию. Боюсь, что нам придется выждать полгода; я не могу рисковать, чтобы потом ждать, когда она снова вернется в нормальное состояние.

– Понятно.

– Извини, Чарли.

Он вернулся за столик. Его стакан был пуст, но он отрицательно покачал головой, поймав вопросительный взгляд Аликса. Теперь он мало что мог поделать, разве что послать Гонории какие-нибудь вещи; завтра он пошлет ей кучу вещей. Он сердито подумал, что это были всего лишь деньги – он многим давал деньги...

– Нет, больше не надо, – сказал он подошедшему официанту. – Сколько с меня?

В один прекрасный день он вернется – нельзя же расплачиваться вечно! Ему был нужен его ребенок, а все остальное, кроме этого, теперь стало так себе. Он больше не был юношей с кучей прекрасных мыслей и мечтами для собственного употребления. Он был абсолютно уверен, что Хелен никогда не пожелала бы ему такого одиночества.

Дополнения

Вечером на ярмарке

I

Лишь маленькая речушка разделяла два города, схожие, как близнецы. Они лежали друг напротив друга вдоль извивающихся берегов, соединенные множеством мостов, а там, где берега реки почти соединялись, под ревнивыми взглядами обоих городов, каждую осень проходила ярмарка штата Миннесота. Из-за преимуществ географического расположения и заоблачности высот, на

которых находилось сельское хозяйство штата, ярмарка считалась одной из самых грандиозных в Америке. Громадные павильоны, в которых выставлялось зерно, скот и сельскохозяйственные машины; скачки, моторалли и автогонки; и даже аэропланы, которые и правда летали! На центральной аллее располагались новейшие аттракционы Кони-Айленда, бешено кружившие вас в пространстве, а также визгливо звеневшее браслетами танцевальное шоу в восточном стиле. И, наконец, как нечто среднее между серьезным и пошлым, там устраивались грандиозные фейерверки! Кульминацией праздника была воспроизводившаяся во всех подробностях знаменитая битва при Геттисберге, разыгрывавшаяся на центральной площади каждый вечер.

На исходе теплого сентябрьского дня двое пятнадцатилетних мальчишек, забитых под завязку едой и шипучкой, утомленных восемью часами постоянного движения, с разочарованием вышли из аллеи автоматов – демонстрировавшие в кинетоскопах «Пикантные сцены в женском пансионе» и «Жизнь турецкого гарема» не стоили потраченных на них центов. Мальчик с красивыми темными глазами, в которых читалось стремление к лидерству, был – согласно всеобъемлющей подписи на его учебнике истории Древнего мира – «Бэзил Дьюк Ли, дом 512, авеню Всех Святых, Сент-Пол, Миннесота, Соединенные Штаты, Северная Америка, Западное полушарие, планета Земля, Вселенная». Он был немного ниже ростом, чем его приятель, но казался выше, потому что носил короткие «детские» брюки, из которых, так сказать, «торчали» его ноги. А Рипли Бакнер неделю назад получил право носить настоящие брюки – длинные, «взрослые»! Это событие, такое простое и естественное, слегка ослабило задушевную дружбу между ребятами, которая была крепка последние несколько лет.

Все это время Бэзил, яркая личность, был, так сказать, «главным партнером», и его беспокоил сдвиг в отношениях, случившийся из-за каких-то двух футов синего сержа. К удовольствию появляться в компании Бэзила на людях Рипли Бакнер теперь стал относиться с явным равнодушием. Длинные брюки сулили освобождение от остатков мальчишеской неполноценности, а компания того, кто, судя по коротким штанам, был все еще ребенком, превращалась в нежелательное напоминание о том, сколь недавно произошел его собственный метаморфоз. Он едва ли признался бы в этом и самому

себе, но весь вечер с его стороны прослеживался недостаток расположения к Бэзилу и даже тенденция к снисходительным смешкам в его адрес. Бэзил остро почувствовал внезапно возникшую разницу положений. В августе семейный совет решил, что, несмотря на то что осенью Бэзил отправляется учиться в пансион одного из восточных штатов, мальчик до «взрослых» брюк еще не дорос. В качестве контраргумента за две недели он вырос на целых полтора дюйма, что не только упрочило его семейную репутацию «строптивного упрямца», но и вселило в него надежду на то, что склонить на свою сторону мать ему все-таки удастся.

Выйдя из-под душного тента в зарево заката, ребята замешкались, с тоской и неким томлением разглядывая толпу, двигавшуюся туда и сюда по улице. Им вовсе не хотелось идти домой, потому что было еще слишком рано, а торопиться было незачем; но зрелищами они уже были сыты по горло, так что им хотелось сменить тональность, мотив и темп. Неподалеку располагалась автостоянка – такой небольшой дворик, – и не успел закончиться вялый обмен мнениями по поводу дальнейшего маршрута, как взгляды обоих ребят неожиданно упали на припаркованный маленький красный автомобиль. Он прижался к земле, словно приготовившись броситься вперед, и казался олицетворением как скорости движения, так и пьянящей скорости жизни. Это был «Блатц Вайлдкэт», ставший вожделенной мечтой миллионов американских мальчишек на следующие пять лет. В нем, с выражением презрительного равнодушия, как того и требовало откидывающееся сиденье, сидела незнакомая блондинка с кукольным личиком.

Мальчики уставились на нее. Она окинула их быстрым взглядом, а затем вернулась к своему прежнему занятию: откинулась на сиденье и стала надменно глядеть в небо. Мальчики обменялись взглядами, но не сделали ни единого движения. Они смотрели на девушку; лишь почувствовав, что их взгляды даже им самим стали казаться чересчур пристальными, они, наконец, опустили глаза и стали разглядывать остальные машины.

Через несколько минут появился молодой человек с порозовевшим лицом и светло-рыжими волосами, одетый в желтый костюм, в желтой шляпе и желтых перчатках. Он сел в машину, последовала серия ужасных хлопков, а затем с размеренным «топ-топ-топ» из-под

приоткрытого капота донесся нахально бьющий и вибрирующий звук, похожий на звук барабана. А потом и машина, и девушка, и молодой человек (в котором они узнали Спида Пэкстона) тихо и плавно скрылись за поворотом.

Бэзил и Рипли развернулись и задумчиво побрели обратно к центральной аллее. Они знали, что Спид Пэкстон был, в сущности, одним из тех, кого «за глаза» все зовут «тихий ужас»: он был диким и избалованным сынком местного пивного магната; но сейчас они ему завидовали: умчаться на закате в такой колеснице – туда, в таинственное молчание ночи... И загадочная девушка с кукольным личиком сидела рядом с ним... Наверное, именно эта зависть и побудила их окликнуть выходившего из тира высокого юношу их возраста:

– О, Эл! Эй, Эл! погоди!

Элвуд Леминг обернулся и остановился. Из всех мальчишек городка он считался самым разбитным – пил пиво, общался с шоферами и был очень худ оттого, что слишком много курил. В его полуприкрытых глазах пылко приветствовавшие его мальчики прочли всю тяжесть мудрости человека, познавшего мир.

– Здорово, Рип! Давай лапу, Рип! Здорово, Бэзил, старина! Давай лапу!

– Какие планы, Эл? – спросил Рипли.

– Никаких. А у вас?

– Никаких.

Элвуд Леминг, казалось, что-то обдумывал, все так же прищуриваясь. Наконец он решительно клацнул зубами.

– Ну, что ж... Попробуем снять девчонок? – предложил он. – Тут просто море шикарных птишек.

Рипли и Бэзил одновременно шумно сглотнули. Год назад они были шокированы, узнав, что Элвуд побывал на стрип-шоу в клубе «Стар», – и вот, здесь и сейчас, он открывает им дверь в свою шикарную, летящую на полной скорости жизнь. Недавно обретенная «взрослость» обязывала Рипли поддерживать образ «настоящего мужчины».

– Я готов, – заявил он с жаром. И посмотрел на Бэзила.

– И я готов, – пробормотал Бэзил.

Рипли улыбнулся. Но улыбка вышла скорее нервной, чем насмешливой.

– Может, сначала немного подрастешь, а, Бэзил? – И посмотрел на Элвуда, ища одобрения.

– Лучше постой рядом и поучись, пока не станешь настоящим мужчиной!

– Притухни! – оборвал его Бэзил. – Интересно, ты сам-то давно надел длинные штаны? По-моему, неделю назад?

Но он понимал, что его и этих двоих разделяла пропасть, – ну, если не пропасть, то небольшое ущелье уж точно, – и он пошел позади, чувствуя себя обузой.

Бросая быстрые взгляды справа налево, всем своим видом показывая, что он – стреляный воробей, Элвуд Леминг шел впереди. Несколько пар прогуливавшихся девушек встретили его уверенный, по-мужски оценивающий взгляд и ободряюще улыбнулись, но все они были отбракованы как слишком толстые, некрасивые или недостаточно «коммуникабельные». В один и тот же момент ребята заметили парочку, фланировавшую чуть впереди, и тут же прибавили шагу, Элвуд – самоуверенно, Рипли – нервничая, но притворяясь уверенным в себе. А Бэзил неожиданно для самого себя оказался в тисках дикого возбуждения.

Они поравнялись с девушками. У Бэзила в горле словно застрял комок. В глазах потемнело, он ничего не видел. Вдруг до него донесся голос Элвуда:

– Привет, девчонки! Какие планы на вечер?

Позовут ли они полицию? Не покажется ли неожиданно из-за угла мама Рипли или его мама?

– Привет, детишки!

– Куда идете, девчонки?

– Никуда.

– Ну, тогда пошли вместе.

Затем они подошли поближе друг к другу. Бэзилу стало легче: он обнаружил, что девушки были примерно их возраста. Обе были симпатичные, с гладкой кожей и накрашенными губами; волосы были высоко зачесаны, как у взрослых дам. Одна из них ему сразу понравилась: она была застенчива и говорила тише, чем подружка. Бэзил остался доволен, когда Элвуд взял за руку ту, что посмелее, оставив ему с Рипли тихоню.

Начали зажигаться первые вечерние огни; толпа немного уменьшилась, и пустые проходы между рядами наполнились запахами попкорна, жареного арахиса, патоки, пыли и жарящихся венских колбасок, вкупе с отнюдь не неприятными обертонами запахов животных и сена. Колесо обозрения, все расцвеченное вечерними огнями, неторопливо поворачивалось в сумерках; несколько пустых вагончиков американских горок грохотали где-то наверху. С наступлением вечера исчезло дневное тепло, и в воздухе воцарился бодрящий ветерок северной осени.

Они гуляли. Бэзил чувствовал желание заговорить с девушкой, но не мог придумать ничего подходящего. Кроме того, он никак не мог перенять ту многозначительную и уверенную манеру разговора, которой в совершенстве владел Элвуд Леминг, – тот говорил так, словно совершенно случайно обнаружил родство и вкусов, и сердец. Чтобы хоть как-то нарушить полное молчание – потому что вклад в разговор со стороны Рипли сводился лишь к периодическим взрывам глупого хихиканья, – Бэзил притворился страшно заинтересованным происходящим вокруг и разразился целой серией комментариев:

– Тут где-то есть шестиногий теленок. Вы его видели?

– Нет.

– По-моему, это недалеко от моторалли. Вы туда не ходили?

– Нет, не ходила.

– Смотрите! Начинают наполнять воздушный шар! Интересно, во сколько начнется фейерверк?

– А вы смотрели фейерверки?

– Нет, я только сегодня собрался посмотреть. А вы?

– Ах, я смотрела каждый вечер. Мой брат там работает, помогает зажигать петарды.

– Ого!

Он подумал о том, что ее брата, вероятно, не оставила бы равнодушным весть о том, что сестренку «сняли» какие-то незнакомцы. Но куда больше его интересовало другое: чувствует ли она себя так же глупо, как и он? Кажется, уже было поздно, а ведь он обещал быть дома никак не позже половины восьмого – иначе завтра ему не разрешат пойти гулять! Он догнал Элвуда.

– Эй, Эл, куда мы идем? – спросил Бэзил.

Элвуд повернулся к нему и подмигнул:

– Мы собираемся покататься на «Старой мельнице».

– Ого!

Бэзил бросился обратно, увидев, что за время его отсутствия Рипли и девушка взялись за руки. Он почувствовал укол ревности и осмотрел девушку еще раз, повнимательнее, – и нашел ее еще прекрасней, чем на первый взгляд. Ее глаза, большие, темные и глубокие, казалось, стали еще больше и заблестели в свете разгоравшейся над головами иллюминации; в них читалось свежее, как ночь, волнение. Он хотел взять ее за другую руку, но было слишком поздно; она и Рипли уже вместе над чем-то смеялись – лучше сказать, смеялись просто так. Она спросила его, над чем это он все время смеется, а он опять захихикал в ответ. Затем они принялись весело хихикать вместе.

Бэзил с отвращением посмотрел на Рипли.

– За всю свою жизнь не слышал более глупого смеха! – сказал он с раздражением.

– Правда? – фыркнул Рипли Бакнер. – Неужели, малыш?

От смеха он согнулся вдвое, и девушка тоже засмеялась. Слово «малыш» подействовало на Бэзила, словно струя холодной воды. Он кое о чем забыл от волнения, как пустившийся бежать калека забывает о своей хромоте...

– Ты думаешь, что ты такой взрослый? – воскликнул он. – А где ты взял штаны? А? Скажи, где взял штаны?

Он собирался выдать нечто смачное и уже почти произнес: «Ведь это штаны твоего папочки!», когда вспомнил, что папа Рипли, как и отец Бэзила, умер.

Парочка впереди подошла ко входу «Старой мельницы» и остановилась, поджидая их. Как раз начинался очередной сеанс, и полдюжины лодок, слегка покачиваясь на волнах искусственной речки, бились о деревянный причал. Элвуд с девушкой сели на переднее сиденье, и его рука немедленно обвила ее руку. Бэзил помог другой девушке сесть на заднее сиденье и сам сел рядом, но, удрученный, даже не сопротивлялся, когда между ними втиснулся Рипли.

Они отчалили, немедленно попав в длинный, темный коридор, невидимые стены которого отзывались эхом на каждый звук. Где-то далеко впереди, из другой лодки, слышалось пение; голоса были еле слышны, и это казалось очень романтичным. Чем ближе они подплывали, тем таинственнее становилось пение, потому что канал

петлял, а лодки проходили почти рядом, разделенные невидимой вуалью.

Трое мальчишек вопили и кричали, и Бэзил пытался хотя бы в этом превзойти Рипли в глазах девушки, но через несколько мгновений все, кроме него, утихло, и не было вокруг других звуков, кроме звуков редких ударов лодки о деревянные бортики канала; даже не глядя, он знал, что Рипли удалось обнять девушку.

Они вплыли в красное зарево: это была сцена Ада, с ухмыляющимися демонами и пылающими бумажными кострами; он обнаружил, что Элвуд и его девушка сидели рядом, касаясь друг друга щеками, – затем огни погасли, и стали видны темные, как бы полированные, пятна на воде, и снова мимо них шла поющая лодка, то ближе, то дальше. На некоторое время Бэзил притворился, что у него возник жгучий интерес к той, другой, лодке, и он принялся шумно приветствовать ее пассажиров, благо они проплывали вблизи. Затем он обнаружил, что лодку можно было без особых усилий раскатать, и это убогое развлечение продолжалось до тех пор, пока Элвуд Леминг не повернулся к нему и не крикнул, не скрывая раздражения:

– Эй! Ты что творишь?

Наконец, они подплыли к выходу, и парочки разделились. Жалкий неудачник Бэзил выпрыгнул из лодки на берег.

– Давайте купим билеты и прокатимся еще раз! – воскликнул Рипли.

– Только без меня, – сказал Бэзил с напускным равнодушием. – Пора домой!

Рипли торжествующе засмеялся. Девушка к нему присоединилась.

– Ну, пока, малыш! – весело крикнул Рипли.

– Заткнись! Пока, Элвуд!

– Пока, Бэзил.

Лодка вновь отчалила; руки снова легли на плечи девушек.

– Пока, малыш!

– Пока, балбес! – крикнул Бэзил. – Где ты взял штаны? А? Где ты взял штаны?

Но лодка уже исчезла в темной пасти тоннеля, оставив Бэзилу лишь эхо насмешек Рипли.

II

Во все времена мальчишкам хочется поскорее стать взрослыми. И иногда они заявляют вслух о своем нетерпении расстаться с остатками детства, хотя все остальное время они более чем довольны быть просто мальчишками, выражая это действиями, а не словами. И Бэзилу иногда хотелось быть постарше, но только на «чуть-чуть» – не больше. Взрослые брюки не были для него так уж важны: ему, конечно, хотелось бы одеваться «как взрослые», но эта деталь костюма не обладала в его глазах такой романтической привлекательностью, как, скажем, форма футболиста или офицера или шелковый цилиндр и накидка, в которых благородные грабители из комиксов имеют обыкновение красться по ночным улицам Нью-Йорка.

Но на следующее утро длинные брюки превратились в предмет первой необходимости. Без них он был отрезан от своих сверстников, смеявшихся над «мальчуганом», который до сих пор был их вожаком. Тот факт, что вчера вечером какие-то «пташки» предпочли ему Рипли, не имел для него особого значения; но Бэзил был настоящим спортсменом, и дух соперничества не позволял ему закрыть глаза на то, что его вызвали на поединок как раз в тот момент, когда одна из его рук была крепко привязана за спиной: это было нечестно. Он чувствовал, что нечто подобное обязательно повторится и в школе, – и это было невыносимо! За завтраком, волнуясь, он завел на эту тему разговор.

– Но, Бэзил, – изумленно возразила мама, – тебе ведь было все равно, когда мы обсуждали это на семейном совете!

– Они мне необходимы, – заявил Бэзил. – Я лучше умру, чем отправлюсь в школу без брюк!

– Ну, мне кажется, не стоит говорить глупости!

– Это правда: лучше умереть! Если у меня не будет длинных брюк, не вижу никакого смысла ехать в школу.

Все это было высказано столь эмоционально, что видение его кончины по-настоящему встревожило мать.

– Давай сейчас же прекратим этот глупый разговор. Сиди и ешь завтрак. Потом можешь пойти и купить себе пару брюк в «Бартон Ли».

Успокоенный, но не совсем – ведь исполнение желаний не терпит отсрочек, – Бэзил мерил шагами комнату. Затем последовало страстное заявление:

– Парень без длинных брюк – как без рук. – Фраза ему понравилась, и он ее усилил: – Парень без длинных брюк – как человек без обеих рук! Лучше умереть, чем ехать в школу...

– Бэзил, перестань так говорить. Тебя просто кто-то дразнит!

– Меня никто не дразнит, – с негодованием отверг он мамино предположение, – никто!

После завтрака горничная позвала его к телефону.

– Это Рипли, – раздался неуверенный голос. Бэзил воспринял этот факт довольно прохладно. – Ты не обижаешься на меня из-за вчерашнего? – спросил Рипли.

– Я? Нет! Кто сказал, что я обиделся?

– Никто. Слушай! Мы все собираемся вечером на фейерверк!

– Ну и? – Голос Бэзила был все так же холоден.

– Так вот. Одна из девчонок – та, что была с Элвудом, – сказала, что у нее есть сестра, которая даже красивее, чем она сама, и что она позовет ее с нами, для тебя. Мы решили ехать к восьми, потому что фейерверк все равно раньше девяти не начнется.

– И что мы будем делать?

– Ну, можно опять прокатиться на «Старой мельнице». Вчера мы катались еще три раза!

На мгновение воцарилась тишина. Бэзил посмотрел, закрыта ли дверь в комнату мамы.

– Ты поцеловал свою? – прошептал он в телефон.

– Ну конечно! – И по проводу прошелестел смешок. – Слушай, Эл поедет на машине. Мы заедем за тобой в семь.

– Ладно, – согласился Бэзил и добавил: – Мне сегодня еще нужно брюки купить, так что давай...

– Да? – Бэзилу снова послышался смешок. – Ну, ладно, будь готов к семи!

В десять часов Бэзил встретился с дядей в магазине одежды «Бартон Ли» и почувствовал угрызения совести из-за причиненных родне забот и трат. По совету дяди он выбрал два костюма:

ежедневный, темно-шоколадного цвета, и выходной, темно-синего. Костюмы нужно было немного подогнать по фигуре, но один должны были доставить Бэзилу сегодня к вечеру без задержек.

Вполне искреннее раскаяние в нанесении таких больших убытков семье заставило его сэкономить на трамвайном билете и пойти домой пешком. Проходя по Крест-авеню, он замедлил шаг, увидев высокий пожарный гидрант, установленный перед домом Ван-Шеллингеров. Ему внезапно пришло в голову, что вряд ли когда-нибудь еще ему доведется выполнить этот мальчишеский обряд: отныне всю свою оставшуюся жизнь он будет ходить, как и все остальные взрослые люди, в длинных брюках. Чтобы сказать детству «последнее прости», он перепрыгнул через гидрант два раза и сосредоточенно приготовился к третьему прыжку, когда из-за угла вывернул лимузин Ван-Шеллингеров и остановился перед парадной дверью особняка.

Послышался голос:

– Эй, Бэзил!

С гранитного портика второго по величине в городе особняка к нему устремился нежный взгляд, полускрытый шапкой золотистых локонов.

– Здравствуйте, Глэдис.

– Подойдите на минутку, Бэзил!

Он повиновался. Глэдис Ван-Шеллингер была на год моложе Бэзила; она была уравновешенной, хорошо воспитанной девушкой, которая – по местной традиции – в будущем должна была выйти замуж в одном из восточных штатов. Ее воспитывала гувернантка, играть ей позволялось только дома с несколькими избранными девочками (и лишь иногда – в гостях у подружек); в общем, той свободы, что была у всех детей в городках на Среднем Западе, у нее никогда не было. Ей никогда не дозволялось ходить на двор Уортонов, где по вечерам играли все остальные дети.

– Бэзил, я хочу вас спросить: не собираетесь ли вы вечером на ярмарку?

– Ну да, конечно собираюсь!

– Хотите пойти с нами и посмотреть фейерверк из нашей логи? Я вас приглашаю.

На мгновение он задумался. Ему хотелось принять приглашение, но что-то заставило его отказаться от гарантированного удовольствия

ради дальнейшего поиска довольно абстрактных приключений, которые – если бы он оценил их трезво – вовсе его не интересовали!

– Я не смогу. Мне очень жаль... Но я действительно не смогу...

По лицу Глэдис пробежала тень досады.

– Да? Ну, ладно... Тогда я приглашаю вас как-нибудь зайти ко мне в гости, Бэзил. Через несколько недель я уезжаю в школу, на восток.

Недовольный собой, он пошел дальше по улице. Глэдис Ван-Шеллингер никогда не была его девушкой – и ничьей девушкой, – но тот факт, что они в одно и то же время отправлялись учиться, вызвал у Бэзила какое-то чувство родства, как будто их двоих ожидало какое-то чудесное приключение на востоке, и это было предопределено свыше, невзирая на то что ее родители были богаты, а его родители лишь обладали кое-какими средствами. Он жалел о том, что не сможет сидеть рядом с ней в ее ложе сегодня вечером.

В три часа Бэзил, читавший наверху «Малиновый свитер», принялся внимательно прислушиваться к каждому звонку в дверь. Он выбегал на лестницу, перегибался через перила и спрашивал:

– Хильда, это не костюм привезли?

В четыре, разочарованный ее равнодушием, медлительностью и полным отсутствием сознания важности грядущего события, он переместился вниз и стал открывать дверь сам. Но никто не шел. Он позвонил в «Бартон Ли» и получил ответ от чрезвычайно занятого клерка:

– Вы получите этот костюм. Гарантирую, что вы его получите!

Но он не очень доверял обещанию клерка и поэтому вышел на крыльцо, внимательно разглядывая улицу в поисках фургона с надписью «Бартон Ли» на боку.

Мама пришла домой в пять.

– Наверное, им пришлось слишком много перешивать, – предположила она и ободрила: – Но они наверняка доставят его завтра утром!

– Завтра утром! – трагически повторил Бэзил. – Костюм мне нужен сегодня вечером!

– Ну, на твоём месте я бы ещё не теряла надежды. Магазины закрываются в половине шестого.

Бэзил бросал взволнованные взгляды на улицу. Затем взял свое кепи и побежал за угол, к остановке трамвая. Но

предусмотрительность заставила его через мгновение вернуться.

– Если они его принесут, пока меня не будет, обязательно заberi и распишись вместо меня, – проинструктировал он мать. Настоящий мужчина должен предусмотреть все!

– Хорошо, – сухо пообещала мама, – так и сделаю.

Дорога заняла больше времени, чем он предполагал. Ему пришлось ждать трамвая, и когда он добежал до «Бартон Ли», то с ужасом увидел, что двери уже заперты, а окна закрывают на ночь железными решетками. Он заметил последнего клерка, выходявшего на улицу, и стал сбивчиво объяснять свое дело. Но клерк о нем ничего не знал... Не был ли Бэзил мистером Шварцем?

Нет, Бэзил не был мистером Шварцем. После взволнованной речи, в которой он попытался убедить клерка в том, что, кто бы ни пообещал ему костюм, этот человек должен быть немедленно уволен, Бэзил в отчаянии побрел домой.

Нет, не пойдет он на ярмарку без костюма – он вообще никуда не пойдет! Он останется дома, а более удачливые ребята пойдут гулять по ярко освещенной центральной аллее. Таинственные девушки, юные и беспечные, будут скользить с ними в чарующей темноте «Старой мельницы», но из-за тупости, эгоизма и бесчестности клерка из магазина одежды Бэзила там не будет. Через сутки или около того ярмарка закроется – закроется навсегда! – и те девушки, самые желанные из всех существующих, та сестра, про которую говорят, что она прекраснее всех, исчезнут из его жизни навсегда! Они будут уезжать в «Блатц-Вайлдкэтах», исчезая в лунном свете навсегда – без Бэзила, целующего их. Да, отныне всю свою жизнь он будет лишь оглядываться назад с бесконечным сожалением, хотя по плану надо было еще прийти и сказать клерку: «Смотри, что ты со мной сделал!» Как и большинство из нас, он не думал о том, что в будущем его ждет еще множество желаний ничуть не менее сильных, тем те, что обуревают его сейчас.

Он пришел домой; сверток еще не доставили. Разочарованный и мрачный, он бродил по дому, едва соизволив в половине седьмого спуститься к обеду. Он молчал, положив локти на стол.

– Почему ты не ешь, Бэзил?

– Нет, спасибо, – рассеянно произнес мальчик, думая, что ему что-то предложили.

– До школы осталось целых две недели. Так почему же ты принялся грустить уже сейчас...

– Да при чем здесь это? Я не хочу есть, потому что у меня весь день болит голова!

К концу трапезы его отсутствующий взгляд сфокусировался на пироге, и он равнодушно, как лунатик, съел три кусочка.

В семь он услышал звуки, которые должны были предварять волнующий романтический вечер.

На улице остановился лимузин Леминга, и через секунду Рипли Бакнер позвонил в дверной колокольчик. Бэзил обреченно встал.

– Я открою, – сказал он Хильде. И затем, со вселенским укором, маме: – Я выйду на минутку. Просто хочу им сказать, что не смогу поехать сегодня на ярмарку.

– Но ведь ты можешь, Бэзил! Не говори глупости! Из-за такой ерунды...

Он едва ее слышал. Открыв дверь, он оказался лицом к лицу с Рипли, стоявшим на ступеньках. Внизу стоял большой старый лимузин Леминга, дрожавший в свете полной луны.

Цок-цок-цок! На улицу въехал фургон доставки «Бартон Ли». Цок-цок! Из него выскочил человек, привязал лошадь, побежал по улице, свернул, свернул еще раз и направился к ним с длинной картонной коробкой в руках.

– Подожди минутку! – заорал Бэзил. – Мы ведь никуда не опаздываем? Я оденусь в библиотеке. Пожалуйста, будь другом, подожди минутку!

Он вышел на крыльцо.

– Эй, Эл! Мне только что привез... только нужно переодеться! Пожалуйста, подождите минутку!

Огонек зажженной сигареты покраснел в темноте, и Эл что-то сказал шоферу; машина, шумно фыркнув, перестала дрожать, и в небе неожиданно показались звезды.

И снова ярмарка – но совсем другая, как лучезарный вечерний образ девушки, не похожий на ее дневной облик. Из картонных балаганов и гипсовых дворцов исчезла начинка, осталась лишь внешняя форма. Обрамленная огнями, эта форма облекала все в таинственные и восхитительные образы, и люди, прогуливавшиеся по паутине маленьких Бродвеев, тоже становились частью этой картины, когда их еле видные лица поодиночке и группами возникали из полутьмы.

Мальчики торопились на свидание и нашли девушек в глубокой тени «Храма пшеницы». Едва соединились тени, как Бэзил почувствовал, что что-то не так. Его осторожный взгляд перебегал с лица на лицо; когда его представили всем присутствующим, он осознал ужасную правду: младшая сестра оказалась блеклым и коренастым страшилищем, похожим на курицу, спрятавшуюся под толстым слоем дешевой розовой пудры. Она непрестанно кривила свой безобразный и бесформенный рот, мучительно пытаясь изобразить очаровательную улыбку.

До ошеломленного Бэзила едва донеслись слова девушки Рипли:

– Даже не знаю, можно ли мне с вами идти. Я уже договорилась о свидании с другим парнем. Мы только сегодня познакомились!

Ерзая, она глядела то туда, то сюда, а Рипли в тревожном изумлении пытался взять ее за руку.

– Дайте мне руку, – настаивал он, – разве не я первым назначил вам свидание?

– Но я же не знала, придете вы или нет, – упрямо повторяла она.

Элвуд и сестры тоже стали ее умолять не разрушать компанию.

– Возможно, я соглашусь прокатиться на колесе обозрения, – с неохотой сказала она, – но не на «Старой мельнице»! А то тот парень обидится.

Уверенность Рипли пошатнулась от такого удара, он даже рот разинул; его рука отчаянно пыталась захватить руку девушки. Бэзил стоял, бросая быстрые, мучительно-вежливые взгляды на свою девушку. Иногда, с выражением бесконечного укора, он поглядывал на

остальных. Из всей компании один только Элвуд был удовлетворен создавшимся положением.

– Пойдемте на колесо обозрения, – с нетерпением предложил он, – не можем же мы здесь стоять всю ночь!

Когда они покупали билеты в балаганчике, строптивая Оливия – так ее звали – опять начала колебаться, нахмурившись и оглядывая толпу так, словно все еще надеялась на внезапное появление соперника Рипли.

Но когда устремившиеся вверх кабинки вновь опустились вниз, она позволила себя уговорить прокатиться еще раз, и три парочки, вместе со своими заботами, вновь медленно поднялись в воздух.

Когда кабинка поднялась вверх, следуя по воображаемой колее в небе, Бэзилу пришло в голову, что он получил бы гораздо больше удовольствия, оказавшись здесь в другой компании – или даже совсем один. Внизу новым разнообразием красок мерцала ярмарка; там, на краю огней, которые уменьшались, становясь едва заметными, темнота казалась мягкой на ощупь. Но он был не способен причинить боль тому, кого считал низшей кастой; через некоторое время он повернулся к девушке, сидевшей рядом с ним.

– Вы живете в Сент-Поле или в Миннеаполисе? – завел он светскую беседу.

– В Сент-Поле. Я учусь в школе № 7.

И тут она неожиданно придвинулась к нему.

– Держу пари – ты парень не промах! – ободрила она его.

Он обнял ее за плечи и обнаружил, что они были теплыми. Они опять поднялись в самую высокую точку окружности колеса, и над их головами протянулось небо, а затем они вновь начали падать вниз, через порывы музыки, доносившейся из переносных каллиоп. Из осторожности отвернувшись, Бэзил прижал девушку к себе. А когда они снова поднялись наверх, в темноту, он склонился и поцеловал ее в щеку.

Прикосновение взволновало его, но краешком глаза он все время видел ее лицо – и был полон благодарности к гонгу, пробившему вовремя и возвестившему, что катание окончено.

Едва три парочки вышли из-за ограды аттракциона, как Оливия прямо-таки взвизгнула от радости.

– Вон он! – кричала она. – Это Билл Джонс, с которым мы сегодня познакомились! Тот парень, с которым у меня свидание!

К ним приближался юноша, выступавший важно, словно цирковой пони, и вертевший с ловкостью настоящего тамбурмажора небольшую бамбуковую тросточку. Под ничего не говорящим псевдонимом мальчишки узнали своего приятеля и ровесника – и это был не кто иной, как несравненный Хьюберт Блэр!

Он подошел поближе. Он поприветствовал всех дружелюбным хихиканьем. Он снял свое кепи, подбросил его вверх, поймал и с веселой улыбкой надел козырьком набок.

– Как мило! – сказал он Оливии. – Я жду тебя здесь уже пятнадцать минут.

Он притворился, что хочет ударить ее тросточкой; она радостно захихикала. Хьюберта Блэра все четырнадцатилетние девушки и даже определенный тип инфантильных взрослых женщин всегда находили неотразимым. Он был прекрасно сложен, его фигура находилась в постоянном грациозном движении. У него был веселый, «пикантный»,

носик; он обезоруживающе смеялся и питал склонность к хитроумной лести. Когда он достал из кармана карамельку, положил ее на лоб, стряхнул и поймал ртом, любому стороннему наблюдателю стало бы ясно, что Рипли суждено было более не видеть Оливии – по крайней мере, сегодня.

Все были настолько зачарованы, что никто и не заметил, как в глазах Бэзила сверкнул луч надежды; с грациозным коварством благородного грабителя он сделал четыре быстрых шага назад, проскользнул сквозь щель в парусине тента и исчез в пустынных помещениях павильона сельскохозяйственных машин. Очутившись в безопасности, Бэзил расслабился и, вспомнив, как смешно выглядел Рипли при неожиданном появлении Хьюберта Блэра, согнулся вдвое от веселого смеха.

Через десять минут в дальней части ярмарки какой-то юноша осторожно, но проворно прокладывал себе дорогу в толпе, направляясь поближе к фейерверкам и размахивая в такт своим шагам только что купленной бамбуковой тросточкой. Несколько девушек взглянули на него с интересом, но он надменно прошел мимо. Он немного устал от людей, но усталость скоро растворилась в шуме жизни. Он просто шел и наслаждался своими длинными штанами.

Он купил самый дешевый билет и, ища свое место, пошел вместе с толпой вокруг арены. Солдаты в форме армии северян передвигали орудие, готовясь к инсценировке битвы при Геттисберге. Он остановился, чтобы на них поглазеть, и услышал, как из ложи за спиной его окликнула Глэдис Ван-Шеллингер:

– Эй, Бэзил! Идите к нам!

Он развернулся. Войдя в ложу, Бэзил обменялся любезностями с мистером и миссис Ван-Шеллингер и был представлен всем остальным как «мальчик Элис Рейли». Стул для него был поставлен прямо перед стулом, на котором сидела Глэдис.

– Бэзил, – покраснев, прошептала она, – правда, здесь очень весело?

Определенно, так оно и было! Он почувствовал, как его вдруг накрыла волна морального превосходства. В этот момент ему стало непонятно, как это раньше он мог предпочесть общество тех – обыкновенных – девчонок?

– Бэзил, правда, здорово, что мы едем на восток? Может, мы даже поедем одним и тем же поездом?

– Было бы здорово! – вежливо согласился он. – Сегодня я купил себе длинные брюки. Пришлось их купить, из-за школы.

Одна из находившихся в ложе дам наклонилась к нему.

– А я знакома с твоей мамой! – сказала она. – И очень хорошо знаю одного твоего друга. Я – тетя Рипли Бакнера!

– Очень рад знакомству.

– Рипли такой приятный мальчик! – просияла миссис Ван-Шеллингер.

Как только вслух было произнесено имя, явился и его обладатель. На пустой и ярко освещенной арене появилась небольшая безобразная процессия – нечто вроде шоу лилипутов на тему о веселой разгульной

жизни. Во главе маршировали Хьюберт Блэр и Оливия. Хьюберт, как тамбурмажор, размахивал в воздухе своей тросточкой под аккомпанемент визгливого смеха Оливии. Следующими шли Элвуд Леминг и его юная дама, и шли они так близко друг к другу, что шаги давались им с огромным трудом, так как они практически сдавливали друг друга в объятиях. Бесславным завершением процессии служили Рипли Бакнер и недавняя подружка Бэзила, соперничавшая с Оливией в несдержанности издаваемых звуков.

Как зачарованный, Бэзил уставился на Рипли: лицо Рипли любопытнейшим образом менялось. Мгновение – и он с глупым ржанием подхватывал основную тональность процессии; еще мгновение – и на лице застыла страдальческая гримаса, словно он сомневался, что вечер удался...

Процессия привлекла к себе значительное внимание – такое значительное, что не только Рипли, прошедший в четырех футах от ложи, понял, на ком сфокусированы взгляды ее обитательниц. Объект пристального внимания не мог слышать, как в ложе раздался общий шумный вздох и ее обитательницы приступили к гневным перешептываниям.

– Какие забавные девчонки! – сказала Глэдис. – А тот мальчик впереди – это Хьюберт Блэр?

– Да.

Из-за спины до Бэзила донесся обрывок разговора: «... и завтра его мать обязательно об этом узнает!»

Пока Рипли находился у всех на виду, Бэзил испытывал за него мучительный стыд, но внутри у него сейчас же поднялась новая волна морального превосходства – еще сильнее, чем предыдущая. Бэзил был бы совершенно счастлив, если бы не понимал, что из-за этого инцидента мама Рипли может не позволить сыну отправиться в школу. А спустя несколько минут и это стало ему казаться вполне терпимым... Но в душе Бэзил был вовсе не злой. Свойственная его виду жестокость по отношению к погибающим еще не успела прикрыться лицемерием – вот и все.

В треске выстрелов, под мелодии «Дикси» и «Усеянного звездами стяга», битва при Геттисберге подошла к концу. Выходя из ложи к припаркованным невдалеке машинам и повинуюсь внезапному импульсу, Бэзил подошел к тетушке Рипли:

– Я думаю, что будет ошибкой рассказывать об этом маме Рипли. Он не хотел никому причинить вреда. Он...

Все еще возмущенная, она направила на него холодный, снисходительный взгляд.

– Я поступлю так, как сочту нужным, – отрезала она.

Он нахмурился. Затем развернулся и сел в лимузин Ван-Шеллингеров.

Сидя рядом с Глэдис на откидном сиденье, он вдруг подумал, что любит ее. Его рука изредка прикасалась к ее руке. Он почувствовал, что то, что они оба едут в школу, как-то связало и объединило их.

– Не могли бы вы зайти ко мне завтра? – начала она разговор. – Мамы не будет дома, и она сказала, что я могу пригласить, кого захочу.

– Хорошо.

Когда машина замедлила ход у дома Бэзила, Глэдис быстро наклонилась к нему.

– Бэзил...

Он ждал. Он чувствовал ее теплое дыхание на своей щеке. Ему хотелось, чтобы она поторопилась, иначе, когда двигатель замолкнет, ее родители, дремавшие на заднем сиденье, услышат то, что она сейчас ему скажет. В тот момент она казалась ему прекрасной; обычно она навевала на него легкую скуку, но это более чем компенсировалось изысканной нежностью и великолепной роскошью ее жизни.

– Бэзил... Бэзил, когда вы придете завтра... Не могли бы вы привести с собой Хьюберта Блэра?

Шофер открыл дверцу, мистер и миссис Ван-Шеллингер проснулись. Выйдя из машины на тротуар, Бэзил стоял и глубокомысленно смотрел на отъезжающую машину, пока та не скрылась за поворотом.

Пробиваясь вперед

I

В печальном золотистом свете уходящего летнего дня на крыльце дома семейства Ли сидели Бэзил Дьюк Ли и Рипли Бакнер-младший. В доме мелодично зазвонил телефон, суля неведомые перспективы.

– Ты же вроде домой собирался? – сказал Бэзил.

– А ты?

– Уже иду!

– Ну, и я иду.

– Так чего не идешь?

– А ты чего не идешь?

– Сейчас вот и пойду!

Оба засмеялись; из-за одолевшей их зевоты смех постепенно перерос в какое-то захлебывающееся бульканье. Когда телефон зазвонил вновь, Бэзил встал:

– Мне до ужина надо еще тригонометрию выучить.

– А ты и правда собрался осенью поступать в Йель? – недоверчиво спросил Рипли.

– Да.

– Все говорят, что это глупо – тебе ведь всего шестнадцать!

– А в сентябре будет семнадцать. Ну, пока! Я тебе вечером позвоню.

Бэзил услышал, как наверху разговаривает по телефону мать, и тут же уловил в ее голосе горестные нотки:

– Да... Какой ужас, Эверет! Да... Ох, боже мой...

Через некоторое время он понял, что это всего лишь очередная деловая нервотрепка, и пошел на кухню перекусить. На обратном пути он увидел, что мать торопливо спускается вниз. Она часто моргала,

шляпка была надета задом наперед – у нее это были характерные признаки сильного волнения.

– Я – к деду!

– Что случилось, мама?

– Дядя Эверет думает, что мы потеряли много денег.

– Сколько? – изумленно спросил он.

– Двадцать две тысячи долларов каждый! Но мы пока не знаем точно...

И она ушла.

– Двадцать две тысячи долларов! – в ужасе прошептал Бэзил.

Он имел весьма смутное и несколько радужное представление о деньгах, однако даже он отметил, что на семейных обедах извечный разговор о том, скоро ли будет продан железнодорожной компании квартал на 3-й улице, не так давно сменился беспокойными беседами об акциях Западной муниципальной коммунальной компании. В половине седьмого мама позвонила по телефону и сказала, чтобы он ужинал без нее; с возросшим беспокойством он уселся за стол в одиночестве, почти не обращая внимания на лежавший открытым рядом с тарелкой «Миссисипский пузырь». Мама пришла в семь, смятенная и печальная, рухнула за стол и впервые в жизни выдала ему, как почти взрослому, полную информацию о семейных финансах: она, ее отец и ее брат Эверет вместе потеряли чуть более восьмидесяти тысяч долларов. Она была в панике и пугливо озиралась, оглядывая столовую, словно деньги продолжали испаряться даже здесь и необходимо было срочно что-то предпринять, чтобы их удержать.

– Мне придется прекратить продавать облигации государственного займа, иначе у нас вообще ничего не останется, – объявила она. – В таком случае у нас остается всего три тысячи долларов в год – понимаешь, Бэзил? Я не представляю, каким образом я смогу оплачивать твоё обучение в Йеле!

Его сердце ушло в пятки; будущее, всегда сиявшее где-то на горизонте, словно вселяющий надежду свет маяка, вдруг вспыхнуло во всей своей красе и тут же угасло. Мама вздрогнула, а затем выразительно покачала головой:

– Придется тебе смириться с тем, что учиться ты будешь в Университете штата.

– Боже мой! – воскликнул Бэзил.

Когда она увидела, как вытянулось и стало неподвижным его лицо, ей стало его очень жаль, но она продолжила – довольно резким тоном, каким обычно говорят с теми, кому вы вынуждены отказать.

– Я тоже чувствую себя ужасно – твой отец очень хотел, чтобы ты учился в Йеле. Но все говорят, что с учетом расходов на одежду и на проезд учеба обойдется в две тысячи за год. Твой дед помог мне отправить тебя в школу Св. Риджиса, но он всегда считал, что учиться дальше тебе надлежит в Университете штата.

Она в смятении ушла наверх с чашкой чая, а Бэзил остался в темной гостиной наедине со своими мыслями. Эта потеря сейчас означала для него лишь одно: он не будет учиться в Йеле. Сами эти слова, еще не приобретшие значения, давили на него тяжким бременем, ведь он так много раз небрежно заявлял: «Я поступаю в Йель»; постепенно он осознал, какое множество приятных и таких знакомых надежд уносится от него вместе с этими словами. Йель означал для него далекий американский Восток, безбрежное томление по которому овладело им с тех самых пор, как он впервые прочитал книги о жизни в больших городах. Вдали, за безотрадными железнодорожными вокзалами Чикаго, за ночными огнями Питтсбурга, там, в первых американских штатах, шла жизнь, которая заставляла возбужденно биться его сердце. Он чувствовал, как оно бьется в унисон с безбрежной суматохой Нью-Йорка, от которой захватывает дух, он ощущал в себе гармонию с городскими днями и ночами, туго натянутыми, словно поющие на ветру телеграфные провода. Здесь ничего не надо было придумывать, потому что это все и было самой квинтэссенцией романтики – той самой яркой и прекрасной жизнью, которой живут в книгах и мечтах.

Но в начале, словно врата в эту глубокую и насыщенную жизнь, стоял Йель. Это название тут же всколыхнуло в памяти воспоминания о героической команде, сплотившейся однажды в холодных ноябрьских сумерках благодаря недостижимой цели; затем он представил себе шестерку безупречных аристократов, стоявших в цилиндрах и с тросточками в баре гостиницы «Манхэттен». Смешавшись со всеми этими триумфами и трофеями, схватками и славными победами, перед ним возник неизбежный и несравненный девичий образ...

Ну, что ж... А разве он сам не сможет заработать на учебу в Йеле? Миг – и эта мысль обрела вполне реальные очертания. Он стал мерить шагами комнату, вполголоса приговаривая: «Разумеется, именно так мне и следует поступить!» Бросившись на второй этаж, он постучался в комнату к матери и вдохновенно, словно пророк, объявил: «Мама, я знаю, что делать! Я сам заработаю на учебу в Йеле!»

Он сел к ней на кровать, а она нерешительно задумалась. Вот уже несколько поколений мужчины в ее семье предприимчивостью не отличались, и эта идея ее испугала.

– Я не думаю, что ты из тех ребят, которым нравится работать, – сказала она. – Кроме того, ребята, которые сами зарабатывают себе на учебу, обычно получают стипендии и гранты, а ты у нас пока что особых успехов не показал.

Он рассердился. К экзаменам в Йель он подготовился на год раньше, чем все его сверстники, поэтому такой упрек он счел несправедливым.

– И чем же ты собираешься заняться? – спросила она.

– Буду чистить камин, – не задумываясь, ответил Бэзил. – Стану счищать снег с тротуаров. Мне кажется, в основном все этим и занимаются – и еще репетиторством. Ты сможешь дать мне сумму, которой бы мне хватило на обучение в Университете штата?

– Нам нужно будет все обдумать...

– И ни о чем не беспокойся! – категорично произнес он. – Если я заработаю себе на учебу, то тем самым смогу отчасти компенсировать ту сумму, которую ты потеряла!

– А почему бы не начать с того, чтобы прямо сейчас поискать себе работу на лето?

– Хорошо. Завтра же куда-нибудь устроюсь! И мне, может быть, удастся скопить столько, что тебе совсем не придется мне помогать. Спокойной ночи, мама!

У себя в комнате он остановился и громким зловещим тоном известил зеркало о том, что он сам заработает на учебу в Йеле; подошел к книжному шкафу и достал шесть пыльных томов Горацио Эджера, которые не открывались вот уже несколько лет. Те, чья юность пришлось на послевоенное время, обратились бы к «Краткому курсу предпринимательства Университета Джорджа Вашингтона» – ну а он сел за стол и принялся листать страницы «Обреченного на успех».

II

Через два дня, наслушавшись насмешек от привратников, курьеров и секретарш редакций «Срочно в номер», «Вечерних новостей», «Социалистической газеты», зеленого «бульварного» листка под названием «Курьер», где его убедили, что репортер «почти семнадцати» лет от роду не требуется никому, вытерпев все возможные унижения, которые ждут в свободной стране пытающегося заработать на учебу в Йеле молодого человека, Бэзил Дьюк Ли, чрезмерно «чувствительный», чтобы обращаться к родителям своих друзей, устроился работать на железную дорогу по протекции жившего на другой стороне улицы Эдди Пармили.

Назавтра, в половине седьмого утра, неся под мышкой коробку с ленчем и новенький рабочий комбинезон, обошедшийся ему в четыре доллара, он с чувством собственного достоинства вошел в вагоноремонтную мастерскую «Великой Северной». Он словно явился в новую школу, но никто не проявил никакого интереса и не спрашивал, будет ли он вступать в школьную команду. Пришлось отметить в журнале прихода, что несколько его задело; мастер, без всякого напутствия вроде «Иди и побеждай!», отправил его таскать доски для вагонных крыш.

Настал полдень; ничего особенного не произошло. Светило жаркое солнце, болели руки и спина, но ничто не всколыхнуло унылую поверхность утренних часов. Не понесла взбесившаяся лошадь пролетку с дочкой президента компании; не прошел по территории директор и не выделил его среди прочих своим наметанным глазом. Не падая духом, Бэзил продолжал упорно трудиться, ведь не стоит ждать многого от первого же рабочего дня!

Ленч он пошел есть в компании Эдди Пармили. Эдди работал здесь в каникулы уже несколько лет; этой осенью он собирался за свой счет

поступать в Университет штата. Он с сомнением покачал головой, услышав, что Бэзил собирается заработать на учебу в Йеле.

– Вот что надо делать, – сказал он. – Займи у матери две тысячи долларов, купи двадцать паев в «Плугах и тракторах». Затем иди в банк, возьми в кредит еще две тысячи под эти бумаги и на эти две тысячи купи еще двадцать паев. Год сидишь, ничего не делаешь, а затем уже и думать не придется о том, чтобы самому зарабатывать на Йель!

– Не думаю, что мама даст мне две тысячи долларов.

– Что ж... А я бы поступил именно так!

Если утро было небогато событиями, то день ознаменовался слегка неприятным инцидентом. Бэзил чуть-чуть поднялся по карьерной лестнице – его отправили на крышу грузового вагона помогать приколачивать те самые доски, которые он носил утром. Здесь он обнаружил, что вбивание гвоздя в доску требует большего навыка, нежели вколачивание гвоздиков в стенку; он считал, что справляется вполне сносно, но снизу вдруг донесся сердитый голос:

– Эй, ты! Ну-ка, встань!

Он посмотрел вниз. Там стоял мастер с неприятным багровым лицом.

– Да, ты, в новом комбинезоне! Встань!

Бэзил огляделся, пытаясь понять, не прилег ли кто рядом, но рядом были лишь двое полностью поглощенных работой угрюмых венгров, так что до него понемногу дошло, что обращаются, очевидно, именно к нему.

– Прошу прощения, сэр? – сказал он.

– Вставай на колени или проваливай! Ты на работе или где, черт тебя побери?

Он вбивал гвозди сидя, и мастер, вероятно, подумал, что он просто отлынивает от работы. Бросив еще один взгляд на мастера, он решил воздержаться от объяснения, что сидя чувствует себя более устойчиво, и решил промолчать. Вот в Йеле, наверное, нет никаких железнодорожных мастерских; и с внезапной болью он тут же припомнил злое название «Нью-Йорк – Нью-Хейвен – Хартфорд»...

На утро третьего дня, едва он понял, что его комбинезон уже не висит там, где он оставил его вчера вечером, было объявлено, что всех

работающих менее шести месяцев сегодня увольняют. Бэзил получил четыре доллара под расчет и лишился комбинезона. Так что знание о том, что гвозди забивают, стоя на коленях, обошлось ему всего лишь в стоимость трамвайного билета.

III

Двоюродный дедушка Бэзила, Бенджамин Рейли, проживал в большом старомодном особняке в старом районе города; туда и прибыл Бэзил вечером того же дня. Это была крайняя мера – Бенджамин Рейли и дедушка Бэзила были братьями и не разговаривали друг с другом вот уже двадцать лет.

Низкорослый и коренастый старик с непроницаемым лицом, скрытым за белой, как у пуделя, бородой, принял его в гостиной. За ним стояла дама лет сорока, полгода назад ставшая его женой, и ее пятнадцатилетняя дочка. Ту ветвь семьи, к которой принадлежал Бэзил, на свадьбу не пригласили, поэтому новых родственников ему до сих пор видеть не приходилось.

– Мне захотелось навестить вас, дядюшка Бен! – с легким смущением произнес он.

На некоторое время повисла тишина.

– Мама здорова? – спросил старик.

– Да, благодарю вас!

Мистер Рейли занял выжидательную позицию. Миссис Рейли что-то сказала дочери; та бросила любопытный взгляд на Бэзила и нехотя покинула комнату. Мать усадила старика.

От смущения Бэзил приступил прямо к делу. Он желал бы устроиться на временную работу в «Оптовые продажи медикаментов Рейли».

Дядя минутку поерзал на месте, а затем ответил, что в его компании сейчас нет вакансий.

– Как жаль...

– Вот если бы ты хотел устроиться на постоянную работу... Но ты ведь, говоришь, желаешь поступать в Йель? – Это он произнес с понятной ему одному иронией и бросил взгляд на жену.

– Ну, да... – ответил Бэзил. – Именно поэтому я и ищу работу.

– Мама не может оплатить учебу, да? – В голосе послышалось неприкрытое злорадство. – Все деньги потратила?

– Нет-нет! – быстро ответил Бэзил. – Она готова мне помогать.

К его удивлению, помощь пришла с совершенно неожиданной стороны. Миссис Рейли вдруг наклонилась к мужу и что-то прошептала ему на ухо, после чего старик кивнул и громко произнес:

– Я подумаю, Бэзил. Пройди-ка пока в библиотеку.

А жена повторила:

– Мы подумаем. Проходи в библиотеку, побудь с Розой, а мистер Рейли сейчас все обдумает.

Когда закрылась дверь библиотеки, он остался наедине с Розой – решительной девицей, обладавшей квадратным подбородком и упитанными бледными руками; на ней было белое платье, напомнившее Бэзилу о доме – точнее, о кружевных панталонах, сушившихся среди прочего белья во дворе. Озадаченный внезапным переходом дядюшки на противоположный фланг, он некоторое время, не сказав ни слова, рассеянно смотрел на Розу.

– Кажется, вы – мой двоюродный брат? – спросила Роза, захлопнув книгу; он заметил, что это был роман «Маленький командир, или Фрейлина».

– Да, – согласился он.

– А я о вас кое от кого слышала!

Сказала она это так, что напрашивался вывод – информация была для него отнюдь не лестной.

– И от кого же?

– От одной девушки; ее зовут Элен Уошмер.

– А, Элен Уошмер! – По его тону было ясно, что к обладательнице этого имени он относится с презрением. – Ну да, конечно!

– Она моя лучшая подруга. – Он промолчал. – Она рассказывала, что вы считаете, что вы – просто чудо!

Молодые люди не сразу замечают, что врагом является как раз тот, кто наносит рану, а не тот, кто пустил пересказываемую сплетню – это

ведь всего лишь стрела. И его сердце тут же вскипело гневом по отношению к Элен Уошмер.

– Я здесь мало кого из ребят знаю, – сказала Роза, уже не столь агрессивно. – Мы тут живем всего полгода. Но я еще никогда не видела столь заносчивого общества!

– О, нет, вы не правы! – возразил он. – А где вы жили раньше?

– В Су-Сити. У нас в Су-Сити молодежь живет гораздо веселее!

Миссис Рейли открыла дверь и позвала Бэзила обратно в гостиную. Старик снова встал.

– Приходи завтра с утра, я для тебя что-нибудь подыщу, – сказал он.

– А, может быть, вы придете к нам завтра на ужин? – добавила миссис Рейли нарочито-радушным тоном, в котором любой взрослый уловил бы какой-то подвох.

– Да, конечно. Благодарю вас!

Чувствуя признательность, он вышел за дверь. Миссис Рейли отрывисто рассмеялась и позвала дочь в гостиную.

– Я буду не я, если ты теперь не будешь блистать в здешнем обществе! – объявила она. – Когда, ты говоришь, тут бывают танцы?

– По четвергам в Университетском клубе и по субботам в клубе на озере, – тут же ответила Роза.

– Что ж, если этот юноша пожелает сохранить работу, которую ему даст твой отец, то ты протанцуешь там весь остаток лета!

IV

Случайные компании, формирующиеся по прихотям денег либо географии, могут представлять собой довольно сварливые и скучные общества; по-настоящему неприятные чувства может рождать лишь компания молодых людей, собравшихся вместе из-за собственной непопулярности, – их можно сравнить лишь с группой заключенных,

брошенных в общую камеру. Для Бэзила собравшееся на следующий день за ужином общество представлялось просто сборищем уродов. Там были: кузены Крамы, Льюис и Гектор, оба тупицы, выносить которых хватало сил лишь у них самих; Сидней Роузен, богатый, но внушавший всем отвращение; безобразная Мэри Хаупт, Элен Уошмер, а также Бетти Джи, при взгляде на которую Бэзил тут же вспомнил жестокую дразнилку, которую они когда-то распевали на мотив «Города в джунглях»:

*Внизу, под холмом,
Проживает зануда —
Все живое бежит
От ужасной Бетти Джи.
Нам бы лучше туда не ходить...
Она так жирна,
Что похожа на слона, —
И она — Королева зануд!*

Более того, все они были обижены на Бэзила, который считался в их кругу «заносчивым», и по дороге домой после ужина Бэзил чувствовал себя так, словно его самым мрачным и непостижимым образом использовали в чужих интересах. Он, конечно, был благодарен миссис Рейли за ее доброту, но не мог не думать о том, что более сообразительный парень, возможно, смог бы вывернуться, когда разговор принял такой оборот, что ему ничего не оставалось, кроме как пригласить Розу в ближайшую субботу на танцы в клуб на озере. Вынужденное приглашение застало его врасплох; но когда он попался в ту же самую ловушку и на следующей неделе, и еще через неделю, он мало-помалу стал понимать происходящее. Это была одна из его служебных обязанностей, и он, скрепя сердце, взвалил ее на себя, но ему все же никак не удавалось понять, зачем столь неловкой особе, не умеющей танцевать и вести себя в обществе, надо было ходить туда, где ее воспринимали не иначе, как тяжелую обузу. «Почему бы ей не

посидеть дома с книжкой, – с отвращением думал он, – или не съездить куда-нибудь, или не заняться вышиванием?»

В один из субботних дней, глядя на соревновавшихся теннисистов и чувствуя неумолимое приближение вечера, когда ему придется вновь отдавать неприятный долг, он внезапно ощутил, как его прямо-таки зачаровало лицо какой-то девушки, сидевшей в нескольких ярдах от него. Его сердце дрогнуло, пульс от волнения участился; а когда публика встала с мест и начала расходиться, он, к своему изумлению, обнаружил, что только что смотрел во все глаза на ребенка лет десяти. Непонятно почему разочарованный, он отвернулся, но через некоторое время вновь посмотрел в ту сторону. Красивое и уверенное лицо сплело в нем цепочку мыслей и ощущений, которые ему никак не удавалось оборвать. Он ушел, даже не попытавшись узнать, чей это ребенок; день вокруг него внезапно показался ему прекрасным; он услышал легко узнаваемый шепот, всегда уместное, всегда выполняемое обещание счастья. «Завтра... или через день... или осенью... а может быть, и сегодня вечером...» Не в силах удержаться и не выразить свои чувства, он сел и попытался написать письмо одной девушке из Нью-Йорка. Слова его были высокопарны, а девушка представлялась холодной и далекой. Перед мысленным взором маячил образ, который поверг его в состояние страстного томления, и это было лицо той самой девочки, которую он видел сегодня днем.

Когда в тот вечер он с Розой Синклер приехал в клуб на озере, то первым делом огляделся вокруг: нужно было знать, кто из ребят сегодня в клубе, и нет ли тех, кто был у Розы в долгу или же находился в сфере его собственного влияния. В те времена в моду еще не вошел обычай «перехватывать» девушек прямо во время танца; Бэзилу обычно удавалось заблаговременно избавить себя от полдюжины танцев, но в тот вечер в клубе собрались ребята постарше, и ситуация была бесперспективной. Когда Роза вышла из гардеробной, он увидел Билла Кампфа и, вознеся Господу хвалу, тут же на него накинулся.

– Привет, старина! – сказал он, прямо-таки излучая благожелательность. – Сможешь сегодня разок потанцевать с Розой?

– Нет, – коротко ответил Билл. – К нам гости приехали. Ты разве не знаешь?

– Тогда, может, поменяемся партнершами на один танец, а?

Билл удивленно посмотрел на него.

– Я думал, ты знаешь! – воскликнул он. – Эрмини приехала. Она весь день только про тебя и говорит!

– Эрмини Библ?!

– Да. С папой, мамой и младшей сестрой. Утром приехали.

Испытанное Бэзиллом два часа назад переживание, разумеется, тут же снова заиграло у него в крови – но на этот раз он уже знал причину. То лицо, столь странным образом привлекавшее его внимание, принадлежало младшей сестре Эрмини Гилберт Лабусс Библ. Он вспомнил долгий день на веранде особняка Кампфов у озера – ему показалось, что прошла уже целая вечность, хотя с тех пор миновал всего лишь год; тут до него донесся голос из реальности, окликнувший его по имени, и в прекрасном стремительном порыве на него налетела блестящая пятнадцатилетняя красавица, принявшая его протянутую руку так, словно она была готова тут же очутиться в его объятиях.

– Бэзил, я так рада! – От радости голос звучал чуть хрипло, хотя она и была в том самом возрасте, когда радость обычно маскируется за смущенными улыбками и невнятным бормотанием.

В данном случае неловким и смущенным, несмотря на стремление своего сердца, чувствовал себя Бэзил. Он немного успокоился, когда Билл Кампф, ставший за последний год более внимательным по отношению к своей прекрасной кузине, повел ее танцевать.

– Кто это? – спросила Роза, когда он, ошеломленный, вернулся к ней. – Я никогда ее раньше не видела.

– М-м-м... это девушка! – Он едва понимал, что говорит.

– Ну, это я и сама поняла. А как ее зовут?

– Минни Библ. Она из Нового Орлеана.

– На вид она страдает тщеславием. Никогда не видела столь манерно ведущей себя особы!

– Прекратите! – вырвалось у Бэзила. – Давайте потанцуем.

Лишь спустя показавшийся вечностью час Бэзила, наконец, освободил Гектор Крам; пришлось терпеть еще несколько танцев, пока он смог пригласить Минни, которая к тому времени уже находилась в центре ни на секунду не останавливавшегося людского водоворота. Она смогла вознаградить его за это, тайком пожав ему руку и потянув за собой на веранду, нависавшую над окутанным мраком озером.

– Да, время летит... – прошептала она. Инстинктивно она выбрала самый темный уголок. – Я могла бы и сама догадаться, что ты

приударил за другой!

– Нет! – в ужасе возразил он. – Она мне как бы кузина...

– Я всегда подозревала, что ты – ветреный. Но мне и в голову не приходило, что ты так быстро меня позабудешь!

Она потихоньку приближалась к нему, пока они не соприкоснулись. Ее взгляд, растворившийся в его глазах, сказал:

«Но что нам до этого? Ведь мы с тобой сейчас здесь одни...»

Охваченный непривычной паникой, он вскочил на ноги. Ну разве мог он поцеловать ее – вот так вот сразу, ни с того ни с сего? Все теперь было иначе – они оба стали старше на целый год. Он был слишком взволнован и поэтому смог лишь пройтись взад-вперед и сказать: «Бог ты мой, я так рад тебя видеть», дополнив это неоригинальное заявление искусственным смешком.

Она уже обладала уравновешенностью взрослого человека и попыталась его успокоить:

– Бэзил, иди сюда и сядь!

– Я в порядке, – судорожно выдохнул он, словно только что оправился от обморока. – Я просто немного волнуюсь, вот и все.

И он снова издал глупый – даже для его ушей, в которых стучала кровь, – смешок.

– Я пробуду здесь три недели. Правда, здорово? – И она добавила с особой выразительной теплотой: – Ты помнишь тот день на веранде у Билла?

В ответ он смог только выдавить из себя:

– А я теперь днем работаю!

– Но вечерами ты свободен, Бэзил? До нас всего полчаса на машине...

– У меня нет машины.

– Но ты можешь взять машину родителей.

– У нас электромобиль.

Она терпеливо ждала. Он все еще представлялся ей в романтическом свете: красивый, непредсказуемый, немного печальный.

– Я видел твою сестру! – выпалил он. Такое начало могло бы позволить ему перекинуть мосток над пропастью внушенного ею извращенного и невыносимого почтения. – Она очень на тебя похожа!

– Правда?

– Просто потрясающе! – сказал он. – Потрясающе! Я хочу тебе рассказать...

– Да, рассказывай. – Она сложила руки на коленях, приготовившись слушать.

– Сегодня днем...

Музыка несколько раз умолкала и вновь начиналась. Затем, в перерыве, на веранде раздались решительные шаги. Бэзил взглянул туда, откуда они доносились, и увидел Розу и Гектора Крама.

– Мне пора домой, Бэзил, – пискнул Гектор, у которого ломался голос. – Возвращаю тебе Розу!

«Бери эту Розу, тащи ее на причал и спихни ее в озеро!» – пронеслось в голове у Бэзила. В реальности он вежливо встал.

– Я тебя потеряла, Бэзил! – оскорбленным тоном заявила Роза. – Почему ты не вернулся?

– А я как раз вот собрался. – Его голос чуть дрогнул, когда он повернулся к Минни: – Тебе помочь найти твоего партнера?

– Благодарю, не нужно, – ответила Минни. Она не сердилась, но была в некотором недоумении. Разве могла она знать, что столь покорно ушедший от нее молодой человек именно в этот самый момент был занят тем, что зарабатывал деньги на учебу в Йеле?

V

С самого начала дедушка Бэзила, который когда-то состоял в попечительском совете Университета штата, хотел, чтобы Бэзил и думать забыл о Йеле; теперь к его увещеваниям присоединилась и мать, живо представлявшая его в дешевой мансарде, голодным и оборванным. Та сумма, на которую он мог рассчитывать, была гораздо ниже необходимого минимума, и хотя он упрямо отказывался и думать о возможности поражения, ему все же пришлось согласиться – «на

всякий случай» – записаться в абитуриенты Университета штата на следующий учебный год.

В административном корпусе он столкнулся с Эдди Пармили, который представил ему своего приятеля – низенького и восторженного японца.

– Ну-ну, – сказал Эдди. – Выходит, поступать в Йель ты все же передумал?

– И я передумал поступать в Йель! – неожиданно встрял мистер Утсономи. – О, да, я очень давно передумал поступать в Йель! – И он разразился восторженным смехом. – Никаких сомнений! Это точно!

– Мистер Утсономи приехал из Японии, – пояснил Эдди, подмигнув Бэзилу. – Он тоже абитуриент.

– Да, и еще я передумал поступать в Гарвард и в Принстон, – продолжил мистер Утсономи. – У меня на родине мне предоставили право выбирать. Я выбрал здесь!

– Правда? – ответил Бэзил с легким негодованием.

– Конечно, здесь ведь посильнее! Больше простых людей, больше силы – и аромат земли!

Бэзил с удивлением посмотрел на него.

– Вам это нравится? – недоверчиво спросил он.

Утсономи кивнул:

– Здесь я узнаю настоящих американцев! И американских девушек тоже. А в Йеле учатся только мальчики.

– Но здесь ведь нет университетского духа! – снисходительно объяснил Бэзил.

Утсономи бросил непонимающий взгляд на Эдди.

– Ура-ура! – разъяснил Эдди, помахав руками. – Ура-ура-ура! Ну, ты понял.

– И, кроме того, здешние девушки... – начал было Бэзил, но тут же умолк.

– Вы знакомы со здешними девушками? – заулыбался Утсономи.

– Нет, лично я с ними не знаком, – твердо заявил Бэзил. – Но точно знаю, что здесь совсем не такие девушки, которых можно встретить на балах в Йеле. Мне кажется, что здесь и балов-то не устраивают! Я не хочу сказать, что здешние девушки хуже, но они совсем не такие, как те, что бывают в Йеле. Здесь – обычные студентки.

– Я слышал, что ты теперь ухаживаешь за Розой Синклер? – спросил Эдди.

– О да, что ты! Еще как ухаживаю! – с иронией ответил Бэзил.

– В прошлом году по весне они часто звали меня к себе на ужины, но теперь, поскольку ты стал водить ее на танцы по всем клубам...

– Всего доброго! – торопливо произнес Бэзил. Он резко поклонился в ответ на почтительный поклон мистера Утсономи и удалился.

С момента приезда Минни проблема Розы стала приобретать все более и более угрожающие масштабы. В первое время он просто чувствовал по отношению к ней равнодушие и чуть стеснялся ее украшенных кружевами, чудных и старомодных платьев; но теперь, заметив, как безжалостно и упорно его эксплуатируют, он ее возненавидел. Когда она жаловалась на головную боль, в его воображении тут же возникала картина того, как эта боль перерастает в долгую и продолжительную болезнь, от которой она не оправляется вплоть до осени, когда он уедет в университет. Но получаемые им от двоюродного дедушки восемь долларов в неделю должны были оплатить его путь в Нью-Хейвен, и он знал, что, если ему не удастся удержаться на этой работе, мама откажется его отпустить.

Не догадываясь о правде, Минни Библи находила слегка загадочным тот факт, что каждый вечер он танцевал с ней всего лишь один или два танца и при этом был на редкость уныл и молчалив. По крайней мере, на время его равнодушие ее зачаровало; она почувствовала себя слегка удрученной. Но рано созревший эмоциональный характер не позволял ей долго терпеть небрежение, и Бэзилу было мучительно больно видеть, как у него постепенно стали появляться соперники. Бывали моменты, когда цена учебы в Йеле казалась ему чересчур высока.

Он возлагал большие надежды на одно грядущее событие. Вскоре должна была состояться вечеринка в честь отъезда Минни, для которой Кампфы арендовали Университетский клуб; Роза туда приглашена не была. В нужной атмосфере и при благоприятных обстоятельствах ему удастся урвать для себя хотя бы миг ее отъезда; и тогда он будет уверен, что в ее сердце останется его неизгладимый отпечаток.

За три дня до вечеринки он в шесть вечера вернулся с работы домой и обнаружил у себя перед домом лимузин Кампфов, а на крыльце – Минни; она сидела там в одиночестве.

– Бэзил, мне нужно с тобой поговорить, – сказала она. – Ты вел себя по отношению ко мне так непонятно и отстраненно...

Опьяненный ее присутствием на столь знакомом ему крыльце, он не нашел, что сказать в ответ.

– Я сегодня ужинаю с родителями в городе, и у меня есть еще целый час. Давай куда-нибудь пойдём? Я до смерти боялась, что сейчас вернется твоя мама и сочтет, что я поступила дерзко, явившись к тебе в гости без приглашения. – Она говорила шепотом, хотя вокруг никого не было. – Как бы мне хотелось, чтобы родители уволили нашего старого шофера! Он подслушивает...

– Что подслушивает? – спросил Бэзил, у которого тут же вспыхнули подозрения.

– Все!

– Тогда давай поступим так: доедем с ним до дедушкиного дома, а там я возьму наш электромобиль, – предложил он.

Каштановые кудри у нее на лбу раздувал теплый ветер; машина плавно двигалась вдоль Крест-авеню.

То, что ему удалось получить машину, усилило его ликование и заставило его почувствовать себя «на коне». Было одно место, которое он приберегал специально для таких случаев – небольшой спуск с дороги, оставшийся после разбивки Ландшафтного парка; Крест-авеню в этом месте продолжала бежать где-то наверху, ни на кого не обращая внимания, а в миле внизу на отмелях Миссисипи сверкали яркие отблески заходящего солнца.

День напоминал о том, что лето подходит к концу; оно уже миновало свой зенит, и то, что от него оставалось, надо было использовать, пока оно окончательно не исчезло.

В его объятиях она вдруг прошептала:

– Ты для меня самый главный, Бэзил, мне не нужен никто, кроме тебя!

– Но ведь ты только что призналась, что просто кокетничала!

– Да, но это было целую вечность назад! Мне раньше нравилось, когда меня называли легкомысленной – лет в тринадцать-четырнадцать, – потому что мне было все равно, что люди обо мне говорят; но с год назад я начала понимать, что в жизни есть кое-что лучше – честное слово, Бэзил! – и теперь я стараюсь вести себя достойно. Но, боюсь, ангелом я никогда не стану.

Между общественными купальнями и сложенными в штабеля рельсами на другом берегу Миссисипи бледно-багровыми отблесками играла вода. Снизу до них доносились отголоски грохота и свистков с далекой железной дороги; из Ландшафтного парка над их головами плавно спускались зыбкие голоса игравших в теннис детей.

– На самом деле я совсем не умею разговаривать, Бэзил, хотя все думают иначе; глубоко внутри я всегда чувствую именно так, как говорю, но только мне никто не верит. Ты ведь знаешь, как мы с тобой похожи, и если для мальчика это все не имеет никакого значения, то девушка всегда обязана контролировать свои чувства, и мне это дается очень тяжело, потому что я очень эмоциональная!

– А ты с кем-нибудь целовалась с тех пор, как приехала в Сент-Пол?

– Нет.

Он понял, что она лжет, но это была прекрасная ложь. Сейчас друг с другом говорили их сердца, а язык сердца, никогда не считавшегося точным инструментом, состоит исключительно из полуправд и уловок. Они собирали вместе все известные им обрывки романтической реальности и ткали из них друг для друга одежды, ничуть не менее теплые, чем их детская страсть, и ничуть не менее волшебные, чем само их стремление к чуду.

Внезапно он отстранил ее от себя, посмотрел на нее и издал приглушенное радостное восклицание. Оно было здесь, в ее освещенном солнечном свете лице, – оно, то самое обещание, – в изгибе ее губ, и в косой тени от носа у нее на щеке, и в сиявших матовыми отблесками глазах; она обещала вести его туда, где он всегда будет счастлив.

– Скажи: я тебя люблю, – прошептал он.

– Я в тебя влюблена.

– О, нет, это не одно и то же!

Она колебалась:

– Я этого еще никому не говорила.

– Прошу тебя, скажи!

Она стала пунцовой, словно ей стало жарко от закатного солнца.

– На вечеринке! – прошептала она. – Вечером мне будет проще это сказать.

Когда ее лимузин подъехал к его дому, она, не выходя из машины, произнесла:

– Я вот еще почему приехала к тебе: дядя не смог договориться об аренде клуба в четверг, и вечеринка состоится в субботу, вместе с обычными танцами.

Бэзил задумчиво пошел домой; в субботу в Университетском клубе, на тех же самых танцах, устраивала званый ужин Роза Синклер.

VI

Его просто поставили перед фактом. Миссис Рейли в молчании выслушала его неубедительные оправдания и сказала:

– Роза первая пригласила вас в субботу, а среди ее гостей и так уже есть одна девушка без кавалера. Разумеется, если вы предпочтете просто увильнуть от своего обещания и пойти в гости к другим людям, я не решусь предположить, что подумает Роза, но я отлично знаю, что стану думать о вас я!

А на следующий день его дедушка, проходя по складу, остановился и спросил:

– Что там такое вышло с этими приглашениями?

Бэзил начал было объяснять, но мистер Рейли тут же его перебил:

– Не вижу ничего хорошего в том, чтобы ранить чувства девушки! Не торопись, подумай хорошенько.

Бэзил не стал торопиться; днем в субботу его все еще ждали и на том, и на другом ужине, а он так ничего и не решил.

До отъезда в Йель оставался всего месяц; через четыре дня уедет Минни Библ, так и не связавшая себя никакими обязательствами, ничего ему не обещавшая, вопиюще оскорбленная, утраченная навсегда! У не совсем еще расставшегося с юностью Бэзила мгновения, когда он мог трезво оценивать перспективы, чередовались с мгновениями, когда будущее ограничивалось одним лишь

завтрашним днем. Будущая слава, которую олицетворял собой Йель, померкла перед обещаниями одного бесподобного часа.

С другой стороны, перед ним замаячило мрачное видение: Университет штата, и во воротах его туда-сюда летают фантомы, на глазах превращающиеся в безобразных фермеров и девиц. В пять вечера, в порыве презрения по отношению к собственной слабости, он позвонил по телефону и попросил горничную в доме Кампфов передать хозяевам, что он заболел и сегодня прийти не сможет. Но и с тупоумными отбросами своего поколения он время проводить не станет – болен, так уж болен, и для всех! Рейли не в чем будет его упрекнуть.

По телефону ответила Роза, и Бэзил постарался говорить тихим и слабым голосом:

– Роза, я заболел. Лежу сейчас в постели, – как можно более слабым голосом пробормотал он, и добавил: – А телефон у нас стоит прямо у кровати; так что я подумал – пожалуй, позвоню вам сам...

– Вы имеете в виду, что не сможете прийти? – В ее голосе послышались смятение и гнев.

– Мне прописали постельный режим, – упрямо повторил он. – У меня озноб, все болит – я простудился.

– Но, может быть, вы все же придете? – спросила она; больной счел, что тем самым она наглядно продемонстрировала полное отсутствие сообразительности. – Вы просто обязаны прийти! А то у нас получается целых две девушки без кавалеров.

– Я постараюсь прислать к вам кого-нибудь вместо меня, – в отчаянии предложил он; его обезумевший взгляд упал за окно и остановился на особняке через дорогу. – Я попрошу Эдди Пармили.

Роза задумалась. Затем с внезапным подозрением спросила:

– Но ведь вы не появитесь на другой вечеринке?

– О, нет! Они тоже знают, что я заболел.

Роза вновь задумалась. Эдди Пармили был от нее без ума.

– Я все устрою, – пообещал Бэзил. – Я уверен – он придет! У него сегодня как раз свободный вечер.

Несколько минут спустя он перебежал через дорогу. Дверь открыл сам Эдди, на ходу заправлявший галстук-бабочку под воротничок. Бэзил, кое о чем умолчав, торопливо обрисовал ему ситуацию. Сможет ли Эдди пойти вместо него?

– Не смогу, старина, даже если бы очень захотел. Сегодня вечером у меня свидание с девушкой!

– Эдди, ты от этого только выгадаешь! – в отчаянии сказал он. – Я заплачу тебе за потраченное время – скажем, пять долларов?

Эдди задумался; было видно, что он колеблется, но все же он отрицательно покачал головой:

– Оно того не стоит, Бэзил. Эх, ты бы только видел, с какой красавицей я сегодня встречаюсь!

– Встретишься с ней в другой раз! Ты им нужен – я хотел сказать, я им нужен – лишь потому, что у них за ужином девушек будет на две больше, чем мужчин. И еще... Слушай, Эдди, я дам десять долларов!

Эдди хлопнул его по плечу:

– Ладно, старина! Так и быть – помогу старому другу! Давай деньги!

Сумма, превышавшая его недельное жалованье, тут же исчезла в ладони Эдди, но на обратном пути на свою сторону улицы Бэзила окутала пустота совсем иного рода – пустота наступающего вечера. Примерно через час лимузин семейства Кампф подъедет к Университетскому клубу, и... вновь и вновь в его воображении преградой вставала одна и та же горестная картина, видеть которую было выше его сил.

В отчаянии бродил он по темному дому. У горничной сегодня был выходной, мама уехала на ужин к деду, и Бэзилу на мгновение захотелось найти какого-нибудь повесу, вроде Элвуда Леминга, с которым можно было бы сходить в ресторан Карлинга и выпить виски, вина и пива. Быть может, после танцев на обратном пути к дому у озера Минни, проезжая мимо, заметит его лицо в толпе самых отпетых кутил, и ей все станет ясно.

– Пойду к «Максиму» я... – чуть слышно промурлыкал он с отчаянием; а затем с гневом добавил: – Ах, да к черту этот «Максим»!

Он сел в гостиной и стал смотреть на бледную луну, встающую над забором дома Линдсеев на улице Мак-Каббен. Мимо, к трамваю, который следовал до Комо-Парк, шли какие-то молодые люди. Он пожалел их: ведь им была уготована столь ужасная и мрачная судьба – не танцевать им сегодня вечером с Минни в Университетском клубе...

Половина девятого вечера. Она была там. Девять. Между переменами блюд все танцуют под «Занозу в сердце» или танцуют

«кастл-уолк», который привез домой из Йеля Энди Локхарт.

В десять вечера он услышал, как пришла мама, и практически сразу зазвонил телефон. Какое-то время он без всякого интереса прислушивался к маминому голосу; затем резко выпрямился, все еще сидя на стуле.

– Да... Добрый вечер, миссис Рейли... Да-да, я понимаю... Ах... Вы уверены, что не желаете поговорить с Бэзилем?... Что ж, откровенно говоря, миссис Рейли, я не понимаю, при чем тут я...

Бэзил встал и сделал шаг к двери; голос матери стал звонким, а тон – раздраженным:

– Но меня не было дома, поэтому я не знаю, кого он пообещал вместо себя!

Итак, Эдди Пармили все же не пошел – и это был конец!

– ... конечно же нет! Должно быть, произошла какая-то ошибка. Не думаю, что Бэзил на это способен; я уверена, что у него нет знакомых японцев...

Голова Бэзила закружилась. На мгновение ему захотелось броситься на улицу за Эдди Пармили. Но затем он услышал, как в голосе матери прозвучали нотки ничем не прикрытого гнева:

– Очень хорошо, миссис Рейли! Сыну я так и передам. Но я едва ли сочту нужным обсуждать с вами вопрос о его поступлении в Йель. Как бы там ни было, ничья помощь больше ему не потребуется.

Он потерял работу, и мама пыталась «сохранить лицо»! Но она еще не закончила; она даже повысила голос:

– Возможно, дяде Бену это покажется интересным: сегодня днем мы продали квартал на 3-й улице «Объединенной складской компании» за четыреста тысяч долларов!

VII

Мистер Утсономи очень приятно проводил время. За шесть месяцев, которые он прожил в Америке, он никогда еще не погружался столь глубоко во внутреннюю жизнь этой страны. Поначалу возникли легкие трудности с объяснением хозяйке, вместо кого именно он явился в гости, но Эдди Пармили уверил его, что такие замены считались в Америке в порядке вещей, и вечер он провел, пытаясь собрать как можно больше сведений об американских нравах и обычаях.

Он не умел танцевать, поэтому сидел рядом с двумя пожилыми дамами до тех пор, пока дамы не засобирались домой – раньше обычного и с некоторой тревогой, почти сразу после ужина. Но мистер Утсономи не торопился уходить. Он смотрел во все глаза, он всему удивлялся. Ему не было одиноко; в Америке к одиночеству он уже понемногу привык.

Около одиннадцати он сидел на веранде, притворяясь, что курит, хотя на самом деле ненавидел табак; он притворялся, что задумчиво пускает дым над городом, но на самом деле он подслушивал разговор, происходивший прямо у него за спиной. Беседа длилась вот уже полчаса, и ее содержание его озадачило, поскольку это было, безо всяких сомнений, предложение руки и сердца, и оно не было отвергнуто. Но, если его не обманывали глаза, собеседники были в том возрасте, который в Америке обычно не ассоциируется со столь серьезными вопросами. Еще больше его озадачило другое: по всей вероятности, если ты пришел в гости вместо кого-то, то тот, вместо кого ты пришел, среди гостей присутствовать не должен, но он был практически уверен, что молодым человеком, только что связавшим себя обещанием руки и сердца, был не кто иной, как мистер Бэзил Ли! Прямо сейчас вступать в разговор было бы невежливо, но, когда осенью начнутся занятия в Университете штата, у него еще будет возможность учтиво спросить, как же решается эта головоломка?

Бэзил и Клеопатра

I

Где бы она ни была, в ее присутствии все вокруг становилось для Бэзила прекрасным и волшебным, хотя сам он об этом и не догадывался. Ему казалось, что очарование было свойством самих этих мест, и впоследствии еще долго самая обычная улица или даже название самого обыкновенного городка могли внезапно озарить его знакомым светом и отдаться эхом в ушах, наполнив душу радостью. Рядом с ней он всегда был слишком погружен в собственные ощущения, чтобы замечать окружающее; вот почему ее отсутствие никогда не оставляло вокруг него пустоту, а, лучше сказать, заставляло искать ее в призрачных комнатах и садах, сущность которых он никогда раньше не замечал.

И в этот раз, как и всегда, он видел лишь ее лицо, лишь ее прекрасные губы, выражавшие любое чувство, которое она испытывала, либо притворялась, что испытывала – ах, эти бесценные губы! – и ее саму, свежую, словно персик, и ничуть не старше шестнадцати! Он едва понимал, что сейчас они находятся на железнодорожном вокзале, и даже не подозревал, что только что она бросила взгляд на стоявшего у него за спиной молодого человека, и сразу в него влюбилась! В тот самый момент, когда она разворачивалась, чтобы идти, как и все остальные, к машине, она уже играла для незнакомца, несмотря на то, что ее голос все еще разговаривал с Бэзилом, и даже несмотря на то, что она к нему прижалась, крепко схватив его за руку.

Если бы Бэзил и заметил этого сошедшего с поезда молодого человека, то почувствовал бы по отношению к нему лишь легкое сожаление – точно такое же, как и к жителям убогих деревушек, мимо которых пробегал поезд, или к попутчикам, ведь все они, увы, не уезжали через две недели учиться в Йель, и не у них впереди было

целых три дня в городе, где пребывала сама мисс Эрмини Гилберт Лабусс Библ! Все эти бедолаги казались ему безнадежно ограниченными и вызывали легкое презрение.

Бэзил приехал сюда потому, что здесь пребывала Эрмини Библ.

Месяц назад, в печальный вечер ее отъезда из родного города Бэзила на западе страны, она сказала ему, вложив в свой уверенный голос все возможные обещания:

– Если у тебя есть знакомый в Мобиле, почему бы тебе не попроситься к нему в гости на то время, пока там буду я?

И он ее послушал. А теперь, когда вокруг него и в самом деле благоухал мягкий и незнакомый воздух Юга, от волнения ему показалось, что, едва они уселись на сиденья, как машина «Толстяка» Гаспара тут же пустилась вплавь. С обочины неожиданно донесся голос:

– Привет, Бесси Белл! Привет, Уильям. Как поживаете?

Незнакомец был худ и высок; он был примерно на год старше Бэзила. На нем был белый льняной костюм, на голове – панама, из-под которой сверкал горячий непреклонный взгляд уроженца Юга.

– О, Малыш Ле-Мойн! – воскликнула мисс Чивер. – И давно ты вернулся домой?

– Только что, Бесси Белл. И сразу же увидел тебя, прекрасную и великолепную, и не смог удержаться, чтобы не подойти поближе и не рассмотреть повнимательней!

Его представили Минни и Бэзилу.

– Подбросить тебя, Малыш? – спросил «Толстяк», которого на самом деле звали Уильям.

– Ну... – Ле-Мойн задумался. – Спасибо, конечно, но меня должны встретить на машине...

– Запрыгивай!

Ле-Мойн бросил свою сумку прямо на чемодан Бэзила и с вежливыми формальностями уселся рядом на заднее сиденье. Бэзил поймал взгляд Минни, и она в ответ улыбнулась, словно бы говоря: «Ничего хорошего, конечно, но терпеть совсем недолго».

– А вы, мисс Библ, случайно, не из Нового Орлеана? – спросил Ле-Мойн.

– Да, точно!

– А я как раз только что оттуда – мне там рассказывали, что их самая знаменитая сердцеедка сейчас гостит здесь, а ее поклонники по всему городу рвут на себе волосы и бросаются из окон. Чистая правда! И когда их останками были усыпаны все тротуары, было невозможно пройти, и мне приходилось иногда помогать их собирать...

«Слева, наверное, Мобилский залив, – подумал Бэзил. – Там лунная дорожка, как всегда на Юге, а на берегу черные грузчики из порта поют „В Мобил, в Мобил“»...

По обеим сторонам дороги в мягкой тени густого яркого плюща скрывались дома; балконы укрывались сетчатыми кринолинами, а из заросших садов по вечерам доносились звуки гитар.

Было очень тепло; голоса звучали размеренно, ведь нашлось бы время поговорить обо всем на свете, и даже голос Минни, отвечавший на болтовню юноши со смешной кличкой, звучал медленнее и ленивее; Бэзил никогда раньше не обращал особого внимания на то, что она была уроженкой Юга. Машина остановилась у больших ворот; за ароматными деревьями проглядывал выкрашенный желтой краской дом. Ле-Мойн вышел:

– Я искренне надеюсь, что вам обоим здесь понравится! Я, с вашего позволения, нанесу несколько визитов и постараюсь сделать так, чтобы вы получили еще больше удовольствия от пребывания у нас. – Он надел панаму. – Желаю вам приятно провести день!

Когда они поехали дальше, Бесси Белл обернулась и улыбнулась Минни.

– Ну, что я говорила? – спросила она.

– Я еще на вокзале догадалась! Еще до того, как он подошел к машине! – сказала Минни. – Что-то мне подсказало, что это – он!

– Не правда ли, он очень красив?

– Просто чудесный! – ответила Минни.

– Конечно, он обычно возвращается в компании постарше...

Бэзилу это продолжительное обсуждение показалась несколько неуместным. В конце концов, этот юноша был просто проживавшим в этом городке южанином из глубинки; если к этому добавить еще и то, что он вращался в компании постарше, то о его существовании не стоило так уж настойчиво упоминать.

Но тут к нему повернулась Минни, произнесла: «Бэзил!», призывно изогнулась и скромно сложила руки на коленях, как бы в ожидании;

эти жесты неизменно вызывали в его сердце волнение.

– Мне очень нравятся твои письма, – сказала она.

– Жаль, что ты на них не отвечаешь.

– У меня ни минутки свободной не было, Бэзил! Я ездила в гости – в Чикаго, а затем в Нэшвилл. Я даже дома не была. – Она стала говорить потише. – Папа с мамой разводятся, Бэзил. Ужас, правда?

Он поначалу изумился, но через некоторое время свыкся с этой мыслью, связав ее с Минни. Ему стало ее очень жалко. Благодаря этой романтической связи мысль о разводе с тех пор никогда не вызывала у него потрясения.

– Вот почему я тебе не писала. Но я много думала о тебе. Ты мой самый лучший друг, Бэзил! Ты меня всегда понимаешь...

В Сент-Поле они, определенно, расстались совсем на другой ноте. С его губ вдруг сорвалась ужасная сплетня, хотя он вовсе и не собирался об этом говорить.

– А что это за Бейли, с которым ты познакомилась в Лейк-Форест? – небрежным тоном спросил он.

– Базз Бейли? – Ее большие глаза удивленно распахнулись. – Он очень красив, чудесный танцор, мы с ним просто друзья. – Она нахмурилась. – Могу поспорить, что Конни Дэйвис рассказывает невесть что по всему Сент-Полу! Честное слово, мне так надоели эти девицы, которые из ревности или просто от нечего делать сидят, бьют баклуши и критикуют всех, кто умеет хорошо проводить время!

Теперь он был совершенно уверен, что в Лейк-Форест что-то было, но ему удалось скрыть от Минни пронзившую его острую боль.

– Ну да ладно, кто бы говорил! – Она вдруг улыбнулась. – Ведь всем известно, что мистера Бэзила Дьюка Ли в постоянстве еще никто не упрекал!

Обычно такого рода намеки считаются лестными, но на этот раз тон был таким небрежным, почти равнодушным, что беспокойство Бэзила усилилось, и внезапно произошло то, что можно было сравнить лишь с разорвавшейся бомбой.

– Можешь не беспокоиться о Баззе Бейли. Сейчас мое сердце совершенно свободно и я ни в кого не влюблена!

Не успел он понять всю чудовищность услышанного, как машина остановилась у дверей дома Бесси Белл Чивер, и девушки взбежали по ступенькам, крикнув:

– Увидимся днем!

Бэзил машинально пересел на переднее сиденье, поближе к своему приятелю.

– А ты там будешь играть в футбол, Бэзил? В команде первокурсников? – спросил Уильям.

– Что? Ах да, конечно, если сдам два экзамена. – В сердце у него не было никаких «если»; в жизни для него не было ничего важнее.

– Наверное, легко попасть в команду первокурсников. Этот вот парень, Малыш Ле-Мойн, осенью уезжает учиться в Принстон. Он играл в команде Военного института Виргинии, был там «эндом».

– А откуда у него эта дурацкая кличка?

– Ну, его всегда так звали в семье, все и подхватили. – Сделав паузу, он добавил: – А он ведь все-таки пригласил их на танцы в загородный клуб сегодня вечером!

– Когда же он успел? – с удивлением спросил Бэзил.

– Да вот, успел... Они об этом и говорили. Я хотел сам их пригласить, стал постепенно переводить разговор в нужное русло, а он – тут как тут, не успел я и глазом моргнуть! – Он вздохнул, виня себя в неудаче. – Ну, ладно. По крайней мере, увидимся с ними там.

– Конечно. Какая разница, кто их пригласил? – сказал Бэзил.

Но разве это «Толстяк» был виноват? Разве не могла Минни сказать в ответ: «Но ведь Бэзил ради меня приехал сюда издалека, и в первый вечер я конечно же должна быть с ним!»

Что же такое стряслось? Месяц назад в тускло освещенном и гулко здании Центрального вокзала Сент-Пола они зашли за багажную тележку – и Бэзил поцеловал Минни, а ее глаза сказали: «Еще!» До самого конца, пока она не скрылась в клубах пара за вагонным окном, она принадлежала ему – такие вещи не подвластны сознанию, они подвластны лишь чувствам. Он был сбит с толку. Все это было совсем не похоже на Минни, которая, несмотря на присущий ей блеск популярности, всегда отличалась добротой. Он стал думать, не оскорбило ли ее что-нибудь в его письмах, и принялся искать у себя новые недостатки. Возможно, сегодня утром он вел себя не так, как ей нравится? Веселое настроение, с которым он приехал, вдруг куда-то испарилось.

Днем они играли в теннис, и она была такой же, как и всегда; она восхищалась его сильными ударами; случайно оказавшись рядом с

ним у сетки, она вдруг похлопала его по руке. Но позже, когда они сидели на большом тенистом крыльце особняка Чиверов и пили лимонад, им не удалось побыть наедине буквально ни минутки. Случайно ли, вернувшись с корта, она взяла и села прямо перед ним, рядом с «Толстяком»? Прошлым летом она так и норовила остаться с ним наедине – под любыми предлогами. Чувствуя, что находится на грани, он ушел переодеться, чтобы ехать на танцы в загородный клуб – вот-вот ему должна была открыться какая-то ужасная правда...

Клуб находился в небольшой лощине, почти скрытой, словно крышей, кронами ив – сквозь их черные силуэты вниз падали неровные капли и пятна лунного света. Когда они ставили машину на стоянку, из окон до Бэзила донеслась его любимая мелодия «Китайский квартал», тут же распавшаяся на отдельные ноты, разбежавшиеся по поляне, словно эльфы. Его сердце стало биться быстрее, у него перехватило дыхание; пульсирующая тропическая тьма наполнила сердце романтикой, о которой он мечтал. Но, оказавшись с ней лицом к лицу, он почувствовал себя слишком маленьким и бессильным, чтобы насладиться блаженством, которого жаждала его душа. Танцуя с Минни, он ощущал стыд за то, что навязывает ей свою брентную сущность в этой чудесной стране фей, чьи незнакомые фигуры с каждой минутой обретали в его глазах все большую и большую красоту и великолепие. Он стал бы здесь королем, если бы она протянула к нему руки и притянула к себе нежными речами; но она лишь сказала:

– Не правда ли, Бэзил, здесь чудесно? Мне еще никогда не было так хорошо...

Стоя среди нетанцующих мужчин и разговаривая с Ле-Мойном, Бэзил почувствовал что-то вроде ревности и некую незнакомую робость. Долговязая фигура, упорно нависавшая над Минни во время танца, вызывала у него раздражение, но никакой неприязни к нему он не испытывал, а рассудительные замечания, которыми Ле-Мойн обменивался с проходящими мимо девушками, его даже забавляли. Бэзил и Уильям Гаспар были здесь самыми младшими ребятами, а Бесси Белл и Минни – самыми юными девушками, и впервые в жизни Бэзилу страстно захотелось стать постарше, чтобы быть не столь впечатлительным и не столь впечатленным. Ему хотелось выглядеть пресыщенным и спокойным, но он вздрагивал всякий раз, услышав

какой-нибудь новый запах, новую мелодию или замечая нечто доселе невиданное. Недовольный собой, он чувствовал, как целый прекрасный мир струится по нему, словно лунный свет, давит на него, заставляя то вздыхать, то задыхаться, а он беспомощно барахтается в своем избытке юности, за который не меньше сотни присутствовавших здесь взрослых отдали бы, не задумываясь, несколько лет своей жизни.

На следующий день, когда он встретился с ней в мире, вновь ужавшемся до обычной реальности, все вокруг стало выглядеть более естественным, но чего-то все-таки не хватало, и он никак не мог заставить себя быть любезным и веселым. Это смотрелось бы, словно храбрость после битвы. Ведь именно таким ему надлежало быть вчера вечером! Вчетвером, но не парами, они поехали в центр города, в фотоателье, чтобы забрать фотографии Минни. Бэзилу понравилась одна фотография, которая не понравилась больше никому, – ему показалось, что на ней Минни выглядела как тогда, в Сент-Поле, так что он заказал напечатать две штуки – одну для нее, а вторую для себя; карточку должны были прислать ему в Йель. Весь день она вела себя рассеянно, что-то тихо напевала; но когда они вернулись в особняк Чиверов, она буквально взлетела по ступенькам, услышав донесшийся из дома звук телефонного звонка. Разговор длился минут десять; вышла она угрюмой и хмурой, и Бэзил случайно услышал, как она коротко сказала подруге:

– Он не сможет!

– Как жаль!

– ... вернется только в пятницу...

Уехать куда-то мог только Ле-Мойн – и для Минни это что-то значило! В тот же миг, не в силах более выдержать крушение своих надежд, он с несчастным видом встал и предложил Уильяму ехать домой. К его удивлению, у него на руке тут же оказалась рука Минни, хотевшей его задержать.

– Не уходи, Бэзил! Я ведь с самого твоего приезда, кажется, и минутки с тобой не побыла!

Он грустно рассмеялся:

– Разве ты заметила?

– Бэзил, не валяй дурака! – Она закусила губу, словно обидевшись. – Пойдем посидим на веранде.

Он тут же просиял, исполнившись надежды на счастье. Его успокоила ее нежная улыбка, словно порожденная самой свежестью чувств, и он с благодарностью принялся жадно пить ее лживые уверения, словно прохладную воду. Свет заходящего солнца окрасил ее щеки неземным сиянием, которое он видел на них и раньше, и она ему сказала, что вовсе не хотела принимать приглашение Ле-Мойна и что она удивилась и обиделась, когда вчера вечером Бэзил к ней даже не подошел.

– Тогда, прошу тебя, Минни, – взмолился он, – позволь мне хоть раз тебя поцеловать!

– Только не здесь, глупенький! – воскликнула она.

– Тогда пойдем в беседку; мы ведь ненадолго...

– Бэзил, я не могу! Бесси Белл и Уильям на крыльце. Как-нибудь в другой раз.

Он в смятении на нее посмотрел, не в силах решить, верить или не верить, и она тут же сменила тему разговора:

– Бэзил, я уезжаю учиться в школу мисс Бичер. Она находится всего в паре часов езды от Нью-Хейвена. Осенью ты сможешь приехать меня навестить. Единственное «но»: я слышала, что там приходится встречаться в специальных застекленных комнатах, вроде оранжерей, где за тобой присматривают. Ужас, правда?

– Да, ужас! – с чувством согласился он.

Уильям и Бесси Белл ушли с веранды и стояли перед притормозившим на дороге автомобилем, с кем-то болтая.

– Минни, пойдем сейчас же в беседку! Всего на минутку! Они далеко!

Ее лицо стало упрямым и неподвижным.

– Я не могу, Бэзил. Разве ты не видишь – я не могу?

– Почему? Ведь завтра я уезжаю...

– О, нет!

– Но я не могу не ехать! У меня осталось всего четыре дня, чтобы подготовиться к экзаменам. Минни...

Он взял ее за руку. Ее рука спокойно устроилась в его руке, но когда он попытался потянуть ее и заставить подняться, она резко выдернула руку. Качели, на которых они сидели, пришли от этой борьбы в движение, и Бэзил выставил ногу, чтобы их остановить. Какой ужас – качаться, находясь в столь безнадежной ситуации!

Она положила руку ему на колено:

– Я больше не целуюсь, Бэзил. Честное слово! Я выросла: в мае мне исполнится семнадцать.

– Могу поспорить, что с Ле-Мойном ты целовалась! – с горечью сказал он.

– Это – довольно дерзкое замечание...

Бэзил встал с качелей.

– Я, пожалуй, пойду...

Взглянув на него, она подвергла его хладнокровной оценке – раньше она никогда этого не делала; у него было сильное и изящное тело; под загорелой кожей просвечивал густой и теплый румянец; волосы были черные и блестящие – когда-то это казалось ей столь романтичным... И еще она чувствовала – впрочем, это чувствовали все, даже те, кому он не нравился, – что в его лице было нечто особенное: какой-то знак судьбы, какая-то отметка, что-то такое настойчивое, что было сильнее обычной воли, – некая присущая ему потребность оставить свой след в этом мире и заставить его крутиться по-своему. Но для нее ничего не значило, что он, скорее всего, станет популярной фигурой в Йеле и что было бы здорово попасть туда в качестве его девушки в этом году. Ей никогда не требовалось прибегать к расчету. Все еще во власти сомнений, она мысленно представила себя рядом с ним, и тут же его от себя оттолкнула. На свете было так много мужчин, и все они желали ее! Если бы прямо сейчас рядом оказался Ле-Мойн, она бы не испытывала вообще никаких сомнений – ничто было не в силах помешать таинственному блаженству этого зарождавшегося романа; но Ле-Мойн уехал на три дня, и она не могла прямо сейчас отпустить от себя Бэзила.

– Оставайся до среды, и я... Я сделаю то, что ты хочешь! – сказала она.

– Но я не могу! У меня ведь экзамены, мне надо готовиться. Мне вообще было бы лучше уехать сегодня днем.

– Подготовишься в поезде, по дороге.

Она изогнулась, сложила руки на коленях и улыбнулась ему. Внезапно он схватил ее за руку, потянул – она встала, и он повел ее в прохладную тьму, к увитой плющом беседке.

II

В Нью-Хейвен Бэзил вернулся в следующую пятницу и приступил к занятиям, пытаясь втиснуть в два дня то, на что требовалось дней пять, не меньше. В поезде он ничего не делал; вместо занятий всю дорогу он провел в трансе, думая о Минни и силясь угадать, что же там происходит сейчас, когда вернулся из своей поездки Ле-Мойн. Она сдержала свое обещание в буквальном смысле – поцеловала его в беседке на следующий вечер, всего раз и без всякой охоты. В день его отъезда принесли телеграмму от Ле-Мойна, и в присутствии Бесси Белл она не осмелилась поцеловать его даже на прощание. В качестве утешения ему было дано разрешение навестить ее в первый же день, когда в школе мисс Бичер будут разрешены свидания.

Начались занятия в университете; вместе с Бриком Уэльсом и Джорджем Дорси Бэзил поселился в Райт-холле, в квартире с двумя спальнями и кабинетом. До объявления результатов экзамена по тригонометрии играть в футбол ему не разрешалось; он сходил на тренировку команды первокурсников, проходившую на йельском стадионе, и выяснил, что роль квотербека сейчас оспаривали Каллум, капитан прошлогоднего состава команды Андовера, и Данзигер, из старшей школы в Нью-Бедфорде. Ходили слухи, что Каллума все же поставят халфбеком. Все остальные квотербеки показались ему так себе, и Бэзилу страстно захотелось поскорее оказаться на пружинистом торфе этого поля вместе со своей командой. Он не сомневался, что ему вполне удастся, по крайней мере, вписаться в команду и сыграть несколько игр.

За всем этим, словно луч света из-за туч, проглядывал образ Минни; до встречи оставалась неделя, три дня, сутки... Накануне свидания в овальном дворе Хаутон-холла он случайно встретился с «Толстяком» Гаспаром, который учился в Шеффилдском колледже. Первые недели выдались очень напряженными, и они почти не виделись; а тут оказалось, что им по пути, и можно немного поболтать по дороге.

– А мы сюда ехали все вместе, – сказал «Толстяк». – Эх, жаль тебя с нами не было! Поездка получилась с приключениями. Минни с «Малышом» Ле-Мойном попали в историю...

У Бэзила кровь застыла в жилах.

– Потом-то было смешно, но на какое-то время она не на шутку испугалась, – продолжил «Толстяк». – Она ехала в купе с Бесси Белл, а ей захотелось побыть наедине с «Малышом»; так что днем Бесси Белл ушла к нам играть в карты. Ну, вот... А через два часа мы с Бесси Белл пошли обратно, и видим, что Минни и «Малыш» стоят в коридоре вагона и ругаются с кондуктором; Минни была белая как полотно. Оказывается, они заперли дверь, задернули шторы на окнах и, наверное, стали там обниматься. Кондуктор пришел проверить билеты, постучал в дверь, а они подумали, что это мы решили над ними подшутить, и решили его не пускать; когда они все же открыли, кондуктор был в ярости. Он спросил у «Малыша», в своем ли он находится купе, спросил, женат ли он на Минни, и сказал, что запирать двери имеют право только муж и жена, и «Малыш» вспылil, пытаясь объяснить, что они не делали ничего предосудительного. Он сказал, что кондуктор оскорбил Минни, и хотел его побить. Но этот кондуктор мог бы доставить кучу неприятностей – уверяю тебя, мне жутко досталось, пока я улаживал все это дело!

На следующий день Бэзил отправился в школу мисс Бичер, живо представив себе каждую деталь, с вновь пробудившейся острой ревностью, завидуя даже тому, что им на долю выпало пережить совместную беду в вагонном коридоре. Сияющая и горячая, еще более, чем всегда, тайно желанная, украшенная своими грехами, словно звездами, она спустилась к нему в простом белом форменном школьном платье, и его сердце перевернулось под ее ласковым взглядом.

– Как чудесно, что ты приехал, Бэзил! Я так взволнована – в первый же день ко мне приехал поклонник! Мне все завидуют!

Со всех сторон их окружали застекленные двери, висевшие на петлях, словно французские окна. Было жарко. В помещении, находившемся через три комнаты от них, находилась еще одна пара – девушка с братом, как объяснила Минни, – и время от времени они беззвучно двигались и жестикулировали, и в этих тесных теплицах они

смотрелись как нечто инородное, словно ваза с искусственными цветами на столе. Бэзил нервно шагал взад-вперед:

– Минни, когда-нибудь я стану знаменитым, и все, что я совершу, я буду совершать ради тебя! Я понимаю, что я тебе уже надоел. Я не понимаю, как это произошло, – видимо, на твоём пути возник кто-то другой; это неважно. Нам некуда спешить. Я лишь хочу... Ну, чтобы ты запомнила меня другим... Думай обо мне так, как раньше, не считай меня просто ещё одним ухажером, которого ты бросила! Возможно, нам с тобой лучше не видеться какое-то время – я имею в виду, на балу этой осенью. Подожди, и я обязательно совершу какой-нибудь подвиг или великое дело – ну, ты меня понимаешь. Тогда я принесу к твоим ногам трофеи и скажу, что все это я завоевал для тебя!

Это прозвучало очень по-юношески, весьма грустно и бессмысленно. В какой-то момент, находясь во власти происходящей трагедии, он чуть не расплакался, но все же смог взять себя в руки. На лбу у него выступил пот. Минни сидела напротив него на диване и несколько раз повторила:

– Разве мы не можем остаться друзьями, Бэзил? Я всегда считала тебя своим самым лучшим другом!

Ближе к концу свидания она со снисходительным видом встала:

– Пойдем, я покажу тебе нашу молельню!

Они поднялись наверх, и он с грустью заглянул в маленькую темную комнатку – а в полуярдe от него была она, издававшая сладкий аромат, самая что ни на есть настоящая. Он испытывал почти что радость, когда похороны его надежд подошли к концу и он смог выйти из здания школы на свежий осенний воздух.

Вернувшись в Нью-Хейвен, он обнаружил у себя на письменном столе два письма. Одно из них было из деканата – это было уведомление о том, что экзамен по тригонометрии он не сдал и поэтому не получит разрешения играть в университетской футбольной команде.

Во втором была фотография Минни – та самая, которая ему понравилась, которую он заказал в Мобиле. Поначалу его озадачила надпись на карточке: «М. Л. от Э. Г. Л. Б. Поезда вредны для сердца»; затем он вдруг понял, что произошло, и, упав на постель, затрясся от истерического смеха.

III

Через три недели, записавшись на переэкзаменовку по тригонометрии, Бэзил сдал экзамен; после этого у него появилось время грустно осмотреться вокруг, чтобы понять, осталось ли для него в жизни хоть что-нибудь. Впервые с тех самых пор, как закончился первый, жуткий, год в школе, ему приходилось переживать столь тягостный период; и впервые к нему пришло осознание того, что он учится в Йеле. В нем вновь пробудилась способность к романтическому видению, и поначалу с равнодушием, а затем с растущей уверенностью он стал предпринимать шаги к тому, чтобы впитать в себя университетский дух, столь долго служивший пищей его мечтам.

«Хочу стать главным редактором в „Новостях“ или в „Хронике“, – совсем, как раньше, подумал он в одно октябрьское утро. – И еще хочу, чтобы у меня на форме появилась буква и чтобы меня выбрали в „Череп и кости“!»

Едва перед ним возникали образы Минни и Ле-Мойна в поезде, как он сразу же принимался повторять про себя это предложение, словно заклинание. Ему уже было стыдно за то, что он задержался в Мобиле; стали проходить один за другим целые часы, когда он о ней почти и не вспоминал...

Половину футбольного сезона он уже пропустил, и к команде первокурсников он присоединился, ни на что не надеясь. В своем черно-белом спортивном свитере школы Св. Риджиса, затерявшемся среди разноцветного попури сорока других школ, он с завистью смотрел на пару дюжин счастливиц в голубых спортивных свитерах Йеля. К исходу четвертого дня тренировок он почти примирился с тем, что до конца сезона так и останется прозябать в неизвестности, как

вдруг раздался голос помощника тренера Карсона, обращенный к толпе запасных:

– Это кто там только что пасовал?

– Я, сэр!

– А почему я тебя раньше не видел, а?

– Я только что получил разрешение играть.

– Сигналы знаешь?

– Да, сэр!

– Ладно, тогда берешь команду в поле: энды – Кратч и Биспем; таклы...

Миг спустя он услышал собственный голос, отрывисто выкрикивавший в бодрящий воздух:

– Тридцать-два! Шестьдесят-пять! Шестьдесят-семь! Двадцать-два...

Раздался общий смех.

– Секундочку! Это где тебя научили так давать сигналы? – спросил Карсон.

– Сэр, у нас был тренер из Гарварда!

– Тебе придется отучиться от этой хаутоновской манеры! А то парни испугаются!

Через несколько минут вызвали их команду; всем сказали надеть шлемы.

– Где Уэйт? – спросил Карсон. – Контрольная, да? Ну ладно, тогда пойдешь ты – как там тебя? – эй, ты, в черно-белом свитере?

– Ли!

– Ты подаешь сигналы. Посмотрим, получится ли у тебя хоть немного расшевелить эту компашку? Кое-кто из твоих гардов и таклов такие здоровые, что прям сейчас хоть в университетскую сборную! Держи их в форме, м-м-м... Как там тебя?

– Ли!

Они выстроились в линию на двадцать третьем ярде, как первокурсники; мяч был у них. Им разрешили делать сколько угодно даунов, но когда после полудюжины моментов оказалось, что они все еще на той же линии, где начали игру, мяч перешел другой команде.

«Ну вот! – подумал Бэзил. – Теперь мне больше не играть!»

Но через час, когда они выходили из автобуса, Карсон спросил:

– Ты сегодня днем взвешивался?

– Да! Сто пятьдесят восемь фунтов.

– Позволь мне дать тебе один совет! Ты пока играешь как школьник. Тебе все еще кажется, что остановить противника – достаточно. Но здесь задача другая: умотать их как можно сильнее, – а когда они вымотаются, то победа у нас в кармане. Ты мяч выбивать умеешь?

– Нет, сэр.

– Н-да... Жаль, что ты не появился у нас раньше...

Через неделю его имя оказалось в списке игроков, которые отправлялись на игру с Андовером. Перед ним в списке было еще двое квотербеков: Данцигер и еще один атлет по имени Эпплтон, напоминавший резиновый мячик, – и всю игру Бэзил просидел на скамейке запасных. Но в следующий вторник, когда Данцигер потянул на тренировке руку, Бэзил получил указание пересесть в столовой за диетический стол, где питался основной состав команды.

Накануне игры с командой первокурсников из Принстона студенческий городок практически вымер – все уехали на матч, который должен был состояться на принстонском стадионе. Была уже глубокая осень, с запада дул бодрящий ветер; возвращаясь к себе после итогового разбора предстоящего матча, Бэзил почувствовал, как им овладела знакомая жажда славы. Ле-Мойн был эндом в принстонской команде, и где-нибудь на трибуне, возможно, будет Минни, но теперь, когда он бежал по пружинящей лужайке перед стадионом «Осборн», уклоняясь от воображаемых таклов, этот факт уже не казался ему важным по сравнению с предстоящим матчем. Как и большинству американцев, ему редко удавалось вполне прочувствовать тот самый момент, когда можно без всяких натяжек сказать себе: «Вот она, та самая точка, от которой отныне будет вестись отсчет всему; настал мой звездный час!»; он чувствовал, что прямо сейчас с него вполне довольно и настоящего. Предстоящие два часа он собрался провести там, где жизнь текла в желанном для него темпе.

День выдался ясным и прохладным; по трибунам рассредоточилась бесстрастная публика – в основном горожане. Игроки принстонской команды, облаченные в форму с косыми полосками, выглядели крепкими и уверенными в себе, и взгляд Бэзила нашел среди них Ле-Мойна – и тут же хладнокровно отметил, что двигается он на редкость

быстро и обладает атлетической фигурой, что было незаметно, когда он носил костюм. Повинуясь внезапному порыву, Бэзил обернулся и стал искать среди публики Минни, но ее нигде не было видно. Через минуту раздался свисток; сидя рядом с тренером, он полностью сконцентрировался на игре.

Вся первая половина матча прошла между тридцатиярдовыми линиями. Основные принципы нападения по йельской системе казались Бэзилу чересчур простыми и менее эффективными, чем азы системы Хаутона, которые он почерпнул в школьной команде; тактика Принстона, развивавшаяся в тени великого Сэма Уайта, строилась вокруг пантеров и была направлена на прорыв. Наступил перерыв – Йель вел по очкам. В начале второго периода Принстон потерял мяч, и Эпплтон забросил гол навесом с тридцатиярдовой линии.

В тот день больше ничего ему сделать не удалось. После следующего кикоффа он получил травму и под крики болельщиков покинул поле в сопровождении доктора.

Очень сильно волнуясь, на поле выбежал Бэзил. Его обуревало всеподавляющее чувство неизвестности – казалось, что кто-то другой внутри него выкрикивает первые сигналы и перебрасывает неудачный пас через линию. Понемногу заставив себя сосредоточиться на поле, он встретился глазами с Ле-Мойном – Ле-Мойн широко ему улыбнулся. Бэзил дал сигнал, означавший резкий пас через линию, и выполнил его сам, пройдя семь ярдов. Отправил Каллума обойти такла, прошел еще три ярда – и это был первый даун! На линии сорока ярдов, почувствовав большее пространство для маневра, его голова стала работать плавно и уверенно. Быстрые пасы встревожили принстонского фуллбека – и, как следствие, проходы пробежками к следующей линии стали в среднем по четыре ярда вместо двух.

На сороковой линии принстонской половины поля он отступил, чтобы разорвать строй, и попробовал пройти с края Ле-Мойна, но Ле-Мойн укрылся за оказавшимся между ними халфбеком и ухватил Бэзила за ногу. Бэзил яростно стряхнул его с себя, но было уже поздно – халфбек сбил его с ног. И вновь Ле-Мойн широко ему улыбнулся, и Бэзил его возненавидел. Он дал сигнал играть на том же краю – Каллум пронес мяч, и они отбросили Ле-Мойна на шесть ярдов, на тридцать вторую линию принстонской половины поля. Кажется, он стал двигаться помедленнее. Ну, так вымотаем же его! По системе

требовался пас, но он услышал свой голос, вновь потребовавший играть на том же краю. Он побежал вдоль линии; увидел, что мешавший ему халфбек исчез, а Ле-Мойн, стиснув зубы, бежит на него. Вместо того чтобы попытаться прорваться, Бэзил развернулся и постарался возвратиться на свою половину поля. Когда его перехватили, он потерял пятнадцать ярдов.

Спустя несколько минут мяч перешел к противнику, и Бэзил отбежал в очковую зону, подумав про себя: «Была бы у нас замена, меня бы наверняка заменили».

Команда Принстона внезапно словно пробудилась ото сна. Сильный пас позволил пройти тридцать ярдов. Только что вышедший на поле новый халфбек прорвался через линию и заработал еще один тачдаун. Йельская команда была в обороне, но катастрофа произошла столь неожиданно, что они даже не успели о ней догадаться. Ее накликал Бэзил, став частью хорошо отработанного сценария; слишком поздно он заметил, как мяч вылетает с линии розыгрыша к свободному эндю; Бэзила ловко блокировали, и он увидел, как принстонские запасные запрыгали у себя на скамейке, размахивая пледами; Принстон забил гол.

Он встал на место с тяжелым сердцем, но способность трезво мыслить он при этом не утратил. Любые ошибки можно исправить – лишь бы только его не удалили с поля. Прозвучал свисток, означавший конец тайма; усевшись прямо на газон вместе со своей вымотанной командой, он заставил себя поверить, что они ему по-прежнему доверяют, и постарался выглядеть решительным и уверенным, и не отводил взгляда, когда кто-нибудь смотрел ему в глаза. Хватит уже на сегодня ошибок!

При киккоффе он опять пробежал с мячом до тридцать пятой линии, и они принялись постепенно наверстывать упущенное. Резкие пасы, слабое место в виде одного из таклов с края Ле-Мойна... А Ле-Мойн выдохся! С перекошенным и упрямым лицом он, ничего не замечая, врезался прямо в защитника; игрокам с мячом – и Бэзилу, и другому – удалось от него уйти.

Осталось еще тридцать ярдов... двадцать... Опять на пути Ле-Мойн! Освободившись от пытавшихся его блокировать игроков, Бэзил поймал усталый взгляд южанина и нарочито громко его оскорбил:

– Ты сдох, Малыш! Тебя давно пора заменить!

С самого начала следующего игрового момента он пошел прямо на него, и когда Ле-Мойн яростно бросился в атаку, Бэзил бросил мяч; тот пролетел у Ле-Мойна над головой – гол! Йель -10, Принстон – 7. И вновь движение вперед и назад по полю, и с каждой минутой у Бэзила словно бы прибавлялось сил, и вот-вот будет еще один гол; но вдруг игра закончилась...

Устало шагая с поля, Бэзил оглядел трибуны – ее нигде не было видно.

«Интересно, заметила ли она, как я свалял дурака? – подумал он; а затем с горечью добавил: – А если и нет, так он ей расскажет!»

И у него в ушах зазвучал этот рассказ, этот мягкий южный акцент, столь убедительный, перед которым она не смогла устоять там, в поезде... Когда час спустя он вышел из раздевалки, то столкнулся нос к носу с Ле-Мойном, выходящим в этот момент из соседней раздевалки. Ле-Мойн посмотрел на Бэзила неуверенно и сердито.

– Привет, Ли. – Слегка поколебавшись, он добавил: – Поздравляю с победой!

– Привет, Ле-Мойн, – через силу ответил Бэзил.

Ле-Мойн отвернулся; затем опять повернулся к Бэзилу.

– В чем дело? – спросил он. – Желаешь продолжить?

Бэзил промолчал. Лицо в синяках и забинтованная рука слегка смягчили его ненависть, но заставить себя с ним разговаривать он так и не смог. Игра окончилась, Ле-Мойну теперь предстоит встреча с Минни, и поражение уже не будет значить ничего по сравнению с предстоявшей ему вечерней победой.

– Если это из-за Минни, то ты совершенно напрасно на меня разозлился, – неожиданно выпалил Ле-Мойн. – Я пригласил ее на игру, но она не приехала.

– Правда? – изумился Бэзил.

– Так все-таки вот оно что! А то я сомневался. Думал, вдруг ты просто захотел меня достать? – Он прищурился. – Юная леди еще месяц назад дала мне отставку!

– Дала тебе отставку?

– Бросила. Я ей несколько наскучил. Она очень быстро от всех устает.

Бэзил заметил, что его лицо стало печальным.

– И кто же с ней теперь? – спросил он, уже вежливей.

– Кажется, твой бывший одноклассник, по имени Джубел – типичная «серая масса», если тебе интересно мое мнение. Она познакомилась с ним в Нью-Йорке, за день до начала занятий в школе, и, как я слышал, у них все очень серьезно... Сегодня вечером она будет на танцах в клубе «Лаун».

IV

Бэзил ужинал в баре у Тафта с Юбиной Дорси и ее братом Джорджем. Йельская команда одержала победу над Принстоном, и весь университет теперь восторженно ликовал; когда они вошли в зал, все сидевшие за столиком у входа первокурсники стали шумно приветствовать Бэзила.

– А ты становишься важной персоной! – сказала Юбина.

В прошлом году Бэзил на несколько недель вообразил, что влюблен в Юбину; но при следующей встрече он сразу же понял, что это было не так.

– И почему так все вышло, а? – спросил он у нее во время танца. – Почему все так быстро прошло?

– Ты правда хотел бы знать?

– Да.

– Потому что я оставила тебя в покое!

– Ты? Оставила? Меня? В покое? – повторил он. – Ей-богу! Вот это мне нравится!

– Я сочла, что ты пока не созрел.

– А что, разве в данном случае от меня ничего не зависело?

Она покачала головой.

– Ну, да... И Бернард Шоу говорил то же самое, – задумчиво согласился Бэзил. – Но мне всегда казалось, что он имеет в виду исключительно взрослых. Так все-таки это вы охотитесь за нами, мужчинами?

– Нет! Так говорить нельзя! – Ее тело от негодования стало неподатливым у него в руках. – Мужчины всегда где-то рядом, а женщины хлопают глазками, вот и все! Просто действует инстинкт.

– Разве мужчина не может сделать так, чтобы женщина в него влюбилась?

– Некоторые могут... Те, кому, по большому счету, все равно.

Он некоторое время обдумывал этот ужасный факт, а затем бросил это занятие – будет еще время. По дороге к клубу «Лаун» он задал ей еще несколько вопросов. Вот, например, если девушка, которая только что «с ума сходила» по парню, вдруг сильно увлекается кем-то другим – что тогда делать первому парню?

– Оставить ее в покое, – ответила Юбина.

– Предположим, что ему этого совершенно не хочется. Что же тогда ему делать?

– Да нечего тут больше делать!

– Ну, а что будет самым разумным?

Рассмеявшись, Юбина прижалась головой к его плечу.

– Бедный Бэзил! – сказала она. – Считай, что меня зовут Лора Джин Либби, и расскажи-ка мне все по порядку!

Он вкратце рассказал о своем романе.

– Видишь ли, – произнес он в заключение, – если бы она была просто какая-то девушка, я бы легко мог все это пережить – и неважно, насколько сильна была бы моя любовь. Но ведь она... Она самая популярная и самая прекрасная девушка на свете! Я хочу сказать, что для меня она как бы и Мессалина, и Клеопатра, и Саломея – и все в таком духе!

– Нельзя ли погромче? – попросил Джордж, сидевший на переднем сиденье.

– Она для меня что-то вроде олицетворения вечной женственности, – уже вполголоса продолжил Бэзил. – Понимаешь, как мадам Дюбарри и все такое прочее... Она просто не...

– Просто не такая, как я!

– Нет. Ты на нее в чем-то похожа – да все девушки, в которых я был влюблен, чем-то друг на друга похожи! Ну же, Юбина! Ты ведь отлично понимаешь, о чем я!

Когда вдали замаячили огни нью-хейвенского клуба «Лаун», она вдруг стала вежливо-серьезной:

– Ничего тут не поделаешь! И я в этом уверена. У нее опыта больше, чем у тебя. Все с самого начала шло по ее сценарию – даже тогда, когда ты думал, что правила придумываешь ты. Я не знаю, почему она вдруг устала, но очевидно, что дело здесь именно в этом – и она, даже если захочет, уже не сможет создать все это опять, и ты не сможешь, потому что ты...

– Продолжай! Что я?

– Потому что ты слишком сильно влюблен! Все, что тебе остается, – это показать ей, что тебе все равно. Любая девушка просто терпеть не может, когда от нее отворачивается старый поклонник; так что она может тебе даже улыбнуться – но не вздумай возвращаться. Между вами все кончено!

Бэзил постоял в гардеробной, задумчиво приглаживая волосы. Все кончено... Слова Юбины отобрали у него последнюю слабую надежду, и от понимания этого факта, вкуче с напряжением от дневной игры, у него на глазах показались слезы. Он торопливо включил кран и умылся. Кто-то вошел и хлопнул его по плечу:

– Отличная игра, Ли!

– Спасибо. Хотя я довольно паршиво сыграл...

– Да нет, просто отлично! Последняя четверть – это было просто...

Он вошел в танцевальный зал. И тут же увидел ее, и сразу же у него закружилась голова, и ему стало неловко от волнения. Куда бы она ни шла, повсюду ее преследовал ручеек кавалеров, и на всех она смотрела с яркой и страстной улыбкой, которая была ему так знакома. Вскоре он стал искать, кто же ее здесь сопровождает, и с негодованием обнаружил, что это наглый и вульгарный парень из школы Хилла, которого он уже раньше приметил, но отмел как совершенно невозможную кандидатуру. Что же такого могло скрываться за этими водянистыми глазками, которые так ее привлекали? Разве мог этот примитивный мозг оценить по достоинству бессмертную сирену подлунного мира?

В отчаянии изучив мистера Джубела, тщетно пытаясь найти ответы на эти вопросы, он пригласил ее, «перехватив» прямо в танце, и даже протанцевал с ней целых двадцать футов, пока ее не пригласил следующий кавалер; Бэзил с циничной меланхолией улыбнулся, когда она сказала:

– Бэзил, я так горжусь нашим знакомством! Все говорят, что сегодня днем ты был просто великолепен!

Но эта похвала была ему дорога, и после танца он стоял у стенки, вновь и вновь повторяя про себя эту фразу, деля ее на составные части, пытаясь найти в этих словах хоть какое-нибудь скрытое значение. Быть может, она снизойдет, если все станут его хвалить? «Бэзил, я так горжусь нашим знакомством! Все говорят, что сегодня днем ты был просто великолепен!»

У дверей вдруг началась какая-то суматоха, раздался громкий голос:

– Боже мой! Они все-таки явились!

– Кто? – спросил кто-то еще.

– Первокурсники из Принстона! Футбольный сезон у них закончился, и трое-четверо из них решили отметить окончание тренировок в «Хофбрау».

Из суматохи внезапно, словно халфбек из линии на футбольном поле, вырвался какой-то юноша, напоминавший некий забавный фантом; ловко обойдя одного из следивших за порядком студентов, покачиваясь, он выскочил прямо к танцующим. Воротничок под его смокингом отсутствовал, запонки давно уже покинули сорочку, волосы были в беспорядке, а взгляд был совершенно обезумевший. Какое-то время он оглядывался, словно его ослепил свет; затем его взгляд упал на Минни Библ, и лицо его озарилось светом неподдельной любви. Еще до того, как он смог к ней приблизиться, он принялся громко звать ее по имени, и сквозь южный акцент отчетливо слышались напряжение и горечь.

Бэзил рванул к нему, но его опередили, и сопротивлявшийся из всех сил «Малыш» Ле-Мойн исчез за дверями гардеробной среди мелькания ног и рук, большинство из которых принадлежали вовсе не ему. Остановившись в дверях, Бэзил почувствовал, что его отвращение смешалось с безграничным сочувствием, потому что всякий раз, когда голова Ле-Мойна показывалась из-под крана, он с отчаянием взывал к той, что отвергла его любовь.

Когда Бэзилу вновь удалось пригласить Минни на танец, он обнаружил, что она испугана и рассержена – да так, что, кажется, готова была искать поддержки у Бэзила. Она вдруг предложила ему пойти посидеть, поговорить.

– Какой глупец! – прочувствованно воскликнула она. – Такие вещи портят девушкам репутацию. Его надо было в полицию отвести!

– Он не соображал, что делает. У него была тяжелая игра, он очень устал, только и всего.

Но у нее на глазах показались слезы.

– Ах, Бэзил, – взмолилась она, – скажи мне: разве я и в самом деле ужасна? Я никогда не желала никому зла; просто все само так выходит...

Ему захотелось обнять ее и сказать, что она – самая прекрасная девушка в мире, но в ее глазах он прочитал, что сейчас она его даже не замечает; для нее он был всего лишь чем-то вроде манекена – в этот момент она точно так же жаловалась бы какой-нибудь подружке. Он вспомнил слова Юбины – ему не оставалось ничего, кроме как уйти с гордо поднятой головой.

– Вот у тебя больше здравого смысла! – Ее нежный голос обволакивал его, словно воды заколдованной реки. – Ты знаешь, что если двое больше... не сходят друг по другу с ума... им следует вести себя благоразумно!

– Само собой, – сказал он и заставил себя непринужденно добавить: – Когда все кончено, тут уж ничего не поделать.

– Ах, Бэзил, ты такой хороший! Ты всегда все понимаешь. – И вдруг, впервые за последнее время, она о нем задумалась. Из него вышел бы бесценный друг для любой девушки, подумала она, ведь этот ум, который иногда так утомляет, можно было бы использовать в качестве все понимающей «жилетки»...

Он смотрел, как танцует Юбина, и Минни проследила за его взглядом:

– Ты пришел с девушкой, правда? Она ужасно симпатичная!

– Ну, по сравнению с тобой, не такая уж и красавица.

– Бэзил!

Он сознательно избегал смотреть на нее, угадав, что сейчас она слегка изогнулась и сложила руки на коленях. И как только ему удалось одержать над собой верх, случилось нечто экстраординарное – в окружающем мире, который перестал заключаться в ней одной, вдруг забрезжил какой-то свет. И тут же подошли какие-то первокурсники, чтобы поздравить его с победой в игре, и ему это понравилось – и

похвалы, и их слегка заискивающие взгляды. Кажется, теперь у него были все шансы, чтобы на следующей неделе начать матч с Гарвардом.

– Бэзил!

Сердце бешено колотилось у него в груди. Краем глаза он заметил ее взгляд – она ждала. Может, она и правда пожалела? Может, ему стоит ухватиться за эту возможность, повернуться к ней и сказать: «Минни, скажи этому придурку, чтобы бежал к реке топиться, и вернись ко мне!» Он заколебался, но тут же вспомнил фразу, которая помогла ему днем в игре: хватит уже на сегодня ошибок! Зов внутри него медленно затих.

Явился Джубел-невозможный, всем своим видом показывая, кто тут главный, и сердце Бэзила отправилось в зал танцевать дальше, вместе с его обладательницей в розовом шелковом платье. Вновь потерявшись в тумане нерешительности, он вышел из зала на веранду. В воздухе суматошно кружился легкий первый снег, и звезды с неба холодно смотрели на землю. Взглянув на них, он увидел, что это по-прежнему его звезды – ореолы стремлений, борьбы и славы. Между ними пел ветер – насвистывавший ту самую, высокую и чистую ноту, которую он слышал всегда, – и гнал вперед, к новым битвам, парадный строй облаков. Эта картина обладала ни с чем не сравнимой яркостью и великолепием, и лишь опытный глаз командира мог заметить, что в небесах теперь стало на одну звезду меньше.

Из жизни снобов

I

Трудно дается молодежи искупление грехов! Мы сами столь сильны и непогрешимы, что в сверстниках готовы терпеть порок, воровство в глобальных масштабах и даже самые тихие формы

убийства, но друзья наших детей обязаны демонстрировать абсолютно чистые формуляры. Когда отец «забрал» юную Жозефину из школы мисс Брейретон, где она случайно оказалась в объятиях молодого человека, направляясь в часовню, некоторые из «сливок» чикагского общества взалкали увидеть ее распятой и четвертованной. Но семья Перри была богатой и могущественной, и на защиту репутации дочери встали друзья семьи – а со всем остальным справилось красивое лицо Жозефины, на котором всегда было такое выражение, словно она только и делала, что выводила сироток из горящего приюта.

И уж совершенно точно на нем нельзя было прочесть никакого стыда, когда в первый день теннисного турнира его обладательница вошла на главную трибуну стадиона в Лейк-Форест. Все то же привычное общество – казалось, говорил этот взгляд, без всякого любопытства брошенный влево, а затем вправо: я, разумеется, не имею ничего против, но не стоит думать, что все это может меня взволновать.

День выдался ясный, солнце ярко светило на собравшихся зрителей; одетые в белое фигуры на корте не отбрасывали теней. За океаном, в Европе, только-только разворачивался кровавый ужас битвы на Сомме, но война к тому времени уже сползла на вторые полосы газет, и всех гораздо больше занимал другой вопрос: кто победит на турнире? Платья были длинными, шляпки – с миниатюрными узкими полями, а отгородившаяся от остального мира Америка скучала, как никогда.

Жозефина, олицетворявшая собою будущее, не скучала, а всего лишь желала перемен. Она стала осматриваться вокруг, пока не обнаружила друзей; они стали ей махать, и она пошла к ним. Лишь усевшись, она заметила, что рядом с ней сидит леди, чьи губы, вынужденные постоянным движением маскировать неровные зубы, придавали ей обманчиво-приятное выражение. Миссис Макри принадлежала к сторонникам распятия и четвертования. Молодежь она ненавидела, но в силу некоего извращенного инстинкта ее тянуло к ней поближе, поэтому она выступала в роли организатора ежегодного летнего концерта в Лейк-Форест, а также танцевальных классов в Чикаго зимой. Она выбирала богатых, некрасивых девушек и брала на себя их воспитание, угрозами заставляя парней с ними танцевать. Она всегда сравнивала своих учениц – в выгодном для них свете – с

пользовавшимися популярностью «паршивыми овечками», самым ярким представителем стада которых являлась Жозефина.

Но в тот день Жозефина ощущала себя неприступной – как раз накануне вечером отец в разговоре произнес: «Если Дженни Макри хоть слово тебе скажет, пусть тогда Джим пеняет на себя!» Сказано это было потому, что прошел слух о том, будто миссис Макри в заботах об общественном благе решила в этом году исключить из программы концерта традиционный танцевальный номер Жозефины и Трэвиса Де-Коппета.

На самом деле миссис Макри, благодаря настойчивым просьбам мужа, передумала; она вся была прямо-таки одна сплошная – и неубедительная – улыбка. После недолгого, но заметного внутреннего колебания она решила снизойти до беседы:

– Видите вон там, на втором корте, юношу – у него на голове повязка? – Жозефина равнодушно посмотрела в ту сторону. – Это мой племянник из Миннеаполиса. Говорят, у него отличные шансы на победу. Не будете ли вы так любезны помочь мне и представить его здешней молодежи?

И она вновь заколебалась.

– И еще одно: на днях я бы хотела с вами переговорить о концерте. Все ждут, что вы с Трэвисом вновь покажете нам этот чудесный и великолепный матчиш!

Жозефина произнесла про себя односложное «Ха!».

Ей стало ясно, что она не хочет выступать на концерте – ей всего лишь хотелось, чтобы ее пригласили. Бросив еще один взгляд на племянника миссис Макри, она решила, что цена была чересчур высока.

– Матчиш уже вышел из моды, – ответила она; но внимание ее тут же отвлеклось. Ее кто-то рассматривал – кто-то, сидевший недалеко, некто с беспокойно горящими глазами, блеснувшими, словно нежданный фонарь во тьме.

Повернувшись и сказав что-то Трэвису Де-Коппету, в двух рядах позади ей удалось разглядеть бледную нижнюю половину лица; во время взрыва аплодисментов, последовавшего по окончании гейма, она обернулась и тщательно зафиксировала все черты лица целиком, обведя небрежным взглядом ряд зрителей.

Это был рослый, даже высокий, юноша; довольно маленькая голова покоилась на удивительно широких округлых плечах. Лицо у него было бледное; глаза были практически черные, и в них светился напряженный и страстный огонек; губы были чувственные и решительные. Он был плохо одет: зеленый костюм лоснился, галстук был короткий и потрепанный, на голове была дешевая шляпа. Когда она обернулась, он бросил на нее суровый и алчный взгляд; он не отвел от нее взгляда и после того, как она отвернулась, словно собираясь прожечь глазами дырку в тонкой соломе ее шляпы.

Жозефина вдруг осознала, какое приятное зрелище разворачивалось перед ее глазами, и, расслабившись, стала прислушиваться к почти ровному «хлоп-шлеп, шлеп-хлоп-хлоп» мячиков, глухим звукам прыжков и обертонам «Ошибка!», «Аут!» и «Гейм и сет, 6–2, победил мистер Обервальтер!» арбитра. Вдали от игры и сплетен солнце медленно клонилось к западу. Все сегодняшние матчи закончились.

Встав с места, миссис Макри сказала Жозефине:

– Так вы не возражаете, если я приведу к вам Дональда, когда он переоденется? Он никого здесь не знает. Я так на вас рассчитываю! Где мы сможем с вами встретиться?

Жозефина снисходительно взвалила на себя эту ношу:

– Я буду ждать вас прямо здесь.

На уличной танцплощадке рядом с клубом уже звучала музыка и слышался звон подносов официантов; толпа зрителей повалила с главной трибуны. Жозефина отказалась идти танцевать, и трое юношей, каждый из которых был когда-то в нее влюблен и потерял ее, тут же удалились в поисках новых перспектив. Из-за трибуны до Жозефины донеслись их хорошо знакомые шаги: проворные и драматические – Тревиса Де-Коппета; твердые и бескомпромиссные – Эда Бемента; послышалась косолапая поступь Элси Керр; а вот и новые туфли Лилиан, и высокие ботинки на пуговичках какой-то невозможной девицы. Затем опять послышались шаги; на трибунах почти никого уже не осталось, опустевшие корты накрывали холстом. Чьи-то неуклюжие шаги по настилу донеслись до нее сзади, а затем кто-то шумно уселся рядом на скамью, резко приподняв ее вверх на целый дюйм.

– Надеюсь, вы не испугались тряски?

Это был тот самый мужчина, которого она заметила и тут же забыла. Он все еще казался очень высоким.

– Вы разве не пойдете танцевать? – спросил он, слегка замешкавшись. – Я подумал, что вы – королева бала!

– А не слишком ли вы дерзки, а?

– Да, есть грех! – сказал он. – Я должен был сразу догадаться, что вы слишком важная особа, чтобы с вами вот так вот заговаривать.

– Я никогда вас раньше не видела.

– Я тоже вас не знаю, но вы в вашей шляпке смотрелись так мило, и я заметил, как вы улыбались вашим друзьям, так что я решил попробовать.

– Это у вас там, на юге, так принято? Среди комбайнеров, да? – дерзко ответила Жозефина.

– А вы что, юг не любите? Я родом из города, где родился Эйб Линкольн, и у нас там все ребята неслабые и блестящие.

– Да кто вы вообще такой? Донжуан с завалинки?

Он был на редкость красив, и ей понравилась его стойкость к оскорблениям.

– Спасибо за комплимент. Я репортер – не спортивный и не светский. Я сюда пришел, чтобы почувствовать атмосферу – ну, знаете, чудесный день, жаркое солнце в зените, и все сливки спорта и общества Лейк-Форест рядом во всей красе.

– Так, может, вам тогда пора бежать и все это записывать?

– Уже записал; курьер повез в редакцию. Можно мне тут посидеть – или вы боитесь за свою репутацию? Один порыв ветра, и – фьють? Послушайте, мисс Поттерфильд-Свифткормик, или как вас там! Я родом из хорошей семьи и когда-нибудь стану великим писателем. – Он сел. – Если кто-нибудь придет, можете сказать, что я беру у вас интервью для газеты. Итак, кто же вы?

– Перри.

– А, Герберт Ти Перри?

Она кивнула, и он бросил на нее быстрый тяжелый взгляд.

– Ну-ну, – вздохнул он. – За несколько месяцев познакомился с единственной прекрасной девушкой, а она оказалась дочкой Герберта Ти Перри! Как правило, в «высшем обществе» и посмотреть не на что. Я хочу сказать, что на танцах в «Петле» за час попадаетесь гораздо

больше симпатичных девчонок, чем здесь за целый день, хотя здесь все, разумеется, гораздо лучше одеты и все такое. А как вас зовут?

Она хотела было сказать «Мисс...», но ей показалось, что это прозвучит натянуто, и она ответила: «Жозефина».

– А меня зовут Джон Бойнтон Бейли. – И он протянул ей свою визитку, в углу которой было напечатано: «Чикаго Трибьюн». – Да будет вам известно: я лучший репортер в этом городе! Я написал пьесу, премьера которой состоится этой осенью. Говорю вам все это для того, чтобы доказать, что я не какой-нибудь там бродяга, как вы могли бы подумать, глядя на мой старый костюм. Дома у меня есть одежда поприличнее, но я не знал, что сегодня встречу с вами.

– Я всего лишь сочла вас дерзким, потому что вы заговорили со мной, не будучи представлены!

– Всегда приходится довольствоваться тем, что в твоих силах, – угрюмо признался он.

Когда уголки его губ внезапно опустились вниз, грустно и задумчиво, Жозефина поняла, что он ей нравится. До этого момента ей не хотелось, чтобы миссис Макри с племянником увидели ее с ним; затем, внезапно, ей стало все равно.

– Наверное, быть писателем очень здорово?

– Я пока только начинающий, но когда-нибудь вы станете гордиться тем, что знакомы со мной. – И он сменил тему: – А вы знаете, у вас такие красивые черты лица! Черты лица – это ведь глаза и губы, и не по отдельности, а вместе... Тот треугольник, который они образуют... По нему люди мгновенно решают, нравится ли им человек... А вот нос и форма лица человека неизменны от рождения, и они не имеют никакого значения, мисс Шикблеск!

– Прошу вас, оставьте ваш неандертальский сленг!

– Хорошо. Но у вас прекрасные черты лица! Ваш отец красив?

– Очень, – ответила она, приняв этот комплимент.

Вновь послышалась музыка. Деревянный настил под деревьями казался красным в закатном солнце. Жозефина тихо запела:

*Лизабет Энн,
Я от тебя схожу с ума, схожу с ума...*

– Как здесь хорошо! – пробормотал он. – И этот час, и эта мелодия в тени деревьев... А в Чикаго сейчас жара!

Она пела для него; те самые черты, о которых он только что говорил, тот треугольник из глаз и губ смотрел прямо на него; губы слегка печально улыбались, а тихий голос небрежно его баюкал, повинуюсь какой-то собственной необходимости. Осознав это, Жозефина тут же перестала петь и сказала:

– Завтра же еду в город! Хватит уже откладывать.

– Конечно, вас там наверняка уже ждалась целая куча мужчин.

– Меня? Да я обычно просто сижу дома и дни напролет бью баклуши.

– Ну да, разумеется.

– Меня все ненавидят, и я отплачиваю им тем же; хочу уйти в монастырь или уехать на войну санитаркой. Если запишетесь во французскую армию, я буду лечить ваши раны...

Она тут же умолкла; он посмотрел туда, куда смотрела она, и увидел, что у входа на трибуну появилась миссис Макри с племянником.

– Ну, я пошел, – быстро сказал он. – Если завтра будете в Чикаго, давайте вместе пообедаем? Я отведу вас в одно немецкое местечко, где отлично кормят.

Она колебалась; на близком расстоянии неискренность веселого выражения на лице миссис Макри еще сильнее бросалась в глаза.

– Хорошо.

Он быстро написал адрес и сунул ей листок из блокнота. Затем, неуклюже подняв свое крупное тело, он поскакал вниз по рядам сидений; пройдя тяжелой походкой мимо мисс Макри, он удостоился ее быстрого пытливого взгляда.

Организовать свидание оказалось несложно. Жозефина позвонила тетке, с которой она должна была обедать, отпустила шофера и, не без замирания сердца, пришла к ресторанчику «Ретскеллер Гартен Хофтзера» на улице Норд-Стейт. На ней было усеянное светло-коричневыми листьями синее, под цвет ее глаз, платье из крепдешина.

Джон Бойнтон Бейли ждал ее у ресторана; кажется, он был слегка смущен, но старался выглядеть уверенно, и все беспокойство Жозефины исчезло. Он сказал:

– Нет, здесь мы обедать не станем. Когда я вас приглашал, это место казалось мне хорошим, но я только что заглянул вовнутрь – у вас потом все туфли будут в опилках! Давайте лучше сходим в какой-нибудь ресторан при отеле.

Она покорно развернулась в направлении отеля, куда обычно ходила лишь на танцы, но он покачал головой:

– Там будет слишком много ваших знакомых. Давайте пойдем в старый «Ля-Гранж».

Старинный отель «Ля-Гранж», который когда-то считался лучшим на Среднем Западе, теперь представлял собой пристанище для приезжих из глубинки и место встреч коммивояжеров. Находившиеся в фойе женщины были либо дамочками с тяжелыми взглядами, которых чаще всего можно встретить в «Петле», или же безошибочно угадывавшимися по отсутствию косметики мамашами из долины Миссисипи. Кроме них, там находились лишь терпеливо все сносившие плевательницы да деловитая стойка, где смешно пережевывавшие сигары мужчины ждали телефонных звонков.

В большом ресторанном зале Джон Бейли и Жозефина заказали грейпфрутовый сок, фирменные сэндвичи и картофельный жульен.

Жозефина облокотилась о стол и посмотрела на Джона, словно желая сказать: «Ну что ж, на какое-то время я вся в твоём распоряжении; постарайся провести это время с пользой».

– Вы самая красивая девушка из всех, кого я знаю! – начал он. – Конечно, вы испорчены всей этой фальшивой сентиментальностью, принятой в вашем кругу, но тут уж ничего не поделать. Вы, видимо, думаете, что я так говорю потому, что «зелен виноград», но я вам

скажу одно: когда я слышу, как люди болтают о своем общественном положении, о том, какое значительное место они занимают, и все такое прочее, я просто сажусь поудобнее и начинаю смеяться! Потому что я – прямой потомок Карла Великого. Понимаете?

Жозефина покраснела за него; ему стало немного стыдно за эти слова, и он тут же постарался смягчить свое высказывание:

– Но я придаю значение лишь самим людям, а не их предкам. И хочу стать лучшим в мире писателем, вот как!

– Я люблю хорошие книги, – поддержала разговор Жозефина.

– А меня больше интересует театр. Я написал пьесу, которая может стать хитом, если только продюсеры соизволят ее прочитать. Ведь у меня есть все, что нужно для успеха; иногда иду по улице и чувствую, что меня прямо-таки переполняют мысли – так, что вот-вот взлечу и поплыву над городом, как воздушный шар. – Уголки его губ внезапно опустились. – Мне пока нечем похвастаться, поэтому я это все и говорю.

– Мистер Бейли, великий драматург! Вы будете присылать мне билеты на ваши спектакли, не правда ли?

– Конечно, – рассеянно ответил он. – Но к тому времени вы уже будете выданы замуж за какого-нибудь парня из Йеля или Гарварда с парой сотен галстуков в шкафу и красивой машиной в гараже и станете такой же тупицей, как и все остальные!

– А может, я уже? Просто мне нравится поэзия. Вы читали «Смерть Артура»?

– Да за последнее время в Чикаго написано гораздо больше отличных стихов, чем за целый прошлый век! Вот, например, есть такой Карл Сэндберг – он велик, как старик Шекспир!

Она его не слушала; она его рассматривала. Его чувственное лицо опять сияло незнакомым светом, который она заметила, когда увидела его впервые.

– Больше всего на свете мне нравятся поэзия и музыка, – сказала она. – Они прекрасны!

Он ей поверил, зная, что этими словами она призналась ему в том, как он ей нравится. Она считала его выдающимся человеком, и имела в виду нечто совершенно определенное и настоящее: в нем она увидела особую и необычную страсть к жизни. Она чувствовала, что и сама в чем-то превосходит всех тех девушек, которые относятся к ней

критически, хотя часто путала свое превосходство с благоговением, которое оно вызывало, и была равнодушна к мнению толпы. Нечто вроде романтики бального зала, выделявшей для нее в пятнадцать лет Трэвиса Де-Коппета, она теперь почувствовала и в Джоне Бейли, несмотря на всю его самоуверенность и снобизм. Ей захотелось взглянуть на жизнь его глазами, потому что для него жизнь была захватывающей и волнующей. Жозефина рано повзрослела и жила на полную катушку – если так можно сказать о той, чье лицо напоминало свежую розу в утренней росе, – и простого мужского внимания ей было уже недостаточно. Сильные мужчины оказывались скучными, умные были застенчивы, и все они практически сразу и неизбежно одинаково реагировали на Жозефину, демонстрируя недостаток темперамента, заслонявший в ее глазах их личности.

Принесли сэндвичи, которыми они и занялись; оркестр, который по моде двадцатилетней давности размещался где-то наверху, у потолка, стал издавать какие-то звуки. Жозефина, медленно жуя, осматривала зал: прямо напротив них из-за столика встали мужчина и женщина, и Жозефина вздрогнула и чуть не подавилась. Женщина была крашеной блондинкой, на ее по-детски розовом личике были густо подведены кукольные глазки. Тошнотворно-сладкий запах, распространявшийся от ее кричащего платья, висел, словно завеса, на всем ее пути к дверям. А шедший позади нее спутник был... Это был отец Жозефины!

– Вы не будете картошку? – спросил через некоторое время Джон Бейли.

– Да, мне очень понравилось, – натянутым голосом ответила она.

Отец, ее нежно любимый идеал, красивый, очаровательный Герберт Перри! Возлюбленный ее матери – так много раз летними вечерами Жозефина наблюдала, как они сидели вдвоем на покачивающемся диванчике на веранде, и его голова покоилась у нее на коленях, а она гладила его волосы. Брак родителей сулил счастье и ей – именно это и служило целью всех беспорядочных поисков Жозефины.

И вдруг ей довелось увидеть, как он обедает вдали от мест, где можно случайно столкнуться с друзьями, да еще с этакой вот дамочкой! С парнями такие вещи воспринимались иначе: она скорее восхищалась их громкими рассказами о любовных победах в низших

слоях общества, но ее отец, взрослый мужчина, – да разве он может себе это позволить? Она дрожала; упала слезинка, блеснув на кусочке жареного картофеля.

– Да, я очень хочу пойти! – сказала она, забыв, о чем шла речь.

– Само собой, все они – очень серьезные люди, – пояснил он, как бы оправдываясь. – Мне кажется, они решили ставить мою пьесу в своем «Малом театре». А если нет, то я хорошенько залеплю одному-другому в челюсть, чтобы они не упустили настоящую драматургию, столкнувшись с ней в другой раз!

В такси Жозефина попыталась выбросить из головы то, что она увидела в отеле. Ей казалось, что ее дом – тихая гавань, из которой она совершала свои рейды, – теперь буквально лежал в руинах, и она боялась возвращения. Какой ужас! Какой ужас!!!

Охваченная паникой, она придвинулась ближе к Джону Бейли, чувствуя необходимость оказаться рядом с кем-нибудь сильным. Машина остановилась у нового, покрытого желтой штукатуркой здания; оттуда на улицу вышел юноша с отливающими синевой щеками и горящими глазами.

– Ну и что было? – поинтересовался Джон.

– Люк опустился в 11:30!

– Ну, и?

– Я написал ему прощальное слово, как он и просил, но он слишком медленно читал, и ему не дали закончить.

– Какая низость по отношению к тебе!

– Ты тоже так считаешь? А это – твоя подружка? – Юноша указал на Жозефину.

– Да, из Лейк-Форест, со всеми вытекающими, – ответил Джон, широко улыбнувшись. – Мисс Перри – это мистер Блахт.

– Готовитесь лицезреть триумф Шекспира из Спрингфилда? Но я слышал, что они, возможно, поставят «Хижину Дяди Тома». – Он подмигнул Жозефине: – Ну, пока!

– Про что он говорил? – спросила она, когда они двинулись дальше.

– Он? А, он тоже работает в «Трибьюн», и его послали сделать репортаж об утренней казни. Да что уж там, это ведь мы с ним сами поймали того парня... Разве эти копы могут кого-нибудь поймать?

– Но ведь это не тюрьма, не правда ли?

– Упаси господи! Это – репетиционный зал театра.
– А что это за «слово», про которое он говорил?
– Он написал тому парню прощальную речь, чтобы хоть как-то компенсировать, что это мы его поймали.

– Ну, ничего себе! – в ужасе воскликнула Жозефина.

Они находились в длинном и тускло освещенном зале, с одной стороны которого была сцена; на ней, во мраке, разорванном лишь несколькими софитами, стояло несколько человек. Жозефина практически сразу поняла, что все находившиеся здесь люди, кроме нее, были ненормальными. Она была в этом совершенно уверена, хотя внешне эксцентрично выглядела лишь крепкая дама в сюртуке и серых пижамных брюках. И несмотря на то, что семеро из присутствовавших впоследствии приобрели известность, а четверо даже стали по-настоящему знамениты, на тот момент Жозефина оказалась права. Именно их невыносимое неумение приспособиться к окружающему миру вышвырнуло их из уединенных нормальных школ, из стоявших рядами в городках Среднего Запада каркасных домов, из дрянных почтенных пригородов, приведя их всех в 1916 году в Чикаго; все они были невежественны, в них была ключом энергия, они были адски чувствительны и беспомощно-романтичны – они были бродягами, как их предки-пионеры среди диких прерий.

– Это мисс... – произнес Джон Бейли, – а это миссис... это Каролина... и мистер... а это – мистер...

Их испуганные взгляды упали на элегантную одежду девушки, на ее красивое уверенное лицо, и все самым невежливым образом отвернулись от нее, желая себя защитить. Затем понемногу они стали к ней приближаться, повествуя намеками о своих идеалах в области искусства или экономики – наивные, словно первокурсники, и болтливые, словно ротарианцы. Все, кроме одной симпатичной девушки с немой шеей и вороватым взглядом, – этот взгляд не отрывался от Жозефины с того мгновения, как она появилась в зале. Жозефина прислушивалась к общей беседе; ее восхищала выразительность речи, хотя она понимала едва ли половину и часто отвлекалась, ощущая резкую боль при мысли об отце. Возвращение в Лейк-Форест она сейчас воспринимала так, словно покинула его много лет назад; она опять слышала «хлоп-шлеп, хлоп» теннисных мячиков в

дневной тишине. В этот момент все расселись на кухонных стульях; слово взял седовласый поэт:

– На сегодняшнем утреннем заседании комитет должен был принять решение по поводу нашей первой постановки. Возникли некоторые разногласия. Пьеса мисс Хаммертон, – он поклонился даме в брюках, – была рассмотрена самым тщательным образом, однако в силу того, что один из наших попечителей выступает против любых трактовок классовой борьбы, мы приняли решение на время отложить постановку мощной вещи мисс Хаммертон и вернуться к ней в будущем.

В этот момент Жозефина вздрогнула, услышав, как мисс Хаммертон зашикала низким и сердитым голосом, издав целую серию разных стонов, словно выражая настроение целого зрительного зала, а затем резким движением накинута на голову мягкую серую шляпу и в гневе покинула зал.

– Элси все принимает близко к сердцу! – произнес председатель. – К сожалению, наш попечитель, о котором я уже говорил и чье имя вы, без всяких сомнений, уже угадали, занимает самую непреклонную позицию по данному вопросу, являясь законченным реакционером. Поэтому наш комитет единогласно проголосовал за постановку «Негритянского погрома» Джона Бойнтона Бейли!

Жозефина на одном дыхании высказала свои поздравления. Во время аплодисментов девушка с вороватым взглядом принесла стул и уселась рядом с Жозефиной.

– Вы живете в Лейк-Форест? – с вызовом спросила она.

– Летом.

– Вы знакомы с Эмили Коуль?

– Нет, я ее не знаю.

– Но вы ведь из Лейк-Форест?

– Я живу в Лейк-Форест, – ответила Жозефина все так же вежливо, – но я не знаю Эмили Коуль!

Лишь на мгновение замешкавшись от такого отпора, девушка продолжила:

– Наверное, все здесь вам кажется какой-то игрой?

– Здесь ведь что-то вроде драматического кружка? – ответила Жозефина.

– Драматического кружка? Ну и ну, черт возьми! – воскликнула девушка. – Вы это слышали? Она думает, что здесь драмкружок, прямо как в школе миссис Пинкертон! – Ее никем не подхваченный смех в то же мгновение утих, и она повернулась к драматургу: – Как дела? Ты уже выбрал актеров?

– Пока нет, – коротко ответил он; его разозлило нападение на Жозефину.

– Наверное, ты хочешь пригласить миссис Фишке из Нью-Йорка? – продолжила девушка. – Ну, давай же, мы все с нетерпением ждем! Кто будет играть?

– Скажу тебе лишь одно, Эвелин! Ты – не будешь!

От неожиданности и злости она покраснела:

– Вот как? И когда же ты это решил?

– Уже давно.

– Ого! А ничего, что все реплики Клэр придумала я?

– Я их сегодня же вечером вырежу; их всего три! Я лучше вообще откажусь от постановки, чем позволю, чтобы ты сыграла Клэр!

Все остальные теперь внимательно слушали.

– Да не больно-то и хотелось! – начала девушка слегка дрожащим голосом. – У меня и в мыслях не было...

Жозефина заметила, что Джон Бейли выглядел бледнее обычного. Его губы твердо сжались, лицо словно окаменело. Девушка внезапно вскочила, выкрикнула: «Ты дурак!» – и выбежала из зала.

Второе темпераментное отбытие вселило в оставшихся некоторое уныние; собрание тут же окончилось, а все вопросы перенесли на следующий день.

– Давайте прогуляемся! – предложил Джон Жозефине, когда они вышли на выглядевшую теперь иначе вечернюю улицу; тепло унес первый же ветерок с озера Мичиган.

– Давайте прогуляемся, – повторил Джон. – Мне слегка тошно от того, как она с вами обошлась.

– Мне она не понравилась, но теперь мне ее жаль. Кто она такая?

– Она работает в газете, – уклончиво ответил он. – Послушайте! А вы не хотели бы сыграть в этой пьесе?

– А я не смогу – я ведь выступаю в концерте у себя, в Лейк-Форест.

– Это все светские штучки, – сказал он, презрительно скривив губы. – «А вот перед вами веселые девчонки, которые умеют играть в

гольф! Быть может, они порадуют нас песенкой?» Если хотите сыграть в моей вещи, я дам вам главную роль!

– Но с чего вы решили, что я умею играть?

– Да ладно вам! С вашим-то голосом? Послушайте! Героиня в пьесе очень на вас похожа. Причиной негритянского погрома стали двое: один черный, второй белый. Черному до смерти надоела его черная жена, и он влюбляется в сексапильную мулатку и из-за этого злится на весь мир, понимаете? А белый слишком рано женился и находится в точно таком же положении. Когда оба улаживают свои личные дела, погромы тоже утихают, понимаете?

– Весьма необычно, – затаив дыхание, ответила Жозефина. – А кого буду играть я?

– Вы будете той девушкой, в которую влюблен женатый мужчина.

– Это роль, которую хотела сыграть та девушка?

– Да. – Он нахмурился, а затем добавил: – Она – моя жена!

– Ах! Так вы женаты?

– Я женился слишком рано – совсем как герой моей пьесы. С одной стороны, в этом нет ничего плохого, поскольку мы оба не верим в старомодный буржуазный брак, когда живут в одной квартире и все такое прочее. Она не стала менять фамилию. Но, тем не менее, мы дошли до того, что стали друг друга ненавидеть.

Как только прошло первое потрясение, тот факт, что он женат, тут же перестал казаться Жозефине чем-то из ряда вон выходящим; в один прекрасный день два года назад лишь добросовестность сельского священника помешала Жозефине стать миссис Трэвис Де-Коппет.

– За все приходится когда-нибудь расплачиваться, – заметил он.

Они свернули, вышли на бульвар и прошли мимо отеля «Блэкстоун», из окон которого доносилась приглушенная танцевальная музыка.

На улице горящий закат отражался зеркальными стеклами сотен автомобилей, направлявшихся за город или на северное побережье озера; город без них вполне обойдется, и воображение Жозефины, вместо того чтобы лететь за машинами, задержалось здесь; она думала об электрических вентиляторах в ресторанчиках, где на витринах были выложены лобстеры на льду, и о световых рекламах, сверкающих и кружащихся на фоне мрачного городского неба – горячего, черного неба. И о заполняющей все вокруг, ужасно чуждой, тягостной тайне

крыш домов и пустых квартир, о белых платьях на дорожках в парках, и о похожих на звезды пальцах, и о похожих на луны лицах, и о тех, кто сейчас с незнакомцами, чьи имена едва-едва удерживаются в памяти.

Жозефину охватила чувственная дрожь, и она поняла, что тот факт, что Джон Бейли был женат, лишь прибавлял ему привлекательности в ее глазах. Жизнь дала небольшую трещину; запертые и запретные двери раскрылись настежь, и за ними стали видны заколдованные коридоры. Может, именно это и потянуло к себе ее отца – некий зов приключений, который она унаследовала от него?

– Как бы я хотел оказаться с вами наедине! – сказал Джон Бейли, неожиданно добавив: – Эх, была бы у меня машина!

Но они ведь и так уже были наедине, подумала она. В ее глазах для него появился фон, который принадлежал лишь ему – летние улицы города. Здесь они были одни; и когда он, наконец, ее поцеловал, они стали уже не совсем наедине. Наступит и его время; а сейчас было ее. Их прильнувшие друг к другу руки притянули ее поближе к его высокому боку.

Немного погодя, сидя на заднем ряду в кинотеатре, когда желтоватые стрелки часов неумолимо подползали к шести, она склонила голову на его широкое плечо и его прохладная белая щека прижалась к ее щеке.

– Я обрекаю себя на множество мук! – прошептал он.

В темноте она поймала задумчивый взгляд его черных глаз и постаралась придать ему уверенности ответным взглядом.

– Я принимаю все слишком близко к сердцу, – продолжил он. – И разве, черт возьми, мы можем вообще что-нибудь друг для друга значить?

Она ничего не ответила. Вместо этого она позволила себе окунуться в знакомую атмосферу любовного подъема, течения и полета, одним лишь пожатием руки притянув его к себе из его далекой и одинокой дали.

– А что скажет твоя жена, если я соглашусь на роль в твоей пьесе? – прошептала она.

А в это же самое время на вокзале в Лейк-Форрест блудного отца Жозефины встречала супруга.

– В городе просто адская жара, – сказал он. – Ну и денек выдался!

– Она пришла?

– Да, и с первого взгляда стало ясно, что обедать ее можно вести только в «Ля-Гранж». Чтобы сохранить хоть остаток репутации!

– Все улажено?

– Да. Она согласилась оставить Билла в покое и перестать называть себя его женой, если мы всю жизнь будем ей платить три сотни в месяц. Твоему отличающемуся крайне специфическим вкусом братцу я отправил телеграмму на Гавайи, чтобы он собирался домой.

– Бедный Билл! – вздохнула миссис Перри.

III

Три дня спустя в вечерней прохладе Жозефина заговорила с отцом, который вышел на веранду:

– Папа, а ты никогда не думал вложиться в постановку пьесы?

– Да нет, я об этом как-то никогда не думал. Но мне всегда хотелось написать какую-нибудь пьесу. А что, Дженни Макри со своим концертом села на мель?

Жозефина в нетерпении щелкнула язычком:

– Я в этом концерте участвовать не собираюсь! Речь идет о попытке создать нечто прекрасное. И я хочу задать тебе лишь один вопрос: что может тебе помешать профинансировать эту постановку?

– Помешать мне?

– Да? Что могло бы?

– Но ты не даешь мне времени все обдумать!

– Смею надеяться, что ты не будешь возражать, если твои деньги пойдут на достойное дело!

– А что за пьеса? – Он уселся рядом с ней, и она чуть-чуть от него отодвинулась.

– Мама знакома с некоторыми из попечителей, так что все в полном порядке. Но человек, от которого зависит финансирование, очень ограниченный и желает внести много изменений, которые все испортят; поэтому нужен другой меценат.

– О чем пьеса?

– О, пьеса просто отличная, не беспокойся, – уверила она его. – Ее автор жив и здоров, хотя пьеса уже стала неотъемлемой частью американской литературы.

Отец задумался.

– Ну что ж, если ты собираешься в ней играть и твоя мать не возражает, я готов дать пару сотен.

– Пару сотен? – воскликнула она. – От тебя? От человека, который ходит и швыряет деньги направо-налево? Требуется никак не меньше тысячи!

– Это я-то? Швыряю деньги налево-направо? – переспросил он. – Да что ты такое, прости господи, говоришь?

– Ты отлично знаешь, о чем я!

Ей померещилось, что он на мгновение опустил глаза, что его голос прозвучал неуверенно, когда он произнес:

– Если ты о том, как мы живем, то мне кажется, что в этом меня упрекать не совсем тактично.

– Я не об этом! – Жозефина заколебалась; затем, даже не раздумывая, она отважилась на шантаж: – Мне кажется, что тебе не придется по вкусу, если я стану мараться, обсуждая...

Из дома донесся звук шагов миссис Перри, и Жозефина быстро встала. На дорожке у дома показался автомобиль.

– Надеюсь, сегодня ты ляжешь спать не поздно! – сказала мать.

– Лилиан с ребятами должны заехать.

Перед тем как машина проехала мимо, Жозефина и отец обменялись резкими враждебными взглядами.

На небе была полная луна, и было светло, как днем. Жозефина сидела на ступеньках веранды, прислушиваясь к суматохе бессонных птиц, бряцанью мывшихся на кухне тарелок, к печальному гудку экспресса Чикаго – Милуоки. Спокойная и тихая, она сидела и ждала

телефонного звонка; он не мог увидеть ее здесь, так что она смотрела на себя за него – и это было почти одно и то же.

Она думала о ближайшем будущем со всеми великолепными перспективами – премьера, и в зале перешептываются: «Вы тоже узнали? Это же дочь Перри!» И вот занавес, бурные аплодисменты, и она сама, с охапкой цветов, ведет вперед высокого, застенчивого мужчину, который объявляет: «Я всем обязан ей!» И в зале виднеется искаженное яростью лицо миссис Макри, и исполненное раскаяния лицо мисс Брейретон, директрисы школы, которая случайно оказалась в городе. «Ах, если бы я только знала о том, что у нее талант, я никогда бы так не поступила!» Со всех сторон радостные и шумные возгласы: «Молодая и величайшая американская актриса!»

Затем постановку переносят в театр побольше; огромные, броские электрические буквы: ЖОЗЕФИНА ПЕРРИ в НЕГРИТЯНСКОМ ПОГРОМЕ. «Нет, папа, в школу я больше не вернусь. Вот мое образование, вот мой дебют!» А отец ответит: «Ну что ж, девочка моя, должен признать, что деньги я вложил на редкость удачно!»

И если на последнем этапе этих мечтаний фигура Джона Бейли уходила на второй план, то это было лишь потому, что мечты устремлялись во все более и более туманные дали, всегда возвращаясь к премьере, где все начиналось сначала.

Пришли Лилиан, Тревис и Эд, но она едва заметила их присутствие, прислушиваясь, не звонит ли телефон. Они уселись, как и всегда, в ряд на ступеньках, и лето окружало, окутывало и накрывало их с головой. Но они выросли, и привычные схемы рушились; их поглощал тайный зов их собственных судеб, и было не важно, дружелюбно ли звучали их голоса, и сколь знакомо звучал их смех в тишине. Беседа о теннисном турнире навеяла на Жозефину скуку, сменившуюся раздражением; она сказала Трэвису Де-Коппету, что от него пахнет луком.

– Я никогда не ем лук перед репетициями! – ответил он.

– Но тебе не придется репетировать со мной, потому что я выступать не буду! Я слегка устала от: «А вот перед вами веселые девчонки, которые умеют играть в гольф! Ура!»

Зазвонил телефон; она извинилась и ушла в дом.

– Ты одна?

– Зашли знакомые, друзья детства.

– Не вздумай никого целовать! Ох, нет – я хотел сказать, целуй кого хочешь!

– Никого не хочу. – Она почувствовала отражавшееся от трубки телефона тепло губ.

– Я звоню из телефона-автомата. Она заявила ко мне в ужасном настроении, и я ушел.

Жозефина ничего не ответила; что-то внутри нее гасло, когда он начинал говорить о своей жене.

Когда она вернулась на крыльцо, почувствовавшие ее рассеянность гости уже встали, собираясь уходить.

– Нет. Нам пора. Нам с тобой тоже скучно!

По дуговой дорожке вслед за машиной Эда прибыла родительская машина. Отец жестами показал, что хотел бы поговорить с дочерью наедине.

– Я не совсем понял, что ты говорила про «деньги налево-направо»? Ты что, связалась с социалистами?

– Я же сказала тебе, что мама знакома с некоторыми из...

– Но с кем познакомилась ты? С парнем, который написал пьесу?

– Да.

– Где ты его взяла?

– Да так, в одном месте.

– И он попросил тебя собрать деньги?

– Нет.

– Я должен поговорить с ним, а до этого советую тебе все отложить. Пригласишь его на обед в воскресенье?

– Ладно, – неохотно согласилась она. – Но только если ты не станешь поддевать его насчет бедности и дешевой одежды!

– Как ты могла подумать!

В следующее воскресенье Жозефина с глубокой тревогой подъехала в своем «родстере» к железнодорожной станции. Она испытала облегчение, увидев, что Джон подстригся и выглядел очень крупным, мощным и выделяющимся из толпы любителей тенниса, прибывшей на том же поезде. Но, обнаружив, что он нервничает, она полчаса катала его по Лейк-Форест.

– А это чей дом? – постоянно спрашивал он. – А кто эти двое, о которых ты сейчас говорила?

– Ах, да не знаю я; просто люди какие-то. За обедом гостей не будет, только семья и еще один парень, Говард Пейдж; мы с ним знакомы с детства.

– Ах, эти парни, с которыми ты знакома с детства! – вздохнул он. – И почему меня не было среди них?

– Но ты ведь не хочешь быть таким, как они? Ты хочешь стать лучшим в мире писателем.

В гостиной дома Перри Джон Бейли уставился на фотографию с подружками невесты с прошлогодней свадьбы сестры Жозефины. Затем прибыл Говард Пейдж, студент младшего курса из Нью-Хейвена, и они поговорили о теннисе: племянник миссис Макри выступал великолепно, и сегодня вечером в финале у него был отличный шанс на победу. Когда прямо перед обедом на первый этаж спустилась миссис Перри, Джон Бейли не смог удержаться, чтобы не развернуться к ней неожиданно спиной и не пройти туда-сюда по комнате, притворяясь, что чувствует себя как дома. В душе он был уверен, что он – лучше всех этих людей, и ему было невыносимо, что они об этом не догадываются.

Горничная позвала его к телефону, и Жозефина услышала, как он сказал в трубку: «Я ничего не мог поделать. Ты не имеешь права мне сюда звонить!» Именно из-за того, что его жена напомнила о своем существовании, Жозефина увернулась от его поцелуя и вместо этого поместила его в свои платонические грезы, которые не развеются до тех пор, пока Провидение его не освободит.

За обедом она с облегчением заметила, что Джон Бейли и ее отец друг другу понравились. О негритянских погромах Джон знал все, что только можно, и рассказывал блестяще, и Жозефина заметила, каким тощим и постным выглядел рядом с ним Говард Пейдж.

Джона Бейли вновь вызвали к телефону; на сей раз он покинул комнату с восклицанием, произнес в трубку ровно три слова и резко повесил ее на место.

Вернувшись за стол, он шепнул Жозефине:

– Не могла бы ты сказать горничной, чтобы она говорила, что меня нет, если она сюда еще позвонит?

Жозефина принялась спорить с матерью:

– Я не понимаю, какой смысл устраивать дебют в свете, если вместо этого я могу стать актрисой?

– Да, зачем ей дебют? – согласился отец. – Разве мало она вращалась в нашем обществе?

– Но школу она закончить обязана! Там есть курс по искусству драмы, и каждый год там ставят пьесу.

– Да что они ставят? – с презрением спросила Жозефина. – Шекспира или что-то вроде этого! Ты понимаешь, что прямо сейчас в Чикаго живет не меньше дюжины поэтов, которые лучше Шекспира?

Джон Бейли со смехом возразил:

– О, нет! Ну, разве что один...

– А мне кажется, что дюжина! – не сдавалась пылкая новообращенная.

– В йельском курсе Билли Фелпса... – начал было Говард Пейдж, но Жозефина с напором перебила:

– Как бы там ни было, я считаю, что не стоит дожидаться, пока человек умрет, чтобы воздать ему должное! Вот так вот, мама!

– Ничего подобного! – возразила миссис Перри. – Говард, разве я когда-нибудь так говорила?

– В йельском курсе Билли Фелпса... – вновь начал Говард, но на этот раз его перебил мистер Перри:

– Мы отклонились от темы. Этот юноша желает, чтобы моя дочь сыграла в его пьесе. И если в пьесе нет ничего низменного, я не возражаю.

– В йельском...

– Но я не желаю, чтобы Жозефина участвовала в чем-либо грязном!

– Грязном? – Жозефина пристально на него посмотрела. – А тебе не кажется, что и в Лейк-Форест прямо сейчас происходит немало грязного?

– Но ведь тебя это не касается? – ответил отец.

– Не касается? Неужели?

– Нет! – уверенно ответил отец. – Никакая грязь тебя не касается. А если и касается, то исключительно по твоей вине. – Он повернулся к Джону Бейли: – Как я понимаю, вы нуждаетесь в деньгах.

Джон вспыхнул:

– Да. Но не думайте...

– Да ничего страшного! Мы здесь уже много лет финансируем оперные постановки, и я вовсе не боюсь чего-нибудь лишь потому, что этого раньше не было. Мы знакомы с некоторыми дамами из вашего

комитета, и я уверен, что они не станут заниматься какой-нибудь чепухой. Сколько вам нужно?

– Около двух тысяч долларов.

– Что ж, вы находите половину, а половину дам я, но есть два условия. Первое. Мое имя ни в коем случае не разглашается, и никакой шумихи вокруг имени моей дочери! Второе. Вы лично мне гарантируете, что она не будет играть какую-либо сомнительную роль или произносить реплики, которые могли бы вызвать негодование ее матери.

Джон Бейли задумался.

– Последнее условие – невыполнимое, – сказал он. – Я не знаю, что может вызвать негодование ее матери. Никакой брани не будет, это точно. Ни слова во всей этой чертовой вещи!

Он медленно покраснел, услышав общий смех.

– Никакая грязь не пристанет к Жозефине, если только она не влезет в нее сама! – сказал мистер Перри.

– Я вас понимаю, – ответил Джон Бейли.

Обед закончился. Уже некоторое время миссис Перри поглядывала в сторону прихожей, откуда доносились громкие голоса.

– Давайте...

Едва они переступили порог гостиной, как появилась горничная, за которой следовал местный блюститель порядка в синей форменной одежде.

– Здравствуйте, мистер Келли! Хотите нас арестовать?

Келли неловко топтался:

– Здесь находится мистер Бейли?

Джон, который отошел было подальше, резко развернулся:

– Что такое?

– Для вас есть важное известие. Вам пытались сюда дозвониться, но не получилось, так что они позвонили констеблю... Это я! – Он поклонился, а затем, продолжая с ним разговаривать, одновременно стал показывать ему кивками головы в направлении двери, желая продолжить разговор там, где их никто не услышит; но и оттуда его голос, пусть и приглушенный, был очень хорошо слышен всем в комнате.

– Больница Св. Антония... Ваша жена разрешила оба запястья и включила газ... Вас ждут там как можно скорее... – Голос стал чуть

громче, когда они проходили мимо двери. – Еще не знают... Если на поезд не успеваете, воспользуйтесь моей машиной...

Теперь они оба вышли на улицу и быстро зашагали по дорожке. Жозефина увидела, как Джон споткнулся и неуклюже ухватился за створку ворот, а затем широкими шагами поспешил к маленькому автомобилю констебля. Блюстителю порядка даже пришлось прибавить шагу, чтобы за ним поспеть.

IV

Через несколько минут, когда беда Джона Бейли удалась на достаточное расстояние, общее ошеломление прошло и все снова стали вести себя как нормальные люди. Мистер и миссис Перри тревожились о том, насколько сильно Жозефина ввязалась во все это дело; затем они разозлились на Джона Бейли за то, что он пришел к ним со своей надвигающейся катастрофой.

Мистер Перри спросил:

– Ты знала, что он женат?

Жозефина плакала; она сжала губы; отец избегал встречаться с ней глазами.

– Они не живут вместе, – прошептала она.

– Но она, кажется, знала, что он у нас!

– Но ведь он работает в газете? – сказала мать. – Вероятно, он сможет устроить так, чтобы об этом не писали? Или все же тебе стоит что-нибудь предпринять, Герберт?

– Я как раз об этом думал.

Говард Пейдж неуклюже встал, не желая говорить, что он собирается на финал теннисного турнира. Мистер Перри проводил его до двери и несколько минут что-то ему горячо втолковывал; Говард кивал в ответ.

Прошло полчаса. К дому подъехало несколько гостей, но всем говорили, что дома никого нет. Жозефина почувствовала некую пульсацию в атмосфере жаркого летнего вечера; поначалу она решила, что это – жалость, затем – угрызения совести, но в конце концов она поняла, что это была за пульсация. «Мне нужно все это от себя оттолкнуть, – вот что билось у нее в голове, – все это не должно меня касаться. Его жену я видела лишь мельком. А он сказал мне...»

И в этот момент Джон Бейли стал удаляться все дальше и дальше. Ведь он был всего лишь случайным знакомым – это был просто некто, рассказавший ей неделю назад о написанной им пьесе. А к Жозефине он не имел никакого отношения!

В четыре часа мистер Перри пошел к телефону и позвонил в больницу Св. Антония; информацию ему удалось получить только тогда, когда к телефону подошел кто-то из начальства, с которым он был знаком. Оказавшись лицом к лицу со смертью, миссис Бейли позвонила в полицию, и они, как оказалось, успели. Она потеряла много крови, но больше никаких осложнений...

Теперь, испытав облегчение, родители рассердились на Жозефину словно на ребенка, который мешкает, переходя через улицу прямо перед несущейся повозкой.

– Чего я не могу понять: зачем ты знакомишься с подобными людьми? С чего у тебя возникло желание узнать поближе чикагские окраины?

– Этому молодому человеку нечего здесь было делать! – беспощадно прогремел отец. – И он об этом прекрасно знал!

– Да кто он вообще такой? – громко потребовала ответа миссис Перри.

– Он сказал мне, что он – потомок Карла Великого! – ответила Жозефина.

Мистер Перри хмыкнул:

– Что ж, тогда нам здесь больше не нужно никаких потомков Карлов Великих! Молодежи лучше оставаться в своем кругу до тех пор, пока они не научатся различать своих и чужих. А ты оставь в покое женатых мужчин!

Но Жозефина теперь вновь стала самой собой. Она встала и прищурилась.

– Ах, у меня от вас голова разболелась! – воскликнула она. – Ну, надо же, женатые мужчины! Как будто в мире мало женатых мужчин, встречающихся с женщинами за спиной у своих жен!

Не в силах вынести еще одну сцену, миссис Перри удалилась. Как только она ушла, Жозефина, наконец, высказалась со всей откровенностью:

– Тебе ли говорить мне все это?

– А теперь слушай меня внимательно! Ты уже говорила что-то подобное вчера, и слушать это еще и сегодня мне несколько не нравится. Что ты хочешь этим сказать?

– Видимо, тебе никогда ни с кем не приходилось обедать в отеле «Ля-Гранж»?

– В «Ля-Гранж»? – Мало-помалу он стал догадываться, о чем идет речь. – Но... – И он рассмеялся.

Затем вдруг выругался и, быстро подойдя к подножию лестницы на второй этаж, позвал жену.

– Садись, – сказал он Жозефине. – Я сейчас расскажу тебе одну историю.

Через полчаса мисс Жозефина Перри покинула дом и отправилась на теннисный турнир. На ней было одно из новеньких осенних платьев: прямой крой, но с пышной юбкой и с пушистыми белыми манжетами. Встреченные ею прямо у трибун знакомые рассказали, что племянник миссис Макри проигрывает чемпиону прошлого года, и это заставило ее с некоторым сожалением вспомнить о миссис Макри и своем решении по поводу концерта. Все сочтут странным, если она не будет выступать.

Когда она вошла на трибуну, вдруг раздался взрыв аплодисментов; турнир закончился. Вокруг победителя и побежденного на центральном корте образовалась толпа, и она пошла туда, и в вихре толпы ее унесло вперед, и она оказалась лицом к лицу с племянником миссис Макри. Но она оказалась на должной высоте. С самой печальной и обезоруживающей улыбкой, словно она день за днем следила за всеми его успехами и желала ему победы, она протянула ему руку и произнесла своим чистым и чувственным голосом:

– Мы все ужасно сожалеем!

На мгновение в возбужденной толпе воцарилась тишина. Скромно, полностью сознавая магию своего обаяния, Жозефина отошла,

заметив, что племянник миссис Макри глядит на нее круглыми глазами, разинув рот; и вдруг раздался взрыв смеха. Рядом с ней появился Тревис Де-Коппет.

– Ну, ты даешь! – воскликнул он.

– А что такое? Что?

– «Сожалеем»?! Да ведь он выиграл! Я еще никогда не видел столь блестящей победы!

Так что в итоге на концерте Жозефина сидела в зале с семьей. Осматривая публику во время действия, она увидела, что на галерке стоит Джон Бейли. Он выглядел очень печальным, и ей стало его жаль – она понимала, что сюда он пришел лишь в надежде увидеть ее. По крайней мере, он видит, что она не позорит себя всякими глупостями на сцене.

А затем приглушили свет, и у нее захватило дыхание; оркестр заиграл быструю мелодию, и на вершине построенной на сцене лестницы Тревис Де-Коппет, в белом сатиновом костюме, вывел под свет софитов блестящую блондинку в платье цвета осенних листьев. Это была Мадлен Денби, и это была та самая роль, которую должна была играть Жозефина. Когда начался теплый дождик дружеских аплодисментов, Жозефина подумала: лишь сиюминутное и блестящее настоящее обладает значением, и поэтому она, отныне и навеки, будет связывать свою судьбу лишь с богатыми и сильными мира сего.

Эмоциональное банкротство

I

— Опять этот чокнутый с подозрной трубой! – сказала Жозефина. Лилиан Хэммел оторвала спину от кружевной диванной подушки и подошла к окну. – Стоит в глубине комнаты, и нам его не разглядеть! Подсматривает за окнами над нами!

Подглядывающий находился в доме на другой стороне узкой 68-й улицы и не подозревал, что с недавних пор ученицы подготовительной школы мисс Траби знали о его увлечении, но относились к нему равнодушно. Они даже вычислили его – это был ничем не примечательный, вполне благопристойного вида молодой человек с портфельчиком, каждое утро в восемь выходивший из дома, вовсе, казалось, и не подозревавший, что через дорогу от него находится женская школа.

– Что за отвратительный тип! – сказала Лилиан.

– Да все они одинаковые, – ответила Жозефина. – Бьюсь об заклад, что едва ли не каждый мужчина из наших знакомых занялся бы тем же самым, будь у него телескоп и свободный вечер. Могу поспорить, что уж Луи Рэнделл бы – точно!

– Жозефина, а он и правда собирается ехать за тобой в Принстон? – спросила Лилиан.

– Да, милая!

– А ему не кажется, что это уж чересчур?

– Ничего, он справится! – уверила ее Жозефина.

– А Пол не разозлится?

– Мне еще об этом думать? Я в Принстоне знаю всего с полдюжины парней, так что если там будет Луи, то у меня будет по крайней мере один хороший партнер на танцах – в нем я уверена! У Пола слишком маленький рост, да и танцор он неважный.

Не то чтобы Жозефина была очень высокой; ее рост точь-в-точь подходил для ее семнадцати лет, а красота чудесным образом расцветала день за днем, становясь все более насыщенной и горячей. Год назад на нее всего лишь пристально смотрели, за год до этого едва достаивали взглядом – а сегодня у людей при взгляде на нее захватывало дыхание! Было совершенно очевидно, что в следующем году в Чикаго появится эффектная дебютантка – даже несмотря на тот факт, что Жозефина была эгоисткой, гонявшейся не за популярностью, а за конкретными мужчинами. И если Жозефина всегда приходила в себя, то мужчины часто так и не излечивались: количество писем, получаемых ею ежедневно из Чикаго, Нью-Хейвена и с пограничной Йельской батареи, в среднем равнялось дюжине.

Стояла осень 1916 года; в воздухе совершенно отчетливо слышался гром далеких пушек. Когда два дня спустя две девушки отправились на бал в Принстон, с собой в дорогу они взяли «Стихотворения Алана Сигера» и тайком в киоске на вокзале приобрели журналы «Смарт сет» и «Сочные рассказы». По сравнению с нынешними семнадцатилетними девушками Лилиан Хэммел была совершенно невинной, ну а Жозефина Перри была из тех, чей образ прославлен в веках.

В дороге они так ничего и не прочитали, если не считать нескольких любовных эпиграмм с началами вроде: «Женщина, которой тридцать...» В поезде было много народу, остановок было мало, из вагонных коридоров доносились звуки оживленных бесед. В поезде ехали очень юные девушки в состоянии вежливо скрываемого ужаса; сильно скучавшие в душе девицы, уже отпраздновавшие свой двадцать пятый день рождения; некрасивые девчонки, явно не подозревавшие, что их ждет; ехали и небольшие, уверенные в себе компании, направлявшиеся, казалось, прямо-таки в дом родной.

– Говорят, там совсем не так, как в Йеле, – сказала Жозефина. – Все не так тщательно подготовлено. Никто не таскает тебя туда-сюда, из одних гостей в другие, как принято в Йеле...

– Ах, разве можно забыть ту нашу изумительную весеннюю поездку?! – воскликнула Лилиан.

Они обе вздохнули.

– По крайней мере, там будет Луи Рэнделл! – произнесла Жозефина.

И в том, что там будет Луи Рэнделл, не могло быть никаких сомнений. Жозефина сочла возможным пригласить его сама, пренебрегая формальностями и даже не сказав об этом своему кавалеру из Принстона. Кавалер же, который в этот самый миг мерил шагами платформу, как и множество других молодых людей, скорее всего, воображал, что это именно он – радушный хозяин. Но он заблуждался; хозяином в данном случае была Жозефина: даже ехавшая с ней Лилиан была приглашена другим питомцем Принстона, по имени Мартин Манн, которого заботливо подсунула ей Жозефина.

«Прошу тебя, пригласи ее, – написала ему она. – Тогда мы сможем видеться часто, потому что тот человек, который меня пригласил, не очень-то мной увлечен, так что возражать не станет».

Но Пол Демпстер был как раз увлечен, да так сильно, что, едва поезд подкатил к зданию вокзала, Пол так сильно вдохнул, что едва не упал в обморок. Уже год он был верным поклонником Жозефины – а ее интерес к нему уже давно угас, – и судить ее объективно он уже не мог; для него же она превратилась в проекцию его собственных грез, в лучезарный и туманный огонь.

Но глазам сошедшей с поезда Жозефины никакой туман не мешал. Она немедленно ринулась к Полу, словно желая поскорее покончить с этим и очистить палубу для других, более важных, жизненных действий.

– Я прямо трепещу от восторга! Так мило, что ты меня пригласил! – Слова, известные с незапамятных времен, но все еще действующие, несмотря на прошедшие пятнадцать лет.

Она цепко ухватила его за руку, постаравшись поудобнее устроить его ладонь в своей, словно желая соединить эти ладони навеки.

– Могу поспорить, что ты совсем не рад меня видеть, – прошептала она. – Уверена, что ты обо мне и не вспоминал! Знаю я тебя!

Этот элементарный трюк погрузил Пола Демпстера в смущенное и счастливое оцепенение. Снаружи он выглядел на свои девятнадцать, но внутри этой оболочки еще бродила юность.

Он смог лишь хрипло сказать в ответ:

– Ни в коем случае! – А затем: – У Мартина лабораторка по химии. Мы договорились встретиться в клубе.

Толпа молодежи медленно заполонила ведущие вверх ступени у подножия арки Блэра, словно расплываясь в осенних грезах и разбрасывая ногами желтые листья. Они медленно двигались между полосками дерна под вязами и аркадами, выдыхая клубы пара в холодный вечер, стремясь за мечтой, казавшейся совсем близкой, словно еще чуть-чуть – и счастье окажется у них в карманах.

Все уселись перед большим камином в клубе «Уизерспун»; среди клубов, которыми славен Принстон, этот обладал самым обширным зданием. Мартин Манн, кавалер Лилиан, был тихим, симпатичным парнем, которого Жозефина несколько раз видела, но в плане чувств так и не исследовала. А сегодня, когда из фонографа доносилась мелодия «Туда, под тенистые пальмы» и приглушенный оранжевый свет разливался над сидевшими в большом зале то тут, то там компаниями – казалось, он нес снаружи атмосферу бесконечных обещаний, – Жозефина взглянула на Мартина оценивающим взглядом. Внутри нее поднялась знакомая волна любопытства; в разговоре с Полом она стала отвечать невпопад. Но Пол, все еще купаясь в волнах теплого очарования после прогулки со станции, ничего не замечал. Ему было невдомек, что ему уже бросили его кость; больше никакого особого внимания ему не полагалось. Отныне у него была другая роль.

В тот самый миг, когда все собрались идти переодеваться к ужину, все вдруг заметили незнакомую личность, только что вошедшую в клуб и остановившуюся у входа; личность обводила все вокруг слегка удивленным взглядом и держалась, конечно, не принужденно, но явно ни капельки не стесняясь. Юноша был высокого роста, с длинными ногами танцора, а его лицо походило на мордочку умудренного опытом хорька, которому любой курятник был по плечу.

– Ах, да это же Луи Рэнделл! – изумленным тоном воскликнула Жозефина.

Некоторое время она, как бы против своей воли, поговорила с ним, а затем стала представлять его всем присутствующим, шепнув Полу

между делом: «Это парень из Нью-Хейвена. Я и подумать не могла, что он придет сюда вслед за мной!»

Рэнделл сел на стул и спустя несколько минут уже казался своим среди гостей. Он обладал непринужденной манерой держаться и острым умом; в душу Пола не закралось никаких мрачных подозрений.

– А, кстати, – произнес Луи Рэнделл. – Я тут подумал – где бы мне переодеться? Чемодан я пока что оставил за дверью...

Последовала пауза. Жозефину, по-видимому, все это ничуть не интересовало. Тишина понемногу становилась натянутой, и Полу ничего не оставалось делать, как предложить:

– Если хочешь, можешь переодеться в моей комнате.

– Мне не хотелось бы тебя стеснять!

– Ничего страшного!

Жозефина вскинула брови и посмотрела на Пола, снимая с себя всякую ответственность за подобную мужскую бесцеремонность; затем Рэнделл спросил:

– Ты живешь недалеко отсюда?

– Совсем рядом.

– Просто я на такси, так что могу подвезти и тебя, если ты хочешь переодеться, а ты мне покажешь дорогу. Мне бы не хотелось тебя стеснять!

Повторение этого двусмысленного заявления выглядело так, словно Пол вполне мог рассчитывать, что его без предисловий могут выставить с вещами на улицу. Он неохотно встал; он не слышал, как Жозефина прошептала Мартину Манну: «Прошу тебя, только никуда не уходи!» Но Лилиан услышала, хотя и никак не отреагировала. Они с Жозефиной никогда не играли друг против друга на любовном поле, вот почему они оставались душевными подругами так долго. Когда Луи Рэнделл и его невольный благодетель удалились, она извинилась и ушла наверх переодеваться.

– Покажи мне, пожалуйста, клуб, – попросила Жозефина. Она чувствовала знакомое волнение: напряженно забился пульс, а щеки горели, словно электрический обогреватель.

– Здесь у нас отдельные столовые... – пояснял Мартин,водя ее по зданию... – Тут – бильiardная... Вон там – корты для сквоша... Здесь – библиотека, зал построили по образцу какого-то там цустерианского монастыря – в Индии, что ли, или еще где-то... Здесь... – он открыл

дверь и заглянул внутрь, – кабинет президента клуба, но я не знаю, где тут включается свет.

Жозефина вошла внутрь, негромко рассмеявшись.

– Тут очень уютно, – сказала она. – Совсем ничего не видно. Ой, что это такое? Скорее иди сюда, спаси меня!

Когда несколько минут спустя они вышли в коридор, Мартин торопливо приглаживал волосы.

– Ты – чудо! – сказал он.

Жозефина ни с того ни с сего негромко цокнула языком.

– Что такое? – спросил он. – Почему ты так странно на меня смотришь?

Жозефина промолчала.

– Я сделал что-нибудь не так? Ты рассердилась? Ты выглядишь так, словно только что увидела привидение, – сказал он.

– Ты ничего не сделал, – ответила она и через силу добавила: – Ты был... очень милый. – Она вздрогнула. – Покажешь мне мою комнату, ладно?

«Как странно! – думала она. – Он такой привлекательный, но мне совсем не понравилось с ним целоваться. В первый раз в жизни я вообще ничего не почувствовала! Даже с теми, кто мне не особенно нравился, было не так... Мне часто становилось с ними скучно потом... Но раньше этот самый момент всегда для меня что-то значил!»

Это происшествие огорчило ее гораздо больше, чем она ожидала. Это был всего лишь второй в ее жизни бал, но никогда – ни до, ни после – не получала она так мало удовольствия от танцев. Еще никогда ее не приглашали так много и с таким энтузиазмом, но внутри она чувствовала себя так, словно погрузилась в какой-то сон, который постоянно обрывался и начинался вновь. Сегодня мужчины казались ей манекенами, а не личностями; студенты из Принстона, студенты из Нью-Хейвена, незнакомые мужчины, старые поклонники – все казались статичными, словно чучела. Она задумалась о том, не появилось ли у нее на лице то самое, коровье, выражение, которое она столь часто замечала на лицах молчаливых и апатичных девиц?

«Я не в настроении, – сказала она себе. – Я всего лишь устала!»

Но на следующий день, за завтраком, всем было очень весело, энергия была через край, а ей вдруг показалось, что она выглядит

гораздо менее живо, нежели дюжина девиц, томно хваставшихся, что в эту ночь они так и не сомкнули глаз. После футбольного матча она из чувства раскаяния пошла к станции в компании Пола Демпстера, пытаясь подарить ему хотя бы остаток выходных, как подарила ему их начало.

– Ну почему ты не хочешь пойти сегодня вечером с нами в театр? – взмолился он. – Я ведь писал тебе об этом в письме! Мы все вместе должны были ехать в Нью-Йорк, в театр!

– Потому что, – терпеливо объяснила она, – мы с Лилиан должны вернуться в школу не позже восьми. Только при этом условии нас вообще сюда отпустили!

– Черт возьми! – сказал он. – Могу поспорить, что сегодня вечером ты собралась куда-нибудь с этим Рэнделлом!

Она с презрением отвергла это предположение, но Пол вдруг понял, что Рэнделл с ними ужинал, Рэнделл спал на его кушетке, Рэнделл – пусть на игре он и сидел на йельской стороне стадиона – непостижимым образом и сейчас все еще продолжал находиться здесь, рядом с ними!

И именно с ним Пол встретился глазами в последний миг, когда поезд отходил от перрона.

Он очень любезно поблагодарил Пола и пригласил его остановиться у него, если Пол когда-нибудь окажется в Нью-Хейвене.

Как бы там ни было, но если бы несчастный принстонский студент своими глазами увидел сцену, произошедшую час спустя на перроне Пенсильванского вокзала, то ему стало бы немного легче, поскольку теперь горький спор пришлось вести уже самому Луи Рэнделлу:

– Но почему бы не попытаться? Ваша «дуэнья» все равно не знает, во сколько вы должны вернуться!

– Зато мы знаем!

Когда он в конце концов смирился с неизбежным и удалился, Жозефина вздохнула и повернулась к Лилиан:

– Где мы встречаемся с Уолли и Джо? В «Ритце»?

– Да. И надо торопиться! – ответила Лилиан. – Представление в «Варьете» начинается в восемь!

II

Так все и продолжалось почти целый год – игра велась с отточенным мастерством, но без прежнего огня и энтузиазма; до восемнадцати Жозефине оставался всего лишь месяц. Однажды вечером, во время каникул в честь Дня благодарения, Жозефина с Лилиан сидели в ожидании ужина в библиотеке дома Кристины Дайсер, недалеко от Грамерси-Парк, и Жозефина сказала Лилиан:

– Я все время думаю, что еще год назад я бы сидела как на иголках. Новое место, новое платье, знакомства с новыми мужчинами...

– Милая, ты слишком много вращалась в обществе. Ты просто пресытилась!

Жозефина гневно возмутилась:

– Ненавижу это слово, и вообще это неправда! Мне в этом мире ничего, кроме мужчин, не надо, и ты об этом очень хорошо знаешь. Но теперь они стали совсем не те... Что смешного?

– А когда тебе было шесть лет, они были другими?

– Да, другими! В них было гораздо больше чувств, когда мы играли в «море волнуется», даже в еврейчиках, которых пускали в дом с черного хода. Ребята в танцевальной школе казались такими интересными; все были такие милые! Я часто задумывалась, что бы я почувствовала, если бы могла целоваться со всеми, и иногда это было просто чудесно. А затем появились Трэвис, и Тони Харкер, и Ридж Саундерс, и Ральф, и Джон Бейли, и тогда я, наконец, начала понимать, что это ведь все я сама, а не они! Они были никто, большинство из них никакие не герои, неопытные и нисколько не такие, как я мечтала. Их можно было брать голыми руками. Пусть это и звучит высокомерно, но это правда!

Она на мгновение умолкла.

– Вчера в постели я размышляла о мужчине, которого я могла бы по-настоящему полюбить, и получилось, что он должен быть не такой, как все, кого я знаю. Я хорошо знаю, чем он должен обладать. Он не обязательно должен быть красив, но должен хорошо выглядеть, с

хорошей фигурой, сильный. Еще он должен занимать положение в обществе либо не должен вообще придавать этому значения; надеюсь, ты меня понимаешь? Он должен быть лидером, а не быть как все. Он должен обладать чувством собственного достоинства, но и страстью тоже, у него должен быть большой жизненный опыт, чтобы я считала, что все, что он говорит или думает, верно. И всякий раз, когда я стану на него смотреть, у меня должно замирать сердце, как случается изредка, когда я вижу нового мужчину. Но с ним это должно происходить вновь и вновь, при каждом взгляде, – всю жизнь!

– И ты, конечно, хочешь, чтобы он был в тебя влюблен? Вот чего бы мне хотелось в первую очередь!

– Само собой, – рассеянно сказала Жозефина. – Но главное для меня – чтобы я была всегда уверена, что люблю его. Любить гораздо интереснее, чем быть кем-то любимой.

В коридоре за дверью послышались шаги, и в комнату вошел мужчина. Это был офицер в форме французской авиации: облегающий мундир небесно-голубого цвета, сияющие в свете ламп, как зеркала, высокие шнурованные ботинки и ремень. Он был молодой, сероглазый; взгляд его, казалось, устремлялся вдаль, а над губами торчали красновато-коричневые усики военного. Слева на груди у него красовались в ряд цветные орденские ленты, на рукавах были золотистые полосы, а в петлицах – крылышки.

– Добрый вечер! – учтиво произнес он. – Мне сказали, что нужно идти сюда. Надеюсь, я не помешал?

Жозефина не могла даже пошевелиться. Она осматривала его с ног до головы, и чем дольше она на него смотрела, тем ближе он ей казался, все более затмевая собой всю окружающую обстановку. До нее сначала донесся голос Лилиан, а затем голос офицера, произнесший:

– Моя фамилия Дайсер; я – кузен Кристины. Не возражаете, если я закурю?

Садиться он не стал. Прошелся по комнате, полистал какой-то журнал – не делая вид, что не замечает их присутствия, а словно стараясь из вежливости не помешать их разговору. Заметив, что воцарилась тишина, он сел за столик рядом с ними, сложил руки и улыбнулся.

– Вы служите во французской армии? – отважилась спросить Лириан.

– Да, я только что из Европы, и мне здесь очень нравится.

Жозефина заметила, что он совсем не выглядел довольным. Он выглядел так, словно ему очень хотелось сейчас же куда-нибудь сбежать, но бежать было некуда.

Впервые в жизни она не чувствовала себя уверенно. Ей было совершенно нечего ему сказать. Она надеялась, что пустота, которую она ощутила сразу же после того, как ее душа внезапно устремилась к его прекрасному образу, не отразилась у нее на лице. Она заставила себя улыбнуться и вспомнила, как однажды, давным-давно, Трэвис Де-Коппет пришел на урок танцев в дядюшкином «взрослом» плаще, и ей неожиданно показалось, что перед ней – настоящий мужчина из высшего света. Также и теперь – долгая война за океаном нас почти не затронула, если не считать того, что нам на время пришлось довольствоваться лишь собственными гаванями, и эта война уже превратилась в легенду, и стоявший сейчас перед Жозефиной человек, казалось, шагнул сюда прямо из какой-то огромной книги сказок с алым переплетом.

Она обрадовалась, когда прибыли остальные участники ужина и комната наполнилась людьми – незнакомцами, с которыми, в зависимости от того, чего они заслуживали, можно было болтать, смеяться или зевать прямо в лицо. Девушек, порхавших вокруг капитана Дайсера, она презирала, но восхищалась им самим – даже взмахом ресниц он не показывал, нравится ли ему это внимание. Ей особенно не нравилась высокая, ухватистая блондинка, которая как бы в рассеянности взяла его за руку; ему надо было бы тут же смахнуть платком все следы такого кощунства по отношению к его безупречности.

Они пошли ужинать; он сидел далеко от нее, и она была этому рада. Она видела лишь его синюю манжету над столом, когда он протягивал руку за бокалом, но у нее было такое ощущение, что здесь находятся они вдвоем – пусть он об этом даже и не подозревает!

Сидевший рядом с ней мужчина поделился необязательной информацией о том, что он – герой:

– Это кузен Кристины, он вырос во Франции и пошел служить добровольцем в самом начале войны. Его сбили в тылу у немцев, но он

сбежал, спрыгнув с поезда на полном ходу. Об этом много писали в газетах. Думаю, сюда он приехал ради какой-то пропаганды... И еще он отличный наездник. Все от него без ума!

После ужина она тихо сидела, не вмешиваясь в разговоры мужчин, упорно желая, чтобы он к ней подошел. Ах, она будет такой милой, она не станет выказывать ни любопытства, ни сентиментальности, не станет расспрашивать о его подвигах, не станет делать ничего, что наверняка успело ему наскучить с тех самых пор, как он вернулся домой, и заставляло его чувствовать себя неудобно. До нее доносились обрывки разговоров:

– Ах, капитан Дайсер... Правда ли, что немцы пытаются всех пленных канадских солдат... Как вы думаете, сколько еще продлится война... Ах, оказаться в тылу врага... А вам было страшно... – Затем раздался низкий мужской голос, рассказывавший ему о войне, периодически затягиваясь сигарой: – Как мне кажется, капитан Дайсер, ни один из противников не может победить. Поразительно: они боятся друг друга!

Казалось, прошла целая вечность, прежде чем он к ней подошел, но это случилось в самый благоприятный момент, когда освободился стул рядом с ней.

– Мне уже давно хотелось поговорить с самой прекрасной девушкой! Я весь вечер этого ждал; так долго тянулось это время...

Жозефине захотелось прижаться к блестящей коже его портупеи, и даже более того – ей захотелось, чтобы его голова вдруг очутилась у нее на коленях. Всю свою жизнь она ждала именно этого момента. Она отлично знала, чего хочет он, и она ему это дала; это были не слова, а теплая и восхищенная улыбка – улыбка, говорившая: «Я – твоя, стоит тебе лишь попросить; ты меня покори». Эта улыбка знала себе цену, потому что ее красота говорила за двоих, выражая всю грядущую радость, переполнявшую их обоих.

– Кто же ты такая? – спросил он.

– Я – просто девушка.

– А я подумал, что ты – цветок! Я думал – и зачем они посадили тебя на стул?

– *Вив ля Франс!* – с наигранной скромностью ответила Жозефина. И уставилась ему на грудь: – А марки ты тоже собираешь? Или только значки?

Он рассмеялся:

– Приятно вновь увидеть настоящую американскую девушку! Я ждал, что меня посадят за столом хотя бы напротив, чтобы я мог на тебя смотреть!

– Я видела только твои манжеты.

– А я – твою руку. По крайней мере, я... Ну да, я так и подумал – это был именно твой зеленый браслет!

Позже он спросил:

– Ты сможешь уделить мне хотя бы один вечер?

– Не все так просто. Я ведь пока в школе учусь.

– Ну, тогда можно встретиться днем. Мне бы хотелось сходить куда-нибудь потанцевать, послушать новые мелодии. Последняя новинка, которую я слышал, – это «Поджидая Роберта И. Ли».

– Няня ее часто напевала, укладывая меня спать!

– Так когда ты сможешь?

– Боюсь, что тебе придется устроить так, чтобы нас всех пригласили к вам в гости. Твоя тетка, миссис Дайсер, очень строга.

– Да, я все время забываю, – согласился он. – Сколько тебе лет?

– Восемнадцать, – сказала она, прибавив себе лишний месяц.

На этом их прервали, и вечер для нее окончился. Все остальные юноши были в смокингах и выглядели на фоне стяга его формы словно участники похоронной процессии. Некоторые из них оказывали настойчивые знаки внимания Жозефине, но сейчас она могла думать лишь о небесно-голубом мундире, и ей хотелось остаться наедине с собой.

«Вот оно, наконец-то!» – шептал ее внутренний голос.

И весь остаток вечера, и весь следующий день она провела словно в трансе. Еще один день, и она его увидит – еще сорок восемь часов, сорок, тридцать... Само слово «пресыщение» вызывало у нее смех; она еще никогда не ощущала такого волнения, никогда еще так не ждала. Сам блаженный день был словно окутан дымкой, состоявшей из волшебной музыки, зимних комнат с приглушенным светом, автомобилей, где ее дрожащая коленка прижималась к его высоким форменным ботинкам со шнуровкой. Они танцевали, и она гордилась взглядами, которые следовали за ними; она гордилась им даже тогда, когда он танцевал с другой девушкой.

«Он может счесть, что я слишком молода, – с тревогой подумала она. – И тогда он ничего мне не скажет. А если скажет, то я брошу все, я убегу с ним хоть сегодня!»

На следующий день начались занятия в школе, и Жозефина написала домой:

Дорогая мама! Могу ли я провести часть каникул в Нью-Йорке? Кристина Дайсер пригласила меня на неделю к себе в гости, и в таком случае у меня еще останется целых десять дней, которые я проведу в Чикаго. Главная причина – в театре «Метрополитен» ставят вагнеровское «Кольцо Нибелунга», и если я поеду домой прямо сейчас, то посмотрю лишь «Золото Рейна». Кроме того, я заказала здесь пару вечерних платьев, и они еще не готовы...

Ответ пришел очень быстро:

... потому что, во-первых, получится, что ты не будешь дома в свой восемнадцатый день рождения, и твоему отцу это не понравится, поскольку это будет первый день рождения, который ты проведешь не с нами; во-вторых, я не знакома с Дайсерами; в-третьих, я решила устроить в честь тебя небольшой прием, так что мне понадобится твоя помощь; и, наконец, я не верю, что ты написала мне о настоящих причинах. На рождественской неделе в «Гранд-Опера» в Чикаго ставят...

А капитан Эдвард Дайсер тем временем посылал цветы и короткие вежливые записочки, которые звучали для нее словно переводы с французского. Она смущалась, отвечая на них, поэтому ответы она составляла на модном жаргоне. Французское образование и годы,

проведенные на войне в то время, когда Америку кружил водоворот «века джаза», сделали так, что он, хотя ему и было всего лишь двадцать три, казался представителем другого, более церемонного, более учтивого поколения. Ей было интересно, что бы он сказал насчет вяло-экзотических персонажей вроде Трэвиса Де-Коппета, Бука Чаффи или Луи Рэндалла? За два дня до начала каникул он написал ей, спрашивая, когда отходит ее поезд на запад. Это уже было что-то, и семьдесят два часа она провела, думая лишь об этом, не в силах сконцентрироваться на куче рождественских приглашений и неотвеченных писем, на которые она собиралась ответить перед отъездом. Но в день отъезда Лилиан принесла ей номер «Городских сплетен», который, судя по его потрепанному виду, уже успел погулять по школе; в журнале была отмечена следующая заметка:

Говорят, что один почтенный папаша из Такседо, слегка разгневанный выбором супруга, который совершила его старшая дочурка, отнесся с тем же чувством к тому факту, что единственную оставшуюся у него доченьку стали все чаще замечать в компании одного молодого человека, только что вернувшегося героем из французской армии.

Капитан Дайсер не пришел ее провожать. Он даже не прислал цветов! Лилиан, любившая Жозефину как саму себя, расплакалась в купе, и Жозефина ее утешала, приговаривая:

– Милая, послушай, мне ведь все равно! Разве можно на что-то надеяться, пока мы с тобой учимся в школе? Все в порядке!

Но и спустя несколько часов после того, как уснула Лилиан, уснуть она не смогла.

III

Восемнадцать лет... Это означало так много: «Когда мне исполнится восемнадцать, я смогу...», и «Пока девушке не исполнится восемнадцать...», и «Когда тебе будет восемнадцать, ты станешь думать совсем иначе».

Последнее, по крайней мере, было правдой. О полученных на каникулах приглашениях Жозефина теперь думала, словно о просроченных счетах. Она рассеянно сосчитала их, как всегда делала раньше: двадцать восемь балов, девятнадцать обедов и спектаклей, пятнадцать вечеринок и приемов, дюжина завтраков, несколько случайных приглашений, от раннего завтрака в йельском «Хоровом клубе» и вплоть до прогулки на санях в Лейк-Форрест; всего получилось семьдесят восемь, а если считать и небольшой прием, который она устраивала сама, то семьдесят девять. Семьдесят девять обещаний радости, семьдесят девять предложений хорошо провести время с друзьями... Набравшись терпения, она села, выбирая, взвешивая, спрашивая совета у матери в случае сомнений.

– Ты выглядишь бледной и усталой, – сказала мать.

– Я чахну. Меня увлекли и бросили!

– Ну, ты не будешь долго горевать. Уж я-то знаю свою дочку! Сегодня вечером на танцах в «Лиге юных женщин» ты встретишь множество изумительных мужчин.

– Нет, мама! У меня осталась лишь одна надежда – выйти замуж. Я со временем привыкну его любить, нарожаю ему детишек, научусь почесывать ему спину...

– Жозефина!

– Я знаю сразу двух девушек, которые вышли замуж по любви, а потом рассказывали мне, что им приходится чесать мужьям спину и отправлять белье в стирку! Но я готова через это пройти, и чем раньше, тем лучше.

– Любая девушка иногда бывает в таком настроении, – с ободряющей улыбкой сказала мать. – До свадьбы у меня было три или четыре поклонника, и мне совершенно искренне нравился каждый – и ничуть не меньше, чем остальные. У каждого были определенные качества, которые мне нравились, и это беспокоило меня так долго, что

все стало казаться лишенным смысла; с таким же успехом я могла бы выбрать с помощью «эни-бени-рабе». А затем в один из дней, когда мне было одиноко, за мной заехал твой отец, чтобы покатать на автомобиле, и с того самого дня у меня уже не оставалось никаких сомнений. Любовь совсем не такая, как пишут в книгах.

– Но она именно такая! – мрачно ответила Жозефина. – По крайней мере, для меня – всегда такая.

Впервые в жизни ей показалось, что в обществе других девушек ей будет спокойнее, чем наедине с мужчиной. Разговоры стали утомлять ее с первой же фразы; сколько же разговоров она уже выслушала за эти три года? Новые мужчины обращали на себя внимание, пробуждая интерес, их представляли, и она развлекалась тем, что доводила их до состояния отчаяния скучными ответами и блуждающим взглядом. Древние поклонники благосклонно наблюдали за метаморфозой, испытывая признательность за наконец-то представившуюся им краткую передышку. Жозефина обрадовалась приближающемуся окончанию этих каникул. Возвращаясь с завтрака в один из серых дней – в первый день нового года, – она подумала, что в кои-то веки ей приятно думать о том, что она совершенно ничем не занята до ужина. Сбросив в прихожей галоши, она, как замороженная, уставилась на нечто, лежавшее на столе и показавшееся ей поначалу видением, порожденным ее собственным воображением. Это была визитная карточка, только что извлеченная из портмоне. На ней было написано: «МИСТЕР ЭДВАРД ДАЙСЕР».

И тут же весь мир пришел в движение, все вокруг ослепительно закружилось и затем остановилось, превратившись в какой-то новый мир. Прихожая, где он только что был, вдруг завибрировала; она представила его стройную фигуру на фоне открытой двери и стала думать о том, как он стоял здесь, держа в руках шляпу и трость. Находившийся за дверями Чикаго, пропитанный его присутствием, стал казаться, как и прежде, зовущим к наслаждениям. Она услышала, как зазвонил телефон в холле внизу, и, даже не снимая шубку, побежала к аппарату:

– Алло!

– Позовите, пожалуйста, мисс Жозефину.

– Ах, привет!

– Привет... Это Эдвард Дайсер.

– Я нашла твою карточку.

– Мы с тобой, видимо, чуть-чуть разминулись.

Что значат слова, если сами их звуки окрыляют и заставляют замирать сердца?

– Я приехал всего на один день. К сожалению, сегодня вечером я должен ужинать с людьми, к которым приехал в гости.

– А ты можешь прийти сейчас?

– Как скажешь.

– Тогда приходи скорей!

Она бросилась наверх, чтобы надеть другое платье, и впервые за несколько недель ей захотелось петь. Она стала напевать:

*А где же мои туфельки?
Новые, красивые, серенькие туфельки?
Ведь я оставила их здесь,
Но, кажется... Ах, черт возьми...*

Переодевшись, она вышла на лестницу; зазвонил звонок внизу.

– Не обращайтесь внимания! – крикнула она горничной. – Я сама открою!

Она открыла, и перед ней оказались мистер и миссис Уоррен Диллон. Это были старые друзья семьи, но на этих рождественских каникулах они так и не виделись.

– Жозефина! Мы пришли повидаться с Констанцией, но надеялись увидеть хоть ненадолго и тебя; тебя ведь никогда не бывает дома...

Ошеломленная, она провела их в библиотеку.

– Во сколько должна прийти сестра? – спросила она, как только к ней вернулся дар речи.

– Примерно через полчаса, если не опоздает.

Она постаралась быть особенно любезной, чтобы заранее загладить неучтивость, которую придется проявить позднее. Через пять минут вновь раздался звонок; на крыльце стояла романтическая фигура, четко и ясно вырисовывавшаяся на фоне холодного неба; за ней по ступенькам поднимались Трэвис Де-Коппет и Эд Бемент.

– Подожди! – быстро прошептала она. – Все эти люди сейчас уйдут.

– У меня только два часа, – сказал он. – Конечно же я подожду, если ты так хочешь.

Ей захотелось тут же его обнять, но она сдержалась, и даже руки ее послушались. Она представила всех друг другу, она попросила принести чаю. Мужчины стали расспрашивать Эдварда Дайсера о войне, и он отвечал им вежливо, но несколько нервно.

Через полчаса он спросил Жозефину:

– Сколько сейчас времени? Мне нужно успеть на поезд.

Они могли бы заметить, что на руке у него были часы, и понять намек, но он вызывал у всех такое восхищение, словно им удалось поймать какую-то редкую птицу и никто не успокоится, пока ее не изучат вдоль и поперек. Даже если бы они догадались, что сейчас творится в душе Жозефины, они сочли бы ее эгоисткой, не желавшей поделиться со всеми предметом всеобщего интереса.

Прибытие Констанции, замужней сестры Жозефины, делу не помогло; Дайсер вновь стал жертвой феномена людского любопытства.

Когда часы в холле пробили шесть, он бросил на Жозефину отчаянный взгляд. С запоздалым пониманием ситуации гости стали расходиться. Констанция увела Диллонов наверх, в другую гостиную, а юноши отправились по домам.

Тишина; слышны лишь удаляющиеся с лестницы наверх голоса, да удаляющийся скрип автомобильных шин по снегу на улице... Прежде чем было сказано первое слово, Жозефина вызвала горничную и приказала ей говорить, что ее нет дома, а затем закрыла дверь в холл. Подошла к дивану и села рядом с ним, стиснув пальцы и ожидая.

– Слава богу, – произнес он. – Я уж думал, что если они еще хоть на минуту задержатся...

– Ужасно, да?

– Я пришел лишь из-за тебя. В тот вечер, когда ты уехала из Нью-Йорка, я на десять минут опоздал к поезду, потому что меня задержали во французском «Бюро пропаганды». Письма я писать не мастер. И с тех пор я думал лишь о том, как бы приехать сюда и увидеть тебя снова!

– Мне было очень грустно.

Но не сейчас; сейчас она думала лишь о том, что через мгновение окажется у него в объятиях, почувствует, как пуговицы его мундира больно вдаются в ее тело, почувствует, как его португезя словно сожмет их обоих, сделав ее частью его самого. Не было никаких сомнений, никаких оговорок – он олицетворял собой все то, что она желала.

– Я здесь пробуду еще полгода, а может быть, год. Затем, если эта проклятая война не кончится, мне придется вернуться обратно. Наверное, у меня нет никакого права...

– Подожди, подожди! – воскликнула она. Ей хотелось продлить этот миг, чтобы лучше его прочувствовать, чтобы более полно ощутить свое счастье. – Подожди! – повторила она, положив свою руку ему на руку. Она живо ощущала каждый находившийся в комнате предмет; она чувствовала, как проходят секунды, унося с собой в будущее груз очарования. – Хорошо. А теперь скажи мне...

– Я люблю тебя, – прошептал он. Она была у него в объятиях, ее волосы касались его щеки. – Мы с тобой почти не знакомы, и тебе всего восемнадцать, но я знаю, что лучше никогда ничего не дожидаться и не откладывать.

Она откинула голову назад и теперь могла на него смотреть, а он поддерживал ее рукой. Ее шея, ровная и мягкая, грациозно изогнулась, и она прильнула к его плечу так, как умела только она, и ее губы с каждой минутой становились все ближе к его губам. «Сейчас!» – подумала она. Он издал еле слышный вздох и притянул ее лицо к своему.

Через минуту она отпрянула от него и выпрямилась.

– Милая моя... милая... милая... – произнес он.

Она взглянула на него; она посмотрела на него пристально. Он вновь нежно притянул ее к себе и поцеловал. Вновь выпрямившись, она встала и прошла в другой конец комнаты, взяла коробку с миндалем и забросила в рот несколько орешков. Затем вернулась и села рядом с ним, глядя прямо перед собой, а затем вдруг бросила на него взгляд.

– О чем ты задумалась, милая моя Жозефина?

Она ничего не ответила. Он взял ее руки в свои.

– Ну, тогда скажи, что ты чувствуешь?

Когда он вдыхал, до нее доносился слабый звук, который издавал кожаный ремень его портупеи от движения по плечу; она ощущала на себе его добрый, уверенный взгляд; она чувствовала, что его гордая душа живет славой, подобно тому, как другие довольствуются лишь безопасностью; в его сильном, мягком и убедительном голосе ей слышался звон шпор.

– Я совсем ничего не чувствую, – ответила она.

– Что ты хочешь сказать? – Он был ошеломлен.

– Ах, помоги же мне! – воскликнула она. – Помоги мне!

– Я не понимаю, о чем ты?

– Поцелуй меня еще.

Он поцеловал ее. На этот раз он не стал ее отпускать и посмотрел ей в глаза.

– Что ты хотела сказать? – спросил он. – Что не любишь меня?

– Я ничего не чувствую.

– Но ведь ты в меня влюбилась!

– Я не знаю.

Он отпустил ее. Она ушла на другой конец комнаты и села.

– Я не понимаю, – сказал он через минуту.

– Я считаю, что ты – совершенство, – сказала она, и ее губы дрогнули.

– Но у тебя не... у тебя не замирает сердце?

– Ах нет, еще как замирает! Я весь вечер волновалась.

– Тогда что же с тобой, милая?

– Я не знаю. Когда ты меня поцеловал, мне захотелось рассмеяться. – Ей было очень тяжело это сказать, но помогла ее отчаянная внутренняя честность. Она увидела, как изменился его взгляд, и заметила, что он чуть-чуть отодвинулся от нее. – Помоги мне! – повторила она.

– Помочь тебе? Как? Скажи что-то более определенное. Я тебя люблю; я думал, что, возможно, и ты меня любишь. Вот и все. Если я тебе не нравлюсь...

– Но ты мне нравишься! У тебя есть все – у тебя есть все, что я всегда хотела!

А ее внутренний голос продолжил: «Но у меня ведь все уже было!»

– Да ты просто меня не любишь!

– Мне нечего тебе дать. Я совершенно ничего не чувствую.

Он резко встал. Он почувствовал, как ее безбрежное и трагическое безразличие заполнило комнату, и тогда в нем тоже родилось равнодушие, и многое из того, что было у него внутри, тут же куда-то улетучилось.

– Прощай.

– Разве ты мне не поможешь? – рассеянно прошептала она.

– Как, черт возьми, могу я тебе помочь? – с гневом ответил он. – Ты ко мне равнодушна. Ты не можешь этого изменить, но и я тоже этого изменить не могу. Прощай!

– Прощай.

Она очень устала и легла ничком на диван, с ужасом осознав, что все, что она слышала раньше, правда. Нельзя одновременно и тратить, и иметь. Любовь всей ее жизни стояла прямо перед ней, но, взглянув в свою пустую корзину, она обнаружила, что у нее не осталось для него ни единого цветка – ни единого! Спустя некоторое время она расплакалась.

– Ах, что же я с собой сделала? – простонала она. – Что я натворила? Что же я натворила?!

Лестница Иакова

I

Дело об убийстве оказалось на редкость мерзким и отвратительным; сидевший в зале суда среди публики Джейкоб Бут мучился молча – даже что-то сгрыз, словно ребенок, совсем не чувствуя голода, просто потому, что еда попалась ему под руку. Газеты дело облагородили, превратив дикое зверство в низкопробную и ладную мелодраму, и пропусков в зал суда было не достать. А ему этот пропуск вчера вечером достался случайно.

Джейкоб оглянулся и посмотрел на двери, где сотня с трудом вдыхавших и выдыхавших людей создавала своим напряжением возбужденную атмосферу, с замиранием сердец вырвавшись ненадолго из своей обычной жизни. День был жарким, толпа обливалась потом – этот пот был, словно роса, и если бы Джейкоб решил сейчас протиснуться к дверям, он весь бы вымок. Кто-то сзади сказал, что присяжные, наверное, выйдут только через полчаса.

С неизбежностью стрелки компаса его голова повернулась к скамье подсудимых, и он опять увидел крупное невыразительное лицо убийцы, украшенное покрасневшими глазами-пуговками. Это была миссис Чойнски, урожденная Делеанти, и судьбой ей было предначертано схватить однажды топорик и разрубить им своего неверного любовника. Пухлые руки, державшие оружие, сейчас безостановочно крутили чернильницу; несколько раз женщина бросала взгляды на публику и нервно улыбалась.

Джейкоб нахмурился и быстро оглядел зал; ему попало симпатичное лицо, но теперь он потерял его из виду. Пока он мысленно представлял себе миссис Чойнски в момент преступления, лицо понемногу проникало в его сознание, а теперь снова растворилось в безликой толпе. Это было лицо темноволосой мадонны с нежными, светящимися глазами; кожа была безупречной и бледной. Он еще раз внимательно осмотрел зал суда, затем выбросил все из головы и стал сидеть в ожидании, выпрямившись и ощущая неудобство.

Присяжные вынесли вердикт о виновности в убийстве первой степени; миссис Чойнски взвизгнула: «Боже мой!» Оглашение приговора отложили до завтра. Толпа, медленно и ритмично покачиваясь, повалила на улицу под августовское солнце.

Джейкоб вновь заметил лицо и понял, почему не видел его раньше. Лицо принадлежало юной девушке, сидевшей рядом со скамьей подсудимых; его затмевала луноликая голова миссис Чойнски. Ясные, светящиеся глаза блестели от слез, а нервничавший молодой человек со сплюснутым носом пытался привлечь внимание девушки, касаясь ее плеча.

– Ах, да отстаньте вы! – сказала девушка, раздраженно стряхнув руку с плеча. – Оставьте меня в покое, ладно? Оставьте меня в покое! Черт вас возьми!

Мужчина глубоко вздохнул и отступил. Девушка обняла ошеломленную миссис Чойнски, и еще один задержавшийся в зале суда сказал Джейкобу, что это – сестры. Затем из зала увели миссис Чойнски – глядя на нее, можно было подумать, что она опаздывает на важную встречу, – а девушка села за стол и принялась пудрить щеки. Джейкоб ждал; то же самое сделал и молодой человек со сплюснутым носом. Подошел бесцеремонный сержант; Джейкоб сунул ему пять долларов.

– Черт вас возьми! – крикнула девушка молодому человеку. – Оставьте меня в покое! – Она встала. Ее харизма, неясные волны ее раздражения заполнили зал суда. – Каждый божий день одно и то же!

Джейкоб подошел поближе. Второй мужчина стал быстро говорить:

– Мисс Делеанти, мы были более чем снисходительны к вам и вашей сестре, и я прошу вас всего лишь исполнить вашу часть договора. Наша газета уходит в печать в...

Мисс Делеанти в отчаянии повернулась к Джейкобу.

– Вы только на него посмотрите! – воскликнула она. – Теперь ему нужно фото моей сестры в детстве, а ведь на карточке еще и мама!

– Вашу маму мы уберем!

– Но мне-то моя мама нужна! У меня нет другой ее карточки!

– Обещаю, что завтра я вам это фото верну!

– Ах, да меня уже тошнит от всего этого! – Она вновь обращалась к Джейкобу, хотя и не замечала его – сейчас он был для нее просто частью безликой, вездесущей публики. – У меня уже глаз дергается! – Она цокнула зубами, выражая крайнюю степень доступного человеку презрения.

– Мисс Делеанти, на улице меня ждет машина, – вдруг произнес Джейкоб. – Хотите, я подвезу вас до дома?

– Ладно, – равнодушно ответила она.

Репортер подумал, что они знакомы; он принялся было негромко возражать, когда все трое двинулись к дверям.

– Каждый день одно и то же, – с горечью сказала мисс Делеанти. – Ох уж эти газетчики!

На улице Джейкоб махнул, чтобы подавали машину; подкатил большой открытый и блестящий лимузин, выскочил шофер, открыл

дверцу. Репортер, чуть не плача, понял, что фотография вот-вот уплывет у него из рук, и ударился в многословные мольбы.

– Иди и утопись! – сказала мисс Делеанти, усевшись в машину Джейкоба. – Иди! И утопись!

Сила, с которой она произнесла этот совет, была столь выдающейся, что Джейкоб даже пожалел, что ее словарный запас был столь невелик. Слова не только вызвали в его воображении картину: несчастный журналист с горя бросается прямо в Гудзон, – но и убедили Джейкоба, что это был единственный достойный способ избавиться от этого человека. Оставив его наедине с его мокрой судьбой, машина тронулась и поехала по улице.

– Вам все же удалось с ним справиться! – сказал Джейкоб.

– Конечно, – согласилась она. – Я не выдерживаю, злюсь – и тогда с кем хочешь могу справиться! Как думаете, сколько мне лет?

– И сколько же?

– Шестнадцать!

Она бросила на него серьезный взгляд, ожидая удивления. Ее лицо – лик святой, оживший лик юной мадонны, рисовался хрупким образом на фоне земного праха уходящего дня. Чистую линию ее губ не колыхало дыхание; еще никогда не доводилось ему видеть столь бледной и безукоризненной текстуры кожи, глянцевиной и блестящей, как и ее глаза. Впервые в жизни его упорядоченная личность показалась ему грубой и поношенной, потому что ему внезапно довелось преклонить колени пред алтарем самой свежести.

– Где вы живете? – спросил он. Бронкс, быть может, Йонкерс, или Олбани... Баффинов залив... Да можно хоть весь мир объехать, лишь бы ехать и ехать...

Затем она заговорила, и ее губы зашевелились, выталкивая квакающие звуки гарлемского акцента, и мгновение прошло.

– Сто тридцать третья восточная! Живу там с подружкой.

Они ждали, пока загорится зеленый светофор, и она бросила надменный взгляд на выглянувшего из соседнего такси побагровевшего мужчину. Тот весело снял шляпу.

– Небось секретаршей трудитесь? – воскликнул он. – Ах, что за секретарша!

В окошке такси показалась чья-то рука и утянула мужчину обратно в темноту салона.

Мисс Делеанти повернулась к Джейкобу; она нахмурилась, и между глаз показалась маленькая, толщиной не больше волоса, морщинка.

– Меня многие знают, – сказала она. – О нас много пишут, и в газетах есть фотографии!

– Жаль, что все так плохо кончилось...

Она вспомнила, что произошло днем, – впервые за последние полчаса.

– Да она сама виновата, мистер! Ей некуда было деваться. Но ведь женщин в Нью-Йорке еще никогда не вешали?

– Нет. Это точно!

– Ей дадут пожизненное. – Было очевидно: говорила не она. Как только слова слетали с ее губ, они тут же отделялись от нее – так спокойно было при этом ее лицо – и начинали свое собственное, связанное лишь друг с другом существование.

– А вы с ней вместе жили?

– Я? Да вы газеты почитайте! Я даже не знала, что она моя сестра, пока ко мне не пришли и не рассказали. Я ее не видела с самого детства. – Она вдруг указала на один из самых больших в мире универмагов: – А вот тут я работаю. Послезавтра обратно, за старый добрый прилавок...

– Вечер, кажется, будет жарким, – сказал Джейкоб. – Не хотите ли съездить за город поужинать?

Она посмотрела на него. В его взгляде читалась лишь вежливая доброта.

– Ладно, – сказала она.

Джейкобу было тридцать три. Когда-то он обладал тенором, которому прочили большое будущее, но десять лет назад за одну лихорадочную неделю ларингит лишил его голоса. От отчаяния, за которым не пряталось ни капли облегчения, он приобрел плантацию во Флориде и за пять лет превратил ее в поле для гольфа. Когда в 1924 году начался бум на землю, он продал свою собственность за восемьсот тысяч долларов.

Как и большинство американцев, он был больше склонен ценить, а не любить. Его апатия не была ни страхом перед жизнью, ни притворством; это была теряющая силу неистовость, свойственная его расе. Это была веселая апатия. Не нуждаясь в деньгах, он полтора года

пытался – изо всех сил пытался – жениться на одной из самых богатых женщин Америки. И он получил бы ее, если бы он ее любил или притворился бы, что любит; но он так и не смог выжать из себя ничего, кроме вежливой лжи.

Внешне он был небольшого роста, аккуратный и симпатичный. Не считая моментов, когда его одолевали приступы апатии, он был необычайно обаятелен; он водился с людьми, считавшими себя лучшим нью-йоркским обществом, и уж точно проводившими время лучше всех. Во время приступов тяжелой апатии он походил на неприветливого старца, сердитого и раздражительного, всем своим сердцем ненавидящего человечество.

В тот вечер при свете летней луны в «Боргезе гарденс» человечество ему нравилось. Луна была похожа на круглое яйцо, гладкое и сияющее, как лицо сидевшей напротив него Дженни Делеанти; дул соленый ветер, собирая с окрестных садов запахи цветов и принося их на лужайку ресторана. То тут, то там в жаркой ночи, словно эльфы, появлялись официанты – их черные спины исчезали во мраке, белые манишки сорочек ярко сияли на фоне непривычных пятен тьмы.

Они выпили бутылку шампанского, и он рассказал Дженни Делеанти о себе.

– Вы – прекрасны, я еще никогда не видел такой, как вы! – сказал он. – Но так уж вышло, что вы не в моем вкусе, и ухаживать за вами я не собираюсь. Тем не менее я не хочу, чтобы вы вернулись в тот магазин. Завтра я познакомлю вас с Билли Фарелли, который снимает фильмы на «Фэймоуз Плейерс», это на Лонг-Айленде. Я даже не знаю, поймет ли он, насколько вы прекрасны, потому что я никогда еще никого ему не представлял.

По ее лицу не пробежало ни малейшей тени, выражение ни капли не изменилось, но в глазах показалась ирония. Ей и раньше говорили подобные вещи, но только кинорежиссер на следующий день всегда был занят. Или же она сама вела себя тактично и не напоминала мужчинам о том, что они пообещали ей накануне вечером.

– Вы не только красивы, – продолжал Джейкоб, – но и обладаете неким величием. Что бы вы ни делали – даже когда вы тянетесь за бокалом, или притворяетесь робкой, или притворяетесь, что вы мне не

верите, – все выглядит убедительно! Если только сумеет это увидеть, то из вас получится актриса.

– Мне очень нравится Норма Ширер. А вам?

Вокруг была теплая ночь; по пути домой она молча смотрела на него, ожидая поцелуя. Приобняв ее одной рукой, Джейкоб коснулся щекой ее мягкой щеки и долго не отводил от нее взгляда.

– Прекрасное дитя! – серьезным тоном произнес он.

Она в ответ улыбнулась; ее пальцы заученно играли с лацканами его пиджака.

– Мне было очень хорошо, – прошептала она. – Эх, только бы никогда больше мне не пришлось идти в этот суд!

– Надеюсь, что не придется.

– Разве ты не поцелуешь меня на прощание?

– Мы сейчас проезжаем через Грейт-Нек, – сказал он в ответ. – Здесь живет много кинозвезд.

– Ну ты и чудака, красавчик!

– Почему?

Он улыбнулась и покачала головой:

– Ты – чудака!

Она поняла, что никогда еще не встречала подобных мужчин. Он удивился, но ничуть не обрадовался тому, что она сочла его забавным. А она поняла: что бы он там ни думал поначалу, сейчас он от нее ничего не хотел. Дженни Делеанти все быстро схватывала; она стала серьезной, милой и тихой, как эта ночь, и когда они въехали в город по мосту Квинсборо, она почти спала у него на плече.

II

На следующий день он позвонил Билли Фарелли.

– Мне нужно с тобой повидаться, – сказал он. – Я познакомился с девушкой и хочу, чтобы ты на нее взглянул.

– О, боже! – ответил Фарелли. – За сегодня это уже третья!

– Не третья, потому что ты таких еще не видел!

– Ладно. Если она белая, тогда будет играть главную роль – съемки начинаются в пятницу.

– Кроме шуток, устроишь ей пробу?

– А я и не шучу. Будет играть главную роль, я тебе говорю! Надоели мне эти чертовы актриски! Через месяц уеду на Побережье! Лучше уж буду подавать водичку Констанции Тальмадж, чем возиться со всеми этими юными... – Его голос отдавал горечью и ирландской брезгливостью. – Давай привози ее, Джейк! Я ее посмотрю.

Через четыре дня, когда миссис Чойнски в сопровождении пары помощников шерифа отбыла в Оберн, чтобы провести там остаток дней, Джейкоб перевез Дженни через мост, который вел в квартал «Астория» на Лонг-Айленде.

– Тебе придется выбрать новое имя, – сказал он, – и забыть, что у тебя есть сестра.

– Я так и подумала, – ответила она. – И имя придумала: Тутси Дефо.

– Никуда не годится, – рассмеялся он. – Просто ужас!

– Ну, придумай сам, раз такой умный!

– Может, Дженни... Дженни... ну, допустим... Дженни Принс?

– Пойдет, красавчик!

Дженни Принс поднялась по лестнице в здание «Фэймоуз Плейерс», и Билли Фарелли, по-ирландски язвительный, испытывая презрение и к себе, и к своей профессии, нанял ее играть одну из трех главных ролей в своей новой картине.

– Да все они одинаковые! – сказал он Джейкобу. – Черт! Сегодня ты их вытаскиваешь на свет божий из канавы, а завтра им уже подавай обед на золотых тарелках! Лучше уж буду Констанции Тальмадж водичку подавать, чем возиться с целым гаремом этих...

– Тебе девушка понравилась?

– Нормальная. Профиль хороший. Да все они одинаковые!

Джейкоб купил для Дженни Принс вечернее платье за сто восемьдесят долларов и повез ее вечером в «Лидо». Он был доволен собой и даже волновался. Они оба много смеялись и чувствовали себя счастливыми.

– Даже не верится! Ты будешь сниматься! – сказал он.

– Да они меня, наверное, завтра же выгонят. Слишком уж все просто получилось...

– Нет, не просто. Все удачно сложилось – в плане психологии. Так вышло, что Билли Фарелли был в настроении...

– Он мне понравился!

– Да, он хороший, – согласился Джейкоб. Но ему пришло в голову, что двери к успеху ей уже помогает открывать кто-то другой. – Он – простой необузданный ирландец, так что ты с ним поосторожней!

– Я заметила. Всегда видно, когда парень хочет тебя захомутать.

– Что?

– Да нет, я не хотела сказать, что он ко мне клеился, красавчик! Просто у него такой взгляд... Ты понимаешь, о чем я? – Ее красивое лицо искривилось в глубокомысленной улыбке. – Он это любит; сегодня днем это было очень хорошо видно.

Они выпили бутылку улучшенного и весьма пьянящего грейпфрутового сока.

В этот момент к их столику подошел официант.

– Это – мисс Дженни Принс! – сказал Джейкоб. – Ты еще не раз ее увидишь, Лоренцо, потому что она только что подписала контракт с киностудией. Всегда относись к ней со всем возможным вниманием!

Когда Лоренцо удалился, Дженни заговорила.

– У тебя самые красивые на свете глаза! – попробовала она; она старалась, как могла, но лицо при этом оставалось серьезным и печальным. – Честно! – повторила она. – Самые красивые на свете. Любая девушка была бы счастлива, будь у нее такие глаза!

Он рассмеялся, но ее попытка его тронула. Он погладил ее по руке.

– Веди себя хорошо, – сказал он. – Работай изо всех сил, чтобы я мог тобой гордиться – и тогда нам с тобой будет хорошо.

– Мне всегда с тобой хорошо. – Она смотрела на него, не отрывая глаз; она касалась его взглядом, словно руками. Ее голос звучал ясно и бесстрастно. – Честно, я не шутила по поводу твоих глаз! Ты всегда думаешь, что я шучу. Я хочу сказать тебе «спасибо» за все, что ты для меня сделал!

– Ты с ума сошла? Я ведь ничего не сделал. Увидев тебя, я почувствовал, что просто обязан... Да любой бы почувствовал, что обязан...

Появились какие-то артисты, и ее взгляд тут же от него оторвался.

Она была так молода – Джейкоб еще никогда так остро не чувствовал молодость. До сегодняшнего вечера он всегда считал себя молодым.

А потом, в темной пещере такси, благоухавшей духами, которые он сегодня ей купил, Дженни придвинулась к нему, прильнула к нему. Он поцеловал ее, но не получил от этого никакого удовольствия. В ее взгляде и в губах не было и тени страсти; ее дыхание отдавало шампанским. Она с отчаянием придвинулась к нему еще ближе. Он взял ее за руки и положил их ей на колени. Ее ребячливое желание отдаться ему его шокировало.

– Ты мне в дочери годишься! – сказал он.

– Ты не настолько стар!

Она обиженно от него отодвинулась.

– В чем дело? Я тебе не нравлюсь?

– Надо было смотреть, чтобы ты не пила столько шампанского!

– Это почему? Я не в первый раз пью. Однажды даже напилась!

– Что ж, тебе должно быть стыдно! А если я когда-нибудь услышу, что ты пьешь, ты у меня попляшешь!

– Ну, ты и нахал...

– А ты что творишь? Что, любой щеголь из ближайшей лавки может тискать тебя, сколько вздумается?

– Ах, замолчи!

Какое-то время они ехали молча. Затем ее рука незаметно придвинулась к его руке.

– Ты нравишься мне больше всех парней, которых я знаю, разве я могу с этим что-нибудь поделать?

– Милая маленькая Дженни... – Он опять обнял ее.

Неуверенно замешкавшись, он поцеловал ее – и вновь его обдало холодом невинности ее поцелуя и взгляда, который в момент прикосновения был направлен за него, куда-то в ночную тьму, во тьму окружающего пространства. Она еще не подозревала, что величественность – это нечто в самом сердце; если бы она это в тот момент поняла и растворилась бы в разлитой во Вселенной страсти, то он взял бы ее без всяких сомнений и колебаний.

– Ты очень мне нравишься, – сказал он. – Наверное, больше всех. И все же я серьезно насчет выпивки – тебе нельзя пить!

– Я сделаю все, что ты мне скажешь, – сказала она; и повторила, взглянув ему прямо в глаза: – Все!

Это была ее последняя попытка; машина подъехала к ее дому. Он поцеловал ее в щеку и пожелал ей спокойной ночи.

Отъезжая, он ликовал и чувствовал, что живет сейчас ее молодостью и будущим – и чувствует жизнь гораздо сильнее, чем наедине с собой в последние годы. Вот так, чуть склонившись вперед и опираясь на свою трость, богатый, молодой и счастливый, он несся в машине по темным улицам, на которых горели фонари, прямо в будущее, о котором он еще ничего не знал.

III

Прошел месяц. Однажды вечером он сел в такси вместе с Фарелли и назвал водителю адрес последнего.

– Итак, ты влюблен в эту девушку! – весело произнес Фарелли. – Очень хорошо; я тебе мешать не буду.

Джейкоб ощутил огромную досаду.

– Я в нее не влюблен, – медленно произнес он. – Билли, я лишь хочу, чтобы ты оставил ее в покое!

– Разумеется! Я оставлю ее в покое, – тут же согласился Фарелли. – Я же не знал, что тебя это волнует, – она мне сказала, что ей не удалось тебя захомутать!

– Главное здесь то, что это не волнует и тебя! – сказал Джейкоб. – Если бы я видел, что вы влюблены друг в друга, разве стал бы я изображать из себя идиота и пытаться этому помешать? Но тебе на нее плевать, а она просто под впечатлением и слегка очарована.

– Точно, – согласился заскукавший Фарелли. – Да я бы ни за что на свете и пальцем к ней не притронулся!

Джейкоб рассмеялся:

– Ну да, как же! Просто, чтобы развлечься. Вот именно это мне и не нравится – и я не хочу, чтобы с ней случилось что-то... Что-то нехорошее!

– Я тебя понял. Я оставлю ее в покое!

Пришлось Джейкобу этим и удовлетвориться. Обещаниям Билли Фарелли он не верил, но знал, что Фарелли относится к нему хорошо и не станет действовать ему наперекор – разве что в дело будут замешаны более сильные чувства... Сегодня вечером они держались за руки под столиком, и это его разозлило. Когда он стал ее упрекать, Дженни солгала, сказав, что ему показалось; она сказала, что готова немедленно ехать домой, и сказала, что сегодня даже разговаривать с Фарелли не станет. После чего он почувствовал, что ведет себя глупо и смешно. Было бы легче, если бы после того, как Фарелли сказал: «Итак, ты влюблен в эту девушку», он бы просто сказал: «Да, это так».

Но это было не так. Он теперь ценил ее гораздо сильнее, чем раньше. Он наблюдал, как в ней пробуждается ярко выраженная личность. Ей нравились простые и тихие вещи. У нее проявилась способность определять и отбрасывать от себя все банальное и несущественное. Он попробовал было советовать ей, какие книги читать; затем, подумав, он перестал это делать и стал знакомить ее с разными людьми. Он создавал ситуации и затем их ей объяснял, и ему доставляло удовольствие видеть, как у него на глазах расцветало понимание и рождалось чувство такта. Он ценил ее безусловное к нему доверие и тот факт, что при оценке других людей она использовала его как эталон.

Еще до того как фильм Фарелли вышел на экраны, ее работа на съемочной площадке была оценена по достоинству: ей предложили двухлетний контракт, четыре сотни в неделю на первые полгода, а затем – плавное повышение. Но для дальнейшей работы нужно было переехать на Побережье.

– Может, лучше не торопиться? – сказала она однажды, возвращаясь вместе с ним в город. – Может, будет лучше, если я останусь здесь, в Нью-Йорке, рядом с тобой?

– Надо ехать туда, куда зовет работа. Ты уже вполне самостоятельная. Тебе семнадцать!

Семнадцать? Ей было ровно столько же, сколько и ему; она находилась вне времени. Судьба все так же сияла в ее черных глазах

под желтой соломенной шляпкой, словно она только что не предлагала ему отказаться от этой судьбы ради него.

– Я иногда думаю, что если бы не ты, то нашелся бы кто-нибудь другой и заставил бы меня чего-нибудь добиться, – сказала она.

– Ты всего добилась сама. Выброси это из головы – ты от меня не зависишь!

– Завишу. Все – благодаря тебе.

– Но это не так! – с чувством произнес он, хотя и не стал дальше спорить; ему нравилось, что она так думает.

– Я не знаю, что бы я без тебя делала. Ты – единственный друг... – И она добавила: – Которого я люблю. Понимаешь? Ты меня понимаешь?

Он рассмеялся в ответ, увидев, как рождается ее эгоизм, что подразумевалось из ее права быть понятой. В тот день она выглядела прекраснее, чем когда бы то ни было, она была изысканной, отзывчивой, но и нежеланной – для него. Иногда он задумывался: а не была ее холодность заметна лишь ему одному, не была ли она только одной из ее сторон, которую она – может быть, вполне сознательно – демонстрировала только ему? Лучше всего она себя чувствовала в компании молодых мужчин, хотя и притворялась, что всех их презирает. К ее легкой досаде, Билли Фарелли послушно оставил ее в покое.

– Когда ты приедешь в Голливуд?

– Скоро, – пообещал он. – А ты будешь иногда приезжать в Нью-Йорк!

Она расплакалась:

– Ах, я буду так по тебе скучать! Я буду очень по тебе скучать! – Крупные и горькие слезы скатывались по ее белоснежным щекам. – Черт возьми! – негромко воскликнула она. – Ты такой добрый! Дай мне руку! Дай же мне руку! Ты самый лучший друг на свете! Разве мне когда-нибудь удастся найти такого друга?

Сейчас она играла, но у него в горле застрял комок, и на мгновение возникла безумная мысль, которая принялась метаться в голове туда-сюда, словно слепой, спотыкаясь о тяжелую мебель: жениться? Он знал, что достаточно было лишь намека, и она будет принадлежать лишь ему, и никогда не посмотрит ни на кого другого, потому что он всегда будет ее понимать.

На следующий день на вокзале она радовалась всему: и подаренным цветам, и своему купе, и предстоящей поездке – она еще никогда не ездила так далеко. Когда она целовала его на прощание, ее бездонные глаза вновь оказались рядом, и она прижалась к нему так, словно была не в силах от него оторваться. Она опять расплакалась, но он знал, что за слезами прячется радость, ведь впереди ее ждали новые, неизведанные приключения. Когда он вышел из здания вокзала, Нью-Йорк показался ему до странности пустым. Благодаря ее взгляду все вокруг, как и прежде, выглядело красочным; а теперь все вновь покрыла серая завеса прошлого. На следующий день он пришел к одному знаменитому врачу в кабинет на верхнем этаже небоскреба на Парк-авеню – он не был здесь уже десять лет.

– Осмотрите, пожалуйста, мою гортань, – сказал он. – Я ни на что не надеюсь, но вдруг что-то изменилось?

Ему пришлось проглотить сложную систему зеркал. Он вдыхал и выдыхал, пытался брать высокие и низкие ноты, кашлял по команде. Врач все тщательно осмотрел и ощупал. Затем сел и снял очки.

– Никаких изменений! – сказал он. – Связки совершенно нормальные, они просто износились. Медицина здесь бессильна.

– Так я и думал, – покорно, словно он был в чем-то виноват, сказал Джейкоб. – Практически то же самое вы говорили мне и раньше. Я просто подумал – а вдруг это не навсегда?

Он что-то потерял, когда вышел из небоскреба на Парк-авеню: пропала маленькая надежда, возлюбленное дитя желания, что в один прекрасный день... Он отправил ей телеграмму:

«НЬЮ-ЙОРК ОПУСТЕЛ. ВСЕ НОЧНЫЕ КЛУБЫ ПОЗАКРЫВАЛИСЬ. НА СТАТУЕ ГРАЖДАНСКОЙ ДОБРОДЕТЕЛИ ВЫВЕСИЛИ ЧЕРНЫЕ ВЕНКИ. РАБОТАЙ НЕ ЖАЛЕЙ СЕБЯ БУДЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СЧАСТЛИВА».

Она ему ответила:

«ДОРОГОЙ ДЖЕЙКОБ! ОЧЕНЬ ПО ТЕБЕ СКУЧАЮ. ТЫ САМЫЙ ЛУЧШИЙ НА ВСЕМ СВЕТЕ, ЭТО ПРАВДА, МИЛЫЙ. НЕ ЗАБЫВАЙ МЕНЯ. ЛЮБЛЮ. ДЖЕННИ».

Наступила зима. Картина, в которой сыграла Дженни, вышла на экраны в сопровождении множества интервью и статей в журналах о кино. Джейкоб сидел у себя в квартире, вновь и вновь проигрывая «Крейцерову сонату» на новом фонографе, читал ее суховатые, высокопарные, но все же страстные, письма и статьи, в которых рассказывалось, как ее «открыл» Билли Фарелли. В феврале он обручился с одной старой подругой, которая недавно овдовела.

Они поехали во Флориду и вдруг принялись ссориться – то в коридоре гостиницы, то прямо во время бриджа; и решили до свадьбы дело не доводить. Весной он заказал отдельную каюту на лайнере «Париж», но за три дня до отплытия сдал билет и поехал в Калифорнию.

IV

Дженни встретила его на вокзале, поцеловала и, сидя в машине, всю дорогу к отелю «Эмбассадор» так и не отпускала его руку.

– Ты приехал! – всхлипывала она. – Мне даже не верится, что ты приехал! Вот уж не думала, что у меня получится!

Она с трудом удерживала себя в руках, об этом говорил ее вновь появившийся акцент. Выразительное «Черт возьми!», со всем вкладывавшимся ею в него удивлением, испугом, отвращением или восхищением, исчезло, но никакой более сдержанной замены – вроде

«Шикарно!» или «Чудесно!» – не появилось. Если настроение требовало добавить в речь экспрессии вне ее обычного репертуара, она предпочитала хранить молчание.

Но в семнадцать лет каждый месяц – словно целый год, и Джейкоб заметил, что она изменилась: в ней не осталось ни капли детскости. В голове у нее теперь появились какие-то непреложные вещи, и это были не пустяки – она ведь обладала врожденной изысканностью, – а нечто настоящее. Студия больше не представлялась ей сказочным карнавалом и чудесной случайностью; не было и «за копейки я и пальцем не пошевелю». Работа стала частью ее жизни. Обстоятельства стали складываться в карьеру, которая теперь двигалась своим чередом, ничуть не завися от приступов ее легкомыслия.

– Если этот фильм получится таким же хорошим, как и предыдущий – то есть если у меня вновь получится хит, – Хекшер пересмотрит контракт. Все, кто видел «потoki», говорят, что у меня в кадре впервые появилась сексуальность.

– А что такое «потoki»?

– Вчерашний съемочный материал. Говорят, я там впервые стала выглядеть сексуально!

– Что-то я не заметил, – поддразнил ее он.

– Да куда тебе. Но это так!

– Да, я знаю, что это так, – сказал он и, повинувшись необдуманному порыву, взял ее за руку.

Она бросила на него быстрый взгляд. Он улыбнулся – опоздав с улыбкой на долю секунды. Затем улыбнулась и она, и ее горячая сердечность загладила его промах.

– Джейк! – воскликнула она. – Я готова орать от восторга – я так рада тебя видеть! Я забронировала тебе бунгало в «Эмбассадоре». Там вообще-то не было свободных, но они кого-то выселили, когда я им сказала, что это нужно лично мне! Я вышлю за тобой свой лимузин через полчаса. Хорошо, что ты приехал в воскресенье – у меня сегодня весь день свободный.

Они позавтракали в меблированных апартаментах, которые она наняла на зиму. Обстановка была в «мавританском» стиле 1920 года, ее перевезли сюда целиком из дома какого-то героя вчерашних дней. Ей явно кто-то сказал, что все это ужасно выглядит, – это было понятно, потому что она шутила на эту тему, но когда он попробовал

расспросить ее поподробней, то выяснилось, что она не понимает, в чем именно кроется изъян.

– Как было бы хорошо, если ли бы здесь было побольше изысканных мужчин! – сказала она за завтраком. – Разумеется, изысканных людей здесь достаточно, но... Я имею в виду, как в Нью-Йорке, ты меня понимаешь... Такие мужчины, которые знают больше, чем девушки, такие, как ты...

После завтрака его поставили перед фактом, что вечером им предстоит посетить один небольшой прием.

– Только не сегодня! – возразил он. – Я бы хотел побыть с тобой наедине...

– Ладно, – нерешительно согласилась она. – Думаю, что можно позвонить и отменить. Просто... Звала одна дама – она много пишет для газет и до сих пор еще ни разу меня не приглашала... Но, раз ты не хочешь...

Она слегка сникла, и Джейкоб поспешно уверил ее, что он совсем, совсем не против куда-то ехать, раз так надо. Через некоторое время выяснилось, что надо посетить не один прием, а целых три.

– В моем положении приходится этим заниматься, – объяснила она. – Иначе ни с кем не познакомишься, кроме тех, кто с тобой работает, а это довольно узкий круг. – Он улыбнулся. – Ну и что ни говори, – закончила она, – а воскресные вечера, мистер умник, для того и созданы, чтобы ходить по гостям!

На первом приеме Джейкоб обратил внимание, что среди гостей преобладали – причем существенно преобладали – женщины; там были сплошь журналистки, дочери операторов, супруги монтажеров и совсем немного важных персон. Ненадолго заглянул юный латиноамериканец по имени Раффино, поговорил с Дженни и удалился; промелькнуло несколько «звезд», осведомлявшихся о здоровье детей так по-домашнему, что это вызывало некоторое недоумение. Еще одна группа знаменитостей, словно статуи, без движения застыла в углу. Был там и какой-то возбужденный сценарист в подпитии, безуспешно приглашавший на свидание одну девушку за другой. К концу дня как-то внезапно увеличилось количество пьяных; Джейкоб и Дженни вышли на улицу под становившийся уже пронзительным и громким шум общего разговора.

На втором приеме юный Раффино – он был актером, одним из бесчисленных исполненных надежд новых Валентино – опять заглянул на минутку, поговорил с Дженни чуть подольше и чуть более внимательно, чем в прошлый раз, и вновь удалился. Джейкоб отметил, что эта вечеринка была не столь шикарна, как предыдущая. Вокруг фуршетного стола было больше народу; многие сидели, общаясь только в своем кругу.

Дженни, как он заметил, пила лишь лимонад. Он был приятно удивлен ее изысканностью и хорошими манерами. Она обращалась всегда к кому-то конкретному, и никогда – ко всем окружающим; еще она слушала, что ей говорят в ответ, не считая при этом необходимым стрелять глазами вокруг. Он также заметил, что на обоих приемах она – неважно, сознательно или нет – рано или поздно всегда оказывалась вовлеченной в беседу с наиболее влиятельным гостем. Ее серьезность, ее поведение словно бы говорили: «Я не упущу представившейся возможности узнать нечто новое» – и неумолимо привлекали к ней даже самых отъявленных эгоистов.

Когда они вышли, чтобы ехать на последнюю вечеринку – это был ужин а-ля фуршет, – уже стемнело, и на Беверли-Хиллз непонятно зачем зажгли светящиеся электрические рекламы оптимистичных торговцев недвижимостью. На улице рядом с кинотеатром Граумана, несмотря на мелкий теплый дождик, собралась толпа.

– Смотри! Смотри! – воскликнула она; в кино шла картина, в которой она снималась месяц назад.

Они плавно свернули с бульвара Голливуд – слабого подобия Риальто – в глубокую тьму бокового переулка; он обнял ее и поцеловал.

– Милый Джейк! – улыбнулась она.

– Дженни, ты такая красивая! Я и не знал, что ты такая красивая!

Она посмотрела прямо перед собой; ее лицо было кротким и спокойным. Его охватила досада, и он настойчиво притянул ее к себе; и в этот момент машина остановилась у освещенной двери.

Они вошли в одноэтажный летний дом, где было полно народу и плавали клубы табачного дыма. Весь привкус формальности, с которым начался сегодняшний день, давно прошел; все вдруг приобрело оттенок какой-то неопределенности и резкости.

– Это ведь Голливуд! – пояснила резвая и разговорчивая дама, которая весь день находилась рядом с ними. – В воскресный вечер здесь никто не важничает. – Она указала на хозяйку дома: – Обычная, простая и милая, девушка! – И добавила погромче: – Не правда ли, дорогая, вы – обычная, простая и милая девушка?

Хозяйка ответила:

– Да. А про кого это вы?

И собеседница Джейкоба вновь заговорила тихо:

– Но ваша девочка – самая мудрая из всех здешних!

Общее количество поглощенных Джейкобом коктейлей стало сказываться самым приятным образом, но, как он ни старался, дух вечеринки – тот самый ключ, который позволил бы ему чувствовать себя здесь непринужденно и спокойно, – от него ускользал. В воздухе витало какое-то напряжение – какая-то агрессия и неуверенность. Все разговоры между мужчинами казались пустыми, легкомысленными и обрывались на какой-то мнительной ноте. Женщины были любезнее. В одиннадцать часов в буфетной он вдруг понял, что последний раз видел Дженни час назад. Вернувшись в гостиную, он заметил, как она вошла – явно только что с улицы, потому что на ходу она сбросила с себя плащик. И с ней был Раффино! Когда она вошла, Джейкоб заметил, что она запыхалась, а глаза ее ярко сверкали. Раффино вежливо и небрежно улыбнулся Джейкобу; через несколько мгновений, собираясь уйти, он наклонился и что-то шепнул Дженни на ухо; она посмотрела на него, не улыбаясь, и сказала ему «до свидания».

– В восемь мне нужно быть на съемочной площадке, – тут же сказала она Джейкобу. – Если сейчас же не отправлюсь домой, то завтра я буду выглядеть как поношенный зонтик! Милый, ты не против?

– Разумеется, нет!

Их лимузин отправился в бесконечное путешествие по приземистому, распластанному городу.

– Дженни, – сказал он, – я еще никогда не видел тебя такой, как сегодня! Клади голову мне на плечо!

– Спасибо. Я устала.

– Я даже представить себе не могу, какой блестящей ты скоро станешь!

– Да я ведь нисколько не изменилась!

– Это не так! – Его голос внезапно превратился в дрожащий от чувств шепот. – Дженни, я в тебя влюблен!

– Джейкоб, не говори глупости!

– Я влюблен в тебя! Как странно, Дженни... Вот как оно вышло...

– Ты в меня не влюблен!

– Ты просто хочешь сказать, что это тебя совершенно не интересует! – И он почувствовал легкий укол страха.

Она села прямо, ослабив охватившее ее кольцо объятий.

– Разумеется, интересует! Ты ведь знаешь, что больше всего на свете меня интересуешь ты!

– Больше, чем мистер Раффино?

– Да, черт возьми! – с презрением произнесла она. – Раффино – всего лишь большой ребенок!

– Я люблю тебя, Дженни!

– Нет, не любишь!

Он сжал руки. Ему только показалось – или ее тело и впрямь инстинктивно оказало ему легкое сопротивление? Но она прижалась к нему, и он ее поцеловал.

– Сам знаешь, что Раффино – это все глупости...

– Наверное, я ревную...

Чувствуя себя слишком настойчивым и оттого непривлекательным, он ее отпустил. Но легкий укол страха превратился в боль. Хотя он и понимал, что она устала и чувствовала себя неуверенно, столкнувшись с этим новым его к ней отношением, он никак не мог успокоиться:

– Я и не подозревал, как много ты для меня значишь! Я не знал, чего мне все это время не хватало! Теперь я знаю: мне нужно было, чтобы ты была рядом со мной!

– Что ж, вот я и рядом.

Он решил, что это было приглашением, но она устало обмякла прямо у него в объятиях. Весь остаток пути он так и держал ее на руках; она закрыла глаза, а ее короткие волосы свешивались назад, словно у утопленницы.

– Шофер довезет тебя до отеля, – сказала она, когда машина подъехала к ее апартаментам. – И не забудь: завтра ты завтракаешь со мной на студии!

Внезапно, когда он сказал, что хотел бы зайти, а она ответила, что уже поздно, они чуть не поссорились. Никто из них не успел еще

почувствовать перемену, которую произвело в них обоих его признание. Они вдруг превратились в чужих людей: Джейкоб отчаянно пытался повернуть время вспять на полгода назад и вновь пережить ту ночь в Нью-Йорке, а Дженни видела, как это чувство – больше, чем ревность, и меньше, чем любовь, – постепенно овладевает им и выползает наружу, вытесняя прежнюю заботу и понимание, с которыми ей было так комфортно.

– Но ведь я не люблю тебя *так*! – воскликнула она. – Как ты можешь взять и ни с того ни с сего свалиться мне на голову и потребовать, чтобы я полюбила тебя *так*?

– А что, *так* ты любишь Раффино?

– Клянусь, что нет! Я с ним даже не целовалась никогда!

– Хм... – Он превратился в неприветливого старца; он вряд ли смог бы сам себе объяснить, откуда вдруг в нем явилось это безобразие, но нечто неподвластное законам логики, как сама любовь, заставило его не отступить. – Ты играешь!

– Ах, Джейк! – воскликнула она. – Прошу тебя, отпусти меня! Еще никогда в жизни я не чувствовала себя так ужасно, я ничего не понимаю!

– Ну, я пошел, – внезапно произнес он. – Не знаю, что со мной случилось, но я просто голову потерял и не соображаю, что говорю! Я тебя люблю, а ты меня не любишь. Когда-то любила или думала, что любишь, но теперь это, видимо, прошло.

– Но я ведь тебя люблю! – Она на мгновение смолкла; происходившая у нее в душе борьба отразилась у нее на лице, подсвечиваемая красными и зелеными отблесками рекламы с заправки на углу. – И если ты меня действительно любишь, я выйду за тебя хоть завтра!

– Выходи за меня! – воскликнул он; но она была так сильно поглощена собой, что ничего не слышала.

– Я выйду за тебя хоть завтра! – повторила она. – Ты нравишься мне больше всех на свете, и я думаю, что со временем я полюблю тебя так, как ты хочешь. – Она всхлипнула. – Но... Разве я могла подумать, что это когда-нибудь случится... А сейчас, пожалуйста, оставь меня в покое!

Уснуть Джейкоб не смог. Допоздна из бара «Эмбассадор» доносилась музыка, а у въездных ворот толпилась стайка проституток,

поджидавших выхода кавалеров. За дверью в коридоре мужчина с женщиной затеяли бесконечную ссору, переместившуюся в соседний номер, и оттуда через смежную дверь еще долго раздавалось приглушенное бормотание двух голосов. В районе трех утра он подошел к окну и стал смотреть прямо в ясное великолепие калифорнийской ночи. Ее красота была всюду: она покоилась на газоне, на влажных, поблескивающих крышах одноэтажных домов, – и ночь разносила ее вокруг, словно мелодию. Она присутствовала и в гостиничном номере, и на белой подушке; это она шелестела, словно призрак, в занавесках. Его желание вновь и вновь рисовало ее образ, пока он не утратил все черты – и прежней Дженни, и даже той девушки, что встретила его сегодня утром на вокзале. В молчании, пока не кончилась ночь, он заполнял ею, словно глиной, свою форму любви – ту самую форму, что сохраняется вовеки, пока не исчезнет сама любовь, а может, и дольше – и не сгинет, пока он сам себе не скажет: «Я никогда ее на самом деле не любил». Он медленно создавал образ, прибавляя к нему иллюзии своей юности, несбывшиеся томления из прошлого, пока перед ним не встала она – и с ней, настоящей, ее связывало одно лишь только имя.

А когда позже ему все же удалось на пару часов задремать, созданный им образ так и остался стоять рядом с ним, не в силах покинуть комнату, связанный таинственной нитью с его сердцем.

V

– Если ты меня не любишь, я на тебе не женюсь, – сказал он, когда они возвращались со студии; она молчала, спокойно сложив руки на коленях. – Дженни, ты же не думаешь, что я могу быть счастлив, если будешь несчастлива ты или если тебе будет все равно – я ведь всегда буду помнить, что ты меня не любишь?

– Я тебя люблю! Но не так!

– Как «так»?

Она задумалась; ее глаза, казалось, смотрели куда-то вдаль.

– Ты... ты не заставляешь замирать мое сердце, Джейк! Я не знаю... Мне встречались мужчины, от которых у меня замирало сердце, когда они ко мне прикасались, танцуя или так... Я знаю, что это звучит глупо, но...

– А Раффино заставляет замирать твое сердце?

– Почти, но не сильно.

– А я – совсем нет?

– С тобой мне уютно и хорошо.

Он должен был сказать ей, что это и есть самое лучшее, но он не мог заставить себя это произнести, была ли то вечная правда или вечная ложь...

– Неважно; я ведь сказала, что выйду за тебя. Возможно, позже мое сердце и научится замирать.

Он рассмеялся, но тут же умолк.

– Ты говоришь, что я не заставляю твое сердце замирать; но ведь прошлым летом я был тебе не безразличен – я ведь видел.

– Я не знаю. Наверное, я была еще маленькая. Разве можно объяснить, почему ты когда-то что-то почувствовал, а?

Она теперь вела себя уклончиво, а такая уклончивость всегда придает некий тайный смысл даже ничего не значащим фразам. А он пытался создать волшебство, воздушное и нежное, словно пыльца на крыльях бабочки, используя при этом очень грубые инструменты – ревность и желание.

– Слушай, Джейк, – вдруг сказала она. – Сегодня днем на студию заходил адвокат моей сестры, Шарнхорст.

– С твоей сестрой все в порядке, – рассеянно произнес он и добавил: – Значит, многие мужчины заставляют замирать твое сердце?

– Если бы многие, при чем бы здесь была настоящая любовь, а? – с оптимизмом ответила она.

– Но ведь ты убеждена, что без этого не бывает любви?

– Я ни в чем не убеждена! Я просто сказала тебе, что я чувствую. Ты знаешь больше меня.

– Да я вообще ничего не знаю!

В холле на первом этаже дома, где были ее апартаменты, ждал какой-то мужчина. Войдя, Дженни с ним заговорила; затем,

обернувшись к Джейку, тихо сказала:

– Это Шарнхорст! Мне нужно с ним поговорить; подожди, пожалуйста, внизу! Он говорит, что это на полчаса, не больше.

Он остался ждать; выкурил несколько сигарет. Прошло десять минут. Затем его кивком подозвала к себе телефонистка.

– Быстрее! – сказала она. – Вас вызывает мисс Принс!

Голос Дженни звучал напряженно и испуганно.

– Не дай Шарнхорсту уйти! – сказала она. – Он идет вниз по лестнице или едет на лифте. Приведи его обратно ко мне!

Джейкоб положил трубку как раз в тот момент, когда щелкнул прибывший лифт. Он встал перед лифтом, загородив мужчине в кабине выход:

– Вы – мистер Шарнхорст?

– Да. – На лице было написано напряжение и подозрительность.

– Пожалуйста, вернитесь в апартаменты мисс Принс! Она забыла вам что-то сказать.

– Я выслушаю ее в другой раз.

Он попытался оттолкнуть Джейкоба. Схватив его за плечи, Джейкоб затолкал его обратно в кабину лифта, захлопнул дверь и нажал кнопку восьмого этажа.

– Вас за это арестуют! – сказал Шарнхорст. – Вас посадят за нападение!

Джейкоб крепко держал его за руки. Наверху у открытой двери стояла Дженни, и во взгляде у нее читалась паника. Несмотря на сопротивление, адвоката удалось втолкнуть в квартиру.

– И в чем же дело? – спросил Джейкоб.

– Ну, давай расскажи ему! – сказала она. – Ах, Джейк, он хочет двадцать тысяч долларов!

– За что?

– Чтобы пересмотреть дело моей сестры!

– Но у нее нет ни малейшего шанса! – воскликнул Джейкоб; он повернулся к Шарнхорсту: – Вы же знаете, что у нее нет никаких шансов!

– Есть кое-какие процессуальные моменты, – чуть смущенно сказал адвокат. – Разобраться в них может только юрист. Ей там очень туго, а ее сестра богата и успешна. Мисс Чойнски считает, что надо бы попробовать пересмотреть дело.

– А вы там, стало быть, ее в этом убеждаете, а?
– Она сама меня пригласила!
– Но шантаж – явно ваша идея! Видимо, если мисс Принс не сочтет нужным потратить двадцать тысяч долларов на услуги вашей фирмы, то на свет выплывет тот факт, что она – сестра знаменитой убийцы?
Дженни кивнула:
– Именно так он и говорил!
– Одну минуточку! – Джейкоб пошел к телефону. – «Вестерн Юнион», пожалуйста! «Вестерн Юнион»? Примите, пожалуйста, телеграмму. – Он назвал имя и адрес одного высокопоставленного лица из политических кругов Нью-Йорка. – Записывайте текст:

*ОСУЖДЕННАЯ ЧОЙНСКИ УГРОЖАЕТ СВОЕЙ СЕСТРЕ
АКТРИСЕ ОБЪЯВИТЬ О РОДСТВЕ ТЧК ПРОЩУ
ДОГОВОРИТЬСЯ НАЧАЛЬНИКОМ ТЮРЬМЫ НЕДОПУЩЕНИИ
НЕЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПОКА НЕ ПРИЕДУ НА ВОСТОК И НЕ
ОБЪЯСНЮ ТЧК ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ХВАТИТ ЛИ ДВУХ
СВИДЕТЕЛЕЙ ПОПЫТКИ ШАНТАЖА ЛИЦИТЬ
АДВОКАТСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ НЬЮ-ЙОРКЕ ЕСЛИ ОБВИНЕНИЯ
ВЫДВИНЕТ КОНТОРА РИД, ВАН-ТАЙН, БИГГС И КОМПАНИЯ
ЛИБО МОЙ ДЯДЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ СУДЬИ ТЧК ЖДУ ОТВЕТ
АДРЕСУ ОТЕЛЬ ЭМБАССАДОР ЛОС-АНЖЕЛЕС ДЖЕЙКОБ СИ
КЕЙ БУТ*

Он дождался, пока служащий повторит текст.

– Ну а теперь, мистер Шарнхорст, – сказал он, – хочу вам сказать, что служенье муз не терпит таких тревог и требует концентрации. Мисс Принс, как вы заметили, сильно расстроена. Завтра это может сказаться на ее работе, что может принести легкое разочарование миллионам зрителей. Поэтому мы не станем просить ее сейчас принимать какие-либо решения. Более того, сегодня вечером мы с вами вместе покинем Лос-Анджелес и даже поедem в одном и том же поезде!

VI

Лето прошло. Джейкоб все также продолжал вести свою лишившуюся смысла жизнь, думая о том, что осенью Дженни приедет на Восточное побережье. К осени перед ней пройдет множество Раффино, думал он, и она обнаружит, что от их рук, их взглядов – и губ – ее сердце, в сущности, замирает совершенно одинаково. Все это, с поправкой на место, было то же самое, что и влюбленности в гостей у университетских однокурсников, все эти студенческие интрижки беззаботных летних дней... И если ее чувства к нему все-таки не дотянут до романтических, то он все равно сделает ее своей, и пусть романтика придет после свадьбы – он слышал, что так бывает, и у множества жен все происходило именно так.

Ее письма его и очаровывали, и озадачивали. За неумением выразить себя попадались проблески чувств – всегдашняя признательность, желание поговорить и даже мимолетная, почти испуганная реакция по отношению к нему со стороны какого-то мужчины, – но об этом он мог только догадываться. В августе она уехала сниматься на «натуру»; стали приходить открытки из какого-то пустынного захолустья в Аризоне, затем некоторое время вообще ничего не было. Перерыв его обрадовал. Он проанализировал все, что могло вызвать ее неприязнь: свою напыщенность, свою ревность, свою неприкрытую печаль. На этот раз он будет вести себя по-другому. Он будет себя контролировать. По крайней мере, она опять сможет им восхищаться, и тогда увидит в нем ни с чем не сравнимую по возвышенности и упорядоченности жизнь.

За два дня до ее приезда Джейкоб пошел посмотреть ее новую ленту в ночной кинотеатр на Бродвее. Фильм был про студентов. Она появилась на экране с волосами, собранными в пучок на макушке – хорошо известный символ безвкусицы, – и вдохновила героя на

спортивный подвиг, и сразу исчезла, оставшись на заднем плане, во мраке ликующих трибун. Но в ее игре появилось нечто новое; ее завораживающий голос, который он отметил еще год назад, впервые воплотился с немого экрана. Каждое ее движение, каждый жест, обладали точностью и значением. Все остальные зрители тоже это заметили. Ему показалось, что это именно так – это было ясно по их участвовавшему дыханию, по отражению ее ясной и точной мимики в их легкомысленных и равнодушных глазах. И в рецензиях это тоже отметили, хотя большинство рецензентов было неспособно дать точного определения ее индивидуальности.

Но первым явным признаком популярности стало поведение пассажиров поезда, в котором она приехала. Несмотря на обычную суету с встречающими и с багажом, у всех нашлось время, чтобы на нее поглазеть, чтобы обратить на нее внимание друзей и произнести вслух ее имя.

Она блистала. Щебечущая радость изливалась из нее и царила вокруг, словно парфюмер сумел запечатать в пузырек чистый восторг. И вновь произошел таинственный обмен, и в подсохших было венах Нью-Йорка опять заиграла свежая кровь – она обрадовалась, узнав шофера Джейкоба; посыльные в «Плаза» почтительно засуетились, метрдотель ресторана, куда они пошли перекусить, едва не упал в обморок от волнения. Что касается Джейкоба, то он полностью себя контролировал. Он был кроток, внимателен и вежлив, и это было для него вполне естественно – пусть в данном случае он и считал необходимым все тщательно спланировать. Его поведение показывало его способность взять на себя все заботы о ней, демонстрируя волю, на которую она могла бы опереться.

После ужина тот уголок ресторана «Колония», где они сидели, постепенно очистился от тех, кто зашел перекусить после театра, и они почувствовали себя наедине друг с другом. Лица их стали серьезными, голоса зазвучали тише.

– Я не видел тебя целых пять месяцев. – Он задумчиво посмотрел на свои руки. – Во мне ничего не поменялось, Дженни. Я по-прежнему люблю тебя всем своим сердцем. Я люблю в тебе буквально все: и твои глаза, и твои недостатки, и твой образ мыслей. Единственное, чего я хочу, – это чтобы ты была счастлива!

– Знаю, – прошептала она. – Черт возьми, знаю!

– Я не знаю, чувствуешь ли ты по отношению ко мне, как и раньше, всего лишь восхищение? Если ты выйдешь за меня, то мне кажется, что со временем появятся и другие чувства; ты и глазом не успеешь моргнуть, как они появятся! И тогда то, что ты назвала «замиранием сердца», вызовет у тебя лишь улыбку, потому что настоящей жизнью, Дженни, живут не мальчишки и девчонки; настоящая жизнь – для мужчин и женщин.

– Джейкоб, – прошептала она, – можешь мне больше ничего не объяснять. Я это все уже знаю.

Он впервые посмотрел ей прямо в глаза:

– Что ты хочешь этим сказать? Что ты знаешь?

– Я знаю все, о чем ты говоришь! Ах, это ужасно! Джейкоб, послушай меня! Я хочу тебе обо всем рассказать. Слушай меня, милый, и не перебивай. Только не смотри на меня. Слушай же, Джейкоб: я влюбилась!

– Что? – с непонимающим видом переспросил он.

– Я влюбилась! Вот что я хотела тебе сказать, когда сказала, что знаю... Что все эти замирания сердца – это глупость!

– Ты хочешь сказать, что влюбилась в меня?

– Нет.

Ужасающее слово зависло в пространстве между ними, танцуя и вибрируя над столом: «Нет... Нет... Нет!»

– Ах, это просто ужасно! – воскликнула она. – Я влюбилась в мужчину, с которым познакомилась на съемках этим летом. Я не хотела... Я пыталась не влюбляться... Но как только мы приехали на место, я сразу же поняла, что влюблена и ничего от моего желания не зависит! Я написала тебе письмо, чтобы ты приехал, но я его не отправила, и так я там и сходила по нему с ума, не осмеливаясь с ним даже заговорить, и каждый вечер я засыпала в слезах.

– Он актер? – спросил Джейкоб чужим глухим голосом. – Тот самый, Раффино?

– Ах нет, нет, нет! Подожди, я сейчас тебе все расскажу. Это длилось три недели, и мне хотелось себя убить, Джейк! Жизнь без него казалась мне лишенной смысла. А однажды вечером мы случайно оказались с ним в машине наедине, и он застал меня врасплох, и мне пришлось признаться, что я его люблю. А он знал... Разве мог он этого не знать?

– И это чувство... Просто нахлынуло на тебя... – размеренно произнес Джейкоб. – Понимаю.

– Ах, я так и знала, что ты поймешь, Джейк! Ты все понимаешь. Ты – самый лучший на свете, Джейк, мне ли этого не знать?

– Ты выйдешь за него замуж?

Она медленно кивнула головой.

– Я сказала, что мне сначала нужно съездить на восток и поговорить с тобой. – По мере того, как проходил ее страх, его горе становилось для нее все более очевидным, и на глазах у нее показались слезы. – Джейк, такое случается лишь раз в жизни! Вот что крутилось у меня в голове все то время, пока я старалась с ним даже не разговаривать, – и если ты упустишь этот шанс, он ведь больше никогда тебе не выпадет, и зачем тогда вообще жить? Он – режиссер, и он чувствовал то же, что и я!

– Я понимаю.

И как когда-то, она вновь коснулась его взглядом, словно руками:

– Ах, Джейк!

Она вдруг произнесла его имя нараспев, с сочувствием и пониманием, и тем самым смягчила постигший его только что удар. Джейкоб смог стиснуть зубы и постарался скрыть свое горе за маской иронии. Он попросил счет. Казалось, что прошел целый час, прежде чем они оказались в такси, которое повезло их в отель «Плаза».

Она прильнула к нему:

– Ах, Джейк, скажи мне, что все хорошо! Скажи мне, что ты меня понимаешь! Милый Джейк, мой лучший, мой единственный друг, скажи мне, что ты меня понимаешь!

– Конечно понимаю, Дженни. – Его рука механически погладила ее по спине.

– Ах, Джейк, тебе, должно быть, сейчас очень плохо, да?

– Переживу.

– Ах, Джейк!

Они подъехали к отелю. Перед тем как выйти из машины, Дженни посмотрелась в зеркальце из косметички и подняла воротник мехового манти. В вестибюле гостиницы Джейкоб то и дело на кого-то натывался, всякий раз произнося напряженным и неуверенным голосом: «Прошу прощения». Двери лифта были открыты. Дженни,

выглядевшая смущенной и печальной, вошла в кабину и, беспомощно сжав кулачки, протянула руки к Джейкобу.

– Джейк! – повторила она.

– Спокойной ночи, Дженни!

Она повернулась к задней стенке кабины. Дверцы щелкнули.

«Постой! – чуть не закричал он. – Ты не поняла, что ты сделала, когда нажала кнопку?»

Он развернулся и, ничего не замечая вокруг, вышел на улицу.

– Я ее потерял! – прошептал он со страхом и испугом. – Я ее потерял!

Он пошел пешком по 59-й улице до площади Колумба, а затем свернул на Бродвей. Сигарет у него не было, он забыл их в ресторане; он зашел в табачную лавку. Вышла какая-то заминка со сдачей, и кто-то в лавке громко рассмеялся.

Выйдя на улицу, он замер в недоумении. Затем на него нахлынула тяжелая волна понимания, тут же отступив и оставив его оглушенным, без сил. А затем вернулась вновь, снова захватив его с головой. Словно перечитывая историю с трагическим концом и теша себя дерзкой надеждой, что на этот раз все кончится иначе, он вернулся в то самое утро, к началу, на год назад. Но волна, грохоча, вернулась назад, вселив в него уверенность в том, что для него Дженни теперь навсегда останется там, в номере на верхнем этаже отеля «Плаза», одна, без него.

Он пошел по Бродвею. На козырьке зала «Капитолий» в ночи светилась надпись из пяти слов заглавными буквами: «КАРЛ БАРБУР И ДЖЕННИ ПРИНС».

Он вздрогнул, прочитав ее имя, словно эти слова произнес какой-то прохожий у него за спиной. Остановился и стал смотреть. Надпись привлекала не только его; люди шли мимо, обходили его и заходили в здание.

Дженни Принс.

Теперь, когда она больше не принадлежала ему, ее имя обрело совершенно самостоятельное значение.

Оно висело в ночном небе, холодное и недоступное, вызывающее, ничему не подвластное.

Дженни Принс.

Оно как бы звало: «Заходи и полюбуйся на мою красоту! Воплоти свои тайные мечты, целый час я буду лишь твоей».

ДЖЕННИ ПРИНС.

Это было неправдой: сейчас она была в отеле «Плаза», в кого-то влюблена... Но ее имя, со всей своей яркой настойчивостью, все так же одерживало верх над ночным мраком.

«Я очень люблю своих дорогих зрителей. Я всех их очень люблю!»

Вдали опять показалась волна с белыми барашками; она катилась на него, волна сильной боли, и вот она на него накатила. «Больше никогда. Больше никогда». Прекрасное дитя, которое однажды из всех сил пыталось ему отдаться. Больше никогда. Больше никогда. Волна ударила его, накрыла его с головой, забила у него в ушах тяжелыми ударами агонии. Гордое и недоступное имя над головой дерзко бросало вызов ночи.

ДЖЕННИ ПРИНС.

Она была там! Вся она, целиком, все самое лучшее, что было в ней – ее старание, ее сила, ее триумф, ее красота.

Джейкоб пошел вперед с толпой и купил себе в кассе билет.

Смущенно оглядел фойе кинотеатра. Затем увидел вход в зал, вошел и занял место в безбрежной пульсирующей тьме.

ЧИСТЫЙ ЛИСТ

I

Настал первый теплый день; впервые в этом году в ресторане в Булонском лесу выставили столики на улицу. С каштанов косо падали цветки, дерзко атакуя масло и вино; Джулия Росс даже съела несколько штук с хлебом, прислушиваясь к плеску крупных золотых рыбок в пруду и шуму воробьев за соседним опустевшим столиком. Все вновь оказались на виду: и официанты с деловыми лицами, и недоверчивые большеглазые француженки на высоких каблуках, и сидевший прямо перед ней Фил Хофман, поднимавший вилку так осторожно, словно на ней было наколото его сердце, и даже исключительно красивый мужчина, только что вышедший на террасу.

*...багряный полдень дышит легкой силой,
и каждый нераскрывшийся бутон
овеян влагою со всех сторон...*

Джулия внутри затрепетала; но она держала себя в руках; она не вскочила и не закричала: «Ах, ах, ах! Что за чудо!», и не стала толкать

метрдоителя в пруд с лилиями. Она, хорошо воспитанная женщина двадцати одного года от роду, просто сидела и трепетала.

Фил встал, держа в руках салфетку:

– Привет, Дик!

– Привет, Фил!

Это был тот самый красивый мужчина; Фил отошел от столика на несколько шагов и стал с ним беседовать.

– ... встретил в Испании Картера с Китти...

– ...«Бремен» был переполнен...

– ... так что я хотел...

Фил сел обратно за столик, а мужчина пошел дальше за метрдоителем.

– Кто это? – спросила она.

– Мой приятель, Дик Рэглэнд.

– Я в жизни еще не видела такого красавца!

– Да, он красив, – без всякого воодушевления согласился Фил.

– Красив?! Да он – архангел, он – прямо-таки пума, он – просто кексик! Почему ты меня с ним не познакомил?

– Потому что в Париже не найти американца с репутацией хуже, чем у него!

– Чушь! Должно быть, его оклеветали! Это грязная ложь, которую разносят ревнивые мужья, чьи жены бросают на него взгляды! Такой человек способен лишь поднимать на врага отряды кавалерии и спасать утопающих детишек!

– Но факт остается фактом – его нигде не принимают, и не по одной, а по целой тысяче причин!

– И что это за причины?

– Самые разные! Пьянство, женщины, судебные дела, скандалы, сбил кого-то насмерть автомобилем, лень, никчемность...

– Не верю ни одному твоему слову! – уверенным тоном заявила Джулия. – Могу поклясться – он ужасно симпатичный! И ты сам так считаешь – я видела, как ты с ним разговаривал!

– Да, – неохотно признался Фил. – Как и у большинства алкоголиков, у него есть определенный шарм. Эх, устраивал бы он свои дебоши где-нибудь подальше от людей! Но едва кто-нибудь захочет принять участие в его судьбе и начинает о нем хлопотать, как он тут же выливает суп на спину хозяйке, бросается с поцелуями к

горничной и засыпает в собачьей конуре с какой-нибудь дебютанткой! Слишком уж часто он себе позволяет подобное! Он умудрился дискредитировать себя практически везде, и нет уже никого, кто не знает, что это за человек...

– Кроме меня! – сказала Джулия.

О, да – Джулия была одна такая! Она была чуть слишком хороша для любого, и иногда даже жалела о том, что ей столь много было дано. Ведь за все, что дополняет красоту, полагается платить – другими словами, те качества, которые обычно служат заменой красоте, лишь обременяют, когда всего лишь дополняют красоту. Сияющие карие глаза Джулии вполне обошлись бы и без сверкавшего в них блеска пытливого ума; неукротимое чувство юмора лишь отвлекало от созерцания нежных очертаний ее губ, а расслабленная, мягкая манера держаться лишь подчеркнула бы прелесть ее фигуры – но она, и сидя, и стоя, всегда держала спину идеально ровно, благодаря воспитанию строгого отца.

Ей несколько раз встречались столь же совершенные юноши, приносившие ей дары, но все они и так обладали цельностью, исключавшей дальнейшее их совершенствование. Вместе с тем она обнаружила, что мужчин высокого полета в юности всегда отличают острые углы и неровные кромки, а сама она была еще слишком юна, чтобы с этим смириться. Вот, например, перед ней сидит этот насмешливый юный эгоист Фил Хофман, который явно вскоре превратится в блестящего адвоката и который буквально погнался за ней по пятам аж до самого Парижа! Он нравился ей ничуть не меньше, чем любой другой человек, но, как и подобало сыну шефа полиции, он был о себе слишком уж высокого мнения!

– Вечером я уезжаю в Лондон и в среду отплываю домой, – сказал он. – А ты останешься в Европе до конца лета, и каждые две недели кто-то новый станет приседать тебе на уши со своими чувствами!

– Вот когда за такие слова тебя призовут к ответу, тогда и ты начнешь вписываться в мою картину мира! – заметила Джулия. – А пока, чтобы уравнять счет, познакомь-ка меня с этим Рэглэндом!

– Но ведь это – мои последние часы! – взмолился он.

– Я и так дала тебе целых три дня, чтобы ты придумал какой-нибудь свежий подход! Покажи, что ты воспитанный человек! Пригласи знакомого на чашку кофе!

Когда к ним присоединился мистер Дик Рэглэнд, Джулия удовлетворенно вздохнула. Дик был загорелым блондином с прекрасной фигурой, а лицо его, казалось, светилось изнутри. Голос у него был негромкий, но глубокий; он всегда как бы чуть дрожал, и в нем словно звучало беспечное отчаяние; взгляд его заставил Джулию почувствовать себя привлекательной. Полчаса среди ароматов фиалок, подснежников, незабудок и анютиных глазок они обменивались любезностями, и интерес Джулии лишь возрос. Она даже обрадовалась, когда Фил произнес:

– Мне надо еще оформить английскую визу. Так что, юные птенчики, я вынужден оставить вас наедине, пусть это и неблагоприятно. Если хочешь меня проводить, приезжай к пяти на вокзал Сен-Лазар, ладно?

Он посмотрел на Джулию, надеясь, что она сейчас скажет: «А я пойду с тобой!» Она отлично знала, что не стоило ей оставаться один на один с этим человеком, но он сумел ее рассмешить, а ей последнее время нечасто доводилось смеяться, поэтому она сказала:

– Я еще ненадолго задержусь – тут такая хорошая и бодря атмосфера!

Когда Фил ушел, Дик Рэглэнд предложил заказать «фин шампань».

– Я слышала, у вас ужасная репутация? – внезапно спросила Джулия.

– Жуткая! Меня уже никуда не приглашают. Хотите, я сейчас приклею усы для конспирации?

– Как странно... – продолжила она. – Разве вы не понимаете, что сами лишаете себя поддержки? Да будет вам известно, что Фил, прежде чем вас представить, счел необходимым предупредить меня о вашей репутации! И я его вполне могла бы попросить вас не представлять!

– А почему же не попросили?

– Мне показалось, что вы такой красивый, и все это очень грустно...

Его лицо не изменилось; Джулия поняла, что он столь часто слышал это замечание, что оно его уже несколько не трогало.

– Но, это, конечно, не мое дело! – торопливо добавила она.

Она не создавала, что его статус «изгоя» лишь добавлял ему привлекательности в ее глазах, и не потому, что ей импонировал

беспутный образ жизни – она никогда не видела этого своими глазами, и для нее это было просто абстракцией, – а потому, что в результате этой жизни он оказался в одиночестве. Некий атавизм характера заставил ее устремиться к появившемуся в племени чужаку – существу из мира, где жили иначе, сулившему нечто непознанное, обещающему приключения.

– Вам я, пожалуй, могу сказать: я собираюсь навсегда бросить пить пятого июня, когда мне исполнится двадцать восемь лет, – вдруг произнес он. – Пьянство мне больше не приносит радости. Очевидно, я – один из тех, кому пить противопоказано!

– Вы уверены, что сможете бросить?

– Я всегда выполняю свои обещания. Я хочу вернуться в Нью-Йорк и устроиться на работу.

– Вы даже представить себе не можете, как я рада. Сама удивляюсь! – вырвалось у нее, но она решила: ничего страшного.

– Еще «фин шампань»? – предложил Дик. – И радости прибавится!

– Вы так и будете продолжать до самого дня рождения?

– Скорее всего. А в мой день рождения я буду плыть по океану на «Олимпиаке».

– Я тоже на нем плыву! – воскликнула она.

– Вот тогда и увидите мгновенное превращение; я выступлю с этим номером на корабельном концерте!

Стали убирать столики. Джулия знала, что ей пора идти, но разве могла она оставить его сидеть в одиночестве, наедине с грустью, прятавшейся за его улыбкой? Она решила, что должна проявить участие и поддержать в нем решимость.

– Расскажите мне, почему вы пьете? Видимо, есть какая-то причина – может, вы и сами не знаете?

– Как же! Я отлично знаю, с чего все началось!

За рассказом миновал еще час. В семнадцать лет он отправился на войну, а когда вернулся, то жизнь принстонского студента в черной шапочке показалась ему пресной. Он перешел в Бостонский технический, затем уехал за границу и поступил в Школу изящных искусств; там все и началось.

– Когда у меня появились деньги, я обнаружил: выпив, я раскрепощаюсь, как ирландец, и у меня появляется способность нравиться людям; вот это и вскружило мне голову. Я стал больше пить,

чтобы поддерживать эффект, чтобы все считали меня отличным парнем.

Я много раз попадал в истории, поссорился с большинством своих друзей, затем связался с одной безумной компанией и на какое-то время загулял с ними, как ирландец. Но я был склонен считать себя выше их и стал иногда задумываться – а что я, собственно, делаю с этими людьми? Им это не очень-то нравилось. А когда такси, в котором я ехал, сбило человека, меня арестовали. Я был ни при чем, но им хотелось получить взятку, и этот случай попал в газеты; когда меня освободили, все продолжали думать, что того человека сбил я. Так что за последние пять лет моя репутация стала такой, что матушки с дочками стараются побыстрее съехать из гостиницы, если вдруг в ней останавливаюсь я!

Недалеко от них засуетился беспокойный официант, и она взглянула на часы:

– Боже мой, ведь Фил уезжает в пять! Мы весь день тут просидели!

Они поспешно отправились на вокзал Сен-Лазар, и он спросил:

– Вы позволите мне увидеться с вами еще раз? Или лучше не надо?

В ответ она посмотрела на него таким же долгим взглядом. Не было заметно никаких следов беспорядочной жизни: лицо было румяное, спина прямая.

– Не бойтесь. До завтрака я всегда в полном порядке! – прибавил он, словно больной.

– А я и не боюсь! – рассмеялась она. – Давайте позавтракаем послезавтра.

Они торопливо взбежали по лестнице в здание вокзала Сен-Лазар, но поезд «Золотая стрела» прямо у них на глазах отправился к Ла-Маншу. Джулия исполнилась раскаяния, ведь Фил проделал столь долгий путь...

В качестве искупления она отправилась к себе – она жила в квартире с теткой – и села писать Филу письмо, но ей мешали мысли о Дике Рэглэнде. К утру впечатление, которое он на нее произвел, несколько сгладилось, и она решила ему написать, что не сможет с ним увидеться. Но это был такой пустяк, и к тому же она сама была бы не против... Так до половины первого назначенного дня она его и прождала.

Тетке Джулия ничего не сказала, потому что та завтракала с друзьями и могла случайно упомянуть его имя за столом; ей впервые приходилось встречаться с мужчиной, чье имя нельзя было даже упоминать! Он опаздывал, и она ждала его в холле, прислушиваясь к эху беседы, доносившейся из столовой. Услышав в час дня звонок, она открыла дверь.

За дверью стоял мужчина, которого, как ей показалось, она никогда раньше не видела. У него было мертвенно-бледное, плохо выбритое лицо, на макушке торчала помятая мягкая шляпа, воротничок сорочки был несвеж, галстука не было видно – торчал только его кусок, обмотанный вокруг шеи. Но в тот момент, когда она все же признала в этой фигуре Дика Рэгланда, она заметила, что изменилось кое-что еще, полностью затмив все остальное: у него было совершенно иное выражение лица! Это было не лицо, а сплошная презрительная усмешка: остекленевшие глаза почти закрывались, из под губ с обвисшими уголками торчали зубы, подбородок дрожал, словно бутафорский, из которого вытек парафин; это лицо одновременно и выражало, и вызывало отвращение.

– Приве-е-е-т... – пробормотал он.

На мгновение она от него отшатнулась; затем, услышав, что в столовой вдруг воцарилась тишина – все затихли, потому что после звонка из холла до них не донеслось ни звука, – она вытолкнула его за порог, шагнула вслед за ним на лестницу и закрыла дверь.

– Ах-х-х! – с ужасом выдохнула она.

– Со вчерашнего дня не был дома... Влип в историю на вечеринке у...

С отвращением она взяла его за руку, развернула и повела вниз по лестнице, мимо жены консьержа, которая с любопытством поглядела на них из-за стекла будки. Они вышли на залитую ярким солнцем улицу Гинемер.

На фоне по-весеннему свежего Люксембургского сада он смотрелся еще более гротескно. Она испугалась; в отчаянии посмотрела туда-сюда, нет ли где свободного такси, но единственная машина, свернувшая с улицы Вожирар, так и не остановилась.

– Куда пойдём есть? – спросил он.

– Вы не в том состоянии, когда можно где-то появляться! Вы что, сами не понимаете? Вам надо домой, спать!

– Я в порядке! Немного выпью – и все будет отлично!

Проезжавшее мимо такси притормозило, повинувшись ее жесту.

– Поезжайте домой и ложитесь спать. Вы сейчас не в состоянии куда-нибудь идти.

Когда он смог сфокусировать на ней свой взгляд и понять, что перед ним – нечто свежее, новое и прекрасное, не имеющее ничего общего с туманным и беспокойным миром, в котором он провел последние несколько часов, в его голове вдруг забрезжил слабый луч здравого смысла. Она увидела, как искривились в благоговейном страхе его губы, и заметила, что он пытается встать ровно, не шатаясь. Открылась дверь такси.

– Возможно, вы правы. Прошу прощения.

– Куда вам ехать?

Он назвал адрес и забился в угол сиденья, а на лице было написано, как тяжело ему сейчас вновь вернуться к реальности. Джулия закрыла дверь машины.

Когда такси отъехало, она торопливо перешла на другую сторону улицы и направилась в Люксембургский сад – так, словно кто-то ее преследовал.

II

Так получилось, что совершенно случайно она сама взяла трубку телефона, когда он позвонил в семь вечера того же дня. Его голос звучал напряженно и дрожал.

– Я понимаю, что нет никакого смысла просить у вас прощения за сегодняшнее утро. Я не соображал, что делаю, но это не может служить мне оправданием! Если вы позволите мне увидаться с вами завтра, хотя бы на минутку, я бы хотел лично принести вам извинения за свое ужасное...

– Завтра я занята.

– Хорошо. Тогда, может быть, в пятницу? Или в любой другой день?

– Прошу прощения, но я очень занята всю эту неделю!

– Хотите сказать, что вообще никогда больше не хотите меня видеть?

– Мистер Рэглэнд, я не вижу никакого смысла продолжать наше знакомство. Честно говоря, вы несколько перестарались сегодня утром. Мне очень жаль. Надеюсь, что сейчас вам уже лучше. Всего доброго.

И она выбросила его из головы. У нее и в мыслях не было, что его репутация была как-то связана с подобными спектаклями, ведь пьяницей в ее понимании был тот, кто засиживался допоздна, попивая шампанское, да еще, может быть, с песнями возвращался домой глубоко за полночь. А тут такое, да посреди дня – это было для нее что-то новенькое... С Джулии было достаточно!

Между тем были и другие мужчины, с которыми она завтракала в ресторане «У Сиро» и танцевала в Булонском лесу. Фил Хофман прислал из Америки укоризненное письмо. И Фил стал нравиться ей еще больше, потому что он оказался совершенно прав! Прошло две недели, и она бы совсем позабыла о Дике Рэглэнде, если бы несколько раз не услышала его имя в разговорах; все говорили о нем с презрением. Очевидно, он и раньше позволял себе подобные вещи.

За неделю до отплытия она случайно с ним встретилась в отделе бронирования «Уайт Стар Лайн». Он был все так же красив – она едва поверила своим глазам. Он стоял у стола, облокотившись на него локтем и держа спину идеально ровно; желтые перчатки были столь же безупречны, как и его ясные чистые глаза. Он излучал силу и доброжелательность и произвел сильное впечатление на клерка, который обслуживал его с замороженным почтением. Сидевшие у него за спиной стенографистки оторвались от работы и обменялись взглядами. Затем он заметил Джулию; она кивнула, а он приподнял шляпу; по его лицу пробежала быстрая тень.

Они достаточно долго простояли вместе у стола, и молчание стало гнетущим.

– Как долго, не правда ли? – произнесла она.

– Да, – отрывисто сказал он и добавил: – Вы едете на «Олимпиаде»?

– Да, конечно!

– А я решил, что вы, наверное, передумали...

– Конечно же нет! – холодно сказала она.

– Я и сам хотел изменить свои планы. Собственно, я тут именно по этой причине.

– Но это же смешно!

– Вы не испытываете отвращения, глядя на меня? Вас не одолеет морская болезнь, если мы случайно встретимся на палубе?

Она улыбнулась. Он поспешил воспользоваться моментом:

– А я изменился в лучшую сторону с момента нашей последней встречи!

– Я не хочу об этом разговаривать.

– Ладно; тогда скажу, что вы изменились в лучшую сторону! Я никогда еще не видел такого чудесного костюма!

Это прозвучало бесцеремонно, но она просияла от этого комплимента.

– Не примете ли вы приглашения выпить со мной чашечку кофе? Давайте сходим в кафе – тут недалеко? Чтобы просто восстановить силы после этого испытания?

Разве можно быть такой слабой? Разве можно с ним так разговаривать, позволять ему делать какие-то предложения? Она чувствовала себя словно под гипнозом змеиного взгляда.

– Боюсь, сегодня не получится. – В его лице появилось что-то робкое и ранимое, затронувшее какую-то струнку у нее внутри. – Ну да ладно, пойдемте! – И она сама была поражена тем, что только что у нее вырвалось!

Они сидели за залитым солнцем столиком на тротуаре, и ничто не напоминало о том ужасном дне две недели назад. Доктор Джекил и мистер Хайд! Он был любезен, он был очарователен и легок. В его обществе она чувствовала себя такой привлекательной! В нем не осталось ни капли былой самоуверенности.

– Вы бросили пить? – спросила она.

– До пятого – нет!

– Ах!

– Пока я не сказал себе «Стоп!» – нет. А вот после этого – брошу.

Когда Джулия собралась уходить, она отрицательно покачала головой в ответ на его предложение встретиться еще раз.

– Увидимся на корабле. После вашего двадцативосьмилетия.

– Хорошо. И вот что я вам скажу: это еще небольшая расплата за то непростительное преступление, которое я совершил по отношению к единственной женщине, которая мне нравится!

Она увидела его в первый же день плавания, и у нее сердце в пятки ушло, когда она, наконец, поняла, как сильно она его хочет. Неважно, что было у него в прошлом, неважно, что он совершил. Разумеется, это не значило, что она вообще когда-нибудь ему об этом скажет. Это значило, что он действовал на нее на каком-то химическом уровне, и гораздо сильнее, чем другие мужчины; все остальные рядом с ним смотрелись крайне бледно.

На корабле он пользовался популярностью. Ей рассказали, что он устраивает вечеринку в честь своего двадцать восьмого дня рождения. Джулию он не пригласил; когда они встречались, то вежливо беседовали – и ничего больше.

На следующее утро после пятого числа она увидела, как он без сил распластался на палубном шезлонге; лицо его было бледным. На лбу и вокруг глаз появились морщины; он потянулся за чашкой с бульоном, и она заметила, как дрожит его рука. Он пролежал там до самого вечера, ему было плохо, и выглядел он жалким. Проходя мимо него в третий раз, Джулия почувствовала неодолимое желание заговорить:

– Ну что, началась новая эра?

Он попытался привстать, но она жестом показала, что не стоит, и сама присела на стоявший рядом стул.

– Вы выглядите утомленным.

– Просто нервы пошаливают. Впервые за пять лет я целый день не пил!

– Скоро будет легче.

– Знаю, – угрюмо сказал он.

– Не падайте духом.

– Не буду.

– Могу я вам чем-нибудь помочь? Хотите, снотворное принесу?

– Терпеть не могу снотворное! – очень резко сказал он. – Простите, я хотел сказать: нет, спасибо!

Джулия встала:

– Мне кажется, вам будет лучше, если я оставлю вас в покое. Завтра все будет хорошо.

– Не уходите, если я вам не надоел.

Джулия опять села.

– Спойте мне – вы умеете петь?

– А что вам спеть?

– Что-нибудь грустное... Какой-нибудь блюз.

Она стала негромко и нежно петь ему «Вот как кончается сказка»

Либби Холман.

– Хорошая песня. Спойте еще что-нибудь! Или эту же...

– Хорошо. Если хотите, я буду вам петь хоть целый день!

III

На следующий день после прибытия в Нью-Йорк он позвонил ей по телефону.

– Я так по тебе соскучился! – сказал он. – А ты по мне скучала?

– Боюсь, что да! – неохотно призналась она.

– Сильно?

– Довольно сильно. Тебе лучше?

– Уже все в порядке. Я просто слегка нервничаю. Завтра выхожу на работу. Когда мы увидимся?

– Когда захочешь.

– Тогда сегодня вечером. И еще... Повтори-ка!

– Что?

– Что ты боишься, что по мне скучала!

– Боюсь, что скучала! – покорно повторила Джулия.

– Скучала по мне! – добавил он.

– Боюсь, что я скучала по тебе!

– Ладно. Когда ты это говоришь, слова звучат как музыка!

– До свидания, Дик!

– До свидания, милая моя Джулия!

В Нью-Йорке она задержалась на два месяца вместо двух недель, которые собиралась там провести, потому что он ее не отпускал.

Теперь днем вместо пьянства у него была работа, а после этого ему было необходимо видеть Джулию.

Иногда – когда он звонил и говорил, что слишком устал, чтобы куда-нибудь идти после театра, – она ревновала его к его работе. Без выпивки ночная жизнь значила для него даже меньше, чем ничего, – это было даром потраченное и бездарно проведенное время. А на Джулию, которая никогда не пила, ночная жизнь сама по себе действовала как стимулятор – вся эта музыка, парад мод... и то, какой красивой парой они смотрелись, когда танцевали. Поначалу они иногда виделись с Филом Хофманом; Джулия обратила внимание, что сложившаяся ситуация ему не по душе; потом они перестали с ним видеться.

Произошло несколько неприятных инцидентов. К Джулии явилась старая школьная подруга, Эстер Кэри, чтобы поведать о репутации Дика Рэгланда. Вместо того чтобы обидеться, Джулия познакомилась с Диком и получила удовольствие от легкости, с которой Эстер изменила свое мнение. Были и другие, мелкие и досадные, эпизоды, но, к счастью, все свои скверные поступки Дик совершил в Париже, и за океаном они воспринимались как нечто из иной реальности. Теперь они испытывали друг к другу глубокие чувства – из памяти Джулии понемногу изгладилось воспоминание о том ужасном утре, – но ей все же хотелось полной уверенности.

– Через полгода, если все и дальше так пойдет, мы объявим о помолвке. А еще через полгода мы поженимся.

– Но это так долго! – посетовал он.

– А что, разве не было тех пяти лет? – ответила Джулия. – Я всем своим сердцем и разумом верю тебе, но что-то мне говорит: «Не торопись!» Помни: ведь я принимаю решение от имени будущих детей!

Ах, эти пять лет – так бездарно потраченных, словно их и не было!

В августе Джулия уехала на два месяца в Калифорнию повидаться с родней. Ей хотелось знать, как Дик будет жить в одиночестве. Они писали друг другу каждый день; его письма были то веселыми, то грустными, то усталыми, то бодрыми. Работа у него ладилась. Увидев, что он приходит в себя, его дядя по-настоящему в него поверил; но ему все время не хватало его Джулии. И когда в его письмах периодически

стали появляться нотки отчаяния, Джулия решила сократить свой визит и вернулась в Нью-Йорк на неделю раньше, чем планировала.

– Слава богу, ты приехала! – воскликнул он, когда они, взявшись за руки, вместе вышли из здания Центрального вокзала. – Мне было так тяжело! Последнее время я несколько раз чуть не ударился в запой – я все время думал о тебе, а ты была так далеко!

– Милый, милый... Ты такой усталый и бледный... Ты слишком много работаешь!

– Нет. Но жизнь в одиночестве такая пресная! Когда я ложусь спать, в голове у меня кружится одно и то же... Давай поскорее поженемся!

– Не знаю... Посмотрим... Теперь твоя Джулия рядом, и у тебя больше нет никаких проблем!

Прошла неделя, и депрессия Дика усилилась. Когда ему становилось грустно, Джулия его нянчила, прижимая его красивую голову к своей груди, хотя ей больше нравилось, когда он вел себя уверенно, вселял в нее бодрость, смешил ее и она ощущала заботу и защиту. Она сняла квартиру на пару с подругой и записалась на курсы по биологии и ведению домашнего хозяйства при Колумбийском университете. Осенью они стали вместе ходить смотреть футбол и новые постановки в театрах, гуляли по первому снегу в Центральном парке, а долгие вечера среди недели проводили, сидя рядышком у камина. Время шло, и обоим уже не терпелось пожениться. Под Рождество у дверей ее квартиры появился неожиданный гость – Фил Хофман. Они не виделись уже несколько месяцев. Нью-Йорк, отличающийся тем, что здесь имеется множество идущих строго параллельно дорог, не способствует случайным встречам даже близких друзей, а уж когда отношения становятся натянутыми, то нет ничего проще, чем этих встреч избегать.

Теперь они стали друг для друга чужими. Фил относился к Дику со скепсисом, поэтому автоматически превратился для нее во врага; с другой стороны, она заметила, что Фил изменился в лучшую сторону. В нем сгладились многие острые углы. Он теперь служил помощником прокурора округа и уверенно двигался вверх по карьерной лестнице.

– Итак, ты собралась замуж за Дика, – сказал он. – И когда?

– Скоро. Когда мама приедет на восток.

Он многозначительно покачал головой:

– Джулия, не выходи за Дика! Ревность здесь ни при чем – я умею проигрывать, но ведь ужасно, когда такая красавица, как ты, ныряет с закрытыми глазами в реку, где дно – сплошь из острых камней! С чего ты решила, что реки – или люди – меняются? Они просто иногда пересыхают или начинают течь по параллельному руслу, но я еще никогда не видел, чтобы хоть кто-то изменил свою сущность!

– Дик изменился.

– Может быть. Но не слишком ли многое зависит от этого «может»? Если бы он был некрасив, но нравился бы тебе, я бы сказал – ну что ж, вперед, может, я и не прав! Но мне, черт возьми, совершенно ясно, что тебя просто заворожили его красивое лицо и превосходные манеры!

– Ты его не знаешь, – ответила верная Джулия. – Со мной он совсем другой. Ты не знаешь, какой он мягкий и отзывчивый. А ты сейчас ведешь себя как злой и мелочный тип!

– Н-да. – Фил ненадолго задумался. – Я, пожалуй, загляну к тебе через несколько дней. А может, поговорю с Диком.

– Оставь Дика в покое! – воскликнула она. – Ему хватает забот и без твоих нравоучений! Если бы ты был ему другом, то попытался бы ему помочь вместо того, чтобы прийти сюда и наговаривать на него у него за спиной!

– Я в первую очередь твой друг!

– А мы с Диком теперь – одно целое!

Три дня спустя к ней пришел Дик; в это время он обычно бывал на работе.

– Я пришел к тебе не по своей воле, – беспечно сказал он, – а потому, что Фил Хофман угрожает мне разоблачением!

На сердце у нее словно лег тяжелый камень.

«Неужели он сдался? – подумала она. – Он снова пьет?»

– Речь пойдет об одной девушке. Ты меня с ней познакомила прошлым летом и сказала, чтобы я вел себя по отношению к ней как можно более внимательно... Я про Эстер Кэри!

Ее сердце ухнуло прямо в лоно и медленно там забилося.

– Когда ты уехала в Калифорнию, мне стало очень одиноко. Мы встретились с ней случайно. Я ей в тот день очень понравился, и какое-то время мы с ней довольно часто виделись. Затем ты вернулась,

и я с ней порвал. Это оказалось труднее, чем я думал; я и не подозревал, что она мной так сильно увлеклась!

– Ясно. – Умиравший голос выдал, как она была ошеломлена.

– Попробуй меня понять! Эти ужасные одинокие вечера... Если бы не Эстер, я бы опять начал пить! Я ее никогда не любил – я никого никогда, кроме тебя, не любил, – но мне нужен был кто-нибудь, кому я нравлюсь...

Он обнял ее, но ее словно пронзило холодом – и он отшатнулся.

– В таком случае любая бы подошла, – медленно произнесла Джулия. – Неважно ведь, кто именно?

– Нет! – воскликнул он.

– Я уехала надолго лишь для того, чтобы ты снова смог встать на ноги, чтобы ты опять смог себя уважать!

– Джулия, я люблю только тебя!

– Но тебе может помочь любая женщина. Так что на самом деле тебе не нужна именно я, верно?

Он бросил на нее ранимый взгляд – Джулия уже не впервые замечала у него это выражение; она присела на подлокотник кресла и провела рукой по его щеке.

– И что ты мне предлагаешь? – спросила она. – Я думала, что ты сможешь накопить сил, потому что преодолеешь свои слабости! И что я получила?

– Все, что у меня есть!

Она покачала головой:

– То есть ничего! Одна красивая внешность – но этого в избытке и у метрдотеля из ресторана, где мы вчера ужинали!

Разговор продолжался два дня, и они так ничего и не решили. Временами она прижималась к нему, чтобы поцеловать любимые губы, но она знала – ее руки сейчас хватаются за соломинку.

– Мне нужно уехать; у тебя будет время все обдумать, – сказал он с отчаянием. – Я не знаю, как мне без тебя жить, но я понимаю, что ты не сможешь выйти замуж за того, кому не доверяешь и кому не веришь! Дядя отправляет меня по делу в Лондон...

На причале в сумерках в вечер его отъезда было грустно. Не рыдала она лишь потому, что понимала: ее сила ее не покидает; ее сила останется с ней и без него. И все же, глядя на то, как туманный свет падает на безупречный лоб и подбородок, как все вокруг поворачивают

головы, глядя на него, и провожают его взглядами, ее охватывала ужасающая пустота, и хотелось сказать: «Милый, это все ерунда... Давай попробуем вместе...»

Попробуем что? Очень по-человечески бросать жребий, чтобы выпало либо поражение, либо победа, но вступать в отчаянную игру, балансируя между нормальной жизнью и катастрофой...

– Ах, Дик, води себя хорошо, наберись сил и возвращайся ко мне! Поменяйся, Дик... Поменяйся!

– До свидания, Джулия... До свидания!

В последний раз она увидела его стоящим на палубе; он закурил, и отброшенный спичкой свет резко очертил его профиль, словно на драгоценной камее.

IV

И в начале, и в конце рядом с ней суждено было оказаться Филу Хофману. Новость принес ей именно он, и постарался сделать это как можно деликатнее. Именно он явился к ней в половине девятого и осторожно выбросил утреннюю газету за дверь. Дик Рэглэнд пропал в море.

Переждав первую бурную вспышку горя, он специально стал разговаривать с ней чуть жестче, чем требовалось:

– Он хорошо себя знал! Его воля иссякла; ему больше не хотелось жить. И чтобы доказать тебе, Джулия, что тебе не в чем себя винить, я тебе кое-что расскажу. Уже четыре месяца – с тех самых пор, как ты уехала в Калифорнию, – он почти не появлялся на работе. Не уволили его лишь благодаря дяде; и в Лондон его отослали ради какой-то ерунды. Он окончательно сдался после того, как у него прошел первый порыв энтузиазма.

Она резко на него взглянула:

– Но ведь он не пил, правда? Он ведь не пил?

Фил колебался лишь долю секунды.

– Нет, он не пил; слово свое он сдержал... Он его не нарушил!

– Вот! – сказала он. – Он сдержал обещание – и лишился жизни, выполняя его!

Фил молчал, чувствуя себя неловко.

– Он сделал то, что обещал, и сердце его при этом разбилось! – всхлипывая, продолжала она. – Ах, и почему жизнь временами так жестока? Жестока... и никогда никого не прощает! Он был таким смелым... Он умер, но слово свое он сдержал!

Фил был рад, что выбросил газету, в которой был рассказ о том, как весело Дик провел свой последний вечер в баре, и Фил знал, что за последние месяцы Дик весело провел не только этот вечер. Он почувствовал облегчение оттого, что все кончилось, потому что слабость Дика угрожала счастью девушки, которую он любил. Но все же Филу было ужасно его жаль, пусть он и понимал, что Дик не мог не причинять неприятностей в силу своей полной неспособности к нормальной жизни. Фил повел себя мудро и не стал рушить иллюзию, оставшуюся у Джулии после катастрофы.

Один неприятный момент последовал год спустя, прямо накануне их свадьбы; Джулия сказала:

– Фил, ты ведь понимаешь, что я чувствую, и всегда буду чувствовать, по отношению к Дику, правда? Он ведь был не просто красавчиком... Я в него верила, и я в нем, до некоторой степени, не ошиблась! Он сломался, но не согнулся. Он был испорченным человеком, но плохим человеком он не был! Я это сразу почувствовала сердцем, как только его увидела.

Фил содрогнулся, но ничего не сказал. Быть может, за внешностью крылось то, чего уже никто никогда не узнает? Пусть это останется скрытым навеки в глубинах ее сердца и океана.

Последний пациент

I

Мисс Бетти Уивер приехала в Уорренбург и вышла из автобуса; с Голубого хребта на восток задул сильный предгрозовый ветер. В Вашингтоне была духота, и после искусственной вентиляции в автобусе мисс Бетти Уивер оказалась не готова к столь резкому скачку температуры. Не таким ей представлялся июль в Виргинии...

Машины, которая должна была ее встретить, не было, а капли дождя уже вовсю падали на дорогу. Бросив быстрый взгляд на город, Бетти перешла на другую сторону улицы к аптеке, где можно было укрыться от дождя. Город был старым: старая церковь, старое здание суда, старые деревянные и каменные дома; на главной улице, как и в других подобных городах, висела металлическая мемориальная доска:

*НА ЭТОМ МЕСТЕ КАВАЛЕРИЙСКИЙ ЭСКАДРОН СТЮАРТА
ВСТУПИЛ В ЯРОСТНЫЙ БОЙ С...*

Дальше читать она не стала – подобных мемориалов вдоль дороги было немало, а Бетти, как и большинство женщин, почти не испытывала интереса к памяти минувших войн, хотя сам по себе штат вызывал у нее трепет – ведь это была самая настоящая Виргиния, не какое-нибудь курортное местечко на побережье! Она представила себе Мэрион Дэвис в пышной юбке, кружащейся в кадрили с красивыми офицерами армии Конфедерации; вспомнила, как читала в книгах об этом великолепном и жестоком времени, об изящных плантаторских

особняках и негритянских хижинах. Все представлялось ей таким приятным и размытым: она твердо знала, что Джордж Вашингтон в Гражданской войне не участвовал, а сражение у Шато-Тьерри произошло позднее, но припомнить что-либо помимо этого ей вряд ли бы удалось.

А все остальное внезапно заставило ее почувствовать себя здесь чужой, инородной и испуганной; она прибыла в незнакомую глухомань, да еще и в грозу...

На площадь перед зданием суда плавно въехал большой лимузин, развернулся и подкатил к аптеке; шофер-негр вышел из машины.

Бетти забрала купленные булавки, сдачу и вышла навстречу.

– Мисс Уивер? – Шофер в знак приветствия коснулся шляпы и принял из ее рук саквояж. – Прошу прощения за опоздание, но я живу за городом, не в Уорренбурге.

Он захлопнул за ней дверцу автомобиля; оказавшись внутри, она почувствовала себя в безопасности – ни грому, ни дождю теперь до нее не добраться.

– Далеко ехать?

– До дома отсюда десять миль.

Это был рослый и, по всей видимости, надежный и вежливый негр; голос у него был астматический, пришептывающий. Чуть погодя она спросила:

– Как себя чувствует мистер Драгонет?

Негр отвечать не торопился, даже бровью не повел, чтобы показать, что слышал вопрос, и у Бетти возникло ощущение, что она допустила какую-то бестактность. Но это было просто смешно – она ведь приехала из Балтимора в качестве дипломированной медсестры, со всеми необходимыми документами, чтобы осуществлять профессиональный уход за мистером Драгонетом! Лично они знакомы не были, и для нее он был не человеком, а пациентом. Ее последним пациентом – самым что ни на есть последним...

От этой мысли ее охватила грусть. Она родилась и выросла среди ветров и дождей на маленькой безлюдной полоске земли вблизи границы Мэриленда с Пенсильванией; став практиканткой, затем «сиделкой на дому», а затем и дипломированной сиделкой, она открыла для себя целый новый мир. Это были хорошие годы – все ее пациенты были хорошие; почти всегда это были очень милые люди, и

мужчины, и женщины, которые выздоравливали или умирали, неизменно испытывая к ней уважение и приязнь, потому что она была миловидна и считалась отличной сиделкой. За три года практики, до получения диплома, пациенты у нее были самые разные – она брала любые случаи, кроме полиомиелита, потому что в Балтиморе у нее было три маленьких племянника.

Вдруг негр, словно тщательно все обдумав, решил заговорить:

– Не скажу, что хорошо, но не скажу и что плохо. По мне, так он не изменился, но его столько докторов уже посмотрело...

Он вдруг умолк, словно сказал лишнего, и Бетти подумала: видимо, это хороший знак, что он ничего ей не сказал... Вот и доктор Гаррисон в Балтиморе почти ничего ей не рассказал, но она решила, что это потому, что он торопится...

– Сожалею, – сказал он, – что напоследок вам предстоит отправиться так далеко. Быть может, вам лучше...

– Нет, – ответила Бетти. – Я его возьму! Мне обычно везет, и по списку как раз моя очередь, так что я его беру. Знаете, я такая суеверная...

– Ну, что ж, вы меня успокоили! Потому что к этому пациенту я должен направить того, кому полностью доверяю! Вы ведь работали с психиатрическими? Нет-нет, он не психиатрический! Тут вообще сложно сказать, что за случай.

– Пожилой?

– Да нет... Тридцать пять – тридцать шесть; я его лечил сразу после войны, когда работал в военном госпитале имени Уолтера Рида. Он в меня верит, вот и попросил меня подобрать ему здесь сиделку.

На этом их прервали, и Бетти пришлось чуть не силой вытягивать из него дальнейшие указания.

– Так... Спросите, какое успокаивающее он принимает; если на основе смол – давайте, но в небольших дозах; если паральдегид – тоже давайте. Но если на спирту, то надо постепенно прекращать! Что ему нужно, так это сон; сон и нормальное питание, того и другого – побольше. Свяжитесь с его семейным врачом, а если что-то пойдет не так – звоните мне.

Доктор Гаррисон славился коварной привычкой заставлять всех своих подчиненных – ординаторов, интернов, сиделок – самостоятельно разбираться в каждом случае, и Бетти решила, что ей

вряд ли удастся получить от него какую-нибудь дополнительную информацию.

Итак, вперед – в последний раз, в накрахмаленном белом халате навстречу приключениям, служа великой цели и подчиняясь чужой необходимости, заставляющей забыть о себе. В последний раз, потому что через месяц она станет хозяйкой в доме и спутницей по жизни для молодого доктора Говарда Карни из нью-йоркской больницы «Мерси».

Машина свернула с шоссе и стала взбираться по суглинистому проселку на холм.

– Отсюда уже начинается земля Драгонетов, – сказал шофер. – Очень плохая дорога; пришлось ее чинить в сухой сезон, и все насмарку!

Внезапно, среди сумерек и дождя, показался дом. Все было как положено: приземистый особняк с высокой колоннадой впереди, изящные одноэтажные флигеля по бокам, уединенный сад, наполовину видневшийся с оканчивавшейся у фасада дороги и намекавший на то, что вдаль, в поля, с задней, обращенной на юг стороны глядят другие, еще более уединенные, веранды.

Шофер пошел за экономкой, а она, чувствуя неуверенность и некоторый трепет, осталась ждать в центральном холле. С обеих сторон, как она видела, к холлу примыкали просторные комнаты, заполненные портретами, картинами в золотых рамах и книгами, книгами – книги здесь были везде. Бывали дома, где достаточно было просто переодеться в халат сиделки, и встревоженные и смущенные члены семьи тут же переваливали на тебя все дела; иногда по прибытии сиделка в доме сразу занимала некое неопределенное положение... Нужно просто подождать, и все станет ясно.

К ней вышла усталая на вид шотландка и окинула ее быстрым взглядом.

– Эй, Уиспер! Отнеси вещи мисс Уивер в левый флигель. Не хотите ли чаю, мисс Уивер? Мистер Бен только что уснул, и вы, наверное, не станете его сейчас будить?

– Конечно нет! – подтвердила Бетти. – Я...

Откуда-то с погруженной в полумрак лестницы, уходящей наверх, послышался голос, заставивший ее вздрогнуть и умолкнуть:

– Джейн, ну я же тебя просил!

Миссис Кейт включила свет в холле; сумерки исчезли, и стало видно говорящего. Это был красивый мужчина с очень темными, глубоко посаженными глазами; Бетти показалось, что он гораздо моложе, чем она его себе представляла. Он был высок и хорошо сложен; на нем был серый, украшенный цветами халат из японского шелка. Но ее внимание привлек и не отпускал его голос; это был голос, который мог делать все что угодно с кем угодно, это был голос, который одинаково хорошо выражал и просьбу, и команду, мог звучать и льстиво, и крикливо, и даже презрительно. Когда он говорил – все равно, каким тоном, – то все остальные голоса вокруг сразу же исчезали.

– Джейн, вы можете идти, а я побуду с мисс Уивер. Лицо мисс Уивер говорит о том, что она не причинит мне никакого вреда... Вы ведь хорошо относитесь к больным, правда, мисс Уивер? Наверное, поэтому и выбрали профессию сиделки?

Бетти рассмеялась, но как-то неуверенно.

– Я, пожалуй, пойду, переоденусь в халат, – сказала она.

В медицинском халате она будет чувствовать себя гораздо лучше; она словно бы облачится в доспехи, и это поможет ей справиться с любой ситуацией. Не то чтобы она думала, что возникнет какая-то ситуация... Доктор Гаррисон вряд ли отправил бы ее в какой-нибудь сомнительный дом, но шутливый тон и отчаянный взгляд мистера Бена Драгонета заставили ее насторожиться. Ей захотелось немедленно оказаться в медицинском халате. Но...

– Только не сейчас! – повелительным тоном произнес Драгонет. – Я провел довольно много времени, глядя на сиделок в халатах, и должен вам сказать, что мне это уже несколько приелось. Прошу вас сесть; позвольте, я расскажу вам о своих симптомах, пока на вас еще ваша собственная, а не форменная одежда!

Она вдруг почувствовала радость от того, что надела сегодня свое лучшее платье, но профессиональная выучка выработала у нее упрямство, и она чопорно последовала за мисс Кейт, жестом поманившей ее в левый флигель.

– Я вернусь через пять минут. Поймите, я ведь целых два часа сюда ехала!

Когда она вернулась, он по-прежнему был там – стоял, облокотившись о балюстраду; как только он ее заметил, его поза тут же сменилась новой, выражавшей учтивую готовность.

– Как-то навязчиво получилось, но я вовсе этого не хотел! На самом деле мне просто не хотелось оставаться здесь в одиночестве.

Она присела на стоявший в холле диван.

– Все эти проклятые ночи! – продолжил он. – Дни-то ладно... А вот между первым и вторым сном... Весь день я занят тем, что с тревогой думаю о том, что будет твориться в эти часы у меня в голове!

– Мы с этим справимся, – уверенно сказала она. – Как думаете – может, мне лучше сначала побеседовать с вашим домашним врачом, выяснить, какой вам рекомендован режим?

– Это я вам и сам расскажу! Старина Блисс рекомендует мне мой собственный режим! А я надеялся, что вы захватите какой-нибудь режим с собой... В этой вашей черной сумке, случайно, не найдется для меня какого-нибудь хорошенького режима?

– Сначала мне нужно побеседовать с вашим домашним врачом. Так сказал доктор Гаррисон!

– Всему свое время. Вам рассказали, что со мной такое?

– Я в курсе, что у вас общий упадок сил, и что вы были ранены в голову, и вас беспокоит старая рана...

– И еще с десятков других вещей! Чувствую я себя, словно жертва кораблекрушения, а недавно, кажется, я вдобавок ко всему перестал держаться на плаву. Один мой знакомый даже имел наглость посоветовать мне лечение покоем, словно этого чертового покоя мне тут и без того не хватает! Да, кстати: вы лучше заберите у Джейн ключи от серванта с вином. Все тот же человек имел еще большую наглость предположить, что я слишком много пью, и мне бы хотелось вам доказать, что это отнюдь не соответствует действительности. Сегодня я, пожалуй, выпью стаканчик на ночь, потому что сегодня я решил себя немного побаловать. Но с завтрашнего дня я вообще не буду пить!

– Хорошо.

– А теперь давайте пойдем на большую веранду и посмотрим на дождь – во время моих еженощных прогулок это место стало одним из

моих самых любимых. За три последних месяца я о своем собственном доме узнал больше, чем за всю прежнюю жизнь!

Тут Бетти почувствовала, что настал момент, когда она должна перехватить инициативу:

– Мистер Драгонет, я считаю, что вам нужно сейчас же лечь в постель и отдохнуть. А я тем временем узнаю, какая у вас диета и какие лекарства вы принимаете. Чем больше вы устанете от разговоров и хождений по дому, тем больше сил вам понадобится, чтобы расслабиться и отдохнуть!

– Мисс Уивер, вы должны были приехать не раньше шести; сейчас у нас половина шестого. После шести я – ваш пациент, а до этого момента – прошу на веранду!

Она с неохотой пошла впереди него – кажется, будет тяжелее, чем ей казалось... Иногда, когда она задумывалась о своей работе, ей даже хотелось быть внешне менее привлекательной.

Они вышли на веранду, и он окинул ее быстрым взглядом – ее черты, казалось, были созданы для того, чтобы в полной мере использовать и свет, и тень, и не было такого ракурса, который мог бы скрыть от наблюдателя нежность очертаний ее скул, бровей, подбородка и шеи. Это было лицо, сотворенное скульптором, а не живописцем, а ощущение теплоты и жизни ему придавали яркие и сияющие умом голубые глаза.

– Вас ранили на войне? – спросила она, желая отвлечь его внимание от своей внешности.

– Ранили? Да меня там убили!

– Но вы все же выжили!

– О, да! Я потом занимался адвокатской практикой в Винчестере. А полгода назад все в моей жизни пошло наперекосяк – и это не имело никакого отношения к войне; у меня исчезли силы. Но мы ведь договорились? До шести часов вы у меня в гостях, так что расскажите-ка мне лучше о себе!

Она воспользовалась моментом и сказала, что помолвлена и вскоре выходит замуж.

– Всегда ужасно слышать о том, что такая красивая девушка, как вы, уже помолвлена! – заметил он. – Наводит на мысль о том, как несправедливо устроен этот мир!

Комплимент вышел чересчур личным; по ней было заметно, что она его не приняла.

– Так что вы – мой последний пациент! – завершила она.

– Возможно, вы для меня тоже – последняя надежда! – сказал он.

Ах, кажется, все зашло слишком далеко... Куда же подевалась ее профессиональная выучка? Разве можно было допустить, чтобы все пошло в этом направлении? Она резко встала:

– Ну, что ж, мистер Драгонет, уже почти шесть, и вам пора ложиться в постель!

– В постель? – Это слово явно вызвало у него отвращение; он, нехотя подчинившись, встал.

По дороге к лестнице он попытался отсрочить неизбежное:

– Но я ведь еще должен показать вам дом! У него есть своя, и весьма богатая, история. Видите, вон там, на окне, нацарапано имя? Надпись сделал алмазом на кольце «Кавалер» Пелхэм утром того самого дня, когда его убили! Смотрите, там даже год указан – 1864. Вы знаете, кто такой «Кавалер» Пелхэм? Он в двадцать три года командовал всей артиллерией кавалерийского корпуса Стюарта! Когда я был мальчишкой, он был моим героем.

Подниматься по лестнице ему было тяжело; добравшись до своей большой спальни, он устало сбросил халат и упал на широкую кровать. Бетти осмотрелась, чувствуя, что его меланхолия словно заполнила всю комнату, вплоть до едва видневшейся в полумраке лепнины на потолке. Она поставила ему градусник и пощупала пульс. На столике у кровати лежала булавка с белой головкой; она ее взяла.

– Как раз то, что нужно для капора! – весело сказала она. – Просто булавка, без затей. Уверена: у вас тут до меня уже была какая-то сиделка!

– Да, была сиделка из Винчестера, – сказал он, – но она испугалась и уехала.

– А я вот не испугалась! Но у меня очень жесткие требования. А теперь ложитесь и постарайтесь уснуть; приступим к работе.

Первую половину ночи она крепко проспала, поддавшись успокаивающему воздействию здешнего воздуха; он был гораздо мягче, чем густой и перенасыщенный ночной воздух Мэриленда. Проснувшись в холодном поту, она посмотрела на часы – было три часа утра; и тут же она осознала, что в доме воцарилось какое-то движение. Надев ночной халат, она открыла дверь; за ней была библиотека, а из нее можно было попасть в главный холл, откуда доносились голоса.

– А теперь будьте паинькой и идите спать! – говорила экономка Джейн.

– Я лучше погуляю, Джейн. Мне ведь нужна физическая активность!

– Напугаете новую сиделку, и она тоже уедет, как и предыдущая! Еще немного, и к вам уже просто никто не пойдет.

– Ну и что, у меня ведь есть вы!

– А вчера вы мне совсем не то говорили!

– Я говорил вам, что попросил доктора Гаррисона прислать мне кого-нибудь помоложе и покрасивей!

– И мне даже показалось, что она вас не избалует! Но вы не должны ее пугать! Я-то, конечно, знаю, что вы никого не хотите обидеть, но...

– Пойдите и позовите ее! – попросил он.

– Но, мистер Бен...

– Я сказал: пойдите и позовите ее!

Бетти уже торопливо переодевалась в свой белый халат. Когда она вышла из комнаты, до нее донеслось пронзительное «О, господи! Ну, хоть вас-то он послушает?»

– Добрый вечер, мисс Уивер! – сказал он. – Я спустился вниз, чтобы предложить вам утреннюю прогулку по окрестностям. Я заметил, что уже светлеет, что обмануло даже некоторых неискушенных птах, хотя рассвет еще и не настал. – Увидев ее безучастное лицо, он добавил: – Не бойтесь меня! Такие прогулки – традиция нашего старинного рода; бродить любили и отец, и дед. У вас над головой висит бригадир армии Конфедерации, вот это он

самый и есть. Дедушка обычно бродил, проклиная Лонгстрита за то, что тот не смог атаковать фланг при Геттисберге. Я раньше недоумевал, почему он бродит по ночам, ну а теперь мне все стало ясно. Сам я очень много и долго плакал из-за того, что в 1918 нам прислали подкрепления, которые не могли отличить миномет от ракетницы. Разве в это можно было поверить?

– Вы пили, мистер Драгонет! – решительно сказала Бетти.

– А я ведь предлагал вам забрать ключи!

– А я подумала, что для вас будет лучше, если они останутся у вас. Но теперь я их у вас заберу! И я настаиваю: ключи должны оставаться у меня, пока я нахожусь в этом доме!

Но она знала, что он, хотя и выпил, не был пьян. Он был не из тех, кто может напиться. От того, что с ним случилось, алкоголь не помогал.

– Старики и стариковские войны... – продолжал он свои размышления. – И затем ночные блуждания. – В его глазах появились слезы. – Что же такое я потерял? И есть ли на свете женщина, которая это знает?

– О чем вы сейчас? – спросила она.

– Я подумал, что, может быть, вы знаете. Когда кончается война, из мужчин, из бывших солдат, исчезает все – все, за исключением войны, и эта война продолжается в них вечно. Разве вы не видите, что весь этот дом пропитан войной? Бабушка устроила здесь госпиталь, и иногда женщины из Виргинии приходили, чтобы навестить своих мужей; ну а те, что шли издалека, с юга, обычно приходили слишком поздно, рассказывала она.

Он умолк, а затем вновь привлек ее внимание:

– А вон там, на картине над лестницей, близнецы; это мои братья, двое рыжих парней. Они похоронены на нашей земле, за домом, но, возможно, это и не близнецы, потому что у Монфокона была страшная неразбериха. И все же... Скорее всего, это близнецы...

– Вам нужно лечь спать! – перебила его она.

– Прислушайтесь! – негромко произнес он каким-то не своим голосом. – Я сейчас пойду, но вы сначала прислушайтесь!

В холле, погрузившемся в предрассветные сумерки, стояла наэлектризованная тишина. Но когда он опять произнес: «Прислушайтесь!» и поднял вверх палец, у нее вдруг зашевелились

волосы на затылке, а по спине пробежал холодок. На какую-то долю секунды высокая входная дверь на петлях медленно распахнулась, и холл внезапно заполнился юными лицами и голосами. Бен Драгонет вскочил на ноги, и среди юных голосов, на фоне этого множества голосов, ясно прозвучал его голос:

– Видите их? Вот они, мои родные и предки, для меча рожденные и от меча погибшие! Слышите вы их?

Но даже когда она издала безумный крик, пытаясь уцепиться за последние остатки реальности: «Вам нужно лечь спать! Я дам вам еще снотворного!», она продолжала видеть высокую, распахнутую настежь, дверь.

III

В семь утра, когда с кухни донеслись первые звуки, Бетти смогла расслабиться и, наконец, начать читать журнал, на который она безучастно смотрела вот уже три часа. Она хотела уехать отсюда первым же автобусом, но не уехала. Приняла душ, поднялась наверх и на цыпочках вошла в комнату Бена Драгонета. Он крепко спал; сильное снотворное подействовало. Морщинки, образовавшиеся вокруг глаз и уголков губ от тревоги и болезненной нервозности, разгладились; он выглядел моложе, а его растрепанные волосы были полускрыты подушкой. Вздохнув, она спустилась вниз, в свою комнату, облачилась в новенький медицинский халат и стала ждать приезда доктора Блисса.

Доктор был пожилой; казалось, он знал все поколения Драгонетов, и рассказал он ей именно то, что она и ожидала услышать. Это был рассказ о том, как сломался очень гордый и упрямый человек.

– В Винчестере Бен на очень хорошем счету, и вполне мог бы устроиться в крупную фирму в Балтиморе или в Нью-Йорке. Но начать надо с того, что от войны он так и не оправился. Оба его брата погибли

в одном и том же аэроплане – один был пилотом, второй – наблюдателем; потом и его самого ранили. А затем, когда он выздоровел...

Тут доктор замялся. По едва заметному движению губ Бетти догадалась, что доктор передумал откровенничать.

– И когда все началось? – спросила она.

– Под Рождество. Как-то раз он просто вышел из конторы, не сказав партнерам ни слова, и больше туда не вернулся. – Доктор пожал плечами. – Денег на жизнь у него достаточно, но все же нет в этом ничего хорошего – адвокатская практика отвлекала его от всех этих бесконечных размышлений. Если бы я не работал, думаю, я бы тоже не спал по ночам.

– Но не считая этого, в остальном он – абсолютно нормален?

– Как и любой из нас. Предыдущая сиделка переволновалась из-за всех этих ночных блужданий и ушла, но я знаю: Бен не станет вести себя грубо, даже если на него нападет грабитель!

Внезапно и не без вызова Бетти решила остаться – с вызовом, потому что ей стало интересно: что скажет находящийся в Нью-Йорке доктор Говард Карни, когда узнает, что у нее за пациент? Говард был аккуратным молодым человеком, всегда точно знавшим, чего он хочет, и он не хотел, чтобы она вообще продолжала работать сиделкой, словно опасаясь, что в самый последний момент она превратится в жертву профессии. Но не так просто провести два месяца, совсем ничего не делая... Бен Драгонет спал, и она слегка успокоила свою совесть, сев писать Говарду письмо.

Сон пошел Бену на пользу. Весь день он без возражений провел в постели, время от времени засыпая, послушно глотая лекарства, кушая по расписанию; говорил он совсем немного, весьма поверхностно и равнодушно. Один раз, совершенно случайно, ей удалось поймать его взгляд, и в этом взгляде, как и вчера ночью, она прочитала тоску и отчаяние; взгляд сказал без слов: «Быть может, есть на свете женщина, которая скажет мне...»

Всю следующую ночь он проспал под действием снотворного, хотя с двух до пяти Бетти так и не сомкнула глаз, с тревогой прислушиваясь, не раздастся ли в ночи его голос или шаги на ведущей вниз лестнице.

На следующий день она сказала:

– Оденьтесь, пожалуйста. Пойдемте посидим немного в саду.

– Боже мой! – тяжело вздохнул он, рассмеявшись. – В первый раз за последние месяцы я ощущаю небольшой прилив сил, и вы тут же заставляете меня покинуть постель!

– Днем вам следует немного утомляться, и тогда со временем вы сможете спать по ночам без снотворного.

– Ладно. Но ведь вы будете рядом, не правда ли?

– Конечно!

День он провел спокойно; вел он себя немного заторможенно и рассеянно. А для Бетти это был очень хороший день; прохладный сухой ветерок под виргинским солнцем колыхал деревья и шумел под карнизом веранды. Ей доводилось бывать в домах побольше этого, но никогда еще не бывала она в доме со столь богатым прошлым – на что ни посмотри, все здесь, казалось, было исполнено значения и имело свою историю. И у нее начало формироваться новое представление о самом хозяине, о Бене Драгонете. Она стала отмечать в нем мягкость, безразличие по отношению к собственной персоне, желание ей угодить и сделать так, чтобы она чувствовала себя здесь как дома; вспоминая истерику, случившуюся в первую ночь, она заботливо проверяла его пульс, чтобы не упустить даже малейшего признака упадка сил.

Следующие дни прошли столь же спокойно, и она поняла, что именно таковы от природы и его характер, и отношение к миру. Из того, что он никогда не упоминал о том, в каком состоянии находился к моменту приезда Бетти, она заключила, что он увидел для себя какой-то выход, а по одному его случайному замечанию ей стало ясно, что он подумывает о том, чтобы опять вернуться к работе.

Они понемногу сближались. Она рассказывала ему о себе и о Говарде, об их планах на жизнь, и, кажется, ему это было интересно.

Затем она перестала ему рассказывать, потому что заметила, что от ее разговоров ему становилось одиноко. Они перестали говорить на серьезные темы. У них появились свои, только им понятные шутки, и ей было хорошо от того, что иногда в его темных глазах сверкали искорки смеха.

К концу недели он уже чувствовал себя настолько хорошо, что его стал тяготить постельный режим; они стали больше гулять, а один из дней даже провели в маленьком плавательном бассейне.

– Но посудите сами – если вы так быстро поправляетесь, я вам больше не нужна!

– Нет, вы мне нужны!

На следующий день Бетти, надев подошедшие ей по размеру чужие галифе, поехала с ним на конную прогулку к холму.

С некоторым удивлением она подумала, что перестала воспринимать его как пациента – роль лидера теперь играл именно он. В тот день вместо того, чтобы подставлять ей руку для прощупывания пульса, он сам расправлял упряжь на ее лошади, и с этой переменой у нее появилось чувство, что она ведет себя вероломно по отношению к Говарду – или, лучше сказать, это было ощущение, что она должна была бы чувствовать себя предательницей. Говард был молод, свеж и исполнен надежд, как и она; а этот человек был усталым, измотанным и повидал в жизни тысячу вещей, о которых она и понятия не имела. И все же факт оставался фактом – для нее он больше не был просто пациентом. Оказавшись в тот момент без своего белого халата, как рыцарь без доспехов, она задумалась – разве имеет она право даже думать о том, чтобы указывать ему, что ему делать?

– ...в 1862, – говорил он, – дедушку ранили у Хановер-Кортхаус, и родным пришлось за ним ехать...

– Мы ведь, кажется, договаривались не говорить о войне?

– Но я сейчас рассказываю об этом холме! Итак, в полночь они отправились в путь, завязав лошадям копыта тряпками и получив приказ не произносить по дороге ни слова. Десятилетние дети всегда все понимают буквально. Когда плохо закрепленная подпруга на седле маминой лошади расстегнулась, мама съехала под лошадь вместе с седлом и десять минут так и провисела под лошадиным брюхом вверх ногами – боялась сказать хоть слово; к счастью, кто-то обернулся и заметил...

Бетти едва слушала, думая о том, что еще никогда не сидела на лошади, не считая одного раза на смирной фермерской лошадке в детстве, – и как же легко это оказалось, когда за дело взялся Бен Драгонет! По дороге домой она позволила себе сказать то, чего никогда не сказала бы, будь на ней сейчас ее белый халат.

– Какой вы хороший! – сказала она; у нее в ушах тут же зазвучал возмущенный голос Говарда, но она не стала его слушать. – Вы – лучший! Таких, как вы, я еще никогда не встречала!

Глядя прямо перед собой, он произнес:

– Это потому, что я в вас влюбился! – И дальше они поехали в молчании; затем он вновь нарушил тишину: – Простите меня за то, что я вам сейчас сказал! Я знаю, что вам и так тут со мной нелегко.

– Но я вовсе не обиделась, – уверенным тоном ответила она. – Вы сделали мне очень приятный комплимент!

– Это все бессонница, – продолжал он. – Из-за нее появляется привычка разговаривать вслух с самим собой, даже не замечая, есть ли кто-нибудь рядом...

«И что дальше? – подумала она. – Нет, это невозможно! Неужели я влюбилась в этого человека, в эту развалину? Разве я готова отказаться от всего, что у меня есть?»

И все же, глядя на него краешком глаза, ей пришлось напрячь все свои силы, чтобы устоять перед искушением немедленно оказаться к нему как можно ближе.

С запада шли грозовые тучи, и лошади перешли на рысь. Когда они выехали на прямую аллею к дому, всю моросил дождь и гремел гром.

Бетти заметила, что Бен Драгонет высоко поднял голову и стал куда-то всматриваться; затем прищипорил свою лошадь и выехал футов на двадцать вперед, остановился, развернулся, поскакал назад и подхватил ее лошадь за уздечку. За какие-то две минуты его лицо полностью изменилось – исчезли все признаки спокойствия последних пяти дней, снова показались морщинки.

– Послушайте! – Его голос звучал непривычно и испуганно. – Мне нужно будет кое с кем встретиться. Это очень важно! От этого может многое измениться; но вы должны оставаться здесь, что бы ни случилось!

Сразу две пары дрожащих рук на узде заставили лошадь Бетти гарцевать.

– Лучше вам идти одному, – сказала Бетти.

– Тогда спешьте, пожалуйста; позвольте, я сам отведу вашу лошадь домой. – Его глаза выражали настоящую мольбу. – Вы ведь меня не оставите?

С плохим предчувствием она покачала головой. Затем, под усилившимся дождем, перелезла с лошади на забор, а он поехал к дому, ведя за собой на уздечке ее лошадь. Через мгновение из-за

кустарника перед крыльцом показалось две головы – мужская, это был Бен Драгонет, и женская; головы скрылись с крыльца за прямоугольником входной двери. Задумчиво она пошла к дому пешком и вошла во флигель через отдельную дверь.

IV

В ее комнате находилась девочка лет девяти. Девочка была хорошо одета; она просто ходила и осматривалась, маленькая девочка с печальными глазами и красивым смуглым румянцем.

– Привет! – сказала Бетти. – В гости зашла?

– Да, – спокойно ответил ребенок. – Джейн сказала, что эта комната была моей, когда я была маленькая, и я, кажется, даже помню...

Бетти затаила дыхание.

– Ты здесь давно не была? – спросила она.

– Да нет, не то чтобы очень...

– А как же тебя зовут, милая?

– Амалия Юстас Бедфорд Драгонет! – машинально ответила девочка. – Это дом моего папы!

Бетти пошла в ванную и включила воду.

– А где ты живешь, когда уезжаешь отсюда? – спросила она, пытаясь выиграть время, чтобы собраться с мыслями.

– Мы живем в гостиницах; мы очень любим гостиницы, – неуверенно ответила Амалия, и добавила: – Когда мы жили здесь, у меня был пони!

– А с кем же ты живешь в гостиницах?

– С гувернанткой, а иногда с мамой.

– Понятно.

– С папой – никогда; у папы с мамой несходство характеров.

– Несходство чего?

– Несходство характеров! Именно так. Поэтому мы живем в гостиницах.

«Эй! – тут же мысленно одернула себя Бетти. – Я, кажется, начала страдать излишним любопытством. Надо как-то повежливей выпроводить отсюда ребенка».

А вслух сказала:

– Милая моя, мне сейчас нужно принять ванну; видишь, я вся промокла. Давай ты посидишь на веранде – посмотришь на сад, вспомнишь, как ты там играла?

Амалия ушла, и Бетти какое-то время молча стояла, так и не сняв галифе. Что все это значит? Почему она не задумывалась о том, что Бен Драгонет женат – или был когда-то женат? Она почувствовала себя обманутой и озлобленной – и вдруг в ужасе осознала, что ревнует!

Снова надев халат, расстроенная и сбитая с толку, Бетти пошла в библиотеку, сняла с полки пыльный том Полларда – «Войну штатов» – и села читать.

На улице вовсю шла гроза; время от времени невдалеке от земли сверкали молнии, и телефон возмущенно позвякивал – гораздо тише, чем обычно.

Слух Бетти в перерывах между ударами грома обострился – может, от того, что гром грохотал почти без перерыва, а может, потому, что ее стул случайно оказался именно в том самом месте, где благодаря причудливой акустике дома слышимость была лучше всего – и до нее стали доноситься голоса; говорили где-то недалеко.

Сначала послышался женский смех – негромкий, но настоящий; в нем слышалось ничем не сдерживаемое веселье. Затем донесся голос Драгонета, захлебывающийся в неразборчивых словах; в перерыве между двумя раскатами грома женщина очень ясно, звучно и разборчиво произнесла:

– ... с того самого дня, как мы с тобой взяли штурмом те неприступные ворота!

Она была южанкой; Бетти даже смогла определить, что акцент был виргинским. Но вовсе не поэтому она внезапно встала и переставила стул по другую сторону от стола; в этом голосе слышалась злость – голос звучал гортанно и свирепо, так, словно слова срывались с губ этой женщины убийственно и четко. Бетти вновь услышала голос Бена Драгонета; он говорил взволнованно, совсем как в ту, первую после ее

приезда, ночь. В итоге она совсем ушла из библиотеки и вернулась к себе в спальню.

Не успела она присесть, как в дверях показалась Джейн:

– Вам звонят из Вашингтона, мисс Уивер. Вы подойдете к телефону?

– Из Вашингтона? Ну да, конечно подойду!

– Не боитесь говорить по телефону во время грозы? Нет? Что ж... Телефон стоит в библиотеке!

Бетти вернулась в библиотеку и взяла трубку.

– Бетти! Это Говард! Я в Вашингтоне.

– Что?

– Это Говард, ты меня слышишь? Дорогая, скажи мне, что ты, черт возьми, забыла в этой Виргинии? Из того, что мне рассказал доктор Гаррисон, я понял, что ты взяла психиатрического больного?

– Нет-нет, это не так! А я думала, ты в Нью-Йорке...

– Я хотел сделать тебе сюрприз, и обнаружил, что ты уехала работать почти что на Южный полюс! Я хочу с тобой увидеться.

– Но почему ты меня не предупредил, Говард? Так жалко, что ты приехал, а меня нет! Я напоследок решила взять еще одного пациента. Я же думала, что ты...

– Алло! Алло... – Соединение разорвалось, затем восстановилось. – Я слегка тревожусь... – И вновь пауза. – ... ненадолго, пока ты в отъезде...

Телефон умолк; в трубке осталось только негромкое жужжание и попискивание. Бетти постучала по трубке, но это не помогло; разговор окончился. Ей почему-то стало досадно от того, что он внезапно оказался в Вашингтоне.

Но едва она вернулась к себе, как в комнату стремительно ворвалась Джейн – по всей видимости, она поджидала ее за дверью – и чуть не на коленях обратилась к ней с мольбами и проклятиями:

– Ах, господи, мисс Уивер! Это исчадие ада опять здесь! Ему нужно немедленно помочь! Что угодно, только избавьтесь от нее!

– Я вас не понимаю!

– Вы знаете, что такое ведьма? Знаете ли вы, что такое демон? Так вот, это все – она! И когда твердь земная раскроется и ад извергнет души проклятых – вот что сейчас перед вами! Разве вы не можете что-нибудь сделать? Вы же так много знаете, вы почти как доктор!

Слегка испуганная Бетти взяла себя в руки, встряхнула женщину за плечи и отошла от нее на шаг:

– А теперь рассказывайте все по порядку!

– Это его кузина, его бывшая жена! Она опять вернулась! Это она там с ним! И она опять сведет его с ума, как и всегда! Я слышала, как они вместе смеются – смеются ужасно, точно так, как смеялись в детстве, когда она впервые получила над ним власть! Вы только послушайте! Слышите? Они смеются так, словно ненавидят друг друга!

– Говорите, пожалуйста, яснее. – Бетти старалась не волноваться и выиграть время.

– Это ведь она во всем виновата, а не пули на войне! Я ведь все видела – я видела, как она приходила и уходила. Она была здесь полгода назад – и целых полгода он ночами напролет шагал по дому и вновь взялся за спиртное!

– Но ведь они развелись! Девочка сказала...

– И ни для нее, ни для него это ничего не значит! Он был во власти ее черного сердца с тех самых пор, когда он еще вот таким был, – она показала на свое плечо, – и вот она опять возвращается, чтобы снова воспользоваться его великодушием, как вампир, которому нужна чужая кровь, чтобы жить!

– А почему она так плохо на него влияет?

– Я это видела много раз, и это все, что я знаю! – твердила Джейн. – Она для него – яд, и я считаю, что человек может даже полюбить яд, если будет пить его слишком много!

– А я-то что могу сделать?

Отгремел очередной раскат грома, и раздался стук в дверь. Вошел старый негр и с присущей ему астматической хрипотцой произнес:

– Мисс Уивер, мэ! Мистер Бен попросил вам передать, что ему нужно обсудить за ужином кое-какие дела. Он просит вас поужинать с малюткой Амалией здесь, в библиотеке.

– Да, конечно!

Поняв, что ей не придется знакомиться с женой Бена, Бетти почувствовала, как спало ее внутреннее напряжение. Когда мгновение спустя появилась Амалия, Бетти вновь почувствовала себя собранной и сдержанной.

– Ну, как провела день? – спросила она, когда все сели за стол. – Нашла что-нибудь знакомое в саду?

И тут она заметила, что Амалия вот-вот расплачется.

– Дождь был слишком сильный, и ты никуда с веранды не ходила? – бодрым тоном спросила Бетти.

– Нет, ходила! – всхлипнула Аманда. – Я пошла в сад и немножко промокла, а затем зашла на другую веранду и там услышала, как мама сказала папе, что готова меня на что-то поменять!

– Глупости! – сказала Бетти. – Тебе просто послышалось!

– Нет, не послышалось! Я слышала, как она говорила то же самое своему новому другу, когда мы были в Нью-Йорке.

– Глупости! – повторила Бетти. – Она шутила, а ты что-то не так поняла.

По лицу Амалии было видно, как она страдает, и Бетти почувствовала, что к глазам подступают слезы гнева, и решила сосредоточиться на еде.

– Съешь хотя бы свеклу... Когда я была маленькая, мне тоже казалось, что люди вокруг говорят про меня всякие нехорошие вещи...

– Она меня ненавидит! – с надрывом перебила девочка. – Я это точно знаю! Ну и пусть меняет меня на что захочет! – Ее личико снова сморщилось. – Но папе я тоже не нужна!

– Амалия, прекрати! – Голос Бетти звучал резко; она скрывала свои чувства. – Если ты не перестанешь говорить глупости и не будешь есть овощи, я сама тебя поменяю! Знаешь на что? На глупую корову, которая приходит и мычит под моим окном всякий раз, когда забывает, где оставила своего теленка!

Амалия улыбнулась; слез стало меньше.

– Правда? А почему она его забывает?

– Спроси у нее. Наверное, она просто безответственная!

И вдруг, когда Бетти потянулась, чтобы забрать у Амалии тарелку, за окном сверкнула молния, и в доме погас свет.

– Что случилось? – раздался в темноте испуганный голос Амалии.

– Просто дурацкая гроза!

– Не думаю, что мне бы хотелось здесь жить!

– Неужели? А мне кажется, что тебе тут было бы очень хорошо! Подожди немного, сейчас принесут свечи. Тебе нравится, когда зажигают свечи?

– Мне не нравится, когда темно! – продолжала упрямитесь девочка.
– Но ведь это глупо! Тебе, наверное, какая-нибудь бабка сказала, что темнота страшная? Давай-ка руку, пойдем искать фонарик.

Амалия прильнула к Бетти, пока она искала фонарь. Гроза бушевала прямо над домом, но и среди шума Бетти слышала голос женщины – кажется, та вышла в холл, и голос стало лучше слышно.

– ... конечно, поеду! Я очень люблю такую погоду, ты ведь знаешь. Да, я уверена, что он легко найдет дорогу; я и сама тут каждый дюйм знаю, если что.

Затем, когда в холлплыли, подрагивая, огоньки двух свечей, раздался равнодушный и холодный голос Бена Драгонета:

– Но вы вполне могли бы остаться здесь на ночь.

– Здесь? – В голосе прозвенело презрение. – Остаться здесь меня может вынудить разве что ураган, а ведь ты совсем не ураган – правда, Бен?

Где-то на полминуты опять включился электрический свет, и через дверь спальни Бетти мельком увидела высокую, красивую женщину, стоявшую в холле лицом к Драгонету. Женщина продолжала говорить:

– ... так что, ты заберешь Амалию?

– О ней позаботятся, но твои дети никогда не будут жить в этом доме!

Бетти молниеносно захлопнула дверь спальни, с тревогой пытаясь определить, успела ли Амалия что-нибудь расслышать. К ее облегчению, девочка лишь тихо спросила:

– А что ответил папа? Я не расслышала...

– Милая, он сказал, что с радостью о тебе позаботится!

Через минуту захрустел под отъезжающей машиной мокрый гравий аллеи; тут же снова зажегся свет – гроза кончилась.

– Теперь тебе не страшно, правда? – спросила Бетти у Амалии.

– Нет, свет же горит.

– И больше не выключится! А теперь иди в библиотеку и ужинай. Видишь, Джейн принесла на всякий случай пару свечей. Наверное, она с тобой посидит.

– А вы куда? – неуверенно спросила Амалия.

– А мне нужно поговорить с твоим папой. Я скоро вернусь.

Бен был в большой гостиной – в другом, дальнем, флигеле; он устало растянулся на диване, но встал, как только вошла она.

– Прошу прощения за эту суматоху, – сказал он. – Думаю, что до вас наверняка что-то донеслось. Моя жена обладает яркой индивидуальностью, для которой иногда тесны стены обычного дома...

– Я хотела бы поговорить о вашей дочери.

Он с раздражением отмахнулся, услышав о дочери:

– Ах, Амалия... Она – совсем другая. Амалия всегда была робкой и слабой. Когда ей было шесть лет, я попробовал научить ее кататься верхом, но она подняла такой шум, что мне стало все равно... А вот ее мать не боится ничего, что движется!

В Бетти вскипело раздражение:

– Ваша дочь – очень впечатлительный ребенок!

Он устало пожал плечами, и Бетти продолжила, чувствуя еще большее раздражение:

– Я не знаю, какие отношения между вами и вашей женой, но лично у вас достаточно ума и доброты, чтобы понять, каково при всем этом вашему ребенку!

Она умолкла, потому что вошла Джейн, держа за руку Амалию:

– Мисс Уивер, вам опять звонят. – Она бросила встревоженный взгляд на Бена Драгонета: – Я привела Амалию, потому что она не хотела оставаться одна.

Бетти подошла к телефону. Звонил доктор Говард Карни.

– Я уже в Уорренбурге! – объявил он.

– Что?

– Милая, я же тебе сказал, что приеду!

– Была такая гроза, что я ничего не расслышала!

– А мне показалось, что ты ответила «приезжай»? Я думал, ты ненадолго отпросишься и мы сможем увидеться.

Она быстро все обдумала и сказала:

– Возьми такси; спроси, кто знает дорогу в имение Драгонетов, и приезжай. Я себя здесь так странно чувствую – «не в своей тарелке» – и не знаю, что мне делать! Возможно, если ты приедешь, я смогу во всем разобраться, – с сомнением в голосе добавила она.

Вернувшись в гостиную, она обнаружила, что Бен Драгонет, Амалия и Джейн сидят на расставленных по комнате стульях; казалось, они не шевелились, не улыбались и не произносили ни единого слова с того самого мига, как она ушла. Она почувствовала

себя такой беспомощной! Что можно сделать с прошлым, повисшим на них на всех неподъемным грузом?

Внезапно Бетти собралась с мыслями и попросила Джейн увести Амалию из гостиной. Когда они ушли, она сказала:

– Мистер Драгонет, я решила. Я уезжаю!

– Вы... что???

– Это выше моих сил. Последней каплей стало ваше отношение к Амалии.

Он нахмурился:

– А мне казалось, что вы начали относиться ко мне с симпатией...

– Да, так и было. Но этот случай вновь вернул нас туда, откуда мы начали! Я изо всех сил старалась себя уговорить, потому что мне вовсе не хочется бросать своего последнего пациента, но... Ничего не поделаешь; у меня ничего не вышло. Сейчас приедет мой жених и заберет меня.

– Ну, а мне-то что делать?

– Найдете себе другую сиделку, с нервами покрепче!

Ему ничего не оставалось, кроме как сказать:

– Очень жаль. Я сейчас выпишу вам чек. – Затем он негромко добавил: – Я был бы крайне вам признателен, если бы в качестве ответной любезности вы прямо сейчас передали мне ключ от серванта.

Бетти ушла к себе в комнату, переоделась и собрала вещи. Когда приехал Говард, она торопливо его обняла и пошла в гостиную, чтобы попрощаться с Беном Драгонетом; он тоже услышал звонок в дверь и вышел в холл.

Она представила вставших друг перед другом мужчин и оглядела их: Говард – молодой, уравновешенный и деятельный, олицетворение спокойствия и здоровья; Бен Драгонет – мрачный и беспокойный, олицетворявший собой боль, саморазрушение и войну. Ах, да что тут выбирать, какие могут быть сомнения?

– Прошу, не торопитесь; проходите, пожалуйста! – пригласил Драгонет; к ее удивлению, Говард не стал отказываться от приглашения.

Они принялись мирно и ровно беседовать; через несколько минут слуга-негр объявил, что ужин готов.

– Доктор, я прошу вас остаться на ужин; пожалуйста, не отказывайтесь! – настоял Драгонет. – Приличной еды в этих местах

вам не найти, разве что в Вашингтоне, а ваша невеста мне так помогла, что я не могу допустить, чтобы в дороге она умерла от голода!

Бетти почти смирилась, но тут вошла Амалия, сделала реверанс и встала, неуверенно переминаясь с ноги на ногу; взглянув на нее, Бетти вновь ожесточилась.

Бен, поймав ее взгляд, все понял – и тут же элегантно и окончательно капитулировал.

– Теперь здесь появилась и маленькая хозяйка, – сказал он, положив руку на плечо Амалии, – и я этому очень рад, потому что уверен, что она станет истинным украшением этого дома! Амалия, будь так любезна, предложи доктору Карни руку и води нас ужинать!

После ужина, оставшись наедине с Говардом, Бетти поведала ему слегка видоизмененную по цензурным соображениям историю своих приключений; выслушав, Говард стал настаивать, чтобы она осталась.

– ... потому что, милая моя, весь следующий месяц я буду сильно занят. Я ведь прямо сегодня должен ехать в Нью-Йорк! И, раз уж ты взялась за этот случай, подумай: бросать пациента – непрофессионально!

– Я сделаю так, как ты мне скажешь!

Он взял ее за локоть.

– Девочка моя, – сказал он, – я знаю, что могу тебе доверять. – «А зачем же ты тогда сюда примчался, а?» – Ты ведь дала мне обещание, и я знаю, что ты его сдержишь! Поэтому я уезжаю, и я уверен: ты думаешь лишь обо мне, как и я – о тебе! Я приложу все усилия, чтобы мы с тобой как можно скорее смогли быть вместе!

– Ах, да знаю я, знаю... Знаю, как много ты работаешь, и все это ради меня! И ты знаешь, что я тебя люблю!

– Я знаю, что любишь. Я в этом совершенно уверен – вот почему я считаю, что ты можешь здесь остаться и помочь этому пациенту выздороветь.

Она на некоторое время задумалась.

– Хорошо, Говард.

Он поцеловал ее на прощание – слишком долго длился этот поцелуй, подумала она. Когда вновь появился Бен Драгонет, доктор Карни пожал ему руку и сказал:

– Уверен, что мисс Уивер будет очень... очень...

Бетти так захотелось, чтобы он больше ничего не говорил, – и он больше ничего не сказал. Напоследок он мимоходом легко пожал ее руку и уехал, а она пошла и переделась в медицинский халат.

Она вернулась в гостиную. Ее пациент сидел, посадив к себе на колени Амалию.

– А у меня будет пони? – спрашивала девочка.

– Он у тебя уже есть, только это не пони – для пони ты уже слишком большая. Тебе нужна небольшая лошадка. У нас как раз есть одна подходящая. Я ее тебе завтра утром покажу.

Увидев Бетти, он тут же попытался вежливо встать, но так и замер, пока Амалия не соскользнула с его коленей на пол.

– Вас можно было бы поздравить, если бы девушек принято было поздравлять, – сказал он. – Прекрасный молодой человек этот ваш доктор!

– Да, – равнодушно сказала она, а затем, с усилием, добавила: – Он очень хороший врач. Говорят, его ждет блестящая карьера.

– Что ж, я, говоря откровенно, ему завидую; вы сделали правильный выбор.

Амалия спросила:

– Вы выйдете за него замуж?

– Ну... Да, милая моя!

– И уедете? – В ее голосе послышалось беспокойство.

– Конечно! – не задумываясь, ответила Бетти. – Но никак не раньше, чем через неделю.

– Очень жаль, – вежливо сказала Амалия, а затем выпалила: – Все как в гостинице: только кто-нибудь начинает нравиться, как он тут же уезжает!

– Верно, – тихо согласился Бен. – Как только тебе начинает кто-нибудь нравиться, он тут же уезжает!

– Я вас ненадолго оставлю, – торопливо произнесла Бетти. – Мне нужно написать письмо.

– О, нет, только не это! Мы хотим видеть вас как можно больше, пока у нас есть такая возможность, – правда, Амалия?

После грозы стало прохладно, и час они просидели в большой комнате.

– Вы выглядите так, словно вас что-то беспокоит, – вдруг сказал Бен. – Вы уже пять минут как на иголках...

– Но я не беспокоюсь! – воскликнула Бетти.

– Нет, беспокоитесь, – не отступал Бен. – Я так и знал, что эта ссора днем подействует вам на нервы...

– Но я вовсе не беспокоюсь! – И она пересела подальше от света лампы.

Но она все же беспокоилась, хотя о причине этого никто, в том числе и Бен Драгонет, пока еще даже не догадывался. Беспокойство было вызвано мыслями о том, как бы помягче сообщить Говарду о том, что она решила навсегда остаться рядом со своим последним пациентом.

Опасная зона

I

Биллу не хватало привычных чувств, которые он испытывал, выходя из ее дома. Обычно закрывалась дверь, исчезал свет в прихожей, и он оставался на темной улице один, и в сердце у него появлялась щемящая тоска. От прилива чувств обычно кружило голову, и он бежал полквартила или, наоборот, шел очень медленно,

хмурый и довольный. На обратном пути он не узнавал домов, мимо которых шел; он видел их лишь на пути к ней, да и то мельком, пока в поле зрения не появлялся ее дом.

Сегодня вечером они говорили о Калифорнии; с напряжением разговаривали о Калифорнии. Такие знакомые, но вдруг ставшие зловещими названия: Санта-Барбара, Кармель, Коронадо, Голливуд... Она хочет попробовать себя в кино – вот как! А у него тем временем подходит к концу второй год ординатуры, и это значит, что он должен остаться здесь, в этом городе.

– Мы ведь с мамой и так собирались на побережье, – сказала Эми.

– Калифорния так далеко...

Он вернулся в больницу; в длинном коридоре под тусклым светом желтых ламп ему встретился Джордж Шульц.

– Что подделываешь? – спросил он у него.

– Ничего. Ищу чей-то потерянный стетоскоп – вот как я занят!

– А как дела в Роланд-Парке?

– Билл, все устроилось!

– Что? – Билл весело хлопнул Джорджа по плечу. – Ну, я тебя поздравляю! Позволь, я буду первым...

– Первой была она!

– ... ладно, вторым, кто тебя поздравит!

– Никому только пока не говори, ладно?

– Ладно. – Он присвистнул. – На твоём дипломе ещё толком не высохли чернила, а какая-то девушка уже умудрилась приписать к слову «врач» ещё и «кормилец»!

– А сам-то как? – парировал Джордж. – Как там твоя поживает?

– Возникли осложнения, – хмуро ответил Билл. – Климат тут, знаешь ли...

Его сердце дрогнуло, едва он произнес эти слова. Шагая в травматологическое отделение, он почувствовал, как одиноко ему будет все лето. В прошлом году он влюбился с первого взгляда. Но фея-анестезиолог Тея Синглтон уехала работать в Нью-Йорк, в новый медицинский центр; ушла и юная леди из патологоанатомического отделения, умевшая препарировать человеческие уши тоньше, чем мясо на телячьем сэндвиче, ушла и ещё одна прекрасная садистка из отдела нейрохирургии, коротавшая время, вторгаясь в работу человеческого мозга при помощи блокнота и карандаша. Всем им было

хорошо известно, что сердце Билла, уж если говорить начистоту, не принадлежало никому и находится в безопасной зоне. Но пару недель назад появилась девушка, путавшая Цельсия с Фаренгейтом и выглядевшая, словно роза в шампанском; она обещала, что в июне следующего года он сможет получить на нее эксклюзивные личные права в обмен на аналогичное обещание с его стороны.

В травматологии царил скука. В выходные там обычно «праздник урожая»: водители-лихачи привозят своих жертв, мэрилендские темные личности удивляют новыми бритвенными порезами после субботней попойки. Но сегодня вечером и покрытый кафелем пол, и стены, и столы на колесиках, заваленные лубками и бинтами, – все оказалось в распоряжении одного-единственного пациента, которому только что разрешили встать с диагностического стола.

– Замечательно! – сказал он слегка пьяным голосом. – Я вам пришлю бочонок устриц, ребята! – Работал он парикмахером; на нем было поношенное пальто, он нетвердо стоял на ногах. – Мой папа держит оптовую торговлю рыбой во всем Карсонтауне!

– Будем вам очень благодарны! – ответил ординатор.

Пациент бросил гордый взгляд на свою забинтованную руку.

– И никаких проблем! – хвастливо заявил он. – Я же мужик!

– Это точно. Но зачем бить стекла руками?

С улицы позвали его приятеля, и раненый парикмахер, пошатываясь, с самодовольным видом удалился. Не успела закрыться дверь, как вошел грузный мужчина лет пятидесяти и что-то неразборчиво выпалил дежурному врачу, доктору Муру; Билл тем временем подошел к мисс Уэльс, которая вот уже десять лет являлась главной жрицей этого поля брани.

– Ну как, было сегодня что-нибудь захватывающее? – спросил он.

– Да все как обычно, – ответила она. – Опять явилась Минни-бродяжка с головой под мышкой, просила пришить ее на место. Сегодня утром отрезали. И почему, пока не стемнеет, до негров не доходит, что они больны?

– Это ужас ночи! Как говорится: «a negotio perambulante in tenebris»!

– Что бы это ни значило! – согласилась мисс Уэльс. – А вон еще один цветной чудик с температурой 103,2 явился «к фельдшеру»!

– Я его посмотрю...

Доктор Мур тем временем попятился от своего напористого визави и обернулся к Биллу:

– Ну, вот тебе и загадка. Этот человек...

– Вы не понимаете! – воскликнул грузный мужчина. – Никто не должен знать! Она взяла с меня слово!

– Кто?

– Дама, которая сидит в машине на улице! У нее вся спина в крови. Я живу в двух кварталах отсюда, вот я ее к вам и привез.

Все врачи одновременно направились к двери, а за ними пошел и мужчина, приговаривая: «Ни в коем случае не поднимайте шума! Мы к вам приехали лишь потому, что не получилось вызвать врача на дом».

На темной и пустынной улице в маленьком седане виднелась неподвижная, закутанная фигура, издавшая негромкий стон, когда доктор Мур открыл дверцу машины. Миг спустя доктор Мур нащупал пропитанное кровью платье.

– Носилки сюда, быстро!

Мужчина средних лет шел за Биллом до самой двери.

– Только не поднимайте шума! – вновь и вновь повторял он.

– Вы что, хотите, чтобы она умерла от потери крови? – резко ответил Билл.

Через несколько минут пациентку ввели на каталке в ярко освещенное отделение травматологии. С прохода в бокс, где находился операционный стол, сдвинули шторку, и двое врачей принялись распутывать клубок из кухонных полотенец, простынь и скатертей, в который она была закутана. Лицо молодой девушки было того же пепельного оттенка, что и ее волосы. Дыхание было судорожным, на шее было жемчужное кольцо, а спина была рассечена от талии до плеч.

– Потеряла много крови, – сказал Мур, глядя на тонометр. – Давление очень низкое, восемьдесят на пятьдесят! Надо срочно зашивать рану. Зовите мисс Уэльс!

Мисс Уэльс стояла лицом к лицу с отцом – так он представился – и раздраженно, с блокнотом в руках, ему объясняла:

– Вы обязаны назвать фамилию! Мы не сможем оказать помощь вашей дочери, если вы не скажете фамилию!

– Доктор Мур готовится накладывать швы, – сказал Билл и добавил, обращаясь к отцу: – Вам придется выйти и подождать. У вашей дочери опасная рана. Как это произошло?

– Несчастный случай!

– Чем нанесена рана – ножом?

Вопрос был задан очень жестким тоном, и мужчина в ответ кивнул.

– Это не вы сделали?

– Нет! Но ничего больше я вам рассказать не могу; скажу лишь одно – это был несчастный случай!

Конец фразы он произнес, глядя в спину уходящему Биллу; пробежавшие медсестры и санитары все время на него наталкивались, и ему тоже пришлось выйти за дверь.

Вернувшись в бокс, Билл прошептал:

– Как пульс?

– Очень слабый, еле слышен...

Билл взял губку и стал промывать рану, смывая кровь с красивой спины девушки.

– По всей видимости, останется чудесный шрам...

Он сказал это тихо, но пациентка услышала и пробормотала:

– Только не шрам...

Билл кивком указал Муру на жемчуг и прошептал:

– А девушка не из бедных; возможно, что спиной своей она дорожит! Надо бы вызвать хорошего хирурга...

– Она всю кровь потеряет, пока мы его дождемся!

– Ну, тогда надо позвать кого-то из наших ординаторов!

– Ох уж эти юные эскулапы! – с отвращением произнес Мур.

– Ладно! – сказал Билл. – Но я все же пойду, спрошу согласия у отца, чтобы хоть как-то тебя защитить!

– Он же не Джон Д. Рокфеллер! Иначе как бы он попал к нам в травматологию? – Мур продезинфицировал руки. – И с чего ты взял, что это настоящий жемчуг – может, это бижутерия из универмага?

– Я вижу, что эта женщина хорошо одета – по крайней мере, с полчаса назад еще была одета.

Билл снова вышел в холл.

– Назовите имя и фамилию этой женщины! – потребовал он от отца. – Если не скажете, я узнаю их в полиции по номеру автомобиля!

– Лобру! – неразборчиво выдохнул мужчина.

– Как?

На этот раз Билл разобрал и имя, и фамилию – Лоретта Брук, – но они ему ничего не сказали, пока мужчина не прибавил: «актриса».

Тогда Билл припомнил, что когда-то слышал это имя.

– Наша настоящая фамилия Бах – по-немецки это то же самое, что по-английски Брук. Лоретта заехала сюда по пути в Голливуд повидаться со мной... – Он сглотнул, проглотив остаток фразы. – Больше ничего не могу рассказать! Их же вышвыривают из кино, едва замаячит хоть намек на скандал! Первое, что она мне сказала: «Папа, все должно остаться в тайне!» Но кровь у нее не останавливалась, а наш семейный врач куда-то уехал.

Внезапно в отделении травматологии сталолюдно: появился мальчишка с вывихнутой коленкой, какой-то негр с Ямайки с пробитым черепом, отказывавшийся от помощи в ворчливой манере родного острова. Как обычно, в помещение набилось множество студентов-практикантов, путавшихся под ногами. Протолкнувшись в бокс, Билл закрыл за собой шторку; Мур приступил к наложению швов.

– Артериальное давление упало, уже шестьдесят на тридцать пять, – пробормотал он. – Придется делать переливание. Иди, ищи донора!

Билл ушел к телефону. Через несколько минут вышел Мур и с беспокойством сказал:

– Больше ждать нельзя! Пульс уже еле слышен. – Он повысил голос. – Здесь кто-нибудь готов сдать кровь? Нужна четвертая группа!

Студенты-практиканты встревоженно засуетились.

– У меня самого третья группа, – продолжал Мур. – У Буна и Якоби тоже третья, я знаю!

Билл колебался; у него была четвертая группа, ее можно переливать любому человеку, это безопасно, но он еще никогда не был донором – у него, в отличие от некоторых студентов, не было необходимости таким образом подрабатывать.

– Ладно, – сказал он, – берите меня!

– Отлично; сейчас проверим обоих – и начнем!

Готовясь к несложной операции, Билл почувствовал грубоватое веселье. Ему пришло в голову, что часть него теперь будет сниматься в кино. Теперь, когда на щеках Лоретты Брук выступит румянец, это будет, в каком-то смысле, и его румянец! А когда она воскликнет: «Моя кровь вскипает от злости!» – разве это не его кровь будет вскипать, на радость публике? А когда она заявит в интервью, что во всей Америке,

разумеется, не найти актрисы столь «голубых кровей», то разве не прозвучит это как понятный лишь ему комплимент династии почтенных докторов Уильямов Талливеров, в череде которых он был уже четвертым?

Он вдруг вспомнил, что четвертая группа была и у ординатора Джорджа Шульца, и подумал, что было бы забавно назвать его вместо себя, чтобы посмотреть, какой эффект окажет мирное содержимое вен Джорджа на артистический темперамент?

Когда переливание закончилось, он выпил, чтобы восстановить силы, и встал, чувствуя себя на удивление хорошо. К этому моменту доктор Мур закончил накладывать швы, и Билл, испытывая нечто большее, чем обычное любопытство, остался понаблюдать за ходом дальнейших процедур. Настроение у него было приподнятое – ведь еще до того, как закончилось переливание, артериальное давление мисс Лоретты Брук поднялось, а пульс стал более уверенным. С этими новостями он и вышел к мужчине, ждавшему в холле. Тот все еще переживал, удастся ли замять скандал.

– Ей придется остаться здесь, – сказал Билл. – Руководство больницы обязательно должно знать, кто она, но от газетчиков мы ее спрячем. Мы разместим ее в отдельной палате, хорошо? И у нее будет индивидуальная медсестра, ладно?

– Все, что ей только понадобится!

Санитар втокнул в лифт драгоценную персону мисс Лоретты Брук, закрепленную вниз лицом на каталке, и она исчезла в безмолвной анонимности коридоров верхних этажей; мистера Баха убедили отправиться домой, поспать. К полуночи уснула и вся огромная больница. В главном холле, под мраморной статуей Христа, боролся с предрассветным сном ночной дежурный, по тихим коридорам между холлами бесшумно ходили ночные медсестры. Лишь кое-где в палатах не спали, страдая молча или шумно, умирая или возвращаясь к жизни. В отделении травматологии и в два, и в три, и в четыре утра по-прежнему горел яркий свет, и снова и снова по мановению накрахмаленного рукава халата мисс Уэльс повторялись обычные процедуры, потому что в дверях не иссякал поток людей – кто с ушибом, кто с переломом, кто пьяный, кто испуганный.

А Биллу приснилось, что он в Голливуде; он дефилировал в купальном костюме перед трибуной, на которой было множество

судей, а через плечо у него висела лента, на которой большими красными буквами было написано: «Мистер Балтимор».

II

Доктор Талливер вошел в палату в тот самый момент, когда сдвинутая ветром штора впустила внутрь солнечный свет. Лучи солнца упали на мисс Брук, подсветив ее все еще несколько бледное лицо и окрасив щеки легким румянцем. Глаза были полуприкрыты, но стоило ему войти, как они открылись – и открылись так, что он едва мог поверить, что на свете бывают такие глаза, и одновременно между губ мелькнул кончик языка, и губы приобрели более яркий оттенок.

Она осмотрела его, начав с красивого, серьезного лица и скользнув взглядом ниже, на белый халат, на котором новый день еще не успел оставить ни единой морщинки.

– Да неужели! Доктор Талливер, собственной персоной! – ровным тоном произнесла она. – И где же вы пребывали три последних дня?

– Как вы себя чувствуете?

– Хорошо. А когда мне можно будет лечь на спину?

– Вы ведь и так уже почти на ней лежите. И теперь на вас можно смотреть; кажется, вы вновь обрели третье измерение.

– Меня очень беспокоит шрам, – сказала она.

– Не нужно о нем беспокоиться, – уверил ее Билл. – Начнем с того, что вряд ли можно было бы выбрать место лучше, если бы все надо было сделать так, чтобы на вас и следа не осталось.

– А его будет видно в платье с открытой спиной?

– Вряд ли. Мур очень постарался, а пластический хирург превзошел себя! Знаете, даже от пункции легкого шрамы иногда более заметны...

Она вздохнула:

– Вот уж не думала, что когда-нибудь попаду в эту больницу, хотя и родилась в двух кварталах отсюда и раньше часто каталась на роликах тут неподалеку.

– А я вот – наоборот... Всегда знал, что обязательно здесь окажусь! Здесь работал мой отец.

– А что, ординатор должен оставаться в больнице всю жизнь, до самой старости, как монах в монастыре?

– Только пока не решат, что нам можно практиковать самостоятельно, вне больницы!

– Вы тут, наверное, флиртуете с медсестрами? Я снималась в одной картине, и там все доктора только этим и занимались!

– Да, целыми днями! – уверил он ее. – К каждому ординатору специально прикрепляют медсестер.

– И выглядите вы именно так, доктор Талливер!

– Что?

– Словно вы в этом деле преуспели!

– Благодарю вас. – Билл был польщен. – Что ж, обязательно отращу себе бородку, как у докторов в кино, и примусь за дело!

– У меня спина чешется. Ее можно чесать?

– Чтобы расчесать шов? Нет! Попросим, чтобы вам делали перевязки почаще.

Она беспокойно заворочалась:

– Что же такое творится-то, а? И как только этот полоумный узнал, где живет мой отец?

Билл занялся какой-то ручкой на аппарате для измерения давления, но слушал ее при этом внимательно. За три проведенные здесь недели она впервые упомянула о причине несчастного случая.

– Знаете, что ему было нужно? – неожиданно спросила мисс Брук.

– Кому?

– Ладно, вам расскажу. Вы нравитесь мне здесь больше всех, а мне сейчас захотелось с кем-нибудь поговорить. Это был мой старый партнер по танцам – два года назад мы с ним выступали в одном отеле в Нью-Йорке. И он хотел, чтобы я вышла за него замуж, взяла его с собой в Голливуд и нашла ему работу!

– Так он, значит, пытался с вас что-то поиметь?

– Я ему обещала, что встречу с ним в Нью-Йорке, когда буду на востоке страны. И вот я поехала навестить папу, а он поехал за мной!

Это было ужасно, даже вспоминать страшно! Он стал мне угрожать, а я схватила вилку и крикнула: «Не подходи!», а он схватил разделочный нож! – Она вздрогнула. – Он меня порезал и ушел, а на крыльце встретил папу и даже не потрудился ему сказать, что случилось! В голове не укладывается! Я сама только минут через пять поняла, что произошло!

– И с тех пор о нем ни слуху ни духу?

– Он прислал из Нью-Йорка безумное письмо – прости меня, и все такое. Прости меня, ну надо же! В голове не укладывается! Никто ничего обо всем этом не знает, и вы не должны никому говорить!

– Не скажу.

Конечно, именно доктора охраняли ее от нее же самой, от нежелательного внимания к ее персоне; именно они сменили любившую посплетничать медсестру и придумывали отговорки для жаждавших ее посетить парикмахеров и маникюрш. Но сами доктора ходили к ней регулярно; рядом с ней обычно находилось сразу несколько ординаторов, медсестер и даже седовласых медицинских «светил», поддавшихся очарованию ее призвания, возносимого людьми на пьедестал несравненно более высокий, чем их собственный.

– Я ведь уже второй раз в жизни все заново начинаю, – сказала она Биллу. – Десять лет назад я уже была кем-то вроде Ширли Темпл, вот почему вам всем знакомо мое имя. А теперь из меня хотят сделать настоящую актрису, и главный вопрос – получится ли?

– Уже получилось. Мы – я имею виду, я и моя подруга – сходили в кино, там крутят одну из ваших картин, и нам очень понравилось!

– Подруга? Вы хотите сказать, ваша девушка? То есть у вас есть девушка?

Он кивнул.

– Ох...

– И она очень хочет с вами познакомиться! Летом она едет в Калифорнию и хотела бы поговорить с вами о Голливуде.

– Она будет сниматься в кино?

– Надеюсь, что нет. Просто она любит об этом поговорить, как и все американские девушки, – как здорово быть актрисой!

– А мне кажется, что это не так уж и здорово! – сказала Лоретта.

– Вы ведь всю жизнь снимались, – он замялся. – Расскажите ей, почему вам не кажется, что это здорово? Мне очень не нравится, что она уезжает со всякими глупостями в голове!

– Я с радостью с ней поговорю.

– Честно говоря, она прямо сейчас здесь, внизу, на первом этаже. И думает лишь о том, как бы ей сюда хоть на минуточку попасть!

– Так зовите ее!

– Вы очень добры! Она меня просто умоляла...

– Разве я могу отказать в такой мелочи тому, кто спас мне жизнь?

– Ну, что вы... – Он рассмеялся. – Ничего ведь особенного...

– Ну, как вам сказать... Я иногда даже думаю, что мы теперь братья по крови, ну, как индейцы... И раз уж я теперь знаю, что вы помолвлены, я могу вам в этом признаться! Вы, наверное, скажете, что я говорю глупости...

Торопливо согласившись, что это именно так, Билл отправился за Эми.

Он представил их друг другу, и они обменялись оценивающими взглядами, а его поразило, что из них двоих ярче смотрелась Эми. Требовалось некоторое время, чтобы заметить, как непрестанно меняется лицо Лоретты Брук. Там всегда что-то происходило – разыгрывалась какая-нибудь история, серьезная или забавная, но, прежде чем она приковывала ваше внимание, нужно было ухватить ее суть. А потом за ее лицом можно было наблюдать практически бесконечно – страшась что-либо упустить, едва ненароком отведешь взгляд. Эми же, напротив, возникала перед тобой сразу, загадочная и живописная, и сразу заставляла замирать твое сердце.

Они принялись беседовать о кино.

– Я не понимаю, как кино может не нравиться, – сказала Эми.

– Тут не то что бы «нравится – не нравится»; для меня это просто работа. В детстве кино было игрой, которую я не совсем понимала. Когда мне исполнилось пятнадцать, я беспокоилась, буду ли я красивой. А теперь это превратилось в борьбу – все время необходимо или куда-то вписываться, или не выпадать из обоймы, и тут от тебя мало что зависит.

– Но ведь это такая чудесная игра! – сказала Эми. – И если удастся выиграть...

– Есть игры, где цена не столь высока!

– Например?

Билл весело сказал:

– Любовь и семейная жизнь, дорогая!

– Ты издеваешься? – сказала Эми. – В любви нет ничего такого особенно выдающегося. – Она рассмеялась и повернулась к Лоретте: – Конечно, если это не прекрасная любовь в прекрасной киноленте!

– Но ведь каждому необходимо на что-то опираться! – сказал Билл.

– А еще все люди умирают – только зачем об этом говорить?

Время продолжения разговора Лоретта взяла на себя:

– Это – ненастоящая жизнь. Все время после ранения меня беспокоило лишь одно: какое впечатление я произвожу на врачей?

– И все это время, – сказал Билл, – врачи беспокоились, какое впечатление они производят на вас? Я даже и не знаю, что мы тут будем делать, когда вы выпишетесь.

По дороге домой Эми сказала:

– Она чудесная, но она даже не представляет, как ей повезло родиться на съемочной площадке. – Немного помолчав, она внезапно добавила: – Билл, я все-таки решила поучаствовать в конкурсе. Ты, конечно, скажешь, что это глупость...

Он громко вздохнул.

– ... но это и в самом деле важное событие! Там будут девушки из всех восточных штатов. На отборочный тур я не пошла, потому что ты был против, но Уиллард Хаббел сказал, что все равно сможет включить меня в конкурс. И он действительно сможет, потому что он отвечает за прессу.

– Из всех...

– Подожди, я еще не все тебе рассказала! Дело даже не в том, что можно будет сняться в кино, а в том, что это – возможность бесплатно съездить в Калифорнию! Билл, ну не будь таким букой!

Некоторое время они ехали молча.

– Я очень рада, что познакомилась с Лореттой Брук. Будет о чем рассказать тому, второму, парню.

– Какому еще парню?

– Который приехал из Голливуда, чтобы провести конкурс. Уиллард Хаббел приведет его сегодня в гости, со мной познакомиться.

– Да? С чего это?

– Билл, ты же говорил, что тебе сегодня надо пораньше в больницу?

– Ладно, милая, – сухо произнес он, – ладно. Развлекайся, но только не жди, что я при этом буду плясать от радости.

Они остановились перед ее домом, и когда он притянул поближе к себе ее красивую голову, ему на мгновение стало все равно, что она делает или же не делает – до тех самых пор, пока ее сердце принадлежит ему.

Жизнь в больнице – словно затяжная война на многих фронтах: решительные атаки перемежаются периодами глухой обороны, необъяснимых затиший, вылазками или боевыми тревогами. На той неделе прозвучала боевая тревога: появился смертельно опасный токсин инфлюэнцы. Болезнь накрыла больницу внезапно, словно снежная лавина; слегли многие из медперсонала, а все корпуса, даже платные, оказались переполнены. У дежурившего сначала в две, а потом и в три смены Билла почти не оставалось времени на Эми, и еще меньше времени на Лоретту Брук, задержавшуюся на постельном режиме из-за легкой перемежающейся лихорадки.

Тем не менее говорить о ней ему приходилось часто – нужно было разговаривать с ее агентом и продюсером, названивавшим в больницу по межгороду из Калифорнии. Он специально разговаривал с ними высокомерным тоном пожилого профессора, но в вопросах продюсера все равно чувствовалось подозрение.

– Скажите, пожалуйста, когда нам ожидать мисс Брук?

– Точно я вам сказать не могу!

– Если бы вы рассказали, что именно произошло, мы сами бы прикинули, сколько еще времени ей понадобится!

– Я уже говорил вам, что произошел несчастный случай – так, пустяк, наподобие перелома руки, ничего серьезного. Подробности диагноза мы сообщаем лишь членам семьи. Мисс Брук будет выписана и сможет отправиться на Западное побережье примерно через неделю, как только удастся сбить температуру!

– По мне, так вы что-то недоговариваете! – проворчал голос, преодолевший три тысячи миль по телефонным проводам. – У нее ведь не сломан нос? И ничего такого?

– Да, ничего такого!

Когда в завершение разговора человек намекнул, что больница, по всей видимости, так долго держит мисс Брук, чтобы счет получился побольше, Билл повесил трубку.

Спустя пять минут последовал постскриптум – позвонила секретарша с вкрадчивым голосом, чтобы принести извинения и сообщить, что мистер Мински отбыл на обед.

– Вы хотели сказать, на ужин? – раздраженно переспросил Билл.

– У нас сейчас час дня, – объяснила секретарша.

Билл выкроил время, чтобы зайти к Лоретте Брук и рассказать о состоявшемся разговоре.

– Да они мне отпуск должны! – сказала она. – Ну, неважно; здешняя атмосфера мне нравится, а теперь я еще и сидеть могу. Здесь все так хорошо ко мне относятся...

– Но мы вас отсюда выставим, как только у вас спадет температура!

– Пожалуйста, присаживайтесь! Побудьте со мной хоть минутку. Последнее время у меня такое впечатление, что вы мной пренебрегаете...

Он присел на краешек кровати.

– Половина наших врачей слегла с простудой, – сказал он. – У меня вот впервые выдалась свободная минутка...

Поужинать сегодня он не успел, но, увидев, как внезапно просияло ее лицо, он почувствовал жалость – подумать только, ведь вся эта молодость и очарование оказались прикованы к постели из-за какого-то идиота с разделочным ножом!

Она расправила кружева на пижаме.

– А почему бы вам не поехать в Голливуд? – спросила она. – Я могла бы устроить вам кинопробу. Сколько вам здесь платят?

Он рассмеялся:

– Нисколько.

– Что? – Она села в постели. – Совсем ничего?

– Нам дают жилье и еще кормят.

– А разве ординаторам в больницах не платят?

– Нет. Платят только медсестрам. А оплата за пациентов начинается только после первых трех лет работы.

– В жизни ничего подобного не слышала! – Промелькнувшая у Лоретты идея стала постепенно обретать определенные очертания. – Так почему бы вам не поехать в Голливуд? Честно – в вас же гораздо больше «Этого», чем в Кларке Гэйбле!

Он сконфуженно моргнул.

– Но зато потом врачи неплохо зарабатывают! – весело ответил он.

Она задумалась.

– Я вот пытаюсь припомнить... Нет; никогда не слышала, чтобы кто-нибудь выходил замуж за врача!

– Я тоже никогда такого не слышал. Не знаю ни одного женатого врача!

– Но ведь вы женитесь...

– Я – исключение. Мне повезло; у меня есть немного своих денег.

– А я вот, видимо, выйду замуж за кого-нибудь из кино, – сказала она. – За кого-нибудь со стабильным будущим – за оператора какого-нибудь...

Однообразный ритм больничной жизни, струящаяся по коридорам тишина, принципиальное несходство их судеб всегда придавали их словам более глубокий, чем обычно, смысл. Когда он пошевелился, собираясь встать, что-то вдруг изменилось, да так быстро, что его сознание не уловило никакой перемены; она внезапно наклонилась вперед, оказавшись у него в объятиях, и он ее поцеловал.

Он не думал, что делает; он так устал, что ее близость не вызвала у него никакого волнения; он так устал, что не подумал о том, что такая ситуация может поставить крест на его дальнейшей карьере. Его мускулы автоматически удерживали ее какое-то мгновение, а затем он мягко опустил ее обратно на подушки.

Она негромко всхлипнула:

– Ах, да что толку? Тебе ведь все равно! Ты спас мне жизнь, но ты...

Впереди его ждало очередное ночное дежурство.

– Ты очень мне нравишься, – сказал он, – но мы с тобой все же находимся в больнице!

Были и другие причины, но в то мгновение он не мог их толком сформулировать. Он знал о том, что здоровые всегда привлекают

больных, это случалось и раньше, и иногда все заканчивалось и смешно, и неприятно... Но следующие несколько дней, перемещаясь, словно призрак, по лабиринту больничных коек, он вспоминал этот случай с улыбкой.

Он не спал вот уже сорок девять часов подряд, и заступавшие на дежурство медсестры стали испытывать нечто вроде панического трепета, видя, как он устал; они стали обращаться с ним осторожно, как с ребенком, терпеливо выжидая, пока он, с трудом переключаясь с одного пациента на другого, даст им указания. Он даже слегка загордился тем, как много у него оказалось сил. При очередном обходе он улучил минутку, чтобы спросить у дежурной медсестры о Лоретте.

– Температура так и не спала? Я не понимаю... От раны такого быть не должно!

Он осматривал гораздо более тяжелых пациентов, но больше всех беспокоила его она. Что же с ней такое? Надо разобраться.

– Я поставила ей градусник, доктор Талливер. Сейчас пойду посмотрю, как дела.

– Не нужно, я сам зайду.

Он отправился к ее палате. Шагая бесшумно, словно мертвец, и едва не засыпая на ходу, он остановился в дверях. И вот что он увидел.

Лоретта держала градусник во рту, зажимая его языком и губами; потом потерла его о губы, вытащила, посмотрела, засунула обратно в рот и снова принялась тереть его губами, а затем опять вытащила, посмотрела, нахмурилась – и легонько его встряхнула. После чего с видом, говорившим о том, что цель достигнута, она, наконец, совсем вытащила его изо рта.

И тут она заметила Билла, и Билл догадался, что только что происходило у него на глазах: две недели она грела градусник, чтобы задержаться в больнице! Несмотря на усталость, он ощутил прилив злости, потому что ее безобразный эгоизм вырисовался ярким пятном на фоне однообразных черно-белых картин последних пятидесяти часов. Он разозлился потому, что совершенно зря за нее беспокоился; вокруг было столько настоящих больных, которым требовалась срочная помощь! И еще ему было противно, что его обманули в профессиональном плане. Он тут же вспомнил, как отвечал голливудскому продюсеру по телефону на вопросы о ее состоянии –

получилось ведь, что он лгал, пользуясь своим положением лечащего врача!

– Не стоит играть с таким хрупким прибором, – сказал он.

На полу засверкали мелкие стеклянные осколки градусника, а у нее на глазах сверкнули слезы; Билл вышел из палаты.

Он поехал к Эми, преодолев сонливость; ему сейчас было необходимо побыть среди людей, чье воспитание не позволяет им совершать некоторые вещи. Юный врач, расставаясь с львиной долей юношеских иллюзий, взамен обязуется следовать жесткому кодексу норм поведения – и этот кодекс даже жестче, чем принятый у кадетов в военной академии «Уэст-Пойнт», и соблюдать его следует столь непреклонно, что над ним можно и смеяться, и высмеивать, и хулить, и даже осквернять, а ему при этом ничего не станется, словно он – та самая почва, по которой ходят люди. Вот почему утративший эти принципы врач – наверное, самая зловещая из всех мыслимых фигур.

Билл вошел в дом Эми, не постучавшись. В дверях гостиной он остановился, окинул взглядом комнату... И тут же сел, почувствовав, как на него навалилась небывалая усталость.

– Ах, Билл! – сказала Эми. – Только не устраивай сцену!

Когда джентльмен из Голливуда удалился, Эми воскликнула:

– Билл, он попросил меня поцеловать его всего лишь раз! Он так хорошо ко мне отнесся, и это ведь ничего не значило; в Калифорнии у него есть невеста, а здесь ему так одиноко.

– А ты? Разве ты – не невеста?

Она, испугавшись, подошла к нему поближе:

– Билл, я готова сквозь землю провалиться, потому что позволила этому случиться!

Она прижалась к нему, и он равнодушно автоматически похлопал ее по плечу.

– Так мы не станем ссориться из-за какого-то единственного поцелуя, правда? – взмолилась она.

Он покачал головой:

– Он стоил сотни; ты больше – не моя.

– Ты хочешь сказать, что я тебе больше не нужна?

– Да! Видимо, ты нужна мне слишком сильно – вот в чем проблема.

Он поехал обратно в больницу, и, не желая никого видеть, вошел через травматологическое отделение. Из-за двери приемного покоя до него донеслось бормотание пьяного негра; он прошел мимо, но в коридоре показалась мисс Уэльс:

– Доктор Талливер!

– Что?! Вы что, вторые сутки на дежурстве?

– А больше некому! И поверьте, я ничуть не жалею! Смотрите-ка, что мне Санта Клаус принес!

Она показала ему колечко с тремя небольшими изумрудами.

– Замуж выходите?

– Нет. Это от нашей пациентки, от актрисы – от Лоретты! Она зашла ко мне попрощаться.

– Что?

– Минут десять назад. И, скажу я вам, я едва ее признала – в одежде она такая красивая!

Но Билл уже развернулся и пошел быстрым шагом, чувствуя глубокое сожаление. В регистратуре ему сказали, что мисс Брук выписалась и уехала, не оставив адреса.

III

В тот вечер Эми звонила ему три раза; на третий раз он поднял трубку.

– Я должна рассказать тебе правду, – сказала она. – Может, ты скажешь, что это выглядит продажно и расчетливо, но ты, Билл, по крайней мере, поймешь, что мне вовсе не хотелось с ним целоваться!

– Я не хочу тебя слушать, – устало сказал он.

– Но я должна тебе рассказать! – простонала она. – Я должна была флиртовать с этим парнем, потому что, если мне не удастся поехать туда бесплатно, тогда мы с мамой вообще никуда не поедem! Мама вчера сходила в банк и разобралась с нашими счетами – у нас нет практически никаких сбережений!

– А поцелуй все это, надо полагать, исправил? – с иронией ответил он. – Ты ведь теперь точно выиграешь?

– Вовсе нет! Все гораздо сложнее! – сказала она, даже не заметив двусмысленности своего ответа. – Но я теперь участвую в конкурсе, даже несмотря на то, что не участвовала в отборочном туре. Сейчас финал; он включил меня вместо девушки, которая выиграла в Вашингтоне.

– И я так понимаю, что теперь тебе надо только потискаться с Уиллом Хейсом, Лорелом Харди и с Микки Маусом?

– Если ты будешь так со мной разговаривать...

– Мне в полночь на дежурство, – сказал он. – А сейчас мне нужно отдохнуть, чтобы не свалиться с ног где-нибудь в коридоре.

– Но, Билл, скажи мне хоть что-нибудь хорошее, а то я не усну! Я ведь всю ночь без сна проворочаюсь и послезавтра буду выглядеть ужасно. Скажи мне что-нибудь хорошее!

– Целую тебя! – послушно сказал он. – Много-много раз!

Конкурс красоты проводился кинокомпанией «Филмз пар Экселенс», газетным синдикатом и сетью универмагов «Эй-Би-Си». В основном конкурсе – был еще и детский конкурс – участвовало тридцать девушек, представлявших разные города центральных и северных штатов. Приехали все, ведь расходы оплачивали городские власти.

На протяжении нескольких недель о конкурсе писали все газеты, и Билл ежедневно без всякой приязни смотрел на лица трех членов жюри: местного кинокритика Уилларда Хаббела, местного художника Августуса Вогеля и магната Е. П. Пула, владельца сети универмагов, представлявшего в жюри вкусы широкой публики. Но сегодня вечером

газеты вдруг в один голос принялись трубить о новости, заставившей Билла вскочить и начать мерить комнату шагами. У магната случился удар, но, к счастью, его место согласилась занять сама мисс Лоретта Брук – местная уроженка и прошлогодняя лауреатка конкурса юных «звезд» Западной ассоциации.

Значит, она все еще была здесь! Город внезапно словно увеличился в размерах, обрел краски, зазвучал и ожил; его дома вдруг вновь обрели свою каменную прочность, хотя еще сутки назад Биллу казалось, что все вокруг такое непрочное, словно картонный домик. Он пораился, как же много для него означало ее присутствие! Все женщины были лгунями и обманщицами – и сознательная симуляция Лоретты, позволившая ей занимать больничную койку, которых так не хватало в тяжелую пору, заслуживала еще меньшего оправдания, чем то, что натворила Эми. Тем не менее Билл задумчиво надел смокинг; он все же пойдет смотреть финал конкурса.

Он приехал в отель; в вестибюле уже было тесно от любопытствующих, обступивших величавый строй статных величавых фигур. При первом же взгляде на последних все показались ему невероятно красивыми, но к моменту, когда он заходил в лифт вместе с шестью из них, протискиваясь сквозь давку, которую создавала еще дюжина выходивших красавиц, он решил, что Эми им ни в чем не уступает.

И он снова так подумал, когда увидел Эми, прекрасную и живописную, как всегда; она стояла среди других участниц, наблюдая за предварительным отбором детского конкурса, который уже начался. Она его заметила, и читавшееся у нее на лице сильное волнение на мгновение сменилось выражением печального сожаления. Она кивнула ему, но он притворился, что не заметил, и прошел к стульям, которые были расставлены вдоль стен зала. На возвышении с краю сидело жюри; Лоретта была посередине. Увидев ее, он даже удивился, как мог он хоть на миг задержать свой взгляд на девушках внизу и как сидевшие по бокам от нее Уиллард Хаббел и художник Августус Вогель могли уделять внимание плясавшим и гримасничавшим перед ними жеманным соплячкам? Виденное им в травматологии трагическое обескровленное лицо, оно же – изнуренное, на больничной подушке, с губами, чуть тронутыми неопределенной улыбкой, теперь находилось в обрамлении нарядных одежд и

светилось изнутри, излучая интерес и восхищение. Эта фигура, столь уравновешенная и серьезная, совсем не походила на девушку, разбившую градусник, с которой он так жестко разговаривал; и вдруг Биллу очень захотелось, чтобы она вновь оказалась среди больничной тишины, вдали от всех этих чрезвычайно пытливых глаз.

Детский конкурс тянулся медленно. Как ни тяжело было заставить и уговорить юных кандидатов показать, на что они способны, еще тяжелее их было унять по окончании отведенного им времени. Одна из мамаш сразу же привлекла его внимание – это была мать-спорщица, непреклонная мать с фанатичным взглядом. Когда ее ребенок открывал рот, зубы матери сжимались так, словно она удерживала ими своего отпрыска; когда она нехотя отошла от ребенка в ожидании решения жюри, то принялась свирепым взглядом буравить судей, чтобы не упустить и малейший намек на предвзятость или сговор. Десять минут спустя, когда жюри объявило о своем решении, Биллу даже в голову не пришло связать ее с прокатившимся по рядам зрителей шепотом: «Есть ли в зале врачи?» Он без лишнего шума вышел в фойе и увидел, что это она извивается, пытаясь вырваться из рук двух дюжих мужчин.

– Ух, я до них доберусь! – кричала она. – Я их убью! Мой ребенок победил! Они сговорились! Им дали взятку! Это все та женщина! Ах, как же они могли?

– Вы врач?

Билл оценил ситуацию и решил не вмешиваться.

– Вам нужен психиатр, – сказал он.

– А вы не психиатр?

Он покачал головой и вернулся на свое место. Ему вспомнилось, как однажды в психиатрическое отделение больницы после просмотра фильма ужасов вереницей стали поступать пациенты.

«Помешательство на голливудской почве. Форма X».

Начался настоящий конкурс. Девушки по одной выходили вперед, ходили вокруг стола, затем садились за него и что-то доставали из сумочки. Затем жюри задавало вопросы.

– Я учусь в музыкальном училище...

– Конечно, мне бы очень хотелось побывать в Голливуде...

– Я мало хожу в театр...

– Я целый год проучилась в «Уэллсли»...

Была там девушка – «умирающий лебедь», наотрез отрицавшая, что ей нравится Лиллиан Гиш, была девушка – «пышка», и официантка с чувственными губами, и высокомерная художница. Там было целых три Гарбо, и «Черная шляпка»; была там девушка с несокрушимой бодростью духа; юная девица с фигурой старушки; профессиональная балерина и даже изящная копия Наполеона Бонапарта.

Члены жюри что-то записывали в блокноты, а в перерывах беседовали друг с другом. Биллу показалось, что Лоретта, пусть и не смотревшая в его сторону, все же знала, что он где-то здесь.

Подходила очередь Эми, и стало очевидно, что эта часть конкурса тоже не пройдет тихо и спокойно. Стоявший у дверей представитель «Филмз пар Экселенс» оказался втянутым в жаркий спор с крепко сложенной яркой блондинкой и сопровождавшим ее опрятным, зловещего вида мужчиной в опрятном, зловещего вида смокинге; Билл понял, что спор каким-то образом касается Эми. Он вновь протиснулся в дальний конец помещения; кинокритик настойчиво приглашал своих шумных собеседников пройти к дверям.

– Ах, какой ужас, Билл! – шепнула ему Эми. – Это та самая девушка, которая выиграла в Вашингтоне! Понимаешь, я когда-то жила в Вашингтоне, вот меня вместо нее и включили. А гангстер, который с ней, прямо в ярости!

– Ну, его можно понять.

– Но ведь она слишком вульгарна для кино!

– Будет играть вульгарные роли!

Вот уже второй раз за вечер в толпе пронеслось, что кому-то немедленно требуется врач.

– Господи! – воскликнул Билл. – Да этот конкурс лучше было проводить в больнице!

Он пошел к дверям, и тут вызвали Эми; он увидел, как она сконцентрировалась и отправилась к помосту, на котором восседало жюри.

«Вот тебе и посмотрел!» – угрюмо подумал он.

Новый пострадавший распростерся на ковре в холле; это был кинокритик. Его чем-то ударили – это могла быть и дубинка, и даже железнодорожная шпала. Кровь сочилась на лицо из открытой раны на виске. Опрятный, зловещего вида молодой человек с девушкой куда-то исчезли.

– Надо накладывать швы, а у меня с собой ничего нет! – сказал Билл. – Я пока наложу повязку, но его надо скорее везти в больницу.

Когда жертву занесли в лифт, Билл позвонил в травматологическое отделение больницы:

– Мисс Уэльс, я вам только что выслал еще одного пациента из мира кино. Нет, на этот раз можно не беспокоиться, как потом будет выглядеть шрам... Вы там пока готовьте кареты «скорой помощи», потому что тут сейчас будут выбирать победительницу, и дело вполне может принять неожиданный оборот!

Когда он вернулся в зал, жюри удалилось, чтобы принять решение. Конкурсантки вместе с членами семей и поклонниками остались в зале. Некоторые вели себя безразлично, некоторые волновались, некоторые были бледны, устав ждать, а некоторые были все так же свежи и прекрасны. Подбежавшая к Биллу Эми была в числе последних.

– Ах, я ужасно выступила! – сказала она. – Билл, я знаю, что ты не хочешь, чтобы я выиграла, но я тебя прошу – пожелай мне удачи!

– Я хочу, чтобы ты выиграла! – сказал он.

– Считаешь, что у меня есть шанс? Думаю, Уиллард проголосует за меня, но все будет зависеть от двух других!

– Твой голливудский приятель отбыл в больницу, – сказал он.

– Правда? – От волнения она сама не понимала, что говорит. – Он говорил, что всегда хотел стать врачом...

Какой-то репортер негромко обратился к Биллу:

– Доктор, мисс Брук желает вас видеть!

– Боже! Она ведь не ранена, правда?!

– Нет. Она просто попросила вас найти.

Лоретта вышла за дверь комнаты жюри.

– Рада, что ты со мной разговариваешь! – сказала она.

– Да ну что ты...

– Ладно, слушай! Хочешь, чтобы твоя девушка поехала в Голливуд?

Она смотрела прямо на него, и у нее в глазах стоял лишь этот вопрос – словно она долго-долго думала, прежде чем его задать.

– Я? Ну, а при чем тут...

– При том, что это зависит от меня! Всего два голоса. У твоей девушки есть сценический шарм. Все эти краски там ни к чему. Но... ты все же решай сам. – Разве мог он не услышать и тот, другой,

вопрос, который остался не произнесенным? Мысли были в беспорядке, но он попытался все обдумать.

– Ну... мне, кажется, уже все равно, – сказал он; а затем неожиданно добавил: – Черт, да! Пускай едет!

Она что-то пометила на бумажке, которую держала в руках.

– Конечно, если она добьется успеха, она может и не вернуться.

– Мы уже не вместе, – честно сказал он.

– Тогда я пошла объявлять. – Она помедлила. – Надеюсь, что мне удастся передать ей мое везение! Я, видишь ли, вовсе не горю желанием работать в кино, если мне удастся найти что-нибудь другое...

Он посмотрел ей вслед; затем, когда прошло, как ему показалось, очень много времени, с помоста донесся ее голос, и везде, где он был слышен, казалось, разливалась ее красота, заполняя собой окружающее пространство:

– ... и мы считаем... эти прекрасные девушки... мисс Эми... олицетворяющая эту часть нашей страны... да не огорчатся все остальные... Каждая из вас достойна чести появиться на экране и снискать оглушительный успех!

К его изумлению, никто не упал в обморок, никто не взвыл; внезапно раздался громкий хлопок, словно в помещении выстрелили из пушки, и Билл подскочил, но это были всего лишь вспышки фоторепортеров. Все фотографировали и фотографировали Лоретту и Эми, и вместе, и по отдельности. Вместе они прекрасно смотрелись, и не имело никакого значения, кого из них заберет себе Голливуд – точнее, это не имело значения ни для кого, кроме Билла. Он встретился взглядом с Лореттой, и от охватившей его внезапной радости вся его ненависть к Эми исчезла, и он мысленно пожелал ей всего самого лучшего.

«Кино дает, кино отнимает, – подумал он. – Что ж, меня все устраивает...»

Вместо послесловия. Эхо века джаза

Пока еще рано писать о веке джаза, окидывая его взглядом с некоторого расстояния и не рискуя быть заподозренным в преждевременном склерозе. Многие все еще не в силах сдержать позывов к рвоте, слыша характерные словечки той эпохи – пусть эти слова уже и уступают в яркости неологизмам, пришедшим из мира гангстеров. Сегодня век джаза так же мертв, как были мертвы в 1902 году «желтые девяностые», но автор этой статьи уже вспоминает этот период с ностальгией. Именно он стал для него попутным ветром, вознесшим его на гребень волны, и дал ему такие деньги, о которых он и не мечтал – лишь за то, что он рассказал людям о том, что чувствует то же, что и они, и что надо что-то делать с их накопленной и нерастраченной за время войны нервной энергией.

Десятилетие, не пожелавшее скончаться всеми забытым в собственной постели и драматически ушедшее в небытие в октябре 1929 года, началось с первомайских беспорядков в 1919 году. Конная полиция разгоняла демобилизованных деревенских парней, столпившихся на площади Мэдисон поглазеть на ораторов, и эта мера не могла не вселить в головы более образованных юношей сомнений по поводу существующих порядков. Мы вряд ли вспомнили бы про «Билль о правах», если бы за его пропаганду не взялся Менкен, но мы твердо знали, что подобная тирания годится лишь для дрожащих от страха мелких режимов Южной Европы. И если из-за жирных дельцов правительство пошло на такое – может, мы и правда воевали за кредиты Дж. П. Моргана? Но все устали от великих свершений, и все кончилось краткой вспышкой нравственного негодования, точно описанной Дос Пассосом в «Трех солдатах». Нам тут же принялись скармливать кусочки от государственного пирога, и присущий нам идеализм лишь запыхал еще ярче, когда пресса принялась раздувать в мелодраматическом ключе истории вроде «Гардинг и банда из Огайо»

или «Сакко и Ванцетти». События 1919 года оставили в нас скорее налет цинизма, а не революционный настрой, даже несмотря на то, что сегодня мы судорожно обшариваем свои сундуки, ища, куда же мы, черт побери, засунули фригийский колпак – «Точно помню, он у меня был!» – и мужицкую рубаху? Для века джаза характерным было полное отсутствие интереса к политике.

Это был век чудес, век искусств, век излишеств и век сатиры. На троне Соединенных Штатов восседал «Ноль без палочки», манекен, как живой извивавшийся среди окружавших его шантажистов; элегантный молодой человек поспешил пересечь океан, чтобы мы узрели, кому вскоре предстоит занять британский трон. Целый сонм девиц устремился к юному англичанину; старый американец стонал во сне, ожидая, что его вот-вот отравит жена, последовав совету нового Распутина в юбке, впоследствии взявшего на себя окончательные решения в нашей внутренней политике. Но если отбросить все это в сторону, теперь, наконец-то, все шло так, как нам хотелось. Американцы оптом заказывали костюмы из Лондона, и портным с Бонд-стрит волей-неволей пришлось приспособливать свой крой к американским фигурам и вкусам – талии удлинились, покрой стал свободным. Неосязаемый эталон мужской элегантности теперь переместился в Америку. Во времена Возрождения Франциск I носил исключительно тупоносую обувь, как было принято во Флоренции. Англия семнадцатого столетия подражала французскому двору; прусские гвардейские офицеры пятьдесят лет назад покупали себе штатскую одежду исключительно в Лондоне. Мужская одежда – символ «могущества, которое человек должен удержать и которое переходит от одной расы к другой».

Мы стали самой могущественной нацией. Кто мог нам теперь диктовать, что в моде и как нам развлекаться? Пока в Европе шла война, мы оказались в изоляции и принялись прочесывать юг и запад нашей страны, ища неведомых обычаев и развлечений, и оказалось, что их немало прямо у нас под рукой.

Самое первое откровение из жизни общества превратилось в сенсацию, совершенно непропорциональную своей новизне. Еще в 1915 году не находившиеся под присмотром взрослых молодые люди из «глубинки» открыли для себя преимущества передвижного уединения, предоставляемые автомобилем, который многие юные Билли получали в подарок на свое шестнадцатилетие в знак того, что отныне им следует рассчитывать лишь на собственные силы. Поначалу даже при таких благоприятных обстоятельствах свидания и все, что из этого следовало, считались отчаянной авантюрой, но вскоре новая возможность была оценена по достоинству и старинная заповедь рухнула. Уже в 1917 году упоминания об этих милых и легкомысленных шалостях можно было обнаружить в любом номере «Хроники Йеля» или «Принстонского тигра».

Но свидания в этой более смелой форме вошли в жизнь лишь зажиточных классов, а остальная молодежь вплоть до окончания войны придерживалась прежних стандартов; поцелуй подразумевал последующее предложение руки и сердца, о чем иногда, к своему смятению, и не подозревали молодые офицеры, прибывшие в незнакомый город. Пелена окончательно спала лишь в 1920 году: век джаза вступил в пору своего расцвета.

Едва успели перевести дух степенные граждане республики, как на сцену, бесцеремонно растолкав своих сверстников, выскочило плясать самое необузданное из всех поколений – поколение, чья юность прошла среди сумбура войны. Девушки этого поколения строили из себя «эмансипе», это поколение испортило нравы своих родителей и постепенно выдохлось – не только потому, что ему не хватило моральных принципов, но и потому, что ему не хватило вкуса. Вспомним 1922 год. Молодое поколение тогда достигло своей кульминационной точки, а затем век джаза продолжался, но чем дальше, тем меньшее отношение он имел к молодежи.

Дальнейшее напоминало детский праздник, в котором инициативу захватили взрослые, поставив тем самым ошеломленных детей в тупик и оставив их без присмотра. К 1923 году старшее поколение, устав с плохо скрываемой завистью смотреть на карнавал со стороны, открыло для себя, что горячительные напитки вполне способны заменить горячую кровь, и под пьяное гиканье разразилась оргия. Молодое поколение перестало играть главную роль.

Целая нация вдруг превратилась в гедонистов, избрав в качестве главной цели погоню за удовольствиями. Преждевременное вступление во взрослую жизнь случилось бы у молодого поколения и без «сухого закона» – они были непреклонны в своем стремлении адаптировать английские обычаи к американским условиям. (На нашем Юге, например, созревают рано, там кипят тропические страсти, но ни во Франции, ни в Испании никогда не было принято оставлять без присмотра взрослых девиц шестнадцати и семнадцати лет.) Но всеобщая жажда развлечений, начавшаяся в 1921 году с вечеринок, где подавали коктейли, имела более глубокие корни.

Понятие «джаз» в своем развитии, в результате которого оно обрело респектабельность, миновало несколько этапов: сначала оно означало секс, затем – стиль танца, а затем и музыкальный стиль. Это понятие ассоциируется с состоянием нервного раздражения, вроде того, что ощущается в крупном городе за линией фронта. Для многих англичан война все еще продолжается, поскольку никуда не делись грозящие им силы, вот почему сейчас нужно есть, пить и веселиться, ведь завтра мы все умрем! Иные причины вызвали аналогичное состояние умов в Америке, хотя здесь существовали целые общественные классы (например, люди «за пятьдесят»), которые десять лет занимались тем, что отрицали само его существование, даже когда его шаловливая мордашка стала являться в кругу членов их семей. Им и не снилось, что они сами же приложили руку к его появлению. Честные граждане любого сословия, свято верившие в строгость нравственных устоев общества и обладавшие властью, позволившей им закрепить свои убеждения в виде необходимых законов, даже не подозревали, что в такой ситуации им по необходимости придется иметь дело с бандитами и мошенниками, и они не верят в это до сих пор. Добродетельные и богатые всегда имели возможность нанять честных и смысленных слуг, чтобы освободить рабов или кубинцев, а когда это убеждение пошло прахом, старшее поколение с упрямством, свойственным людям, не любящим

проигрывать, решило остаться при своем мнении, храня свою добродетель и теряя при этом своих детей. Седовласые дамы и господа с приятными, чуть поблекшими, чертами, люди, в жизни не совершившие ни одного бесчестного поступка, все еще продолжают уверять друг друга, сидя в своих нью-йоркских, бостонских или вашингтонских квартирах, что «подрастает целое поколение, которому не будет знаком вкус спиртного». А тем временем их внуки в школах-пансионах передают друг другу зачитанный до дыр томик «Любовника леди Чаттерлей» и уже к шестнадцати годам способны отличить на вкус джин от маисовой водки, если у них вообще есть к этому склонность. Но поколение, достигшее зрелости между 1875 и 1895 годами, продолжает верить в то, во что ему хочется верить.

Представители промежуточного поколения также были настроены скептически. В 1920 Хейвуд Браун заявил, что вся эта шумиха дутая, что молодежь вовсе не целуется с кем попало, а только об этом говорит. Но очень скоро люди старше двадцати пяти смогли получить исчерпывающую информацию. Позвольте мне перечислить, каких именно откровений они удостоились; я назову дюжину книг, вышедших в то десятилетие и рассчитанных на самые разные мозги. Началось с предположения, что жизнь Дон Жуана не лишена интереса («Юрген», 1919); затем мы узнали, что все вокруг пронизано сексом, стоит лишь открыть глаза («Уайнсбург, Огайо», 1920); что чувственность занимает важное место в жизни подростков («По эту сторону рая», 1920); что в английском языке имеется множество запретных слов («Улисс», 1921); что взрослые люди не всегда способны противостоять внезапным искушениям («Кукла и женщина», 1922); что соблазнение не всегда приводит к гибели («Жаркая юность», 1922); что даже насилие нередко может привести к чему-то хорошему («Шейх», 1922); что очаровательные английские леди часто неразборчивы в связях («Зеленая шляпа», 1924); и что на самом деле они посвящают этому большую часть своего времени («Водоворот», 1926); и что это еще и чертовски хорошо («Любовник леди Чаттерлей», 1928); и, наконец, что случаются и отклонения от нормы («Колодец одиночества», 1928, а также «Содом и Гоморра», 1929).

На мой взгляд, эротика в этих книгах, даже в «Шейхе», написанном для детей слогом сказок о Кролике Питере, никому не принесла никакого вреда. Все, что в них описывалось – и даже больше, – уже

встречалось нам в повседневной жизни. Большая часть этих сочинений была вполне честной и проливала свет на поставленные вопросы, а результатом их было возвращение в повседневной американской жизни достоинства званию обычного мужчины – в отличие от «настоящего мужчины». («Да что это за „настоящий мужчина“ такой? – сказала однажды Гертруда Стайн. – Разве это понятие обладает таким объемом, что им можно выразить больше того, что прежде вкладывалось в понятие „мужчина“? Надо же: *настоящий мужчина!*») Замужние женщины теперь могли определить, не обманывали ли их: действительно ли секс, как намекали матери, это то, что нужно просто терпеть, чтобы в награду получить абсолютную духовную власть над супругом? Возможно, многие женщины обнаружили, что любовь приносит радость. Как бы там ни было, но оппоненты со своей кричащей моралью дело проиграли, и это – одна из причин, по которой наша современная литература является одной из самых ярких в мире.

Вопреки распространенному мнению, фильмы века джаза никак не повлияли на нравы того времени. Общественная позиция продюсеров отличалась робостью, старомодностью и шаблонностью – например, до 1923 года, когда в журналах уже всю трубили о молодом поколении и это давно уже перестало быть новостью, в кино никто даже намеком не попытался это показать. Появилось несколько невнятных поделок, а затем – Клара Боу в «Золотой молодежи», и голливудские халтурщики тут же загнали тему в ее целлулоидный гроб. В кино век джаза оказался отражен ничуть не больше, чем в голове у миссис Джиггс, улавливавшей только бросавшиеся в глаза поверхностные детали. Без сомнений, так вышло и благодаря цензуре, и благодаря специфическим условиям киноиндустрии. Так или иначе, но век джаза стремительно неслся вперед, черпая энергию на огромных заправочных станциях, где вместо бензина в него закачивали деньги.

В пляс пустились и люди старше тридцати, и люди ближе к пятидесяти. Мы, старички (тут мы наступаем на пятки Ф. П. А.), припоминаем тот шум, который поднялся в 1912 году, когда сорокалетние бабушки отшвыривали прочь костыли и бежали на уроки танго и «кэстл-уока». Спустя двенадцать лет дама, собираясь в Европу или в Нью-Йорк, могла в числе прочих вещей захватить с собой и зеленую шляпу, но Савонаролы были слишком заняты, тщетно пытаясь

спасти давно издохших лошадей в собственноручно воздвигнутых ими авгиевых конюшнях. Общество, даже в небольших городках, теперь разделилось и обедало отдельно, и «трезвый стол» лишь понаслышке знал о том, что происходит за «веселым столом». За «трезвым столом» мало кто остался. Его бывшее украшение – не пользовавшиеся популярностью девицы, смилившиеся с тем, что им, быть может, уготован возвышенный удел воздержания, в поисках интеллектуальной компенсации открыли для себя Фрейда и Юнга и вновь ринулись в бой.

К 1926 году всеобщая сексуальная озабоченность начала надоедать. (Мне вспоминается, как одна юная мамаша, вполне довольная своей семейной жизнью, спрашивала у моей жены совета, «не стоит ли прямо сейчас завести интрижку», не имея при этом в виду никого конкретного – просто «когда мне будет уже сильно за тридцать, это ведь будет выглядеть несколько унижительно, не правда ли?».) На какое-то время распространявшиеся подпольно пластинки с негритянскими песенками, с их фаллическими эвфемизмами, превратили все вокруг в один сплошной намек, и одновременно пошла волна эротических пьес; галерки театров были битком набиты юными старшеклассницами, жаждавшими узнать, как романтично быть лесбиянкой, что вызвало протест со стороны Джорджа Джина Натана. А затем один молодой продюсер, напившись из ванны с шампанским, в котором купалась красавица, совершенно потерял голову и угодил за решетку. Его жалкая попытка продемонстрировать романтическое мироощущение все же имеет какое-то отношение к веку джаза, но вот его «сокамерница» Руфь Снайдер ассоциируется с ним лишь благодаря таблоидам; «Дэйли Ньюс» тогда со смаком описывала для гурманов, как ее вот-вот «подготовят, она *зашкворчит* и ПОДЖАРИТСЯ!» на электрическом стуле.

Веселые и беспечные составляющие «высшего общества» разделились на два потока: один устремился в Палм-Бич и Довиль, а другой – не такой многочисленный – на летнюю Ривьеру. На летней Ривьере можно было позволить себе гораздо больше, и что бы там ни происходило, все это, казалось, имело какое-то отношение к искусству. С 1926-го по 1929-й, в период расцвета мыса Антиб, в этом уголке Франции доминировали те, кто сильно отличался от преклонявшихся перед европейскими традициями американцев. На Антибе делали все

что угодно: к 1929 году в этом средиземноморском раю для пловцов никто не плавал, разве что в полдень с похмелья разок окунался в море. Берег там представляет собой живописнейшее нагромождение крутых скал, но с них ныряли лишь слуги из местных да случайные юные англичанки; американцы же дни напролет просиживали по барам, сплетничая друг о друге. И это свидетельствовало о том, что нечто подобное происходило и на родной земле: американцы утратили твердость характера! Признаки этого были повсюду: Олимпийские игры мы все еще выигрывали, но чемпионами становились граждане, в чьих фамилиях было все меньше и меньше гласных; команды – например, «Ирландские бойцы» из университета «Нотр-Дам» – составлялись сплошь из «свежей крови» из-за океана. Как только у французов появился интерес, к ним автоматически уплыл «Кубок Дэвиса», ведь у них была воля к победе. В городках на Среднем Западе теперь стали застраивать пустыри – и мы, не считая кратких школьных лет, в итоге совсем перестали заниматься спортом, в отличие от британцев. Упорство одержало верх над талантом. Конечно, если бы нам захотелось, все резко бы изменилось – от предков у нас все еще сохранились запасы энергии; но, взглянув на себя в 1926 году, мы вдруг обнаружили, что у нас дряблые мышцы, толстое брюхо и задира́ть сицилийцев нам уже не стоит. Жалкие подоби́я Ван Би́бера! Видит Бог, в стране Утопии были совсем другие идеалы... Даже гольф, который когда-то считался игрой для ленивых, последнее время стал нам казаться чересчур напряженным – появилась его еще более вялая разновидность, тут же пришедшаяся всем по вкусу.

К 1927 году налицо был широко распространившийся невроз; его легким симптомом, подобным нервному постукиванию ногой, стало всеобщее увлечение кроссвордами. Мне вспоминается, как один мой знакомый экспатриант получил письмо от одного нашего общего друга; в нем тот звал его домой, дабы возродиться, коснувшись родной земли, дарующей каждому своему сыну силу и бодрость. Письмо было очень сильное, оно глубоко тронуло нас обоих, пока мы не заметили, что отправлено оно было из санатория для нервнобольных в Пенсильвании.

К этому времени мои сверстники стали исчезать в черной пасти насилия. Один из моих университетских друзей убил жену и покончил с собой на Лонг-Айленде, другой «в результате несчастного случая»

упал с крыши небоскреба в Филадельфии, еще один – уже по собственной воле – шагнул с крыши небоскреба в Нью-Йорке. Одного убили в подпольном баре в Чикаго; еще одного жутко избили в нью-йоркском подпольном баре, и он приполз умирать домой, в Принстонский клуб; еще одного поместили в психиатрическую лечебницу, и там какой-то маньяк раскроил ему череп топором. И обо всех этих катастрофах я знаю не понаслышке – все это были мои друзья; более того, все это произошло не во времена депрессии, а во время бума!

Весной 1927 года на небосклоне сверкнуло нечто яркое и чуждое. Юный уроженец Миннесоты, совсем не похожий на представителей своего поколения, совершил героический поступок, и люди в сельских клубах и подпольных барах на миг поставили бокалы на стол и вспомнили о мечтах ушедшей юности. Быть может, полет представлялся им наилучшим выходом, а может, наша беспокойная кровь почувствовала новый фронт в бескрайнем воздушном пространстве? Но к тому времени наш образ жизни уже окончательно нами завладел, и век джаза продолжился, и все налило еще по одной!

И все же американцы продолжали бродить по свету; друзья постоянно куда-то уезжали: кто в Россию, кто в Персию, кто в Абиссинию, кто в Центральную Африку. К 1928 году в Париже стала ощущаться нехватка воздуха. С каждой новой партией качество извергаемых бумом американцев падало, а ближе к концу вновь прибывающий груз этих безумных пароходов производил уже прямо-таки зловещее впечатление. Это больше не были обычные папа, мама, сын и дочка, бесконечно превосходившие таких же европейцев по части доброжелательности и любопытства; приезжали какие-то невообразимые неандертальцы, верившие во что-то этакое, вычитанное ими когда-то в каком-то грошовом романе. Я помню одного итальянца на пароходе;

он гулял по палубе в американской армейской форме офицера запаса и затевал в баре на ломаном английском ссоры с американцами, критиковавшими американские же порядки. Я помню и жирную еврейку, прямо-таки инкрустированную бриллиантами, сидевшую за нами на представлении русской балетной труппы; когда поднялся занавес, она изрекла: «Просто шикарно! Кто-то обязан срисовать это на картину!» Это отдавало фарсом, но было очевидно, что деньги

и власть попали в руки людей, рядом с которыми даже председатель большевистского сельсовета выглядел просто кладезем ума и культуры. В 1928 и 1929 годах с роскошью путешествовали граждане, которых новые для них условия ставили в плане человеческой ценности в один ряд с пекинесами, моллюсками, крестинами и парнокопытными. Мне вспоминается, как один федеральный окружной судья из штата Нью-Йорк повез дочку в Байе посмотреть на гобелен и устроил в газетах скандал, требуя убрать гобелен с глаз публики из-за безнравственности одной из сцен. Но в те дни жизнь была, словно бег по кругу в «Алисе в стране чудес»: приз полагался каждому.

У века джаза была бурная юность и безрассудная зрелость. Был период вечеринок с поцелуями, и дело Леопольда – Леба (я помню, как тогда мою жену арестовали на мосту Квинсборо по подозрению в том, что она – знаменитая «бандитка-эмансипе»), и костюмы, как на рисунках Джона Хелда. В следующей фазе к таким феноменам, как секс и убийство, стали подходить более обдуманно, хотя они и стали привычными. От возраста никуда не денешься, и вот на пляжах стали появляться пижамы, скрывавшие толстые ляжки и дряблые икры, дабы не конкурировать с открытыми купальными костюмами. Наконец, юбки удлинлись, и все оказалось скрытым от глаз. Все приготовились к новому этапу... На старт! Внимание...

Но ему не суждено было наступить. Кто-то ошибся, и самая дорогостоящая оргия в истории кончилась.

Конец наступил два года назад, поскольку безграничная уверенность, служившая опорной сваей, подверглась сильнейшему сотрясению; непрочная конструкция тут же осела на землю. И спустя два года век джаза кажется столь же далеким, как и довоенные времена. Ведь это была жизнь на грани – составлявшая едва ли десятую часть нации элита вела беззаботное и легкомысленное существование, словно великие князья или юные хористки. Теперь легко читать мораль; но в те времена без сомнений и забот, когда нам было по двадцать лет, жизнь была прекрасна! Даже когда совсем не было денег, о них не стоило беспокоиться, потому что вокруг их было в избытке. Ближе к концу тяжело стало даже делать что-либо вскладчину; казалось, ты оказываешь любезность, принимая чье-нибудь приглашение, если при этом от тебя требовалось куда-то

ехать... Обаяние, известность и просто хорошее воспитание считались куда более ценными социальными активами, нежели деньги. И это было прекрасно. Но по мере того как вечные и обязательные человеческие ценности стремились заполнить все более увеличивающийся объем, все стало мельчать. Писатель мог прослыть гением благодаря одной-единственной приличной книге или пьесе; многочисленная мелкая рыбешка в огромных аквариумах теперь строила из себя китов – подобное раньше встречалось лишь на войне, где офицерам с четырехмесячной выслугой давали в подчинение сотни солдат. Множество второсортных актеров играло экстравагантные постановки в театрах, и так далее – вплоть до политики, где должности наивысшей важности и ответственности перестали привлекать приличных людей; важность и ответственность там измерялась критериями на порядок выше, чем в деловой среде, но платили там всего пять-шесть тысяч в год.

Теперь нам вновь приходится затянуть потуже пояса и с подобающим выражением ужаса на лице вспомнить нашу зря потраченную молодость. Но иногда за барабанной дробью мне слышится призрачный шум и астматический шепот тромбонов, и я вновь переносусь обратно, в начало двадцатых, когда мы пили метиловый спирт, и день за днем все на свете становилось все лучше и лучше; тогда впервые несмело укоротились юбки, и девушки в модных платьях-свитерах выглядели на одно лицо, и люди, до которых вам и дела не было, напевали: «Да, у нас нет бананов!» Тогда казалось, что нужно подождать пару лет, и старшее поколение уйдет, а миром станут править те, кто видит его таким, какой он есть; и тем, чья молодость пришлась на то время, все это вспоминается в розовом свете романтики, потому что уже никогда нам не доведется чувствовать так сильно, как в те времена.

Свет в окошке

*Ты любила голой нырять со скал.
Я боялся всегда, за тебя боялся.
Абрис тела – летящий в раздрызге зеркал,
я дрожал до всплеска – потом смеялся.*

*Мы не ждали писем. Или письма?
Мы совсем не думали друг о друге,
просто были своими с тобой весьма,
просто были во круге, или в округе.*

*Помнишь, в три ящика черный комод,
третий – лишний. Делили, бранились все.
Помнишь, карту забыли и поворот —
зарулили туда, где никто не рулит.*

*Нас спасали редкие фонари.
Нас накрыло таким земным финалом.
За июнем – сворою декабри.
Зимним ветром подуло – и нас не стало.*

Перевод: Юрий И. Крылов

Комментарии

ВЭТОТ ТОМ ВХОДЯТ два поздних сборника рассказов, подготовленных к публикации самим Ф. Скоттом Фицджеральдом; последней книгой Фицджеральда, вышедшей при его жизни, стал выпущенный в свет в 1934 году сборник рассказов «Отбой на заре».

Для перевода использовались тексты из следующих изданий: «All the Sad Young Men» (Scribners, NY, 1926), «Taps at Reveille» (Scribners, NY, 1934); тексты также сверены по недавно вышедшим изданиям:

«All the Sad Young Men» (Cambridge University Press, Cambridge, 2007) и «Taps at Reveille» (Cambridge University Press, Cambridge, 2014).

Для переводов рассказов и очерков, не включавшихся в авторские сборники, использовались указанные в комментариях к каждому произведению журнальные публикации.

В комментариях представлены основные сведения о создании самих сборников и входящих в них произведений. При этом использовались письма Ф. Скотта Фицджеральда, цитаты из которых приведены по изданию: «F. Scott Fitzgerald: A Life in Letters» (Touchstone, NY, 1995), материалы из «Гроссбуха» писателя, цитируемого по изданию: «F. Scott Fitzgerald's Ledger» (A Brucoli-Clark Edition, Washington, 1972), а также компиляция из альбомов Скотта и Зельды «The Romantic Egoists» (University of South Carolina Press, Columbia, 2003). В комментариях также представлены наиболее интересные из отвергнутых автором вариантов текстов, имеющих в рукописях и в первых журнальных публикациях рассказов. Цитаты с фрагментами текстов из рукописей рассказов приводятся по изданию: «F. Scott Fitzgerald. Manuscripts. VI» (Garland, NY, 1991); цитаты из опубликованных в периодических изданиях версий текстов приведены по соответствующим, указанным в комментариях к каждому произведению, периодическим изданиям. Представлены лишь варианты текстов, значимые для переводного издания, т. е. не попавшие в окончательные тексты отрывки либо редакции.

В комментариях содержатся пояснения относительно упоминаемых реалий и личностей, имеющих значение вне контекста. При подготовке фактического комментария к текстам использовались издания: «F. Scott Fitzgerald A to Z», by Mary Jo Tate (Checkmark Books, NY, 1998), а также «An F. Scott Fitzgerald Encyclopedia», by Robert L. Gale (Greenwood Press, Westport, 1998).

В текстах номера нью-йоркских авеню (идущих параллельно друг другу с юго-запада на северо-восток) указаны числительными или именами собственными, а номера поперечных улиц (которые проходят перпендикулярно авеню с юго-востока на северо-запад) – арабскими цифрами, как это принято в англоязычных изданиях; центр Нью-Йорка находится в районе сороковых улиц.

«Вместо предисловия»

Краткая автобиография

(A Short Autobiography)

Этот очерк написан в марте 1929 года и опубликован в журнале «Нью-Йоркер» 25 мая 1929 года; очерк также вошел в сборник «Альбом „Нью-Йоркера“» (Гарден-сити, Нью-Йорк, 1931).

При публикации Фицджеральд изменил окончание текста; первый вариант заканчивался мрачно:

Ощущение такое, что перепробовано уже все на свете спиртное и испытано все, что оно только может человеку дать, но, тем не менее, надо продолжать – потому что жизнь скучна, или мне скучно; люди ужасны, или же я ужасен!

Натан – в подзаголовке выражена благодарность Джорджу Джину Натану (1882–1958), литературному критику, редактировавшему совместно с Г. Менкеном влиятельный журнал «Смарт Сет»; соль этой шутки в том, что отец Натана владел виноградниками во Франции и разбогател на оптовой торговле спиртным.

«Канадиан клаб» – марка виски; производство основано Хиремом Уолкером в Канаде в 1858 году, в настоящее время марка принадлежит дому «Джим Бим».

«Саскуэханна» – здесь речь идет о неидентифицированном клубе в городе Хакенсак, штат Нью-Джерси. В «Гроссбухе» Фицджеральда действительно содержится следующая запись за апрель 1913: «Напился в Саскуэханне».

«Грейт Вестерн» – марка винодельни «Плезант Вэлли», основанной в 1860 году недалеко от деревни Хаммондспорт в штате Нью-Йорк.

Трентон – столица американского штата Нью-Джерси.

Бастаноби – речь идет о нью-йоркском кабаре «Кафе де Бью-Арт» на перекрестке Шестой авеню и 40-й улицы; его владельцем был Луи Бастаноби (поэтому кафе также называли «у Басти»), кафе известно тем, что студенты Принстонского университета часто устраивали там кутежи; это кафе упоминается также в опубликованном только после

смерти Фицджеральда эссе «Мой невозвратный город»; в «Гроссбухе» писателя за январь 1915 года содержится запись из одного слова: «Пьянство».

Уайт Салфур Спрингс – маленький городок в штате Монтана; в июле 1915 года Фицджеральд гостил у своего школьного друга Чарльза «Сэпа» Донахью (1896–1973), семейное ранчо которого располагалось недалеко от этого места. В «Гроссбухе» Фицджеральда имеется следующая запись: «Пьянство: ковбойский соловей»; воспоминания об этой поездке на американский Запад сыграли важную роль при создании в 1921 году рассказа «Огромный, как „Ритц“, алмаз».

«*Выходи со мной!*» – скорее всего, речь идет об американской народной песне «Девчонки из Буффало», припев которой звучит как «Выходи со мной погулять вечером»; эпизод с исполнением песни для ковбоев действительно отмечен в «Гроссбухе» Фицджеральда.

«*Колючки*» – подробнее об этом коктейле см. далее комментарий к рассказу «Безупречная жизнь».

Сиэтлском – обратный путь в Сент-Пол с семейного ранчо Донахью в Монтане действительно лежал через Сиэтл; известно, что Фицджеральд провел некоторое время в гостях в особняке Донахью в Сиэтле по приглашению «Сэпа» Донахью.

«*Этого умника*» – скорее всего, речь идет о популярной комической песне актера и певца Эдварда Харригана (1844–1911) «Малдун, солидный человек»; песня была впервые исполнена в 1874 году и посвящена хвастливому нью-йоркскому политику ирландского происхождения; со временем песня стала считаться народной.

с монсиньором X в «Лафайетт» – речь идет о католическом священнике, кардинале Сайреле Сигурни Уэбстере Фэе (1875–1919), одном из наставников Фицджеральда в школе Ньюмана; дружба с этим человеком имела большое значение для Фицджеральда, а в первом романе «По эту сторону рая» писатель даже сделал его прототипом одного из героев – монсиньора Д'Арси. Гостиница «Лафайетт» на 9-й улице в Нью-Йорке была знаменита своей французской кухней.

«*Нассау*» – речь идет об одном из студенческих общежитий в Принстонском университете.

Бурбон – крепкий алкогольный напиток, содержащий минимум 51 % кукурузного спирта и выдерживаемый не менее двух лет в

дубовых бочках.

«Силбах», Луисвилль – в офицерский лагерь в Луисвилле, штат Кентукки, Фицджеральда перевели в марте 1918 года; скорее всего, офицеры размещались в гостинице «Силбах», которая теперь входит в знаменитую сеть отелей «Хилтон».

Коктейли «Сейзерак» – считается старейшим американским коктейлем: его готовят в двух охлажденных стаканах из коньяка, абсента, сахара и горькой настойки «Пейшо», придающей коктейлю специфический вкус.

Одно важное событие – в апреле 1919 невеста Фицджеральда Зельда Сэйр разорвала помолвку; в ноябре, после принятия к публикации первого романа Фицджеральда, писатель вновь увиделся с Зельдой; в «Гроссбухе» есть следующие записи: «Новый Орлеан. Монтгомери» – они относятся к январю 1920 года.

«Роялтон» – гостиница в Нью-Йорке, на 44-й улице, между Пятой и Шестой авеню.

В Алабаме – Фицджеральды побывали в Алабаме в июле 1920 года, после свадьбы.

Леди родом с Пикадилли – в мае – июне 1921 года Фицджеральды побывали в Италии и Великобритании; «Савой» – лондонский отель на улице Стренд, бар которого был знаменит в 1920-е годы среди американских туристов, а с 1926 года этот бар даже стал называться «Американским»; на лондонской площади Пикадилли работали недорогие проститутки.

Шартрез – французский ликер, производимый картезианскими монахами с XVIII века; желтый цвет напитку придает добавляемый в него шафран.

Виа Бальбини – в Риме нет улицы с таким названием, но есть Виа Бальбо; также возможно, что Фицджеральд имел в виду Виа Бальби в Генуе – очерк написан в марте 1929 года, когда Фицджеральды как раз побывали в итальянской Генуе.

Калли – речь идет об Оскаре и Александре Кальман – супружеской паре из Сент-Пола, подружившейся с Фицджеральдами летом 1921 года, когда Скотт и Зельда жили в Делвуде (это место расположено недалеко от Сент-Пола). Александра (или просто Ксандра) стала единственной подругой южанки Зельды в Сент-Поле; именно

Александра стала крестной матерью дочери Фицджеральда Скотти, родившейся в 1922 году.

Лонг-Айленд – в 1923 году Фицджеральды переехали в пригород Нью-Йорка, Лонг-Айленд, где и познакомились с Рингом Ларднером и его женой (о них см. далее комментарий к очерку «Ринг Ларднер»).

«*Минневаска*» – трансатлантический лайнер; на нем в мае 1924 года Фицджеральды отплыли в Европу.

«*Грейвс*» *Крессмана* – марка белого сухого вина винодельни Крессмана; марка была запущена в Великобритании в 1892 году, а виноматериал для производства выращивался во Франции.

Вилла «Мари» в Валескюр – на этой вилле Фицджеральды поселились в июне 1924 года; в июле этого же года Фицджеральд сделал такую запись в своем «Гроссбухе»: «Бросили пить». Именно здесь Фицджеральд написал роман «Великий Гэтсби».

В часы печали – 13 июля 1924 года отмечено в «Гроссбухе» Фицджеральдом записью: «Серьезный кризис»; без сомнения, речь здесь идет об увлечении жены писателя, Зельды Фицджеральд французским авиатором Эдуардом Жозаном (1899–1981).

Муссо – французский термин для игристых вин.

Вермут из Шанбери – этот напиток используется только в коктейлях, он очень сладкий.

Селдсами – Гилберт Селдс (1893–1970), американский писатель и критик, вместе с женой Амандой приехал к Фицджеральдам на французскую Ривьеру 4 августа 1924 года; свадьба Селдсов состоялась в июне 1923 года.

Орвието – в сентябре 1924 года Фицджеральды путешествовали по Италии.

Вино из Арбуа – контролируемое наименование вин из виноградников в окрестностях города Арбуа во французской области Жюра.

«*Королева Гусиные Лапы*» – речь идет о парижском ресторане, в котором часто обедал Фицджеральд.

Баре парижского «Ритца» – этот парижский бар, очень популярный среди американских туристов, также упоминается в рассказе «Снова в Вавилоне».

«*Николя*» – сеть розничных винных магазинов, работающая по всей Франции с 1822 года.

Кириш – бесцветный вишневый бренди; производится на востоке Франции, в Эльзасе.

Бургундском трактире – в мае 1925 года Фицджеральды вместе с Эрнестом Хемингуэем путешествовали в Лион; эту поездку Хемингуэй впоследствии описал в своей книге «Праздник, который всегда с тобой» (1964; 2009 – дополненное издание).

«*Сен-Эстев*» – контролируемое по происхождению наименование вин одноименного винодельческого региона во французском Бордо; это вино созревает очень долго – возможно, Фицджеральду попалась слишком «молодая» бутылка.

Салье-де-Берн – французский курортный городок в Пиренеях, известный термальными источниками с крайне соленой водой; в январе – феврале 1926 года там проходила курс лечения Зельда Фицджеральд.

Гаруп – на мысе Гаруп расположен французский курортный город Антиб.

Джеральд М. – речь идет о Джеральде Мерфи (1888–1964) – американском миллионере, подружившемся с Фицджеральдами в пору их жизни во Франции и ставшем прототипом героя романа «Ночь нежна» Дика Дайвера.

«*Эмбассадор*» – речь идет об отеле в Лос-Анжелесе, номера в котором представляли собой бунгало, располагавшиеся вокруг сада. Этот гостиничный комплекс, располагавшийся на голливудском бульваре Уилшир, и в 1920-х годах считался одним из самых роскошных в Голливуде; декор здания был выполнен в мавританском стиле, напоминая испанскую Альгамбру. Фицджеральды жили в этом отеле в январе – феврале 1927 года, когда Скотт работал над сценарием для Констанции Тальмадж; его соседями по бунгало были актриса Кармел Майерс, актер Джон Берримор и сценарист Карл Ван-Вехтен. Отель также упоминается в рассказе «Лестница Иакова».

Пуйи – скорее всего, речь идет о «Пуйи-Фюиссе», контролируемом по происхождению наименовании вина из винограда сорта «шардоне», производящемся во французской области Бордо.

Буйабесом – или, иначе, «уха по-марсельски», знаменитый рыбный суп с юга Франции.

«*Прюнье*» – парижский рыбный ресторан.

«Все эти юноши печальные...»

(All the Sad Young Men...)

Третий сборник рассказов Фицджеральда вышел в свет 26 февраля 1926 года.

К подготовке книги Фицджеральд приступил в мае 1925 года, через несколько недель после выхода романа «Великий Гэтсби». В то время Фицджеральд вместе с семьей проживал в Париже. Только что вышедший роман продемонстрировал зрелость и мастерство писателя, что не могло не быть замечено критиками и читателями, и традиционно выходивший после романа сборник рассказов был призван это впечатление упрочить. В общем и целом так и получилось: рецензии на книгу были положительными, продажи довольно успешными – первый тираж разошелся очень быстро, и в 1926 году книга допечатывалась еще дважды.

Состав рассказов сборника определился практически сразу. Первый вариант заглавия книги был «Милые деньги», но уже в июне 1925 года заглавие было изменено. Как объяснял сам Фицджеральд, название «Все эти юноши печальные...» книге он дал потому, что «семь из девяти рассказов – о грустных юношах моего поколения».

В первом варианте состава сборника, направленном редактору Максвеллу Перкинсу письмом в начале июня 1925 года, отсутствовал рассказ «Лекарь»; вместо него предполагалось включить «джазовый» рассказ «Гитара, кости и кастет», который в итоге не вошел в окончательную версию книги.

Сборник был полностью готов к началу сентября 1925 года, но книга вышла в свет только в начале 1926 года – законченный в августе 1925 года рассказ «Богатый парень» был тогда же продан в журнал «Редбук мэгэзин», который должен был опубликовать его до выхода книги в двух последовательных номерах (из-за большого объема текста), и задержка с выходом сборника произошла из-за необходимости дождаться журнальной публикации.

В книгу вошло сразу несколько лучших рассказов Фицджеральда: «Богатый парень», «Зимние мечты» и «Отпущение грехов».

В вышедшей в 1935 году книге «Эти истории появились в печати» («These Stories Went to Market», Нью-Йорк, 1935) Фицджеральд дал собственные короткие комментарии о создании четырех рассказов из

этого сборника; эти комментарии приведены в примечаниях к соответствующим рассказам.

Богатый парень

(The Rich Boy)

Рассказ был начат в марте 1925 на Капри и закончен в самом начале августа того же года в Париже. Впервые рассказ был опубликован в двух номерах журнала «Редбук мэгэзин» (январь и февраль 1926 года).

Прототипом героя рассказа стал университетский друг Фицджеральда Ладлоу Фоулер (1897–1961). Л. Фоулер был шафером на свадьбе Скотта и Зельды, а также одним из немногих друзей писателя, присутствовавших на его похоронах. Сохранилось письмо Фицджеральда Фоулеру (без даты, приблизительно март 1925 г.):

«Я написал о тебе рассказ в пятнадцать тысяч слов; он называется „Богатый парень“. Там все завуалировано, так что никто, кроме тебя, меня и, быть может, пары девушек, о которых идет речь, ничего не узнает, если только ты сам не расскажешь; но это практически история твоей жизни, то тут, то там смягченная и упрощенная. Много пробелов я заполнил с помощью воображения. Рассказ откровенный, беспощадный, но при этом сочувственный – думаю, тебе понравится. Это одна из моих лучших вещей. Где он будет опубликован и когда, я пока не знаю».

В сентябре 1925 года Фицджеральд отправил Фоулеру текст рассказа, и Фоулер попросил убрать два абзаца, по которым его могли бы узнать. Фицджеральд согласился и отправил своему литературному агенту Гарольду Оберу телеграмму с просьбой убрать не понравившиеся Фоулеру части текста – самостоятельно он сделать этого не мог, так как уже отправил рукопись Оберу в Америку. Писатель был в Париже и рассчитывал, что Фоулер сам обратится к Оберу и укажет, что именно нужно убрать. Фоулер же, со своей стороны, решил, что правкой займется сам Фицджеральд. В результате ничего сделано не было, и рассказ был напечатан в журнале в

исходном виде. Впоследствии, при подготовке текста для книги, Фицджеральд запросил у Обера гранки – они ему понадобились «потому, что прототип героя хочет, чтобы были внесены кое-какие изменения – нужно убрать подробности, по которым его можно узнать» (письмо Г. Оберу, октябрь 1925 г.) – и в книге текст рассказа появился с необходимыми купюрами.

В исходном журнальном варианте текста после слов «переполненный тревогой и неудовлетворением» следует:

У себя в лимузине он познакомился с одной симпатичной дебютанткой, и два дня подряд они обедали и ужинали вместе. Он начал с того, что рассказал ей немного о Поле, выдумав какую-то непостижимую несовместимость характеров, которая не позволила им быть вместе. Девушка обладала безудержным и импульсивным характером, и ей польстило, что Энсон ей доверился. Словно киплингowski солдат, он мог бы на свою голову неразрывно связать себя с ней прямо по дороге в Нью-Йорк, но, к счастью, тогда он был трезв и себя контролировал.

А после слов «быстро переодеться в строгий пиджак» в исходном варианте следует:

Однажды, повинуясь взаимному инстинктивному чувству, несколько сидевших на первом ряду детей вдруг встали и пересели в последний ряд. Он часто рассказывал об этом, и эту историю обычно встречал веселый смех.

В журнальной версии рассказа для соблюдения «нравственного благолепия» редакторы также убрали оба упоминания о беременности Полы к моменту последней встречи с Энсоном; при включении текста в книгу эти упоминания автором были восстановлены.

Лишь один эпизод из оригинальной версии рассказа, отправленной Оберу в августе 1925 года, не появился ни в журнале, ни в книге. В сохранившейся машинописной копии текста имеется дополнительная характеристика дяди Энсона, Роберта Хантера; после слов «известный в семье как большой любитель скачек» в рукописи следовало:

Больше всего он любил рассказывать истории об опасностях социализма, а самая любимая была про одного еврея по фамилии Хирш, которому очень хотелось попасть в фешенебельный клуб на Лонг-Айленде.

«Сначала он записался в школу верховой езды и научился ездить верхом. Богом клянусь – этот дурак вообще ничего не боялся! Однажды вечером мы с ним поехали на прогулку. И мили не проехали, как он три раза упал с лошади – Богом клянусь, этот дурень каждый раз вставал, снова садился в седло и ехал дальше! Я его даже зауважал. Потом отвел я его в сторонку и сказал: „Слушай, Хирш, эти люди тебя просто дурачат. Ты в этот клуб не попадешь, даже если выступишь в очереди еще лет двадцать. Я тебе это говорю, потому что ты мне нравишься“. Я даже ему сказал: „Ты – настоящий мужик!“».

Рассказ «Богатый парень» – один из признанных шедевров Фицджеральда. Ставший знаменитым пассаж о том, что богатые люди «отличаются от нас с вами», часто цитируется и почти сразу же после своего появления превратился в литературный анекдот; более всего известно насмешливо-презрительное упоминание Фицджеральда Эрнестом Хемингуэем в рассказе «Снега Килиманджаро»:

Он вспомнил беднягу Скотта Фицджеральда и его овеванное романтикой преклонение перед богачами, и как он однажды написал рассказ, который начинался с фразы: «Богатые не похожи на нас с вами». И кто-то сказал Скотту: «Точно. У них денег больше!»

(Текст Хемингуэя цитируется по первой публикации рассказа в августовском номере журнала «Эсквайр» за 1936 г.; при публикации рассказа в авторском сборнике «Пятая колонна и первые сорок девять рассказов» (1938) Хемингуэй заменил имя Фицджеральда на нейтральное «Джулиан»).

Принято считать, что остроумный ответ в этом известном литературном анекдоте принадлежит самому Хемингуэю, но на деле все было иначе. По воспоминаниям редактора Фицджеральда и Хемингуэя Максвелла Перкинса, приведенным в книге Скотта Берга

«Макс Перкинс: редактор гениев» (Нью-Йорк, 1978), однажды за обедом, на котором присутствовали сам Перкинс, Хемингуэй и критик Мэри Колам, Хемингуэй заметил: «Со временем я стал лучше понимать богачей», на что миссис Колам тут же ответила: «Между богатыми и всеми остальными есть лишь одна разница – у богатых денег больше!» Так что в реальности осмеянию подвергся именно пафос Хемингуэя. Сам же Скотт Фицджеральд не преклонялся перед богатством хотя бы потому, что учился в престижном Принстонском университете и знал из первых рук, чем именно отличаются богачи от остальных людей; но высказанная им в этом рассказе мимоходом мысль явно запомнилась Хемингуэю навсегда.

Начните описывать конкретного человека... – эта мысль была впервые высказана Фицджеральдом в опубликованной 15 января 1923 года в еженедельнике «Книготорговец и издатель» заметке «Как я продавал бы свою книгу, если бы стал книготорговцем». Рассказывая о своем романе «По эту сторону рая», Фицджеральд заявил, что он «и не подозревал, что „По эту сторону рая“ – книга об эмансипе, пока Джордж Джин Натан, прочитавший отрывки из романа перед публикацией, не рассказал мне об этом. <...> Я попытался описать различные аспекты конкретного человека и был обвинен в том, что создал типичный образ!». Это кредо определенно является составляющей творческого метода Фицджеральда.

Электромобили – это не анахронизм; автомобили на электрических батареях производились в США уже в конце XIX – начале XX века. Они развивали небольшую скорость (до 20 миль в час) и требовали частой смены батарей (через каждые 50 миль), поэтому использовались преимущественно в городах для поездок на небольшие расстояния.

«Позолоченного века» – речь идет о периоде экономического процветания Америки в конце XIX – начале XX века; выражение восходит к названию романа Марка Твена и Ч. Уорнера «Позолоченный век» (1873).

«Прости, дорогая» – песня Н. Дж. Клеси, слова Гарри Тобиаса; стала хитом в 1918 году в исполнении Фэтса Уоллера.

Бромозельцер – успокоительное средство, широко использовавшееся в 1920-х годах от похмелья.

Клуб «Линкс» – фешенебельный клуб в Нью-Йорке на 62-й улице, в одном квартале от Центрального парка.

Перемирие... – речь здесь идет о «Компъенском перемирии», положившем конец Первой мировой войне; оно вступило в силу с 11 утра 11 ноября 1918 года.

«Дабл-шафл» – популярный танец, вариация польки.

«Роза с Вашингтон-сквер» – популярная песня 1920-х годов, музыка Джеймса Ф. Хэнли, слова Балларда Макдональда; оба автора – выпускники Принстонского университета; песня известна в двух версиях, серьезной и комической; Фицджеральд цитирует комическую.

Клубами эктоплазмы – термин «эктоплазма» означает светлую субстанцию загадочного происхождения, выделяющуюся во время спиритического сеанса организмом медиума и служащую затем для материализации духов. В 1922–1923 годах увлекавшийся спиритизмом английский писатель сэр Артур Конан-Дойль выступал в Америке и Канаде с лекциями о спиритизме.

Протестантской епископальной церкви – «Протестантская епископальная церковь США» (или «Епископальная церковь») по вероучению и организации близка к англиканской церкви, от которой она отделилась в XVIII веке после Войны за независимость США; в начале XX века эта церковь охватывала не более 3 % населения США, но при этом именно к ней относилась значительная часть американской политической и финансовой элиты – ее прихожанами были 11 из 43 президентов США.

Уитли-Хиллз – богатый пригород Нью-Йорка на Лонг-Айленде.

«Лига юных женщин»... *«Женская ассамблея»* – светские общества для богатых женщин, занимавшиеся благотворительностью; организации представляли собой нечто вроде женских клубов. В обычные клубы (например, клубы выпускников университетов) женщины в то время не допускались.

Он вышел на Мэдисон-авеню из дверей йельского клуба... – на самом деле йельский клуб (иначе – клуб выпускников Йельского университета) находится на Вандербильд-авеню; Мэдисон-авеню проходит параллельно в одном квартале от нее, и выхода из здания клуба на эту улицу никогда не было; поскольку рассказ был написан за границей, Фицджеральда, по всей видимости, подвела память.

В духе «Автобиографии» Челлини – итальянский скульптор и ювелир Бенвенутто Челлини (1500–1571) в своей «Автобиографии» откровенно рассказывает о самых разнообразных приключениях: от поножовщины и до мистических видений.

У него появилось собственное место на бирже – количество членов биржи, имевших право производить биржевые операции, было ограничено; получить собственное место на бирже было нелегко.

Об общественных отношениях на стыке Европы и Азии – в оригинале Фицджеральдом использовано выражение «об общественных отношениях на Кавказе»; понятие «Кавказ» в данном случае явно трактуется шире обычного: речь здесь идет о границе Европы и Азии.

Фундаментализм – религиозное протестантское движение, призывавшее вернуться к первоосновам (фундаменту), т. е. к буквальному истолкованию Библии.

Эти цифры обладали таким же значением, как и слова – в Нью-Йорке улицы обозначаются номерами, а не названиями, и некоторые номера превратились в нарицательные понятия.

Праведный пострадал за неправедных – парафраз Первого послания Петра (3:18).

«Гомерик» – шикарный трансатлантический лайнер, курсировавший между Нью-Йорком и Лондоном в 20-30-х годах XX века.

«Виски сауэр» – этот коктейль известен с 1862 года, он состоит из виски и половинки лимона, украшается долькой апельсина и вишенкой; коктейль до сих пор очень популярен в Америке.

Энсон протянул ему бутылку виски через стойку – действие рассказа разворачивается после введения «сухого закона»; алкоголь в барах не подавали, но посетители могли тайком приносить его с собой.

Рай – небольшой город в округе Уэстчестер, вблизи Нью-Йорка; английское слово *ruе* в переводе означает «рожь».

«Париж» – еще один шикарный трансатлантический лайнер, курсировавший между Нью-Йорком и Парижем; спущен на воду в 1921 году. В 1928 году на этом корабле во Францию плывал и Фицджеральд.

Зимние мечты

(Winter Dreams)

Рассказ написан в сентябре 1922 года в Грейт-Нек (см. далее примечание к рассказу «Лестница Иакова») и опубликован в журнале «Метрополитен мэгэзин» в декабре того же года.

Рассказ отчасти автобиографичен, поскольку прототипом Джуди Джонс стала Джиневра Кинг (1898–1980), красавица из Чикаго, в которую был влюблен Скотт Фицджеральд во время учебы в Принстонском университете. Именно от нее Скотт узнал о том, что «бедным парням лучше не мечтать о богатых невестах». Сам Скотт Фицджеральд в письме к редактору М. Перкинсу назвал этот рассказ «чем-то вроде первого наброска к Гэтсби»; как и роман, это история юноши, влюбленного в эгоистичную девушку из богатой семьи. В конце рассказа Фицджеральд привел сложное объяснение чувства изменчивости у Декстера, который опечален утратой своей способности печалиться.

В книге «Эти истории появились в печати» (Нью-Йорк, 1935) Фицджеральд дал следующий комментарий к этому рассказу:

«Воспоминания о том, как я был очарован, побывав в гостях у очень богатой тетки в Лэйк-Форест. И еще моя первая любовь, когда мне было 18–20 лет – ее образ я использую снова и снова и не забуду никогда. Воображение».

Первая журнальная публикация отличается от вошедшего в книгу текста. Дело в том, что несколько пассажей из журнальной версии вошли в роман «Великий Гэтсби». Такова была обычная практика писателя, а подвергшийся «стрижке» рассказ либо больше никогда не публиковался либо публиковался в измененном виде с заменой или исключением вошедших в роман пассажей. В данном случае был избран второй вариант. Кроме того, в окончательном варианте текста также претерпел значительные изменения образ Джуди Джонс – в окончательном варианте текста, благодаря замене сленга и упрощенной грамматике, использованным Фицджеральдом в первой редакции, произошло значительное усложнение исходного образа фирменной фицджеральдовской «эмансипе», превратившейся в гораздо более глубокий и сложный образ. Основные правки коснулись

II и III частей. Вот как выглядел подвергшийся изменению текст в первой редакции (в ней также отличаются некоторые названия: город Блэк-Бэр был городом Диллардом, курорт Шерри-Айленд был курортом Лэйк-Эрмини):

[III]

– Кто здесь? – крикнула она, заглушив мотор. И оказалась так близко, что Декстер смог разглядеть ее купальный костюм – это был, без всяких сомнений, смелый розовый комбинезон. – А, да это же вы – это вам я сегодня попала мячиком в живот!

Нос лодки уперся в плот; после неумелой возни с канатом Декстеру все же удалось пришвартовать лодку. После этого девушка запрыгнула на плот, и тот лихо накренился.

– Ну, малыш, – с хрипотцой сказала она, хочешь... – И умолкла. Она присела на трамплин для прыжков, но почувствовала, что он мокрый, и тут же вскочила. – Хочешь покатать меня на доске?

Он ответил, что был бы просто счастлив.

– Я – Джуди Джонс! Репутация скверная, но популярность – бешеная. – И она удостоила его несуразной ухмылкой – точнее, это была почти ухмылка; хотя она и сильно скривила губы, все равно не получилось нелепо, получилось красиво. – Видишь тот дом на мысу?

– Нет.

– Ну, так вот, там стоит дом, в котором я живу, но отсюда его не увидеть, потому что сейчас темно. И в этом доме меня поджидает один парень. Когда он подъехал к дверям, я стартовала с причала, потому что у него глаза на мокром месте, и он все время меня спрашивает, есть ли у меня идеал.

Плескалась рыба, светили звезды, сияли огни вокруг озера. Декстер сел рядом с Джуди Джонс, и она объяснила, как вести лодку. Затем спрыгнула в воду и изящным кролем поплыла к качавшейся на воде доске. Смотреть на нее было совсем не трудно, словно смотришь на колышущиеся под ветром деревья или на летящую чайку. Ее руки, загорелые почти до черноты, плавно двигались среди тускло-платиновых волн; сначала из воды появлялся локоть, затем в такт падавшей с него воде

показывалось и уходило назад предплечье, а потом взлетала и опускалась кисть, прокладывая путь вперед.

Они пошли на середину озера; обернувшись, Декстер увидел, что она стоит на коленях на ушедшем под воду дальнем крае приподнявшейся доски.

– Быстрее, – крикнула она, – включай на самый полный!

Он послушно выжал рычаг вперед, и у носа лодки показалась стена белых брызг. Когда он опять посмотрел назад, девушка встала во весь рост на мчавшейся доске, раскинув руки в экстазе и устремив лицо вверх, к Луне.

– Ужасно холодно, малыш! – крикнула она. – А как тебя зовут?

– Декстер Грин! Если вам интересно, могу сказать, что вы там, позади, отлично смотрите!

– Да, – крикнула она, – мне интересно! Правда, я замерзла. Приходи завтра к нам на ужин!

Он все время думал, как хорошо, что он никогда не таскал по полю клюшки за этой девушкой. Прилипшая к телу мокрая ткань купальника делала ее похожей на статую, превращая ее оживленную подвижность в неподвижность.

– В семь часов! – крикнула она. – Джуди Джонс, девушка, которая лупит мужчин по животам! Лучшие запиши куда-нибудь. – А затем: – Быстрее! Еще быстрее!

III

Если бы под внешним спокойствием Декстера царило такое же внутреннее спокойствие, у него хватило бы времени, чтобы подробно изучить окружающую его обстановку. Тем не менее у него создалось стойкое впечатление, что он никогда еще не видел столь тщательно отделанного дома. Он уже давно знал, что вблизи Лэйк-Эрмини не было особняка прекраснее этого: в нем был выдержанный в римском стиле плавательный бассейн, а рядом – двенадцать акров лужаек и садов. Но глубоко захватывало дух не от этого, а от ощущения, что в этом доме живет Джуди Джонс и что для нее этот дом так же привычен, как когда-то для Декстера был привычен маленький домик в деревушке. Внутри дома появлялось ощущение тайны – казалось,

что спальни на втором этаже прекраснее и чудеснее, чем все спальни этого мира, что в этих погруженных в тень коридорах творится нечто веселое и лучезарное, рождаются романы, память о которых не покрылась плесенью и не упокоилась в аромате лаванды, а все еще свежа, жива и продолжает нестись вперед в дорогих автомобилях на богатые балы, цветы с которых еще не успели завянуть. Они были живыми оттого, что он чувствовал их вокруг себя – он чувствовал, как они заполняют воздух оттенками и эхом все еще волнующих эмоций.

В погруженной в тишину комнате, из которой открывался вид на летнюю солнечную веранду, Декстер поджидал, пока она спустится вниз, и представлял себе множество мужчин, которые любили Джуди Джонс. Он знал, что это были за люди, – в те времена, когда он поступал на первый курс университета, они поступали вместе с ним, окончив престижные подготовительные школы, и все они носили изысканные костюмы и отличались смуглым и ровным многолетним загаром, и всегда обладали изысканной непринужденностью манер – и когда ничего не делали, и когда что-нибудь делали.

Он понимал, что в каком-то смысле он был лучше всех этих людей: он обладал новизной и силой. Но для себя он решил, что его дети станут такими же, как они, и этим признал, что себя самого считает всего лишь сырым доброкачественным материалом, из которого выходит вся эта изысканная аристократия.

Когда год назад пришло его время носить дорогие костюмы, он уже знал, какие портные считаются лучшими во всей Америке, и его сегодняшний костюм шил лучший в Америке портной. Он усвоил особую сдержанность манер, присущую выпускникам его университета и отличавшую их от выпускников других университетов. Он сознавал, какой ценностью обладают эти манеры, поэтому он их и усвоил; он знал, что небрежность в одежде и манерах требует гораздо больше уверенности в себе, чем простая аккуратность. Но пусть небрежность осваивают его дети; а его мать носила фамилию Кримслих, была родом из богемских крестьян и разговаривала на ломаном английском до

конца своих дней. И ее сын должен строго придерживаться общепринятых стандартов поведения.

* * *

Он ждал Джуди Джонс в ее доме, и видел вокруг себя всех этих молодых мужчин. Его возбуждала мысль о том, что ее любило так много мужчин. Это повышало ее ценность в его глазах.

В начале восьмого Джуди Джонс спустилась вниз. На ней было синее шелковое платье. Поначалу он был разочарован, что она не надела что-нибудь более торжественное. Разочарование усилилось, когда после краткого приветствия она подошла к двери буфетной, открыла ее настежь и крикнула: «Марта, можешь подавать!» Он почему-то ждал, что об ужине объявит дворецкий, а перед ужином предложат коктейли. Его даже слегка покорило, что она звала горничную по имени.

Но он быстро отбросил все эти мысли, когда они вместе сели на кушетку с ситцевой обивкой.

– Мать и отец ужинать не будут, – сказала она.

– Мне есть о чем сожалеть?

– Они у меня очень славные, – сказала она, словно это только что пришло ей в голову. – Я думаю, что отец выглядит лучше всех мужчин своего возраста. А мама выглядит лет на тридцать!

Он вспомнил последнюю встречу с ее отцом и обрадовался, что сегодня родителей не будет – они стали бы интересоваться, кто он такой. Он родился в Кибл – миннесотской деревушке милях в пятидесяти отсюда к северу, и всем говорил, что он родом из Кибл, а не из Дилларда. Родиться в провинциальном городке не считалось зазорным, если только городок не располагался на виду, в неудобном соседстве с модными курортами на озерах.

Разговор перед ужином не принес ему удовлетворения. Прекрасная Джуди, казалось, на что-то злилась – ровно настолько, насколько это было вообще возможно с едва знакомым человеком. Они говорили об Лэйк-Эрмини и о гольф-клубе, о катании на доске по озеру вчера ночью и о том, что она

подхватила простуду, из-за чего ее голос сегодня звучал хрипло и очаровательней, чем обычно. Они разговорились о его университете, куда она часто ездила на балы последнюю пару лет, и о близлежащем городе, откуда на Лэйк-Эрмини ездили отдыхающие, и о том, что завтра Декстеру придется вернуться к его процветающим прачечным.

За ужином ею овладела унылая подавленность, и Декстер почувствовал вину. Его беспокоило высказывавшееся ее грудным голосом раздражение. Его волновало, что ее улыбка, вызванная чем угодно – им самим, серебряной вилкой, да просто не пойми чем, – не имела ничего общего ни с радостью, ни с весельем. Когда алые уголки ее губ опускались вниз, это была не улыбка, а, скорее, приглашение к поцелую. После ужина она позвала его на тенистую веранду, нарочно сменив окружающую обстановку.

– Я не кажусь тебе мрачной? – спросила она.

– Нет. Но, боюсь, тебе со мной скучно, – торопливо ответил он.

– Вовсе нет! Ты мне нравишься. Но у меня сегодня выдался довольно неприятный день. Мне очень нравился один мужчина. А он вдруг, ни с того ни с сего, взял и заявил, что беден, как церковная мышь! Раньше он об этом даже не заикался. Это, наверное, звучит ужасно приземленно?

– Может, он боялся тебе об этом рассказывать?

– Может, и так, – задумчиво ответила она. – Но он неправильно начал! Видишь ли, если бы я знала, что он беден, – что ж, я сходила с ума по целой куче бедняков и честно собиралась за каждого из них замуж. Ну, а на этот раз я ничего не подозревала, и мой интерес к нему оказался не настолько силен, чтобы выдержать такой удар.

– Понимаю. Это как если бы девушка спокойно сказала своему жениху, что она – вдова. Он, может, и не имеет ничего против вдов, но...

– Давай начнем правильно, – неожиданно оборвала она его на полуслове. – Что ты из себя представляешь?

Декстер колебался лишь мгновение. У него было два варианта рассказа о своей жизни. Был вариант с Диллардом, кедди в гольф-клубе и нелегкой учебой в университете или же...

– Я – никто! – сказал он. – Пока что мой успех – дело будущего.

– Ты беден?

– Нет, – ответил он прямо. – Скорее всего, я зарабатываю больше денег, чем любой мужчина моего возраста на всем северо-западе. Знаю, что говорить так считается предосудительным, но ты ведь сама попросила говорить начистоту.

Воцарилась тишина. Она улыбнулась, немного повеселев:

– Ты разговариваешь, словно герой из пьесы!

– Это ты виновата! Ты вынудила меня вести себя напористо.

Внезапно ее темные глаза стали смотреть на него, не отрываясь, а уголки ее губ принялись опускаться, пока ее лицо не раскрылось, словно цветок. Он едва осмеливался дышать; он чувствовал, как она подчиняет его своей воле, заставляя всем своим существом почувствовать юность и пленяющую тайну, хранящую богатство и свежесть множества платьев, и прохладу комнат, и блестящие вещи, и чувство безопасности и гордости тех, кто парит над отчаянной борьбой бедноты.

Крыльцо ярко освещалось купленной роскошью звездного света. Прутья плетеной кушетки по-модному скрипнули, когда она скомандовала ему взглядом и он, повинувшись, обнял ее рукой. Он поцеловал пытливые и прекрасные губы Джуди Джонс и посвятил свою жизнь погоне за этим Граалем.

Кроме того, в первой редакции одного из абзацев последней VI части содержится следующее упоминание о впечатлениях Декстера:

Декстер молчал, еще не зная, что его ждет. Для его взгляда этот город никогда не утратит своей магии. Подобно тому, как дом Джуди Джонс всегда казался ему таинственной и радостней, чем все другие дома, так и город – после того, как он его покинул, – стал казаться ему исполненным печальной красоты.

Кедди – помощники игроков в гольфе; в их функции входит переноска клюшек за игроками и поиск потерянных на поле мячиков; обычно это подростки.

Блэк-Бэр – вымышленное название, содержащее намек на город Уайт-Бэр-Лейк в штате Миннесота; семья Фицджеральдов в 1921 году проживала в гостинице яхт-клуба этого города.

Фервеи – участки с травой средней длины, занимающие большую часть поля между стартовой площадкой у каждой лунки (или, иначе, «*ти*») и лужайкой у лунки (или, иначе, «*грином*»).

Бункеры – по действовавшим в начале XX века правилам первый удар в гольфе должен был выполняться с кучи песка, поэтому бункеры с песком стояли на каждой стартовой площадке.

Курс предпринимательства университета Джорджа Вашингтона – многотомный популярный заочный курс, изданный кафедрой предпринимательства американского Университета Джорджа Вашингтона.

Из дорогой шетландской шерсти – речь идет об овечьей шерсти, получаемой от горной короткошерстной породы овец, выведенной на Шетландских островах в Шотландии.

Раф – участок поля для гольфа с высокой, нестриженной травой; находится вне зоны, где обычно проходит игра.

«*Чин-Чин*», «*Граф Люксембург*» и «*Шоколадный солдатик*» – соответственно: комическая песня из ставившегося на Бродвее в 1913 году мюзикла 1896 года «*Гейша*» (автор – британский композитор Сидни Джонс, 1861–1946), оперетта 1912 года (композитор Ф. Легар, 1870–1948) и оперетта 1909 года (композитор Оскар Штраус (1870–1954), по мотивам пьесы Бернарда Шоу «*Оружие и человек*»).

Любой мужчина моего возраста на всем северо-западе – в оригинале имеется небольшое несоответствие: Декстер говорит о штате Миннесота, находящемся на Среднем Западе США; все остальные упоминания в рассказе также свидетельствуют о том, что Декстер проживает где-то на Среднем Западе.

Маленькие гости

(The Baby Party)

Рассказ написан в феврале 1924 года и опубликован в журнале «Хеарстс интернэшнл» в феврале 1925 года. Важных отличий между книжной и журнальной версией нет; для включения текста

в сборник Фицджеральд провел лишь незначительную стилистическую правку.

В книге «Эти истории появились в печати» (Нью-Йорк, 1935) Фицджеральд дал следующий комментарий к этому рассказу:

«Я побывал на одном детском дне рождения и стал свидетелем небольшой ссоры между двумя женщинами. Представил, как втянулся бы, если бы в ссоре приняла участие моя жена. И представил такую же ситуацию, но с участием недалеких людей, не умеющих себя контролировать – и последствия! Вспомнил рассказ Мопассана „Веревочка“. Воображение».

Приложим к глазу... – имеется в виду домашнее средство от ушибов: чтобы синяк не увеличивался, нужно приложить к нему кусок сырого мяса.

Отпущение грехов

(Absolution)

Рассказ написан в июне 1923 года и опубликован в журнале «Америкен меркьюри» в июне 1924 года. Отличий между книжной и журнальной версией практически нет.

В книге «Эти истории появились в печати» (Нью-Йорк, 1935) Фицджеральд дал следующий комментарий о создании этого рассказа:

«Воспоминание о том, как мальчиком я соврал на исповеди. Также однажды довелось мельком видеть весьма страстного и изнуренного священника, давшего обет безбрачия. Воображение».

Материал этого рассказа должен был изначально составлять пролог романа «Великий Гэтсби». Видимо, пролог мог представлять собой сцены из детства Гэтсби – действие романа должно было разворачиваться в 1880-х годах на Среднем Западе, в семье католического священника (это известно по письмам Фицджеральда). Но такой пролог не вошел в роман еще на этапе формирования его окончательного замысла, и написанный для него материал пошел на

рассказ. В сохранившуюся рукопись «Великого Гэтсби» эта сцена не входит, а самые первые черновики романа, за исключением двух страниц, Фицджеральд не сохранил.

Шестая и девятая заповедь – «Исход», 20:2-17, «Второзаконие» 5:6-21; в католической традиции, в отличие от православной, принята иная нумерация заповедей: шестой у католиков является заповедь «Не прелюбодействуй», девятой – «Не желай жены ближнего твоего».

«Макадамская» – дорожное покрытие из щебенки изобрел шотландский инженер Джон Л. Мак-Адам (1756–1918).

«Строитель Империи» Джеймс Дж. Хилл – уроженец Сент-Пола Джеймс Дж. Хилл (1838–1916) успешно занимался строительством железных дорог на Западе США; строительство велось без привлечения государственных средств.

Книжки Элджера – однообразные дидактические романы, писавшиеся Горацио Элджером-мл. (1832–1899) по стандартной формуле «американской мечты»: подросток из бедной семьи, добивающийся успеха благодаря тяжкому труду, отваге, смелости и целеустремленности; во времена детства Фицджеральда эти книги считались практически обязательными к прочтению всеми мальчишками.

«Корнелл» – Корнелльский университет в городе Итака, штат Нью-Йорк.

«Хамлайн» – небольшой университет в городе Сент-Пол.

Domini, non sum dignus, ut intres sub tectum meum; sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea – латынь: «Господи, я недостойн, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя» (чин Святой Мессы, обряд Причащения).

Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam meam in vitam aeternam – латынь: «Тело Христово да сохранит меня для жизни вечной» (чин Святой Мессы, обряд Причащения).

Sagitta Volante in Die – латынь: «От стрелы летящие во дни» (Псалом 90:6).

Немецкие кирасиры у Седана – битва у Седана (Франция) произошла в 1870 году во время Франко-прусской войны.

«Сиротка» Мартин-Джонс и Пр-нц У-льский

(Rags Martin-Jones and the Prince of Wales)

Рассказ написан в декабре 1923 года и опубликован в журнале «Мак-Коллс» в июле 1924 года.

В письме к М. Перкинсу Фицджеральд охарактеризовал рассказ так: «Джазовая фантазия. Так хороша, что и Лоример, и Лонг отказались ее брать» (Лоример и Лонг – редакторы журналов «Сатердей ивнинг пост» и «Хеарстс интернэшнл»).

В книге «Эти истории появились в печати» (Нью-Йорк, 1935) Фицджеральд дал следующий комментарий к этому рассказу:

«Я был поражен личностью одной девушки, только что вернувшейся из Европы и ненавидевшей Америку. Ну, и еще сплетни о Принце Уэльском... Все придумано».

Сюжет этого рассказа чем-то напоминает сюжет рассказа «Прибрежный пират»: герой ради завоевания пресыщенной девушки вынужден проявить воображение и вырваться за рамки обыденной жизни.

Действие рассказа происходит в Нью-Йорке, и в сохранившейся рукописи рассказа содержатся несколько интересных деталей, исключенных из окончательного текста.

Высказывание «Сиротки» об американцах изначально было более подробным. Нужно отметить, что этот вариант вычеркнут из текста самим автором:

– Я хочу сказать, что у тебя нет никакой фантазии, – терпеливо объяснила она. – У американцев напрочь отсутствует и фантазия, и изящество, и огонь! Париж – вот единственный большой город, где цивилизованная женщина может дышать свободно. Париж – столица мира!

– Чушь! – воскликнул он. – Здесь – деньги, здесь – музыка, здесь – все! Дай мне шанс! Позволь показать тебе, как тут у нас! Останься хоть на неделю!

– Это будет несправедливо по отношению к тебе, Джон! Я слишком прекрасна! Я не готова отвечать за то, как я на тебя повлияю. И, кроме того, прежде, чем кончится эта неделя, я умру от скуки – все эти твои театры, все эти твои кабаре...

– Они не мои! – сухо перебил ее он.

– Ну ладно, пусть будут «наши» – но я вовсе не считаю себя американкой, если только... – подходящее слово она, кажется, решила поискать в подушках дивана, – речь не идет о гражданстве!

Он едва смог спрятать улыбку.

– Ты больше ничего ко мне не чувствуешь?

В рукописи также имеется другой вариант разговора о том, что происходит в Америке и в Европе:

– Много чего происходит, – возразил он. – Да вот, пожалуйста! Только за сегодня: ограбили банк в Бруклине, произошло тройное самоубийство в Мэйне, негритянский погром в Оклахоме и две дюжины мошенничеств с нефтью в Нью-Йорк-Сити...

– Ну да, – с иронией сказала она, – и еще маленький котенок Джимми Гуди свалился из окна и сломал позвоночник! Как увлекательно! Представляешь, Джон, месяц назад я обедала за одним столом с двумя людьми, которые собирались поделить между собой королевство Шварцберг-Райнминстер! В Париже я познакомилась с человеком по имени Ферндюк, который собрался на Балканы устраивать новую войну! И еще я познакомилась с графиней Катинькой с Украины – за ней уже три года подряд гоняются шпионы!

– Ну что ж, тогда для разнообразия давай сегодня куда-нибудь сходим? – упрямо продолжал он.

А эти вычеркнутые автором детали характеризуют жизнь Нью-Йорка «ревущих двадцатых»:

– Какое-то новое изобретение: теплый воздух задерживается и не поднимается в небо. Не знаю, как эта штука устроена, но слышал, что здесь открыто всегда, даже среди зимы... Видишь, вон там, за угловым столиком, сидит мужчина? Он чемпион мира в тяжелом весе!

Сегодня в пять вечера нокаутировал очередного претендента!

– А это кто? – задала она невинный вопрос. – Карпентер?

Джон рассмеялся:

– Долго до Парижа идут новости!

– Где же Принц Уэльский? – взволнованно спросила она.

Вместо абзаца, начинающегося со слов: «Она очень известна в Нью-Йорке», в рукописи следующий текст:

– Если бы ты жила в Нью-Йорке, не пришлось бы объяснять, кто она такая, – сказал Джон, когда вновь зажегся янтарный свет. – Каждый, кто здесь выступает, сорвал оглушительный успех в каком-нибудь идущем сейчас шоу. Следующим выступает один комик, у него разговорное амплуа. Я думаю, что он – самый смешной человек в мире!

Далее более подробно описано выступление комика:

Он разговаривал с ней, он спорил с ней – о чем-то, что казалось чрезвычайно смешным всем остальным, а ей самой казалось чередой сбивчивых неразборчивых звуков.

– Ты не можешь не признать, что билет тебе дал именно я! – говорил он. – Да, самый настоящий билет – согласна? Ведь ты сидишь здесь! Но, может, это был поцелуй? Будь же... Будь же хоть чуть-чуть справедлива! Ведь если бы я дал тебе такой вот билет, тебя вряд ли пустили бы дальше гардероба!

Ощувив шок от внезапно направленного на нее света, она сначала чисто рефлекторно постаралась сохранить на лице спокойствие – а теперь вот улыбнулась.

«Маджестик» – трансатлантический лайнер, спущен на воду в 1921 году, курсировал из Саутгемптона.

Граустарк – вымышленное королевство на Балканах; место действия нескольких романов американского писателя Джорджа Барра Маккатчена (1866–1928).

В 1913 году... – ошибка Фицджеральда; «Титаник» ушел на дно 14 апреля 1912 года.

Принц Уэльский – титул наследника английского престола; летом и осенью 1919 года Эдуард, принц Уэльский (1894–1972) нанес визит в

США и Канаду; в то время он считался самым знаменитым и желанным холостяком. Во время этого визита он посетил кабаре знаменитого импресарио Флоренца Зигфилда (1869–1932) «Миднайт-Фролик» (иначе – «Полночные шалости», или же «Шоу Зигфилда»), выступавшее в ресторане на крыше нью-йоркского театра «Нью-Эмстердем» на 49-й улице.

Величество – возможно, намеренная ошибка, показывающая безразличие Джона к тонкостям титулов английской аристократии; для принца правильным титулом является «высочество».

Вельфы – европейская королевская династия (она правила преимущественно в Германии), от которой произошла британская ганноверская династия (первым королем этой династии в 1714 году стал Георг I). Георг V, отец действующего в рассказе принца Уэльского, в 1917 году переименовал династию в «виндзорскую», чтобы историческое наименование не подчеркивало ее германское происхождение.

Лекарь

(The Adjuster)

Рассказ написан в декабре 1924 года и опубликован в журнале «Редбук мэгэзин» в сентябре 1925 года. Опубликованный в журнале текст значительно отличается от окончательного варианта.

В письме к своему литературному агенту Г. Оберу Фицджеральд назвал этот рассказ «мрачноватым» и тут же добавил: «Но время покажет». В первом варианте сборника этого рассказа не было; вероятно, Фицджеральд включил его для поддержания «грустной» тональности книги.

Рю де ла Пэ – улица во втором округе Парижа; на ней располагались лучшие магазины одежды и украшений.

«*Лэдиз хоум джурнал*» – американский журнал о моде, стиле и красоте.

«*Но в свои двадцать восемь...*» – в эссе «Ранний успех» Фицджеральд ссылается на это предложение. («Это была уже поблекшая, но все еще привлекательная женщина двадцати семи лет».)

Лед и пламень

(Hot and Cold Blood)

Рассказ написан в апреле 1923 года и опубликован в журнале «Хеарстс интернэшнл» в августе того же года.

Название рассказа можно перевести буквально как «Кровь горячая и кровь холодная»; по-русски подобное притяжение противоположностей замечательно выражено в пушкинском «Евгении Онегине».

Для публикации в книге рассказ был переработан. Не считая стилистической правки – по всему тексту первой журнальной редакции фамилия главного героя и его жены была «Коатсворс» вместо «Мэйзер» – Фицджеральд исключил шесть параграфов в начале и четыре в конце текста. Первая редакция рассказа начинается так:

Возьмите, например, выражение «холоднокровный» – сразу представляются бегущие по артериям маленькие блестящие льдинки, каждые полчаса попадающие в сердце, вызывая в нем дрожь, пролетающие сквозь мозг, словно скорый поезд мимо деревушки в прерии, и превращающие добрые порывы во взвешенные решения. Неприятная картина! Но молодой Коатсворс холоднокровием не отличался. Он любил людей – и это качество встречается гораздо реже, чем о нем говорят. Некоторые ищут компании себе подобных под действием неутолимого любопытства, кое-кто – из-за полнейшей скуки, нагоняемой ими на самих себя, иные собираются в группы лишь потому, что сто тысяч лет назад питекантропы охотились группами. А молодой Коатсворс просто любил людей! Он почти не замечал их несовершенства, умел вовремя промолчать и никогда не стеснялся добрых побуждений. Он был тем, кого в мужской компании зовут «чертовски хорошим парнем». И это был вполне заслуженный комплимент. Раз уж в этом не всегда приятном мире попадают хорошие люди, так вот он и был именно такой человек.

Поэтому в университете он пользовался огромной популярностью – его выбрали вице-президентом класса и администратором какой-то спортивной команды. Затем, в

армии, он стал любимцем части, и, когда кончилась война, бывшие сослуживцы даже писали ему письма – кто из Кокомо, штат Индиана, кто из Мускатина, штат Айова – о своих успехах и неудачах, и о рождении в семье мальчишек. Коатсворс всегда отвечал на их письма, даже если был сильно занят, – он и сам отличался известной чувствительностью. И, кроме того, он был хорошим человеком.

Когда ему исполнилось двадцать семь, он влюбился в Жаклин Джеймс, которая тоже была из Индианаполиса; они поженились. Само собой, это она его на себе женила – ведь он был таким хорошим парнем! Почему он на ней женился, догадаться было труднее, поскольку из всех девушек в городе именно она славилась крайним эгоизмом и самой изощренной избалованностью. Люди говорили, что противоположности притягиваются, но при этом ничего похвального для Жаклин Джеймс в виду не имелось.

Спустя год после свадьбы Коатсворсы вновь стали самими собой и смогли относиться друг к другу с большим пониманием. Между ними была очень сильная супружеская любовь, и никто из них не замечал ничего особенно тревожащего в другом, поскольку эгоист и бесребреник конечно же прекрасно ладят друг с другом. Ему нравилось, что она холодна, чиста, изящна и носит свой твердый характер, словно доспехи, защищающие ее от всего остального мира, и лишь с ним она нежна и добра. Она напоминала ему серебряную чашу. Она была цветком с высоких гор, где все покрыто холодной росой.

Вот именно такой она и была, когда однажды зашла к нему на работу, где он, с успехом чуть выше среднего, занимался оптовыми поставками продуктов. Мисс Клэнси, секретарша, с восхищением ей кивнула, когда она с высокомерным видом прошла мимо нее в кабинет к мужу.

А завершалась первая редакция рассказа вот такой концовкой:

Когда он вернулся на веранду, она нерешительно сказала:

– Ты ведь тоже устал? Наверное, лучше тебе меня сегодня не носить?

Но он взял ее на руки; войдя в дом и не опуская ее, он закрыл входную дверь, выключил свет на первом этаже и стал подниматься по лестнице.

– Поставь меня! – прошептала она. – Ты ведь...Ты ведь целую семью несешь!

Но он лишь рассмеялся и сказал, что ничуть не устал. И она ему поверила, потому что это была чистая правда.

Бессемеровская сталь – от обычной, мартиновской, стали отличается большей твердостью и упругостью.

«Разумнее всего...»

(«*The Sensible Thing*»)

Рассказ написан в ноябре 1923 года и опубликован в еженедельном журнале «Либерти» 5 июля 1924 года. При публикации в журнале редакторы, по выражению Фицджеральда, «искромсали» текст, поэтому для книги Фицджеральд убрал редакторские правки.

В письме к М. Перкинсу Фицджеральд дал такое пояснение к этому рассказу: «Рассказ о нас с Зельдой. Чистая правда».

История с увольнением в начале рассказа, возможно, произошла на самом деле – о своем опыте работы в рекламном агентстве Фицджеральд также написал очерк «Десять лет в рекламном бизнесе».

Куско, Перу – в 1920-х годах множество американских компаний работали в соседних странах.

Усни, Гретхен!

(*Gretchen's Forty Winks*)

Рассказ написан в январе 1924 года и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей ивнинг пост» 15 марта того же года; рассказ был также опубликован в сборнике «Тузы: сборник рассказов» (Нью-Йорк, 1924). Журнальная версия текста отличается от книжной лишь незначительной стилистической правкой.

В отправленном 1 июня 1925 года письме М. Перкинсу Фицджеральд охарактеризовал рассказ так: «Фаррер, Кристиан Гаусс и

Джесс Уильямс считают, что это – мой лучший рассказ. Это не так!» (Здесь упомянуты: Фаррер, Джон Ч. (1896–1974) – редактор журнала «Букмен»; Гаусс, Кристиан (1878–1951) – профессор литературы из Принстонского университета, читавший Фицджеральду курс по английской поэзии; Уильямс, Джесс Линч (1871–1929) – один из основателей принстонского театрального клуба «Треугольник», писатель и лауреат Пулицеровской премии за 1917 год).

Дополнения к сборнику «Все эти юноши печальные...»

Гитара, кости и кастет

(Dice, Brass Knuckles and Guitar)

Рассказ написан в январе 1923 года и опубликован в журнале «Хеарстс интернэшнл» в мае 1923 года.

Фицджеральд собирался включить этот рассказ в сборник «Все эти юноши печальные...», в связи с чем исходный журнальный текст был значительно сокращен (эта сокращенная версия сохранилась). Но в книгу рассказ в этой версии не вошел, и ее нельзя рассматривать в качестве окончательной редакции. Для перевода избран полный, не сокращенный, вариант текста.

В письме редактору М. Перкинсу (1 июня 1925 г.) Фицджеральд охарактеризовал рассказ как: «Буйный джаз в моей ранней манере».

Средневикторианским – речь идет о периоде с 1855 по 1870 г.

Миссис Хамфри Уорд – псевдоним британской романистки Мэри Августы Арнольд (1851–1920); ее самый популярный роман «Роберт Элсмер», посвященный необходимости морального обновления человека, был опубликован в 1888 году.

Амантис – это имя было популярным на американском Юге с середины XIX и вплоть до начала XX века; в серии душещипательных романов Энни Феллоуз Джонстон (1863–1931) «Маленький командир, или Фрейлина» Амантис – имя супруги «Старого командира», бабушки главной героини.

Джим Пауэлл – он также является героем рассказа Фицджеральда «Лоботряс» (из сборника «Сказки века джаза»). Рассказ «Гитара, кости

и кастет» примыкает к серии рассказов о городе Тарлтоне (в которую входят рассказы «Ледяной дворец», «Цент на двоих» и «Последняя южная красавица»). Но хотя темой рассказа также является сравнение обычаев американского Севера и Юга, место действия этого рассказа – не Тарлтон.

Горы Адирондак – горный хребет и прилегающая к нему местность на северо-востоке штата Нью-Йорк.

Тысяча островов – архипелаг, состоящий из 1864 островов на границе США и Канады, в устье реки Сен-Лоренс, вытекающей из северо-восточного угла озера Онтарио.

Ньюпорт – город, центр одноименного округа штата Род-Айленд. С середины XIX века в этом городе стали строить летние особняки богатые южные плантаторы; чуть позже к ним присоединились и выходцы с севера, и город превратился в летний курорт для богатейших семейств Америки.

Учат и «джелли-ролл», и «восход над Миссисипи» – здесь и далее по тексту упоминаются модные в 1920-х годах джазовые танцевальные мелодии, стили и движения, зародившиеся в южных штатах США (это «чикаго», «мемфисские боковые», «прошвырнемся по бережку» – он же «риверфронт-шафл», «флоридская канитель»).

Насвистывая без тени уныния «Дженни, царица лентяев» – здесь упоминается та же самая песенка, которую Фицджеральд упоминает в рассказе «Лоботряс»; скорее всего, Фицджеральд придумал ее сам.

Георгианском стиле – в англоязычных странах общий термин «георгианская архитектура» относится к архитектуре XVIII века (эпоха короля Георга), подобно тому как все многообразие архитектурных стилей XIX века обозначается термином «викторианская архитектура».

Ринг Ларднер

(*Ring*)

Очерк написан в 1933 году и опубликован в еженедельнике «Нью Рипаблик» 11 октября 1933; также опубликован в книге «Антология „Нью Рипаблик“ 1915–1935» (Нью-Йорк, 1935).

Сборник рассказов «Все эти юноши печальные...» Фицджеральд посвятил своим друзьям: Рингу и Эллис Ларднерам. В ответ на это посвящение Ринг Ларднер, который в своих книгах посвящений не

делал, включил в предисловие к вышедшему в 1926 году сборнику своих рассказов «Любовное гнездышко» (Нью-Йорк, 1926) следующий абсурдный пассаж:

В разгар работы соперничество между Ларднером, Скоттом Фицджеральдом и Опи Ридом [(1852–1939) – американский журналист, юморист родом с Юга – здесь и далее курсивом в тексте прим. пер.] за сердце Лили Лэнгтри [(1853–1929) – знаменитая американская театральная актриса, прославившаяся своей красотой и очарованием, ставшая прототипом Ирен Адлер из «Рассказов о Шерлоке Холмсе» А. Конан-Дойла] достигло своего апогея. Во время званого обеда, на котором присутствовали и бушующая красавица, и ее бешеные поклонники, тамада Джеральд Чапмен [(1887–1926) – американский гангстер, получивший прозвище «Благородный взломщик» и первый, кого пресса назвала «врагом нации номер один»] попросил мисс Лэнгтри встать и произнести тост за «того, кто ей больше всех нравится». Мускулы Фицджеральда и Рида напряглись, а ларднеровские мускулы – и не подумали.

Выдержав паузу, которая, казалось, затянулась на весь вечер, но на самом деле продлилась всего лишь его половину, мисс Лэнгтри встала, подняла свой бокал и произнесла: «Я хочу выпить за здоровье „Красного“ Гранжа! [(1903–1991) – звезда американского футбола, халфбек, в то время играл за университет Иллинойса; его семья проживала в городе Уитон, штат Иллинойс, где он в юности подрабатывал разносчиком льда – отсюда его кличка, упоминаемая далее; далее его сравнивают с другими звездами футбола того времени]». Хестон, быть может, в защите и лучше его, а Кой, Торп, Эхерсол и Мейхен обладают большей гибкостью, но я, как и весь общественный транспорт, снимаю шляпу перед «разносчиком льда из Уитона!»

Мисс Лэнгтри внимательно следила за успехами университетских спортивных команд, и именно с ее легкой руки получил название один город в Нью-Джерси – Равей, – потому что он расположен по дороге в Рутгерс [Рутгерский

университет в Нью-Джерси], Принстон и университет Пенсильвании.

Ее тост по-разному подействовал на трех ее обожателей. Рид встал и рассказал анекдот о двух метисах, Семиноле и Деминоле [семинолы – индейское племя; «семи-» – приставка со значением «наполовину»; «деми-» – в английском языке приставка с тем же значением, образованная от латинского корня]. Ларднер и Фицджеральд принялись играть в бильярд, и стали по разу в неделю взвешиваться. Нередко на глаза их наворачивались слезы – или, что было лучше, они теряли дар речи.

Американский писатель Рингголд (Ринг) Уилмер Ларднер (1885–1933) был близким другом Ф. Скотта Фицджеральда и его жены Зельды. Именно с Ларднером Фицджеральд отплясывал в 1923 году на лужайке перед домом, где остановился английский писатель Джозеф Конрад, дабы таким образом выразить знаменитому англичанину дань уважения. Творческий метод Ларднера как сатирика – поиск ужасного, трагического и отвратительного в будничной жизни; приемы – пародия, язвительные комментарии и гротеск; любимые темы – эгоизм, равнодушие и практицизм «среднего класса». Рассказы Ларднера обычно горькие и начисто лишены «счастливых концовок». В России Ларднер стал известен гораздо раньше, чем сам Фицджеральд: первый его авторский сборник, «Новеллы», вышел в советском издательстве ГИХЛ еще в 1935 году. К сожалению, на русский язык не переводилось ни одного из «бейсбольных» или «спортивных» произведений Ларднера, принесших ему славу на родине. В текстах Фицджеральда Ринг Ларднер стал прототипом «мужчины в очках, придававших его лицу нечто свиное» из романа «Великий Гэтсби», а также прототипом трагически погибшего композитора Эйба Норта из романа «Ночь нежна».

Ближайшим соседом – В 1922–1924 году Скотт и Зельда Фицджеральды проживали в доме на Лонг-Айленде, по соседству с Ларднерами.

Судьба нескольких пушистых котят – здесь идет речь о спортивной колонке, в которой Ларднер с 3 по 7 октября 1922 года освещал финал чемпионата США по бейсболу; борьба в том году

развернулась между командами «Гиганты» и «Янки», и Ларднер, чтобы оживить колонку, придумал пари с женой, в результате которого он якобы пообещал купить ей меховое манто, – но по ошибке он поставил на «Янки», которые проигрывали, и Ларднеру, якобы из-за нехватки средств, ничего не оставалось, кроме как пустить на воротник живших в доме котят; шутка продолжалась весь финал чемпионата, который закончился победой «Гигантов». Фицджеральд впервые познакомился с Ларднером в 1921 году, но их дружба началась только после второй встречи, состоявшейся в сентябре 1922 года; именно об этом повторном знакомстве он и вспоминает.

Грентленд Райс – Грентленд (Грант) Райс (1880–1954) – американский спортивный журналист, ближайший друг Ларднера.

Джон Уилер – журналист, управлявший американским газетным синдикатом «Белл Синдикат», для которого Ларднер писал колонку, которая печаталась в более чем 150 газетах по стране.

Карикатуристу Тэду – Тэд – псевдоним по инициалам американского художника Томаса Алоизия Доргана (1877–1929), больше прославившегося в качестве создателя и популяризатора американского сленга 1920-х годов. Тэд в 1922–1925 годах был художником комиксов ларднеровского сериала «Эл, ты ж меня знаешь!». Ларднер придумывал сюжеты для выпусков этого сериала о дальнейших приключениях «качка» Джека Кифа – героя его одноименной книги, вышедшей в 1916 году и упоминаемой Фицджеральдом далее; этот сериал приносил Ларднеру множество хлопот в творческом плане, но был очень популярен и прекрасно оплачивался.

«Качок» – в оригинале употреблен спортивный сленговый термин «the busher», означающий спортсмена-дилетанта, выступающего в провинциальной бейсбольной команде; спортивная индустрия в России сильно отличается от американской, поэтому в переводе использовано близкое сленговое понятие, означающее спортсмена-любителя, пусть и не отображающее реалии оригинала, но обладающее необходимым уничижительным оттенком.

Одно издательство – здесь идет речь об издательстве «Скрибнерс», в котором публиковались книги Фицджеральда; именно Фицджеральд познакомил Ларднера с редактором Макссуэлом Перкинсом.

Менкен – Говард Луис Менкен (1880–1956) – американский журналист, сатирик, исследователь языка и влиятельнейший литературный критик 1910-1920-х годов.

Ф. П. А. – инициалы, которыми подписывался Франклин П. Адамс (1881–1960), американский журналист, который вел знаменитую колонку в газете «Нью-Йорк уорлд», где рассказывал о ночной жизни нью-йоркского «высшего общества», рецензируя модные театральные постановки и книжные новинки; в частности, в 1920 году он иронизировал над первым романом Фицджеральда, публикуя в своей колонке списки опечаток и «ляпов» из книги; как и упомянутый ранее Менкен, был восторженным поклонником виртуозно владевшего американским просторечием Ларднера.

Ироничную зарисовку о Зигфилде – здесь идет речь о рассказе Р. Ларднера «Один день с Конрадом Грином», прототипом героя которого является импресарио Зигфилд (см. примечание к рассказу «„Сиротка“ Мартин-Джонс и Пр-нц У-льский»).

Джорджа Кауфмана – В соавторстве с Джорджем Кауфманом (1889–1961) Ларднер написал успешную комедию «Июньская луна», основанную на сюжете его рассказа «Кто любит холодных», поставленную в октябре 1929 и выдержавшую целых 273 представления на Бродвее.

«Кьюбс» – речь идет о профессиональном бейсбольном клубе «Чикаго Кьюбс»; Ларднер прославился, путешествуя в качестве репортера вместе с выступавшими по стране составами этого клуба.

Ромба Фрэнка Ченса – здесь идет речь о поле бейсбольного стадиона, представляющем собой по форме ромб; Фрэнк Ченс (1877–1924) – знаменитый в свое время игрок американской бейсбольной лиги.

«Высоколобым» – в оригинале употреблен термин «ivory», вызывающий ассоциацию с известной метафорой «башня из слоновой кости», обычно воспринимаемой американцами как отсылку к снобизму и надменности интеллигенции.

Крестового похода против модных скабрёзных песенок – с июня 1932-го по август 1933 года Ларднер работал в качестве радиокритика журнала «Нью-Йоркер», и в нескольких выпусках своей колонки он обрушился на скабрёзность текстов отдельных популярных песен, звучавших по радио.

Осталась книга... – далее Фицджеральд перечисляет ключевые книги Ладнера: «Эл, ты ж меня знаешь!» – вышла в 1916 году, по форме это сборник писем наглого и недалекого «качка», игрока заштатной бейсбольной команды, в которых он описывает типичную жизнь команды второго эшелона; «Как писать рассказы» – сборник вышел в издательстве «Скрибнерс» в 1922 году, Фицджеральд участвовал в составлении этого сборника и придумал название для книги; третья неназванная книга – это сборник «И что с того?», вышедший в 1925 году. Отдельные рассказы из всех этих сборников переводились на русский язык.

«*Меланхолик Жак*» – речь идет о персонаже из комедии Шекспира «Как вам это понравится?», произносящем знаменитый монолог, начинающийся словами «Весь мир – театр, и люди в нем актеры».

Концерт клуба «В складчину» – речь идет о нью-йоркском клубе художников, писателей и артистов, организованном в начале XX века и существующем до сих пор; членами клуба в разное время были многие знаменитые американские юмористы и писатели; клуб организует ежегодные обеды с концертами-«капустниками».

Джерри Керна – Джером Керн (1885–1945) – американский композитор, писавший для театра и кино.

Паломничество к одру больного – в последние годы жизни Ларднер был вынужден проходить плановые курсы лечения в больнице.

пародии на тексты песен Коула Портера для журнала «Нью-Йоркер» – речь идет о выпуске радиоколонки Ларднера в журнале «Нью-Йоркер» от 6 мая 1933 года, где была опубликована пародия на текст песни «Ты меня достала» Коула Портера (1893–1964).

Отбой на заре

(Taps at Reveille)

К подготовке этого сборника рассказов Фицджеральд приступил в мае 1934 года, после публикации романа «Ночь нежна». За десять лет, прошедших с выхода предыдущей книги рассказов, у Фицджеральда накопилось большое количество разноплановых произведений, поэтому он разработал целых четыре варианта состава сборника (первый – сборник новых рассказов с добавлением лучшего из прошлых сборников, второй – книга рассказов о Бэзиле и

Жозефине, третий – сборник только новых рассказов, четвертый – сборник очерков и статей). Редактор Максуэлл Перкинс из издательства «Скрибнерс» выступил за второй вариант, но Фицджеральд передумал – перечитав рассказы о Бэзиле и Жозефине, он счел, что они «не так хороши, как казалось». Кроме того, эти рассказы в виде отдельной книги могли быть восприняты читателями почти как роман, что представляло собой определенный риск для Фицджеральда в художественном плане. Американский писатель Бут Таркингтон (1869–1946), высоко ценимый Фицджеральдом, работал по подобному плану при создании трилогии о Пенроде; по мнению Фицджеральда, риск заключался в том, что при выпуске такой книги публика могла счесть, что Фицджеральд пытается продать продукт «вроде разбавленного молока под чужой маркой» (из письма М. Перкинсу, 15 мая 1934 г.). Кроме того, объединение рассказов в единое целое потребовало бы довольно много времени. Поэтому Фицджеральд решил «разбить» эту серию и включить в свой новый сборник лишь часть из нее.

Таким образом, в работу пошел третий вариант – только новые рассказы. Рабочим названием книги стало «Новые сказки века джаза»; в июне 1934 Фицджеральд выслал целый список других названий, из которых М. Перкинсу больше всего понравилось «Бэзил, Жозефина и другие», о чем он написал Фицджеральду, сделав оговорку: «Лучше было бы придумать название с намеком на то общее, что есть у всех вещей в этом сборнике».

С выбором рассказов Фицджеральд определился практически сразу; в первый вариант не входили рассказы «Тень плененная» и «Тихое и приятное место» (они попали в сборник по просьбе М. Перкинса), а также два рассказа из журнала «Эсквайр». Название «Отбой на заре» было придумано в августе, редактирование текстов шло с ноября 1934-го по февраль 1935 года.

В книгу попали как общепризнанные шедевры «позднего» Фицджеральда – «Последняя южная красавица» и «Снова в Вавилоне», – так и написанные в совершенно иной манере рассказы, опубликованные в журнале «Эсквайр» буквально накануне публикации в книге (рассказы «Ночь у Ченслорсвилля» и «Изверг»). Эти рассказы «не позволят людям сказать, что все это, мол, стандартные рассказы из „Сатердей ивнинг пост“, потому что эти две вещи совершенно

точно не оттуда», писал Фицджеральд редактору 17 декабря 1934 года. Рассказы из «Эсквайра» особенно интересны тем, что после ряда творческих неудач 1936 года (около десятка написанных в то время текстов не опубликованы до сих пор, хотя Фицджеральд является общепризнанным классиком – эти тексты и в самом деле представляют собой очевидные творческие неудачи) Фицджеральд регулярно публиковался только в журнале «Эсквайр», разработав для него особый формат «сверхсжатого» рассказа и окончательно перестав создавать большие рассказы в формате «Сатердей ивнинг пост».

В самый первый вариант сборника входило еще два текста: «Лестница Иакова» и «Чистый лист» (в процессе работы над книгой он был заменен на рассказ «Последний пациент»). Но после просмотра гранок книги от этих текстов было решено отказаться, поскольку многие пассажи из этих текстов переключались в роман «Ночь нежна» и для включения в книгу тексты требовалось значительно переработать.

Для книги Фицджеральд подготовил следующее краткое предисловие:

Еще до того, как был написан последний из этих рассказов, описанный в них мир ушел в небытие. Вот почему какой-нибудь рецензент может не устоять перед искушением и связать название этого сборника с его возможной судьбой. Но практически каждый из этих рассказов – а они были отобраны из пятидесяти с лишним! – в момент написания значил для автора очень много; каждый из них представляет собой попытку с наивысшим тщанием изобразить то героя, то чувство, то ситуацию – и это все, что можно сделать в малой форме.

Это предисловие Фицджеральд из текста книги убрал, опасаясь, что оно может каким-либо образом повлиять на рецензии.

Сборник вышел 20 марта 1935 года. Отзывы критиков на книгу были положительными, но публика раскупала книгу неохотно – допечаток первого тиража не потребовалось. Отчасти это объяснялось тем, что Америка в то время переживала период Великой депрессии, а актуальной литературной темой считались проблемы рабочего класса.

Охотники за скандалами

(The Scandal Detectives)

Рассказ написан в марте 1928 года и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей ивнинг пост» 28 апреля 1928 года.

Это первый рассказ из цикла о Бэзиле Дьюке Ли; прототипом главного героя стал сам Скотт Фицджеральд. Материалом для рассказов этого цикла стали события из жизни Фицджеральда начиная примерно с 1907 года, когда его семья переехала в Буффало (в штате Нью-Йорк), и вплоть до 1913 года, когда Фицджеральд поступил в Принстонский университет – в той части «Гроссбуха» писателя, где он вел нечто вроде ежемесячного дневника, имеются достаточно подробные и узнаваемые записи о событиях, легших в основу данных рассказов.

Композиционно каждый рассказ цикла, за исключением одного («Тень плененная»), построен таким образом, что герой дважды – в начале и в конце – попадает в похожие ситуации, но каждый раз реагирует на них по-разному, что позволяет сделать вывод о том, как изменяется (в лучшую, разумеется, сторону) его характер.

Рассказы о Бэзиле ярко демонстрируют творческий метод «двойного видения», когда писатель одновременно и принимает участие в повествовании, и анализирует это участие – этот метод Фицджеральд впервые применил в романе «Великий Гэтсби», где писатель одновременно действует в образе Гэтсби и анализирует в образе Ника. Возможно, в данном цикле этот метод проявился еще более ярко – мальчишеский романтический идеализм героя (по сути, самого себя) взрослый Фицджеральд часто уравнивает с помощью иронии.

Цикл также наполнен деталями американской жизни начала XX века, до начала Первой мировой войны. Например, в одном из эпизодов, когда Бэзилу крайне важно выглядеть «на все сто», на нем «белые полотняные бриджи, крапчатая шерстяная куртка с поясом, воротничок марки „Бельмонт“ и серый вязаный галстук» («Охотники за скандалами»); практически в каждом рассказе упоминается какая-либо остроумная песенка начала века.

Школа в Паулинге – частная подготовительная школа для мальчиков в г. Паулинг, штат Нью-Йорк. Основана в 1907 году бывшим директором школы Св. Павла на Лонг-Айленде Фредериком Лютером Геймеджем; школа находилась под покровительством американской Епископальной церкви.

«Геттисбергская речь» Линкольна – одна из известнейших речей в американской истории; она была произнесена Линкольном 19 ноября 1863 года на открытии Национального солдатского кладбища в Геттисберге (штат Пенсильвания). В речи президент обратился к принципам равенства и дал новую оценку Гражданской войне, назвав ее возрождением свободы, призванным даровать равноправие гражданам и создать единое американское государство; речь является образцовой и входит в американскую школьную программу.

Арсен Люпен – персонаж серии популярных романов французского писателя Мориса Леблана (1864–1941); английские переводы публиковались с 1907 года и завоевали огромную популярность (в России эти романы были не менее популярны среди подростков того же времени); Арсен Люпен действует во имя добра, но по другую сторону закона.

...питчера и кетчера... – бейсбольная терминология в России в силу достаточно малой распространенности этой игры обычно представляет собой прямую транслитерацию; *питчер* – это игрок, выполняющий роль подающего мяч нападающего, а *кетчер* – это игрок, который должен поймать поданный питчером мяч.

«*Хоум Ран*» – сорт сигарет, который ценился у подростков начала века из-за того, что в пачки этих сигарет вкладывались коллекционные карточки с изображениями игроков профессиональной бейсбольной лиги; это название представляет собой также бейсбольный термин (см. примечание к рассказу «Наглый мальчишка»).

«*Ах, моя любезная Клементина!*» – американская комическая народная песня, рассказывающая о том, как утонула дочь шахтера, оставив своего возлюбленного горевать (текст примерно такой: «В уголке у церковной оградки, где мирты сплели свои ветви, на косточках Клементины распускаются цветочки...»).

Двор Уортонов – Фицджеральд далее описывает реально существующее место – двор дома Эймсов (дом номер 501 по улице Гранд-Хилл в городе Сент-Пол); этот дом и двор рядом с ним

существуют до сих пор, а двор сохранился практически в том же виде, что и во времена юности Фицджеральда.

«Маки» – в оригинале употребляется презрительное прозвище бедных ирландских эмигрантов; у ирландцев распространены фамилии, начинающиеся с приставки «Мак-» (например, Маккарти, Маккена и т. д.).

Харрисон Фишер (1875–1934) – американский иллюстратор эпохи модерна, прославившийся как создатель элегантных и узнаваемых женских образов в легком и воздушном стиле; созданные Фишером женские портреты («Девушки Фишера») публиковались в журналах начала XX века и являлись эталонами женственности, грации и изящества для подростков того времени, наряду с работами другого иллюстратора Чарльза Д. Гибсона (1867–1964) («Девушки Гибсона»); в 1927 году Фишер создал портреты Фицджеральда и Зельды в технике пастели, которые сегодня входят в коллекцию «Национальной портретной галереи» Смитсоновского института в Вашингтоне.

Модную песенку «Гризли» – мелодия, под которую исполнялся скандальный танец, впервые появившийся в Сан-Франциско в начале XX века (его скандальность состояла в том, что фигуры танца пародировали страстные, «медвежьи», объятия партнеров). Также упоминается в рассказе «Он думает, что он – просто чудо!».

Наглый мальчишка

(The Freshest Boy)

Рассказ написан в апреле 1928 года и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей ивнинг пост» 28 июля 1928 года.

Экспресс «Бродвей Лимитед» – роскошный железнодорожный экспресс начала XX века, курсировавший ежедневно по маршруту Чикаго – Филадельфия – Нью-Йорк (длина маршрута составляет около 900 миль); учившаяся в престижных колледжах на востоке США молодежь со Среднего Запада обычно ездила именно этим поездом.

«Кантри-дей» – здесь речь идет о подготовительной школе; течение «Кантри-Дей» появилось в системе прогрессивного образования США в конце XIX века. Школы «Кантри-Дей» (это транслитерация англ. слов «пригород» и «день») ставили перед собой

задачу поддержания строгой дисциплины среди учеников, создания атмосферы товарищества и предпосылок для развития лучших аспектов характера, по примеру подготовительных школ-пансионов – с той разницей, что ученикам разрешалось покидать школу по окончании занятий, т. е. жить дома. Такие школы в начале XX века располагались в городских пригородах, где селились в собственных домах зажиточные семьи, пытавшиеся таким образом дистанцироваться от минусов жизни в городе (в английском языке того времени понятие «пригород» выражалось не нынешним словом «suburb», а словом «country» – букв. «деревня» или «за городской чертой»). Как ни странно, точно такая же тенденция наметилась сто лет спустя и в современной России – напр., знаменитая «Рублевка».

«Вся школа и я лично будем крайне обязаны...» – примерно такая заметка на самом деле появилась в школьной газете, когда Фицджеральд учился в школе Ньюмана; вместо имени «Бэзил», разумеется, стояло имя «Скотти» – об этом есть запись в «Гроссбухе» Фицджеральда.

Школа Св. Риджиса – придуманное Фицджеральдом название учебного заведения; его прототипом стала подготовительная школа Ньюмана в городе Хакенсак (штат Нью-Джерси), где учился Фицджеральд. В школе Св. Риджиса также учится герой первого романа Фицджеральда «По эту сторону рая» Эмори Блейн.

«Квакерша» – Бродвейский мюзикл, который Фицджеральд смотрел в 1911 году, во время учебы в школе Ньюмана. В «Квакерше» роль главной героини – юной англичанки, влюбляющейся в посетившего ее деревеньку американского туриста, – исполняла знаменитая в то время актриса Ина Клер (1893–1985).

«Пастушок» – эту оперетту (ее второе название «Лорд Пикколо»), по сюжету которой двадцатитрехлетняя актриса Гертруда Брайан (1888–1976) играла юную трактирщицу, выдававшую себя за наследника состояния шотландского лорда, Фицджеральд также смотрел в 1911 году; английское название оперетты «Little Boy Blue» восходит к детскому стихотворению из книги «Рифмы Матушки Гусыни» (в русском переводе И. О. Родина – «Пастушок»: «Звуков рожка не слышно в полях...»), но стихотворение с сюжетом оперетты никак не связано.

Генеральчик – в буквальном переводе кличка Бэзила звучала бы как «Шишка» или «Командир»; но Бэзил обладает значимой для любого американца фамилией «Ли», которая прямо-таки подсказывает отдать «дань уважения» всем известному генералу, проигравшему Гражданскую войну.

Епископальная церковь – см. примечание к рассказу «Богатый парень».

Харрисон Фишер – см. примечание к рассказу «Охотники за скандалами».

«Велия» или «Пойду к „Максиму“ я...» – Песенки из оперетты «Веселая вдова» композитора Франца Легара (1870–1948); оперетта была впервые поставлена в Вене в 1905 году, а премьера в Нью-Йорке состоялась в 1908 г.

Зунд – имеется в виду Лонг-Айленд-Зунд, пролив между островом Лонг-Айленд и материком.

Клаб-сэндвич – бутерброд из трех ломтей хлеба и двух разных закусок между ними.

Парфе – замороженный сладкий десерт из взбитых с сахаром и ванилью сливок (слоеное мороженое); подается в высоком узком бокале на короткой ножке.

Гостиница «Уольдорф» – в период действия рассказа гостиница «Уольдорф» располагалась на перекрестке Пятой авеню и 33-й улицы; впоследствии на этом месте был построен небоскреб Эмпайр Стейт Билдинг. Гостиница «Уольдорф» была связана крытой галереей с расположенной рядом гостиницей «Астория».

Тэд Фей – прототипом этого героя стал Тэд Кой (1888–1935), фулбэк, игравший за Йельский университет с 1907 по 1909 год; в сезоне 1909 года он был избран капитаном йельской спортивной сборной; именно эта легендарная сборная выиграла все десять игр сезона подряд «всухую». Фамилия «Фэй» была позаимствована Фицджеральдом у монсиньора Сигурни Фэя (см. примечание к очерку «Краткая автобиография»).

Гостиница «Никербокер» – располагалась на перекрестке Бродвея и 42-й улицы, вблизи театрального квартала; в этой гостинице всегда останавливался знаменитый итальянский тенор Энрике Карузо.

Хоум-раны – разновидность игровой ситуации в бейсболе, когда бэттер и раннеры на базах успевают совершить полный круг по базам

и попасть в «дом» (то есть совершить пробежку). Это один из самых зрелищных и любимых публикой моментов в игре; в рассказе «Охотники за скандалами» упоминается марка сигарет, названная в честь этого эпизода игры.

Он думает, что он – просто чудо!

(He Thinks He's Wonderful)

Рассказ написан в июле 1928 года и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей ивнинг пост» 29 сентября 1928 года.

«В глухую полночь» – небольшой рассказ с таким названием действительно был опубликован в июле 1921 г. в журнале детективных историй «Манси», его автор – Френсис Ливингстон Монтгомери; в начале XX века в периодике появлялись и другие детективные рассказы этого совершенно забытого ныне писателя (он публиковался в период с 1908 по 1928 г.), но книги с таким названием у него нет; скорее всего, Фицджеральд просто использовал первое вспомнившееся «детективное» название из старой развлекательной периодики для подростков.

Линия Чикаго – Милуоки – Сент-Пол – железнодорожная ветка, открытая в 1874 году, шла через штаты Висконсин, Миннесота, Айова, Южная Дакота и Мичиган; именно по этой ветке Бэзил должен был проехать последний участок своего пути домой (от Чикаго до Сент-Пола).

Смотровой вагон – на американских железных дорогах начала века в поездах имелись пассажирские вагоны первого класса со специальными отделениями для осмотра местности.

Электромобиль – см. примечание к рассказу «Богатый парень».

Меланхолик Жак даже не упоминает о нем... – см. примечание к очерку «Ринг Ларднер».

«... по Лунной бухте...» – здесь и строчка далее – слова из популярной песни «По Лунной бухте». Эта песня впервые появилась в 1912 году, автор музыки – Перси Уэнрих (1887–1952), автор слов – Эдвард Мэдден (1878–1952), песня часто исполнялась «а капелла» вчетвером. Одно из самых известных исполнений – группа «Битлз» на телешоу «Морекомби и Вайз».

«Бeverлей Граустаргский» – один из романов Джорджа Барра Маккатчена (1866–1928); роман экранизировался в 1926 году Сиднеем Франклином на студии МГМ.

«О, ты, чудесная игрушка...» – слова из популярной песни 1911 года, музыка Нэта Д. Эйера (псевд., наст. имя Натаниэль Дэвис, 1887–1952), слова – Сеймор Браун (1887–1945); песня была записана в 1912 году Биллом Мюррем и «Американским квартетом», став настоящим хитом.

Блэк-Бэр – поселок и озеро с таким же названием упоминается в рассказе «Зимние мечты».

«Моя любовь...» – слова из песни «Мой сладкий», слова и музыка Джозефа Маккарти (1885–1943). Песня была записана в 1912 году «Байсон Сити Фор», став хитом стиля регтайм; песня также была исполнена в 1950 году актрисой Бетти Грейбл в фильме «Уобаш-авеню».

«Все делают это» – хит 1911 года, написанный Ирвингом Берлином (1888–1989); эта песня в стиле регтайм была впервые исполнена Лидией Бэрри в «Уинтер-Гарден» в Нью-Йорке.

Песенка «Гризли»... – см. примечание к рассказу «Охотники за скандалами».

Река Сен-Кру... – небольшая река, впадающая в Миссисипи милях в двадцати к юго-востоку от Миннеаполиса и Сент-Пола; эти места считались тихими, живописными и идеально подходили для пикников.

Национальный парк «Глейшер» – расположен в Скалистых горах, в штате Монтана, на границе с Канадой; с момента основания в 1910 году это место приобрело статус модного из-за своей бурно развивавшейся инфраструктуры (в парке было открыто много отелей, шале, проложены удобные дороги). Парк знаменит своими озерами (их более 130) и ледниками.

Двенадцати миль в час – в США до сих пор принято указывать расстояние и скорость в милях и милях/час; 12 миль/час – около 20 км/час, 15 миль/час – около 25 км/час.

Крест-авеню – придуманное Фицджеральдом название главной улицы города, под которым подразумевается реальная Саммит-авеню в городе Сент-Пол; это же название главной улицы упоминается и в других рассказах Фицджеральда, действие которых, как подразумевается, происходит в его родном Сент-Поле.

«*Штутц Биркэт*» – элегантный и дорогой открытый двухместный спортивный автомобиль, символ роскоши и свободы для подростков начала XX века; в рассказе «Вечером на ярмарке» эта же модель автомобиля упоминается под придуманным Фицджеральдом названием «Блатц Вайлдкэт».

Тень плененная

(The Captured Shadow)

Рассказ написан в сентябре 1928 года и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей ивнинг пост» 29 декабря 1928 года.

В сохранившейся рукописи рассказа, а также в варианте текста, опубликованном в журнале, у рассказа была иная концовка, измененная Фицджеральдом при подготовке текста для книги. В рукописи после реплики матери «– А в чем дело?» следовало:

– Да так. Мне просто грустно.

– Грустно? Почему, Бэзил?

– Не знаю. Просто грустно.

Они пришли домой. Мама ушла наверх, а Бэзил пошел на кухню, положил на тарелку клубники, насыпал хлопьев, налил полпинты сливок и размял все ложкой до состояния пюре. Закончив есть, он вдруг уронил голову на стол и заплакал так, словно сердце у него в груди вот-вот разорвется.

– Бедный малыш! Заболел свинкой! – бормотал он себе под нос, подрагивая и чувствуя себя, словно выжатый лимон. – Бедный мальчуган! Ему пришлось остаться дома, а ведь все остальные дети... они все были там!

«Вы масон?» – поставленная на Бродвее в 1901 г. комедия Лео Дитрихштейна (1865–1928), экранизированная в 1915 и 1934 годах.

«Ван-Бибер и другие» – сборник рассказов американского репортера и писателя Ричарда Хардинга Дэвиса (1864–1916), впервые опубликованный в 1892 году; главным героем книги является «стремительный» Ван Бибер, «Робин Гуд» из высшего общества, авантюрист и «благородный грабитель».

«*Сыновья полуночи*» – популярный бродвейский мюзикл сезона 1909–1910 годов; в первом составе этого мюзикла одного из главных героев – нью-йоркского «прожигателя жизни» – сыграл танцор Вернон Кастл (1887–1918).

Виктор Герберт – Бэзил собрался сотрудничать не с кем иным, как со знаменитым дирижером и композитором Виктором Гербертом (1859–1924), автором музыкальных номеров для шоу Зигфилда (см. примечание к рассказу «„Сиротка“ Мартин Джонс и Пр-нц У-льский»).

«*Ик! Ик! Ик!*» – этот драматический отрывок создан Фицджеральдом по мотивам реального мюзикла «*Фу! Фу! Фи-Фи!*», который ставился в Принстонском университете в 1914 году. Автором слов песен этого мюзикла был сам Фицджеральд; лишь из-за плохой успеваемости ему не удалось сыграть в постановке главную женскую роль; сохранилась опубликованная в газетах той поры рекламная фотография Фицджеральда в гриме и костюме главной героини.

«*Тень плененная*» – В 1912 году юный Фицджеральд действительно написал пьесу с таким названием. Пьеса была поставлена детским драматическим кружком «Элизабетинцы» (Фицджеральд принимал участие как автор и как актер) и представлена на публике 23 августа 1912 года на сцене «Женской школы миссис Бакус» в г. Сент-Пол, собрав примерно \$60, которые были направлены на благотворительность (т. е. можно сказать, постановка имела успех). Далее в тексте рассказа и имена героев, и подробности действия пьесы позаимствованы Фицджеральдом именно из этого произведения (оно сохранилось).

«*Офицер 666*» – криминальная комедия драматурга Августина Мак-Хью (1877–1928), ставшая хитом в сезоне 1912 года на Бродвее. Пьеса несколько раз экранизировалась (в 1914, 1916 и 1920 годах).

Епископ Уилберфорс – Сэмюэль Уилберфорс (1805–1873), епископ Оксфордский англиканской церкви, считался одним из выдающихся ораторов своего времени; наиболее известен полемикой с Томасом Гексли (1825–1875), в которой епископ выступал против теории эволюции Дарвина.

Сидней Смит (1771–1845) – английский сатирик и проповедник, богослов по образованию, прославившийся остроумной серией писем в защиту веротерпимости и прав католиков в Англии.

«Личный секретарь» – фарс в трех актах, адаптированный с немецкого в 1883 году актером сэром Чарльзом Генри Хаутри (1858–1923); пьеса была очень популярна в конце XIX века, а к 1910 годам превратилась в стандартную постановку для любительских театральных трупп; в «Гроссбухе» Фицджеральда есть упоминание об этой пьесе, однако остается неясным, участвовал ли он в постановке как актер, либо просто смотрел пьесу как зритель.

Уэбер и Филдс – Дуэт комиков Джозефа Уэбера (1867–1942) и Лью Филдса (1867–1941), выступавших в водевильных программах и специализировавшихся на разговорных номерах с немецким и еврейским акцентами. В 1896 году комики открыли на Бродвее мюзик-холл, где показывали короткие музыкальные комедии и пародии на популярные бродвейские шоу. Им приписывается изобретение знаменитой фразы: «Это никакая не леди – это моя жена!» (фраза произносится с немецким акцентом).

«Встретимся в тени» – оркестр играет популярную мелодию «В тени сосен», написанную Хэтти Лумисом и Дж. О. Лэнгом в 1895 году.

Безупречная жизнь

(The Perfect Life)

Рассказ написан в октябре 1928 года и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей ивнинг пост» 5 января 1929 года.

В том варианте цикла о Бэзиле, который Фицджеральд включил в свой сборник, рассказ стал завершающим – остальные рассказы этого цикла при жизни Фицджеральда никогда не перепечатывались и приводятся в качестве дополнений к этому сборнику (см. далее).

В сохранившейся рукописи рассказа имеется расширенное описание Скидди в момент первой встречи с Бэзилом в ресторане и иной вариант их первого диалога; после слов «... человек, не трезвеющий вот уже несколько дней», в рукописи следовало:

Скажем, волосы у него на макушке были зачесаны строго назад, а чуть ниже макушки разлетались в стороны. Костюм и сорочка были безупречны; он явно недавно побывал у цирюльника,

но руки были характерного бледно-серого цвета, который появляется в результате многодневного запоя.

– Отличная девушка, да? – ни с того ни с сего произнес он.

– Кто?

– Юбина! Пишет стихи, между прочим. Умна! А я вот вообще не соображаю. Мне даже никто никогда не говорил, что я соображаю!

Он опять громко вздохнул.

– Вы учитесь в университете?

– Две недели проучился.<...>

Таклы – полузащитники в линии; в их задачу входит атака квотербека и предотвращение прорывов с мячом посередине линии.

Эксетер – команда школы Св. Риджиса играет против команды школы Филипса в Эксетере, штат Нью-Йорк; поскольку аналогичная школа Филипса также располагалась в городе Андовер, штат Массачусетс, эти школы обычно сокращенно называли, соответственно, «Эксетер» и «Андовер».

Квотер (Квотербек) – или, иначе, «распасовщик»; это основной игрок нападения, принимающий мяч в начале розыгрыша; принимает тактическое решение о разыгрываемой в данный игровой момент схеме.

Тачдаун – засчитывается, когда игрок с мячом забегает в очковую зону соперника.

«Широкое шоссе» – приключенческий роман английского писателя Джеффри Фарнола (1878–1952); герой романа – авантюрист английского исторического периода Регентства Питер Вайбарт.

«Гарри-на-волосок» – речь идет о герое комиксов Чарльза Уильяма Кахлесса (1878–1931); эти комиксы были очень популярны в начале XX века: по характеру Гарри – колеблющийся эгоист; сюжет комиксов заключается в том, что Гарри постоянно пытается спасти свою возлюбленную «Прекрасную Белинду» от ловушек злодея «Неутомимого Рудольфа».

Последним кандидатом в члены тайного общества «Череп и кости» – старейшее и самое знаменитое тайное общество (братство, или «фратернити») студентов Йельского университета; оно было организовано в 1833 году, членами общества могли стать лишь

выходцы из американской аристократии; быть избранным в это общество последним, на последнем курсе университета, считалось большой честью.

Особняк Джеймса Дж. Хилла – особняк железнодорожного магната Хилла (о нем см. примечание к рассказу «Отпущение грехов») в г. Сент-Поле (Саммит-авеню, дом 240) состоял из тридцати двух комнат, двухэтажной картинной галереи и огромного танцевального зала.

Морис танцевал танго в шоу «За рекой» – в бродвейском шоу «За рекой», поставленном импресарио Зигфилдом в сезоне 1912 года, танцор Морис Мюве (1888–1927), известный под псевдонимом Морис, танцевал танго в паре с Флоренс Уолтон (1890–1981); эта пара в то время считалась соперниками пары Кастлов (о них см. далее).

Кастлы демонстрировали свой знаменитый шаг в третьем акте «Солнышка» – танцоры Вернон (1887–1918) и Ирен (1893–1969) Кастл изобрели особый стиль танца – разновидность фокстрота – названный в их честь «кастл-уолк»; британская музыкальная комедия «Солнышко», в которой исполнялся данный танец, с успехом демонстрировалась на Бродвее в 1913 году. Сохранившийся короткий видеофрагмент выступления этой пары можно увидеть по адресу: <http://www.danceheritage.org/castle.html>.

Кабаре «У Эмиля» – популярное в период до начала Первой мировой войны кабаре в театральном квартале Нью-Йорка; в этом кабаре часто выступали Вернон и Ирен Кастл.

Двигательной атаксией – довольно мрачная шутка; известное под латинским названием *tabes dorsalis* неврологическое заболевание выражается в утрате контроля над мускулами и нарушении координации движений; заболевание может развиваться вследствие сифилиса.

Долговязый англичанин и девушка в голландском чепце – речь идет о Верноне и Ирен Кастл.

«Переборщил с горчишкой» – популярная мелодия 1913 года в стиле регтайм, создана британским аранжировщиком Сесилом Маклином (1883–1944) по мотивам французской песенки «Tres Moutarde».

«Бронкс» – коктейль из джина, сладкого вермута и апельсинового сока; ингредиенты смешивались со льдом и подавались в охлажденном бокале, украшенном лимоном либо вишенкой; коктейль был очень популярен в период до начала Первой мировой войны.

Первый вылетел из класса '15 года в Шеффилде – речь идет о «Научной школе Шеффилда» – одном из колледжей в системе Йельского университета; сокращенный трехлетний курс обучения подразумевал пониженные требования к студентам этого колледжа, и обучающиеся по этой программе считались в Йеле «низшей кастой»; тот факт, что Скидди умудрился первым из студентов «вылететь» из этой школы, нужно воспринимать как полнейшую противоположность упомянутой ранее в тексте студенческой чести стать «последним кандидатом в „Череп и Кости“».

Бар-Харбор – курортный городок на острове Маунт-Дезерт, в штате Мэн; был популярным местом отдыха богатых семей и светского общества в период «позолоченного века» (см. примечание к рассказу «Богатый парень»).

Озеро Блэк-Бэр – придуманное Фицджеральдом название (см. примечание к рассказу «Зимние мечты»).

Играли в «почту» – детская игра начала века; играющие разделяются на две группы (обычно группа мальчиков и группа девочек), одна группа уходит в другую комнату, которая становится «почтовым отделением»; играющие из второй группы по очереди проходят в «почтовое отделение», где их целуют все находящиеся в «отделении» «работники»; затем «посетитель» возвращается обратно к своей группе; по окончании посещений группы меняются местами.

Танцевальную школу Кастлов – этот клуб находился на 46-й улице, напротив отеля «Ритц-Карлтон», он был организован на деньги нескольких представительниц нью-йоркского «высшего общества» и предназначался для обучения членов высшего общества новейшим танцам. Вернон и Ирен Кастл выступали здесь в роли учителей и разрешили использовать свои имена для рекламы. В одном из залов обычно играл джаз в исполнении негритянского оркестра (что считалось очень смелым ходом в те времена – ср. замечание Джима Пауэлла в рассказе «Гитара, кости и кастет» о том, что ему в его положении черных музыкантов нанять невозможно), а в другом помещении стандартный струнный оркестр исполнял матчиш и танго. Подростки возраста Бэзила танцевали в этом заведении во второй половине дня; взрослая публика съезжалась по вечерам.

Испанское танго – скорее всего, Фицджеральд здесь имеет в виду бразильское танго, т. е. классический тустеп, чередующийся с

элементами танго.

Бостон – вид вальса, гораздо более медленный и не столь выразительный, как танго.

Гостиница «Билтмор» – гостиница располагалась на перекрестке Мэдисон-авеню и 43-й улицы, вблизи Центрального вокзала; ресторан этой гостиницы считался самым удобным местом для утренних встреч за завтраком.

Гринвич – город Гринвич (штат Коннектикут) был основан в 1640 году; он расположен на берегу бухты Лонг-Айленд, в 28 милях от Нью-Йорка. Город был связан с Манхеттенom железнодорожной веткой и считался идеальным местом жительства для деловых людей, не желавших селиться в шумном Нью-Йорке.

«*Колючка*» – очень мощный коктейль из двух частей виски и одной части мятного ликера; подается как со льдом, так и теплым; дословно этот напиток иногда называется «стингер», но в русском языке название «стингер» традиционно закрепилось за американскими зенитно-ракетными комплексами.

Первая кровь

(*First Blood*)

Рассказ написан в январе 1930 года и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей ивнинг пост» 5 апреля 1930 года.

Прототипом образа героини этого цикла Жозефины стала первая любовь Фицджеральда – красавица из Чикаго Джиневра Кинг, являющаяся прототипом Джуди Джонс из рассказа «Зимние мечты» (см. комментарий выше). Вероятно, разрыв отношений между Фицджеральдом и Джиневрой прошел для Фицджеральда крайне болезненно – все рассказы этого цикла пронизаны недобрым чувством по отношению к героине, все ее предприятия заканчиваются неудачно; в отличие от героя предыдущего цикла – Бэзила – Жозефина так ничему и не учится и в конце концов терпит поражение.

Варьете – здесь упомянуто в собирательном смысле; это театральная программа с различными номерами; в оригинале Трэвис упоминает знаменитое шоу Зигфилда (см. примечание к рассказу

«„Сиротка“ Мартин-Джонс и Пр-нц У-льский»); выступавшие в нем девушки считались в то время эталонами красоты.

По теории доктора Юнга – вероятнее всего, Фицджеральд имеет в виду концепцию Юнга об архетипических образах, выраженных в терминах «анима» и «анимус»; во время написания рассказа Фицджеральд читал труды Юнга и Фрейда, пытаясь понять происходящее с его женой Зельдой.

Пляска святого Витта – старинное название хореи – нервного заболевания, симптомами которого являются беспорядочные нерегулярные движения и дрожь, сходные с нормальными движениями и жестами, но более гротескные.

Грант-Парк – большой общественный парк в центре Чикаго, назван в честь генерала армии северян и 18-го президента США Улисса Гранта (1822–1885).

Филантропологический – придуманное Фицджеральдом «научнообразное» название.

Нью-Алм – небольшой город на юге штата Миннесота, прославился пивоваренной фабрикой, открытой практически сразу же после основания города.

Тихое и приятное место

(A Nice Quiet Place)

Рассказ написан в марте 1930 года и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей ивнинг пост» 31 мая 1930 года.

Хотя второй рассказ цикла, продолжающий историю Жозефины, заканчивается открытой концовкой, нет никаких сомнений в том, что и этот роман завершится для герани неудачно, как и предыдущий. В сохранившейся рукописи Фицджеральдом вычеркнут один слишком смелый эпизод, нелицеприятно характеризующий Жозефину. После слов «*Жозефина отступила, ничуть об этом не пожалева*» в первой версии рассказа следовало:

Именно тогда она на полном серьезе обдумывала, не стоит ли ей устремить вызывающий взгляд в сторону шофера – единственного молодого человека в ближайшей округе. Но ей тут

же во всех подробностях вспомнился недавно прогремевший в Чикаго скандал с Джессикой Барнс, которую Жозефина однажды видела на конной прогулке в Лейк-Форест – ей тогда очень запомнилось бледное лицо Джессики. Нет, не стоит связываться с шофером, чтобы потом голодать, подвергаться побоям, и все ради того, чтобы впоследствии вернуться домой и с бледным лицом кататься в одиночестве вдали от любопытных глаз.

Экспресс «Двадцатый век» – этот роскошный пассажирский экспресс ежедневно курсировал по железнодорожной ветке «Нью-Йорк Централ» между Нью-Йорком и Чикаго.

Привет, Фриско... – Фриско – американское сленговое название г. Сан-Франциско; это отрывок из песни (музыка Луиса Хирша (1887–1924), слова Джина Бака (1885–1957)), которая исполнялась в шоу Зигфилда сезона 1915 года и была посвящена открытию новой трансконтинентальной телефонной линии Нью-Йорк – Сан-Франциско.

Началом послужил долгожданный день рождения – в оригинальном тексте сбой хронологии: ранее в рассказе говорится, что день рождения Эда и визит Риджвея должны были состояться в сентябре, но в пятой части рассказа эти события происходят почти сразу после возвращения Жозефины, состоявшегося в начале августа.

Клуб «Порселиан» – основанный в 1791 году студентами Гарвардского университета клуб считался одним из самых престижных клубов университета; скандал, подобный произошедшему с Сонни, действительно мог стать причиной исключения из членов клуба.

Женщина с прошлым

(A Woman with the Past)

Рассказ написан в июне 1930 года и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей ивнинг пост» 6 сентября 1930 года.

В этом рассказе, завершающем цикл в том варианте, который Фицджеральд подготовил для сборника, Жозефина вновь терпит поражение, демонстрируя при этом тенденцию к исправлению и оставляя надежду на то, что впереди ее ждет успех.

Но не вошедшие в сборник рассказы цикла уже не оставляют никаких надежд на благоприятный исход; см. эти рассказы далее, в дополнениях к этому сборнику.

Нью-Хейвен – в этом городе располагается студенческий городок Йельского университета.

Тайного студенческого братства «Любящие братья» – это насмешка; в данном случае речь идет о второкурсниках, которые в настоящее «тайное общество» попасть никак не могли в силу возраста; престижными считаются лишь общества студентов последнего курса, а организацией новых «тайных обществ» обычно занимались те студенты, которых в существующие тайные общества не пригласили.

Общество «Череп и Кости» – см. примечание к рассказу «Безупречная жизнь».

Химеры на только что открытой колокольне «Харкнесс-Холл» – речь идет о скульптурах на верхнем ярусе готической колокольни в Йельском университете; скульптуры олицетворяют различные ипостаси студенческой жизни; в данном случае налицо анахронизм, так как здание было завершено в 1921 году, а события в рассказе происходят за пять лет до этого.

Десять строф из «Старого моряка» – здесь упоминается одно из самых длинных стихотворений сборника «Лирические баллады» С. Т. Кольриджа «Поэма о старом моряке» (книга опубликована в 1798 году).

Школа в Фармингтоне – здесь имеется в виду элитная «Школа мисс Портер», расположенная в г. Фармингтон, штат Коннектикут.

Щеффилд – см. примечание к рассказу «Безупречная жизнь».

Учебный манеж – был возведен в 1916 году на Главной улице г. Нью-Хейвенх для размещения учебного центра кавалерийских войск армии США. Во времена Фицджеральда гимнастический зал этого манежа использовался для проведения балов; в здании также находились раздевалки йельской футбольной команды.

Он инструктор батареи – анахронизм; скорее всего, здесь идет речь о том, что с осени 1916 года студенты Йельского университета проходили обучение артиллерийскому делу для дальнейшей службы в элитном армейском подразделении «Йельская батарея».

Не унывай и не грусти, малышка... – строчки из песни Джерома Керна (1885–1945) и Шайлера Грина «Младенцы в лесу», ставшей хитом бродвейского мюзикла «Отлично, Эдди!» сезона 1915 году; название этой песни стало заглавием одной из глав в первом романе Фицджеральда «По эту сторону рая»; кроме того, текст этой главы романа дважды публиковался Фицджеральдом отдельно, в виде рассказа.

Красноречивы были даже их конверты – в то время «хорошим тоном» между молодыми людьми считалось посылать письма ускоренной почтой, стоившей дороже; здесь речь идет о том, что Дадли посылал письма простой почтой, наклеивая на конверт мало марок.

Голубой хребет – так называется цепь горных хребтов на юго-восточной окраине горной системы Аппалачей от юга Пенсильвании до Джорджии, протяженностью более 1000 км; название было дано из-за того, что над горами часто наблюдается синеватый туман; в этих горах также происходит действие рассказа «Джемина, девушка с гор».

Сумасшедшее воскресенье

(Crazy Sunday)

Рассказ написан в январе 1932 года и опубликован в журнале «Америкен меркьюри» в октябре того же года; рассказ включен в ежегодник лучших рассказов под редакцией Эдварда О'Брайена «Лучшие рассказы 1933 года» (Бостон и Нью-Йорк, 1933).

Сюжет рассказа основан на реальном событии из жизни Фицджеральда. В 1931 году голливудский продюсер Ирвинг Тальберг (1899–1936) пригласил писателя поработать над сценарием кинофильма «Рыженькая» («The Red-Headed Woman»). Из этого проекта ничего не вышло, созданный Фицджеральдом сценарий принят не был. На приеме, устроенном Тальбергом у себя дома в честь английского драматурга Фредди Лонсдейла (1881–1954), приглашенный Фицджеральд после нескольких крепких коктейлей решил исполнить под фортепьяно для развлечения гостей юмористическую песню «Собака» (с припевом: «Больше, чем крыса! Преданней кошки! Это – собака, собака, собака!»), которую он сочинил в 1924 году вместе с Эдмундом Уилсоном (1895–1972,

американский критик и близкий друг Фицджеральда). Номер Фицджеральда был освистан актером Джоном Гилбертом (см. далее) и актрисой Лупе Велес (1908–1944). По воспоминаниям Уилсона, этот номер Фицджеральд обычно исполнял, изображая до дебилизма искреннего «любителя собак» с крайне оживленной жестикуляцией, так что в такой ситуации провал был неминуем. А на следующий день Фицджеральд получил телеграмму от жены Тальберга, актрисы Нормы Ширер (1902–1983): «СЧИТАЮ ВАС НАШИМ САМЫМ ЛУЧШИМ ГОСТЕМ».

Ирвинг Тальберг впоследствии стал прототипом главного героя последнего неоконченного романа Фицджеральда, выпущенного в свет под названием «Последний магнат».

В своем тексте Фицджеральд, безусловно, использовал собирательные образы; но рассказ был отклонен сразу несколькими популярными журналами из опасений «как бы кто не обиделся», поскольку черты персонажей были вполне узнаваемы.

В черновой рукописи рассказа имеется более подробный вариант анекдота о «великом любовнике». После слов «увлекая Джоула за собой в столовую на студии» Фицджеральд вычеркнул из рукописи:

В вечер премьеры «Остывшего» мы с Джоном Сквирсом стояли в дверях кинотеатра Граумана, оба сильно пьяные, без фраков и даже небритые. Толпа за барьером кружила, все хотели на него посмотреть, потому что у него была главная роль. Когда он вышел из лимузина, послышался рев толпы, распорядитель выкрикнул его имя... Он вышел под софиты и снял цилиндр, чтобы фотографам ничего не мешало, а Джо потерял голову. Вот он, стоит перед ним, кланяется и улыбается! Джо зашел к нему сзади и дал ему ногой под зад так, что он потерял равновесие, чуть не рухнул лицом в грязь и выронил цилиндр. Подобрал цилиндр, он повернулся к Джо и сказал, что еще с ним разберется, – и ушел внутрь. А на следующий день в восемь утра Джо позвонил ему и сказал: «Ну что, когда будем разбираться? Я готов!», а он вместо ответа просто бросил трубку!

«Фея кукол» – одноактный романтический балет Йозефа Байера (1852–1913), впервые поставлен в 1888 году; по сюжету ночью, когда

нет посетителей, в магазине игрушек оживают куклы и устраивают прощальный бал, потому что одну из кукол накануне купили и завтра ей предстоит покинуть магазин.

Мэрион Дэвис (1897–1961) – комедийная актриса немого кино, любовница газетного магната Уильяма Херста (1863–1951); в звуковых фильмах практически не снималась.

Дитрих – Марлен Дитрих (1901–1992) – немецкая актриса, работавшая в Голливуде с 1930 года.

Гарбо – Грета Гарбо (1905–1990) – шведская актриса, работала в Голливуде с 1925 года; ее кинообраз заслужил прозвище «Прекрасный Сфинкс». В 1926 году у нее был роман с упомянутым ранее актером Джоном Гилбертом (1897–1937), которого она бросила прямо у церковного алтаря, что привело к громкому скандалу и фактически поставило крест на актерской карьере Гилберта.

Дон Маркис (1878–1937) – американский журналист, писатель-юморист.

Ведут себя, как мать Наполеона – мать Наполеона Бонапарта, Летиция Рамолино (1750–1836), давала своим детям крайне суровое воспитание, существенно повлиявшее на психику Наполеона.

Академия «Вест-Пойт» – военная академия в США.

Иностранный легион – армейское подразделение, входящее в состав французских сухопутных войск.

Менжу – американский актер Адольф Менжу (1890–1963); в 1920-х годах считался «самым стильным мужчиной Америки» (после того как снялся в фильме Ч. Чаплина «Парижанка»).

Майкл Арлен (1895–1956) – английский писатель, автор считавшегося скандальным романа «Зеленая шляпа» (см. далее примечание к эссе «Эхо века джаза»).

Гонолулу – город на Гавайских островах, с 1898 года – столица американского штата Гавайи.

Кинотеатр Граумана – открытый в 1927 году на бульваре Голливуд кинотеатр, в котором традиционно проходят премьеры фильмов; именно перед ним расположена голливудская «Аллея славы».

«Материнский комплекс» – термин из аналитической психологии Юнга.

Эдди Бейкер (1897–1968) – популярный в то время американский актер.

«Нотр-Дам» – в данном случае имеется в виду университетская футбольная команда (см. далее примечание к эссе «Эхо века джаза»).

Последней соломинкой – имеется в виду происходящая с востока английская пословица «Последняя соломинка ломает спину верблюда».

Гамен – парижский уличный мальчишка; это намек на происхождение Стеллы из бедной семьи.

Злом зла не поправишь

(Two Wrongs)

Рассказ написан в октябре – ноябре 1929 года и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей ивнинг пост» 18 января 1930 года.

Название рассказа по-английски содержит отсылку к пословице «Two wrongs don't make a right», аналогичной по смыслу вынесенной в заголовок русской пословице.

Сюжет отчасти автобиографичен: как и героиня рассказа, жена Фицджеральда Зельда приступила к профессиональным занятиям балетом в 1927 году, когда ей было 27 лет, устав находиться в тени мужа и решив стать профессиональной балериной; возможно, чрезмерно интенсивные занятия привели к перенапряжению и обострению ее нервного заболевания.

В сохранившейся рукописи текста Фицджеральд дает более очевидные характеристики причин проблем героя. Например, после слов «засуетились официанты и метрдотели» в рукописи содержится еще один абзац, не появившийся в журнальном тексте:

– Два коктейля! – заказал он. – Сделайте три, я хотел сказать! А, вы не будете? Ну ладно, тогда делайте два!

А предложение «*Придется теперь как можно меньше курить*» в рукописи звучало как «*Придется теперь как можно меньше пить и курить*».

«*Театральная гильдия*» – общество, основанное в 1918 году в Нью-Йорке с целью обеспечения постановок некоммерческих пьес

американских и зарубежных драматургов; успех Бродвея как явления во многом связан с этой организацией.

Рейнхард – немецкий актер и режиссер Макс Рейнхард (1873–1943) был новатором: именно он первым применил вращающуюся сцену и вынес авансцену в зрительный зал, Рейнхард также много экспериментировал с театральным светом и звуком.

Джек Демпси (1895–1983) – спортсмен; был чемпионом по боксу в тяжелом весе с 1919 до 1926 года.

Кембридж – город в штате Массачусетс, в котором находится Гарвардский университет.

Гранд-стрит – улица на границе нью-йоркского рабочего и эмигрантского района «Нижний Ист-Сайд».

Колумбийский университет – см. далее примечание к рассказу «Чистый лист».

Премьера была в Атлантик-Сити – эта деталь автобиографична; премьера единственной «профессиональной» пьесы Фицджеральда «Размазня» прошла в 1923 году в городе Атлантик-Сити; постановка с треском провалилась.

«Нью Стренд» – скорее всего, имеется в виду лондонский театр на улице Элдвич, вблизи отеля «Уолдорф».

«Принс Оф Уэльс» – или, иначе, «Принц Уэльский» – театр в Лондоне на Ковентри-стрит, недалеко от площади Лейчестер.

Леди Сивилла Комбринк – в рукописи имя этой героини было «леди Керолайн Сибби-Бирс»; имя было изменено потому, что перекочевало в роман «Ночь нежна» (книга третья, глава V).

«Щопениана» – балет Михаила Фокина (1880–1942), поставленный в 1907 году по фортепианным произведениям Фредерика Шопена (1810–1849); другое название этого балета – «Сильфиды».

«Кольцо Нибелунга» – см. далее примечание к рассказу «Эмоциональное банкротство».

Адирондак – см. примечание к рассказу «Гитара, кости и кастет»; климат этой местности считался целебным для больных туберкулезом.

«Вэрити» – американский еженедельный журнал о театре, рассчитанный на профессионалов театрального мира.

«Зит» – американская еженедельная газета, театральный таблоид 1920-х годов: газета публиковала театральные сплетни и скандалы.

Ночь у Ченслорсвилля

(The Night of Chancellorsville)

Рассказ написан в ноябре 1934 года и опубликован в журнале «Эсквайр» в феврале 1935 года; рассказ также опубликован в сборнике «Эсквайр на ночь» (Нью-Йорк, 1940).

В этом тексте Скотт Фицджеральд обратился к любимой с юности теме – истории американской Гражданской войны. В сборник рассказ был включен в самый последний момент, причем, как писал Фицджеральд редактору М. Перкинсу в конце декабря 1934 года, у него была идея увеличить объем текста, сделав его не столь «сжатым» по форме. Но Перкинс ответил, что рассказ в этом виде понравился не только ему, но и другим сотрудникам издательства «Скрибнерс», и в результате рассказ вошел в книгу без каких-либо изменений.

Джонни – прозвище солдат американской армии Конфедерации.

Ченслорсвилль (или, иначе, «Чанселлорсвилль») – небольшая деревушка, вблизи которой с 1 по 5 мая 1863 года состоялось сражение между армиями северян и южан; победа досталась армии южан генерала Ли; именно в этом сражении погиб генерал «Стоунуолл» Джексон.

«Семидневка» – речь идет о «Семидневной битве», длившейся с 26 июня по 2 июля 1862 года на реке Чикахомини (восточнее Ричмонда); северяне потерпели поражение и отступили к Вашингтону; *сражение у Гейнс-Милль* – произошло 27 июня 1862 года во время этой битвы и завершилось победой южан.

Корпус Седжвика – в сражении у Ченслорсвилля корпус генерала армии северян Джона Седжвика занимал позиции против высот Мари, на которых стояло относительно небольшое соединение южан. Седжвик получил приказ взять высоты Мари, чтобы выйти в тыл армии генерала Ли, полагавшегося на неприступность высот, и окружить южан. Седжвик выполнил приказ, взяв высоты Мари, но вместо того, чтобы сразу же начать наступление на противника, Седжвик решил действовать в предписанном приказом порядке и потратил три часа на перегруппировку войск для наступления. За это время перед его корпусом успела развернуться дивизия южан; кроме того, от командования поступил приказ – уходить назад, к Рапаханоку.

Таким образом, Седжвик был вынужден отступить, имея все шансы уничтожить армию Ли ударом в тыл.

Последняя южная красавица

(The Last of the Belles)

Рассказ написан в ноябре 1928 года и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей ивнинг пост» 2 марта 1929 года.

Местом действия рассказа является южный город Тарлтон (где также разворачивается действие ранних рассказов Фицджеральда «Ледяной дворец», «Лоботряс» и «Цент на двоих»). Тематикой «тарлтонской» серии рассказов является сравнение обычаев американского Севера и Юга. Писать о Тарлтоне Фицджеральд перестал, скорее всего, из-за трагических событий, произошедших с Зельдой в 1930 году и последующей за ними утрате романтических иллюзий по отношению к американскому Югу, символом и квинтэссенцией которого для него являлась его жена.

Руфь Дрейпер (1884–1956) – известная американская актриса, прославившаяся исполнением пародийных скетчей.

«*Масса Чан*» – рассказ американского писателя Томаса Нельсона Пейджа (1853–1922) из сборника 1887 года «Старая Виргиния». Действие рассказа происходит на Юге до и во время Гражданской войны; повествование окрашено в романтические тона и ведется от лица слуги-негра, говорящего на виргинском диалекте.

Лейендекер – американский художник-иллюстратор Джозеф Лейендекер (1874–1951), знаменитый обложками «Сатердей ивнинг пост» и рекламными плакатами воротничков «Арроу»; в силу своей нетрадиционной сексуальной ориентации добился несомненных успехов в изображении мужских образов.

«*Когда ты ушел*» – эту песню в 1918 году исполняла Марион Харрис (1896–1944); из современных исполнителей ее не так давно перепевала Фиона Эпл.

Шесть футов три дюйма – приблизительно один метр девяносто сантиметров.

«*Мой дом в Индиане*» – скорее всего, имеется в виду песня «Вновь вернуться домой, в Индиану», написанная в 1917 году Джеймсом Ф.

Хэнли на слова Балларда Макдональда (см. комментарий к рассказу «Богатый парень», в котором упоминается еще одна песня этих же авторов).

Лагерь «Миллс» – этот военный лагерь находился на Лонг-Айленде, вблизи Нью-Йорка; из него войска отправлялись к местам боевых действий, в Европу. В 1918 году поступивший на службу в армию Фицджеральд готовился к отправке на войну именно в этом лагере.

Гарвардская школа права – юридический факультет Гарвардского университета, основанный в 1817 году.

Величество

(Majesty)

Рассказ написан в мае 1929 года и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей ивнинг пост» 13 июля 1929 года.

Гаррисберг – столица американского штата Пенсильвания.

Собор Св. Варфоломея – находится на Парк-авеню в Манхеттене, принадлежит Протестантской епископальной церкви США; здание построено в 1919 году, а орган этого собора входит в десятку крупнейших в мире.

Уэйкман – скорее всего, имеется в виду популярный композитор Чарльз Уэйкфилд (Уэйкман) Кэдман (1881–1946), автор упоминающейся далее песни «На рассвете».

Эллис-Айленд – на острове Эллис в бухте Нью-Йорка до 1954 года располагался крупный транзитный пункт, в котором оформляли документы приезжим для эмиграции в США.

Семья против ветра

(Family In the Wind)

Рассказ написан в апреле 1932 года и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей ивнинг пост» 4 июня 1932 года; рассказ также включен в ежегодный альманах «Рассказы, удостоенные премии им. О. Генри за 1933 год» (Гарден-сити, Нью-Йорк, 1933).

Во время написания рассказа Фицджеральд жил в Балтиморе, поскольку Зельда находилась на лечении в психиатрической клинике балтиморской «Больницы Джона Хопкинса». Видимо, примерно в это время Фицджеральду стало ясно, что дальнейшее воспитание Скотти целиком ляжет на его плечи. Не случайно местом действия рассказа выбрана родина Зельды, Алабама; в этом штате часто наблюдаются разрушительные торнадо, и рассказ вполне можно понять как расширенную метафору.

Каникулы дома

(A Short Trip Home)

Рассказ написан в октябре 1927 года и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей ивнинг пост» 17 декабря 1927 года.

«Мой первый настоящий рассказ о призраках» – писал об этом рассказе Фицджеральд своему литературному агенту Гарольду Оберу.

Примечание автора (см. сноску в тексте) относится к параграфу, начинающемуся со слов «Я смутно отождествил его с парнями того сорта...»; это описание в слегка переработанном виде Фицджеральд использовал в романе «Ночь нежна» (книга первая, глава XXI, второй абзац).

«Свиток и Ключ» – второе старейшее тайное общество старшекурсников Йельского университета, основанное в 1841 году.

Карикатуры Теда – иначе, «Тэд»; см. примечание к очерку «Ринг Ларднер».

Гамамелис – кровоостанавливающее средство.

Гранд-марш – танец-шествие.

Каждый получил по номеру шуточной газеты... – здесь описывается реальный «Бал невезения», устроенный при участии Фицджеральда в пятницу 13 января 1922 года в клубе «Юниверсити» в г. Сент-Пол; зал был украшен траурным крепом, а гостям раздавалась отпечатанная Фицджеральдами специально для бала юмористическая газета «Ежедневный плач Сент-Пола», состоявшая из абсурдных статей о придуманных «событиях» бала с заголовками вроде «Ужасная оргия в клубе „Юниверсити“».

Кинг Брейди-старший – персонаж популярной серии детективных журналов для молодежи «Сыскное агентство Кинг Брейди – старший и младший», выходивших в конце 1890-х – начале 1900-х годов.

Либерти Бойз, номер 76 – серия романов о приключениях капитана Дика Слотера и его шайки борцов за свободу «Либерти Бойз» издавалась с 1900-х и вплоть до 1920-х годов.

Клуб «Котильон» – передовицей в упомянутой выше газете с «Бала невезения» была статья «Котильон, к сожалению, провалился».

Интерн

(One Interne)

Рассказ написан в августе 1932 года и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей ивнинг пост» 5 ноября 1932 года.

Этот рассказ задумывался как начало цикла о враче Билле Талливере; в цикл также входят рассказы «Опасная зона» и неопубликованный текст «И что нам с этим делать?»

В части тиража книги в текст рассказа Фицджеральдом были внесены незначительные правки:

Стало: – ему больше не нужно будет оснований в виде арифмометра – вычислительной машины – вероятностной машины – машины святого Франциска Ассизского.

Вместо: – ему больше не нужно будет зависеть от этой человеческой смеси арифмометра и святого Франциска Ассизского.

Стало: – Не дышите... Не дышите – дышите... Не дышите... – выдохнула она.

Вместо: – Да, такие вещи случаются, когда мужчины собираются вместе.

Клуб «Кокцидиан» – придуманное Фицджеральдом название, образованное от названия подкласса одноклеточных паразитов «кокцидии».

Лакросс – командная игра; пользуясь специальными клюшками, игроки должны забить резиновый мяч в ворота соперника.

Институт Пибоди – включает в себя консерваторию, библиотеку и галерею искусств, учрежденные в Балтиморе американским меценатом Джорджем Пибоди; в этой консерватории позже преподавал композитор Николай Набоков, двоюродный брат писателя В. Набокова.

Дункан Файф – знаменитый мебельщик; его мебель отличали ножки с окончаниями в виде звериных лап.

Бранкузи – румынский скульптор Константин Бранкузи (или, в иной транслитерации, Брынкуши) (1876–1957) работал в Париже; его работы отличают выразительные текущие стилизованные контуры и символические образы. Скандально известна работа 1916 года «Портрет княгини Бибеску» – работа напоминает то ли бюст склоненной женщины, то ли фаллос. В квартире у Теи, скорее всего, стояла статуэтка из не столь вызывающей серии Бранкузи «Птицы в пространстве».

Восемнадцатая поправка – этой поправкой к Конституции США в стране был введен «Сухой закон»; поправка запрещала производство, перевозку и продажу алкоголя, она вступила в силу 17 января 1920 года и была аннулирована «Двадцать первой поправкой» к Конституции, вступившей в силу 5 декабря 1933 г.

Изверг

(The Fiend)

Рассказ написан в сентябре 1934 года и опубликован в журнале «Эсквайр» в январе 1935 года.

Рассказ попал в сборник на завершающем этапе работы над книгой.

В конце ноября 1934 года Фицджеральд написал редактору М. Перкинсу:

«Не знаю, хорош ли этот рассказ, но он точно понравится читателям определенного рода; это рассказ не обвинишь в грехе „чрезмерной литературности“, как некоторые другие в книге. Сюжет я придумал давно, этот рассказ просился, чтобы его написали, и его включение позволит разбить череду моих коммерческих номеров, обладающих почти одинаковой длиной и композицией».

Чуть позже Фицджеральд вернулся к обсуждению текста:

«Думаю, что ты уже прочитал „Изверга“ и он тебе понравился – пусть он короткий и скромный, но есть в нем что-то, приковывающее внимание. По крайней мере, сюжет сам по себе оказался достаточно едким, чтобы удерживаться у меня в голове целых шесть лет. Обработал ли я его как надо или испортил, лишив украшений, – сейчас сказать не могу».

Железнодорожно-аграрные баталии... – речь идет об экономической депрессии в США, начавшейся в 1893 году с обвального падения акций железнодорожных компаний.

Проповеди Джонатана Эдвардса – речь идет об американском проповеднике эпохи «Великого пробуждения» Джонатане Эдвардсе (1703–1758); в 1741 году он произнес знаменитую проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога», испугавшую слушателей последствиями божественного гнева так, что присутствовавшие на проповеди буквально падали в обморок.

Ежегодник Ньюгейтской тюрьмы – в этой издававшейся регулярно книге печатались списки заключенных Ньюгейтской тюрьмы в Лондоне, а также их биографии.

Снова в Вавилоне

(Babylon Revisited)

Рассказ написан в декабре 1930 года и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей ивнинг пост» 21 февраля 1931 года; рассказ включен в ежегодный сборник под редакцией Эдварда О’Брайена «Лучшие рассказы за 1931 год» (Нью-Йорк, 1931).

Действие рассказа происходит в Париже; по ходу действия для создания колорита Фицджеральд в нескольких местах употребляет французские выражения, которые в английском тексте смотрятся вполне естественно – в английском и французском языках используются некириллические буквы; в русском переводе возникает проблема передачи этой речи адекватно замыслу писателя из-за использования кириллического алфавита. Поскольку иноязычные реплики в тексте не несут смысловой нагрузки, а служат лишь для

создания колорита, представляется целесообразной передача звучания слов французского языка кириллицей – в таком случае, возможно, реплики будут восприняты читателем не как вкрапление чужеродной латинской графики в кириллицу, а как неотъемлемая часть русского текста, неглубокий смысл которого вполне угадывается.

Весной – летом 1940 года по заказу продюсера Лестера Коуэна (1906–1990) Фицджеральд написал сценарий по этому рассказу; сценарий называется «Космополитен». Фильм по нему поставлен не был, но сценарий Фицджеральда лег в основу сценария выпущенного в 1954 году режиссером Р. Бруксом фильма «Последний раз, когда я видел Париж» (с Элизабет Тейлор в главной роли).

Рукопись рассказа включает несколько вариантов, не вошедших в окончательный текст.

Предложение *«Чарли бросил взгляд на устраивавшуюся в уголке шумную группу педиков»* в исходном варианте звучало так:

Жалкий мир, покоившийся на общей слабости, теперь облетал, как папирсная бумага. Чарли отвернулся; его взгляд упал на устраивавшуюся в уголке группу женоподобных юнцов.

После предложения *«Все изнашивалось»* в рукописи следовал следующий текст:

Родители всегда растят гениев или, по меньшей мере, незаурядных личностей. Но и заставлять детей что-то делать, и бояться заставлять их что-то делать, из боязни убить в них врожденные таланты, – все это одинаково плохая замена непрерывной и осторожной опеке, с вечными проверками, поисками баланса и тщательным расчетом, ради того, чтобы не дать уйти чувству долга и цельности, которые не должны падать ниже определенного уровня. Это было именно то, чего старшим никак не удавалось незаметно привить младшим с тех самых пор, как лет десять – двенадцать назад наметился разлом между поколениями.

После предложения *«Он купил билет на откидное место в „Казино“ и стал смотреть, как Жозефина Бейкер творит свои*

шоколадные арабески» в рукописи следовал следующий текст:

Но он почувствовал, что это было уже не то. Да, все те же сложно искривленные па, но в них уже чего-то не хватает. Ей нужна была Америка, и ей не хватало свежести – цветы цвели лишь потому, что корни высохли...

Вместо «... напившиеся или нанюхавшиеся до визга дамы и девушки, уносимые на руках из общественных мест...» в рукописи было:

... человекообразная груда жемчужин, сидевшая прямо за ним на представлении русской балетной труппы и заметившая своему спутнику, когда на сцене поднялся занавес: «Щыкарно, просто шык! Хто-то об'язан срисовать енто на картину!» В Париже он лично был свидетелем таких сцен, которые заставили бы покраснеть самого Петрония... Люди, чьи ценности легко уместились бы в сознании мидий, коз, кретинов и пекинесов...

Этот удаленный пассаж в слегка измененном виде впоследствии вошел в текст в статьи «Эхо века джаза» (см. далее).

Вошедший в сборник текст рассказа включает ошибку. Фицджеральд при подготовке текста для книги хотел заменить параграф, начинающийся со слов «На улице сквозь редкий дождь тускло светились...», поскольку это описание было включено в текст романа «Ночь нежна» (первая книга, глава XVII, семнадцатый абзац), другим текстом и включил в наборную рукопись рассказа следующий параграф (он начинается со слов «Чарли попросил проехать по Оперному проезду...»). Но по ошибке в набор попали оба параграфа – и в результате такси, на котором едет Чарли с правого на левый берег Сены, попадает на левый берег дважды. Фицджеральд заметил ошибку при просмотре гранок (письмо М. Перкинсу 15 апреля 1934 года), но не стал ее исправлять.

Вторая Империя – речь идет о периоде правления (с 1852 по 1870 год) французского императора Наполеона III (1808–1873).

«Медленный вальс» Дебюсси – в то время автомобильные клаксоны чаще всего проигрывали первые ноты этого произведения французского композитора Клода Дебюсси (1862–1918).

Жозефина Бейкер – этим упоминанием подчеркивается ностальгическое настроение рассказа; пик славы американской танцовщицы-негритянки Жозефины Бейкер (1907–1975) к концу 1920-х годов уже миновал.

Эпинард, чу-флер, арикот – шпинат, цветная капуста, фасоль.

Ку-эль э миньон ля петит... – Какая милая малышка! Она говорит совсем как француженка!

Площадь Этуаль – (иначе, площадь Звезды) была переименована в 1970 году в площадь Шарля де Голля.

Бум – здесь идет речь о периоде американской истории от окончания Первой мировой войны и вплоть до биржевого краха 1929 года.

Дополнения к сборнику «Отбой на заре»

В этот раздел включены не вошедшие в авторские сборники рассказы из циклов о Бэзиле, Жозефине и Билле Талливере, а также рассказы, которые на определенных этапах создания книги рассматривались Фицджеральдом в качестве возможных для включения, но не попавших в окончательный вариант (подробнее об истории создания сборника см. выше).

После смерти Фицджеральда был опубликован еще один рассказ о Бэзиле (он называется «Особая вечеринка»). При жизни Фицджеральда этот текст не был принят для публикации ни одним из журналов, так как, со слов литературного агента писателя Гарольда Обера, «редакторы ни в какую не верят в то, что дети одиннадцати лет могут испытывать настолько сильный интерес к играм с поцелуями» (сюжет рассказа включает описание такой вот, «особой», вечеринки). Рассказ впервые появился в печати в 1951 г. в малотиражном ежеквартальном журнале библиотеки Принстонского университета. В эту книгу рассказ не включен, так как сам Фицджеральд не рассматривал его как законченный и не считал его частью цикла о Бэзиле (сохранился документ, датированный приблизительно 1939/40-м годом, в котором Фицджеральд сводил данный цикл воедино; этот рассказ в нем не

упоминается). Более того, в сохранившейся рукописи рассказа имя главного героя заменено на другое – Фицджеральд таким образом попытался исключить рассказ из цикла и продать его в какой-нибудь другой журнал.

Вечером на ярмарке

(A Night at the Fair)

Рассказ был написан в мае 1928 года и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей ивнинг пост» 21 июля 1928 года; при жизни Фицджеральда рассказ никогда не перепечатывался.

Сюжет основан на реальных событиях из детства Фицджеральда – в сентябре 1911 года Фицджеральд с друзьями действительно посетил ярмарку штата Миннесота, где где они познакомились с «пташками» и катались с ними на американских горках (такая запись есть в «Гроссбухе» Фицджеральда).

В рукописи после предложения *«Он просто шел и наслаждался своими длинными штанами»* следовало несколько вычеркнутых абзацев:

Он шел, и ему казалось, что его брюки и ноги вдруг удлинлись, над верхней губой выступили длинные усы, бамбуковая тросточка превратилась в тяжелую ротанговую трость со шпагой внутри, ведь у него были могущественные враги; на голове вдруг чудесным образом возникла модная английская шляпа-дерби. Но когда у входа в арену его обогнал знакомый мальчишка, пришлось ненадолго вернуться к реальности – мальчишка обернулся и крикнул:

– Бэзил, а где ты взял штаны?

В очереди у входа двое парней на год или два постарше него бросили на него оценивающие, без всякого признака веселья, взгляды, и к нему вернулась уверенность, а тросточка в руках вновь обрела тяжесть. Он даже ощутил бремя прожитых лет: никогда больше не уронит он своего достоинства, сидя на траве, как эти малыши! Он сделал свой выбор и стал мужчиной!

Два города – речь идет о расположенных по берегам реки Миссисипи городах Сент-Пол (столица штата Миннесота) и Миннеаполис (самый крупный город этого штата).

Кони-Айленд – место в Нью-Йорке, где в начале XX века располагалось три прославившихся на всю Америку парка развлечений «Стиплчейз», «Дримленд» и «Луна-парк».

Битва при Геттисберге – решающая битва Гражданской войны в США, произошедшая 1–3 июля 1863 года; в этой битве армия северян выдержала натиск южан.

Кинетоскоп – усовершенствованный раек, один из предшественников кинематографа; в данном случае речь идет об автоматическом аппарате, срабатывавшем после опускания монетки и демонстрировавшем быстро сменявшиеся фотоснимки; в начале XX века такие аппараты имелись на любой ярмарке в Америке; под игривыми названиями в них демонстрировались фотографии полуодетых дам.

Серж – шерстяная костюмная ткань.

«Блатц Вайлдкэт» – эта марка автомобиля придумана Фицджеральдом; в рассказе, скорее всего, имеется в виду стильный и модный двухместный спортивный автомобиль марки «Штутц Биркэт», выпускавшийся с 1912 года (см. выше примечание к рассказу «Он думает, что он – просто чудо!»).

«Старая мельница» – распространенный аттракцион в парках развлечений и на ярмарках начала XX века; на аттракционе катались парами в небольших лодках по специально выстроенному закрытому тоннелю с водой; в тоннеле было приглушенное освещение, страшные декорации и другие пугающие эффекты; влюбленным этот аттракцион позволял уединиться.

Двор Уортонов – см. примечание к рассказу «Охотники за скандалами».

«Малиновый свитер» – сборник рассказов американского писателя Ральфа Генри Барбура (1870–1906), выпущенный в 1906 году; главный герой – подросток, завоевывающий популярность в школе своими спортивными успехами (в названии романа подразумевается форменный свитер школьной спортивной команды); по ходу действия герою удастся одержать победу над школьным хулиганом, обрести дружбу и завоевать любовь.

«Храм Пшеницы» – на ярмарках в те времена возводились временные павильоны, в которых демонстрировались статистические данные, фотографии и другие экспонаты, рассказывающие о важнейших ресурсах штатов; здесь речь идет о сельскохозяйственной экспозиции, посвященной пшенице.

Каллиопа – музыкальный инструмент, устроенный по типу органа; часто использовался на ярмарках.

Тамбурмажор – капельмейстер, задающий ритм оркестру на марше.

«Дикси» – популярная американская народная песня, считавшаяся неофициальным гимном южных штатов США (штатов Конфедерации).

«Усеянный звездами стяг» – песня, текст которой написан предком Фицджеральда, Френсисом Скоттом Кэем в 1814 году; эта песня с 1931 года стала гимном США.

Пробиваясь вперед

(Forging Ahead)

Рассказ написан в январе 1929 года и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей ивнинг пост» 30 марта 1929 года; рассказ никогда не перепечатывался при жизни Фицджеральда.

В сохранившейся рукописи рассказа имеются фрагменты, исключенные при публикации текста в журнале; эти фрагменты характеризуют довольно субъективное отношение Бэзила к Университету штата.

После слов «перед ним возник неизбежный и несравненный девичий образ...» следовал абзац:

И еще был Университет штата. Он никогда особо и не думал об Университете штата – его здания были из красного кирпича, вся их масса напоминала фабрику; студенты жили в каркасных оштукатуренных домах – в этом студенческом городке никогда и ничего не происходило, да, кажется, и не могло произойти. Там учились на коновалов. Он вскочил, потому что ему пришла в голову вогнавшая его в еще большее уныние мысль: ведь там учились и девушки; они сидели на трибунах на всех футбольных

матчах, пели университетский гимн своими высокими голосами и махали флагами. Никакой это был не университет!

В исходном варианте текста предложение «Он резко поклонился в ответ на более почтительный поклон мистера Утсономи и удалился» имело следующее продолжение: «... из этого рассадника девиц и коновалов, к которым теперь прибавились еще и фермеры с японцами»; та же тема вновь звучит в исходном варианте другого предложения: «С другой стороны, перед ним замаячило мрачное видение – Университет штата, и во воротах его туда-сюда летают фантомы, на глазах превращающиеся в безобразных фермеров и девиц»; это предложение в первом варианте звучало так: «С другой стороны, перед ним замаячило мрачное видение – Университет штата, и во воротах его туда-сюда летают фантомы, на глазах превращающиеся в коновалов, девиц и фермеров».

Отношение Бэзила к Университету штата (речь идет об университете штата Миннесота, хотя в тексте нигде не говорится об этом прямо), отчасти объясняется присущим Бэзилу снобизмом; но в данном случае такая позиция имела право на существование. По сравнению с традиционными американскими университетами, основанными в XVIII веке (Принстонским, Йельским, Гарвардским), появившиеся в конце XIX – начале XX века в соответствии с принятым в 1862 году Конгрессом США «Законом Моррилла» государственные высшие учебные заведения штатов во времена юности Фицджеральда выполняли исключительно прикладные задачи: преподававшиеся в них предметы имели практическую направленность, а целью была подготовка специалистов в области сельского хозяйства и ремесел; упор делался на инженерное, горное дело, химию и металлургию. В Сент-Поле, недалеко от района, где вырос Фицджеральд, располагался один из студенческих городков Университета штата Миннесота; там же располагались университетская маслобойня, овцеферма и ветеринарная лечебница. Атмосфера в этом университете отличалась консерватизмом, а одним из активнейших клубов было «Общество трезвенников». В 1913 году (ко времени действия рассказа) в Университете штата Миннесота обучалось в четыре раза больше студентов, чем в Принстоне.

«*Миссисипский пузырь*» – роман Эмерсона Хаука (1857–1923) «Миссисипский пузырь: как возшла для Джона Лоу, из Лористона, звезда огромного богатства, и упала, а затем возшла вновь – и все по капризу дамы»; книга издана в 1902 г. Упомянутый в заголовке книги «Миссисипский пузырь» – реальная «финансовая пирамида», организованная в 1717 году проживавшим в Париже шотландским бизнесменом Джоном Лоу (1671–1729); принадлежавшая ему «Миссисипская компания» получила монополию на торговлю с французскими колониями в Северной Америке; три года это предприятие процветало, а затем из-за спекуляций инвесторов обанкротилось.

Восемьдесят тысяч долларов – очень большая сумма для 1913 года; по современной покупательной способности это примерно полтора миллиона долларов.

Горацио Элджер – см. комментарий к рассказу «Отпущение грехов».

«*Краткий курс предпринимательства Университета Джорджа Вашингтона*» – см. примечание к рассказу «Зимние мечты».

«*Обреченный на успех*» – роман Горацио Элджера «Обреченный на успех, или Девиз Гарри Уолтона» (1873); сюжет в общих чертах основан на биографии Бенджамина Франклина, и в контексте данного рассказа эта деталь особенно важна. По сюжету романа главный герой, Гарри Уолтон, получает в качестве приза за успехи в учебе «Автобиографию» Франклина, а затем начинает самозабвенно и с должной скромностью трудиться – сначала подмастерьем у сапожника, затем помощником у странствующего фокусника. Роман входит в дилогию, и во второй части Гарри достигает успеха, превращаясь в популярного писателя и выиграв выборы в американский Конгресс.

«*Великой Северной*» – речь идет о «Великой Северной железнодорожной линии» – самой северной в США трансконтинентальной железнодорожной ветке первого класса, соединявшей в начале века Сент-Пол и Сиэтл; она была создана в конце XIX века железнодорожным магнатом Д. Дж. Хиллом без привлечения государственных средств.

«*Нью-Йорк – Нью-Хейвен – Хартфорд*» – здесь упомянут комплекс железнодорожных линий, обычно обобщенно называвшийся «Нью-

Хейвен»; дорога соединяла Бостон с Нью-Йорком; имелись ответвления в сторону глубинки штата Коннектикут, в Род-Айленд и в Массачусетс; этот комплекс находился в собственности акционерного общества, возглавляемого знаменитым финансистом Дж. П. Морганом.

«Маленький командир, или Фрейлина» – один из романов Э. Ф. Джонстон (см. примечание к рассказу «Гитара, кости и кастет»).

Су-Сити – основанный в XIX веке город в штате Айова, на реке Миссури.

«Город в джунглях» – речь идет о водевильной песне «В городе среди джунглей», написанной Теодором Ф. Морзе и Эдвардом Мэддоном; эта мелодия сохраняла популярность вплоть до 1950-х годов.

Крест-авеню – имеется в виду главная улица города (см. примечание к рассказу «Он думает, что он – просто чудо!»).

Ландшафтный парк – исторический район в городе Миннеаполис, штат Миннесота; с юга ограничен рекой Миссисипи, с востока граничит с городской чертой Сент-Пола; строительство района было начато в 1884 году и завершено в 1910 году.

Пойду к «Максиму» я... – Бэзил напевает песенку из оперетты (см. примечание к рассказу «Наглый мальчишка»).

Комо-Парк – престижный жилой район в городе Сент-Пол (штат Миннесота); здесь находится самый крупный и старый городской парк, на территории района располагается озеро Комо площадью 70 акров, поле для игры в гольф и небольшой зоопарк.

«Заноза в сердце» – романтическая песня, написанная Фредом Фишером на слова Альфреда Брайана; в 1913 году песня исполнялась в шоу Зигфилда, и в том же году была записана сразу тремя исполнителями (Чарльзом У. Гаррисоном на лейбле «Виктор», Генри Барром на лейбле «Коламбия» и Уолтером Ван-Брандтом на лейбле «Эдисон Блу Эмберол»).

«Кастл-уолк» – танцевальный стиль (см. примечание к рассказу «Безупречная жизнь»).

Бэзил и Клеопатра

(Basil and Cleopatra)

акключительный рассказ цикла о Бэзиле написан в феврале 1929 года и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей ивнинг пост» 27 апреля 1929 года. При жизни Фицджеральда никогда не перепечатывался.

В рукописи текст заканчивался иначе; после слов «Когда все кончено, тут уж ничего не поделаешь» следовало:

– Ах, Бэзил, ты такой хороший! Ты всегда все понимаешь. – Ее нежный голос обволакивал его, словно воды заколдованной реки.

– Пойдем, потанцуем? – вдруг сказал он.

Она удивленно посмотрела на него.

– А ты хочешь? Ты ведь пришел с девушкой? – И она бросила взгляд на Юбину. – Она ужасно симпатичная!

Когда танец кончился, он вышел из зала и стал ходить туда-сюда по пустынной веранде. В воздухе суматошно кружился легкий ранний снег, и звезды с неба холодно смотрели на землю. Двое припозднившихся гостей узнали его, несмотря на полумрак.

– Отличная игра, Ли!

– Благодарю.

Все это ничего для него не значило! Он с удовольствием поменялся бы местами с Джубелом – и стал бы тем, кто не обладает никаким положением в мире настоящих мужчин, да и вряд ли когда-нибудь будет обладать; но именно о нем мечтала бы Минни! Что значила гордость, когда сердце Бэзила так и осталось в зале, вместе с его обладательницей в розовом шелковом платье? Сейчас он ничего не мог с этим поделать. Ее страсть к этому человеку не может длиться вечно, и когда она кончится... Что ж, возможно, ей захочется, чтобы кто-нибудь оказался рядом? Ему точно не стоило ей позволять о нем забыть – и с этой мыслью Бэзил засунул свою гордость подальше до лучших времен и поспешил обратно в танцевальный зал.

Мобил – портовый город на берегу одноименной бухты в штате Алабама.

«В Мобил, в Мобил» – в оригинале у Фицджеральда приведено краткое название песни, которое точно идентифицировать невозможно;

скорее всего, имеется в виду старая негритянская песня, записанная в 1943 году в студии «Флорида» (г. Тампа) Аланом Ломаксом и Джоном Бекером; эта запись имеется в «Библиотеке Конгресса США», а современное исполнение песни можно услышать на: <http://www.youtube.com/watch?v=AKW0qax8hbI>

Лейк-Форест – пригород Чикаго у озера Мичиган; в этом месте находились богатые особняки. Здесь проживала первая любовь Фицджеральда, Джиневра Кинг, ставшая прототипом образов Минни Библ и Жозефины Перри.

Военный институт Виргинии – военная академия в городе Лексингтон (штат Виргиния); «Малыш» проучился там год. Академия пользовалась популярностью в среде патриотично настроенных южан из-за того, что в ней учился знаменитый генерал «Стоунуолл» Джексон.

Энд – в американском футболе один из игроков-лайнменов, который может принимать мяч.

«Китайский квартал» – хит 1906 года в стиле регтайм; музыка Жана Шварца, слова Уильяма Джерома; песня больше всего известна в записи диксиленда Луи Армстронга.

Райт-холл (или Лэнмэн-Райт-холл) – здание общежития первокурсников в студенческом городке Йельского университета; построено в 1912 году по проекту Уильяма Эдамса Делано.

Квотербек – см. примечание к рассказу «Безупречная жизнь».

Андовер... Нью-Бедфорде – обычно группы первого курса в Йельском университете комплектовались учениками как частных, так и муниципальных школ. Каллум учился в частной школе в Андовере (см. примечание к рассказу «Безупречная жизнь»), Данцигер – в муниципальной школе в Нью-Бедфорде, портовом городе в юго-восточной части штата Массачусетс.

Халфбек – находится позади всех игроков нападения; его задачей является пронос мяча к очковой зоне противника во время бегущих розыгрышей.

Хаутон-холл – еще одно общежитие в студенческом городке Йельского университета; здание в стиле ренессанс было возведено в конце XIX века и снесено в 1933 году.

Щеффилдском колледже – см. примечание к рассказу «Безупречная жизнь».

«Новости»... «Хроника»... «Череп и кости»... – эти детали характеризуют крайне высокие амбиции Бэзила: газета «Йельские новости» основана в 1878 году и считалась старейшей университетской газетой в США; журнал «Хроника Йеля» был основан в 1872 году и был старейшим юмористическим журналом в стране. Стать главным редактором одного из этих изданий считалось большой честью для старшекурсника. О тайном студенческом братстве «Череп и кости» см. примечание к рассказу «Безупречная жизнь».

Чтобы у меня на форме появилась буква – речь идет о «знаке различия», на который имели право только игроки основного состава футбольной команды; на их форменные спортивные свитера нашивались буквы из плотного фетра (например, английская буква «Н» – в Гарварде); право носить такой свитер было большой честью для атлета.

В своем черно-белом спортивном свитере школы Св. Риджиса – игроки всех составов, кроме основного (в который входило лишь две дюжины игроков), носили форменные спортивные свитера своих подготовительных школ; Бэзил очень хорошо проявляет себя на тренировках – несколькими параграфами далее его включают в состав команды, пересаживают за специальный «диетический» стол в столовой, – поэтому у него появляется надежда получить спортивный свитер игрока основного состава.

Сигналы... Тридцать два! Шестьдесят пять! Шестьдесят семь! Двадцать два... Хаутоновской манеры... – в американском футболе у каждой команды существуют разыгрываемые комбинации, обозначаемые кодовыми числами; эти коды и представляют собой сигналы, которые выкрикивает квотербек остальным игрокам в процессе игры. В оригинале Бэзил совершает ошибку, выкрикивая сигналы так, как было принято в команде Гарварда, с ударением на вторую цифру, – это и есть «хаутоновская» манера (слово образовано от фамилии тогдашнего главного тренера гарвардской команды Перси Д. Хаутона). Ошибка вполне естественная, поскольку по сюжету эту манеру Бэзил перенял от тренера школьной команды, игравшего в свое время за Гарвард.

Даун – этот футбольный термин – калька от английского слова *down*; в игре команда, владеющая мячом, получает четыре попытки продвинуть мяч на 10 ярдов вперед в сторону очковой зоны соперника; каждая такая попытка называется *дауном*.

Полудюжины моментов – вся игра делится на игровые моменты; в начале каждого момента мяч кладется на ту линию, где закончился предыдущий игровой момент.

Ты мяч выбивать умеешь? – каждая половина игры начинается с выбивания мяча ногой в сторону очковой зоны соперника с 35-ярдовой отметки (это так называемый *кикофф*); для этого мяч устанавливается в специальную подставку, удерживающую мяч в вертикальном положении, а выбивает мяч особый игрок – *киккер*.

Стадионом «Осборн» – этот стадион являлся домашним для знаменитой футбольной команды «Принстонские тигры» до 1914 года.

Система Хаутона – успех Хаутона в качестве тренера гарвардской команды основывался на разработанной им системе игры, идеально подходившей для невысоких и быстрых игроков; методы нападения строились на уловках («ловушки»), а не на применении силовых методов.

Тактика... Сэма Уайта – Сэм Уайт был знаменитым атлетом, выступавшим за Принстон в начале XX века; в 1911 году Уайт выиграл матч с командой Йеля, совершив тачдаун пробежкой в 95 ярдов; на этом матче присутствовал Фицджеральд (в его альбоме сохранился корешок от билета на матч); принстонская тактика обороны в то время строилась на игре ногами, обеспечении точного позиционирования игроков на поле и создании затяжных ситуаций.

Пантер – игрок, выбивающий мяч с рук в ситуации, когда мяч необходимо отдать противоположной команде, но при этом получить его противник должен как можно дальше от очковой зоны (обычно такая ситуация возникает во время четвертой попытки).

Забросил мяч навесом с тридцатиярдовой линии – этот метод в современном американском футболе уже не применяется; речь идет об ударе ногой по находящемуся на земле мячу так, чтобы мяч пролетел под верхней планкой ворот; успешный удар приносил команде три очка.

Кикофф – см. выше; данный розыгрыш происходит также и после того, как одна из команд заработала очки.

Очковая зона – крайняя зона на поле от линий пятидесяти ярдов до кромок поля.

Клуб «Лаун» – эксклюзивный частный клуб в Нью-Хейвене, основанный в 1891 году группой выпускников Йеля; во времена Фицджеральда в этом клубе иногда проводились университетские балы.

Бар у Тафта – главный отель Нью-Хейвена «Тафт» примыкает к залу Шуберта; в то время этот отель считался самым новым и стильным; в баре в выходные часто отдыхали студенты университета.

И Бернард Шоу говорил то же самое... – речь идет о реплике Тэннера, обращенной к Октавиусу во втором действии пьесы Б. Шоу «Человек и сверхчеловек» (1903): «Это назидательный урок для человечества. Ты воображаешь, что ты – поклонник Энн; что ты – охотник, а она – дичь; что тебе надлежит ухаживать, добиваться, побеждать. Глупец! Это ты – дичь, обреченная жертва» (перевод Е. Д. Калашниковой).

Лора Джин Либби (1862–1924) – популярная американская писательница, автор множества сентиментальных романов; в 1910-х годах XX века она вела в газетах колонку под названием «Ежедневный разговор с Лорой Джин Либби о делах сердечных» – именно об этом и думает Юбина; институт профессиональной психологической помощи в те времена еще не существовал.

Мессалина... Клеопатра... Саломея... мадам Дюбарри – все перечисленные «роковые» дамы обладали порочной репутацией; Мессалина – третья жена римского императора Клавдия, ее имя стало нарицательным из-за описанного римскими историками распутного поведения; Клеопатра – последняя царица эллинистического Египта до его завоевания римлянами (по современной концепции, ее имя было сознательно очернено римскими историками в политических целях); Саломея – иудейская царевна, пожелавшая за свой танец получить на блюде голову пророка Иоанна Крестителя (Предтечи); Дюбарри – куртизанка и любовница французского короля Луи XV.

Школа Хилла – крупная подготовительная школа для мальчиков, основанная в 1851 году в Поттстауне, штат Пенсильвания.

Двадцать футов – т. е. около 6 метров.

Хофбрау – пивная, находившаяся на перекрестке улиц Чарч и Краун в Нью-Хейвене; заведение часто посещалось студентами Йеля;

игроки принстонской команды решили смягчить горечь поражения, поскольку спортивный сезон и тренировки для них закончились.

Из жизни снобов

(A Snobbish Story)

Рассказ написан в сентябре 1930 года и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей ивнинг пост» 29 ноября 1930 года.

Благодаря сохранившейся рукописи рассказа известно, что при публикации в журнале редакторы подвергли текст правке, убрав упоминания о реальных личностях и событиях, а также убрав из диалогов реплики, демонстрировавшие отношение родителей Жозефины к чернокожим американцам.

Предложение «*Ее никем не подхваченный смех в то же мгновение утих, и она повернулась к драматургу*» в рукописи звучало так:

Ее никем не подхваченный смех в то же мгновение утих, и она сказала:

– Это же Малый театр! Джон должен был тебе сказать, прежде чем вести сюда!

И она повернулась к драматургу.

После реплики «*– Вы будете той девушкой, в которую влюблен женатый мужчина*» в рукописи следовало:

– Белой?

– Разумеется. Никакой метисации в этой пьесе нет!

Н-да... Придется посмотреть в словаре, что это за слово такое?

– Это ведь роль, которую хотела сыграть та девушка?

После предложения «*О негритянских погромах Джон знал все, что только можно, и рассказывал блестяще, и Жозефина заметила, каким тощим и постным выглядел рядом с ним Говард Пейдж*» редакторами журнала был исключен следующий пассаж:

– Так вот о чем ваша пьеса!

– Да. Меня так увлекла негритянская линия сюжета, что я едва сдержался, чтобы не посвятить неграм всю эту вещь целиком! Самые удачные роли – у негров!

Миссис Перри передернуло.

– Негры ведь будут не настоящие?

Он рассмеялся:

– Вы думаете, что мы станем мазать актерам лица жженой пробкой?

Последовала недолгая пауза, затем миссис Перри рассмеялась и сказала:

– Сомневаюсь, что Жозефина будет играть в пьесе вместе с цветными!

– Думаю, что будет лучше, если вы вырежете все роли цветных актеров, – сказал мистер Перри. – Это все равно придется сделать, если Жозефина будет в вашей труппе. Боюсь, что у некоторых из ее друзей это не найдет понимания.

– А я вот не возражаю! – сказала Жозефина. – Но только если мне не придется с ними целоваться!

– Боже правый! – воскликнула миссис Перри.

Джона Бейли вновь вызвали к телефону.

Битва на Сомме – речь идет о наступательной операции англо-французских войск, длившейся с 24 июня по ноябрь 1916 года; потери с обеих сторон составили около миллиона человек убитыми и пропавшими без вести; в этой операции впервые были применены танки.

Матчиш – популярный в начале XX века бразильский танец, напоминающий танго и изобретенный Верноном и Ирен Кастл; ко времени действия рассказа танец уже вышел из моды.

Среди комбайнеров, да? – в оригинале Жозефина употребляет грубое сленговое прозвище американского провинциала, образованное от имени изобретателя «жатвенной машины» (механического комбайна) Сайреса Мак-Кормика (1809–1884).

Я из города, где родился Эйб Линкольн – Авраам Линкольн родился в провинциальной городке Ходженвилл, штат Кентукки, в семье бедных фермеров.

Мисс Поттерфильд-Свифткормик – Джонн комбинирует фамилии представителей четырех богатейших чикагских семейств того времени: речь идет о Поттере Палмерсе, Маршалле Фильдсе, Густаве Свифтсе и Сайрусе Мак-Кормике.

«*Петля*» – один из районов Чикаго; в данном случае речь идет об общедоступном танцевальном зале в этом районе.

«*Чикаго Трибьюн*» – газета, издававшаяся в Чикаго; во время действия рассказа главным редактором этой газеты был Роберт «Полковник» Мак-Кормик (1880–1955), выступавший за изоляционизм в вопросах внешней политики и за консерватизм во внутренней политике.

Мисс Щикблеск – в оригинале использовано устаревшее к моменту действия рассказа американское сленговое выражение «позолоченного века» (см. комментарий к рассказу «Богатый парень»), означавшее молодую даму из семьи нуворишей, обладавшую модными в те времена драгоценностями с крупными бриллиантами; в буквальном переводе выражение означает «с большими брюликами».

«*Смерть Артура*» – поэма А. Теннисона, завершенная им в 1834 году и вошедшая в качестве одной из частей в последнюю главу его книги «Королевские идиллии».

Карл Сэндберг (1878–1967) – американский поэт, продолжатель традиций Уолта Уитмена, воспевавший город и промышленную революцию; единственный американский поэт, удостоившийся похвалы советского поэта В. В. Маяковского после его поездки в капиталистическую Америку.

Четверо даже стали по-настоящему знамениты – в варианте текста, подготовленном самим Фицджеральдом для публикации, очевидно, что речь идет о существовавшем в реальности Чикагском «Малом театре» (см. выше удаленный редакторами «Сатердей ивнинг пост» абзац); эта авангардная театральная труппа под руководством поэта Мориса Брауна ставила пьесы Чехова, Ибсена, Стриндберга и других актуальных в то время авторов.

Болтливые, словно ротарианцы – здесь обыгрывается типичный образ члена «Ротари-клуба» из провинциального городка: болтливый и хвастливый энтузиаст.

Йельском курсе Билли Фелпса – Уильям Лайон Фелпс (1865–1943) был известным преподавателем кафедры филологии в Йельском

университете; в свои курсы он щедро вводил современную литературу и создал первый в Америке курс по современному роману.

Больница Св. Антония – основанная в 1897 году больница в западной части Чикаго; во время действия рассказа специализировалась на обслуживании бедных иммигрантов.

Эмоциональное банкротство

(Emotional Bankruptcy)

Рассказ написан в июне 1931 года и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей ивнинг пост» 15 августа 1931 года.

Этот текст окончательно и бесповоротно завершает цикл о Жозефине. Возможно, Фицджеральд не включил этот сильный рассказ в сборник «Отбой на заре» из-за того, что текст мог быть воспринят болезненно первой любовью Фицджеральда (Джиневрой Кинг), ставшей прототипом героини, ведь Фицджеральд фактически «уничтожает» героиню, терпящую сокрушительный разгром на единственно важном для нее поле битвы, причем исключительно по собственной вине. У Фицджеральда имелся творческий замысел по объединению рассказов о Бэзиле и Жозефине в единую книгу; этот план не был осуществлен, в том числе, и из-за однозначной и трагической концовки этого цикла рассказов – при анализе текстов о Жозефине напрашивается вывод, что драматургия развития образа этой героини диктует именно трагическую развязку, в отличие от драматургии написанного ранее цикла о Бэзиле, где герой с честью выдерживает все предлагаемые ему жизнью испытания, выходя из них «побитым, но не побежденным».

В сохранившейся машинописи первого варианта текста этого рассказа после слов «... всегда для меня что-то значил...» следовало:

Через некоторое время она подумала: «Скорее всего, дело было вовсе не в мужчинах. Это самое всегда было во мне, а теперь вот куда-то подевалось».

В монологе Жозефины о мужчине ее мечты после слов «он должен быть не такой, как все, кого я знаю» редакторами «Сатердей ивнинг

пост» была удалена ответная язвительная ремарка Лилиан:
– Цветной, что ли?

Йельской батарее – см. примечание к рассказу «Женщина с прошлым».

Алан Сигер (1888–1916) – американский поэт, погибший во время Первой мировой войны; его самое известное стихотворение – «Рандеву со Смертью» – появилось в печати уже после его смерти. В первом варианте текста рассказа вместо Сигера упоминался другой американский поэт – Руперт Брук (1887–1915), также погибший во время Первой мировой и также прославившийся посмертно; строчка из стихотворения Брука стала заглавием первого романа Фицджеральда.

Журналы «Смарт Сет» и «Сочные рассказы» – во время действия рассказа данные издания считались чрезмерно откровенными, и их чтение не подходило юным девушкам; в журнале «Смарт сет» было опубликовано несколько вещей самого Фицджеральда; «Сочные рассказы» («Snappy Stories») – популярный «желтый» журнал, издававшийся полковником Уильямом Дантоном Мэнном, владевшим журналом «Смарт Сет» до того, как в 1914 году его редакторами стали Менкен и Натан.

Арка Блэра – во время действия рассказа дорога от вокзала до студенческого городка Принстонского университета заканчивалась у корпуса «Блэр-Холл», расположенного на западной границе кампуса. Приезжавшие на поезде попадали на территорию студенческого городка именно через ворота Блэр-Холла.

Клуб «Уизерспун» – это викторианское здание в готическом стиле было построено на территории студенческого городка Принстонского университета в 1877 году и считалось самым роскошным общежитием («клубом») студентов в стране. Здание было названо в честь шестого ректора Принстонского университета Джона Уизерспуна (1723–1794).

«Туда, под тенистые пальмы» – сентиментальная песня, написанная Эйбом Олманом на слова Джеймса Брокмана, обрела популярность сразу же после своего появления в 1914 году; песня звучит в известном кинофильме «В джазе только девушки».

Цустерианского монастыря – Мартин явно не слишком много знает о библиотеке; по всей видимости, он имеет в виду

цистерцианцев (бернардинцев) – членов католического монашеского ордена; для церквей этого ордена характерно почти полное отсутствие драгоценной утвари, живописи, роскошных интерьеров, так как орден проповедует аскетизм и созерцание.

Пенсильванский вокзал – крупный железнодорожный вокзал в Нью-Йорке, выстроенный в 1905–1910 годах; зал ожидания окружала помпезная колоннада из розового гранита, стилизованная под итальянские термы Каракаллы; этот архитектурный комплекс считался одной из главных достопримечательностей Манхэттена; вокзал был снесен в 1963 году.

Ритц – в данном случае имеется в виду нью-йоркский отель «Ритц-Карлтон», располагавшийся на Манхэттене, на перекрестке 46-й улицы и Мэдисон-авеню.

«Варьете» – см. примечание к рассказу «Первая кровь».

День благодарения – государственный праздник в США; во время действия рассказа этот праздник отмечался в последний четверг ноября; с этого же дня начинается праздничный сезон, включающий Рождество Христово и продолжающийся вплоть до Нового года.

Спрыгнув с поезда на полном ходу – вероятно, эту деталь Фицджеральд позаимствовал из биографии Томми Хичкока, ставшего прототипом Тома Бьюкенена в «Великом Гэтсби», а также прототипом Томми Барбана в романе «Ночь нежна». В 1917–1918 годах Томми Хичкок служил пилотом во французской «Бригаде Лафайетт». 6 марта 1918 года его самолет был сбит недалеко от Шато-Салин в Лотарингии, и летчик попал в плен. 28 августа 1918 года, при перевозке в другой лагерь для военнопленных, он спрыгнул с поезда и сумел добраться до нейтральной швейцарской территории. После войны он учился в Гарварде и впоследствии стал одним из известнейших игроков в поло.

«Поджидая Роберта И. Ли» – исполненная впервые в 1913 году Элом Джолсоном песня в стиле регтайм; музыка Л. Вулфа Гилберта, слова Льюиса Ф. Муира.

«Кольцо Нибелунга» – оперный цикл Рихарда Вагнера (1813–1883), состоящий из четырех опер; «Золото Рейна» – первая и самая короткая по продолжительности опера цикла.

«Городские сплетни» – или, в транслитерации, «Таун Тэттл»; Фицджеральд намекает на «желтый» журнал «Таун Топикс»,

издававшийся полковником Уильямом Дантоном Мэнном (издателем журнала «Сочные рассказы» – см. выше). Самой известной рубрикой этого журнала была рубрика «Зевака», в которой размещались скандальные материалы из жизни богатых и влиятельных семейств. Этот же журнал упоминается и во второй главе романа «Великий Гэтсби» при описании «гнездышка» Миртл Уилсон, которое снимал для нее Том Бьюкенен.

Такседо – имеется в виду Такседо-парк, пригород Нью-Йорка, в котором проживали богатые семейства.

«Лига юных женщин» – см. примечание к рассказу «Богатый парень».

Лестница Иакова

(Jacob's Ladder)

Рассказ написан в июне 1927 года и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей ивнинг пост» 20 августа 1927 года.

Фицджеральд хотел включить рассказ в сборник «Отбой на заре»; текст был даже набран для сборника, но при работе над гранками Фицджеральд счел, что слишком многие детали рассказа попали в романы «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна», что делало необходимым кардинальную переработку текста; поэтому писатель решил этот рассказ в книгу не включать.

В названии рассказа использован библейский образ из книги «Бытие» (28: 12–16): бежавшему от брата Иакову привиделась лестница от земли до Неба, по которой восходили ангелы. Этот образ обычно трактуется как путь совершенствования.

В оригинальном тексте имя героя «Jacob», и именно так в английском переводе Библии звучит имя библейского старца; в русском же переводе текста рассказа имя героя передано традиционной транслитерацией (Джейкоб), поскольку герой с редким и архаичным именем Иаков вряд ли будет воспринят как современный человек, что важно для понимания этого текста.

В январе – феврале 1927 года Фицджеральд работал в Голливуде над сценарием кинофильма для Констанции Тальмадж (о ней см. далее). Тогда же он познакомился с юной голливудской актрисой Лоис Моран (1909–1990), ставшей впоследствии прототипом Розмэри Хойт

из романа «Ночь нежна»; возникшие у Фицджеральда и Моран отношения, возможно, отчасти легли в основу и этого рассказа (Скотту в то время был 31 год, Лоис – 18).

В единственной журнальной публикации текст подвергся редакторской правке (сохранилась исходная рукопись). Редакторы убрали места со ссылками на тот факт, что героиня в знак благодарности желает отдалиться Джейкобу, исчезли также упоминания названий реальных кинокомпаний и ресторанов.

Убийстве первой степени – в законодательстве штата Нью-Йорк убийством первой степени признается убийство, совершенное сознательно, по предварительному умыслу и при особых обстоятельствах: в данном случае особым обстоятельством присяжные, скорее всего, сочли чрезмерную жестокость.

Бронкс... Баффинов залив – Фицджеральд перечисляет следующие географические объекты: Бронкс – район Нью-Йорка, Йонкерс – пригород Нью-Йорка, Олбани – город на реке Гудзон, столица штата Нью-Йорк; Баффинов залив (или море Баффины) находится между Канадой и Гренландией.

Сто тридцать третья восточная – в оригинале Фицджеральд воспроизводит характерный просторечный акцент. Дженни живет в южной оконечности Гарлема, где в то время было дешевое жилье; там проживали клерки, продавщицы универмагов и другой небогатый народ. По ходу действия рассказа акцент Дженни, выдающий ее происхождение, исчезает и проявляется вновь лишь в минуты эмоциональных всплесков – эта деталь важна для ее профессиональной карьеры, потому что как раз в 1927 году, когда был написан рассказ, в кинофильмах стал появляться звук.

Когда в 1924 году начался бум на землю – Джейкоб успел своевременно продать землю: в начале 1924 года цены на участки земли во Флориде, которую тогда считали будущей туристической Меккой, подскочили до небес, а уже в сентябре 1926 года из-за урагана в Майами этот «пузырь» лопнул, разорив множество инвесторов; эти события впоследствии стали считаться предвестием масштабного кризиса 1929 года.

«Боргезе гарденс» – скорее всего, речь идет о загородном ресторане, построенном на манер парка знаменитой римской «Виллы

Боргезе».

«Фэймоуз Плейерс» – кинокомпания «Фэймоуз Плейерс» (позднее переименованная в «Парамаунт») владела студией «Астория» на 36-й улице, в нью-йоркском районе Квинс. Съёмочная площадка была открыта в 1920 году, и ее главным преимуществом была близость к Бродвею, где можно было легко найти профессиональных актёров. Именно эта кинокомпания в 1920 году приобрела права на экранизацию первого романа Фицджеральда «По эту сторону рая» (этот фильм не был снят), а в 1926 году эта студия экранизировала роман «Великий Гэтсби» (от этой ленты сохранился лишь рекламный трейлер). При публикации все упоминания этой студии были удалены из текста.

Норма Ширер – Фицджеральд был знаком с популярной американской актрисой Нормой Ширер (1900–1983), женой знаменитого продюсера Ирвинга Тальберга (1899–1936), ставшего прототипом главного героя последнего неоконченного романа писателя; Ширер стала прототипом героини рассказа «Сумасшедшее воскресенье».

Грейт-Нек – пригород Нью-Йорка на серверном побережье Лонг-Айленда, где Фицджеральды проживали с октября 1922-го по апрель 1924 года; в то время здесь жило множество знаменитостей, это место описано под названием Уэст-Эгг в романе «Великий Гэтсби».

Мосту Квинсборо – на Лонг-Айленде в северо-западной части Квинса располагается жилой район «Астория»; до него можно добраться по открытому в 1907 году двухпролетному мосту «Квинсборо», с которого до сих пор открывается изумительный вид на вечерний город, на доки Ист-Сайда и небоскребы начала века (хотя ко времени написания рассказа еще не были возведены ни Крайслер-билдинг, ни Эмпайр-стейт билдинг).

Побережье – здесь и далее имеется в виду Западное побережье США (т. е. Голливуд).

Констанции Тальмадж – как и героиня этого рассказа, американская актриса Констанция Тальмадж (1900–1973) начала свою карьеру в 16 лет. На вершине успеха в середине 1920-х годов ее гонорары составляли сотни тысяч долларов за каждую ленту. В январе 1927 года Фицджеральд заключил контракт с кинокомпанией «Юнайтед Артистс»; он должен был написать для Тальмадж сценарий

фильма об «эмансипе», но этот проект не состоялся; сохранился сюжет для фильма, который называется «Помада» (по сюжету девушке попадает в руки волшебная помада, которая неудержимо притягивает к ней мужчин).

Оберн – город в штате Нью-Йорк; до 1933 года в нем располагалась известная своим строгим режимом женская тюрьма штата Нью-Йорк.

«Лидо» – скорее всего, Фицджеральд имеет в виду кабаре в Нью-Йорке на перекрестке Седьмой авеню и 52-й улицы; это кабаре было знаменито своей развлекательной программой (знаменитая исполнительница «жестоких романсов» Либби Холман начинала свою карьеру именно здесь; см. о ней далее в комментарии к рассказу «Чистый лист»).

Статуя «Гражданской добродетели» – речь идет о работе американского скульптора Фредерика Макмонниса (1863–1937) – фонтане в Нью-Йорке «Триумф гражданской добродетели» (открыт в 1922 году), представляющем собой обнаженного мужчину (аллегория добродетели), попирающего две женские фигуры (аллегии греха и коррупции); статуя вызвала крайне неоднозначную реакцию, особенно в среде феминисток; сейчас эта статуя установлена в Кью-Гарден, на перекрестке бульвара Квинс и Юнион-Тернпай. Необходимо обратить внимание, что текст телеграммы в рассказе напоминает текст телеграммы Ника Дэйзи в романе «Великий Гэтсби».

«Крейцерову сонату» – Джейкоб слушает бетховенскую сонату для скрипки, сочиненную в 1803 году. Название этой сонаты в 1890 году позаимствовал для повести Лев Толстой. Скорее всего, Фицджеральд хотел вызвать у читателя ассоциации и с музыкальным произведением, и со знаменитым текстом, в котором затрагиваются проблемные для 1920-х годов вопросы: необходим ли брак, может ли искусство сублимировать отношения полов.

Отелю «Эмбассадор» – см. примечание к очерку «Краткая автобиография».

Валентино – речь идет об актере Рудольфе Валентино, ставшем типажом в голливудской продукции 1920-х (его самый знаменитый фильм – «Шейх», 1921).

Кинотеатром Граумана – инвестор Сид Грауман (1879–1950) был владельцем сразу нескольких кинотеатров в Лос-Анджелесе; на бульваре Голливуд располагалось два его заведения. В 1922 году был

открыт Египетский кинозал, декорированный иероглифами и египетскими фигурами. В 1927 году рядом с ним был открыт Китайский кинозал. Фицджеральд мог видеть лишь его завершающееся строительство (зал открылся в мае, а Фицджеральд покинул Голливуд в марте), но фотоснимки нового зала он, безусловно, видел в прессе. Здание напоминало огромную красную пагоду; именно перед ним теперь расположена голливудская «Аллея славы».

Риальто – исторический квартал в Венеции; когда-то он служил деловым и финансовым центром города, и до сих пор здесь располагается оживленный рынок.

Ресторана «Колония» – в журнальной публикации текста название этого нью-йоркского ресторана было опущено, но оно сохранилось в рукописи рассказа. Этот ресторан располагался в доме 667 по Мэдисон-авеню и прославился в первой половине 1920-х годов своим игорным залом, среди завсегдатаев которого был, в частности, и Арнольд Ротштейн – прототип Вульфшима из романа «Великий Гэтсби». В начале 1920-х годов ресторан был местом встреч гангстеров; алкоголь здесь подавался в кофейных чашках, а запасы напитков держали в служебном лифте, который в случае облавы моментально скрывал все следы нарушения «сухого закона». К 1926 году ресторан уже утратил свою «подмоченную» репутацию, после реконструкции в него стало можно войти со стороны 61-й улицы, и заведение стало излюбленным местом встреч нью-йоркского «высшего общества»; но в массовом сознании, скорее всего, еще сохранялись остатки прежней славы.

Зала «Капитолий» – огромный киноконцертный зал на 4000 мест располагался на перекрестке Бродвея и 51-й улицы. Зал был открыт в 1919 году, его фойе было обшито деревянными панелями на английский манер, в зал вела мраморная лестница.

Чистый лист

(A New Leaf)

Рассказ написан в апреле 1931 года и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей ивнинг пост» 4 июля 1931 года; в том же, 1931 году рассказ был опубликован в британском журнале «Хоум мэгэзин», а в следующем, 1932 году включен в ежегодный сборник

«Лучшие американские рассказы о любви» («Джон Дэй компани», Нью-Йорк, [1932]).

Булонский лес – большой городской парк в Париже; свой нынешний вид приобрел в середине XIX века, когда Наполеон III занялся реконструкцией города; парк с конца XIX века был популярным местом прогулок и пикников парижан всех классов, в 1905 году в парке был открыт большой ресторан.

Багряный полдень дышит легкой силой... – в оригинале цитируются строки 4–6 из стихотворения П. Б. Шелли «Стансы, написанные близ Неаполя в час уныния»; вот это место в переводе К. Д. Бальмонта (порядок строк с оригиналом не совпадает):

*... Прозрачным полднем, нежно-красным,
Цепь снежных гор озарена:
Земля, стряхнув оковы сна,
Блаженством почек дышит снова,
В ветрах и в пенье птиц – весна...*

«Бремен» – немецкий трансатлантический океанский лайнер, спущенный на воду в 1929 году; он был оснащен турбинными двигателями общей мощностью в 100 тысяч лошадиных сил и являлся одним из самых быстрых океанских судов того времени: при благоприятной погоде лайнер пересекал Атлантику за пять суток.

Вокзал Сен-Лазар – парижский вокзал, второй по величине в Европе. Современное здание вокзала возведено в 1889 году в преддверии Всемирной выставки по проекту архитектора Жюль Лишу.

«Фин шампань» – категория французского коньяка («Fine champagne»), произведенного из спиртов двух самых знаменитых винодельческих регионов «Гран Шампань» («Grande Champagne») и «Пти Шампань» («Petite Champagne»); в коньяках этой категории доля коньячных спиртов из региона «Гран» должна составлять не менее половины ассамбляжа. Эта категория была закреплена законодательно французским декретом от 15 мая 1936 года.

«Олимпик» – британский трансатлантический лайнер компании «Уайт Стар Лайн», был спущен на воду в 1911 году; во время Первой мировой войны корабль был переоборудован для перевозки войск, по окончании войны судно вновь переоборудовали для перевозки

пассажиров через океан; судно было выведено из эксплуатации в 1935 году.

Студента в черной шапочке – во времена Фицджеральда студенты первого курса в Принстонском университете были обязаны носить черные форменные шапочки, отличавшие их от старшекурсников.

«Бостонский технический» – технический университет, располагавшийся до 1915 года непосредственно в Бостоне, в 1916 году переехал в бостонский пригород Кембридж и сменил свое название на «Массачусетский технологический институт», но прежнее название, естественно, могло употребляться в неформальных ситуациях еще лет десять.

«Школа изящных искусств» – речь идет о парижской «Национальной высшей школе изящных искусств», основанной в XVII веке прямо напротив Лувра и считавшейся в то время наиболее влиятельным европейским учебным заведением в области искусства. В результате студенческих волнений 1968 года от школы был отделен архитектурный факультет.

Как ирландец – обе вставки «как ирландец», намекающие на общепринятое представление о склонности ирландцев к выпивке, при публикации рассказа в журнале были исключены редакторами; в машинописи рассказа они сохранены без каких-либо изменений.

Поезд «Золотая стрела» – роскошный британский экспресс, в котором были вагоны только первого класса, доставлял пассажиров трансатлантических лайнеров к месту отплытия в Лондон через г. Кале (поезд переправлялся через Ла-Манш на пароме).

Улицу Гинемер – эта парижская улица названа в честь знаменитого французского воздушного аса Жоржа Гинемера (1894–1917).

Улицы Вожирар – самая длинная улица Парижа, протекает вдоль Люксембургского сада.

Ресторане «У Сиро» – знаменитый ресторан на улице Дану, популярный в 1920-х годах среди европейской «великосветской» публики и американских экспатриатов.

«Уайт Стар Лайн» – компания, которой принадлежал трансатлантический лайнер «Олимпик» (см. примечание выше).

Доктор Джекил и мистер Хайд – герои повести Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886); сюжет повести построен на неудавшемся научном

эксперименте уважаемого в обществе доктора Джекила, в результате которого он научился освобождать свое злое начало, совершавшее дикие и жестокие поступки, – и эта личность была известна под именем мистера Хайда; Хайд и Джекил – это две противоположные стороны одной и той же личности.

Либби Холман – речь идет об американской певице и актрисе Либби Холман (1904–1971); она была очень популярна в 1920-1930-х годах; ее карьера началась в 1924 году и достигла своего пика к 1929-му в бродвейском шоу «Маленький концерт», где она исполняла блюзы.

Колумбийском университете – Колумбийский университет города Нью-Йорка; основан в XVIII веке, один из старейших университетов в США. Кроме программ очного обучения, в начале XX века университет осуществлял обучение и в форме платных курсов.

Центральном парке – речь идет о нью-йоркском городском центральном парке.

Последний пациент

(Her Last Case)

Рассказ был написан в Балтиморе в августе 1934 года и опубликован в еженедельнике «Сатердей ивнинг пост» 3 ноября 1934 года.

Тридцатые годы стали для Фицджеральда временем болезней, больниц, докторов и сиделок, так что выбор больничной темы для рассказа не случаен. Кроме того, ко времени написания рассказа алкоголизм Фицджеральда достиг той стадии, когда для выхода из запоя писателю требовалась помощь квалифицированных сиделок, хотя сиделки нужны были еще и потому, что в такие периоды писателю просто был нужен кто-то рядом.

Прототипом дома – места действия рассказа – стал особняк «Уэлбурн» в городе Миддлбург (штат Виргиния), куда в июле 1934-го по приглашению редактора Максвелла Перкинса ездил погостить Фицджеральд; в этом особняке проживала кузина Перкинса, Элизабет Леммон. Эта поездка произвела на Фицджеральда глубокое впечатление. В мае 1934 года по заказу Фицджеральда в типографии

балтиморской газеты «Сан» в виде газетной вырезки была отпечатана следующая заметка:

Правда о битве при Анноматтоксе

***Газетный обозреватель совершил открытие: это Грант
сдался Ли, а не Ли сдался Гранту!***

Тайные обстоятельства впервые преданы огласке капитаном Х!

Нам стало известно: когда остатки умирающей от голода армии Ли решили принять капитуляцию откормленной на молочном рационе миллионной армии Гранта, сбор войск был назначен вблизи Анноматтокс-Кортхаус. Ли потребовал, чтобы Грант письменно подтвердил свое решение о капитуляции. К несчастью, у Гранта сломался карандаш; вытащив изо рта сигару, Грант повернулся к Ли и с достоинством истинного воина произнес: «Генерал! У меня сломался карандаш. Не будете ли вы так любезны и не одолжите ли мне вашу саблю, чтобы я смог его заточить?» Всегда готовый прийти на помощь и проявить любезность, генерал Ли выхватил саблю и протянул ее генералу Гранту.

К несчастью, именно в этот самый момент сработали вспышки фоторепортеров и микрофоны радиокomentаторов, и на весь свет по ошибке разнеслась весть о том, что генерал Ли сдает оружие генералу Гранту.

Доверчивая публика немедленно поверила в эту выдумку. Подготовленные к торжественному звону колокола по всему округу Лауден тут же заглушили, а второсортные колокола северян в бостонской «Старой северной церкви» тут же зашлись победной песнью по случаю ложной победы. Легенда эта жива до сих пор; лишь наш уэлбурнский «Журнал» впервые осмелился поведать миру ПРАВДУ, которую восемьдесят лет скрывали за клеветой о том, что Виргиния проиграла войну, которую вела в одиночку против союза эскимосов, населяющих земли к северу от линии Мейсона – Диксона.

В этой шутке идет речь о битве при Аппоматтоксе – заключительном сражении американской Гражданской войны, состоявшемся 9 апреля 1865 года и завершившемся капитуляцией Северовиргинской армии генерала Ли. В письме к Максвеллу Перкинсу 30 июля 1934 года Фицджеральд рассказал, что отправил эту заметку Элизабет Леммон.

Рассказ «Последний пациент» должен был войти в сборник «Отбой на заре», но в окончательный вариант сборника не вошел; в письме к редактору М. Перкинсу Фицджеральд так объяснил причину:

Я отказался от включения «Последнего пациента», главным образом потому, что в этом рассказе очень многое завязано на место действия, и прямо перед публикацией мне попался на глаза рассказ Тома Вулфа «Дом ушедших и забытых» [*публиковался в августе 1934 в журнале «Скрибнерс мэгэзин».* – Пер.], и я понял, что нет никакого смысла соревноваться с ним, выпуская вещь на аналогичную тему, в которой Вулф добился такого успеха. Неизбежно последовали бы оскорбительные сравнения. И если бы в моем рассказе было хоть что-то, что могло бы его спасти, не считая атмосферы, я бы, не колеблясь, его включил; но все в этой вещи завязано на смеси истерии и чувства. Я хорошо подумал, прежде чем принять решение.

Уорренбург – в американском штате Миссури есть небольшой городок Уорренсберг, основанный в 1856 году, но в тексте Фицджеральда действие происходит в штате Виргиния, а в этом штате есть только округ Уоррен.

Голубой хребет– см. примечание к рассказу «Женщина с прошлым».

Кавалерийский эскадрон Стюарта – речь идет о Джеймсе Юэлле Брауне «Джебе» Стюарте (1833–1864) – генерал-майоре армии Конфедеративных Штатов Америки, легендарном герое Гражданской войны, командовавшем кавалерийским корпусом «южан».

Мэрион Дэвис – см. примечание к рассказу «Сумасшедшее воскресенье»; в 1934 году вышел фильм «Агент номер 13», в котором она сыграла роль шпионки на службе у «северян», влюбившейся в офицера армии Конфедерации.

Джордж Вашингтон – первый президент США Джордж Вашингтон умер в Виргинии в 1799 году.

Сражение у Шато-Тьерри – речь идет о разгроме войсками Наполеона 12 февраля 1814 года арьергарда русско-прусских войск во время так называемой «шестидневной войны».

Военном госпитале имени Уолтера Рида – ведущий медицинский центр Армии США с 1909 по 2011 год; расположен в штате Вашингтон, назван в честь майора Уолтера Рида (1851–1902), главы исследовательской группы, доказавшей экспериментально, что желтая лихорадка передается москитами, а не при непосредственном контакте с больными.

Нью-йоркской больницы «Мерси» – в Нью-Йорке и окрестностях в 1930-х годах не было больницы с таким названием. В современном популярном сериале «Доктор Хаус» упоминается вымышленная больница с точно таким же названием; именно в ней в четвертом сезоне сериала доктор Форман возглавлял собственный отдел диагностики; доктор Хаус относится к этой больнице с пренебрежением, считая, что она служит исключительно для излечения мнимых хворей богатых пациентов – как ни странно, эта оценка вполне подходит к роли данного медучреждения в сюжете Фицджеральда.

Винчестер – небольшой город в американском штате Массачусетс; в настоящее время представляет собой пригород Бостона.

Проклиная Лонгстрита – речь идет о генерале армии Конфедерации командире корпуса Джеймсе Лонгстрите (1821–1904), ближайшем соратнике генерала Ли; в битве при Геттисберге из-за задержек и проволочек 2 июля 1863 года его корпусом не был выполнен приказ генерала Ли о фланговой атаке, что нарушило планы наступления; на следующий день им был отдан приказ о начале «атаки Пикетта», которая привела к огромным потерям конфедератов и стала фатальной ошибкой, фактически изменившей ход войны; неудача этой атаки была предсказана Лонгстритом, но приказ о ее начале был все же отдан.

У Монфокона – речь идет о битве у Монфокона, которая длилась с 14 по 17 октября 1918 года; это была вторая фаза Мез-Аргоннского наступления (сентябрь – октябрь 1918 года), в результате которого американским войскам удалось прорвать немецкую оборону;

наступление шло крайне медленно и с огромными потерями из-за того, что все тыловые дороги за обеими американскими армиями с первых же дней наступления оказались забитыми и переполненными; попытка ввести в бой подкрепления привела лишь к росту потерь и полной дезорганизации тыла армии.

Ранили у Хановер-Кортхаус – речь идет об одной из битв американской Гражданской войны – так называемом «Сражении при Хановер-Кортхаус», состоявшемся 27 мая 1862 года в рамках «Кампании на полуострове» Потомакской армии северян под командованием генерала Джорджа Мак-Клеллана; в этом сражении победу одержали северяне (что неудивительно, учитывая их трехкратное численное превосходство).

Пыльный том Полларда – скорее всего, речь идет об американском авторе Эдварде Э. Полларде (1832–1872), авторе трехтомной истории Гражданской войны в США (1862–1864) и книги «Проигранное дело» (1866), убежденном стороннике Конфедерации; но книги именно с таким названием в библиографии Полларда нет.

Опасная зона

(Zone of Accident)

Первый и второй варианты этого текста, называвшиеся «В безопасной зоне», были отклонены журналом «Сатердей ивнинг пост».

Третий вариант был начат осенью 1932 года, закончен в мае 1935 года в Эшвилле и опубликован в еженедельном журнале «Сатердей ивнинг пост» 13 июля 1935 года; в 1936 году рассказ был перепечатан в британском журнале «Вименс джоурнал» под заголовком «Ни для кого, кроме Билла».

Рассказ никогда не рассматривался Фицджеральдом для включения в какой-либо сборник. Он был написан в качестве продолжения цикла о враче Билле Талливере из балтиморской больницы Джона Хопкинса (см. ранее рассказ «Интерн»). Тем не менее этот замысел мог бы иметь продолжение и, возможно, рассказ вошел бы и в очередной сборник, который мог бы выйти после выпуска в свет последнего романа писателя, опубликованного в незавершенном виде под заглавием «Последний магнат».

При единственной перепечатке рассказа уже после смерти Фицджеральда в сборнике рассказов «Цена была высока» (Нью-Йорк, 1979) текст из соображений американской политкорректности был сокращен на пятьдесят слов. В переводе данная купюра не сохранена, поскольку не является авторской и вряд ли может быть сочтена оскорбительной.

Роланд-Парке – пригород Балтимора; этот богатый район был построен в 1890–1920 годах и является первым в США «коттеджным поселком», построенным по единому градостроительному плану.

Карсонтауне – небольшой городок в штате Пенсильвания.

Минни-бродяжка – здесь идет речь о знаменитой песне Кэба Кэллоуэя «Минни-бродяжка», написанной в 1931 году; именно эту песню исполняют Дживз и Вустер в самой первой серии одноименного британского сериала (правда, в русском переводе сериала героиню песни почему-то называли «лентяйкой»).

«*A negotio perambulante in tenebris*» – искаженная латынь; правильно: «*a negotium perambulans in tenebris*»; это отсылка к тексту стиха 6 псалма 90 из латинского перевода Псалтири («Вульгаты»), в русском синодальном переводе это место звучит как «язвы, ходящей во мраке».

С температурой 103,2 – по шкале Фаренгейта; соответствует температуре 39,9 градусов по шкале Цельсия.

То же самое, что по-английски Брук – здесь имеется в виду значение слово «ручей» – по-немецки «ручей» звучит как «bach», по-английски ручей – «brook».

Щирли Темпл (1928–2014) – американская актриса, начавшая сниматься в детском возрасте в образе «прелестного ребенка» и снискавшая в этом амплуа огромный успех.

Токсин инфлюэнцы – именно так у Фицджеральда; инфлюэнца – устаревшее название гриппа, эпидемической болезни, выражающейся в воспалении дыхательных путей и сопровождающейся лихорадкой; токсины – биологически активные вещества, повреждающие клетки и ткани и вырабатываемые микроорганизмами – возбудителями инфекций (например, дифтерии, столбняка), в том числе и вирусами, являющимися причинами гриппа.

«Этого» – здесь имеется в виду «мем» 1920–1930 о том, что каждый актер обладает чем-то невыразимым, что чувствует публика и что можно выразить лишь местоимением «it» («это»); аналог – русское понятие «изюминка», но использование понятия «изюминка» по отношению к мужчине в русской традиции не принято.

Кларк Гэйбл (1901–1960) – американский актер, прозванный «Королем Голливуда».

Уиллом Хейсом – Уильям Харрисон Хейс (1879–1954) – в 1922–1945 годах был первым президентом Американской ассоциации производителей и прокатчиков фильмов (позднее переименованной в Американскую ассоциацию кинокомпаний), которая в 1930 году ввела знаменитый этический «Кодекс Хейса», ставший неофициальным стандартом кинопроизводства США и регламентировавшим содержание снимавшихся фильмов; в 1967 году вместо данного кодекса была введена действующая система возрастных рейтингов фильмов.

Лорелом с Харди – Стэн Лорел и Оливер Харди – дуэт американских кинокомиков, снявшийся в более чем 200 лентах (Лорел был худым, а Оливер – полным).

«Филмз пар Экселенс» – придуманное Фицджеральдом название кинокомпании, это название также упоминается в романах «Прекрасные и проклятые» и «Великий Гэтсби».

Конкурса юных «звезд» Западной ассоциации – здесь идет речь о реальной рекламной кампании, проводившейся американской Западной ассоциацией рекламодателей художественных фильмов (WAMPAS) в 1922–1934 годах; в ходе кампании жюри выбирало пятнадцать молодых актрис, которые вот-вот превратятся в новых «кинозвезд»; конкурс был престижным и широко освещался в американской прессе.

«Уэлсли» – американский женский университет, открытый в 1870 году; расположен в городе Уэлсли, штат Массачусетс; этот университет входит в ассоциацию семи старейших и наиболее престижных женских университетов Восточного побережья США (так называемые «Семь сестер»).

Лиллиан Гиш (1893–1993) – американская актриса, звезда «немого кино», снималась с 1912 по 1987 год; ее карьера тесно связана с

режиссером Д. В. Гриффитом – в его знаменитом фильме «Рождение нации» она сыграла главную роль.

Гарбо – см. примечание к рассказу «Сумасшедшее воскресенье».

Вместо послесловия

Эхо века джаза

(Echoes of the Jazz Age)

Это ностальгическое эссе было опубликовано в журнале «Скрибнерс мэгэзин» в ноябре 1931 года.

Склероз – в оригинале Фицджеральд употребил медицинский термин «артериосклероз» (сосудистое заболевание, обычно проявляющееся в преклонном возрасте).

«Желтые девяностые» – т. е. период расцвета декаданса и декадентского эстетизма; это название последнего десятилетия XIX века характерно для Англии и пошло от названия ежеквартального журнала декадентов «Желтый журнал», в котором сотрудничали практически все знаменитости того времени: художник Обри Бердслей, писатели Макс Бирбом, Генри Джеймс и др.

С первомайских беспорядков – здесь идет речь о событиях, описанных в раннем рассказе «Первое мая».

«Билль о правах» – в США под «Биллем о правах» подразумевается 10 первых поправок к Конституции страны, вступивших в силу в 1791 году и гарантирующих права граждан при взаимоотношениях с органами государственной власти.

Менкен – см. примечание к статье «Ринг Ларднер».

Жирных дельцов – в оригинале Фицджеральд употребил выражение, означающее в буквальном переводе «с гусиной печенкой» – т. е. образное обозначение в медицине типичного для жировой дистрофии состояния человеческой печени, возникающего, в том числе, при алкоголизме.

«Три солдата» – речь идет о вышедшем в 1921 году романе Дос Пассоса. 25 сентября 1921 года в газете «Сент-Пол дейли ньюс» Ф. Скотт Фицджеральд опубликовал следующую рецензию на эту книгу.

Три солдата

Рецензия Ф. Скотта Фицджеральда

За исключением пары памфлетов Эптона Синклера, тщательно замаскированных под романы и, тем не менее, игнорируемых добропорядочными американскими книготорговцами, «Три солдата» юного питомца Гарварда Джона Дос Пассоса – первая достойная внимания книга о войне, написанная американцем. Даже «Алый знак доблести» выглядит рядом с ней бледно. После прочтения «Трех солдат» меня переполняет то безымянное чувство, которое может вызвать лишь абсолютная беспристрастность автора. Эту книгу не будут читать на западе нашей страны. Там и «Главная улица» показалась чересчур напряженной. И я уже сомневаюсь, станет ли «образованная» публика северо-западных штатов впредь рисковать, читая серьезный роман, не одобренный любовной романтикой?

Нет, «Трем солдатам» никогда не сравниться с «Щейхом» или со сладострастными проповедями доктора Крафтса, вызывающими животную дрожь у жен владельцев процветающих лавок и похоронных бюро; эта книга может лишь напугать весь этот караван-сарай из «стодвадцатипроцентных» американцев, из готовых на небольшую финансовую жертву «ради нашей победы» дельцов, а также из горящих жаждой крови старых дев, выстраивавшийся в очереди у книжных магазинов, дабы приобрести и прочитать фронтовой шедевр испанского Зейна Грея, который сейчас с успехом идет в кино в исполнении красавца-юноши с уложенными машинными маслом волосами.

Ну а дюжине или около того из тех, кто предпочитает более пристойный отдых, я искренне рекомендую «Трех солдат». Перед ними развернется весь изумительный фарс 1917 и 1918 годов. Они услышат пронзительные голоса членов Юношеской христианской ассоциации, которые с застывшими снисходительными улыбками будут говорить: «Отлично, ребята! И я бы тоже пошел с вами, но у меня плохое зрение! *** И помните, что ваши женщины сейчас молятся за вас! *** Я

только что слышал, как бьется огромное сердце Америки. ***
Ребята! Не забывайте, что вы боретесь за великие христианские ценности!»

Они услышат еще много чего подобного и увидят, как те же назойливые ханжи торгуют какао по двадцать центов за чашку и произносят визгливые и бессмысленные речи, используя помпезный язык проповедей. Они увидят, как военная полиция свирепо «учит» рядового за то, что он забыл отдать честь какому-нибудь офицеру.

Они увидят грязь и боль, жестокость, истерию и панику, длившиеся три долгих и кошмарных года, и поймут, что война принесла все это не в чью-нибудь чужую жизнь и не в жизнь чьего-нибудь сына, а в их собственную жизнь и в жизни их собственных сыновей – в жизни тех самых здоровых молодых самцов, которые два года назад, приезжая на побывку домой, грубо хвастались своими подвигами во Франции.

Первый солдат – это Дэн Фьюзелли из Калифорнии, ограниченный, глуповатый и честолубивый. За его горькими разочарованиями, его интригами, его симпатичными качествами и алчностью мы проследим, начиная от военного лагеря, где его «обучают», и вплоть до послевоенного Парижа, где он становится поваром в столовой; его изначально гадкий, но все же сносный, характер к этому времени уже значительно ослаб.

Второй солдат Кристфилд, полудикарь, юноша с типичной южной моралью родом из Индианы, убивает своего воображаемого угнетателя – не потому, что причиненное ему зло было нестерпимо, а потому, что его темпераментный характер так реагирует на армейскую дисциплину; в итоге он дезертирует и остается в Париже.

Две эти косноязычные личности тесно связаны с третьей: это музыкант, влюбленный в сладкозвучные ритмы Флобера.

И при помощи этого самого Джона Эндрюса – главного героя книги – Джон Дос Пассос позволяет себе пренебречь своей почти флоберовской беспристрастностью и приступить к «бритлингизации» войны. Это становится практически сразу заметно по его манере, которая обретает фальшивую значительность и усеивает текст болтливymi многоточиями.

Но через страницу-другую автор вновь обретает равновесие и устремляется к концу повествования, крепко удерживая в руках руль.

Это работа, выполненная с огромным тщанием. В ней нет ненужных деталей и неуклюжего жонглирования огромными массами материала, что свойственно всем американским работам в жанре реализма за исключением одной или двух. Автор не раздавлен рожденной паникой необходимостью немедленно использовать весь имеющийся у него материал, пока это не сделал какой-нибудь другой провидец новейших откровений. Джон Дос Пассос – настоящий художник. Его книга могла бы подождать и пять лет, и десять, и двадцать. Я склонен считать, что он – лучший из всех ныне живущих молодых авторов.

Недостаток выраженного в Джоне Эндрюсе замысла следующий: Джон Эндрюс представляет собой героя, чуть слишком уж слабого, что-то вроде Генри Адамса в молодости. Молодые люди такого сорта описывались уже не раз – обычно тогда, когда автор обнаруживает, что ему необходим некий рупор, а писать о самом себе не хочется.

Предпринимая все мыслимые меры предосторожности, героем неизбежно становится художник или музыкант, словно вне искусства нельзя найти ума. Я не хочу сказать, что «марионеточность» Эндрюса – частое явление. И никогда еще не была она прикрыта ничем, кроме пресыщенности, жизненной силы и изящества. Тем не менее бледные тени героев Уэллса и его имитаторов маршируют колоннами по полям книги, как бы напоминая о том, что столь глубокому и талантливому человеку, как Джон Дос Пассос, не стоит записываться в верный, но бесцветный отряд Уэллса, встав плечом к плечу с Уолполом, Флойдом Деллом и новейшей жертвой Менкена – Эрнестом Пулом. Единственный успешный Уэллс – это сам Уэллс. И ради того, чтобы литература развивалась и дальше, можно покончить и с Уэллсом, и с Джеймсом Джойсом, и с Анатолем Франсом.

В завершение мне бы хотелось провести одно недоброе сравнение. Несколько недель назад из издательства мне прислали

книгу одного широко известного и популярного автора, который, по всей видимости, решил, что в нынешние времена больше платят за глубокие мысли – как сказал несравненный Менкен, за «болтовню о великих делах». Издательство сообщило мне, что книга выйдет в октябре, и что, по их мнению, это лучший из предложенных им когда-либо романов; в заключение меня попросили высказать свое мнение о книге. Я ее прочитал. Она представляет собой безнадежную попытку совершить то, что уже совершил Дос Пассос. Книга изобилует мистицизмом родом из психиатрической лечебницы «Фергюс-фоллс», а также неусвоенными идеями Геккеля; типичная сцена – героическая смерть французского «пуалю», кричащего «Иисусе!» жертвующему собой санитару из «Красного Креста»! В конце даже был, в некотором роде, вывод: Жизнь – это Серьезная Щтука, или нечто подобное! Когда было не смешно, было больно от банальности. Песок так и сыпался из героев на каждой странице. И если кто-нибудь желает развить свой литературный вкус, дайте ему прочитать подряд «Выброшенное поколение» Оуэна Джонсона и «Трех солдат» Джона Дос Пассоса. И если он почувствует разницу, то он – в числе спасенных. И быть ему с ангелами в Раю.

«Гардинг и банда из Огайо» – речь идет о ряде коррупционных скандалов периода 1921–1923 годов, связанных с администрацией тогдашнего президента США Уоррена Гардинга (1865–1923); на высшие посты президент назначил большое количество уроженцев своего родного штата Огайо; во время президентского срока Гардинга впервые в истории США один из министров американского кабинета попался на взяточничестве и сел в тюрьму.

«Сакко и Ванцетти» – здесь идет речь о громком судебном процессе над двумя рабочими-анархистами Николой Сакко и Бартоломео Ванцетти, осужденными судом присяжных за убийство в штате Массачусетс в июле 1921 года, несмотря на слабую доказательную базу и наличие ряда показаний свидетелей о невиновности обвиняемых. Попытки добиться пересмотра дела успехом не увенчались, в 1927 году Сакко и Ванцетти были казнены, а процесс вызвал широкий общественный резонанс и стал для многих

символом беззакония и политических репрессий. В 1977 году губернатор штата Массачусетс сделал официальное заявление о том, что Сакко и Ванцетти были осуждены несправедливо; тем не менее имеется свидетельство американского писателя Э. Синклера, которому адвокат осужденных в частной беседе признался в том, что алиби Сакко и Ванцетти было сфальсифицировано и, следовательно, невиновность Сакко и Ванцетти находится под сомнением.

«*Ноль без палочки*» – здесь и в следующем предложении Фицджеральд, возможно, намеренно смешивает детали, относящиеся к двум американским президентам: Вудро Вильсону (президент в 1917–1921) и Уоррену Гардингу (президент в 1921–1923). *Ноль без палочки* – это, вероятно, Гардинг, который являлся ставленником Республиканской партии и фактически был номинальной политической фигурой. *Старый американец* – это, видимо, Вильсон, которому в 1919 году исполнилось 63 года; в октябре 1919 Вильсон оказался фактически недееспособен после инсульта, что тщательно скрывалось от нации; все решения в период его недееспособности принимались его женой Эдит Вильсон, получившей впоследствии прозвище «тайный президент». Деталь об отравлении женой явно относится к Гардингу, скончавшемуся в 1923 году на 57-м году жизни; по стране ходили слухи об отравлении президента женой при участии ее личного врача, гомеопата Чарльза Сойера, прославившегося как личность «распутинского» типа. *Окончательное решение* – возможно, имеется в виду так называемый «сухой закон», введенный в период президентства Вильсона.

Эlegantный молодой человек – речь идет об Эдуарде, принце Уэльском, наследнике Британской короны; см. примечание к рассказу «„Сиротка“ Мартин Джонс и Пр-нц У-льский».

Франциск I (1494–1547) – король Франции; военные экспедиции в Италию познакомили его с роскошью дворов итальянских меценатов, и Франциск увлекся культурой Возрождения, окружая себя учеными и поэтами; при нем французский двор обрел блеск и изящество.

«*Могущества,...* к другой» – Фицджеральд цитирует последнюю фразу из рассказа Д. Г. Лоуренса «Уехавшая верхом» (правда, у Лоуренса вместо «могущества» стоит «господство»); в финале рассказа Лоуренса героиня лежит обнаженной на каменном алтаре в

ожидании удара индейского жреца, который собирается принести ее в жертву.

«Хроники Йеля» или «Принстонского тигра» – студенческие журналы Йеля и Принстона; в «Принстонском тигре» во время учебы в университете сотрудничал сам Фицджеральд.

Освободить рабов или кубинцев – здесь идет речь об американской Гражданской войне 1861–1865 гг. и испано-американской войне 1898 года, приведшей к независимости Кубы от Испании.

«Подрастает целое поколение, которому не будет знаком вкус спиртного» – возможно, Фицджеральд цитирует по памяти высказывание Эллы Э. Буль (1858–1952), вице-президента Женского христианского союза воздержания; это высказывание содержится в опубликованной 7 ноября 1919 года в газете «Хроника Адирондака» статье «Празднуя свою победу», посвященной введению «сухого закона».

«Любовник леди Чаттерлей» – роман Д. Г. Лоуренса, впервые опубликованный в 1928 году и вызвавший большой скандал из-за наличия в книге многочисленных откровенных сцен; на русский язык книга была впервые переведена в 1932 году.

Хейвуд Браун (1888–1939) – американский журналист и театральный критик.

«Юрген» – роман американского писателя Джеймса Брэнча Кейбелла (1879–1958); на русский язык впервые переведен в 1994 году; в романе герой, путешествующий по различным реальностям, везде соблазняет местных дам (попав в Ад, он соблазняет жену Сатаны).

«Уайнсбург, Огайо» – сборник рассказов американского писателя Шервуда Андерсона (1876–1941).

«Улисс» – роман Д. Джойса; одна из ключевых книг XX века. 24 июня 1923 года в газете «Ричмонд таймс-диспач» появился следующий анонимный текст.

Пророчество о романе Джеймса Джойса:

Ф. С. Фицджеральд считает, что «Улисс» станет великой книгой будущего

Станет ли Джеймс Джойс для грядущих поколений тем, кем являются для нашего поколения Генри Джеймс, Ницше, Уэлс, Шоу, Менкен, Драйзер и Конрад? Ф. Скотт Фицджеральд, пророк и рупор юного американского общества, утверждает: как «Ностромо» Конрада считается лучшим романом за последние пятьдесят лет, так и «Улисс» Джеймса Джойса будет лучшим романом будущего! В своем списке «Лучшие книги из мною прочитанных» Скотт Фицджеральд поместил на третье место «Портрет художника в юности» и указал, что Джойс будет «оказывать самое глубокое влияние на литературу в следующие пятьдесят лет».

Нам остается лишь догадываться, действительно ли сыновья и дочери той необузданной молодежи, которую мистер Фицджеральд сегодня изображает в своих блестящих картинах современности, будут читать Джойса. Но сделанное мистером Фицджеральдом пророчество об интеллектуальных вкусах грядущей эпохи может показаться откровением его многочисленным почитателям. Ведь сегодня Фицджеральд считается писателем для (и про!) натур легкомысленных, обладающих налетом цинизма. Самюэль Батлер, Фридрих Ницше и Анатоль Франс – вот кто сформировал интеллектуальное мировоззрение Фицджеральда. Об этом он говорил в списке книг, которые ему понравились. А вот Джойса – в литературном плане – сделали тем, кто он есть, Ибсен, а также греческие и латинские классики. Станет ли Джойс, в свою очередь, основателем литературной школы, которая будет интерпретировать завтрашнюю жизнь с таким же страстным натурализмом, с той же изумительной способностью к описанию в виде «потока сознания», в духе гаргантюанской сатиры и юмора, с той лишенной сентиментальности лирической радостью в безоговорочном приятии жизни, которыми в нашу бурную эпоху отличаются работы Джойса от книг других авторов?

В этой заметке упомянут список любимых книг Фицджеральда; действительно, 24 апреля 1923 года в «Вечерней газете Джерси-Сити» была опубликована следующая заметка:

**Ф. Скотт Фицджеральд (автор «По эту сторону рая»,
«Прекрасные и проклятые» и др.).**

Моя десятка лучших книг

1. «Записные книжки» Самюэля Батлера. Мысли и чувства моего любимого викторианца.
2. «Философия Фридриха Ницше» (Г. Л. Менкен). Проницательный и острый ум интерпретирует «Великого современного философа».
3. «Портрет художника в юности» (Джеймс Джойс). Потому что в ближайшие пятьдесят лет Джеймс Джойс будет оказывать наиболее глубокое влияние на литературу.
4. «Зулейка Добсон» (Макс Бирбом). Бесподобно изысканный снобизм!
5. «Таинственный незнакомец» (Марк Твен). Здесь Марк Твен абсолютно честен. Прекрасная книга и потрясающее раскрытие.
6. «Ностромо» (Джозеф Конрад). Величайший роман прошедшего полувека, а «Улисс» – величайший роман будущего!
7. «Ярмарка тщеславия» (Теккерей). Объяснения не требуются.
8. «Оксфордский том английской поэзии». Мне кажется, что эта подборка лучше, чем вариант Пэлгрейва.
9. «Таис» (Анатоль Франс). Великая книга того, кто совмещает в себе Уэллса и Цюу.
10. «Семнадцать» (Бут Таркингтон). Самая смешная книга из всех мною прочитанных.

«Кукла и женщина» – роман забытого ныне американского писателя Д. Хергсхаймера (1880–1954) «Цитерея» (перевод на русский язык: Гершгеймер Д. Кукла и женщина, М., 1925), считавшегося в 1910-1920-х годах одним из значительнейших писателей-реалистов и сравниваемого с Теодором Драйзером.

«Жаркая юность» – роман американского писателя Уорнера Фабиана (псевд., настоящее имя – Самюэль Гопкинс Адамс, 1871–1958), написанный с небывалой для того времени откровенностью и касающийся темы полового влечения современных юных женщин;

роман на русский язык не переводился. Экранизация – 1923 год (о ней см. далее).

«*Щейх*» – впервые изданный в 1919 году роман британской писательницы Э. М. Халл (псевд., наст. имя – Эдит Моуд Уинстэнли Халл, 1880–1947), ставший бестселлером в 1921 году после его экранизации, где в главной роли снялся актер Рудольф Валентино.

«*Зеленая шляпа*» – роман британского писателя армянского происхождения Майкла Арлена (псевд., наст. имя – Тигран Куюмджян, 1895–1956); в 1928 году роман был экранизирован под названием «Женщина, крутившая романы»; в главной роли снялась Грета Гарбо.

«*Водоворот*» – пьеса британского актера и драматурга Ноэля Пирса Коуарда (1899–1973), впервые поставленная в 1924 году в Англии, а в 1926 – в США.

«*Колодец одиночества*» – скандальный роман британской писательницы Рэдклифф Холл (1880–1943), главной героиней которого стала мужеподобная лесбиянка Стефен Гордон.

«*Содом и Гоморра*» – вышедший в 1922 году роман французского писателя Марселя Пруста (1871–1922) из цикла «В поисках утраченного времени»; первый перевод этой книги на английский язык вышел в Великобритании в 1927 году.

Сказки о Кролике Питере – речь идет о серии детских сказок британской писательницы Беатрис Поттер (1866–1943), популярных в начале XX века; первые переводы этих сказок на русский язык появились в середине 1990-х годов.

Клара Боу в «*Золотой молодежи*» – речь идет об экранизации упомянутого ранее романа «Жаркая юность»; в вышедшей в 1923 году экранизации (лента в русском переводе получила название «Золотая молодежь») главную роль сыграла актриса Колин Мур (1900–1988); американская актриса Клара Боу (1905–1965) к этому фильму не имела никакого отношения и упомянута Фицджеральдом по ошибке.

Миссис Джиггс – речь идет о Мэгги, жене Джиггса, героине газетных комиксов «Воспитываем папочку» («Джиггс и Мэгги»). Авторами комиксов был художник Джордж Мак-Манус, комиксы впервые появились в 1913 году. Мэгги – выскочка, всеми силами желающая пролезть в «высшее общество» и чутко следящая за модой, а ее муж Джиггс – ирландский эмигрант, добившийся успеха, но при этом сохранивший самые простецкие вкусы.

Ф. П. А. – см. выше примечание к статье «Ринг Ларднер».

Джордж Джин Натан (1882–1958) – один из ведущих американских театральных критиков 1910-1920-х годов XX века; он поддерживал новаторские течения в искусстве и выступал против сентиментальщины и слащавости; см. также комментарий к очерку «Краткая автобиография».

Напившись из ванны с шампанским – речь идет о нью-йоркском импресарио Эрле Кэрролле, который в ночь с 22 на 23 февраля 1926 года в своем театре на перекрестке 49-й улицы и Седьмой авеню устроил вечеринку «с полуночи и до потери сознания» (так было написано в приглашениях). В этом театре устраивались шоу «Вэнитис», песни в котором исполняли полуодетые хористки. Во время вечеринки в зал выкатили ванну с шампанским, в которую забралась голая пьяная семнадцатилетняя актриса Джойс Хаули; гости принялись черпать бокалами шампанское прямо из ванны с девушкой. Отчет об этой вечеринке был опубликован на следующий день в газете «Дэйли Миррор». Кэрролла обвинили в незаконной торговле спиртным и нарушении «закона Мэнна» (запрещавшего перемещение несовершеннолетних через границу штата для осуществления безнравственных действий). Импресарио в ходе суда солгал под присягой, за что и был осужден на шесть месяцев тюремного заключения.

Руфь Снайдер – преступница, казнена в 1928 году за убийство; решив избавиться от мужа и уйти к любовнику, Снайдер предварительно застраховала жизнь мужа, не забыв при этом оговорить условие о том, что страховая премия удваивается в случае насильственной смерти. Дело стало знаменитым не только из-за цинизма осужденной, но и в связи с тем, что газетному фоторепортеру Тому Говарду удалось сделать фотографию казни и опубликовать это фото в «Дэйли Ньюс». История этого преступления легла в основу сценария фильма «Почтальон всегда звонит дважды» (впервые – 1946 год, ремейк – 1981 год).

Палм-Бич и Довиль – курорты; Палм-Бич – курорт во Флориде (США), Довиль – курорт на северо-восточном побережье Франции; оба места считались дорогими и аристократическими, в отличие от упомянутой далее Ривьеры.

В чьих фамилиях было все меньше и меньше гласных – т. е. эмигранты из Европы.

«Ирландские бойцы» из университета «Нотр-Дам» – речь идет о входящей в первый студенческий дивизион футбольной команде престижного частного университета «Нотр-Дам» (он основан в 1842 году и находится в городе Саут-Бенд, штат Индиана).

«Кубок Дэвиса» – за этот теннисный кубок изначально боролись только команды из Великобритании и США; позднее в соревнованиях стали участвовать команды из других стран, а с 1927 по 1932 год кубок выигрывали исключительно французы.

Ван Бибер – см. примечание к рассказу «Тень плененная».

Юный уроженец Миннесоты – речь идет о Чарльзе Линдберге (1902–1974), который в мае 1927 года совершил первый в мире одиночный беспосадочный трансатлантический перелет.

Фронтир – зона освоения американского Дикого Запада, граница продвижения поселенцев; в XVIII веке американское бюро переписи населения определяло фронтир как границу, за которой плотность населения составляла менее двух человек на одну квадратную милю.

... пекинесами, моллюсками, крестинами и парнокопытными – этот эпизод также был включен в первую версию рассказа «Снова в Вавилоне» (см. комментарий выше).

Посмотреть на гобелен – речь идет о гобелене из Байе; этот средневековый памятник изготовлен в 1067–1070 годы и представляет собой полотно шириной 48/53 см и длиной 68 м; на нем изображены картины нашествия на Англию Вильгельма I (Завоевателя) в 1066 году.

Приз полагался каждому – имеется в виду эпизод из главы 3, когда всем попавшим в море Алисиных слез необходимо было высохнуть; в переводе Демуровой это «бег по кругу», у Заходера – «Кросс по Инстанциям».

Дело Леопольда – Леба – в 1924 году эти чикагские преступники похитили и убили подростка с целью выкупа; преступники интересовались идеями Ницше, считали себя «сверхлюдьми» и решили совершить идеальное преступление – такое, чтобы их невозможно было осудить; никаких других серьезных мотивов у этого преступления не было, поскольку оба преступника происходили из богатых семей.

«Бандитка-эмансипе» – в оригинале буквально: «бандитка с короткой стрижкой»; речь идет о бруклинской домохозяйке Селии Роут Куни, которая в начале 1924 года совершила несколько вооруженных налетов на магазины и конторы; она была схвачена одним из кассиров компании «Нейшнл Бисквит Ко» в ходе последнего налета.

На рисунках Джона Хелда – американский художник Джон Хелд-мл. (1889–1958) выполнил, в частности, обложку для сборника Фицджеральда «Сказки века джаза»; работы этого художника часто появлялись в прессе 1920-х годов и стали знаковыми для своего времени; костюмы персонажей включали характерные широкие мужские брюки и облегающие коротенькие женские платья.

«Да, у нас нет бананов!» – строчка припева из ставшей хитом в 1923 году песни Франка Сильвера и Ирвинга Конна; эта фраза стала общеизвестным «мемом» после «бананового кризиса» 1920 либо 1922 года, вызванного неурожаем бананов в Бразилии (в то время на американский рынок бананы поставлялись именно оттуда).

Свет в окошке

(Lamp In a Window)

Это ностальгическое стихотворение опубликовано в журнале «Нью-Йоркер» 23 марта 1935 года. Оно посвящено жене писателя, Зельде Фицджеральд, которая к тому времени была уже неизлечимо больна.

Оригинальное стихотворение Фицджеральда обладает ценностью скорее в автобиографическом плане, а не в плане поэзии. Фицджеральд знал и ценил классическую английскую поэзию, но, несмотря на общепризнанную поэтичность его прозы, даром стихосложения не обладал. Об этом красноречиво свидетельствует количество стихотворений, написанных и опубликованных им за время его профессиональной писательской карьеры, длившейся двадцать лет: их было опубликовано ровно три, причем одно из них – пародия на стихотворение Вордсворта; «в стол» он также не писал. Нерифмованный подстрочник звучит так:

Свет в окошке

*Пока в замке не повернулся ключ,
Жизнь крупным планом шла, без всяких писем.
Раздеться и нырять в ночное море
Со скал любила ты, я – ненавидел.*

*Ты помнишь, что в гостиничных комодах
Всегда три ящика? И как до хрипоты,
До бешенства мы спорили о том лишь,
Кто уступит другому лишний ящик?*

*Без карты мы плутаем вслед за речкой
В Савойских Альпах, в маленькой машине.
Мы заблудились – и виним друг друга,
А час спустя смеемся: что за глупость!*

*И пусть финал суровый, безотрадный
Нас ждал – вслед за июнем шел декабрь
у нас в календаре, – оцепенев от горя, все же
Ссор, кроме этих, вспомнить не могу я...*

Над этим стихотворением Фицджеральд тщательно работал; в предпоследней строке оригинала, например, имеется внутренняя рифма, в записных книжках Фицджеральда сохранился вариант 3-й строки второго четверостишия (исходное «упрямо спорили» он заменил на: «чуть не улетали в небеса»), также сохранилось следующее недоработанное дополнительное четверостишие:

*А в темный пьяный час кто бесновался,
Кто метил в сердце – чья вина, кто скажет?
Кто поутру, кто скажет или стерпит?
И в диком натиске мы вместе
Лицом к лицу со всем огромным миром,
Кому какое дело, и кто скажет?*

Примечания

Из этой сказки в минуту небрежной поспешности был извлечен целый параграф описания, впервые появившийся в ней и принадлежащий ей по праву; он был применен к совершенно иному герою в одном моем романе. Я – ни много ни мало – осмелился все-таки оставить его здесь, рискуя показаться скупым хозяином, который подает на стол пережаренное блюдо. – *Примеч. автора.*

([<< back](#))